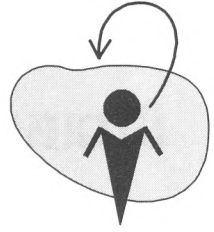


Г.П. ЩЕДРОВИЦКИЙ

МЫШЛЕНИЕ
ПОНИМАНИЕ
РЕФЛЕКСИЯ

Г.П. ЩЕДРОВИЦКИЙ

МЫШЛЕНИЕ
ПОНИМАНИЕ
РЕФЛЕКСИЯ



G.P. SHCHEDROVITSKY

**THINKING
UNDERSTANDING
REFLECTION**

**MOSCOW
2005**

Г.П. ЩЕДРОВИЦКИЙ

**МЫШЛЕНИЕ
ПОНИМАНИЕ
РЕФЛЕКСИЯ**

**МОСКВА
2005**

Издатели:

Г.А. Давыдова
С.М.Норкин
А.А. Пископпель
В.Р. Рокитянский
Л.П. Щедровицкий

Составители и ответственные редакторы:

А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий

Г.П. Щедровицкий
Мышление – Понимание – Рефлексия
М.: Наследие ММК. 2005. – 800 с.

ISBN 5-98808-003-0

Издание осуществлено при финансовой поддержке
ЗАО «РЕНОВА»

© Г.П.Щедровицкий. 2005

© А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий,
составление 2005

© Издательство «Наследие ММК». 2005

СОДЕРЖАНИЕ

От издателей 8

Эволюция программ исследования мышления в истории ММК 11

Наброски к методологическому проекту
теоретической модели понимания 44

Рефлексия в деятельности 64

Понимание и мышление, смысл и содержание 126

Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание» 157

Системно-структурный подход в анализе и описании
эволюции мышления 161

Современное состояние и перспективы разработки
теории мышления 165

Смысл и значение 187

Рефлексия 217

Проблема исторического развития мышления 227

Проблемы построения системной теории
сложного «популярного» объекта 245

Смысл и понимание 285

Связь естественного и искусственного как основной принцип
исследования интеллектуальной деятельности 293

Понимание, рефлексия и мышление 315

Рефлексия, понимание и мышление
в групповой интеллектуальной деятельности 341

Нормативно-деятельностный подход
в исследовании интеллектуальных процессов 391

Об историческом развитии форм организации мышления 420

Заметки об эпистемологических структурах
онтологизации, объективации, реализации 433

О значении исследования коммуникации
для развития представлений о мыследеятельности 447

Понимание и мышление (1)	482
Понимание и мышление (2)	491
Мыследеятельность, рефлексия и мышление	549
Средства и методы конструктивно-нормативного представления деятельности и мышления	591
Коммуникация и процессы понимания: методологические проблемы организации, развития и познания	689
Схемы мыследеятельности и работа с ними	709
«Герменевтика»: проблемы исследования понимания	732
Схема мыследеятельности – системно-структурное строение, смысл и содержание	770
<i>Литература</i>	785

CONTENS

<i>Editors' Foreword</i>	8
The evolution of thinking research programs in the history of MMC	11
Outlines of the methodological project of a theoretical model of understanding	44
Reflection in activity	64
Understanding and thinking, sense and contents	126
Notes to definition of the concepts “thinking” and “understanding”	157
System-structural approach to analysis and description of the evolution of thinking	161
The nowadays state and prospects of theory of thinking development	165
Sense and meaning	187
Reflection	217
The problems of historical development of thinking	227
The problems of building of a systemic theory of a complex “populative” object	245

Sense and understanding	285
The unity of the natural and the artificial as the main principle in the study of intellectual activity	293
Understanding, reflection and thinking	315
Reflection, understanding and thinking in group intellectual activity	341
Normative-activity approach in the study of intellectual processes	391
On the historical development of thinking organization forms	420
Notes on epistemological structures of ontologization, objectivation and realization	433
On the significance of communication research for the development of the ThinkActivity conception	447
Understanding and thinking (1)	482
Understanding and thinking (2)	491
ThinkActivity, reflection and thinking	549
Means and methods for constructive-normative representation of activity and thinking	591
Communication and understanding processes: methodological problems of organization, development and cognition	689
The schemes of ThinkActivity and working with them	709
“Hermeneutics”: problems of understanding research	732
The scheme of ThinkActivity – system-structural characteristics, meaning and contents	770
<i>Literature</i>	785

От редакторов-составителей

Тема «Мышление» была сквозной и центральной для всей философско-методологической работы Г.П.Щедровицкого – над ней он размышлял всю свою сознательную жизнь. Именно мышление было для него тем ключом, с помощью которого могут быть открыты все остальные двери к тайнам человека и мира, все они так или иначе связаны или приводят, по его глубокому убеждению, к тайне мышления. «Мы занимались мышлением. Мышление репрезентирует все целое. Все, что касается человеческой деятельности, человеческого духа, есть мысль. И поэтому занятие мышлением давало нам ту всеобщность и тот предельно широкий взгляд на существующее, на мир, какой только был возможен» [Щедровицкий 2004: 317].

Но для него Мышление было не только объектом или областью профессиональной деятельности, но и подлинной и высшей реальностью, служение которой придавало смысл всей его творческой жизни.

Г.П.Щедровицкий исходил из фундаментального полагания Мышления как особой субстанции, существующей в социокультурном пространстве и имеющей законы развития и жизни, отличные от законов развития и жизни мира материального. «Не человек мыслит, а мышление мыслит через человека», – утверждал он ¹.

Но служить Мышлению и мыслить означало для него не только и не столько владеть мыслительными средствами, созданными до него другими, сколько развивать Мышление, разрабатывая новые категории и подходы.

Представить эту многолетнюю работу во всей полноте и системно в одной книге просто невозможно – архив мыслителя содержит сотни текстов, посвященных Мышлению, – и поэтому мы пока ставим перед собой более скромную задачу – публиковать постепенно, шаг за шагом, избранные фрагменты из этого массива текстов ².

В частности, этой книгой избранных нами текстов мы хотим дать читателю общее представление о разработках темы в 70-х – 80-х годах. Это был период пересмотра и развития представлений о мышлении и теории мышления под углом зрения органической связи мышления с *понима-*

¹ Отсюда эта яркая, метафорическая самохарактеристика: «Я – сосуд с живущим, саморазвивающимся мышлением, я есть мыслящее мышление, его гипостаза и материализация, организм мысли ... Так я себя рассматриваю и так к себе отношусь... Я есть сгусток мышления и обязан жить по его законам... Я всегда мыслю, и это есть наслаждение, равных которому я не знаю... это есть моя ценность и моя, как человека, суть. Я сделал это принципом и несу его сквозь всю свою жизнь ... Я принял лично Декартово положение “мыслю, следовательно существую”, но не в плане метафизики или риторики, а в плане сущностного определения... Я действительно существую как “Я”, только когда мыслю, и это есть для меня жизнь...» [Щедровицкий 1994: 9].

² В частности, непосредственно этой теме посвящена публикация [Щедровицкий 2003].

нием и рефлексией – отсюда еще два термина в заглавии книги и присутствие в ней текстов, специально посвященных этим двум понятиям.

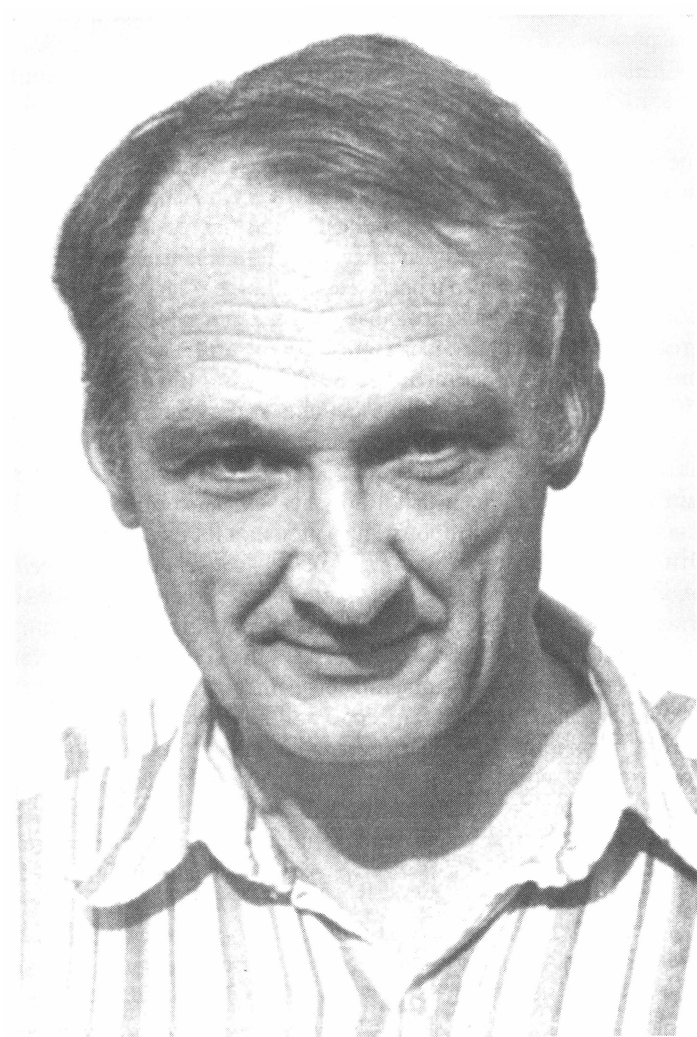
Конечно, в названный период мышление обсуждалось не только в связи с пониманием и рефлексией. Это был и период разработки новых взглядов на связи мышления и коммуникации, мышления и деятельности, что выразилось в появлении таких новых понятий, как *мыследеятельность*, *мысль-коммуникация*, *мыследействие*, и период обсуждения взаимоотношений мышления и индивидуального сознания, проблем психологизма в истории изучения мышления и т.д. и т.п.

Еще одна особенность текстов, включенных в настоящую книгу, – тесная связь разработок 80-х с созданной в ММК новой формой коллективных мышления и деятельности – организационно-деятельностными играми (ОДИ). При этом работы 70-х предваряли игры и закладывали основы для их теоретико-методологического и организационно-деятельностного обеспечения, а работы 80-х рождались на основе рефлексии игровой практики и являлись ее теоретико-методологическим оформлением и выражением.

Конечно, идеи и представления о мышлении и о теории мышления 70-х – 80-х годов были развиты на основе уже существовавших к тому времени в рамках ММК средств и способов схематизации, онтологизации и предметизации мышления, сложившихся в 50-е и 60-е годы, когда центральными и определяющими были проблемы взаимоотношения мышления и речи-языка, с одной стороны, и мышления и деятельности – с другой³. Эти идеи и представления о языковом мышлении, о мышлении как деятельности были сняты (в гегелевском смысле) новыми представлениями; частные и ограниченные для трактовки мышления в целом, они сохранили смысл и значение в качестве особых средств и способов представления и предметной схематизации мышления для решения тех или иных специфических теоретико-мыслительных и теоретико-деятельностных задач.

К этому можно добавить, что большая часть текстов, составивших настоящее издание, содержит в себе обсуждение и рефлексии тех идей и представлений, которые были развиты в первые два десятилетия деятельности ММК, обсуждение смысла и значения исходных идей и представлений для новых, системодетельностных трактовок взаимоотношений мышления, понимания и рефлексии. И это обстоятельство избавляет нас от необходимости предпосылать сборнику свое введение, где давалась бы содержательная характеристика идеям и представлениям о мышлении и теории мышления, развивавшимся в рамках ММК на протяжении 1950–1960 гг. Вместо этого мы предоставили слово самому Г.П.Щедровицкому, поместив в начале книги два фрагмента из таких рефлексивных текстов, посвященных истории исследования мышления в ММК, – в качестве своего рода историко-генетического введения.

³ Выпуск в свет книги (или книг), дающих представление о системе взглядов на мышление и их развитии в творчестве Г.П.Щедровицкого и ММК в этот период предполагается.



Эволюция программ исследования мышления в истории ММК *

1.

Понятие программы исследований или понятие программы методологических инженерно-конструктивных разработок, по-видимому, является таким же эпистемологическим понятием, как и понятия знания, модели, факта и т.д. И необходим, следовательно, анализ развития программ, для того чтобы понять ход движения научных идей.

Именно эти представления о программах должны быть исходными для всех вступающих в научную работу и желающих сориентироваться в том разнообразии представлений и идей, которые существуют в той или иной области. Ошибку сделает тот молодой исследователь, который сталкиваясь с разнообразными подходами в области исследования мышления, с разнообразием идей, будет спрашивать: «А какие же из них являются верными, или правильными, какие из них *точно* представляют объект изучения и каков этот объект?».

Для человека, который хочет использовать научные знания в *практической* области, такое представление является основным и необходимым, но для человека, желающего работать в определенной *научной* области, такое представление мало что даст. Имея дело с этой совокупностью идей, пытаться понять, что такое мышление как таковое, совершенно бесполезно; можно говорить о том, как представляли мышление те или иные группы исследователей, те или иные кружки, и почему они это представляли так, а не иначе. Это во многом есть не только отображение самого объекта, но и фиксация их практической позиции, задач, которые они перед собой ставили, определенных ценностей, ориентаций и т.д.

И вот для того чтобы дать ориентировку в одном из направлений работы Комиссии по психологии мышления и логике Всесоюзного общества психологов, я сначала задал группу программ: 01, 02, 03.

Это, во-первых, исходная логико-методологическая программа А.А.Зиновьева (01), во-вторых, ее дочерняя программа, развитая, в частности, в работах Грушина (02), и, наконец, в третьих, программа 03, о которой я буду сегодня говорить более подробно – программа анализа и описания развития тех или иных понятий. В ходе взаимодействия этих программ сложилась, а затем выделилась и оформилась программа 1 – первая программа исследования мышления, которая разворачивалась до 1963 г. как целостная и единая программа, контролируемая специальным осознанием и специальной методологической работой.

* Под этим общим заголовком публикуются: 1) фрагмент одноименного доклада (февраль 1975 г., арх. № 1871) и 2) фрагмент работы [Щедровицкий 1996 а].

Затем в 1963 г. произошел перелом, когда единая программа исследования мышления распалась на ряд других. Я представил их в схеме, перечислил и буду в дальнейшем к ним обращаться. Таким образом, с 1963 г. программа исследования мышления развертывалась на фоне и во взаимодействии с целым рядом других программ, объединяемых общей логико-методологической установкой.

Это были программы: 1) исследования деятельности, 2) исследования знаков и знаковых систем, 3) исследования научных предметов, 4) исследования сознания, 5) исследования проектирования, 6) исследования управления и т.д. Поэтому после 1963 г. не имеет смысла рассматривать программу исследований мышления, не соотнося ее с другими программами, их изменениями и результатами, полученными в их рамках.

Первая программа исследований мышления с самого начала была развернута в совокупность программ. В ней развертывались: 1) определенные понятия о мышлении, 2) определенная методология построения теории мышления, 3) целый ряд частных подпрограмм, касавшихся исследования мышления на разном материале, 4) программа исследования развития мышления и ряд других. Следовательно, сама эта программа исследований мышления была крайне сложной и внутренне дифференцированной. Но, несмотря на эту сложность и дифференцированность, до 1963 г. она оставалась и развертывалась, как я уже отметил, как единая и целостная программа.

Мне сейчас очень важно еще раз подчеркнуть, что именно такое формальное представление потока исследований и разработок – в виде развертывающейся *системы программ* – дает, по сути дела, общую ориентацию начинающим исследователям. На первый взгляд, может показаться, что такое представление бессодержательно, ибо не дает ответа на вопрос, что такое мышление и как его представлять. Но в том-то и дело, что именно такого рода структуры являются инвариантными в науке и в методологии и могут существовать достаточно длительное время, в то время как содержание понятий о мышлении, методологические принципы и историческая критика могут существенно изменяться и меняться в ходе развития самих исследований. Содержание понятий о мышлении непрерывно изменяется по мере реализации самой программы, охвата нового эмпирического или практического материала, по мере появления новых идей или соотнесения с методами других наук, но как определенный элемент, или блок, в этой системе разработок и исследований понятие о мышлении существует постоянно. Поэтому можно, скажем, фиксировать понятие о мышлении, предметное исследование мышления и построение теории мышления как определенные элементы, или части, предмета, создаваемого здесь метаметодологией.

И все эти элементы в их взаимоотношениях и связях можно рассматривать как определенный инвариант, который остается и выражает общую структуру научных разработок в данной области. Поэтому изложить для

начала такую структуру – это значит представить все целое, в котором мы дальше будем двигаться, так или иначе заполняя блоки. Во всяком случае, я не представляю сейчас другого пути для схематического, эскизного, или контурного, изложения того, что происходило, ибо разных понятий и направлений исследования было так много, что простое их перечисление заняло бы очень много времени. <...>

Напомню основные характеристики исходной логико-методологической программы А.А.Зиновьева.

Эта программа, во-первых, была ориентирована на *построение методологии*, т.е. разработку теории методов научного исследования, но при этом по своему характеру, по идеологии и, как предполагалось, по используемым средствам она была *исследовательской*, или *научной*; другими словами, считалось, что методология может быть разработана средствами научного анализа. Во-вторых, она была *содержательной*, а не формальной и в этом плане противопоставляла себя всем программам построения формальной логики. В-третьих, она была *исторической* по своим идеям, ибо предполагалось, что мышление вообще и средства и методы научного исследования в частности непрерывно развиваются. Эта трактовка форм, или структур, мышления была противопоставлена известному тезису о том, что формы мышления для всех времен и всех народов одинаковы, тезису, на базе которого строились все существующие концепции логики. И, наконец – что очень важно, – сама разработка методологии, которая одновременно выступала как логика, теория методов и теория мышления, трактовалась как *эмпирическое* научное исследование. Считалось, что различные формы мышления могут быть выявлены и обнаружены в работах классиков естествознания или гуманитарных наук.

Но при этом логика и методология, ориентированные таким образом, т.е. научно-эмпирически и исторически, не имели своих специфических средств и методов и своей онтологической картины, т.е. не имели того, что сейчас обычно называется предметом научного исследования.

После этих напоминаний я коротко охарактеризую программу 03 и затем перейду к рассказу о том, как же формировалась первая программа исследования мышления, т.е. программа, которая обозначена у меня под номером 1.

Программа развития «философского анализа естественнонаучных понятий»

Программа 03 имеет за собой большую традицию в советской философии. Во всяком случае, как отчетливо и осознанно сформулированная она существует уже в работах Б.М.Кедрова и И.В.Кузнецова с 1946–1948 гг.

Но и до работ этих советских философов она намечалась и обсуждалась многими зарубежными философами и естествоиспытателями. Именно в этом направлении шли многие размышления Э.Маха. На базе этого подхода были получены фундаментальные результаты А.Эйнштейна и

сложилась довольно мощная традиция естественнонаучного и философско-критического анализа, представленная, в частности, работами А.Эддингтона и П.Бриджмена.

Та работа, которую осуществляли в этом плане мы, не была непосредственно обусловлена влиянием идей И.В.Кузнецова и Б.М.Кедрова – я начал ее еще на физфаке МГУ примерно в то же время, ничего не зная о работах этих ученых. Но в дальнейшем их работы, а главное, выраженные в них идеи, безусловно, оказали на нас известное влияние, во всяком случае – в плане противопоставлений.

Наша задача состояла в том, чтобы попытаться представить себе основные закономерности и механизмы развития понятий и таким образом получить некую путеводную нить и дополнительное средство для искусственного строительства понятий, для их проектирования или конструирования. Предполагалось, что рассматривая такие естественнонаучные понятия, как «масса», «сила», «скорость», «время» и т.д., можно представить их в такой форме, в таком структурном изображении, которое объясняло бы основные процессы и механизмы их дальнейшей трансформации, изменения и развития.

Но трудность здесь состояла в том, что вообще не удавалось выделить *форму* понятий, ибо фактически – работал ли это естествоиспытатель или традиционно ориентированный философ – понятие по-прежнему понималось в духе Гербарта, т.е. как некое *понятое содержание*, и поэтому, когда начинали обсуждать, скажем, понятие «масса», понятие «сила» или понятие «ускорение», то могли фиксировать, в лучшем случае, совокупность тех признаков-характеристик, которые относились к этим понятиям и которые были очевидно сознаваемы, но которые характеризовали отнюдь не его формальную структуру, а то, что понималось и схватывалось человеком – исследователем или кем-то другим. Но в силу этого всякое изменение понятия всегда выступало просто как появление другого понятия.

Скажем, если первое понятие задавалось через посредство свойств-характеристик $\{a, b\}$, то второе – через посредство свойств-характеристик $\{a, b, c\}$, либо просто $\{b, c\}$. Следовательно, мы могли зафиксировать, что появился какой-то новый признак, но откуда он появился и как он был определен исходным набором признаков $\{a, b\}$, было неизвестно.

Еще хуже положение выглядело тогда, когда просто сначала был признак $\{a\}$, а потом начинали фиксировать признак $\{b\}$. И даже в тех случаях, когда проделывался операциональный анализ такого типа, какой проделал с понятием времени А.Эйнштейн, в результате оказывалось, что понятие исчезало; ведь именно так и получилось у А.Эйнштейна: он уничтожил понятие «время», описал процедуры сопоставления разных движений и ввел в качестве основополагающего другое понятие – «одновременность».

Но вернемся к программе философского анализа понятий. Хотя задача была поставлена очень четко и нужно было представить в структур-

ных схемах именно *форму* понятия, причем представить ее так, чтобы в самом этом структурном изображении содержалась возможность, или потенция, дальнейшего развития, тем не менее решить ее не удавалось. Не могла помочь в этом плане и формальная логика: она тоже не давала представления о форме понятия. Больше того, вы, наверное, хорошо знаете, что в формальной логике вообще не было такой единицы, как «понятие». Имелись суждения, умозаключения, термины. Но «понятия» как единицы не было. Иногда в номиналистической традиции понятие отождествлялось с термином, или со значением термина, но тогда вставал вопрос о том, что такое «значение». И даже если мы отвечали на него – а обычно это был ответ в том же вещно-объектном духе, – вставала та же самая структурно-генетическая проблема: объяснить, как одно значение превращается в другое.

Таким образом, задача исследования развития понятий, выявление закономерностей и механизмов этого развития была поставлена, а средств и форм представления понятий как развивающихся фактически не было.

Отсутствие такого представления отнюдь не снимает самой программы: каждый раз, оставляя задачу нерешенной, мы думаем, что это именно нам и в этих особых условиях не удалось найти и выявить суть, а исследователям, идущим за нами, это удастся.

Итак, с одной стороны, была программа 01, которая трактовала прежде всего проблему метода и ставила своей задачей выявление процессов исследования разнообразных объектов, а с другой – была программа 03, которая требовала представить понятия в их непрерывном изменении и развитии. При этом задача исторического исследования формулировалась в общем виде, безотносительно к различию между рассуждением и понятием; она формулировалась как некий единый принцип, и поэтому можно говорить вообще об *историческом подходе* в этой программе. Но как можно было применить этот подход к столь разным предметам, какими являлись понятия и рассуждения, и, в частности, можно ли вообще представить рассуждение как исторически развивающееся – эти вопросы хотя и стояли, но никакого определенного ответа на них или их решения не было.

*Исторический смысл
логико-методологической программы А.А.Зиновьева
и причины ее распада*

Здесь я перехожу уже ко второму пункту – весьма важному в ходе сегодняшнего изложения и обсуждения. Это прежде всего вопрос о том, в чем же, собственно, суть программы и каким критериям и требованиям она должна удовлетворять – скажем, в какой мере она должна быть непротиворечивой и последовательной. Ведь всегда возможна точка зрения, что какая-то программа была противоречивой и непоследовательной, а потому и нереализуемой. Скажем, Зиновьев поставил задачу построить единую логико-методологическую программу исследований, в которой дол-

жны были быть соединены моменты: 1) методологии, 2) нормативной дисциплины, или логики, и, наконец, 3) научного исследования и науки. Но ведь можно сказать, что это была просто ошибка, просто недоразумение, потому что в предшествующем развитии философской мысли было показано, что методология – это одно, логика как нормативная дисциплина – это другое, и ни то, ни другое не имеет отношения к научному исследованию в собственном и точном смысле этого слова. И поэтому ясно – скажем, как это было ясно Х.Вольфу и дальше И.Канту, – что развивать эти три направления нужно раздельно, и всякая попытка построить из них какое-то целое представляет собой – уже по замыслу – идею неверную, возникающую, в лучшем случае, от недостаточной культуры, от недостаточного знания прошлых неудач и злоключений.

Ведь при историко-критическом анализе очень скоро выяснялось, что эта задача уже ставилась 150, 300 или даже 500 лет тому назад, что ее интенсивно пытались решать, тратили на это много сил, но в конце концов выяснялось, что задача эта неразрешима, даже более того – неверно поставлена.

Бесспорно, можно взглянуть на зиновьевскую программу и таким образом. Можно сказать, что это – монстр с самого начала, что мыслитель поставил перед собой неверную и бессмысленную задачу. И очень часто – я не говорю «к сожалению» или «к счастью» – квалифицированный философ, удовлетворенный состоянием своей профессиональной сферы, становится именно на такую позицию и произносит соответствующую тираду. И с точки зрения содержания он прав.

Но у всего этого есть и другая – очень интересная, очень сложная и очень важная – сторона. Если бы философы, ученые и методологи всегда решали только «правильные» задачи, то вообще не было бы восходящего развития науки. Ибо правильная задача – это та, которая уже имеет решение, а те задачи, которые не имеют решения при существующих средствах и методах, – это, по определению, неверные, неразрешимые задачи или проблемы. Но если задача уже имеет решение, и тем более в виде программы и в рамках методологии, то зачем, спрашивается, ее ставить.

Здесь мы с вами приходим к одному крайне интересному вопросу: а как возникают такого рода гибридные, синкретические программы, соединяющие в одно целое (или формулирующие задачу соединить в одно целое) то, что раньше развивалось и развертывалось как разное? Вот здесь, в этой логико-методологической программе А.А.Зиновьева, мы явно имели именно такой случай, когда соединялись и связывались между собой, во всяком случае в интенции, такие вещи, которые – как было показано предыдущим развитием философии, методологии и всех наук – не должны соединяться и смешиваться.

Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, нельзя дать, рассматривая лишь содержание самой этой идеи. Подобные синкретические склейки возникают прежде всего в области идеологии, и как таковые они всегда обусловлены и детерминированы множеством не только культурных, но и со-

циетальных факторов. И определяющими оказываются даже не сами по себе эти факторы, а их своеобразное переплетение. Именно так, как мне представляется, мы должны подходить и к данному случаю.

Мы можем выделить целый ряд факторов, которые сыграли в этом определенную роль. Во-первых, определенная идеологическая установка, которую можно назвать даже модой – к середине XX в. наука приобрела уже такое значение в практической жизни всего общества, что быть ученым стало очень престижным и важным. Сегодня мы, по сути дела, всякую мыслительную работу «красим» в цвета науки. Поэтому инженеру, который изобрел какую-то машину, дают сейчас звание кандидата технических наук, хотя он не создавал никакого знания, а лингвисту, который разрабатывает какую-то структуру языка, дают звание кандидата филологических наук.

По этой традиции сама задача разработки методологии и логики, несмотря на то, что как методология, так и логика не являются науками, могла восприниматься и воспринималась как научная уже в силу того, что она принадлежала к области мыслительной работы. Это – чисто социальные факторы, но, кроме того, у такой постановки задач была и своя культурная традиция.

Если, скажем, мы начнем обсуждать проблему научной разработки логики, то должны будем непосредственно выводить ее от Г.Гегеля, потому что именно он имел неосторожность поставить такого рода задачу. Когда сегодня мы читаем заглавие его основного труда – «Наука логики», – то воспринимаем это обыденным образом, как нечто само собой разумеющееся, и уж во всяком случае не вызывающее удивление, но в то время, когда писалась эта книга, в самом этом заглавии была заключена революция, потому что, как представляли его предшественники и современники, логика не могла быть наукой. Таким образом, поставив в заглавии своей книги словосочетание «Наука логики», Гегель совершил нечто святотатственное и революционное.

Значит, в какой-то мере основные идеи программы Зиновьева можно выводить из глубокой и освященной уже временем философской традиции.

Но и другой момент в программе Зиновьева имел за собой долгую и глубокую традицию, хотя здесь его тезис по отношению к идеям великих мыслителей прошлого носил, скорее, контр-реформаторский характер. Хорошо известно отношение Ф.Бэкона и Р.Декарта к традиционной логике, которую они оценивали как форму для изложения уже известного, но не как средство и метод приобретения нового знания. XVIII в. в общем и целом продолжал эту традицию. Но в XIX в., в особенности во второй его половине, отношение к логике изменилось, и многие мыслители стали рассматривать ее как часть, или даже как основание, методологии. Здесь достаточно указать на «Логику» Х.Зигварта, включавшую в себя учение о методе, ибо она снимала и обобщала целый ряд направлений мысли, характерных для второй половины XIX столетия.

В своих принципиальных установках А.А.Зиновьев целиком воспринял эту новую идеологию и, в разрез с очень важными и принципиальными положениями Р.Декарта и Ф.Бэкона, попытался опереть методологию на логику. В зиновьевском тезисе «методология как логика», несмотря на все традиционные моменты, указанные мною выше, тоже содержался революционный момент и вместе с тем глубокая вера в то, что методология может быть развита в связи с логикой и, больше того, что логика является своеобразным основанием для методологии. По отношению к большой философской традиции это тоже была, следовательно, еретическая мысль, которая может и должна специально обсуждаться.

Ведь с точки зрения здравого смысла совершенно не очевидно, может ли логическое представление форм или приемов и способов мышления использоваться при создании каких-то новых методов, пригодных для научного изучения еще не исследованных, не описанных объектов. Формулируя указанный принцип, Зиновьев постулировал, что такая возможность есть и ее нужно лишь реализовать.

Я охарактеризовал здесь только два момента, показывающие связь программы Зиновьева с традиционными линиями развития европейской философской мысли; к ним можно было бы добавить и другие, но не это мне сейчас важно. Я могу лишь обратить ваше внимание на то, что многие факторы разного рода – от высокой идеологии и глубоких философских традиций до низкой моды и обыденных представлений – сыграли определенную роль в формировании логико-методологической программы А.А.Зиновьева. Но не в этих факторах самих по себе суть дела, а в том, что их соединение всегда и при любых условиях представляет собой уже определенное *новообразование* и несет в себе новые принципиальные возможности. Важно лишь одно: в какой-то момент мыслитель соединяет в своей программе и программных установках идеи, представления и методы, которые до этого вообще не объединялись, и при этом, сколь бы последовательным и строго мыслящим он ни был, он создает синкретическое образование, или монстра, он соединяет на живую нитку, часто просто прикладывая друг к другу, такие образования, которые с точки зрения «правильных» представлений, с точки зрения того мыслителя, который знает, как все «на самом деле» устроено, никак не могут быть соединены и связаны друг с другом.

Если мы обратимся, например, к истории кибернетики, к ситуациям ее возникновения и дальнейшего развития, то увидим, что сама исходная идея, сформулированная Н.Винером, была точно такой же – синкретической, неправильной и во многом даже неразумной. Именно поэтому, скажем, академик А.Н.Колмогоров при обсуждении этого круга вопросов на общем собрании Академии наук СССР сказал, что это – бессмыслица, такого не может быть и никогда не будет. И в известном смысле он прав, поскольку такого действительно не может быть, и кибернетика в качестве науки, как мы это сейчас уже видим, действительно не состоялась. Но она,

несмотря на все эти «нет», все-таки появилась и оформилась как особое движение, и из него развился затем целый ряд новых направлений мышления, новых проблем и даже способов жизни.

Короче говоря, вырабатывая какую-то новую программу и при этом соединяя друг с другом разные, часто несовместимые друг с другом идеи и представления, мы создаем некий синкрет, неправильный, противоречивый и с точки зрения традиционных представлений не имеющий права на существование, но коль скоро такой синкрет уже создан, он начинает дальше как-то жить и развиваться, в особенности если его поддерживают достаточно настойчивые и активные люди, которые верят в эту «бредовую», неразумную идею и непрерывно развивают и совершенствуют ее. И какой бы она ни была в своих истоках, она в конце концов приобретает вполне «благопристойный» вид, включается в культурную традицию и даже становится образцом для деятельности. Конечно, то, что при этом получается, мало похоже на то, что было зафиксировано непосредственно в программе. Но если бы не было программы, то не было бы и всего остального.

Это прекрасно показал в своих работах И. Лакатос. И, в частности, он продемонстрировал, что даже классическая механика, которая нам сейчас представляется образцом науки, возникла точно так же – как бессмысленный и противоречивый синкрет. И точно так же возникло дифференциально-интегральное исчисление: Беркли убедительно показал, что «бесконечно малой» не может быть никогда, и тем не менее она возникла и дала миру мощнейшее средство анализа.

То же самое произошло, на мой взгляд, и в данном случае. Программа, предложенная Зиновьевым, была синкретичной и объединяла (по установкам) целый ряд несовместимых компонент. Но дело не в том, чтобы задним числом оценивать ее характер и природу, а в том, чтобы понять, что же получилось потом, после того как она оформилась и стала реализовываться, а вместе с этими попытками реализации – трансформироваться и развиваться. На мой взгляд, главное в том, чтобы понять, что *нового* несла в себе эта программа и как это новое проявилось в дальнейшей истории этой программы.

Бесспорно, что программа была синкретической, и поэтому, что бы мы ни говорили про ее творческую функцию, она обязательно должна была рассыпаться или, во всяком случае, дифференцироваться таким образом, чтобы эти неоправданно сведенные, соединенные вместе части или идеи, вновь бы разошлись и были объединены разумным образом, т.е. так, как они вообще могут совмещаться.

Этот тезис, если мы будем рассматривать его как принцип, даст нам определенное средство для прогнозирования дальнейшей судьбы программы Зиновьева: поскольку там были совмещены и соединены несовместимые части – методология, логика и теория мышления, – то эти несовместимые части должны были уже внутри работы по реализации этой программы разойтись и распасться – раньше или позже, но истина все равно

должна была восторжествовать. И если в предшествующем развитии и его осознании установлено, что методология – это не логика, а логика – это не методология, и что как первое, так и второе – это не теория мышления, то так это дальше и будет получаться, что бы ни утверждал автор программы и его сторонники.

И, действительно, теперь, когда мы рассматриваем эволюцию программ в ретроспективе 20 лет, мы видим, что так оно и получилось: исходная логико-методологическая программа распалась на три других программы, а именно: на программу разработки методологии, на программу разработки логики и на программу разработки науки о мышлении.

Так это реально произошло, несмотря на все декларации сторонников программы и несмотря на то, что в своей работе они пытались реализовать установки этой единой программы. И, в принципе, этот процесс должен быть детально изучен и проанализирован. Но это уже дело дальнейшего, а сейчас я хочу вернуться чуть назад к самой программе и выделить в ней один момент, важный для объяснения всего последующего.

Установка на то, что логика и методология могут и должны разрабатываться научно, предполагала работу в определенном научном предмете, а его не было, его еще предстояло создать. Больше того, предстояло еще определить, каким может быть и каким будет этот предмет, и что в нем, собственно говоря, надо будет изучать. И если в ответ на этот вопрос утверждалось, скажем, что изучать надо мышление, то это было, с одной стороны, достаточно смелое, а с другой – достаточно неопределенное утверждение, и его надо было еще дополнительно развивать и конкретизировать, чтобы стало ясно, что же реально в нем содержится.

Его можно было понимать таким образом, что логика и методология будут базироваться на науке о мышлении, причем на той науке о мышлении, которая к этому времени существовала и фиксировалась исследователями; но его можно было понимать совсем в другом смысле: что логика и методология должны базироваться на теории мышления, которая должна быть заново создана для обоснования и научного фундирования логики и методологии, что эта теория мышления даст совершенно новое представление о «мышлении» и для этого надо будет сформировать новый научный предмет – именно такой, какой необходим для того, чтобы обеспечивать логические и методологические разработки.

Первая трактовка имела то преимущество, что она указывала на нечто уже существующее, а поэтому достаточно определенное и понятное, хотя явно несостоятельное. Вторая же трактовка не давала ничего определенного, а поэтому могла восприниматься только скептически.

Ведь было совершенно неясно, что мы имеем в виду, когда говорим, что должна быть построена наука о мышлении или что мышление должно стать предметом исследования и т.п.

Но в наших лозунгах начала 50-х годов фиксировалось именно последнее. Была, следовательно, установка на построение нового научного

предмета. Но что значит – построить научный предмет?

Здесь я совершенно сознательно делаю паузу и хочу, чтобы вы все задумались и попробовали представить себе, как такая задача решается.

По-видимому, чтобы строить научный предмет, нужно прежде всего организовать деятельность по его строительству, а это значит – создать для нее определенные средства и метод, организовать их в определенный «аппарат». Во всяком случае, если мы не имеем такого аппарата заранее, то придется его создавать в ходе самой работы. И именно это произошло с нами: уже в ходе самого строительства теории мышления мы стали создавать некий «организм» самой работы, стали насыщать его необходимыми средствами и «машинами». И это была по природе своей методологическая работа.

Здесь вы можете спросить: почему, собственно, я называю эту работу «методологической», а, скажем, не научной? Да прежде всего потому, что собственно научная работа, т.е. работа по канонам и правилам научного исследования, возможна только в рамках уже существующего предмета. Вот построил, к примеру, Галилей научный аппарат механики – тогда на сцену может выходить ученый, вести исследования в рамках этого предмета и параллельно развивать и трансформировать его в другие научные предметы. А если такого предмета еще нет, научных исследований и работок просто не может быть. И поэтому в «Беседах» Галилей выступал не как ученый, а как методолог. И точно так же работал Р.Декарт, когда он создавал аналитическую геометрию и дисциплины естественного типа.

Вы хорошо знаете (ибо это хрестоматийный пример), что он сначала построил методологию – знаменитое «Рассуждение о методе», – а затем применил ее, создав, притом только как пример, три науки.

Но то же самое должно происходить и здесь: для того чтобы разработать теорию мышления как науку, нужно прежде всего создать «строительный отряд» и особым образом организовать его. Именно так поступали в Древнем Египте при строительстве пирамид: сначала из рабов «собирали» мегамашину (термин Л.Мамфорда), а затем эта мегамашина по определенным программам строила пирамиду. И то же самое получилось у нас: компания людей, набравшаяся окаянства строить науку о мышлении, чтобы затем вывести из нее логику и методологию, должна была каким-то образом работать и в ходе этой работы сформироваться и организовать, т.е. собраться в мегамашину. Но эта мегамашина и была тем, что мы называем «методологией теории мышления».

Таким образом – и именно это мне сейчас важно, – программа разработки методологии, логики и теории мышления, выдвинутая Зиновьевым, породила прежде всего организм методологической разработки теории мышления, и внутри этого организма начали разрабатываться, с одной стороны, понятие о мышлении, а с другой – предмет теории мышления.

Описывая все это, я не ввожу и не передаю вам каких-либо понятий; я хочу, чтобы вы представили себе все это прежде всего на уровне образа:

складывается или создается определенный организм «живой» деятельности; он начинает функционировать; за счет его функционирования внутри как бы «вынашиваются яйца», из которых потом «вылупятся» новые образования и начнут самостоятельное существование. Таким образом получаются, с одной стороны, понятие о мышлении, с другой – научный предмет теории мышления.

Таково то исходное представление, которое мне сейчас важно передать вам.

Но то, что происходило при разработке теории мышления, происходило и при разработке логики и методологии. Хотя мы намеревались и планировали разрабатывать методологию, логику и теорию мышления научным, и даже научно-эмпирическим, образом, и именно так понимали и осознавали цели и способы своей работы, реально мы делали нечто другое – создавали «организм» (или «организмы») методологической разработки теории мышления, логики и методологии, и уже внутри этого «организма» (или «организмов») формировались теория мышления, логика и методология. Самое главное здесь в том, что организм жил по своим имманентным законам, производил не столько то, что должен был производить, сколько то, что *мог* произвести. И именно этот, во многом естественный, процесс его функционирования мы и должны сейчас рассмотреть.

Первый момент, который я хочу выделить и подчеркнуть – это то, что методология оказалась здесь в особом положении. Мы не только и не столько разрабатывали ее научным образом, сколько творили в своей *живой* работе, а затем осознавали, рефлексировали свою работу и таким образом получали знания о методологической работе и методологии не путем изучения противопоставленного нам объекта, а путем рефлексивного анализа и нормирования своей собственной деятельности.

Это – обстоятельство исключительной важности; именно в нем – ключ к пониманию всего того, что происходило в те годы и потом.

Поскольку эта компания людей, объединившись в один организм, осуществляла методологическую работу, *методологизировала* – а именно на этом я сделал ударение, – и поскольку все эти люди могли еще постоянно и непрерывно осознавать, рефлексировать свою собственную работу, постольку нормировка и описание этой работы выступили как нормировка и описание методологического мышления вообще.

Но теперь я хочу обобщить прием, который я применил, и получить с его помощью ряд дополнительных выводов. Ведь логика и теория мышления могут выступить в тех же самых функциях и на тех же ролях, что и методология, если участники и члены этого «организма» будут не только методологизировать, но также еще и время от времени исследовать мышление, взятое в каких-то его образцах, разрабатывать логику, т.е. производить нормировку рассуждений в процессах мышления, или, скажем, начнут конструктивную и проектную работу и точно так же будут ее рефлексировать, осознавать.

Именно это и происходило в практике нашей работы. Ведь исходная логико-методологическая программа Зиновьева требовала, чтобы все мы занимались – параллельно и одновременно – как научными исследованиями мышления, так и логической нормировкой и разработкой методологических принципов и схем. И поэтому все без исключения члены нашего кружка не только исследовали мышление, но также разрабатывали логику и методологию (причем, в зависимости от интересов и склонностей одни центрировали свое внимание на первом, а другие на втором или третьем). И каждая из этих групп соответствующим образом осознавала свою работу: одни – естественнонаучным образом, другие – логически, а третьи – преимущественно методологически.

В результате внутри организма методологической работы стала происходить поляризация и дифференциация. Каждая из групп осознавала себя все более определенным и специфическим образом. Единый организм методологии стал распадаться на ряд разных организмов: организм исследований, организм логической нормировочной работы, организм методологии. Несколько позднее появились также организмы конструктивно-проектной и организационно-управленческой работы.

С этого времени история Московского методологического кружка разветвляется по нескольким линиям. Для одних групп такая поляризация и специализация стала естественным выходом из того затруднительного положения, в котором они оказались, приняв исходную логико-методологическую программу Зиновьева. Так, в частности, оформилась линия движения от методологии к чистой логике, возглавленная с 1958 г. самим А.А.Зиновьевым. Для других групп, наоборот, главной ценностью являлась установка на комплексную методологическую работу, и поэтому, несмотря на поляризацию и расхождение разных способов работы, они стремились сохранить их связь и единство. Это была линия развития самой методологии (в разных ее формах).

Следуя принципам исходной программы, методолог в ходе своей работы принимал то одну из этих позиций, то другую; он должен был все время как бы «бегать» с места на место, перенимая то стратегию и средства работы исследователя, то стратегию и средства работы конструктора, проектировщика или логика. И это был единственный способ осуществить то, чего требовала от него синкретическая программа Зиновьева. Если там формулировалось требование: «Нужно разрабатывать логику, методологию и теорию мышления вместе» (причем, естественно, что теорию мышления – исследовательскими способами, логику – собственно логическими, методологию – собственно методологическими), то мыслитель, принявший эту программу, был обречен на то, чтобы какую-то часть времени осуществлять логическую работу, какую-то часть времени – исследовательскую и т.д.

Этот мыслитель в силу исходных установок своей программы по необходимости оказывался непрофессионалом, но он должен был осуществлять свою работу на высшем уровне, а это значит – всюду на професси-

ональном уровне, и поэтому у него оставался только один путь: уметь реализовать с предельной точностью и в чистоте средства, методы и процедуры каждого из этих направлений, а кроме того, уметь перемещаться из одной позиции в другую и рефлексировать каждую из них всеми возможными способами (скажем, логическую работу – логически, научно, проектно и т.д.; соответственно, и все остальные виды работы – научную, проектную, историческую и т.д.).

Таким образом, мы дошли до того бесспорно творческого элемента, который был заложен в синкретической, нарушающей традицию программе Зиновьева. Для того чтобы реализовать ее основную установку – а в идее это было объединение методологии, логики и теории мышления, – пришлось создать особый организм работы, в котором участники должны были непрерывно «менять маски», осуществляя то одну, то другую, то третью, то четвертую работу, и при этом еще определять некие принципы и нормы соединения их вместе.

Это, бесспорно, была очень нелегкая, а главное – очень запутанная и неопределенная работа. Она все время должна была порождать сомнения и неуверенность. Она разрывалась вне определенных профессиональных рамок и поэтому затрудняла социализацию. Все это так. Но ведь таким образом, фактически, начала решаться одна из самых важных и актуальных задач из числа стоящих сейчас перед человеческим мышлением, начали преодолеваются те барьеры и границы, которые возникли в результате бурного развития наук за последние 300 лет, когда каждая наука выделила свой особый «коридорчик», определила, что к ней относится, и сказала: «А все остальное меня не касается и меня не интересует». Сейчас ученого-естествоиспытателя, когда он работает профессионально, не интересует, что делает инженер-конструктор или историк. Он говорит: «Я знаю свой предмет, свои методы и средства, я знаю, где “нажимать”, как “нажимать” и в какой последовательности это делать, больше того, я даже знаю, какие результаты должны получаться и будут правильными, а какие, наоборот, будут ошибочными и бессмысленными».

Современный ученый знает все, что ему нужно знать, а всем остальным он просто не интересуется (хотя, заметим в скобках, очень заинтересован в том, чтобы все остальные знали о его результатах и достижениях и интересовались ими; поэтому он очень остро переживает то «равнодушие» к принципиальным и «перевортывающим все» результатам – имеются в виду результаты в его собственной науке, – которое распространилось сейчас в мире).

Но эта специализированная и крайне ограниченная позиция и соответствующий ей подход становились невозможными, если вы принимали синкретическую – «ошибочную» и «бессмысленную» – программу А.А.Зиновьева. Эта программа требовала, чтобы вы осуществляли одну, другую, третью, четвертую работу, да еще все время рефлексировали по поводу того, как они друг с другом соединяются и что из всего этого выходит.

Таким образом, программа Зиновьева положила начало бесспорно новому и своеобразному объединению – организму методологической работы, – в котором стали совмещаться и объединяться разные типы мышления и деятельности – научные, конструктивные, проектные, исторические, нормативно-логические и т.д. И все это разворачивалось на одном и том же материале мышления и с одной и той же целью и задачей – построить теорию мышления, которая одновременно должна была быть логикой и методологией или, во всяком случае, должна была обосновать их.

Но то, что я сейчас рассказал, а именно объединение в рамках организма методологии разных способов работы, разных стилей мышления, не отвергает и не отрицает того, что я говорил раньше: что синкретическая программа должна была распасться. Потому что такого рода синтез – это крайне важный для меня момент – может осуществляться (я в этом убежден) только на уровне *способов мышления*, а не предметов. Мысль о том, что, скажем, кибернетика или физика могут объединить науки на базе некоторого теоретического представления или определенной онтологии – физикалистской или управленческой – является, как показывает весь опыт таких попыток, нереализуемой. Научные предметы непрерывно дифференцируются, и, чем больше они дифференцируются, тем большего успеха достигает само исследование.

По иным законам живут средства и методы мышления. Непрерывное их объединение и комплексирование, дополнение одних другими – залог успеха; это всегда дает бесспорный результат. Ибо метод в известном смысле свободен от объекта (в каких границах он с объектом все-таки связан – это одна из интереснейших проблем содержательной логики и теории мышления, но то, что такая свобода и независимость в известных пределах существует, бесспорно). Развивая и разворачивая средства и методы мышления, конструируя новые приемы и способы, мы создаем необходимые условия и средства для выявления содержания нового типа и для последующей его объективации в виде объектов особого категориального типа. Поэтому, если научные предметы непрерывно дифференцируются, то средства и методы мышления, напротив, непрерывно комплексизируются, организуются и систематизируются. И именно в средствах и методах мышления происходит, только и может происходить, реальное объединение и синтез всего человеческого мышления и деятельности.

Поэтому подлинно глубокий и продуктивный смысл тезиса о единстве логики, методологии и теории мышления, провозглашенного в программе Зиновьева, надо видеть отнюдь не в установке на разработку единого научно-логико-методологического предмета (что декларировалось в самой программе), а в том, что стояло и было скрыто за этим – в необходимости при решении задач, объявленных в программе, связывать и объединять научно-исследовательские, конструктивно-нормативные, проектные, критические, исторические и другие способы и стили мышления. И соответственно этому главным последствием и результатом программы Зиновьева

вьева явился, на мой взгляд, именно организм методологического мышления и методологической работы, в котором объединялись эти разнообразные приемы и стили мышления, а сама программа в предметной части, несмотря на объединение методов и стилей мышления, расщеплялась и должна была разбиться на целый ряд дочерних программ.

При этом между возникшими таким образом новыми программами устанавливались определенные отношения и связи. К примеру, не имея больше возможности говорить о единстве логики, методологии и теории мышления, мы стали говорить, что теория мышления или наука о мышлении дает научное основание логике и методологии. И этот тезис принимался многими без особых возражений (такие возражения появились много позднее, где-то в конце 60-х годов), хотя было не очень ясно, как именно теория мышления может обосновать логику или методологию. Интуитивно было ясно, что какие-то моменты такой связи существуют и постоянно нами используются, и этого было достаточно, чтобы принять и не оспаривать тезис в его общем виде.

Итак, исходная логико-методологическая программа Зиновьева распалась, по меньшей мере, на три разных «предметных» программы – программы построения логики, методологии и теории мышления. Каждая из этих программ существовала в своем организме методологической работы, и все эти организмы были связаны друг с другом, во всяком случае на первых порах, как организмы из единой сферы методологии, как разные проявления единой методологической работы.

Произошло это где-то в 1957–1959 гг., и поэтому дальше каждую из этих программ, ее развитие и развертывание, нужно рассматривать автономно – хотя и в связи с другими, но как процесс в строго определенном целом, подчиняющийся своей особой логике.

Дальше в соответствии с целями моего доклада я буду обсуждать только одну из этих программ, а именно программу построения науки о мышлении. Но мне важно подчеркнуть, что это была программа построения науки *методологическим способом*. Иначе говоря, она была рассчитана только на методологов и на особые способы методологической работы.

Это – очень важный тезис, к которому я буду неоднократно обращаться. Он означает прежде всего, что работа должна была вестись методологически, т.е. на основе объединения разных способов и стилей мышления: конструктивно-нормативных, историко-критических, собственно исследовательских и т.д. (об этом выше я уже достаточно говорил). Но кроме того, этот тезис означает, что эта работа должна была направляться на строго определенные предметы и порождать определенные продукты (об этом я говорил значительно меньше).

Прежде всего надо было *сформировать понятие* о мышлении, а затем уже, исходя из него и на него опираясь, нужно было *спроектировать предмет науки* о мышлении в целом и все его блоки – сначала онтологию, потом средства и методики работы, потом области эмпирического иссле-

дования и экспериментирования и, наконец, способы и методы проблематизации и формулирования задач. После создания такого проекта, на третьем этапе, нужно было превратить его в программу работы и приступить к осуществлению этой программы.

В таком виде сейчас, после 20 лет работы, выступают перед нами программа и план методологической разработки науки о мышлении. Но и реально вся наша работа строилась и развертывалась примерно так же, хотя и без достаточного осознания и с нередкими отклонениями от основной линии. Поэтому я смогу в значительной мере объединить логический анализ с исторической реконструкцией и буду рассматривать историю по соответствующим логическим подразделениям. Я начну с обсуждения понятия о мышлении.

Основные этапы становления и развития понятия о мышлении

Выше я уже сказал, что наша установка – построить теорию мышления и таким образом дать научное обоснование логики и методологии – не обязательно должна была связываться и соотноситься с традиционными представлениями о мышлении. Это в значительно большей мере была проектная и программная установка: она нацеливала на изучение чего-то такого, что даст нам научное обоснование логики и методологии. Следовательно, нам нужно было еще выделить такую действительность и такой предмет, нащупать и найти их. И в этом, между прочим, заключалась весьма существенная зависимость программы построения теории мышления как от исходной логико-методологической программы, так и от соседствующих с ней программ построения логики и методологии. Эта зависимость в полной мере проявлялась и в формировании понятия о мышлении.

В самом исходном пункте «мышление» определялось нами как деятельность со знаками, или как оперирование со знаками, замещающее оперирование с объектами в тех случаях, когда в этом оперировании появлялись разрывы, и таким образом обеспечивающее решение задачи. На схеме это определение может быть истолковано так:

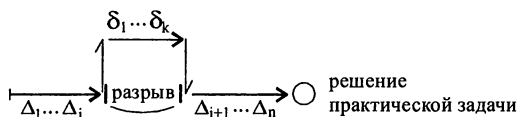


Рис. 1

Эту схему я еще раз введу и поясню на очень простом примере. Ребенку-дошкольнику дают восемь кукол и просят пойти в соседнюю комнату и принести оттуда тарелки, ложки и вилки для сервировки стола. Ребенок еще не умеет считать. Он отправляется в соседнюю комнату и приносит какое-то количество тарелок, но их оказывается меньше, чем кукол. Он идет снова, снова приносит тарелки, на этот раз их оказывается больше, чем нужно, и он относит часть назад. Потом вся история повторяется с вилками, ложками и ножами. <...>

А что делает ребенок, умеющий считать? Он действует существенно иначе и делает вещи, совершенно бессмысленные с точки зрения человека-практика. Ему говорят: «Принеси из соседней комнаты тарелки, ножи и вилки», а он начинает считать кукол: раз, два, три, четыре, пять, шесть... Мы могли бы в этом месте закричать на него: «Чем ты занимаешься? Беги за тарелками». Но такой ребенок нам ответил бы примерно так же, как отвечают первоклассники в экспериментальной школе Давыдова, когда большой дядя из министерства спрашивает их: «А какое это число – “А”? Сколько здесь?». Они говорят: «Это, дядя, несущественно».

Ребенок имеет исходную совокупность X , он применяет искусственную процедуру пересчета и получает число, характеризующее количество предметов, «зажимает это число в кулак» и бежит в соседнюю комнату, где по этому, «зажатому в кулак», числу отсчитывает другую совокупность Y (тарелок, ножей или вилок). Затем он «выбрасывает» это число, твердо зная, что он принесет ровно столько тарелок, ножей или вилок, сколько ему нужно.

Здесь мы имеем *простейшую форму мышления*, а именно *замещение* объектов знаками, затем обычно преобразование этих знаков (скажем, набор численных значений, записанных в таблице, организуется в формулу), и, наконец, возвращение от знаков опять к объектам.

И таким образом мы действуем и пытаемся решать всякую задачу, которая не может быть решена посредством нашего движения и оперирования в «плоскости» самих объектов. Мы поднимаемся в один замещающий слой знаков, работаем с ним и каким-то образом потом переходим в следующий замещающий слой, потом в третий, четвертый и т.д. Мы можем спускаться вниз к промежуточным слоям и где-то в конце концов получаем такие знаковые выражения, которые дают нам возможность построить какие-то новые объекты или по-новому определять старые, уже известные объекты.

Возможности человечества в осуществлении этих процедур замещения объектов знаками и обратного отнесения знаков к объектам непрерывно развиваются; поскольку человечество строит вокруг себя знаковый (или семиотический) мир, непрерывно реализуя разнообразные отношения замещения и выражения, непрерывно организует и систематизирует их. В целом этот мир больше похож на вавилонскую башню, чем на хорошо организованный вундтовский институт. Но как бы там ни было, лучше или хуже организованные, эти структуры существуют и, когда мы начинаем решать какие-то задачи, то прежде всего ставим между природой и нами сложные семиотические конструкции, осуществляем сложные движения по этим конструкциям, а потом опять выходим на объекты. Именно такого рода действия, такое оперирование или работа, и были названы нами *мышлением*. При этом на первых порах совершенно не ставился вопрос, чем является мышление и в виде чего оно существует, какие категориальные характеристики оно должно получить и можно ли считать оперирование

со знаками целостным и полным предметом изучения и объектом. Все эти вопросы возникли и были поставлены потом. А сначала само это оперирование воспринималось и трактовалось как совершенно очевидный факт, имеющий объективное и естественное существование, факт, по своей природе принципиально отличающийся от всех других, изучаемых такими науками, как физика, биология и даже психология (последняя изучала психику, а оперирование со знаками заведомо выходило за рамки психики). И раз такой факт или такие факты существовали, то их надо было изучать и описывать, надо было искать законы, которым подчинялась их жизнь. Таким образом очень естественно и непосредственно складывалось представление об особой науке, изучающей мышление, – *теории мышления*, которая получала две ипостаси: как наука, с точки зрения своей внутренней структуры, она стояла в ряду всех других наук и изучала свой особый объект; как совокупность или система знаний о мышлении она, вместе с тем, должна была дать *обоснование* логике и методологии и оказывалась благодаря этому в одной системной связке с ними в качестве элемента этой трехчленной методологической системы – обстоятельство, которое сыграло очень важную роль во всем дальнейшем развитии как самой теории мышления, так и всех представлений о мышлении.

Теперь я могу кратко обсудить вопрос, в какой мере охарактеризованное выше понятие о мышлении было связано с традиционными.

Прежде всего надо подчеркнуть, что оно резко обособилось от всех психологистических представлений о мышлении, т.е. от всех попыток искать мышление «в голове». Голова, точно так же, как и все механизмы сознания, выступила как некоторая субстанция, которая обеспечивает структуры мышления и мыслительного оперирования. (Как очень красиво и образно сказал однажды А.Н.Леонтьев: «Мышление не порождается головой, оно только проходит через голову»). Правда, я мог бы добавить, что мышление проходит не только через голову человека, но и через его руки, и не только через человека, но также через знаки, машины, вещи, организации и т.п., но все это было бы уже обсуждением не мышления как такового, не его «сути» и «природы», а того, что должно быть названо «материалом» мышления, и потому не имело бы уже прямого отношения к делу.

Если, к примеру, мы умножаем одно четырехзначное число на другое, то для характеристики этой процедуры как мыслительной абсолютно безразлично, делаем ли мы это на бумаге и с помощью ручки или в уме за счет каких-то особых способностей нашей памяти; в «природе» и «существо» самой этой операции и в ее средствах не меняется ровно ничего от изменения материала и внешней формы действия. Поэтому «законы» мышления определяются не тем, *что* при этом работает – ум, руки или машина, закон определяется другим – способами замещения объектного оперирования знаками, способами обратного отнесения знаков к объектам, способами фиксации всего этого в культуре и т.д. и т.п. Поэтому система

мышления не проистекает из материального устройства мозга, а только паразитирует на мозге и его процессах – как, в равной мере, она паразитирует на движениях человеческих рук и на процессах, совершающихся в машинах. Мышление проистекает из человеческой практики, социальной по своей природе, и само есть практика особого рода.

Поэтому, если мы хотели исследовать законы и механизмы мышления в том смысле, как это было выше охарактеризовано, то нам надо было обращаться в первую очередь отнюдь не к человеку и его психическим возможностям, а к анализу человеческой общественной практики, в более общем виде – к анализу всего универсума человеческой деятельности, и из него выводить как необходимость мышления, так и его реальные формы.

А если мы уж непременно хотим дойти в анализе мышления до головы человека, до его психики и сознания, хотим выяснить их участие в становлении и развитии специфических структур и организованностей мышления, то должны найти и ввести совсем особые категории, которые бы правильно характеризовали эти отношения. Как известно, позднее мы нашли эти категории и стали характеризовать «ум», «психику» и «сознание» как *механизмы*, обеспечивающие осуществление мышления. А на первом этапе дело ограничилось лишь жестким противопоставлением «мышления» в охарактеризованном выше смысле всем психологическим процессам.

В 1959 г. на I съезде Общества психологов это представление о мышлении было противопоставлено представлению об умственных действиях. Было, в частности, отмечено, что закономерности развития специфических мыслительных структур можно проследить во многом безотносительно к материалу, на котором они реализуются. Было показано также, что линии развития операций со знаками лежат как бы «перпендикулярно» к процессам отображения их в голове у человека. Для изображения этих отношений была построена «схема квадрата»

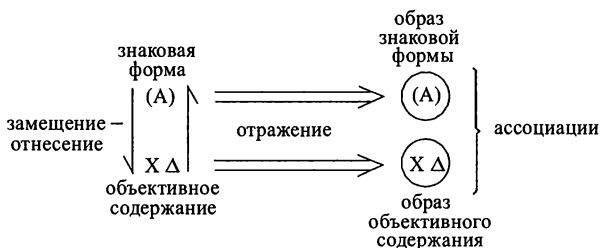


Рис. 2

Левая вертикаль его символизировала и изображала собственно мышление в его специфических структурах, горизонтали – психическое отражение объективно протекающего мышления, а правая вертикаль – ассоциации между образами, откладывающиеся в памяти человека. Очень простая и, я бы даже сказал, примитивная, эта схема, тем не менее, очень точно и наглядно выражала существо наших представлений об отношениях между мышлением и психикой: мышление существует объективно в

виде систем замещения объектов и действий с ними знаками, включенными в свои особые системы оперирования (в этом плане между знаками и объектами нет никакой разницы), психика же, обеспечивающая отражение объектов, операций и знаков, а также ассоциативное сцепление их образов, является *психологическим механизмом мышления* (или, точнее, частью общего механизма, распространяющегося не только на человека, но также и на природу). Соответственно этому, изучение мышления как такового не только может, но и должно быть отделено от изучения его психологических механизмов. Если же мы все-таки хотим захватить их и изучать в общем контексте мышления, то должны начинать отнюдь не с них, а с собственно структур мышления, определяемых всем универсумом деятельности, а уж затем, зная все эти структуры и соответствующие им процессы, переходить к анализу и объяснению психологических механизмов – ибо, повторяю, не эти психологические механизмы определяют структуры мышления (они лишь их обеспечивают), а наоборот: структуры и процессы мышления определяют психологические механизмы и заставляют формировать последние в процессе обучения и воспитания подрастающих поколений.



Рис. 3

Такое понимание мышления и его взаимоотношений с психологическими механизмами позволяло нам утверждать, что все работы П.Я.Гальперина и его сотрудников по формированию умственных действий относятся не к мышлению как таковому, а лишь (в лучшем случае) к психологическим механизмам мышления. Но даже если понимать их таким образом, то придется с сожалением констатировать, что проводились они отнюдь не лучшим образом, ибо, как правило, не ставились в зависимость от предварительного анализа и реконструкции собственно мыслительных структур. По сути дела, был лишь один цикл работ, проведенных П.Я.Гальпериным совместно с Н.Ф.Талызиной, посвященный процессам подведения объектов под понятие, в котором они могли воспользоваться уже отработанной и совершенно прозрачной логической схемой – и это были единственные работы, в которых были получены бесспорные в отношении научной достоверности результаты. Что же касается всех других работ, то в них и собственно психологическая часть оказывалась недостоверной и весьма сомнительной из-за неотработанной логической части. Но работы Гальперина представляют собой, как вы понимаете, особую тему, которую я сейчас не могу обсуждать подробно. Я остановился на ней только для того, чтобы проиллюстрировать тезис о противопоставлении сформированного нами понятия о мышлении психологическим подходам к мышлению.

Другим важным и принципиальным противопоставлением было противопоставление «мышления» и «познания».

Мышление в том смысле, как оно было введено выше, не есть познание, и законы мышления, соответственно, не есть законы познания. Если мы перейдем к историческому представлению и анализу различных форм мышления, то в этом контексте на каком-то этапе обязательно должны будем выйти к процессам познания, но это все равно будет иной предмет изучения, нежели то, что мы называем «мышлением». Уже Шеллинг, на мой взгляд, достаточно убедительно показал, что анализ познания предполагает, среди прочего, выяснение отношений между практикой и мыслью, точнее можно сказать – между историческим развитием практики и ее отображением в категориях мышления. Но все это – детали, а моя основная мысль состоит в том, что, выработав понятие о мышлении, мы сформулировали наряду с психологическим предметом, описывающим, как я выше сказал, механизмы мышления, и предметом, описывающим и процессы познания, еще один предмет совершенно особого рода. Скажем, если Я.А. Пономарев в своем докладе здесь, на Комиссии, работал с оппозицией «психологический механизм – познавательный процесс» и относил как логику, так и теорию мышления к предметам, описывающим познавательные процессы, и этим отличал их от психологии, то я бы сейчас хотел добавить к этой бинарной оппозиции еще один член и сказать, что



Рис. 4

кроме «психики» и «познания» есть еще нечто третье, а именно само «мышление» вот в этом представлении; его в конце концов можно назвать как-то иначе – но есть это третье: закон работы со знаками при решении той или иной задачи или при понимании чего-то, и что это третье в своих законах и механизмах не сводится ни к «психике» (или психологическим механизмам работы человеческого сознания), ни к «познанию». С этим, на мой взгляд, нужно считаться и исходить, следовательно, не из бинарной оппозиции, а по крайней мере из «треугольника» (рис. 4).

Но после того, как понятие о мышлении было сформулировано и был намечен новый предмет изучения, возник целый ряд очень сложных проблем. По идее их нужно было бы последовательно и систематически рассматривать одну за другой, показывая, каким образом развертывать дальше сформированное нами понятие о мышлении. Но у меня для этого сейчас нет ни времени, ни возможностей, и поэтому я лишь назову важнейшие из этих проблем и предельно кратко укажу, как они развертывались в контексте нашей общей программы.

Первый момент, который здесь необходимо зафиксировать: нельзя смешивать *понятие о мышлении* и *исследование мышления*. Результаты исследования мышления фиксируются в научном предмете или в теории мышления; понятие есть совсем иное образование, оно имеет иные функции в нашем мышлении и в деятельности, нежели теория, и иную эпистемологическую структуру. В частности, когда мы создаем понятие о мышлении, нас совершенно не интересуют и не должны интересовать вопросы

полноты представления мышления в целом или различных его форм. Нам достаточно дать, скажем, такое определение мышления, которое я дал выше, – мышление есть работа со знаками, замещающая работу с объектами, – чтобы иметь уже, пусть пока и не очень хорошее, но все равно понятие о мышлении, которым можно пользоваться.

Но во всем этом нет пока никакого исследования, и поэтому, зафиксировав такое понятие, необходимо еще разворачивать в рамках методологической работы сам научный предмет, воспроизводящий в собственно научной форме мышление. Это означает, в частности, что мы должны будем при этом строить, наряду с понятием, онтологические картины теории, модели различных форм мышления, адекватные им средства и методы анализа и описания, а кроме того – и это самое главное – здесь существует масса различных эмпирически данных объектов, которые могут быть подведены под понятие мышления, и, соответственно, масса проблем, связанных с трудностями наложения абстрактной схемы, зафиксированной в понятии и задающей действительность особого рода, на все эти объекты.

Таким образом, формулировка понятия не исчерпывает представления о мышлении. Понятие мышления, сколь бы расчлененным и полным оно ни было, не дает еще теории мышления; поэтому, нужны еще специальные исследования мышления.

Я могу выразить и зафиксировать это отношение в схеме (рис. 5).

Главное, что научный предмет дает совершенно иное представление о мышлении, нежели понятие. А кроме того, есть еще разнообразные реалии мышления – решения задач, рассуждения, дискуссии и т.п. – все это я обозначил в блоке «практические референты».

Научный предмет особым образом взаимодействует с практикой, с той практикой, в которой мы создаем новые формы мышления, скажем, научного или проектного, с той практикой, в которой мы формируем у детей новые формы решения задач, в одном случае, скажем, на моделях, в другом – с помощью чисел, в третьем – на базе буквенных выражений и т.д. И все эти практически данные нам формы мышления должны быть отражены и представлены в схемах научного предмета.

Но когда мы начинаем осуществлять эту работу, мы тотчас же сталкиваемся с множеством весьма сложных, самостоятельных проблем, которые определяют основные направления дальнейших методологических разработок.

Прежде всего, если мы определяем мышление как работу (или оперирование) со знаками, если мы рассматриваем его как выраженное в определенных текстах, то первый вопрос, на который мы должны ответить: а как же относятся друг к другу язык и мышление? И чтобы, в частности,

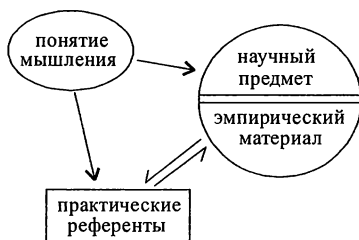


Рис. 5

исследовать мышление как таковое, мы должны прежде всего ответить на вопрос: а что же такое язык как нечто противопоставленное мышлению и существует ли он сам по себе?

Здесь возник круг очень сложных проблем, которые были решены на первом этапе наших исследований за счет понятия о познавательных проекциях и едином связывающем их объекте. Утверждалось, в частности, что нет такого объекта, как мышление, точно так же как нет такого объекта, как язык, а есть лишь некий единый объект, который может быть назван «языковым мышлением». А когда мы начинаем его описывать, то как бы поворачиваем под разными углами и таким образом получаем разные представления о языковом мышлении: в одном повороте – как о языке, а в другом повороте – как о мышлении. Эта сторона дела подробно обсуждалась в литературе и поэтому я не буду на ней останавливаться. Скажу лишь, что предложенные на первом этапе решения были частичными; потом, когда мы начали понимать, что такое деятельность, его пришлось существенно дополнить и перестроить. Выяснилось, что эти проекции являются не только познавательными конструкциями, но начинают существовать как объекты второго рода. Это становится возможным благодаря особым, специфическим механизмам деятельности.

Развивая дальше эту мысль, мы показали, что язык как таковой и мышление как таковое, хотя их создали и сконструировали люди, естественным образом взаимодействуют друг с другом в рамках деятельности. Таким образом была вновь получена традиционная со времен Соссюра оппозиция синтагматики и парадигматики (рис. 6).

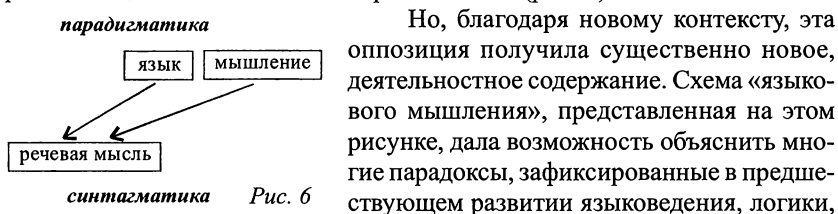


Рис. 6

Но, благодаря новому контексту, эта оппозиция получила существенно новое, деятельностное содержание. Схема «языкового мышления», представленная на этом рисунке, дала возможность объяснить многие парадоксы, зафиксированные в предшествующем развитии языковедения, логики, теории мышления, философии языка, культурологии и социологии. В частности, удалось очень изящно объяснить известный парадокс раздельности/нераздельности языка и мышления: на уровне синтагматики речь и мысль неотделимы друг от друга, они существуют как одно, а на уровне парадигматики «язык» и «мышление» существуют отдельно и независимо друг от друга – сначала как искусственные системы, определяющие построение речевой мысли, а затем как естественные компоненты речемыслительной деятельности.

Но это я рассказываю уже о последующей эволюции наших идей, а на первых этапах все ограничивалось чисто познавательной трактовкой «языка» и «мышления» как проекций «языкового мышления».

Второй круг проблем, возникших в этой связи, касался связи операций, процедур и процессов мысли с тем, что обычно называется «знани-

ем». В дискуссиях 1952–1954 гг. на философском факультете был поставлен вопрос: чем является текст научной книги – следом проделанного исследователем движения, т.е. процесса мысли, или изображением объекта? На том этапе для нас – а мне представляется, что и сейчас это вполне справедливо, – мышление выступало прежде всего как процессуальное образование, как процессы, операции и процедуры. Но с другой стороны и одновременно оно выступало в виде неких статических структур, как знание или системы знаний.

В силу этого программа исследования мышления распалась на две подпрограммы: 1) программу исследования мышления как процессуальности, как процессов мышления, операций и процедур и 2) программу исследования мышления как знаний. При этом было ясно, что они каким-то образом связаны и соотносятся друг с другом. Это соображение заставляло нас с самого начала обращаться к системно-структурным представлениям, причем именно в том употреблении и в той трактовке их, которые зафиксированы в нашем сегодняшнем понятии системы как целостности и единства нескольких планов описания: плана процессов, плана функциональных структур, плана организованностей материала (морфологии) и плана материала как такового. Мы сейчас знаем, что для того, чтобы представить объект системно, надо представить его, по крайней мере, в этих четырех планах, а затем еще определенным образом соединить и совместить эти планы друг с другом. Но на том этапе это еще не было осознано в столь определенном виде, но все равно системное представление использовалось и выступало именно таким образом: когда мы говорили о мышлении как о знаниях, то выделяли, правда, не различая их, либо структуры, либо организованности материала мышления; когда же мы говорили о процедурах и операциях, то выделяли, соответственно, процессуальные представления мышления.

Но из этого дальше естественно вставал новый круг вопросов, касающихся связи и взаимоотношений, во-первых, операций и объектов, во-вторых, операций и знаний и, наконец, в-третьих, структур и процессов. В этом плане анализировался практический материал разного рода: рассуждения при решении научных проблем, системы знаний, решения учебных задач – арифметических, геометрических, грамматических и т.п. И все время накапливался материал, который заставлял, с одной стороны, дополнять и развивать дальше наши исходные представления о мышлении, а с другой – формировать эмпирические объекты разного рода как несущие на себе мышление или его выражающие. <...>

Теперь я коротко резюмирую то, что я хотел сегодня сказать и сделать. Я полагаю, что я ответил на вопрос «что же такое мышление». И ответил, подготовив для этого определенные условия и дав себе возможность в дальнейшем менять и трансформировать эти ответы. Теперь я могу сказать, что в рамках методологического анализа (я старался описать, как сложился «организм» такого анализа и что он в общих чертах собой пред-

ставлял) мышление есть работа со знаками в контексте решения практических задач. Эта работа может и должна исследоваться в своих специфических законах, не зависящих по сути своей от особенностей работы человеческого сознания или психики, а зависящих от чего-то другого. Если бы меня сейчас спросили, от чего они зависят и чем определяются, то я, ей богу, не смог бы ответить. Думаю, что законами практики, но в эту практику входит и само мышление. Поэтому такой ответ не является, по сути дела, ответом. Важно понять, что это – иные законы и механизмы, нежели законы и механизмы психики или сознания.

Первоначально мышление, заданное этим определением, представлялось в форме чисто функциональных структур. Я не знаю, проявился ли в этом какой-то глубокий познавательный смысл. Но именно так сначала получилось. Но за всем этим с самого начала стояло системное представление мышления – уже хотя бы потому, что понятие о мышлении, отнюдь не заменяя конкретных знаний о мышлении, накладывалось на определенный, практический или эмпирический, материал. А при таком наложении, хочешь или не хочешь, а приходилось представлять объект системно, ибо приходилось различать функциональные структуры и материал. Вместе с тем очень важную роль играла оппозиция двух форм представления: *процессуальной* – мышление суть процессы и операции деятельности, которую человек осуществляет в отношении знаков, и *статической* – мышление есть определенная структура знания, связывающая знаковую форму с объективным содержанием. Наличие этих двух представлений и невозможность отказаться от какого-нибудь из них требовали задания определенной схемы синтеза. Ведь мало говорить, что мышление – это и процессы, и структуры, нужно еще создать такое представление, которое бы их объединяло.

Именно эта установка постоянно и неуклонно заставляла нас развивать и совершенствовать системно-структурные представления, искать некоторые общие правила и принципы объединения и синтеза, с одной стороны, процессуальных и структурных представлений, а с другой – структурно-функциональных и материально-морфологических.

Очень важным для оценки всего этого этапа наших исследований и разработок является также то обстоятельство, что на базе созданного нами понятия о мышлении удалось построить, провести целый ряд принципиально новых по своей структуре и методике исследований, в том числе эпистемологических и логико-педагогических. В последних, к примеру, создавались описания разных знаковых структур и операций с ними, а затем показывалось, как включение одних или других знаковых средств ведет к тому или иному решению задачи, в одних случаях – удачному, в других – неудачному. В каждом случае удачного решения задачи формы и способы оперирования со знаками фиксировались в соответствующих нормах и правилах.

Возникло так называемое *нормативное описание мышления*, и таким образом начала реализовываться одна из частей программы Зиновье-

ва: результаты конструктивно-эмпирических и квазитеоретических исследований, представленные нормативно, стали выступать как *логика особого рода*. Таким образом конкретно и практически было показано, что в определенных границах конструктивно-теоретические представления мышления могут быть и нормативно-логическими. Но этот важный результат не остановил и не мог остановить дифференциации и разрушения исходной программы. <...>

2.

Итак, до 1958–1959 гг. это были чисто логические, методологические, теоретико-мыслительные разработки. Это были исследования нормативные – в том смысле, что мы каждый раз стремились из анализа опыта мыслительной работы предшествующих поколений извлечь определенные средства для организации последующих процессов мышления, для их перестройки и трансформации – не для теоретического описания этих процессов, а для того, чтобы иметь средства, методы решения возникающих проблем. Мы говорили о проблемах, отличая их от задач, мы исследовали задачи в их особой форме, и при этом мы ошибочно в тот период думали, что это и есть научно-теоретическая работа. Теперь мы понимаем, что это не научно-теоретическая работа. Мы задавали нормативные представления.

Но с 1958–1959 гг., с созданием Комиссии по психологии мышления и логике, с появлением не просто контактов с психологами, дискуссий, обсуждений, разговоров и т.д., а необходимости организовать совместную работу, мы перешли в область изучения живой деятельности школьников. От изучения мышления, зафиксированного в текстах, и от задач реконструкции мышления по материалу мы перешли к анализу реальных деятельных ситуаций. И здесь возник новый комплекс проблем, который привел к принципиальному перелому – к переходу от теоретико-мыслительной концепции к теоретико-деятельностной.

Что здесь произошло? Я зафиксирую две проблемы:

- проблему различия между психологическим и логическим подходами к изучению мышления
- проблему процесса решения и способа решения.

К этим двум проблемам добавился вопрос о том, какую структуру должна иметь теория мышления. Мы с самого начала ставили вопрос методологически, т.е. спрашивали: а что мы должны получить в конце, через 200 лет нашей работы, какой вид будет иметь теория мышления? Поэтому параллельно со всеми этими работами был проведен комплекс исследований структуры научных теорий мышления, потом теории деятельности, в ее отличии от естественных наук, математических теорий и т.д. Мы хотели представить себе это целое и соотнести его с естественноисторическим процессом развития мышления.

Итак, мы анализируем процесс решения задачи ребенком. Это процесс решения, представленный линейно. При этом мы говорим о спосо-

бах решения. Почему? Да потому что нам же не надо анализировать процесс решения. Нам нужен способ, которым можно было бы решать все другие задачи. Спрашивается: а где этот способ существует? В работе «К анализу процессов решения простых арифметических задач» [Щедровицкий, Якобсон 1962] (более поздний, обобщающий вариант – работа «Исследование мышления детей на материале решений арифметических задач» [Щедровицкий 1965 b]) и в ряде других работ, которые велись на материале геометрии, физики и т.д., все мы постоянно сталкивались с вопросом: если мы зафиксировали в последовательности операций и действий само решение, процесс решения, то что такое способ? Это то, что мы видим в этом решении? Ну ладно, мы это видим, но тогда же это конструкт-способ, наша конструкция.

А где же эта конструкция существует? Когда мы вдумались в этот вопрос, все перевернулось: мы вынуждены были отказаться от теоретико-мыслительного подхода и перейти к совершенно другой концепции. Если раньше мы думали, что решение задач есть вид и тип мышления, то теперь мы говорим, что решение задач не может быть видом и типом мышления, это есть определенная деятельность, и поскольку это деятельность, это есть нечто принципиально иное.

К этому тезису мы пришли от двух вопросов: 1) где существует способ и чем способ отличается от самого процесса решения и 2) что такое нормативное представление и как *логика* мышления-деятельности отличается от *психологии* мышления-деятельности. Ответом на эти вопросы была кардинальная смена исходных представлений и развитие категорий.

Введя понятие о воспроизводстве деятельности, основную схему воспроизводства, мы фактически снова переоткрыли великое сосюроевское различие речи и языка. Именно этой аналогией я хочу пользоваться.

Идя от своих проблем и парадоксов, мы вынуждены были различить эти два образования и зафиксировать, что всякая деятельность есть реализация норм (тогда мы еще не очень различали нормативный план от средственного, это дальше появилось), но имеется еще такое образование, как нормы и средства вместе, которое имеет совершенно другое реальное существование, нежели сами решения. Если мы хотим разбираться в деятельности и мышлении, то мы должны прежде всего четко фиксировать различие между способами, которые суть некоторые конструкции средств и существуют в системе трансляции культуры и передачи через обучение и воспитание, с одной стороны, и решениями, которые существуют в социальных ситуациях, там где они реализуются, – с другой.

Здесь начинается множество неожиданностей. Например, напрочь снимается проблема творчества, оппозиция формального и творческого, противопоставление их друг другу. Оказывается, что все это не имеет никакого смысла, поскольку снято в схеме воспроизводства. Если мы берем какой-то процесс решения задачи, то, с одной стороны, каждый кусочек в нем имеет отражение в средствах и нормирован, с другой же стороны, каж-

дый процесс мышления всегда, и именно потому, что он нормативен во всех своих кусочках, является творческим – от начала и до конца. Это всегда есть результат индивидуальной, здесь осуществляемой деятельности, мышления, рефлексии и т.д. В этом смысле вообще нельзя противопоставлять творчество и нормировку; творческое всегда нормировано, во всех своих морфологических кусочках, и оно, вместе с тем, всегда творческое, как сложная конструкция.

В работах теоретико-мыслительного периода мы все время твердо знали, что мы осуществляем нормативный анализ, т.е. из бывшего выделяем должное, необходимое, создаем соответствующие схемы, что эти схемы выступают как средства дальнейшего решения задач, дальнейшей учебы в последующих ситуациях, что за счет этого идет непрерывный процесс развития и трансформации мышления и что поэтому схема воспроизводства задает один из основных механизмов развития мышления: развитие и функционирование как бы накладываются на процессы воспроизводства. Мы твердо понимали, что такой анализ создает некоторые нормативные представления. Теперь же за счет введения деятельных представлений мы стали говорить, что это нормативное представление – в смысле должного, необходимого, созданное исследователями, конструкторами – потом в ситуациях общения передается в деятельность и становится реальным элементом их деятельности. Значит, то, что мы создаем и конструируем как определяющую эпистемическую, а иногда и эпистемологическую конструкцию-схему, понятие, норму, затем через общение или через коммуникацию попадает в систему культуры, затем используется и за счет механизмов деятельности становится элементом реальной мыслительной деятельности, иначе говоря, выступает уже не только как нормативное описание, но и как норма или набор средств.

Но тогда намечился очень интересный и принципиальный ход к построению совершенно новых типов исследовательских предметов, которые мы на третьем этапе называли нормативно-деятельностными предметами и нормативно-деятельностными исследованиями. В чем суть этого подхода? В том, что конструктор, схематизируя предшествующий материал, в этом смысле анализируя предшествующий материал, но не исследуя его, создает соответствующее нормативное представление, и это не есть исследование.

Современное общество выделило массу разного рода операторов, которые создают подобные схемы; это математики, физики – все те, кто создает соответствующие схематизмы, языки, формы и т.д. Математика – не наука, а язык. Это старое, еще Декарту и Лейбницу известное, различие невероятно важно. Есть конструкторы языков, и они могут быть представителями самых разных профессий.

Мы создаем эти схемы – это работа конструктивная и проектная, но это не значит, что она идет без материала. Она идет на материале, прежде всего, предшествующих знаний.

Получив эту конструкцию, мы должны посмотреть, новая ли это конструкция или она уже использовалась как норма. А дальше необходимо посмотреть, как эти нормы реализуются в процессе решения и что при этом в принципе появляется. Здесь нужно исследование, специально отвечающее на вопрос: как же реализуются те или иные средства, нормы, схематизмы, в частности в процессе решения?

Тут появляется, как очень важная, категория ошибки, та самая категория, которая отличает этот предмет от естественнонаучного. Потому что – как говорил Рене Декарт – природа ошибок не делает, а люди в своей деятельности при решении задач постоянно ошибаются, и – что самое главное – эти ошибки имеют положительное, эвристическое значение. А следовательно, появляется сложный гетерогенный предмет, в котором есть особая работа по выделению норм, нормативных описаний, которые делаются всеми и могут делаться всеми, но должны делаться по определенным правилам. Причем, они существуют практически в каждой сфере деятельности: для педагогов нужны свои конструкторы, для логиков – свои, для психологов – свои.

И другая работа – когда мы начинаем использовать эти схемы средств и нормативных предписаний в функции первой предварительной научной гипотезы, поскольку имеем для этого основания. Если правдоподобен тезис, что средства реализуются в процессе решения (а они нам известны, поскольку они – наши конструкции), то мы можем взять эти сконструированные нами схемы в функции проектов, норм, средств и сказать: вот первое схематическое изображение того, что там происходит. Почему? Нам не нужны традиционная функция истинности и традиционные процедуры проверки – такие, как в естественнонаучном исследовании: соответствует наша гипотетическая схема объекту или нет. Мы имеем принцип, что схемы, которые мы создаем, организуют деятельность – принцип Выготского, по сути дела. В этом пункте мы считаем себя органически с ним связанными. Поэтому мы можем взять такого рода схемы как основание для анализа материала.

Но что мы должны показать потом? Мы должны показать две принципиально важные вещи: сначала – что этот процесс соответствует этому схематическому представлению, а потом – что процесс ему не соответствует, что в нем есть какие-то добавки. Чем они определены? Спецификой личности? Непосредственно-то – да, но опосредованно – это есть комбинация других норм, других средств; их комбинация создает то, что характеризует здесь личность, они тоже нормированы. Это все неадекватная форма психологического описания того, что здесь происходит, это есть определенные склейки, свертки, комплексы подобных представлений. Надо описать все это, и это будет вторая часть нормативно-деятельностного предмета.

Резюмирую: нормативно-деятельностный предмет обязателен для всех дисциплин, изучающих деятельность или связанных так или иначе с

изучением деятельности. Нормативно-деятельностный предмет имеет две разнородные части; в этом смысле это есть суперпредмет, в котором, с одной стороны, идет работа по выделению, вычленению нормативных схем (с соответствующей технологией работы), а с другой – идет определенная работа по изучению, реализации всего этого, работа, в результате которой получают знания принципиально иного типа. Принцип реализации образует сердцевину нормативно-деятельностного предмета и стержень, в соответствии с которым мы организуем наши знания. Вот что было основным результатом второго этапа.

Что явилось другим важным результатом этого этапа? Был поставлен вопрос о соотношении мышления и понимания, мышления и рефлексии. Это можно увидеть в работах, посвященных проблемам лингвистики и связанных с проблемами значения, смысла и т.д. Статья 1974 г. «Смысл и значение» [Щедровицкий 1974 а] дает представление об этом направлении исследований. Дальше, исходя из этих деятельностных схем, необходимо было решить проблему организации мышления, понимания, рефлексии и деятельности. И именно этим были детерминированы проблемы третьего периода.

Но мы не могли этого сделать без еще двух ходов, которые начинаются где-то в 1965–1966 гг. Параллельно идут дискуссии, связанные с категориями *процесс* и *структура*. Очень большой вклад в эту работу сделали, с одной стороны, В.Я.Дубровский, с другой – О.И.Генисаретский, а также В.М.Розин и А.С.Москаева. А от категорий *процесс* и *структура* мы должны были прийти к категории *система*, введя еще два плана, а именно: понятие *организованности*, ставшее для нас основным, и понятие *субстрата*, или *материала*. Причем, понятие организованности ближе всего соответствует традиционному понятию *морфологии*. Тогда у нас получилась четырехслойная категория системы, и для того чтобы описать некоторый объект или явление системно, надо было представить его как процесс (или совокупность процессов), как функциональную структуру (или структуру функций) – без этого не может быть работа в перспективном или прожективном плане, – как организованность материала, или морфологию, как бы фиксирующую следы процессов и функциональных структур, и как субстрат. Это простая система, на базе этого строится понятие сложной системы, и теоретико-деятельностный подход перерабатывается в системодетельностный подход, где, фактически, соединяются три подхода: подход деятельностный, подход системный (на базе этого принципиально нового понятия системы) и идеи методологической организации, т.е. умение соединять знания разного типа – методические, научные, методологические, организационные и т.д.

Для того чтобы дальше решать все эти проблемы, мы должны были фиксировать понятие *организованности*. Оно привело нас к другому понятию – *организации*, и в 1965–1966 гг. было введено принципиально новое (в частности, более всего оно была развито в моих лекциях 1966 г. на

философском факультете о понятии управления и деятельности управления) представление о *социотехнической схеме* и *социотехническом отношении*. Это фактически не опубликовано. И так, было введено понятие социотехнического отношения (оно невероятно важно), фиксирующее деятельность над деятельностью.

Поэтому основные вопросы, которые перед нами сейчас стоят, заключаются в том, чтобы не только разбить процесс и структуры на единицы (целостности), но и решить, сколько там социотехнических отношений, т.е. сколько надслаивающихся уровней организации. Ибо, как я уже говорил выше, процессы со средствами непрерывно свертываются в средства, которые снова входят в процесс крупноблочно. Множество уровней организации деятельности, осуществляющейся за счет деятельности над деятельностью, непрерывно сплющиваются, ложатся на другие предметные организации. Предмет – это, фактически, такие сплющивающиеся деятельности, так он и появляется. Поэтому, чтобы развернуть предмет, надо развернуть массу деятельностей над деятельностью. Нам всегда надо решать, сколько таких социотехнических отношений. Таким образом, понятие социотехнического отношения стало основным.

Важнейшим стало понятие об *организационной деятельности*, или деятельности по организации. Причем, мы сейчас понимаем, что педагог, языковед, литературовед, методист – это все социотехники, т.е. те, кто осуществляют определенную деятельность над деятельностью, откладывая результаты своей работы в более или менее сложных организациях, подтягивая все время нижнюю деятельность к верхней, верхнюю к нижней, сплющивая все это.

На основе этого мы получили возможность решить проблему соотношения понимания, рефлексии, мышления и деятельности через процессы коммуникации. Мне важно сейчас подчеркнуть, что, скажем, когда мы анализируем ту или иную деятельность, в том числе и деятельность по решению задач, мы рассматриваем ее как происходящую на уровне действия, на уровне коммуникации, вызванном, соответственно, пониманием, на уровне мышления и на уровне рефлексии.

Мы понимаем, что разные участники коллективной работы могут брать на себя не только части кооперированной деятельности (в этом смысле понятие социотехнической организации снимает идею кооперации, поскольку кооперация благодаря организации приобретает принципиально иной вид). Кооперация должна быть организована, и за счет этого деятельность, которая, с точки зрения предшествующих представлений, должна была развертываться в четких ситуациях, как бы развертывается в этих единицах.

Членение по единицам деятельности не совпадает с морфологическим членением по носителям. Это две принципиально разные формы членения и организации. И это, на мой взгляд, порождает невероятное количество проблем – психологических, личностных и т.д. Это дает нам воз-

возможность принципиально по-новому решать вопрос о соотношении между действием, пониманием, мышлением и рефлексией.

Тот массив публикаций, который мы имеем, очень неоднороден. Он отражает, с одной стороны, представления деятельностного периода, с другой – представления теоретико-мыслительного периода. Я специально хочу подчеркнуть: в этом месте в истории нашей школы произошел принципиальный перелом, произошла принципиальная смена всей методологии.

Конечно, могут существовать школы, которые продолжают теоретико-мыслительный подход. Там можно бесконечно, еще 500 лет, вести весьма продуктивные исследования, но они уже стали неприемлемыми с точки зрения более высоких представлений. Теоретико-деятельностные представления имеют значительно более богатое продолжение, в том числе и для решения задач, нежели теоретико-мыслительные. Но и эти представления снимаются системодеятельностными, в которых мышление, рефлексия и понимание уже сняты через анализ процессов коммуникации, благодаря понятиям социотехнического отношения и организации.

Наброски к методологическому проекту теоретической модели понимания *

1. «Понимание текста» – термин, который мы хорошо понимаем и которым широко пользуемся; следовательно, он имеет для нас смысл. Но из самого этого факта не следует, что за этим термином стоит какой-либо объект или, более широко, какая-то действительность; фактически, это означает, что для этого термина не выработано еще понятие.

В общем и целом это объясняется, наверное, тем, что понимание (в его разных видах и типах) – одно из самых сложных явлений духа; оно рассматривается с разных сторон в лингвистике, эпистемологии, психологии и теории сознания, но ни одна из перечисленных дисциплин не дает подлинно теоретического его описания: сейчас нет не только удовлетворительной модели понимания, но даже не ясно, в рамках какого научного предмета и в какой онтологии нужно эту модель строить – средствами психологии, лингвистики, теории сознания или же теории деятельности.

В дальнейшем я буду специально и более подробно рассматривать условия и способы образования таких терминов и связанных с ними смыслов, которым не соответствуют какие-либо объекты и какая-либо действительность. Но сейчас мне важно подчеркнуть саму возможность существования подобных образований в нашей речи и в нашем мышлении и указать на то, что «понимание текста» принадлежит, по-видимому, именно к таким образованиям.

Когда за терминами и соответствующими им смыслами не стоит действительность и какие-либо модели объектов, когда, следовательно, нет и не может быть собственно теоретического движения в исследовании формально подразумеваемой за ними действительности, то исследователи, следуя своим эпистемологическим иллюзиям, обращаются обычно к тому или иному опытному материалу и стараются найти в нем факты, характеризующие «понимание текста».

Этим объясняется наш первый ход в анализе темы: мы хотим рассмотреть условия и способы выделения этого материала и выяснить, может ли он служить действительным эмпирическим материалом для теоретических моделей понимания. Лишь после этого мы сможем обратиться к анализу условий и процедур смыслообразования, посредством которых был создан специфический смысл термина «понимание».

2. Эмпирические данные, из которых мы будем исходить, были получены при логико-психолого-педагогическом исследовании процессов решения простых арифметических задач детьми дошкольного и раннего школьного возраста, проведенном нами совместно с С.Г.Якобсон в 1959–

* Черновик статьи на основе устного сообщения (март–июнь 1970 г.). Арх. № 2063.

1962 гг. [*Щедровицкий, Якобсон 1962; Щедровицкий 1965 б*]). Нас интересовали механизмы самого решения и то, что мы потом стали называть «способом решения задач», его структура, составляющие его элементы, как знаково-знаниевые, так и операциональные.

Наше исследование не было ориентировано непосредственно на проблему понимания, на построение модели понимания и выявление характеризующих его эмпирических данных. Но в ходе самого исследования мы столкнулись с явлениями, которые традиционно обозначались как понимание и, соответственно, непонимание, а сама схема исследования деятельности детей была такова, что позволила выявить ряд весьма интересных характеристик зависимости «понимания» (и «непонимания») от других элементов деятельности. Эти два момента уже тогда заставили нас специально выделить проблему понимания и начать ее анализ, но только сейчас мы подошли к построению теоретической модели понимания, или, точнее, как это отмечено в названии, к построению методологического проекта такой модели. Но сейчас мы будем по-прежнему исходить из той узкой группы фактов, которая была получена в исследованиях 1959–1962 гг., и с очень большой осторожностью будем обобщать их, формулируя отрицательные и положительные утверждения, касающиеся понимания вообще.

3. Сейчас я попробую изложить основные моменты наших исследований, характеризующие тот угол зрения, под которым для нас выступила и в дальнейшем рассматривалась проблема понимания.

Ребенок сам читает текст условий задачи или же этот текст прочитывается или пересказывается экспериментатором. После этого ребенок должен решить задачу, т.е., во-первых, дать ответ, а во-вторых, записать арифметическое выражение, на основе которого он этот ответ получает. И дети либо решают, либо не решают задачу. При этом, так как арифметические задачи делятся по типам, может сложиться такая ситуация, что ребенок задачи одного типа решает, а задачи другого типа не решает. Кроме того, когда речь шла о решении с помощью арифметических выражений, специально проверяли, могут ли дети составлять арифметические выражения и производить соответствующие им вычисления.

В дальнейшем, при обсуждении поведения и деятельности детей, вы должны иметь в виду, что школьники, о которых идет речь, всегда умели составлять арифметические выражения и производить необходимые вычисления. Нужно иметь также в виду весьма существенное для нас различие всех арифметических задач на «прямые» и «косвенные». Как нами самими, так и многими методистами до нас был замечен тот факт, что многие дети легко решают прямые задачи и не решают косвенных задач. Можно говорить, что это – общеизвестный факт, которому многие исследователи, как педагоги, так и психологи, пытались найти объяснение.

В какой-то момент – не знаю когда именно и у кого – появилось такое объяснение, что дети потому не решают и не могут решать косвенных

задач, что они их не понимают, или, точнее, что они не понимают того математического смысла, который заложен в тексте условий этих задач и понимание которого необходимо для решения.

Нам здесь надо зафиксировать один момент: был сформулирован тезис – и его приняли многие методисты и психологи, – что дети не решают косвенных задач потому, что они не понимают текста условий этой задачи. Это утверждение было возможно потому, что уже был фактически составлен перечень возможных причин, по которым дети не решали задач; туда входило: неумение составить арифметическое выражение, неумение решить это выражение и, наряду с этим, непонимание условий. Если другие причины путем специальных тестов исключались, то естественным и единственно возможным объяснением (при фиксированном перечне, который считался полным) оставалась ссылка на непонимание. Вместе с тем – вы это хорошо чувствуете, а я хочу специально подчеркнуть – утверждение, что дети не понимают текста условия задачи на том основании, что они не решают эту задачу, было все же весьма рискованным, условным и недостаточно обоснованным. Главное, что от одного явления, зафиксированного как факт, делался переход к другому явлению, которое должно было выступить в виде объяснительной причины.

Конечно, можно было бы этого и не делать, а просто сказать, что дети не решают задач. Но все равно потом обязательно встал бы вопрос, почему они не решают, в чем причина этого. И чтобы ответить на него, нужно было бы вводить какие-то гипотетические логические конструкции, например «непонимание» (Д.Д.Галанин и др.).

4. Но если мы приходим к выводу, или, другими словами, формулируем гипотезу, что причиной, из-за которой дети не решают задач, является непонимание текста условий, то затем мы обязательно должны поставить вопрос: а чего, собственно, они не понимают?

Этот вопрос встает, конечно, не сам по себе, а в связи с теми сопоставлениями данных, которые мы осуществляем. В нашем случае на этот вопрос наталкивало то обстоятельство, отмеченное уже Эрном и, наверное, известное Галанину, что очень часто дети как-то все-таки решали косвенные задачи, могли найти ответ, но ошибались в построении арифметического выражения.

Надо еще отметить, что постановка указанного выше вопроса теснейшим образом связана с представлениями о самом механизме или процессе решения. Чтобы ответить на вопрос, чего именно дети не понимают в тексте условий, нужно уже заранее знать, что именно нужно понимать, или, точнее, какое понимание и понимание чего необходимо для решения.

В частности, у Галанина сам тезис о необходимости понимания косвенных задач и указание на то, что нужно понимать математический смысл задачи, возникает потому, что им использовалась определенная схема решения задач, определенная схема тех действий или операций, которые

осуществляет ребенок, и соответственно этой схеме он выявлял и определял то, что по его мнению должен был бы понимать ребенок, чтобы успешно решать задачу.

Характерно, что само понятие о математическом смысле возникало из сопоставления схемы решения прямых задач и схемы возможного решения косвенных задач; для решения прямых задач не нужно было понимание математического смысла, а для решения косвенных задач оно было необходимо.

Но в этой связи я хотел бы поставить вопрос: что же, собственно, мы обозначаем этим словом «понимание» и существуют ли какие-то эмпирические факты, которые мы могли бы рассматривать как характеризующие действительность понимания? Я хочу выяснить, что, собственно, дает нам право говорить, что дети понимают или не понимают текста условия задачи.

К этому я хочу добавить также, что наши схемы-эксперименты соответствовали обычным и широко распространенным схемам исследования процессов понимания. Там всегда есть, во-первых, некоторый текст сообщения, во-вторых, некоторое действие, которое должен осуществить человек – он должен либо записать решение, либо дать ответ, либо же выделить некоторые абзацы; действия могут быть самыми разными, но они обязательно должны быть, и если вы не привяжете к этим действиям понимание и непонимание, то вы вообще ничего не сможете сказать об изучаемых вами явлениях, вы их вообще не сможете выявить. Это одно обстоятельство, которое я хочу специально подчеркнуть. Реально, следовательно, фиксируется только один момент: решают дети задачу или не решают. Но при этом почему-то говорят, что они понимают или не понимают условий задачи. Точнее, наверное, нужно было бы сказать, что из факта нерешения задачи мы делаем вывод о непонимании, а противоположный факт, факт решения задачи, естественно, связывается с пониманием.

Но мы можем спросить себя: существует ли такой факт непонимания и откуда или каким образом «непонимание» стало объектом психологического и лингвистического или лингво-социологического изучения? Другими словами, задано ли «непонимание» таким образом, что мы можем анализировать его научными способами и методами?

Если теперь вернуться к утверждениям Галанина о том, что дети в случае косвенных задач не понимают математический смысл задачи, хотя одновременно в том же тексте они понимают многое другое, какие-то другие смыслы, то нужно будет прежде всего отметить факт расслоения и иерархизированной систематизации, во-первых, того, что должно пониматься, т.е. смыслов, а во-вторых, самого понимания.

5. Сопоставление всех отмеченных выше фактов привело нас к выводу, что так называемое понимание текста условий зависит от средств, используемых, с одной стороны, в деятельности, связанной с заданным текстом, а с другой – в деятельности, связанной непосредственно с самим

пониманием этого текста. Можно сказать, что понимание зависит от средств, с помощью которых ребенок строит процедуры решения.

Придя к этому выводу, мы стали его проверять. Если наш вывод верен, то тогда изменение средств деятельности – включение новых или преобразование старых – должно привести к появлению понимания или изменению его. Особо важную роль в нашем выводе сыграли, как вы догадываетесь, те случаи, когда дети после обучения в первом классе переставали понимать те задачи, которые они понимали раньше, до обучения. Так как мы выяснили, что до обучения в первом классе и после обучения дети решают задачи разными способами, используют разные средства, то мы, естественно, должны были сделать вывод, что вся тайна понимания заложена именно в них.

Но, с другой стороны, понимание было обязательно включено в более широкий контекст решения, и поэтому оно могло зависеть не только от самих средств, используемых при построении решения, но также и от структуры самого решения, оно могло быть соотнесено и связано с ним. Таким образом, мы должны были начать говорить, что дети понимают определенный текст с точки зрения определенных средств и относительно определенного решения задачи и могут этот же текст не понимать с точки зрения других средств и относительно другого решения.

Вывод о том, что, внося новые средства и включая понимание в другие способы и процедуры решения задач, мы сможем пониманием управлять был совершенно естественным. Мы реализовали это на практике, построили соответствующие программы обучения, которые в практическом отношении работали совершенно безотказно. Можно сказать, что любую задачу мы ставили в соответствие определенному набору средств и определенному решению, строили соответствующую систему обучения этим средствам и этому решению и таким образом добивались понимания текста условия задачи.

Таким образом, наши выводы были абсолютно обоснованными с точки зрения всех канонов логико-психолого-педагогического исследования – они выводились из наблюдений и подтверждались экспериментальным обучением. В них был только один изъян – они не выдерживали методологической, т.е. онтологической и эпистемологической критики. Они были несостоятельными не с точки зрения фактов и логики, а с точки зрения метафизики, ибо термин «понимание» (и «непонимание») не был объективирован, и поэтому само введение такой сущности, о которой мы нечто утверждали, не было оправданным.

Когда мы говорили, что понимание текста зависит от средств и что изменение средств вызывает изменение понимания, то с эмпирической и прагматической точки зрения мы были правы; так говорили все, и мы в этом отношении были не хуже, чем все остальные.

Поскольку мы пользовались таким выражением, как смысл, то мы точно так же могли бы говорить, что характер смыслов, которые мы пони-

маем или выявляем в тексте, зависит от наших средств деятельности и нашего решения.

Пономарев Я.А. А были ли у вас обратные случаи, когда введение определенных средств приводило к потере понимания, как это, например, было у Шулежко, когда он совершенно разучил детей читать?

В нашей практике этого не было, но мы постоянно отмечали это в практике других, в частности в практике нашей средней школы.

Леонтьев А.А. В какой мере эта гипотеза и ее подтверждение ограничены математическим смыслом текстов? Можно ли перенести все это на процесс понимания обиходного текста и выявления в нем обиходного смысла?

На наш взгляд, нет никаких других смыслов, кроме математических, физических, биологических, исторических и т.п. Если мы и говорим о лингвистическом смысле, то это точно такой же особый предметный смысл, стоящий в одном ряду с уже указанными. И нет – вообще не может быть – никакого речевого или языкового смысла.

Фактически, говоря все это, я утверждаю, что смысл некоторого текста задается процедурами и средствами последующей деятельности. Характер этой деятельности определяет характер того смысла, который будет выделен в этом тексте; фиксация такой зависимости может рассматриваться как первая и простейшая модель смыслообразования.

Когда Галанин вводил свое понятие математического смысла, то он, как я уже отметил выше, исходил из определенного представления процедуры решения задач и ввел «математический» смысл как тот смысл, который обязательно должен быть выделен, чтобы мы могли решить задачу. Но точно так же и в любом другом случае: зная последующие процедуры действий, мы можем говорить о том смысле, который должен быть выделен в тексте, чтобы стало возможным осуществление этих процедур. Если у нас будет физическая деятельность, то мы будем говорить о «физическом» смысле, если будет историческая деятельность, то об «историческом» смысле и т.д. Главное здесь в том, что характер понимания и выделяемого им в тексте смысла определяются характером последующих процедур, т.е. способами использования этого текста.

Итак, понимание определяется дальнейшей процедурой деятельности, связанной с этим текстом, и это понимание приписывает тексту смысл, находящийся в определенном соответствии с процедурами деятельности и задающими ее средствами.

Забегая несколько вперед, я могу обратиться к схеме решения арифметических задач. Тогда мы сможем анализировать сами процедуры работы с текстом, в частности – переход от текста к процедурам. Проведенный

нами анализ показал, что подобные переходы являются достаточно сложными и в общем случае включают преобразования смысловой структуры текста, точнее, наверное, нужно сказать – такую перестановку (и преобразование) значимых элементов, которая и образует смысл. Но если мы берем самые простые случаи, то там действия с текстом сводятся к простой разбивке его на значимые элементы, причем эта разбивка идет строго последовательно, т.е. в соответствии с развертыванием самой цепочки текста. В этом случае смысловая структура текста сводится к схеме членения самого текста на значимые элементы, и соответственно этим значимым элементам действующий человек восстанавливает или конструирует свои действия с объектами и сами объекты.

Интересно и существенно также, что обработка текста в этих простейших случаях связана с выделением определенных опорных слов, которые, собственно, и определяют членение текста. При решении прямых арифметических задач такими словами служат слова «прилетели», «улетели», «стало больше», «прибавилось», «всего стало» и т.д. и т.п. Эти слова являются опорными, потому что детей таким образом учат решать задачи, т.е. в числе прочего учат выделять подобные опорные слова. Надо заметить также, что в этом плане, наверное, очень интересно сравнить разные методики обучения решению задач, в частности методики Галанина, Скаткина, Менчинской, Занкова, Давыдова, Гальперина. Мы показали, что косвенные задачи дети не решают именно потому, что они понимают и создают смысл именно таким образом, как их учили – по опорным словам «прилетели», «улетели», «стало больше» и т.д. А в этих задачах нужно выделять другой смысл и иначе, с помощью иных средств.

Именно его-то и имеет в виду Галанин, когда он говорит о «математическом» смысле в отличие от «обыденного» смысла, позволяющего решать прямые задачи. Важно также то, что в косвенных задачах, как показывает анализ, вообще нет таких слов, которые могли бы быть выделены в качестве опорных и позволили бы произвести адекватную обработку текста, выделить необходимый смысл. Я подчеркиваю: их вообще нет. Конечно, вы могли бы сказать, что в тексте их вообще не бывает, что их не было и в случае прямых задач. Такую формулировку я тоже принял бы, хотя и с известной оговоркой, ибо в этом плане прямые и косвенные задачи существенно отличаются друг от друга. Но если в тексте нет таких точек, то где же они есть?

Нам приходится отвечать, что они существуют в том наборе средств, который существует вне текста и привлекается ребенком для понимания текста и построения самой процедуры решения. Если воспользоваться распространенными сейчас терминами, то можно сказать, что синтагматическая цепочка текста и парадигматическая система разных средств, как языковых, так и мыслительных, это не разные объекты, во всяком случае, не те объекты, которые можно разделить при обсуждении этой проблемы, а одно, даже единое системное условие человеческой деятельности.

Иначе говоря, сам по себе текст сообщения вообще не является той целостностью, которая задает понимание. Лишь в отношении к парадигматической системе текст представляет собой нечто, и поэтому он должен рассматриваться в отношении к ней и в связи с нею.

Эта сторона дела особенно отчетливо выступила при обучении решению сложных арифметических задач. Там мы всегда вводили определенные средства, располагали их рядом с самим текстом, и, по сути дела, именно эти средства и составляли те «опорные точки», с помощью которых производилась обработка текста. Но при этом, конечно, поскольку текст рассматривался с точки зрения специально введенной системы средств – эта система средств выступала как шаблон для членения текста, – постольку особенности этого шаблона, его структура должны были быть перенесены каким-то образом на текст. Это и значит, что в самом тексте, в его словесной цепочке мы должны были выделить опорные характеристики структуры шаблона. Но именно этот анализ показал, что шаблон, как правило, является не одной структурой, а сложной полиструктурой, содержащей в себе как бы несколько структурных образований.

Но соответственно этому приобретал несколько структур и несколько наборов опорных точек сам текст. Мы как бы накладывали наш шаблон на текст и получали одну систему точек и одну структуру, затем мы несколько преобразовывали сам шаблон, выделяли в нем другие опорные точки и опять переносили их на текст, создавая как бы второй уровень структуры иерархии смыслов. Потом мы могли выделить в шаблоне третью группу признаков, соответственно ей выделить третий набор опорных точек в тексте и образовать третий уровень в иерархии смыслов. Именно из-за этой иерархичности и сложной последовательности образования уровней смысла мы всегда затрудняемся выделить структуру смыслов текста путем простого и линейного анализа. Это очень важный момент в анализе процессов понимания и смыслообразования.

Другой важный момент, тоже играющий свою существенную роль, заключается в том, что шаблон и текст в ходе последовательных соотношений друг с другом как бы взаимно обогащают друг друга. Текст, получивший набор опорных точек благодаря наложению на него шаблона, соотносится с самим шаблоном и придает ему новые структурные черты благодаря своей собственной структуре, а затем обогащенный таким образом шаблон вновь соотносится с текстом и привносит в него новую структуру смысла.

Конкретно, шаблоном, который мы вводили для решения арифметических задач, был набор моделей, представляющих целое и его части и определенные процедуры работы с ними. Эти модели мы и использовали в качестве шаблона для наложения на текст и выявления в нем определенных опорных точек.

Таким образом, текст приобретает ту или иную смысловую структуру, когда с ним соотносятся, или, можно сказать, на него накладываются,

определенные шаблоны средств, вводимых дополнительно со стороны, и когда текст особым образом членится и организуется относительно схемы средств. И только такое отнесение текста к средствам, а средств к тексту создает, с одной стороны, смысловую структуру текста, а с другой – то, что называется пониманием.

Из этого можно сделать вывод, что в тексте как таковом нет ни смысла, ни смысловой структуры. Чтобы можно было говорить о смысле и смысловой структуре – либо закладываемых в текст говорящими, либо же извлекаемых из текста слушающими – обязательно нужен тот или иной набор средств, определенным образом организованных.

Сказанное мною может создать впечатление, что текст вообще не может анализироваться безотносительно к тем или иным процедурам понимания его. Такой вывод был бы неправильным. Вполне возможен чисто объективный анализ текста, производимый совершенно безотносительно к слушающим (понимающим) и говорящим индивидам. Это будет анализ текста в логическом или культурно-историческом плане. При этом мы будем пользоваться не такими терминами, как «понимание» и «смысл», а такими, как «содержание», «значение», «знаковая форма», «структура формы», «структура и система значений» и, наконец, «структура и система содержания». Именно к этому набору понятий мы должны перейти, чтобы избавиться от аспектов понимания и смыслообразования.

По сути дела, план содержания и значений теснейшим образом связан с планом понимания и смыслообразования, но лишь в генетическом плане. Можно сказать, что планы содержания и значений выделяют и закрепляют в культуре некоторые инварианты смыслов и структур смыслов, создаваемых благодаря разнообразным пониманиям. Каким образом это происходит, т.е. как от понимания и смыслов мы переходим к значениям и объективным содержаниям, – этот вопрос требует специального обсуждения и изучения. Но главное, что такой переход действительно осуществляется в истории развития человеческой культуры, и поэтому содержание и значение начинают реально существовать благодаря особым средствам и системам независимо от тех или иных пониманий и создаваемых ими смысловых структур.

Именно такой объективно логический анализ позволяет нам выявлять логическую структуру текста, объективную структуру содержания и саму мысль, заложенную в этом тексте.

Проводя анализ в логическом плане, мы можем и должны соотносить тексты с определенными задачами и устанавливать между ними соответствие (несоответствие). Благодаря этому соотносению тексты будут получать те или иные характеристики относительно задач.

В этой связи мне, конечно, могут задать вопрос, зачем я, анализируя факты решения или нерешения детьми задач, начинаю говорить о понимании и ввожу кучу каких-то сложных проблем, когда можно было бы без труда обойтись без этих слов и говорить, что дети в одних случаях реша-

ют задачи, в других случаях – не решают; чтобы они решали, нужно их обучать, и тогда не будет никаких проблем понимания. Тем более, что все, что я говорил и говорю, вроде бы ведет к тому выводу, что понимание – какое-то эфемерное явление, не имеющее за собой ни фактов, ни определенной понятийной конструкции. Зачем же тогда я ввожу сам термин, а вместе с ним множество проблем? На это есть свой ответ.

Конечно, когда Галанин говорил о понимании математического смысла задач, о том, что одни дети понимают косвенные задачи, а другие не понимают, он был не прав. Он ошибался. Но он ошибался творчески. В его ошибке была заложена не только проблема, но и ход к принципиально новой действительности, которая с тех пор стала существовать, существует сейчас и открывает перед нами перспективы весьма продуктивных, как мне кажется, исследований. А Л.Н.Ланда, когда он отбрасывает все проблемы понимания и говорит просто, что одни дети решают задачу, а другие не решают задачу, как нам об этом сказал Я.А.Пономарев, конечно, прав. Но он прав таким образом, что это вызывает скуку. За его трактовкой ситуации нет проблем, поскольку в ситуации он не видит ничего, кроме тривиальности: «решают – не решают». Ведь такое явление, как понимание текста, все-таки существует. И когда дети читают текст условий задачи, которую они должны решить, то ведь они при этом «понимают» текст, проделывают определенную работу в понимании. И эти процессы надо каким-то образом ухватить и исследовать, нужно построить гипотетическую модель понимания и затем проверить ее специально созданными для этого фактами.

Движение здесь идет точно по Гегелю: от явления к сущности, а потом к действительности. Галанин ухватывает пока только явления. Ни он, ни мы вслед за ним не можем перейти к сущности и, тем более, к действительности. Но из этого не следует, что мы должны встать на позицию Ланды и не замечать также и явления. Мы должны заметить это явление, и мы должны быть благодарны Галанину и другим за то, что они его заметили и стали обсуждать. Поэтому я за Галанина, который ошибается, и против Ланды, который прав.

Но если мы обсудили все экспериментальные факты, которые получают нами в опытах, если мы договорились, что эти опыты дают нам возможность утверждать, что характер понимания текста зависит, по-видимому, от связанной с этим текстом процедуры решения задачи и средств построения этой процедуры, если мы согласны в том, что эти факты ровно ничего не дают нам для ответа на вопрос, что же такое понимание и какими признаками оно обладает, то тогда и именно в этом месте мы должны спросить: а откуда же взялся сам термин «понимание», что именно он обозначает и каким образом обозначает?

Постановка такого вопроса и попытки ответить на него будут идти как раз в русле того перехода от явлений к сущности (в гегелевском понимании), на который я сослался выше. Ведь вы сами выше сказали, что

дети вроде бы просто решают или, наоборот, не решают задачи. И это некоторый факт. Но откуда же тогда берется утверждение, что они при этом что-то понимают или не понимают?

По сути дела, мы переходим здесь к обсуждению того вопроса, который я поставил в самом начале сегодняшнего доклада. На одну часть вопроса мы уже ответили: все описанное мной как содержание опытов не является фактом, характеризующим природу понимания. Другими словами, из этих опытов мы ровно ничего не можем извлечь для ответа на вопрос, что такое понимание. Но остается еще вторая часть вопроса: откуда взялась подразумеваемая нами действительность понимания?

Отвечая, мы должны прежде всего отметить, что когда дети не решают задачу, то мы обязательно спрашиваем себя и других: почему они не решают? И даже Л.Н.Ланда тоже должен будет поставить этот вопрос. Первый гипотетический ответ на такого рода вопрос: потому что дети не могут осуществить необходимые процедуры; а они не могут их осуществить потому, что у них нет либо самих этих процедур, либо средств их построения. Но опытный анализ опровергает это предположение. Мы выясняем, что дети знают все необходимые процедуры решения, владеют всеми их элементами и умеют такие процедуры осуществлять. Поэтому нам приходится выдвигать другую гипотезу: дети знают и умеют осуществлять все необходимые процедуры, но они не знают, какие именно процедуры нужно осуществлять в данном случае, какую именно процедуру использовать.

Но предположив такое, мы должны затем тотчас же поставить вопрос, почему они не знают, какую процедуру нужно использовать, и что вообще означает «знать» или «не знать» в подобном случае. Мы должны ответить на вопрос, чего именно нет у детей, решающих эту задачу.

Предположим, мы отвечаем, что у них нет умения применять. Но тогда, естественно, встает вопрос, что они должны применять. Но даже если вы ответите, что речь идет о средствах, то я все равно задам следующий вопрос об объекте деятельности; я спрошу, к чему они должны применять эти средства.

Здесь можно было бы еще очень долго задавать вопросы и получать на них ответы примерно такого типа: дети не знают того, что нужно знать, не умеют делать того, что нужно делать, и т.д. и т.п. Но такого рода ответы, как показывает многолетний опыт, не ведут к решению и вообще куда нас не продвигают.

Поэтому, в оппозиции ко всем этим ответам мы прежде всего начинаем с ответа на вопрос: как именно решаются задачи такого рода в одних и других случаях, как вообще должны решаться такие задачи? Иными словами, мы строим нормативное изображение процесса решения задачи. При этом мы создаем достаточно детализированную модель решения, раскладываем решение на части, выделяем в нем элементы и связи между элементами. А благодаря этому наш вопрос о том, почему дети не решают

задачи в тех или иных случаях, приобретает значительно большую детализацию и точность. Теперь, исходя из сложной структурной схемы решения, мы можем выяснять, что у них есть и чего у них нет в тех или иных случаях.

В частности, мы показываем, что процесс (или процедура) решения задачи включает: 1) переход от словесного текста к некоторому математическому, в данном случае арифметическому, выражению, 2) построение арифметического выражения и 3) преобразование арифметического выражения, приводящее к числовому ответу.

Каждая из названных частей процесса может быть дополнительно пояснена и детализирована. В частности, когда я говорю о переходе от словесного текста к арифметическому выражению, то я подразумеваю, по крайней мере, два разных момента. Чтобы получить арифметическое выражение, мы должны либо выбрать его из какого-то уже имеющегося набора, либо же – и мне это кажется более правдоподобным – мы должны построить это арифметическое выражение в соответствии с текстом условия задачи. Следовательно, мы должны проделать определенную конструктивную работу, для которой текст условия выступает в виде неявного проекта.

Но чтобы построить арифметическое выражение по тексту условия задачи, нужно, как показывает опыт, особым образом обработать сам текст, и только после этого мы сможем начать конструирование арифметического выражения. Но эта обработка текста, как я стремился выше показать, зависит от того, что мы будем дальше делать – выбирать или строить арифметическое выражение, а также от того, как мы будем это делать. Таким образом, и то, что я назвал переходом от текста условия к арифметическому выражению, представляет собой очень сложную структуру, включающую ряд разнородных элементов.

После того как мы выделили в решении задачи эти три момента, наш вопрос о том, почему дети не решают задач, сразу распадается, фактически, на три вопроса, каждый из которых скрывает за собой определенный гипотетический ответ. В наших опытах, как я рассказывал, специально проверялось, могут ли дети строить арифметические выражения и преобразовывать их. Мы вели исследования только с теми детьми, которые все это умеют делать. И именно благодаря этому мы могли утверждать, что возникающие в их решениях ошибки или отказ решать задачу обусловлены чем-то, принадлежащим к первой процедуре. Именно здесь и началось употребление термина «понимание».

Для нас оно оказалось связанным с переходом от текста условия к выражению из оперативной системы арифметики. Этим было задано первое определение понимания. Мы определили его – сначала в чисто феноменологическом плане – как такое виденье текста и, соответственно, такую обработку текста, которые дают возможность перейти к арифметическому выражению, заключающему решение задачи. Иначе говоря, для

нас понимание выступило как связанное не с решением задачи самим по себе, а с той частью решения, которую я обозначил как переход от словесного текста условий к арифметическому выражению, т.е. к элементу оперативной системы арифметики.

Если попытаться обобщить это определение, то нужно будет говорить не об элементах и фрагментах оперативной системы, а о каких-то элементах и фрагментах «деятельностного поля» или «поля деятельности».

Если вы будете рассматривать не решение арифметических задач, а, скажем, чтение иностранного текста, то вся ситуация будет выглядеть точно так же и все определения останутся теми же. Только в качестве фрагмента оперативной системы или фрагмента поля деятельности выступит система языка и поле речевых текстов на родном языке. И в этом случае точно так же мы будем создавать такое виденье иностранного текста и производить такое преобразование его значимых элементов, которые позволили бы нам перейти к тексту на родном языке. И эта работа по членению и преобразованию конфигурации значимых элементов иностранного текста относительно текста какого-то другого языка и будет задавать тот смысл, или ту смысловую структуру, которую мы должны выделить в иностранном тексте, чтобы перейти к тексту на родном языке. Из этого следует с неизбежностью, что один и тот же текст на английском языке будет иметь разные смысловые структуры в зависимости от того, на какой язык мы его переводим; если на русский, то это будет одна смысловая структура английского текста, если на арабский – другая, а если на китайский, то третья.

Другими словами, при переводе мы всегда «вчитываем» в иностранный текст ту смысловую структуру, которая позволяет перейти к оперативным системам другого языка.

Леонтьев. Аналогичные идеи есть в работе В.Х. Солебаева, посвященной пересказу. Он пришел к аналогичным представлениям совсем иным путем. Близкие вещи есть в работах Дизатова с Мукановым. Подходы к этому же были в работе Франк из Душанбе. Одним словом, многие крутятся вокруг этого.

Но все, что я говорил сейчас, – это отступление от основной линии изложения, к которому вы меня вынудили своими вопросами. Поэтому я хотел бы вернуться назад к той проблеме, которую поставил выше.

Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на то, что все мои вопросы, касающиеся понимания, и все мои утверждения были обусловлены тем, что мы включили в свой анализ некоторую модель решения задач. Только введя эту модель, мы получили возможность что-то говорить о понимании. А если бы мы не ввели этой или подобной ей модели решения, то мы бы так и остались, если хотите, при двух обстоятельствах: 1) одни дети решают задачи, а другие не решают задачи и 2) мы говорим, что

некоторые случаи нерешения задач связаны с непониманием текста условий. Существенно, что второй момент пока – т.е. пока нет схемы и определенного гипотетического ответа на вопрос, что такое само понимание – является совершенно произвольной добавкой к первому. Поэтому многие исследователи, не только Ланда, просто говорят, что дети решают и не решают. Они остаются на почве одних лишь фактов и не привносят мысли. Те, которые говорят здесь о понимании и непонимании привносят в ситуацию если не мысль, то, во всяком случае, определенный смысл. Но откуда они его берут и на каком основании и каким образом они его сюда привносят?

Чтобы ответить на этот вопрос, я должен ввести и рассмотреть вместе с вами одну очень интересную методологическую схему. Это схема совмещения двух позиций: позиции исследователя-экспериментатора и позиции самого испытуемого, решающего задачи. В.А.Лефевр называет эту схему «схемой заимствования».

Для того чтобы сказать в экспериментальной ситуации, что дети не понимают текста, Галанин или другие исследователи должны были поставить себя на место испытуемого, вспомнить все свои субъективные переживания, связанные с тем, что когда им давали тексты условий задач или что-то говорили, они не знали, как на это реагировать, что надо делать, испытывали в связи с этим неудобства и, образно говоря, метались. Наложив за счет работы своего сознания одно на другое, т.е. представление о том, что ребенок не может решить заданную ему задачу, и свои прежние воспоминания о субъективных переживаниях, связанных с этой невозможностью решить задачу, используя слово, обозначающее их собственные внутренние переживания, связанные с таким состоянием, сплотив два указанных представления синкретически в одно, обозначив его тем словом, которое раньше выражало только определенные субъективные переживания, исследователь и получает то употребление этого слова, которое мы разбираем, и тот новый смысл, который нас непосредственно интересует.

В другой раз я бы взялся показать, что очень многие, если не все, понятия первоначально образуются именно таким образом. В частности, мы не можем образовать понятия знака, значения, смысла, не производя указанного объединения внешней и внутренней позиции. Но и наоборот: чтобы объяснить тот смысл и то содержание, которые зафиксированы в соответствующих терминах, мы должны обращаться к этим двум позициям и анализировать ситуации, которые их объединили и в которых было произведено соответствующее совмещение внешнего и внутреннего содержания.

Я хочу специально отметить, что, употребляя слово «синкретическое», я не хочу сказать ничего плохого о самом этом способе; создание смыслов путем синкретического объединения других смыслов – совершенно общий процесс в работе нашего сознания. В нем, самом по себе, нет ничего плохого. В нем есть нечто неудобное лишь в плане дальнейше-

го развертывания созданных смыслов в понятия и в идеальные объекты. Дело в том, что очень трудно объективировать смысл, созданный наложением друг на друга представлений из двух позиций – внешней и внутренней. Мы легко можем объективировать эти смыслы формальным и, следовательно, фиктивным образом. Имея какой-то смысл, мы можем выдавать его за объект и говорить, что именно такое и существует. Но это неправомерно как с логической, так и с практической точек зрения. Именно таким путем создаются те фикции, которые потом начинают неимоверно тормозить развитие нашей науки. И это очень важно понимать, ибо без понимания не может быть преодоления этих недостатков. И, наоборот, если мы понимаем природу и механизмы образования подобных синкретических смыслов, то мы уже с ними можем сознательно работать, можем их преобразовывать и объективировать.

Вернемся непосредственно к нашей теме. Если сам смысл слова «понимание» и подразумеваемая этим смыслом действительность возникают именно таким образом, как я это охарактеризовал, то очень трудно найти для них действительно существующий объект. Во всяком случае, мы не можем сказать, что понимание или непонимание – это названия для определенных субъективных переживаний, возникающих в душе у человека, – способ, каким объясняла бы эти явления интроспекционистская психология. Существуют разные и очень интересные попытки объективации этого переживания, интересные в смысле своей выразительности. Например, Корнилов, чтобы выяснить объективную трудность тех или иных задач и определить степень понимания или непонимания их детьми, сажал детей на резиновые подушки, специальная система аппаратуры фиксировала в виде кривой колебания давления: сколько и как дети елозили на этих подушках, решая задачу. Так получались объективно-эмпирические показатели понимания и непонимания задач. Но это, как вы догадываетесь, очень слабый и, по сути дела, ошибочный ход в попытках объективировать субъективные состояния и субъективные переживания.

Я утверждаю лишь одно: что образованное в виде синкретически скомпонованного смысла понятие должно быть теперь преобразовано и трансформировано, может быть, очень существенным и кардинальным образом, чтобы мы могли, исходя из него, создать в конце концов такую модель понимания, которая могла бы претендовать на объективность. Первым условием такой трансформации является выход за пределы очерченных нами эмпирических фактов. Ибо сами эти факты таковы, что сколько бы мы их дальше ни анализировали – пусть даже тысячу лет, – они сами по себе ничего не могут дать для создания, конструирования модели понимания. Иными словами, можно еще сколько угодно лет таким же способом анализировать понимание текстов – и не продвинуться ни на шаг в ответе на вопрос, что такое понимание.

Это объясняется тем, что все описанное нами, хотя и является фактами, связанными с явлениями понимания, но не может рассматриваться как

научные эмпирические факты для научного анализа и описания понимания как такового. Поэтому нам придется здесь сделать «прыжок», выход за границы всех описанных выше фактов.

Должен сказать, что мы тщательным образом анализировали все факты, полученные нами в исследованиях способов решения задач, стремясь сформулировать все гипотетико-дедуктивные выводы, которые из них могут следовать. Все эти выводы касаются только одного – как меняются те или иные моменты решения при включении в деятельность ребенка одних или других средств. Но чтобы мы могли, опираясь на факты, ответить на вопрос, что такое понимание, сама направленность исследования и способы получения фактов должны быть кардинально видоизменены.

Чтобы ответить на вопрос, что такое понимание, нужно построить модель этого явления. С этой точки зрения, смысл всех моих утверждений может быть переформулирован так: если мы поставили вопрос, что такое понимание, то все факты, перечисленные мной и аналогичные им – они образуют основной костяк тех фактов, которые получают сейчас при исследовании понимания, – не дают ничего для определения и конструирования этой модели. Точно так же мы не можем считать, что описанные нами факты могут служить тем, что будет объясняться с помощью этой модели. Модель понимания должна строиться под другие факты и для других фактов. Указанные мною факты объяснять больше нечего, они все объяснены – объяснены не только теоретически, но даже на инженерном и конструктивном уровне, в контексте анализа процессов решения задач. В них нет больше ничего, что требовало бы объяснения, кроме самого факта понимания; но оно (понимание) требует особой модели, а относительно этой модели будут выделены потом новые факты. Другими словами, все описанные выше факты можно объяснить, не апеллируя к термину и понятию «понимание».

Фактом является то, что Галанин и другие методисты, сталкиваясь с некоторым набором фактов в поведении детей, ввели термин «понимание» и соответствующий ему смысл. Казалось бы, что еще нужно – термин есть, он что-то обозначает, бери и начинай исследовать. Но этот путь не проходит. Более того, мы показали, что пока смысл слова «понимание» – это некоторое синкретическое совмещение фактов нерешения задач и особых субъективных переживаний, возникающих у нас в подобных ситуациях. Тогда, естественно, напрашивается выход: выбросить слово «понимание» и решать задачи, связанные с найденными фактами, без обращения к этому термину и без реконструкции соответствующего ему понятия. Но этот путь бесперспективен. Ведь явления понимания, по-видимому, существуют. Из этого надо исходить, надо сформулировать онтологический тезис о существовании особой сущности – понимания. Этой сущности нужно найти соответствующие ей явления, а для этого, в свою очередь, надо каким-то образом построить модель понимания, и только после этого мы сможем искать факты, характеризующие понимание.

Тогда вся наша работа распадается на два этапа. На первом этапе мы создаем приблизительное, пусть очень приблизительное, представление о понимании. Создавая эту модель, мы опираемся не на факты, а на что-то другое. На втором этапе, имея эту модель, мы начинаем разворачивать ее обычными научными методами – подыскивая контр-примеры, перестраивая в соответствии с ними саму модель и т.д. и т.п. (см. [Лакатос 1967: раздел об образовании понятий]).

Здесь важно понять, что описанные выше факты, связываемые нами с пониманием, были получены, конечно, тоже на модели. Но это не была модель понимания. Это была модель чего-то принципиально иного – в данном случае модель процессов решения задач. А модели понимания в исторической культуре до сих пор не было никакой. При употреблении же существующих моделей появлялись – как правило, в виде побочного продукта – те факты, касающиеся понимания, которые мы выше описали. Вместе с тем в этом же процессе появлялись псевдопонятия и термины, их фиксирующие. Но из того утверждения, что это все были псевдопонятия, не следует, что нет такой действительности, как понимание, не следует, что мы не должны ставить перед собой задачу построить модель понимания.

Я уже говорил об ошибках Галанина, но я также отмечал, что они были творческими, создающими, фактически, новую действительность. Благодаря этим ошибкам мы выявили такую сущность, как понимание, мы ухватили, пусть пока «за хвост», действительность понимания. Получив таким образом некоторую псевдодействительность, мы теперь должны совершить одну очень сложную трансформацию и выйти к конструированию новой действительности – подлинной действительности понимания. Но для этого мы должны отказаться от тех фактов, которые были связаны с возникновением псевдодействительности, и найти новые факты, характеризующие для нас саму действительность.

Сейчас было бы бессмысленно задавать мне вопросы типа: что такое понимание и будет ли то или иное явление пониманием или чем-то другим? Я еще не знаю, что такое понимание. Нам все еще предстоит создать это понятие, решив по ходу дела, какое именно явление целесообразно называть этим словом. При этом надо ввести ряд сложнейших оппозиций: «понимание – мышление», «понимание – речь» и т.п.; всю действительность человеческой речи и мышления я должен еще расчленить и выразить в системе понятия. При этом я должен решить вопрос о том, как целесообразней и правильнее всего производить такое расчленение. Поэтому область, относимая к пониманию, будет определяться, среди прочего, также и тем, что мы отнесем к мышлению и другим интеллектуальным функциям.

Чтобы изложить ходы построения модели понимания, я должен предварительно, хотя бы коротко, изложить основные принципы моей работы.

Мы должны построить модель понимания. Единственное, на что мы здесь можем опираться, это, во-первых, некоторые логические принципы

моделирования, характеризующие современный уровень этой работы, а во-вторых, наша теоретико-онтологическая позиция. Мы должны, по сути дела, впервые выделить и создать «понимание» как особый объект. Трудность нашего положения состоит в том, что ни одна из существующих ныне дисциплин: ни психология, ни теория сознания, ни теория деятельности, ни теория мышления, ни языкознание, ни психолингвистика – одним словом, ни одна наука не дают нам полного и необходимого набора средств для конструирования моделей понимания. Понимание лежит на стыке всех предметов, описываемых этими дисциплинами. Поэтому мы должны сконструировать модель понимания, пользуясь средствами всех этих дисциплин. При этом мы должны их все каким-то образом связать. Кроме того, мы должны выделить целый ряд специфических требований к создаваемой нами модели – в первую очередь системно-структурных.

Системно-структурная модель, в отличие от того, что пишет сейчас Г.П.Мельников, предполагает прежде всего особое изображение процессов, конституирующих рассматриваемую действительность и определяющих ее полноту. Во втором слое будут функциональные структуры, в третьем – материальные организации и в четвертом морфология объекта. Это значит, что модель понимания должна состоять, по сути дела, из четырех частичных моделей.

Сегодня, как правило, при создании подобных моделей идут в обратном порядке и начинают с морфологически фиксированных элементов. На этом обычно все заканчивается, потому что, двигаясь от морфологии, в частности от самого человека, модель понимания просто невозможно построить.

Третье требование: это должна быть модель деятельности, и поэтому в ней будет действовать принцип множественного существования каждой единицы содержания.

Четвертый принцип – зависимость характера объекта от точки зрения описывающего его наблюдателя; у нас будет много моделей понимания.

Но кроме того – пятый принцип, – характер самого объекта будет зависеть от уровня его познания, от характера и типа существующих о нем представлений. Любые наши описания понимания используются затем в качестве средств самого понимания и поэтому изменяют его. По-новому описав новое понимание, мы снова используем наше представление в качестве средства понимания, таким образом меняем само понимание и т.д. и т.п. Короче говоря, в деятельности любые реально протекающие процессы развиваются по мере их познания и благодаря этому познанию.

Сначала строится первая модель, дающая функциональное определение понимания. Для этого мы задаем систему коммуникации, точнее – процесс коммуникации, с текстом коммуникации связываются отношения замещения и обратная ему процедура, или отношение отнесения. Если мы зададим эту схему, то через нее мы можем определить функции понима-

ния в деятельности и в процессах коммуникации людей между собой. Можно сказать, что функция понимания состоит в том, чтобы обеспечить построение некоторой ситуации или фрагмента оперативной системы в соответствии с текстом и опираясь на него. Здесь начинается ряд интересных вещей, которые могут рассматриваться как обобщение того, что я уже говорил раньше.

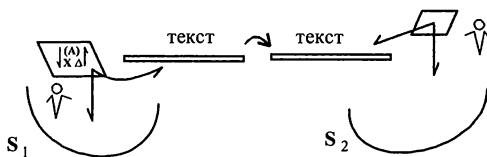


Рис. 1

Обратите внимание на то, что я определяю понимание не через построение ситуации. Я говорю о том, что нужно осуществить отнесение к этой ситуации, а в ходе него, возможно, построить саму ситуацию. Но это – не в каждом случае и не обязательно. Важно, что понимание должно осуществить такое отнесение. В этом состоит его функция. Ясно, что изображенная выше схема не является моделью самого понимания.

Важно подчеркнуть, что переход от текстов, отнесение, не обязательно должно направляться самим объектом практического оперирования. Отнесение может идти к любым полям оперирования, к любым фрагментам оперативных систем.

После создания первой модели понимания – по сути дела, модели акта коммуникации в деятельности – я могу применить к ней категорию «процесс – механизм». Сказав, что с помощью первой схемы я задал функцию понимания, я начинаю рассматривать само отнесение текста к ситуации как продукт понимания. Но если этот продукт рассматривается как некоторый процесс, то я могу дополнительно спросить: за счет каких механизмов может осуществиться такое отнесение? Отвечая на этот вопрос, я должен произвести весьма сложное перепредмечивание; фактически, я должен перейти к другому предмету. При этом первый предмет остается. Но, кроме того и в определенной связи с ним, мы должны выделить еще второй предмет.

Обсуждая вопрос о механизме понимания, я должен учитывать принцип зависимости объекта от знания о нем, принцип превращения знания в объект. Я, следовательно, говоря о механизме, должен учитывать уровень развития самого понимания как объекта. Это значит, что, кроме механизма некоторого единичного акта понимания, у меня рядом с изображенным актом коммуникации и в связи с ним должна существовать еще непрерывно работающая машина развития понимания. Например, нам придется различать понимание без понятия и понимание с понятием, понимание без соответствующего объектного представления и понимание на основе такого представления. Здесь в дело включаются классические для психологии проблемы (см. три тома работы О.Кюльпе «Объективация»).

Таким образом, мы все время применяем принцип перепредмечивания и объединения созданных предметов. Эти предметы развертываются не только по принципу «процесс – механизм», но также и по принципу разных точек зрения, возникших исторически. В частности, при этом я должен буду обратиться к теории сознания. Мне придется обсуждать вопрос о том, где существует смысл. Часто мы определяем его как содержание сознания и изображаем как некоторый элемент на табло у деятеля. Но с таким же успехом я могу говорить, что смысл приписан тексту и существует в нем. А мог бы говорить, что смысл приписан фрагменту объективной ситуации.

Любой из этих оборотов, любое приписывание смысла некоторому элементу структуры деятельности есть фиктивное, неправильное изображение смысла, ибо смысл характеризует сам круговорот деятельности.

Можно сказать, что «смысл» есть наше слово, значением которого является псевдопонятие, с помощью которого мы создали некоторую действительность, которая реально не существует, но которой надо найти определенное место и истолкование в деятельности и через деятельность. Но для этого надо отказаться от идеи вещественной трактовки смысла. Можно сказать, что названные мною варианты – разные формы модельного изображения смысла, а в эмпирии – это сам круговорот деятельности.

Мне важно подчеркнуть, что на этой модели могут быть развернуты новые модели в отношении смысла и понимания. Мы сможем ставить вопрос о том, как развиваются разные смыслы; мы сможем ставить вопрос о том, как смыслы превращаются в объекты нашей деятельности (так называемая объективация понимания); мы сможем ставить вопрос о том, как связаны смыслы со знаниями; мы сможем исследовать, как смыслы зависят от значений текста, заданных парадигматическими системами. В конечном счете, мы можем получить на этой схеме-модели план-карту разнообразных проблем, тем или иным образом затрагивающих проблему понимания. Анализ всех этих проблем и будет, по сути дела, анализом того, что было названо пониманием.

Поставив все эти вопросы, мы будем отвечать на них, строя определенные гипотетические модели, а затем для каждой модели будем искать свои группы эмпирических фактов, подтверждающих и опровергающих ее. Это будет исследование понимания в разных, не всегда собственно научных, аспектах.

Рефлексия в деятельности *

В моем докладе должно быть три относительно самостоятельных смысловых части. В первой части я постараюсь связать проблему рефлексии, как мы ее сейчас ставим и пытаемся решать, с культурной традицией обсуждения рефлексии в истории философии, с теми ситуациями и движениями мысли, в которых «рефлексия» была задана как некоторый культурный смысл и предмет философского обсуждения. Во второй части я буду излагать и характеризовать те схемы и основополагающие представления, с помощью которых и в средствах которых мы пытаемся представить саму проблему рефлексии и объективировать ее, т.е. сделать рефлексией предметом собственно научного изучения. В третьей части доклада я попробую наметить те проблемы, которые возникают в разных научных предметах в связи с изучением рефлексии или использованием ее в качестве некоторой объясняющей и конструктивной схемы.

I. Рефлексия в традиции философских обсуждений

Из традиции мы получили «рефлексию» как некоторый смысл, фиксирующий опыт философского самосознания. Формулируя этот принцип, я хочу противопоставиться всем наивно-натуралистическим или наивно-онтологическим подходам и точкам зрения, согласно которым рефлексия представляет собой некоторый объект-вещь, предмет практико-инженерной или мыслительно-теоретической деятельности. Широкое распространение в нашем веке естественнонаучной методологии и идеологии в большинстве случаев создает убеждение, а точнее сказать – предубеждение, что все, что мы знаем и о чем мы говорим, существует в виде изначально данных нам вещей. Именно такому представлению я и хочу противопоставить другое, культурно-историческое представление, которое начинает анализ не с вещей и даже не с предметов мысли, а с определенных смыслов и культурных значений.

Мне важно здесь подчеркнуть, что естественнонаучный подход и естественнонаучная идеология не являются единственными и отнюдь не всегда были так широко распространены и признаны, как сейчас. Господствующей эта точка зрения стала только в XIX столетии. А до того широкие круги специалистов, я уже не говорю о великих философах, прекрасно понимали и знали, что в мире человеческой деятельности и в сознаваемом мире существуют не только вещи и предметы практического действия

* Доклад на совместных заседаниях системно-структурного семинара и семинара по исследованию рефлексивных процессов (5 и 12 января 1972 г.). Арх. № 1934. Опубликовано в «Вопросах методологии», 3-4'94 (публикация А.А.Пузыря). В настоящем издании текст подвергся незначительному редактированию и добавлены отсутствовавшие рисунки.

и научного изучения, но также смыслы и значения, к которым надо относиться совершенно иначе, нежели мы относимся к вещам и предметам нашей практической деятельности. Люди знали, что в мире человеческой деятельности, в сознаваемом мире существуют духи и призраки, что они подчиняются иным законам жизни, нежели вещи, и требуют к себе иного отношения. Этим я, конечно, не хочу сказать, что смыслы и культурные значения подобны духам и призракам; путем такого сопоставления я хочу лишь показать, что во времена Средневековья, Возрождения и Реформации, а затем Контр-реформации понимание смыслов и значений как сущностей особого рода, отличных от вещей, облегчалось большим разнообразием существований, чем то разнообразие, которое мы признаем сейчас.

Я хочу также подчеркнуть, что первым, с чем сталкивается человек в своей сознательной деятельности и что он имеет в качестве исходного материала для своего мышления, являются отнюдь не вещи и предметы практико-мыслительной деятельности, а именно значения, связанные со словами используемого им языка, и те смыслы, которые эти слова приобретают в разных контекстах речи. По сути дела, вещи и предметы мысли в их объектном натуральном существовании являются не чем иным, как определенным видом культурных значений. И этот вид культурных значений возникает лишь в определенных условиях и предполагает строго определенные средства и процедуры человеческой деятельности.

Поэтому, когда сейчас я утверждаю, что рефлексия существует не как вещь или предмет практико-мыслительной деятельности, а лишь как некоторое культурное значение и как определенные смыслы, связанные с соответствующим словом, то этим самым я задаю ориентировку на те условия и специальные средства, которые могут превратить рефлексю в предмет мысли и в вещь, задаю определенное направление анализа, которое начинает не с вещей, а с культурных значений и смыслов, чтобы потом прийти к предметам мысли и вещам логически правильно и обоснованно. Вместе с тем я утверждаю, что первый этап и первая фаза обсуждения проблемы рефлексии необходимо связаны с выработкой и заданием определенного отношения к той культурной традиции, в которой «рефлексия» сформировалась как особое культурное значение и как особые смыслы. А это, в свою очередь, связано с необходимостью оценить эту культурную традицию, определить модус ее существования, а затем найти определенную форму перехода от этой традиции к естественнонаучному подходу. Это необходимо, потому что наша задача состоит в том, чтобы превратить «рефлексию», заданную в качестве культурного значения и определенных смыслов, сначала в предмет научно-теоретической мысли, а потом в предмет практико-инженерной деятельности; одним из моментов такого преобразования будет задание рефлексии в качестве предмета эмпирического и экспериментального исследования.

Заканчивая этот пункт доклада, я хочу сформулировать некоторое общее положение, хотя, конечно, при этом рискую получить от гуманиста-

риев обвинение в банальности. Основные проблемы человеческого мышления связаны, на мой взгляд, отнюдь не с «природой» и ее тайнами, а прежде всего с «культурой» и ее тайнами, с нашими смыслами и значениями, определяемыми в первую очередь социальными отношениями. Это, по моему убеждению, самая важная и самая интересная область человеческого мышления, и то, что мы называем «проблемами природы», есть, по сути дела, особый вид проблем культуры и проблем деятельности. Природная интерпретация – это превращенная, как говорил К.Маркс, и превратная, как добавил бы я от себя, трактовка проблем культуры, культурных значений и смыслов.

Конечно, само противопоставление натуральных вещей и предметов культурным значениям и смыслам я могу производить только на основе очень изолированного и рафинированного методологического представления, в котором вещи и культурные значения поставлены в один ряд как разные виды и формы существования; такого рода подход возможен только на базе той методологии, которую мы называем деятельностной, и даже еще более резко – на базе теории деятельности. С этой точки зрения сами культурные значения и смыслы, подобно вещам, являются для меня предметами мысли и только как таковые они могут сопоставляться и противопоставляться друг другу. Если, скажем, кто-то в принципе отрицает теорию деятельности или идею деятельности и основанный на них подход, то он, естественно, не примет и всех моих положений. Но я не могу и не хочу настаивать на том, чтобы мои положения принимались; мне важно лишь показать основания моих утверждений и раскрыть логику моего рассуждения. И это, как мне кажется, я сделал.

Мой исходный тезис состоит в том, что мы можем понимать и понимаем самые разные слова. Например, когда произносится слово «рефлексия», то подавляющее большинство слушателей понимает это слово, хотя каждый делает это по-своему, и, как правило, нет двух абсолютно одинаковых пониманий. Но это обстоятельство еще отнюдь не означает, что этому слову соответствует определенная вещь или определенный идеальный объект, что мы можем объяснять значение или смысл этого слова, указывая пальцем на какую-то вещь или на какой-то знаковый предмет. Наоборот, очень часто – а для слова «рефлексия» почти всегда – такого объекта или предмета просто не существует; но мы все равно можем понимать и понимаем это слово – понимаем и без этого.

Откуда, собственно, и благодаря чему мы получаем это понимание? Ответ на этот вопрос очень прост. Когда я впервые столкнулся с этим словом, я его не понял и поэтому спросил у старших. Они мне объяснили, т.е. организовали мое понимание, или передали мне соответствующее значение и соответствующий смысл. Я мог бы, конечно, не спрашивать у других людей, а обратиться к справочнику, толковому словарю или энциклопедии; но это было бы, по сути дела, то же самое, что и объяснение взрослых. Если бы мы теперь спросили, а откуда знали это слово старшие или

откуда получил значение и смысл этого слова автор статьи в энциклопедии, то должны были бы ответить точно таким же образом: ему объяснили старшие, или же он прочел другие справочники или другие книги. Таким образом, из поколения в поколение передаются слова, включенные в определенные тексты, используемые нами при составлении новых текстов. Нас учат понимать эти тексты, при этом мы выявляем или создаем смысл и значение этих слов, и при этом отнюдь не всегда существуют вещи или предметы мысли, обозначаемые этими словами.

Из этого я делаю тот важный и принципиальный для меня вывод, что существуют понимаемые слова, не имеющие объектных, вещных денотатов, или референтов, что слова, следовательно, имеют смысл и значение независимо от того, имеют ли они денотаты. Именно на этом я основываю и именно с этого я начинаю свое рассуждение. Слово «рефлексия» имеет значения и смыслы – это бесспорно, поскольку многие его понимают, – но я пока не знаю, имеет ли это слово соответствующую ему вещь или соответствующий предмет мышления и практико-инженерной деятельности.

Таким образом, я должен начать с языка и культуры. Я должен сказать, что в языке и в культуре существуют значения слова «рефлексия». Кроме того, сами язык и культура построены таким образом, что мы можем придавать слову «рефлексия» разные смыслы, употребляя его в разных ситуациях и контекстах речи. Эти языковые или культурные значения – а через них и смыслы – передаются из поколения в поколение, и благодаря существующим формам обучения и общения каждое следующее поколение может понимать эти значения и смыслы, а также постепенно их изменяет и развивает. При этом отнюдь не все слова с их значениями и смыслами имеют соответствующие денотаты – вещи, предметы мысли или предметы практико-инженерной деятельности, – и поэтому отнюдь не для всех слов мы можем и должны искать эти денотаты. Исходя из этого общего положения, а также ориентируясь на философскую традицию употребления слова «рефлексия», я могу утверждать, что это слово имеет значение и смыслы, но вместе с тем я ставлю под сомнение, что оно имеет соответствующий ему предмет мысли и предмет практико-инженерной деятельности. Более того, я утверждаю, что пока оно этого предмета как раз не имеет и наша задача состоит в том, чтобы, исходя из значений и смыслов этого слова, создать соответствующие предметы мысли и предметы практико-инженерной деятельности.

То, чего я требую, есть вполне естественный и закономерный процесс в развитии смыслов и значений. Когда мы начинаем читать «Физику» Аристотеля, то мы выясняем, что в его время не было такого предмета, как «движение» (имеется в виду «движение вообще»), а в наше время такой предмет есть. Он есть потому, что сам Аристотель и ряд мыслителей, работавших вслед за ним, создали такой предмет, и только поэтому сегодня мы можем быть убеждены, что он есть, существует, и даже можем думать, что он существовал изначально и будет существовать вечно: мы можем

рассматривать «движение» не как творение человеческой деятельности и мышления, а как творение природы. Для «рефлексии» такой работы еще никто не проделал, а ее нужно проделать, чтобы рефлексия могла стать и стала предметом собственно научных, эмпирических и экспериментальных, исследований. Но проделать это можно только по определенным правилам, в соответствии с определенной логикой решения подобных задач и достижения подобных результатов.

Из всего сказанного следует, что в исходном пункте анализа нам приходится иметь дело с определенной референтной группой, т.е. с группой мыслителей, которые обсуждали «рефлексию», которые ввели определенные смыслы этого слова и соответствующие им значения. Мы должны постараться понять, что именно они фиксировали в этом слове, а также в каких ситуациях, почему и зачем они его вводили.

Здесь нужно отметить, что реализация этого требования представляет значительную трудность. По сути дела, первоначально мы можем ориентироваться только на само слово, но вместе с тем мы хорошо знаем, что многие мыслители говорили о рефлексии и схватывали определенные ее стороны, не употребляя самого слова «рефлексия». Их мы тоже должны как-то учесть, должны проанализировать их взгляды, но для этого нам придется особым образом работать со значением и смыслами слова «рефлексия», а это представляет очень трудную задачу, в особенности потому, что мы еще недостаточно хорошо знаем, что такое сами значения и смыслы.

Анализ материала, заданного нам предполагаемой референтной группой, тоже представляет значительные трудности. Хорошо известно, что когда мы начинаем читать какие-то тексты, то понимание их сильно зависит от тех средств, которые мы используем в процессе понимания, от наших современных средств. В этих средствах, какими бы рафинированными они ни были, очень много ошибочного, призраков разного рода, говоря словами Ф.Бэкона, в частности предубеждений, привычек мыслить в качестве существующего «ничто», или в качестве вещей – значения и смыслы и т.д. и т.п. Поэтому само понимание текстов вырастает в огромную проблему. Подлинное понимание требует не только чтения, но и очень сложной и изощренной техники анализа.

Одним из главных условий такого анализа является знание и понимание тех ситуаций, в которых обсуждались соответствующие проблемы, а также знание тех средств, на основе и с помощью которых они обсуждались. Если, скажем, я найду употребление этого слова у Локка, Лейбница, Канта и Фихте, а потом обнаружу ироническое отношение к этой теме у Шеллинга, если увижу, что Гегель тем не менее всерьез обсуждает эту проблему, а логики второй половины XIX столетия отказываются принимать рефлексию в расчет, то каждый раз, чтобы понять смысл тех или иных употреблений этого слова и смысл выдвигаемых по отношению к нему оппозиций, я должен спрашивать себя, против чего боролись эти мыслители, что они утверждали и каким, соответственно этому, был смысл вво-

димых ими представлений и понятий. Я должен буду делать это именно в силу того первоначально принятого тезиса, что слово «рефлексия» не имеет предметного и объектного референта. Существование таких референтов очень бы облегчило всю ситуацию; если же я отрицаю их, я должен прибегать к очень сложному анализу ситуаций деятельности и мышления и таким путем восстанавливать смысл и значения, минуя обращение к референтам. Если здесь воспользоваться образом, то можно было бы сказать, что сначала я должен задать смыслы и значения этого слова в виде «пустых» мест в ситуациях деятельности и мышления, в виде «дырок», ограничиваемых лишь их функциями. Это должны быть обязательно ситуации деятельности или ситуации дискуссии, спора, и только восстановив всю такую ситуацию, я могу выяснить, о чем, собственно, идет речь, что именно вводится в качестве определенного смысла и значения.

Более того, если я говорю о некоторой культурной традиции, то я должен брать уже не отдельные ситуации, а длинный ряд, длинную последовательность таких ситуаций в их связях и противопоставлениях друг другу. И только весь этот ряд может задать и задаст историю значений и смыслов слова «рефлексия».

Приступая к решению этой задачи, я должен прежде всего произвести периодизацию. Ее задача и цель состоит в том, чтобы отметить все те моменты, где происходили коренные переломы преемственности, появлялись принципиально новые ситуации и подходы.

Первое, что здесь должно быть отмечено, – это то, что культурная традиция, которую я подрядился обсуждать, очень жестко делится на два больших периода, принципиально отличающихся друг от друга. Граница между этими периодами размазана, но грубо мы могли бы их определить как период до XVI и период после XVI столетия.

Чтобы правильно подойти к оценке этих двух периодов, мы прежде всего должны отказаться от широко распространенного представления, что Средние века де были периодом упадка мысли, упадка культуры, «темным» периодом в жизни человечества и что возрождение мышления, философии и наук началось где-то в XVI и XVII столетиях. Более точные и глубокие исследования по истории философии и науки показали, что хотя Средневековье и сильно отличалось от того, что было до него, в античности, и от того, что было потом, его ни в коем случае нельзя характеризовать как период упадка. Наоборот, именно в этот период, как показывают новейшие исследования, была создана, или сформировалась, та техника мышления, которая привела в дальнейшем к расцвету философии и науки.

Более того, когда мы рассматриваем период так называемого научного подъема в XVII–XIX столетиях, то видим, что по многим очень важным параметрам человеческого мышления именно он был отстающим и «темным» сравнительно с периодом Средневековья. В этом плане период Возрождения может и должен характеризоваться не как период подъема, а наоборот, как период своеобразного опрошения и вульгаризации. Столе-

тия, предшествовавшие периоду Возрождения, были тем временем, когда формировалась натуралистическая позиция и естественнонаучное мышление. Это был период больших завоеваний и кардинальной перестройки всей системы мышления и знания. К концу XVI столетия этот процесс был, по сути дела, завершен, и не только завершен, но и получил такую форму фиксации своих результатов, которая была достаточно простой и грубой.

Можно сказать, что, когда в предшествующие столетия, XII–XV, новый тип мышления был построен, все сложные структуры, обеспечивавшие его создание, стали ненужными и начали умирать и уничтожаться. Именно в XVI и XVII столетиях появились такие мыслители, которые произвели упрощение мышления, созданного до того, и приспособили его к нуждам очень примитивной тогда инженерии и обслуживающего ее знания. Проблематика знаний, смыслов, значений, знаков, техники мышления, которой занимались ведущие мыслители предшествующих столетий, была теперь отброшена и даже забыта. Именно поэтому нашей культуре приходится сейчас, в середине XX столетия, как бы начинать всю работу заново, возвращаясь к тем задачам и проблемам, которые обсуждались в Средние века.

Здесь очень интересна сама проблема такого поворота, и хотя она не имеет прямого отношения к теме моего доклада, я хочу сказать о ней несколько слов. По моему убеждению, сам этот поворот обусловлен тем, что естественнонаучное, натуралистическое мышление в известном смысле себя исчерпало. Сейчас мы вынуждены создавать новые типы и новые структуры мышления – одну из таких структур я называю «методологическим мышлением», – и поэтому мы вынуждены вновь обращаться к проблемам знака, значения, смысла, знания, в конечном счете – к проблемам деятельности, которые интенсивно обсуждались в Средние века, когда формировался естественнонаучный тип мышления и строились необходимые для этого средства. Ясно, конечно, что все эти проблемы встают теперь в новом контексте и поэтому они должны и будут обсуждаться иначе, нежели они обсуждались в средние века.

Но мне важно, отмечая этот огромный поворот в мышлении, сказать лишь то, что вместе с ним произошло очень существенное изменение всей проблематики рефлексии. Кроме того опрожнения представлений о мышлении и познании, кроме того приспособления к натуралистическому мировоззрению, о котором я сказал выше, в этот период произошло еще одно очень важное и существенное изменение взглядов в сфере философии, а именно индивидуализация и психологизация духа. Этот второй большой переворот был связан с направлением так называемого концептуализма, родоначальником которого был П.Абеляр (1079–1142), с попыткой трактовать мышление и дух как субъективные, душевные (впоследствии стали говорить «психологические») явления, а знания – как заключенные в сознании, в психике.

Я сейчас не обсуждаю вопрос, чем было обусловлено торжество этого психологистического воздействия – оно имело под собой весьма сложные основания, и главным среди них было формирование индивидуалистической буржуазной формации. Для нашей темы существенно лишь то, что в связи с переносом, или, точнее, проецированием мышления и духа в план души и индивидуального сознания, проблемы рефлексии были тоже перенесены из плана духа и мышления в план души и сознания. Итак, с одной стороны, представления о рефлексии были весьма упрощены, а с другой стороны, сама рефлексия как процесс была помещена в душу, в сознание человека. Именно эту линию в трактовке рефлексии поднимает и начинает развивать Локк.

Таким образом, рассматривая широкую культурную традицию, связанную с обсуждением рефлексии, мы должны прежде всего разделить ее на два периода, на две части: одна относится к периоду примерно до XVI столетия – именно в этот период сформировался первый круг проблем, связанных с рефлексией и, по сути дела, ими был определен смысл слова «рефлексия»; вторая – к периоду после XVI столетия, когда в работах Локка, Лейбница, затем Канта и Фихте сложилось второе понимание рефлексии и, соответственно, второй смысл этого слова. Эти два периода надо очень четко различать, и вместе с тем нужно проследить за тем, как из первого понимания рефлексии формировалось второе – путем каких трансформаций проблематики и каких соотношений старых и новых представлений.

Второй очень важный момент, имеющий общее значение, но вместе с тем непосредственно связанный с обсуждаемой нами темой, касается эмпирической науки, условий ее возникновения и ее специфических принципов и механизмов. Иначе эта сторона дела может быть охарактеризована как проблема «опыта».

Античная традиция вообще не знала эмпирической науки. Даже в тех случаях, когда Архимед решал задачи, которые мы сегодня относим к физике (типичной эмпирической науке), скажем, задачи статики, гидростатики и т.п., он делал это методами и способами, отличными от методов и способов нашей современной эмпирической науки, он ориентировался на иные принципы и представления. Еще более красивым примером могут здесь послужить работы Аристарха Самосского, который определил отношение расстояний «Земля – Солнце» и «Земля – Луна».

Мы знаем в истории две попытки заложить начало эмпирических наук. Одна из них была предпринята Птолемеем – именно ему мы обязаны первой картиной небесного мира, эмпирически очень строгой и очень точной. Вторая попытка была предпринята в конце XVI и начале XVII столетий. С этой второй попытки эмпирическая наука была наконец создана и начала развиваться. Но как показывает анализ, она тоже не была однородной и в ней намечаются отчетливо разные линии; одна из них связана с именем Галилея, другая – с именем Декарта, третья – с именем

Ф.Бэкона. Конечно, условия и обстоятельства возникновения эмпирической науки должны еще специально исследоваться. Точно также требуют уточнений такие понятия, как «наука», «эмпирическая наука» и все другие, с ними связанные. Но уже сейчас мы можем увидеть некоторые характерные моменты, связанные с обсуждаемой нами темой.

Если мы обратимся к работам Ф.Бэкона, скажем, к маленькой, незаконченной работе «Принципы и начала» или к большой работе «Великое усовершенствование наук», то найдем там очень примечательные положения. Важнейшее среди них – это принцип «работать не с абстракциями, а с вещами».

Это положение заставляет задуматься. Ведь если поверить Ф.Бэкону, то наука, начиная с XVII столетия, работала с вещами, а не с абстракциями – Галилей работал с вещами. Надо сказать, что такое представление, с легкой руки Бэкона, действительно получило распространение в философии и истории науки XIX столетия. Стали утверждать, что отличие галилеевского подхода состоит в том, что он широко применял опытную проверку своих теоретических положений, пользовался практическими экспериментами, с ними сопоставлял свои принципы и законы и т.д. и т.п. Но если мы хотя бы просто более внимательно прочитаем работы Галилея – я уже не говорю о том, чтобы их детально изучить, – то мы увидим, что Галилей никогда не ставил опытов, он всегда работал только с абстракциями, а не с вещами, причем – в отличие от его предшественников, скажем, Леонардо да Винчи, который действительно ставил опыты и ориентировался на них, – Галилей не приводил свои положения в соответствие с фактами, а наоборот, по сути дела, всегда исходил из положения, что если факты не соответствуют его теоретическим положениям, то тем хуже для этих фактов. И то же самое делали Р.Декарт и другие.

Таково было реальное положение дел. Но было бы банально и неинтересно просто отбросить всю идеологию философов и ученых XVII столетия, сказать, что они просто ошибались и на самом деле работали иначе, чем они это себе представляли. Это был бы, повторяю, банальный и неинтересный путь. Наоборот, мы должны спросить себя, почему в начале XVII столетия появился принцип опытного знания, почему этот принцип провозглашался с таким пафосом, почему вокруг него разыгралась такая острая борьба и почему он сыграл и продолжает играть такую значительную роль в развитии современной науки. Мы должны выяснить, в чем подлинный смысл и значение этого принципа. В других словах, это будет вопрос о том, как сложилась эмпирическая наука и что она собой представляет.

Приступая к обсуждению этого вопроса, мы должны прежде всего различить: 1) процедуру получения или выработки нового утверждения, нового положения и т.п. и 2) доказательство истинности этого положения, его подтверждение или опровержение. В то, что мы называем «знанием», входит и то, и другое – знание всегда трактовалось как обоснованное знание (см. [Lakatos 1962]), – но это не означает, что мы должны эти моменты

объединять или, тем более, рассматривать их как один момент. Процедура получения знания и процедура определения его истинности развертываются в разной логике и очень часто отрываются друг от друга. Это важно иметь в виду. Между тем в XVIII–XIX столетиях, когда формировался названный миф об эмпирической науке, эти два момента различали недостаточно. Сложилось убеждение, что принцип опыта относится к способу получения знания, а не к процедурам его подтверждения. И это привело к тем ошибкам в трактовке сути эмпирической науки, о которых я выше говорил.

Я надеюсь, вы уже поняли, что я собираюсь рассматривать принцип эмпиризма как принцип проверки тех или иных утверждений или положений на истинность. И именно в этом я вижу ключ к решению того видимого парадокса, который был указан выше. Мыслители XVII столетия, конечно же, работали не с вещами, а с абстракциями. Что же касается принципа опыта, принципа обращения к вещам, а не к абстракциям, то он играл большую роль во всей их работе, в конституировании создаваемых ими знаний, но не как принцип и условие получения утверждений, а как принцип и условие их обоснования или проверки на истинность. Точнее нужно было бы сказать: как принцип их фальсификации, опровержения. Здесь я хочу адресовать вас к прекрасным работам К.Поппера и его учеников, в особенности П.Фейерабенда и И.Лакатоса. Я считаю названный выше принцип фальсификации абсолютно доказанным и не буду его обсуждать. Меня здесь интересует иной поворот, иной аспект проблемы. Я обсуждаю вопрос: как в начале XVII в. мог иметь прогрессивное значение насквозь фальшивый принцип ориентации на опыт, зачем он понадобился философам того времени?

Вы прекрасно понимаете, что эту тему нужно исследовать специально. Я не проводил такого исследования, и то, чем я сейчас располагаю, это – только гипотезы и предположения, только догадки, опирающиеся на мой личный опыт и на мои личные представления, гипотезы, не проверенные анализом.

Мне представляется, что принцип опыта противопоставлялся принципу чисто мыслительной – логической и онтологической – проверки полученных знаний. Это означает, что новый способ мышления, новый способ работы противопоставлялся одновременно и схоластике, и религии. Это было завершение антисхоластической революции. «Природа» была противопоставлена «Богу» в качестве носителя истины, в качестве источника и основания фальсификации знаний. А процедура получения знаний в процессе мышления осталась, по сути дела, той же самой, хотя была усовершенствована и усложнилась.

Ориентация на опыт была необходима для фальсификации знаний. Сам этот принцип был весьма полезен, несмотря на то, что он был, как я уже сказал, абсолютно фальшивым (я уже не говорю о том, что само понятие опыта было крайне многозначным и противоречивым: в одной из ли-

ний оно вело к понятию природы, в другой линии – к понятию эксперимента, в третьей линии – к различению подтверждения и опровержения и т.д. и т.п.). Если рассматривать весь этот процесс в самом широком историческом плане, то смысл его заключался в освобождении научного мышления и науки от управлявшей ими и давившей на них надстройки теологии и схоластической философии; он позволял превратить научное мышление и науку в самостоятельные, самодостаточные, развивающиеся организмы. В мышление нужно было включить элементы, которые мешали бы консервации машин мышления, которые бы постоянно и непрерывно создавали внутри этих машин противоречия и рассогласования. Если раньше знания, вырабатываемые мышлением, проверялись на соответствие теологии и застывшей схоластической философии, то теперь в качестве такой плоскости для их проверки были выдвинуты природа и опыт. А они всегда фальсифицировали абстрактное знание. Поэтому «работа с абстракциями» была необходимым дополнением принципа опыта; точнее говоря, сам принцип опыта имел смысл лишь при условии, что существовал механизм работы с абстракциями.

Этот тезис является крайне важным. Формулируя его, я хочу провести разделение между процедурами выработки, или получения, некоторых утверждений и процедурами проверки их истинности. Я настаиваю на том, что в период «опытной науки» различные положения и утверждения получались точно так же, как они получались в схоластической науке – путем размышлений и рассуждений, путем чисто мыслительного конструирования. Принципы и правила этого конструирования фиксировались в логике и методологии, и должен был уже существовать богатый опыт подобной чисто мыслительной, или абстрактной, работы. Что же касается принципа опыта, то он относился лишь к способам и процедурам проверки полученных таким образом утверждений с точки зрения их истинности. И этот принцип, как я уже сказал, имел смысл лишь при условии, что существовал, сохранялся и по-прежнему всюду использовался механизм получения новых знаний путем движения в абстракциях; и уже полученные посредством этого движения утверждения и положения могли затем проверяться на опыте.

Тем самым я утверждаю также, что идея «опытной науки» возникла в связи с более широким кругом социальных проблем. Она была направлена, по сути дела, не против чисто мыслительного получения знаний, а против последующих процедур проверки этих знаний относительно онтологических картин теологии и обслуживающей ее схоластической философии. Анализ истории естественных и математических наук в XIV–XVI столетиях показывает, что они очень медленно развивались, будучи замкнутыми на онтологические картины теологии и схоластической философии. Иначе говоря, естественные науки в этот период не имели эффективных источников развития и совершенствования. Еще точнее можно было бы сказать так: наука того времени не была изолированным и

самодостаточным организмом, а это значит – не имела внутренних механизмов развития; в своем развитии тогдашняя наука зависела от теологии и философии. Весь организм знаний в тот период развивался в той мере, в какой развивались его верхние слои – теология и философия.

Положение резко изменилось, когда был сформулирован принцип обращения к опыту. Как я уже говорил, он был ложным с точки зрения механизмов получения новых знаний – опыт сам по себе никаких новых знаний не дает. Но этот же тезис был крайне важным нововведением с точки зрения оснований и механизмов фальсификации знаний. Мышление, связавшее себя этим принципом, получило постоянный источник и стимул развития, оно получило плоскость постоянных опровержений для своих знаний. Конечно, в такой функции этот принцип работал только для критически мыслящих ученых. Поэтому критицизм как особое направление и особый стиль мышления появляется именно в это время в качестве прямого и непосредственного дополнения принципа опыта. Для критически мыслящего ученого соотношение созданных им конструкций с «опытом» всегда приводило к одному и тому же результату: к выяснению, что его конструкции не соответствуют объекту (каким образом от «опыта» переходили к «объектам» – это особый вопрос, требующий специального изучения, но нам достаточно того факта, что такой переход постоянно происходил). Это обстоятельство заставляло ученого развивать его конструкции в надежде привести их в соответствие с опытом. Создав новую конструкцию, он опять соотносил ее с опытом и вновь неизменно убеждался – речь все время идет о критически мыслящем ученом, – что она не соответствует опыту; это заставляло его вновь развивать конструкцию и т.д. и т.п. Таким образом, в плоскости «опыта» (т.е., по сути дела, в плоскости непрерывно развивающейся практики, или практической деятельности) естественная, или «опытная», наука приобрела постоянный, неизменно действующий источник развития. Благодаря этому наука, замкнутая на «опыт», стала относительно самостоятельным и замкнутым организмом, имеющим внутри себя основания и источники самодвижения.

Я обсуждаю все эти вопросы, поскольку они имеют прямое и непосредственное отношение к проблеме рефлексии. Но пока мы должны понять только одно – ученые получили некоторое основание, которое теперь заставляло их непрерывно бежать вперед. В известном смысле это стало одним из важных факторов прогресса. И как это ни странно на первый взгляд, этот фактор заключался в очень простой вещи – в наличии другой, так называемой «опытной», деятельности, в плоскости которой происходит постоянная фальсификация знаний.

Важно также, что при этом (во всяком случае на данном этапе) традиционно работавшие формы мышления не отменялись и не исключались. Так, например, для фиксации расхождений между абстрактными мыслительными конструкциями и «опытом» использовались те же формы апорий и парадоксов, которые использовались раньше, в античном и схолас-

тическом мышлении. Их дополнил лишь некоторый принцип-гипотеза: если в ходе рассуждений мы получаем антиномию, то это свидетельствует о несоответствии наших понятий изучаемому объекту. Но путь разрешения антиномии оставался все тем же: нужно было обратиться к самим понятиям и каким-то образом изменить, трансформировать их.

Здесь, правда, есть много тонких и интересных моментов. Раньше мы могли получить два противоречащих утверждения, правильность каждого из которых была нами проверена, и мы далее неизбежно вставляли перед проблемой: что же делать дальше? Обычно в таких случаях обращались к более общим положениям теологии или философии и стремились выяснить, какое же из полученных нами утверждений соответствует принципам той и другой, или какое них соответствует более важным и заведомо непререкаемым принципам. Но ведь ситуация антиномии как раз тем и характеризовалась, что оба конституирующих ее положения были в равной мере обоснованными; поэтому решить вопрос о том, какое из этих положений «более правильно», было нелегко. Теперь ко всему этому добавилось новое средство: обращение к опыту и проверка опытом; появилась новая фиктивная сущность, заменившая Бога и божественное откровение, – «природа». Но механизм разрешения антиномии, как я уже говорил, оставался тем же самым: нужно было выработать новое понятие об объекте. Свобода опытной науки достигалась благодаря тому, что на это новое понятие не накладывалось никаких ограничений, кроме того, что оно должно соответствовать опыту.

В этом пункте выясняется важная творческая роль догматизма и догматиков. Ведь для каждого теоретического положения, полученного мыслящим сознанием, можно найти подтверждающие его опытные факты; важно было не только найти эти факты, но и одновременно «закрыть глаза» на противоречащие факты. Именно такую работу осуществляли догматически мыслящие ученые, и тем самым они социально фиксировали и освящали вновь создаваемые научные конструкции. При этом сопоставление нового положения с более общими онтологическими картинами и с традиционной логикой по-прежнему оставалось обязательным, но только теперь оно не было единственным критерием и основанием истинности вновь создаваемой конструкции; «опыт» был не менее важным критерием и основанием. Таким образом, в «опытной науке» использовались уже два критерия и два основания, и это, естественно, давало большую свободу, нежели та, которой располагала схоластическая наука.

В схоластическом мышлении всегда существовала масса «потенциальных ям»: если оба антиномичных положения были правильными, то движение знания на этом надолго останавливалось, ибо не было средств и путей выхода из антиномии. Теперь же в такой ситуации стали говорить, что антиномия получилась потому, что какое-то более высокое понятие или знание не соответствует объекту и что нужно, следовательно, обратиться к «опыту» и проверить, какие же именно понятия или знания явля-

ются ложными. После того, как это будет выяснено, ложные понятия и знания можно устранить или заменить другими. Это обязательно приведет к неуравновешенности в системе знаний, заставит нас изменять и перестраивать всю систему, с тем чтобы устранить антиномии и точнее учесть известный нам опыт; последнее положение никогда нельзя было проверить, но это не мешало всем исходить из него и на него ориентироваться.

Здесь, правда, остается еще очень сложный вопрос об эвристической роли опыта, о возможности его влиять на содержание вновь создаваемых понятий и знаний. Все эти вопросы, в том числе и последний, очень интересно обсуждаются в работах К.Поппера и И.Лакатоса – к ним я и отсылаю всех интересующихся проблемой; но вопрос о позитивной роли опыта при образовании новых знаний в них решен так и не был.

Здесь возникает также очень интересный вопрос об отношении между «опытом» и знаниями. Интересно и примечательно, что изменение понятий и знаний – тех, которые были признаны не соответствующими опыту, – происходило таким образом, что в них включались давно уже известные стороны и моменты объектов, а совсем не то, что вновь обнаруживалось или могло быть обнаружено в опыте. В этом плане примечательно, что различие между равномерными и ускоренными движениями прекрасно знал уже Аристотель, но знание этого различия не мешало ему пользоваться одним и тем же понятием скорости (или одной и той же процедурой сопоставления) при исследовании как равномерных, так и ускоренных движений. Вы, конечно, можете спросить, как такое может быть. Но здесь нет ничего сложного и удивительного: ведь из различия равномерных и ускоренных движений отнюдь не следует, что один из этих типов движения можно исследовать с помощью понятия скорости, а другой – нельзя. Чтобы натолкнуть мышление на эту мысль, понадобились те антиномии, которые зафиксировал Галилей. И даже после того, как это было зафиксировано, и возникло предположение, что существующее понятие скорости не приложимо к ускоренным движениям, нужно было еще поставить вопрос: а почему, собственно, оно не приложимо? Здесь, в ответе на этот вопрос, могли быть использованы только те знания о равномерных и ускоренных движениях, которые уже существовали в тот период. Но это известное содержание нужно было еще связать с понятием скорости, а точнее – изменить понятие скорости в соответствии с этим давно известным содержанием. Именно такое соотнесение понятия с имеющимися представлениями и сыграло роль положительной эвристики.

В этом месте обнаруживается еще одна важная черта той революции в мышлении, которая характеризует раннее Возрождение. До того считалось, что мир идей и мир представлений вообще не нужно и, более того, нельзя соотносить; абстракции существовали сами по себе, а вещи – сами по себе, и все это оправдывалось в платоновской концепции двух миров. Мы хорошо знаем, что именно эта концепция дала необходимое основание для развития математики: математические конструкции получили право

на автономное существование независимо от того, соответствовали они вещам или не соответствовали. А значит, могли разворачиваться только абстрактные знания, и поэтому строились системы абстрактных знаний. Сама процедура конкретизации не допускалась, и не было понятия о конкретном знании в его противоположности абстрактному знанию. Теперь эта непреодолимая стена между абстракциями и вещами, абстракциями и представлениями, была сломана и, более того, была поставлена задача соотносить абстрактные конструкции с представлениями об объектах, достраивать и перестраивать абстрактные конструкции так, чтобы они соответствовали представлениям, рождающимся из опыта. Таким образом, мышлению была задана новая линия развития, та самая линия, которая привела к формированию естественных наук, или наук в узком и точном смысле этого слова.

По сути дела, здесь я уже вышел за границы той абстракции, которую задал для себя в начале; там я трактовал «принцип опыта» только как основание для проверки уже полученных утверждений. Теперь я начинаю говорить о тех изменениях в самом мышлении, которые были порождены «принципом опыта» или, во всяком случае, связаны с ним. Это уже более точный и более детализированный подход, но он несколько не умаляет справедливости того, что я говорил раньше. Ведь там мне важно было разделить процедуры получения положений и процедуры проверки их на истинность. Это различие сохраняется в полной мере, хотя, бесспорно, принцип опыта в конечном счете повлиял как на одно, так и на другое.

Вновь введенные моменты не отменяют и тезиса о ложности самого принципа опыта. Ведь, по сути дела, я показываю, что новое содержание извлекается не из опыта как такового, а из уже существовавших раньше знаний и представлений, т.е. из определенных культурных знаний и смыслов.

Все изложенные здесь соображения имеют прямое и непосредственное отношение к проблеме рефлексии.

Выше я уже сказал, что мы должны, чтобы задать смысл слова «рефлексия», обратиться к тем ситуациям, в которых формировались те или иные знания и утверждения о рефлексии, восстановить эти ситуации и тем самым восстановить различные смысловые компоненты представления о рефлексии. При этом смысл будет каждый раз восстанавливаться и определяться как возражение против каких-то других утверждений и способов работы.

Такой анализ, пусть даже самый поверхностный, показывает, что то содержание, которое мы сейчас объединяем в представлении о рефлексии, формировалось по нескольким параллельным линиям и первоначально было зафиксировано как связанное с несколькими различными проблемами (первоначально эти проблемы не объединялись друг с другом и рассматривались как разные). Я назову по крайней мере четыре очевидных для меня проблемы и четыре соответствующих им контекста.

Первая из этих проблем и, наверное, самая важная была поставлена уже Платоном и затем непрерывно обсуждалась в ранней и поздней античности, а также в Средние века. Эта проблема была задана вопросом о том, как возможны идеи об идеях или, иначе говоря, знания об идеях, если идеи не являются объектами и их познание нельзя трактовать в контексте взаимодействия субъекта с объектами.

Я должен здесь оговориться, что очень сильно огрубляю эту проблему, но такое огрубление, как мне кажется, не вредит сути дела.

На этот вопрос не давали ответа ни концепция познания Демокрита, исходившая из схемы истечения чувственных образов от объектов, ни рационалистическая концепция познания Аристотеля. Но многих не устраивал и единственный существовавший в то время платоновский ответ, объяснявший все «припоминанием» идей. Даже если, как это было в рамках платоновской традиции, идея рассматривалась как вещь особого рода, то механизм познавательного отношения к ней все равно оставался проблематичным и непонятным. Можно во всех подробностях проследить историю обсуждения этого вопроса от Платона и до наших дней, можно типологизировать и классифицировать различные попытки ее решения, но, как мы увидим, ни одна попытка не привела к созданию достаточно естественного и простого объяснения.

Это относится и к абелярской идее «концепта». По моему глубокому убеждению, абелярское решение проблемы было псевдорешением. Более того, на мой взгляд, не было ничего более ложного в истории человеческой мысли, нежели абелярская идея концептов, затормозившая на многие столетия развитие человеческих представлений о познании. Но тем не менее Абеляр давал очень простое и очень естественное объяснение существованию самих идей-концептов и механизмам их возникновения. Абеляр утверждал, что идеи существуют у нас в сознании, а поэтому все вопросы о том, как мы познаем идеи, не имеют ровно никакого смысла. С его точки зрения, познавать идеи невозможно; идеи возникают в нашем сознании – и только этот вопрос можно и имеет смысл обсуждать. Идеи есть в нашем сознании, а то, что есть в моем сознании, не нуждается в познании; я и без познания могу с этим работать. Совсем грубо: то, что я знаю, познавать не нужно.

История концептуализма должна нами подробно изучаться – и я был бы рад, если бы кто-то взялся за это специально. А пока я лишь обращаю ваше внимание на то, что Абеляр произвел огромный переворот: он утверждал, что если я что-то знаю, то мне уже не нужно это познавать. Иметь идею, для него, это нечто знать, иметь знание. Поэтому, с его точки зрения, «идея» не могла противостоять человеку в качестве внеположного объекта, а следовательно, говорить о познании идеи, на его взгляд, было бессмысленно.

Конечно, это не означает, что концептуализм решил все проблемы; в его системе возникали проблемы совершенно особого рода и, в частно-

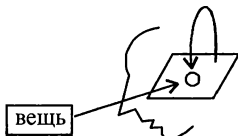
сти, проблема, получившая потом название психофизической или психофизиологической. Вы знаете, что это был вопрос о том, как воздействия на наше тело могут приводить к появлению образов разного рода, в частности идей. Но это было уже нечто совершенно иное, нежели проблема познания идеи.

Сформулировав основные идеи концептуализма, Абельяр трансформировал, извратил и снял все традиционно научные или теоретические проблемы, возникавшие в рамках логики, теории познания и методологии. Для мыслителей античного периода знания, понятия или идеи были объектами оперирования, объектами, с которыми работало мышление. Когда они спрашивали, как возможно познание идей, то это был, фактически, вопрос о том, как можно образовывать знание об идеях, оперируя с ними как с вещами особого рода. Но это, собственно, и была логическая и методологическая постановка вопроса. Мышление, с их точки зрения, заключалось в том, что мы оперировали понятиями. Они, конечно, не пользовались самим понятием мышления; оно по-настоящему возникает только после Декарта, но, по сути дела, именно его они все время обсуждали. А Абельяр снял, отбросил всю эту проблематику. Он сказал: «Я знаю, а следовательно, имею знание, понятие или идею. Следовательно, ставить вопрос о том, как я познаю идею, не имеет смысла». Одним словом, Абельяр лишил идею объективного статуса и тем самым кардинально трансформировал все проблемы, связанные с сознанием и мышлением.

Далее именно эта концепция развивалась различными мыслителями, именно она постепенно получала преобладающее влияние, и именно этот круг идей был использован и развивался далее Локком. В рамках этих представлений Локк вновь поставил, хотя уже совсем в другом виде, проблему рефлексии и таким образом открыл новый цикл обсуждения этой проблемы. Этот пункт требует более подробного обсуждения.

Лишив идею объективного существования, Абельяр, по сути дела, убрал одну из важнейших составляющих проблемы рефлексии: у него не было и не могло быть проблемы знания о знании, или знания идеи. Но у Локка эта компонента возникла вновь; она появилась благодаря предположению, что сознание работает с элементами своего содержания, т.е. со знаниями и идеями. То обстоятельство, что теперь эти знания и идеи существовали в сознании, т.е., грубо говоря, в голове мыслящего человека, на взгляд Локка, нисколько не мешало тому, чтобы сознание могло оперировать и оперировало ими.

Если бы я теперь стал изображать воззрения Локка на схеме, то должен был бы прибегнуть к следующему образу:



Есть простые и сложные идеи, полученные непосредственно от вещей (благодаря воздействию вещей); это – идеи первого порядка. Но затем эти идеи включаются в особого рода оперирование – как методолог Локк не мог уйти от этой проблематики – и преобразуются в идеи второго рода; это и была, с точки зрения Локка, рефлексия в точном смысле слова – оперирование с уже имеющимися в сознании идеями, или образами. В контексте подобных рассуждений Локк вынужден был приписать определенные операции, или деятельность, самому сознанию. По его схеме получалось, что сознание оперирует с находящимися в нем идеями. Сознание могло расчленять, разбирать, собирать, сравнивать и сопоставлять идеи, находящиеся в самом сознании. Благодаря всему этому проблема рефлексии встала у Локка как проблема внутреннего механизма сознания, механизма, который обеспечивает оперирование с идеями, существующими, согласно Абельяру, внутри сознания.

Конечно, в этом месте мы могли бы поставить вопрос о том, как именно понимал сознание сам Локк, связывал ли он работу и механизмы сознания с объективацией, как он сам и следовавшие ему мыслители обсуждали и решали проблему объекта и объективации, – все это очень интересные вопросы, требующие детального и квалифицированного анализа. Мне здесь достаточно подчеркнуть, что Локк был концептуалистом и его «ум» существовал в голове; там же – в голове – разворачивалась рефлексия; пространством, в котором она существовала, было пространство сознания.

Таким образом, проблему рефлексии, выступавшую (в одном из ее компонентов) как проблема отношения знания к идее, находящейся вне человека, Локк превратил в проблему отношения сознания к самому себе, к одному из своих элементов. И саму рефлексиию Локк из отношения внешнего для индивидов превратил в отношение внутреннее для индивида и его сознания.

Если бы я захотел нарисовать пародию на локковские воззрения, то я должен был бы в голове у человека нарисовать еще одного человечка, который, сидя там, оперирует молотком, циркулем и другими инструментами, преобразует идеи, сравнивает их между собой и т.д. – и все это делает точно так же, как это делает сам человек в наших представлениях. К этому надо только добавить, что, по взглядам Локка, суть человеческого познания заключалась совсем не в этом – это умело делать и делало только сознание, – а в том, чтобы испытывать воздействия внешних предметов (я, конечно, огрубляю, но такое огрубление близко к сути дела).

Вторая группа ситуаций, которая задавала, начиная с самого раннего периода, проблематику рефлексии, была связана с феноменологией ума (в исходном понимании термина «феноменология», а не в смысле феноменологии Гуссерля): здесь речь шла об источниках и причинах наших заблуждений. Эта проблематика, таким образом, была непосредственно связана с проблематикой «истины» (или «истинности») и непосредственно выводила нас к проблемам объекта и объектности. Вы знаете, что уже

Демокрит обращал внимание на типичные заблуждения и ошибки человеческой чувственности: палка, опущенная в воду, кажется как бы переломленной, сахар кажется печеночному больному горьким и т.д. и т.п. Так было понято, что восприятие постоянно нас обманывает. Очень скоро люди убедились в том, что и мышление не свободно от этого греха, хотя его развивали и культивировали именно для того, чтобы освободиться от подобных заблуждений. Но как только сам факт заблуждений был зафиксирован, так тотчас же встал вопрос об их причинах и источниках. Именно в этом контексте рефлексия была объявлена одним из важнейших источников заблуждений и ошибок. Рефлексия была объявлена механизмом, приводящим к ошибкам, причем – именно в силу ее специфической природы, в силу того, что она не была связана непосредственно с объектами и объектностью. Это была «свободная» работа ума с другими идеями, работа не детерминированная непосредственно самим объектом, а потому – приводящая к ошибкам разного рода.

Третья группа ситуаций была связана с формированием объекта и объектности. Уже стоики в своей дискуссии с Аристотелем и его последователями зафиксировали совсем особый тип отношений между объектами, тот тип, который мы обычно называем «матрешечным». Если Аристотель считал, что все объекты, а соответственно и их свойства, расположены в одном ряду по принципу общности – самые общие свойства в центре мира, а менее общие по краям, наподобие возрастных колец дерева, – то стоики, в противоположность ему, фиксировали невозможность таких отношений и подчеркивали, что есть отношения, из-за которых два объекта никак не могут быть соединены и сцеплены друг с другом. Здесь они вступили в конфликт с Аристотелевой логикой; во многом их «логика высказываний» – прототип современных исчислений высказываний – родилась из обсуждения указанной мной онтологической проблемы. Они вынуждены были придумать особые типы операторов, связывающих между собой высказывания независимо от членения этих высказываний на термины, организуемые по родо-видовому принципу. В их логике высказываний фиксировался и выражался принцип смены объекта в ходе рассуждения, не сводимый к движению от общего к частному или, наоборот, от частного к общему.

Особые ситуации, приведшие наряду с другим к формированию проблематики рефлексии, были связаны с анализом дискуссии и обсуждения. Это были ситуации, в которых один из спорщиков начинал объяснять, что именно делает его оппонент. Уже простейшие утверждения, что кто-то ошибается или, наоборот, прав, что кто-то нечто думал об объектах, а объекты «на самом деле» – другие и т.п., содержали в себе важный момент рефлексии – смену позиции и соединение в одном рассуждении двух позиций и двух точек зрения. Уже с античности получилось так, что подобные сменные позиции, или точки зрения, и объединения разных позиций стали важным конституирующим моментом рассуждения в споре. При этом карди-

нальным образом менялся объект высказываний, но так как само высказывание имело сложную форму, т.е. объединяло два высказывания с разными объектами, для него находили особый синтетический объект, и, как правило, таким объектом был объект одного из высказываний. Если, например, мы имели высказывание «он думает, что аксиома параллельных неверна», то содержание и смысл второй части высказывания приписывались не самой аксиоме параллельных и не параллельным линиям как таковым, а тому, кто думает. Получалась видимость одного объекта, а то обстоятельство, что сам объект был сложным, матрешечным, не фиксировалось как важнейшая логическая проблема.

Вы понимаете, что я довольно искусственно разъединил два момента, которые реально всегда развертывались в тесной связи друг с другом.

Еще одна, кажется пятая, группа ситуаций связана с проблемой методологического или логического – но обязательно натурального! – основания рассуждений. Эту группу проблем можно было бы ввести следующим образом. Предположим, мы имеем какую-то группу преобразований каких-то объектов – это могут быть термины в Аристотелевых схемах рассуждений или какие-то другие объекты; во всех случаях мы формулируем какие-то формальные правила, правила их преобразований, или трансформаций. Так, обычный силлогизм подчиняется строго определенным правилам преобразования пары высказываний в третье. В соответствии с этими правилами как перипатетики, так и их противники пытались развертывать все самые разнообразные рассуждения. Но в очень многих случаях это просто не получалось. Сейчас мы уже хорошо знаем, что никакое реальное мышление нельзя представить в схемах силлогизмов, исчислений высказываний, в логике многоместных предикатов и т.д. – вообще нельзя представить в какой-либо чисто дедуктивной логике. Но первоначально, как вы понимаете, вопрос ставился не так. Считалось, что очень многие схемы рассуждений могут быть развернуты по схемам силлогизма, и поэтому, когда сталкивались с невозможностью этого, т.е. с разного рода странностями, возникал очень важный и принципиальный вопрос, почему так происходит. По сути дела, это был вопрос о том, как же на самом деле развертывается рассуждение не по схемам искусственно нормирующей его силлогистики, а в его как бы естественном, природном течении. Но как только был поставлен этот вопрос и стали искать ответы на него, то тем самым произвели дифференциацию и членение на, с одной стороны, формальные правила, часто выступающие в виде схем рассуждения, а с другой – какие-то иные, «натуральные» механизмы развертывающие рассуждение независимо от формальных правил и вопреки им.

Сейчас мы уже достаточно хорошо представляем себе, как и почему такое возможно. Мы знаем, что всякое мышление имеет многоплоскостное строение; что всякое преобразование знаковой формы подчинено прежде всего определенным преобразованиям содержания, или движению в

содержании; мы знаем также о многих других механизмах, осуществляющих мышление в контексте деятельности.

Сейчас мы уже понимаем, что всякое реальное мышление имеет как бы две (если не большее число) «направляющих»: одну направляющую образуют формальные правила, другую направляющую – виденье объекта. И хотя исследователи, в первую очередь математики, стремятся свести эти две направляющих к одной, чисто формальной, стремятся, как говорят, формализовать мышление, это никогда никому не удастся. Чисто формальное, или целиком формализованное, мышление есть предельная абстракция. А реально мы формализуем лишь некоторый маленький кусочек, фрагменты реальных рассуждений и процессов мышления. Всякий достаточно развернутый, достаточно сложный процесс рассуждения опирается на вторую направляющую, на виденье объектов. И даже в тех случаях, когда для определенных фрагментов рассуждения имеются формальные правила, даже тогда мыслительное движение в этих фрагментах использует виденье объектов. Именно поэтому я говорю, что никогда не бывает и не может быть чистой дедукции; по сути дела, это утверждение равносильно утверждению, что не может быть целиком формализованного рассуждения.

И самое главное – это обстоятельство было давно понято. Оно было понято тогда, когда обратились к анализу «естественных» механизмов, управляющих развертыванием мышления или рассуждения. Мышление не есть движение в терминах, оно есть движение в действительности рассуждения. А схема дедукции, как известно, есть схема преобразований формы выражений как таковых.

Когда было понято – а я повторяю, что это было понято довольно рано, – что реальное рассуждение и мышление развертываются как-то иначе, нежели это фиксируют существующие логические схемы, тогда был поставлен вопрос, что представляют собой реальные механизмы мышления и где они лежат.

Обсуждая все эти вопросы, нужно помнить, что Аристотель ставил своей задачей выработку «Органона», т.е. системы методологии. Уже у него это был очень сложный комплекс, включавший в себя онтологию (Аристотелева «Метафизика»), логические нормы (первая книга «Аналитик»), теорию знания и познания (отдельные главы первой книги и вторая книга «Аналитик»), логику-грамматическую теорию («Об истолковании»), набор категорий («Категории») и т.д. Всему этому Аристотель пытался дать еще и истолкование, близкое к современному естественнонаучному истолкованию (во всяком случае, близкое в функциональном плане). Таким образом, вся методология Аристотеля была теснейшим образом связана с особым виденьем объекта, с онтологией.

Но в ходе дальнейшего развития получилось так, что логика как бы обособилась и стала трактоваться как самодостаточная и полная система. В этом контексте появился тезис о всеобщности логических форм, о неза-

висимости их от типа содержания и т.д. И против него, естественно, началась борьба. Тогда и был поставлен вопрос о реальных механизмах мышления, не совпадающих с логическими правилами.

В этой ситуации встали сразу два вопроса.

Один касался логики: что она такое и что она нам дает? Тогда стали говорить, что это – некоторый «канон», т.е. система организации уже имеющихся знаний. Так были перевернуты исходные постулаты и принципы Аристотелевой философии.

Второй вопрос касался мышления, т.е. того, что составляет механизм развертывания рассуждения. Вся проблематика реальных механизмов выступила, фактически, как проблематика рефлексивных процессов. Рефлексия, таким образом, выступила в качестве реального механизма мышления и рассуждений, механизма, который противостоит формальным правилам, регулирующим организацию этого рассуждения. Но это означало, что проблема рефлексии оказалась кардинальной и решающей для ответа на вопрос, что есть логика, каков ее статус в системе наших знаний и представлений.

Вместе с тем проблема рефлексии выступила в качестве кардинальной и для нарождавшейся теории мышления. Для Декарта рефлексия, по сути дела, совпадала с мышлением – в нашем смысле этого слова.

Одновременно проблема рефлексии выступила как кардинальная для онтологии: отвечать на вопрос, как организован весь мир объектов, можно было, только ответив предварительно на вопрос, какую роль в порождении этих объектов играет рефлексия. Конструирование мира оказалось зависимым от законов развертывания рефлексии.

После всех этих замечаний я могу сформулировать основные идеи этой части сообщения.

Я не случайно говорил о том, что прежде всего историю развития проблемы нужно разбить на периоды. Точно так же не случайно я говорил и то, что именно рубеж XVI–XVII столетий является переломным в истории рефлексии. Самое важное здесь заключается в том, что на первом этапе обсуждения всех названных мною выше проблем субъект как таковой оставался на заднем плане. Он и механизмы его душевной жизни не привлекались для объяснения всех указанных выше процессов; наоборот, они трактовались преимущественно объективно – как внеположные для человека. Идеи существовали вне человека, онтология и логика точно так же были вне человека. Изменялись и развивались они по объективным законам, и поэтому когда искали механизм всех этих процессов и явлений, то не обращались к человеку как таковому и его внутренним процессам. Все это были проблемы «духа», но не «души».

Но из этого нельзя сделать вывод, что все эти явления, процессы и механизмы рассматривались как естественные в нашем современном смысле слова, т.е. как происходящие независимо от деятельности человека и по каким-то натуральным законам. Здесь нужно было бы, конечно, посмот-

реть, когда именно и как оформилась идея естественного, натурального существования. Насколько мне известно, хотя и без специальных исследований, произошло это во время Декарта и во многом благодаря его работам. Таким образом, два момента мы должны отметить как характерные для первого этапа: (1) объективность в трактовке всех процессов и механизмов мышления и (2) отсутствие «естественной» точки зрения и представления о естественных процессах мышления.

Для второго этапа, наоборот, характерны (1) субъективная трактовка процессов мышления и (2) попытка представить эти субъективные процессы как естественные, подчиняющиеся натуральным или квазинатуральным законам. При этом Декарт был главным, кто задал естественный подход, а у Локка мы находим уже крайне субъективистскую трактовку природы всех этих процессов.

Конечно, все, что я сейчас говорю, очень грубо и нуждается в специальных исторических проработках. Очень интересно выяснить, как сам Декарт относился к идее субъективности и как в его системе сочетались и соединялись естественная трактовка мышления как субстанции особого рода и субъективистская трактовка того же самого мышления. Интересно проследить все источники и предпосылки такого понимания. Но все это – особые и специальные задачи, а мне здесь важно дать общий очерк проблем, предельно грубую схему, необходимую нам для оценки истории представлений о рефлексии.

Посмотрим, как в этом контексте выступила проблема рефлексии.

Исходным пунктом, как уже говорилось, стал индивид. Этот индивид имел огромный опыт самосознания и рефлексивного анализа. Все это выступало как природенная способность индивида, с одной стороны, видеть и понимать предметы окружающего мира, а с другой – одновременно мыслить и осознавать самого себя, мыслящего и воспринимающего окружающие предметы. Надо сказать, что современный человек, если он достаточно развит, прекрасно умеет, научился делать обе эти работы одновременно. Он достиг в этом высокого совершенства, и сейчас эти две процедуры настолько у него слились, что он в осознании уже никак не может разделить их и сказать, что он делает раньше и что он делает потом. Но наличие этих двух разных процедур и их одновременное осуществление было осознано и зафиксировано с предельной отчетливостью. Это и выступило для всех мыслителей XVII–XVIII вв. как основной, совершенно очевидный и решающий факт рефлексии. Именно это и было названо рефлексией.

Обратите внимание на то, как я описываю все обстоятельства дела. Я не случайно говорю, что сознание двойственности подобной работы выступило как факт, свидетельствующий о существовании рефлексии. Вы, конечно, понимаете, что никаким фактом в естественнонаучном смысле это не является. Если и считать это фактом, то только фактом сознания – выражение, используемое у Фихте. Но именно это сознание двойствен-

ности производимой нами обычно работы и выступило как единственный непреложный и очевидный факт, подтверждающий существование рефлексии.

Таким образом, рефлексия выступила как особая способность человеческого ума или сознания «копаться» в своем собственном содержании, расчленять это содержание и представлять отдельные его части в той или иной форме. Важно отметить, что в этом пункте появляются две традиции, или два направления разработок, которые первоначально, от Локка до Канта, были тесно связаны или даже склеены друг с другом, а затем начали постепенно дифференцироваться и разделяться, оформившись в существенно-разные направления исследований; первая их этих линий – собственно философская, а вторая – психологическая. Но и для той, и для другой, несмотря на все их различия, характерна трактовка рефлексии как самосознания индивида, или сознающего себя сознания. Для философской традиции проблема рефлексии выступала прежде всего как проблема разделения единого сознания на планы объективности и субъективности. Для психологии это была преимущественно проблема механизмов рефлексивной работы или же способностей выполнять эту функцию. Различение философского и психологического планов в обсуждении проблем рефлексии очень важно, и нужно будет специально обсуждать взаимоотношения между ними; но для этого, как вы понимаете, опять-таки нужны специальные исследования.

Основную проблему в рамках философского подхода определял вопрос: каким образом человеческое сознание разделяет некоторое единое содержание на объективное и субъективное? Конечно, особенно важной и существенной эта проблема была для Канта и кантианцев, но она получила отражение и во всех других философских концепциях. Такая постановка вопроса имела очень много важных мировоззренческих – онтологических и гносеологических – последствий. В принципе, здесь надо было бы подробнейшим образом рассмотреть все основные концепции рефлексии и проследить за эволюцией самой этой проблемы от одной философской школы к другой. Не имея возможности сделать это, я тем не менее выделил ряд важных фрагментов и текстов разных мыслителей и привел их в небольшой работе, посвященной проблеме рефлексии. Сейчас я не буду вновь излагать эти куски, а просто отошлю к этой работе, которая может служить хорошим резюме для сегодняшнего доклада. В дополнение я ограничусь лишь тем, что выделю некоторые самые существенные моменты, важные для меня в контексте дальнейшего развития моих собственных представлений о рефлексии.

Первым и самым главным среди этих моментов является то обстоятельство, что И.Фихте рассматривал рефлексия в контексте процессов развертывания, или развития, «жизни», деятельности и мышления. Это был новый момент, которого не было у Канта и его последователей. Чтобы объяснить смысл и всю важность этого тезиса, надо напомнить об ос-

новном парадоксе познания, выделенном и зафиксированном Кантом. Рассматривая вопрос о том, как может образоваться необходимое математическое знание, Кант пришел к выводу, что никакой опыт не может дать основание для образования подобных знаний. Поэтому для него все понятия такого рода выступили – я здесь чуть огрубляю – как априорные формы нашего рассудка и разума. По сути дела, это был ответ на вопрос о том, как мы получаем наши идеи, и притом – очень странный ответ. Кант пришел к выводу – и с тех пор никто из двигавшихся в заданных им рамках не смог опровергнуть его, – что все эти формы с необходимостью должны существовать априорно.

Такое решение, естественно, не могло удовлетворить многих. Но только Фихте смог противопоставить кантовскому представлению другое, ничуть не менее правдоподобное, но одновременно снимавшее указанные Кантом парадоксы. Фихте сумел это сделать, переведя всю проблему в совершенно иную плоскость. Он утверждал, что проблема вообще поставлена неверно. Он отрицал само предположение, что человек получает представления и понятия из столкновения с объектами природы. Фихте утверждал, что позиция отдельного индивида, «Робинзона», вообще не дает нам решения проблем познания. Нужно рассматривать не столкновения отдельного изолированного человека с природой, а историческое развитие всей совокупности человеческого знания. Фихте утверждал, что человек получает знание, трансформируя и развертывая уже имеющиеся у него знания. В этой связи он говорил о «филиации идей». Соотнесение знаний с объектами играет в этом процессе вторичную, вспомогательную роль, выступает как момент такого развития. При этом само соотнесение знаний с объектами выполняет сугубо негативную роль, показывая, что знания не соответствуют объектам; а развитие знаний происходит из других знаний и – что самое главное – по особым законам такого развития.

Именно в этом контексте, для объяснения механизмов филиации и развития знаний Фихте подключает рефлексю. Поскольку все проблемы познания он перевел из плана функционирования в план развития, постольку и рефлексю в ее познавательных функциях он точно так же переместил в план развития. Он утверждал, что проблемы правильности и истинности человеческого познания должны решаться не в контексте взаимоотношений индивидуализированного субъекта с объектами, а в плане и в контексте процессов и механизмов развития человеческого знания.

Очень часто сейчас мы солидаризируемся с позицией Фихте, когда берем ее в гегелевско-марксовской трактовке – как процесс развития духа и производственной практики людей. Но при этом, беря представления Фихте–Маркса, мы обычно забываем или упускаем из вида то, что все эти концепции были направлены против кантовской гносеологии, против идеи изолированного субъекта, взаимодействующего с объектами и извлекающего из объектов знания. Благодаря этому мы теряем, по сути дела, весь смысл этой концепции, искажаем и извращаем ее. Нам все это важно в

особенности потому, что в воззрениях Фихте был заложен зародыш возвращения к объективной трактовке самой рефлексии. У Фихте этого еще не было, он во многом оставался субъективистом, но обращение к процессам развития знания содержало в себе условие и основание для возврата к чисто объективному представлению рефлексии.

Правда, при этом перед Фихте возникла одна очень сложная проблема: если всякое знание появляется не из объекта, а в результате преобразования и трансформации других знаний, то сколько бы мы ни двигались назад, в ретроспекции, переходя от знаний к их предшествующим формам, мы никогда не выйдем за границы самого знания, никогда не сможем объяснить, каким же образом произошли «первые» знания. Поэтому Фихте очень четко и жестко разделил проблемы развития и проблемы происхождения. Двигаясь таким образом, как предлагал Фихте, мы всегда будем объяснять только развитие знаний, но никогда не сможем объяснить их происхождение.

Нередко говорят, что проблема происхождения не имеет ровно никакого смысла. Эта позиция вполне естественна для так называемых физико-математических и «структуральных» наук. Но опять-таки это объясняется специфической позицией самих этих наук. Ведь они всегда имеют дело с уже созданными идеальными объектами или с уже созданными предметами. Каким образом были созданы эти предметы и идеальные объекты, каким образом они «произошли» – все это не интересует названные науки, поскольку их всегда обслуживает философия, которая эти предметы и идеальные объекты создает. К примеру, чтобы началась научная физическая работа, физик должен получить уже готовый сформированный научный физический предмет, а в нем – физический идеальный объект.

Но совершенно иначе та же проблема будет выглядеть для философа, задача которого состоит в том, чтобы создавать эти предметы и выражаемые ими идеальные объекты. Поэтому для философа проблема происхождения подобных предметов и идеальных объектов и проблема их «созидания» приобретает первостепенное значение. Анализируя процессы происхождения различных предметов и идеальных объектов, философ поворачивает затем все свои знания в структурный и конструктивный план, начинает использовать их как принципы и методы своей собственной работы. Философ должен знать, как происходят предметы знания и идеальные объекты, чтобы затем их самому искусственно создавать. Можно сказать, что философ хочет заимствовать у истории ее умение производить определенные духовные продукты. Именно поэтому все вопросы происхождения для философа являются важнейшими.

Я уже сказал выше, что рефлексия была поставлена Фихте в контекст исторического развития и эволюции знания. А так как при этом Фихте был и оставался крайним индивидуалистом и субъективистом, то рефлексия выступала именно как субъективно-деятельностный механизм исто-

рического развития знания. Это был механизм, производящий филиацию идей или знаний.

Очень важное и существенное развитие понятие рефлексии и представления о рефлексии получили в работах Гегеля. Но если бы я сейчас стал обсуждать все это, то уже не смог бы вернуться к своей основной теме. Далее рефлексия использовалась и по-разному трактовалась во всех философских и психологистических концепциях, в том числе в феноменологической концепции Э.Гуссерля. Анализ и обсуждение всех этих вопросов также требует специального времени. Мне лишь важно подчеркнуть, что сейчас без учета рефлексии невозможно обсуждение ни вопросов исторического развития знаний, ни вопросов мышления и деятельности исторически действующего человека. Исключительно важное значение принадлежит ей также в обсуждении проблем сознания, смыслов и значений знаков, способов создания онтологии и т.д. и т.п.

Однако, несмотря на то, что рефлексия приобрела столь важное и широкое значение и трактуется сейчас как важнейший механизм человеческой социальной жизни во всех ее формах и проявлениях и даже как источник и средство свободы человеческой личности, – несмотря на все это, «рефлексия» как была словом со смыслом, но без предмета и объекта, так и остается сейчас точно таким же словом. Наверное, точнее было бы сказать, что она имеет много разных связанных между собой смыслов и значений. И это понятно – ведь для того чтобы создать соответствующий научный предмет и объект, нужно включить рефлексия не только в осмысленную речь, но, по крайней мере, еще и в мышление, в частности в научное мышление, нужно сделать рефлексия предметом специфической научно-исследовательской техники. Когда мы такую технику создадим, рефлексия впервые станет предметом и объектом мышления. Это может быть техника чисто теоретического, конструктивного движения, а может быть техника эмпирического исследования и практического оперирования. При этом неважно, в какой именно научный предмет будет включена рефлексия в качестве предмета и объекта исследования – в науку ли о сознании, в науку ли о личности, в теорию мышления или в теорию деятельности. Важно, чтобы был хотя бы какой-то научный предмет, а если их будет несколько разных, то встанут еще дополнительные задачи собрать их воедино и представить рефлексия как один целостный предмет и объект мысли. Но каждый раз для этого придется задавать соответствующую технику мышления. Это значит – строго определенные процедуры мышления, которые потом, после схематизации, мы сможем представить как предмет и объект мышления.

Но здесь, конечно, мы сталкиваемся с целым рядом сложных методологических проблем. Ведь в своих предыдущих рассуждениях я утверждал ряд весьма рискованных вещей. В частности, я стремился показать, что, рассматривая рефлексия, мы не можем говорить о фактах в прямом и точном смысле этого слова. То же самое можно было бы сказать другими

словами. Задача состоит в том, чтобы сформировать предмет исследования, соответствующий слову «рефлексия». Это значит, что последовательность смыслов и значений, которую я выше описывал, надо преобразовать в совокупность «фактов» и фиксирующих их эмпирических и теоретических понятий. Все, что я обсуждал до этого, имело только одно назначение и смысл – задать тот исторический культурный контекст, в котором эта задача, а именно создание научного предмета, может ставиться. Во всем предшествующем изложении я отмечал не факты, а некоторую традицию обсуждения, причем, как вы видели, философскую традицию. Я описал те ситуации, в которых впервые возникала та проблематика, которая привела в дальнейшем к выделению того, что называется сейчас рефлексией. Эти ситуации задавали в первую очередь не предметы и объекты, не факты, а лишь некоторые проблемы и установки, причем задавали в силу именно того, что они были направлены против определенных, ранее существовавших утверждений и представлений. Сегодня, формируя «рефлексию» в качестве научного предмета и объекта изучения, мы должны учитывать все эти ситуации, их смысл и их направленность, мы должны так сформировать наш предмет, чтобы снять смысл и содержание этих ситуаций. На первый взгляд может показаться, что все эти ситуации и связанные с ними установки исключают друг друга или друг другу противоречат. Но задача именно в том и состоит, чтобы задать такое представление о рефлексии и так сформировать соответствующий предмет, чтобы охватить все эти противоречащие друг другу или несовместимые друг с другом ситуации и установки. Это и будет основной принцип предстоящей нам работы.

Именно поэтому я подчеркивал в начале доклада, что мы имеем дело и должны иметь дело не с объектом как таковым, к которому можно применять эмпирические процедуры анализа, а с совокупностью культурных значений и смыслов. Эти культурные значения и смыслы могут сравниваться друг с другом и объединяться в одно целое только в соответствии с употребляемыми терминами: если определенный ряд исследователей говорит об одном и том же, т.е. называет свой предмет исследований одним и тем же именем, то мы должны предполагать, что это – один и тот же предмет, а за ним стоит один объект изучения; и у нас нет никаких других оснований, чтобы произвести объединение исторических смыслов и значений в одно целое. Конечно, при этом мы предполагаем, что все анализируемые нами исследователи соблюдали те же самые принципы и нормы отношения к прошлой культуре, которые мы сами соблюдаем; иными словами, мы предполагаем, что они точно так же стремились обеспечить преемственность в развитии предметов исследования и понятий.

Я мог бы сказать даже, что единство и целостность рассматриваемых ими предметов в принципе нельзя показать и доказать. В исходном пункте мы можем только предположить, что они или могут быть объединены, или естественно, по «природе» своей объединяются в одно целое. А демонстрация и доказательство этого становятся возможными лишь пос-

ле того, как мы построим соответствующий предмет изучения, превратим все смыслы и значения слова «рефлексия» в одно объектно-ориентированное целое. Но именно это мы и должны получить в конце своей работы, именно это является той целью и задачей, к достижению которой мы стремимся. А в исходном пункте нашего анализа ничего этого нет и не может быть.

Но точно так же, чтобы построить такой предмет, мы должны предварительно задать определенную систему требований к нему. В данном случае, как я стремился показать, эти требования не могут быть эмпирическими; эти требования носят культурно-исторический характер. Поэтому мы должны собирать все исследования рефлексии, все высказывания, характеризующие ее с той или иной стороны, и только в соответствии с этим набором исторических определений мы можем затем начинать нашу научно-методологическую работу по конструированию самого предмета изучения.

Если вы меня спрашиваете о необходимости присутствия в самом этом подборе культурно-исторических значений и смыслов, то я вам должен сразу ответить: ее не существует. В принципе вы можете выбирать те или другие наборы смыслов и значений, по поводу каждого из них вы можете сказать, что он по тем или иным причинам вам не подходит, вы можете как угодно трансформировать и перестраивать выбранные вами смыслы и значения, вы здесь целиком свободны. Вопрос не в том, сумеете ли вы доказать или обосновать перед кем-либо сделанный вами выбор. Вопрос в том, насколько ваш выбор и ваша реконструкция будут удовлетворять требованиям общности, насколько они будут «снимать» все те исторически существовавшие позиции в анализе рефлексии, которые человечество или отдельные его представители будут считать достойными уважения и внимания. Вы можете выбрать любой, сколь угодно узкий набор этих смыслов и значений – и вы лично в этом абсолютно свободны, – вопрос в том, как посмотрят на ваш выбор другие исследователи, признают ли они его достаточно общим и достаточно объективным (в этом историческом смысле). Только в этом, на мой взгляд, и заключена суть дела.

Иначе говоря, вы свободны в отношении истории, но и история, настоящая и будущая, свободна в отношении вас, она тоже вольна сделать с вами все что угодно: она может признать вашу работу в принципе ничего не значащей из-за того, что вы выбрали слишком мало значений и смыслов слова «рефлексия», она может принять вашу работу во внимание, но объявить ее слишком узкой и потому недостаточно качественной и т.д. и т.п. Поэтому всякий, кто, работая одновременно с вами, будет стремиться к большей общности и сумеет объединить, без потери детализации и конкретности, больше смыслов и значений, чем это сделали вы, получит более значимый для истории результат и без труда вытеснит вас и из культуры, и из истории.

Конечно, вы можете оспаривать справедливость и действенность сформулированного мною принципа, но, во всяком случае, вы его знаете и сможете как-то к нему отнестись. Я утверждаю, что человеческое мышление в своем развитии стремится, с одной стороны, к обобщениям, к предельной общности своих построений, а с другой – к их конкретизации и детализации. Эти два требования, действуя совместно, задают некоторый оптимум, который, собственно, и закрепляет мыслительные конструкции в культуре и в истории человечества. В истории существует свой аукцион – аукцион идей, понятий, концепций, научных теорий. И на этом аукционе определяется цена каждой научной конструкции, и только соответственно этой цене они и закрепляются в культуре.

При обсуждении всех этих вопросов нужно иметь в виду и еще одну сторону дела. Техника естественнонаучного мышления отличается простотой и прозрачностью своих конструкций. Эти простота и прозрачность были достигнуты к XVI–XVII столетиям за счет включения в процесс познания конструктивных средств и процедур. Познание или познающее мышление стали осуществляться в форме и за счет процедур конструктивного развертывания схем и понятийного описания этих схем и процедур их развертывания. При этом использовались онтологические картины и схемы, выработанные философией на предыдущих этапах развития человечества. После этого в течение 300 лет – XVII, XVIII и XIX вв. – человечество эксплуатировало эти онтологические картины и основанную на них прозрачную технику конструктивного мышления.

Благодаря этому сообщество ученых из небольшой «республики просвещенных умов» превратилось в массовую социально-производственную и культурную сферу. Профессия ученого стала массовой профессией. Ученый перестал быть мыслителем, охватывающим мир в целом, он стал узким специалистом и профессионалом, обладающим определенными средствами работы и хорошо выучившим свои процедуры.

Но все это стало возможным, повторяю, благодаря схематизации и формализации самих процедур естественнонаучного мышления. Более того, на какое-то время конструктивное развертывание схем и применение средств такого развертывания отделилось от самого познания и стало существовать и развиваться само по себе, почти не регулируемое более высокими и более сложными нормами самого познания, познавательной деятельности. Все это, конечно, имеет свои преимущества, но вопрос заключается в том, сколько времени все это может продолжаться, сколько времени мы можем продуктивно эксплуатировать одну частную технику конструктивной работы, не связывая ее с процессами познания мира, не соотнося ее с особенностями новых производственных и социально-культурных ситуаций, возникших на данном этапе развития человечества, не проверяя эту технику и соответствующие ей средства на соответствие их новым ситуациям. Ясно, что продуктивность подобной конструктивной работы не может быть вечной. На мой взгляд, к середине или, может быть,

даже к началу XX в. она уже исчерпала себя, и сегодня мы стоим перед задачей разработать новые средства и новую технику мышления, таким, которые бы соответствовали нынешним производственным и социально-культурным ситуациям.

На мой взгляд, сейчас мы имеем большое количество смонтированных конструктивным путем моделей и схем, больше чем нам нужно для осмысленного и целенаправленного развития нашей практики и нашего производства. Само по себе это, конечно, неплохо – такой запас средств моделирования очень полезен в любой работе. Но беда состоит в том, что у нас есть много уже назревших, актуальных производственных и социально-культурных задач и проблем, которые не могут быть решены с помощью уже отработанной техники мышления. Поэтому сейчас мы стоим перед задачей усовершенствовать средства и технику мышления, вновь соединить конструктивную работу с познанием, выработать такие конструктивные процедуры, которые соответствовали бы новым познавательным проблемам и задачам.

Для образной характеристики сложившейся ситуации я хочу воспользоваться примером, который подсказал мне Н.Г.Алексеев. Представьте себе, что мы строим дом. Сначала мы строим его в наших земных условиях. Эти условия, в частности определенная величина силы тяготения, задают и определяют требования к конструкции дома. Но теперь представьте себе, что мы строим дом в космосе, в условиях, где нет никакого тяготения. Тогда, очевидно, мы можем цеплять элементы нашей конструкции как угодно, лишь бы они были связаны друг с другом; мы получаем практически полную свободу в создании наших конструкций.

Теперь от этого образа я могу перейти к характеристике нынешней ситуации. На мой взгляд, те, кто создавал современную науку в XV–XVII столетиях, работали, если можно так выразиться, в очень мощном поле тяготения: перед ними стояли совершенно определенные социально-производственные и социально-культурные задачи. Они всегда исходили из определенных ситуаций и стремились к их преобразованию и трансформации; они имели очень мало формализованных средств – все эти средства они должны были еще только создавать, все эти исследователи должны были «мыслить» (то, что я указал в качестве условий их работы, вы можете рассматривать как характеристику мышления, во всяком случае с функциональной стороны). Поэтому, если бы меня спросили, чем занималась все эти исследователи, в какой области они работали, то я бы ответил, что они создавали новую технику мышления, ту технику, которая позднее получила название «естественнонаучной», что они мыслили, а это значит – решали всю совокупность мировых задач. Я бы никогда не рискнул сказать, что они занимались наукой, решали собственно-научные задачи, хотя я бы сказал, что они создавали саму науку.

Если теперь вернуться к образу, предложенному Н.Г.Алексеевым, то можно, наверное, сказать, что они задали определенные принципы сбор-

ки конструкций для определенных полей тяготения, т.е. для тех условий, которые характеризовали их время, условий, в которых они жили. Но они не описывали самих этих полей тяготения и тем более не описывали отношений между конструктивными процедурами и условиями, так как они не знали, что каждый исторический период порождает свои особые условия и свои особые отношения между условиями и техникой мышления.

Вообще, нужно сказать, что наука как таковая не дает техники соотнесения формальных схем и процедур конструктивного развертывания этих схем с ситуациями деятельности и мышления. Наука дает лишь технику конструктивного монтажа знаковых форм, технику семиотического производства, но не технику созидания объектов, не технику объективации форм; наука, как это ни странно и как это ни парадоксально на первый взгляд, свободна в этом плане. Тезис проверки схем научного мышления опытом и через опыт не дает, как я уже говорил в первой части доклада, никаких реальных критериев для проверки этих схем и всей техники естественнонаучного мышления. Опыт как таковой может по поводу каждой конструкции, созданной в науке – глубоко содержательной или, наоборот, абсолютно пустой и ложной, – сказать как «да», так и «нет»; все зависит от нашей предварительной установки – хотим ли мы подтвердить наши конструкции или, наоборот, хотим их опровергнуть. Поэтому, фактически, тезис проверки научного мышления опытом не ограничивал чисто конструктивной работы в науке, а наоборот – открывал для нее поле свободы. Кстати, все это было понято уже в конце XVIII и начале XIX в. – Гегель прямо пишет об этом. Современные неопозитивисты в своих дискуссиях по поводу истинности отдельного предложения из системы и по поводу роли теоретических конструктов в познании лишь переоткрыли то, что было известно в философии уже давно.

После того как основы научного конструирования и техники научного мышления были заложены в работах XVI–XVII столетий, институционализирующая наука взяла на вооружение только средства и методы конструирования, оставив без внимания все моменты, характеризующие собственно познание. Но все это привело к тому, что элементы, лежащие вне конструктивного поля, остались не выявленными, не были зафиксированы как элементы регулярной техники мышления, влияющие на познание и даже в каком-то смысле его определяющие.

В результате, когда сейчас мы говорим о так называемых фактах, то путаем и смешиваем совершенно разные элементы мышления, по-разному влияющие на его результаты. Для нас все равно – факты эмпирические, факты сознания, факты опыта, факты культурно-исторические, факты деятельности, факты знания и т.д. и т.п. Но в результате происходит то, что мы не регулируем и не нормируем себя определенными требованиями в нашем подходе к фактам разного типа и рода, мы не определяем и не фиксируем тех различий, которые создаются вследствие различия самих этих фактов, их типов. Таким образом нельзя решать стоящие перед нами задачи.

И, наоборот, когда я требую прежде всего отнести слово «рефлексия» к тем ситуациям, в которых оно вводилось и определялось, я лишь реализую бесспорное кантовское требование, что отнесение всякого смысла к соответствующей ему познавательной функции является условием и предпосылкой всякой осмысленной методологической и научно-теоретической работы, как критической, так и продуктивной. Но чтобы начать эту работу, мы прежде всего должны четко определить, с чем мы имеем дело и с чем мы должны работать в исходных пунктах. Я утверждаю, что это могут быть только культурно-исторические смыслы и значения. Ведь подлинные ошибки начинаются тогда, когда мы, имея дело со смыслами и значениями, говорим, что это понятия и объекты. Мы сами творим эти ошибки. Я хочу избежать их, когда утверждаю, что наша задача состоит в том, чтобы создать рефлексию как предмет, как понятие, как объект и, наконец, как категорию.

Но, конечно, вы можете и должны здесь спросить меня: а какова техника этой работы, какова техника созидания предметов мысли, а затем – инженерии и практики? Пока что я отвечаю только одно: существует очень жесткая система норм и правил, без соблюдения которых нельзя получить того, что нам в данном случае нужно. В этом плане работа методолога и ученого ничем не отличается от работы токаря или фрезеровщика: как там нельзя качественно выполнить работу, не зная ее правил и норм, так и здесь нельзя получить нормативно-заданный предмет методологической или научной работы, не зная и не соблюдая всех правил и норм такой работы.

Очень часто утверждают противоположное: настаивая на свободе творчества, говорят, что исследователь, соблюдающий подобные нормы и правила работы, никогда не получит подлинно нового результата. Я убежден, что это – глубокое заблуждение, которое не может привести ни к чему хорошему. На мой взгляд, свобода, которую при этом требуют, есть не что иное, как свобода от культуры, свобода невежества. Научное исследование, научные открытия и научное творчество, на мой взгляд, столь же далеки от этой свободы, как и всякая другая деятельность. Я бы даже сказал, что методологическое и научное мышление требуют значительно большей нормировки и значительно более жесткого соблюдения всех правил мышления, чем всякая другая деятельность и всякая другая работа. Без изощренной техники здесь никому ничего не удастся сделать.

Итак, попробуем резюмировать обсуждавшийся нами материал. Я рассмотрел историю рефлексии в нескольких разных планах. Прежде всего это была история смешения проблем, которые возникали в различных ситуациях, принадлежащих к разным областям философствования. Эти проблемы касались мышления, сознания, деятельности, психики и т.д. Но вместе с тем это была история поиска того пространства, понимаемого в онтологическом и объектном смысле, в котором могла бы существовать рефлексия как некоторое реальное явление и как некоторый реальный предмет. Необходимость поиска таких пространств диктовалась прежде всего

тем, что в исходных пунктах рефлексия выступала перед нами лишь как смысл и значение соответствующего слова. Хотя слово это понималось без труда всеми людьми, получившими соответствующую подготовку, никаких объектов или, точнее, никаких объективных референтов и денотатов оно не имело. Поэтому каждый раз, несмотря на очевидность смысла этого слова, должен был вставать и вставал вопрос о том, что это такое как реальное явление, как предмет знания и предмет нашей деятельности, где существует эта самая рефлексия и какой она может быть, что мы можем о ней говорить и чего, наоборот, не можем говорить. Вопрос о том, какие характеристики может иметь рефлексия, оставался открытым, и поэтому исследователи непрерывно искали то объектное или онтологическое место, в которое рефлексия могла бы быть помещена, так чтобы вместе с тем ей могли быть приписаны определенные свойства, соответствующие этому месту. Говоря нашим теперешним языком, речь все время шла о том, чтобы определить категориальный статус рефлексии, но это категориальное определение раскладывалось на онтологические характеристики или ограничения, с одной стороны, и на логико-эпистемологические характеристики и ограничения – с другой.

Просмотрев историю разных подходов к определению категориального статуса рефлексии – правда, сделал это очень поверхностно и схематично, – я сформулировал в итоге ряд положений.

В частности, я утверждал, что рефлексия так до сих пор и осталась только смыслом и культурным значением и не была превращена в ходе всех этих дискуссий и обсуждений в предмет знания, предмет научного исследования и предмет инженерной конструктивной или преобразующей деятельности. В связи с этим я говорил, что задача превратить рефлексиию в предмет научного исследования и инженерной деятельности еще только встала, что она должна быть решена и что нам предстоит обсуждать средства и методы ее решения. В рамках этой задачи и темы я предполагаю сегодня говорить об одной из таких попыток, которая была предпринята нами в 1964–1968 гг.

Весьма важным, если не решающим, обстоятельством была дискуссия с В.А.Лефевром, которая развертывалась в ходе работы системно-структурного семинара. Собственно говоря, именно его исследования, его работы, а также необходимость спорить с ним определили характер наших поисков и тот результат, который получился.

Напомню также, прежде чем приступить к изложению и разработке самой темы, что в предшествующем изложении для меня особенно важными были три момента.

Во-первых, я очертил те области и те ситуации, в которых, на мой взгляд, возникала реальная проблематика рефлексии. Я стремился показать, что при этом были охвачены или, во всяком случае, как-то участвовали в деле очень важные аспекты или стороны человеческой деятельности, мышления, сознания; так что сейчас, по сути дела, мы уверены в том, что

рефлексия – это какая-то очень важная функция и очень важный механизм, без которого не может быть понят ни один предмет из области гуманитарного изучения.

Во-вторых, я стремился показать, что на рубеже XI и XII столетий в поисках того места, куда могла бы быть помещена рефлексия, произошел очень важный перелом. Из плана «внешнего» для человека, из плана культуры, из плана мышления и деятельности, трактуемых как соотношение человека с внешним миром, рефлексия была перенесена в план сознания и психики, в план души, а дальше весь анализ, даже культурологический, направленный на внешние и экстерииоризованные проявления человеческой деятельности, проводился в соответствии с этим новым представлением, т.е. на основе предположения, что имеется сознание, само себя и деятельность человека рефлектирующее. Этот переворот был воспринят и развит дальше в философии XV–XVIII столетий, а уже затем на его базе выросли классические работы И.Канта, И.Фихте, из которых мы обычно заимствуем представления о рефлексии. Это второе обстоятельство является очень важным; оно будет очень важным и для моих последующих рассуждений, и поэтому я его еще раз специально подчеркиваю. Именно из этой традиции возникло представление, которое я выше специально разбирал, – с одной стороны, человек относится непосредственно к данным ему объектам, а с другой стороны, он еще дополнительно относится к своему отношению и делает это первое отношение предметом анализа. При этом все, о чем я сказал, происходит в сознании и благодаря механизмам сознания. Сознание как бы раздваивается, выступая, с одной стороны, как непосредственное сознание, а с другой – как рефлектирующее, или «рефлексивное», сознание. Каждый раз, когда мы вводим такие или аналогичные им схемы, мы начинаем с психологистического представления, внедренного П.Абеляром и его последователями. Кратко эта точка зрения может быть названа точкой зрения сознания, наделенного рефлексией.

В-третьих, я стремился показать, что во всех попытках анализа рефлексии, исходящих из представления о рефлектирующем сознании, так и не было до сих пор найдено ни одной естественнонаучной модели рефлексии. Конечно, такое утверждение заставляет меня обсуждать работы Лефевра и его сотрудников, ибо, наверное, они претендуют на создание такой модели. Как вы знаете, я уже не раз пытался провести такое обсуждение, но оно не встретило достаточного понимания со стороны моих оппонентов. Поэтому, чтобы избавить вас от малопродуктивных препирательств, я несколько ограничу и сужу мое утверждение: я буду говорить, что, во всяком случае, такой естественнонаучной модели рефлексии не было найдено до 1960 г.

После всех этих предваряющих замечаний, предполагая, что вы будете иметь их в виду и все время учитывать, я могу перейти ко второй части моего сообщения.

II. Рефлексия в рамках теоретико-деятельностного подхода

Мой анализ будет раскладываться по двум тесно связанным между собой планам. С одной стороны, я буду строить модель той системы, которая, по моим представлениям, объемлет рефлексия и может задать для нее пространство существования. Здесь я буду осуществлять конструктивные шаги, рассуждать, оперировать с моей моделью. С другой стороны, одновременно с этой работой и параллельно ей я буду рефлексировать и буду стремиться осмыслить и описать все шаги и средства моей работы, ответить на вопрос, что я делал и почему я так делал, а вместе с тем буду пытаться еще и нормировать мою работу, в частности обращаясь к каким-то уже существующим логическим и методологическим знаниям и принципам. Таким образом, один план и одну действительность моей работы будут составлять нормы и принципы моих рассуждений, а другой план – сами рассуждения, описания и конструктивные процедуры, посредством которых я буду строить модель системы, объемлющей рефлексия и определяющей способ ее существования. При этом вы все время должны будете фиксировать и отмечать мои переходы из одного плана в другой, ибо без этого нельзя правильно понять всего того, что я буду делать.

Итак, наша задача состоит в том, чтобы построить определенное научное знание о рефлексии. Это значит, что нам вместе с тем необходимо задать рефлексия как предмет научного исследования и знания. Но здесь мы, естественно, не только можем, но и обязаны спросить, что такое научное знание и что такое предмет научного знания. Мы должны задать этот вопрос в таком же плане и смысле, как спрашивает ремесленник, которому нужно сработать какое-то изделие. Во всяком случае, мы должны хотя бы попросить, чтобы нам показали саму эту «вещь» или нечто, ей подобное.

Как правило, на поставленные выше вопросы даются двоякого рода ответы. С одной стороны, это указание на способы, какими будут употребляться в разных ситуациях создаваемые нами изделия; в известном смысле такие указания на функции или назначение изделия задают также и его конструкцию. С другой стороны, ответ выступает в форме указания на то, как эта конструкция будет делаться. Здесь всегда работает двустороннее отношение: способ изготовления изделия запечатлевается в ее конструкции, и, наоборот, рассматривая конструкцию определенным образом, мы можем характеризовать способ ее изготовления, во всяком случае ее монтаж.

Мне важно подчеркнуть, что на этом этапе речь идет даже не о нормах и правилах создания научного предмета или знания. Речь идет о тех функциональных и культурно-нормативных требованиях, которые мы предъявляем и обязаны предъявлять к продукту нашей работы.

В прошлый раз я уже слышал возражение, что, выдвигая подобные требования, я рискую лишь воспроизводить то, что было всегда известно, что на этом пути я никогда не получу ничего нового и интересного. Мне

представляется, что это возражение, будучи, на мой взгляд, совершенно ложным, вместе с тем выражает широко распространенную точку зрения, исходящую из реального положения дел. Это то самое реальное положение дел, когда нормы и стандарты научной и философской работы сильно разрушены. Но мне хочется подчеркнуть, что такая позиция отнюдь не выдумка, что к ней надо относиться совершенно серьезно и что анализ ее как определенной позиции поможет нам понять многое из того, что происходит сейчас в сфере науки.

Среди обстоятельств, характеризующих нынешнее положение, я хочу в первую очередь отметить непрерывную и постоянную экспансию естественнонаучной идеологии в самые различные сферы и области деятельности, в частности в области гуманитарных предметов и объектов, связанных со специфическими процедурами понимания. Между тем, в этих сферах и областях нормы естественнонаучного мышления уже не работают и поэтому распространение естественнонаучной работы на эти области, связанное, конечно, с трансформацией и приспособлением естественнонаучной работы к этим новым областям, сильно разрушает саму естественнонаучную работу, ее нормы и принципы. Повторяю, такое разрушение происходит потому, что объекты гуманитарных и социальных наук слишком сложны для естественнонаучной методологии, и приспособление этой методологии к новым объектам может привести и приводит лишь к разрушению самой этой методологии. Поэтому скептицизм в отношении этой методологии оправдан самим реальным положением дел; это положение дел требует трансформации и преобразования существующей научной методологии, отказа от ее ригоризма и строгости.

Другим важным фактором, действующим в том же самом направлении, является то, что современные организованности науки захвачены и во многом ассимилированы организованностями инженерной деятельности. Одним из ярких проявлений этого является переход от теорий и теоретических систем знания в традиционном смысле к «методологиям» (в американском смысле этого слова), например, к методологии проектирования, методологии разработок, методологии социальной реорганизации, методологии педагогики и т.д. и т.п. Этот переход обусловлен тем, что в современных прикладных и даже собственно теоретических разработках моменты собственно научного мышления и его продукты – знания – всегда совмещаются с элементами и системами конструктивно-технического и инженерного мышления. По сути дела, сейчас граница между естественнонаучным и инженерным мышлением во многом стерлась и сместилась, расплылась. Вы прекрасно понимаете, что это обстоятельство точно так же приводит к деформации и трансформации норм и стандартов научного исследования. Как правило, в научное мышление довольно свободно включаются самые разные моменты и элементы из других сфер и типов деятельности, а это ведет к общей «свободе нравов», к ослаблению нормировки и стандартизации.

Третьим, тоже достаточно важным фактором, является широкое распространение халтуры в научной работе, ибо научная работа стала массовым средством зарабатывания денег. При этом, естественно, на передний план выдвигаются некоторые внешние организационные моменты научной деятельности, а ее суть – сами нормы техники и технологии научного исследования – отходит на второй план. Научная работа становится ритуалом особого типа, в котором преобладают только внешние моменты. Можно сказать, что большинство из нынешних «ученых» автоматически выполняет определенную систему действий, и эта система имеет определенных внутренних смысл, но во многих случаях не имеет содержания.

Таким образом, мы живем сейчас в ситуации, в которой формируются новые способы мышления и деятельности, способы, совмещающие в себе моменты из разных других способов деятельности и, кроме того, содержащие много принципиально нового. Внешне дело выглядит таким образом, что мы реально и объективно живем в некотором хаосе. Хаос всегда сопровождает строительство нового. Но не в нем суть дела, он является лишь побочным продуктом этого строительства. И за ним нужно еще увидеть подлинную суть происходящих процессов, увидеть контуры того здания, которое реально создается. Новые типы мышления возникают не из хаоса, и было бы ошибкой думать, что хаос нечто породит. Поэтому мы во всех случаях должны четко знать, что такое научное исследование и какие продукты оно может или, напротив, не может создавать и порождать. При этом мы не можем абстрактно рассматривать научное знание и научную работу, мы должны построить их типологию. Мы должны знать, чем конструктивно-техническое знание отличается от научного, естественнонаучное знание – от гуманитарного, гуманитарное – от социального и т.д. и т.п. И мы должны знать специфические стандарты и нормы производства каждого из этих типов знаний. Трансформируя эти формы знаний и методы их порождения, мы можем создавать новые, более сложные, знания и новые, более сложные, методы работы. Но мы не можем представлять себе все это как хаос, не можем исходить из идеи хаоса и возможности случайных, по наитию открытий.

По сути дела, я тем самым уже сформулировал еще один методологический принцип, очень важный для моего рассуждения. Я утверждаю, что недостаточно сказать, что мы хотим превратить рефлексию в предмет научного мышления и инженерной практики; нам необходимо еще знать, какого типа научное знание мы хотим сформировать о рефлексии, каким именно предметом должна быть и будет рефлексия. Это тем более важно, что сейчас мы уже знаем достаточно большое число разных по своему типу знаний.

Чтобы как-то организовать весь известный мне материал, я попробовал выписать эти знания и получил довольно обширный перечень:

- 1) естественнонаучное знание типа «ботанического»;
- 2) естественно-техническое знание примерно такого типа, какой мы

имеем в теории машин и механизмов, типа, скажем, идеальной тепловой машины Карно;

3) естественно-математическое знание такого типа, как в «Механике» Ньютона; сюда же должны быть отнесены математические знания такого типа, какие создавал д'Аламбер при изучении колебаний струны;

4) математическое знание такого типа, какой мы находим в «Началах» Евклида; знания этого типа часто называли просто научными; для античного времени это и были собственно научные и единственно научные знания; вы, наверное, знаете, что многие математики и историки математики XX в. специально обсуждали вопрос о том, чем являются «Начала» Евклида – математикой или физикой;

5) математическое знание такого типа, какой мы встречаем в современной алгебре или теоретической арифметике;

6) нормативно-техническое знание типа формальной логики или нормативной грамматики; я называю его техническим потому, что оно фиксирует, с одной стороны, нормы говорения или умозаключения, а с другой – определенную технику работы; но вы должны помнить, что если не все, то, во всяком случае, многие называют эти знания научными; существенно, что когда Лефевр говорит о теории рефлексии в своем смысле, то он имеет в виду нечто похожее на такого рода знания, и он тоже называет их научными;

7) естественнонаучное знание такого типа, какой мы находим в химии или современной структурной биологии; эти знания по своему строению принципиально отличаются от физических знаний, скажем, из механики или электродинамики;

8) естественнонаучное знание такого типа, какой мы встречаем в современной биологии, которая, конечно, не сводится к одной лишь структурной биологии;

9) научное гуманитарно-историческое знание;

10) научное знание о деятельности и ее организованностях;

11) математическое знание, скажем, такого типа, какой мы встречаем в современной «конечной математике».

Я перечислил все эти знания без какой-либо претензии на их классификацию, рассчитывая лишь на то, что сам этот перечень даст вам представление о том ареале, в рамках которого мы должны ставить сам вопрос о том, какого типа знание о рефлексии мы хотим получить в результате нашей работы. Ведь наша задача состоит в том, чтобы прежде всего выбрать какой-то из этих образцов, а соответственно ему – ту или иную технику исследовательской работы. Я бы даже рискнул сказать, что если мы этого не сделаем, то наша работа будет просто непрофессиональной. Но, с другой стороны, естественно, возникает вопрос, как мы можем выбрать такой образец, по каким основаниям. Именно здесь исследователь всегда делает тот рискованный прыжок, который даже нельзя называть гипотезой, потому что это просто прыжок вперед, ибо, кроме опыта прежних

неудач, которые, конечно, на что-то нагалькивают, но никогда неизвестно на что именно, у этого исследователя нет ничего, что подсказывало бы ему, какой образец выбрать из числа многих, на каком основании один можно предпочесть другим. А между тем, повторяю, выбирать нужно. В принципе, в этой ситуации мы, конечно, можем пробовать описывать рефлексию, исходя из образцов любого типа. Естественно, что математик попытался бы построить знание о рефлексии, соответствующее образцам математического знания, биолог строил бы знание биологического типа, философ говорил бы о рефлексии на своем языке и в традиционных для него схемах и т.д. и т.п., и можно было бы надеяться, что если не один, то другой из них получит нужный нам результат.

Однако весь опыт науки и его философского осознания опровергают это предположение. Сегодня мы уже достаточно хорошо знаем – и современная методология фиксирует это с предельной резкостью, – что каждый тип объекта требует своих особых специфических средств и методов и бессмысленно пытаться получить адекватное и правильное знание о каком-либо объекте с помощью иных, не соответствующих ему средств и методов. Не потому существуют эти одиннадцать типов перечисленных мною знаний, что у человечества было одиннадцать разных поворотов головы, а потому что мы уже открыли к нынешнему времени по крайней мере одиннадцать типов разных содержаний знаний, а вместе с тем – одиннадцать типов разных объектностей. Мы знаем, что каждый из этих типов знаний вырабатывался в истории человечества с очень большим трудом, что появлению каждого типа предшествовало множество исторических коллизий и затруднений, что каждый из выявленных типов объектности очень долго и упорно «сопротивлялся» всем попыткам освоить его с помощью других средств и методов. Все эти типы знаний возникли в конечном счете потому, что существуют разные типы объектности; им соответствуют разные типы человеческой деятельности и ее организации, и только строго определенная организация исследовательской деятельности и знаний в каждом из этих случаев дает возможность схватить и зафиксировать соответствующую объектность. Поэтому, приступая к изучению рефлексии, нам обязательно придется сделать выбор.

Кто-то, быть может, скажет: разве наука не является просто способом что-то узнать об объекте и разве в ней не оправданы любые средства и методы, которые позволяют это сделать? В принципе, конечно, можно смотреть на науку и таким образом. Вместе с тем, специальное методологическое обсуждение всей истории науки показывает, что так смотреть можно, но непродуктивно. В этом плане очень поучительна дискуссия между Р.Декартом и П.Гассенди, происходившая в 1641–1644 гг. Декарт сформулировал принцип – принцип критицизма (мне кажется, что это переломный момент в переходе от скептицизма к критицизму) – суть которого состояла, примерно, в следующем. Так как человек исходит из привычных ему догм, а они, как правило, ошибочны, то Декарт предлагает

вести особый метод, а именно объявляет все известные ему, полученные ранее знания ложными. Зафиксировав этот принцип, объявив все знания ложными, Декарт создает равновесие между имеющимися знаниями – призраками, по Ф.Бэкону – и новым принципом, и тем самым он получает возможность строить любую игру, исходя либо из предположения, что это знание истинное, либо из предположения, что оно ложное.

Гассенди отвечает Декарту следующим образом. Как же так? Если мы знаем, что солнце круглое и горячее, то, сколько бы мы ни утверждали, что это знание ложное, мы все равно не можем думать, что солнце квадратное и холодное, мы все равно будем знать его как круглое и горячее. Чтобы понять суть возражений Гассенди, мы должны вспомнить, что он сенсуалист, а это значит, что он исходит из того, что объекты своим действием производят в нас знания, и поэтому мы не можем утверждать про эти знания, что они могут быть как истинными, так и ложными; каждое определенное знание должно быть либо только истинным, либо только ложным. И, следовательно, в рассуждении допустимо только одно какое-то предположение, а сама двусмысленность наших предположений не играет никакой роли. Если, скажем (это пример Гассенди), мы опускаем перпендикуляр на прямую и знаем, что образованные при этом два угла составляют в сумме два прямых, то добавление к этому знанию принципа, что названное знание может быть ложным, ничего нам не дает. Ведь мы все равно, несмотря на сам этот принцип и допускаемую им возможность иного предположения, будем знать, что в сумме эти два угла равны двум прямым.

Декарт ответил Гассенди, ответил очень грубо и раздраженно, что так может рассуждать только не-философ, что напрасно Гассенди вообще взялся за философию, что он ровным счетом ничего не понял в декартовском методе. Декарт здесь был прав, хотя он не смог объяснить Гассенди, в чем различие их позиций. А это различие было весьма принципиальным. Для Гассенди знание было естественным образованием, оно получалось у человека само собой, а для Декарта знание является искусственным образованием, продуктом его целенаправленной, сознательной и свободной деятельности; знание есть конструкция, которую исследователь творит. Именно в этом контексте Декарт вводит свой принцип, фиксируя тем самым, что он может положить выдвинутое им утверждение как в качестве истинного, так и в качестве ложного. В обоих случаях он продолжит рассуждение, но его рассуждения будут принципиально разными по их логике.

Я сослался на пример этой дискуссии, чтобы показать, что уже в середине XVII столетия была отчетливо осознана разница между естественным и искусственным представлением знания и что крупнейшие умы европейской философии и науки встали на точку зрения искусственного образования и формирования знаний.

Кто-то и сегодня спрашивает, является ли знание естественным или искусственным образованием, получается ли оно само собой в необразо-

ванной и беспутной голове, или же мы должны конструировать знания точно так же, как архитектор конструирует здания. Я не отрицаю возможности рассматривать знания в качестве естественных образований, но я полагаю, что такой подход сегодня уже малопродуктивен. Полагаясь на естественные процессы нашей мыслящей головы – как правило, малообразованной головы, – мы мало что можем получить.

Итак, я привел выше перечень основных типов знания (как он выступает при самом поверхностном взгляде) и сформулировал то основное положение, что мы встаем перед необходимостью выбрать тот или иной образец для построения знаний о рефлексии, в конечном счете теоретической системы, описывающей рефлексию. Я утверждаю, что эта акция выбора является, по сути дела, решающей в определении направлений и результатов всей нашей работы. Поэтому все вы должны обратить на нее особое внимание.

Реализуя заданный выше методологический принцип и осуществляя предначертанный им выбор основных онтологических схем, я утверждаю, что для меня рефлексия существует в деятельности, является особой структурой и особым механизмом в деятельности. Сделав этот выбор, я вместе с тем отвечаю на вопрос, каким по своему типу должно быть знание о рефлексии: это будет знание о деятельности и ее организованностях. Это последнее утверждение вытекает из того, что деятельность для меня является объектом особого категориального типа и что в моем арсенале существуют специальные методологические знания, описывающие, с одной стороны, специфику деятельности как объекта, а с другой – специфику знаний о деятельности. Между тем и другим – характеристиками объекта и характеристиками знаний – установлены соответствия и связи. Главное здесь не в том, что я задаю для рефлексии более широкий контекст; главное состоит в том, что я задаю специфическую категориальную характеристику этого контекста, т.е. объемлющей системы, и тем самым накладываю целый ряд методологических принципов на саму рефлексию. Я исхожу из предположения, что деятельность уже стала, точнее, уже сделана особым предметом мысли, что она изучается и что, следовательно, созданы основные элементы того, что может быть названо идеей деятельности и концепцией деятельности.

Здесь нужно сделать одно методологическое замечание в сторону. Сказав, что рефлексия является моментом, стороной, механизмом и организованностью деятельности, я не утверждаю в явном виде, что рефлексия является моментом и организованностью, специфическими только для деятельности. Должен, правда, признаться, что я действительно так думаю, но я этого не утверждаю, ибо у меня нет оснований для такого утверждения. Я исхожу из утверждения, что рефлексия есть механизм деятельности, и именно схемы деятельности образуют для меня контекст рассуждений. Я строю и должен построить модель рефлексии, исходя из схем деятельности и развертывая эти схемы; в этом и состоит смысл сформули-

рованного мною выше положения. Но когда модель рефлексии будет построена, я смогу употреблять ее разными способами. Я буду накладывать ее на любую действительность, где обнаружатся подобные структуры, в том числе за рамками самой деятельности. Значит, я использую сформулированное выше утверждение как методическое средство работы, но оно никак не используется мною в онтологическом смысле.

Выдвинув это первое предположение, мы решаем сразу массу разных задач.

Во-первых, мы отвечаем на вопрос, где именно, в каком пространстве существует рефлексия.

Во-вторых, поскольку я исхожу из предположения, что деятельность как таковая уже стала предметом мысли и описана в достаточно развернутых системах знания, что деятельность уже объективирована нами вплоть до эмпирических процедур, постольку я могу применить к рефлексии весь набор специфических категориальных и предметных определений деятельности. Если до этого предположения я не знал о рефлексии практически ничего, то теперь я получаю множество различных характеристик и определений, особую логику и методы получения знаний и организации их в системы. По сути дела, я должен буду протащить в дальнейшем рефлексии через все определения деятельности.

В-третьих, я получаю для изображения рефлексии определенную предметную онтологию, а это значит – определенный конструктор для создания и развертывания схем рефлексии.

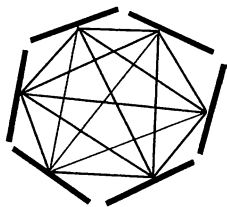
В-четвертых, я получаю набор эпистемологических и логических конструктивных требований к знаниям о рефлексии. Эта сторона дела обеспечивается тем, что сама теория деятельности строилась с самого начала методологически и содержит в себе весьма мощный слой методологической рефлексии, оформленный в виде системы эпистемологических и логических представлений и знаний.

В-пятых – и это очень важно, – я получаю возможность пользоваться приемом двойного знания. Объяснив, что рефлексия есть момент, механизм и организованность деятельности, я должен так собрать модель и онтологическое представление рефлексии из конструктивных элементов и блоков теории деятельности, чтобы эта модель и это онтологическое представление вписывались в модели и онтологические представления деятельности. Все это я должен поместить как бы в левой части моей рабочей карты. Тем самым я как бы получу изображение самой рефлексии в ее «подлинном» существовании. Я наделяю, следовательно, это изображение индексом объектности, а затем смогу спросить, в каких же знаниях может быть описан и изображен этот объект. Причем, отвечать на этот вопрос я буду, уже имея перед собой изображение рефлексии, и, следовательно, смогу работать методологически.

Здесь очень важно понять, что подобное изображение рефлексии, полученное в онтологии теории деятельности, не будет знанием о рефлексии

сии – такие знания мы еще только должны будем получить, – а будет, повторяю, изображением рефлексии как объекта. Но наличие такого изображения объекта в соединении с методологическими знаниями о возможных типах предметных знаний и методах их получения даст мне возможность проектировать мой будущий результат и планировать весь процесс его получения, всю совокупность разработок системы, описывающей рефлексии. По сути дела, я буду решать задачу так же, как Архимед решал свои математические задачи на определение площадей, ограниченных кривыми: сначала он моделировал их из кусков кожи, взвешивая эти куски, таким путем определял величину площади, а потом искал метод чисто математического вычисления. В этом и состоит смысл приема двойного знания.

Сказав, что рефлексия принадлежит деятельности, я тем самым подражаю «протаскивать» ее представление через все основные категории, характеризующие деятельность. А один из основных принципов концепции и теории деятельности – это принцип множественности существования всякого образования в деятельности. Если, скажем, мы возьмем в качестве примера знак, то должны будем представить его, во-первых, на уровне синтагматики, где он имеет только смысл, затем – на уровне парадигматических конструкций значения, далее – на уровне парадигматических систем знаний о значениях и смыслах, потом еще – на уровне рефлексивных знаний об отношениях и связях между синтагматикой и разными видами парадигматических представлений и т.д. и т.п. Соответственно этому, знак будет существовать один раз и одним способом на уровне синтагматики, другой раз и другим способом – на уровне парадигматических конструкций значения, третий раз и третьим способом – на уровне парадигматических знаний и т.д., и, кроме того, каждое из этих существований мы можем брать в связках с другими существованиями. Следовательно, знак будет существовать в каждом из этих представлений и еще в единстве разных представлений. Эти особенности существования организованностей деятельности я достаточно подробно описал в статьях: «Структура знака: смыслы и значения» [Щедровицкий 1973 б], «О типах знаний, получаемых при описании сложного объекта, объединяющего парадигматику и синтагматику» [Щедровицкий 1971 д], а также в нескольких кратких сообщениях в сборнике «Вопросы семантики» [Щедровицкий 1971 а, с], и поэтому сейчас не буду вводить все это систематически, отсылая интересующихся к названным работам.



Чтобы передать основную идею принципа множественности, я воспользуюсь образом, который был мне впервые подсказан В.Я.Дубровским. Представьте себе совокупность зеркал, находящихся под углом друг к другу. Представьте себе также, что какое-то изображение, появившееся в одном из этих зеркал, отражается во всех других зеркалах.

Характеризуя находящуюся передо мной систему, я должен буду различать и фиксировать по крайней мере два типа образований: 1) изображения в зеркалах и 2) систему процессов, обеспечивающих само отображение. В переводе на язык теории деятельности система процессов, обеспечивающих само отражение, будет характеризовать деятельность как таковую, ее процессы и механизмы, а изображения в зеркалах будут соответствовать разным формам существования знака (или какого-то другого образования, другой организованности в деятельности).

Чтобы уточнить саму аналогию, нужно будет только представлять себе указанные существования знака не как образы или отражения в узком смысле этого слова, а как определенные материальные организованности, т.е. в том смысле, какой придал понятию отражения Станислав Лем в «Солярисе».

Теперь представьте себе, что мы вырубам одно или несколько зеркал из всей этой системы, скажем, то, в котором первоначально появилась интересующая нас организованность. Поставим теперь вопрос: исчезнет ли то образование, которое мы рассматриваем, при условии, что во всех других зеркалах соответствующие ему организованности остаются и, следовательно, остаются все другие его существования, кроме исходного? При тех характеристиках, которые мы наложили на нашу систему, все остальные организованности, как вы понимаете, должны остаться, а следовательно, на поставленный мною вопрос мы должны будем ответить отрицательно; интересующее нас образование останется, хотя и не во всей совокупности своих существований. Его существование будет, конечно, убыточным, неполным, но все равно оно будет существовать, пусть даже в вырожденном состоянии, до тех пор, пока будет существовать хотя бы одна из его организованностей, одно из зеркал. Другое дело, что само это существование, взятое с точки зрения всей системы деятельности и специфических процессов деятельности, мы должны будем характеризовать как неполное и неполноценное, но это уже другой вопрос, не связанный непосредственно с вопросом о существовании самой этой организованности. Здесь также важно иметь в виду, что в каждом из зеркал, т.е. в каждой особой материальной организованности, будет свой закон существования рассматриваемого нами объекта. На уровне синтагматики знак существует иначе, нежели на уровне парадигматических конструкций значения, а на уровне парадигматических систем знания иначе, чем на уровне конструкций значения и на уровне синтагматики. И если мы учтем также и этот момент, то мы получим достаточно полный образ существования различных объектов в деятельности.

Из всего предыдущего мне важно сделать вывод, что в деятельности каждый объект, каждое образование проходит последовательно или в параллельных цепях массу различных форм существования. Поэтому, сказав, что рефлексия принадлежит деятельности, я сразу могу утверждать, что саму рефлексия я должен буду задавать во множестве ее разных суще-

ствований, отображающих и фиксирующих друг друга, но каждый раз разных и относительно автономных. Это очень важный категориальный принцип в исследовании и описании рефлексии.

По сути дела, дальше я должен был бы перечислить и рассмотреть все, что специфическим и существенным образом характеризует деятельность, и соотнести все эти характеристики с возможным представлением рефлексии; такая процедура была бы именно тем, что мы выше назвали «протаскиванием» рефлексии через основные категориальные характеристики деятельности. Вы понимаете, что такая работа требует массы времени и не может быть уложена в рамки доклада. Поэтому я буду лишь перечислять основные, на мой взгляд, характеристики деятельности и очень коротко обсуждать, как каждая из них будет отражаться на рефлексии.

Первое, что здесь должно быть отмечено, это принцип кооперации. Связи и отношения являются существенными и конституирующими для деятельности, структуры кооперации специфическим образом характеризуют деятельность и вместе с тем задают способ членения деятельности на составляющие. Деятельность поэтому всегда есть особая связь многих кооперантов или «кооператов»; что именно выступает в роли кооператов и кооперантов – это особая проблема, требующая специального обсуждения. Мне важно здесь подчеркнуть лишь одно: что структура кооперации, выделяемая нами в деятельности, соотносительна с определенным элементарно-функциональным членением деятельности и что это элементарно-функциональное членение преобразуется затем в соответствующее ему материально-организационное и материально-морфологическое членение. Обычно мы называем эти элементарно-функциональные составляющие «актами деятельности».

Второе, что я хочу здесь особо подчеркнуть и выделить, это процесс и механизм воспроизводства деятельности. Деятельность – это то, что непрерывно воспроизводится в своей кинетике, в своих функциональных и своих материально-организационных структурах. Обсуждение возможных механизмов воспроизводства заставляет нас вводить трансляцию различных элементов и структур деятельности. Этот принцип теснейшим образом связан с идеей множественности существования каждого образования в деятельности, ибо сам механизм воспроизводства и трансляции предполагает в качестве своего условия по крайней мере двойственность, а в общем случае множественность существований всего того, что должно быть воспроизведено. Различие условий и механизмов функционирования и трансляции определяет различие форм и законов существования различных составляющих целого, а сам механизм воспроизводства определяет условия и необходимость объединения этих разных форм в целостности.

Третий момент, который должен быть отмечен, касается оппозиции «норм» и их «реализации». Целостной единицей в деятельности является только то, что имеет свою норму или образец, движущиеся в трансляции, и социетальную реализацию этой нормы или образца. Поэтому мы можем

говорить, что отправление актов деятельности состоит (в определенном аспекте) в реализации норм.

Следующий момент, который должен быть назван – и его можно считать четвертым принципом, – это различие функционирования и развития в деятельности. В исходных пунктах функционирование и развитие поляризуются как целостности разного масштаба и, следовательно, разного уровня, но потом они противопоставляются друг другу как два разных процесса деятельности, сочленяющихся друг с другом и создающих соответствующие им специфические организованности на материале деятельности.

Пятый момент – оппозиция процессов и механизмов в деятельности, которая, подобно оппозиции функционирования и развития, появляется сначала как разномасштабность разных типов структурной организации деятельности, а потом, оформляясь, низводится к оппозиции разных структур, непосредственно сочленяющихся друг с другом: процессы получают самостоятельное существование за счет размножения обеспечивающих их механизмов и за счет фиксации самих процессов в специальных знаниях.

Шестой, очень важный принцип – это принцип объединения естественного и искусственного в деятельности. Деятельность – это всегда кентавр-система, т.е. система, функционирующая и развертывающаяся благодаря одновременному действию и соединению естественных и искусственных механизмов.

Седьмое, что я тоже хочу подчеркнуть, это особое содержание и особое употребление понятия системы в отнесении к деятельности. Долгое время, как вы знаете, в таких науках, как языкознание, культурная антропология, этнография и т.п., понятие системы задавалось через фиксацию отношений противопоставления, или оппозиции, одних элементов другим. Подобно Г.Вейлю, Ф.де Соссюр трактовал систему как решетку ценностей. Заданное таким образом понятие системы в принципе не допускало какого-либо изменения или развития: любая смена решетки оппозиций порождала новую систему. Но поскольку понятие системы применялось к таким объектам, как речь-язык, культура, этнос и т.п., которые, как всем было ясно и понятно, развивались, то очень скоро встала задача соединить понятие системы с признаками развития. Пока эта задача была только поставлена и еще не решена, многие здравомыслящие ученые стали говорить о «развитии систем», не очень травмируя себя тем, что это выражение было, по сути дела, небрежностью и разрушало тот смысл, который первоначально был вложен в понятие системы. Чтобы решить эту задачу и проблему, мы вынуждены были существенным образом трансформировать понятие системы.

Мы постулировали, что описание всякого объекта как системы предполагает его описание по четырем уровням: 1) процессы, 2) функциональные структуры, фиксирующие сцепление и связь этих процессов, 3) материальные организованности и 4) морфология. Тогда для нас описание не-

которых процессов стало первым этапом описания системы рассматриваемого объекта. Мы уже не говорили о функционировании или развитии системы, исходя, как это делали здравомыслящие ученые, из того нехитрого силлогизма, что рассматриваемый ими объект – система: объект-де развивается, следовательно, системы развиваются; мы говорили, что процессы функционирования и развития и есть система. Таким образом, мы решили проблему соединения синхронии и диахронии на уровне системных представлений. Теперь каждый объект, каждая материальная организованность системы характеризовались нами как «отпечаток» сразу многих процессов, в первую очередь, соединенных, связанных между собой процессов функционирования и развития. Поэтому сейчас, когда мы говорим, что деятельность есть система, а рефлексия должна рассматриваться как момент и часть этой системы, то тем самым мы утверждаем, по сути дела, что рефлексия должна рассматриваться прежде всего как сцепление и связь ряда процессов, затем – как функциональная структура, фиксирующая сцепление этих процессов, и уже потом – как соответствующая этим структурам материальная организованность и морфология.

Но то же самое я должен сказать в отношении всех сформулированных выше принципов. Рассматривая рефлексия, мы должны будем применять все эти принципы. Сказав, что рефлексия причастна деятельности, я подрядился, как уже отмечалось выше, рассмотреть ее сквозь призму всех этих принципов, и, только удовлетворив им всем, я смогу сказать, что сумел правильно задать и ввести рефлексия как предмет научного, теоретико-деятельностного исследования и описания.

Задав, таким образом, более широкий контекст изучения рефлексии, я должен буду сформулировать основную содержательную гипотезу, касающуюся уже непосредственно рефлексии и задающую ее специфику в деятельности. Эта гипотеза будет содержать два основных момента.

При обсуждении первого из этих моментов мне понадобится вся та история развития проблематики рефлексии, о которой я рассказывал в первой части доклада. Во всяком случае, я буду исходить из этой истории и опираться на проведенные выше ее анализ и истолкование. Для меня рефлексия, в ее изначальном и сущностном существовании, есть всегда особая кооперативная связь двух актов деятельности, особая структура кооперации, объединяющая кооперантов. Вполне возможно, что в этой связи будет участвовать три, четыре или даже большее число кооперантов, но наименьшим образованием будет связь двух актов. Вводя этот принцип, я противопоставляю его идее расщепления сознания и вообще всей «сознательной» методологии анализа рефлексии. Это означает, что всю традицию анализа рефлексии, начиная от П.Абеляра и кончая Локком, я объявляю ложной, ошибочной. Мое утверждение касается не смыслов и значений, зафиксированных в этот период при изучении рефлексии, а только поисков того «места», того «пространства», в которое надо было поместить рефлексия. Другими словами, я утверждаю, что мы мало что поймем

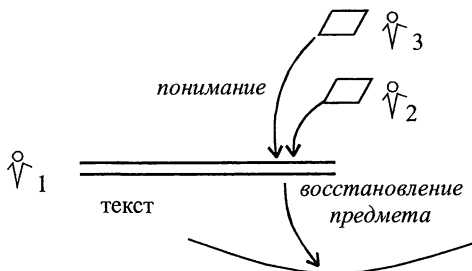
в природе и механизмах рефлексии, если будем рассматривать ее как процесс, принадлежащий области и плану сознания. Этим я не хочу сказать, что сознание не участвует в процессах и механизмах рефлексии, что в принципе нельзя рассмотреть рефлексия как определенный механизм сознания. Я лишь утверждаю, что природа и механизм рефлексии определяются не процессами и механизмами сознания (в языке введенного мною выше образа многих зеркал существование рефлексии в сознании является существованием второго или третьего порядка); природа и механизм рефлексии определяются в первую очередь связью кооперации нескольких актов деятельности; и лишь затем эта связь особым образом «отображается» в сознании.

В этом плане мне очень понравилось одно замечание из доклада Лефевра о рефлексии, где он утверждал, что происхождение рефлексии и все, что с этим связано, может быть понято только исходя из отношений коммуникации между индивидами. Я бы не стал здесь так специфицировать объект и говорить сразу об индивидах – это, на мой взгляд, побочный момент, – но я задал бы в качестве исходной структуры для объяснения рефлексии связь и структуры кооперации. Я полностью, таким образом, принимаю это положение, но вместе с тем его усиливаю. Я говорю: если мы хотим понять фундаментальные моменты рефлексии, ее «исходную», если можно так выразиться, природу, то мы должны прежде всего постулировать, что это не работа сознания, не механизм расщепления сознания и не самосознание в классическом смысле – все это будет объясняться как проявление более высоких форм существования рефлексии; это особая связь кооперации, или, другими словами, связь нескольких первоначально независимых актов деятельности.

Второй момент, который я выделяю в содержательном, специфицирующем определении рефлексии, состоит в утверждении, что рефлексия есть акт деятельности по поводу связи или структуры общения между двумя, по крайней мере, индивидами. Речь идет о таком общении, при котором один индивид что-то сказал другому по поводу некоторой реальной или мыслимой ситуации, а второй индивид понимает этот текст (момент понимания текста или восстановления смысла по тексту здесь должен быть обязательно); я бы даже сказал, что второй индивид, понимая текст и восстанавливая его смысл, одновременно выделяет и восстанавливает предмет мысли. И вот по поводу этого текста, этого понимания и процесса восстановления предмета, по поводу всей этой ситуации деятельности и общения должна возникнуть «рефлексия», т.е. та специфическая связь кооперации, которую я в общем виде задал и определил в первом утверждении. Иначе говоря, рефлексия это не просто кооперация двух актов деятельности, производственных или каких-то иных, а это должна быть совершенно особая связь кооперации, в которой второй акт производится или осуществляется по поводу первого, достаточно сложного акта, включающего в свой состав коммуникацию, процессы понимания текста и про-

цессы восстановления через текст и с помощью текста предметов мысли и деятельности.

Схематически, следовательно, мы должны будем изобразить это так:



По сути дела, этим задаются лишь необходимые условия рефлексии, но еще не задаются ее особенные, специфические моменты. Поэтому, чтобы продолжить задание схемы рефлексии, мы еще должны ответить на вопрос, в чем состоит и откуда берется эта специфика. Фактически, я уже задал многие моменты, определяющие эту специфику. Второй индивид обязательно должен понять текст, передаваемый ему первым. Чтобы понять, он должен восстановить ситуацию либо реально, либо в представлении, и смысл текста задается теми отношениями и связями, которые существуют наряду с другими элементами ситуации и которые восстанавливаются вторым индивидом в процессе понимания. Здесь важно подчеркнуть множественность тех элементов ситуации, к которым может быть отнесен текст. Это могут быть какие-то практические или мыслительные действия, материальные элементы ситуации, сам говоривший, его сознание или его деятельность и т.д. и т.п. Понять текст – это значит воссоздать какую-то сетку или систему связей между текстом и чем-то другим. Эта система связей может совпадать с тем, что было у первого, а может и не совпадать, она может соответствовать тому, что реально есть в самой ситуации, а может и не соответствовать всему этому. Эта сетка связей, образующая смысл, может быть какой угодно. Характер этой сетки всегда будет определяться тем, в какую систему связей и в какую ситуацию деятельности включает себя тот, кто получает и должен понять текст.

Обратите внимание на то, что здесь нельзя противопоставлять друг другу выражения «создает» и «восстанавливает»: мы-то в позиции внешнего наблюдателя знаем, что индивид, получивший сообщение, создает решетку смысла, но он сам думает – и убежден в этом, – что он восстанавливает тот смысл, который заложил в сообщении говорящий. Поэтому, если мы будем подлинными гуманитариями и не будем сводить свою исследовательскую позицию к плохой позиции естествознания, то мы поймем, что смысл как создается, так и восстанавливается, что оба эти определения в равной мере справедливы и не противоречат друг другу, что модель смыслообразования такова, что она заставляет нас объединять эти две характе-

ристики. Таким образом, индивид, получивший текст сообщения, будет понимать его, т.е. восстанавливать его смысл, соответственно той ситуации деятельности, в которую он этот текст включает.

Но, кроме того, есть еще третий индивид, осуществляющий тот самый акт деятельности, который входит второй компонентой в структуру рефлексии как кооперации, тот индивид, который осуществляет специфическую часть рефлексивной кооперации. Он тоже должен понимать текст сообщения, созданного первым, но он будет понимать его совершенно иначе, нежели второй индивид, прежде всего потому, что он, соответственно своей позиции, осуществляет и должен осуществлять совсем иную деятельность. Этот момент является главным в понимании как природы рефлексии, так и возникающих относительно нее проблем. Для третьего индивида ситуация понимания является принципиально иной, нежели для второго – уже хотя бы потому, что в его ситуацию в качестве материального элемента входит сам второй индивид со всеми его процессами понимания и деятельности.

Это различие ситуативных позиций, определенных относительно одного, единого для них текста, различие позиций, заставляющее видеть в этом тексте принципиально разный смысл, и создает, собственно, то, что может быть названо ситуацией рефлексии.

Это положение настолько важно, что я хотел бы повторить его еще раз. Рефлексия возникает потому, что люди, работая в сложных системах разделения деятельности и кооперации, имеют в этих системах деятельности отличающиеся друг от друга позиции. Каждый из них в одной и той же системе деятельности имеет перед собой всегда принципиально разные ситуации, и даже в тех случаях, когда их работа связана с одним и тем же, общим для них для всех текстом, они должны понимать его по-разному, должны восстанавливать в нем разный смысл соответственно различию своих позиций и определяемых этим ситуаций. Но эти индивиды обязательно должны общаться друг с другом, должны коммуницировать, и следовательно, должны понимать друг друга и обмениваться своими разными смыслами. Это положение вносит вторую дополнительную компоненту в противопоставление и различение позиций второго и третьего индивидов; они извлекают из одного и того же текста разные смыслы, но в системах деятельности эти смыслы должны быть обобществлены. И именно это соединение и сочетание двух разнородных характеристик разных позиций в деятельности, соединение и сочетание того, что выделяемые в тексте смыслы должны быть разными и вместе с тем они должны быть обобществлены и, следовательно, должны быть одинаковыми, именно это сочетание двух, казалось бы исключаящих друг друга требований и создает ситуацию рефлексии.

Если мы обратимся к историческим условиям возникновения подобных ситуаций, то должны будем рассмотреть такие организации деятельности, в которых появляется необходимость в собственно знании об объекте

(в отличие от мнения) и, соответственно, необходимость в мышлении. Ведь если у всех нас, общающихся, скажем, в условиях этого семинара будут разные понимания одного и того же текста, если мы будем извлекать разные смыслы, не имеющие общей обобществленной части, то мыслить и научно исследовать объект мы не сможем. У нас не будет единого объектного поля, к которому может быть отнесен этот текст, мы не сможем такое поле восстанавливать, у нас не будет мышления. Но и наоборот, потребность в мышлении и в знании порождает рефлексию как средство и путь восстановить единое объектное поле и единую систему смысла для текста. И, по-видимому, эти процедуры восстановления единого объектного поля и единой системы смысла для определенных наборов и комбинаций позиций могут быть нормированы и зафиксированы в правилах. Но это и означает, что будет нормирована и зафиксирована в виде определенных правил сама рефлексия.

Другими словами, хотя каждая позиция в системе деятельности влечет за собой строго определенный смысл и тип смысла – и это обстоятельство, казалось бы, должно нарушать и расстраивать взаимопонимание между действующими индивидами, – несмотря на это и в добавление к этому существует еще единое объектное поле, обеспечивающее взаимопонимание, и к этому единому объектному полю должны быть сведены все разнообразные смыслы, полученные в разных позициях. И эта процедура сведения разных смыслов к единому объектному полю, процедура нивелировки различий в позициях и точках зрения составляет важную, можно даже сказать, решающую часть того, что мы называем рефлексией. Без этой завершающей части сведения смыслов к объектному полю рефлексия вообще не может рассматриваться и анализироваться.

Эта задача – приведение смыслов к общему знаменателю – может решаться разными способами: путем создания определенных логических правил, путем создания особой онтологии, задающей единый объект, путем особых структур рассуждения и т.д. и т.п. Но все это – лишь разные способы завершения рефлексии, приведения смыслов к единому объектному полю. Более того, если мы рассматриваем рефлексию не в субъективном, а в объективном плане, то мы должны будем сказать, что именно эти процедуры выражения смыслов через объекты, или, иначе, управления процессами смыслообразования путем включения в них определенных объектных представлений, составляют ядро и сущность рефлексии.

То же самое можно сказать еще и другим способом. Ядро и сущность рефлексии составляет такая организация ситуации, единой для всех действующих индивидов, которая дает возможность всем индивидам, несмотря на различие их позиций и объективное различие тех смыслов, которые должны в этих ситуациях образовываться, видеть, понимать и восстанавливать один и тот же объективированный, а следовательно, и нормированный смысл. Я утверждаю, что каждый раз, когда возникает такая

ситуация, то вместе с ней возникает рефлексия или, во всяком случае, появляется потребность в рефлексии.

А это значит, что если мы хотим проанализировать и объяснить сущность рефлексии, то мы должны обращаться к анализу подобных ситуаций. Именно в этом состоит суть рефлексии, а особые и специфические процедуры работы нашего сознания, которое «сознает себя», «разделяется» и т.п. – все это вторичные или более высокого порядка отблески подлинной рефлексии, это ее лжебытие. Подлинный и реальный механизм всех этих процессов сознания заложен не в нем самом, а во внешней организации деятельности, в тех самых ситуациях кооперации, которые я выше описал.

Ругая, таким образом, сознание и его механизмы, я ни в коем случае не хочу умалять их значения. Назначение сознания состоит в том, чтобы производить смыслы, и производить их довольно произвольно или свободно. Именно поэтому процессы смыслообразования зависят в первую очередь от позиций и позиционной организации деятельности. Важная составляющая человеческого развития состоит как раз в том, чтобы производить как можно больше смыслов и как можно более различающихся. И было бы неверно требовать какого-то единообразия смыслов – это бы означало уничтожение «интеллигенции» в смысле Фихте. Но сами по себе свободные, произвольно созданные смыслы не дают ни объективности, ни истины. Поэтому они еще должны быть потом объективированы и проверены на истинность. Эта работа теснейшим образом связана с обобщением и интеграцией «мира». Объекты и объектное поле создаются и служат нам в качестве общего плацдарма человеческой деятельности. Они суть инварианты всех наших разнообразных смыслов. Произвольно и свободно создаваемые смыслы должны быть затем приведены к этим объектам и объектности. Но предварительно эти смыслы должны быть созданы, и они должны быть достаточно разнообразными. Таким образом, за счет «многочажности» и многоступенчатости деятельности достигается одновременно необходимый уровень свободы и необходимый уровень общей для всех необходимости. Всякая попытка трансформировать этот механизм, уменьшив в нем число опосредствующих плоскостей, ухудшает и, может быть, даже совсем разрушает налаженные машины деятельности и эволюции. Расходиться в образовании смыслов и затем вновь сходиться и интегрироваться в создании объектов и объектности – такова судьба людей.

После этих замечаний, выражающих суть моего понимания рефлексии, я могу как бы вернуться несколько назад и более подробно обсудить те моменты нашей исследовательской работы, в которых формировалось указанное представление о ситуациях, порождающих рефлексия, о сути и механизмах самой рефлексии.

В дискуссиях, которые происходили у нас в 1964–1966 гг., мы постоянно обсуждали ситуации, в которых субъект выходит за пределы своего

непосредственного знания, за пределы противостоящей ему объектности и образует новое знание о новом объекте – обо всей своей деятельности в прежней позиции. Сейчас я уже могу указать на многие недостатки такого представления.

Во-первых, как нетрудно видеть – и я уже мельком говорил об этом, – мы исходили, по сути дела, из индивида, его видения мира, его внутренней точки зрения, и фиксировали – прежде всего как некоторый сознательный и психологический факт – разрыв границ этого видения, смену одного объекта объектом принципиально иного типа.

Во-вторых, на этом этапе анализа мы не видели принципиальной и решающей роли знака, текста в этой ситуации и различий в понимании этого текста из разных позиций, т.е. не видели той самой процедуры сведения разных смыслов к единой объектности, которую я выше охарактеризовал как составляющую суть и ядро рефлексии.

Эти два момента в те годы были общими для нас с Лефевром; и он, и я, как мне представляется, исходили здесь из одного общего представления. Суть же разногласий между нами заключалась в том, что Лефевр выделял в акте рефлексии момент появления на табло сознания индивида изображений его деятельности, самого индивида и его табло сознания, а я выделял в акте рефлексии момент перехода от одного объекта – объекта деятельности индивида, принимающего сообщение, к другому объекту – самой деятельности индивида, т.е. к объекту, объемлющему первый. Из этого вытекали два совершенно разных представления о продуктах и результатах рефлексии, а также о возможных линиях ее развертывания. У меня содержательный смысл рефлексии сводился к тому, что появлялись все более широкие системы объектов, объемлющие предшествующие системы – проблема рефлексии сводилась к проблемам организации онтологии, возникающей первоначально по «принципу матрешки». У Лефевра содержательный смысл рефлексии сводился к появлению в образе на табло сознания образа образа, потом образа образа образа и т.д. – проблема рефлексии приобретала ярко выраженный эпистемологический и логический характер. Сейчас, конечно, я могу зафиксировать не только различие наших подходов и представлений, но могу показать и то, как они были связаны друг с другом и как одно представление может быть переведено в другое. Но все это не уменьшает значения, возникшего в тот период расхождения в подходах; оба подхода, как показала дальнейшая история, влекли за собой конструктивные продолжения, и эти продолжения были существенно различными.

Кроме того, вокруг этих двух типов изображений, а точнее, на сопоставлении их друг с другом было зафиксировано много системных парадоксов, в частности очень важные парадоксы, связанные с понятиями «объемлющего и объемлемого», «включения», «отображения» и «ассимиляции». Все они, в свою очередь, были связаны с противопоставлениями и соотношениями материала и функций разных систем. Например, у Ле-

февра табло сознания составляло по материалу лишь часть всей системы деятельности, но оно вместе с тем отображало в себе всю систему и несло еще кое-что дополнительно, поскольку было возможно дальнейшее углубление изображений – появление изображения изображения и т.д.; таким образом, часть системы оказывалась равной всей системе или даже была «больше».

Именно все эти парадоксы, нерешенность проблемы системных категорий и, в частности, неясность понятия «включенность» были тем, что не могло меня примирить с представлениями и всей концепцией В.А.Лефевра. Я противопоставлял его схемам и их понятийному оформлению свои онтологические схемы поглощения одного объекта другими и весьма правдоподобную интерпретацию этих схем в понятиях объекта (и предмета) деятельности и самой деятельности. При этом я, конечно, понимал, что такое представление схватывает лишь одну сторону рефлексии, но у меня не было достаточного осознания важности всех других, не учтенных в этом представлении сторон рефлексии. Сводя все только к онтологии и онтологическим взаимоотношениям, я нарушал целый ряд методологических принципов, сформулированных мной самим, и, в частности, принцип, что объект знания всегда создается и формируется самим знанием. Поглощение объекта деятельности деятельностью рассматривалось мной изолированно, само по себе, как некоторый объектный факт, вне связи с проблемой объединения и синтеза тех знаний, в которых эти объекты фиксировались. Все это, конечно, очень обедняло действительную проблематику рефлексии и рефлексивных процедур. Изображение Лефевра в противоположность этому имело то преимущество, что оно выдвигало на передний план проблему связи или соотношения самих образов и знаний; но оно, как я уже сказал, имело недостатки в категориальном оформлении самого предмета.

Для развития моих представлений было очень важно, что хотя и я, как уже было сказано, тоже исходил из индивида и процесса расщепления его сознания, но в самих моделях и онтологических изображениях, которыми я пользовался, проблема рефлексии выступала как чисто объективная, не имеющая никакого отношения к субъективности. И, наверное, именно эта сторона моих моделей повлекла и потащила меня дальше по их собственной логике, в обход той субъективности, которая была заложена в исходном представлении.

Поскольку в непосредственной связи с онтологически представленными картинками объекта все время витало представление о переходах действующего и мыслящего индивида из одной позиции в другую – а эти переходы двусторонни и взаимнообратимы, – постольку я очень скоро стал добавлять к «рефлексивному выходу» индивида из «второй» позиции в «третью» еще и «рефлексивное вхождение», или «рефлексивное возвращение», индивида из «третьей» позиции во «вторую». Именно эта вторая процедура – рефлексивного возвращения – привела затем к пониманию

того, что мы имеем здесь дело с особым типом кооперативной связи между второй и третьей позициями. Рефлексия стала трактоваться как особый вид кооперации, причем ядром и сутью процесса рефлексии, естественно, стала именно вторая процедура, т.е. «рефлексивное возвращение», а первая процедура, т.е. «рефлексивный выход», стала рассматриваться лишь как условие и предпосылка самой рефлексии. Это была очень важная трансформация представлений, ибо в исходном пункте, как вы помните, рефлексия была введена благодаря выходу деятеля из второй позиции в третью, и выход в третью позицию назывался «рефлексивным» не потому, что предстоял возврат во вторую позицию, а потому, что он как бы прорывал границы второй позиции и выводил за ее пределы, в третью позицию.

Лишь в последние два года я понял, что проблему рефлексии надо вводить и определять независимо от процедуры рефлексивного выхода, а подобно тому, как я вводил ее сейчас – через ситуацию коммуникации, множественности разных пониманий текста, функционирующего в этой ситуации, и через необходимость приведения разных смыслов к единой и общей для всех индивидов объектности, т.е. вводить как проблему кооперации в ее чистом виде. В этой связи я впервые понял, что вне единства текста и требования единства или однозначности его понимания из разных позиций проблема рефлексии вообще теряет всякий смысл и определенность.

Формулируя это утверждение, я, по сути дела, противопоставляюсь всем тем трактовкам рефлексии, в которых она рассматривается как проблема образов в сознании, как проблема ассимиляции одной деятельностью других, как проблема расщепления сознания на непосредственное и рефлексивное, хотя вместе с тем я признаю, что в своих развитых формах рефлексия может выступить и таким образом. Все это будут вторичные проявления рефлексии, а в своем исходном пункте это – проблема единства нескольких разных смыслов и пониманий одного текста.

Вы уже поняли, я надеюсь, что я очень резко противопоставляю друг другу смысл и содержание, или «объективное содержание». Смысл – это то, что возникает при понимании текста, а содержание, или объективное содержание – это то, что создается благодаря мышлению и вводится в процессы понимания для того, чтобы придать им всеобщность и единую объективную определенность. Поэтому содержание выступает, с одной стороны, как нечто, отличное от смысла и противостоящее ему, с другой стороны, как нечто, включаемое в процесс смыслообразования, придающее смыслу тот или иной характер и расчленяющее его, растаскивающее на «объективное», «необходимое» и «субъективное», «произвольное», а с третьей стороны – как компонента и составляющая смысла («испорченного» мышлением).

При этом надо подчеркнуть, что само содержание создается мышлением несколькими разными способами, что это содержание по-разному включается в процесс смыслообразования и что соответственно этому реф-

лексия получает несколько разных линий своего развития – в зависимости от способов организации «рефлексивного возвращения». В принципе все эти линии разного развития рефлексии, соответствующие способам и формам ее завершения, можно найти в истории человеческого мышления и науки. А соответственно этому разделится и будет развиваться по нескольким линиям сама научно-исследовательская проблематика рефлексии, предметы ее изучения и описания.

Обсуждая весь этот круг вопросов, мы должны, прежде всего, обратиться к анализу тех средств, которые находятся в распоряжении индивида во второй и третьей позициях, ибо именно различие и соотношение этих средств определяют осуществление и развитие самой рефлексии. Поскольку мы определили рефлексию как объединение и интеграцию разных смыслов на базе единого объектного поля и, следовательно, должны вводить это объективное поле, то мы будем это делать либо на базе и с помощью средств третьей позиции, либо на базе и с помощью средств второй позиции, либо же – вариант, требующий расширения и развития самих схем кооперации и коммуникации – на базе какой-то иной группы средств, принадлежащих какому-то внешнему индивиду. Но какой бы из этих вариантов мы ни выбрали, каждый раз рефлексия будет сниматься и как бы умирать в этих средствах. При этом каждый раз, за счет объединения разных позиций, представления индивидов о ситуации – это либо представления второй позиции, либо представления третьей позиции – будут разворачиваться и развиваться; и именно в этом разворачивании и развитии представлений будет сниматься и умирать рефлексия. Можно сказать, что она будет переходить в логику разворачивания соответствующих представлений.

Сейчас мне представляется, что интенсивно обсуждавшаяся нами тема о конфигурировании разных знаний и представлений объекта по сути своей теснейшим образом связана с проблемой рефлексии. Это тот самый случай, когда ни одна из сопоставляемых и связываемых позиций не может быть ассимилирована другой. В подобных случаях приходится искать и вырабатывать какие-то новые представления и какую-то новую точку зрения, которая по своим средствам была бы достаточно мощной для того, чтобы объединить на базе единого объектного поля другие представления, скажем, выработанные во второй и третьей позициях. Мы обсуждали и решали проблему конфигурирования и конфигуратора в методологическом и онтологическом планах, не анализируя и не описывая ее в схемах рефлексии и ее онтологического или логического свертывания. Именно поэтому многие аспекты деятельности конфигурирования оставались для нас скрытыми и были выявлены лишь в самое последнее время (и, наверное, еще отнюдь не до конца).

Очень важным при анализе рефлексии, и в особенности ее последнего, решающего звена, является различие форм фиксации знания, в первую очередь, форм внешне выраженных, экстерииоризованных, с одной

стороны, и внутренних, не экстериоризованных, проходящих только в плане образов и переживаний сознания – с другой. Этот момент важен уже хотя бы потому, что только в первом случае мы сможем говорить о строго определенной логике соединения представлений, развертывания одних представлений с учетом других и т.п.

Сейчас мне представляется, что в ходе всех философских дискуссий рассматривался только один аспект рефлексии – рефлексия на уровне сознания, и только этот аспект рефлексии считался принадлежащим к рефлексивной проблематике. Если мы согласимся с этим, то поймем, почему философское обсуждение рефлексии не развивалось дальше и не перешло в научный анализ рефлексии: ведь анализ рефлексии на уровне сознания, т.е. анализ рефлексии исключительно в аспекте сознания, в принципе не может стать темой и предметом научных исследований. Соответственно этому, как мне кажется, можно утверждать, что все другие аспекты рефлексии – логика рефлексии, синтез рефлексии и непосредственных знаний на уровне онтологических представлений и т.д. и т.п. – никогда не рассматривались в истории философии как принадлежащие рефлексивным процессам и соответствующей проблематике. В принципе это утверждение, как мне кажется, остается справедливым – несмотря на то, что у Мейнонга в его «теории предметности», у Brentano, у Кюльпе и других представителей Вюрцбургской школы, у Гуссерля поднимались проблемы объективации и есть даже отдельные соображения о связи этих проблем с рефлексией, но никакой логики или онтологии рефлексивных процессов в этих работах не было, и они даже не намечались.

Наоборот, фиксируя факт рефлексии на уровне сознания и устанавливая его органическую и необходимую связь с тем, что я выше задавал как специфически рефлексивную ситуацию и связь кооперации, показывая, что суть рефлексии заключена в процедурах и способах сведения смыслов к единому объектному полю и интеграции их на этом объектном поле, рассматривая рефлексии на уровне сознания лишь как один из моментов рефлексии в целом, причем как момент второго и третьего порядка, мы ставим перед собой совершенно новые и специфические задачи, мы впервые получаем возможность перейти к собственно научному изучению рефлексии, «схватить» ее на объективном уровне логики и онтологии.

На этом я хочу закончить свое сообщение, которое должно рассматриваться вами лишь как обзор некоторых проблем рефлексии, как своеобразное введение в проблематику. Я, конечно, не стремился дать не только решения основных проблем рефлексии, но даже исчерпывающего обзора точек зрения и подходов. Мне хотелось передать лишь самое общее представление о проблеме и самые общие моменты идеи, на основе которой, как мне кажется, можно было бы разработать программу изучения рефлексии.

Подытожу очень коротко основные положения, которые я формулировал, передавая эту идею.

Суть проблемы рефлексии заключена, на мой взгляд, в вопросе о возможности кооперации индивидов, находящихся во второй и третьей позициях, при условии, что они по-разному понимают – и должны понимать – общий для них текст, выделяют – и должны выделять – в нем разные смыслы.

Условием их подлинной кооперации является создание такого единого поля объектности, к которому могут быть сведены все порождаемые в разных позициях смыслы. Различие и разнообразие смыслов, создаваемых в разных позициях внутри систем деятельности, должно сниматься и снимается, как бы «сплющивается», с одной стороны, благодаря онтологическим картинам объекта, мира, а с другой – благодаря определенным правилам, определенной логике рассуждений и технике понимания текстов.

В разные исторические эпохи создаются разные интегрирующие картины мира. В эпоху Аристотеля это – родо-видовая картина; потом в дополнение к ней появляется представление о субстанциях, землях; еще дальше на роль единой онтологической картины мира начинают претендовать молекулярно-кинетические представления; потом складывается, по сути дела, плюралистическая картина мира разных наук и т.д. И каждый раз соответственно этим картинам мира создается определенная логика, подстраивающаяся к ним и исходящая из них, можно сказать, в каком-то смысле дополняющая их.

Развитие онтологии мира и логики происходит параллельно развитию систем кооперации, умножению разных позиций в них и изменению способов связи между позициями. Структуры кооперации, картины объектов и логика, или операции деятельности, составляют три основных оси репера, конституирующего деятельность. Рефлексия разворачивается как бы на этом репере, она связывает его оси и за счет своего функционирования развивает и разворачивает каждую ось соответственно другим.

Поэтому существуют два дополняющих друг друга аспекта рефлексии. Один аспект – это механизм самой рефлексии; он может быть представлен как бессодержательный и формальный, и в этом плане он очень прост, можно даже сказать, примитивен. Другой аспект рефлексии – это все те содержательные изменения, которые происходят на осях названного выше репера. В этом аспекте рефлексия не может быть отделена от неимоверно сложного процесса исторической эволюции и развития всех этих содержаний. Этот второй аспект составляет подлинную суть проблемы рефлексии, но он не может быть решен одномоментно, раз и навсегда. С этой точки зрения и в этом аспекте проблема рефлексии является вечной, она, по сути дела, совпадает с проблемой истории человеческого мышления, науки и культуры. Иначе говоря, в первом аспекте проблемы рефлексии нет и не может быть, поскольку эта проблема уже решена. Остаются только проблемы снятия, завершения рефлексии. Но это есть, по сути своей, проблема организации единой картины мира и единой

логики человеческой деятельности, единой при одновременном сохранении множественности.

На этом я кончил. Благодарю вас за внимание.

Лефевр В.А. Если оставить в стороне внешний каркас схемы, изображенной Г.П.Щедровицким, то во всем остальном мои представления о рефлексии и представления Щедровицкого являются совершенно разными. Мне представляется, что понятие рефлексии находится в принципиальной оппозиции к понятию деятельности. На мой взгляд, этот момент был зафиксирован, по крайней мере, уже у И.Канта. Акт рефлексии в кантовском смысле – это обретение свободы. Поэтому понятие свободы необходимо для того, чтобы понять, что такое рефлексия. Но когда Щедровицкий рассматривал понятие рефлексии на разных этапах своей работы, он никогда не связывал его с понятием свободы. Перефразируя Архимеда, я мог бы сказать: дайте мне рефлексию и я разрушу любую теорию, в том числе любую теорию деятельности. Акт рефлексии освобождает субъекта от всякой определенной операциональности. Когда я пользуюсь рефлексией, то я могу следовать приемам и принципам теории деятельности, а могу не следовать им, могу их отбросить, преодолеть. Более того, сам материал деятельности перестает быть непременным условием и предпосылкой рефлексии. Но тогда мы должны спросить: а что все-таки существует и остается существовать? Чего нельзя нарушить? Что является тем инвариантом, который нельзя нарушить даже тогда, когда он сам становится предметом и объектом рефлексии? Что является тем, над чем рефлексия поднимается и что она тем не менее не может преодолеть, оставаясь всегда и всецело в его рамках? Вот в чем, на мой взгляд, заключается проблема.

Мы в какой-то степени эту проблему решили. Мы поставили вопрос, каким образом описать свободу. Мы знаем сегодня только один способ описания свободы – это описание ограничений, наложенных на нее. Мы должны научиться точно и четко регистрировать ограничения. Рефлексивные многочлены, которые мы ввели и развертывали в наших исследованиях, это один из способов регистрации ограничений. Смысл подобных многочленов может быть передан в высказываниях такого, скажем, типа: перед X нет и не может быть картины, которая имеется перед Y. Другие многочлены имеют другое содержание, но тот же самый смысл – смысл ограничения. Ограничения могут фиксироваться в позитивной или негативной форме. Во всех случаях они остаются ограничениями.

Рефлексивный анализ – это попытка зарегистрировать законы жизни подобных ограничений. Акт рефлексии – это изменение статуса свободы. Операторы осознания вводятся в основном для того, чтобы выделить те классы структур и такие типы актов рефлексии, при которых статус свободы оказывается неизменным. Именно поэтому наши многочлены позволяют исследовать среди прочего и разные формы религиозного мыш-

ления. Существует всегда строго определенный персонаж, который внутри человека занимает позицию. Казалось бы, актом рефлексии это можно уничтожить. Но на деле уничтожения не происходит. В целом структура акта изменяется, но определенные ее характеристики остаются неизменными. Иначе говоря, по отношению к определенным типам работы те или иные операторы осознания оказываются нейтральными. Наше продвижение вперед в изучении проблемы заключалось в том, что удалось выявить определенные законы ограничений. Конечно, эти законы в известном смысле идеализированы. При интерпретации наших схем на социальную реальность придется учитывать многие дополнительные процессы, которые никак не будут связаны с рефлексией. Но сами законы в очищенном виде выделить удалось.

Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Мне схема, предложенная Щедровицким, близка, она так или иначе нами обсуждалась, мы видим путь изучения рефлексии и какая-то часть этого пути нами уже пройдена. Здесь возникает много интересных и тонких задач, как пограничных с психологией, так и собственно логических – я больше склонен относить всю эту проблематику к логике. Отмечу еще, что нам удалось выделить несколько патологических актов рефлексии, когда происходит выпадение определенных схем, причем это выпадение носит принципиальный характер: когда работают определенные операторы осознания, то некоторые схемы вообще не могут возникнуть. Подобные вещи можно констатировать как в клинике, так и в «живой» реальности.

В целом же я получил большое удовольствие от доклада. Во всяком случае, он пробуждает мысль.

Чернов А.П. Возможно ли рефлексивное отношение человека к природе или же к самому себе?

Щедровицкий. В той мере, в какой природа оказывается втянутой в деятельность и выступает как материал или элемент систем деятельности, возможна рефлексия также и по отношению к природе – ибо я говорил, что рефлексия возможна по отношению к любому элементу деятельности.

В аналогичном плане возможно рефлексивное отношение человека к самому себе, ибо и человек является лишь материалом и элементом систем деятельности. Здесь надо иметь в виду ту трактовку системы, на которой я выше специально останавливался. Ведь мы начинаем описание системы с фиксации некоторых процессов, а рефлексия является одним из процессов и вместе с тем определенным механизмом, определенной связью или структурой в деятельности, и она может охватить любые элементы в системе деятельности. Образно говоря, она «ползет» и распространяется, захватывая самые разные элементы. Если вы спрашиваете об ограничениях в отношении тех или иных элементов, то я должен ответить, что этот вопрос мы пока не рассматривали. При первом подходе мне кажется,

что возможны лишь временные ограничения на рефлексию, а системных ограничений не будет.

В вашем вопросе может содержаться и другой смысл: в какой мере процессы и связи рефлексии могут реализоваться на отдельном человеке, или, что то же самое, осуществляться одним человеком. По этому поводу я могу сказать, что современный изоциренный человек может в одиночку, за счет присвоенных им механизмов мышления имитировать связи кооперации любой сложности. Это значит, что он без труда будет имитировать любые и всякие рефлексивные процессы.

Лефевр. Мне хочется сделать еще то утверждение, что сегодня я не вижу других форм и способов описания свободы кроме тех, которые были развиты в наших схемах рефлексии.

Щедровицкий. Я не вижу в сделанных вами утверждениях чего-либо нового по сравнению с тем, что уже давно было зафиксировано в философии. Вы, наверное, хорошо знаете, что Ф.Энгельс, обсуждая эту тему, писал, что свобода – это познанная необходимость.

Лефевр. Мне представляется, что проводя эту параллель, вы совершаете подлог, и притом – грубый. Я не понимаю, причем здесь познанная необходимость. Сами ограничения – это не необходимость, которая должна отражаться...

Щедровицкий. Но ведь все дело в том, что когда Энгельс говорил о познанной необходимости, то он имел в виду именно ограничения, те ограничения, которые человек устанавливает для себя, извлекая их из чего-то, лежащего вне его сознания – может быть, из природы, может быть, из деятельности, может быть, из социальной организации, в принципе не важно из чего, – и фиксирует в знаниях. Из всего этого вы берете только один тип ограничений – ограничения, вытекающие из структуры деятельности человека. Но общее понимание всего дела у вас точно такое же, какое зафиксировано в формуле Энгельса.

Лефевр. Для меня не так важно согласование с классикой. Для меня это куда менее существенно, чем для вас...

Щедровицкий. Мне кажется, что во всех случаях хорошо знать, кого повторяешь. <...>

Понимание и мышление, смысл и содержание *

1.

В самом начале я рассказывал о том, какое значение для современной науки имеет анализ взаимоотношений между смыслом и содержанием. Я утверждал, что когда мы рассматриваем деятельность носителей языка, то мы работаем и должны работать, используя прежде всего оппозицию «смысл – конструкции значений»: понимая какой-то текст и создавая соответственно ему определенную ситуацию, всякий человек пользуется прежде всего определенными конструкциями значений и с их помощью восстанавливает или создает смысл текста (а вместе с тем и смысл ситуации). Когда же мы переходим к обсуждению работы лингвиста, когда мы начинаем рассматривать историю изменения и развития лингвистических представлений, то как основной оппозицией мы должны пользоваться оппозицией «смысл – содержание». Это объясняется прежде всего тем, что лингвист, хотя он говорит, что изучает «речь» и «язык» и что именно они являются его объектами, на деле никогда не имеет дела непосредственно с объектами. Он всегда имеет дело с какими-то *знаниями* об объектах и начинает свою работу с определенного анализа знаний.

Я прекрасно понимаю, что последнее мое утверждение является весьма рискованным и даже в каком-то смысле, очевидно, неверным. Прежде всего потому, что «знание» – это совершенно особая сущность, не похожая на вещи, и поэтому с ней «имеют дело» совершенно иначе, нежели имеют дело с вещами. В частности, из этого следует, что из утверждения, что мы имеем дело со знаниями и только со знаниями, не следует и не вытекает, что мы поэтому не имеем дело с объектами; наоборот, сказать, что мы имеем дело со знаниями о чем-либо, – это, как правило, и означает, что мы имеем дело с объектами, представленными в этих знаниях. Но так как, кроме того, возможны непосредственные практические воздействия на объект, непосредственные преобразования его – минующие знание, – то существует разница между «иметь дело с объектом через знание» и «иметь дело с объектом непосредственно и практически, минуя знание». Именно для того, чтобы разделить и противопоставить друг другу эти два смысла, я и говорю, что лингвист, начиная свою работу, имеет дело со знаниями, а не с объектами. И только в рамках этого противопоставления мое утверждение имеет смысл. Кроме того, когда я говорю, что лингвист

* Извлечения из лекций в ЦНИИПИ (сентябрь – ноябрь 1972 г.). Арх. № 3670.

Г.П.Щедровицкий имел обыкновение резюмировать содержание предыдущей лекции (или другого многочастного сообщения) в начале следующей; он сделал это методом своей работы с аудиторией. Именно эти рефлексивные резюме шести лекций 1972 г., а также вводный фрагмент последней, седьмой, лекции мы и публикуем в настоящем издании.

имеет дело со знаниями и анализирует их, такое выражение фиксирует в общем еще очень непонятную процедуру, которая может трактоваться, во всяком случае, многозначно; ведь анализировать знания – значит анализировать их объективное содержание, их знаковую форму, а может быть – отношения и связи между тем и другим. Поэтому само выражение «имеет дело со знаниями» требует еще пояснений и уточнений.

Формулируя такое утверждение, я подчеркиваю прежде всего, что лингвист имеет дело не с объектом как таковым, а с действительностью, данной ему в знании и через знание. Каким-то образом, работая со знанием и его действительностью, он прорывается к самому объекту. Я стремился также подчеркнуть, что когда лингвист работает с каким-либо текстом, казалось бы, как простой носитель языка, т.е. когда он понимает его и использует в своей деятельности, то он все равно и всегда привносит в этот процесс понимания свои лингвистические знания. При этом происходит очень сложное и требующее специального анализа взаимодействие между знаниями и конструкциями значений. Как знания, так и конструкции значений делают свои определенные вклады в процесс понимания и смыслообразования. Попросту говоря, используемые нами знания влияют на процессы понимания и смыслообразования. При этом, так как знания описываются и характеризуются нами прежде всего в категориях формы и содержания, мы неизбежно приходим к вопросу о взаимоотношениях и взаимодействиях между смыслом и содержанием.

На мой взгляд, участие знаний в процессе понимания и смыслообразования проявляется прежде всего в том, что лингвист, понимая данный ему текст, переходит к строго определенному содержанию этого текста. Если бы на месте лингвиста был кто-то другой, скажем, физик или логик, то он, понимая тот же самый текст, перешел бы к другим содержаниям. Поскольку причиной и источником этих различий являются различия между теми знаниями, которые используются соответственно лингвистом, логиком и физиком, постольку я могу сказать, что индивид, понимающий текст, имеет дело, прежде всего, с содержанием используемых им знаний и что, понимая текст, он создает содержание, соответствующее его знаниям. Можно также сказать, что этот индивид использует содержание имеющихся у него знаний в качестве подсобного средства для образования смысла текста и для создания новой плоскости содержания, соответствующей этому смыслу.

Здесь, к тому же, все время возникает двусмысленность, поскольку не указано, в какой именно кооперативной структуре мы рассматриваем отношение между смыслом и знанием. По сути дела – и в этом одна из основных установок этой серии лекций – «знание» представляет собой особый тип нормировки процессов смыслообразования и, следовательно, выступает как особая организованность, «наложенная» на структуры смысла. Но тогда, как всякая нормировка, «знание» должно существовать дважды: один раз – в качестве «чистой» нормы и, следовательно, в особой реф-

лексивной позиции, а в другой раз – в качестве реализованной нормы и, следовательно, в исходной позиции деятеля; в последнем случае «знание» выступает как связка соответствий между движениями в плоскостях формы и содержания или, в других словах, как зависимость между двумя рядами связей, определяющих развертывание плоскостей формы и содержания. При этом, по-видимому, кинетика переводится в знак, знак вызывает определенную кинетику.

Но все это касается смысла и знаний вообще: в каждом акте смыслообразования участвует много разных знаний, каждая определенная структура смысла является реализацией этого набора знаний, и пока нет того знания, которое соответствовало бы данной структуре смысла. В этой связи встает другой вопрос – об отношении между структурой смысла и знаниями, содержание которых соответствует этой структуре смысла (в указанном выше значении слова «соответствует»); такое соответствие существует в логических и лингвистических знаниях. Но таким образом мы приходим к вопросу о том, как создаются эти знания.

Ссылаясь на специфические условия анализа деятельности лингвиста, я точно так же не указываю определенно, в какой именно позиции эта деятельность берется и рассматривается – в позиции свободно мыслящего коммуниканта или в позиции аналитика, обслуживающего определенные ситуации коммуникации и определенные акты деятельности. Все то, что я говорил выше, может применяться как к одному, так и к другому. Различие же между одним и другим может быть выявлено только тогда, когда мы будем рассматривать сложные системы кооперации и переводить функциональные различия деятельности в различия их материала – его организации и морфологии. При этом нам неизбежно придется перейти в план генетического и исторического анализа, причем, рассматривать преобразование или трансформацию генезиса в структуры и функционирование этих структур. В частности, именно в таких трансформациях будет происходить замыкание знаний и точно соответствующего им смысла, т.е. структуры смысла будут организовываться знаниями, возникшими в качестве форм фиксации именно этих структур смысла. Но все это, очевидно, – тема и предмет специального обсуждения.

Итак – повторяю свой основной тезис, – в процессе понимания происходит какое-то сложное взаимодействие между знаниями и конструкциями значений, содержание знаний каким-то образом определяет получающуюся структуру смысла и ту новую плоскость содержания, которая ей соответствует.

Описав эту ситуацию – прежде всего на примере лингвиста, понимающего текст, – я сделал затем общий вывод, что подобное взаимодействие между конструкциями значений и знаниями будет иметь место всегда, независимо от того, кто будет понимать текст – лингвист, физик, логик или человек, не имеющий никакой специальности. И поэтому исследова-

ние этих взаимоотношений и взаимодействий представляет собой одну из важнейших общих проблем в теории понимания и мышления.

В этом контексте я поставил проблему взаимоотношения языка и мышления и показал, что она встает дважды и в двух совершенно разных видах. Один раз она встает, когда мы анализируем процесс понимания текста: в этом случае мы должны ответить на вопрос, как мышление выражается в речи-языке. Другой раз проблема взаимоотношения языка и мышления встает тогда, когда мы рассматриваем работу лингвиста: речь и язык предстают перед ним прежде всего в знаниях и через знания и поэтому нужно, рассматривая природу знаний, их действительность и их объект, ответить на вопрос, как язык в качестве объекта изучения относится к мысли о языке.

2.

Прошлый раз, как вы помните, я старался определить специфическую природу смысла. Если вы следили за моими рассуждениями с известной долей критицизма, то могли заметить, что я дал два разных, а по сути дела, даже противоположных друг другу определения. С одной стороны, я определил смысл как совокупность *отнесений, сопоставлений*, а соответственно этому – связей, объединяющих между собой ряд *разнородных организованностей материала*. Я говорил, что эти организованности материала лежат как бы перпендикулярно к структуре смысла, и в этом плане структура смысла является совсем необычной – она как бы *паразитирует* на организованностях материала. Во всех этих характеристиках смысл или структура смысла получали объективную интерпретацию, задавались как нечто *существующее само по себе и для себя*. Вместе с тем и параллельно я задавал другое определение смысла, утверждая, что это в известном плане *выдумка* самого исследователя, фикция, создаваемая им в процессе исследования и для целей исследования. В этом плане я подчеркивал, что природа и характер смысла являются, по сути дела, *функцией от тех средств*, которые использует исследователь, точнее можно сказать – функцией ограниченности и недостаточности его средств. Ведь я все время подчеркивал, что понимание представляет собой *процессы, кинетику*, но у нас нет средств для адекватного «схватывания» и изображения кинетики, и поэтому мы вынуждены представлять все эти процессы в качестве некоторых *статических образований*, в виде определенной *конфигурации* линий, долженствующих изобразить и представить совокупность отношений и связей между материальными организованностями, охваченными процессом понимания. Это, как постоянно подчеркивалось, означало что конфигурация линий *выражает отношения и связи*. Чтобы пояснить, каким образом исследователь приходит к такому изображению, я пользовался представлением о кисточке с краской, как бы прикрепленной к процессу понимания, говорил о том, что эта кисточка оставляет следы и таким образом получается графическая конфигурация. А в результате у ис-

следователя получается – причем, в прямом физическом смысле – статическая конфигурация, принципиально отличная от кинетики самого понимания.

Эти два определения смысла – а я еще раз повторяю, что их можно рассматривать как противоположные друг другу – были нужны мне для того, чтобы передать специфические особенности смысла.

Но даже у тех, кто получил хорошую школу методологического мышления, после такого соединения двух разных и противоположных определений смысла возникал и должен был возникнуть вопрос: а как же существует смысл? Когда я говорил, что смысл, представленный в такого рода структурной графике, существует «перпендикулярно» к материальным организованностям, то меня обычно спрашивали: а как же он может существовать «перпендикулярно», *на какой материи и в каком пространстве* задано его существование, или, может быть, это выражение надо понимать так, что он существует «нигде»? В каком-то плане это совершенно естественный вопрос. Но ведь нужно помнить, что мы имеем дело, во-первых, с определенным *процессом*, а во-вторых, с определенной *работой, производимой человеком (или машиной)*, а по отношению к таким образованиям, как работа человека (или машины), этот вопрос уже неправомерен. Работа осуществляется человеком (или машиной), но вряд ли оправданно спрашивать, где она существует.

По сути дела, следовательно, это выражение «работа» должно рассматриваться как особое *категориальное определение*: *работа существует иначе*, нежели вещи, и иначе, нежели обычные процессы, заключающиеся в изменении некоторого материала (по сути дела, ведь процесс это – некоторый изменяющийся параметр, и этого нельзя забывать). Другое дело, что, исследуя работу (или деятельность), мы сводим ее к процессам (чего-то), или, точнее, пытаемся некоторые аспекты и планы ее представить как процессы. Мы это обычно делаем. Но из этого не следует, что работа или деятельность могут быть *адекватно представлены* в виде процессов, развертывающихся на определенном материале.

Таким образом, мы имеем здесь дело с двумя группами проблем. С одной стороны, мы должны представить процессы в статических структурах и работать с ними как со статическими структурами, с другой стороны, мы должны представить работу или деятельность в виде процессов.

В этом контексте перед нами по-новому предстает *понятие пространства*. Ясно, что оно создается для того, чтобы мы могли описать и охарактеризовать процессы. И мы это достаточно хорошо умеем делать, скажем, задавая декартову или какую-нибудь иную систему координат. Нередко мы чертим систему координат, а затем «внутри нее» – некоторую кривую, изображающую процесс. И мы говорим потом, глядя на это изображение, что этот процесс (или движение) происходит в пространстве. Между тем, все наоборот: *то, что мы называем «пространством», есть особая форма, особый прием – причем, весьма искусственный – изображения процессов или движений*. Реально-то ведь объект существует вне нашего изоб-

ражения, в том числе и процесс как объект (если можно так говорить), а кроме того, есть еще *особая форма схватывания и изображения этого объекта*, которую мы создаем и употребляем в своей деятельности. Так обстоит дело реально. Но ведь мы говорим, что *есть* пространство, что процессы или движения *происходят* в пространстве, одним словом, все, что у нас изображено и представлено, мы *формально онтологизируем*, как бы *выносим вовне* и придаем всему этому как бы самостоятельное существование. Более того, только это и имеет подлинное существование *для нас*, ибо это мы знаем, а то, что является объектом и существует «на самом деле», остается нам неизвестным; поэтому бессмысленно полагать, что существует только неизвестное нам, а все, что мы знаем, не является существующим в подлинном смысле этого слова.

Выход из этого положения, казалось бы, состоял в том, чтобы разделить *объективную реальность* и «*действительность*». Поскольку изображения всегда нечто *замещают* или *представляют* (а кроме того имеют смысл), то действительность будет задаваться не самими по себе знаковыми средствами или изображениями, а их употреблениями, в частности в отношениях замещения. Поэтому мы можем сказать и говорим, что действительность задается *деятельностью со знаковыми средствами*. Поскольку деятельность может быть и бывает разной (в частности, в разных позициях), мы вынуждены были отнести «действительность» к разным *профессиональным традициям* и, соответственно, к разным «*местам*» в *системе кооперированной деятельности*. Этим самым *существование было расчленено* соответственно разным позициям и разным видам деятельности.

В применении к смыслу это означает, что мы можем и должны спросить, в какой именно позиции и в какой деятельности появляется и начинает существовать *смысл как особая действительность*. Здесь я, конечно, должен согласиться с теми замечаниями, которые были сделаны на прошлой лекции, что смысл может существовать и существует только *в действительности исследователя*, причем, отнюдь не всякого, а того, который «*вводит кисточку с краской*», т.е. *создает и использует определенные графические изображения смысла*.

Но такая трактовка положения дел схватывает только одну сторону. После того как графическое изображение смысла создано, после того как употребление этих изображений в процессах замещения, конструктивного развертывания и т.п. выявлено, проанализировано и описано, закреплено в определенных логических нормах и способах мышления и деятельности, сами эти графические изображения вместе с соответствующей им деятельностью (а значит и вместе с их содержанием и смыслом) *могут передаваться и передаются из одной деятельности в другую*, от одной позиции к другой позиции и, следовательно, выступают как *постоянные инвариантные блоки в действительности разных позиций*. В этом случае мы уже не можем столь непосредственно и накрепко связывать существо-

вание с происхождением, мы вынуждены будем различить эти два момента. Хотя смысл как особая *действительная сущность* создается в определенной исследовательской позиции, существовать и употребляться она может в самых разных позициях, если произошло заимствование ее этими позициями. Мне представляется, что в том и состоит *функция и назначение понятия*, чтобы создавать подобные инвариантные структуры, переходящие из одной позиции в другие, из одной деятельности в другие деятельности и, соответственно, из одной действительности в другие действительности. Переходя из исследовательских позиций, в которых они создаются, в другие позиции подобные понятия *перестраивают деятельность*, а вместе с тем и действительность других позиций. Иными словами, если смысл не только появился, но и оформлен в виде понятия, то он становится *самодовлеющим фрагментом действительности*, влияющим на деятельность, и как таковой он живет и циркулирует в деятельности как некоторый *стандартный инвариант*, а это значит, что он существует уже независимо от тех или иных позиций, сам по себе.

В этом плане я уже не могу принять тезис, что смысл существует только в позиции исследователя; наоборот, я должен буду говорить, что он просто существует или же что он существует во всех позициях.

Но все эти рассуждения о самостоятельном существовании смысла независимо от позиций и во всех позициях не должны закрывать от нас того факта, что в исходе «объективной» была и остается *только кинетика понимания*; именно ее мы хотели «ухватить» и описать и только для этого создали такую штуку, как смысл.

Поэтому, если мы будем спрашивать, чем определяется та или иная структура смысла, то должны будем отвечать, что она определяется той или иной констелляцией (стечением) тех или иных организованностей материала, необходимостью охватить и связать их все в одной структуре. Это будет одна детерминанта структуры смысла. Второй детерминантой будет «машина», осуществляющая работу понимания, и устойчивость ее функционирования. Здесь вступает в игру очень важный принцип, затрагивающий специфические особенности «работы» или деятельности. Ведь понимание есть особая работа «машины», называемой человеком, и особенности понимания как процесса определяются устройством этой «машины». Отношение между процессом и машиной здесь точно такое же, как и в радиоприемнике: ведь то, что мы можем слушать музыку и речь предопределено устройством радиоприемника. Подобно тому, как мы не можем спрашивать, где существует работа радиоприемника (ибо она им осуществляется), точно так же мы не можем спрашивать, где существует работа понимания, осуществляемая человеком.

Именно в этом пункте с особенной отчетливостью проявляется двойственность характеристик всякой работы вообще и работы понимания в частности. С одной стороны, она определяется устройством машины, а с другой стороны, тем, *на что* она направлена, теми организованностями

материала, которые ею охватываются или должны быть охвачены. Когда мы спрашиваем, чем же определен смысл или структура смысла, то мы должны указать как на одно, так и на другое, а если мы будем указывать только на что-то одно, то мы неизбежно ошибемся.

Конечно, сознанию, которое знает только категории вещи и материального процесса, очень трудно принять и понять все то, что я говорю; такое сознание будет по-прежнему настойчиво спрашивать, а где же существует понимание и где существует смысл. Но если мы хотим получить наконец-то реальный и адекватный ответ на этот вопрос, то мы прежде всего должны уловить и понять неадекватные аспекты самого этого вопроса в применении к рассматриваемым нами явлениям. Важно также помнить, что эта неадекватность идет сразу по нескольким разным линиям – по линии специфических особенностей работы или деятельности, по линии сложных взаимоотношений между процессом и статической структурой, а также по линии взаимоотношений между объектом изучения и пониманием, имеющим свой особый идеальный объект.

Итак, «смысл», или «структура смысла», есть особая действительность и особый идеальный объект, созданные для описания и представления процессов понимания. Они создаются в определенной исследовательской позиции, но затем, будучи оформленными в *понятие*, приобретают самостоятельность и независимость от этой исследовательской позиции и начинают циркулировать в деятельности как *особые предметы*. Было бы неверно говорить, что смысл существует как процесс: процессуальность – специфический признак понимания, это именно понимание существует как процесс или как процессы, а смысл не является процессом, это – некоторая статическая структура¹.

¹ Это очень важное и принципиальное положение. Для натуралистического сознания, отрицающего проектную функцию представлений и понятий, оно может показаться неверным или вообще неосмысленным. Но реально дело обстоит именно так: хотя в первой, естественной позиции мы говорим, что реальность – это процессы понимания, в более сложной, грамотной позиции и в собственно методологических позициях мы начинаем с анализа средств и форм фиксации и изображения нашей деятельности с этими формами и с того объективного содержания, которое соответствует этим способам деятельности, и поэтому должны сказать, что предметной реальностью являются статические структуры смысла, а процессы понимания выявляются нами как лежащая за ними «натуральная» реальность.

Но это только познавательная и притом натуралистически ориентированная объективация; а кроме нее возможна еще деятельностная объективация, объясняющая, каким образом подобные представления и понятия превращаются за счет механизмов деятельности в полноценные предметы, положенные на разнообразный материал, и начинают существовать (в культурной онтологии) в виде реальных материализованных объектов.

Все это в полной мере относится и к «смыслам». Порожденные процессом понимания, они фиксируются прежде всего в виде понятия, превращаются затем в целую серию разных предметов, описываются как таковые и начинают сопоставляться между собой как разные явления смысла, а в конце концов оформляются в натуральный предмет и объект благодаря научной теоретико-деятельностной ориентации и в ее рамках.

Эта категориальная характеристика смысла задается и определяется задачами моей работы: ведь я должен работать со смыслом именно как со структурой, а не с процессом.

Существует известное различие – и в этом заключено немало тонкостей – между трактовками смысла как *структуры* и как *системы*. Самое главное здесь в *способах эмпирической интерпретации*, но существует различие и в *оценке способов существования*. Когда мы говорим о существовании структуры, то должны либо возвращаться к процессам понимания как исходному объекту, который мы представили в виде структуры, либо же говорить о «фикциях», т.е. обращаться к действительности деятельности и наших знаний, а затем – к действительности и объективности понятий. Напротив, когда мы говорим о существовании системы, то должны обращаться прежде всего к *материальным организованностям*, охваченным ею, к их специфической форме существования, а уже затем обсуждать условия целостности этих организованностей и формы фиксации этой целостности. Тогда вопрос о существовании системы распадается, по сути дела, на два вопроса – один касается *существования соответствующих организованностей*, другой – *существования объединяющей их структуры* (а далее соответствующих ей *процессов*).

Конечно, все сказанное мною относится только к знаниевым трактовкам этого изображения. А кроме них, как вы хорошо знаете, могут существовать и другие трактовки. В частности, мы можем рассматривать введенные нами *структурные схемы смысла* как определенные *средства*, которые мы используем в различных работах, в том числе при понимании некоторых текстов. Тогда *схемы смысла будут некоторыми средствами смыслообразования*, и здесь нам придется обсуждать совершенно особый круг вопросов, в частности вопросы, касающиеся того, насколько и в какой мере подобные структурные схемы могут служить средствами смыслообразования. Но это все – уже совсем особый круг проблем, которого я сейчас не хочу касаться.

Итак, я фиксирую тот факт, что мы создаем изображения смысла; затем мы ставим вопрос, что эти структурные схемы замещают или изображают; мы, следовательно, рассматриваем эти структурные схемы как *модели и изображения* (хотя могли бы рассматривать их и иначе, в частности, как *средства* особой работы); указываем на два принципиально разных образования, которые они могут изображать – на кинетику понимания и на собственно смыслы, а затем объясняем различие в способах и формах существования этих двух образований. При этом мы *вынуждены* – обратите на это внимание – *вынуждены утверждать*, что существует особая действительность и даже особый объект, точно соответствующие тому изображению, той структурной схеме, которую мы создали. Правда, при этом перед нами возникает новая, вторичная проблема сопоставления и соотнесения друг с другом исходного объекта и созданного нами идеального объекта, но, как бы мы ни оценивали их отношения друг к другу,

это никак не повлияет на специфическое существование смысла как такового; другими словами, соответствует он или не соответствует процессам понимания, все равно он существует как особая действительность и как особый (идеальный) объект.

Обсуждая все эти проблемы, вы не должны забывать того, что я говорил по поводу *непродуктивности* процессов понимания и той их *квази-продуктивности*, или *псевдопродуктивности*, которую мы создаем за счет своей познавательной процедуры. Смысл как таковой не является и не может быть продуктом процессов понимания. Но мы все делаем так и все так представляем, как будто структура смысла и есть продукт процессов понимания. Мы должны так сделать, чтобы получить хоть какую-нибудь возможность исследовать понимание как работу и деятельность. Хотя смысл не является продуктом процессов понимания, но мы должны так «повернуть» все дело и так все представить, чтобы смысл выступал в виде продукта понимания, причем – в виде такого продукта, который фиксирует и запечатлевает в себе особенности понимания как процесса. В этом и состоит наш исследовательский трюк.

3.

Начиная сегодняшнюю лекцию, я постараюсь в немногих тезисах резюмировать основное из того, что излагалось в прошлый раз, но при этом, следуя обычной для меня манере, встану в рефлексивную позицию по отношению к своему прошлому тексту и постараюсь продемонстрировать не только содержание, но также и ход моего движения.

Первый момент, который должен быть выделен, это то, что смысл и содержание, значения и знания, понимание и мышление рассматриваются сейчас в *схемах актов коммуникации*. Выбор схемы акта коммуникации в качестве онтологического основания, по сути дела, во многих пунктах предопределяет все то, что может быть нами получено в дальнейшем анализе. Поскольку этот момент недостаточно обсуждался в прошлый раз, я позволю себе несколько расширить аспекты обсуждаемой темы и привести дополнительные соображения.

В прошлый раз я уже говорил, что схема акта коммуникации может быть противопоставлена схемам деятельности; сейчас я хочу развить именно этот момент. Мы могли бы представить всю ситуацию акта коммуникации в виде столкновения *двух организмов* (и соответствующих им актов) *деятельности*. Первый организм деятельности будет создаваться индивидом, строящим сообщение; сам осмысленный текст может трактоваться при этом как продукт или квазипродукт этого акта. Второй организм деятельности будет создаваться вторым индивидом, принимающим этот текст, понимающим его и использующим в процессе своей практической деятельности. Образно дело можно представить так (но нужно помнить, что все эти характеристики имеют смысл только относительно нарисованной мною схемы), что деятельность первого индивида направлена слева на-

право, а деятельность второго индивида идет как бы справа налево. Обе деятельности «сталкиваются», если можно так выразиться, или «завязываются» на тексте. Каждая из этих деятельностей достаточно автономна и может осуществляться независимо от другой – как в пространстве и времени, так и по своим внутренним характеристикам. Нередко первая деятельность, создающая текст, осуществляется вне каких-либо предположений о характере и свойствах второй деятельности. Но и вторая имеет дело только с текстом и может осуществляться, минуя какие-либо прямые связи с первой деятельностью. Все связи, за счет которых устанавливается координация между одной и другой деятельностью, существуют вне самих организмов этой деятельности: *они принадлежат к системе культуры и осуществляют себя через сложную систему обучения и воспитания* (этот вопрос мы более подробно обсуждали в ходе дискуссий по истории наших исследований проектирования (Новая Утка, июль 1972 г.). Таким образом, первый и второй организмы деятельности сталкиваются и соединяются друг с другом достаточно внешним образом.

Вместе с тем вы должны понимать, что само представление акта коммуникации в виде двух сталкивающихся друг с другом организмов или актов деятельности является лишь одним из возможных здесь представлений, что это – особый способ членения рассматриваемого объекта на единицы и что, в принципе, возможны другие способы членения и другие единицы. Правда, сама практика общения, реальные разрывы между актами говорения, или создания рече-мыслительных текстов, и актами понимания, или использования понятых рече-мыслительных текстов в деятельности, наталкивают нас на такое членение, дают для него *морфологическое основание*. Но мы ведь знаем, что морфологическая целостность тех или иных явлений не может еще служить основанием для расчленения сложных процессов и сложных функциональных структур на единицы и элементы; в каждом случае нужно еще искать такое основание (а вместе с тем и сами единицы или элементы), исходя из *внутреннего* характера анализируемых процессов и структур. В данном случае таким основанием является наше представление о *полноте и целостности актов деятельности*. Но оно уже в исходном пункте противоречит трактовке всей ситуации как одного акта и одной системы коммуникации. И как раз в этом заложено первое основание для противопоставления двух онтологических схем – схемы акта коммуникации и схемы актов деятельности. Если бы я проводил свой анализ в схемах актов деятельности, то я должен был бы трактовать акт коммуникации как сложную систему, образующуюся из *столкновения и внешней связи (на тексте)* двух актов деятельности; здесь возникало бы множество системных и конструктивных проблем, которые нам пришлось бы обсуждать и для решения которых нужно было бы выработать специальную методологию. Но я с самого начала стал рассматривать акт коммуникации совершенно иначе, не членя его на отдельные акты деятельности – и именно этот момент я сейчас и подчеркиваю.

Я вводил акт коммуникации как определенную целостность, построенную на передаче сообщения от одного индивида к другому. Конечно, вы можете сказать, что такое представление акта коммуникации очень похоже на кибернетические представление его, является весьма плоским и порождает массу противоречий, известных из истории кибернетики и теории информации. Я хорошо знаю все это, я сам довольно подробно описывал возникающие здесь затруднения и парадоксы в работе, посвященной истории формирования понятия информации [Щедровицкий 1970 б], но все это совершенно не исключает возможности пользоваться схемой акта коммуникации и начинать с нее анализ. Вопрос лишь в том, как мы будем строить изображение акта коммуникации и каким образом будем истолковывать и объяснять введенные нами функциональные элементы, процессы коммуникации и допустимые способы членения акта на элементы и единицы. Зная все недостатки такого представления, я получаю возможность понимать ограниченность используемых мною схем и сознательно фиксировать все те моменты, в которых эти схемы перестают работать. Именно этот момент мне и важно сейчас подчеркнуть. Именно поэтому я прежде всего обращаю ваше внимание на то, что я начинал всю работу не со схем актов деятельности, а со схемы акта коммуникации, и это обстоятельство – подчеркиваю я – во многом предопределяет результаты всего нашего анализа (если только, конечно, мы и дальше будем оставаться только в рамках этой схемы; но я, как вы уже понимаете, постараюсь выйти за ее границы). Но, чтобы это сделать и прежде чем это сделать, нужно четко зафиксировать те ограничения, которые проистекают из того, что мы начали анализ со схем акта коммуникации.

Ограничив предмет своего анализа схемой акта коммуникации, я обрубил все связи процессов создания текста и процессов понимания текста с практической деятельностью. Хорошо известно, что связь с практической деятельностью, во всяком случае для процесса понимания, является кардинальной и, по сути дела, именно она определяет как результат, так и механизмы самого понимания. В ряде работ, выполненных в 1959–1964 гг., я специально показывал, что результаты и механизмы процессов понимания зависят от последующей «практической» деятельности, а более точно – от того *способа практической деятельности*, который избирается или принимается человеком, понимающим текст. Я утверждал, что связь процессов понимания с последующей практической деятельностью является основной и, по сути дела, конституирующей само понимание, я подчеркивал, что бессмысленно рассматривать понимание вне этой связи. И тем не менее, как видите, я начинаю анализ со схемы акта коммуникации, схемы, не учитывающей и не фиксирующей эту связь. И это обстоятельство надо отчетливо понимать, ибо оно определяет содержательные возможности и мощность нашего анализа.

Разорвав связь процессов понимания с последующей практической деятельностью, я вынужден был рассматривать эти процессы в отноше-

нии к предшествующим им процессам образования осмысленного рече-мыслительного текста и в зависимости от этих процессов. Но, процессы образования рече-мыслительного текста трактовались мной – и это соответствует многим традиционным линиям – в качестве процессов мышления. Таким образом, возникло противопоставление процессов понимания и процессов мышления. Более того, получилось так, что я начал трактовать саму схему акта коммуникации и процесс коммуникации как образуемые двумя симметричными и обратимыми процессами: 1) процессом перехода от некоторого содержания к знаковой форме и 2) процессом перехода от знаковой формы (текста) к некоторому содержанию. Именно благодаря этому понимание выступило как процесс, обратный мышлению. При этом мышление было морфологически привязано к говорящему или строящему сообщению, а понимание – к получающему сообщению. Эти два процесса разделялись и объединялись *процессом передачи самого сообщения*, или, более точно – *процессом передачи текста сообщения*. Нетрудно увидеть, что именно это обыденное представление лежит в основании традиционного кибернетического представления, изображающего акт коммуникации как кодирование некоторой информации, передачу закодированной информации (или текста сообщения) и декодирование полученной информации; различие слов не играет здесь существенной роли, ибо и в том, и в другом случае мы имеем дело с одной и той же категориальной и логической схемой.

Можно сказать, что я рассматриваю здесь понимание и мышление относительно акта коммуникации и исходя из традиционной схемы акта коммуникации. При этом я еще не обсудил и не решил вопрос о том, как относятся друг к другу и как связаны коммуникация и деятельность – включается ли коммуникация в деятельность или, наоборот, коммуникация раскладывается на акты деятельности и т.д., и т.п. Это означает, в частности, что я не могу еще основательно обсуждать вопрос о взаимоотношении коммуникации и мышления (если мышление будет рассматриваться в качестве определенного вида деятельности). И именно это обстоятельство заставило меня принять для начала такую примитивную трактовку взаимоотношений между пониманием и мышлением. Если бы я начал свой анализ со схем деятельности, т.е. должен был бы учесть воспроизводство, процессы трансляции, кооперативные структуры деятельности, различие мест в структурах кооперации и т.д., и т.п., то я в принципе не мог бы рассуждать так, как я рассуждал до сих пор, работая на схемах акта коммуникации – я получал бы совсем иные выводы и результаты, нежели те, которые я получал до сих пор.

Забегая вперед, я могу здесь сказать, что я не случайно все это делал. Я могу позволить себе начинать анализ этой сложной области со схем акта коммуникации, поскольку я заранее знаю, что их как таковых недостаточно для решения проблемы и что я должен буду пользоваться одновременно с ними также и схемами деятельности. Я буду опираться, следовательно-

но, на особый вариант принципа дополнительности разнопредметных схем (это – один из важнейших принципов и приемов современного методологического мышления). Но это означает также – и это я тоже знаю заранее, – что и схем деятельности самих по себе, т.е. если мы не объединим их со схемами коммуникации, будет недостаточно для решения этой проблемы. Поэтому для меня суть всей проблемы в вопросе, как объединить друг с другом разнородные схемы – схемы коммуникации и схемы деятельности, а отнюдь не в вопросе, в каких схемах нужно вести анализ. Разумеется, и в тех и в других; проблема лишь в том, как их объединять и с чего начинать анализ, имея в виду последующее объединение.

4.

Очень коротко резюмирую основные идеи предшествующей лекции. Исходя из схемы акта коммуникации, я подверг критике традиционные представления о мышлении как выражении некоторых уже существующих и преднаходимых единиц содержания в каких-то новых знаках, или знаковых текстах. Моя основная мысль состояла в том, что мышление должно создавать, творить эти единицы содержания – и в этом, собственно, состоит его специфическое назначение и роль. Рассматривая затем процесс понимания, заданный на той же схеме акта коммуникации, я утверждал, что в большинстве случаев понимание тоже не находит уже готовых, сформированных единиц содержания, с которыми оно могло бы соотнести полученный текст, а должно создавать эти единицы и организовывать заново, структурируя и организуя текст соответствующим образом. Но такая характеристика понимания, по сути дела, уже исключала его первую исходную характеристику и совершенно уничтожала различие между пониманием и мышлением.

Такой результат рассматривался мною дальше не как ошибочный, а наоборот, как совершенно правильный и верно характеризующий существо дела. Вместо того, чтобы отвергнуть этот момент как несоответствующий исходным понятиям, я, наоборот, принял его, фокусировал на нем основное внимание и затем постарался задать такое представление о понимании и мышлении, которое бы исходило из этого факта и объясняло его. Так получилось утверждение, что нет и не может быть понимания без одновременно происходящего и сопровождающего его мышления, как вместе с тем нет мышления без одновременно происходящего и сопровождающего его понимания.

«Понимание-мышление» было задано на основе этого как нерасторжимая целостность, как соединение «вертикальных» процессов соотношения знаковых форм с объектно-операциональными элементами ситуации и «горизонтальных» процессов непрерывного развертывания этих форм и самих ситуаций. Но чтобы исследовать и описать процессы такого рода и обеспечивающие их механизмы, мы должны разработать новые методы анализа и синтеза – методы разделения и противопоставления друг другу

понимания и мышления, а затем структурно-системного объединения и синтеза получившихся представлений.

То, что мы выяснили пока в отношении процессов понимания и мышления и их возможных отношений и связей друг с другом, может быть резюмировано в одном весьма абстрактном образе. Все выглядит примерно таким образом, что мышление и понимание идут как бы навстречу друг другу и «сталкиваются» на содержании. Правда, именно мышление творит содержание, но оно творит его таким образом, чтобы пониманию было во что «упереться». Другими словами, всякий реальный процесс понимания предполагает соответствующий ему процесс мышления. В этом проявляется зависимость мышления от понимания. Иначе говоря, если мы фиксируем свое внимание на «вертикальных» процессах соотнесения элементов текста с объектно-операциональными элементами ситуации, то мышление оказывается зависимым от понимания, оно обслуживает его, создавая конструкции содержания в точном соответствии со структурами смысла; если же мы, наоборот, будем фокусировать свое внимание на «горизонтальных» процессах мышления, то понимание выступит как зависимое от мышления, как созидающее структуру смысла в соответствии с заданиями на конструкцию содержания. Поэтому я и сказал выше, что понимание и мышление как бы «сталкиваются» друг с другом на содержании, или, другими словами, связаны между собой через содержание, а еще точнее – через необходимость создания его. Такова была первая и исходная характеристика понимания и мышления в их взаимных связях и отношениях.

Обсуждая далее вопрос о том, как может осуществляться и строиться подобный процесс, я различил планы синтагматики и парадигматики. Слитное и единое на уровне синтагматики «понимание-мышление» разделяется на две системы норм в плане парадигматики. Таким образом, мы выделили еще одно и особое направление обсуждения, касающееся уже не связи понимания и мышления в плане их единого продукта (точнее – квазипродукта), а возможных механизмов осуществления и реализации этой связи за счет особой организации «работы» парадигматических систем. То, что было невозможно разделить на уровне синтагматических систем, что выступало как два ряда «проникающих друг через друга» процессов и связей, сравнительно легко и просто разделилось на уровне парадигматических организованностей. Тем самым процессы понимания и мышления были переведены в процессы двух разных нормировок, осуществляющихся как бы «под углом» к процессам понимания и мышления. В самом простом виде это означало, что реальный синтагматический процесс мог нормироваться либо одинарными, как бы полярными системами – один раз только системой понимания, другой раз только системой мышления, – либо же двойными и комбинированными системами, причем сам процесс нормировки мог быть организован либо как один целостный процесс, либо как последовательность нескольких разных процессов

и процедур. В итоге мы получили возможность различить 1) мышление и 2) понимание «мыслимого», а также все и любые промежуточные формы. При этом мышление было более широким и охватывающим в плане горизонталей, а понимание было более широким и охватывающим в плане вертикалей.

Такова была идея в самом общем и грубом виде, но вокруг нее оставалась еще масса самых различных методических проблем, в частности проблема членения подобных систем на элементы и единицы. Обсуждая ее, я говорил о том, что именно структуры смысла задают всегда дискретность и целостность отдельных актов «понимания-мышления», а правила и принципы мышления включают эти структуры в бесконечные ряды развертывания, обеспечивают непрерывность и бесконечность «понимания-мышления». Теперь мы должны развить и более подробно обсудить весь этот круг проблем.

5.

В прошлой лекции мы рассматривали понимание как процесс, развертывающийся поверх различных организованностей материала, в частности, поверх организованностей материала текста и организованностей объектно-операциональных элементов ситуации. При этом понимание создавало, во-первых, структуры смысла, во-вторых, смысловые организованности текста и, в-третьих, смысловые организованности объектно-операциональных элементов ситуации, которые мы рассматривали как организованности содержания. Эти три квазипродукта процессов понимания теснейшим образом связаны друг с другом, но при этом могут рассматриваться отдельно друг от друга, самостоятельно, и будут задавать три разных определения самого понимания.

Развивая дальше такое представление процессов понимания, мы говорили даже, что есть какая-то часть процессов понимания, которая создает структуру смысла в целом, есть какая-то часть процессов понимания, которая создает смысловую организованность текста, и есть какая-то часть, которая создает организованность содержания. При этом понимание остается одним и целостным процессом, но мы его рассматриваем в разных планах и соответственно этому производим как бы членение процессов понимания. Возможность этого определяется некоторыми формальными возможностями нашего мышления: если мы можем выделить три разных продукта, то мы соответственно этому можем говорить о трех разных процессах. У нас получается то, что может быть названо «сложным процессом».

Кроме того, мы с вами говорили о том, что процессы понимания как бы пересекаются процессами мышления или, во всяком случае, так связаны с ними, что мы можем представить это как их взаимное пересечение. Мы говорили, что понимание и мышление, по сути дела, взаимно ассимилируют друг друга. При этом, правда, все время подчеркивалось, что раз-

деление процессов понимания и процессов мышления является во многом искусственным, условным и подобно тому разделению квазипродуктов понимания, о котором я только что говорил. Иначе говоря, мы понимаем и знаем, что мышление и понимание представляют собой единый процесс, а все расчленения и противопоставления мышления и понимания друг другу обусловлены нашими задачами проанализировать и понять их.

Но одновременно я подчеркивал, что в существовании мышления-понимания можно выявить такие поляризации, которые реально и на деле разделяют и противопоставляют понимание и мышление друг другу. Мы можем даже найти в этом сложном целом такие процессы и такие системы, в которых превалирует понимание, а процессы мышления выступают как вспомогательные и служебные, и можем найти такие процессы и системы, в которых превалирует мышление, а понимание выступает в служебной и вспомогательной роли.

В этой связи я говорил вам о двойственности самого понятия процесса. Эта двойственность проявляется в том, что один раз мы говорим, что процессы понимания и мышления суть одно, одно и то же, а в другой раз мы утверждаем, что этот единый процесс может быть все-таки разделен и представлен в виде двух разных и противопоставленных друг другу процессов – процессов мышления и процессов понимания, – и даже более того, устанавливаем определенные реальные взаимоотношения и взаимодействия между этими процессами, говорим, что одни из них ассимилируют другие и т.п. Значит, с одной стороны, мы говорим о том, что эта двойственность обусловлена лишь разными подходами к единому процессу, разными его представлениями, а с другой – говорим, что эта двойственность существует реально, представляет собой реальную поляризацию и реальное разделение процессов мышления-понимания на разные процессы – те, в которых превалирует понимание, и те, в которых превалирует мышление. Значит, с одной стороны, я подчеркиваю искусственный характер этого разделения и противопоставления, а с другой – говорю о том, что это искусственное разделение приобретает естественную окраску, оестествляется.

Зафиксировав все эти моменты и достаточно подробно охарактеризовав их, я начал в прошлый раз осуществлять своеобразное перепредмечивание. Если в начале анализа нам была задана ситуация коммуникации и я исходил из процессов понимания, а потом, введя представления о деятельности и представив акт коммуникации и ситуацию коммуникации как моменты акта и ситуации деятельности, я рассматривал мышление с точки зрения и в свете понимания, то на третьем шаге я произвел оборачивание и начал рассматривать понимание с точки зрения мышления. Благодаря этому оборачиванию все то, что мы говорили выше о понимании, предстает теперь в новом и ином свете.

Если вы помните, в самом общем и грубом виде я задавал мышление как «горизонтальный» процесс либо в организованностях текста, либо в

организованностях содержания, либо, наконец, в сложной организованности предметов, объединяющих содержание и форму в одно целое. Сама эта тройственность определения мышления еще должна обсуждаться нами, но она уже достаточно отчетливо выступала в нашем предыдущем анализе.

В свете этих общих определений мы получили возможность разделить цели и задачи мышления и понимания.

Цель и задача понимания состоит в том, чтобы увязать текст, приходящий со стороны, с ситуацией, которую мы, образно говоря, создаем «на месте», или же – определенную организованность содержания, созданную практически предметной деятельностью, увязать с текстом, который мы создаем для того, чтобы выразить это содержание. Одним словом, цель и задача понимания состоят в том, чтобы увязать друг с другом эти разнородные образования. При этом совершенно неважно, от чего к чему мы идем – от текста к ситуации или от ситуации к тексту, важно само соотношение их друг с другом.

Цель и задача мышления, напротив, состоит в том, чтобы создать новые организованности текста и новые организованности ситуации (или же новые предметные организованности, если мы определяем мышление через целостный предмет). Здесь еще раз с достаточной отчетливостью выступает та особенность мышления, которая не раз уже обсуждалась в философии Нового времени, в особенности в философии Гегеля, и от него перешла в марксизм, та его специфическая характеристика, что мышление всегда есть создание чего-то нового. То, что просто воспроизводит нечто уже существующее, есть просто понимание, а не мышление (конечно, я хорошо понимаю условность этого противопоставления продуктивного и репродуктивного, я знаю все трудности, которые связаны с различением этих двух моментов, я, по сути дела, уже учел все это, говоря, что мышление-понимание есть единый процесс, в котором аспекты мышления и аспекты понимания не разделяются и не могут быть разделены, но поскольку мы все-таки производим такое разделение и противопоставляем мышление и понимание друг другу, мы можем в меру этого разделять и противопоставлять друг другу продуктивность и репродуктивность).

Обсуждение вопроса, относительно чего определяется это новое, для классических представлений не имело смысла, ибо «мышление» рассматривалось в своем собственном идеальном пространстве. Это всегда было, следовательно, нечто новое по отношению к уже существующей системе мышления; другими словами, всегда предполагалась некоторая абсолютная точка зрения, позволявшая определить, что действительно является новым и что, напротив, является старым. Если мы попытаемся решить этот вопрос как-то иначе, скажем, по отношению к отдельному человеку или по отношению к обществу, то мы неизбежно выйдем за рамки самой теории мышления и должны будем ввести другие, скажем, социологические или социально-психологические рамки.

Следовательно, вопрос о критериях различения продуктивного и репродуктивного лежит за пределами теории мышления, в то время как сами понятия продуктивного и репродуктивного употребляются (хотя может быть и не совсем правомерно) внутри теории мышления. Оставаясь в рамках теории мышления, мы должны говорить, что мышление всегда порождает нечто новое относительно своей собственной системы, а поэтому мы неизбежно должны рассматривать функционирование мышления как саморазвитие или развитие своей собственной системы. В прошлый раз я даже говорил, что развитие является основной характеристикой процессов мышления. Это верно, но нужно еще при этом оговорить, что в таком случае (и при таком подходе) исчезает различие между развитием и функционированием. Точнее, как я только что сказал, развитие мышления осуществляется за счет его функционирования, а целью функционирования или осуществления мышления становится его саморазвитие, развитие его системы. Другими словами, мышлением мы будем называть только то, что включено в сферу, или в систему, мышления и осуществляет развертывание этой системы, или сферы.

Итак, цели и задачи мышления состоят в том, чтобы развертывать или создавать новые организации текста, новые организации содержания или же, более сложный случай, объединяющий два первых, — новые организации предметов.

Здесь мы сталкиваемся с целым рядом трудных моментов, касающихся взаимоотношения мышления и понимания. Для того чтобы мы могли включить какой-то текст в ситуацию (или построить ситуацию соответственно тексту), мы должны уже иметь этот текст, он должен быть нам задан. Совершенно ясно, что заданная нам организованность текста во многом предопределяет ту структуру смысла, которую мы создадим в процессе понимания. Мы понимаем тот текст, который нам задан и понимаем его соответственно тому, как он задан. Другими словами, наше понимание определяется конструкцией текста, а тот, кто создает эту конструкцию, стремится к тому, чтобы по возможности полнее предопределить наше понимание. Эта сторона дела очень четко выражена в известном афоризме, который мне очень нравится: говорить надо не так, чтобы было понятно, а так, чтобы нельзя было не понять. Индивид, строящий текст, стремится предопределить и детерминировать наше понимание почти целиком. И классическим, лучшим с точки зрения коммуникации, является тот случай, когда это удастся. В этом случае нам придется говорить, что текст в смысловом плане уже целиком организован и задан его конструкцией, тем, как говорящий его построил. В этом случае структура смысла, создаваемая понимающим, будет лишь простым слепком и отображением той смысловой организованности текста, которую создал говорящий. Если выражать все это на языке системно-структурной методологии, то нужно будет оказать, что морфологическая конструкция или морфологическая организация текста предопределяет здесь структуру смысла, создаваемую

пониманием, а соответственно этому смысловая организация текста лишь воспроизводит и повторяет морфологическую организацию его. Если мы спросим в этом случае, что является материалом для понимающего и мыслящего человека, то должны будем сказать, что таким материалом является, с одной стороны, графический материал текста, с другой стороны, вся совокупность конструкций значений, связанных с этим графическим материалом и зафиксированных в системе языка, и с третьей стороны, синтаксическая организация этого текста, наилучшим образом соотношенная с наличествующей ситуацией коммуникации и деятельности.

Но такие случаи предельно однозначной и жесткой детерминации процессов понимания и структур смысла материалом текстов являются исключением. Как правило, процессы понимания и структуры смыслов задаются и определяются не только и даже не столько текстом, сколько всей ситуацией коммуникации и деятельности. Поэтому структуры смысла и смысловые организованности текста в подавляющем большинстве случаев не совпадают с морфологической организацией этих текстов. Между смысловыми организованностями, создаваемыми в процессе понимания, и морфологической организацией, фиксирующей (лучше или хуже) смысловую организацию текста, созданную говорящим, существует большее или меньшее расхождение, в большинстве случаев – весьма значительное.

Именно поэтому при описании процессов понимания нам приходится пользоваться средствами системно-структурного анализа и различать, с одной стороны, морфологию текста, заданную конструкциями синтаксиса и семантическими значениями элементов этих конструкций, а с другой стороны, смысловые организованности текста, создаваемые процессом понимания (или, что то же самое, структурой смысла). И аналогично мы различаем морфологию ситуации и смысловые организованности ситуации.

Но в стороне от всего этого круга проблем стоит еще проблема соотношения разных факторов, влияющих на процесс понимания. Сейчас уже достаточно ясно, что морфология текста и морфология ситуации теснейшим образом связаны с процессами мышления. Каким образом – это до сих пор остается во многом неясным.

И мы не сможем разобраться с этим вопросом до тех пор, пока не разделим процессы понимания и процессы мышления. Но как мы можем их разделить, если – и это достаточно выяснено – процессы понимания и процессы мышления идут как бы перпендикулярно по отношению друг к другу, образуя при этом один сложный и целостный процесс. В результате процессы понимания оказываются всегда вместе с тем и процессами мышления, а процессы мышления – процессами понимания. И мы никак не можем оказать, что одно происходит или осуществляется раньше, нежели другое: смысловая организованность как текста, так и ситуации выступает всегда как продукт и результат сразу двух процессов или актов – про-

цесса понимания и процесса мышления. Но процесс мышления при этом, как известно, является скорее конструктивным; поэтому, наверное, он ближе и теснее связан с конструкциями, а следовательно, и с морфологией, нежели процесс понимания. Другими словами, понимание более свободно в своей квазипродуктивности, оно может строить смысловые структуры свободнее и во многом независимо от морфологии материала, а мышление, наоборот, теснее связано с морфологией материала, более ориентируется на нее и обязательно должно выразить себя в создании определенных конструкций материала. Как мы сейчас понимаем, это происходит в первую очередь за счет рефлексии смысловых структур и смысловых организованностей (последних – в первую очередь) и конструктивного выражения этих смысловых организованностей и смысловых структур в конструкциях материала. Но все то, что мы сейчас знаем, еще не раскрывает сложных взаимоотношений между процессами понимания и мышления, не характеризует еще механизмов этих процессов, а поэтому зависимость, или независимость, процессов понимания и мышления от морфологии материала остается во многом проблематичной.

Не имея возможности разделить процессы понимания и мышления процессуально, т.е. во времени, мы прибегли к очень хитрым приемам и средствам изображения этих процессов. Мы представили связки процессов (или сложные процессы) в виде структур, где все совершившиеся процессы представлены своими следами (и соотношениями или связями объектов и продуктов), но уже вне времени, статически, как нечто свершившееся, а не текущее, – и за счет этого получили возможность анализировать сами процессы и зависимости между ними как нечто остановленное и данное нам одновременно.

Таким путем мы снимаем некоторые затруднения и получаем некоторые новые возможности для анализа, но еще многие затруднения остаются, а вместе с тем появляются новые, связанные с особенностями анализа структур. Представив процессы мышления и понимания в виде структуры, создающей (в переносном смысле) особую систему, охватывающую ряд организованностей с их морфологией, мы должны теперь, чтобы разделить мышление и понимание, создать специальные приемы и процедуры расчленения этой структуры и соответствующей ей системы. Хотя саму схему, структурно изображающую понимание и мышление, я задавал во многом конструктивно – из так называемых «вертикальных» и «горизонтальных» процессов (линий), тем не менее обратное разложение всего целого на «вертикальные» и «горизонтальные» процессы ничего нам не дает. Ведь конструктивно я создавал графическую форму выражения, а отнюдь не предмет. После того, как графическая форма создана, я произвожу определенную ее интерпретацию, приписываю ей определенные смысл и содержание, одним словом – создаю предмет, и теперь должен произвести расчленение и разложение не графической формы как таковой, а именно предмета и – соответственно логике его содержания. В этом

и состоит проблема – расчленив предмет согласно естественным законам его существования, процессирования (или функционирования и развития).

Именно в этих условиях мы используем один давно применяющийся, но все равно очень странный и до сих пор по настоящему не изученный прием. В самом общем виде его можно было бы охарактеризовать как расчленение через абстрагирование – прием так называемых «полярных абстракций». (Должен вам сказать, что он очень интересовал А.А.Зиновьева, и в своей диссертации Зиновьев посвятил ему специальное приложение. Я не помню сейчас попало ли это в автореферат его диссертации, но в одном из вариантов автореферата этому было уделено достаточно много места. Несмотря на этот интерес и внимание к проблеме, она, как мне кажется, не была решена и сам прием не был представлен в логических схемах; по сути дела произошло то же самое, что раньше произошло у М.Вебера – мы получили некоторый новый смысл, зафиксированный в явно неадекватной знаковой форме). Суть этого приема (в самом первом описании) состоит в том, что в самих реальных процессах и явлениях мы ищем такие случаи, где одна из составляющих сложного процесса и явления сведена к минимуму. Таким образом мы получаем случаи мышления, в которых понимание выражено слабо или его почти совсем нет, и случаи понимания, в которых мышление выступает в подсобной роли, вторично, сведено к минимуму. Затем, отталкиваясь от каждого из этих случаев, мы рассматриваем, как постепенно растет и развивается вторая компонента, та, которая была минимизирована в исходных случаях, и таким образом находим строение и закономерности развертывания этой второй компоненты. Эти представления – понимания как бы без мышления и мышления как бы без понимания – в терминологии М.Вебера называются идеальными типами. Но суть именно в том, что я назвал поляризацией – не имея возможности расчленив наше целое, мы его «сводим» к идеальным или полярным типам (здесь надо добавить, что такого рода прием применялся уже Галилеем, в частности, при изучении процессов свободного падения тел; наверное, о том же самом говорил К.Маркс во введении к «Капиталу», утверждая, что в гуманитарных и социальных науках «сила абстракции» заменяет и подменяет анализ и экспериментирование, осуществляемое в естественных науках).

Если поляризующая абстракция осуществлена последовательно и в полной мере, то в результате получаются такие идеализации, которые не только не соответствуют каким-то реальным процессам и явлениям, но и кроме того не обладают целостностью относительно естественных процессов жизни объекта, получаются очень странные «ублюдки», которые не могут даже эффективно исследоваться (не случайно я сказал выше, что абстракция мышления без понимания нужна нам для исследования понимания, его постепенного развертывания и усложнения, а абстракция понимания без мышления нужна нам для исследования мышления, но никак не наоборот). Поэтому, чтобы осуществлять дальнейший анализ, рассмат-

ривая эти «ублюдки» как модели некоторых объектов, я должен еще определенным образом преобразовывать и трансформировать эти схемы, придавая им некоторую искусственную целостность относительно интересующих меня процессов. Проще говоря, введя абстракцию понимания без мышления, я должен дополнить такое понимание еще чем-то, что придаст ему целостность, причем, такую целостность, какой оно обладало в связи с мышлением, но я не могу это делать, добавляя к пониманию мышление. И точно так же, введя абстракцию мышления без понимания, я должен так дополнить мышление, чтобы придать ему целостность относительно тех процессов, в которых оно жило совместно с пониманием, но при этом я должен добавлять к мышлению не понимание, а нечто другое.

Именно такого рода задачи я и решал, когда говорил: представьте себе, что нам задано содержание, что оно наличествует; за счет этого предположения я отбрасывал процессы мышления, порождающие содержание, но оставлял продукт этих процессов – само содержание. Обычно в этом месте мне задавали вопрос: а откуда взялось это содержание? Теперь вы понимаете, что я должен отвечать на этот вопрос двояко в зависимости от того, какую точку зрения я принимаю. Если – реальную, то я должен ответить, что это содержание порождается или создается мышлением, но таким образом я ввожу в предмет изучения мышление, и возникает весь комплекс сложнейших проблем, связанных с расчленением и противопоставлением мышления и понимания. Если же я принимаю не реальную точку зрения, а точку зрения поляризующей абстракции, то я должен ответить, что сам этот вопрос не имеет отношения к делу – именно потому, что я произвожу поляризующую абстракцию. Иначе говоря, на этот вопрос я должен был бы ответить, что содержание в моем рассуждении возникает потому, что я его «положил», а «кладу» я его в силу названной выше абстракции и соответственно ее логическим нормам.

В анализе самих реальных процессов понимания и мышления точно так же возможны разные направления и ходы анализа. В частности, мы можем рассмотреть все это в плане развития и формирования тех или иных конкретных структур и механизмов понимания и мышления, или же – в плане происхождения либо понимания как такового, либо мышления как такового, либо объединенной системы того и другого. Если мы осуществляем анализ развития разных конкретных форм понимания или мышления, то мы должны говорить, что каждая определенная форма понимания возникает на базе определенных форм мышления и определенных форм понимания в контексте развития и эволюции систем деятельности, а каждая определенная форма мышления, соответственно, – на базе определенных форм мышления и определенных форм понимания, опять-таки, в контексте развития и эволюции систем деятельности. То есть каждую форму понимания и каждую форму мышления мы будем генетически сводить к предшествующим формам мышления и понимания, а затем генетически

выводить из них. Осуществляя подобный анализ, мы никогда не придем к таким состояниям и ситуациям, в которых мышление существует без понимания, а понимание – без мышления. Таким образом, двигаясь назад в истории, я никогда не получу ни чистого понимания, т.е. понимания без мышления, ни чистого мышления.

Здесь таким образом возникает парадокс, обычный и традиционный для всякого ретроспективного генетического исследования. В разных исторических науках можно зафиксировать массу примеров такого рода. Когда, скажем, происхождение мышления объясняют, ссылаясь на функционирование языка, или происхождение языка – ссылаясь на функционирование мышления, то всегда таким образом подменяют проблему объяснения происхождения объяснением развития частных форм языка или мышления. И точно так же, когда Л.С.Выготский вводит при развертывании своей концепции поведения различие между «натуральными» и «искусственными» формами поведения и пытается объяснить возникновение «искусственных» форм из «натуральных», то он таким образом подменяет как проблему происхождения, так и проблему развития некоторой конструктивной фикцией. Но происходит это потому, что, двигаясь ретроспективно от современных форм поведения, «искусственных» по своей природе и строению, он никогда не может найти ничего другого, кроме аналогичных «искусственных» форм, а так как он не знал еще принципиальной разницы между изучением развития и изучением происхождения и не мог соединить то и другое, то он должен был, совершая по сути дела поляризующую абстракцию, положить в основание всего некоторые формы «естественного» поведения, которые затем превращаются в «искусственные» формы. Л.С.Выготский мог и даже должен был это сделать, поскольку его интересовали отнюдь не «естественные» формы поведения, а лишь «искусственные», только их он хотел исследовать и объяснить, а для этого, как я говорил выше, ему нужно было ввести определенного «ублюдка», наделить его всеми свойствами и признаками, необходимыми для целостного существования, а уже затем заняться именно тем, что его на самом деле интересовало.

Но я не могу рассуждать таким образом, уже хотя бы потому, что хорошо знаю о различии трех названных подходов – эволюционно-исторического, по происхождению и конструктивного, а кроме того, обязан знать природу и характер своих познавательных приемов, в частности природу и характер поляризующей абстракции. Поэтому, не занимаясь анализом развития и не восстанавливая механизмы происхождения понимания и мышления, я прибегаю к конструктивным приемам особого рода, опирающимся прежде всего на средства системно-структурной методологии, в частности, на то понятие системы, которое я здесь уже неоднократно вводил. Исходя из этого понятия системы, зафиксированного в нем различия между морфологией и функциональными организованностями, я полагаю (или кладу) определенную морфологию материала, а затем, путем

такого же полагания, ввожу функциональную организованность. При этом я отказываюсь отвечать на вопросы, откуда взялись эта морфология и эти функциональные организованности, какие реальные и объективные механизмы их породили – такие вопросы были бы справедливыми и обоснованными только при генетическом подходе, – я просто утверждаю их существование и затем как существующие включаю в анализируемые мною процессы.

6.

На прошлой лекции я охарактеризовал и изобразил в схемах основные из тех процессов, которые разворачиваются в сфере мышления-понимания. Разделив три плана и вместе с тем три части в продуктах мышления-понимания, я на основе этого развел и противопоставил друг другу мышление и понимание как таковые. При этом мышление задавалось продуктивно в прямом и точном смысле этого слова, а понимание не имело подобной продуктивности и создавало лишь связи продуктов мышления. В силу этого понимание выступало как более общий и более широкий процесс, охватывающий процессы собственно мышления. Но я говорил вместе с тем, что это отношение между пониманием и мышлением не остается таким всегда, вообще не является постоянным, а непрерывно меняется, и в одних случаях понимание охватывает и ассимилирует мышление, а в других случаях, наоборот, мышление охватывает и ассимилирует понимание. Одновременно, я утверждал – и показывал это на разнообразных примерах и иллюстрациях, – что ни мышление, ни понимание не существуют сами по себе отдельно от другого, что мышление постоянно осуществляется и совершается за счет понимания, а понимание – за счет мышления.

Я говорил о том, что такая связь понимания, рассматриваемого как свободное словообразование, и мышления, рассматриваемого как производство новых конструкций содержания и новых цепочек знаковой формы, обуславливает тот весьма важный и существенный момент, что в каждом своем шаге процессы мышления-понимания могут произвольно ветвиться и порождать самые причудливые смысловые структуры, предметные связи и конструкции содержания. Параллельно этому процессу непрерывного ветвления, определяемому прежде всего целевыми установками, идет обратный процесс непрерывного сведения нового к прошлому, связывания того и другого, включения прежних организованностей и конструкций содержания и прежних структур смысла в новые структуры смысла и новые организованности, или конструкции содержания. Благодаря этому сфера мышления сплющивается или уплощается, делается более компактной и более «плотной», более насыщенной разными смыслами и содержаниями. Вместе и в целом оба эти процесса приводят к тому, что сфера мышления-понимания непрерывно деформируется, расплывается в разные стороны и поляризуется, эволюционирует, порождая все новые и новые формы организованного мышления (а возможно и новые формы

понимания), а с внешней стороны все дело выглядит так, что вся эта сфера непрерывно как бы пульсирует.

В ходе всего этого изложения постоянно подчеркивалось, что процессы понимания и мышления, если мы их выделяем и рассматриваем в чистом виде, направлены как бы перпендикулярно друг другу: процессы мышления могут быть представлены как «горизонтальные» процессы, а процессы понимания – как «вертикальные» процессы.

Рассматривая более подробно историческую эволюцию сферы мышления-понимания, я специально подчеркивал процессы поляризации мышления, т.е. процессы реального выделения и оформления разных его форм, ориентированных в одном случае на форму по преимуществу, в других случаях – на структуры смысла, в третьих – на организованности, конструкции и структуры содержания. В ходе моих рассуждений выявилась совершенно специфическая и определяющая роль целей и задач (а в дальнейшем, очевидно, и проблем), которые направляют процессы мышления-понимания и организуют их разнородные части в одно целое – факт достаточно известный и не раз обсуждавшийся в психологии, в частности Зельцем и Дункером, но представленный в моем рассуждении на новом материале, в новых онтологических картинах и, следовательно, с новым смыслом и содержанием. Именно цели и задачи в первую очередь определяют возникающие или вырабатываемые нами и процессе мышления-понимания структуры смысла, хотя, конечно, и наличные организованности материала, содержания и формы тоже играют в этом процессе существенную роль. Именно цели и задачи определяют и направляют свободный процесс смыслообразования.

Таким образом, именно цели и задачи, с одной стороны, обеспечивают, а с другой стороны, ограничивают свободу человеческого мышления-понимания. Важно зафиксировать и понять, что эта свобода реализуется и достигается именно в плане смыслообразования, порождения структур смысла, а не в плане конструирования единиц содержания; там, наоборот, действует очень жесткий принцип исторического или культурного ограничения, требование связывать вновь создаваемые конструкции и организованности в единую систему с уже существовавшими раньше. Именно структуры смысла, следовательно, являются наиболее пластичной составляющей мышления-понимания, именно они меньше всего ограничиваются, а организованности и конструкции содержания, наоборот, являются наиболее консервативной и более всего ограничивающей составляющей. Те из исследователей, которые в мышлении-понимании выделяли на передний план процессы понимания и порождаемые ими структуры смысла, говорили в первую очередь о свободном и творческом характере мышления, о его продуктивности (в психологическом смысле этого слова), а те из исследователей, которые выделяли на передний план нормированную часть, связанную с развертыванием конструкций содержания, говорили о репродуктивном характере мышления. К.Дункер попробовал разделить

и противопоставить друг другу эти два типа мыслительной деятельности, но он же был вынужден подчеркнуть их органическую связь и взаимозависимость.

Начертив всю эту картину, я выделил и особенно настойчиво обсуждал самую важную и самую интересную, во всяком случае для меня, часть: преобразование структур смысла в конструкции содержания – процесс, связанный с тем, что мы обычно называем схематизацией смысла. Этот момент был особенно важен мне потому, что всякая акция понимания и смыслообразования, создающая новую структуру смысла и новую ситуацию, не является еще продуктивной в точном смысле этого слова, она не порождает такого продукта, который мы могли бы выделить и исследовать как нечто самостоятельно существующее, как допускающее теоретический и эмпирический анализ.

Можно сказать, что появление каких-то новых структур смысла само по себе еще ничего не порождает и не создает в собственно социальном и культурном плане. Конечно, тот человек, который этот смысл порождает, приобретает нечто новое. Но если эта вновь созданная структура смысла не будет трансформирована и преобразована в нечто другое – в структуры и организованности содержания, в цепочки знаков, наконец, в способности человека, – то она исчезнет и не оставит после себя ничего. Это не будет еще решение задачи или средство для ее решения. Поэтому необходимо еще преобразовать возникшую структуру смысла – а она пока существует лишь в кинетике и объединяет, охватывает разнообразные объекты только за счет движения понимания, – в структуры и организованности содержания (а также знаковой формы), которые охватят и объединят поновому и статически весь материал структуры смысла. И кроме того, в этом процессе преобразования и трансформации структур смысла в организованности и структуры содержания нужно будет еще учесть и охватить прежние организованности и структуры содержания, те, которые были получены и развернуты на предшествующих этапах движения мысли. Именно этот момент – оформления структур смысла, новых и прежних, в организованности текста и соответствующие им организованности содержания является основным и кардинальным для процесса мышления. Механизм этого процесса очень сложен и включает в себя, среди прочего, разнообразные рефлексивные процессы.

7.

После всех этих предваряющих замечаний и разъяснений прошлого материала я могу обратиться к тем новым моментам в анализе, которые были обещаны в начале лекции. Здесь речь пойдет о возможных предметах изучения, которые мы должны будем сформировать для того, чтобы анализировать и описывать выделенную нами действительность.

Первоначально, как вы помните, мы в качестве исходных и определяющих все остальное образование выделили структуры смысла. Потом

мы должны были ввести организованности и структуры содержания. Теперь наше основное внимание обращено на содержание, и я должен ответить на вопрос, в каких предметах его можно рассматривать и изучать. Именно это будет сегодня основной темой моих рассуждений.

Но при этом я должен буду считаться с той двойственностью, которая появилась в нашем предшествующем анализе и уже была мною отмечена. С одной стороны, соответственно теме этих сообщений я должен рассматривать взаимоотношения между смыслом и содержанием, с другой стороны, как мы уже выяснили, содержание не может рассматриваться вне процессов и процедур мышления, которые его создают и приводят в движение. Поэтому мне придется специально обсуждать мышление, его строение, процессы и механизмы, ибо без этого я не могу подступить к исследованию самого содержания. Вы без труда заметите, что здесь сохраняется отношение, аналогичное тому, которое мы рассматривали при исследовании смысла: если там понимание создавало смысл, то здесь мышление создает содержание. Вместе с тем, существуют, наверное, и различия; во всяком случае сейчас еще не ясно, можем ли мы рассматривать содержание как структуру, соответствующую кинетике мышления, или же содержание есть настоящий и подлинный продукт мышления, отнюдь не адекватный его структуре и процессам.

Именно на этом различии отношений содержания к мышлению я и построю сейчас свои рассуждения и свой анализ. Я буду исходить из того, что содержание, хотя оно и порождается мышлением, может тем не менее существовать само по себе отдельно от мышления и может даже переходить как организованность особого типа из одних актов мышления в другие и из мышления в деятельность. Именно это предположение дает нам возможность различить и разделить различные предметы исследования, в которых может фиксироваться и описываться мышление. Я выделяю пять таких предметов.

Здесь, наверное, нужно отметить, что эти пять предметов выделяются мною не потому, что других просто нет или они невозможны. Наоборот, вполне возможны и существуют, наверное, и другие предметы – шестой, седьмой и т.д. И внутри той области, которую я выделю и зафиксирую в этих пяти предметах, возможны совершенно различные подразделения и членения. Ведь мы не должны забывать, что всякий предмет – это искусственное образование, оно создается нами всегда в связи с какими-то определенными задачами и несет на себе печать той ситуации, в которой оно возникло, цели и устремления тех людей, которые его создавали. Таким образом, в принципе может быть не пять предметов изучения, а любое другое число. Но те пять, которые я введу, являются наиболее важными для меня в плане тех задач, которые мы сейчас обсуждаем.

В первом предмете мы выделим содержание как существующее в мышлении или даже, можно сказать, в сфере мышления.

Во втором предмете содержание будет взято нами как существующее в знании и через знание.

В третьем предмете содержание будет взято нами как бы само по себе, как предмет специального метазнания, как особая сущность.

Очень существенна разница между представлениями содержания во втором и третьем предметах. Во втором – содержание берется как элемент знания. Это означает, что во втором предмете именно знание является предметом анализа и изучения, а содержание не имеет самостоятельного существования и задается через существование знания. Это означает также, что содержание здесь существует только в определенных структурных связях, в структурных связях знания. В третьем предмете, наоборот, содержание как бы вырывается из всех структур и систем, в которых оно существует и рассматривается само по себе, как «вещь» особого рода. Поэтому содержание здесь может быть самостоятельным предметом исследования. То метазнание, которое мы при этом создадим, будет относиться непосредственно к содержанию и будет игнорировать все те объемлющие системы, в которых содержание существует.

В четвертом предмете содержание, взятое как особый и самостоятельный предмет знания и мысли, рассматривается в его отношении к структуре смысла, причем структура смысла точно так же выступает здесь как особый предмет знания и мысли. Точнее, наверное, нужно было бы сказать, что предметом исследования здесь является отношение между содержанием и структурой смысла.

В пятом предмете содержание и смысл берутся не как автономные и самостоятельные сущности, лишь сравниваемые между собой, а как определенные характеристики функционирования и развития знаковой формы, в частности – как характеристики и показатели определенных речевых высказываний. Здесь способы существования содержания и смысла подобны способу существования содержания во втором предмете: они являются элементами более сложных системно-структурных образований и должны, следовательно, рассматриваться внутри объемлющих их систем.

Таковы те пять предметов изучения, которые я считаю необходимым выделить и перечислить, приступая к исследованию содержания. Каждый из этих предметов задает определенную фокусировку исследования, определенную точку зрения, в ракурсе которой мы можем анализировать и описывать содержание, строго нормируя ход и процедуры нашего анализа. Для того чтобы введенные мною различия стали более понятными, я коротко охарактеризую основание, по которому проводилось само различение, и тип каждой из предложенных фокусировок.

В первом предмете наш анализ должен быть направлен на мышление как таковое. Рассматривая процессы, протекающие в мышлении, фиксируя структуру мышления, мы должны выделить содержание в качестве структурных элементов и организованностей мышления, мы должны сделать нечто подобное тому, что мы делали, когда рассматривали акты ком-

муникации и их структуры. В этом случае содержание будет всегда задаваться и характеризоваться как определенный *функциональный* элемент или *функциональная* составляющая мышления. Можно сказать сильнее: говоря о содержании в этом предмете, мы всегда будем говорить только об определенной функции. Это будет, следовательно, описание употреблений чего-либо как содержания.

Обратите внимание на мои последние выражения: в них много тонкостей. Выше я уже неоднократно говорил, что в неявном виде содержание как определенная потенция задается пониманием и структурами смысла; дополнительная фиксация смысла через форму знания и в знании создает содержание, а еще более точно – перерабатывает, превращает смысл в содержание. Содержания здесь еще нет, и поэтому говорить о его употреблении вряд ли можно. Но и эти моменты я имел в виду, когда говорил об употреблении содержания; здесь «употребление» выступало скорее в качестве некоторых интенций, но эти интенции задавали уже определенное функциональное место – место содержания. В этом вся суть: по материалу содержания еще нет, а по функции, как определенное место, оно уже есть. В общем плане мы и это можем назвать «употреблением».

Для того чтобы особенности первого предмета или способа анализа содержания стали достаточно понятными и очевидными, нужно подробно описать отличия существования содержания в мышлении от существования его в знании. Но именно различия мышления и знаний менее всего известны и изучены в настоящее время. Взаимоотношения того и другого были постоянным предметом дискуссии в психологии 20-х и 30-х годов. В каком-то плане это очень странное явление. В принципе, этот вопрос должен был бы быть основным и решающим для теории мышления и эпистемологии, но в силу ряда причин этого не было, и поэтому он стал основным для психологии мышления. Правда, это была какая-то странная психология. Берем ли мы работы Пойя, работы Секья и даже работы Пиаже – каждый раз эти авторы сначала выходят за пределы психологии, а потом совсем уходят из психологии, и всегда это происходит по логике изучаемого предмета, т.е. под давлением материала.

Если обратиться к эпистемологии и так называемой «логике исследования», или «логике знаний», то наверное единственной школой, которая по-настоящему ставила проблемы и каким-то образом схватывала суть дела, была школа К.Поппера, и совершенно не случайно И.Лакатос во введении к своей книжке «Доказательства и опровержения» объединяет имена Пойя и Поппера и называет их обоих своими учителями. Я думаю, что в той же самой логике исследования знаний и мышления возник Московский логический кружок и в дальнейшем оформилась и развивалась «содержательно-генетическая логика» (которую скорее надо рассматривать не как логику, а как эпистемологию), и точно так же не случайно вся работа по развитию содержательно-генетической логики была теснейшим

образом связана с психологией и психолого-педагогическими исследованиями мышления.

Но несмотря на появление всех этих направлений и произведенную в них работу, взаимоотношение мышления и знаний до сих пор остается проблемой. Четко осознавая само различие между тем и другим, мы тем не менее не можем определить статус существования «знаний» (точнее – различные статусы существования), а поэтому не можем ответить и на вопрос о том, чем же существование содержания в мышлении отличается от существования содержания в знании и через знание.

Но как бы мы ни решали проблему взаимоотношений мышления и знаний, мы всегда должны будем исходить из того, что они различаются между собой, а поэтому различие существований содержания в мышлении и в знании будет фактором, конституирующим различие двух предметов изучения.

В этом плане очень интересными и поучительными являются те определения мышления и знаний, которые давались П.Я.Гальпериным и его сотрудниками, в частности Н.Ф.Талызиной в 50-е и в начале 60-х годов. С одной стороны, они исходили в своих рассуждениях из того, что знания любого рода, в частности понятия, представляют собой не что иное, как деятельность, и этот момент отчетливо и резко фиксировался ими во многих публикациях. С другой стороны, указанный выше тезис оставался и для них, несмотря на их очевидную деятельностную ориентацию, чем-то слишком абстрактным и метафизическим, не представимым в применении к реальным знаниям и понятиям, которые ведь – и это совершенно очевидно – подобны «вещам» особого рода (и с ними оперируют, как с «вещами»). И этот момент точно так же постоянно фиксировался ими во всех исследованиях и публикациях. Таким образом, с одной стороны, был теоретический и метафизический принцип – «знания суть не что иное, как деятельность», – а с другой стороны, была реальная и во многом традиционная практика конкретных исследований, где знания рассматривались и употреблялись как «вещи». И преодолеть этот дуализм и эту двузначность им так никогда и не удалось.

Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание» *

1. С обыденной точки зрения кажется очевидным, что «мышление» и «понимание» не совпадают друг с другом. Но когда мы пытаемся разделить их понятийно и тем более описать их связи и взаимоотношения, то это оказывается очень трудным делом.

До сих пор мышление и понимание рассматривались, как правило, изолированно, а чаще всего даже в разных предметах: понимание – преимущественно в психологии, а мышление – в философии и логике, и поэтому не было нужды разграничивать и связывать их в рамках какого-то единого объектного представления. Когда же эту задачу поставили, то оказалось, что те немногие процессы и явления, которые могли бы выступить в роли связующей системы – *процессы общения и кооперация людей в деятельности*, – принадлежат к третьей научной дисциплине, социологии, и это обстоятельство долгое время практически исключало всякую возможность использовать представления об этих процессах и явлениях в качестве естественного конфигуратора для объяснения связей и взаимоотношений между мышлением и пониманием.

Реальное сближение всех названных выше предметов стало возможным лишь после распространения *методологического мышления*, прорывающего границы устоявшихся научных предметов и работающего как бы над ними. При этом наметились две линии в решении проблемы взаимоотношения мышления и понимания: первая исходит из онтологических схем *общения* и представляет мышление и понимание в виде компонентов *акта коммуникации*, вторая – из онтологических схем *деятельности* (причем здесь тоже два варианта: один строится на схемах *кооперации*, другой – на схемах *воспроизводства*).

Новый подход, пытающийся реализовать основные нормы собственно научного, «модельного» исследования, (а) задает объектно-онтологические и категориальные основания для анализа взаимоотношений между мышлением и пониманием, (б) позволяет увидеть то и другое с новых сторон, (в) дает схему для оценки и синтеза уже существующих представлений и, наконец, (г) производит прогрессивную сдвигку проблем.

2. Сначала наиболее простым и перспективным кажется определение «мышления» и «понимания» в контексте *акта коммуникации*, основывающееся на (морфологическом по своей сути) противопоставлении того, кто строит сообщение (он мыслит), и того, кто принимает сообщение (он понимает).

* Переиздание работы [Шедровицкий, Якобсон 1973].

Мышление в этом случае выступает как *операционально-объектное выделение или созидание содержания и выражение (или фиксация) его в одновременно и параллельно создаваемой знаковой форме текста* (именно такое представление, в частности, фиксировали *многоплоскостные изображения мышления в содержательно-генетической логике*); в качестве «побочного продукта» процесса мышления можно рассматривать *смысл* – связку из многих сопоставлений и соотнесений объектных и операциональных элементов ситуации друг с другом и с элементами текста, которую мы можем представить в виде статической *структуры* из отношений и связей между всеми этими элементами; связь между плоскостями содержания и знаковой формы, возникающая благодаря структуре смысла, рассматривается как *объективное, или экстериоризованное, знание*.

Понимание в этом случае выступает как определенная (смысловая) *организация знаковой формы текста, осуществляющаяся в ходе соотнесения элементов текста с объектно-операциональными элементами ситуации* (можно говорить, что таким образом *восстанавливается структура смысла, заложенная в текст процессом мышления*), и *структурирование плоскости содержания соответственно смысловой структуре текста* (то обстоятельство, что при этом плоскость содержания часто не только структурируется, но и непосредственно созидается, при таком подходе к мышлению и пониманию просто не может обсуждаться).

Приведенные определения являются *структурно-функциональными*; они задают мышление и понимание либо в виде *частичных процессов внутри процесса коммуникации*, либо – и это правильнее – в виде *частичных структур* акта коммуникации, *завязанных на общей для них организованности текста*.

3. Весьма интересные и перспективные во многих отношениях, эти определения вместе с тем не задают и не могут задать «мышление» и «понимание» в качестве *предметов научного изучения*, ибо не обладают необходимой системной полнотой и определенностью: во-первых, они не связывают мышление и понимание с другими процессами и системами, объемлющими коммуникацию, в частности с системами деятельности, и поэтому не дают мышлению и пониманию тех характеристик, которые определяются их местом внутри этих более широких систем, а во-вторых, мышление и понимание не получают в них никаких *механических и морфологических* характеристик. Поэтому необходимо дальнейшее развертывание наших представлений, и оно может идти по меньшей мере в трех направлениях: 1) дополнительных функциональных определений мышления и понимания относительно других объемлющих их систем, 2) выявления и описания механизмов, обеспечивающих процессы понимания и мышления, 3) включения в системные представления морфологии мышления и понимания с ее внутренними «естественными» процессами и строением.

4. Весьма важные данные для выявления этих дополнительных функций и механизмов дает критический анализ тех допущений, которые мы

сделали, вводя первые определения мышления и понимания. Исходное противопоставление их строилось на том, что мышление как бы впервые создает содержание, работая только с объектами, а понимание лишь восстанавливает созданное раньше содержание, работая только с текстом. Но оба эти предположения являются слишком сильными упрощениями: они игнорируют реальные механизмы и материал мышления и понимания.

На деле восстановление содержания в процессе понимания, как правило, превращается в созидание его и, следовательно, становится особой работой с содержанием, чаще всего – преобразованием его из одного вида в другой. А это является с точки зрения данных выше определений важнейшей компонентой мышления.

Кроме того, как показывают многочисленные исследования, понимание очень редко восстанавливает именно тот смысл и то содержание, которые закладывались в текст его создателями. В зависимости от принятого «способа деятельности» (а во многих случаях этот «способ» выбирается из ряда возможных) понимание выявляет в одном и том же тексте разные смыслы и соответственно этому строит разные поля и разные структуры содержания. Таким образом, понимание оказывается зависящим не столько от текста и производящего его мышления, сколько от более широкого контекста деятельности, в которую оно включено. Но это значит, что в процесс понимания текста должна входить еще дополнительная процедура, реализующая эту зависимость и как бы «извлекающая» структуру содержания из объекта и операций практической деятельности. А это опять-таки – функция, специфическая для мышления.

Одним словом, как только мы переходим к анализу связей понимания с деятельностью и механизмов, реализующих процесс понимания, выясняется, что в большинстве случаев понимание неотделимо от мышления, что мышление выступает как процесс, включенный в понимание и подчиненный его общей структуре, мы получаем понимание, осуществляющееся через посредство мышления. Структурно-функциональные определения мышления и понимания, полученные на схеме акта коммуникации, вступают в противоречие с характеристиками, получаемыми в ходе их механизмического и морфологического анализа.

Но примерно то же самое выясняется в отношении самого мышления. Практически оно никогда не существует как оперирование с чистыми объектами, заданными вне знаний, фиксирующих их свойства, и знаков, замещающих сами эти объекты, а является всегда оперированием внутри определенных «предметов мышления» и с «предметами», а следовательно, включает понимание в свою систему и структуру. Это будет мышление, осуществляющееся, среди прочего, через посредство понимания.

Таким образом, как только мы начинаем учитывать в анализе механизмы и морфологию, так тотчас же мышление и понимание выступают как взаимно ассимилирующие друг друга системы. Исходные структурно-функциональные противопоставления их, полученные на схеме акта

коммуникации, оказываются неудовлетворительными, и мы вынуждены искать какие-то другие онтологические представления, чтобы разделить и противопоставить друг другу мышление и понимание как системы и самостоятельные предметы изучения.

5. Таким онтологическим представлением является, на наш взгляд, представление мышления и понимания в контексте *воспроизводства деятельности* (во всяком случае, это представление может удовлетворить всем требованиям и критериям системного подхода).

Этот тезис заставляет нас перейти от анализа отдельных актов понимания и мышления к анализу *универсумальных сфер деятельности* (ибо только они, как выясняется, могут специфическим образом охарактеризовать *типы деятельности*) и вместе с тем не разрешает больше ограничиваться анализом только *синтагматических реализаций деятельности*, а требует также привлечения к анализу *искусственно организованных систем парадигматики*. Именно последние в сочетании с целями и задачами деятельности определяют воспроизводство и осуществление актов понимания и мышления в каждом конкретном случае человеческого поведения и общения. Благодаря этому в любом акте коммуникации всякий человек, независимо от своего места относительно процесса передачи сообщения, может как мыслить, так и понимать. Организованности мыслительной деятельности и деятельности понимания, создаваемые прежде всего в целях воспроизводства, преодолевают чисто функциональное и локальное разделение участников акта коммуникации на «мыслящих» и «понимающих», и они же делают «мышление» и «понимание» двумя специфически оформленными сферами деятельности, каждая из которых характеризуется затем уже не только самими этими организованностями, но также своими особыми *направлениями и механизмами культурно-исторического развития и социетального функционирования*.

Поэтому для современной теории мышления и понимания главными и решающими становятся методологические проблемы анализа и описания единицы, называемой «сфера деятельности».

Системно-структурный подход в анализе и описании эволюции мышления *

1. На уровне непосредственного восприятия и практики общения «мышление» существует в виде бесконечного множества отдельных актов мысли и создаваемых ими организованностей – знаний, моделей, фактов, проблем, категорий и т.п. Каждый такой акт и каждая организованность представляют собой самостоятельное явление, и все они настолько отличаются друг от друга как в содержании, так и в форме, что нет и не может быть никакой среднетипической модели, которая могла бы рассматриваться как образец мышления вообще. Но что тогда позволяет нам относить все эти явления к «мышлению» и что, собственно, мы имеем в виду, когда говорим о «мышлении»?

Попытки ответить на этот вопрос привели в конце концов к специфическим схемам, объединяющим «синтагматические цепочки» и «парадигматические системы». Лингвистика проложила здесь путь, и он дался ей нелегко, но сейчас наконец наступило время, когда эти схемы стали использовать также при описании мышления, и было понято, что таким образом устроено все, что принадлежит к человеческой деятельности.

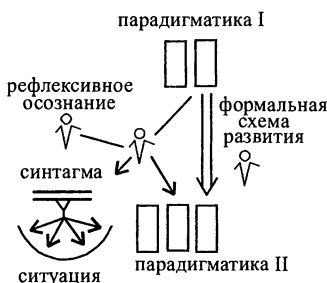
Разрешив одну проблему, схема «синтагматика – парадигматика» породила ряд других. Как соединить эту схему устройства объекта с представлениями об историческом развитии мышления? Каждый синтагматический акт и каждая синтагматическая организованность лишь осуществляются, реализуя одну или несколько парадигматических форм; они в принципе не могут развиваться и порождать новые синтагматические и парадигматические организованности. Поэтому развитие стали искать в парадигматических системах, хотя само это допущение во многом противоречило представлениям о функциях и назначении парадигматики. Но что, с одной стороны, может быть источником и причиной развития парадигматики и по каким законам, с другой стороны, происходят сами изменения?

2. В ответах на эти два вопроса исследование пошло разными путями. Чтобы ответить на вопрос о законах развития парадигматики, сравнивали последовательные исторические состояния каких-то ее элементов и единиц, моделировали их в структурных схемах и затем искали конструктивные правила, переводящие модель из одного состояния в другое. И хотя при этом стремились, конечно, к тому, чтобы максимально имитировать исторические изменения парадигматики, подлинной целью работы всегда было лишь получение некоторых *норм* или *проектов* развития, превращавших частные варианты мышления в общий социальный стандарт.

* Переиздание работы [Щедровицкий 1973 а].

В ответах на вопрос о причинах и источниках развития парадигматики сразу же выявились два подхода: «искусственный» и «естественный». Представители первого рассматривали систему парадигматики в качестве сознательного творения. Представители второго могли искать источники изменений либо в самой парадигматике, либо в экстрапарадигматических факторах, в частности в синтагматических цепочках и их влиянии на парадигматику. Именно в этом контексте синтагматику начали рассматривать не только как реализацию парадигматических схем, но и как источник инноваций. Однако сама апелляция к синтагматике и происходящим в ней изменениям оставалась чисто словесным трюком, пока не удавалось объяснить, каким образом новообразования, появляющиеся в синтагматике естественно и случайно, переходят затем в систему парадигматики.

3. Решение, казалось, было найдено, когда для объяснения этого перехода стали использовать схемы кооперации и механизм рефлексивного осознания. Получилась довольно стройная объяснительная картина, но она долгое время служила лишь для обоснования самой возможности исторического развития мышления, а не для выявления и описания механизмов появления инноваций и их оформления в парадигматических системах мышления. Метод описания развития парадигматических организованностей был дополнен лишь анализом синтагматических ситуаций деятельности и возникавших в них «разрывов», которые задавали функциональные требования к новообразованию, а все остальное – конструирование новой парадигматической организованности и выявление формальных правил получения ее из предыдущей – делалось точно так же, как раньше, без всякого анализа и описания реального механизма кооперированной



деятельности и создаваемых ею содержаний. При этом синтагматическое новообразование и оформляющая его парадигматическая организованность фактически отождествлялись, и это, с одной стороны, было залогом успешности и продуктивности нормативного конструирования модели и правил развития, а с другой – делало ненужным детальный анализ его подлинных деятельностных механизмов. В силу этого, естественно, не вставал во всей своей остроте вопрос о том, как относятся друг к другу (и в каких категориях должны быть описаны) новообразования мышления, возникающие в синтагматике, и оформляющие их парадигматические организованности.

4. Грубо говоря, вопрос заключается в том, можем ли мы называть мышлением то, что возникает впервые в синтагматике и, следовательно, еще не нормировано (а значит, и не принадлежит пока к системе мышления), но будет нормировано ближайшим шагом деятельностного механизма и, следовательно, *войдет* в систему мышления, *станет* мышлением.

С точки зрения обычных представлений это типично парадоксальная ситуация. И традиционное понятие системы (совокупность связанных между собой элементов, образующая целостность) не может здесь помочь. Поэтому приходится прибегать к новому понятию системы, сформированному специально для описания деятельности и процессов ее развития. Системное изображение объекта, с новой точки зрения, обязательно должно содержать четыре слоя представлений: *процессов, функциональных структур, организованностей материала и морфологии*. Последний слой, в свою очередь, содержит процессы, функциональные структуры и организованности материала, но уже другого типа, нежели первые, и они тоже входят в систему, но на иных правах, в другом качестве. Между собственно системными и морфологическими показателями объекта существуют свои сложные отношения и связи, и последние точно так же должны формироваться исторически.

Используя новое понятие системы, мы можем без труда ответить на поставленный выше вопрос: то, что впервые возникает в синтагматике и проходит затем этап оформления в парадигматических организованностях, представляет собой *морфологию мышления*; составляющие ее процессы, структуры и организованности ассимилируются кооперативно-рефлексивным механизмом деятельности и за счет этого переводятся в собственные организованности, структуры и процессы мыслительной деятельности, транслируемой из поколения в поколение. А весь этот процесс ассимиляции морфологии и рефлексивного отображения ее в парадигматических системах является важной и типичной формой *становления* мыслительной деятельности.

С определенной точки зрения процесс становления можно рассматривать как компоненту процессов изменения и развития парадигматических организованностей. Но при другом подходе, наоборот, процесс изменения парадигматических организованностей выступит как компонента и средство внутри процессов становления мыслительной деятельности.

5. Последнее представление становится особенно важным и приобретает более широкий смысл, когда от исследования отдельных синтагматических актов и парадигматических организованностей мы переходим к исследованию всей *сферы мышления*. Она содержит достаточно много относительно автономных парадигматических систем, каждая из которых, с одной стороны, развивается по своей особой имманентной линии, а с другой стороны, непрерывно рефлексивно отображает и ассимилирует другие системы; и каждая из этих систем в любой момент может стать материалом ассимиляции и, следовательно, морфологией для какого-то нового, еще только становящегося мышления. И если мы берем сферу в целом, то основными и ведущими, захватывающими и подчиняющими себе все остальное оказываются именно эти процессы, создающие *линию эволюции мышления*, а не процессы развития отдельных парадигматических

организованностей; последние в этом случае выступают в роли отдельных составляющих процесса эволюции мышления.

6. Особая связь и координация всех этих процессов – эволюции, развития и становления, – существующая на механизме воспроизводства деятельности и благодаря ему, создает сферу мышления как единое историческое целое, а вместе с тем задает и конституирует то, что мы называем «мышлением», мышлением вообще, в его отличии от отдельных актов мысли и отдельных организованностей мышления, как бы плывущих в едином историческом потоке внутри сферы мышления.

Современное состояние и перспективы разработки теории мышления *

Мое сообщение называется: современное состояние и перспективы разработки теории мышления.

Сначала несколько слов о мотивах, которые заставляют меня формулировать эту тему и обсуждать ее. В шуточной форме А.А.Зиновьев определил ситуацию так: вообще говоря и мы, и он со своими учениками делаем одно и то же дело, ориентированы на создание новой логики, но он со своими учениками ее разрабатывает, а мы пишем, пусть даже талантливые, но только предисловия к ней. И, наверное, отчасти это так, во всяком случае в этом есть большой смысл. Но за этим есть серьезная проблема: как он понимает логику, как мы понимаем логику, и что каждый из нас делает.

Я говорю, что Зиновьев имеет основания для своих утверждений прежде всего потому, что вся наша работа за последние 20 лет, или почти вся, несмотря на все наши декларации, действительно не имеет прямого и непосредственного отношения к разработке логики, и даже теории мышления. (В некоторых случаях я буду употреблять это как синонимы, в некоторых случаях буду различать. Я буду употреблять это как синонимы, имея в виду нашу традицию, а различать, имея в виду наши представления последних пяти–шести лет.) Фактически, мы занимались все время металогики и метатеорией мышления, или методологией разработки теории мышления, имея целью выработать некоторую программу построения такой теории. Каждый раз речь шла именно о программах и проектах, а также о выяснении каких-то методологических вопросов, но не о развертывании самого тела логики. Я знаю среди наших работ фактически только одну, которая, по моим представлениям, может быть отнесена к телу, к основному корпусу логики: это работа по исследованию процессов решения арифметических задач. Все остальное должно оцениваться иначе и имеет, по сути дела, совсем иное значение.

Возник вопрос, как относиться к работе «Опыт анализа сложного рассуждения, содержащего решение арифметической задачи» («Аристарх») [Щедровицкий 1960]. В этой связи я должен сказать, что, на мой взгляд, нашу работу можно и нужно оценивать в двух разных планах. С одной стороны, как получение некоторых данных о мышлении, знаний о мышлении, данных и знаний, которые будут оцениваться относительно предполагаемого объекта, т.е. будут проверяться на их истинность, на их соответствие объекту. Другая позиция, когда получаемые результаты рассматриваются как основания и условия для дальнейшего развития методологических идей. Быва-

* Доклад на семинаре 10 декабря 1973 г. Арх. № 2021.

ют случаи, когда какая-то работа содержит результаты первого и второго порядка. Но чаще работа должна оцениваться лишь в одном из этих планов. Редко одна и та же работа бывает богата и в том, и в другом плане. Так вот, оценивая с этой точки зрения работу, условно называемую нами «Аристарх», я бы сказал, что там не получено никаких результатов о подлинном строении процессов решения задач и рассуждений. Хотя эта работа имела для нас огромное значение в плане развития наших идей, к чему я дальше вернусь. Эта работа была для нас в известном смысле поворотной, и если мы хотим обсуждать, что мы получили и какова наша позиция, то мы должны сосредоточивать внимание в первую очередь на этом цикле работ, связанных с анализом сложного рассуждения, поскольку все – если говорить о логике – выросло оттуда. Но все это было разработкой некоторых оснований и условий для дальнейшего нашего движения.

Костеловский В.А. Когда ты говоришь о мышлении, ты имеешь в виду естественный процесс или проблематику установления норм?

Этот вопрос относится к самой сути дела, но мы к этому вернемся дальше.

Костеловский. Но ведь с этого надо начинать.

Да, но к началу надо еще подойти.

После изложенных соображений я могу пойти дальше. Так получилось, что мы вначале рассматривали и трактовали логику как науку, а не как канон и не как искусство. Поскольку мы рассматривали логику как науку, мы должны были соотносить ее схемы, модели, понятия и принципы с определенным объектом, который должен был пониматься и трактоваться, во всяком случае на первых этапах, как естественный объект. И в качестве такого объекта мы видели мышление. Поэтому мы говорили, что логика есть наука о мышлении, или теория мышления. Но такая постановка вопроса – в точном соответствии с эпистемологией или методологией научной работы – требовала разделения и противопоставления, с одной стороны, системы знаний о мышлении, а с другой – самого мышления, представленного так или иначе, но обычно в онтологических схемах – как некоего объекта, описываемого в этих теориях. Но так получилось, что, не знаю уж почему, этот вопрос – что же такое мышление – со всей резкостью и остротой так и не был поставлен, и подлинного анализа мышления как объекта у нас не было.

Сегодня, рассматривая этот вопрос ретроспективно, я бы рискнул ответить на вопрос, почему так получилось. Я полагаю, что это объясняется тем, что не были в достаточной степени разработаны категории, в первую очередь – категории системы и структуры, которые дали бы нам возможность описывать мышление как некий объект отдельно и в отвлечении от системы знаний о мышлении, от содержания этих знаний. Иначе говоря, по-видимому, лишь достаточно систематизированное развитие

онтологических категорий или категорий с определенной мощью онтологической составляющей дает возможность ставить вопрос о самом объекте и развивать систему представлений об объекте. Другими словами, нужны какие-то особые условия, для того чтобы можно было произвести поляризацию знания на форму в широком смысле, или собственно знание в его формальных характеристиках, и объект, в этом знании представленный.

Костеловский. *А как это вообще возможно, если это – одно и то же?*

Этого нельзя сделать на каждом синхронном срезе, но это делается задним числом. Можно разделить, где объект, а где знание об объекте. Кстати, эту процедуру я обсуждал в самом начале нашей работы, где-то в 1953–1954 гг. Причем, средством для этого было представление о четко фиксированной истории (не о методе историзма, работающем в культурном плане, а именно об истории как противопоставлении настоящего и прошлого, с приписыванием настоящему некоторых критериев и функций истинности, а прошлому – характеристик преходящего: знания, видимости, формы и пр.).

Костеловский. *Это о прошлом, а как в настоящем?*

За счет того, что я, применив этот метод исторической реконструкции, точнее – реконструкции истории, потом смотрю на эти расслоенные, дифференцированные состояния и еще раз, за счет метода историзма, втягиваю их в настоящее. Таким образом, я нынешнее представление и прошлое представление организую теперь в культурном синхронном срезе и здесь за счет приемов двойного знания получу оппозицию подлинного объекта и знаний о нем. Здесь главное средство, главное орудие – категории, в частности категория системы. Используя эту категорию, я могу свои нынешние представления о мышлении трактовать как онтологические, а все то, что я думал и знал раньше о мышлении, трактовать как форму знания.

Костеловский. *Так это о прошлом. А как в теории, имея настоящее, а не прошлое, все это разделить?*

Так за счет того, что мы сами развиваемся...

Костеловский. *Но знание о прошлом, в том числе и нашем, это не есть знание об объекте.*

Это не про то. В рефлексии я могу разделять себя настоящего и себя прошлого. При этом я все время различаю историческое представление и принцип историзма как средство создания теории, т.е. историю в логической функции. Так вот, если я записал историю и восстановил последовательные состояния, то теперь я сам себе дан в своей исторической эволюции. Я получаю определенную последовательность своих знаний или представлений, организованных в линейный ряд. Теперь последнее представ-

ление я особым образом перерабатываю за счет категорий и кладу в основание. Я говорю: это объект, который теперь мною представлен вне времени.

Костеловский. Но с внешней точки зрения это – твоё знание.

Да, конечно, но в данной позиции я говорю, что это – объект. Это я в другом плане понимаю, что это знание. А здесь производжу определенную переработку и говорю, что это – объект. А про остальные представления я говорю, что и это, и это, и то – знания об объекте. Не только «было знанием», а «есть знание», поскольку при таком подходе разница между истинной и ложью незначима. Другими словами, я категорией «истина» не пользуюсь, она не применима к истории идей.

Костеловский. Но ты же говоришь про теорию, а в теории такая категория есть.

Это смотря в какой теории, в умной – нет.

Костеловский. Но ты же хочешь познать предмет.

Я не «хочу познать предмет», я хочу развивать теорию. Для этого мне, в принципе, не надо познавать предмет. Я уже иначе осмысляю свои собственные задачи. Я теперь не верю разговорам про истину, для меня история становится, резко формулируя, цепью заблуждений, они же – цепь истин. И вот я, глядя на это, говорю, что это – мои знания, причем не в прошлом, а в настоящем, они организованы в ряд, в котором я убираю изменение и время. Все это для меня теперь особого рода структура. И даже последнее представление, переработку которого я положил в качестве объекта, я могу, в его собственном виде, рассматривать как знание, причем особое: знание, совпадающее с объектом, реализующее гегелевский идеал.

– Я не совсем понимаю, почему здесь употребляется слово «рефлексия». Знания, которые выстраиваются в ряд, не могут содержаться в вашей голове, поскольку ваша голова – сегодняшняя, и в ней есть только сегодняшние знания. Следовательно, это знания, где-то и как-то фиксированные – на магнитофоне, в записях и т.п. В чем специфика и смысл того, что вы берете именно их, «свои» знания в отличие от «чужих», какая между ними разница?

Все не так просто. В вашем высказывании содержатся принципы, с которыми я не согласен. Во-первых, тексты сами по себе не есть знания. Для того чтобы там было знание, я их должен особым образом обработать, вытащить оттуда знание. И я это делаю с помощью своей головы. Перечитывая старые работы 20- и 10-летней давности, я, используя особые способности сознания, могу восстанавливать и переживать те состояния, которые у меня были при написании этих текстов. Как раз нельзя сказать, что голова у меня сегодняшняя, голова у меня такая, какой я ей приказываю быть. Она может быть и двадцатилетней давности...

– *И тысячелетней...*

И тысячелетней. И здесь есть свой круг проблем. Далее, что касается того, мое это знание или отчужденное, то, поскольку я в данном случае рассматриваю нашу историю, в которой я принимал участие, я могу говорить, что оно – мое. Мало того, я могу подходить к нему как конструктор, как инженер, поскольку я знаю, как оно делалось. Иначе говоря, это для меня не познаваемый, естественный, а мною же и созданный объект. Я знаю помимо текстов массу вещей, которые в тексте не отражены: мотивацию, причины, цели, смену идей, которая не зафиксирована в тексте. Я за счет своего сознания и памяти могу привносить много такого, что дает мне возможность особым образом представлять историю. Для кого-то, рассматривающего все это со стороны, история может выглядеть совсем иначе. А я знаю массу «подводных» вещей, которые могу теперь осмыслить иначе и представить как имевшие место, хотя они совсем не содержались в тексте.

– ...

На одну часть этого вопроса я сейчас коротко отвечу, а другая является, собственно, темой всего моего сегодняшнего сообщения. Когда логика рассматривается в статусе канона или искусства, то утверждается – как это делают Лукасевич или Карнап и др., – что логика не имеет никакого отношения к мышлению и вообще к какому-либо объекту. Скажем, Лукасевич определяет логику как теорию отношений между общими, частными и единичными суждениями. То же самое говорит и Карнап. Там вообще отсутствует план объекта.

– *И онтология?*

Что касается онтологии, то с этим сложнее.

– ...

У Карнапа есть такая формулировка: логика имеет к мышлению не большее отношение, чем политэкономия или товароведение. Даже товаровед должен мыслить. Логик тоже должен мыслить. Вот и все.

– *А можно ли говорить об онтологизации в этих позициях?*

Там есть своего рода онтологизация, очень простая. Лукасевич, например, постулирует наличие рассматриваемых отношений как чего-то внеположного. Но он не обсуждает вопрос о существовании. Он это просто полагает. Когда же мы полагаем нечто в естественнонаучной модальности, то мы, положив некоторое представление онтологически, должны обсуждать вопрос о его существовании, возможности существования.

Итак, задавая логику как теорию мышления, мы не выделяли с достаточной резкостью вопрос о мышлении как объекте и не ставили вопрос о его существовании. Точнее, мы не выделяли мышление как объект и не ставили вопрос, как оно возможно и что оно есть. Я объясняю это отсутствием у нас в то время достаточно разработанных онтологических категорий. Иначе говоря, мы не ставили вопрос о способе и форме существования мышления. Вы прекрасно понимаете, что обсуждать вопрос о существовании мышления невозможно, не задавая той или иной формы его изображения, его представления. Его нужно было так представить, чтобы можно было отвечать на вопрос о его существовании. И именно этого у нас не было: средств для представления мышления как такового, вне существовавших логических представлений мышления и каких-то других представлений о мышлении, на которые мы ориентировались.

Господствовали и преобладали именно логические представления о мышлении. Все то, что описывала традиционная логика, несмотря на то, что мы против нее возражали, и было тем, что задавало для нас мышление.

– Так это и был объект...

И в этом смысле объекта не было. Была логика, которая особым образом представляла мышление, и мы, вслед за Декартом, Бэконом и др., говорили, что это очень плохое представление мышления, которое не схватывает его существа. Но если бы нас в этой ситуации спросили, что же такое мышление, как оно существует, то мы, не имея специальных, специфических средств представления, могли бы ответить и отвечали только одно – это то, что описывалось и фиксировалось в схемах логики. И это несмотря на то, повторяю, что мы отвергали за логикой право представлять, репрезентировать мышление.

– ...

Я утверждаю простую вещь. Мы были естественнонаучно ориентированы, а объекта у нас не было, поскольку представления об объекте как таковом не было. И если бы наши оппоненты в лоб задавали нам вопрос, что такое мышление, требуя изобразить его, мы ничего не могли бы им сказать, кроме ссылки на то, что это суждения, умозаключения и их элементы.

– А процессы?

Это появилось позже. На рассматриваемой стадии мы могли лишь ссылаться на логику, но одновременно мы утверждали, что логика не репрезентирует мышления, потому что в ней существуют предельные переупрощения, логика переупрощает объект.

– ...

Видите ли, проблема онтологизации возникает только в рамках научного мышления. Вообще наука XVII–XVIII столетия выносит на передний план проблему существования. Кстати, в этом плане мы должны говорить, что «Начала» Евклида были этапом формирования науки, попыткой создать ее, потому что проблема существования там уже обсуждается. Я дальше к этому вернусь, но для того чтобы было понятно, что и как здесь происходит, нужно иметь в виду следующее. В Позднее Средневековье многие схоласты начали рассматривать логику как науку. Но при этом сам термин «наука» они, наверное, понимали совсем в другом смысле, чем мы сейчас. Это требует специального исследования. Затем XVI и XVII века отказываются от этого представления. Декарт говорит, что это – искусство. В логике Пор-Рояля так и фиксируется: логика, или искусство мыслить. И даже еще во второй половине XVIII столетия французские просветители и все вокруг рассматривают логику как искусство. Я уже сказал, что такая трактовка логики делает ненужным выделение онтологического представления объекта. Если это «искусство мыслить», то интерпретация любых идей или знаний идет в плане деятельности. Есть некоторые нормы, правила или каноны. Там интерпретация логических схем идет не на объект, а на нечто другое. Логика как система норм и правил, как канон, или как искусство мыслить, не нуждалась в отнесении к объекту.

Но наряду с этим начинает формироваться собственно научное представление о логике и мышлении. Декарт, трактуя логику как искусство мыслить, одновременно, в другой линии, заложил основы для трактовки логики как науки – о чем-то. И именно там должно возникнуть отделенное от предмета, выраженного в системе знаний, представление об объекте. Именно наука за счет создаваемой ею методологии и научной идеологии, т.е. системы идей, круга идей, именно наука производит расщепление и поляризацию знания на знание как таковое и объект. Но этот процесс происходит в той мере, в какой удастся построить графические средства представления или изображения самого объекта, т.е. средства репрезентации онтологии как таковой. В физике это удалось сделать довольно рано. Причем физика могла возникнуть как наука лишь в той мере, в какой в позднесхоластическом периоде были созданы средства для изображения ее объекта отдельно от знаний. В частности, для этого были использованы схемы треугольников. Когда позднее схоласты начинают рассматривать движение тела, в частности свободное падение, в схемах треугольника (одна сторона – путь, другая – время, третья – скорость), вот тут они получают форму репрезентации движения отдельно от знания о движении.

Я утверждаю, что в истории логики до сих пор такого не происходило, хотя все время намечалось и намечается. И мы в этом смысле до определенного момента следовали традиции. Мы вроде бы были на рубеже этого противопоставления, расщепления знаний о мышлении, из которых складывается теория мышления, и представления мышления как такового. Но у нас этого еще не было, поскольку не были выработаны соответ-

ствующие формы представления. Более того, они до самого последнего времени не были выработаны, и лишь сейчас эта картинка вырисовывается.

И поэтому, если бы нас спрашивали, что такое мышление, то мы, хотя мы постоянно искали и ищем ответ на этот вопрос, ничего не могли бы сказать, кроме ссылки на то, что представлено в схемах логики.

И как я сейчас постараюсь пояснить, это был бы правильный ответ.

— ...

Вы опять задаете мне вопрос в онтологической манере – и в теоретической, а не исторической. Поэтому я буду вам отвечать вот как. Да, когда мы говорили, что мышление есть деятельность, и когда мы пытались рисовать деятельность, да даже и в самом этом полагании, что мышление есть нечто другое – деятельность, в этой оппозиции мы пытались произвести расщепление знания и объекта. Мы пытались задать особую форму мыслимости для мышления, отличную от специфических форм репрезентации его в знании. (Хотя, с другой стороны, ведь это была лишь попытка сведения, и в этом смысле это было полдела, потому что нужно же еще вывести).

— ...

Я ведь не говорил, правильно это или ложно. Это был некоторый ход, дававший материал для размышлений, но в теории я этого принять не могу. В истории я это буду рассматривать как осмысленное, имевшее большие последствия, продуктивное и т.п., а в теории это не так.

Кузнецова Н.И. Что дает вам процедура принятия последнего из представлений за изображение объекта в плане развития представлений?

Эта процедура нужна для другого. Как раз сейчас я и занимаюсь развитием представлений. Эта процедура нужна для того, чтобы осуществить рефлексию истории.

Кузнецова. Непонятно, что дает оценка прошлых представлений с точки зрения сегодняшнего как истинного.

Это совершенно неверная трактовка того, что я говорил. Я рассказывал о схеме метода. Меня спросили, за счет чего я могу произвести поляризацию на объект сам по себе и на знание. Я отвечаю, что имею последовательность представлений, последнее кладу как объект, остальные – как знание.

Кузнецова. Я и спрашиваю, зачем вам нужна такая процедура – выделение объекта из знания? Что это дает?

В.А.Костеловский меня спросил, за счет чего я могу расщеплять все

это и говорить о мышлении как таковом, как об объекте, и о моих знаниях о мышлении.

Кузнецова. *Так мой вопрос – до этого вопроса Костеловского. Когда вы говорите, что не было в логике разделения на само мышление и знания о мышлении, а вы ставите вопрос о таком разделении, то в чем – с точки зрения программы, идеологии или чего-то еще – значимость такой процедуры?*

Вне такого противопоставления нельзя развивать теорию мышления в естественнонаучном духе. Такая процедура поляризации есть необходимая процедура методологии научного исследования. Без нее говорить о теории мышления вообще не имеет смысла.

Кузнецова. *Вы хотите сохранить естественнонаучную ориентацию?*

Кто «я»? Я говорю о естественнонаучном подходе, и поскольку я о нем говорю, я должен быть строгим формально... Но меня не надо отождествлять с тем или иным моментом моей мысли.

Костеловский. *Иначе говоря, вы создаете очередное предисловие...*

Конечно. И Зиновьеву я отвечаю: конечно. Поскольку я уважаю научную разработку, считаю ее очередным догматизмом, давно умершим и ненужным для человеческой деятельности и мышления.

Костеловский. *И ты утверждаешь, что если кто-то хочет этим баловаться, то он должен выделить себе объект.*

Правильно. И если кто-то считает, что это ему нужно, я готов его проконтролировать, чтобы он это делал грамотно.

Кузнецова. *И второй вопрос. Мне всегда представлялось, что при построении онтологических картин, или суждений об объекте как он есть на самом деле, возможны два варианта. Один реализуется в естественной науке, когда она отпочковалась от философии. Исходят из некоторых реалий или феноменов, вроде воды или электричества. После этого строятся некоторые теоретические представления, и возникает вопрос, как представить объект на самом деле. Происходит дифференциация представления объекта... Но, кроме того – и, возможно, вы скажете, что только так всегда и было – были и такие случаи, что проектировались где-то в другом месте онтологические картины, а потом они выдавались науке.*

Всегда так было. И не только онтологические картины, но и факты, и реалии, и план. Все делалось в философии и методологии.

Кузнецова. *Так вот мне казалось, что современное расширение ло-*

гических представлений связывалось именно с получением некоторых представлений, фактов, реалий о мышлении, которые должны были получить описание в логике. Например, из ваших статей можно понять, что ценность работ Лакатоса по истории науки состоит в том, что он указывает некоторые моменты, реалии в каком-то смысле, которые должны получить свое теоретическое описание и быть введены в сферу теоретических представлений. Точно так же я понимала роль анализа процессов решения арифметических задач и работ такого типа. Такие работы, как мне казалось, ставят своей задачей именно представление и фиксацию набора реалий, которые должны быть теоретически представлены. Но есть и другая возможность, когда где-то проектируется, каков должен быть объект, и науке остается только получать знания о нем. Однако мне казалось, что после Гегеля и Маркса этот натурфилософский подход зачеркнут...

При чем тут натурфилософский подход?

Кузнецова. Так это всегда и называлось натурфилософией – когда объект «как он есть на самом деле» задается науке извне, из философии.

Ничего подобного.

Но я вообще не понимаю ваших противопоставлений. Я утверждаю простую вещь: собственно научное мышление становится возможным после того, как расщеплены, дифференцированы и противопоставлены друг другу знание и объект знания. Далее я сказал, что мы, поставив перед собой задачу создания теории мышления, должны были, следовательно, произвести такое расщепление, поставить вопрос о том, что есть мышление, и особым образом его, мышление, описать. Мы должны были, говорю я, поставить такой вопрос, но мы его не поставили со всей необходимой резкостью. Почему? Потому что, хотя интенция на это у нас была, но средств для этого у нас не было, мы их только искали, имея эту интенцию. Вот все, что я сказал.

Кузнецова. Теперь я спрашиваю: ответ на вопрос, что есть мышление «на самом деле», вы будете искать в рамках логики или в рамках какой-то другой дисциплины?

Этот вопрос поставлен некорректно. Здесь «логика» употребляется в двух смыслах. В рамках прошлой, традиционной логики или в рамках будущей логики?

Кузнецова. В рамках будущей.

Но мы еще не знаем, что такое будущая логика. А каким путем на самом деле это будет делаться, я буду обсуждать дальше. Пока что я сказал, что для этого нужны онтологические категории.

– А в каком контексте шла речь о приеме двойного знания?

Шла речь о способе, и это задавало рамку, форму. Я знаю, как это делать в методологии, в логике же это надо еще суметь сделать. Мое знание, которое я должен буду построить, должно будет удовлетворять этой схеме двойного знания. Принцип двойного знания – это еще не метод. Метод – это совокупность принципов, знаний и т.п., которая дает возможность осуществить все шаги, необходимые для решения задачи.

Но даже если есть метод, это еще не значит, что можно решить задачу. Нужно еще иметь, реально иметь, средство.

– ...

А онтологические категории нужны, чтобы строить машину теории, уже в самой теории мышления. В методе я знаю, что мне нужно пользоваться приемом двойного знания, строить онтологическую картину и т.п. А когда я ее конкретно построю, она у меня будет элементом моего предмета.

– Так получается, что объект выделяется вне знания?

Нет, знание расщепляется на два знания: одно знание выступает как онтологическая картина и задает объект, другое выступает как собственно знание.

– ...

Я сформулирую это более точно. Мы, в общем, понимали все те задачи, о которых я говорил, и мы пытались это сделать, мы все время говорили о теории мышления и о мышлении. Интенция такая у нас все время была. Но сделать этого мы не могли. А не могли потому, что средств не хватало.

– А откуда вообще может быть известно, что нечто есть изображение объекта?

Это определяется по функции в процессе мышления. Изображениям такого рода приписывается как бы естественное изменение, при этом вопрос об их истинности не ставится, они выступают как квазиобъекты, а знания оцениваются по отношению к этим схемам-моделям.

В рамках моей мысли объект и знание таким образом функционально противопоставлены. Наташа [Кузнецова] выходила за эти рамки и спрашивала, откуда я взял изображение объекта, но на этот вопрос я отказался отвечать, поскольку это сейчас лежит вне рамок моей мысли.

– Но само противопоставление вообще не содержит предположения, что должна быть какая-то область, откуда вы такое изображение должны брать.

Конечно не содержит. Мы, например, не знаем, является ли свободное падение равномерным движением, равноускоренным или еще каким-

то. Этого до сих пор никто не знает, и этот вопрос даже не выясняют. Но когда Альберт Саксонский предположил, что можно его рассмотреть как равноускоренное движение, то дальше встал только один вопрос – как эту гипотетическую схему описать. А будет ли это соответствовать свободно-му падению – это математиков средневековья не интересовало. Это заинтересовало Галилея, и он приложил это все к эмпирии, но это была особая процедура. Галилей потом сами модели, заданные в схеме двойного знания, начал относить к эмпирии.

Костеловский. Но они же из эмпирии и возникли...

Ничего подобного. Это настолько вульгарное представление, что его даже обсуждать не стоит. Процедура, в которой Галилей начинает рассматривать онтологические схемы как знания, а не как онтологию, – это нечто иное.

Кузнецова. Дело в том, что противопоставление невозможно, если объект будет, так сказать, «выдавлен» из знаний. Противопоставление должно быть задано извне, и к этому относились мои вопросы. Здесь, фактически, сталкиваются две теории, а не объект и знание.

Это так, но вопросы твои некорректны, и ты дальше это увидишь.

– А если представить себе, что после последнего кружочка, который вы принимаете за объект, вы получите еще одно знание...

Такого нельзя предположить. Такая работа лежит вне описываемого акта исторической рефлексии. Для этого нужно сменить позицию, начать новую работу, и там не будет ничего того, что было здесь, в рамках исторического представления.

– А нельзя ли саму эту работу исторической рефлексии рассмотреть как получение нового знания, которое можно вписать в ту же цепочку?

Наверное, можно рассмотреть работу исторической рефлексии как получение нового знания, но тогда все равно нужно фиксировать перелом в процессе рассуждения и смену онтологических картин. Если работу представить так, как вы говорите, она будет не монопредметной, а полипредметной, и там будут другие законы.

– ...

Поскольку онтологии не было, наука – теория мышления – и не строилась, а, как справедливо говорит Зиновьев, писались предисловия к будущим наукам. Там же, где небольшие фрагменты теории мышления строились, это было возможно потому, что использовались фрагменты частичных онтологий по поводу мышления.

– А если нет науки, то каков статус предисловий?

Методология.

Итак, на описываемом этапе мы приняли естественнонаучную установку. Мы приняли ее от Гегеля через Маркса, и потому вместе с ней мы приняли принцип историзма, или исторического представления мышления, исторического подхода. Поэтому для нас самым важным было описать мышление как органический, исторический, развивающийся объект. И это обстоятельство было решающим. Критику формальной логики мы вели именно с этой точки зрения: мы показывали, что схемы формальной логики не могут задать исторического представления мышления. При этом мы еще заимствовали точку зрения, возникшую у Бэкона и Декарта, сформулированную Локком и оформленную у Канта, а именно точку зрения образования или происхождения знаний. Дело в том, что традиционная логика, давая схемы умозаключений и силлогизмов, не объясняла, как это показали Бэкон и Декарт, образования знаний. А мы считали, что мышление – это процессы образования знаний и употребления знаний. Кроме того, говорили мы, мышление развивается.

Таким образом, мы имели интенцию на процессы исторического развития мышления, на процессы образования и употребления знаний. Я здесь подчеркиваю слово «процессы». И, кроме того, начиная с 1962 года мы зафиксировали схемы воспроизводства и трансляции, т.е. процессы употребления и передачи знаний в обучении, процессы усвоения знаний. Мы, таким образом, фиксировали еще, по крайней мере, три процесса, наряду с умозаключением как процессом, и все это мы приписывали мышлению.

Костеловский. Только умозаключением мы никогда не занимались.

Мы занимались процессами рассуждения. Мы говорили о процессах решения задач. Как раз в «Аристархе» исследовался процесс рассуждения, и работа эта, как ты знаешь, возникла из полемики с Ветровым и Асмусом. Это был анекдотический случай, когда они утверждали, что схемы умозаключений и силлогизмов описывают научное рассуждение, а я вывесил в стенной газете во время конференции короткое рассуждение и попросил их дать мне представление его через умозаключение. Это было рассуждение Аристарха, первое, какое мне попало. Вот с чего началась эта работа. Так что мы занимались именно процессом рассуждения, и оппозиция была очень четкой: можно ли это рассуждение представить в схемах умозаключений. И рассуждение тоже рассматривалось как процесс. Наряду с тремя выделенными нами процессами: эволюцией или развитием мышления, образованием и использованием знаний, передачей и усвоением знаний. Вот четыре процесса, которые мы приписывали мышлению.

– А образование и использование – это один процесс?

Это взаимосвязанные процессы.

– ...

Уже в 1962 г. все это в целом было осмыслено.

– ...

В свете наших последних различий я бы назвал это не онтологическими, а онтическими представлениями. Или тем, что иногда называют идеологией. Причем, это – особая плоскость, функционально необходимая в мышлении...

Тут есть такая тонкость. Я говорю, что мы выделяли эти четыре процесса, но возникает вопрос, что такое мышление, которому эти четыре процесса приписывались. <...>

Эти процессы объединяет то, что мы относили их к мышлению. Но при этом не было ответа на вопрос, что есть мышление. Можно сказать, что мы все это интендировали на мышление, не интересуясь вопросом, можно ли это реально ему приписать. Мы таким образом это понимали, но наше понимание мы не реализовали в мыслительном конструировании.

Итак, возникает вопрос, что же это было за мышление, чем был тот объект, к которому мы относили – интендировали – эти процессы. Мышление было введено в философию логикой, в широком смысле, и мышление было ни чем иным, как рассуждением или умозаключением – до Декарта и Бэкона. Все, что фиксировала логика – суждения, умозаключения, отношения и пр., – все это были организованности мышления, обеспечивающие процесс умозаключения. А процесс умозаключения – это и было то единственное мышление, которое существовало в конструкциях.

Когда я сейчас рассказываю о процессах, то я все это осмыслю и осознаю с помощью категории системы. Я теперь перехожу к тому, каким же образом конструируется объект с помощью категории системы. Но сначала надо задать ситуацию, в которой мы реально работали.

– ...

У них не было никаких процессов. У них были умозаключения и единицы, заданные схемами, которые фиксировали умозаключения или рассуждения. А теперь я уже в своем языке говорю: суждения, умозаключения и пр. – это формы фиксации тех организованностей мышления, которые соответствовали процессу рассуждения или умозаключения. Теперь я спрашиваю: каким же образом задавалось мышление до Бэкона и Декарта? И отвечаю: организованностями, фиксированными в логике, и примысливанием соответствующего процесса, а именно процесса умозаключения или рассуждения. Никакого другого мышления не было и быть не могло. И это мышление не могло ни исторически развиваться или эволюционировать, ни существовать в процессах передачи, обучения и усвоения, ни давать образования знаний вне и помимо процессов умозаключения.

– А зачем все это? При чем тут система?

Это дает нам возможность понять структуру объекта и предмета, который был этим задан. Только категория системы дает мне возможность представить все это конструктивно и определить способ и форму существования.

– А на каком основании эта категория применяется, в чем оправдание этого?

Не нужно никакого оправдания, потому что мы говорим, что на сегодня это – высшая категория.

Категория системы связывает четыре слоя – процессы, функциональные структуры, организованности материала и морфологию. И теперь я спрашиваю: что такое единицы, фиксирувавшиеся в логике? И отвечаю: это не что иное, как организованности знакового материала, фиксирующие и нормирующие процессы рассуждения. Это организованности.

Аристотель и те, кто работали после него, работали только с двумя из четырех слоев категории системы – с процессом и с организованностями, опуская вторую и четвертую плоскости, а иногда отождествляя вторую и третью (т.е. функциональные структуры и организованности материала). А морфология у них вообще отсутствовала. Традиционные логические схемы интерпретировались то как процессы, то как организованности, а иногда как структуры. У Аристотеля и стоиков этого еще не было, но у Александра Афродизийского уже было.

– ...

Я сказал, что мы зафиксировали четыре процесса. Теперь я должен взять традиционную схоластическую точку зрения... <...>

И я говорю, что они видели в мышлении всего один процесс. Я говорю, что реально они должны были интерпретировать эти схемы на структуры, процессы и организованности. Если вы спрашиваете, могу ли я это подтвердить на истинность, я говорю, что могу – вторичной процедурой, вторичной по отношению к моей чисто искусственной конструкции, нужной мне для моей мысли, я могу подтвердить, что эта конструкция соответствует тому, что там, в истории, было. И я действительно легко найду тексты с интерпретацией мышления как процесса, как организованности и структуры. <...>

Итак, категория системы задает, в частности, критерии существования. Для того чтобы система существовала, она должна иметь все четыре слоя. А мышление задавалось в этой традиции только через три слоя... Мышление было умозаключением или рассуждением, с соответствующими ему функциональными структурами и организованностями материала. А морфологии у него не было.

Нужно понять еще вот что. До Александра Афродизийского логика существовала как система правил, или канон, и не должна была иметь никакой морфологии, так что такой подход здесь был бы неправомерен. Но когда возникло отнесение к некоему объекту, когда начали произво-

дить это расщепление и говорить, что эти схемы нормируют мышление, и стали представлять мышление, то мышление все равно задавалось через один процесс, соответствующие ему функциональные структуры и соответствующие этим функциональным структурам организованности материала. А морфологии не было. Представление мышления было таким, что в нем не было морфологии. <...>

Возможно, что не все корректно в том, что я говорю. Но важно вот что. Сначала мышление задавалось через один процесс. И поскольку этот один процесс был задан, логика оказалась законченной наукой. Но ведь другой полюс законченности науки – полная заданность ее объекта. Мышление было задано через умозаключение. Мышление и умозаключение были тождественными понятиями. И поскольку не было никаких других процессов, то можно было не говорить о морфологии. Но вот теперь, когда появляются другие процессы, которые фиксируются после Бэкона и Декарта, нужно изменить понятие о предмете и объекте, и тут должна появиться морфология.

– Понятие морфологии?

Не понятие морфологии, а морфология мышления. Мышление должно приобрести морфологию. И это происходит. Я не буду сейчас обсуждать, как. Это красиво описали Лекторский, Огурцов, Швырев и Юдин в статье «Философия» в «Философской энциклопедии».

Тут есть еще следующий интересный момент. Идеология того времени, с одной стороны, выдвигала на передний план момент искусственности, поскольку человек того времени был активен, но, с другой стороны, ему вместо Бога нужно было другое оправдание, и отсюда гипертрофия естественной точки зрения. И эта двойственность, этот парадокс развертывается через все Новое Время. С одной стороны, подчеркивается значимость активного действия, т.е. искусственная позиция. А с другой стороны, обосновывается это через ссылку на естественные процессы и необходимость в них входить. Поэтому вся философия этого времени переплетает искусственную и естественную точки зрения. Все это переплетается, и, по-видимому, лишь в двадцатом веке начинается распутывание этого клубка – наверное, в связи с принципиально иным положением человека, в частности, в связи с поляризацией людей на приспособляющихся и активных.

Итак, в связи со всем этим выходит на передний план проблема образования знаний. С другой стороны, после 1725 г., когда вышла работа Вико, возникает историческая ориентация...<...>. Выделяется второй процесс – процесс исторической эволюции. Вико утверждает впервые, что знания – продукт истории. И здесь завязывается клубок, который разворачивается далее у Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и Маркса. Можно считать, что в середине XVIII века возникает и точка зрения образования и обучения. И все эти процессы тоже приписываются мышлению. Кстати,

Тюрго определяет логику, вслед за Локком, как науку о суждениях и об образовании знаний. Этот процесс у него уже включен.

Итак, присутствуют все четыре процесса, и нужно все их слепить в одной картине мышления. Теперь нужна целостная картина мышления, объединяющая все четыре процесса с соответствующими организованностями. Новые процессы надо как-то соотнести с традиционным представлением мышления, т.е. представлением его как умозаключения в соответствующих логических схемах. И задачу соотнесения решает, в частности, Кант своим понятием формы и содержания мышления. Аналогичную задачу решают Тюрго и Кондорсе для исторической эволюции, точнее, они лишь ставят задачу, указывают способ решения, но не задают конструкции, а Фихте и Гегель объединяют эти две позиции, используя кантовское различие формы и содержания и пытаюсь соединить это со второй линией.

Мне важно, что здесь и появляется морфология. Все четыре процесса конституируют мышление, в отличие от традиционных схем, которые если и задавали мышление, то только через один процесс с соответствующими организованностями. И первый, синкретический способ связи – за счет категории морфологии: мы говорим, что для рассуждения морфологией являются все другие процессы и их организованности, а если мы выделяем процесс образования знаний, то для него морфологией будут все остальные процессы и т.д.

***Костеловский.** Как это для рассуждения может быть морфологией процесс образования знаний? Я не могу соотнести это с теми конкретными организованностями, которые мне известны.*

Я в предыдущем рассуждении разделил конструктивное задание мышления как предмета и мнимое, интендирующее, задание, когда мышление задавалось как «мешок», которому все эти процессы приписывались. Мы говорили «мышление», и реально, в понятии, мы могли иметь в виду только мышление, заданное логикой и ее схемами, фиксирующими процесс рассуждения. А в подразумевании мы имели в виду «мешок», т.е. нечто значительно большее, что предполагает все остальные процессы.

***Костеловский.** Тогда у вас само понятие системы оказывается «мешком»...*

Я же не говорю, что это было системное представление мышления. Как раз я задал досистемное представление мышления. Я так описал ситуацию, что показал, что в ней уже сложилась потребность объединить все это, реально поставлена задача синтеза, создания такого представления мышления, которое бы объединяло по крайней мере эти четыре процесса. Между тем, реально, конструктивно, мышление представлено в логических схемах, которые соответствуют только одному процессу. Значит, фактически, по задаче мышление трактуется как «мешок», но очень странный – он имеет одну конструктивную структуру, а именно – логическую.

– ...

У человечества была такая задача. И именно этим объясняется, в частности, то, что Кант был понят совершенно особым образом. Я готов принять, что Кант не решал задачу включения исторической эволюции знаний. Он решал лишь задачу объединения традиционных логических схем, фиксирующих умозаключение, с идеей генезиса. И ввел процедуру трансцендентальной дедукции категорий, а затем проинтерпретировал ее генетически, причем в особом понимании генезиса. И поэтому он называл эту процедуру генетической дедукцией. Но все последующие увидели в этом решение другой задачи, задачи объяснения исторической эволюции знаний; так это поняли все, начиная с Фихте и кончая Марксом. Поэтому Энгельс и написал, фиксируя это сознание, что Кант ввел в науку и философию развитие. Хотя у самого Канта такой задачи не было. Но все поняли так, потому что стояла такая задача. Все увидели в его расчленении формы и содержания красивое решение этой проблемы.

Итак, была логика, которая задала единицы мышления и особым образом понимала мышление – как умозаключение. Среди других интерпретаций, в рамках естественнонаучной ориентации, эти схемы интерпретировались на процесс рассуждения, на функциональные структуры и на материал текста – на предложения, в которых выделялись организованности материала, соответствующие этим функциональным структурам.

– И не было морфологии.

Например, не обсуждался вопрос о получении посылок, а это и было морфологией, и т.д. Но мне такое обсуждение не нужно. Мне нужно то членение, которое я ввожу.

Потом, в связи с другими идеологическими и социально-политическими задачами были выделены новые процессы: процесс образования и употребления знаний, процесс их исторической эволюции и их циркуляции в обучении. Эти процессы были также отнесены к мышлению. Об этом говорили в контексте происхождения знаний и в контексте прогресса разума. За всем этим была определенная идейная и идеологическая подоплека, но все это нашло отражение в формулировании научных и методологических проблем. Я не обсуждаю деталей (частично это сделано в моей диссертации – на том уровне осознания, который тогда был). Теперь я пытаюсь это осмыслить с помощью понятия системы. Я говорю, что сначала был задан один процесс. Потом были заданы другие процессы, была интенция, перешедшая в задачу синтеза. И теперь эту задачу решают все, вплоть до Черкесова и Митрофана Алексева, книжка которого «Диалектика мышления» есть попытка приложить идею развития к схемам формальной логики.

Костеловский. *А при чем тут система?*

Да система – это мое понятие. Там ничего не появляется. Я осмыслю все это через категорию системы. <...>

Дальше я не буду обсуждать историю, это тема специальной работы. Я сразу делаю прыжок к тому, с чего я начинал, к нашей работе. Когда мы начинали нашу работу в 1953–55 годах, мы начали решать эту самую задачу. Мы имели схемы формальной логики. Благодаря критике Гегеля и последующих мыслителей мы считали их неадекватным, неточным изображением мышления, но должны были к ним относиться, поскольку других конструктивных изображений не было. Мы исходили из того, что в мышлении существуют исторические процессы и они точно так же конституируют предмет, называемый мышлением, равно как и процессы образования и употребления знаний, и процессы передачи и усвоения знаний. Таким образом, мы фиксировали – и это основной результат нашей работы (результат в том смысле, что тогда мы это чувствовали, а сейчас мы это осознаем), – что мы исходим из множественности процессов, конституирующих то целое, которое называется мышлением.

– ...

Это же не мешок, это особое целое – предмет, фиксируемый данным множеством процессов.

Костеловский. Мы предполагаем, что так должно быть, или мы говорим, что так есть?

Так есть. Мы говорим это в следующей оппозиции. Античная и средневековая логика задавала мышление одним способом – процессом рассуждения. Мы, на нынешней стадии, задаем мышление множеством разных процессов, в нем протекающих. В отличие от них мы говорим: мышление это не только рассуждение, ибо мышление развивается, оно есть образование и употребление знаний, в мышлении есть процессы усвоения, ибо оно, мышление, существует в процессах воспроизводства и трансляции культуры. И все это есть мышление. И мышление, в его строении и структуре, есть отпечаток или организованность, заданная этими многими процессами. И, следовательно, мышление и должно быть представлено в своей теоретической картине как целое, конституированное связью и взаимопересечением всех этих названных процессов.

Костеловский. Здесь сразу возникает вопрос, почему вы считаете, что таково мышление, что оно такое есть. Может быть, соединение всех этих процессов невозможно, может быть, это – круглый квадрат.

Это уже вопрос темперамента. А если всерьез, то я только что рассказал, как возникла эта проблема, как она была поставлена. И, по моему убеждению, вся история новейшей философии, от ноологии Бэкона и Декарта, занята этой проблемой – проблемой синтеза четырех, пяти или ше-

сти процессов на материале мышления. И если вы хотите знать, чем занимаются гносеология, логика, эпистемология, методология начиная с XVII века и до сего дня, – то они занимаются только этой проблемой.

Костеловский. Я же спрашиваю, как можно сделать...

Это не вопрос, потому что, когда я это сделаю, я вам расскажу, как это можно было сделать. А так как я уже это сделал и поскольку я это сделал, я вам все рассказываю.

– ...

Этого всего я не буду рассказывать. Я ограничусь только одной вещью. Во-первых, как это ни странно, хотя задачка ставилась, она так и не была, на мой взгляд, осознана. А во-вторых, когда ее решали, то делали это идиотским способом.

Кузнецова. Вот если бы вы это показали...

Я это показал в диссертации и надеюсь более подробно показать в дальнейшем. Но меня сейчас не это интересует. Я просто говорю, что есть вот такая задача.

Кузнецова. Задача 1650 года.

И в равной мере – 1950-го.

Теперь я делаю следующий шаг. Если мы уже поняли, что в этом и состоит суть задачи, то теперь мы можем ее формулировать осознанно и очень четко. Теперь я обращаюсь к нашим работам и смотрю, что мы делаем и чего мы не делаем, хотя должны. Мы должны определить основные организованности, соответствующие этим процессам, и задать их как конституирующие мышление. Мы должны определить, иными словами, единицы, соответствующие названным выше процессам, конституирующим мышление.

– ...

Все так, но никто, тем не менее, не дошел до формулировки, что нужны принципиально новые единицы организации мышления.

Кузнецова. Я это и хотела сказать.

Фактически, нам сейчас нужно изменить самое глубокое, что осталось нам от традиции – представление о единицах мышления. Сначала надо отбросить такие единицы, как суждение, умозаключение и прочее, отбросить именно в отношении мышления, т.е. сказать, что мышление – это не суждения, не умозаключения, а нечто другое. Потом надо сказать, что мышление конституируется другими организованностями, соответствующими всем названным процессам. И после этого можно будет вернуться к суждениям и умозаключениям.

Во-первых, суждения и умозаключения – это только один тип единиц, соответствующий процессам рассуждения, а во-вторых, и в этих пределах они, эти единицы, к тому же неверно заданы, так что и единицы, соответствующие процессам рассуждения, должны быть представлены заново, причем так, чтобы они сочетались, соединялись с организованными, задаваемыми остальными процессами. Это означает полнейшую трансформацию и традиционных логических представлений.

– ...

Это действительно интересно. Фактически вы говорите следующее: достаточно ли такой формулировки задачи, какую я дал, для того чтобы очертить круг всех проблем при задании мышления как особого предмета изучения? Нет, отвечаю я, ибо придется решать множество побочных проблем: взаимоотношение языка и мышления, соотношение индивидуума и общества, взаимоотношение деятельности и мышления, восприятия и мышления – в психологическом варианте – и т.д., и т.п. Так что определение этого предмета включает множество побочных проблем. И эти проблемы мы все время обсуждаем. А ориентироваться надо на то, что я сказал сейчас: основная задача, определяющая все остальное и подчиняющая все остальное себе, это – задание той совокупности единиц организованностей, которые соответствуют выделенным процессам. Так я сейчас формулирую задачу.

– ...

Действительно, есть такой вопрос: какой процесс надо считать ведущим? Ведь мы будем использовать метод восхождения. Но здесь мы входим в сложный круг проблем системно-структурной методологии.

– ...

Трудно сказать, будет ли это логика. В какой-то мере это зависит от нашего произвола в назывании и от ситуации. Зиновьев говорил мне так: называй себя, как хочешь, но если ты будешь называть себя логиком, мы тебя уничтожим. Это уже проблема социальной жизни.

Исторически – на определенном этапе нашей деятельности мы отождествляли логику и теорию мышления и называли это логикой. Но все это уже вопрос о словах и о жизни в социальной ситуации.

– *Вы будете морфологией называть...*

Нет, не так. Я буду пользоваться для синтеза категорией системы, имеющей четыре слоя. При этом морфологию я буду развертывать в следующую четырехслойку и т.д. Такова техника синтеза.

Итак, мы уже имеем выделенный прошлой историей набор единиц. У нас есть, например, такие единицы, как категория, мы ввели такую единицу, как способ решения задачи, имеются такие единицы, как понятия,

предметы – научный предмет, проектный предмет, методический предмет. Есть целый ряд конструктивных предметов и т.д., и т. п. Задача теперь состоит в том, чтобы проанализировать все эти единицы и определить их конструкции. Нормы их взаимоувязывания задаются системно-структурной методологией.

А после того как все эти единицы заданы, мы сможем решать ту задачу, которую ставит Зиновьев – разрабатывать сам корпус логики.

Так мы и делали в работе о решении арифметических задач: мы задавали как единицу способ решения задачи, а потом проводили конкретное исследование.

Смысл и значение *

І. Введение в проблему: лингвистический и семиотический подходы в семантике

1. Специальный методологический анализ развитых естественных наук показывает, что работа в них характеризуется постоянным вниманием и интересом не только к объекту изучения, но и к тем средствам анализа, которые дают возможность этот объект «ухватить» и воспроизвести в знании [*Щедровицкий* 1958, 1964 а]. В силу этого мысль исследователя поляризуется и как бы фокусируется в двух разных «точках» – на объекте, фиксированном в знании, и на понятии, которое задает схему знания и реализуется в ней.

В абстрактном плане этот тезис принимается как достаточно очевидный. И точно так же не вызывает особых затруднений чисто теоретическое различие и противопоставление объекта изучения и средств анализа. Но в реальной практике работы исследователь всегда имеет дело не с объектами изучения как таковыми и не со средствами их анализа в чистом виде, а с конкретными знаниями, фиксирующими то или иное объективное содержание, и в знании эти два аспекта – аспект объекта и аспект средств – не просто теснейшим образом связаны между собой, а можно даже сказать – склеены, существуют как нечто одно, и разделить их как в вопросах, так и в ответах очень трудно, а без специальной техники анализа и просто невозможно. Поэтому в развитых естественных науках противопоставление объектов изучения и средств анализа может существовать и существует только благодаря сложной иерархизированной организации этих наук [*Щедровицкий* 1964 а, 1965 а, 1966 а; *Schedrovitsky* 1968; Пробл. иссл. структуры... 1967: 116-189] и специальной логической культуре самих исследователей.

2. Склеенность и неразделенность аспектов объекта и аспектов средств, характеризующая знание, отчетливо проявляется и в языковедении. Когда, к примеру, мы спрашиваем, что представляет собой лексическая система того или иного языка, каковы лексические значения одной или другой группы слов и как эти значения относятся к смыслу этих же слов в тексте, то это всегда вопросы не только по поводу объекта – каков он есть, но вместе с тем и вопросы по поводу используемых нами средств-понятий – что они собой представляют и могут ли они употребляться в анализе и описании *этих* объектов. Можно сказать, что в каждом из подобных вопросов содержится, по сути дела, два разных вопроса: один от-

* Переиздание статьи [*Щедровицкий* 1974 а].

носится к *этой* лексической системе, а другой – к *понятию* лексической системы, один – к значению *этого* слова, а другой – к *понятиям* значения и смысла, ибо в языковедческом исследовании именно общие понятия значения, смысла, лексической системы и т.п. являются теми средствами, которые дают нам возможность получать конкретные лингвистические знания.

Но эта двойственность всякого подобного вопроса и необходимых на него ответов отнюдь не всегда осознается и учитывается. Более того, на практике очень часто получается, что в своем стремлении «как можно скорее» познать и описать объект мы отодвигаем на второй план или вовсе не учитываем все, что касается наших собственных средств. Стремясь получить ответы на вопросы о строении лексической системы выбранного нами языка или лексическом значении определенного слова, мы мало размышляем над тем, откуда взялись сами понятия «лексическая система», «значение» и «лексическое значение», каково их *содержание* и неперемнная *категориальная форма*, забывая, что именно эти моменты предопределили наши вопросы в отношении изучаемых объектов и характер возможных на них ответов. В итоге мы слишком часто обращаем наши вопросы непосредственно на объекты, в то время как их нужно было бы сначала направить на наши средства, на используемые нами понятия и лишь после этого обратиться к испытаниям самих объектов.

3. Другая типичная ошибка, обусловленная той же самой наивно-онтологической ориентацией, состоит в том, что даже свои обращения к средствам, к чистым *понятийным конструкциям*, когда такое случается, мы часто осознаем и трактуем как *эмпирическое изучение* объекта.

Очень характерен в этом плане упрек, брошенный Л.Вайсгербером в адрес традиционной семантики: она, по его мнению, изучала изменения значений отдельных слов, но не изучала значения как такового [Weißgerber 1930: 18-19]. Само по себе это – неоспоримое суждение, и оно заставляет задуматься, но выводы из него должны быть, на наш взгляд, значительно более радикальными, нежели те, которые сделал Л.Вайсгербер (во всяком случае в методологическом плане): если мы в определенной ситуации «изучаем» изменения значений отдельных слов, то *не можем* «изучать» значение вообще, значение как таковое; последнее выступает в этой ситуации как общий *шаблон*, как *средство*, которое нужно нам, чтобы единообразным способом организовать изучение значений отдельных слов (и именно в этой функции должно осознаваться и присваиваться исследователем).

Если же ставить вопрос о происхождении подобных «общих шаблонов» и средств исследования, то придется сказать, что чаще всего они возникают в качестве *методологических схем* или *методологических понятий*, создаваемых нами в совсем ином *слое мыслительной работы* и по иным логическим нормам, нежели те, которые характерны для описания конкретных значений.

В ряде работ мы обсуждали, используя разнообразный материал, различные аспекты отношения между «знанием» и «методологической

схемой», превращающейся в «понятие-средство»: в уже названной выше работе [Щедровицкий 1958] было показано, как ситуация парадокса, т.е. противоречия между двумя знаниями об одном и том же объекте, заставляет исследователя обращаться к понятиям, на основе которых были получены эти знания, и трансформировать их таким образом, чтобы снять и преодолеть зафиксированную парадоксальность; в работе [Щедровицкий 1966 а] мы рассматривали, с одной стороны, условия образования собственно *методических положений* и *инженерных средств* (см. также [Розин 1967: 78-92]), а с другой стороны – условия и механизмы *инженерной* и *естественнонаучной объективации* этих средств (во многих случаях связанные также с «оестествлением», или «натурализацией», соответствующих предметов мысли); наконец, в работе [Щедровицкий, Дубровский 1967] были проанализированы *связи методических средств с научными и историческими знаниями* в системе кооперации методологической работы¹.

4. Столь резкое и бескомпромиссное противопоставление знаний, всегда отнесенных к тем или иным объектам (конкретно-эмпирическим или идеальным), и средств исследования, в частности методологических схем, организующих нашу исследовательскую деятельность, но не имеющих непосредственной связи с объектами изучения, с необходимостью приводит к вопросу: за счет каких мыслительных процедур получают или вырабатываются эти средства, методологические схемы и относящиеся к ним методологические знания, например в языковедении, и каким образом обеспечивается их познавательная мощь и эффективность.

Если оставаться в рамках указанных выше ситуаций *предметной исследовательской деятельности* (ср. [Щедровицкий 1964 а; Пробл. иссл. структуры... 1967: 116-173]), то ответ может быть только один: все эти схемы конструируются в языковедении соответственно их *функции быть средствами получения знаний* о конкретных рече-языковых явлениях. Следовательно, нельзя говорить, что методологические схемы, а дальше понятия, к примеру «смысл» и «значения», не связаны с эмпирическим материалом, характеризующим отдельные смыслы и значения; такое утверждение было бы неверным. Но точно так же нельзя говорить, что понятия «смысл» и «значение», выступающие в этой ситуации в роли средств, позволяющих строить конкретные знания об отдельных смыслах и значениях, получают путем абстрагирования или обобщения чего-то заключенного в эмпирическом материале, характеризующем эти смыслы и значения. Связь схем и понятий «смысл» и «значение» с этим материалом является *телеологической*, она подобна той связи с материалом, которая име-

¹ Уже после того как эта статья была написана, мы познакомились с очень интересной и тонкой работой Б.С.Дынина, в которой демонстрируется специфически методологическая и конструктивная природа галилеевского закона инерции и показывается, что первоначально по своему происхождению этот закон не мог иметь никаких эмпирических референций [Дынин 1972: 45-53].

ется у всех орудий: колесо является круглым *не потому*, что оно выражает свойство, абстрагированное у какого-либо предмета, а *для того*, чтобы оно могло катиться по дороге. И точно таким же образом детерминируются свойства всех инженерных конструкций; вопрос «почему» является для них вторичным, а главными и определяющими являются вопросы «зачем» и «для чего». Именно в этом плане мы можем говорить, что методологические понятия «смысл» и «значение» являются *конструктами*, что они нами конструируются в соответствии с их функцией в познавательной деятельности.



Рис. 1

В наглядной форме это отношение между методологическими схемами, знаниями и эмпирическим материалом, характеризующим жизнь отдельных значений, представлено на рис. 1.

Самым важным здесь является то, что знания о конкретных смыслах или значениях определяются не только и не столько эмпирическим материалом лингвистики, сколько методологическими схемами

анализа этого материала: можно сказать, что эти схемы-средства (а дальше понятия) «смысл» и «значение» *управляют* образованием знаний о конкретных смыслах и значениях.

5. Другим не менее важным моментом является то, что изучение и описание конкретных смыслов и значений на базе и с помощью методологических схем (а затем понятий) «смысл» и «значение» само по себе не делает и не может сделать каких-либо вкладов в развитие и совершенствование самих этих схем и понятий. Единственное, чего мы здесь можем достичь, это *опровержения* используемых нами схем и понятий, если значительная часть наших конкретных описаний окажется неудовлетворительной и если к тому же мы сами будем настолько прозорливыми, что увидим за этим неудовлетворительность используемых нами средств (ср. [Щедровицкий 1958])².

² Ту объективную структурную связь всякого научного мышления и исследования, которую мы выражаем в оппозиции «знания» (всегда ориентированного на тот или иной объект) и «средства», Т.Кун частично схватил и выразил (к сожалению, в синкретической склейке со многими другими моментами социологического и психологического порядка) в понятии *парадигмы*, или *образца* [Kuhn 1962]. Используя это понятие, Т.Кун различил научное исследование, осуществляемое при фиксированной парадигме и не затрагивающее ее – *нормальную науку*, и работу, приводящую к свержению существующей парадигмы, к замене ее новой – *революционную науку*. Такая постановка вопроса привела к дискуссии: можно ли, не нарушая реальности исторических фактов, провести четкую грань между «нормальными» и «революционными» процессами в науке, «нормальной» и «революционной» исследовательской работой [Criticism... 1970]. Недостатком дискуссии, на наш взгляд, было то, что в ней не различались в достаточной мере (1) *исторические процессы в науке*, (2) *ситуации отдельного научного исследования*, и это привело к нечеткости в постановке исходной проблемы;

Именно в этой (и именно таким образом понимаемой) ситуации в полной мере действует *принцип фальсификации* К.Поппера (см. [Popper 1959], а также [Criticism... 1970; Лакатос 1967]). Но нам сейчас важен другой поворот, другое, чуть ли не обратное употребление этого принципа: что бы мы ни делали в анализе конкретных смыслов и значений (повторяем, именно в такой упрощенной ситуации), это ровно ничего не прибавит к нашим понятиям «смысл» и «значение».

6. Все сказанное выше ни в коем случае нельзя понимать так, что конструктивное происхождение понятий «смысл» и «значение» обрекает их и дальше всегда быть *безобъектными* и совершенно исключает возможность собственно научного изучения смысла и значения вообще и их эмпирического изучения в частности. Утверждается лишь, что смысл вообще и значение вообще не могут выявляться и изучаться *на том самом эмпирическом материале и в той самой действительности*, в которой существуют и изучаются отдельные конкретные смыслы и значения. Нельзя забывать, что понятие средства является *функциональным* и характеризует лишь способ существования каких-то содержательных выражений в более широкой системе. Поэтому понятия «смысл» и «значение» могут рассматриваться в качестве средств анализа лишь в отношении к конкретным смыслам и значениям, и точно так же лишь на этом этапе конструктивного порождения их содержание задается употреблением их как средств, т.е. инструментальным отношением к эмпирическому материалу и к знаниям, характеризующим конкретные смыслы и значения. Но затем, когда понятия «смысл» и «значение» уже созданы как методологические схемы, когда они начинают употребляться и в связи с этим употреблением конструктивно развертываются в логике *средств описания* конкретных смыслов и значений, неизбежно встает вопрос об их *онтологическом статусе*, о форме и способе объектного существования того содержания, которое в них зафиксировано и непрерывно подтверждается и умножается в каждом новом употреблении схемы или понятия при образовании знания.

Так, к примеру, «скорость движения тела» первоначально – лишь отношение численных значений пути и времени, средство сравнить между собой два движения, совершавшихся в разных местах и в разное время

кроме того, над многими исследователями по-прежнему довлела классическая схема линейного развертывания истории и они хотели упорядочить нормальные состояния и революции в науке по этапам, или фазам исторического потока. Но даже если мы отвергнем возможность четкого разделения «нормальных» и «революционных» процессов в истории науки, это не помешает нам выделить две разные ориентации в организации и проведении конкретных научных исследований: одну – направленную на получение знания об объекте при фиксированных средствах и другую – направленную на критику и изменение самих средств. Выбор той или иной ориентации будет определяться ценностями каждого отдельного учебного, его научной идеологией и философскими воззрениями. А в науке как целом эти два типа исследований будут развертываться и идти параллельно (часто на одном и том же материале, хотя и в разном историческом времени).

(см. [Щедровицкий 1958]), но затем мы ставим вопрос, в чем сущность «скорости», что именно в объекте она фиксирует и выражает. И точно так же «масса тела» возникает первоначально как отношение численных значений силы и ускорения тела, вызванного действием этой силы, как средство сравнения «сопротивления» разных тел действию силы, но затем мы ставим вопрос об объективной сущности этой характеристики и находим ее в таком свойстве тел, как их «инерциальность» (см. [Мах 1909; Овчинников 1957; Джеммер 1967: 56-65]). Но нечто подобное происходит и со всеми другими средствами-понятиями: эффективное употребление их в какой-то определенной предметной области вызывает соблазн – и он вполне оправдывается успехами существующих наук – *объективировать* их, сделать *моделями*, найти или на худой конец сконструировать для них *идеальные объекты* и этим объектам приписать «естественные» (или «псевдоестественные») законы жизни, чтобы они могли существовать подобно эмпирическим объектам нашей практики, и таким образом превратить методологические схемы и предписания в *описания* и тем самым в *знания* (в прямом и точном смысле этого слова). И если это удалось сделать естественным наукам с понятиями «движение», «работа», «теплота», «энергия» и т.д., то почему, спрашивается, нельзя надеяться на успех этой же процедуры с понятиями «смысл» и «значение». Важно только уяснить, что этими объектами будут *идеальные объекты* и их *действительность* первоначально будет лежать совсем в ином плане, нежели действительность конкретных смыслов и значений – на нашей схеме (рис. 2) она лежит перпендикулярно к последней – и эта новая действительность потребует для своего описания совсем особого научного предмета (ср. [Щедровицкий 1969]), характеризующегося среди прочего также и своим особым эмпирическим материалом.

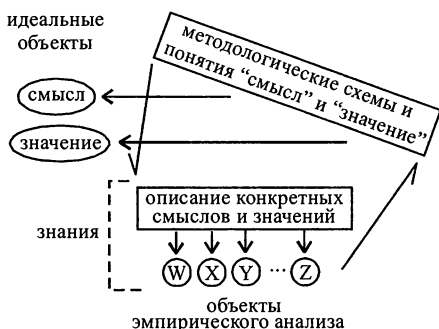


Рис. 2

этой же процедуры с понятиями «смысл» и «значение». Важно только уяснить, что этими объектами будут *идеальные объекты* и их *действительность* первоначально будет лежать совсем в ином плане, нежели действительность конкретных смыслов и значений – на нашей схеме (рис. 2) она лежит перпендикулярно к последней – и эта новая действительность потребует для своего описания совсем особого научного предмета (ср. [Щедровицкий 1969]), характеризующегося среди прочего также и своим особым эмпирическим материалом.

7. В этом месте мы подошли к одному из наших важнейших утверждений. Задание особой идеальной действительности, в которой существуют смыслы и значения вообще, конструирование модельных изображений этих сущностей, трактуемых теперь в качестве объектов особого рода, установка на эмпирическую проверку этих изображений, а значит, и на исследование самих этих объектов – все это, как и в других областях инженерии и науки, приводит к тому, что средства языковедческого анализа конкретных смыслов и значений *выделяются* из исходного *языковедческого предмета* и начинают разворачиваться (теперь уже как знания) в рамках другого (*методологического или собственно научного*) предмета.

Непосредственным стимулом к выделению и оформлению новых предметов такого рода служат «метафизические» вопросы: что такое смысл вообще и что такое значение вообще, где и по каким законам они существуют, – к ним в конце концов приводит всякое языковедческое изучение семантики различных языков независимо от рамок выбранной концепции. Но так как все эти вопросы встают непосредственно в контексте лексикографического и синтаксического анализа и ответы на них, как представляется, могли бы оказать существенную помощь в организации и проведении этой работы, то обычно не выделяют того момента, что по своему характеру эти вопросы таковы, что выталкивают исследование, отвечающее на них, далеко за пределы не только лексикографии, лексикологии и синтаксиса, но и вообще за пределы лингвистики.

Но положение именно таково: все эти вопросы могут быть поставлены в рамках традиционной языковедческой, и в частности лексикографической или синтаксической, работы, и они там были поставлены, но получить на них ответ в предмете лингвистики в принципе невозможно; для этого нужна другая дисциплина, с иным подходом к предмету, с иными средствами и методами анализа. Так в области того, что традиционно называлось «семантикой», появляются две существенно разные дисциплины – «лингвистическая семантика» и «семиотическая семантика», – которые жестко разделены между собой если не китайской стеной, то, во всяком случае, весьма отчетливой границей, и всякий переход через эту границу должен четко фиксироваться и осознаваться, ибо жизнь и работа каждой из этих дисциплин требуют своих особых средств и особых методов³.

И до тех пор, пока это не будет понято, нам не удастся организовать эффективных разработок, отвечающих на вопросы общего порядка: что такое «смысл», «значение», «знак», каковы основные типы значений, как они функционируют в речевой деятельности людей и каким законам подчинено их развитие.

Именно по этому пути разделения и иерархизации своих научных дисциплин идет сейчас или, во всяком случае, пытается идти наука о речи-языке. Но ее развитие затрудняется и во многом сковывается тем, что в

³ Возникая и складываясь первоначально как *система методологических средств* языковедческого предмета, семиотика и после того, как она оформляется в *самостоятельный предмет*, сохраняет по отношению к языковедению эту функцию средства и управляющей системы. Но то обстоятельство, что теперь она выступает в качестве особого научного или методологического предмета, ориентированного на определенный объект, ставит ее *в один ряд* с языковедением и заставляет соотносить эти два предмета не только через отношение управления, но также через их объекты и эмпирический материал. Вся проблема переводится в чисто онтологический план – отсюда вопрос, является ли речь-язык *знаковой системой* (см. [Язык как... 1967]), а после положительного решения ее, когда речь-язык *объявляется особым видом знаковых систем*, начинается работа по интегрированию и объединению обоих предметов в рамках одного, более широкого предмета, и происходит «сплющивание» понятий со знаниями (являвшимися первоначально лишь *продуктами* этих понятий) на базе *единой онтологии* и в рамках одной *теоретической системы*.

идеологии и методологии самого языковедения до сих пор не было выработано и не сформировалось отчетливого понимания различия между *действительностью знаний* и *действительностью средств-понятий*. До сих пор ведущие лингвисты – как теоретики, так и методологи – не понимают и не хотят признать того, что если мы хотим строго научно исследовать системы лексических значений различных языков, если мы хотим разделить, к примеру, семантические и синтаксические компоненты лексических значений, если мы хотим провести какой угодно анализ смысла или значения какого-либо слова, то во всех этих случаях должны предварительно сконструировать – именно сконструировать, а не исследовать – методологические схемы и понятия «смысл», «значение», «семантическое значение» и т.п., а это значит также (и притом в первую очередь) построить и задать те онтологические картины и модели, в рамках которых могут быть развернуты эти схемы и понятия.

Именно этой установкой, осознанной и возведенной в принцип, отличается наш подход к проблеме смысла и значения; если в других семиотических и собственно лингвистических работах ставится задача исследовать на эмпирическом материале разнообразные лексические и синтаксико-морфологические значения, то мы, наоборот, подчеркиваем необходимость предварительно сконструировать *понятия смысла и значения*, причем сконструировать их так, чтобы они могли служить средствами при анализе и описании конкретных смыслов и значений, а из этого следует, что на передний план мы выдвигаем саму *конструктивную процедуру*, составляющую ядро научного исследования, и настаиваем на правильном и последовательном осуществлении ее ⁴.

⁴ В этом, собственно, и состоит суть разногласий между двумя семиотическими направлениями, развивающимися в нашей стране (если принять членение на два направления, декларированное Ю.В.Рожественским [*Рождественский* 1967]). Представители так называемого «структурального» направления [Симпозиум... 1962; Труды... 1965-73: II-VI] почти совсем не рефлектируют по поводу используемых ими понятий-средств и совсем в принципе не допускают того, что разработка и развитие средств могут вылиться в *особое* научное исследование и породить свои *особые* научные предметы. Именно поэтому в поиске средств и метода семиотических исследований они обращаются к тому единственному, что им хорошо известно и чем они владеют, – к лингвистике {«Бесспорно, что всякая знаковая система (в том числе и вторичная) может рассматриваться как особого рода язык... Отсюда вытекает убеждение, что любая знаковая система в принципе может изучаться лингвистическими методами, а также особая роль современного языкознания как методологической дисциплины» [Труды... 1965: 6]} и просто не могут понять методологической трактовки семиотики как конструктивно разрабатываемой системы средств {«... каждое конкретное описание той или иной знаковой системы обогащает наше представление о сущности знаковости, – сказано в программном заявлении структуралистского направления. В этом смысле можно высказать сомнение в плодотворности противопоставления некой «чистой» семиотики (мыслимой недостаточно конкретизированно как синтез лингво-логико-психологических представлений о знаке) – описаниям и изучением знаковых систем, реально данных в истории человеческих взаимоотношений» (Там же, с. 5)}. Нетрудно заметить, что возражения против «чистой» семиотики основываются на одном-единственном постулате: конкретные описа-

II. Две ориентации в анализе смысла и значений знаковых выражений – «натуралистическая» и «деятельностная»

1. Изложенная выше установка, критическая и весьма радикальная по отношению к языковедческой традиции, не является чем-то совершенно новым для философии и логики. «Логос» Аристотеля, «лекта» стоиков, «интенции» и «суппозиции» средневековых схоластов, «концепт» Абельера и «понятие» Гегеля – все это, по сути дела, разные попытки ввести ту идеальную действительность, в которой могли бы существовать, изменяться и преобразовываться «смыслы» и «значения». И позднее многие исследователи, в рамках этих действительностей и вне их, пытались создать такую рациональную конструкцию «смысла» и «значений», которая представила бы их в виде особых идеальных объектов и позволила бы нам изучать их строго научно. Но ни одному из них (в том числе Г.Фреге, Д.Гильберту и Ч.Моррису) не удалось решить этой проблемы, и поэтому до сих пор ни в логике, ни в эпистемологии, ни в семиотике не существует понятий смысла и значения, несмотря на то, что все признают их исключительную важность и даже ключевую роль во всех названных дисциплинах (ср. [Weißgerber 1930: 43])⁵.

2. Такой результат вряд ли можно считать случайным. Но если он, наоборот, закономерен, нужно перевернуть всю проблему и искать основные причины и источники столь устойчивых, постоянно повторяющихся злословий анализа, нужно найти тот слой мыслительных средств, которые их вызывают и изменение которых, напротив, могло бы сдвинуть дело с мертвой точки.

На наш взгляд, эта причина и источник заключены прежде всего в бедности того категориального аппарата, с которым мы подходим к исследованию знаков. А она, в свою очередь, обусловлена той онтологией и теми формами видения мира, которые принято называть «натурализмом», и недостаточной разработанностью альтернативной, «деятельностной» картины мира.

ния знаковых систем сами собой приводят к развитию средств описания («обогащают наше представление о сущности знаковости»), и поэтому достаточно усомниться в его очевидности, чтобы в корне подорвать подобный способ аргументации.

⁵ Конечно, чтобы сделать эти утверждения убедительными, нужно систематически изложить и детально проанализировать все основные попытки ввести понятия смысла и значения, зафиксированные в истории, описать приемы и схемы абстракции, лежащие в их основе, и далее – показать те парадоксы, к которым приводит пользование этими понятиями, и объяснить их, описав несоответствия между самим объектом и применяемыми к нему средствами анализа; весь этот материал оправдывал бы затем те принципы методологии и конкретные представления об объекте, которые мы выдвигаем взамен существующих. Но вместить все это в рамки одной статьи невозможно физически, и поэтому в этой части статьи мы ограничились предельно кратким и совершенно догматическим изложением некоторых основных идей и принципов нашего подхода, рассчитывая в дальнейшем, когда представится возможность, опубликовать и всю критическую часть нашего исследования.

В других словах, основной недостаток всех предложенных до сих пор подходов в исследовании знаков (в частности, их смыслов, значений, значимостей и «содержаний») заключается, по нашему убеждению, в том, что не учитывается принципиальное отличие их как объектов и предметов изучения от всех других предметов, в исследовании которых естественные науки достигли к настоящему времени известных успехов; в результате все существующие концепции знака и речизыка как знаковой системы дают недопустимо переупрощенное представление о них и делают невозможной разработку новых эффективных методов исследования.

3. В частности, во всех теоретических подходах к знаку до сих пор совершенно отсутствовал анализ *конструктивно-нормативной работы*, порожденной специфическими условиями и механизмами *воспроизводства деятельности*, и ее влияния на различные аспекты существования знака ⁶.

Этот момент может казаться удивительным, так как в самом языковедении конструктивно-нормативная работа всегда преобладала над другими. Но такова уж сила теоретических предрассудков: гипноз естественнонаучного подхода, возобладавшего с начала XIX столетия, с его представлениями объекта изучения как *объекта созерцания* и общим невниманием к процессам и механизмам деятельности ⁷, заставлял и заставляет лингвистов закрывать глаза на практику собственной работы, на то бесспорное обстоятельство, что они сами *строят и преобразуют* язык, стремясь *управлять его развитием* (см. [Щедровицкий 1969]).

4. Одним из существенных следствий неуместного употребления «натуралистической идеологии» в лингвистике, логике и семиотике явилось смещение «значений» либо со «смыслами» знаковых выражений (и далее – с их психологическими производными), либо с «содержаниями» знаний, зафиксированных в знаковых выражениях, – с означаемыми, денотатами, десигнатами, операциями и т.п. Напротив, анализ разных видов деятельности, внутри которых создается и живет язык, в том числе конструктивных видов деятельности, впервые дает основание для анализа знаков объективными методами и позволяет различить и четко определить их «смыслы» и «значения», противопоставив их «содержаниям» знаний.

⁶ Основные представления о деятельности и механизмах ее воспроизводства изложены в работах [Щедровицкий 1966 а, 1967 а; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967; Щедровицкий 1970 а; Генсаретский 1970].

⁷ Ср. это с исходными утверждениями К.Маркса в «Тезисах о Фейербахе»: «Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и феербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме *объекта*, или в форме *созерцания*, а не как *человеческая чувственная деятельность, практика*, не субъективно...» [Маркс 1955 б: 1].

III. Структура знака с деятельностной точки зрения – смыслы, значения, знания

Понимание сообщения и смысл

1. Рассмотреть «смыслы» и «значения» с деятельностной точки зрения – это значит прежде всего ввести и изобразить в соответствующих схемах такие *системы деятельности* (или *системы, принадлежащие к деятельности*), относительно которых «смыслы» и «значения» являются *элементами и частичными организованностями*; это даст возможность выводить затем *функции и основные характеристики строения* этих элементов, исходя из наших представлений о *процессах и механизмах функционирования и развития систем деятельности*.

Действуя согласно этому принципу, предположим на первом этапе анализа, что для «смысла» такой системой, принадлежащей к деятельности, является *система акта коммуникации* (схема 3), включающая: (1) *действия* первого индивида в некоторой «практической» ситуации, (2) *целевую установку*, делающую необходимой передачу определенного сообщения второму индивиду, (3) *осмысление* ситуации с точки зрения этой целевой установки и построение соответствующего *высказывания-сообщения-текста*, (4) *передачу* текста-сообщения второму индивиду, (5) *понимание* текста-сообщения вторым индивидом и *воссоздание* на основе этого некоторой *ситуации возможного действовани*, (6) *действия* в воссоздаваемой ситуации, соответствующие исходным целевым установкам второго индивида и содержанию полученного им сообщения.

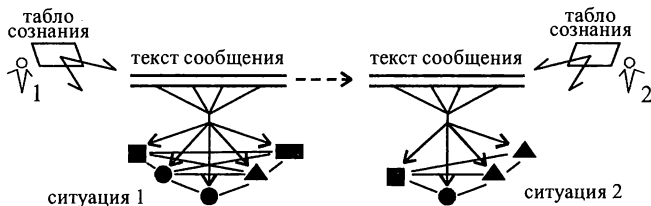


Рис. 3

Все перечисленные моменты достаточно очевидны и вряд ли кто-нибудь скажет, что они не должны входить в акт коммуникации; другое дело – являются ли они основными в интересующем нас плане и дают ли достаточно полное представление об акте коммуникации в целом? Но вводимая нами схема и не претендует на это; она призвана лишь *указать* на рассматриваемую объектную область, примерно очертить ее границы, а сама система и структура акта коммуникации остаются пока *открытыми* и могут разворачиваться как интенсивно, так и экстенсивно.

Для нас существенно лишь то, что пока эта схема не включает «смыслы» – ведь они не являются непосредственно фиксируемыми «со стороны» моментами акта коммуникации, – и, следовательно, мы должны будем проделать еще специальную работу, чтобы, исходя из уже перечис-

ленных или вновь добавляемых моментов, ввести их изображения. При этом, естественно, нам придется затронуть и обсуждать вопрос, *что есть «смысл» и как он существует в деятельности.*

2. Обыденное употребление слов «понимает» и «смысл» наталкивает на то, чтобы определить «смысл» как *то, что понимается нами при прочтении текста*; и многие исследователи прямо переносят это представление из обихода в науку⁸; тогда оно мыслится в ряду подобных же определений: «то, что воспринимается», «то, что преобразуется», «то, что получается» и т.д., и «смысл» в силу этого выступает либо как *предмет понимания*, либо как его *продукт*.

Однако такое определение «смысла», совершенно естественное, само собой разумеющееся и, как представляется, схватывающее суть, на деле оказывается *мнимым*: оно не имеет ни операционального, ни онтологического содержания. Это становится совершенно очевидным как только мы задаем вопрос: что же понято нами в том или ином тексте? Когда пытаются ответить на него, то строят *новый текст* или какое-либо *изображение*, которые должны выразить «то же самое», что было выражено в исходном тексте. И нам остается одно из двух: либо объявить эти вторичные тексты и изображения *самим смыслом* (игнорируя при этом совершенно очевидные соображения, показывающие, что это не так⁹), либо же признать «смысл» такой сущностью, которая может только пониматься и никогда не может быть представлена в специальных, моделирующих и понятийно фиксирующих ее знаниях.

Эти затруднения, возникающие при попытках научно зафиксировать и описать «смысл» исходя из актов понимания, объясняются в первую

⁸ «Смысл – это то, что мы схватили, чтобы *понять* выражение, когда нам его сказали. С другой стороны, значение выражения нужно еще открывать посредством эмпирического исследования или каким-либо иным путем – и это необходимо помимо того, что у нас есть знание языка; можно – и это весьма вероятно – понимать выражение, но не знать его значения» [Churh 1943: 301] (ср. также [Щедровицкий 1965 b; Jacobson 1959: 62]).

⁹ В частности, при таком подходе почему-то не обращают внимания на то, что вторичные тексты и изображения сами должны быть поняты, и «смысл», по исходному определению, есть то, что мы понимаем, читая их, и поэтому правильно было бы говорить, что «*смысл*» *исходного текста есть то, что мы понимаем при чтении второго текста или изображения* (поскольку мы с самого начала постулировали, что смыслы их тождественны). Но эти теоретически очевидные соображения не принимаются во внимание, и на вопрос, в чем смысл исходного текста, просто отвечают вторым текстом или изображением. Во многих практических ситуациях, например при толковании текстов, переводе с одного языка на другой и т.п., этого вполне достаточно, как способ работы в определенных ситуациях такая практика, следовательно, вполне оправдана, но она ровно ничего не дает нам для выявления смыслов как таковых и задания понятия «смысл». Поэтому ошибка здесь состоит не в том, что так работают, а в том, что из этой практики работы пытаются выводить собственно научные представления. Такими же, лишь имитирующими форму научного знания, конструкциями являются и все определения следующего рефлексивного уровня, вводящие «смысл» в качестве *инварианта синонимического перефразирования* (см. [Jacobson 1959: с. 62; Жолковский и др. 1961; Мельчук 1974: 11]).

очередь тем, что понимание как таковое не является *продуктивной деятельностью* и поэтому «смысл» не может рассматриваться и трактоваться по схеме предметов и продуктов понимания.

Не снимает всех этих затруднений и попытка рассмотреть понимание как *переход от текста к ситуации*: ведь ситуацию, взятую в наборе ее основных вещественных элементов, никак нельзя считать продуктом понимания; и даже если предположить, что ситуация является мысленной и потому – идеальной, то все равно мы должны будем рассматривать ее как порождение мышления, а отнюдь не как порождение чистого понимания (см. [Щедровицкий, Якобсон 1973]). И точно так же, если определять процесс понимания как *переход от ситуации к тексту*, то опять-таки текст будет продуктом мышления и речевой деятельности, а не понимания как такового, хотя понимание, бесспорно, будет участвовать на каких-то ролях в образовании текста.

Итак, «действительность» ситуации, которую мы восстанавливаем по тексту, является продуктом практической деятельности и мышления (вместе со всем тем, что в них входит и их обслуживает); эта «действительность» фиксируется в *знаниях*, вплетенных в деятельность, и может рассматриваться в качестве их *содержания*; более узко и более точно – эта действительность выступает в качестве «содержания» того знания, которое обеспечивает *связь мышления с практической деятельностью* и которое как бы снимает их в себе. Когда мы понимаем текст, то параллельно и одновременно мы мыслим и вырабатываем знания, которые переводят то, что мы понимаем, в форму «содержания»¹⁰, а затем, когда мы начинаем действовать, – в форму «действительности» нашей деятельности.

Но из того, что мыслительная деятельность и понимание разворачиваются одновременно, параллельно и в тесной связи друг с другом, нельзя делать вывода, что они совпадают или что понимание производит то, что на деле является продуктом мыслительной деятельности; повторяем, понимание, пока оно не стало особым видом деятельности, непродуктивно и само по себе не порождает и не может породить «смыслы». Но тогда,

¹⁰ Нередко, когда говорят о «смысле», реально имеют в виду и подразумевают «содержание знаний»; в частности, именно так чаще всего употребляют слово «смысл» А.К.Жолковский и И.А.Мельчук. Конечно, если бы речь шла только о том, как назвать одинаково выделяемое всеми явление, то по этому поводу вообще не стоило бы спорить, но здесь, как это следует из всего изложенного выше, встает вопрос, затрагивающий само существо дела. И поэтому, в принципе, необходимо подробно описать и объяснить, как происходит и чем обусловлена такая подмена смысла содержанием. Не имея возможности обсуждать все это в деталях, мы отметим лишь два момента, на наш взгляд, наиболее существенных: во-первых, сами знания формируются на том же самом материале, который охватывается пониманием, и в силу этого нередко они *заменяют* понимание, а во-вторых, процессы понимания, в особенности у исследователей, *организуются* знаниями и идут так, как того требуют знания. Именно эти два момента в первую очередь приводят к тому, что в процессе понимания очень часто приходят к тому, что уже знают, а исследователи склонны отождествлять смысл с содержанием.

спрашивается, что такое «смысл», как он получается (или создается) и как связан с актами понимания.

3. Основная гипотеза, которую мы выдвигаем, отвечая на эти вопросы, состоит в том, что на уровне «простой коммуникации»¹¹, представленной на схеме 3, *не существует никакого «смысла», отличного от самих процессов понимания, соотносящих и связывающих элементы текста-сообщения друг с другом и с элементами восстанавливаемой ситуации.*

То, что соотносится и связывается в процессе понимания, то и понимается; поэтому, характеризуя «простую коммуникацию», можно сказать, что мы понимаем какие-то элементы текста или текст в целом, можно сказать, что мы понимаем место и роль тех или иных элементов ситуации или же ситуацию в целом, но нельзя сказать, что мы понимаем смысл текста или смысл ситуации; все выражения такого рода для индивидов, объединяемых актом «простой коммуникации», либо являются неправильными, либо несут совершенно иное содержание.

По сути дела, то, что мы сказали, равносильно утверждению, что *«смысла» не существует, а существуют лишь процессы понимания.* И мы настаиваем на том, что это утверждение истинно, но не вообще (как это трактовалось бы при натуралистическом подходе), а только для *мест*, связанных «простым» актом коммуникации. В рамках деятельностного подхода, следовательно, сделанное нами утверждение, по сути дела, содержит в себе указание на то, что «смысл» *появляется или должен появиться* дальше – *в более сложных системах деятельности и на каких-то других местах*¹².

Таким местом, на наш взгляд, является *место исследователя*, находящегося *вне* исходного акта коммуникации и вынужденного каким-то образом *оперировать* с процессами понимания при структурном или морфологическом описании *других* моментов акта коммуникации – мышления, деятельности, речи, текстов, языка и т.п. (рис. 4). И хотя ему в акте коммуникации противостоят *процессы* понимания и нет ничего такого, что мы привыкли понимать под словом «смысл», этот исследователь говорит именно о

¹¹ Выражение «простая коммуникация» обозначает в этом контексте особый *идеальный объект*, сконструированный в соответствии с принципами исследования сложных системных объектов *методом генетического восхождения* (см. [Щедровицкий 1958–60, 1967 а; Зиновьев 1954; Zinovjev 1958]). Этот идеальный объект ни в коем случае нельзя трактовать как результат *простого вычленения* некоторой структурной единицы из сложного целого; наряду с таким вычленением мы производим одновременно *упрощение* всех элементов и связей этой единицы, убирая в них все свойства, обязанные своим происхождением системному окружению этой единицы, и оставляя только те свойства, которые связаны с независимым ее функционированием и развитием. Характер абстракции, которую мы осуществляем, конструируя этот идеальный объект, делает совершенно бессмысленной проверку его путем сравнения с эмпирическими актами коммуникации, которые, в этой терминологии, все — «непростые».

¹² Делая это утверждение в отношении «смысла», мы исходим из общего принципа деятельностного подхода: *каждая организованность деятельности может быть порождена только строго определенной системой социально-производственной кооперации.*

«смысле»), а не о процессах понимания, ибо он вынужден (для того, чтобы решить стоящие перед ним исследовательские задачи) представить эти процессы соотнесения и связывания разных элементов текста друг с другом и с элементами ситуации в виде соотнесенности и связности этих элементов, в виде сети статических отношений между ними, в виде структуры.

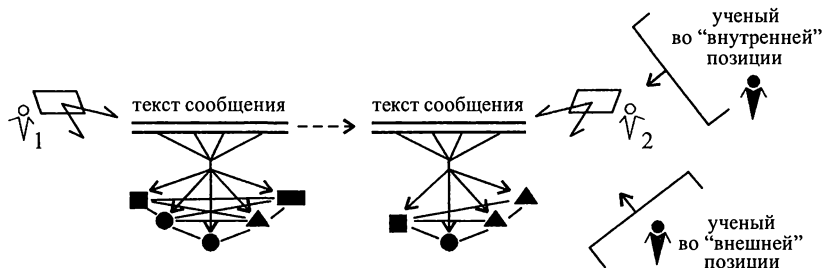


Рис. 4

В методическом плане этот прием изображения и фиксации процессов отработан уже давно: когда античная физика столкнулась с проблемами описания и моделирования движения, то она обратилась прежде всего к «следам» этих движений; когда в контексте анализа этих «следов» были решены основные задачи соотнесения *дискретных* числовых характеристик с *непрерывными* графическими представлениями (см. [Аристотель 1937 с]), появилась возможность фиксировать и изображать в виде линий и отрезков изменения любых параметров, характеризующих объекты, и на этой основе затем стала разрабатываться *геометрия различных идеальных пространств*. После этого продвижение в каждой содержательно-предметной области стало определяться в первую очередь успехами в разработке *статических форм описания и фиксации* характерных для этой области процессов¹³.

Следуя по этому же пути, исследователь актов коммуникации и, более узко, процессов понимания должен прежде всего выработать и ввести специальный язык для статической фиксации этих процессов. Здесь многое происходит подобно тому, как это происходило в естественных науках. Но есть и очень существенные отличия. Первое из них состоит в том, что сами процессы в акте коммуникации являются значительно более сложными, чем процессы в механическом движении, и это приводит к невероятному усложнению самого языка описаний. Второе отличие связано с тем, что знания о деятельности и их содержание имеют в деятель-

¹³ В исключительно тонком и глубоком исследовании по истории механики [Гуковский 1947] М.А.Гуковский убедительно показал, что теория свободного падения тел стала возможной лишь после того, как Дунс Скотт, Ричард Суайнхед и Орем нашли способ изображать отношения меняющихся характеристик движения в чертежах геометрических фигур (см. также [Юшкевич 1961: 395-403]).

ности *принципиально иное существование*, нежели знания о природе, и это проявляется, в частности, в их *отношении к своему объекту*. Если, к примеру, в рамках натуралистического подхода, изобразив процессы понимания в структурных схемах, мы так бы и говорили, что это – *изображения* процессов понимания и их содержание не имеет никакого другого



Рис. 5

реального существования, кроме как в своем объекте, то в рамках деятельностного подхода, наоборот, мы должны сказать, что статические структурные изображения процессов понимания, созданные на определенном месте в системе кооперации, *задают и фиксируют действительность совсем особого рода*, которая, благодаря различию мест социальной кооперации, имеет свое *собственное существование*, отличное от существования процессов понимания¹⁴. *Эта особая действительность, создаваемая исследователем при статической фиксации процессов понимания, и есть то, что называется «смыслом»* (рис. 5).

4. После того как структурное изображение процессов понимания сложилось и оформилось, оно начинает разнообразно употребляться – в разных отношениях к объекту и в разных позициях.

Одно из этих употреблений – так называемая *формальная онтологизация*: структурная схема рассматривается как изображение самостоятельной структурной сущности, «смысла» как такового; при этом между изображением и тем, что изображается, устанавливается *полное соответствие* – и это совершенно естественно, ибо само изображаемое получилось путем простого удвоения изображения и приписывания одному из дубликатов статуса объективной сущности (ср. [Щедровицкий и др. 1960-61: I-II, 1966 d, Shchedrovitsky 1967, 1968]).

Это употребление структурных схем приводит и к соответствующей трактовке самого «смысла»: он определяется как *та конфигурация связей и отношений между разными элементами ситуации деятельности и коммуникации, которая создается или восстанавливается человеком, понимающим текст сообщения*¹⁵.

¹⁴ Здесь используются два принципа деятельностного подхода: (1) *всякая чисто познавательная позиция должна рассматриваться как позиция в системе социально-производственной кооперации* и (2) *всякое знание задает особую действительность деятельности – «практической» или мыслительной*.

¹⁵ Вариантом такого представления является одно из представлений «смысла», предлагаемое И.А.Мельчуком: «Предварительно можно мыслить себе «смысл»... как некоторый сложный граф, вершины которого помечены символами «смысловых атомов» (некоторых порций смысла, выбранных в данном описании в качестве элементарных), а дуги – символами связей между ними» [Мельчук 1974: 11]. Правда, это представление, наряду с собственно структурными моментами, указанными нами выше, содержит еще и морфологические моменты – «смысловые атомы», но это обусловлено и вполне объясняется, с одной стороны, практической установкой автора (см. ниже п. 5), а с другой стороны, характером используемого им понятия системы (см. [Щедровицкий 1974 b]).

Весьма эффективные во многих практических и исследовательских ситуациях, эти определения, естественно, не годятся при исследовании процессов понимания; все, что может быть извлечено из них в отношении самого смысла, ограничивается *формально-категориальными характеристиками использованных схем*.

Другие употребления этих схем предполагают уже четкое противопоставление и соотнесение статики «смысла» и кинетики понимания; во всех этих случаях понимание мыслится сквозь призму структуры «смысла», а «смысл» – сквозь призму процессов понимания, но конкретное представление того и другого зависит от того, какое из этих образований мы ставим во главу угла и каким образом соотносим и связываем одно с другим.

Наиболее распространенный вариант решения этой проблемы заключается в том, что структурная схема онтологизируется уже в исходном пункте анализа и трактуется как выражение некоторых *объективных*, можно сказать *«натуральных»*, *условий процесса*, а сам процесс привязывается затем к этим структурным схемам, как бы вписывается в них. Нередко структурные схемы такого рода рассматриваются как изображения *каналов связи*, по которым «текут» исследуемые процессы; в частности, на такой трактовке построены все современные системотехнические (кибернетические) концепции мышления и понимания (см. [Ньюэлл, Саймон 1965; Гелернтер, Рочестер 1965; Ньюэлл и др. 1965], а также [Щедровицкий 1968 b; Дубровский 1968]). Ясно, что при таком подходе отношения между реальными процессами в объекте и их изображениями в знании перевертываются на обратные – стратегия очень выгодная при реализации инженерно-конструктивных замыслов, но совершенно неприемлемая в научных исследованиях.

Другой вариант решения этой проблемы зиждется на сознательном использовании *приемов методологического мышления*, в частности – *приема многих знаний* (см. [Щедровицкий 1964 а, 1966 b]). В этом случае мы с самого начала фиксируем принципиальное различие и расхождение между категориальными характеристиками используемых нами изображений и характеристиками того, что является объектом нашего анализа, но не отказываемся на этом основании от изображений, считая их необходимыми, а лишь располагаем то и другое как бы в один ряд и начинаем развертывать предмет изучения, *работая сразу с несколькими разными изображениями и представлениями объекта*; за счет этого появляются новые значительно более богатые возможности для анализа и конструирования. Методологические приемы мышления позволяют исследователю идти от описания процессов понимания к структурным схемам смысла и развивать последние в соответствии с характеристиками процессов; и эти же приемы позволяют ему идти от структур смысла к процессам понимания, членя и организуя последние соответственно возможностям структурных схем (см. [Щедровицкий, Якобсон 1973, Щедровицкий 1974 c]). Методы этих двусторонних исследований завершаются и оформляются в *катего-*

рии системы, устанавливающей необходимые формальные связи между описаниями *процессов, функциональных структур, организованностей материала и морфологии* сложных объектов (см. [Щедровицкий 1974 б; Гуцин и др. 1969]). Применение этой категории в исследовании интересующей нас области дает возможность объединить процессуальные характеристики понимания и структурные характеристики смысла в едином системном представлении актов понимания-осмысления [Щедровицкий 1974 с].

5. Но кроме охарактеризованных таким образом употреблений схемы смысла и всех связанных с нею представлений во «внешних» исследовательских позициях возможны и существуют еще вторичные или неспецифические употребления их в позициях, заданных актом коммуникации¹⁶.

При этом идет двойной процесс: с одной стороны, представления о смысле, выработанные во «внешних» позициях, изменяются, приспосабливаясь к особенностям деятельности и поведения на «внутренних» местах в акте коммуникации, с другой стороны, сама деятельность в этих «внутренних» позициях изменяется и перестраивается под влиянием этих представлений, задающих новое содержание и новую действительность.

Если выше мы подчеркивали, что в «простом» акте коммуникации нет и не может быть «смысла» как такового, то теперь, рассматривая этот акт в кооперативной связи с более «высокими» исследовательскими позициями, мы можем сказать, что «смысл» там появляется, но не как таковой, а в форме особого представления, в форме *знания о смысле, которое выступает в качестве средства, организующего процессы понимания*. Теперь участники акта коммуникации могут понимать не только ситуацию и текст, но также «смысл ситуации» и «смысл текста», поскольку они знают об их существовании и знают, что «смысл» – это *общая соотношенность и связь всех относящихся к ситуации явлений*. Позиции, объединяемые актом коммуникации, перестают быть «простыми» и непосредственными и превращаются в сложные, объединяющие в себе, по сути дела, ряд разных позиций (см. рис. 4).

Когда происходит передача представлений смысла из более «высоких» позиций в более «низкие», то сами эти представления, как мы уже отметили, деформируются и изменяются, приспосабливаясь к действительности этих позиций; при этом происходит очень своеобразное взаимодействие схем смысла и знаний о смысле с непосредственными процессами понимания текстов и процедурами выявления их содержания; одним из самых характерных результатов этого взаимодействия является *фокусировка* и как бы *усечение* структуры смысла на отдельных материальных

¹⁶ Здесь мы используем еще один принцип деятельностного подхода: *после своего возникновения организованности деятельности могут передаваться в нижележащие места системы кооперации (хотя их использование там возможно лишь при условии соответствующих изменений деятельности, специфической для этих мест)*.

узлах всей системы; при этом *связи и отношения структуры* переводятся в *функциональные характеристики «захваченных» ею материальных элементов*¹⁷.

В силу этого и сам «смысл» в этих позициях представляется уже не в виде структуры, задающей всю ситуацию в целом, а в виде отдельных функциональных характеристик элементов ситуации, указывающих на их соотношенность с другими элементами или на принадлежность к целому¹⁸.

Именно это имеют в виду, когда говорят обычно, что текст сообщения осмыслен, что мы уловили смысл того или иного явления, что в нашем сознании появился соответствующий смысл и т.п. И в каком-то плане все эти употребления слова «смысл» оправданны, ибо в процессах понимания, оснащенных соответствующими представлениями и знаниями, действительно происходит фокусировка и центрация структуры смысла на отдельных материальных элементах, захваченных этой структурой. Но, с другой стороны, во всех подобных выражениях и оборотах проявляется характерное для обыденного сознания смешение разных *категориальных слоев* системного объекта; ведь во всех этих случаях речь идет уже не о структуре смысла в целом, а лишь о *проекциях* этой структуры на материал элементов, захваченных ею, следовательно, не о структуре смысла, а о *смысловых организованностях* текста, ситуации, сознания и т.п.; но эти различия являются уже весьма тонкими и обсуждение их должно быть вынесено за рамки этой статьи.

«Языковая инженерия» и конструкции значений

1. Чтобы теперь ввести в качестве особых сущностей «значения», трансформируем исходно заданную ситуацию общения и превратим ее в *ситуацию трансляции* (см. [Щедровицкий 1966 а, 1967 а; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967; Щедровицкий 1970 а; Генисаретский 1970]), где главной является побочно сложившаяся связь между позициями 1 и 3 (рис. 6).

Предположим, что текст сообщения, направленного из позиции 1 в позицию 2, поступает в позицию 3 и здесь либо вообще не понимается, либо понимается неадекватно. Такое положение заставляет систему, обслуживающую процессы общения, создавать специальные *знаковые кон-*

¹⁷ О методах анализа подобных сверток и фокусировок систем см. [Щедровицкий 1958-60, 1965 с; Генисаретский 1965].

¹⁸ Хорошей иллюстрацией этих положений могут служить некоторые из определений «смысла», даваемые А.К.Жолковским и И.А.Мельчуком, поскольку в них еще отчетливо видна связь с ядерным представлением «смысла» как структуры: «Смысл предстает как конструктор – пучок соответствий между реальными равнозначными высказываниями, фиксируемый с помощью специальной символики – семантической, или смысловой, записи; здесь имеется полная аналогия с реконструкцией праформ в сравнительно-историческом языковедении» [Жолковский, Мельчук 1969: 7]; «владение смыслом... проявляется у говорящего в способности по-разному выразить одну и ту же мысль, а у слушающего – в понимании смыслового тождества или сходства внешне различных высказываний» [Жолковский 1964: 4].

струкции, которые, будучи «вложенными» в индивида 3 (или «усвоенными» им), выступают в качестве *дополнительных средств*, обеспечивающих необходимое понимание текста сообщения. Эти конструкции, создаваемые инженерами-языковедами (позиция 4), мы и будем называть «значениями».

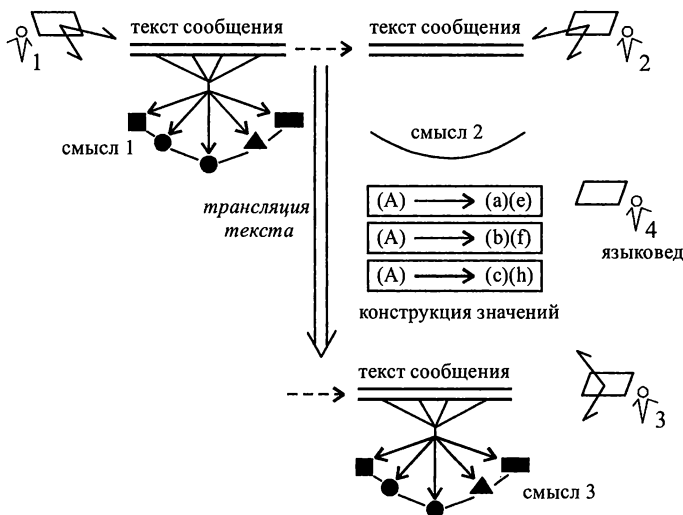


Рис. 6

Конструкции значений весьма разнообразны. Их характер и способ фиксации зависят прежде всего от того, (1) чем вызвано непонимание текста сообщения, (2) кто выступает в роли коммуниканта 3 – ребенок, еще не освоивший основных средств речевого мышления, студент, не овладевший чужим для него языком, или, скажем, ЭВМ, не имеющая необходимых программ анализа текстов, и, наконец, от того, (3) как организованы остальные элементы ситуации. Кроме того, существенное влияние на характер и форму фиксации значений оказывают методические и теоретические ответы на вопрос «что такое значение», вырабатываемые в аналитических и собственно исследовательских позициях, обслуживающих конструктивно-нормативную работу языковеда. Но во всех случаях конструкции значений выделяют, фиксируют и закрепляют те или иные из соотношений и связываний, производимых процессами понимания текста (или текстов) сообщения. Иногда они выступают непосредственно в виде *связок знаковых выражений с теми или иными элементами ситуации*, – такое бывает при непосредственном обучении языку, – но чаще эти связки устанавливаются опосредованным путем – за счет связи одних знаковых выражений с другими. Например, конструкции значений «a table – стол» и «кислота – вещество, окрашивающее лакмус в красный цвет», несмотря на все свои логические различия, служат, по сути дела, для одного и того

же – установления связи между именами и объектами (см. [Щедровицкий 1958-60: VI])¹⁹.

2. Конструкции значений, подобно всем другим знаковым выражениям, должны *пониматься*; в контексте нашего рассуждения это будут «вторичные понимания» и, соответственно, «вторичные смыслы» (рис. 7); от «первичного понимания» и «первичного смысла» они отличаются прежде всего тем, что связаны с четко фиксированными, можно сказать, «искусственными» ситуациями деятельности и все объекты, включенные в них, выступают, по сути дела, в роли эталонов (см. [Щедровицкий, Розин 1967]).

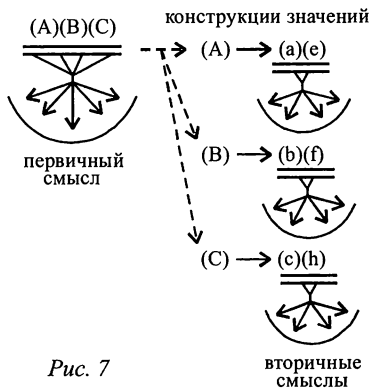


Рис. 7

То обстоятельство, что конструкции значений, подобно исходным текстам сообщений, тоже понимаются (и осмысливаются), не меняет их отличия от смысла, существующего и устанавливаемого благодаря *функциональному противопоставлению* фиксированных средств, обеспечивающих понимание, исходным текстам, включенным в естественно развертывающиеся, а потому всегда достаточно неопределенные ситуации общения и деятельности (см. рис. 6).

3. Обращаясь к деятельности языковеда-инженера (позиция 4), нужно отметить, что в процессе ее он должен еще каким-то образом учитывать и совмещать позиции 2 и 3. Это значит, что он должен, во-первых, *понимать* смысл исходного сообщения так, как его понимает индивид 2,

¹⁹ Утверждение, что «значение» есть конструкция, носит принципиальный характер: если Г.Фреге [Frege 1892] и др. искали значения в *природе*, или в мире «естественного», то мы, наоборот, обращаемся к *миру культуры*, к «искусственному», к созданному человеческой деятельностью.

Могут возразить, что в этом тогда нет подлинной оппозиции: то, что Г.Фреге называл «значением», мы называем «объектом отнесения», «объектом оперирования», «объективным содержанием» и т. п., а слово «значение» употребляем для обозначения некоторой *принципиально иной* и, с точки зрения традиции, *новой сущности* – *связки между словами и объектами* (или «предметами», выраженными в других словах). Но в том-то и дело, что для нас существование этих связей является исходным и основным – именно они образуют *первую реальность человеческой деятельности и для человеческой деятельности* (см. [Маркс 1955, т. 3: 1; Щедровицкий 1964 а]), именно они задают и определяют существование всего остального в деятельности. Это – первый важный момент. А второй – это может служить уже непосредственным ответом на возражение – заключается в том, что «объекты» (денотаты) и «объективное содержание», т.е. «значение» по Г.Фреге, являются лишь моментами или элементами конструкций значения и, следовательно, точно так же существуют в деятельности и в культуре, а не «природно», хотя природа также присутствует в них в качестве материала или «морфологии» систем деятельности и отдельных элементов в конструкциях значений (см. [Щедровицкий, Якобсон 1973]).

во-вторых, *понимать* (или не понимать) смысл этого сообщения так, как его понимает (не понимает) индивид З, в-третьих, *знать*, почему индивид З понимает (не понимает) именно таким образом, и, наконец, в-четвертых, исходя из всего этого, он должен *создать* конструкции значений, которые бы позволили индивиду З адекватно понять исходное сообщение²⁰.

Продельвая всю эту работу, лингвист-инженер представляет процессы понимания и одновременно то, что понимается, в совокупности создаваемых им конструкций значений.

Если мы будем описывать все это из внешней исследовательской позиции, в которой разрешено пользоваться понятием смысла, то сможем сказать, что лингвист-инженер *сводит* понимаемый им смысл исходных знаковых выражений и их элементов к создаваемым им конструкциям значений, что он *выражает* множество разных *ситуативных смыслов* через наборы специально выделенных *элементарных значений и последующую организацию их в структуры*²¹.

Затем полученные таким образом конструкции значений и принципы соотнесения и совмещения их друг с другом используются получившими их индивидами (находящимися в позиции З) в качестве «строительных лесов» при понимании разнообразных сообщений; опять-таки, если мы будем описывать все это, находясь во внешней исследовательской позиции, то должны будем сказать, что эти конструкции значений и принципы организации их в сложные структуры используются индивидами в качестве средств при выделении смысла сообщений или даже в качестве основных компонентов его; имея наборы определенных значений, эти индивиды сначала, если пользоваться неточным, но очень наглядным образом, как бы *разлагают* по ним смысл сообщений, а затем *собирают* из

²⁰ В рамках деятельностного подхода такой тип *совмещения разных позиций* называется обычно «заимствованием» [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий 1971 с].

²¹ Принятый нами план расчленения изучаемого предмета и порядок изложения всего материала могли возбудить в читателе неправильное представление, что *сначала* вырабатываются структурные представления смысла, а уже *потом* создаются конструкции значений, разлагающие структуру смысла на компоненты и элементы. В реальной истории дело обстоит, по-видимому, как раз наоборот: именно конструкции значений дают *первое структурное представление* процессов понимания, во всяком случае – их отдельных моментов, и именно «значения» первоначально рассматриваются как то, что порождается процессами понимания. Но затем постепенно выявляются специфические моменты деятельности, в первую очередь – различие парадигматических и синтагматических систем и необходимость одновременного различения и отождествления их элементов (см. [Соссюр 1933; Щедровицкий 1971 д]), – и это заставляет рассматривать конструкции значений в качестве *особых сущностей*, имеющих самостоятельное существование в речевой деятельности помимо процессов понимания и всего того, что они создают. Таким образом конструкции значений приобретают две разные интерпретации: одна, *автономная*, задает «значение» как таковое, а другая – «смысл» как то, что создается самими процессами понимания и существует в них; а дальше, чтобы окончательно развести «значения» и «смыслы», представить их в качестве *разных* элементов и компонентов рече-мыслительной деятельности, нужно сделать всего один шаг – создать для «смыслов» особые изображения, отличающиеся от изображений «значений».

них этот смысл как композицию, приравливаясь при этом к ситуации как к целому²².

4. Чтобы теперь завершить характеристику «языковой инженерии» и влияния ее продуктов на существование и функционирование знаков, нужно сделать еще одно замечание, касающееся схемы нашего рассуждения. Вводя исходную ситуацию коммуникации (см. схему 3), мы начали с предположения, что индивид 2 понимал сообщение как бы совсем без опоры на значения. Это неявное допущение было введено потому, что рассуждение нужно было начать, не предполагая изначального существования значений; но после того как значения введены, мы можем отказаться от исходного допущения и распространить полученную нами позицию 3 ретроспективно в историю. Таким путем, естественно, не может быть решена проблема происхождения значений, но сама процедура ретроспективного оборачивания соответствует принципам *структурного описания исторических ситуаций*: сначала логически вторичное рассматривается как не существующее в реальности, затем оно вводится, как правило телеологически, в модель объекта, и полученная таким образом более развернутая и более сложная система трактуется как единственно существующая в реальности (*конструктивный вариант метода восхождения от абстрактного к конкретному* [Щедровицкий 1958-60, 1967 а; Зиновьев 1954; Zinovev 1958; Грушин 1961]).

«Первичные смыслы» и «значения» — две разные формы существования знака

1. Хотя для индивида 3 конструкции значений в процессе понимания выступают по сути дела в качестве образцов элементов ситуативного смысла текстов, хотя этому индивиду часто кажется, что он *собирает* смысл из данных ему значений и потому значения просто дубликаты или копии смысла, тем не менее (и это становится очевидным, как только мы переходим в позицию внешнего исследователя) конструкции значений являются не дубликатами и не копиями смыслов, а прежде всего *иными функциональными элементами того же целого*, в которое на правах особых частей и элементов входят и процессы понимания исходного текста (или, если говорить на формальном языке внешнего исследователя, структуры первичного смысла). Иначе говоря, значения и смыслы (или процессы понимания) *связаны* между собой деятельностью понимающего человека и являются разными компонентами этой деятельности. Но в силу этого они оказываются также *разными компонентами самого знака* (как определенной организованности деятельности). В этом плане конструкции значений яв-

²² Слова «разлагают» и «собирают» относятся лишь к тому условному плану описания, который мы принимаем для внешней исследовательской позиции; их ни в коем случае нельзя понимать как характеристику *механизмов* понимания.

ляются не чем иным, как новыми элементами ситуации общения и деятельности, *расширяющими поле понимания* (или, соответственно, объективную структуру смысла), и как таковые они могут рассматриваться наряду со всеми другими элементами ситуации, охватываемыми структурой смысла.

Но кроме того, у конструкций значений есть свое, совершенно *специфическое назначение*, и это обстоятельство ставит их как элементы смыслового поля в особое отношение ко всем другим элементам. Это специфическое назначение конструкций значения, как мы выше выяснили, состоит в том, чтобы служить *средствами понимания* исходного текста, и поэтому они создаются как своеобразные дубликаты и особые формы фиксации *отдельных* отношений и связей, устанавливаемых процессом понимания и представляемых нами в структуре первичного смысла. Но это значит, что конструкции значений и связанные с ними вторичные смыслы создают для процессов понимания (а вместе с тем для элементов первичного смысла) *вторую и особую форму существования*; вместе с тем они создают новую и особую форму существования для самого знака (см. схему 6). Мы получаем возможность сказать, что смыслы и значения – разные компоненты знака, придающие ему вместе с тем разные способы и формы существования, соответственно – *в синтагматике* и *в парадигматике*, *в социальных ситуациях* и *в культуре*, *в реализации* и *в нормах* (см. [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий 1971 d, 1971 e, 1971 f; Сосюр 1933: 121-127; Генисаретский 1970]).

2. Соединение двух указанных выше характеристик конструкций значений: (1) лежат наряду со смыслами и являются другими функциональными компонентами структуры деятельности и знака, (2) выражают и фиксируют отдельные компоненты смыслов, придавая им второе и особое существование – позволяет рассматривать и трактовать связь между значениями и смыслами как совершенно *особое отношение конструктивного замещения*, или, как мы его называем, *имитации*. Изучение специфики имитации – специальная задача; она исключительно важна и актуальна как в общеметодологическом, так и в специально семиотическом плане; в частности, *именно смешения отношений имитации с отношениями моделирования приводят в лингвистике и в семиотике к смешению смысла со значениями и к принципиально неправильной трактовке структуры знака* (ср. [Щедровицкий 1971 d]).

Знак как предмет знания

Конструктивный характер значений кардинальным образом меняет практическое и познавательное отношение человека к знаку. Если в акте коммуникации между индивидами 1 и 2 знаковое выражение, как мы предположили, могло лишь *пониматься* (что позволяет нам при определенных условиях говорить о «смысле» этого знакового выражения) и таким образом впервые появился *знак как целостный объект*, в единстве его

необходимых компонентов – *материала знаковой формы и смысла*, если при попытках научного исследования и описания знаков исследователь должен был прежде всего *понять* данное знаковое выражение и у него не было никакого другого пути, чтобы сделать знак объектом деятельности и присвоить его себе (см. [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий 1971 с]), то появление конструкций значений, образующих второй план существования знака, его парадигматику, предполагает кроме того еще подлинно *познавательное отношение к знаку*, отношение к нему *знания* как такового, ибо конструкции значений являются продуктами *сознательной инженерной деятельности* и как таковые должны не только пониматься, но и обязательно *быть* *знаемы*.

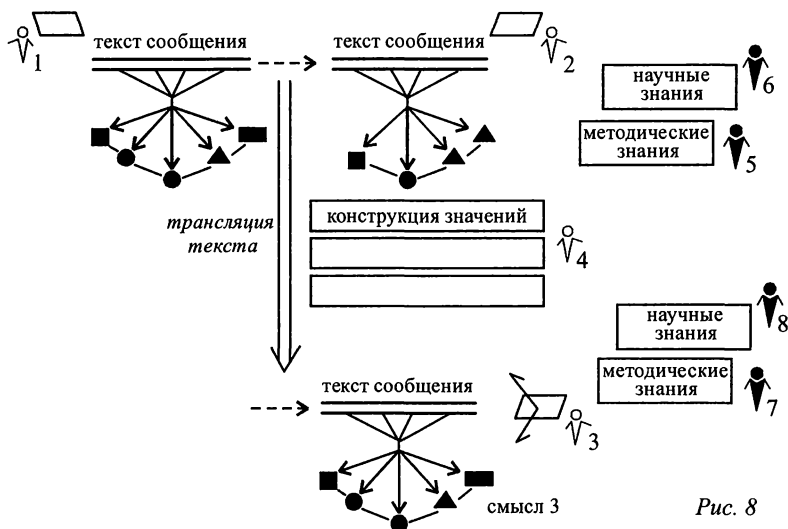


Рис. 8

Инженерно-конструктивная деятельность всегда опирается на знания создаваемой конструкции или ее прообразов и, следовательно, всегда должна сопровождаться и обслуживаться *аналитической, исследовательской деятельностью* того или иного типа (позиции 5–8 на рис. 8). Даже более того, знание природы значений, как уже говорилось выше, является условием и предпосылкой инженерии значений: та или иная конструкция значений всегда определяется предваряющими ее ответами на вопрос, что представляет собой значение как таковое. И хотя сам по себе этот ответ не устраняет необходимости понимания конструкций значений людьми, использующими их в качестве средств своей деятельности (уже упоминавшееся «вторичное понимание»), благодаря ему значения знаков, а следовательно, и сам знак в целом получают еще одно дополнительное *существование в знании и через знание*, ни в коем случае не сводимое к существованию их в понимании и через понимание. С этого момента можно говорить о *существовании знака как предмета знания*.

Но само знание, придающее знаку эту форму существования, а также функции знания еще должны быть теоретически введены и объяснены. Попробуем наметить план этой работы.

Знания как компоненты и формы существования знака

1. Благодаря деятельности лингвистов-инженеров, создающих конструкции значений, знаки получают вторую сферу существования – парадигматическую. Синтагматические цепочки речи и конструкции значений, образующие парадигмы языка, связываются между собой деятельностью человека, осуществляющего речевое общение, но при этом они остаются существенно разными как по своим функциям, так и по внутренней организации, и ничто не делает составляющие их элементы и единицы *одними и теми же* или одинаковыми объектами, ничто не дает права говорить, что синтагматические цепочки и парадигматические организации – лишь разные планы существования одних и тех же знаков, ибо таких объектов, как чего-то единого и лишь по-разному проявляющегося в синтагмах и парадигмах, пока нет. Каждая организованность знакового материала в какой-либо парадигме выражает нечто иное, нежели та же организованность знакового материала в какой-либо синтагматической цепочке, и в одной синтагматической цепочке – нечто иное, нежели в другой (несмотря на сходство или тождество самого знакового материала), ибо вокруг каждой цепочки создается свой особый смысл (ср. [Щедровицкий 1971 f]).

Однако, если какие-то элементы синтагматических цепочек и парадигматические конструкции значений содержат одни и те же конструкции материала, мы рассматриваем их как *разные манифестации одного и того же знака* и, следовательно, и то и другое вместе, в конечном счете, – как *один и единый знак в его разных проявлениях*. Поэтому обсуждать здесь можно только одно: за счет каких специфических образований, за счет каких дополнительных средств деятельности достигается объединение и синтез всего этого (т.е. всех многообразных проявлений, существующих в огромном множестве разных синтагматических цепочек и в достаточно большом наборе разных парадигматических организованностей, отличающихся друг от друга как строением, так и условиями существования) в один и единый знак, что дает нам право и возможность *собирать* разные конструкции значений в одно целое и затем отождествлять полученную таким образом композицию с тем, что существует в контексте синтагматических цепочек.

Этим средством является *знание*, обязательно сопровождающее всякую практическую, инженерную и собственно научную (теоретическую) деятельность человека. В соответствии со своими исконными функциями оно *осуществляет обобщение и объединяет множество разрозненных и разных индивидуализированных явлений, событий и объектов в один предмет, в одну целостность* (ср. [Щедровицкий 1971 g]). В нашем случае

можно сказать, что это знание *создает* знак в единстве его синтагматических и парадигматических проявлений (например, слово), делает его *единым и всегда одним и тем же предметом*, независимо от разнообразия форм существования его в синтагматических цепочках и в парадигматических организованностях значений. Условно, исключая все различия этих знаний и создаваемых ими предметов, мы будем называть их «знаниями знаков».

2. «Знание знака» собирает другие формы существования знака – синтагматические и парадигматические – в целостность, объединяет и организует их (см. [Щедровицкий 1971 d, 1971 g, 1972]). Но это объединение ни в коем случае нельзя понимать механически; оно осуществляется за счет того, что «знание знака» *создает свою особую действительность – знак как идеальный объект*, действительность, не сводимую к синтагматическим цепочкам и парадигматическим конструкциям значений и вместе с тем *снимающую* их и представляющую в виде единого объекта.

Одновременно само знание выступает в виде особой, *третьей формы существования знака*. Эта форма существования знака является ничуть не менее *объективной*, чем две другие, и функционирует в деятельности наряду с синтагматическими цепочками и парадигматическими конструкциями значений. В этом плане «знание знака» является лишь *одной из многих и частной* формой существования самого знака. Но так как в своей действительности «знание знака» *снимает* другие формы существования знака – синтагматические и парадигматические, мы можем сказать, что оно является *основной и всеобщей формой его существования*. Именно «знания знаков» (а далее также и «знания о знаках») (ср. [Москаева 1965: 140-142]) составляют основную и решающую часть систем языка, именно «знания знаков» выступают как *проекты и принципы*, определяющие существование знаков в инженерной деятельности лингвистов и в духовной жизни всех говорящих людей, *именно в знаниях свертывается и существует значительная часть рече-языковой способности людей*. Поэтому неудивительно, что именно «знания знаков», а не сами по себе конструкции значений, составляют основную и решающую часть всех парадигматических систем, конституирующих семиотическую (в том числе и речевую) деятельность.

Знание как система, рефлексивно объемлющая знак

1. В принципе «знания знаков» могут быть и бывают весьма разнообразными [Щедровицкий 1971 d]. Между ними устанавливаются свои особые отношения и связи, которые меняются, во-первых, в зависимости от характера деятельности, которую они обслуживают, – практической, инженерной или собственно научной, а во-вторых, соответственно этапам развития языка и лингвистики. Одни из этих знаний фиксируют и задают *отдельные* стороны существования знака в деятельности, например, только

те или иные конструкции значений, другие знания как бы *надстраиваются* над первыми и охватывают сразу множество разных сторон знака и связи между ними. Кроме того, разные знания существуют в разных формах: одни из них получены научным путем и имеют строго объективный статус, другие, наоборот, предельно интуитивны и выступают скорее в виде чувственных представлений и субъективной речевой способности («чувство языка»). Анализ всех этих знаний и разных форм их существования в деятельности представляет собой особую и весьма сложную проблему, которую мы здесь не можем обсуждать. Нам важно подчеркнуть лишь сам факт разнообразия таких образований, как «знания знаков», их влияние на различие форм и способов существования самих знаков и выделить один вид этих знаний – конструктивно-технические (ср. [Щедровицкий 1966 а]).

2. С того момента, как утверждается языковедческая инженерия и начинается систематическое конструирование значений, «знания знаков» становятся по преимуществу конструктивно-техническими. Подобно математическим формулам и уравнениям, они фиксируют в себе процедуры сопоставления, разложения и сборки рядов разных явлений и объектов из мира знаков и представляют эти явления и объекты в качестве вариантов и проявлений единого объекта, поневоле (т.е. уже в силу формальных особенностей, самих процедур и соответствующего им строения знаний) конструктивного и структурного. При этом происходит трансформация и переработка исходного содержания, охваченного знанием: из совокупности объектов, возникших первоначально в разных ситуациях и во многом независимо друг от друга (к примеру – разные употребления знакового материала в синтагматических цепочках и разные конструкции значений) и лишь потом внешним образом связываемых друг с другом, оно превращается в сложный *конструктивно развертываемый идеальный объект, как бы тиражируемый в разных частях своей структуры и в разных вариантах и приобретающий благодаря этому множественное существование.*

Но целостным и структурным объектом при всем этом знак остается только благодаря знанию и в знании.

**«Знак» как системное единство
разных форм и типов существования. Идея деятельности**

Указание на специфическую роль знаний в образовании и дальнейшем существовании знаков достаточно объясняет ту специфическую ситуацию, в которую попадает языковед-исследователь, когда он начинает свою работу и хочет либо проанализировать какие-то конкретные знаки, либо же ответить на вопросы, что такое «язык» или что такое «знак» и «знаковая система». Первое и основное, что предстает перед ним и с чем он преимущественно имеет дело, это – «знания знаков» (в частности, «знания речи-языка»). Осваивая их – понимая и анализируя, – он обнаруживает вскоре по крайней мере четыре (а на деле – большее число) разные

формы существования знака (и речи-языка): 1) «знания знаков», 2) «действительность» этих знаний, 3) парадигматические конструкции значений и 4) синтагматические цепочки. И тогда он встает перед вопросом: какое же из этих существований знака является *подлинным, реальным* его существованием. *Но тайна знака (и речи-языка) как элемента и организованности деятельности состоит как раз в том, что все эти четыре формы существования являются подлинными и одинаково реальными, а сам знак (или речь-язык) существует как системное единство всех этих форм.*

Но такая категориальная и онтологическая характеристика знака и речи-языка (основывающаяся на принципах теории деятельности) не может быть принята лингвистом, ориентирующимся на эталоны и образцы объектов естественных наук: типологическое различие и несовместимость объекта, знания об этом объекте и содержания знания, а с другой стороны, внутренняя однородность и единственность объекта – все это является для него аксиомами. Имея интенцию на один внутренне не расчлененный объект, такой лингвист приписывает характеристики и свойства «знаний знаков» знакам как действительности этих знаний, а характеристики того и другого – парадигматическим конструкциям значений или элементам синтагматических цепочек (ср. [Щедровицкий 1971 d]). Вместо четырех разных сущностей, живущих хотя и в связи друг с другом, но по разным законам и механизмам, *он имеет в качестве предмета изучения одну сущность, в которой все перепутано и смешано в кучу.*

Именно это обстоятельство больше всего мешало оформлению позиции лингвиста-ученого и появлению наряду со «знаниями знаков» (или «знаниями языка») также еще «знаний о знаках» (и «знаний о речи-языке»), которые могли бы представить и изобразить все разнообразные формы существования знака (и речи-языка) в виде единой сложной структуры.

Поэтому столь значительным для всей истории лингвистики был вклад В.Гумбольдта, впервые представившего речь-язык в категориях деятельности, и затем, в особенности, вклад Ф. де Соссюра, различившего внутри речевой деятельности (*langue*) *parole* и *langue*; это были первые теоретические подходы к фиксации множественности разных форм существования знака. Но при этом Ф. де Соссюр не смог довести эту работу до конца и последовательно разделить существование языка в виде набора или системы знаний и существование языка как действительности этих знаний; кроме того, он не видел и не фиксировал различие между языком как действительностью инженерного лингвистического и языком как действительностью научного лингвистического (см. [Щедровицкий 1969]).

Появление рядом со «знаниями знаков» или «знаниями языка» также еще «знаний о знаках» и «знаний о языке» приводит к оформлению наряду с действительностью инженерного лингвистического также *действительности научного лингвистического*. Развертываясь далее в полный

научный предмет, эти знания порождают (или должны породить) *онтологическую картину речи-языка*, отделяющуюся от действительности первого и второго типа; в онтологических картинах научного предмета «речь-язык» получает новое существование – в виде *идеального объекта изучения*, обладающего «естественными законами жизни». Но это происходит лишь в той мере, в какой преодолеваются методологические и эпистемологические догмы натурализма и осуществляется переход на позиции научной семиотики и теории деятельности.

Рефлексия *

И. Из истории философских трактовок рефлексии

В современных энциклопедиях рефлексия определяется как «форма теоретической деятельности общественно-развитого человека, направленная на осмысление всех своих собственных действий и их законов; деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека» [Рефлексия 1967], или как «осмысление чего-либо при помощи изучения и сравнения; в узком смысле – новый поворот духа после совершения познавательного акта к «я» (к центру акта) и его микрокосму, благодаря чему становится возможным присвоение познанного» [Рефлексия 1961].

Хотя уже у Аристотеля, Платона и далее, у средневековых схоластов, можно найти много глубоких рассуждений, касающихся разных сторон того, что мы сейчас относим к рефлексии, все же принято считать, что основной и специфический круг проблем, связываемых сегодня с этим понятием, зарождается лишь в новое время, а именно благодаря полемике Локка и Лейбница (см. [Локк 1960; Лейбниц 1936: 99-108, 115-116]); как бы мы ни относились к такой трактовке истории проблемы и какую бы важную роль ни приписывали античным и средневековым мыслителям, бесспорно, что именно у Локка и Лейбница рефлексия начинает трактоваться как сознание сознания, или самопознание, как «поворот духа к “я”» и благодаря этому приобретает отчетливо психологическую окраску.

Полемика Локка и Лейбница стимулировала размышления И. Канта, закрепившего такую трактовку рефлексии; вместе с тем понятие рефлексии приобрело у него ту гносеологическую (и вместе с тем методологическую) форму, в которой оно сейчас обычно и репрезентируется ¹.

* Фрагмент статьи [Щедровицкий 1974 с]. Переиздание публикации [Щедровицкий 1995].

¹ «Рефлексия не имеет дела с самими предметами и не получает понятий прямо от них; она есть такое состояние души, в котором мы приспособляемся к тому, чтобы найти субъективные условия, при которых мы можем образовать понятия. Рефлексия есть сознание отношения данных представлений к различным нашим источникам познания, и только при ее помощи отношение их друг к другу может быть правильно определено. Раньше всякой дальнейшей обработки самих представлений мы должны решить вопрос, в какой способности познания они связаны друг с другом... Не все суждения нуждаются в исследовании, т. е. во внимании к основаниям их истинности... Но все суждения и даже все сравнения требуют рефлексии, т. е. различения той способности познания, которой принадлежат данные понятия». «Да будет позволено мне называть место, уделяемое нами понятию или в чувственности, или в чистом рассудке, трансцендентальным местом. Соответственно этому оценку места, принадлежащего всякому понятию согласно различиям в его применении, и руководство – для определения места всякого понятия, согласно правилам, следовало бы называть трансцендентальною топикую; эта наука основательно предохраняла бы от всяких подтасовок чистого рассудка и возникающей отсюда шумихи, так как она всегда различала бы, какой познавательной способности принадлежат понятия...» [Кант 1907: 185, 189].

У Фихте в дополнение к этому рефлексия получила эпистемологический оттенок (рефлексия знания есть «наукоучение») ² и была поставлена в контекст процессов развертывания или развития «жизни» ³.

Гегель сделал попытку дать рефлексии имманентное определение в рамках общей картины функционирования и развития духа (см. [Гегель 1937, т. 5: 466-481]). После Гегеля понятие рефлексии стало и остается до сих пор одним из важнейших в обосновании философского анализа знания ⁴.

II. Принципы возможного научно-теоретического подхода к рефлексии

Вместе с тем до сих пор почти не было попыток описать рефлексию или тем более построить ее модель в рамках собственно научного, а не философского анализа деятельности и мышления. Во многом это объясняется тем, что не ставилась сама задача создания теорий деятельности и мышления. Но если мы ставим и всячески подчеркиваем эту задачу, то, естественно, должны удовлетворить всем требованиям и критериям собственно научного воспроизведения объекта.

² «Рефлексия, которая должна происходить в том же осознании, есть состояние совершенно отличное от внешнего восприятия, отчасти даже противоположное ему... Знание в своей внутренней форме и сущности есть бытие свободы... Об этой свободе я утверждаю, что она существует сама по себе... И я утверждаю, что это самостоятельное, особое бытие свободы есть знание... В знании действительного объекта вне меня как относится объект ко мне, к знанию? Без сомнения, так: его бытие и его качества не прикреплены ко мне, я свободен от того и другого, парю над ними, вполне к ним равнодушен... Свободу, необходимую для того, чтобы сознание носило хотя бы форму знания, оно получает от объективирующего мышления, благодаря которому сознание, хотя и связанное с этим определенным построением образов, подымается по крайней мере над бытием и становится свободным от него. Таким образом, в этом сознании соединяются связанная и освобожденная свобода: сознание связано в построении, свободно от бытия, которое поэтому переносится мышлением на внешний предмет. Рефлексия должна поднять знание над этой определенной связанностью, имеющей место во внешнем восприятии. Оно было связано в построении, следовательно, оно должно стать свободным и безразличным именно по отношению к этому построению, подобно тому, как раньше оно стало свободным и безразличным по отношению к бытию... В рефлексии есть свобода относительно построения, и поэтому к этому первому сознанию бытия присоединяется сознание построения. В восприятии сознание заявляло: вещь есть, и больше ничего. Здесь новое возникшее сознание говорит: есть также образ, представление вещи. Далее, так как это сознание есть реализованная свобода построения, то знание высказывает о себе самом: я могу создать образ этой вещи, представить ее, могу также и не создавать» [Фихте 1914: 8-10].

³ «Я описал внешнее восприятие, как такое состояние сознания, причина которого лежит просто в самом существовании сознания, а то новое состояние, которое вызывается рефлексией, как такое, которое задерживает поток причинности, и тогда жизнь становится принципом, благодаря возможности свободного акта» [Фихте 1914: 15] (см. там же с. 138-140).

⁴ Ср., например: Рефлексия – «название для актов, в которых поток переживания со всеми его разнообразными событиями... становится ясно постигаемым и анализируемым» [Husserl 1950 a: 181].

Это значит, что мы должны среди прочего: 1) выявить и схематизировать все те свойства рефлексии, которые были зафиксированы в предшествующих философских исследованиях, 2) выбрать или построить язык, онтологические картины и понятия — одним словом, средства, с помощью которых, по нашему предположению, можно изобразить и описать рефлексию таким образом, чтобы эти изображения или описания допускали эмпирическую проверку, 3) выявить и сформулировать наибольшее число парадоксов, возникающих из-за несоответствия между выбранными средствами и схематизированными до того свойствами рефлексии, 4) так преобразовать и развернуть выбранные средства (включая сюда конфигурирование⁵ и разделение предметов), чтобы в изображениях и описаниях рефлексии, построенных на их основе, были бы сняты все отмеченные парадоксы, объяснены зафиксированные свойства рефлексии и вместе с тем сохранялась возможность эмпирической проверки всех этих изображений и описаний. И когда это будет сделано, начнется собственно научное изучение рефлексии в рамках одного или нескольких научных предметов.

Сформулированная таким образом задача определяет как тот ракурс, в котором мы должны рассматривать рефлексию, так и путь наших рассуждений.

Естественно — это вытекает уже из самой формулировки темы, — что рефлексия рассматривается нами в контексте деятельности и с точки зрения средств теории деятельности; при этом два аспекта представляются наиболее важными: 1) изображение рефлексии как *процесса* и *особой структуры* в деятельности и 2) определение рефлексии как *принципа развертывания схем деятельности*; последнее предполагает, с одной стороны, формулирование соответствующих формальных правил, управляющих конструированием моделей теории деятельности, а с другой — представление самой рефлексии как механизма и закономерности естественного развития самой деятельности⁶.

Но берем ли мы рефлексию в первом или втором аспекте, для каждого из них то описание и представление ее, которое было дано в предшествующих философских исследованиях, оказывается слишком сложным, многосторонним и нерасчлененным. То, что мы узнаем о рефлексии из философских представлений, связывает ее, во-первых, с процессами производства новых смыслов, во-вторых, с процессами объективации смыслов в виде знаний, предметов и объектов деятельности и, наконец, в-третьих, со специфическим функционированием этих знаний, предметов изучения и объектов в «практической деятельности». И это, наверное, еще не

⁵ О понятии конфигурирования см. [Лефевр 1969; Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий, Розин 1967; Shchedrovitsky 1971].

⁶ О принципах такого развертывания и сочетании в них «естественного» и «искусственного» см. наши работы [Щедровицкий 1967 а; 1966 а; 1968 а: 141-150].

все. Но даже этого уже слишком много, чтобы пытаться непосредственно представить все в виде какого-то одного сравнительно простого процесса или простой структуры в деятельности или, соответственно, в виде единого механизма или формального правила для конструирования и развертывания схем деятельности. Поэтому мы должны попытаться каким-то образом свести все моменты, посредством которых сейчас характеризуют рефлексию, к *более простым* отношениям, связям и механизмам, чтобы затем вывести их из последних и таким образом в конце концов организовать все в единую систему, изображающую рефлексию во всей полноте ее вариантов и их признаков.

В качестве гипотезы мы принимаем тезис, что нужные нам в этом случае более простые отношения, связи и механизмы задаются *идеей кооперации деятельности*. Исходя из этой идеи, мы можем описать и изобразить разнообразные единицы актов деятельности, подыскать конструктивные правила развертывания их в более сложные системы и проинтерпретировать процедуры конструктивного развертывания на эмпирически фиксируемых процессах функционирования и развития деятельности ⁷.

Затем, используя полученные таким образом схемы в качестве моделей, мы можем попытаться вывести из них специфические характеристики функционирования и развития сознания, смыслов, знаний, предметов и объектов, а также самой рефлексии – самой по себе и в отношении ко всем перечисленным организованностям деятельности. Но это означает, что должна быть задана схема такой кооперативной связи, которая могла бы рассматриваться в качестве исходной «рамки» для задания и объяснения в дальнейшем всех специфических проявлений рефлексии.

⁷ На значение кооперации в развитии разных форм человеческой культуры и сознания человека указывали многие философы. Огромное значение фактору кооперации придавал К.Маркс, подчеркивавший, в частности, что именно в нем надо искать ключ к объяснению всех форм самосознания человека. Кооперация рассматривалась в политэкономии и социологии, но преимущественно как факт разделения труда, оказывающий влияние на формирование социальных групп и классов. В таких дисциплинах, как производственная технология, теория организации производства (менеджмент) и НОТ кооперация бралась либо в плане влияния ее на организацию машинных систем, либо же в плане определения норм действия и деятельности отдельного человека.

Мы не перечисляем здесь других подходов, в которых кооперативные связи деятельности выступали в том или другом аспекте – их было достаточно много, – важно, что несмотря на обилие разных подходов, сами связи кооперации так и не стали предметом специального научного изучения. Объясняется это, в первую очередь, тем, что ни одно из развившихся к настоящему времени научных направлений не выделило ту абстрактную идеальную действительность, в которой связи кооперации могли бы существовать и выступать для исследователя имманентно. И наоборот, лишь задание деятельности в качестве особой и самостоятельной идеальной действительности дает, на наш взгляд, основание для подобного подхода и развертывания собственно научных исследований кооперативных связей самих по себе и для себя.

В этой роли у нас выступает схема так называемого «рефлексивного выхода». Она была получена в связи с другими задачами⁸, но затем была использована для введения и объяснения рефлексии как таковой.

И хотя, наверное, рефлексия может вводиться на основе анализа многих различающихся между собой эмпирических ситуаций, мы повторим здесь вкратце тот способ введения ее, который мы давали в исходных работах.

III. Дидактическое введение исходной «рамки» рефлексии

Представим себе, что какой-то индивид производит деятельность, заданную его целями (или задачей), средствами и знаниями, и предположим, что по тем или иным причинам она ему не удастся, т.е. либо он получает не тот продукт, который хотел, либо не может найти нужный материал, либо вообще не может осуществить необходимые действия. В каждом из этих случаев он ставит перед собой (и перед другими) вопрос: почему у него не получилась деятельность и что нужно сделать, чтобы все-таки получилось то, что он хочет.

Но откуда и как можно получить ответ на такой вопрос?

Самым простым будет случай, когда он сам (или кто-то другой) уже осуществляли деятельность, направленную на достижение подобной цели в сходных условиях, и, следовательно, уже есть образцы такой деятельности. Тогда ответ будет простым описанием соответствующих элементов, отношений и связей этой деятельности, лишь переведенным в форму указания или предписания к построению ее копии⁹.

Более сложным будет случай, когда деятельность, которую нужно осуществить в связи с поставленными целями и данными условиями, еще никогда никем не строилась и, следовательно, нет образцов ее, которые могли бы быть описаны в методических положениях. Но ответ все равно должен быть выдан, и он создается, теперь уже не просто как описание ранее совершенной деятельности, а как *проект* или *план предстоящей деятельности*¹⁰.

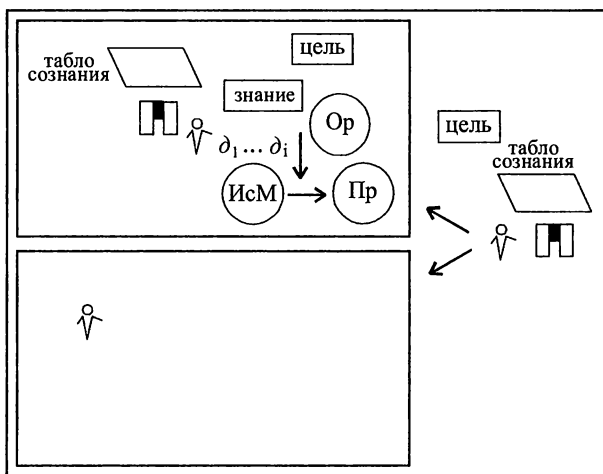
⁸ Решающую роль здесь сыграли два момента: 1) необходимость объяснять специфику и происхождение методологических знаний (см. [Щедровицкий, Дубровский 1967]) и 2) полемика с В.А.Лефевром по поводу предложенных им схем и формальных описаний рефлексии (см. [Лефевр 1965], а также для сравнения [Лефевр 1967; Генисаретский 1968]).

⁹ По поводу методических предписаний как особой формы знаний см. [Щедровицкий 1966 а; Розин 1967].

¹⁰ Ср.: «Чтобы схематизировать себя как таковой, для созерцания ей (способности. – Г.Щ.) необходимо раньше своей деятельности увидеть возможность этого действия, и ей должно казаться, что она может его совершить, а может и не совершать. Это возможное действие она не может увидеть в абсолютном долженствовании, которое на этой ступени еще не видимо, поэтому она его видит в так же слепо схематизированной причинности, которая, однако, не есть непосредственно причинность, а кажется, что она становится таковой вследствие видимого выполнения способности. А такая причинность есть *влечение*. Способность должна чувствовать влечение к тому, или иному действию, но это не определяет непосредственно ее деятельности, так как такая непосредственность заслонила бы от нее проявление ее свобо-

Но сколь бы новой и отличной от всех прежних ни была проектируемая деятельность, сам проект или план ее может быть выработан только на основе анализа и осознания уже выполненных раньше деятельностей и полученных в них продуктов.

Каким должен быть этот анализ и фиксирующие его описания и каким образом проект новой деятельности будет опираться на подобные описания – все это вопросы, которые должны обсуждаться особо (и частично они будут затронуты дальше). А нам важно подчеркнуть, что во всех случаях, чтобы получить подобное описание уже произведенных деятельностей, рассматриваемый нами индивид, если мы берем его в качестве изолированного и «всеобщего индивида»¹¹, должен *выйти* из своей прежней позиции деятеля и перейти в новую позицию – *внешнюю*, как по отношению к прежним, уже выполненным деятельностям, так и по отношению к будущей, проектируемой деятельности.



Это и будет то, что мы называем *рефлексивным выходом*; новая позиция деятеля, характеризующая относительно его прежней позиции, будет называться «рефлексивной позицией», а знания, вырабатываемые в ней, будут «рефлексивными знаниями», поскольку они берутся относительно знаний, выработанных в первой позиции. Схема рефлексивного выхода будет служить первой абстрактной модельной характеристикой рефлексии в целом.

ды, а в ней то весь вопрос... Если способность должна видеть себя как должностную, то необходимо, чтобы раньше этого определенного видения себя как принцип, она видела бы вообще, а так как она видит только через средство собственного саморазвития, то необходимо, чтобы она развивалась...» [Фихте 1914: 139-140, 138].)

¹¹ Объяснение гносеологического принципа «изолированного индивида» и детальную критику его см. в работе [Мамардашвили 1968].

Рассматривая отношения между прежними деятельностями (или вновь проектируемой деятельностью) и деятельностью индивида в рефлексивной позиции, мы можем заметить, что последняя как бы *поглощает* первые (в том числе и ту, которая еще только должна быть произведена); прежние деятельности выступают для нее в качестве *материала анализа*, а будущая деятельность — в качестве *проектируемого объекта*. Это отношение поглощения через знание выступает как вторая, хотя, как мы увидим чуть дальше, неспецифическая характеристика рефлексии в целом¹².

Отношение рефлексивного поглощения, выступающее как статический эквивалент рефлексивного выхода, позволяет нам отказаться от принципа «изолированного всеобщего индивида» и рассматривать рефлексивное отношение непосредственно как *вид кооперации* между разными индивидами и, соответственно, как вид кооперации между разными деятельностями. Теперь суть рефлексивного отношения уже не в том, что тот или иной индивид выходит «из себя» и «за себя», а в том, что развивается деятельность, создавая все более сложные кооперативные структуры, основанные на принципе рефлексивного поглощения. Вместе с тем мы получаем возможность даже собственно рефлексивный выход отдельного изолированного индивида рассматривать тем же самым способом как образование *рефлексивной кооперации* между двумя «деятельностными позициями», или «местами».

Но для того чтобы две деятельности – рефлектируемая и рефлектирующая – могли выступить в кооперации друг с другом как равноправные и лежащие как бы наряду, нужно, чтобы между ними установились те или иные *собственно кооперативные* связи деятельности и были выработаны соответствующие им организованности материала. Это могут быть «собственно практические» или инженерно-методические производственные связи, заключающиеся в передаче продуктов одной деятельности в качестве исходного материала или средств в другую деятельность; это могут быть собственно теоретические, идеальные связи объединения и интеграции средств деятельности, объектов, знаний и т.п. при обслуживании какой-либо третьей деятельности (см. [Щедровицкий 1969]); какая именно из этих связей будет установлена – в данном контексте это для нас не важ-

¹² Последняя характеристика получает свой смысл и значение рефлексии только через первую, сама по себе она не содержит ничего специфически рефлексивного. Если мы правильно понимаем Гегеля, то именно это он имел в виду, когда ввел понятие о внешней рефлексии и характеризовал ее как чисто формальное действие: «И мыслительная рефлексия, поскольку она ведет себя как внешняя равным образом безоговорочно исходит из некоторого данного, чуждого ей непосредственного и рассматривает себя, как лишь формальное действие, которое получает содержание и материю извне, а само по себе есть лишь обусловленное последним движение» [Гегель 1937, т. 5: 474]. Вообще было бы интересным и поучительным, хотя бы в плане анализа языка диалектики, рассмотреть гегелевские определения рефлексии с точки зрения вводимых нами схем и моделей.

но, но важно то, что какая-то из этих связей должна возникнуть, ибо без этого невозможна никакая кооперация. И это требование сразу создает массу затруднений, а по сути дела даже парадоксальную ситуацию.

4. Основной парадокс рефлексивной кооперации: невозможность взаимопонимания. Способы преодоления

В самом общем виде суть этого парадокса состоит в том, что рефлексивный выход (или, что то же самое, отношение рефлексивного поглощения) превращает исходную деятельность даже не в объект, а просто в материал для рефлектирующей деятельности. Рефлектируемая и рефлектирующая деятельности не равноправны, они лежат на разных уровнях иерархии, у них разные объекты, разные средства деятельности, они обслуживаются разными по своему типу знаниями, и в силу всех этих различий между рефлектирующим и рефлектируемым деятелями не может быть никакого взаимопонимания и никакой коммуникации в подлинном смысле этого слова.

Действительно, представим себе, что индивид, находящийся во внешней позиции, описывает то, что происходит перед ним, в том числе различные элементы деятельности первого индивида – его объекты, действия, средства, цели и т.п., – обозначает их все соответствующими словами, а затем передает свое описание в сообщении первому индивиду. Текст сообщения прорывает границу между рефлектирующей и рефлектируемой деятельностями; созданный во второй, рефлектирующей деятельности, он оказывается теперь элементом первой, рефлектируемой. Первый индивид получает сообщение, он должен его понять и использовать «содержащиеся» в нем знания в своей деятельности. Но понять – это значит прежде всего восстановить смысл сообщения, выделить зафиксированные в нем объекты и «взять» их в таком ракурсе и в таких отношениях, в каких их брал второй индивид (см. по этому поводу [Shchedrovitsky 1972; 1973 b; 1974 a]). Нетрудно заметить, что в условиях, которые мы задали самой схемой рефлексивного выхода, это невозможно или, во всяком случае, очень трудно: первый индивид осуществляет иную деятельность, нежели второй, имеет иную картину всей ситуации и по-иному представляет себе все ее элементы; более того, они и реально являются для него иными, нежели для второго индивида, а поэтому все слова и все выражения полученного им сообщения он будет (и должен) понимать иначе, нежели их понимает второй, – с иным смыслом и с иным содержанием.

Единственная возможность для первого индивида точно и адекватно понять смысл, заложенный в сообщении второго индивида, – это встать на его «точку зрения», принять его деятельностную позицию. Но это, как легко догадаться, будет уже совершенно искусственная трансформация, нарушающая естественные и необходимые условия сложившейся ситуации общения: в обычных условиях, описываемых предложенной схемой, переход первого индивида на позиции второго будет означать отказ его от

своей собственной деятельности и своей собственной профессиональной позиции. Кооперация как таковая опять не получится.

Изложенные простые соображения тотчас же наталкивают на вопрос: а нет ли такого пути и способа понимания, который позволил бы первому индивиду восстановить подлинный смысл, заложенный в сообщение вторым, и при этом сохранить свою собственную деятельностную позицию и свою собственную «точку зрения». Этот вопрос тем более оправдан, что в практике общения мы бесспорно сталкиваемся и с такими случаями и теперь важно найти для них теоретическую модель.

На наш взгляд, такой путь и способ понимания возможен и встречается только в тех случаях, когда первый индивид обладает совершенно особыми и специфическими средствами понимания, позволяющими ему, грубо говоря, объединять обе позиции и обе точки зрения, «видеть» и знать то, что «видит» и знает второй, и одновременно с этим то, что должен «видеть» и знать он сам; в простейших случаях первый индивид должен иметь такое представление о ситуации и всех ее объектах, которое механически соединяет представления первого и второго, но вместе с тем дает возможность разделить их; в более сложных случаях это будут представления «конфигураторного типа», объединяющие разные «проекции» (см. [Лефевр 1969; Shchedrovitsky 1971]), но всегда это должны быть специальные средства и комплексные представления, вырабатываемые с целью объединения разных «точек зрения» и разных деятельностных позиций. А до тех пор, пока таких средств и такого представления нет, первый индивид всегда стоит перед дилеммой: он должен отказаться либо от знаний и представлений, передаваемых ему вторым, рефлектирующим индивидом, либо от своей собственной деятельностной позиции и обусловленных ею представлений.

Таким образом, рефлексия, описанная нами как рефлексивный выход или рефлексивное поглощение, оказывается чисто негативной, чисто критической и разрушительной связью; чтобы стать положительным творческим механизмом, она должна еще дополнить себя какой-то конструктивной процедурой, порождающей условия и средства, необходимые для объединения рефлектируемой и рефлектирующей деятельности в рамках подлинной кооперации. И только тогда мы получим целостный механизм, обеспечивающий создание новых организованностей деятельности и их развитие.

Не вступая сейчас в детальное обсуждение встающих здесь проблем, мы отметим лишь несколько наиболее важных моментов, задающих, как нам кажется, весьма интересные направления исследований.

Объединение рефлектируемой и рефлектирующей позиций может проводиться либо на уровне сознания – случай, который более всего обсуждался в философии, – либо на уровне логически нормированного знания. В обоих случаях объединение может производиться либо на основе средств рефлектируемой позиции – в этих случаях говорят о заимствовании и заимствован-

ной позиции (см. [Лефевр 1967: 14-16])¹³, либо же на основе специфических средств рефлектирующей позиции – тогда мы говорим о рефлексивном подъеме рефлектируемой позиции (см. [Щедровицкий 1974 а]).

Когда рефлектирующая позиция вырабатывает свои специфические знания, но при этом не имеет еще своих специфических и внешне выраженных средств и методов, то мы говорим о *смысловой* (или *допредметной*) *рефлексии*, если же рефлектирующая позиция выработала и зафиксировала свои особые средства и методы, нашла им подходящую онтологию и, следовательно, организовала их в особый научный предмет, то мы говорим о «*предметной рефлексии*»¹⁴.

Каждое из этих направлений связи и организации знаний характеризуется своей особой логикой и методами анализа, причем одни способы и формы связи сохраняют специфику рефлексивного отношения, т.е. отнесенность знаний к *определенным* «способностям» или «источникам» познания (в терминологии Канта), к определенным видам деятельности и предметам (в нашей собственной терминологии), а другие, напротив, совершенно стирают и уничтожают всякие следы рефлексивного отношения¹⁵.

Если теперь выделять и рассматривать в отношении к рефлексии *проектные задачи развития науки*, то главной проблемой, по-видимому, станет проблема организации таких научных предметов, которые могли бы за счет своего имманентного движения постоянно снимать, «сплющивать» рефлексии, т.е. объединять знания, онтологические картины, модели, языки и т.п., полученные в рефлектируемой и рефлектирующей позициях. Сама эта задача встала уже давно, но интенсивная работа по ее решению началась лишь со второй половины XVIII века (на наш взгляд, именно она породила специфический круг логических и методологических проблем, определивших основные направления развития теоретической логики XVIII и XIX столетий) и до сих пор не дала значительных результатов; что же касается *осознания* этой проблемы, то к нему пришли лишь в последнее время. Но именно это в первую очередь и является, на наш взгляд, залогом быстрого и эффективного продвижения в дальнейшем.

¹³ «Хотя сознание освободилось от первого состояния, оно все же может свободно в него возвращаться. Оно может себя делать таким сознанием, причинность которого заключается только в его бытии. Это возвращение известно всякому под именем внимания. К первому бытию, которое продолжает существовать, не поглощая всецело бытия сознания, прибавилось второе, властвующее над первым. Это второе, раз появившись, не может быть уничтожено, но оно свободно может снова отдаваться первому...» [Фихте 1914: 14].

¹⁴ Точнее, нужно было бы говорить о рефлексии, *успокоившейся в предмете*, ибо здесь стираются все следы его рефлексивного происхождения и дальнейшее развитие предмета может происходить без помощи и посредства знаний, получаемых в заимствованной позиции; сама рефлектируемая деятельность превращается при этом в «чистую» практику, оторванную от каких-либо процедур получения знаний.

¹⁵ Хорошим примером принципов, сохраняющих рефлексивные отношения в знаниях, могут служить, во-первых, *принцип двойного знания* (см. [Щедровицкий 1964 а, 1966 б]), а во-вторых, *принцип и схемы конфигурирования* (см., например, [Щедровицкий, Садовский 1964; Лефевр 1967: 4-11; Shchedrovitsky 1971]).

Проблема исторического развития мышления *

Вступление: пояснение темы и замысла работы

Вопрос о том, развивается ли мышление или же, наоборот, остается одним и тем же для всех времен и народов, уже не одно столетие является предметом дискуссий, столь же острых, сколь и безрезультатных. До сих пор в этих дискуссиях, как правило, представители обеих противоборствующих коалиций надеялись найти подтверждение для своих точек зрения и позиций в самом мышлении, в его реальном бытии и мало внимания обращали на гносеологические и эпистемологические аспекты проблемы, на то обстоятельство, что все их аргументы и ходы рассуждений целиком и полностью определяются их собственными представлениями о мышлении, имеют, следовательно, не объективный, а предметный характер¹ и потому должны рассматриваться не столько в качестве гипотез, требующих эмпирического и теоретического подтверждения, сколько в качестве методологических концепций и программ², нуждающихся в реализации через соответствующую организацию исследований и всей науки о мышлении.

Чуть утрируя, можно сказать, что те, кто утверждал, что мышление исторически развивается, прогрессирует, тем самым заявляли, что они хотят и будут исследовать мышление как развивающееся, а те, кто говорил, что мышление не развивается, остается всегда одним и тем же, тем самым заявляли, что они будут подходить к нему как к неизменному, выделять в нем «общее» для разных исторических фаз и периодов. К вопросу о том, каково же мышление «на самом деле», в реальности, эта оппозиция представлений и точек зрения не имела ровно никакого отношения; она выражала лишь различные познавательные установки и программы исследований.

Но был еще один момент, кроме методологических программ и установок, который точно так же проявлялся в этих декларативных утверждениях о природе мышления, – это зависимость наших знаний и представлений от характера используемых нами мыслительных средств и методов анализа. Если какой-то исследователь в этой дискуссии утверждал, что мышление не развивается, то это означало также (в дополнение к познавательным установкам и программам исследования), что у этого исследователя, с одной стороны, такое представление о самом мышлении, а с другой стороны – такие средства и методы анализа, которые никак не могут быть совмещены с представлением об историческом развитии мышления. И наоборот, если какой-то исследователь утверждал, что мышление исто-

* Переиздание работы [Щедровицкий 1975 а].

¹ Различие между «предметом» и «объектом» и соответственно между предметными и объективными утверждениями обсуждается в нашей работе [Щедровицкий 1964 а].

² Представление о «программах исследований» и их роли в развитии естественных наук дается в работах И.Лакатоса [Lakatos 1968, 1970].

рически эволюционирует и развивается, то это означало, что он либо уже имеет такие средства анализа и такое представление о мышлении, которое соответствует идеям развития, либо же надеется их выработать. И именно эта сторона дела представляет для нас сейчас интерес и должна быть рассмотрена подробнее.

Наверное, ярче всего эта связь и зависимость между познавательными установками, с одной стороны, и средствами анализа мышления – с другой, проявляется в длительном противостоянии и сосуществовании формально-логического подхода к мышлению³, либо начисто отвергающего развитие мышления, либо ограничивающего его одной лишь областью содержания, и культурно-исторического подхода, исходящего из идеи развития и подчеркивающего первенствующее значение исторических процессов во всех духовных явлениях, в том числе и в мышлении.

³ Вопросы о том, что такое «логика», когда она сложилась и оформилась в том виде, который кажется нам сейчас привычным, каковы ее предмет и метод, можно ли считать логику *наукой*, в частности – *наукой о мышлении*, и многие другие вопросы, связанные с этими, являются крайне сложными и запутанными. Исторические работы самого разного типа (такие, скажем, как [Bochenki 1956; Маковельский 1967; Стяжсин, 1967]) дают заведомо модернизированное представление; их нельзя в этом упрекать, ибо основная цель и задача всех этих работ состоит в том, чтобы *снять* исторический процесс и представить все его достижения в единой «системе логической культуры», пригодной для функционального употребления, но создаваемая таким образом «историческая» картина оказывается в результате столь искаженной, что ею нельзя пользоваться именно в историческом плане. Некоторые авторы обращают на это внимание (см., например, [Scholz 1931; Ахманов 1960]), но и они, как правило, не могут построить *исторической* представления, ибо не обладают необходимыми *средствами и методами исторической реконструкции* (см. по этому поводу [Historical... 1971; Boston... 1971]). В ряде работ мы изложили фрагменты своего представления о логике [Щедровицкий 1958-60, 1966 d; 1962; 1967 b; Щедровицкий и др. 1960-61; Schedrovitsky 1967; 1968], из которого в общем исходим и в этой статье; но в дополнение ко всему, что там было сказано, здесь мы должны отметить еще три момента.

(1) «Логика» как таковая не является и никогда не была наукой в прямом и точном смысле этого слова: это – *инженерия норм* (разъяснение этого тезиса и необходимая аргументация проведены для языковедения – см. [Щедровицкий 1964 a, Schedrovitsky 1966]), но «логика» может и должна рассматриваться целиком по аналогии с языковедением – см. [Щедровицкий 1971 e]).

(2) В «логике» имеются элементы научных представлений, возникающие вокруг нормативных схем (ср. [Щедровицкий 1971 a, 1971 d; 1974 a]); одни из этих элементов являются *методическими и конструктивно-техническими* и ведут к образованию систематизированных методик и конструктивно-нормативных дисциплин, другие элементы — *естественнонаучными* в собственном смысле этого слова; в той мере, в какой мы рассматриваем эти последние, мы должны интерпретировать «логику» на какие-то реальные и подчиняющиеся естественным закономерностям предметы (см. [Щедровицкий 1967 b]); одним из таких предметов может быть «мышление». И хотя Р.Карнап и Я.Лукаевич категорически отрицали какую-либо связь логики с «мышлением» (см. [Щедровицкий 1966 d; Carnap 1958: 31-32; Лукаевич 1959: 48-51]), чтобы уравновесить их суждения, достаточно указать на то, что работы Дж. Буля и Г.Фреге были бы немислимы без прямой и непосредственной ориентации на исследование «мышления» [Boole 1854, 1940; Frege 1879, 1918, 1971]).

(3) То, что мы сейчас называем «логикой», – это предмет, выделенный из общей системы

Поэтому именно на этой конфронтации представлений о мышлении и на попытках преодолеть и снять ее мы и хотим сейчас остановиться, чтобы лучше осветить существо обсуждаемой проблемы. При этом мы должны будем, во-первых, изложить наше представление о «природе» и функциях традиционных логических единиц, во-вторых, кратко очертить и охарактеризовать основные линии и этапы становления идеи исторического развития знаний и мышления, в-третьих, рассмотреть, каким образом идея развития соотносилась и связывалась с традиционными логическими схемами и представлениями. В целом, таким образом, мы должны будем получить представление об истоках проблемы исторического развития мышления, ее современном состоянии и возможных перспективах решения.

I. Основной смысл проблемы: отношение исторических описаний мышления к логическим представлениям

1. Традиционные логические схемы и понятия – формы фиксации «организованностей» формального вывода

При обсуждении вопроса о том, что представляют собой традиционные логические единицы – «умозаключения» и «суждения», нередко получается то же самое, что мы уже отметили выше в более общей форме: наивный онтологист полагает, что мышление реально существует в виде умозаключений и суждений, описанных Аристотелем, он целиком доверяет интуиции Аристотеля и последующих перипатетиков и полагает, что не только в этих схемах и связанных с ними понятиях адекватно схвачены и выражены определенные стороны мышления (весьма частные и существующие наряду со многими другими), но что в этом все мышление и ничего другого в реальном мышлении нет и не может быть. Наивный онтологист забывает, что когда он говорит о «суждениях» и «умозаключениях», то фиксирует и объективирует прежде всего свои исторически переходящие представления о мышлении и лишь в них и через них – какую-то частную сторону реального мышления. Это – первый момент, который должен быть здесь отмечен.

методологии сравнительно поздно: в качестве нормативно-конструктивной дисциплины – по-видимому, где-то в позднем средневековье, а в качестве научной (или квазинаучной) дисциплины – впервые у Гегеля (см. [Гегель 1934, 1937], и ср. также [Scholz 1931: 2-12]). Во всяком случае, у Аристотеля не было «логики» как таковой и, соответственно этому, – логического представления мышления (ср. [Луканин, Касымжанов 1971]); более того, сам он, по сути своих воззрений и своей борьбы с софистами, должен был бы категорически возражать против идеи «чистого языка», или «чистой техники», мышления; Аристотеля, как и Платона, интересовали прежде всего *проблемы истины*, а потому его концепция мышления была не столько методической и технологической, сколько онтологической: «метафизика» для Аристотеля была в такой же мере «органомом» мышления, как и «аналитики», а «истолкование» давало механизм объединения того и другого в мышлении.

Все эти моменты нашей трактовки «логики» и «логического» надо иметь в виду, чтобы понимать дальнейшее обсуждение проблемы.

После того как мы освободились от наивной онтологизации логических схем и встали на позиции диалектики, т.е. на позиции сознательно-гносеологизма (ср. [Щедровицкий 1964 а]), нужно поставить вопрос о том, какая же именно «сторона» мышления была схвачена и выражена в этих схемах и фиксирующих их понятиях; при этом, следуя основным принципам методологического мышления (см. [Щедровицкий 1964 а, 1966 б]), мы должны будем противопоставить существующие логические схемы другим представлениям о мышлении и самому мышлению как объекту изучения (см. [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий 1966 б, Shchedrovitsky 1971]).

В принципе, ответ на поставленный выше вопрос достаточно банален – и логика уже давно пришла к нему (мы лишь меняем понятийное оформление и форму выражения хорошо известного положения): *все традиционные логические схемы и связанные с ними логические понятия нормировали процесс формального умозаключения, или вывода, и расчленяли знаковый материал речи так, чтобы зафиксировать и организовать этот процесс*⁴. Все эти расчленения никак не учитывали и не фиксировали других возможных процессов в мышлении, в том числе – процессов образования (или происхождения) знаний и процессов исторического развития знаний и мышления.

2. Системная трактовка проблемы

Чтобы лучше понять смысл и основания сделанных выше утверждений, нужно учесть, что мы все время исходим из определенного понятия системы [Щедровицкий 1974 б, 1975 б; Гуцин и др. 1969] и используем его в качестве важнейшего категориального средства, организующего наши собственные рассуждения. Это понятие системы предполагает, во-первых, представление изучаемого объекта как минимум по четырем основным слоям существования: (1) процессов, (2) функциональных структур, (3) организованностей материала, (4) морфологии, а во-вторых – установление определенных соответствий между строением (или структурой) слов; так, например, слой функциональной структуры является особой формой фиксации в нашем знании соответствующих процессов (ср. [Щедровицкий 1974 б, 1975 б]), а слой организованностей материала – как об этом говорит само его название – представляет собой как бы «следы» течения

⁴ Мы совершенно отвлекаемся здесь от обсуждения вопроса, насколько точно и полно были зафиксированы эти процессы в схемах традиционной логики: на этот счет у нас есть много возражений, и часть из них мы уже изложили в других публикациях [Щедровицкий 1958-60, 1962, 1965 б; 1974 д; Щедровицкий и др. 1960-61; Щедровицкий, Якобсон 1962 с]; в частности, мы показали, что если исходить из задачи *изображения* процессов и актов формального мышления, то схемы должны быть существенно иными. Однако независимо от степени своей адекватности реальным процессам мышления схемы традиционной логики *практически* организовывали и нормировали формальные умозаключения и в этой своей функции осознались всеми.

процессов в определенном материале, совокупную «колею», проложенную предшествующими процессами и направляющую последующие (см. [Щедровицкий 1969 b, 1974 b, 1975 b]).

Каждая функциональная структура и каждая организованность материала при правильном аналитическом представлении объекта должна соответствовать какому-то одному однородному процессу. Если в объекте существуют (или возникают) какие-то другие процессы, то происходит «взаимодействие» этих процессов с организованностями материала, фиксирующими первый процесс, в ходе которого изменяются, трансформируются как процессы, так и организованности материала, причем таким образом, что в конце концов между теми и другими устанавливаются соответствия: организованность материала становится сложной, многофункциональной, а каждому процессу (или типу процессов) соответствует свой особый фрагмент и своя особая структура организованности материала. Поэтому в сложной системе организованность материала устроена таким образом, что она соответствует сразу многим различным процессам и фиксирует их сосуществование и взаимодействие в одном объекте (см. [Щедровицкий 1974 b, 1975 b]).

Если теперь мы перенесем эти системные представления на традиционную логику, то получим то самое определение логических единиц, которое было дано выше; мы должны будем сказать, что основные схемы и понятия логики, с одной стороны, фиксировали те организованности речевого текста, которые соответствовали процессам формального умозаключения (или формального вывода), а с другой стороны, не учитывали никаких других процессов в мышлении и, следовательно, схватывали и отражали лишь ту сторону и тот аспект существования мышления, которые связаны с формальными выводами (силлогистическими, основанными на разных типах отношений между предметами, на связках между предложениями и т. д., и т. п.)⁵.

⁵ Здесь могут возразить, что «мышление» – в точном соответствии с введенным нами выше понятием системы – это и есть формальные рассуждения, осуществляемые в соответствии с зафиксированными в логике схемами умозаключений, что вне и помимо этого в «мышлении» вообще больше ничего нет, а поэтому не имеет смысла говорить о каких-то иных процессах, протекающих в мышлении, помимо процессов формального рассуждения. У этого возражения могут быть два принципиально разных основания. Одно из них – догматизм, приверженность к старым, хорошо выученным схемам; в этом случае опровергать что-либо и доказывать просто бессмысленно. Вторым основанием может быть *искусственный* подход к духовным явлениям [Щедровицкий 1966 а; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967; Генисаретский 1971; Саймон 1972]; в этом случае базу для возражений дает то бесспорное положение, что «мышлением» можно считать лишь те проявления и процессы в деятельности и поведении человека, которые определенным образом *нормированы* и, следовательно, зафиксированы и существуют в определенных *культурных нормах* (ср. [Щедровицкий 1966 а, 1967 а, 1971 d, 1971 e, 1972]); к этому положению добавляют второе, что-де до сих пор в *логических нормах* были выражены и зафиксированы только процессы формального вывода и поэтому только их и можно считать относящимися к мышлению.

Но дальше, когда стали выявляться другие процессы в мышлении – процессы образования (или происхождения) знаний, процессы передачи знаний и мышления в обучении, процессы исторической эволюции и развития мышления и т.д., и т.п., тогда главной исследовательской проблемой, в точном соответствии с принципами изучения сложных системных объектов, стала проблема соотношения между организованностями формального вывода, фиксируемыми в схемах, представлениях и понятиях традиционной логики, и этими новыми процессами «жизни» мышления.

Считая такого рода соображения весьма серьезными, мы все же рискуем утверждать, что они не учитывают, по меньшей мере, двух существенных обстоятельств, которые должны кардинальным образом изменить наши выводы. Во-первых, здесь производится отождествление *норм мышления с логическими нормами*, а это не только сомнительно, но и просто неверно: существует масса норм, уже много столетий регулирующих мышление, которые до сих пор никак не охвачены логикой, а охватываются, скажем, математикой (см. [Щедровицкий 1958-60: V, 1960; Щедровицкий и др. 1960-61: IV; Москаева, Розин 1966, Розин 1964]), естественными науками и методологией. Во-вторых, в этой аргументации совершенно не учитывается различие *нормативных, конструктивно-технических и собственно научных предметов* (ср. [Щедровицкий 1966 а]), которые различаются между собой *условиями и критериями полноты и целостности*. Дело в том, что при естественнонаучном подходе к предмету мы не можем ограничиться одними лишь *организованностями норм* (т.е. *парадигматическими системами*) и рассматривать *материал, на котором реализуются эти нормы*, как совершенно пассивный, не привносящий ничего своего в предмет изучения, а должны рассматривать *сложный объект, конституируемый связью между нормами и материалом*; при этом как нормы, так и материал должны браться в своих специфических структурах и процессах, а кроме того, должен быть зафиксирован и исследован процесс, создающий объединяющую их связь (см. [Щедровицкий 1971 d, 1971e, 1975 c], а также [Щедровицкий 1971 б]).

Особенности такого подхода к предмету изучения полностью учитываются тем понятием системы, которым мы пользуемся, в частности наличием в системном представлении *слоя морфологии* [Щедровицкий 1974 б]. Так как мышление должно быть представлено нами в виде системы и, следовательно, будет содержать *все* слои, в том числе и слой морфологии, то в нем необходимо должны быть и такие процессы, которые пока еще не отражены и не зафиксированы в соответствующих нормах: без них мышление просто не может существовать как *естественный или искусственно-естественный объект* (ср. [Щедровицкий 1973 а]).

Вообще здесь надо заметить, что существует большая разница между предметами нашей конструктивно-технической деятельности и предметами научного исследования: то, что достаточно полно и замкнуто для конструктивно-технической деятельности, может оказаться и, как правило, оказывается *неполным и незамкнутым* в отношении научно-исследовательской деятельности. Именно это и проявляется в данном случае: к мышлению подходят с конструктивно-технической точки зрения – ибо в этом суть логического подхода – и на основе этого объявляют мышлением только то, что описано и зафиксировано в логике; но нужно еще специально выяснить, имеет ли этот описанный в логике предмет *самодостаточное естественное или искусственно-естественное существование* и можно ли выделить *естественные законы*, описывающие его жизнь; если окажется, что таких законов нет и, следовательно, «логическое мышление», т.е. формальные рассуждения, не является *целостным предметом*, то нам неизбежно придется расширять этот предмет и искать для мышления такие процессы, которые смогут конституировать его целостность и обеспечить ему естественное или искусственно-естественное существование.

И именно вокруг этого шли все основные «ноологические»⁶ дискуссии по крайней мере с конца XVI столетия.

При этом перед исследователями стояла сразу двойная задача: с одной стороны, им нужно было таким образом ввести понятия об исторической эволюции и развитии («прогессе»), чтобы они «накладывались» на мышление и знания, а с другой стороны, им нужно было так определить и представить само мышление и порождаемые им знания, чтобы они допускали объясняемое и воспроизводимое в моделях историческое развитие. Это была очень сложная задача. Из общих системных соображений, которые уже были вкратце изложены, мы знаем, что решение ее требовало, с одной стороны, полного отказа от традиционных логических представлений, ибо последние фиксировали организованности процессов формального рассуждения, а теперь нужно было выделить и зафиксировать организованности совсем иных процессов (может быть, и связанных с процессами формального рассуждения, но явно отличающихся от них), а с другой стороны, такой перестройки всех этих представлений, чтобы они могли быть соотнесены с новыми представлениями о мышлении (при этом они сохранили бы специфические моменты, фиксирующие особенности формального мышления и одновременно включили бы в себя целый ряд новых моментов, отражающих другие процессы в мышлении и их организацию). Одним словом, задача состояла в том, чтобы, исходя из традиционных логических представлений и трансформируя их, получить новое более всестороннее и полное представление о мышлении и протекающих в нем процессах⁷.

Именно вокруг этого, повторяем, строилась вся ноологическая работа с конца XVI века. Но задача была столь сложна, что ее не удалось решить и до сих пор, несмотря на то, что в работе принимали участие лучшие умы Европы. Такой итог придал проблеме характер «вечной» и, естественно, несколько охладил интерес к ней, но он не снял и не мог снять ее совсем. Число работ, затрагивающих ее с той или другой стороны, неуклонно растет, а осознание значимости проблемы становится все более ясным и отчетливым.

Но было бы неверным и опрометчивым, исходя из этих соображений, продолжать лобовые попытки решения проблемы в условиях, когда накоплен столь значительный и богатый опыт неудач: наверное, более пра-

⁶ От греческого слова νοοσφ – «ум»; ср. с выражением «ноосфера», употреблявшимся В.И.Вернадским и Тейяр де Шарденом [Тейяр де Шарден 1965].

⁷ Нетрудно заметить, что такая формулировка задачи соответствует идее восхождения от абстрактного к конкретному [Щедровицкий 1975 с; Ильенков 1960; Зиновьев 1954, 1960; Зиновьев 1958]); но сама эта задача возникла и стала решаться до того, как появилось осознание ее в качестве специфической задачи восхождения, и это обстоятельство трансформировало не только процесс решения, но и саму задачу, скажем, позволяло трактовать ее как задачу объединения знаний, синтеза или конфигурирования их и т.п. (ср. [Щедровицкий, Садовский 1964: I; Schedrovitsky 1971; Мамардашвили 1958; Лефевр 1962, 1969]).

вильно и более выгодно перейти на сознательно методологическую позицию (ср. [Щедровицкий 1964 а; Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий 1965 а; 1969; Shchedrovitsky 1968]), проанализировать сами эти попытки и созданную ими познавательную ситуацию, постараться выявить причины и истоки столь регулярных неудач, произвести историко-критический анализ самой проблемы и на основе этого, схематизируя весь полученный материал, поставить проблему заново в такой форме, которая допускала бы простое и эффективное решение. Такой вывод указывает единственно продуктивный, на наш взгляд, путь обсуждения и решения проблемы. Правда, он заставляет нас проводить очень сложное методологическое исследование истории проблемы и всех связанных с нею идей, представлений и понятий, а это, в свою очередь, ставит перед нами и заставляет решать много новых и весьма трудных проблем методологии исторического исследования, но, как говорится, лучше медленно продвигаться в правильном направлении, нежели быстро прийти совсем не туда, куда нужно. Поэтому мы готовы примириться с перспективой длительного и трудного историко-методологического исследования проблемы и начинаем его уверенные в том, что это единственный путь, ведущий к глубоким и обоснованным результатам.

II. Идея «прогресса разума»

1. Исторические условия становления и смысл идеи

В античный период, когда формировались основные понятия методологии и логики, проблемы исторической эволюции и общественного прогресса, по-видимому, совсем не ставились и не обсуждались (см. [Bury 1932; Кон 1958, 1967; Ахманов 1960; Лосев 1967; Маковельский 1967]); тем более не могли в этот период ставиться и обсуждаться проблемы исторической эволюции и развития таких предметов, как «ум», или «разум», «мышление», «знание» и т.п. (см. [Юркевич 1865; Аристотель 1937 b; Gulley 1962; Лосев 1967]).

По свидетельству многих авторов (см., к примеру, [Борджану 1960; Кон 1967]), сама идея общественного прогресса оформилась и стала обсуждаться лишь после эпохи Возрождения. С самого начала она несла в себе социальный, общественный смысл и была теснейшим образом связана с историческим взглядом на все происходящее. В самом грубом виде можно сказать, что идея прогресса связывала идею истории с идеей развития, употреблявшейся в то время лишь в применении к индивиду, и таким образом положила начало формированию идеи исторического развития.

Первое подробное и обстоятельное обсуждение проблемы общественного прогресса, который связывался с накоплением знаний и совершенствованием общественного разума, мы находим у Дж.Вико (1725 г. – см. [Вико 1940; Vico 1947]), а затем у французских философов-просветителей – А.Р.Тюрго (1751 г. – см. [Тюрго 1937 а, b]), Г.Т.Рейналя (1784 г. – см. [Raynal

1784]) и Ж.А.Кондорсэ (1794 г. – см. [Кондорсэ 1936]). Но параллельно в это же время идея прогресса применяется к отдельным социокультурным предметам, в первую очередь таким, как «язык», «мышление», «социальные учреждения», «идеи» и «идеология», к разным формам практической деятельности, наконец, к культуре в целом, и многие мыслители (Ж.Ж.Руссо, 1754 г. – см. [Rousseau 1755], А.Смит, 1759 г. – см. [Smith 1759], Ж.Пристли; 1762 г. – см. [Priestley 1762; Пристли 1934], Ш. де Бросс, 1765 г. – см. [Brosses 1765], И. Г. Гердер, 1772 г. – см. [Herder 1772; Herders... 1957; Гердер 1959], Дж.Б.Монбоддо, 1773-1792 г. – см. [Monboddo 1773-1792] и др.) обсуждают в этой связи происхождение и тенденции дальнейшего развития этих предметов. Р.Шор назвала все это «ростом исторического мирозерцания» [Шор 1938: 115], но отмечала вместе с тем отсутствие в нем конкретной теоретической предметности.

Основной причиной, выдвинувшей тему прогресса на передний план, было, на наш взгляд, стремление деятелей культуры того времени найти объективные основания для своих идеалов, надежд и действий: определенная направленность исторического процесса должна была дать им объективные цели и оправдать сосредоточение усилий на достижении этих целей. Поэтому представления о прогрессе и развитии с самого начала носили комбинированный, естественно-искусственный характер: с одной стороны, они отвечали на вопрос, что происходит (как бы «само собой») в истории человечества, а с другой стороны, указывали, что именно надо делать, чтобы не войти в разлад с историей; и оба эти момента были теснейшим образом связаны, можно сказать «склеены», в исходных представлениях о прогрессе ⁸.

⁸ Характеризуя эту сторону воззрений Дж.Вико, К.Маркс писал, что «... по выражению Вико, человеческая история тем отличается от естественной истории, что первая сделана нами, вторая же не сделана нами» [Маркс 1955 а: 378, примеч. 89]. Но одновременно и параллельно с этим Дж.Вико настаивал на объективном характере исторических закономерностей и единстве процессов и законов мировой истории [Борджану 1960: 126-128]. И эту двойственность мы находим в воззрениях буквально всех мыслителей XVIII столетия; ср., например: «Эти наблюдения над тем, чем человек был, над тем, чем он стал в настоящее время, помогут нам затем найти средства обеспечить и ускорить новые успехи, на которые его природа позволяет ему еще надеяться.

Такова цель предпринятой мной работы, результат которой должен заключаться в том, чтобы показать путем рассуждений и фактами, что не было намечено никакого предела в развитии человеческих способностей, что способность человека к совершенствованию действительно безгранична, что успехи в этом совершенствовании отныне независимы от какой бы то ни было силы, желающей его остановить, имеют своей границей только длительность существования нашей планеты, в которую мы включены природой. Без сомнения, прогресс может быть более или менее быстрым, но никогда развитие не пойдет вспять...» [Кондорсэ 1936: 5-6].

«Если существует наука, с помощью которой можно предвидеть прогресс человеческого рода, направлять и ускорять его, то история того, что было совершено, должна быть фундаментом этой науки. Философия должна была, конечно, осудить то суеверие, согласно которому предполагалось, что правила поведения можно извлечь только из истории прошедших веков и

Когда затем в аналитической проработке этих представлений выделяли и фиксировали одну лишь естественную компоненту, то получалось чисто натуралистическое понимание истории с неизбежной для него механической трактовкой необходимости в историческом процессе ⁹, а когда, наоборот, выделяли одну искусственную компоненту, то получалось чисто волюнтаристическое и субъективистское понимание истории (см., к примеру, [*Schopenhauer* 1819; *Шпенглер* 1923; *Spengler* 1931]).

Но все это были, как мы уже сказали, результаты и продукты последующей рефлексивной проработки представлений о прогрессе и развитии, а в исходном пункте эти представления соединяли в себе оба плана – как естественный, так и искусственный (и именно в этом заключено их неисчерпанное до сих пор практическое и теоретическое содержание).

Становление идеи общественного прогресса происходило, как мы уже отметили выше, с одной стороны, под влиянием идеи индивидуального развития человека, а с другой – в контексте определенных представлений об истории человеческого общества (см. [*Bury* 1932; *Тюрго* 1937 а, b; *Вико* 1940; *Vico* 1947; *Кон* 1958; *Борджану* 1960]); но было бы ошибкой непосредственно связывать эту идею с идеей индивидуального развития или выводить ее из общих исторических представлений того времени и рассматривать как вариант и конкретизацию этих представлений. Скорее, наоборот, представления об общественном прогрессе формировались вне традиционных представлений об истории и вопреки им ¹⁰, затем вноси-

что истины можно познать, только изучая воззрения древних. Но не должна ли она в этом осуждении видеть предрассудок, который высокомерно отбрасывал уроки опыта? Без сомнения, одно лишь размышление при удачных комбинациях может привести нас к познанию общих истин гуманитарных наук. Но если наблюдение отдельных личностей полезно метафизику, моралисту, почему наблюдение человеческих обществ было бы менее полезным? Почему оно не было бы полезно философу-политику?..

Все говорит нам за то, что мы живем в эпоху великих революций человеческого рода. Кто может лучше нас осветить то, что нас ожидает, кто может нам предложить более верного путеводителя, который мог бы нас вести среди революционных движений, чем картина революций, предшествовавших и подготовивших настоящую? Современное состояние просвещения гарантирует нам, что революция будет удачной, но не будет ли этот благоприятный исход иметь место лишь при условии использования всех наших сил? И для того чтобы счастье, которое эта революция обещает, было куплено возможно менее дорогой ценой, чтобы оно распространилось с большей быстротой на возможно большем пространстве, для того чтобы оно было более полным в своих проявлениях, разве нам не необходимо изучить в истории прогресса человеческого разума препятствия, которых нам надлежит опасаться, и средства, которыми нам удастся их преодолеть?» (там же, с. 14-16).

⁹ Ср., к примеру, тезис Дж. Пристли, относимый им не только к природе, но и к истории: «Ни одно событие не могло быть иначе, чем оно было или будет» [*Пристли* 1934: 86].

¹⁰ Ср.: «Идея исторического прогресса родилась не из христианской эсхатологии, а из ее отрицания» [*Кон* 1967: 381]. Более того, здесь нужно все время помнить, что хотя мыслители XVIII века, формируя понятие общественного прогресса, ставили задачу соединить исторические представления с идеей развития, однако из-за отсутствия теоретически заданного предмета, способного развиваться, им это не удалось сделать и еще в течение половины столетия исторические представления развивались в общем независимо от идеи развития;

лись в эти исторические представления и своей категориальной структурой разрушали и деформировали представления об истории¹¹.

это дало право Ф.Энгельсу сказать, что Гегель «первый пытался показать развитие, внутреннюю связь истории» [Энгельс 1959: 496]; еще более выразительны в интересующем нас плане замечания в «Святом семействе»: «Гегелевское понимание истории предполагает существование *абстрактного*, или *абсолютного*, духа, который развивается таким образом, что человечество представляет собой лишь *массу*, являющуюся бессознательной или сознательной носителем этого духа. Внутри *эмпирической*, экзотерической истории Гегель заставляет поэтому разыгрываться *спекулятивную*, эзотерическую историю. История человечества превращается в историю *абстрактного* и потому для действительного человека *потустороннего духа* человечества» [Маркс, Энгельс 1955 b: 93].

¹¹ Дело в том, что первые формы идеи «истории» формировались совершенно независимо от каких-либо предметных представлений: такая «история» охватывала ряд независимых друг от друга «явлений» и выстраивала их в *хронологической последовательности*; были ли эти явления однородными, принадлежали ли они к одному предмету или к нескольким, охватывались ли эти явления единым механизмом функционирования или не охватывались – все эти вопросы первоначально не ставились и не обсуждались. Такого рода «история» была всегда в прямом смысле этого слова «историей с географией»: не было никаких внутренних критериев и оснований для включения или, наоборот, исключения каких-либо явлений из *исторического предмета*; принципом объединения и организации разных явлений в целое была *внешняя* для этих явлений *идея хронологии*, и в «исторический предмет» соответственно этому попадало все, что по тем или иным соображениям связывалось между собой через отнесение к оси хронологии. При этом, конечно, всегда действовали определенные содержательные, интуитивно фиксируемые ограничения: в «историю» включалось только то, что было так или иначе связано с *миром человеческой жизни и деятельности*, но сюда попадали (и располагались в одном ряду) как астрономические и географические, так и экономические или собственно политические события; подлинные связи и зависимости между этими явлениями оставались скрытыми, и даже более того, вопрос о них в рамках такой идеи истории вообще и не мог ставиться.

А в той мере, в какой он все же ставился, это вело к разложению первой идеи и к образованию новой. Всякая попытка раскрыть и описать *внутренние процессы*, связывающие между собой уже выделенные явления человеческого мира, приводила, с одной стороны, к выделению из этого мира отдельных предметов – «государства», «народа», «языка», «разума», «духа», «науки» и т.п., а с другой стороны – к отрицанию значимости самой хронологии, а вместе с тем и первой идеи истории. И ровно настолько, насколько шло проникновение в эти внутренние закономерности устройства и жизни отдельных предметов, их функционирования или развития, настолько же при объяснении того, что происходит в истории, отвергалась идея историко-хронологической связи и историко-хронологической последовательности. Наверное, поэтому все становление отдельных предметных наук проходило под знаком *активного антиисторизма*.

Это не означало, что идея истории и исторического процесса была совсем отброшена. Нет, она сохранялась и продолжала существовать как принципиально иная точка зрения и принципиально иной подход к тем же самым явлениям, нежели естественнонаучная предметность. А это, в свою очередь, постоянно приводило к вопросу о возможностях объединения и синтеза этих двух разных представлений. Но только теперь движение должно было начинаться не с представлений об истории, а с представлений о том или ином предмете, с его внутренних процессов и механизмов жизни, и уже на них затем должно было быть «наложено» представление об истории и специфически исторических изменениях; иначе говоря, представления об истории должны были быть соединены и склеены с представлениями о функционировании предмета и его качественных изменениях. При таком подходе, естественно, не могло быть и речи о какой-то *единой и общей* для всех предметов истории; наоборот, для

Иначе говоря, становление идеи общественного прогресса надо рассматривать, по нашему убеждению, не в линии развития представлений об истории, а в линии формирования представлений о развитии общества и лишь в той мере, в какой второе накладывалось на первое и склеивалось с ним, этот процесс был также моментом в линии изменения представлений об истории, но не имманентным для нее, а привнесенным извне и внедренным как бы насильственно¹².

Другое дело, что после того, как такое склеивание двух разных представлений произошло и «история» стала выступать уже не как история вообще, а как история определенных предметов — народов, гражданского общества, языка, разума и т.п., после этого можно описывать весь этот процесс, ориентируясь на такую склейку и относя все, что касалось идеи прогресса и развития, к истории развития представлений об истории, но это будет уже ретроспективная история развития сложного предмета¹³, и

каждого предмета нужно было искать свою *особую структуру исторического процесса* и свой *особый механизм исторических изменений*, соответствующий устройству и специфическим механизмам функционирования этого предмета. «История» таким образом распадалась на множество линий и потоков исторического изменения отграниченных друг от друга, автономных предметов, она приобретала сугубо предметный характер. Но это, естественно, должно было породить оппозицию и привести затем к выделению «*общей истории*».

¹² Поэтому отнюдь не случайно, как нам кажется, И.С.Кон пишет, что «прежде всего был замечен прогресс в сфере научного познания; уже Бэкон и Декарт учат, что не нужно оглядываться на древних, что научное познание мира идет вперед. Фонтенель систематизирует эти идеи. Затем идея прогресса распространяется и на сферу социальных отношений < следует ссылка на А.Тюрго и Ж.А.Кондорсэ >» [Кон 1967: 381]]. Такая трактовка явно не соответствует всему тому, что мы знаем по истории этого периода: во-первых, указанный тезис Бэкона и Декарта заведомо не совпадал с идеей прогресса и потому даже при самых сильных натяжках не может с ней отождествляться, а во-вторых — это общеизвестно, — идея общественного (или социального) прогресса в совершенно отчетливой и детализированной форме была сформулирована Дж.Вико за четверть века до доклада А.Тюрго (ср. [Вико 1940; Vico 1947] и [Тюрго 1937 а]) и притом — в контексте предельно широкого исторического анализа; таким образом, общеизвестные факты прямо противоречат тому, что пишет И.С.-Кон. Но суть дела совсем не в том, что именно появилось и было сказано раньше, а что позднее, а в том, откуда и как это появилось. А когда мы начинаем анализировать развитие идей с этой точки зрения, то выясняется, что идея общественного прогресса *не могла* возникнуть из существующих представлений об истории вообще и истории общества в частности и в их контексте. И, наверное, именно для того, чтобы зафиксировать и объяснить это отнюдь не тривиальное обстоятельство, И.С.Кон и вынужден был написать, что «прогресс был замечен прежде всего в научном познании», хотя существовавшие в то время представления о научном познании не давали и не могли дать никакого материала и никакого основания для того, чтобы «заметить» прогресс. К этому можно добавить, что задача, которую в то время решали Дж.Вико, А.Тюрго и др., заключалась совсем не в том, чтобы «заметить» прогресс, а в том, чтобы *выработать принципиально новую идею, новую категорию*, позволяющую видеть и замечать то, что раньше увидеть было просто невозможно; и такого рода задачи решаются на совсем иных путях, нежели озарения (см. в этой связи [Щедровицкий 1966 а, 1958, 1974 а]).

¹³ Здесь нужно акцентировать два слова — «ретроспективная» и «сложный», ибо каждое из них несет свой особый смысл и предъявляет свои особые требования к методу реконструкции истории.

она даст нам адекватное представление о том, что действительно происходило, только в том случае, если мы сумеем правильно нащупать те точки, в которых осуществилась склейка представлений, и на основе этого сможем правильно разделить процесс исторического развития на несколько сходящихся ветвей (ср. [Щедровицкий 1963]).

Социальный и идеологический контекст, в котором формировались первые представления об общественном прогрессе, сделал совершенно естественной связь их с изобретательством и накоплением знаний: ведь именно в этом было непосредственное содержание и смысл деятельности идеологов третьего сословия, ведь именно это нужно было обосновать и оправдать с исторической точки зрения ¹⁴.

Поэтому накопление знаний выступило, с одной стороны, как основной показатель прогресса в истории общества, а с другой стороны, как его основной механизм и движитель.

Но основным элементом общества – это стало уже аксиомой со времен реформации и ранних гуманистов – является «человек», и поэтому знание, выступившее в роли основного показателя прогресса, нужно было связать с «человеком» ¹⁵; в контексте этой установки сформировалось и стало важнейшим идеологическим и теоретическим понятием понятие «разума».

¹⁴ «К XVI–XVII вв. вся европейская культура подверглась глубочайшим трансформациям, социально-экономическим выражением которых явилось утверждение капиталистического общественного строя. Главная из этих трансформаций связана с радикальным изменением характера социальной практики. Социально-культурные истоки этого изменения коренятся в сдвигах, порожденных эпохой реформаций и отразивших серьезную духовно-ценностную переориентацию европейской цивилизации. Если классическое христианство ориентировало социальную активность человека прежде всего на сферу духовной жизни, на поиски спасения души, то протестантизм выразил аксиологически существенно иной идеал, признав правомерность и важность направления активности человека на повседневное, практическое бытие. Эта новая ориентация привела к тому, что социальная практика утратила свойственный ей прежде устойчиво-циклический характер, ее определяющим моментом начала становится направленность на продуктивную, преобразовательную деятельность. Такое изменение характера практики явилось главным источником, который питал развитие науки *нового времени*: именно наука оказалась необходимым средством рационализации практики, а в качестве такого средства она не только получила стимул к развитию, но и стала превращаться во все более значимый компонент культуры. С возникновением новоевропейской науки утвердилась такая форма познавательной деятельности, для которой характерен постоянный кумулятивный рост, подкрепляемый совершенствованием производства и других форм социальной практики на основе результатов науки. Благодаря этому наука начала выступать как высшая ценность, как основной ориентир жизнедеятельности человека» [Лекторский и др. 1970: 336].

¹⁵ «Становление буржуазных отношений формирует новый тип личности, в котором на первый план выдвигаются инициативность, предприимчивость и пр. ...

Новая антифеодалная концепция человека основывается на том, что ценность личности определяется ее собственными делами. Идеалом Возрождения является человек, понятый как героическое, титаническое существо, как человекобог. Полемизируя с трактатом Иннокентия III, Дж.Манетти называет свою работу «О достоинстве и превосходстве человека».

В исходном пункте оно точно так же объединяло, или, точнее, склеивало, два разнородных момента: человечество с его специфически общественными организованностями – языком, техникой, знаниями и т.п. – и отдельного человека с его сознанием, психикой, переживаниями, специфическими целями и т.п., или, если говорить языком Гегеля, «дух» и «душу». Благодаря этому «знания», «представления» и «понятия», принадлежащие «разуму», можно было относить в зависимости от потребностей и установок то к человечеству и его истории, то к отдельному человеку и его целенаправленным, сознательным действиям. Можно сказать, что в этом, собственно, и состояло «техническое» (искусственное) назначение понятий «разум» и «знание» – связать, склеить друг с другом представления о культурно-историческом процессе и представления о действиях индивида, но сами эти понятия в исходном пункте были совершенно синкретическими, а потому в теоретическом, естественно-объективированном плане эта связь оставалась весьма проблематичной и до сих пор вызывает столкновения культурно-исторических и психологически ориентированных концепций (см., например, [Щедровицкий 1968 с; 1971 г; Выготский 1934; Зинченко П. 1939; Kuhn 1962; Лакатос 1967; Мамардашвили 1968 а; Criticism... 1970; Popper 1970]).

Но как бы там ни было, прогресс в истории общества связывался идеологами и теоретиками с прогрессом «разума», а последний – с выработкой и накоплением «знаний». В исходных пунктах здесь, таким образом, не было идеи развития знаний и мышления: мышление осуществлялось, а знания накапливались, обеспечивая таким путем «прогресс разума», но, как это часто бывает при синкретических понятиях и недостаточно отрефлектированном мышлении, характеристики прогресса в этих условиях очень скоро были перенесены (чисто механически – обратным ходом и по сопричастности) с «разума» на «знания» и «мышление» (ср. [Мамардашвили 1968]), хотя оставалось совершенно неясным, образуют ли «знания» и «мышление» какие-то объективные целостности и осмысленно ли вообще говорить об их «прогессе» и развитии. Но независимо от того, было ли такое распространение идеи прогресса осмысленным с точки зрения существующих представлений о знании и мышлении или же, наоборот, произвольным, синкретическим и никак не оправданным, важно, что оно в какой-то момент произошло и стало оказывать сильное влияние на дальнейшее развитие всего этого круга идей и представлений. Однако к более детальному обсуждению этого поворота мы сможем подойти лишь позже, сделав еще несколько специальных шагов анализа.

Пикко делла Мирандола отстаивает мысль о том, что человек творит самого себя... Эта же линия находит выражение в эпикуреизме Л.Валлы, в творчестве Ф.Рабле, в критике средневекового аскетизма у Дж.Бруно и Монтеня [Лекторский и др. 1970: 335].

2. Основное содержание идеи «прогресса разума»

Выше мы уже перечислили работы, ставшие вехами на пути формирования идеи «прогресса разума». Своеобразным завершением и наиболее концентрированным выражением их, бесспорно, стала работа Ж.А.-Кондорсэ (см. [Кондорсэ 1936]). Представления, изложенные в ней, были характерными для большинства мыслителей XVIII и XIX столетий, и даже в XX веке мы можем обнаружить элементы этих представлений во многих «новейших» концепциях развития знаний и мышления. Поэтому мы проведем более детальный анализ представлений Кондорсэ, считая, что они могут служить хорошей моделью для самой идеи «прогресса разума».

Пять основных положений характеризуют взгляды Кондорсэ на «прогресс человеческого разума»:

1. Способности, данные от рождения каждому человеку, в ходе его жизни развиваются под воздействием внешних вещей и общения с другими людьми; они выливаются в способность изобретать.

2. Каждый отдельный человек, развивая свои способности, создает новые сочетания идей, и постепенно они накапливаются; вместе с тем растет число изобретенных людьми «искусственных средств».

3. Эти два момента – развитие способностей и накопление знаний и средств, – рассматриваемые относительно массы индивидов, сосуществующих одновременно, и прослеженные из поколения в поколение, и образуют «прогресс человеческого разума». Этот прогресс подчинен тем же общим законам, которые действуют в развитии наших индивидуальных способностей, ибо он является результатом этого развития, наблюдаемого одновременно у большого числа индивидов, соединенных в общество.

4. Результат, обнаруживаемый в каждый момент, зависит от результатов, достигнутых в предшествующие моменты, и влияет на те, которые должны быть достигнуты в будущем.

5. По мере увеличения количества фактов человек научается классифицировать их, сводить к более общим фактам; истины, открытие которых стоило многих усилий и которые сначала были доступны пониманию только немногих людей, способных к глубоким размышлениям, затем изменяются и совершенствуются в такой мере, что их можно доказывать методами, которые способен усвоить обыкновенный ум; таким образом, хотя сила и реальный объем человеческих умов могут оставаться теми же, но инструменты, которыми они пользуются, умножаются и совершенствуются (см. [Кондорсэ 1936: 3-5, 160, 235]).

В связи с дальнейшим обсуждением проблемы нам важно выделить и подчеркнуть в концепции Кондорсэ несколько узловых моментов:

(1) Хотя понятие «прогресс» по-прежнему чаще всего употребляется без отнесения к каким-либо определенным предметам и их характеристи-

кам (и в этом плане подобно первому понятию «истории»), наряду с этим намечена и последовательно проводится предметная трактовка всех других понятий, характеризующих различные моменты «прогресса». Человеческий «разум» разбит на «способности», с одной стороны, и «искусственные средства» – с другой, причем первые развиваются, а вторые накапливаются.

(2) В чем именно состоит развитие способностей, или, говоря современным языком, каковы структура и механизм этого процесса, Кондорсэ не показывает; точно так же он не ставит вопроса о том, какова должна быть структура самих способностей и как они должны быть представлены, чтобы мы могли говорить об их развитии. Поэтому, хотя «способности» и «развитие» соотнесены и связаны в его концепции, эта связь остается для них совершенно внешней.

То же самое, в принципе, можно сказать и об отношении между «искусственными средствами» и процессом их «накопления», но это имеет мало смысла, так как «накопление» не обладает структурой и потому совершенно безразлично к структуре предметов.

(3) В целом «прогресс разума» выступает как очень сложный процесс, содержащий неоднородные компоненты: развитие способностей принадлежит к индивидуально-психической сфере, а накопление искусственных средств – к культурно-исторической; накопление и совершенствование искусственных средств приводит к прогрессу разума, даже если оно не сопровождается развитием способностей; но в общем и целом между этими двумя сферами и соответствующими им процессами существуют сложные взаимозависимости и взаимопереходы: способности развиваются под воздействием «внешних вещей» и благодаря упражнению с «искусственными средствами», а развитие способностей в свою очередь ведет к изобретению новых искусственных средств и к созданию новых вещей. Вместе с тем, задавая столь сложную и разнородную в своих частях картину прогресса человеческого разума, Кондорсэ не ставит вопроса о его специфических законах и механизмах; по сути дела, эти механизмы сводятся им к механизмам развития способностей, а общественный прогресс выступает лишь как сумма и итог индивидуальных развитий и в силу этого подчиняется тем же законам. Поэтому, естественно, в концепции Кондорсэ не может быть вопроса о том, каким законам подчиняется процесс накопления знаний и других искусственных средств.

(4) Хотя Кондорсэ и говорит о зависимости результатов, обнаруживаемых в каждый момент общественного развития, от того, что было достигнуто раньше, эта зависимость никак им не исследуется и не используется в анализе. В частности, он не ставит вопроса, по каким именно параметрам и через какие механизмы может осуществляться эта зависимость; если говорить современным языком, его представления в этом плане являются чисто ситуативными, хотя одновременно он подкрепляет и дополняет их натуралистическим представлением о необходимом следовании од-

них состояний из других¹⁶; но последнее никак не реализуется в его исторических описаниях.

(5) Все эти представления о прогрессе разума, развитии способностей и накоплении искусственных средств никак не затрагивают логические структуры мышления¹⁷; они, следовательно, относятся к тому, что можно было бы назвать «содержанием» знаний и мышления (хотя этот термин и несвойственен концепции самого Кондорсэ).

Когда же приходится говорить о деятельной или операционной стороне мышления, о его «технике», или «технологии», то Кондорсэ пользуется термином «методы» (а отнюдь не традиционными логическими терминами «суждение» и «умозаключение»). Это позволяет предполагать, что он рассматривал и трактовал «логику» как нечто неизменное и постоянное, как особые «метафизические» структуры, которые лежат как бы перпендикулярно к историческим процессам и не могут учитываться в собственно историческом описании¹⁸.

Итак, мы рассмотрели некоторые из исторических условий и обстоятельств становления идеи «прогресса разума», определивших ее смысл и структуру, мы выяснили содержание этой идеи и важнейшие из отношений, связывающих ее с другими историческими идеями, представлениями и понятиями. Но сама по себе идея «прогресса разума» не есть то, что нас непосредственно интересует; наша цель и задача состоит в том, чтобы охарактеризовать проблему исторического развития мышления и для этого описать ее основные компоненты, их постепенное становление, а затем объединение в рамках единой проблемы. С точки зрения этой общей темы идея «прогресса разума» является, в лучшем случае, одним из компонентов

¹⁶ «Единственным фундаментом веры в естественных науках является идея, что общие законы, известные или неизвестные, регулирующие явления Вселенной, необходимы и постоянны; и на каком основании этот принцип был бы менее верным для развития интеллектуальных и моральных способностей человека, чем для других операций природы?» [Кондорсэ 1936: 220-221].

¹⁷ Здесь интересно отметить, что предшественник и в известном смысле идейный вдохновитель Кондорсэ – А.Р.Тюрго, следуя за Т.Гоббсом, относил логику, «являющуюся наукой об операциях нашего ума и о происхождении наших идей», к *физическим наукам* [Тюрго 1937 b: 118], а потому, естественно, должен был считать ее *непричастной к истории*.

¹⁸ Ср.: «Если ограничиваться наблюдением, познанием общих фактов и неизменных законов развития этих способностей, того общего, что имеется у различных представителей человеческого рода, то налицо будет наука, называемая метафизикой.

Но если рассматривать то же самое развитие с точки зрения результатов относительно массы индивидов, сосуществующих одновременно на данном пространстве, и если проследить его из поколения в поколение, то тогда оно нам представится как картина прогресса человеческого разума...

Эта картина, таким образом, является исторической, ибо, подверженная непрерывным изменениям, она создается путем последовательного наблюдения человеческих обществ в различные эпохи, которые они проходят» [Кондорсэ 1936: 4-5].

или, может быть, даже одним из условий рассматриваемого нами целого. Поэтому дальше, исходя из уже полученных нами представлений об идее «прогресса разума» и используя их в качестве средств дальнейшего анализа, мы должны показать, каким образом возникает и оформляется сама проблема исторического развития мышления. При этом мы должны будем рассматривать, с одной стороны, дальнейшие изменения и трансформации идеи «прогресса разума», ее приложения в других областях материала и обусловленные этим склейки и расщепления ее содержания, а с другой стороны, становление и изменения других компонентов проблемы. И в том и в другом случаях мы будем рассматривать исторические процессы становления и развития наших знаний и представлений, но принципиально по-разному, в разных исторических категориях. Естественно, что при этом перед нами встанет целый ряд специфических проблем методологии исторического исследования и мы вынуждены будем обсуждать их, чтобы получить необходимые нам средства анализа. Но все это темы и материал следующих частей нашей работы.

Проблемы построения системной теории сложного «популярного» объекта *

Организационно управленческая деятельность и задача разработки системных теорий «популярных» объектов

Те существенные и кардинальные изменения в человеческой практике, которые мы сейчас характеризуем как *технологизацию деятельности организации и управления* (а это означает вместе с тем — оформление этих деятельностей в виде социотехнических и культуротехнических систем, обособление, профессионализацию, закрепление в системах учебных предметов и т.д., и т.п.), наложили свою печать и на лицо науки; в частности, они выдвинули на передний план задачу разработки научных теорий совершенно особого типа — их можно назвать *системными теориями популярных объектов*. В разряд таких теорий можно отнести, к примеру, теорию речи-языка, теорию мышления, теорию деятельности с ее многочисленными подразделениями, такими, как теория научных исследований, теория проектирования, теория управления и т.д., и т.п., наконец, биологическую теорию популяций (и эта последняя дала нам термин, который мы используем в обобщенном смысле).

То, что мы связываем разработку научных теорий мышления и речи-языка с технологизацией и профессионализацией деятельности организации и управления, может вызвать недоумения и возражения, ибо в широком общественном сознании считается, что речь-язык и мышление уже давно — если и не два тысячелетия, то, по крайней мере, несколько столетий назад — стали предметами специального научного исследования, а деятельность организации и управления начала технологизироваться лишь в XX столетии. И хотя для такого убеждения есть достаточно оснований, во всяком случае — на поверхности явлений, тем не менее мы будем отстаивать свое утверждение и постараемся показать, что существенными здесь являются иные процессы и механизмы, нежели те, которые фиксированы и закреплены в распространенных догмах общественного сознания. На наш взгляд, деятельность организации и управления начала технологизироваться по меньшей мере с середины XIX века, философские и методологические основания для этого подготавливались уже в XVIII веке, а *собственно научное* изучение речи-языка и мышления предстоит еще только начать и возможные успехи его зависят от целого ряда факторов и обстоятельств, которые необходимо предварительно создать или подготовить.

Начнем обсуждение с проблемы научного исследования речи-языка и мышления. Бесспорно, что явления речи-языка и мышления стали пред-

* Переиздание статьи [Шедровицкий 1976 а].

метод специального анализа давным-давно (в рамках одной лишь европейской традиции – уже, по крайней мере, 2500 лет назад), но тем не менее *научной теории* (или, если уж быть терминологически совсем точными, – *научной теории естественного типа*¹) для этих объектов не построено до сих пор².

И это обстоятельство никак нельзя считать случайным. Более того, в нем-то и заложен парадокс, требующий объяснения.

Иногда его пытаются объяснить (а по существу дела обойти) ссылками на то, что мышление и речь-язык являются очень сложными явлениями

¹ Высокий престиж науки, полученный ею отнюдь не так давно (в лучшем случае – за последние 160 лет), привел среди прочего и к тому, что очень многие деятельности, не имеющие ничего общего с научным исследованием, стремятся оформлять свои продукты в виде научных теорий. Это обстоятельство совершенно сместило и разрушило и без того не очень определенные разграничительные линии между различными продуктами духовного производства и, в частности, между знаниями разного типа – *практико-методическими, конструктивно-техническими, философскими, историческими и собственно научными*. Если еще во времена Ньютона была хорошо известна и ощущалась практически всеми причастными к делу разница между *естественной теорией механических движений* и *техническим учением об орудиях и механизмах*, то сейчас как содержание, так и сама значимость этих различий практически утеряны. Это приводит к тому, что сегодня мы называем «научными» буквально *все и любые знания*, полученные путем специального анализа, – нормы и предписания-алгоритмы в такой же мере, как представления об устройстве машин и описания исторических фактов. Более того, нередко в этом видят существенное обобщение и важный шаг в развитии форм организации деятельности и познания. В противоположность всем этим представлениям и обиходным практическим установкам мы считаем различие и четкое разграничение разных типов знаний, в том числе различие «естественных» и «искусственных» знаний, исключительно важными и принципиальными как для теории знания, так и для методологии и полагаем, что без них не может проводиться сейчас ни одно методологическое или эпистемологическое рассуждение, претендующее на какую-либо культурную значимость.

В содержательном и формальном аспектах эти различия обсуждались нами в работах [Щедровицкий 1966 а] и [Щедровицкий 1974 а; 1972 б].

² В последние десятилетия осознание этого факта проникло уже в широкие круги не только гуманитариев, но и естествоиспытателей. Твердая уверенность в том, что научной теории мышления еще нет и это всем хорошо известно, позволила Дж. Томсону бросить фразу: «Наш век знаменует собой начало науки о мышлении» (см. [Томсон 1958: 161]). Отсутствие научной теории речи-языка осознается в значительно меньшей степени, нежели отсутствие теории мышления. Объясняется это прежде всего тем, что за научную теорию обычно выдаются многочисленные конструктивно-нормативные и конструктивно-педагогические системы языка с сопровождающими их практико-методическими и конструктивно-техническими знаниями. Понадобилась длительная и напряженная борьба не для того, чтобы утвердить понимание различия между разными типами знаний в широком сознании лингвистов, а лишь для того, чтобы зафиксировать эти различия в литературе и описать характерные черты собственно научной теории см. [Щедровицкий 1969 б] и [Щедровицкий 1974 а; 1972 б]). Было бы наивно думать, что такая фиксация сама по себе приведет к изменению общественных представлений – слишком сильны противодействующие этому идейные традиции и социально-практическая организация современного языковедения, но, во всяком случае, в указанных работах мы достаточно полно изложили те основания, которые заставляют нас утверждать это.

ями – значительно более сложными, нежели физические или химические явления, а поэтому-де «задержка» в разработке теории мышления и теории речи-языка должна рассматриваться как нечто естественное и необходимое. Но в самом этом плоско-эволюционистском и чисто количественном подходе к развитию наших знаний содержатся совершенно очевидные ошибки и противоречия. Ведь, с одной стороны, предполагается, что теория мышления и теория речи-языка будут иметь такую же структуру и формальную организацию, какую имели классические теории физики – галилеево–ньютоническая механика, теория тепловых явлений и электродинамика, – и, соответственно этому, строить или разрабатывать их мы будем по тем же нормам и правилам, по каким строили и разрабатывали теории физики, а это значит, что сами мышление и речь-язык в качестве объектов теории мы рассматриваем как подобные или даже как тождественные (в общих и существенных чертах) объектам физической теории. Но если принять только это допущение, то нельзя будет объяснить, почему разработка теорий мышления и речи-языка настолько «задержалась» и «отстала» от разработки физических теорий. Поэтому одновременно с первым положением о принципиальном подобии и сходстве мышления и речи-языка как объектов научных теорий с объектами физических и химических теорий принимается еще второе положение – и оно образует другую сторону традиционного подхода, – что мышление и речь-язык в качестве объектов научных теорий являются вместе с тем значительно более сложными, нежели объекты физики и химии.

Соединяя друг с другом эти два определения, исследователь, как ему кажется, достигает полной характеристики речи-языка и мышления: во-первых, он знает, что они принципиально такие же, как и объекты других теорий, а во-вторых, что они сложнее, чем эти объекты. Но беда здесь в том, что за этим выражением «сложнее» не стоит никакой другой специальной характеристики мышления и речи-языка как объектов теорий, кроме все той же поверхностной и банальной констатации, что разработка теории мышления и теории речи-языка почему-то «задержалась». Указание на «сложность» речи-языка и мышления в таком употреблении не содержит никакого подлинного объяснения этого «отставания», не является отправным пунктом анализа, призванного вскрыть и описать отличия мышления и речи-языка от объектов физических теорий, не стимулирует работы исследователей. Оно лишь внешним образом оправдывает сложившуюся ситуацию и служит для самоуспокоения исследователей – де не от нас все это зависит, разработка теорий речи-языка и мышления *по природе* самих этих объектов – а следовательно, необходимо и неизбежно – должна растянуться на многие тысячелетия.

В противоположность такому подходу мы хотим видеть в утверждении, что речь-язык и мышление являются «сложными» объектами, не столько указание количественного характера – будто долго придется строить их теории, сколько указание качественное – что это объекты *совер-*

шенно много категориального типа, нежели объекты физических теорий, что их нужно анализировать и описывать принципиально иначе, нежели описывались объекты физических теорий, что сами эти объекты будут представлены в существенно иных онтологических картинах, нежели объекты классической физики, что описывающие их теории будут иметь иную логическую структуру, нежели физические теории и т. д., и т. п.. Ко всему этому можно еще добавить, что если мы не сделаем всех этих принципиальных выводов и будем строить и разрабатывать теорию мышления и теорию речи-языка так же, как мы строили и разрабатывали физические теории, то у нас никогда не будет собственно научных теорий этих объектов, даже если мы будем напряженно трудиться еще тысячу лет.

Именно об этом говорит, на наш взгляд, то парадоксальное обстоятельство, что анализировать речь-язык и мышление начали уже 2500 лет назад, а собственно научных теорий этих объектов (т.е. теорий естественного типа) нет до сих пор.

Но и эти все выводы и характеристики представляют собой лишь некоторое *методологическое* суждение, дающее основание для определенных практических установок, но отнюдь не объяснение, почему все так происходило и произошло. Чтобы получить такое объяснение (или хотя бы наметить путь к нему), нужно рассмотреть значительно более глубокие аспекты проблемы, нежели просто «сложность» объекта изучения. Ведь для человеческой деятельности и познания нет абсолютной шкалы сложности объектов, вытекающей из природы самих объектов и безотносительной к направлениям развития человеческой деятельности, в соответствии с которыми идет и развивается человеческое познание. Представление о внутренней шкале сложности объектов является не чем иным, как *наивно-натуралистическим* призраком разума (см. [Маркс 1955 b: 1]). Реально же выражение «сложность объекта» характеризует не объект как таковой, а наше *познавательное и деятельностное отношение* к нему, можно было бы сказать – «место» объекта внутри деятельности или, еще точнее, его положение относительно векторов развития деятельности и познания.

В каждую историческую эпоху деятельность и познание решают лишь те практические и познавательные задачи, которые актуальны в этот период для функционирования и развития самой деятельности, вытекают из ее имманентных процессов (в плане исторической ретроспекции можно было бы сказать: лежат на основных траекториях ее эволюции). Это значит, что познается и описывается в форме собственно научных теорий только то, что должно быть познано и представлено в такой форме, только те объекты, которые «лежат на траекториях развития»; но и обратно: то, что должно быть познано и описано таким образом в этом имманентном развитии деятельности, то действительно и познается.

Следовательно, если за 2500 лет специального анализа явлений речи-языка и мышления так и не было построено ни научной теории речи-язы-

ка, ни научной теории мышления, то это значит, что не было подлинной потребности в этих теориях, или, если говорить более строго и более осторожно, это значит, что развитие деятельности и познания шло в таких направлениях, которые не нуждались в научных теориях речи-языка и мышления, не создавали стимулов для их развития.

И действительно, как только мы начинаем более детальный и более скрупулезный анализ истории любых исследований в области речи-языка и мышления, так вскоре же обнаруживаем, что все эти исследования стимулировались такими практическими задачами (в первую очередь задачей программирования и нормировки рече-языковой и мыслительной деятельности, задачей обучения языку и мышлению, задачей создания средств для такого обучения и т. п. (см. [Щедровицкий 1966 а] [Щедровицкий 1967 б] [Щедровицкий 1969 б] [Щедровицкий 1974 а; 1972 б]), которые отнюдь не требовали создания собственно научных теорий речи-языка и мышления, а вполне могли обходиться нормативными, практико-методическими и конструктивно-техническими представлениями (ср. [Щедровицкий 1966 а: 102-117]). Грубо говоря, весь логический и языковедческий анализ, проводившийся веками, имел целью отнюдь не научное описание естественных процессов речи и мышления, а лишь разработку правил построения рассуждений, ведущих к истинному знанию, и правил построения понятных и выразительных речевых форм (см. [Лукаевич 1959: 48-51; Гальперин П. 1954; Гальперин И. 1960: 31-32] [Щедровицкий 1967 б] [Щедровицкий 1969 б] [Щедровицкий 1975 б]). И подобно тому, как логика не представляет и не репрезентирует в виде естественного (или естественноисторического) объекта мышление, точно так же и современное языковедение не представляет и не репрезентирует в виде естественного (или естественноисторического) объекта речь-язык. И это происходит отнюдь не потому, что речь-язык и мышление являются очень сложными объектами (превосходящими возможности нашего познания), а потому, что до середины XIX века, по сути дела, не было таких практических задач, которые потребовали бы анализа и представления речи-языка и мышления в качестве естественно функционирующих или естественно развивающихся объектов.

Такого рода практические задачи, на наш взгляд, оформились и получили распространение лишь к концу XIX и началу XX вв., хотя философская и идейно-теоретическая подготовка их началась уже во второй половине XVIII века. Это были задачи управления социально-экономическим, но еще раньше социо-культурным развитием человеческого общества, задачи управления социальными изменениями и организации социотехнических действий, вызывающих те или иные преобразования в обществе. И лишь после того как эти задачи оформились и были зафиксированы в общественном сознании и в разнообразных общественных институтах, стала оправданной и актуальной задача построения собственно научных теорий экономики и культуры, речи-языка и мышления, исследовательской, проектной, управленческой деятельности и деятельности вооб-

ще. И в этом есть глубокий содержательный смысл, связанный, с одной стороны, с особенностями самой управленческой деятельности – ее вниманием к *естественным процессам жизни* тех объектов, которыми нужно управлять, расчетом на использование этих естественных процессов и отсюда установкой на выявление и познание *законов*, по которым они живут, а с другой стороны, с особенностями современной социо-культурной ситуации и характером тех слоев и пластов общественной деятельности, которые постепенно выявляются и захватываются службой управления.

Несколько огрубляя эту мысль, можно наверное сказать, что лишь после того, как служба управления поставила перед собой задачу стимулировать и определенным образом организовать развитие знаковых систем, мышления и разных видов общественной деятельности, лишь после этого стали действительно необходимыми научные (в точном и строгом смысле этого слова) теории речи-языка, мышления и деятельности (то же самое, по-видимому, можно сказать и о биологическом учении о популяциях).

Это утверждение ни в коем случае нельзя понимать в том вульгарном смысле, что развитие службы управления создало *потребность* в собственно научных теориях речи-языка, мышления и деятельности, а ученые, отвечая на эту потребность, стали разрабатывать соответствующие теории. Дело, конечно, обстояло не так. Известно, что наука всегда решает не те задачи, которые имеют большую практическую значимость и которые поэтому хотелось бы решить, а лишь те задачи, которые сама наука может решить в соответствии с уже достигнутым уровнем своего развития и своими динамическими потенциями, определяемыми так называемой зоной ее ближайшего развития. Это значит, что каждое научное достижение является результатом взаимодействия какой-либо *научно-методологической традиции* (в которой это достижение собственно и получается) с *практической деятельностью* – с тем, что эта деятельность открывает для философской, инженерно-конструктивной, методической и собственно научной рефлексии, с тем, что формулируется в виде задач практической деятельности и, наконец, с тем, что практическая деятельность создает в качестве условий и стимулов развития той или иной научно-методологической традиции, и т.д. Таким образом, роль так называемых «потребностей» и «запросов» практики является решающей не в определении содержания и формы тех или иных научных результатов и достижений, а лишь в социальном и экономическом стимулировании тех или иных научно-методологических разработок. Они определяют объем и настойчивость поисков, меру прилагаемых общественных усилий, помогают выявить и зафиксировать в общественном сознании и в его идеологии то, что раньше не было заметно, не выявлялось.

Все это в полной мере относится и к задаче разработки собственно научных теорий речи-языка, мышления и деятельности. Она возникла, конечно, не из потребностей службы управления охватить своим действием речь-язык, мышление, научно-исследовательскую, инженерную, про-

ектную, педагогическую деятельность и т.п., а, как мы уже отметили выше, из очень глубокой и отдаленной философской традиции, она подготавливалась и формировалась работами Платона и Аристотеля, Плотина и Николая Кузанского, Декарта, Бэкона, Канта, Монтескье, Фихте, Дидро, Шеллинга и Гегеля. И именно в этой традиции мы должны искать объяснение той формы, в какой сейчас ставится и обсуждается эта проблема, ее содержания и используемых для решения средств. Но именно организационно-управленческая деятельность, оформившаяся институционально и сделавшая себя профессией в первой половине XX века, превратила эзотерические установки и проблемы этой традиции, философской по преимуществу, в общественный институт; то, что было видно в XVIII и XIX вв. лишь немногим – Гегелю, ставившему в общем виде вопрос об искусственной ассимиляции естественной истории, и К.Марксу, посвятившему свою жизнь теоретической подготовке и обоснованию всемирной социальной революции, – она сделала зримым и очевидным для многих и притом не в формах героического социального действия, а в формах повседневного отправления своих относительно скромных служебных обязанностей. И по этой же причине то, что в XVIII–XIX вв. могло схватываться и осмысляться только в формах философской мысли, в XX веке стало предметом научных работ.

И уже потом, после того как задача построения научных теорий речи-языка, мышления, деятельности и т.п. была поставлена и ее начали решать многочисленные коллективы ученых и инженеров, только тогда выяснилось – и об этом впервые стали писать и говорить, – что все эти объекты являются «сложными» (слишком сложными, чрезмерно сложными и т.п.), т.е. не могут быть схвачены исследованиями традиционного естественно-научного типа и не могут быть представлены в формах традиционных теорий. Именно тогда впервые приобрели значимость и свой подлинный смысл вопросы о том, в чем же особенность всех этих объектов, что именно отличает их от объектов традиционного типа, почему, собственно, имеющиеся в нашем распоряжения средства и методы исследования не дают возможности схватить и описать эти объекты и, соответственно, какие же новые средства и методы анализа нам нужны, чтобы решить эту задачу.

То, что мы предлагаем в ответ на все эти вопросы, в самой краткой форме может быть резюмировано в четырех положениях:

1. Мышление и речь-язык (как и целый ряд других объектов, обсуждаемых в современной философии и науке) принадлежат *универсуму деятельности* и представляют собой особые *организованности* (или *организации из организованностей*) и особые *сферы деятельности*.

2. Мышление и речь-язык (подобно другим организованностям и сферам деятельности) представляют собой *целостности совершенно особого типа* – мы называем их *популярными*, – *складывающиеся из множества разнородных и относительно автономных единиц, включенных вместе с тем в какие-то общие для них «массовые» процессы*.

3. Мышление и речь-язык (как и другие организованности и сферы деятельности) *могут быть описаны только в теориях особого типа* – мы называем их «*системными теориями*».

4. *Системные теории популятивных объектов строятся не так, как строились традиционные естественнонаучные теории; они требуют для своего построения совершенно особой методологии, которую еще предстоит разработать.*

Следующие части и разделы этой статьи содержат обсуждение ряда проблем, которые возникают в процессе методологической проработки проекта системной теории популятивного объекта и программ построения подобных теорий.

Основные проблемы «системности» теории

§1. Исходная задача – в этом контексте ее можно назвать «практической» – состоит в том, чтобы сформулировать методологические принципы построения единой теории мышления, единой теории речи-языка, в пределе – всякой теории подобных им объектов. Но, чтобы сформулировать эти принципы, мы должны предварительно организовать и провести целый ряд специальных методологических исследований, дающих нам представление о *строении* такой теории; при этом мы должны будем проанализировать: (1) *формальную организацию общих положений, составляющих практически используемую часть теории*; (2) *факты, на которых строится теория*; (3) *модели, с помощью которых мы переводим факты в общие положения теории*; (4) *онтологические схемы и картины, задающие категориальное строение объектов теории*; (5) *средства* (понятия, языки, оперативные системы математики и т.п.), в которых мы строим остальные функциональные блоки теории; (6) *методические правила и принципы*, в соответствии с которыми мы осуществляем все процедуры нашей теоретической работы, и, наконец, (7) *проблемы и задачи*, направляющие теоретическую работу³.

Анализ всех этих функциональных блоков научной теории (в широком смысле этого слова) осуществляется в определенном порядке и часто по «циклическим» или «спиральным» схемам, дающим возможность учитывать всю сложную систему взаимозависимостей между блоками.

Но первый вопрос, который всегда приходится ставить и решать еще до того, как мы приступим к этой тонкой аналитической работе, касается отношений между *смысловой структурой теории* (в том числе *смысловыми организованностями ее формы и содержания*) и *структурой объекта теории*; если мы сосредоточим свое внимание на теории мышления и будем обсуждать все проблемы в отнесении к ней, то это будет вопрос об

³ Более систематически, хотя тоже весьма кратко, строение того, что традиционно называлось «научной теорией» и что мы чаще всего называем «научным предметом», рассматривается в работе [Щедровицкий 1975 с].

отношениях между смысловой структурой теории мышления и структурой самого мышления как объекта этой теории. В дальнейшем мы так и сделаем: стремясь выявить общие принципы построения системных теорий популяртивных объектов, мы тем не менее все время будем ориентироваться на теорию мышления и обсуждать все проблемы в применении к ней.

Выше мы уже отметили, что мышление является популяртивным объектом; это значит, что оно состоит из *массы разнородных единичных актов мышления*, осуществляющихся в определенном месте, в определенное время и в строго определенных условиях. Это всегда – мышление Ивана, Петра или Сидора. И если мы тем не менее говорим о «мышлении вообще» не как о понятии, а как об объекте изучения, то при этом можем иметь в виду, наверное, только *всю массу, всю совокупность уже осуществленных отдельными людьми единичных актов мышления*.

Но чтобы отразить в мысли эту сложную совокупность единичных актов, чтобы создать первое и самое простое понятие о ней, нужно прежде всего выделить все акты мышления из их окружения, отделить мышление от других явлений, совершающихся рядом, переплетающихся с ним и часто очень похожих. Для этого нужно каким-то путем выделять *общие* стороны всех конкретно-данных единичных актов мысли и заместить их одним «обобщенным» образом, их *абстрактно-общим*. Собственно, только после этого мы сможем говорить о «мышлении вообще» – теперь уже не как о *разрозненном множественном объекте*, а как о *едином предмете исследования*⁴.

Выбранные нами путь и способ превращения мышления из объекта в предмет исследования обсуждался неоднократно, в частности при обосновании и оправдании *исходной абстракции «языкового мышления»* (например, [Щедровицкий, Алексеев 1957 b; Щедровицкий 1958 b, 1965 c, 1966 e, 1967 f, 1968 d]), и поэтому мы не будем повторять всех связанных с этим рассуждений. Мы выделим и подчеркнем лишь один момент, важный для

⁴ В данной работе мы совершенно оставляем в стороне эту исключительно важную и принципиальную проблему, вызывающую сейчас столько споров среди исследователей. Чтобы указать на ее значимость, достаточно, к примеру, спросить, можно ли относить к мышлению так называемые умственные действия (см. [Гальперин П. 1954; 1959; 1966]) и, наоборот, характеризуют ли «умственные действия» мышление (см. [Давыдов 1959]). Но точно такие же вопросы можно поставить в отношении демаркационной линии и взаимодействия между мышлением и восприятием (см. [Logique ... 1958; Arnheim 1969; Арнхейм 1974; Зинченко, Мунипов, Гордон 1973; Арнхейм 1974]), между так называемым теоретическим и практическим интеллектом или мышлением и так называемыми наглядно-практическими действиями – см. [Лиаже 1969; Брунер 1971; Славская 1958; Теплов 1961; Психология детей ... 1964: гл. V]), между «продуктивным» и «репродуктивным» мышлением (см. [Рубинштейн 1958; Wertheimer 1945; Пономарев 1960]), между мышлением и пониманием (см. [Доблаев 1967; Щедровицкий 1974 a; 1972 b; 1965 c]) и т. д. и т. п. Одним словом, то, что в методологическом рассуждении принимается в качестве достаточно простой и уж, во всяком случае, осуществимой процедуры, то для современных исследователей мышления является одной из самых сложных и важных проблем, до сих пор не получившей сколько-нибудь убедительного решения.

дальнейшего рассуждения: исходная абстракция такого рода хотя и задавала «языковое мышление» как особый и единый предмет исследования, тем не менее ничего не давала ни с точки зрения определения его как *целостности*, ни, тем более, с точки зрения определения *системы этой целостности*.

Действительно, указывая общее отличительное свойство ряда единичностей, мы тем самым определенным образом объединяем их и начинаем рассматривать как один *обобщенный предмет*. С этого начинается исследование всякого непосредственно данного нам множества, в том числе и популятивной целостности. Однако этот процесс – выделение общего отличительного свойства ряда единичностей – отнюдь не является специфическим для исследования популятивных объектов как целостностей. Выделение общего отличительного свойства ряда единичностей еще не делает этот ряд *единым сложным целым*. Такое объединение рассматриваемых единичностей в один класс посредством установления отношения тождества между ними, *обобщение их* имеют место во всяком мысленном исследовании даже и тогда, когда каждый из выделенных таким образом объектов рассматривается *изолированно*, вне связи с другими. К примеру, если мы имеем задачу исследовать какую-либо из выделенных единичностей, но не «эту» единичность и не «ту», а любую, всякую из числа выделенных, то должны произвести абстрагирование и обобщение, создать *понятие «отдельного»* – конструкцию, включающую общие стороны всех выделенных единичностей, – и рассмотреть это «отдельное» как заместителя и представителя любой единичности из взятого нами множества. Дальнейшее исследование этого «отдельного» будет лишь воспроизводить в абстрактной и обобщенной форме исследование выделенных единичностей как изолированных самостоятельных объектов и, несмотря на произведенное при этом обобщение, не будет иметь ничего общего с исследованием сложного целого, состоящего из этих единичностей.

Таким образом, хотя в процессе конструирования и исследования «отдельного» выделенные единичности и берутся в определенных *отношениях* друг к другу, поскольку они выступают как члены одного класса, представленного в «отдельном», однако эта организация их носит *субъективно-познавательный характер* и не имеет ничего общего с объективной связностью между элементами какого-либо сложного целого, с объективной целостностью. Это – *связность сопоставлений объектов*, а не их естественной жизни и объективного функционирования.

Чтобы можно было говорить о выделении из эмпирически данной совокупности единичностей какого-то сложного целого, нужно выделить еще, кроме отличительных свойств этих единичностей и их групп, либо (1) *какое-то свойство, характеризующее выделяемую совокупность извне как одно целое* – самостоятельное или являющееся элементом внутри еще более сложной системы, либо (2) *какие-то связи между единичностями выделенной совокупности, превращающие ее во что-то одно и целостное*.

В истории науки мы можем найти примеры и того, и другого. В ряде случаев сначала было выделено «внешнее свойство» целого, и тогда дальнейшее эмпирическое исследование пошло по пути выявления объективных связей между единичностями, составляющими целое, и их группами. В других случаях, наоборот, сначала была выделена определенная часто повторяющаяся и поэтому фиксируемая в мысли связность между единичностями эмпирически данного множества и их группами, а уже затем – свойство, характеризующее эту связность извне как определенное целое.

Это различие в последовательности выявления «сторон» целого, конечно, накладывает свой отпечаток на процессы его исследования, создаст в каждом из них свои особенности, которые должны быть рассмотрены специально, но сейчас мы оставляем их, как и ряд других возникающих здесь проблем, в стороне ⁵.

Для развития основной мысли этого параграфа нам важно обрисовать положение дел самым грубым образом, с тем чтобы затем взглянуть с этих позиций на мышление; нам важно выяснить, является ли оно целостностью *объективно* – и, если да, то как мы учитываем эту сторону дела при выделении предмета исследования и построении теорий мышления. Вот вопрос, который необходимо решить,

Но к нему непосредственно примыкает другой вопрос, уже отмеченный выше: каким образом выявляется и воспроизводится в мысли системность целостного объекта? И он тоже должен быть рассмотрен в общем теоретическом плане, прежде чем приступим к рассмотрению его на материале мышления. Дело в том, что даже после того как исследователь, выявив свойство, характеризующее ряд единичностей как целостность, очерчивает тем самым границы целого, а затем устанавливает отношения между этим свойством и свойствами единичных объектов, составляющих целое, даже и после всего этого, это целое не становится еще *системой*, ибо система – это не только объединенное, т.е. стянутое в одно, но и определенным образом *организованное, внутренне связанное, или структурированное* целое. Поэтому, чтобы рассмотреть выделенное целое, в частности мышление, как *систему*, а эмпирически данные единичные акты мысли, соответственно, как *материал*, организуемый в функциональные элементы и компоненты этой системы, мы должны с самого начала направить исследование на выявление объективных связей между ними. И только в том случае, если эти связи будут обнаружены и выделены, мы сможем говорить об *объективной системности* выделенного предмета.

⁵ В частности, мы оставляем пока в стороне вопрос о возможных отношениях между *отличительным свойством целого* и *отличительными свойствами входящих в него единичностей*, вопрос о способах выявления отличительного свойства целого, а также вопрос о соотношении внутрискруктурных и внешнефункциональных отличительных свойств – все они требуют специального анализа, для которого здесь нет места.

Но существуют ли объективные связи между единичными или отдельными актами мышления? И является ли мышление в целом – это уже постановка вопроса в другом ракурсе и с другой точки зрения – таким целостным системным объектом, удовлетворяющим сформулированным выше требованиям? И что вообще нужно понимать под объективными связями для объектов такого типа, каким является мышление, т.е. для популятивных объектов? И по каким, собственно говоря, критериям одни из связей, устанавливаемых нами в знании, мы называем объективными, а другие не считаем таковыми?

Чтобы попытаться хоть как-то ответить на все эти вопросы, мы вновь должны вернуться к рассмотрению мышления как совокупности или множества единичных актов мышления и к анализу способов объединения и представления их в виде одного сложного целого.

§2. Изучаемый объект – мышление – состоит из массы разнородных актов. И хотя мы начали с того, что в предположении выделили их *общую сторону* и таким образом изобразили все эти акты в одной *абстрактно-общей модели*, тем не менее в теории мышления нас интересует как раз не общее во всех этих актах – даже если его действительно можно выявить, – а *их различия, их разновидности*. Поэтому изучить мышление – это значит изучить всю массу входящих в него единичностей не только и не столько в их сходстве, но главное – в их различии. Но изучить эти единичности как единичности невозможно; можно изучить лишь небольшую часть – мизерную в сравнении со всем остальным. Таким образом, от всего целостного объекта – бесконечного множества единичных актов мышления – мы переходим к небольшой части его; только она практически доступна познанию. Но задача изучить все единичности тем не менее остается; ведь в практической деятельности человек может столкнуться с любыми единичностями и ему важно знать их, чтобы понимать, как с ними действовать в том или ином случае. Причем, он должен знать любые и всякие единичности, с которыми он может встретиться, а в теоретическом подходе это значит – все. Положение весьма парадоксальное. И выход из него может заключаться только в одном: в том, с чем человек уже имел дело, в том ограниченном круге единичностей, которые попали в сферу его предшествующего опыта, он должен найти «ключ» к пониманию всего остального, к пониманию всего того, с чем он еще только может встретиться. Так формулируется задача в идеале, но и практически человек стремится именно к этому. И мы знаем, как эта задача решается: в том, с чем человек уже имел дело, он выделяет такие свойства и стороны, которые будут и у тех единичностей, с которыми ему еще только предстоит встретиться, такие стороны, на основе которых можно было бы понять все остальное. Человек выделяет *общее* и так называемое *существенное*. Эти общие и существенные стороны объектов определенного рода образуют *«аппарат» абстракций человеческого мышления, «аппарат», или средства знания.*

Это общеизвестно, и мы повторяем все это вновь в основном только для того, чтобы подчеркнуть один важный для нас и не столь уж очевидный момент. Дело в том, что выделенные таким образом общие или «существенные» стороны сами по себе не дают еще знания реально существующих единичных объектов, с которыми может столкнуться и обычно сталкивается человек. Они образуют лишь *основу*, с помощью которой в ходе последующих процессов мышления и исследования можно эти вновь появляющиеся единичности познать.

Таким образом, процесс познания окружающих нас объектов распадается на две обособленные во времени части: первая – выделение в совокупностях данных нам в опыте единичных объектов общих «существенных» сторон, вторая – анализ, описание и объяснение на основе этих общих сторон вновь входящих в наш опыт единичных объектов.

Каждая из этих частей или фаз процесса познания и исследования мира объектов предполагает определенные *приемы и способы анализа* и, соответственно, определенные, различающиеся между собой *процессы мышления*. Первые мы будем называть *исследованием объектов с целью образования обобщенного «аппарата» абстракций*, вторые – *описанием и объяснением объектов на основе готового «аппарата» абстракций*.

Результатом и продуктом первого процесса мышления является определенная *форма знания*, которая организуется либо в сложный *номинативный комплекс*, либо в *синтагмы, имитирующие организацию и структуру целостного знания* (см. [Щедровицкий 1958 б]); обычно мы называем их *общими формальными знаниями*, но это все равно не знания в точном и подлинном смысле слова, а лишь их *формы* (см. [Щедровицкий 1958 в: III–IV]). Результатом и продуктом второго процесса мышления является *знание* во всей своей полноте, т. е. *структура, связывающая форму знания с определенными, практически или теоретически выделенными объектами* (см. [Щедровицкий 1958 в: I–II и V–VI]). Первоначально процесс описания и объяснения объекта сводится к одному лишь *подведению объекта под общую форму* (или общее формальное знание) и *отнесению к нему всех тех свойств, которые зафиксированы в форме* (или общем формальном знании); в этом случае рассматриваемый объект выступает как неопределимый от всех других, входящих в данный класс. Но после того как объект уже подведен под форму и, следовательно, образован определенный *предмет* (см. [Щедровицкий 1964 а: 14]), мысль может быть центрирована на самом объекте, и тогда начинается специальное исследование, приводящее к *индивидуализированному знанию данного объекта*.

Процессы «создания аппарата абстракций» и процессы «описания объектов» – будем называть их так для краткости – взаимосвязаны и предполагают друг друга. В современном мышлении нельзя воспроизвести ни одного конкретно-данного единичного объекта, не построив предварительно необходимого аппарата абстракций. В то же время создание аппарата абстракций нужно прежде всего для описания единичных объектов, и стро-

ится он в соответствии с требованиями этого описания. Такая взаимосвязь и взаимообусловленность этих процессов не исключают их относительной самостоятельности. Хотя практически человека может интересовать только описание единичностей, работа по созданию «аппарата абстракций» обособилась в особый тип исследований и составляет ядро современной науки ⁶.

Нам особенно важно подчеркнуть различие между двумя указанными направлениями исследований именно при обсуждении проблем системности теории, так как при анализе объектов со стороны их *атрибутивных свойств* (см. [Щедровицкий 1958 b: I-VI]) это различие не влияет на форму знаний и поэтому может не учитываться при логическом и методологическом анализе и описании самих процессов мышления.

Действительно, все связки абстракций атрибутивного типа, полученные при исследовании одних единичных объектов, непосредственно, без всяких трансформаций и преобразований относятся к другим единичным объектам (см. [Щедровицкий 1958 b: V и VI]). В этом и состоит смысл *процессов соотнесения общих формальных знаний с единичными объектами*, когда нас не интересует индивидуальность объектов; но даже в тех случаях, когда нас интересует их индивидуальность, мы вполне удовлетворяемся тем, что производим такое соотнесение несколько раз, сопоставляя данный объект с несколькими другими, а полученные в результате разные формы знаний (или общие формальные знания) мы механически соединяем друг с другом, получая новый более сложный номинативный комплекс.

Вся ситуация кардинальным образом меняется, когда мы переходим к анализу систем, выделяем множество единичных объектов, составляющих материал элементов и компонентов системы, вводим связи, соединяющие эти элементы и компоненты в целое, и хотим, с одной стороны, получить *аппарат абстракций системного анализа*, позволяющий нам анализировать и описывать любые и всякие системы, а с другой – *полные знания, описывающие и объясняющие определенные индивидуальные (можно даже наверное сказать – единичные) системы*. Главный вопрос здесь в том, можем ли мы и в этом случае обойтись *одной и той же формой* (или одним и тем же общим формальным представлением) как в процессах получения «аппарата абстракций», так и в процессах описания и объяснения реальных индивидуализированных систем (подобно тому, как мы обходились одной формой в случае атрибутивных знаний).

Сначала может показаться, что между этими двумя случаями – атрибутивным описанием и системным описанием объекта – нет такой уж прин-

⁶ Нередко всю науку сводят только к работе по созданию «аппарата абстракций» и даже, больше того, именно в этом видят специфический признак науки (см., например [Риккерт 1903; Nagel 1961]); на наш взгляд, такое ограничение науки неоправданно, но обсуждение этого вопроса должно составить тему специальной работы.

ципиальной разницы, и в обоих случаях как процесс выявления аппарата абстракций, так и процесс описания единичных объектов будут приводить к аналогичным системам форм и знаний. Но такой вывод будет слишком поверхностным: хотя, действительно, в результате каждого из этих процессов в ходе исследования системного объекта мы получим систему абстракций и абстрактных положений, характер этих систем и принципы их организации будут принципиально различными.

Система форм, возникающая как результат «процессов описания», будет изображать *единичный* системный объект, его элементы и их взаимосвязь. Назначение этой системы будет состоять в том, чтобы как можно точнее *воспроизвести этот единичный объект* в мысли. Поэтому элементы этой системы должны будут соответствовать элементам самого единичного объекта, ее связи – связям объекта. Система, выражающая «аппарат абстракций» системного исследования, напротив, должна будет *воспроизвести в мысли «стороны», общие для всей совокупности системных объектов данного рода, «существенные»,* облегчающие понимание всякой такой системы.

Совершенно очевидно, что такая система форм не может строиться как отражение какого-либо одного единичного объекта. Ее элементы не могут быть изображениями элементов какой-либо определенной единичной системы, ее связи не могут воспроизводить связи этой единичной системы. Но точно так же эта система форм не может быть простым перечнем абстракций, входящих в «аппарат» данной науки, и возможных между ними связей. Она не может быть лишь внешне систематизированной совокупностью, ибо элементы и «стороны» любого объекта всегда находятся в определенных связях друг с другом, взаимообуславливают и взаимопредполагают друг друга. Эти связи накладывают определенный отпечаток на сами «стороны», и вне этих связей «стороны» и свойства перестают быть тем, что они есть, не могут существовать и осуществляться в своем собственном виде. Следовательно, анализ и описание новых системных единичностей, входящих в нашу деятельность и в наш опыт, зависят не только от знания их возможных «сторон», но и от знания тех связей, в которых эти стороны существуют и проявляются. А это, в свою очередь, создает *определенную зависимость в порядке выявления этих «сторон»,* в условиях их понимания, зависимость, которая должна быть отражена в тех знаниях, с которыми мы подходим к изучению новых системных единичностей. Поэтому система, выражающая «аппарат абстракций» науки, должна быть именно системой, причем такой, которая отражает какие-то *объективные связи.* Вместе с тем это не могут быть связи, существующие между «сторонами» в единичных системных объектах; это должны быть объективные связи какого-то другого рода. Но какие? И каковы те принципы, которые задают структуру системной формы, дающей нам «аппарат абстракций» для анализа и описания сложных популярных объектов?

§3. Чтобы ответить на эти вопросы, попробуем взглянуть на проблему с другой стороны. Выше мы уже сказали, что мышление состоит из массы *разнородных* единичностей, и в теории мы должны отразить именно их различия. Для этого нужно изучить *все* единичности, но изучить их все невозможно, можно изучить только небольшую их часть. Эти условия определяют и способ решения задачи. Если предположить, что среди всех этих единичных актов мышления, несмотря на их общую разнородность, существуют сравнительно большие группы все же сходных, похожих друг на друга актов мышления, то задачу, сформулированную выше, можно будет решить таким образом, что мы выделим из каждой такой группы *по одному* акту мышления и будем рассматривать их как «образцы», «эталонные» всех других, входящих в эту группу. Тогда, изучая каждый из выделенных таким образом актов мышления, мы будем изучать и все остальные из его группы, и результаты изучения одного сможем переносить, распространять на другие. Это по-прежнему – *метод «отдельных»*, но теперь на целостность мышления приходится уже не одно «отдельное», а целый ряд их. При этом каждое «отдельное», с одной стороны, сохраняет то общее свойство, которое было выделено на первом этапе исследования мышления, но, с другой стороны, оно, кроме того, содержит еще ряд новых моментов, специфических для каждой выделенной группы ⁷.

Оставим на время в стороне вопрос об условиях применения этого приема в конкретном исследовании мышления; предположим, что выделение всех «отдельных» такого рода уже осуществлено. Дает ли оно нам изображение мышления в виде целостности и системы? Очевидно, нет. Теория мышления предстанет в этом случае в виде *перечня образцов отдельных актов мышления, в виде неорганизованной совокупности моделей этих актов*. Этот перечень не содержит никаких связей между отдельными актами, представленными в моделях, и таким образом не является ни целостностью, ни системой, хотя в изображении каждого из отдельных актов мышления мы имеем уже *связи нескольких сторон-свойств* – общего для всех актов и специфического для каждой группы.

Но кроме того, прием выделения ряда «отдельных» наталкивается и на другие возражения. И они оказываются решающими. Само осуществление этого приема, а также правильность полученного в результате изображения исследуемого объекта определяются прежде всего тем, сумеем ли мы правильно разбить всю совокупность актов мышления на группы действительно однородных, сходных актов. Только произведя такое разбиение, мы сможем затем сопоставить между собой единичности, входящие в каждую из этих групп, выделить их общие свойства и образовать таким образом «отдельное» как модель этих единичностей. Мы приходим

⁷ Более подробно этот способ фиксации и описания сложного популятивного целого рассматривался нами в работе [Щедровицкий 1965 б, 1968 е] в связи с анализом типологических исследования и классификаций в современном языковедении.

к обычному в таких случаях парадоксу: чтобы выделять общее свойство ряда единичностей, нужно очертить их круг; при этом мы должны выделять не любые единичности, а строго определенные; но, чтобы очертить круг определенных единичностей, нужно уже заранее знать свойство, задающее их определенность; следовательно, если мы хотим выделить ряд «отдельных», задающих существенные различия между единичными объектами определенного круга, то должны заранее знать все эти существенные различия. Решить эту задачу, перебирая по одному все интересующие нас единичные объекты, невозможно, так как число их практически неограниченно. Таким образом, знание определенных свойств-различий есть, с одной стороны, *цель и конечный результат* нашего исследования, но одновременно, с другой стороны, на том пути, который мы рассматриваем, – *предпосылка* этого исследования. Следовательно, нужен какой-то иной путь и, вместе с тем, какой-то иной метод исследования, которые бы обеспечили решение поставленной задачи⁸.

Обычно этот путь задается какими-то дополнительными предположениями о характере исследуемого объекта, дополнительными гипотезами. При исследовании атомно-молекулярного строения больших масс газа, к примеру, это были предположения о вероятном распределении числа атомов-молекул относительно заданного интервала возможных скоростей их движения (см. [Maxwell 1860]). Предположения эти давали возможность разбить все частицы заданной массы на группы и рассматривать вместо всего газа определенную совокупность «отдельных». Нам в данной связи важно специально подчеркнуть, что это предположение задавало не только основное свойство, по которому группы частиц различались между собой, не только число этих групп, но и определенную зависимость между ними, а также зависимость между числом частиц, приходящихся на каждую группу, и определенными параметрами всей массы газа как целого (например, температурой). По существу это означало переход к *систем-*

⁸ К этому нужно добавить, что если мы хотим получить целостную и системную картину мышления, то должны будем выделять в каждой сформированной нами группе единичных актов мышления не просто их общие свойства, а такие, которые потом можно будет связать и объединить между собой в одну систему, изображающую мышление как целое. Следовательно, характер всех этих свойств не может уже определяться стихийно сложившимися группировками объектов – даже если эти группировки оправдываются и обосновываются потребностями практики, – а должен определяться *задачами и потребностями последующей систематизации*, т. е. процедурами, которые еще только должны быть осуществлены в дальнейшем после того, как будут получены свойства, характеризующие отдельные группы актов мышления (ср. [Щедровицкий 1965 b, 1968 e]). Но эти свойства при эмпирическом обобщении, как уже было сказано, реально определяются создаваемыми нами группировками и, следовательно, решение таким образом поставленной задачи возможно лишь при том условии, что мы либо вообще не обращаемся к реальным группировкам актов мышления и к их эмпирическому обобщению, а решаем эту задачу формально-теоретически, либо же с самого начала подчиняем формированию реальных группировок единичных объектов задачам выявления *тех обобщенных свойств, которые потом будут организованы в систему теории*.

ному изображению всей этой совокупности частиц, переход от простого перечня «отдельных» к их системе, а вместе с тем – к совершенно новому, более сложному «системному отдельному».

В исследовании мышления точно так же, по-видимому, нужно сделать какое-то предположение о характере связи между единичными актами, а на основе этого затем – предположение о характере связи между изображениями их в виде «отдельных» (или сначала о связи «отдельных», а потом о связи между единичными актами). Но это будут уже *определенные содержательные предположения либо о самом мышлении и формах его объективного существования, либо об онтологии теории и ее смысле.*

Сформулировав таким образом задачу, мы сталкиваемся с целым рядом трудностей.

С одной стороны, кажется сомнительным, чтобы существовали какие-то связи между единичными актами мысли, осуществляемыми в разное время и в разных местах Иваном, Петром и Сидором; во всяком случае, если они и существуют, то отнюдь не бросаются в глаза, можно сказать – предельно замаскированы и скрыты. С другой стороны, мы знаем или, во всяком случае, можем предполагать, что мышление *развивается*, что каждый «современный» акт мысли есть усложнение, переработка, преобразование каких-то других, предшествующих актов мысли, что он из них получается и, следовательно, *генетически с ними связан.*

Это соображение предопределяет весь дальнейший план нашего исследования. Предположив для начала генетическую связь между различными актами мышления, мы можем дальше рассуждать следующим образом. Пусть все существующие современные акты мышления развились путем определенных закономерных процессов из небольшого числа исходных актов. Тогда, зная достаточно хорошо, с одной стороны, эти исходные акты, а с другой – схемы и законы развития из них других актов, мы могли бы на основе одного этого, не обращаясь больше к анализу эмпирически заданных единичных актов мышления, получить модели всех актов мышления, следовательно, все «отдельные», являющиеся образцами, или эталонами, всех возможных групп сходных актов мышления. Таким путем, во-первых, была бы преодолена описанная выше парадоксальная ситуация, а во-вторых, и это особенно важно в данном контексте, мы получили бы все модели отдельных актов не в виде разрозненного перечня, а в определенной последовательности, в определенной связи друг с другом, одним словом – как систему.

Изложенное выше как программа и план исследования, конечно, только идеал, и в таком чистом и тотальном виде вряд ли может быть осуществлено достаточно последовательно, и притом сразу. Но подобную же задачу можно решать, вообще говоря, *на любом историческом срезе мышления.* Любой эмпирически выделенный акт мышления можно рассматривать, во-первых, как модель массы других актов, как изображение группы в «отдельном» и, во-вторых, как исходное «единичное» для развития еще

каких-то иных актов мышления. Зная законы этого развития, мы сможем конструировать на основе представлений о каких-то актах мышления целый ряд других исторически более сложных, развитых актов, и они, очевидно, будут моделями или эталонами для ряда других обширных групп реальных актов мышления. Таким путем, произведя достаточное число «эмпирических» срезов на разных исторических этапах существования мышления и дополняя полученные модели другими, генетически развертываемыми из них, мы будем постепенно приближаться к решению общей задачи – построению «системной» теории мышления.

Дальнейшие рассуждения и анализ могут идти по двум линиям. С одной стороны, намечая идеальный план построения системной теории мышления, мы все время говорили, во-первых, *о строении каких-то единичных актов мышления*, выделенных эмпирически, а во-вторых, *о схемах и законах развития их в более сложные акты*. Но все это остается пока неясным: мы не знаем ни того, как в общем потоке мышления выделяются единичные акты, ни того, как выделяются или конструируются схемы их развития. Поэтому естественная задача, вытекающая из проведенного уже рассуждения – и это образует одну линию анализа, – рассмотреть возможные приемы и способы выделения единичных актов мышления и схем их развития. С другой стороны, выдвинув задачу – сделать какие-то дополнительные предположения о характере мышления как целостного объекта, найти определенные зависимости между составляющими его единичными актами и моделирующими их «отдельными» – мы сразу же, основываясь на весьма поверхностных соображениях, обратились к генетическим связям, заявив, что иные связи, если они и существуют, скрыты, замаскированы и нуждаются для своего выявления в более тонких рассуждениях. Обсуждение этого круга вопросов дает нам вторую линию анализа. Мы начнем именно с нее, так как это – более общий план рассмотрения, нежели указанный первым, и вместе с тем он позволит нам уточнить сами понятия «генетическая связь» и «развитие». Но при этом нам придется коснуться вопроса о строении единичных актов мышления и способах представления их в моделях, составляющих базис теории.

§4. Характерным моментом предшествующего анализа было то, что мы, рассматривая единичные акты мышления и их отношение к «отдельным», совершенно не затрагивали вопроса о *строении единичных актов и влиянии самого фактора строения на характер моделей*; во всех предшествующих рассуждениях содержалась фактически скрытая предпосылка – неявное предположение, что все единичные акты мысли являются предельно простыми, *элементарными* (или, во всяком случае, должны рассматриваться таким образом), что они не могут быть разложены на более простые составляющие и, соответственно, не могут быть представлены как комбинации этих составляющих. Если же от этого предположения отказаться, то весь ход рассуждений меняется.

Действительно, если единичные акты мысли являются сложными образованиями, если все они – допустим такой вариант – состоят из комбинаций более простых «элементарных» актов, то, создавая простые модели этих сравнительно сложных единичных актов и беря эти модели в качестве «отдельных», мы будем крайне сужать общность исходных понятий нашей теории, а всю ее в целом делать излишне громоздкой.

Покажем это на самом простом конструктивном примере. Пусть у нас задан ряд единичных актов мышления $A_1, A_2, A_3 \dots A_N$; предположим, что все эти акты таковы – и этим определяется также и их число, – что все они сводятся к четырем «элементарным» актам: $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$, т.е. состоят либо из одного такого акта, либо из двух, из трех, или из четырех; положим также, что все возможные комбинации этих актов существуют и, для ограничения, что больше четырех элементарных актов ни в одной комбинации не может быть. Даже при этом ограничивающем условии в теории, которая будет исходить из эмпирически зафиксированных единичных актов, нам понадобится для их изображения в виде «отдельных» $4 + 4^2 + 4^3 + 4^4 = 340$ различных моделей, в то время как в теории, которая будет исходить из элементарных актов, нам понадобятся для описания этих единичных актов всего четыре модели и очень немного крайне простых правил комбинирования. Если вдобавок мы откажемся еще и от ограничивающего условия, что в любом единичном акте не может быть больше четырех элементарных составляющих, то построение теории первого типа станет практически невозможным, так как число необходимых моделей будет непрерывно возрастать, а теория второго типа будет вполне возможна и достаточно проста ⁹.

⁹ Этот вывод, полученный нами на простой конструктивной модели, показывает, почему не могло быть и никогда не будет теории речи-языка или теории мышления, описывающих единичные акты речи-мысли в их существенных индивидуальных характеристиках: объем таких теорий намного превосходил бы объем самой речи и самого мышления. И здесь не может быть возражений, основывающихся на аналогии с естественными науками и их объектами: если в объектах естествознания существенными для практики являются их *общие* свойства и стороны, то в речи-мысли, наоборот, существенными для практики (в частности, для коммуникации) являются именно индивидуальные и неповторимые свойства каждого акта. Но здесь совершенно бессмысленно ставить задачу на воспроизведение и повторение этих практически существенных сторон объекта в научном знании. Именно поэтому, как мы уже отмечали, анализ речи-мысли с самого начала был устремлен не на научное описание единичных актов речи-языка и мышления, а на *программирование и нормирование речи-мыслительной деятельности индивидов* (ср. [Щедровицкий 1969 b, 1974 a, 1972 b]). И лишь задачи управления развитием или функционированием речи-языка и мышления впервые заставляют нас представить речь-язык и мышление в качестве *естественных объектов*, но теперь этими объектами являются уже не единичные и не отдельные акты речи-мысли, а мышление и речь-язык а целом (ср. [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967 g; Щедровицкий 1975 c, 1975 d, 1975 e, 1975 f, 1975 b]).

Но этот же вывод, полученный на простой модели, показывает, что даже если бы единичные акты речи-мысли и не состояли из общих элементов и элементарных единиц, а представляли собой множество предельно индивидуализированных и неповторимых образова-

Из этого следует совершенно очевидный практический вывод: если мы имеем дело со сложным популярным объектом, в котором единичные объекты-акты представляют собой комбинации более простых, элементарных актов, и перед нами стоит задача описать и воспроизвести весь этот популярный объект в системной теории, опирающейся на ряд связанных между собой базисных моделей, то мы должны брать в качестве «отдельных», фиксируемых в базисных моделях, не эмпирически изолированные единичные акты, а составляющие их *элементарные акты*.

Эти соображения совершенно по-новому ставят вопрос о схемах и процедурах анализа эмпирически заданных единичных актов мышления и, соответственно, о принципах построения моделей «отдельных» актов. Они также выдвигают вопрос о *связях между элементарными актами в каждой эмпирически детерминированной комбинации* и заставляют найти критерии и процедуры отделения допустимых в этих комбинациях связей от недопустимых ¹⁰.

Все это – вопросы исключительной важности, требующие специального и весьма подробного обсуждения. Но здесь мы хотим их лишь отметить и подчеркнуть всего-навсего одну сторону дела, важную для дальнейшего, а именно то обстоятельство, что вместе с разложением единичных актов мышления на составляющие их элементарные акты появляется совершенно новый способ организовать в единой теоретической системе и соотносить друг с другом единичные акты мышления. Для этого надо лишь отнести их к общему набору выделенных и как-либо зафиксированных моделей элементарных актов. Наглядно-схематически, воспользовавшись обозначениями, введенными выше для иллюстрации, мы изобразили этот способ организации единичных объектов и фиксирующих их моделей на рис. 1.

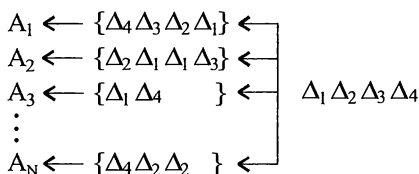


Рис. 1

Если мы попытаемся каким-то образом содержательно проинтерпретировать отношения между элементарными актами $\Delta_1 \dots \Delta_4$ и моделями

них, то все равно исследователи, чтобы проанализировать и зафиксировать их в знании, должны были предположить, что они состоят из сравнительно небольшого числа общих элементов (или что их всех можно так представить), и должны были вести всю свою работу, исходя из этого предположения.

¹⁰ Собственно говоря, это и был основной путь, по которому в дальнейшем пошли как традиционное языковедение, так и традиционная логика.

отдельных актов мышления и попробуем придать им статус связей, то без труда заметим, что это будут, очевидно, уже совсем иные связи, непохожие на связи развития и несводимые к ним. Назовем их – пока совершенно условно – *связями функционирования*¹¹.

В дальнейшем обсуждении очень важно помнить, что эти связи были введены и постулированы нами совершенно формально – ведь пока мы не выявляли никаких *объективных* связей и имели дело лишь с *представлениями актов мышления*, с чисто познавательным разложением их на составляющие, таким же чисто познавательным комбинированием элементарных актов в более сложные цепочки и сопоставлениями этих цепочек с исходным набором моделей элементарных актов. Таким образом, до сих пор мы имели дело только с нашими собственными познавательными процедурами и порожденными ими отношениями разложения, комбинирования и сопоставления. Но затем мы можем и даже обязаны поставить вопрос: являются ли эти процедуры только искусственными, чисто конструктивными и, в этом смысле, произвольными актами нашей познавательной деятельности или же им соответствует еще какое-то *объективное содержание* и они лишь *имитируют и воспроизводят* какие-то естественные и

¹¹ Вводя этот термин, мы сразу же хотим отсечь все связанные с ним привычные ассоциации. Обычно, говоря о функционировании, мы всегда предполагаем и подразумеваем какое-то объективное целое – организм или машину, которое естественным или квазиестественным образом осуществляет присущие ему или заложенные в него процессы. В данном случае (по крайней мере, на данном этапе анализа) об этом не может быть и речи. Прежде всего потому, что целое, представленное на рис. 1, не является еще объектом: по условиям нашего рассуждения объектами являются лишь единичные акты мысли $A_1, A_2, A_3, \dots, A_N$, а элементарные акты $\Delta_1 \dots \Delta_4$ являются лишь их *моделями*, т.е. *принадлежат к миру представлений*, и, следовательно, могут быть связаны с реальными объективными актами мышления разве только *отношениями* (или *связями*) *изображения, описания, моделирования* и т.п., т.е. только *познавательными отношениями*. Таким образом, реальные акты мышления принадлежат к одному миру – миру объектов, а модели элементарных актов к другому миру – миру представлений и знаний. И поэтому совершенно неясно, о *каком* функционировании и о функционировании *чего* здесь можно говорить.

Но тем не менее в современном языковедении эти перечни и системы элементарных моделей считаются объектами (см. [Смирницкий 1954]), хотя нередко оговаривается, что это – объекты «второго рода» (см. [Реформатский 1961; Щедровицкий 1969 b]). И для того чтобы считать эти модели объектами, есть свои очень веские основания, хотя до сих пор подавляющее большинство теоретиков языковедения не может объяснить природу и статус того объекта, можно сказать, той субстанции, которая на объективной основе может связать и объединить в одно целое единичные акты речи, являющиеся подлинными или «первыми» объектами, и их языковые модели, являющиеся лишь образцами элементов и знаниями. Не обсуждая сейчас основания, которые позволяют нам устанавливать между реальными актами мышления и моделями элементарных актов не только познавательные отношения, но и *объективные связи* (об этом см. [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967 g; Щедровицкий 1969 b, 1974 a, 1972 b]), и тем более основания, позволившие нам назвать эти связи *связями функционирования*, мы лишь повторяем в анализе мышления, и, притом совершенно формально, тот ход, который уже был сделан в языковедении, но одновременно хотим объяснить его основания и его подлинную природу и предостеречь от неоправданных трактовок, *преждевременно объективирующих* полученные при этом изображения и модели.

объективные процессы и связи, характерные для жизни самого мышления? Иначе говоря, теперь мы должны спросить себя: возможны ли и существуют ли в мышлении объективные процессы и связи функционирования? И если они объективно существуют, то что они собой представляют и подобны ли они тем процессам разложения и комбинирования и тем отношениям между единичными актами и моделями элементарных актов, которые мы представили выше на рис. 1? ¹²

Но как только мы поставим и начнем обсуждать эти вопросы, так тотчас же перед нами встанут и должны будут обсуждаться новые и дополнительные вопросы о том, как эти отношения и связи функционирования относятся к намеченным выше связям развития. Можно ли на основе связей функционирования строить теоретическую систему мышления, и как это делать? Допустимо ли совмещать связи функционирования и связи развития в едином теоретическом изображении мышления? И со всеми этими разнообразными вопросами придется разбираться одновременно и параллельно, ибо все они взаимосвязаны и определяют друг друга.

§5. Но, чтобы найти ключ к эффективному обсуждению и решению всех этих вопросов, мы еще раз изменим позицию и попробуем подойти к проблеме с новой стороны. Практически при исследовании мышления, как и всякого другого *исторически развивающегося целого*, человека могут интересовать два основных вопроса: первый – что представляет собой это целое *в данный момент*, и второй – чем оно будет *по прошествии некоторого времени*.

Такое разделение вопросов и, соответственно, направлений исследования приводит к образованию двух разных представлений об исследуемом объекте. Ответ на первый вопрос ведет к представлению о процессе *функционирования объекта*, причем сам объект рассматривается как уже *сформировавшийся, «ставший»*; ответ на второй вопрос ведет к представлениям о *процессах эволюции и развития исследуемого объекта* (ср. [Зиновьев 1954; Грушин 1961; Щедровицкий 1975 б]).

Это разделение направлений исследования, задач и, соответственно, образов исторически сложившегося объекта уже давно стало традиционным по существу во всех науках (см. [Грушин 1961]) и зафиксировано в несколько неудачном противопоставлении понятий «теория» и «история» (ср. [Грушин 1961]). Это разделение и противопоставление характерны также и для традиционных исследований мышления. С одной стороны, фиксировалось как факт, что основное ядро сложившихся форм мышления в течение длительного времени остается неизменным и функциониру-

¹² Именно эти вопросы привели А.И.Смирницкого к обсуждению проблемы объективности существования языка (см. [Смирницкий 1954] и для сравнения [Левфевр, Щедровицкий, Юдин 1967 г; Щедровицкий 1969 б]), а утвердительный и критически неотрефлексированный ответ на них – к идее порождающей грамматики Н.Хомского и ее многочисленным вариантам (см. [Хомский 1962, 1965, 1972; Chomsky 1972; Studies ... 1971; Kiefer 1972; Мельчук 1974]).

ет как неизменное целое, как строго фиксированная система. Эти процессы объявлялись предметом изучения принципиально неисторической «логики форм». Но, с другой стороны, фиксировалось тоже как факт, что современное мышление представляет собой продукт и результат длительного исторического развития, что и сейчас оно *непрерывно развивается*: возникают новые понятия, новые типы связей и абстракций, новые приемы и методы исследования, отживают и меняются старые понятия, старые приемы и методы. Эти процессы объявлялись предметом изучения не логики, а какой-то другой науки – «истории мышления».

Постоянство форм, приемов и методов мышления было столь необходимым не только для теоретического оправдания, но и для самого существования логики как нормативной дисциплины и науки, что оно стало казаться *очевидным и бесспорным фактом* (см. [Кант 1915; Асмус 1947; Виндельбанд 1913; Щедровицкий 1966 e, 1967 f, 1968 d]). Вера в это была столь велика, что она на долгое время почти полностью заслонила собой второе – все факты, наблюдения и теоретические соображения, говорящие о том, что мышление непрерывно развивается.

Но сколь бы сильной и настоятельной ни была эта практическая потребность видеть и представлять мышление в виде уже «ставшего» и неизменного в своих основных формах целого, она не могла навсегда и надолго закрыть другую сторону. Достаточно было начать сопоставлять между собой мышление разных исторических эпох и разных народов (см., в частности [Леви-Брюль 1930, 1937; Марр 1936 с, 1934 b, 1934 d; Уорф 1960 a, 1960 b, 1960 с]), чтобы увидеть в нем кардинальные различия не только содержания, но и форм, а также историческую смену одних форм другими. Такая констатация заставляет исследователей, как правило, либо вставать на крайнюю историческую точку зрения и подвергать сомнению правомерность традиционного логического подхода в исследовании мышления, либо же стремиться каким-то образом совместить оба подхода и обе точки зрения (см. [Щедровицкий 1975 b]). А так как делают они это обычно не в плане оценок своей собственной деятельности и стоящих перед ними задач – для этого нужно было бы исповедовать *деятельностную точку зрения и деятельностный подход*, – а в плане изображения и представления *самого объекта*, тех процессов, которые в нем естественно происходят, то вторая позиция очень часто приводит к эклектике и к разного рода псевдодialeктическим ухищрениям: говорят, к примеру, что в подобных случаях различать процессы функционирования и процессы развития объекта просто не нужно, что это-де единый, неразрывный процесс и что, следовательно, изучать то и другое нужно в «неразрывном» единстве и т. д., и т. п. (см., в частности, [Горнунг 1961; Абаев 1961; Философские записки ... 1953; Войшвилло 1955]).¹³

¹³ Стремление во что бы то ни стало сохранить основные способы абстракции и обобщения, принятые а формальной логике, и одновременно удовлетворить принципу исторического

Ниже мы постараемся показать, почему без указанного различия именно в *исходном пункте исследования* никакой анализ исторически сложившегося целого невозможен. Здесь же мы хотим лишь сказать, что все прошлое и настоящее науки говорит о необходимости такого различия и поэтому, на наш взгляд, все рассуждения о «неразрывно едином» исследовании процессов функционирования и процессов развития, преподносимые в качестве принципов анализа и методов исследования подобных явлений, не имеют ничего общего с действительной диалектикой. Чтобы исключить возможные здесь недоразумения, повторим: мы говорим сейчас не о методах исследования и не об объективном взаимоотношении между процессами развития и функционирования в сложных популяртивных целостностях; мы говорим о *задачах исследования* и о *характере получающихся в результате анализа систем изображений*. И в этой связи нам важно подчеркнуть, что на первых этапах познания сложных популяртивных объектов провести различие между процессами функционирования исследуемого целого и процессами его развития можно только одним способом: принимая как факт либо то, что данное целое не развивается, а лишь функционирует, либо же то, что оно непрерывно эволюционирует и развивается, и строя все исследование в соответствии с одним из этих положений. Собственно, так и поступали все науки, исследовавшие исторически сложившиеся сложные объекты, только так и можно поступать в исходном пункте всякого нового исследования, относящегося к объектам такого рода. Но, принимая в исследовании мышления и в построении его теории эти исключаящие друг друга положения (и принимая их, по сути дела, одновременно, как формулировки двух разных, одинаково возмож-

развития мышления ставило некоторых исследователей в поистине тяжкую ситуацию: «Сравнивая мышление людей одной эпохи, например, капитализма, с мышлением людей другой эпохи, например, эпохи рабовладельческого строя, мы видим, что, несмотря на различия в степени развития, в содержании, оно по своим структурным формам и законам однотипно. И там и здесь люди пользуются формами понятия, суждения, умозаключения» – писали М.Н.Алексеев и В.И.Черкесов. А затем на следующей странице вынуждены были добавлять: «Подчеркивая устойчивость форм и законов мышления, не следует, вместе с тем, забывать, что мышление с момента своего возникновения непрерывно развивается, совершенствуется под влиянием развития производства и вообще всей общественной жизни людей, включая развитие культуры и науки. Изменяется содержание мышления, пополняется его понятийный состав, шлифуется логический строй мышления. Только метафизики могут смотреть на формы и законы мышления как на нечто неизменное, раз навсегда данное» [Философские записки ... 1953: 6 и 7]. Е.К.Войшвилло поставил два подобных же утверждения подряд, в одном абзаце: «Формы и законы мышления являются общими для всех людей и народов. Как мышление а целом, так и его формы развивались вместе с развитием языка и получали выражение в соответствующих языковых формах» [Войшвилло 1955: 12]. Как примирить положение о развитии форм мышления с положением о том, что формы и законы мышления являются общими для всех времен и народов, эти авторы не объясняли.

Об этих курьезах не имело бы смысла вспоминать, если бы в основании *многих* современных попыток строить теорию мышления не лежало бы *то же самое* принципиальное противоречие.

ных задач исследования), мы должны помнить, что как одно из них, говорящее о неизменности мышления, его форм и приемов, так и другое, говорящее об их постоянном изменении, являются лишь *односторонними абстракциями*, каждая из которых справедлива лишь при определенных практических установках и при определенном повороте всего исследования. Очертить же теоретическую значимость и границы каждого подхода может всегда лишь дальнейшее рефлексивно-методологическое исследование.

Итак, мы с самого начала выделяем две, в исходном пункте различные и противостоящие друг другу задачи в исследовании мышления: одна – исследовать современное мышление как однообразно повторяющийся процесс, как «ставшее» целое, функционирующее в соответствии со своей структурой и организацией по постоянным и неизменным законам, и при этом мы должны отвлечься от каких бы то ни было процессов развития в этом целом; другая – исследовать мышление в его развитии, в смене одних форм другими, исследовать законы этого развития.

Чтобы не было недоразумений, еще раз оговоримся. В дальнейшем, в ходе решения самих этих задач, такое разделение и противопоставление друг другу образов объекта может оказаться слишком грубым, слишком поверхностным, может выясниться, что исследование ряда сторон и связей «ставшего» целого невозможно без предварительного или сопутствующего анализа процессов его развития, или же наоборот, что анализ процессов развития мышления предполагает знание его как «ставшего». Возможность прийти к такого рода выводам в ходе дальнейшего исследования отнюдь не исключена (см. [Щедровицкий 1958 b, 1975 c, 1975 d, 1975 e, 1975 f; Климовская 1969]), однако в исходном пункте, при формулировке задач исследования разделение на «теорию» и «историю» объекта и противопоставление их друг другу являются не только целесообразными, а даже необходимыми. Но если эти две задачи разделены и противопоставлены, то решение их, естественно, порождает две различные теоретические системы, каждая из которых *по-своему* воспроизводит мышление и создает *свой особый* предмет изучения.

Но как относятся эти теоретические системы к единичным актам мышления, составляющим, как мы предположили вначале, реальный объект изучения? И как относятся эти две системы друг к другу? В чем *объективная* природа и специфика каждой из них? На все эти вопросы пока нет достаточно оправданного и обоснованного ответа.

§6. *Материалом исследований* как в теории, так и в истории мышления являются, очевидно, одни и те же конкретно-данные, осуществляющиеся там-то и тогда-то единичные процессы, или акты речи-мысли. В каждом из этих актов, взятом вне его изучения и исследования, вне сопоставления с другими актами, так называемые процессы функционирования и процессы развития неразрывны, едины и переходят друг в друга. И

то и другое есть в реальности *единый* процесс, поэтому правильнее было бы даже сказать, что в этих актах как таковых нет ни процессов функционирования, ни процессов развития. И действительно, смешно говорить, что какой-то конкретно данный акт речи-мысли развивается или функционирует. Он и не развивается, и не функционирует, он просто *есть, существует, осуществляется*.

Однако, приступая к исследованию конкретно-данных актов речи-мысли, мы уже имеем две разные задачи и соответственно им должны выделить в совокупности этих актов две различные *динамические стороны мышления как такового* – процессы функционирования и процессы развития, и каждый из этих процессов должен стать особым предметом исследования, особой *научной системой*.¹⁴

Иначе говоря, каждая из научных дисциплин – в данном случае «теория» или «история» мышления – берет исследуемые ею объекты, т.е. совокупности единичных конкретно данных актов речи-мысли, в контексте

¹⁴ Здесь очень важно и существенно, что предметы исследования и их системные изображения задаются и определяются именно *процессами, характеризующими мышление как целое*, а не совокупностью единичных актов речи-мысли; принципиальным также является то, что эти единичные акты речи-мысли нельзя рассматривать в качестве элементов системы мышления, внешним образом (т. е. логически вторично) объединяемых в целое протекающими через них разнообразными процессами. Наоборот, именно процессы как таковые задают *основное содержание* того или иного системного представления мышления, а единичные акты речи-мысли в их конкретной организации и морфологии, взятые в тех или иных отношениях сопоставлений, являются лишь *«материалом» этих систем* и задают особые, образно говоря, «нижние» слои системного представления мышления (см. [Щедровицкий 1975 с]). Между тем до сих пор большинство исследователей, даже из числа тех, кто принимает, развивает и пропагандирует системный подход, в исследовании сложных популярных объектов, таких, как речь-язык и мышление, исходят из непосредственной данности множества единичных «вещей» – актов речи-мысли, высказываний, предложений и т. п., объявляют эти «вещи» элементами системы и затем пытаются связать и объединить их в целое, как бы «пропуская» через них структуры или же процессы функционирования и развития (см. [Реформатский 1961; Мельников 1967 а; Уемов 1968, 1973; Садовский 1973, 1974; Солнцев 1971]). Бесспорно, что это пока единственный путь и способ рассуждения, к которому могут прибегнуть те, кто пытается строить системные изображения различных предметов на базе теоретико-множественных (т. е. *несистемных* и принципиально *антисистемных*) представлений. Поэтому как стратегия первого и приблизительного совмещения «вещных», теоретико-множественных и структуральных представлений все это допустимо и даже в какой-то мере оправдано, но очень странно, когда подобная механическая комбинация вещизма и структурализма объявляется системным подходом (см. [Мельников 1967 б, 1969; Уемов 1968, 1973]) и с пафосом противопоставляется традиционному структуральному подходу, практически всегда опиравшемуся на тот же теоретико-множественный, вещный подход. Таким образом, существо и подлинная проблема системного подхода, на наш взгляд, состоят не в возврате к традиционному вещным представлениям и не в совмещении вещных представлений со структурными, а в том, чтобы найти *принципы связи процессуальных, структурно-функциональных, организационно-материальных и морфологических представлений сложного объекта* (см. [Щедровицкий 1975 с]); причем в научном исследовании ведущими и определяющими суть и границы системы являются именно представления процессов, а все остальные представления к ним подстраиваются и организуются вокруг них.

и со стороны каких-то определенных процессов, и именно эти процессы задают и определяют *предметную систему* этой научной дисциплины.

Подобно тому как это происходило при создании моделей «отдельных» актов мышления, эти категориальные характеристики процессов и обусловленные ими различия в совокупностях единичных актов речи-мысли – а они всегда предполагают определенные сопоставления ряда единичностей – возводят выделенное содержание *в ранг всеобщности*, они создают определенные системы изображения, которые выступают как *теория* или как *история мышления вообще*, т.е. как нечто общее для всех этих единичных актов. Нельзя говорить о функционировании или развитии какого-либо единичного акта речи-мысли (как мы уже отметили, он не имеет ни того, ни другого), но мышление вообще – и это кажется вполне естественным – имеет как *процессы функционирования*, так и *процессы развития*. Это показывает, что, говоря о процессах функционирования или о процессах развития мышления, мы рассматриваем конкретно данные единичные акты мышления каким-то *особым образом*, не просто как сопоставляемые единичности, а в *особой связи*, и именно эта связь, ее специфика, образует специфику предмета и предметной системы той или иной науки.¹⁵

Выделение каждого из этих видов связи *предполагает определенное сопоставление единичных актов мысли*. Но этого мало, или, говоря более точно, недостаточно. Оно предполагает вместе с тем определенное *сопоставление уже выделенных моделей отдельных актов мышления и сопоставление единичных актов мысли в отношении к этим моделям*. И все эти сопоставления должны быть осуществлены в одной системе. Ни одно из этих сопоставлений, взятое само по себе, не может обеспечить построения ни системы теории, изображающей функционирование рассматриваемого предмета, ни системы истории, изображающей его развитие.

Действительно, каждое «отдельное», зафиксированное в модели и представляющее группу сходных актов мышления, взятое вне связи с другими «отдельными», не функционирует и не развивается – точно так же, как и сами единичности. Оно может только либо существовать, либо не существовать. Те или иные единичные акты мысли, изображаемые в этом «отдельном», могут исчезнуть, другие – могут измениться, но это никак не сказывается на «отдельном». До тех пор, пока остается хотя бы один акт мысли, имеющий свойства, зафиксированные в модели «отдельного», до тех пор остается и «отдельное», причем остается неизменным. Оно

¹⁵ Из этого, в частности, следует, что не только сопоставления, но и «обобщения», производимые нами при создании системного предмета, носят принципиально иной характер, нежели в тех случаях, когда мы создаем модель отдельного акта мышления и «обобщаем» в ней множество единичных актов мысли. К сожалению, эта сторона дела, как правило, не учитывается во многих современных работах по системному анализу, и дело трактуется таким образом, как будто системные характеристики и параметры могут быть *выделены* в каждом единичном объекте.

перестает соотноситься с теми единичностями, с которыми соотносилось раньше, перестает отражать их, но само не меняется.

О нескольких единичностях, даже если они берутся в связи друг с другом, также нельзя сказать, что они функционируют или развиваются. Чтобы сделать подобное утверждение, надо взять эти единичности в сопоставлении с имеющимися моделями «отдельных», и характер этого утверждения будет зависеть от характера моделей и отношений между ними, устанавливаемых в этих сопоставлениях.

Это нетрудно показать с помощью простой иллюстрации. Возьмем три единичных акта мысли, имеющих соответственно строение:

$$A_1 = \{\Delta_1\}, A_2 = \{\Delta_1 \Delta_2\}, A_3 = \{\Delta_1 \Delta_2 \Delta_3\},$$

и спросим себя: с чем мы имеем дело при осуществлении каждого из этих актов – с функционированием или развитием? Ответить на этот вопрос, анализируя эти акты мысли вне их отношения к системе, невозможно. Все зависит от того, в какой связи мы возьмем эти акты, какой предмет изучения сформируем, а выбор самой связи зависит от целого ряда обстоятельств. Конечно, прежде всего он зависит от задачи исследования и от того, какое сопоставление мы будем производить в соответствии с нею. Но вместе с тем он зависит и от того, какое изображение мышления как целого у нас уже существует. Если, к примеру, мышление изображается перечнем элементарных актов $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ и Δ_4 и все реальные единичные акты A_1, A_2, A_3 берутся в отношении к этому изображению, то в таком случае мы можем говорить лишь о функционировании мышления, т.е. об осуществлении имеющихся в перечне элементарных актов в определенных реальных мыслительных процессах, осуществляемых там-то и такими-то людьми. Напротив, если мышление изображается перечнем элементарных актов Δ_1 и Δ_2 , то реальный мыслительный процесс A_3 мы, при всем нашем желании, уже никак не сможем рассматривать как осуществление этих элементарных актов, как функционирование имеющегося мышления, а должны будем ставить вопрос о расширении этого перечня и тем самым косвенно – о развитии или развертывании мышления, представленного этим перечнем.

Это, конечно, искусственный пример: он совершенно не затрагивает вопроса о путях и способах получения определенных изображений мышления, в частности изображений его развития и функционирования, он исходит из уже готового изображения мышления, причем изображения, предназначенного для определенной цели. Но вместе с тем именно поэтому он удачен во многих отношениях. Во-первых, он наглядно показывает, что ряд единичных актов мышления, взятый безотносительно к формам их фиксации и изображения, не дает еще возможности говорить ни о функционировании, ни о развитии мышления. Во-вторых, он показывает, что отнюдь не всякое изображение совокупности актов мышления схватывает различие между процессами функционирования и процессами развития; в частности, изображение мышления в виде ряда моделей отдельных актов, с которым мы до сих пор исключительно имели дело, не отражает ни

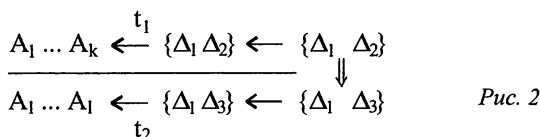
функционирования, ни развития. В-третьих, этот пример показывает, что перечень моделей отдельных актов мышления является важным условием и предпосылкой выявления процессов развития и функционирования мышления как такового: от его характера, в частности, от числа имеющихся моделей отдельных актов, зависит, сможем ли мы изобразить процесс функционирования и процесс развития мышления, данного нам сначала в виде ряда эмпирически зафиксированных актов. Наконец, этот пример также наводит нас на мысль, что для изображения процессов функционирования и процессов развития мышления мало сопоставлять единичные акты мышления между собой и с моделями отдельных актов, надо еще сопоставлять между собой модели этих «отдельных»: только в этом случае мы можем надеяться схватить и выявить объективную природу и механизмы этих двух процессов.

§7. Чтобы подойти к решению этой задачи, мы прежде всего должны принять во внимание, что, говоря о функционировании и развитии мышления, мы фиксируем определенные *изменения в составе единичных актов мышления*. Процесс изменения этого состава воспроизводится с помощью тех же моделей отдельных актов мысли, но, чтобы изобразить его, мы должны взять, по крайней мере, *две* такие модели. Между ними должно существовать определенное *отношение*. Во-первых, они должны быть *сходны* в определенных свойствах, т.е. принадлежать к одному и тому же «роду», и это сходство обязательно должно быть зафиксировано в нашем знании, так как иначе мы не сможем говорить, что они изображают один и тот же объект (одну и ту же группу объектов и т.п.); во-вторых, они должны быть *различны* в определенных свойствах, так как иначе мы не сможем говорить, что они фиксируют нечто различное. Эти две модели отдельных актов мысли, связанные теперь отношениями сходства и различия, должны быть взяты в отнесении к одному и тому же объекту, в частности в отнесении к одной и той же *группе меняющихся единичных актов мысли*. К тому же отнесение должно быть таким, чтобы при этом учитывалось *течение времени*, ибо в тот момент, когда к объекту относится первая модель отдельного акта, вторая модель не соответствует объекту и не может к нему относиться, затем первая модель перестает соответствовать объекту и уже не может к нему относиться, и тогда относится вторая модель, которая теперь ему соответствует¹⁶.

¹⁶ Эти пояснения отчетливо демонстрируют, что «течение времени» первоначально фиксируется не в объекте – группа меняющихся единичных актов мысли остается той же самой и существует пока как бы *вне времени*, и это является обязательным логическим условием выявления и фиксации самого изменения, – а в той познавательной деятельности, которую мы осуществляем в отношении к этому объекту, и определяется тем, что саму познавательную деятельность мы вынуждены разбивать на отдельные действия и последовательно осуществлять два действия, два отнесения существующих у нас моделей к объекту. Лишь потом это *течение «внутреннего» времени деятельности*, фиксируемое как смена одного познавательного действия другим, переносится на сам объект и начинает рассматриваться как

Именно это отнесение к меняющимся наборам единичных актов речи-мысли и именно этот способ отнесения являются тем, что делает эту пару связанных между собой моделей отдельных актов мышления моделью изменения объекта; вне этого способа отнесения эта же пара изображений отдельных актов мышления может быть изображением чего угодно, в частности – любых двух групп единичных актов мысли. Поэтому, чтобы изобразить факт изменения какой-то совокупности актов мысли, мало задать пару моделей отдельных актов, нужно еще каким-то образом, может быть в специальном знаке, отметить и зафиксировать сам способ отнесения их к объекту, и мы делаем это, говоря об «изменении объекта», о переходе его из одного состояния в другое (или вводя потом специальные символы для обозначения того же самого).

Наглядно-схематически вся эта система отношений, соответствующая производимым сопоставлениям и отнесениям, изображена на рис. 2.



Слева на нем зафиксирован *меняющийся объект*, затем идут *модели отдельных актов мысли*, горизонтальные стрелки t_1 и t_2 обозначают *акты отнесения этих моделей к объекту*, штриховая линия символизирует *временной раздел актов отнесения*, наконец, справа на схеме – те же самые модели, *связанные между собой отношением сопоставления*, выступают уже как *состояния одного целого, соответствующего процессу изменения* ¹⁷.

Анализируя полученное таким образом содержание, мы должны прежде всего заметить, что в результате, в дополнение к тем отношениям сходства и различия, которые существовали раньше между «отдельными», мы получили еще определенную *связь, изображающую объективный процесс изменения*. Но это пока лишь изменение вообще, и мы ничего не можем сказать о его характере: оно с равным успехом может быть как функционированием, так и развитием. Сама по себе зафиксированная схема

течение времени, внутреннего для изучаемого объекта; но, как и во всех других подобных объективациях, здесь требуется тщательно отрефлектированная и логически нормированная *процедура объективации и оестствления времени*.

¹⁷ Здесь опять-таки существенно то, что целым является уже *процесс изменения*, а не совокупность единичных актов мысли, и состояния (фиксируемые пока моделями отдельных актов) относятся именно к процессу, им они объединяются и в нем получают новое, специфическое для них существование. Правильнее было бы даже сказать, что через процесс они впервые определяются и только в нем начинают существовать, но это будет справедливо лишь для *понятия состояний и того функционального содержания, которое в нем фиксируется*, а по материалу «состояния», как мы видели, получаются иначе – из моделей отдельных актов мышления.

сопоставлений не раскрывает и не определяет ни объективной природы, ни механизмов этого процесса. Это пока – схема чистого изменения, изменения как такового. А чтобы можно было говорить о процессах функционирования и процессах развития или, соответственно, о связях функционирования и связях развития какого-либо объекта, нужно еще *рассмотреть модель изменения в отношении ко всему целому*. Если, к примеру, мы отождествим целое с тем, что уже зафиксировано в правой части схемы, то сможем говорить об этом изменении как о развитии, но если эта связка между $\{\Delta_1, \Delta_2\}$ и $\{\Delta_1, \Delta_3\}$ не может быть отождествлена с целым, то мы, чтобы оценить характер происходящего изменения, должны будем выйти за пределы зафиксированных сопоставлений, обратиться к изображению целого и соотнести с ним связку, изображающую изменение.

Тот факт, что решение вопроса о характере какого-либо изменения, зафиксированного нами в знании, зависит от отношения модели к целому, от границ и характера выделенного целого, подтверждается всем известными различиями понятий видового и родового или индивидуального и видового развития. В последнем случае, например, одно и то же изменение особи оказывается то процессом функционирования, то процессом развития в зависимости от того, в какой связи эта особь рассматривается: то, что для индивида является развитием, то для вида может быть только процессом функционирования.

Итак, решение вопроса о том, с каким изменением объекта мы имеем дело – с развитием или с функционированием, зависит от того, относительно какого целого, а вместе с тем и относительно какой системы изображения целого, мы это изменение рассматриваем. Но такое решение проблемы тотчас же поднимает новые вопросы. Один – в какой мере рассматриваемая характеристика изменений отдельного объекта зависит от характера системы изображения всего целого? И другой, более общий и не раз уже встававший перед нами, – какие вообще существуют виды и типы таких изображений целого?

Предположим для начала, что изображение мышления как целостности задано нам в виде одного перечня моделей отдельных актов мысли $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$ или, чтобы рассуждение наше имело несколько большую общность, – в виде одной структуры вида

$$\Delta_1 \Leftrightarrow \Delta_2 \Leftrightarrow \Delta_3 \Leftrightarrow \Delta_4$$

(связи в этой структуре мы пока никак не будем определять, считая, что они могут быть специфицированы любым образом). Для упрощения предположим также, что все реальные единичные акты мышления $A_1, A_2 \dots A_N$ в заданном нам эмпирическом множестве состоят исключительно из *элементарных* актов, зафиксированных в качестве элементов перечня или элементов структуры.

Рассматривая изменения моделей отдельных актов мышления в отношении к изображенному таким способом целому, мы приходим к необходимости различить два типа таких изменений: 1) изменения моделей

отдельных актов, при которых структура целого (т.е. ее элементы и связи), оставаясь неизменной, будет по-прежнему так же точно отражать или изображать всю эмпирически заданную область единичных актов мышления, как она это делала до их изменения; 2) изменения моделей отдельных актов мысли, при которых структура целого перестает соответствовать эмпирически заданной области и, следовательно, чтобы опять достичь соответствия, сама должна измениться, т.е. получить какие-то новые элементы и связи и исключить старые. Первый тип изменений (охватывающий реальные объекты и модели отдельных объектов), мы будем называть *функционированием*, а второй тип изменений (охватывающий реальные объекты, модели отдельных объектов и изображение всего целого) – *развитием*¹⁸.

Хотя эти определения не раскрывают ни объективной природы, ни механизмов процессов функционирования и развития, на этом уровне анализа они могут рассматриваться как достаточная экспликация соответствующих понятий, введенных раньше чисто описательно. Поясним их еще на абстрактных примерах.

Предположим, что имеющаяся у нас теоретическая система «мышления вообще» выражается структурной схемой

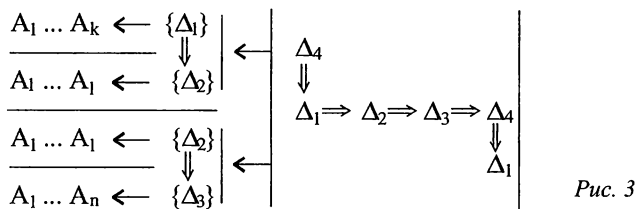
$$\Delta_1 \Leftrightarrow \Delta_2 \Leftrightarrow \Delta_3 \Leftrightarrow \Delta_4$$

(стрелки, как и раньше, изображают здесь любые пока специально не определяемые связи), а на уровне моделей отдельных мыслительных актов происходит изменение, которое схематически должно быть изображено как переход $\Delta_1 \Rightarrow \Delta_2$ (напомним только что принятое условие: все единичные акты мышления являются элементарными). Предположим далее, что связи структурной схемы «мышления вообще» можно рассматривать и как изображения связей изменения. При таком предположении схема изменения отдельного акта мышления оказывается *частью* общей структуры мышления и непосредственно вкладывается в нее, не требуя никаких изменений самой структуры, и, следовательно, с точки зрения заданной общей структуры мышления это изменение отдельного акта будет процессом функционирования мышления.

Специально нужно отметить, что во всех подобных рассуждениях обязательно фигурирует целый ряд изображений объекта, которые расположены в знании как бы в разных «плоскостях» и «слоях» (относительно самого объекта) и особым образом соотносятся друг с другом. В частности, в одной плоскости мы можем изображать изменения отдельных актов мышления, в другой – существование и изменение всего их множества,

¹⁸ В процессы функционирования войдут и все те изменения, которые для своего изображения требуют изменения структуры целого, но такого изменения, которое происходит по *циклической схеме*, т.е. через некоторое время и через ряд промежуточных положений возвращает его в прежнее состояние; фиксация таких изменений потребует еще одного изображения, и естественно, что именно к нему перейдет прерогатива определять целостность. Таким образом наше определение функционирования будет справедливым и для этих случаев.

схваченное и представленное в виде одного предмета, одной общей системы. Наглядно-схематически отношения этих плоскостей изображений друг к другу и к единичным актам мысли представлены на рис. 3.



Если теперь предположить, что все единичные акты, входящие в эмпирически заданную область мышления, изменяются только таким образом и при этом постоянно сохраняется какое-то количество единичностей, соответствующих Δ_1 , то тогда два слоя изображений в принципе уже не нужны, они сводятся к одному, именно к «статическому» изображению мышления вообще. Отношение между общим изображением мышления и изображениями изменений отдельных актов переносится как бы внутрь самого общего изображения, «снимается» в его связях. Отношение между изображениями изменений отдельных актов и самими единичными актами мысли переходит в отношение между общим системным изображением мышления и единичными актами мысли. Многоплоскостная структура знания, фиксирующая в себе то содержание, которое мы назвали функционированием, как бы «сплющивается» и превращается в двухплоскостную структуру. Но содержание многоплоскостного знания уже зафиксировано в слове «функционирование», и мы удерживаем его, применяя слово «функционирование» также и в отношении к двухплоскостному знанию. Изменения отдельных актов фиксируются и описываются, если это нужно, чисто словесно со ссылкой на общее изображение и относительно него, например: « Δ_1 переходит в Δ_2 », « Δ_2 превращается в Δ_3 », «вместо Δ_3 осуществляется Δ_4 » и т. д.

Важно также отметить – хотя здесь мы не имеем возможности это разбирать, – что схемы структур функционирования могут иметь различную конфигурацию в зависимости от характера изменений, происходящих с отдельными объектами. Особое место среди них занимают циклические схемы (см. [Гальперин И. 1960; Эшби 1959]).

Рассмотрим теперь на таком же абстрактном примере процесс развития. Пусть имеющаяся у нас теоретическая система «мышления вообще» выражается прежней структурной схемой

$$\Delta_1 \Leftrightarrow \Delta_2 \Leftrightarrow \Delta_3 \Leftrightarrow \Delta_4,$$

а среди изменений отдельных актов имеются такие, которые уже не могут быть изображены с помощью имеющегося набора элементов и требуют введения новых элементов Δ_5 , Δ_6 и т. д. После того как это изменение уже

совершилось и новые виды единичных актов мысли отражены в новых элементах, вся система мышления в целом может быть изображена в новой, пополненной структуре

$$\Delta_1 \Leftrightarrow \Delta_2 \Leftrightarrow \Delta_3 \Leftrightarrow \Delta_4 \Leftrightarrow \Delta_5 \Leftrightarrow \Delta_6$$

Если теперь указанные изменения отдельных актов мысли мы будем рассматривать *только* с точки зрения этой новой системы изображения целого, то они выступают, как и раньше, в качестве *процесса функционирования целого*. Но если мы будем исходить из первой зафиксированной нами структуры, то эти же изменения придется рассматривать как *развитие целого*, изображенного в исходной структуре, и, чтобы отразить это развитие в моделях и в описании, нам придется воспользоваться уже минимум *двумя* структурными изображениями, записывая их рядом и вводя специальное обозначение связи между ними. Наглядно-символически вся эта система отношений представлена на рис. 4.

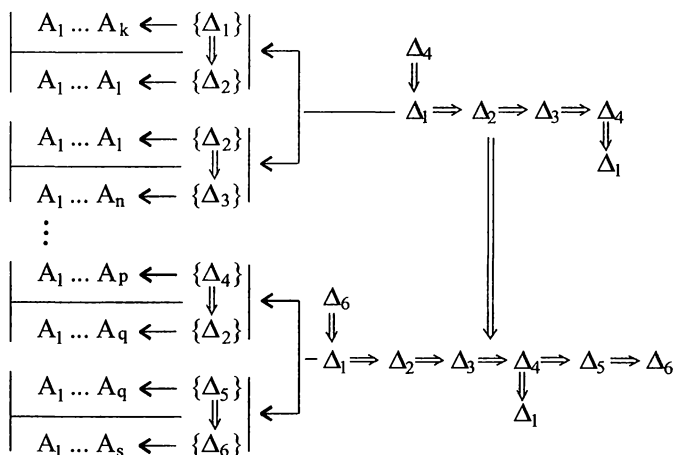


Рис. 4

(На рис. 4 слева представлены *изменения эмпирически данных единичных актов мышления и изображения этих изменений в моделях отдельных актов*, справа сверху представлена *исходная структура мышления как целого*, а справа внизу – его *конечная структура*; длинная вертикальная стрелка изображает переход одной структуры в другую, или, иначе, *связь развития*).

Пять важных моментов можно выделить, анализируя эту схему.

Во-первых, изображение развития системы целого представляет собой *взаимосвязь структур*, или, иначе, *систему систем*. Никак иначе развитие как таковое не может быть изображено.

Во-вторых, это изображение содержит минимум два различных типа связей. Если раньше, при анализе схем процессов функционирования, мы могли полагать, что связи в изображении структуры целого могут быть специфицированы различным образом в зависимости от наших задач – и

как связи развития, и как связи функционирования, – то теперь такая возможность отпадает, уже хотя бы в силу того, что в самом изображении мы имеем два различных типа связей и вынуждены интерпретировать их по-разному. Это обстоятельство вновь со всей остротой ставит вопрос о различии в содержании этих изображений. Если «горизонтальные» связи структур можно интерпретировать как связи функционирования, а «вертикальные» – как связи развития, то эта схема делает совершенно отчетливым различие двух систем теоретического изображения целого: они могут быть разделены чуть ли не механически, хотя построение системы функционирования является условием и предпосылкой построения системы развития (оговоримся: при таком способе изображения).

В-третьих, эта схема наглядно показывает, что говорить о *функционировании и развитии применительно к изменениям отдельных актов мышления* можно только в том случае, если мы учитываем и сознательно фиксируем *отношение связок $\Delta_1 \Leftrightarrow \Delta_2$ к системе целого* (левая часть схемы берется в отношении к правой); но точно так же можно говорить о *развитии и функционировании всего целого* (как мы это часто делаем), если происходящие в нем изменения рассматриваются *структурно, т.е. относительно составляющих его элементов и связей* (например, нижняя горизонтальная структура правой части схемы рассматривается относительно верхней горизонтальной структуры). Если же мы рассматриваем отдельные акты мысли внутри всей целостности мышления (и, следовательно, не считаем их целостными образованиями), то они могут лишь изменяться или «превращаться», но не могут развиваться или функционировать.

В-четвертых, эта схема показывает, что структурные изображения целого будут принципиально различными в зависимости от того, какую теоретическую систему – функционирования или развития – мы строим. В случае развития это будет *структура, обязательно содержащая подструктуры* (или *система, содержащая подсистемы*), особым образом связанные между собой. Только такое сложное изображение, содержащее специальное изображение связи развития, сможет выступать в роли *модели отдельного процесса, изображающего развитие*.

Наконец, в-пятых, эта схема в буквальном смысле зримо показывает значимость вопроса о соотношении динамики объекта и предмета исследования. Отчетливо это выступает, в частности, когда мы спрашиваем о *движущих силах развития*. Ведь если мы говорим о развитии, то должны, естественно, привлечь к рассмотрению и проанализировать его движущие силы. Но если мы различаем и даже противопоставляем друг другу, с одной стороны, изменение или превращение отдельных объектов, а с другой – развитие предмета как целого, то встает вопрос: в какой собственно системе изображений – правой или левой – нужно вводить и рассматривать движущие силы? И что, собственно, они должны изображать – факторы, определяющие превращение (или изменение) отдельных объектов, или же, напротив, факторы, определяющие именно то, что мы называем разви-

ем предмета? Во всяком случае, независимо от того, как мы ответим на поставленные выше вопросы, мы должны согласиться, что существует такая проблема соотношения движущих сил изменений в отдельных объектах и движущих сил развития всей системы в целом.

Все изложенные выше соображения – это прежде всего постановка проблем. Многое и многое в этих проблемах остается еще неясным. Но один вывод (намеченный нами уже и раньше) проведенная методологическая экспликация понятий развития и функционирования подтверждает. Речь идет о том, что, приступая к теоретическому описанию сложного популярного объекта, мы должны с самого начала четко различить две возможные задачи исследования – 1) *воспроизведение развития*, 2) *воспроизведение функционирования системы* – и сознательно выбрать одну из них. Этим, между прочим, исследование популярного объекта принципиально отличается от исследования традиционного вещного объекта. Поясним это несколько подробнее.

Исследование непопулярного объекта мы начинаем с выделения его «внешних» свойств и параметров. Внутреннее строение такого целого, его состав, свойства элементов и их связи недоступны непосредственному эмпирическому выявлению (ср. [Щедровицкий 1964 а: 25-46]). Определить их и связать с зафиксированными в понятии «отдельного» внешними параметрами – в этом и состоит задача исследования. Число элементов и некоторые их свойства определяются в одних случаях путем практического анализа, в других – гипотетически, путем особых приемов мысли, исходя из внешних параметров целого. Связи между элементами всегда определяются гипотетически. Характер всех гипотетически вводимых параметров, таким образом, полностью определяется характером внешних свойств и параметров рассматриваемых единичных объектов, зафиксированных в понятии «отдельного». Если мы берем эти единичные объекты отвлеченно от всяких изменений их внешних параметров, как бы «в точке», то, естественно, не может быть и речи об изменениях в их внутренних параметрах, а следовательно, не может ставиться и вопрос о процессах функционирования и развития элементов и связей такого целого. Но и в том случае, если бы мы взяли эти единичные объекты в процессе изменения их внешних параметров, то и тогда, не имея еще знаний об элементах и связях, не имея еще знаний о структуре этих объектов, мы не могли бы ставить вопрос о том, какими изменениями элементов и связей структуры могут быть объяснены рассматриваемые изменения внешних параметров.

Таким образом, в границах того исследования вещных, непопулярных объектов, о котором мы говорим, различение процессов функционирования и процессов развития оказывается ненужным. Лишь после того как структура таких объектов исследована и воспроизведена в структурных схемах, после того как их непосредственно не обнаруживаемые элементы и связи приобрели качественно-определенное существование в знаках элементов и связей, в изображении, возникает вопрос: происходят ли

внутри такого целого изменения элементов и связей и, если происходят, то как это отражается на определенности целого, на его структуре, и чем в соответствии с этим будут сами эти изменения – функционированием или развитием? Но сам этот вопрос возникает и ставится уже после того, как мы проанализировали и воспроизвели в схемах структуру данного целого, и поэтому постановка всех этих новых вопросов ведет уже к иным проблемам и к иному плану исследований.

Иначе обстоит дело при исследовании сложного популятивного объекта. Во-первых, здесь исходным пунктом анализа является *множество единичных объектов*. Все эти объекты воспринимаются непосредственно, и уже это непосредственное восприятие фиксирует постоянное изменение их или смену одних другими, причем целое, в которое они входят, с одной стороны, еще недостаточно определено и очерчено, а с другой – остается при этом вроде бы либо совсем без изменений, либо претерпевает такие изменения, которые не сказываются на существовании его как целого. Уже одно это наталкивает на вопрос об отношении всех этих изменений единичных объектов к устойчивости и неизменности целого как такового.

Но не это даже главное. Всякое популятивное целое, выделенное на эмпирически данном множестве единичных объектов посредством указания отличительного свойства этого целого и отличительных свойств объектов, входящих в его состав, может представлять собой – и это во-вторых – совокупность как *функционарно*, так и *генетически связанных друг с другом единичных объектов*, причем указание отличительного свойства, посредством которого мы выделяем целое, не может отделить генетически связанные элементы от функционарно связанных. А это, как мы уже говорили, необходимо сделать именно в исходном пункте исследования. Ведь воспроизводя это целое в мысли, мы стремимся взять только небольшую часть входящих в него единичных объектов и, как и во всяком другом исследовании, рассмотреть их как представителей целых классов единичных объектов. Но, так как нашей задачей является исследование и воспроизведение в мысли *структуры* рассматриваемого целого (а это значит, что должны быть воспроизведены *объективные связи*, существующие между единичностями, входящими в целое), то мы не можем взять просто одинаковые единичности, объединить их в классы и заменить эти классы соответствующими моделями отдельных объектов, мы должны взять *одинаковые единичности, одинаковым образом связанные друг с другом*, т.е. должны взять *одинаковые взаимосвязи*, их объединить в классы и их заместить соответствующими абстракциями взаимосвязей же.

А это значит, что уже в исходном пункте исследования, приступая к образованию моделей, из которых потом будет построена система, воспроизводящая целое, мы должны произвести определенную обработку эмпирически данного материала, отделить функционарно связанные друг с другом единичности от генетически связанных и, в соответствии с этим

разделением, должны строить две различные системы целого: *систему функционирования и систему развития*. Система развития будет состоять из целого ряда функционарных подсистем (каждая из которых будет отлична от общей системы функционирования данного предмета). Все единичные объекты, входящие в популярный объект, будут разбиты при этом на группы и отнесены к одной и только к одной из функционарных подсистем. Внутри этих групп единичные объекты будут связаны функционарно с единичностями других групп, а сами группы и соответствующие им модели должны быть связаны между собой генетически. Если мы не сделаем такой *ступенчатой разбивки* и будем пытаться строить систему популярного целого, включая туда все совместно данные единичные объекты, то это, очевидно, приведет только к одному – к отрицанию исторического характера рассматриваемого целого, к отрицанию процессов развития в нем, к попыткам представить рассматриваемое целое как вечное и вечно неизменное. История науки, как уже отмечалось выше, дает нам массу примеров такого рода.

Чтобы преодолеть этот неизбежный сдвиг в исследовании и рассмотреть исторически развивающиеся объекты в их развитии, мы должны уже в исходном пункте исследования популярных объектов сознательно различить две возможные задачи исследования и сознательно выбрать одну из них – процедура, которой не было и не могло быть при исследовании непопулярных объектов.

Но этот вывод важен для нас даже не сам по себе. Из него следуют очень важные методологические следствия. Дело в том, что этот выбор системы теоретического изображения предмета с самого начала определяет весь дальнейший ход исследования, те процессы и приемы мышления, которые мы должны будем применять. Так, например, совершенно бессмысленно говорить об отделении функционарно связанных элементов сложного популярного объекта от генетически связанных безотносительно к задаче исследования и воспроизведения в мысли той или другой из названных выше систем – либо функционарной, либо генетической. И процессы мысли, необходимые для решения этих двух задач, будут существенно разными. Так мы приходим к выделению двух больших групп процессов исследования, направленных на воспроизведение 1) *функциональной структуры целого* и 2) *структуры развития целого*. Мы будем называть их сокращенно: *процессами функционального и процессами генетического исследования*.

Итоги

Таким образом, мы опять вернулись к той группе проблем, которая уже была поставлена выше и которую мы все время в ходе наших рассуждений оставляли как бы за скобками. Речь идет об эмпирическом анализе единичных актов мышления и о создании изображающих их моделей отдельных актов. Сформулировав эту задачу с самого начала и обсудив пути

ее решения, мы пришли к выводу, что она не может быть решена, пока мы не выдвинем каких-либо дополнительных предположений относительно возможных связей между этими единичными актами мышления и, соответственно, между изображающими их моделями отдельных актов.

Идея ввести связи развития возникла как попытка решить эту проблему. Но она подняла целый ряд других проблем и прежде всего потребовала уточнения самого понятия развития. Пришлось различить и отграничить друг от друга *изменение, функционирование, развитие*. При этом перед нами по-новому встала проблема соотношения объекта и предмета исследования, их систем. Она заставила нас обсудить вопрос о соотношении между «теорией» и «историей». Здесь раскрылась исключительно широкая область проблем, требующих специального детального анализа. Обращение к ней неизбежно. И наверняка проблемы этого круга составят темы многих исследований, которые будут проводиться в ближайшие годы. Но все это – дело будущего, а сейчас мы хотим еще раз повторить и таким образом подчеркнуть ту основную мысль, которую мы стремились разъяснить и обосновать на протяжении настоящего исследования: *пути и способы анализа единичных эмпирически данных актов мысли в таком объекте как «мышление», а также пути и способы построения моделей отдельных актов мысли зависят от того, какую систему изображений этого объекта мы намерены строить – систему функционирования или систему развития*. Но это вместе с тем означает, что *идея функционирования и идея развития, принимаемые нами в начале исследования в соответствии с двумя возможными задачами работы, определяют как средства и методы нашего исследования, так и представления о целостности предмета, а затем – что очень важно – и самого объекта исследования*.

Смысл и понимание *

1.

Насущная задача современной педагогики – об этом сейчас много говорят и пишут – состоит в том, чтобы найти эффективные пути оптимизации и совершенствования процессов обучения и воспитания в средней и высшей школе. Но такая постановка вопроса совершенно автоматически и с необходимостью оборачивается системой новых требований к самой педагогике. Трудно надеяться на то, что традиционная педагогика с ее дидактикой, предметными методиками и абстрактной теорией воспитания сумеет решить эти практические задачи. Необходимо преобразовать и усовершенствовать саму педагогику, значительно расширив захватываемые ею области исследования и набор обслуживающих ее теоретических дисциплин. Если со времен Я.А.Коменского привычной стала ориентация теоретической педагогики на философию, а со времен И.Г.Песталоцци – ориентация на психологию, то сейчас в свете новых практических задач столь же необходимыми для педагогики становятся социология, культурология, теория знания (или эпистемология) и теория коммуникации.

И это нетрудно объяснить. Ведь обучение и учебная деятельность немислимы без общения и передачи знаний. А каковы законы и техника общения, что представляют собой тексты устных и письменных сообщений, как они понимаются и осмысливаются, что такое знания, как они выражаются в текстах сообщений и как извлекаются из них в процессах понимания – все это остается до сих пор неизвестным педагогу и не может быть учтено им при организации своей работы. Раньше во всем этом не было никакой проблемы – педагогу достаточно было обыденного умения говорить и общаться со своими учениками. Но теперь, когда поставлена задача *качественно* усовершенствовать педагогическую работу, знание законов коммуникации, строения знаний и способов пользования ими, знание законов и техники смыслообразования и т.п. действительно стало необходимым и, может быть, даже важнейшим условием эффективной организации практической работы педагога. Именно поэтому теоретическая педагогика вынуждена обращаться в последние десятилетия к социологии и культурологии, к эпистемологии, семантике и теории коммуникации, именно поэтому она ставит перед этими дисциплинами новые, педагогически ориентированные задачи и проблемы, именно поэтому все больше втягивает их в свою орбиту. И сейчас этот процесс стал уже столь очевидным, что мы можем с уверенностью говорить о появлении в недалеком будущем наряду с педагогической психологией таких дисциплин, как педагогическая социология, педагогическая культурология, педагогическая

* Переиздание статьи [Щедровицкий 1976 б].

теория знания и педагогическая теория общения (ср.: [Щедровицкий 1964 в, 1974 д; Щедровицкий, Юдин 1966]).

Все это действительно стало зримым и может предсказываться как близкое будущее теоретической педагогики, но это будущее *надо еще сделать*, и реальный путь к нему может идти только через постепенное и все большее сближение педагогики с уже существующими научными и методологическими исследованиями норм культуры, процессов коммуникации, смыслообразования и мышления, структур обиходных и научных знаний и т.д., и т.п., через критический анализ понятий, используемых в этих исследованиях, и приспособление их к нуждам и специфическим запросам сегодняшней педагогики.

Именно в этом цель и смысл предпринимаемой нами методологической работы. Сначала она захватит существующие представления о смысле, потом – различные взгляды на понимание и связь его с мышлением, а в конце концов перейдет к различным концепциям знания и мышления, имея в виду задачу приспособить их к использованию в педагогике и тем самым заложить основания для развития в дальнейшем *педагогической теории знания и педагогической теории коммуникации*.

2.

Осуществление этой программы предполагает, что на каком-то этапе исследований мы представим как понимание и смысл, так и мышление и знание в виде *объектов научного исследования*. А это, в свою очередь, означает (по смыслу самого понятия «объект научного исследования»), что будут построены специальные *научные предметы*, адекватные, с одной стороны, «природе» рассматриваемых объектов, а с другой – решаемым нами педагогическим задачам. Именно так должна быть переформулирована цель предстоящей работы при деятельностно-методологическом подходе¹. И это даст нам возможность обсуждать пути, методы и средства достижения ее.

Если бы в настоящее время уже существовали научные предметы, воспроизводящие смысл и понимание (или знание и мышление) в виде объектов научного исследования (реально-эмпирических или идеально-мыслительных), то мы могли бы надеяться, взяв их за основу, произвести затем такие трансформации, которые привели бы их к нужному для нас «педагогическому» виду. Но таких предметов на деле до сих пор нет ни в области исследований понимания и смысла, ни в области исследований мышления и знаний. По сути дела, все эти образования – «знание» и «мышление» в такой же мере, как «смысл» и «понимание» – существуют только

¹ Функции и смысл этого принципиального и основополагающего различия «предмета» и «объекта знания» в методологических и деятельностных исследованиях рассматриваются в работах [Щедровицкий 1964 в: 54-19, 22-29; 1975 в: 90-96; 1984], [Пробл. иссл. структуры науки 1967: 106-190].

в виде предметов нормативной и практико-методической деятельности (ср.: [Щедровицкий 1966 а: 102-117; 1969: 46-84; 1975 а: 42-47; 1976 а: 172-179]), а потому нам с самого начала приходится отказаться от мысли трансформировать и приспособить к нашим нуждам *уже существующие* научные предметы; мы сами должны их впервые построить, исходя из какого-то другого материала.

На первый взгляд такая оценка существующего положения дел может показаться несправедливой. В последние 100 лет в этих областях действительно предпринималась масса усилий создать подлинные конструктивно-технические и естественнонаучные предметы. В области изучения смыслов и значений сложились два достаточно мощных направления работы: *лингвистическая семантика* и *логическая семантика*. Появилось много новых терминов, казалось бы существенно уточняющих и дополняющих традиционное противопоставление «смысл – значение». Уже одно перечисление этих терминов – *экстенционал, интенционал, денотат, сигнификат, коннотат, референт, интерпретанта* и т. д., и т. п. – невольно порождает веру в то, что лингвистическая и логическая семантика наконец-то вывели эту область на твердую почву объективных исследований и сумели создать подлинно научные представления о смысле. Но эта вера сохраняется лишь до начала критического анализа всех этих терминов и связанных с ними представлений. Уже первые шаги такого анализа, сколь бы благожелательным он ни был, с очевидностью показывают, что все эти термины лишь переименовывают то давно известное различие, которое логики привыкли фиксировать в противопоставлении «содержания» и «объема» (или «смысла» и «значения» по Г.Фреге), а все семиотические концепции, оперирующие этими разнообразными терминами, в своем содержании не выходят за пределы известного треугольника Огдена–Ричардса (см.: [Мулль 1974; Frege 1892; Russell 1905; Schiller et al. 1920; Ogden, Richards 1927; Carnap 1937; Kaplan 1959; Lewis 1944, 1947; Quine 1963; Чепч 1960; Kemeny 1956; Stern 1930; Ullmann 1951; Kronasser 1951; Guiraud 1964; Baldinger 1957; Звегинцев 1957; Апресян 1963], а также оценку общего итога в [Лахути, Финн 1962 а: 182; b: 257; 1964: 532]).

Но даже если предположить, что в рамках своих исходных концепций все эти термины выражают какие-то новые подходы в анализе знаков и семиотической деятельности и фиксируют какие-то новые оттенки содержания, то все равно придется согласиться с тем, что каждая из этих концепций существует в настоящее время сама по себе, автономно и изолированно от других. В целом эти концепции до сих пор не имеют общей и единой для всех них действительности, относительно которой все эти оттенки содержания могли бы быть проинтерпретированы как различия сторон и аспектов единого объекта изучения (ср.: [Щедровицкий, Садовский 1964; Shchedrovitsky 1971; Пануш 1974]). Придется признать, что до сих пор не было ни одной целенаправленной попытки организовать и объединить все связанные этими терминами смыслы путем *систематическо-*

го конфигурирования представлений и онтологических схем, полученных в разных подходах ². И даже более того, когда мы обращаемся к традиционным понятиям «содержания» и «объема» (или «смысла» и «значения»), то оказывается, что и для них до сих пор нет соответствующих онтологических представлений, что эти понятия, по сути дела, ни разу не соотносились друг с другом в рамках единой и объективируемой действительности ³.

Такое положение дел нетрудно понять и объяснить. Ведь первоначально понятия «содержание» и «объем» (или «смысл» и «значение») возникают в качестве *средств анализа* текстов и систем языка (см. [Щедровицкий 1974 а: 76-84]). Ими пользуются, не задавая вопросов о том, где и как они существуют; они естественно противопоставлены друг другу в качестве разных понятий, и если ставится задача как-то соотносить и организовать их, то ее решают с помощью различных искусственных форм — типологических и классификационных таблиц, «треугольников», «квадратов», «звезд» и т.п., выражая таким образом в простом и наглядном виде факт противопоставленности и взаимной соотнесенности (соцелостности) этих понятий. Именно так, в частности, появился треугольник Огдена-Ричардса и не менее знаменитая связка семантики, синтактики и прагматики Ч.Морриса (см. [Morris 1938; Пануш 1974]).

Очень удобные для организации средств нашей собственной деятельности, эти схемы, вместе с тем, не изображают и не представляют ничего из мира объектов; их структурная форма, если можно о ней говорить, все эти черточки, линии и стрелки, представленные на схемах, не имеют никаких объективных референтов. Их значение лишь в одном — организовать наше собственное мышление и нашу собственную деятельность с этими средствами. А если мы будем уж очень настойчивыми и неотступно будем

² Ср.: «Современная лингвистика и ряд смежных с нею дисциплин занимаются следующими видами значений: структурными (синтаксическими и дифференциальными), сигнификативными, денотативными и прагматическими. По вопросу о том, каким образом соотносятся описанные выше множества значений, в современной литературе нет определенной точки зрения...» [Апресян 1963: 106-107].

³ Здесь и в дальнейших рассуждениях этой части статьи мы сознательно ставим две пары слов — «содержание» и «объем», «смысл» и «значение» — рядом друг с другом, хотя прекрасно понимаем, что для обыденного сознания первая пара не несет никаких привычных объектных ассоциаций и потому будет восприниматься и трактоваться преимущественно инструментально, как выражение понятийного содержания, не имеющего непосредственных объективных референтов, а вторая пара, напротив, воспринимается и трактуется прежде всего как обозначающая некоторые реальные объекты, имеющие непосредственное, по сути дела практическое существование, как имена хорошо знакомых нам вещей. Такое сближение (почти отождествление) этих двух пар слов, имеющих совершенно очевидные семантические различия, нужно нам для того, чтобы подчеркнуть, что с научно-критической точки зрения в самом содержании их (как выражающих понятийную оппозицию) нет никаких существенных различий, а объективация, отчетливо выявляющаяся в словах «смысл» и «значение», есть результат совершенно побочной языковой традиции, которая должна быть сознательно преодолена.

искать для всех этих элементов знаковой формы (по сути дела, для «фигур» в терминологии Л. Ельмслева) какое-то объективное содержание, то должны будем сказать, что им являются *наши собственные исследовательские действия, акты или процедуры нашей мысли*, сопоставляющей и соотносящей друг с другом разные элементы сложной формы и соответствующие им смыслы-понятия (ср.: [Щедровицкий 1958–60; 1974 а: 87-97])⁴.

Но из этого утверждения с необходимостью следует, что мы не можем, имея перед глазами все эти схемы и ориентируясь на них, задавать вопрос о возможных *объективных* связях или зависимостях между смыслами и значениями (или между содержанием и объемом): в качестве разных средств анализа понятие содержания и понятие объема, так же, как понятие смысла и понятие значения, связаны между собой только деятельностью употребления их. А чтобы поставить вопрос об объективных связях между *самими* смыслами и значениями (или содержанием и объемом) и, тем более, чтобы отвечать на этот вопрос, нужны совсем иные схемы – такие, которые дают представление о естественной субстанции, в которой существуют смыслы и значения (или содержание и объем).

Иначе говоря, если мы хотим соотнести «смыслы» и «значения» (или «содержание» и «объем») не просто как средства нашей мыслительной деятельности, а как некие *объективные сущности*, если мы хотим ответить на вопрос, как они связаны между собой объективно, то для этого мы прежде всего должны ответить на вопрос, где, как и в каком качестве объективно существуют сами смыслы и значения (или содержание и объем как таковые) и построить совершенно особые схемы (отличные от схем «треугольников» и «квадратов»), которые могут быть проинтерпретированы как изображения тех объективных систем, внутри которых создаются, живут и умирают смыслы и значения: задание и изображение смыслов и значений (или, соответственно, содержания и объема) в качестве элементов этих систем, связанных друг с другом по законам жизни этих систем, и будет означать *объективацию* их; лишь после этого смыслы и значения (или содержание и объем) станут *объектами собственно научного исследования*.

До сих пор как в лингвистике и логике, так и в психологии обращали очень мало внимания на эту сторону дела, и потому сами смыслы и значения, по сути дела, никогда не были объектами собственно научного изуче-

⁴ Эти соображения кажутся нам исключительно важными и принципиальными, ибо подавляющее большинство исследователей пытается интерпретировать все эти фигурные схемы непосредственно объективно; проявляется это прежде всего в том, что по сторонам треугольника пишутся слова, обозначающие реальные отношения и связи, в которые вступает знак в процессах своего функционирования, например, «обозначает», «выражает», «является субъективным пониманием», «значит» и т. д. и т. п. Особенно интересными и показательными в этом плане являются представления В.А.Звегинцева, который включил внутрь схемы треугольника еще три стрелки, символизирующие реальные зависимости лексического значения от системы языка, понятия и предметной отнесенности слова (см. [Звегинцев 1957]).

ния (ср. [Weißgerber 1930: 18-19; Лахути, Финн 1964: 532; Щедровицкий 1974 а: 76-84]). Но и обратно: чтобы можно было говорить о собственно научном изучении смысла и значений, необходимо предварительно показать, *как они могут существовать и существуют объективно*, а это значит произвести объективацию того содержания, которое связывается у нас со словами «смысл» и «значение» (или, соответственно, со словами «содержание» и «объем»). И пока этого не сделано, не может быть никакой науки (в точном смысле этого слова) о смыслах и значениях.

Именно эти соображения позволяют нам сделать общее утверждение, что хотя проблемой смысла в течение веков занимались многие мыслители, никаких *научных знаний* о смысле так до сих пор и не было создано. По сути дела, в лучшем случае, все сводилось к одной лишь оппозиции «смысла» и «значения» (или к оппозиции «содержания» и «объема»), и эта оппозиция была не «знаниевой», а лишь смыслоразличительной (ср. Лахути, Финн 1962 а, б]). Но в силу этого и все понятия смысла, какие могли существовать до сих пор и какими приходилось пользоваться исследователям, носили не научный, а *практико-обиходный (или бытовой)* характер: они обеспечивали лишь *рефлексивную фиксацию* того содержания, которое порождалось различными употреблением слов «смысл» и «значение» (или «содержание» и «объем») в нашей практико-обиходной и научной речи ⁵.

⁵ «Смысл – термин, употребляемый в логике, логической семантике и науке о языке как синоним значения...» [Смысл 1970: 38]. «В логической семантике под значением понимается объект, сопоставляемый при интерпретации некоторого естественного или искусственного языка любому его выражению, выступающему в качестве имени. Этим объектом может быть вещь, или предмет, с одной стороны, и понятие или суждение, с другой. В соответствии с этим в логической семантике принято различать два основных вида значений: экстенциональное (предмет или класс предметов, обозначаемых данным выражением) и интенциональное (мысленное содержание или смысл выражения). Первое относится, по терминологии Куайна, к теории референции (теория, в которой рассматриваются вопросы, связанные с понятием истинности выражения и понятием обозначения...), второе – к теории смысла. Пара понятий «обозначаемое» и «смысл» в общем соответствует парам понятий: «означение» (denotation) и «соозначение» (connotation) у Дж.Ст.Милля, «предмет» (Gegenstand), или «значение» (Bedeutung), и «смысл» (Sinn) у Фреге, «экстенционал» (extension) и «интенционал» (intension) у Карнапа, «объем» и «содержание» в традиционной логике... Значение в языкознании – смысловое содержание (смысл) слова данного (естественного) языка» [Лахути, Финн 1962 а]. «Отметим, что в современной лингвистике нет общепринятого понятия значения слова» [Бирюков 1964: 531]. «Нельзя сказать, чтобы в лингвистике не было определений этого понятия. Их более, чем достаточно. Однако определений, которые устраивали бы лингвистов даже в рамках одной школы или одного направления, фактически нет. Тем не менее каждый языковед так или иначе знает, что такое семантика, или значение, но знает это прежде всего «для себя» и «про себя». К понятию *семантика* или *значение* можно применить слова Ф. де Соссюра, сказанные им по поводу другого, не менее важного лингвистического понятия *слово*: значение есть нечто неотступно представляющееся нашему уму. Однако вся сложность состоит в том, что это нечто представляется нашему уму по-разному» [Солнцев 1974: 3]. «Постулируем, что термин “значение слова” тождествен для нас термину “смысл слова”...» [Сова 1970: 13]. «Слово “смысл” упот-

То же самое, в принципе, можно показать и в отношении слова «знание». Естественно, что здесь мы не можем входить в сколько-нибудь обстоятельное обсуждение этой темы (хотя многие существенные аспекты ее уже рассматривались в наших работах – см. [Щедровицкий и др. 1960–61; ; Щедровицкий, Розин 1967; Щедровицкий 1966 d; 1971 d, e; 1975 a, 1976; Shchedrovitsky 1968 a]); на наш взгляд, достаточным подтверждением тезиса, что слово «знание» даже в специальной литературе, как правило, употребляется в обыденном смысле, может служить указание на тот факт, что «Философская энциклопедия», несмотря на все свои старания, так и не смогла получить развернутой статьи на это слово (см. [Знание 1962]). Конечно, здесь нам могут возразить, что при доказательстве очень важных и принципиальных положений, в которых утверждается, что смыслы, значения и знания так и не стали до сих пор объектами собственно научного исследования, мы ссылались только на косвенные моменты – отсутствие соответствующих общезначимых понятий, – а это обстоятельство, даже если оно правильно указано, само по себе еще не подтверждает основного тезиса. В принципе, такое замечание будет основательным, а если бы мы стремились к *доказательствам* выдвинутых нами положений, то его можно было бы рассматривать и как возражение. Но смысл и назначение этой части статьи состояли совсем не в том, чтобы доказывать что-либо, а в том, чтобы пояснить общие установки и замысел нашей работы и указать на те обстоятельства, которые их хоть в какой-то мере оправдывают. И отсутствие общезначимых обобщенных понятий смысла, значения и знания служит для нас – как дым от костра – достаточно убедительным указанием на то, что все эти образования не стали еще объектами собственно научных исследований. Что же касается доказательств *справедливости* какой-либо теоретической работы, то, на наш взгляд, они могут заключаться лишь в богатстве содержания, полученного в ходе ее конструктивного развертывания (см. [Кун 1975; Lakatos 1970]). А это, очевидно, можно будет оценивать только в дальнейшем.

3.

Итак, постараемся подытожить наши рассуждения. Практические задачи оптимизации и совершенствования процессов обучения и

реблется нами как синоним фреговского Sinn, “смысл”, моррисовского “сигнификат”, карнаповского “интенционал” и соссюрювокого signifié; традиционным соответствием всем этим терминам в лингвистике является весьма расплывчатый термин “значение” (не по Фреге!)... Хотя в существовании смысла и, более того, в его ведущей роли при речевом общении никто не сомневается, он не доступен лингвисту в прямом наблюдении. Смысл, как и текст, представляет собой конструкт, только еще более сложный, еще более удаленный от уровня наблюдения. Для того, чтобы со смыслом можно было как-то обращаться в рамках научного исследования, мы, естественно, должны уметь описывать его на некотором (в достаточной степени формальном) языке...» [Мельчук 1974: 10]. См. также: [Проблемы семантики 1974: 3-11, 28-34, 47-49, 58-60, 66-75 и др.].

воспитания в высшей школе заставляют нас разворачивать специальные научные исследования процессов коммуникации и передачи знаний. В этом контексте мы сталкиваемся с проблемой смысла и значения: хотя само это различие было произведено чуть ли не 2500 лет назад, сами смыслы и значения так до сих пор и не стали предметами собственно научного знания. Между тем, наша задача состоит именно в том, чтобы превратить их, наконец, в предметы научного исследования. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно четко представить себе, что такое научный предмет, как он устроен и каковы основные принципы и правила конструирования научных предметов для новых областей научного исследования. Такое переформулирование проблемы и связанных с нею задач исследования заставляет нас выйти в методологический слой работы и специально рассмотреть понятие научного предмета с тем, чтобы потом мы могли сознательно пользоваться им как в исторической критике уже существующих представлений о смысле и значении, так и при конструировании тех научных предметов, в которых смыслы и значения будут описываться и воспроизводиться специфически научными способами.

Связь естественного и искусственного как основной принцип исследования интеллектуальной деятельности *

В последние 25 лет старая категориальная оппозиция «естественного» и «искусственного» вновь выдвинулась на передний план и обрела новую жизнь. Внутри ее, казалось бы, давно отработанных и жестко закрепленных значений появилась масса новых оттенков, они превратились в самостоятельные смысловые оппозиции, стали оформляться в виде новых понятий и в конце концов, как мне представляется, взорвали старую категорию, обесмыслив ее исходные значения. В результате мы должны говорить уже не об одном противопоставлении «естественного» и «искусственного» и не об одной категории, а сразу о многих разных, которые используются в разных контекстах, нередко смешиваются и деформируют друг друга, что приводит ко многим недоразумениям и неточностям в мышлении ¹.

Самым распространенным, наверное, является тот смысл, когда слово «искусственное» употребляется для обозначения того, что создается нашей собственной деятельностью, того, что нами творится, а слово «естественное», наоборот, для обозначения того, что от нашей деятельности не зависит, того, что существует само по себе, или, как обычно говорят, «по своей собственной природе».

В соответствии с этим смыслом, как мне кажется, делятся области и предметы исследований и разработок: то, что касается инженерно-технических разработок, относится к области *искусственного интеллекта*, а то, что касается исследований человеческого интеллекта, существующего, как это обычно представляют, независимо от деятельности инженеров и техников, относится к области *естественного, натурального интеллекта* ².

Рассматривая «искусственное», мы стремимся определить его *конструкцию, способы организации, технологию* конструирования или изготовления. Рассматривая «естественное», мы обращаем внимание прежде

* Текст доклада на Всесоюзном симпозиуме «Семантические вопросы искусственного интеллекта» (Киев, 7 июня 1977 г.) с последующей авторской правкой. Арх. № 3746.

¹ В принципе здесь нужно было бы дать подробный критический анализ истории становления и развития этой категориальной оппозиции и всех ее вариантов, а также применения их в исследовании и разработке различных предметов. На конференции «Соотношение естественных и искусственных языков», проходившей в Москве в октябре 1972 г., я изложил принципы и общую схему реконструкции этой истории и в ближайшее время надеюсь закончить подготовку к печати собранного мною материала.

² При таком подходе (и это надо отметить особо) два последних термина – «естественное» и «натуральное» – употребляются как синонимы и соответствующие им понятия просто не различаются.

всего на процессы жизни того или иного объекта и стремимся выявить законы, которым они подчиняются. Мы трактуем эти законы как законы природы и, не очень задумываясь, объясняем все их содержание (без остатка) тем, что происходит в природе. Таков, вкратце, смысл этой первой оппозиции, получившей, как я уже сказал, самое широкое распространение. Привычность ее мешает нам задуматься и только благодаря этому, по-моему, избавляет нас от критики. Но если задуматься и начать анализировать содержание и основания этой оппозиции, то без труда можно будет выявить массу неясных, весьма сомнительных и даже внутренне противоречивых моментов.

Один из них связан с отношением между деятельностью и ее продуктами. Если какой-то объект произведен *нашей* деятельностью, то он, согласно этому пониманию, является искусственным. Это очевидно. А если он произведен *чужой* деятельностью, то как мы должны его рассматривать – как искусственный или как естественный? На этот вопрос уже не так легко ответить. Наше собственное отношение раздваивается: если мы в нашем познавательном отношении к этому объекту встаем в позицию производшего его деятеля, то должны сказать, что это – искусственный объект; но если мы остаемся в своей собственной, личной позиции и стремимся сохранить чисто познавательное отношение к этому объекту, то почему мы должны рассматривать его как искусственный? Может, тогда он выступит перед нами в качестве естественного?

Продолжим далее эту линию рассуждений. Представим себе, что объект был сотворен чужой деятельностью, но мы этого не знаем, а сам объект находится перед нами в едином ряду с другими объектами, часть из которых точно так же была создана деятельностью, а другая часть принадлежит к «природным» объектам. Спрашивается, как нам, находясь в чисто познавательной позиции, отличать объекты одного рода от объектов другого рода? И более того: достаточно ли здесь одного этого критерия – «произведен деятельностью» или «принадлежит природе», – чтобы различать роды объектов? Можем ли мы быть уверенными в том, что эти два рода объектов действительно находятся в отношении противопоставленности, и не правильнее ли считать, что все объекты без исключения (или, во всяком случае, все объекты, называемые искусственными) одновременно и принадлежат природе, и произведены деятельностью?

Но этот вопрос можно еще углубить. Дело, по-видимому, не только и даже не столько в том, были ли эти объекты произведены деятельностью или же существуют независимо от нее как природные объекты, а в том, существует ли и должно ли существовать различие в нашем познавательном отношении к этим объектам, будем ли мы ставить в отношении этих объектов одни и те же вопросы, применять одни и те же методы и процедуры анализа или же различие естественных и искусственных объектов связано также с различием познавательных установок по отношению к ним. Конкретно этот вопрос будет звучать так: нужно ли искать и выяв-

лять в объектах, произведенных нашей деятельностью, процессы их жизни (по смыслу дела – независимые от нашего манипулирования этими объектами), существуют ли в них такие процессы и можно ли найти, сформулировать законы этих процессов? Если такие процессы есть и можно найти их законы, то чем тогда искусственные объекты отличаются от естественных (во всяком случае, в плане их познания и исследования), какое значение для нас, исследователей, имеет история их происхождения и зачем нам, находясь в заимствованной позиции, различать естественное и искусственное?

Ведь если для тех и для других мы с помощью одних и тех же средств и методов выявляем сходные законы, характеризующие сходные, независимые от нашей деятельности процессы жизни, то у нас может быть только одна интерпретация этих законов – естественная, или натуральная. Но тогда, спрашивается, в чем смысл различения естественного и искусственного?

Другое дело, если естественные и искусственные объекты различаются между собой в плане их познания, если те и другие объекты именно в силу различия их происхождения имеют разную жизнь, допускают и требуют в отношении себя разных вопросов и предполагают разные средства и методы анализа. Тогда оппозиция естественного и искусственного приобретает огромное значение в познавательном плане, становится, если хотите, важнейшей категорией научного мышления и должна регулировать всю нашу познавательную работу.

В историческом плане так и было. Когда в XIV–XVI вв. формировалось понятие природы и в связи с этим устанавливалось характерное для нового времени категориальное противопоставление естественного и искусственного, то в нем фиксировалось прежде всего различие познавательных установок: «природа» выделялась из мира, сотворенного Богом, наделялась своими собственными процессами и законами жизни, независимыми от технологии их творения, и поэтому в отношении нее нельзя уже было задавать те вопросы, которые мы задавали в отношении мира Божьего. Но точно так же и в отношении последнего нельзя было ставить вопросы, которые мы ставили в отношении природы.

Таким образом, указание на способ происхождения было лишь основанием и объяснением, а суть заключалась именно в различии познавательных установок.

Поэтому, если мы вновь возвращаемся к этой традиционной оппозиции и начинаем работать в ее рамках, то должны, независимо от того, противопоставляем ли мы природное деятельности или, наоборот, деятельность природному, фиксировать наше основное внимание именно на вопросах, которые мы ставим и можем ставить в отношении искусственных и естественных объектов, а также на средствах и методах исследования тех и других. А уже дальше все эти различия должны фиксироваться в онтологических картинах естественного и искусственного.

Но именно в этом пункте, как мне кажется, проявляется первое противоречие в современной позиции исследователей и инженеров. Принимая оппозицию естественного и искусственного и широко пользуясь ею, они, вместе с тем, не хотят обсуждать вопрос, в чем же специфика *искусственных объектов*, какие вопросы они допускают, а какие нет, в чем принципиальное отличие средств и методов изучения искусственных объектов от средств и методов изучения естественных объектов. Они хотят – и в подавляющем большинстве случаев именно так и делают – изучать искусственные объекты традиционно, естественными способами, ставить в отношении этих объектов естественнонаучные вопросы и разрешать их естественнонаучными средствами и методами. Но при этом, опять-таки, они не очень задумываются над тем, что такое *естественные объекты*, каким образом мы выявляем *естественнонаучные законы* и каким образом потом интерпретируем их объектно и натурально.

Именно в этом направлении мы и должны будем продолжать сейчас наше обсуждение – с тем чтобы постараться разобраться в том, что такое *естественнонаучный закон*, как он получается и как потом используется и интерпретируется.

Рассмотрим в качестве примера процесс свободного падения. Падающее тело оставляет *след*, или – можно сказать и так – прочерчивает свой путь, а мы затем, пользуясь определенным *эталон пути*, измеряем то, что получается в последовательные единицы времени.

Предположим для простоты, что эталон пути выбран таким образом, что он в точности равняется пути, пройденному телом за первую единицу времени. Тогда во все последующие моменты времени операцию измерения придется повторять по несколько раз, эталон пути будет выступать в качестве *единичной мерки*, а *процедуры измерения* будут складываться из многих следующих друг за другом операций измерения.

Каждая процедура измерения сопровождается *пересчетом* составляющих ее операций, и получившееся в результате число выступает в качестве *числовой меры* как процедуры измерения, так и самого измеряемого объекта – пути, пройденного телом за определенные промежутки времени. В этой последней функции число выступает как выражение *знания об объекте*.

В плане дальнейшего обсуждения нашей темы важно отметить, что каждая процедура измерения пути, пройденного телом во вторую, третью и т.д. единицы времени, может быть представлена как конструирование образа-модели этого пути из конструктивных единиц, соответствующих единичной мерке³. То обстоятельство, что единичная мерка, выступаю-

³ В современной эпистемологии нет специальных терминов для обозначения подобных конструкций, и чаще всего их называют просто моделями, что неправильно. Эти конструкции

щая в качестве конструктивной единицы, непрерывно сдвигается и не оставляет после себя ничего реального в плане самой конструкции, что конструирование, следовательно, осуществляется не в реальном, а лишь в подразумеваемом и мысленном плане, не имеет особого значения, ибо числа, сопровождающие процедуры измерений, одновременно выступают (или, во всяком случае, могут рассматриваться) в качестве форм, фиксирующих совершенно реальную характеристику этих конструкций – количество входящих в них конструктивных единиц.

Весь процесс падения в целом предстает перед нами в виде последовательности таких образов-моделей, полученных в определенные моменты времени, и мы можем как соотносить их между собой, так и вкладывать друг в друга – каждую предыдущую в последующую. Здесь, следовательно, существует строго определенная *технология* как получения этих образов-моделей, так и *последующего оперирования с ними*, и эта технология, выработанная с большими трудностями и в течение длительного времени, обязательно должна быть зафиксирована в специальных нормативных правилах – без этого не может быть ее передачи из поколения в поколение. Благодаря этому технологическая сторона познавательной деятельности как бы отделилась от самой познавательной деятельности, получила свое самостоятельное существование и стала совершенно явной и очевидной для рефлектирующего сознания. Более того, на базе этого сложилось и утвердилось представление, что как каждый из этих образов-моделей, так и вся их совокупность являются *чисто* технологическими, искусственными образованиями, они порождаются *только* деятельностью, и природа не имеет к этому никакого отношения.

Но такое представление является поверхностным и ошибочным.

Ведь измерительно-конструктивная работа человека *следует* за самим естественным, натуральным процессом падения тела, она его имитирует, воспроизводит. «Размер» каждого конструктивного элемента в этом сложном образе определяется отнюдь не процедурами измерения, а «природой» самого процесса падения. Поэтому правильнее было бы сказать, что каждый конструктивный образ и весь их ряд порождаются *совместными действиями природы и человека*: природный процесс создает след, а человек копирует или имитирует его посредством своей измерительно-конструктивной деятельности. При этом человек лишь *следует* за природой и на этом этапе своей познавательной деятельности не может еще ото-

могут быть использованы потом в качестве моделей, и тогда их можно будет называть этим именем. Но в данной структуре познавательной деятельности они так не используются (и, тем более, не создаются в целях такого использования). В этом контексте они являются лишь моментами, а еще скорее – лишь побочными продуктами процессов получения знаний о пути, пройденном телом, и поэтому, если рассматривать их как что-то актуально существующее, должны быть названы *образами* пути (или моментами этих образов). Но, чтобы не разойтись с обычным словоупотреблением, мы будем обозначать их двойным словом «образы-модели».

рваться от природы, не может опередить ее и заранее, до того как это делает сама природа, построить конструктивные образы-модели для четвертой, пятой и т.д. единиц времени. Если бы мы попросили его это сделать, то он должен был бы ответить: подождем, пока природа сделает свое дело, а тогда уже будем мерить.

Здесь обнаруживается исключительно интересное соотношение между естественным и искусственным, соотношение, характерное для познания или, во всяком случае, для естественнонаучного исследования. Само по себе конструирование различных цепочек из единичной мерки является чисто техническим, искусственным делом. И как таковое оно регулируется весьма простыми *технологическими правилами* измерения, счета и сборки измеренных отрезков.

Но кроме того, все эти процедуры связаны еще особой *познавательной установкой и функцией* – должны отразить (или изобразить) определенный натуральный процесс и, следовательно, в числе своем и в отношениях друг к другу должны соответствовать тому, что производится совершенно независимо от конструктивной деятельности самой природой.

И именно в этом – в требовании соответствия, в особой функции, которую должна нести на себе создаваемая нами конструкция – проявляется и выражает себя то, что мы называем «естественным» и «натуральным».

Но первоначально ни эта функция, ни сама познавательная установка никак не фиксируются в знании. Да этого и не требуется, ибо сама процедура, то обстоятельство, что она соединяет в себе конструирование образа-модели пути с измерением самого пути, автоматически обеспечивает соответствие процедуры и ее продуктов естественному процессу и его результатам.

Таким образом, мы можем сказать, что в подобном процессе познания «натуральное», или «естественное», существует, во-первых, как одна из двух компонент сложного совокупного действия, порождающего образ-модель пути, пройденного телом, как *действие природы*, существующее наряду с действием человека, а во-вторых, в неявном виде – как сторона человеческого действия, проявляющаяся в том, что это действие является не только (и даже не столько) конструированием модели, сколько измерением самого объекта и, следовательно, на него направлено и непосредственно с ним имеет дело. Поэтому, мы можем и должны говорить, что создаваемый нами образ-модель является не только искусственным, но и естественным (несмотря на то, что по материалу своему, как конструкция, он является нашим чистым творением). Можно сказать, что это – *искусственно-естественное* (ИЕ), или *центавр* (Ц), образование.

Здесь дальше можно было бы обсуждать очень сложную и интересную проблему: как в данном случае связаны между собой И- и Е-аспекты образа-модели? Можно ли их рассматривать в качестве двух рядоположенных и равноправных механизмов, производящих образ-модель, или же необходимо иерархизировать их и обсуждать вопрос, какой из этих аспектов

является объемлющим, а какой, напротив, выступает в роли «захваченного» и поглощенного, за счет каких механизмов деятельности и мышления происходит само поглощение и т.д.?

Все это, повторяю, очень интересные и важные вопросы, но их придется оставить на дальнейшее, а сейчас мы должны двинуться дальше в обсуждении смысла и функций естественнонаучного закона.

Как я уже отметил выше, если бы мы спросили человека, производящего измерения пути, пройденного телом, какие именно образы-модели надо построить для четвертой и пятой единицы времени, тем более для 25-й или 30-й, то он должен был бы ответить: «Поживем – увидим; сначала тело должно пройти свой путь, а потом уже мы промеряем его и ответим на вопросы». Описанная мною процедура конструирования образа-модели путем измерения не обладает никакими прогностическими возможностями, она лишь *следует* за тем, что реально произвела сама природа. Другое дело, если бы у нас было то, что мы традиционно называем «законом этого движения». Тогда мы могли бы конструировать образы-модели для любой единицы времени, не обращаясь к измерению пути, пройденного телом. Мы могли бы заранее предсказывать, что будет происходить в процессе свободного падения тел и создавать образы-модели для любых будущих моментов времени.

По сути дела, я уже определил функцию, а вместе с тем и смысл естественнонаучного закона. По назначению своему это – определенное технологическое правило, позволяющее нам строить образы-модели и получать знания об объектах и их поведении, не обращаясь к исследованию самих этих объектов; в рассматриваемом нами примере это правило отвечает на вопрос, какие именно конструкции надо строить для каждого момента времени, воссоздавая путь, проходимый телом в процессе свободного падения ⁴.

Благодаря этому становится возможной перестройка самих познавательных процедур: конструирование отделяется от измерения и начинает осуществляться само по себе, регулируемое этими новыми правилами. Вместе с этой перестройкой познавательных процедур конструкция-модель теряет свою исходную связь с объектом, осуществлявшуюся раньше за счет процедур измерения, отрывается от объекта и становится чистой конструкцией, развертываемой на основе *аксиоматических правил* конструирования (которые при другом повороте и в других связях осознания могут рассматриваться также как *гипотезы*). Одновременно происходит превращение познавательной деятельности в чисто конструктивную дея-

⁴ И именно в этом его суть, хотя внешне дело выглядит таким образом, будто мы сразу, минуя построение образа-модели, получаем числовые значения пути путем вычислений, после того как в формулу закона были подставлены соответствующие значения времени: ведь я уже показал, что эти числа означают не что иное, как количество единичных эталон-мерок, входящих в каждый конструктивный образ пути.

тельность. Последняя, как мы видели, существовала первоначально в виде *аспекта*, или *стороны*, процедур измерения, но теперь она оформляется в самостоятельную деятельность, замыкается в себе и даже «окукливается», как бы «съедая» познавательную деятельность изнутри.

Единственное, что на этой стадии или фазе развития исследовательского мышления гарантирует познавательную направленность и познавательную ценность этой деятельности, это то дополнительное правило развертывания конструкций, которое отвечает на вопрос, какими они *должны быть* в 5-ю, 25-ю или 30-ю единицы времени.

Но это окукливание, как я уже отметил, становится возможным лишь благодаря тому, что естественное, натуральное действие природы фиксируется и выражается в технологическом правиле, таким образом втягивается внутрь человеческой деятельности и начинает осуществляться в виде чего-то деятельного и потому искусственного. Но несмотря на всю эту приобретенную искусственность, это правило представляет собой природу, ее специфическое действие, и поэтому в последующей рефлексии оно начинает толковаться и интерпретироваться как *знание о том, что делает природа*, как естественнонаучный закон – тот самый закон, к которому мы так привыкли и который мы рассматриваем, уже не задумываясь, как нечто само собой разумеющееся и вытекающее непосредственно из единичных проявлений природы.

И поскольку мы знаем это уже заранее, причем раз и навсегда, постольку становится ненужным и бессмысленным всякое измерение реального пути, проходимого каким-либо телом в процессе свободного падения ⁵.

Осмывая этот факт с деятельностной точки зрения, мы должны будем теперь сказать, что «закон» (или «знание закона»), очевидно, кардинальным образом меняет структуру нашей познавательной деятельности, а вместе с тем – описанные выше взаимоотношения и связи между ее искусственными и естественными компонентами.

Разбирая этот последний момент нужно прежде всего отметить, что «естественный закон» (или «знание естественного закона») не только по своему происхождению является определенным *технологическим правилом*, регулирующим нашу деятельность, но и при всех обстоятельствах остается таковым, а следовательно, всегда является деятельностным, техническим и в этом смысле «искусственным» образованием. Но оно всегда возникает как особое технологическое правило; оно всегда противопос-

⁵ С этой стороны закон ничем, по сути дела, не отличается от всякого другого *общего формального знания*, или «понятия» в традиционной логико-гносеологической терминологии: и тут, и там главное заключается в том, чтобы, во-первых, заменить многошаговое и многостороннее исследование единичных объектов сравнительно простой и, если можно, одношаговой процедурой подведения их под общее формальное знание, а во-вторых, получить средства для прогнозирования как поведения объектов, так и результатов нашего исследования их (хотя в иных аспектах «законы» имеют, конечно, свою специфику и отличаются от всех остальных типов общих формальных знаний).

тавлено уже имеющимся технологическим правилам, дополняет их и никогда с ними не сливается. Его назначение также состоит в том, чтобы регулировать нашу деятельность, но с особой стороны: оно как бы освобождает нашу познавательную деятельность от ее непосредственной зависимости от реальных природных процессов, но освобождает очень хитрым образом – переводя эту зависимость в форму *правила* или *знания* и таким образом выражая ее явно, как бы перетаскивая ее с «границы», разделявшей и одновременно соединявшей деятельность с объектом, внутрь самой деятельности. Поэтому мы можем сказать, что это правило (или знание) *заменяет в деятельности природную компоненту* и позволяет теперь одной деятельности производить то, что раньше она делала и могла делать только *вместе* с природой. Следовательно, это технологическое правило *представляет природу в деятельности* (можно сказать – выступает как суррогат природы) и в этом плане может рассматриваться как *естественное образование*.

В дальнейшем, чтобы отличить эти правила от первой группы технологических правил, фиксирующих технику самой деятельности, мы будем условно называть их *естественными правилами*, или просто *Е-правилами*.

При этом технологический, искусственный характер естественнонаучного закона отходит на задний план, затемняется и, даже более того, совсем исчезает или начинает рассматриваться как совершенно незначимый. Поэтому «закон» чаще всего выступает как характеризующий чисто естественные компоненты, как представляющий и изображающий природу как таковую, как образ природы, совершенно независимый от нашей деятельности.

На деле же, как я показал, он является лишь особым технологическим правилом, а «естественность» его заключена в той функции, которую он выполняет, и в соответствующих этой функции последующих истолкованиях и интерпретациях.

Эту тему опять-таки можно было бы углублять и развивать дальше, но я оставляю ее и перейду к обсуждению различных форм использования естественнонаучного закона, форм, которые, собственно говоря, и характеризуют наше отношение к объектам природы, а вместе с тем сами эти объекты – как они выступают в отношении к нашей деятельности.

Предшествующий анализ приоткрыл перед нами характерный фрагмент структуры познавательной деятельности.

Теперь мы должны развернуть эту структуру, дополнив ее связями и отношениями практического использования закона, ибо вся суть различий между естественнонаучным и гуманитарным, как я уже сказал, заключена, на мой взгляд, в использовании закона и в связанном с этим отношением к объекту. Самое главное, что здесь должно быть выделено и подчеркнуто, это то, что «закон» в качестве естественнонаучного знания не входит в структуру объекта и вообще никак не может влиять на объект.

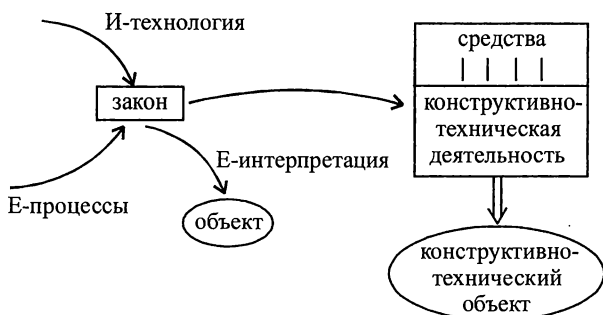


Рис. 2

Формулирование этого принципа, собственно говоря, и заложило фундамент естественных наук и естественнонаучного подхода, именно на этом зиждется понятие природы как чего-то отличного от божеского мира и от мира человеческой деятельности. Естественнонаучный закон описывает и фиксирует природные процессы, он отражает их, и в этом своем качестве он может быть включен в человеческую практическую или инженерную деятельность и использован там в качестве одного из средств конструктивно-технической и преобразующей (преобразовательной) деятельности людей в отношении природы. В ходе этой деятельности могут быть созданы новые объекты природы, «вторая природа», или «комплексная природа», как ее предпочитают называть сейчас, но это нельзя рассматривать как непосредственное влияние знания на объекты природы. Человек посредством своей деятельности, используя знания, создает новые объекты, и эти объекты могут заново изучаться и описываться в знаниях, но знание само по себе не меняет объекты. Иначе говоря, знание может быть использовано в деятельности, эта деятельность порождает новые конструктивно-технические объекты, но само по себе знание не меняет структуры объекта, объект остается противопоставленным знанию – вот основной принцип, на котором строится естественнонаучное исследование. И там, где это условие не соблюдается, не может быть естественнонаучного исследования в прямом и точном смысле этого слова. В этом вся суть дела.

Между тем, во всех деятельностных образованиях – в психике, в мышлении, в речи-языке – действуют механизмы, которые делают невозможным это условие. Если в естественнонаучном исследовании всегда ставилась задача создать модель, соответствующую объекту, и с помощью специальных процедур фальсификации, в частности с помощью эксперимента, показать и доказать, что такое соответствие достигнуто (а условием этого, очевидно, была неизменность объекта и независимость его от модели), то для деятельности все это просто невозможно, поскольку деятельность, как и ее организованности, принадлежит к объектам такого рода, которые сами меняются в соответствии с полученными о них знаниями, как бы подстраиваются под них.

Эта, странная на первый взгляд связь между знаниями о деятельности и самой деятельностью существует и действует благодаря целому ряду специфических механизмов деятельности, среди которых в первую очередь надо назвать: а) механизмы нормировки и б) механизмы рефлексии и мыслительного отображения деятельности. Как только вырабатывается и получает общественное распространение какое-то знание о деятельности – неважно, является оно достаточно точным и адекватным или не является, правильно оно отражает объект или неправильно, – так оно тотчас же либо само превращается в норму, либо становится основанием для выработки определенной нормы и через различные механизмы нормирования, через обучение и воспитание реализуется в практике речевого мышления людей и вообще во всех их психических отправлениях. Таким образом достигается соответствие между знанием и объектом, но не за счет того, что знание доводится до истины путем постепенного и все более точного отражения объекта, а за счет того, что объект уподобляется знанию, реализует в себе его содержание и форму, или, иначе, воплощает его в себе как норму. Поэтому здесь бесполезно эмпирически проверять правильность или истинность знания по соответствию его объекту. Это соответствие достигается, но не за счет познавательных механизмов, а за счет обратных им механизмов нормировки. Одновременно происходит преобразование самого объекта: знание, развернувшееся в норму, входит в структуру деятельности, которую оно должно описать и зафиксировать, и за счет этого моментально меняет структуру самой этой деятельности, ибо теперь оно становится еще одним функционирующим внутри нее элементом. Раньше была деятельность, в структуру которой не входило это знание, а теперь стала деятельность, в структуру которой в качестве неперемennого и определяющего элемента входит это знание. Таким образом, при изучении деятельности знание не противостоит объекту, как это было при изучении природных явлений, а постоянно, после того как оно получено, входит в структуру объекта, тем самым меняя эту структуру и законы ее жизни. Стоит нам открыть закон функционирования или развития каких-то систем деятельности, как уже одно это, казалось бы, чисто познавательное действие за счет дополняющих его механизмов нормирования меняет и трансформирует эти законы. Деятельность является исторически меняющейся (эволюционирующей и развивающейся) системой, и одним из развивающихся ее механизмов является ее познание.

Но это означает, что к деятельности неприменим естественнонаучный, натуралистический подход. Неприменим в принципе. Деятельность в целом, как и ее отдельные организованности – психика, интеллект, речь-мысль, язык и мышление – не являются естественными образованиями. Это всегда сложные Ц-системы, включающие в себя сложные и разнообразные комбинации И и Е аспектов и компонентов, а потому они требуют совершенно иных подходов и иных познавательных установок, нежели традиционные естественнонаучные. Такие выражения как «естественный

язык», «естественное мышление», «естественный интеллект» и т.п. – это призраки, созданные естественнонаучным подходом, и притом очень вредные. Вредные потому, что они дезориентируют нашу познавательную установку в отношении деятельности и ее организованностей и наши исследования этих организованностей.

Утверждение, что речь-язык и мысль-мышление не являются Е-объектами, что это, скорее, И-объекты (или, более точно, Ц-объекты) не является новой. Оно уже не раз высказывалась в лингвистической, логической и психологической литературе, и, более того, оно постоянно подтверждается все новым и новым эмпирическим материалом. Если мы обратимся к известному нам древнему материалу, то узнаем, что именно так – искусственным путем – формировался санскрит, и это отчетливо осознавалось всеми причастными к делу. Более того, сам термина «санскрит» означает не что иное, как «искусственный». Таким же искусственным путем формировался в VIII–IX вв. н.э. арабский язык. Академик А.Н.Кононов показывает, как в период Танзимата – 40-е–50-е годы прошлого века – в Турции за счет сознательной и целенаправленной работы ряда лингвистов и литераторов был сформирован современный турецкий литературный язык *safî Türkçe* (*safî* означает «чистый»). Интересно, что один из ведущих лидеров этого движения знал, каким должен быть этот язык, он описывал его структуру и строил грамматику, но сам он писать на этом языке не мог и пользовался смешанным тюрко-персидским элитарным языком – *Osmanlı*.

Подобные факты можно было бы умножать без конца. Но дело не в самих этих фактах, а в их осмыслении, в тех выводах, которые из этого можно сделать. Как правило, исследователи, даже из числа тех, которые описывают эти факты, загипнотизированы естественнонаучным подходом и боятся сделать выводы, казалось бы, с необходимостью вытекающие из этих фактов. И это отнюдь не случайно, ибо факты сами по себе ничего не показывают: все дело, как я уже сказал, в понятиях, позволяющих определенным образом осмыслить эти факты. Мы видим лишь то, что мы знаем. Исследователь может зафиксировать И- или Ц-характер языка в своих описаниях, но он никогда не сформулирует этого в теоретическом тезисе, если у него нет категорий для выражения этого (в данном случае – категориальной оппозиции «естественного» и «искусственного») и соответствующей им предметной онтологии, представляющей объект (в данном случае – «речь-язык», «мысль-мышление», «интеллект» или «психику») в виде Ц-систем.

Таким образом, я подошел к основной, ядерной части моего доклада. Очень важно и необходимо зафиксировать особый категориальный характер тех объектов, которые мы сейчас изучаем – их принадлежность к деятельности и обусловленное этим Ц-строение. Но этого самого по себе мало, это только первый шаг. Нужно еще выяснить, как можно изучать эти объекты, какие вопросы можно ставить в отношении этих объектов и какими средствами и методами можно на эти вопросы отвечать. Обсуждение всего этого составит содержание следующей части моего доклада.

А.Г.Чачко только что передо мной отвечал на вопрос, является ли обращение к изучению диалоговых систем модой или необходимостью. Он ответил: модой. Я понимаю, почему он так сказал, и в этом плане согласен с ним. Но я добавил бы: и необходимостью тоже. По моему убеждению, безвозвратно ушло время, когда интеллектуальные процессы можно было изучать как процессы, проходящие на отдельном индивидууме.

Интеллект есть достояние определенным образом организованного и определенным образом живущего коллектива. Интеллект вне коммуникации не существует: коммуникация порождает его, и она же его каждый раз проявляет, дает ему возможность реализоваться. Законы существования и развития интеллекта – это, по сути дела, законы совместной деятельности людей. Интеллект вне коммуникации – это плохая абстракция, неадекватная объекту. Поэтому, на мой взгляд, развитие исследований интеллекта необходимо связать с исследованием диалога – не только диалога между машиной и человеком, но диалога в самом широком смысле этого слова, диалога как особой формы организации совместной деятельности людей и коммуникации между ними.

Иными словами, структуры совместной деятельности и связанной с ними коммуникации образуют то «пространство», в котором существуют интеллект, мысль и мышление, речь и язык, психика, сознание и т.п. И поэтому, чтобы выделить все эти образования в качестве предметов исследования, нужно прежде всего задать и представить себе эти структуры.

Чтобы показать, как я примерно вижу и мыслю этот процесс, я введу и рассмотрю простейшие структуры коммуникации в совместной деятельности.

Представим себе, что некто, деятель 1, создает определенный текст, текст 1, адресованный другому деятелю, деятелю 2.

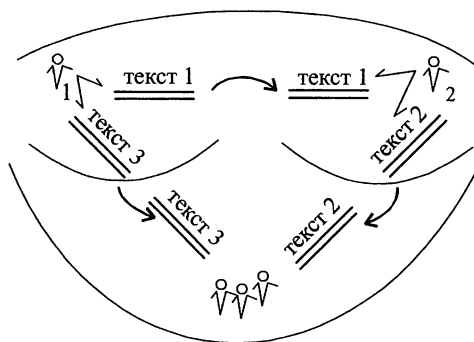


Рис. 3

Все это происходит в окружении других людей, которые участвуют в коммуникации и могут задавать разнообразные вопросы обоим деятелям. Окружающие спрашивают деятелей 1 и 2: что хотел сказать первый? что сумел понять и понял второй? как один говорил, а другой понимал? и т.д. и т.п. Первый и второй вынуждены отвечать на эти вопросы, и таким обра-

зом получают тексты 2 и 3, относящиеся к тому же самому материалу, но фиксирующие его как бы с других сторон.

Представленная таким образом схема задает и фиксирует одну из *простейших* структур совместной деятельности и коммуникации и вместе с тем, как я утверждаю, динамику всех интересующих нас образований: интеллекта, речи-языка, мысли-мышления, семантики, психики и т.п. Хотя все это, конечно, – в самых простых формах. Но в силу этого, если мы хотим выделить все эти образования, определить их устройство и найти законы жизни, то мы должны начать с подобных структур коммуникации и заданных в них процессов и так их проанализировать, чтобы увидеть в этом процессы жизни интересующих нас организованностей.

Последнее положение является принципиальным. По сути дела, я утверждаю, что научные предметы, которые мы здесь будем формировать, необходимо являются как бы двухслойными: в первом слое мы должны рассмотреть строение и динамику деятельности, а во втором слое – строение и динамику тех организованностей, которые нас непосредственно интересуют; второе зависит от первого и как бы выводится из него.

После того как мы затвердили этот момент, встают вопросы о том, как же реально происходит это выведение, как мы анализируем и описываем структуры совместной деятельности и коммуникации и как потом, исходя из этого, мы формируем предметы, фиксирующие и описывающие различные организованности деятельности. Именно здесь мы снова сталкиваемся с вопросом о соотношении естественного и искусственного.

Коротко суть дела, как и раньше, может быть выражена в тезисе: все эти организованности являются не Е-объектами, а Ц-объектами (т.е. И-Е, И-И-Е, Е-И, Е-Е-И и т.п. образованиями), к ним бессмысленно подходить с образцами и мерками естественнонаучного исследования; чтобы выявить и описать их жизнь, нужны совсем иные средства и методы анализа.

Постараюсь показать это более конкретно на схеме трехчленной коммуникации. Предположим, мы хотим рассмотреть и зафиксировать в научном знании смысл текстов, развертывающихся в этом процессе коммуникации, или, скажем, рече-языковые и мыслительные структуры, в нем реализованные. Что, спрашивается, мы должны рассматривать, каким должен быть объект нашего изучения и как сформировать соответствующие данному случаю предметы изучения?

Достаточно задуматься над этими вопросами, чтобы понять их нетривиальный характер. Ведь смысл текстов 2 и 3, к примеру, принадлежит не самим этим текстам как таковым (хотя ими выражается), а всей этой ситуации коммуникации и будет зависеть, в частности, от порядка появления этих текстов, от того, кому сначала задается вопрос и кто первым будет отвечать – второй коммуникант или первый. Если воспользоваться образом, то, наверное, можно было бы сказать, что смысл, который здесь необходимо рассматривать, как бы зажат между этими тремя текстами (если предполагать, что они образуют замкнутую или законченную структуру),

он существует внутри них и представляет собой некоторое единое структурное целое, а каждый из этих текстов – лишь определенная проекция этого смысла ⁶. В чистом виде этот момент может быть представлен схемой, изображенной на рис. 4: смысл – это то, что связывает эти три текста в одно целое, это структура их взаимных отображений друг на друга.

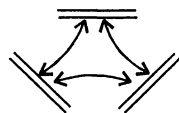


Рис. 4

Но сказав такую вещь, мы еще не раскрываем ни средств, ни методов анализа этого смысла; это все пока – один лишь образ, и кроме утверждения, что все предметы такого рода должны строиться и разворачиваться системно, в нем не содержится ничего определенного и конкретного. Более того, как мы уже отметили, в нем содержится известное противоречие с тем, что выявляется при процессуальном подходе и вроде бы соответствует сути дела, а именно с «матрешечной» структурой смысла, обусловленной рефлексивными механизмами деятельности и мышления.

Действительно, когда деятель 3 задает свои вопросы деятелям 1 и 2 – а они относятся не к объектам их деятельности, а к самой этой деятельности, – он выталкивает их в рефлексивные позиции, которые обязательно – в этом и состоит смысл рефлексивных позиций – как бы охватывают прежнюю деятельность, превращая ее в объект анализа (рис. 5).

Рядом с позициями 1 и 2 и как бы «над ними» возникают новые, рефлексивные позиции 1' и 2', с точки зрения которых и производятся тексты 2 и 3. Следовательно, тексты 2 и 3 производятся уже «другими» деятелями,

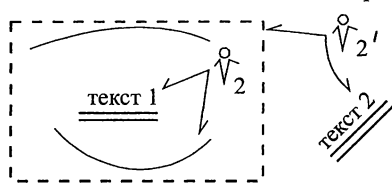


Рис. 5

в других позициях и в других ситуациях, нежели те, в которых находились деятели 1 и 2. Поэтому смысл и содержание текстов 2 и 3 должны быть иными, нежели содержание и смысл текста 1. Но сами условия деятельности и коммуникации таковы (вспомним характер вопросов, задаваемых деятелем 3), что они ставят тексты 2 и 3 в определенное отношение к тексту 1; наверное, можно было бы сказать, что тексты 2 и 3 являются своеобразными комментариями к тексту 1 и должны раскрыть смысл и содержание текста 1. Поэтому мы нередко говорим, что тексты 2 и 3 выражают смысл и содержание текста 1, что они «синонимичны» ему. Следовательно, происходит как бы накручивание организации на исходное смысловое

⁶ Здесь, правда, тотчас же обнаруживается парадокс процессуального и структурного представления объекта. Если мы следуем за процессом коммуникации, то должны сказать, что смысл текста 1 непрерывно разворачивается по мере появления новых текстов. То, что фиксируется нами ретроспективно после появления текстов 2 и 3, отличается от того, что было в момент появления самого текста 1. Но это – органический парадокс всякого системного представления, и он снимается методами системного анализа, о чем мы будем говорить, хотя и весьма бегло, дальше.

«облако»; текст 2, с одной стороны, по новому выражает смысл и содержание того, что было зафиксировано в тексте 1 (и в этом плане он синонимичен тексту 1), а с другой стороны, он создает новые смыслы и содержания и трансформирует, преобразует исходные.

Таким образом, если конструировать объект, следуя за разворачиванием процесса коммуникации, то мы получим последовательность охватывающих друг друга систем (рис. 6), которые каким-то сложным образом соединяются и сцепляются друг с другом через тексты и на основе текстов.

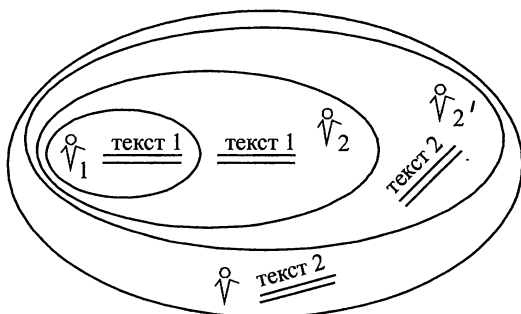


Рис. 6

И поэтому, если теперь мы спросим себя, а что же, собственно говоря, представляет собой объект, с которым мы имеем дело, как он устроен и по каким законам живет, то должны будем ответить, что это *гетерогенный* объект, что он содержит в себе различные по своей природе *слои объектности*. Причем, между этими слоями существует такое отношение, что одни слои как бы плавают внутри других (или охватываются другими) и каждый следующий слой за счет акта захвата превращает предыдущий слой (или предыдущие слои) в нечто принципиально иное, нежели то, чем они были сами по себе. Можно сказать, что каждый следующий слой как бы *накладывает форму* на предыдущий и *снимает* его естественную жизнь в этой форме.

Я понимаю, что та гегелевская терминология, которой я был вынужден сейчас воспользоваться, является не лучшей формой для прояснения сути дела, но у меня, к сожалению, нет другой, более подходящей. Единственное, чем я могу и буду себя оправдывать, это то, что параллельно я строю структурно-системные схемы и на них пытаюсь выразить смысл всех этих слов, превращая его таким образом в *объектно-онтологическое* или *категориально-онтологическое содержание*.

Если теперь, исходя из всех этих схем и сопутствовавших им рассуждений, поставить вопрос о том, какое же категориальное строение должны иметь простейшие предметы, которые мы сможем и должны будем выделить на этих структурах совместной деятельности и коммуникации, то ответом на него будет *схема простейшей социотехнической системы*, или И-Е системы (рис. 7).

Она содержит: 1) исходную систему деятельности, систему I, которая с точки зрения рефлексивной системы, системы II, рассматривается как E-система, 2) систему II, рефлексивно охватывающую систему I, т.е. познающую систему I и управляющую ее функционированием и развитием, и 3) знаковую, или символическую, форму, создаваемую системой II; эта знаковая форма, с одной стороны, отражает и фиксирует E-процессы в системе I, с другой – проектирует и организует их и в силу этого является для системы II и всех связанных с нею деятельностных позиций И-образованием. Эта знаковая форма, создаваемая системой II по смешанным законам познания и конструирования, как я уже сказал, накладывается на систему I, определенным образом организует ее и начинает жить на материале системы I, сцепляясь и склеиваясь с ним. И поэтому если теперь мы спросим, находясь в позиции системы II, какой же является система I, то должны будем ответить, что она является Ц-системой, или, более определенно и конкретно, – И-Е-системой.

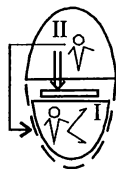


Рис. 7

Таким образом, во всех исследованиях деятельных систем мы имеем дело, с одной стороны, с социотехническими системами деятельности, которые представляют собой определенную организацию деятельности над деятельностью, а с другой – со знаково-знаниевыми организованностями, которые связывают в одно целое различные структуры социотехнической системы и всегда являются И-Е-образованиями. А основная проблема, которую нам нужно решить, чтобы иметь возможность сформулировать научные и технологические предметы, соответствующие этим двум рядам объектов, сводится таким образом к тому, чтобы определить, какие же вопросы мы имеем право и должны ставить в этих двух случаях, что, собственно, мы хотим понять и выяснить, когда сталкиваемся с подобными объектами. Во всяком случае, для меня самого это всегда основной, если не единственный вопрос, когда я, скажем, читаю программу конференции, подобной нашей, и нахожу в ней такие названия докладов, как «Формирование значения речевого знака», «Целеполагание как центральная проблема творческого мышления», «Функции мотивов и целей в структуре мышления человека», «Способы парадигматизации семантики», «Текст: глубинная структура и способы ее трансформирования» и т.д. и т.п. Я каждый раз хочу выяснить, а что именно стремился получить и понять автор доклада, какого рода деятельность он обслуживал и каким образом собирался использовать полученные им знания, для чего, грубо говоря, они ему были нужны. И, как правило, я убеждаюсь в том, что он ставил свои вопросы и организовывал свое исследование по логике традиционного натуралистического подхода, не очень задумываясь над тем, применима ли эта логика здесь, проходит ли она в отношении деятельностных объектов и может ли она в этих специфических условиях дать знания, необходимые для обеспечения нашей практической деятельности в отношении деятельностных объектов. А между тем, именно в этом, на мой взгляд,

заключается вся суть проблем, стоящих сейчас перед гуманитарными, социально-психологическими, антропологическими науками. Вместо того чтобы исследовать, исследовать и исследовать, опираясь на традиционные натуралистические средства и методы, мы должны, образно говоря, остановиться, задуматься – постараться выяснить, а что, собственно, мы должны и можем исследовать в тех случаях, когда имеем дело с деятельностью и ее организованностями, какого рода вопросы здесь правомерны и какие средства и методы анализа нам понадобятся, чтобы ответить на эти вопросы.

Показать необходимость такой остановки и специального размышления – в этом и состояла цель и задача моего сегодняшнего доклада. Но кроме того, я постарался на методологическом уровне ответить на некоторые из возникающих здесь вопросов. Я утверждал, что представления о естественном языке, естественном мышлении, естественном интеллекте, естественной психике и т.п. являются признаками натуралистического подхода в гуманитарных и социальных науках, что все эти образования – речь-язык, мысль-мышление, интеллект-психика и т.п. – живут внутри социотехнических систем деятельности, являются Ц-объектами и должны рассматриваться как И-Е, Е-И, И-И-Е, Е-И-И и т.п. образования. Тем самым я, как мне представляется, сделал первый шаг в определении тех вопросов, которые могут ставиться в отношении этих объектов. Эта работа должна быть продолжена (и, в частности, завтра в докладе «Понимание, рефлексия и мышление»¹ я продолжу ее в той мере, в какой это позволит отведенное мне время), но важно отчетливо понимать, что все это – только начало огромной работы, и неизбежно она будет весьма длительной и очень трудной.

Я заканчиваю свой доклад. Успехи физики нового времени были связаны с тем, что она отказалась от причинного и механизмического объяснения исследуемых процессов и стала искать их законы. Понятие закона было неразрывно связано с натуралистическим подходом и внедрялось в науку по мере распространения натуралистических представлений. Но оно же требовало представления изучаемых процессов как вечных и неизменных, как абсолютных. В деятельности нет не может быть подобных процессов. Деятельность представляет собой исторически меняющиеся системы, они искусственно прерываются и возобновляются вновь уже по другим законам. В этом прекращении и возобновлении процесса, в этой смене закона и состоит основной механизм исторической эволюции деятельности. Деятельность – это постоянная борьба и конкуренция; если даже мы поняли и сумели установить точные законы жизни каких-то деятельностных систем, то работа следующих поколений – как инженерная, так и научная – состоит в том, чтобы изменить, трансформировать эти законы, найти иное продолжение и получить иные результаты. Именно поэтому

¹ См. с. 315–340 настоящего издания.

все более широкое распространение при изучении деятельности получают игровые представления – только они сейчас могут дать нам более или менее адекватную имитацию названных механизмов.

Вы нашли закон, по которому живет та или иная деятельная система, – прекрасно, но вы должны понимать: одним этим вы уже изменили как эти законы, так и систему, с которой вы до того имели дело. Но где собственно научные средства и методы ухватывания этого механизма – на этот вопрос до сих пор нет ответа.

Поэтому я утверждаю, что отказ от естественнонаучной, натуралистической идеологии при изучении деятельности и ее разнообразных организованностей – речи-языка, мышления, интеллекта, психики и т.п. – по своим последствиям для всего комплекса гуманитарных и социально-психологических дисциплин будет переворотом, по своему значению не уступающим галилеевскому перевороту в естественных науках.

Сегодня, в самом начале нашего заседания Ю.В.Капитоновой задали вопрос: разве не известно, что суть интеллекта состоит в поисково-ориентировочной деятельности? И хотя сам вопрос не был всерьез воспринят присутствующими из-за своего очевидно догматического характера, я хочу отнестись к нему абсолютно серьезно. Ведь он демонстрирует нам натурализм в действии, показывает глубокую внедренность его в общественное научно-техническое сознание. Странно, на мой взгляд, не то, что интеллект сводят к поисково-ориентировочной деятельности, а то, что рассматривают интеллект как вечное, исторически не меняющееся образование. И если мы не откажемся от этих представлений и не станем рассматривать интеллект как образование, имеющее принципиально иное устройство, то мы не сможем, по моему убеждению, достичь каких-либо подлинных успехов в его изучении и техническом моделировании. Но и наоборот: отказ от натурализма и признание того обстоятельства, что интеллект и все другие деятельностные образования являются центавр-объектами, означает, как я уже сказал, революцию в науке, ничуть не меньшую, чем галилеевская революция в естественных науках.

Я бы выразил эту мысль еще и другим способом, более резко: мы все сейчас, на мой взгляд, невольно перипатетики, Симпличио, причем – перипатетики в эпоху, когда Галилей уже сказал свое слово. Конечно, можно делать вид, что нас это не касается, можно не замечать самого этого процесса или делать вид, что его нет и не может быть, можно не хотеть участвовать во всем этом, но процесс уже начался и он будет происходить.

Благодарю вас за внимание.

– Не считаете ли вы, что таких законов, которым подчиняется жизнь И-систем, вообще не существует?

На ваш вопрос мне придется отвечать по-разному.

Первое. Да, сегодня таких законов не существует. Вы можете заметить, что когда я здесь употребляю слово «закон», то имею в виду опреде-

ленные технологические правила, особым образом проинтерпретированные; таких законов не существует, поскольку они не сформулированы и мы не знаем, как их формулировать. В этом смысле они не существуют. В таком же смысле, в каком до Галилея не существовало законов кинематики, поскольку никто не мог их сформулировать.

Второе. Я не уверен, что это должны быть законы в традиционном смысле этого слова. Здесь, возможно, нужна совсем иная категория.

Третье. Если такая задача – найти законы жизни Ц-объектов – будет поставлена, то она в конце концов будет решена. В каком-то приближении это уже происходит. Мы имеем то, что может выступить в роли необходимых нам технологических правил. Обратите внимание на то, как я переинтерпретирую ваш вопрос. Ведь, на мой взгляд, дело совсем не в том, существуют ли или не существуют такие законы в объекте – подобная постановка вопроса представляется мне наследием наивного онтологизма, – а в том, можем мы или не можем сформулировать технологические правила работы с моделями объекта. И на этот вопрос я отвечаю утвердительно. Да, мы можем, раньше или позже, создать подобные технологические правила, мы должны их создать – и в этом плане они возможны и как возможное существуют.

– Но можем ли мы говорить, что эти законы существуют в объекте подобно естественнонаучным законам?

Для меня такая постановка вопроса неправомерна. Она, на мой взгляд, проистекает из смешения знания и его объективного содержания, смешения, которое лежит в основании наивной или догматической метафизики. В докладе я стремился показать и объяснить, как возникают так называемые «естественные законы». Для меня это – технологические правила, особым образом проинтерпретированные, естественно. Поэтому когда мы переходим к Ц-объектам, то, на мой взгляд, прежде всего должны выяснить, а нужны ли нам в работе с этими объектами и могут ли быть получены естественные законы. А если естественные законы не нужны и не могут быть получены, то какие законы или какие технологические правила здесь возможны и необходимы. И если мы это поймем, то дальше без труда сможем выявлять и формулировать подобные законы-правила. В этом месте я еще раз хотел бы задать вопрос докладчикам нашего семинара. Вот, скажем, доклад о принципах и методах парадигматизации семантики – зачем продельывается такое исследование, для чего, для какого употребления эти методы хотят получить или разработать? И такого рода справку я хотел бы получить от всех выступающих здесь: что вы хотите и надеетесь получить, совершая эту работу, или, может быть, вы просто совершаете работу по уже установленным образцам?

– Все живет по законам. Если не будет законов, то все рассыплется. А вы утверждаете, что у Ц-объектов нет законов. Возможно, что я

глубокий провинциал, но я этого не понимаю.

Все мы в этом мире глубокие провинциалы – прежде всего потому, что не знаем истории, в частности истории нашей науки. И поэтому мы очень часто напоминаем народец в одном из романов братьев Стругацких, который случайно оказался на траектории нуль-транспортировки различных машин землян и занимается, среди прочего, тем, что пытается приспособить отдельные из этих машин к своим нуждам. Но если бы мы помнили и представляли себе историю физики, то должны были бы знать, что всем известные законы кинематики точки – $S = gt^2/2$ или $S = v_0t + gt^2/2$ – совсем не описывают того, что происходит в природе. Это – законы идеальных объектов. Аристотелевские соотношения или соотношения, которые выявлял Леонардо да Винчи, значительно точнее описывали то, что происходит в природе, нежели наши современные научные законы. И тем не менее современные технологические правила являются подлинными научными законами, а аристотелевские правила или правила Леонардо да Винчи не являются ими. Кстати, именно поэтому на любом физическом факультете мира, после того как пройдена теоретическая физика, студентов ведут в практикум и учат на основе известных им законов получать знания, действительно описывающие то, что происходит в природе. Так называемые законы природы – это технологические схемы, которые не соответствуют и не могут соответствовать тому, что мы наблюдаем в природе. И если бы мы изучали историю науки, то хорошо знали бы это.

Мы провинциалы еще и потому, что недостаточно четко и дифференцированно пользуемся словами: «определенность», «законосообразность», «детерминированность», «оформленность» – все это употребляется нами как одно, а между тем это разные вещи, и их надо очень четко различать. Тогда многие ваши сомнения и возражения отпадут сами собой.

– А какие конструктивные выводы вы предлагаете?

Мне представляется, что выводы, которые я сделал, предельно конструктивны. Хватит заниматься тем, что все равно бесполезно и бессмысленно. Давайте направим наши большие интеллектуальные силы на решение действительных проблем. Я не представляю, что может быть более конструктивным, чем этот вывод.

– Выходит, что, пока не будут решены названные вами методологические проблемы, не имеет смысла продолжать работу в прежних направлениях.

Конечно. И – обратите внимание, я отвечаю совершенно серьезно – у каждой эпохи свои проблемы; все зависит от того, в какое время вы родились. После Галилея можно было развивать науку, и этот процесс шел достаточно быстрыми темпами. А до этого прошло 2000 лет, когда физика практически не развивалась, хотя большое количество ученых-монахов

ломало себе голову над этими проблемами. Бывает время, когда надо строить предмет и объект научного исследования, и, пока вы этого не сделали, вы будете долго и нудно «работать», но все равно ничего не сделаете. А когда предмет и объект будут построены, тогда станет возможной систематическая и целенаправленная научная работа.

Итак, есть время, когда надо исследовать, а есть время, когда исследовать бесполезно и надо вместо этого размышлять. Ученые, занимающиеся деятельностью и ее организованностями, живут сейчас во втором времени.

Понимание, рефлексия и мышление *

Цель и задача моего сообщения состоит в том, чтобы разделить процессы *понимания, рефлексии* и *мышления* – образования, которые, на мой взгляд, в совокупности составляют то, что принято называть *интеллектом*, и построить *деятельностную модель*, в которой бы все эти процессы объединялись структурно и на базе единого механизма.

Один из моих учителей, П.А.Шеварев – я всегда вспоминаю о нем с глубоким уважением и благодарностью, – как-то изложил мне принципы, которые определяли его отношение к научным работам:

«Когда ко мне приходил какой-нибудь новый автор, то я прежде всего спрашивал его: “Против чего направлена ваша работа?”. И если тот отвечал – такой ответ становится сейчас все более частым, – что его работа ничему не противопоставлена, ничего не разрушает и не ниспровергает, то я сразу же терял интерес к этой работе и к этому автору. Нас всегда учили, – продолжал он, – что смысл работы задается подобным противопоставлением, заложенным в нее критическим духом. Если работа делается просто так, чтобы открыть новый факт, описать новый объект, одним словом – увеличить объем известного нам содержания, то она не имеет смысла, и наоборот, теоретическая работа имеет смысл только тогда, когда она направлена против каких-то устоявшихся представлений, разрушает и трансформирует их и выдвигает что-то новое на их место».

В соответствии с этим принципом я с самого начала вывешиваю свой «пиратский флаг» и говорю, что мое сообщение направлено против тех, кто, с моей точки зрения, слишком суммарно и глобально подходит к невероятно сложным процессам интеллектуальной деятельности и пытается представить их в единообразных, универсальных схемах, против тех, кто рассматривает эти процессы как скопления гомогенных единиц и не ставит своей задачей выделить внутри интеллекта его принципиально разные и разнородные компоненты, против тех, кто не учитывает разнообразие и, я бы даже сказал, причудливость связей между разными компонентами интеллекта, в частности теми, которые я назвал «пониманием», «рефлексией» и «мышлением».

Второй мой враг – это *натурализм* в исследовании различных явлений интеллекта; это то, о чем я говорил во вчерашнем докладе. В этом плане мое сегодняшнее сообщение будет продолжением и развитием того, что я обсуждал вчера.

Таковы цели моего сообщения. Теперь о его плане.

* Текст доклада на III симпозиуме по проблемам искусственного интеллекта (8 июня 1977 г.) с последующей авторской правкой. Арх. № 0033.

Вначале я должен буду сделать три методологических замечания, которые объединяются в общее методологическое вступление. Затем я введу схему сложной коммуникации и на ней произведу разделение понимания, рефлексии и мышления, а в третьей, последней части сформулирую ряд проблем, которые, на мой взгляд, являются важнейшими для этой области исследований.

1. Методологическое вступление

1. Первое из замечаний касается той социокультурной ситуации, в которой возникла и стала разрабатываться тема, названная в заголовке доклада.

У нас в Москве регулярно идут очень живые семинары, на которых обсуждаются направления и проблемы методологических исследований и разработок. Эти семинары мало похожи на традиционные академические собрания, в которых зачитываются заранее подготовленные доклады. У нас происходит весьма свободное обсуждение темы (или проблемы), в котором главным и определяющим фактором является дискуссия. Практически, докладчика можно прерывать в любое время, можно задавать самые разные вопросы, касающиеся целей, средств, методов, оснований, мотивов мысли, можно выходить в метауровни обсуждения – по сути дела, безграничного порядка.

За течением дискуссии следит председатель, который должен обеспечить ее максимальную эффективность. Он обладает всей полнотой власти, но, тем не менее, часто не может справиться с задачами организации, так как не имеет необходимых для этого методологических средств.

Во многом наши семинары напоминают мозговую атаку, принятую у американцев, но с той существенной разницей, что у нас допускается и приветствуется *критика* выдвигаемых предложений и гипотез, а также критика самого хода работы и используемых в ней методов. При этом мы постоянно стремимся выявить «логику работы» (в самом широком смысле этого слова), подвергнуть ее анализу, критике и нормировке. В этом, наверное, одна из важнейших и специфических характеристик нашей работы, которая, собственно, и делает ее *методологической*.

Очень важно понять и представить себе, что в любой момент дискуссия может повернуться в какую-то новую сторону и очень далеко отклониться от исходной темы. Как я уже говорил, границы ее не определены, и скачок мысли может осуществляться сразу через два-три уровня рефлексии. Обсуждение *объектной области* анализа переходит в обсуждение *средств анализа* и далее – в обсуждение средств, на базе которых разворачиваются или конструируются первые средства и т.д. и т.п. При этом планы теоретического, исторического, методического и методологического обсуждения непрерывно пересекаются и переплетаются друг с другом.

Когда какой-нибудь новый человек попадает на эти семинары, то у него голова идет кругом и начинается тахикардия, ибо он никак не может

разобраться, почему развернулась та или иная дискуссия, в чем суть возникающих при этом оппозиций, по каким параметрам и основаниям они устанавливаются, кто, как и о чем говорит. Он находится в окружении множества текстов, которые, по его представлению, производятся совершенно неорганизованным образом. Когда какой-то участник дискуссии что-то спрашивает, то он получает сразу два-три разных ответа, которые почему-то все объявляются правильными и законными даже тогда, когда они, казалось бы, противоречат друг другу, навстречу одним вопросам следуют другие, касающиеся оснований самих вопросов. *Групповое мышление* разворачивается сразу во многих планах и уровнях. По поводу каждого утверждения возникает сразу же много разных возражений, идущих по разным линиям.

Ясно, что тот смысл, в котором мы живем в ходе этих дискуссий, и то содержание, которое получается в результате всей этой работы, определяются в первую очередь *формами организации* этого, если можно так сказать, «*коллективного мышления*», или *мышления в общении*. А зависит эта организация прежде всего от руководителя дискуссий, и ему чаще всего бывает просто тяжело, поскольку он не в силах отличить то, что закономерно и необходимо приводит в такой дискуссии к продуктивному разворачиванию смысла и содержания, от того, что является субъективным и психологическим наслоением, предрассудками и личными амбициями. Ему нужна объективно-теоретическая картина *мышления в коммуникации*, чтобы он мог вводить эффективную социотехническую его организацию.

Таковы те социотехнические рамки нашей работы, которые заставили нас специально обсуждать процессы и механизмы человеческой *интеллектуальной коммуникации* и мышления внутри нее, условия, ее порождающие, анализировать основные типы ситуаций, возникающих в процессах группового мышления, искать эффективные формы ее организации, рассматривать все это как некоторое естественное явление, не подчиняющееся воле председателя, следовательно, искать какие-то теоретические или квазителетические изображения для этого и т.д. и т.п.

Это был тот социотехнический материал, который детерминировал нашу исследовательскую работу. Мы подходили ко всему этому кругу проблем, с одной стороны, как к определенной социотехнике, которую мы сами должны были произвести, а с другой – как исследователи-естественники, которые должны были понять, как вообще такая действительность «живет». И в силу этого все наши расчленения интеллектуальных процессов на понимание, рефлексии и мышление имеют совершенно очевидный прикладной план, относительно которого мы оцениваем эффективность самих этих расчленений, а также всех моделей и представлений, построенных на их основе.

2. Второе замечание носит исторический характер, хотя и остается при этом целиком в рамках методологии обсуждаемой темы.

Дело в том, что в тех представлениях, которые я предполагаю сейчас перед вами развернуть, соединились многие из тех направлений методологических исследований, которые мы вели начиная с 1952 г.

Первое из них – исследования мышления и знаний, с которых собственно говоря, мы начали нашу методологическую работу. Самый интенсивный период этих исследований приходится на 1954–1964 гг. Общая программа и некоторые из полученных результатов были опубликованы в основном в период с 1957 по 1967 гг., но публикация их продолжается и сейчас, и еще многое остается в ящиках столов.

Главная особенность всех этих исследований состояла в том, что мышление и знания рассматривались совершенно автономно, изолированно от многих моментов деятельности и самого мышления, моментов, присутствие которых и даже важная их роль в мышлении были совершенно очевидны уже тогда. Но подобно всем тем, с кем я сегодня веду борьбу, мы тогда просто абстрагировались от всех этих моментов, и если бы нам стали объяснять, что этого нельзя делать, что картина, которую мы получаем на этом пути, является ложной, то мы бы этого все равно не поняли и ничего не изменили бы ни в методах, ни в онтологических основаниях наших исследований.

Второе направление охватывало исследования *способов решения задач и процессов решения*, которые разворачивались на основе этих способов. Особенно интенсивными эти исследования были в период с 1958 по 1965 гг.. Был опубликован целый ряд работ, отражающих основные результаты, и сейчас эти публикации и разработки продолжают, хотя и с меньшей интенсивностью.

Я не буду сейчас обсуждать основные идеи и проблемы этих исследований, предполагая, что они хорошо известны психологам. Подчеркну лишь, что именно в этих исследованиях мы впервые столкнулись с проблемой понимания и сделали первые попытки разобраться в том, что такое понимание и как оно относится к мышлению.

Правда, уже в работах первого направления мы имплицитно зафиксировали необходимость такого образования, как понимание, в частности в схеме знания в виде так называемого *отнесения знаковой формы к объекту*, но это было еще неявное задание, и мы не рассматривали отнесение как одно из проявлений понимания, а наоборот, включали его в мышление и трактовали как одно из *мыслительных действий*. В работах 1959–1962 гг., напротив, мы зафиксировали понимание экспериментально как нечто принципиально отличное от мышления, как определенные лакуны в процессах мышления, которые не могут быть представлены операционально, а следовательно, мыслительно.

Это еще одна иллюстрация того, насколько исследователи привязаны к тем «очкам», через которые они смотрят на мир. Сейчас, когда мы рассматриваем историю наших исследований ретроспективно, кажется удивительным, что мы не могли увидеть всех этих процессов, окружаю-

щих мышление. На деле же это совершенно естественно и даже закономерно: мы всегда видим только то, что знаем, а вот как мы приходим к знанию нового – это особый вопрос, требующий обсуждения в специальном контексте.

Короче говоря, к 1960 г. мы уже хорошо знали, что наряду с мышлением существуют еще особые процессы понимания, и встал вопрос, как они относятся к процессам мышления, которые мы фиксировали как в работах первого, так и в работах второго направления.

Третье направление наших исследований и разработок было непосредственно связано с анализом процессов учения–обучения и, в частности, с анализом процессов усвоения. Именно здесь мы столкнулись с необходимостью рассматривать *процессы осознания*, которые мы отождествили с тем, что в философской литературе получило название рефлексии¹. Начало этих исследований датируется 1959 г., но особенно напряженными и продуктивными они стали с 1960 г. и продолжаются, как видите, и в настоящее время. Публикации на эту тему относятся к 1962–1968 гг.

Рефлексия выступала в наших исследованиях прежде всего как особый способ осознания индивидом своей собственной работы, как переход от «практической» деятельности как таковой к осмыслению ее средств, процедур, условий и т.п. Но в этом контексте она была неразрывно связана с процессами усвоения и выступала как один из важнейших моментов механизма усвоения. Первоначально это было усвоение арифметики, ал-

¹ Правда, была еще и другая линия, развертывавшаяся в рамках первого направления, которая привела некоторых членов Московского методологического кружка к утверждениям, что процесс мышления (или рассуждения) не может быть понят вне учета рефлексивных моментов. В 1960 г. в контексте обсуждения моей работы «Опыт анализа сложного рассуждения, содержащего решение математической задачи» [Шедровицкий Г.П. 1960] И.С.Ладенко и Б.В.Сазонов выделили эту сторону дела и в напряженной дискуссии отстаивали этот тезис. Однако они не были поняты другими участниками обсуждения (и мной, в частности), не сумели внедрить эту идею в наши представления, и она была забыта Кружком на многие годы (хотя одновременно рефлексия признавалась и рассматривалась в рамках другого направления). Это странное, на первый взгляд, явление объясняется все теми же границами предмета изучения: в рамках теории учения или теории усвоения рефлексия могла быть допущена на законных основаниях как момент *индивидуальной*, а потому неизбежно *психологизированной*, деятельности, а в рамках *нормативного исследования мыслительных процессов*, которое мы считали *логическим*, она естественно должна была рассматриваться как чужеродная и эклектическая добавка, вносящая в логический нормативный анализ явно психологические моменты. В этот период мы еще не дошли до идеи кооперации и не могли трактовать рефлексии как определенный тип кооперативных отношений или форму снятия этих отношений в интеллектуальных процессах. Поэтому единственным способом мыслить ее существование был психологически индивидуализирующий способ отнесения ее к сознанию, а всякая ссылка на сознание в тот период могла рассматриваться только как измена программе нормативного анализа мыслительных процессов. Поэтому предложение о включении рефлексии в структуру рассуждения или мыслительного процесса было отвергнуто, и прошло более пяти лет, прежде чем мы смогли вернуться к этому и рассмотреть рефлексии как необходимый элемент интеллектуальных процессов (но теперь уже на базе *деятельностных схем и деятельностной трактовки мышления*).

гебры, геометрии, русского языка и т.д., а затем (примерно с 1961 г.) – усвоение нравственных принципов в игровой деятельности детей. Начав с игры, мы постепенно распространяли эти представления, а также методы анализа на другие деятельности.

В 1965 г. в этой работе произошел важный перелом: мы приступили к изучению профессиональной рефлексии проектировщиков, на базе этого вернулись к научно-исследовательской работе, зафиксировали ее там, включили в этот перечень «практическую» деятельность, стали различать разные виды рефлексии одной и той же деятельности, связали это с типами знаний – методическими, конструктивно-техническими, естественно-научными и др. и, наконец, проинтерпретировали рефлексия как важнейший момент в механизмах научного рассуждения (но это уже работы последних лет, о которых я собираюсь вам сейчас рассказать).

Все это давало нам весьма богатый материал для сопоставления и связывания процессов понимания, рефлексии и мышления, но тем не менее до самого последнего времени мы упорно продолжали рассматривать все эти процессы, по сути дела, изолированно друг от друга и, главное, не могли иначе, ибо не имели средств для того, чтобы связать их. Каждое из этих образований рассматривалось в своем собственном предмете, отдельно от других. Если эти другие процессы и привлекались при рассмотрении основного, то только в качестве вспомогательных и что-то объясняющих.

Эти три образования до самого последнего времени не рассматривались как составляющие единого предметного целого. Но, вместе с тем, по ходу наших исследований все время накапливались такие ситуации, которые заставляли нас соотносить и связывать эти явления. Сначала – в связи непосредственно изучаемых и объясняющих, но так как эти отношения постоянно оборачивались, то постепенно это приводило к уже совершенно общей постановке вопроса о связи их всех в рамках одного предмета и в качестве равноправных и рядоположных явлений. Нужно было организовать все это в один предмет исследований, а для этого, естественно, нужны были специальные средства организации.

В этом качестве были использованы (и одновременно развивались для решения этих специфических задач) две группы представлений: с одной стороны, представления и понятия структурно-системного подхода, а с другой – представления и понятия деятельностного подхода. Первые разрабатывались нами с самого начала, т.е. с 1952 г., хотя первоначально без достаточно глубокого понимания и осмысления, но в 1962–1969 гг. они получили принципиально новую трактовку и дали в наши руки действительно мощное средство объединения и синтеза разнопредметных представлений. Вторые тоже присутствовали с самого начала, но в период 1960–1963 гг. они были трансформированы в теоретико-деятельностные представления, что дало сильный толчок в развитии деятельностных средств и методов.

Наконец, последний момент, который здесь должен быть зафиксирован, это – методологический подход, или методологическое мышление, средствами и методами которого мы постоянно работали. Чтобы решать задачи, встававшие перед нами постоянно с 1952 г., мы должны были разработать принципиально новую логику, новые схемы и новые методы собственного мышления, ибо решать эти задачи традиционными средствами и методами было просто невозможно.

Я рассказываю вам обо всем этом, чтобы создать необходимую рамку для понимания всего того, о чем будет речь дальше. Все то, что я описал, может быть резюмировано в схеме:

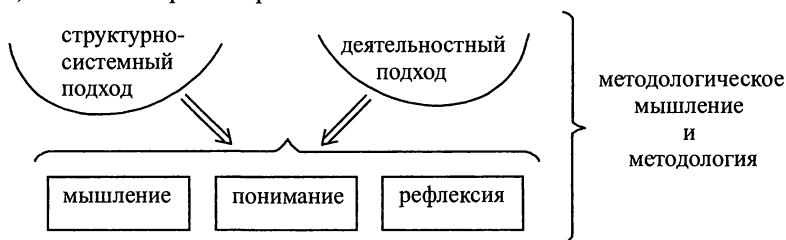


Рис. 1

Вряд ли она нуждается в каких-то еще пояснениях, дополняющих то, что я уже сказал. Поясню лишь в немногих словах роль методологии и ее отношение к таким традиционным образованиям, как наука. Как правило, мы противопоставляем методологию и методологическое мышление науке и научному мышлению как новый и принципиально иной тип организации мышления и деятельности. Более того, мы считаем, что методологическое мышление во всех областях практики должно вытеснить и вытолкнуть научное мышление. Но это же положение, как легко сообразить, устанавливает новый ряд отношений между научным и методологическим мышлением: второе рассматривается как историческое продолжение первого, как развитие его, надстраивающееся над первым и его поглощающее, или включающее в себя. Это, следовательно, будет новая, более высокая форма организации человеческого мышления в целом.

3. Теперь я могу перейти к последнему предваряющему замечанию. Оно касается того, что я обсуждал во вчерашнем докладе – методологического оформления познавательной установки. Как только мы переходим на деятельностную точку зрения и начинаем рассматривать объекты нашего изучения в виде И-Е образований, так тотчас же нам приходится отказываться от традиционных натуралистических парадигм познания и научного исследования и вводить какие-то новые парадигмы. В рамках натуралистического подхода сейчас все ясно: мы должны выявить *законы естественной жизни* рассматриваемого нами объекта, а для этого применить хорошо отработанную и достаточно четко осознанную методологию их теоретического конструирования и эмпирической проверки. Но у дея-

тельность объектов, как я стремился показать вчера, нет подобных законов, они являются социотехническими образованиями, и поэтому в отношении этих объектов мы должны задавать иные вопросы, нежели в отношении натуральных объектов. В общем виде это совершенно ясно и подтверждается всем опытом неудачных исследований деятельности традиционными способами, но остается еще конкретная проблема: какие же именно вопросы мы можем и должны задавать в отношении деятельностных, социотехнических объектов и что именно мы хотим зафиксировать в научных и инженерных знаниях, которые будут ответом на эти вопросы.

Моя точка зрения на этот счет является весьма определенной: поскольку мы кладем в основание своей методологии структурно-системную парадигму, постольку нашей основной целью и задачей становится выяснение системного строения рассматриваемых объектов, т.е. определение числа и характера составляющих каждый такой объект простых систем, а внутри каждой простой системы выяснение отношений между разными планами единого системного представления – процессуальным, структурно-функциональным, организованностным (или морфологическим) и материальным ².

Те, кто следят за нашими публикациями, знают, что мы рассматриваем всякое системное представление объекта как составленное из четырех принципиально разнородных представлений – я их только что назвал, – которые должны быть определенным образом соотнесены и связаны друг с другом.

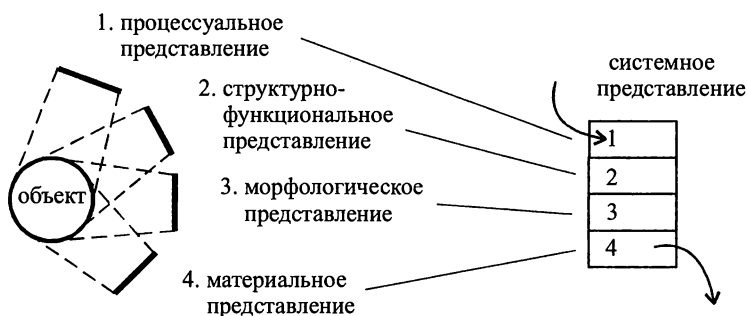


Рис. 2

Именно эти связи и отношения для каждого конкретного объекта и составляют, на мой взгляд, цель и тему всякого социотехнического исследования. Чтобы описать какой-то объект системно, мы должны, во-пер-

² Раньше мы употребляли термин «морфология» для обозначения того, что я сейчас назвал «материалом»: это шло вразрез с сложившимися терминологическими традициями и создавало неясности и смешения в коммуникации. Поэтому сейчас я несколько изменил терминологию, вернувшись, как мне кажется, к традиционному значению слова «морфология».

вых, выявить и зафиксировать в знании конструирующие его процессы, а для этого, естественно, разработать адекватный язык описания процессов, во-вторых, выявить и зафиксировать функциональные структуры, соответствующие этим процессам, и для этого опять-таки иметь соответствующий язык описаний и оперативных преобразований, в-третьих, выявить и зафиксировать организованности материала, обеспечивающие данные процессы и функциональные структуры, представив эти организованности в соответствующем языке, и наконец, в-четвертых, выявить и зафиксировать материал данного объекта со всеми его разнообразными процессами и организованностями, материал, образующий как бы подкладку для той системы, которую мы выявляем и описываем в первых трех планах, – и для этого снова нужен особый язык описаний.

Но этих четырех описаний как таковых еще мало – они должны быть взяты в определенных отношениях и связях друг с другом, причем таких, которые бы отражали объективную специфику данного объекта, с одной стороны, и логику адекватных рассуждений по поводу него – с другой. В этом, на мой взгляд, и состоит цель и задача системного исследования любых и всяких объектов, независимо от того, являются ли они натуральными или социотехническими. Более того, я рискнул бы сказать, что основная задача методологии и науки конца XX столетия состоит в том, чтобы разработать методы описания объектов по этим четырем планам, принципы соотнесения и объединения этих планов для систем разного рода и, наконец, принципы и методы сборки этих разнородных простых систем в сложные целостности. Именно этим, на мой взгляд, предстоит заниматься всем нам в ближайшие 50–70 лет.

На этом я закончил методологическое вступление и могу теперь перейти непосредственно к обсуждению объявленной темы.

Как я уже сказал, дальше у меня будет две части: в первой я введу схему сложной коммуникации и постараюсь на ней разделить понимание, рефлексию и мышление, а во второй части я выделю некоторые из возникающих здесь проблем и намечу пути их обсуждения.

2. Понимание, рефлексия и мышление в структуре трехчленной коммуникации

Я уже говорил во вчерашнем докладе – и это является отправным пунктом моих рассуждений сегодня, – что интеллект существует только в общении людей друг с другом. Если хотите, можете рассматривать это утверждение как задание специфического признака человеческого интеллекта, отличающего его от психики животных. Из этого следуют три важных вывода:

1) интеллект по происхождению своему существует как бы между людьми, есть объединяющая и организующая их структура, и лишь вторичным образом он отражается в каждом отдельном человеке и становится его личным достоянием,

2) нельзя рассматривать отдельного человека в качестве источника интеллекта, порождающей его силы, и даже носителем интеллекта отдельный человек становится лишь факультативно, по сопричастности к коммуникации и благодаря присущей ему способности к «отражению»,

3) интеллект не является и не может быть природным образованием, это – общественное, социальное явление, и это надо понимать не в переносном смысле и даже не как зависимость индивидуального и личного от общественного и социального, а в прямом смысле – что это определенная социально-деятельностная структура и уже в силу одного этого она является искусственной.

Я стремлюсь сейчас доказывать и обосновывать эти тезисы – для этого нужна всеобъемлющая критическая работа, которая здесь, естественно, неуместна. Мне важно лишь одно: достаточно резко и определенно выразить сами тезисы, чтобы все поняли, из чего я исхожу и как я представляю себе дело.

Итак, интеллект возникает в общении и из общения, а так называемый индивидуальный или личный интеллект есть уже вторичное образование – результат так называемой интериоризации того, что возникает в коммуникации. Такова отправная точка наших рассуждений.

Дальше, следуя уже довольно отработанным схемам, я зарисовываю структуру коммуникации, довольно типичную для наших семинаров.

Есть докладчик, который должен излагать определенное содержание. Он действует (в том числе и мыслит) в определенной ситуации, которую я точно так же зарисовываю. Содержание, которое излагается докладчиком, может рассматриваться либо как одна из составляющих ситуаций (в пределе – как исчерпывающее ситуацию), либо как противопоставленное ей и с ней расходящееся. Здесь, следовательно, может быть своя динамика отношений между содержанием, которое должно быть изложено в тексте и ситуацией. Эту динамику нужно рассматривать особо, как один из важных моментов, определяющих характер самой ситуации. Может сложиться так, что текст, производимый докладчиком, будет включать одну ситуацию, ту, которая описывается в тексте, внутри другой ситуации, которая будет развертываться по своей особой логике, но дело может сложиться и так, что эта первая ситуация – как идеальное содержание – будет определять формирование второй ситуации, и тогда развитие второй ситуации будет происходить, хотя и по своей собственной логике, но в связи с первой ситуацией и под ее определяющим влиянием.

Здесь таким образом – большое и разнообразное поле для анализа, но заниматься им, повторяю, надо специально. А сейчас я хочу лишь задать первого участника структуры коммуникации. Он производит определенный текст, обращенный ко второму участнику коммуникации, и таким образом создает ситуацию. Для упрощения мы можем положить, что в этом тексте он *выражает* какие-то элементы ситуации и таким образом сообщает о них (или передает их) второму участнику. Текст является сво-

еобразной *гранью*, или *пределом*, его деятельности в данном случае. Мы можем сказать, что докладчик мыслит – просто, чтобы как-то определить характер его деятельности, хотя для меня сейчас совершенно несущественно, что это за деятельность и каким образом она была определена. Он может проделывать самую разнообразную работу – все зависит от его целей, форм организации, средств и механизмов деятельности. Если пользоваться аналогиями, то я ввожу это в той же функции, в какой Л.С.Выготский вводит натуральное поведение человека, еще не организованное знаками – для того чтобы начать мыслительный анализ и придать ему необходимую определенность и конкретность.

Итак, текст произведен – неважно как; он поступает к слушателю (обозначим его цифрой 2), и он, прежде всего, должен быть понят (иначе никакого текста не будет, а будет, как говорил Л.С.Выготский, звук пустой). Слушатель, или коммуникант 2, должен проделать по отношению к тексту определенную работу – понять его, а это значит – включить его в свою ситуацию деятельности и соответственно этому образовать определенный ситуативный смысл.

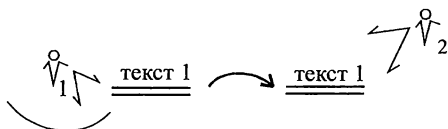


Рис. 3

Я не случайно рисую на схеме второго человечка выше первого, как бы над текстом: у него совершенно иное отношение к тексту, нежели у первого, – текст является объектом его деятельности, хотя и весьма своеобразным, объектом понимания. От первого не нужно требовать понимания созданного им текста, хотя, конечно, он может его понять и понимать, учитывать возможности понимания и возможное понимание в ходе создания самого текста и т.п., но не в этом состоит его специфическая работа на месте докладчика – ведь он должен создать текст. А специфическая работа второго состоит именно в том, чтобы этот уже созданный и получаемый им со стороны текст понять. Положим, что он слушает, понимает и молчит – как говорится, мотает себе на ус.

Будем развешивать схему дальше. Положим, что в групповой работе принимают участие еще какие-то другие люди, скажем, находящиеся на другом уровне профессиональной продвинутой, и мы представим их на схеме фигурой коммуниканта 3, который может задавать разнообразные вопросы как второму, так и первому коммуниканту (рис. 4). В принципе, вопросы могут быть любыми, но если мы хотим имитировать реальную ситуацию наших дискуссий, то должны ограничить и специализировать их круг. Предположим, что третий коммуникант задает второму вопросы: 1) что ты понял из сказанного тебе? 2) как ты это понял? 3) почему ты это понял так, а не иначе? 4) каковы средства и метод твоего понимания? 5) как еще можно было понять то, что говорил первый? и т.п.

Здесь все вопросы, очевидно, образуют достаточно сложную деятельную структуру и должны быть еще типологизированы. Но это – совсем особая работа, а мне сейчас нужно дать лишь примеры возможных вопросов, чтобы сделать самые абстрактные (хотя и весьма принципиальные) выводы.

Самое главное здесь состоит в том, что у этих вопросов совершенно особый предмет, принципиально отличавшийся от того предмета с каким имел дело второй коммуникант. Третий спрашивает (во всяком случае, в приведенном мною перечне вопросов) не о том, что зафиксировано в тексте сообщения, а о том, что увидел, воспринял, понял второй из этого текста в результате его работы понимания. А поэтому даже в тех случаях, когда кажется (в соответствии с формой вопроса), что он спрашивает что-то про текст, даже в этих случаях его вопросы на деле относятся не к тексту, а к деятельности второго, именно к деятельности понимания, ее оснащению, ее организации и т.п. и только через все это – к продуктам этой деятельности, к понятию. Одним словом, предмет всех этих вопросов – деятельность второго коммуниканта. И чтобы ответить на все эти вопросы, второй должен выйти в совершенно особую позицию, позицию, для которой его собственная прошлая деятельность понимания становится специальным предметом анализа. Я изображаю эту позицию на схеме как позицию 2' (чтобы сохранить ее преемственность с позицией 2), но мог бы обозначить и как позицию 4, ибо как позиция она является столь же автономной и столь же значимой, как позиции 2 и 3. Именно эту позицию 2', взятую в единой структуре с позициями 2 и 3, в генетической связи происхождения одной позиции из другой, я буду называть *рефлексивной позицией*, а работу по анализу своей деятельности понимания, которую должен будет проделать второй, чтобы ответить на вопросы третьего, – *рефлексией*.

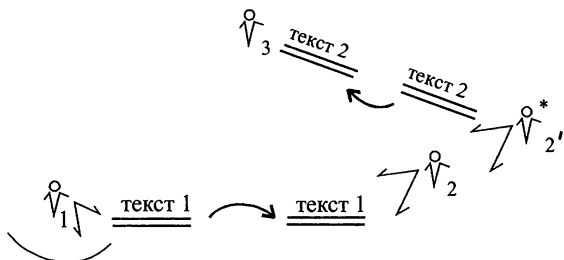


Рис. 4

Важно подчеркнуть, что рефлексия своего собственного процесса понимания – это работа принципиально иного рода, нежели само понимание. Человек в позиции 2', т.е. тогда, когда ему приходится отвечать на вопросы такого рода, как я перечислил, действительно проделывает совершенно иную работу, нежели тогда, когда он просто понимает некоторый текст.

Второй очень существенный момент определяется тем, будет ли позиционер отвечать на заданные ему вопросы вслух или же он лишь обратится к проделанной им работе и начнет «всматриваться» в нее.

Различение, которое я пытаюсь сейчас ввести, является крайне сложным, во многом – весьма зыбким, а некоторым оно может показаться просто несуразным. Дело в том, что я не могу здесь выделить некоторые организационно оформленные целостности; я говорю об определенном процессе, может быть, даже скорее – о переходе из одной позиции в другую, когда позиции организационно оформляются, превращаются в нечто иное. С системной точки зрения это вполне мыслимо и допустимо (как раз в аспекте различения тех планов системного представления, о которых я говорил раньше), но требует совершенно иной логики рассуждений, нежели традиционная логика вещей.

Итак, второй коммуникант после вопросов третьего должен сменить предмет своей работы и обратить свое сознание на свою прежнюю деятельность и именно ее сделать содержанием своей новой деятельности. Именно этот переход и называется, строго говоря, рефлексией, а не то, что произойдет после него. Как таковой он всегда не завершен, а когда он завершается, то получается нечто совершенно иное, нежели рефлексия, и это иное несет на себе лишь *функцию* рефлексии, если мы берем ее в структурном отношении или в связи с тем, что было до этого.

Итак, сначала в позиции 2 осуществлялось понимание полученного текста, затем последовал переход в позицию 2', спровоцированный вопросами коммуниканта 3, когда предметом анализа стала (или должна была стать) прошлая деятельность понимания – мы называли этот переход «рефлексивным выходом», а саму позицию 2', взятую относительно позиции 2, рефлексивной позицией (т.е. позицией, образованной рефлексивным выходом и сохраняющей в силу этого определенные функции относительно исходной позиции). Затем, по идее, должна была начаться особая рефлексивная работа, имеющая своим предметом прошлую деятельность, и ее следовало бы охарактеризовать как особый вид и тип деятельности.

Но здесь мы говорим «стоп» и хотим получить не только функциональные, но и материальные характеристики этой деятельности, утверждая, по сути дела, что нет рефлексии вообще, а есть разные типы и виды рефлексивной работы, и в зависимости от того, какой тип работы мы здесь положим, мы должны будем характеризовать его так или иначе, т.е. как один или другой вид деятельности. Получается, что слово «рефлексия» характеризует не тот или иной тип деятельности (в том числе и мыслительной деятельности), а определенную функцию, или, если раскрывать ее, определенное отношение (или связь) внутри структурной организации деятельности. Характеризуя нечто как рефлексия, мы тем самым характеризуем, во-первых, его происхождение, а во-вторых, его место относительно прошлой деятельности; мы задаем, по сути дела, двухслойную организацию деятельности, хотя и совершенно особого типа, когда второй слой

не просто надстраивается над первым (хотя это есть в полной мере), а еще как бы охватывает его – обычно мы выражаем это отношение так называемыми «матрешечными» схемами, которые предполагают тройную характеристику второго слоя деятельности:

1) как деятельности, вырастающей из какой-то другой деятельности и существующей первоначально только за ее счет, как нарост на ней, и невозможной без нее;

2) как целостности, охватывающей исходную деятельность и превращающей ее в свою часть и в свой функциональный элемент;

3) как части целого, примыкающей к первой части и всегда способной отделиться, оторваться от нее и образовать самостоятельную и независимую деятельность.

Можно считать, что таким образом мы характеризуем процесс становления новой деятельности. И это верно. Но в такой же мере мы характеризуем таким образом структурные связи и отношения, в которых существует эта новая деятельность, связи и отношения, которые характеризуют ее лицо – конституирующие ее процессы и ее строение. Именно поэтому мы так свободно говорим о рефлексии как о каком-то *особом* процессе и пытаемся выявить и описать его строение. Хотя каждый раз нам не удается это сделать из-за отсутствия материала. Но когда мы производим наполнение рефлексивного места и получаем таким образом тот или иной материал, то это оказывается всегда уже не материал рефлексии как таковой, а материал одного или другого процесса, одной или другой деятельности, несущих на себе рефлексивные функции. Одним из таких процессов является мышление.

Чтобы отделить мышление как особый процесс, выполняющий рефлексивные функции, от рефлексии как таковой, я применяю особый прием, особое идеальное полагание. Я говорю: предположим, что коммуникант 2 осуществил рефлексивный выход и обратился к своей прежней деятельности как к предмету анализа – фиксации этого момента достаточно, чтобы мы могли говорить о рефлексии как таковой. А все дальнейшее зависит от того, что именно делает этот коммуникант в позиции 2'. Если ему приходится отвечать на поставленные перед ним вопросы и, следовательно, строить некоторый общезначимый текст, то это будет уже мышление. Мышление становится необходимым и осуществляется только тогда, когда нам приходится строить общественно значимый текст и когда это делается в соответствии с культурно фиксированными нормами создания текста. Эти нормы, наряду с рефлексивной функцией, определяют содержание и формы мышления. Оно, следовательно, формируется на пересечении того, что задается рефлексивной функцией, обращающей новый процесс и новую деятельность на прежнюю деятельность и заставляющей извлекать из нее содержание, необходимое для ответа на поставленные вопросы, и того, что задается фиксированными в культуре нормами образования текста – значениями, задающими систему языка, понятия и

т.п. И в этом главное. В предельных случаях мышление может терять рефлексивную функцию и осуществляться чисто конструктивно или даже оперативно – в таком случае мы говорим о формализованном мышлении. Но это все же – вырожденные случаи. А подлинное мышление – и в этом его сокровенная суть – соединяет и сплавляет то, что специфично для рефлексии, и то, что специфично для средств и норм особого типа, тех норм, которые мы называем мыслительными. Специфика мышления, конечно, в этих нормах (и поэтому мышление, лишенное рефлексивной функции, остается все же мышлением), но источники продуктивности мышления заложены не только в этих нормах, в их «творческом» комбинировании, но также (а часто даже и в основном) в этой рефлексивной функции. По-видимому, именно из нее вырастает далее познавательная функция – одна из важнейших для мышления, но для этого, естественно, мышление должно охватить и ассимилировать эту рефлексивную функцию, как бы вобрать ее внутрь себя.

Таким образом, мышление осуществляется на пересечении нескольких разных процессов и соответственно этому имеет несколько разных, независимых друг от друга источников. Не так-то легко выделить и зафиксировать вклад каждого из них. С одной стороны, мышление становится из рефлексии (даже не на основе, а именно *из* рефлексии), и эту связь надо рассматривать как в плане генезиса мышления в целом, так и в плане осуществления каждого конкретного акта мысли. С другой стороны, каждый акт и каждый процесс мышления представляет собой реализацию определенного набора мыслительных средств и норм, зафиксированных в культуре. Неправильно было бы думать, что эти средства и нормы определяют лишь форму мышления и получающихся в результате него знаний; через форму они определяют также смысл и содержание мышления и знания (во всяком случае, не в меньшей мере, чем рефлексия). С третьей стороны, реализация средств и норм, определяющих каждый акт мысли, происходит всегда в структурных связях, задающих целостность и единство деятельности, следовательно, среди прочего – под определяющим влиянием рефлексивных связей и отношений; это значит, что те средства и нормы, которые мы реализуем в каждом процессе мысли, должны соответствовать тем рефлексивным функциям, которые задают и определяют место данного процесса мысли внутри целокупной деятельности.

Каким образом взаимодействуют и оказываются связанными друг с другом все эти вектора, определяющие осуществление акта или процесса мысли, каким образом и в каком порядке разделять их, а затем связывать при воспроизведении актов и процессов мысли в моделях и знаниях – все это проблемы, которые нам предстоит обсуждать и решать. Сейчас мне важно зафиксировать только один момент: принципиальное различие, а вместе с тем связь и взаимоопределяемость рефлексии и мышления. И то, и другое может и должно рассматриваться в качестве интеллектуальных процессов, но их нельзя трактовать как однопорядковые. Рефлексия отно-

сится к процессам другого уровня иерархии, нежели понимание и мышление, несмотря на то, что она является одним из источников формирования мышления. В этом одна из кардинальных трудностей изучения их взаимоотношений.

Добавлю к этому лишь еще одно замечание, касающееся отражения рефлексивных отношений и рефлексивности в структуре деятельного сознания. До сих пор я стремился показать, что сложная структура коммуникации вынуждает человека осуществлять многопозиционную, или многоуровневую, деятельность. Понимает он в одной позиции, а отвечать на вопросы, что именно он понял и как он понял, ему приходится уже в другой позиции, меняя при этом предмет и средства своей деятельности. Но сколько бы позиций ему ни приходилось занимать и в какие бы позиции ни переходил человек, он остается тем же самым, одним человеком с единым и неразрывным сознанием. Грубо говоря, позиций может быть много, а сознание одно, и оно остается единым. В этом и сила, и слабость человека. Сила – потому что благодаря этому единству он может осуществлять объединение и синтез разного. Слабость – потому что это первоначально – механическая и синкретическая связь, не организованная сложными логическими отношениями. Механическое объединение образов, соответствующих разным позициям, ведет лишь к ошибкам и заблуждениям. Поэтому суть дела – в такой организации сознания, которая соответствовала бы объективной организации жизнедеятельности человека. Этому служит, среди прочего, и понятие рефлексии. Рефлексивному выходу в деятельности и коммуникации должна соответствовать рефлексивная организация сознания. Образы, соответствующие разным позициям, не должны склеиваться, а должны образовывать особую иерархическую систему. В способности создавать, удерживать и употреблять подобные, сложно иерархизированные образы и состоит рефлексивная способность (или просто рефлексивность) сознания. Как таковая она является продуктом и результатом соответствующей сложной организации коммуникации и деятельности, можно сказать – отражением этой организации. И как таковая, если она сложилась, она влияет на мышление, может быть, даже определяет его.

Таким образом, возвращаясь назад, я могу сказать, что результатом рефлексивного выхода для рефлексивно развитого сознания является рефлексивная организация образов, соответствующих позициям 2 и 2', т.е. четкое сознание смены предмета, фиксация образа предмета первой деятельности в его целостности, определенности и противопоставленности всем тем образам, которые будут формироваться в следующей рефлексивной деятельности. А уже как затем будут выражены эти образы в тексте, какой именно работы они потребуют, зависит от того, чем будет заполняться место рефлексивной деятельности.

Итак, рефлексивная развитость сознания проявляется в отражении рефлексивного выхода (или перехода) в рефлексивной организации созна-

ния. Но отнюдь не всегда и не всякий рефлексивный выход будет отражаться в рефлексивной организации сознания; для этого необходима специальная работа по формированию и развитию сознания.

Однако все это были замечания, уводящие далеко вперед и в стороны от основной линии моего сообщения. Вернемся к исходной схеме, подытожим то, что мы выяснили, и двинемся дальше. Итак, вопросы коммуниканта 3 заставляют коммуниканта 2 осуществить рефлексивный выход, перейти в позицию 2', соответствующим образом перестроить свое сознание и, наконец, чтобы построить текст ответов на вопросы, осуществить процесс мышления, несущий на себе совершенно очевидные рефлексивные функции. Вот то, что мы уже выяснили и что важно помнить для понимания всего дальнейшего. Но таким образом мы охарактеризовали и зафиксировали только правую сторону нашей треугольной схемы. Теперь мы должны обратиться к левой стороне.

Коммуникант 3 может задать весь набор аналогичных вопросов коммуниканту 1: 1) что ты мыслил и выразил в созданном тобою тексте? 2) как ты породил эту мысль и создал этот текст? 3) почему ты помыслил и представил это так, а не иначе? 4) каковы средства и методы твоего мышления? 5) как еще можно помыслить и представить все это? и т.д. и т.п.

Все эти вопросы точно так же вытаскивают коммуниканта 1 в рефлексивную позицию 1' и заставляют его осуществлять анализ его прошлой деятельности. В данном случае этой прошлой деятельностью будет мышление – ведь мы условились называть таким образом всякую работу по созданию общезначимого текста. Вполне возможно, что коммуникант 1 делал параллельно и многое другое, но во всех случаях мышление было одной из составляющих его интеллектуальной деятельности, и теперь, отвечая на вопросы коммуниканта 3, он должен выделить в своей интеллектуальной деятельности именно эту сторону.

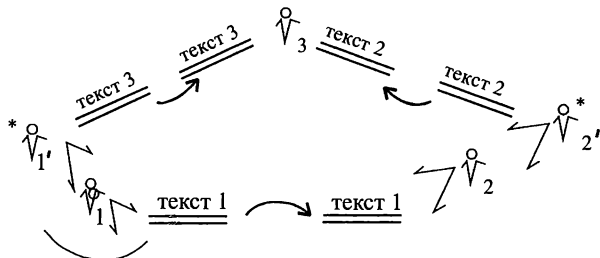


Рис. 5

Далее я должен буду еще раз повторить все, что я уже говорил про рефлексивность и переход ее в мышление. В этом плане левая сторона схемы совершенно идентична правой. Разница лишь в том, что справа мы имели рефлексивность понимания, которая выражалась затем в мыслительных формах, а слева мы имеем рефлексивность мышления, которая выражается в мыслительных формах, правда, к этому могут добавляться различные побоч-

ные формы, когда коммуникант 1, отвечая на вопросы, добавляет еще понимание созданного им текста, а коммуникант 2 – имитацию мыслительной работы первого, но все эти вопросы мы оставим пока за рамками анализа.

Итак, снова постараемся свести все воедино и представить себе, что же, собственно, я сделал. В основание всех рассуждений была положена деятельностная схема коммуникации. В самом рассуждении я имитировал постепенное разворачивание структуры трехчленной коммуникации и задал на ней (пока что) пять связанных между собой позиций. В процессе разворачивания схемы я различил три отличающихся друг от друга процесса – понимание, рефлексия и мышление (вполне возможно, что последний сам является сложным и включает в себя массу различных составляющих), – и все эти процессы оказались определенным образом связанными между собой структурами и процессами коммуникации.

Последнее обстоятельство требует пояснений. В заданной мной структуре коммуникации последовательность разворачивания этих интеллектуальных процессов для каждого места была строго определенной: например у коммуниканта 2 сначала должен был идти процесс понимания (текста сообщения и текста вопросов), затем – процесс рефлексии и, наконец, процесс мышления. И другой последовательности здесь не могло быть. Но у коммуниканта 1 в этой же структуре была и должна была быть совсем иная последовательность: сначала мышление, потом понимание текста вопросов, далее рефлексия, и в завершении – снова мышление. У коммуниканта 3, как нетрудно сообразить (хотя я сейчас и не разбираю этого детально), разворачивалась совсем иная последовательность интеллектуальных процессов (скажем, непонимание, рефлексия, мышление и т.д.). Следовательно, в самих этих интеллектуальных процессах (если брать их безотносительно к структуре и коммуникации) нет никаких необходимых связей друг с другом – они могут комбинироваться как угодно, выступать в любых, самых причудливых связках. Поэтому бессмысленно, анализируя сами процессы понимания, рефлексии и мышления, ставить вопрос о каких-то необходимых и закономерных связях между ними; эти связи принадлежат не им, а структуре коммуникации и являются ее организационными моментами. А понимание, рефлексия и мышление принадлежат уже к материалу, обеспечивающему процесс коммуникации (хотя генетически весь этот материал происходил и становился именно из запросов коммуникации и под определяющим влиянием ее структуры).

На этом я хочу закончить вторую часть доклада. Я считаю, что процессы понимания, рефлексии и мышления вчерне уже разделены и в общих чертах показана связь их в структурах коммуникации и через эти структуры. Дальше, в третьей части доклада, я хочу выделить позицию коммуниканта 3 – во многих отношениях она является самой интересной – и более подробно рассмотреть связь понимания и мышления, как она складывается и разворачивается в этой позиции.

3. Понимание и мышление в позиции коммуниканта, задающего вопросы

Главное отличие позиции коммуниканта 3 от других позиций состоит в том, что он имеет дело не с одним, а сразу со многими разными текстами, окаймляющими и выражающими одну ситуацию – текстами, которые он должен понять и определенным образом соотнести друг с другом. Уже в силу одного этого позиция коммуниканта 3 является весьма сложной, и требуется определенная последовательность воспроизведения ее составляющих.

Прежде всего, коммуникант 3 в одном плане ничем не отличается от коммуниканта 2: вместе с ним он получает исходный текст сообщения и старается понять его. И если бы он понял его и не задавал вопросов, то он должен был бы рассматриваться нами как коммуникант 2. Но он почему-то задает вопросы. Причины этого могут быть разными. В частности, он может не понять исходный текст или понять, но считать, что он его не понял или понял неправильно, неполно и т.п. И именно это может явиться причиной дополнительных вопросов, адресованных кому-то, кто по его предположению понял все и понял правильно (именно этого коммуниканта мы и должны рассматривать как коммуниканта 2). Но вопросы могут быть заданы и при условии, что коммуникант 3 понял все, но хочет проверить адекватность своего понимания или же просто имеет привычку (и соответствующую установку) задавать вопросы, чтобы расширить материал для своего понимания и мышления.

Чтобы сделать наш анализ более общим, предположим, что коммуникант 3 каким-то образом понял текст исходного сообщения и затем задает вопросы, чтобы проверить адекватность своего понимания (этот случай, по сути дела, тождествен тому, когда текст исходного сообщения был понят неадекватно или вообще не был понят).

Но точно так же позиция коммуниканта 3 может быть отождествлена с позицией коммуниканта 1, ибо коммуникант 3 может не только понимать текст, адресованный (по нашим предположениям) коммуниканту 2, но и имитировать мыслительную работу коммуниканта 1 по созданию исходного текста сообщения (собственно говоря, именно этим будут мотивированы его возможные вопросы к коммуниканту 1: что ты помыслил и хотел выразить? какими средствами и методами ты пользовался? и т.д. и т.п.).

В ответ на свои вопросы коммуникант 3 получает новый текст – текст 3, – который стоит в очень интересном отношении к исходному тексту. Если мы возьмем первую пару вопросов: «что ты понял в полученном тобой тексте?» и «что ты выразил в созданном тобой тексте?», то текст 3 должен будет выражать *то же самое* объективное содержание, что и текст 1, только в других формах; они будут, как это принято говорить в лингвистике, *синонимичными текстами*. И, следовательно, коммуникант 3 встанет перед задачей выявить в этих двух текстах какое-то одно и единое

объективное содержание. Но это, очевидно, весьма сложная и многокомпонентная работа: он должен понять текст 1, он должен понять текст 3, и он должен соотнести то, что понято и таким образом выявлено в тексте 1, с тем, что понято и таким образом выявлено в тексте 3.

Это соотнесение выявленного в разных текстах содержания является очень интересной и мало исследованной процедурой. Сегодня неясно даже, в каком предмете она находится – является ли она особой процедурой понимания или же принадлежит уже мышлению. Более того, неясна природа того синонимического отношения, которое связывает эти тексты. И эту сторону дела мы должны сейчас обсудить более подробно.

Поскольку коммуникант 3 задает коммуникантам 2 и 1 вопросы, касающиеся содержания исходного текста, и оба они отвечают ему именно на эти вопросы, постольку все трое могут считать, что в этих текстах выражено одно и то же, что все эти тексты тождественны друг другу по содержанию. Вместе с тем, все это разные тексты, и именно различие их является здесь главным смыслообразующим моментом (ведь повторять исходный текст здесь не имело смысла). Но раз эти тексты имеют разную форму, следовательно, они выражают разное содержание (в противном случае не имело смысла их произносить); если первый текст остался непонятым, то текст 3, наоборот, должен быть понят. Но почему тогда мы утверждаем, что все они выражают одно и то же?

Таким образом, мы приходим к *проблеме* синонимии, ставшей уже «проклятой» проблемой для лингвистики. Но это, на мой взгляд, вызвано и обусловлено лишь тем, что лингвисты принципиально неверно подходят к этой проблеме. Они пытаются рассмотреть ее естественнонаучным образом, считая синонимию не искусственно устанавливаемым нами отношением, а естественным фактом речи-языка и мысли-мышления. А это целиком отрезает все возможности разобраться в проблеме. Когда вопрос «какие выражения являются синонимическими?» ставят объектно-натуралистически, то на него (при такой постановке вопроса) может следовать только один ответ: никакие. Если два утверждения различаются хотя бы одним словом (предполагается, что это слово значимо в данной ситуации), то они уже не синонимичны. Но мы всегда можем вопреки этой объектно-натуральной несинонимичности двух выражений постулировать их синонимичность, т.е. равносмысленность, равносодержательность, равнозначность их для нас – в данной, четко определенной ситуации. Синонимичность, следовательно, является искусственно полагаемым, искусственно устанавливаемым отношением, и как таковая она осмыслена только в тех локально-временных рамках, в которых она была установлена. Иначе говоря, синонимии как объективного явления нет и не может быть, но мы устанавливаем синонимичность тех или иных выражений в соответствии с нашими практическими задачами. И чем больше различий в форме и содержании этих выражений, тем значимее устанавливаемое нами отношение синонимичности. Каковы основания и средства подобных установ-

лений – это совершенно особый вопрос, который можно обсуждать после того, как установлена конструктивно-техническая природа самих синонимических отношений.

Кстати, это еще один пример косности наших профессиональных представлений. Конструктивно-технический характер отношений синонимии был разобран и наглядно показан Г.И.Климовской [Климовская 1969] в весьма доступном для лингвистов сборнике. Но это не мешает им по-прежнему и очень упорно обсуждать парадоксы натурального представления синонимии. В этом плане М.Планк и Т.Кун совершенно правы: даже не выдерживающая критики концепция исчезает только тогда, когда вымирают ее представители и адепты.

Но я возвращаюсь к основной линии своих рассуждений. Итак, коммуникант 3 получает два или три текста, которые могут рассматриваться им как синонимичные. Вместе с тем, это – существенно разные тексты, и именно их различие задает для него тот смысл, с которым он должен работать. Ему нужно понять эти тексты – каждый в отдельности и все вместе, а кроме того, наверное, произвести еще специальную мыслительную работу по соотношению их друг с другом.

Здесь я делаю весьма смелое гипотетическое утверждение: я полагаю, что сопоставление двух или трех понимаемых нами текстов есть мыслительная работа. Но тогда мы приходим к новой весьма важной проблеме: в какой последовательности разворачиваются эти акты понимания и мышления и как они соединяются друг с другом в одно целое? Ведь человек, работающий в позиции коммуниканта 3, может осуществлять самые разнообразные деятельности: свести все к пониманию текста 3 и проигнорировать исходный текст, он может постараться понять текст 3 безотносительно к тем трудностям, которые возникли у него с пониманием текста 1, он может понимать текст 3 с самого начала в мыслительном отнесении его к тексту 1 и т.д. и т.п.

Итак, коммуникант 3 имеет дело с двумя текстами, по-разному описывающими одно и то же, он понимает каждый из этих текстов и их вместе, а кроме того, по предположению, он должен осуществлять их мыслительное сопоставление, позволяющее реконструировать общее и единое для них содержание. В последнем заключена масса тайн. Но, чтобы охарактеризовать их, я должен вернуться чуть назад и обсудить вопрос о формах мыслительной организации понимания.

В условиях работы семинара все участники проделывают (или, во всяком случае, должны проделывать) мыслительную работу. Понимание исходного текста для каждого из них есть не самоцель, а лишь момент в организации их мышления, то, что обеспечивает единство движения всех. Поэтому понимание включено в их мыслительную работу и, более того, часто является лишь формой, в которой они осуществляют мышление. Следовательно, ревизуя сделанные выше утверждения, мы должны сказать, что коммуникант 2 понимал исходный текст, молчал и мыслил. Воп-

росы коммуниканта 3 нарушили исходную линию его мышления и вывели его в рефлексивную позицию, в которой он начал осуществлять новое, рефлексивное мышление, превратившее его прошлую работу в предмет анализа. Непрерывность исходной линии мышления была нарушена, началось, по сути дела, новое мышление.

Так выглядит процесс группового мышления для коммуниканта 2. Но для коммуниканта 3 все то же самое выглядит совершенно иначе. Его вопросы (во всяком случае, так ему кажется) относятся к исходной линии мыслительной работы, и ответы коммуникантов 2 и 1 не нарушают эту линию, а наоборот, продолжают и поддерживают ее. Оба текста – 1 и 3 – лежат для него в одной линии мыслительного освоения содержания, позволяют ему строить одну и единую мыслительную деятельность.

Таким образом, проблема, которую я поставил чуть раньше – проблема связи и взаимоорганизации понимания двух разных (но рассматриваемых как синонимичные) текстов и мышления, необходимого для сопоставления их по содержанию, – оказывается на деле проблемой внутренней организации и строения того мыслительного процесса, который осуществляет коммуникант 3 в общем потоке мыслительной работы группы. Но сама эта общая проблема раскладывается на ряд подпроблем, среди которых мы можем выделить (если только это правильно и продуктивно) проблему связи и взаимоорганизации двух пониманий – текстов 1 и 3 – и мыслительного сопоставления содержаний этих текстов (с целью извлечения ответа на вопросы, поставленные самим коммуникантом 3).

И тогда мы приходим к совершенно закономерному (и очень важному) выводу, что суть дела здесь именно в вопросах, ибо они, с одной стороны, отражают и фиксируют разрывы, возникшие в развертывании процесса мышления, а с другой – определяют характер ответов и тем самым направления дальнейшего развертывания процесса мышления. И именно этим, наверное, определяются «срезы» или «векторы» мыслительной работы, задающие плоскость, в которой сопоставляются тексты 1 и 3 и формируется единое для них целостное мыслительное содержание.

Эти соображения дают нам возможность переосмыслить всю проблему и представить ее в виде единого потока мыслительной работы коммуниканта 3, развертывающейся параллельно восприятию и пониманию текста 1, работы, в которой время от времени возникают разрывы, и тогда коммуникант 3, рефлектируя их, задает другим участникам групповой работы те или иные вопросы, а полученные на них ответы использует в качестве знаний-средств, помогающих ему заполнить или преодолеть разрывы и продолжить свою мыслительную работу.

Таким образом, исходная схема трехчленной коммуникации выступает для нас в качестве основной онтологической картины, на которой мы можем строить и строим разнообразные предметные представления, в рамках которых развертываем затем те или иные предметные исследования.

В соответствии с этим мы можем и работу коммуниканта 2 представить как единый поток мыслительной работы, детерминированной и управляемой пониманием текста 1, и положить, что в ней могут возникать разрывы либо в понимании, либо в мыслительной работе, либо в соответствиях между тем и другим, которые заставляют коммуниканта 2 рефлексировать по поводу своей собственной работы и работы других, задавать соответствующие вопросы и использовать ответы для восстановления целостности своей деятельности.

При таком представлении понимание, рефлексия и мышление вновь оказываются нерядоположными, принадлежащими к разным уровням иерархии, но теперь самым «высоким» и объемлющим все другие оказывается процесс мыслительной работы, а понимание и рефлексия – лишь частичными процессами внутри него.

В принципе, это положение можно было бы сформулировать и с самого начала – ведь все определяется конечными целями работы, и если семинар собирается для осуществления мышления (а не понимания, к примеру), то именно мышление и будет тем целостным процессом, на который будут работать все остальные, но я не хотел постулировать этого в исходном пункте и поэтому задал структуру трехчленной коммуникации как некий бесспорный факт, и уже в ходе ее анализа вводил разнообразные процессы, пытался соединить и стыковать их и в связи с этим ставил разнообразные проблемы.

Однако получившаяся в результате всего этого анализа картина также ставит перед нами множество сложных методологических проблем, которые, насколько я понимаю, к настоящему времени не имеют еще решения. Обсуждая проблемы соединения и связи разных процессов, мы привыкли рассматривать их в качестве вещных частей какого-либо целого и можем осмысленно говорить либо о последовательном соединении их в цепи, либо о параллельной организации. То, что мы имеем сейчас в граф-схемах (или сетевых графиках), есть, по-видимому, предел, которого мы достигли. Идея иерархически организованных процессов может обсуждаться сейчас на чисто вербальном уровне, но нет никакого удовлетворительного языка, на котором ее можно было бы конструктивно и оперативно реализовать в применении к какой-либо реальной совокупности процессов.

К этому добавляется проблема соотношения процессуальных, структурных и конструктивно-организационных представлений. Мы начали анализ со структурной схемы трехчленной коммуникации, а затем в связи с ней стали обсуждать проблему процессов и их стыковки друг с другом. При этом была осуществлена сложная переинтерпретация исходной схемы, но без достаточного методологического осмысления самого этого факта. Вопрос заключается в том, что именно изображает эта схема, и не только в плане категориальных характеристик, но и в плане чистой предметности и объектности. Ведь сначала мы говорили, что это – структура коммуникации, потом стали интерпретировать ее части как фиксирующие разные

интеллектуальные процессы – понимание, рефлексиию и мышление, – а в конце концов пришли к необходимости трактовать ее как задающую единый процесс группового мышления. Очевидно, что каждая из этих интерпретаций задавала свои особые границы предмета и объекта: структура коммуникации – это одно, связка разных (и притом иерархизированных) интеллектуальных процессов – другое, а единый поток группового мышления – третье. И опять-таки переходя от одного, к другому и третьему, мы не фиксировали это сознательно как сложные процедуры перепредмечивания и не отрабатывали логику этих преобразований, а полагались лишь на свою содержательную интуицию. Но именно это, наверное, и породило те сложные проблемы, перед которыми мы сейчас остановились. Нельзя разрабатывать дальше теоретико-деятельностную и теоретико-мыслительную тематику, не производя сознательного анализа всех этих проблем и не продвинув вперед системно-структурную методологию.

Конечно, сейчас я не могу всерьез обсуждать все эти проблемы, но некоторые соображения на этот счет нужно будет изложить, чтобы сделать понятными дальнейшие ходы мысли.

Структурное изображение объекта (или, что то же самое, структурная схема в рамках системного предмета) дает нам своеобразный *инвариант* предметного представления; наверное, можно было бы сказать, что это – скелет объекта, а все остальное (такова пока логика и нормы нашей мыслительной работы) наворачивается на нее. Именно структурная схема задает *ядерную целостность* и внутреннее *единство* объекта, причем это происходит независимо от того, какие именно из процессов, конституирующих объект, актуализируются и как они актуализируются. Именно поэтому в современных исследованиях деятельностных объектов мы стремимся прежде всего построить структурную схему объекта, и если нам это удастся, то считаем свою познавательную задачу в какой-то мере уже решенной (во всяком случае, в конструктивно-техническом и организационном планах).

Однако такое структурное представление даже с конструктивно-технической точки зрения является весьма неполным и слабым: наша цель всегда состоит в том, чтобы воспроизвести *действующий* объект – функционирующий, развивающийся и т.п., – одним словом, процессуальный. Однако до сих пор между процессуальными и структурными представлениями объекта существует пропасть. Процессуальные представления не признают никакой структуры, а вместе с тем никакой ограниченной целостности объекта. Изображения процессов являются, как правило, параметрическими, законы, фиксирующие процессы, являются абсолютными. Процессы выступают как целостные и имманентные объекты, всякое отнесение их к определенным структурно-фиксированным объектам является проблемой.

Я специально говорю обо всем этом, чтобы подчеркнуть, что соотношение структурных и процессуальных объектов является сравнительно

новой задачей, требующей своего решения (впервые она была поставлена со всей остротой в 80-ые годы прошлого века в химии, в дискуссиях между Бутлеровым, с одной стороны, и Менделеевым и Меншуткиным – с другой; в технике она всплыла, конечно, раньше, но не приобрела там отчетливо выраженной теоретической и методологической формы, ибо решалась на уровне искусства и практики обычными композиционными приемами и процедурами). Но сейчас ни наука, ни техника не могут развиваться дальше достаточно быстрыми темпами именно из-за того, что не решена в общеметодологическом и логическом планах эта проблема соотношения структурных и процессуальных представлений объекта, в частности – деятельностиного объекта.

Именно с этой проблемой мы и сталкиваемся, когда начинаем обсуждать связь процессов понимания, рефлексии и мышления в групповой работе. Если мы начинаем анализ с изображения структуры трехчленной коммуникации (я не обсуждаю пока вопрос о том, с чем мы реально имеем дело – со структурой или с организованностью), то сталкиваемся с проблемой подключения к ней процессуальных представлений понимания, рефлексии и мышления (естественно, взятых в их связях друг с другом). Если же мы начинаем с процессуального представления мышления, то сталкиваемся с проблемой, как включить потом в это процессуальное представление структурные изображения коммуникации и характерных для нее процессов или же (что, по сути дела, есть другой вариант того же самого) как с самого начала построить такое изображение процесса мышления, которое бы допускало и предполагало включение в него структурных схем коммуникации и всех тех процессов, которые специфичны для нее.

Таким образом, мы приходим к двойной постановке более общей проблемы: в первом заходе она формулируется как проблема «коммуникация и мышление», во втором заходе – как проблема «мышление и коммуникация».

Так может быть очерчен этот круг проблем в самом общем виде. И он еще ждет своего решения. А пока мы продвигаемся в решении частных предметных проблем, используя разного рода системно-структурные и типологические суррогаты. Как правило, они построены на двоякой – структурной и процессуальной – интерпретации исходных схем.

Так, в частности, вводя организационно-структурную схему трехчленной коммуникации, мы затем производим ее *процессуальную интерпретацию* соответственно, во-первых, порядку зарисовывания самой схемы: сначала идет процесс мышления и построение текста 1, затем – процесс понимания этого текста коммуникантом 2, еще дальше – процесс рефлексии и т.д., а во-вторых, квазиматериальной интерпретации отдельных элементов схемы как интеллектуальных процессов определенного вида и типа.

При этом обнаруживаются весьма существенные и характерные различия в интерпретации разных процессов относительно исходной схемы. Для одних организационных элементов нам не нужны никакие

порождающие процессы – например для коммуникантов 1, 2 и 3: мы считаем их уже существующими и заданными; для других, наоборот, нужны порождающие процессы – так получаются все тексты, причем, мы полагаем, что эти процессы производятся коммуникантами (хотя могли бы считать, что они просто происходят, захватывая коммуникантов). Затем происходит весьма характерный перелом (в этой точке организационные и структурные схемы как бы расслаиваются и расходятся): процесс рефлексии «порождает» новые места – 2', 3', 1' и т.д., причем подчеркивается, что наполнения остаются теми же самыми, что символизируется особой маркировкой новых мест.

В силу этого процесс рефлексии можно рассматривать уже не как порождающий и констатирующий исходную структуру, а как развертывающий и развивающий ее (хотя, в принципе, основания для такого различения и разведения этих процессов остаются неясными). Кроме того, в чисто словесном описании приходится фиксировать целый ряд процессов, которые развертываются уже по поводу этой структуры в объемлющих ее системах (в частности, именно так может фиксироваться и первоначально фиксируется сама рефлексия до того, как мы локализуем ее в местах 2', 3', 1').

Таким образом, все процессы в этом движении задаются *на* исходной структуре и *через нее*. А следовательно, и стыковка их друг с другом происходит через структуру – на ее материальных элементах и через эти элементы. И нам остается, по сути дела, только одно – найти естественно-объектные объяснения для этих связей и стыковок. А затем включение этих частных процессов в общий процесс – скажем, в процесс групповой мыслительной работы – будет происходить путем процессуальной интерпретации всей этой структуры в целом. (Конечно и здесь надо будет удовлетворить массу формальных требований, например требованию взаимобратимости процедур разложения и сборки, но это уже дело дальнейшей методологической проработки всей схемы.)

Рефлексия, понимание и мышление в групповой интеллектуальной деятельности *

1.

Интересные и принципиальные замечания, которые сделал сейчас В.В.Давыдов, заставляют меня точно так же сделать маленькое методологическое введение, чтобы пояснить метод моей работы и, вместе с тем, показать, что, действительно, самой важной и принципиальной во всей нашей работе является проблема триединства логики, социологии и психологии, о которой говорил В.В.Давыдов.

Для того чтобы сразу же ввести всех вас в ситуацию, я, несмотря на предупреждение Василия Васильевича, рискну задать один вопрос: а кем будет тот триединый «комплексант», который сможет синтетически рассматривать проблему мышления? По какому ведомству он будет прописан? И, как говорил в 1959 г. Н.И.Жинкин, где, собственно, он будет получать зарплату?

И оказывается, что ответить на этот вопрос не так-то просто и что проблема комплексного триединого, или четырехединого, или пятиединого подхода к изучению мышления отнюдь не совпадает с историей нашей Комиссии. Эта проблема была поставлена значительно раньше и (замечание к будущим историкам советской психологии) мне представляется, что история школы Выготского во многом была историей именно этой проблемы. И развал школы Выготского (а я бы именно так характеризовал эту историю) был обусловлен прежде всего тем, что не было дано ответа на вопрос, кем же будет этот триединый комплексант.

Ибо, как вы все хорошо знаете, проблему связи психологии мышления с логикой и социологией поставил очень дерзко и красиво именно Выготский. И за это же его ругали его ученики в 30-е годы, обвиняя в том, что он предал дело психологии и перешел на позиции логики. И они, как вы хорошо знаете, *вернулись* на позиции психологии мышления, и, может быть, именно поэтому (о чем здесь говорил Василий Васильевич) мы сейчас *ничего* не имеем. <...>

Но эта длинная история говорит о том, что проблема еще сложнее, чем о ней говорил Василий Васильевич. Если где-то в академических кругах вашу позицию, Василий Васильевич, оценивают как пессимистическую, то я бы сказал, что она слишком оптимистична. Потому что мы до сих пор не можем дать в общем виде ответа на вопрос, каким же будет этот комплексный анализ и будет ли он собственно научным. Чтобы обо-

* Доклад на Комиссии по психологии мышления и логике (НИИ общей и педагогической психологии АПН, 29 октября, 6 и 13 ноября 1977 г.). Фрагмент этого доклада публиковался дважды – [Щедровицкий 1998, 2004].

стричь ситуацию, я рискнул бы сказать, что такой триединый подход *в принципе* невозможен.

Его не будет, поскольку его не может быть *никогда*. Более того, психологу, если это кондовый, институционализованный психолог, абсолютно не нужны ни логические, ни социологические исследования; а социологам – точно так же – не нужны психологи и логики; а логикам – психологи и социологи. Каждый из них марширует в своем «коридорчике», *абсолютно* не интересуясь тем, что происходит в соседних «коридорах». И он прав, поскольку, даже если бы он стал всем этим интересоваться, он все равно бы не знал, что с этим делать. А если он заинтересовался этими вопросами (бывают и такие изгои) и попробовал все это как-то совмещать и комплексировать, то его бы тотчас же вытолкнули из его коридорчика, побили бы, а дальше сказали бы, что никаких результатов у него нет и что никакого нового метода он не придумал.

Поэтому этот сложный вопрос заставляет нас не только размышлять о нем, но и волноваться и переживать. И если все-таки кому-то удастся осуществить триединство и комплексность, то это будет один, однородный исследователь, а вовсе не триединый социо-психо-логик. Он будет кем-то другим, третьим, четвертым, но в нем (если он начнет делать свое дело по-настоящему) уже не будут видны эти его составляющие компоненты. <...>

Первый мой тезис, во многом совпадающий с тем, что я говорил во вступлении, состоит в том, что мы до сих пор *слишком упрощенно подходим* к представлению мышления как объекта или как объективного процесса. Этот тезис отнюдь не нов, и на протяжении последних двадцати лет в Комиссии постоянно обсуждались те или иные претензии к существующим представлениям и выдвигались какие-то новые модели. Одной из таких моделей была модель многоплоскостного процесса, или (в 50-е годы) иерархической структуры, построенной на отношении замещения. Она была опубликована 20 лет назад. Следующим шагом была трактовка мышления как деятельности, т.е. как структуры, распределяющейся в пространстве социальности и культуры и предполагающей нормировку и определенные отношения к реализации норм.

Я хочу развить тезис об ограниченности наших представлений в двух тесно связанных между собой направлениях. Первое, что я хочу подчеркнуть, это те отождествления рефлексии, мышления и понимания, которые имели и имеют место в исследованиях мышления. Второе – это отсутствие органической связи между представлениями интеллектуальной деятельности и коммуникации.

Итак, первый пункт. Если мы взглянем на 25-летнюю историю исследований интеллектуальной деятельности в нашей стране, то увидим, что как только в методологии выдвигается новая концепция, определенным образом трактующая интеллектуальную деятельность, так все предметные исследования поворачиваются (медленней или быстрей) за этой

трактовкой и начинают трактовать интеллектуальную деятельность соответственно этому методологическому направлению. Так, когда в 50-е годы в методологии начались разработки структурных схем мышления, то, фактически, вся интеллектуальная деятельность трактовалась как мышление, т.е. вся интеллектуальная деятельность сводилась к мышлению. Создавалось представление, будто кроме мышления вообще ничего нет.

Когда с середины 60-х годов в методологии на передний план выдвинулась и начала интенсивно разрабатываться рефлексия, то довольно скоро в социологии, в философии, а потом и в психологии начались трактовки интеллектуальной деятельности как рефлексии. Если вы возьмете последние работы Швырева, Лекторского и др., которые проходят по ведомству философии, то вы увидите, что слово мышление совершенно уже не употребляется, а говорится о рефлексии. И это стало главной темой соответствующих проработок. То же происходит и в психологии. Появляются специальные исследования, где рефлексия рассматривается как таковая, вне мышления и вне понимания.

Как только возникла методологическая и онтологическая модель понимания, так все те факты, которые мы раньше имели по поводу интеллектуальной деятельности, начали прорабатываться в русле этой модели.

Таким образом, на первом этапе интеллектуальная деятельность сводится к мышлению, и нет более ничего, на втором этапе – к рефлексии, и нет больше ничего, на третьем – к пониманию, и опять-таки нет больше ничего. Очень важно, что одни и те же факты интеллектуальной деятельности в первом случае интерпретируются через мыслительные модели, во втором – через модели рефлексии, в третьем – через модели понимания. В принципе, это не так уж и страшно, если рассматривать все это как увлечение какой-то новой точкой зрения или новым подходом – это даже необходимо и естественно. И если бы вслед за этим увлечением шла действительно детальная проработка соответствующих понятий – мышления, рефлексии или понимания – на предметном уровне, <...> и если бы за этим следовали поиск и анализ фактов, или эмпирии, соответствующей этой новой модели, то тогда такое продвижение было бы вполне оправданным и продуктивным. И развитие этих исследований привело бы к тому, что соотнесенные с соответствующим материалом и проработанные категориально все эти представления о мышлении, о рефлексии или о понимании взаимно ограничили бы друг друга и привели бы к созданию какого-то, скажем, триединого или объединенного представления обо всех этих процессах, как они происходят вкупе. Или, во всяком случае, поставили бы этот вопрос, заставили бы ограничить эти представления и как-то соотносить их друг с другом.

Но дело в том, что ничего этого не происходит, а каждый раз лишь по-новому проговариваются уже известные факты. И возникает то явление, о котором говорил Василий Васильевич: все это крутится. Или буксует.

Почему все так происходит? Почему разноплановые представления об интеллектуальной деятельности не приводят нас к постановке вопроса о связи между мышлением, рефлексией и пониманием?

Здесь я вынужден перейти ко второму пункту. Нет, грубо говоря, онтологического пространства, в которое мы могли бы поместить один, другой и третий процессы и как-то их увязать. Такого онтологического пространства нет потому, что интеллектуальная деятельность рассматривается как индивидуальный, или индивидуализированный, процесс. До тех пор, пока мы рассматриваем интеллектуальную деятельность как деятельность индивида, до тех пор мы не сможем связать между собой мышление, рефлексиию и понимание. Я бы даже рискнул сказать, что когда мы рассматриваем деятельность индивида, то между мышлением, рефлексией и пониманием нет и в принципе не может быть различия. Они не могут быть разведены и растянуты. Это будут просто разные названия для обозначения одного и того же. Иначе говоря, это различие дифициентно по отношению к индивидуально представленным мышлению и деятельности.

Почему же, несмотря на все разговоры о социальной природе мышления или (я теперь буду обобщать) о социальной природе интеллектуальной деятельности, последняя по-прежнему рассматривается вне коммуникации? Это, на мой взгляд, серьезный исторический и культурный вопрос.

Для того чтобы были понятны все мои дальнейшие рассуждения на этот счет, я должен построить «сказочку», «картинку», как я все это вижу.

С моей точки зрения, понятие индивидуальной деятельности есть нонсенс. Деятельность в принципе не может быть индивидуальной. Деятельность соединяет поведение приматов в очень сложные структуры, которые уже не раскладываются на части. Когда мы работаем частями, мы имеем *поведение* приматов. А когда мы говорим о *деятельности*, то это то, что образует структуру связей между их поведением. Деятельность в отличие от поведения всегда носит групповой, комплексный характер, и поскольку ее специфика заложена в самой структуре, постольку разложить или разорвать ее нельзя в принципе.

Не человек порождает человеческую деятельность, а рождается деятельность как структура или как система, и благодаря этому в ней и под ее влиянием появляется человек. А дальше начинается как бы обратный процесс. Эти сложнейшие структуры деятельности приходится осуществлять все меньшему числу носителей. Начинается индивидуализация. Таким образом, не из индивидуальных деятельностей складывается (в логическом и историческом плане) деятельность коллективная, а наоборот, индивидуальная деятельность есть результат совершенно особого развития структур деятельности, когда процесс направлен на индивидуализацию. И тогда может сложиться, обратите внимание, не часть, а особое определение этих структур, которое и есть формирование индивидуальной деятельности.

Но индивидуализация вначале происходит не на уровне деятельности (этого в принципе не происходит никогда, и даже сейчас мы этого не имеем), а на уровне мышления. Для того чтобы произошло выделение человека как индивида, должен осуществиться один сложный процесс, а именно: у этого носителя фрагментов «размазанной» деятельности должны сложиться средства имитации всего целого. Эти средства имитации целого через индивидуальность и есть мышление. Это, конечно, не определение мышления, а только его характеристика. Когда этому носителю надо имитировать целостную деятельность, осуществляемую коллективом, представить себе ее и как бы проиграть, тогда и появляется его индивидуальная деятельность, которая существует в форме мышления. Он не коллективную деятельность всей группы осуществляет, а он ее имитирует, причем один, индивидуально. И мышление выступает как индивидуализированная имитация.

А дальше происходит очень примечательная вещь. Индивидуальная деятельность возникает из условия воспроизводства деятельности в формах фиксации ее в нормах культуры и т.д. Деятельность осуществляют все вместе, сообща, а вот учиться деятельности приходится каждому в одиночку. Поэтому коллективная, принципиально структурированная деятельность получает отображение (в своих фрагментах) в нормировании, в системе культуры, и именно это вкладывается в индивида.

Такова «сказочка», которая дает вам возможность понять основания моих рассуждений. Такую историческую картиночку я вижу.

Таким образом, деятельность *не складывается* из индивидуальных деятельностей, а наоборот, сама индивидуальная деятельность возникает в ходе длительного исторического развития как особая *форма* фиксации и организации деятельности для ее воспроизводства. Появляется индивидуальная деятельность очень поздно, т.е., по-видимому, уже во времена писаной истории, и, может быть, даже в этой писаной истории можно обнаружить куски, когда никакой индивидуальной деятельности нет, точно так же, как нет личности. Личность вообще появляется только в эпоху Возрождения. По этому поводу рекомендую всем прекрасную, на мой взгляд, статью И.Кона в восьмом номере «Нового мира». Это единственная в нашей литературе мало-мальски грамотная работа про личность. Когда ее читаешь, нет ощущения, о котором говорил Василий Васильевич, что все это допотопные пещерные времена. В этой статье даны все современные представления о личности и истории ее возникновения.

Мне важно только одно: нормировки воспроизводят и закрепляют то, что мы называем индивидуальным мышлением.

Я подытожу эту картинку. Итак, нет индивидуальной деятельности. Деятельность всегда носит групповой, или коллективный, характер. Но в условиях, когда коллектива нет, возникает индивидуальное мышление. Это есть, фактически, особая форма организации отправления деятельности.

И это индивидуализированное мышление закрепляется и воспроизводится в соответствующих нормах. Почему мы все уверены, что существует индивидуальное мышление? Почему оно действительно существует? Да потому, что в организации мыслительных процессов и в их нормировке все это именно так распределено и разведено. Нам надо было представить мыслительную работу как индивидуализированную, дабы ее можно было воспроизводить, и она, действительно, таким образом воспроизводилась и, соответственно, нормировалась.

Теперь я делаю второй очень сложный переход. Итак, в основе всего лежит нормативная работа, конструирование норм. А установка, лежащая в основании организации нормированного мышления, состоит в том, чтобы нормировать и организовать каждого отдельного индивида. <...>

Этот путь ориентированной на индивида нормировки и делает мышление индивидуализированным. Мы представляем мышление как индивидуальный процесс, потому что у нас принята такая форма нормировки мыслительной работы, нормировки и воспроизведения.

Это есть социотехнический факт, против которого бессильны все хорошие идеи. И сколько бы вы не говорили, что мышление – это принципиально коллективная деятельность, все это абсолютно бессмысленно, поскольку тип культурного оформления и тип нормировки в воспроизводстве ориентированы на индивида, на методы индивидуального обучения мышлению и на осуществление индивидуального процесса.

В реальности коллективное мышление может быть и бывает. Но только до сих пор оно никогда не нормировалось. До последних десятилетий просто не было такой задачи. Задача нормирования коллективной *производственной* деятельности была. Представления о коллективной кооперированной деятельности были испокон веков. А вот коллективной мыслительной деятельности не было, потому что не было нормировки ее как коллективной деятельности.

И вот тут начинается проблема: марксизм и психология. Очень интересная проблема. В этом плане исключительно интересны работы С.Л.Рубинштейна. Его статьи 1934 г. я читаю снова и снова с *неослабевающим* интересом, каждый раз открывая новые аспекты.

Причем, читаю я так: с одной стороны – Рубинштейн, а с другой – Маркс, на которого он ссылается. Я рекомендую всем прочитать их именно так. Прочитать для того, чтобы понять, каким образом осуществляются трактовки и интерпретации. Можно потом продумать: а почему они так осуществляются и как вообще возможны такие интерпретации? Кстати, это опять же интересно сравнить со статьей Кона. Рубинштейн и Кон читают один и тот же текст, а интерпретируют его диаметрально противоположным образом. Факт сам по себе достойный изучения. Почему это происходит? Давайте восстановим картину.

Маркс был методологом. Перед ним – и в рукописях 1845 г., и в «Немецкой идеологии», и в рукописях 1857–1859 гг. – стояла задача...

Давыдов В.В. Почему Маркс был методологом?

Потому что его интересовало, как мышление существует *на самом деле*, по истине. А кто, собственно, ставит вопрос об истине? Один лишь методолог – за счет своей критической роли. Дело в том, что теория и истина всегда направлены против существующей практики. Вопрос о том, что существует по истине, ставит тот, кого не устраивает практика. Тогда он говорит: хотя вот тут, в реальности все это так, на самом деле это совсем иначе. И когда Маркс обсуждает этот вопрос о «на самом деле», он и пишет нам, что мышление коллективно, как и всякая деятельность. Это все попадает в XX в. к психологам, которые работают на существующих нормировках мышления и твердо знают, что мышление должно осуществляться индивидуально. И нормировка должна быть индивидуальной. И учить мышлению надо индивидов. Даже если в классе сидит сорок «гавриков», все равно учат каждого в отдельности. Каждого отдельно, хотя и всех вместе.

И тогда психолог типа Рубинштейна встает перед сложнейшей проблемой: у него есть социальная практика – раз, его психологические представления – два, и представления К.Маркса – три. Перед ним не стоят революционные задачи, или задачи практической перестройки практики, той, которая есть, в соответствии с истиной. Ему надо решить только одну, вторичную задачу, а именно: как все эти высказывания К.Маркса приспособить к тому, что есть? И он делает это блестяще. Если не читать Маркса, то можно, действительно, подумать, что он обсуждал проблему, каким образом личность осуществляет мышление. Но Маркс обсуждал совсем другие, прямо противоположные проблемы. У него были вообще совершенно другие задачи: построить идеальный объект. А психологу Рубинштейну надо исследовать *эмпирию* и иметь предмет, который на эту эмпирию ложится. Потому что если не будет такого предмета, то как же вести эмпирические исследования?

По сути дела, я отвечаю на вопрос, почему – с широкой исторической и социокультурной точки зрения – у нас существуют представления об индивидуальном мышлении. Потому, что у нас есть такая нормировка. И в этом заключается сермяжная правда. Можно сколько угодно не соглашаться с А.Н.Леонтьевым, который, практически, делает то же, что и Рубинштейн, т.е. переворачивает то, что писал Маркс. Но бессмысленно пытаться показывать: «Вот, смотрите, Маркс писал то-то, а вы трактуете *прямо противоположным* образом», – потому что они-то знают, *что* они делают. Они знают, *зачем* они это делают и каким образом делают.

Эта социотехническая правда оказывается значительно сильнее любых теоретических представлений об истине. Она заставляет все истинные представления трактовать и интерпретировать совершенно иным образом. В этом есть *практическая* необходимость, порожденная существующей практикой осуществления психологических исследований на базе социальной, культурно сложившейся нормировки мышления и деятель-

ности. Они ориентированы на индивидуальное отправление процесса. И сколько бы вы не говорили, что этот процесс – коллективный, это ровно ничего не даст. Поскольку нормировки – индивидуальные.

Давыдов. Как вы могли бы подвести итоги? В двух словах – что вы утверждаете?

В этом куске я объясняю, откуда ведут свое начало и как сложились представления об индивидуальной мыслительной работе и почему, несмотря на то, что писал Маркс и другие, психологи и педагоги продолжают исследовать *индивидуальное* мышление. Я говорю, что с социотехнической точки зрения мышление действительно было индивидуальным, ибо мы его так нормируем и, следовательно, воспроизводим, но что по истине оно *не* индивидуально, а коллективно...

Давыдов. ...

Поскольку в процессе воспроизводства мыслительной работы нормировка идет через индивидуальный процесс – а именно так нормирует логик, – постольку мышление и выступает в своих индивидуализированных формах, предстает как индивидуальное.

И дело не в том, что происходит распределение (вопрос о распределении никто не ставит), а просто берут представление о «мышлении вообще» и это «мышление вообще» нормируют. Нормируют процессы решения задач.

Спрашивается: «Кем?». Отвечают: «Это безразлично. Человеком. Индивидом». – «На каком месте в структуре группы находится человек, решающий задачу?». – «Помилуйте, о чем вы говорите? Просто мышление. Просто процессы решения задач. Просто рассуждение». – «Какое рассуждение? Чье? На каком месте в группе? С какой профессиональной позиции?». – «Да о чем вы говорите? Мышление – оно же “мышление вообще”. Оно абсолютно».

Происходит *определивание*. Но в этом определивании мышление, можно сказать, деиндивидуализировано. Оно оторвано от носителя. Но так как воспроизводство относится к индивиду и индивида учат решать задачи не в группе, а в одиночку, рассуждать не в группе, в определенной роли, а в одиночку, то это всегда индивидуализирует процесс. А так как мы дальше уже осознаем реальные мыслительные процессы через их нормы, все это выступает как индивидуальное.

Анисимов О.С. Георгий Петрович, вы предполагаете исходные индивидуальные нормировки для обеспечения коллективной нормировки?

Нет, эта норма не имеет никакого отношения к группе и не может обеспечить групповой коллективной деятельности, поскольку тут вообще нет группы, нет развития. Группа как носитель всего этого не фиксируется и не учитывается напрочь. Поэтому я спорю с Василием Васильевичем и говорю: не распределение, а совсем другой процесс. Произошло *опреде-*

ливание понятия «мышление вообще»... деиндивидуализированного, без носителя. Нормы некоторого процесса рассуждения погружают на индивидов в процессе обучения. А нормировки другой деятельности просто нет.

Давыдов. ...

Есть необходимость распределять функции.

Давыдов. Но если это будет повторяться, т.е. разные индивиды будут выполнять разные функции, то, следовательно, это будет распределением функций?

Да, конечно. И это необходимо. Но ничего подобного никогда не было. Не было анализа мышления, ориентированного на то, чтобы потом произвести распределение функций.

Интерпретация и координация происходят за счет того, что у всех одна норма одного процесса мышления. И они, фактически, должны все вместе делать одну работу. В принципе-то, они все лишние, потому что группы не надо, а достаточно было бы одного, способного проделать весь этот процесс. Множество оказывается нужным тогда, когда этот один заминается. И никакого изначально данного распределения функций, когда каждый из них тянет свою роль, как в оркестре, попросту нет. Все выстроено последовательно, как в «Болеро» Равеля: сначала эти такты один инструмент исполняет, затем *то же самое* делает другой инструмент и т.д. Все по очереди.

Давыдов. Непонятны основания для подобного утверждения.

Основания – это работа нашего семинара. *Что* происходит на нашем семинаре? Действительно, совсем не то, что мы привыкли видеть. У нас на семинаре происходит *групповая интеллектуальная* деятельность в подлинном смысле этого слова (это единственное такое место в Москве, которое я знаю) – с другими принципами организации работы. И основанием для меня является наличие этого феномена. (Я знаю по некоторым работам, что у американцев тоже есть подобная организация групповой интеллектуальной работы; она называется «синектика» и подчиняется совсем иной логике.)

Таково мое основание. Но чтобы показать его суть, мне приходится объяснять, какая работа происходит в других местах, скажем, на ученых советах или на конференциях.

Давыдов. И все-таки в работах Маркса проводится большой анализ разделенной, совместной и, в частности, всеобщей деятельности. Кстати, он различает совместную и всеобщую деятельность. Правда?

Конечно.

Давыдов. Имеет ли связь с вашим изложением тот анализ, который проводится в этом плане у Маркса?

Имеет.

Сазонов Б.В. ...

Я понял. Конечно же, выражение «индивидуализированная» неточно и двусмысленно, ибо оно создает представление об индивидуализации. Оно искусственно. <...>

Дидактически, я должен бы вам сказать: сейчас я вам покажу, что процесс группового мышления не линейен, а представляет собой сложнейшую структуру, где нет ни начала, ни конца, каждый ведет свою линию и т.д. Я бы должен был построить модель коллективного мышления и сказать: давайте попробуем все это нормировать. И тогда оказалось бы, что каждого участника надо нормировать отдельно, подобно тому, как, например, пишется партия для каждого инструмента. Один на этом месте осуществляет одно мышление с одной логикой, другой – совсем другое мышление с другой логикой, третий – с третьей. Каждого надо нормировать, и тогда они создадут «концерт», называемый коллективной мыслительной работой. Но ведь этого нет. Больше того, если вы вдумаетесь, вы поймете несуразность всего этого. Как, например, вас, Василий Васильевич, начнут *готовить* со студенческой скамьи к исполнению роли директора института? А вдруг вы им не станете? Поэтому вы должны уметь осуществлять «мышление вообще», *любое* мышление, независимо от того, на каком месте социальной иерархии вы будете.

Давыдов. Но потом-то это происходит.

Это и раньше происходит, но дело в том, что сам замысел несуразен. У нас же принцип демократический: всем равные возможности. Значит, их всех будут учить одному и тому же: «мышлению вообще». Поэтому создается норма «мышления вообще».

Давыдов. ... Маркс показал, что подлинно всеобщий труд – это духовный труд. <...> Соединимо ли с этим представление о том, что для ассимиляции всеобщего каждый индивид должен обладать духовностью особого рода? <...>

Конечно, но я-то говорю совсем про другое.

Давыдов. Про что же? Я хочу понять.

Маркс был великий ученый, философ и т.д., и он говорил много разных вещей, и, кстати, все, что про него пишут Рубинштейн и Леонтьев, у него тоже было. Если вырвать из контекста отдельные фразы, то можно их и так проинтерпретировать.

Но давайте эту проблему поставим со всей резкостью. Итак, человек должен получить родовую способность. Каким образом она обеспечивается? За счет всеобщих форм. Это было величайшим достижением евро-

пейской цивилизации. За счет этого мы и имеем весь тот прогресс, который мы имеем. И человека надо обучать «мышлению вообще»...

– А разве в школах учат мышлению?

В некоторых учат. Итак, создается «мышление вообще». И мой пафос состоит в том, что эти формы «мышления вообще» могут одинаково осуществляться как одним индивидом (он может осуществить весь процесс мышления), так и двумя, тремя и т.д. Всегда – как один линейный процесс соответственно этой норме. И из всего этого напрочь выпадает то, что называется групповой интеллектуальной деятельностью, и то, что реализует наш семинар или группа синектиков в США, т.е. эффект наличия группы, нормой не учитывается.

Анисимов. Георгий Петрович, вы индивидуальные нормировки прикрепляли к индивидам и не рассматривали эти нормировки во всеобщей функции?

Рассматривал, и, больше того, именно за счет всеобщности норм и происходит индивидуализация.

Анисимов. Вы рассматриваете недостатки этого прикрепления нормы?

Я вообще ничего не оцениваю. Я говорю: так есть. А хорошо это или плохо – это не моя роль. Я не берусь судить об этом.

Анисимов. Тем самым вы утверждаете, что если эти нормы сделать всеобщими, то простое присвоение такой нормы будет достаточным для осуществления коллективного мышления?

Нет. И поэтому коллективное мышление не нужно. А группа, осуществляющая коллективное мышление, есть урод.

Анисимов. Но для того чтобы они совместно работали, каждый из них должен усвоить эти нормы.

Если все они усвоят и каждый может сделать в одиночку, то не нужно будет группы. От того, что мы станем мыслить хором (все сидим рядками и осуществляем один и тот же процесс мышления), с этим процессом ничего не произойдет. Он все равно будет один. А поэтому, если здесь сидит 99 человек, то 98 могут уйти без ущерба для дела.

– ...

Я понимаю. Я сам, когда начинаю об этом ретроспективно думать, никак не могу представить себе, что же получается. Получается, что все разговоры о групповой интеллектуальной деятельности – это болтовня, фуфло, ибо при существующих системах нормировки нет и не может быть никакой групповой интеллектуальной деятельности. Она не нужна. Она

вредная. Ибо максимум, что может сделать группа – это хором прошагать один и тот же интеллектуальный процесс. Больше того, ведь на этом построена вся популятивность человеческой системы. Каждый должен сидеть у себя в кабинете, а совсем не по 5-8 человек в одной комнате, и делать свою индивидуальную мыслительную работу. Индивидуальные процессы всегда популятивны. Не может быть коллективных...

Давыдов. Тиражированных.

Не надо их тиражировать.

Давыдов. Как не надо, когда это делается?

А то, что делается, то, что люди делают одну и ту же работу, так это от богатства. Потом чья-то работа идет в дело, а остальные выбрасываются в мусорную корзину.

Анисимов. Георгий Петрович, за счет чего осуществляется трансляция коллективных нормировок?

Куда вы скачете? Никаких коллективных нормировок. Есть индивидуализированная, обезличенная нормировка. Одна. Вспомните мою статью о популятивных системах [Щедровицкий 1976 а]. Там на уровне нормировки одно, всеобщее мышление, а на уровне реализации – каждый осуществляет свой индивидуальный популятивный процесс.

Анисимов. Все правильно. Но вы же противопоставляли две нормировки....

Олег, о второй не говорилось еще ничего.

Алексеев И.С. Георгий Петрович, а не кажется ли вам, что в такой частичной нормировке и индивидуальной реализации все-таки имеет место одно вполне жесткое распределение функций в индивидуальном мышлении?

Какое именно?

Алексеев. Индивидуу вовсе не обязательно полное мышление осуществлять. Он может включиться там, где остановился другой.

Я вам очень благодарен, Игорь Серафимович. Давайте продолжим и разыграем эту мысль. Итак, при такой всеобщей нормировке история может идти только черепашьими шагами. Если и возможен какой-то тип кооперации, то один должен закончить свою работу, упереться в тупик, остановиться, а следующий начнет тянуть эту ниточку мышления после него.

Алексеев. Нет, они разветвляются.

Они не могут разветвляться. Они распадаются на разные процессы мышления, и каждый начинает тянуть свой.

Вот и получается ситуация: социологи – свое мышление, а психологи – свое мышление. Продолжим дальше: один психолог – свое мышление, другой – свое. И не только свое, но и *про* свое. Свое мышление как объект. Сколько психологов, столько объектов изучения.

– Этот факт противоречит вашим утверждениям. Если нормы всеобщие, то реализации должны быть индивидуальными...

Очень просто. Поскольку есть творческий момент в каждом процессе мышления. Если бы все то, что творится в этом процессе мышления, было запрограммировано в культурной норме, то не нужен был бы процесс мышления. А поскольку они все, реализуя одну норму, мыслят, между прочим, по-разному и про разные мышления, то при таких формах организации процесса мышления (мы переходим к парадоксальной вещи, очень интересной для науковедов) и не может быть единой работы ученых в рамках одного предмета. А например, физики, в отличие от психологов, преодолели всеобщие формы мышления и начали мыслить как-то совсем иначе – групповым образом с распределением функций.

Давыдов. Вы всеобщее понимаете как одинаковое, совпадающее?

Нет. Гегель был, конечно, великий мыслитель, но он не знал некоторых вещей, которые мы знаем благодаря ему, стоя на его плечах. А именно: он не знал разницы между планами нормировки и реализации. Я же сейчас все время работаю в схемах деятельности. Возьмите гегелевскую философию по поводу языка и мышления. Ведь там совершенно не учитывается различие между нормами и их реализацией. Все это склеено. От Гегеля и нельзя требовать, чтоб он это понимал. Всеобщая нормировка существует на уровне норм культуры, и я показываю, что такая всеобщая нормировка, если бы она была реализована идеально, вела бы к предельной индивидуализации процессов мышления. Всеобщая нормировка (в силу тезиса всеобщности) на другом полюсе имеет предельную индивидуализацию мышления. Нужда в коллективном мышлении возникает за счет расщепления планов нормировки и реализации.

– ...

Нет. Коллективное мышление – это урод, который складывается сам по себе, непонятно почему и как отрицание индивидуального мышления. Я обсуждаю сейчас вопрос о том, что такое коллективная интеллектуальная деятельность и что такое индивидуальная интеллектуальная деятельность – через посредство представления о норме всеобщего родового мышления. И я показываю, что если эту идею реализовать последовательно (а не так, как она реализуется, «незнамо как»), то идеальным результатом является индивидуализация процесса мышления. И все психологические представления об индивидуальном мышлении, по сути, необходимы, практически точны и адекватны, ибо они отражают то, что реально есть.

Давыдов. Если есть всеобщая норма, а затем всеобщую норму мы наблюдаем в реализации в жизни индивидов, то все то, что мы имеем в отдельных индивидах, и есть проявление того, что есть во всеобщем. Попытка уйти от этой дурной бесконечности реализаций всеобщей нормы и связана с представлением о распределенности и различии функций. От этой необходимости выполнять все функции по отдельности...

Правильно. Но я хочу поэтому в следующем куске показать, как в нашем семинаре расходились между собой практика мышления, которое было групповым, и теория. Мы осуществляем групповое мышление, а строили теорию индивидуализированного мышления. И все время были резкие «ножницы» между тем, что мы делали на самом деле, и тем, что мы должны были нормировать. Я, когда вел семинар, должен был управлять групповой интеллектуальной деятельностью, а у меня в качестве средства было представление о «мышлении вообще», о линейном мышлении, без учета каких-либо функций. И у меня, как и у всех остальных в нашем «миру», нет норм, фиксирующих групповое мышление. А оно ведь на линейное не раскладывается.

Давыдов. Понятно.

А что значит «понятно»? Кто эту модель строил и кто этот вопрос обсуждал в теории мышления. Назовите мне хоть одного человека. Молчите? Нет такого! Все строили теорию всеобщего мышления. Но наука, начиная с платоновской Академии, есть почему-то групповое мышление. Только в логике и в теории мышления, и в психологии мышления это не учитывается.

– ... в античности группового мышления не было. Понимаете?

В Афинском собрании его не было и быть не могло, а в Академии оно было.

Анисимов. Георгий Петрович, коллективное мышление вами постулируется как фактическое утверждение, а затем вы говорите, что надо освоить и выявить нормировки. Да?

Да. Но я говорю резче: если мы методологи, то надо построить онтологическую модель.

Анисимов. Поскольку предмет еще не построен...

Я очень осторожно говорю: реально была такая нормировка, что фактически мышление стало и было индивидуальным, а не групповым.

– Тогда почему поставлен вопрос о построении модели групповой деятельности?

Отвечаю: наш семинар – выродок. Здесь групповая деятельность. И надо ею управлять, потому что опыт показывает (и Василий Васильевич об этом говорил), что этот самый семинар начинает функционировать плохо, начинает буксовать. А когда три или четыре команды идут друг на друга, стенка на стенку... каждый свое мышление тянет, то тут уже не поймешь, что с ними делать, потому что они теперь все представляют разные парадигматики, разные концепции.

– Нет, вы как раз сказали, что семинар нежизнеспособен...

Семинар-то этот жизнеспособен. Только этот тип мышления еще не стал всеобщим. Так вот, если мы его нормируем, то он станет всеобщим, т.е. сделается возможным не только в стенах этой аудитории и связанных с нею. Для этого надо понять, что происходит, и нормировать это, чего никогда не было. Ведь И.Лакатос в своей книжке [Лакатос 1967] попробовал линейную историю следующих друг за другом работ, касающихся одного понятия, организовать в другое мышление, имитировать его как коллективное мышление. А раз такая работа делается, значит, она назрела.

2.

Я сначала постараюсь напомнить присутствующим об общей схеме моего движения, проделаю соответствующую рефлексию, для того чтобы все могли представить ход движения мысли, а затем перейду к обсуждению новых частей.

Я начал с того, что подчеркнул первый момент, в котором, с моей точки зрения, отчетливо обнаруживается чрезмерная упрощенность современных представлений о понимании, мышлении и рефлексии. Я говорил о том, что (во всяком случае, если рассматривать историю исследований последних тридцати лет) формы представления интеллектуальной деятельности менялись очень характерным образом: предметные разработки следовали за методологическими, за появлением соответствующих схем. И так последовательно были созданы три, казалось бы, объемлющих представления об интеллектуальной деятельности. Сначала все сводилось к мышлению, и вся интеллектуальная деятельность рассматривалась как мышление. Потом, когда на передний план выдвинулась рефлексия (я сегодня еще буду говорить о самом этом переходе), то те же самые явления интеллектуальной деятельности стали трактоваться только как рефлексия. И вот последние примерно восемь лет наметилась следующая характерная сдвигка – на передний план выдвигаются проблемы понимания, и все то, что в 50-е годы трактовалось как мышление, а в 60-е годы как рефлексия, теперь начинает трактоваться как понимание.

Я говорил о том, что сами эти сдвигки, во многом следующие моде, можно было бы понять, оправдать и даже считать их весьма полезными, если бы они сопровождались углубленной проработкой самого материала, такой проработкой, которая и привела в дальнейшем к возможности

различить мышление, рефлексию и понимание не только по понятию, но и в их феноменальных, эмпирических проявлениях. Тогда естественный ход разработок привел бы к тому, что мышление, рефлексия и понимание – то ли как стороны интеллектуальной деятельности, то ли как ее компоненты, или составляющие – взаимно ограничили друг друга, и мы получили бы более богатое представление об интеллектуальной деятельности, которая включала бы и мышление, и рефлексию, и понимание в определенных связях друг с другом.

Но, как я подчеркивал, этого не происходило, не происходит и, риску сказать даже, не может произойти никогда; в лучшем случае, мы будем крутиться в этом наборе снова и снова.

И для того чтобы говорить, что этого не может быть никогда, у меня есть основания. Я их выложу сейчас, перейдя ко второму пункту – к обсуждению проблемы социальности интеллектуальной деятельности. Я утверждал (и на этом шаге это была весьма смелая гипотеза, которая оправдывается для меня представлением о всем ходе моего движения и о тех результатах, которые я в конце концов получу), что различие мышления, рефлексии и понимания не может быть зафиксировано на тех *индивидуалистических* схемах интеллектуальной деятельности, которые в настоящий момент широко распространены и являются определяющими. Таким образом, эту невозможность взаимно определить и взаимно ограничить мышление, рефлексию и понимание я объяснял тем, что у нас неадекватные схемы интеллектуальной деятельности, а эту неадекватность видел прежде всего в том, что эти схемы рассматривают так называемые индивидуализированные интеллектуальные процессы.

И вот в этом следующем пункте я начал обсуждать проблему социальности этой интеллектуальной деятельности. Для этого я сделал несколько шагов, которые сейчас воспроизведу. Но я бы хотел подчеркнуть, что все мое изложение носит, в первую очередь, характер проблематизации. Это изложение будет, пожалуй, некоей тематизацией и заданием области для более детального анализа.

Я поставил вопрос: что такое социальность интеллектуальной деятельности? Та самая социальность, о которой писал Маркс. Он писал об этом и в философско-экономических рукописях 1844–1845 гг., и в работах 1857–1859 гг., и позднее. И теперь (это является признаком момента) любой автор – психолог, социолог, логик – говорит прежде всего о том, что интеллектуальная деятельность, как вообще всякая деятельность, является социальной, коллективной и т.д., и, проговорив весь этот набор определений, который считается сегодня бесспорным и очевидным, он затем складывает все это куда-то в сторону и начинает рассматривать индивидуальную интеллектуальную деятельность.

И мне представляется, что в этом пункте и завязывается первый узел, соотносящий друг с другом социальный, или социологический, план, план логический и план психологический. И для того чтобы мы могли – не ре-

шить эту проблему, не осуществить синтез подходов, – а попросту разобраться в том, что это за проблема такой стыковки, мы прежде всего должны проанализировать то, что тут происходит; поняв это, мы будем искать решение. Я бы добавил к этому (я говорил об этом в прошлый раз, но сейчас я это поверну немного под другим углом), что это – та самая проблема, которую поставил и пытался решить Выготский. И нужно понять, почему у него это не получилось и почему его ученики ушли от этой постановки проблематики, вернулись назад в свой узкий психологический коридорчик со всеми связанными с этим предрассудками.

Но эту же проблему сейчас заново ставят Кун и Поппер–Лакатос. И когда мы обсуждаем проблему социально психологического подхода к познанию, связанного с так называемой ситуативной логикой, то это, с моей точки зрения, есть та же самая проблема, новый заход в попытке решить ее. А психолог (хоть и нехорошо, наверное, говорить про целую профессию) как-то болтается между тем и другим и вынужден находить свое место в жестком столкновении между социологией и логикой, перетягивать все в свой план – план индивида, личности и т.д. Я ссылался здесь на работы Рубинштейна, так как, на мой взгляд, его статьи 1934 г. и более поздние – это попытки психологически трактовать тезис о социальности.

Грубо говоря, подход психолога здесь вот в чем: мышление и человеческая деятельность социальны по природе своей; нельзя рассматривать их вне социальности. А поэтому, с какой бы стороны мы их ни взяли, что бы ни выделили, все равно они окажутся социальными, потому что иначе они не могут существовать. Поэтому можно взять индивидуальную деятельность, деятельность одного человека, и вся социальность, о которой писал Маркс, уже будет здесь. Но тогда и получается та ситуация, которую в прошлый раз характеризовал Давыдов: про социальность говорят постоянно, а методы исследования никак с этим тезисом не связаны. И так, тезис о социальном подходе никак не отражается на методах и средствах исследования.

Но если мы подходим к этому достаточно глубоко, стараемся это проанализировать (а людей, которые пытались это делать, в истории было очень много), то приходится фиксировать как факт расхождение между утверждением, что мышление и деятельность социальны и должны исследоваться социологически, и реальностью логических и следующих за ними психологических подходов к исследованию мышления. И когда мы начинаем идти дальше вглубь истории, то мы видим, что этот момент был подчеркнут еще у Платона. Мы его находим в обсуждении истинности, в обсуждении отношения между прагматикой и семантикой и т.д. Проблема как таковая стоит уже давно. И думать, следовательно, что тезис социальности не учитывается в методологии и технологии по глупости тех или иных авторов, нельзя. Если мы имеем такую жесткую, воспроизводящуюся веками оппозицию, то мы должны поставить вопрос: каковы подлинные, реальные, практические основания такой оппозиции?

И я перешел (это пункт 3) к попыткам объяснить эту оппозицию. Почему тезис социальности не реализовался в практике философско-теоретических и научно-технических исследований? Коротко суть моего тезиса здесь, в этом пункте – пункте «Объяснение» – состоял вот в чем: дело совсем не в том, что реально происходит на социетальном уровне – являются здесь мышление и деятельность коллективными или нет, – дело в том, как мы эту реальность расчлняем, представляем в процессе нормировки или культурного воспроизведения. И это – важнейший момент для попыток объяснить сложившееся положение дел.

Дальнейшие вопросы вынудили меня обратиться к некоторым моделям.

Представьте себе на минуту (я пользуюсь схемой двойного знания), что интеллектуальная деятельность действительно коллективна, что она существует только тогда, когда человек работает в группе, за счет его коммуникации и т.д. Мы должны будем сказать, что нет интеллектуальной деятельности, осуществляемой первым, вторым, пятым по отдельности, которая бы складывалась в какое-то целое, но есть одна интеллектуальная деятельность этой группы, которая «размазана» на таком сложном групповом носителе и осуществляется только на нем. Предположим, что так оно и обстоит. Но дело не в этом. А дело в том, как это будет воспроизведено тогда, когда мы начинаем готовить подрастающее поколение к этой самой деятельности. Все зависит от того, как мы нормируем все это, как мы это представим в культурных парадигмах и т.д.

Здесь я вам напомним схемы трансляции культуры и воспроизводства, которые, собственно, и конституировали деятельностный подход – это развитие системы норм и их реализация на живом социетальном материале. Вопрос тут не в том, как происходит реальная деятельность, а в том, как это представлено в нормах. И здесь я скажу, что функция логического анализа состоит в том, чтобы нормировать интеллектуальную деятельность или мышление. Логика – не наука. Логика есть прежде всего система нормировки мышления. И если появляются какие-то о нем знания, то они появляются не из анализа интеллектуальной деятельности коллектива, а прежде всего из анализа тех нормативных схем, которые были выработаны для обеспечения воспроизводства интеллектуальной деятельности. И это второй важный тезис.

Я бы сказал резко: все, что Аристотель и следующие за ним говорили о мышлении, все это извлечено из схем суждения и умозаключения, которые были созданы Аристотелем и его предшественниками для нормировки мышления.

И теперь я делаю следующий шаг. Ведь тут у логики может быть две стратегии. Одна: мы отделяем вот этот кусочек интеллектуальной деятельности, который производит первый, и описываем его, потом делаем то же со вторым и т.д. Но ведь сама идея коллективной интеллектуальной деятельности предполагает, что каждый из них выполняет свою особую

роль в этой деятельности. Мы с вами это подробно обсуждали в прошлый раз. И пришли в парадоксальной форме к выводу, что все они должны в этой совместной интеллектуальной деятельности делать разное, ибо если они делают одно и то же, то нужен только один – все остальные лишние. Есть единственная, фактически, форма кооперации – это линейная кооперация, когда один устает и прекращает, следующий продолжает его процесс. Или одному не хватило средств для решения задачи, а следующий имеет средства и продолжает его. Вот что мы должны были получить, потому что в противном случае у нас была бы не одна логика, а была бы одна логика для одной роли, другая – для другой и т.д. А логика одна.

В.В. Давыдов сформулировал здесь, ссылаясь на Гегеля, очень важный тезис. Он сказал: нужно подняться до всеобщего и родового и описать мышление не как мышление определенных позиционеров, а как мышление вообще. И в этом – большой социальный поворот. Потому что мы знаем, что, скажем, в культуре майя все было совершенно иначе: у жрецов была своя логика, у писмоношцев была своя логика, у каждого была своя логика, соответствующая его профессии. Так же и в Древней Индии: у каждой касты была своя логика. И никто не ставил вопроса о логике вообще. Европейская цивилизация сделала гигантский шаг в том смысле, что она сумела оторваться от этой структурированной групповой интеллектуальной деятельности, расписывая ее не для разнородных участников, а вообще – как один процесс.

А дальше у нас началась дискуссия. Дело в том, что нормативные представления рассчитаны не на одного, другого, третьего, а рассчитаны на процесс мышления как таковой. Но он – один процесс, потому что нельзя, нормируя мышление, строить логику для одного, логику для двух, для трех, и вообще, по своей логике на каждую компанию, которая может собраться. Это невозможно в условиях единой логики. Не важно, какая группа собралась и как она работает. Важно, что она осуществляет мышление, и этот процесс мышления надо расписать во всех его необходимых – объектных, операциональных, средственных – планах безотносительно к тому, какая это группа, сколько человек и в какой структуре все это осуществляется. И в результате подобной культурной нормировки получается обезличенное, родовое мышление, которое мы должны передать подрастающему поколению – *каждому*. Весь этот процесс во всей его полноте.

А дальше, когда эта работа нормировки осуществлена, появляются ученые или квазиученые и начинают описывать – что? Вспомните в этой связи психологические дискуссии начала века (а можно было бы идти и дальше) – вы поймете тогда, что обсуждается, собственно говоря, вот этот основной вопрос: что описывает психология – тот реальный процесс, который осуществляется в групповых реализациях или нормативные представления? И ответ может быть один: конечно же, нормативные представления. Больше того, парадокс состоит в том, что в нормативных представлениях существует мышление, а в работе группы его нет. Ведь работаю-

щий в группе только соучаствует в этом процессе: что-то сказал, что-то хмыкнул, а может быть, просто сидел и молчал с умным видом. Он может говорить и ложь, может подыгрывать, явно дезинформируя участников и т.д.

Итак, в работе каждого члена группы мышления нет, поскольку если мы берем его работу отдельно, то решения задач не получается. Но из этого с неизбежностью следует, что никакая наука, в том числе и психология, не могла описывать реализацию мыслительного процесса, а описывала нормы. И отсюда проблема, которую не может решить Пиаже (так же, как и все предыдущие): где же разница между психологическим представлением мышления и логическим? Разговоры насчет того, что если по причинности, то – психологическое, а если по цели – логическое, это все ухищрения с негодными средствами; потому что психология уже имеет дело с мыслительной деятельностью как с чем-то обязательно нормированным, представленным в нормах культуры. И глядит она на реализации процесса мышления индивидом, парой, группой сквозь призму нормативных представлений. Глядеть иначе она не может. Потому что вне этих нормативных представлений нет и мышления. Поэтому В.В.Давыдов говорит, что мышление – не предмет изучения психологии и что не может быть психологии мышления. Ибо это логическое представление.

Резюмирую это «объяснение». Вопрос не в том, как *реализуется* интеллектуальная работа. Вопрос в том, как мы ее расчленили и представили в педагогических целях – в нормах для ее воспроизводства. И только на уровне нормативного представления может существовать решение задачи как таковой и т.д. Но если это так, то как вы это ни называйте – мышлением, пониманием, рефлексией и т.д., – но видеть вы будете всегда одно и то же – нормативные представления.

На предметном уровне происходит переименование – вслед за сдвижкой методологического подхода, – но это бессмысленно и никакого продукта не принесет, ибо пока что ничего, кроме того, что представлено в логических нормах, нет. Сознательно утрируя, я бы сказал: и быть не может. Но ситуация меняется кардинальным образом, когда мы привлекаем социологическую точку зрения.

В чем же смысл этого столкновения между логикой и социологией? Они вот уже много столетий находятся в жесткой и непреодолимой оппозиции. Логика строит нормативные представления (или, точнее, не только их строит, но и обосновывает). А социология глядит на то, что происходит в социальности и говорит: вы представляете это как родовой и, следовательно, индивидуализированный процесс, а на самом деле это коллективный, групповой процесс. Вот так они и сосуществуют: социология описывает то, что есть «на самом деле», а логика описывает нормы или создает знания, направленные на то, чтобы их строить. И здесь с необходимостью реализуется гуманистическая установка, ибо, как я пытался показать, учить человека определенной роли в коллективе бесполезно. И, следовательно, эта оппозиция закрепляется и существует как требующая объяснения.

Несколько слов – новых по отношению к тому, что было в прошлый раз. Наверное, нужно еще специально пояснить мое утверждение о том, что социология не может пока что дать ничего в плане реального анализа мышления, интеллектуальной деятельности, а может лишь фиксировать недостаточность своих средств. Что же здесь происходит? С моей точки зрения, суть здесь – в проблеме взаимоотношения деятельности и мышления. Потому что, когда говорят, что интеллектуальная деятельность по природе своей социальна, следовательно, кооперативна, выступает как групповая, то при этом недостаточно различают деятельность и мышление.

Действительно, деятельность кооперативна. Это есть для нас факт. Сегодня ни один предмет не может быть произведен отдельным человеком. И даже педагогика сейчас кооперируется, хотя она представляется крайне индивидуализированной.

А дальше утверждается, что мышление – это деятельность (и я сам всегда так считал и утверждал), т.е. производится не очень продуманное отождествление: мышление есть деятельность. Но все-таки мышление – это не деятельность. Действительно, деятельность кооперативна, в этом смысле – социальна, и это бесспорно. А мышление? Оно что – тоже кооперативно? Я в прошлый раз провел довольно большой кусок рассуждения для того, чтобы показать и затвердить, что для мышления, как оно существует сейчас, этот тезис, по крайней мере, очень смел. Если не сказать, что он просто неверен. Потому что, говорил я, эти – много веков назад сложившиеся – формы нормировки интеллектуальной деятельности действительно превратили мышление в индивидуальный процесс. Мы с вами это зафиксировали в целом ряде парадоксов. Мыслитель не кооперируется с другими, он сидит у себя в кабинете и мыслит.

И если вы будете то, что я сказал, фиксировать не как знание, а как тенденцию, существующую сейчас в интеллектуальной деятельности, то я думаю, вы со мной согласитесь. Потому что как суждение, фиксирующее некие факты, это неверно, и я дальше буду показывать, что это неверно. Но представьте себе это как тенденцию, задаваемую европейскими формами организации психики, всего производства культуры и ее распределения. Европейская цивилизация настаивала на том, что мыслить человек должен в одиночку. И это подчеркивается нормативной организацией – она такова, что либо индивид должен повторять какую-то одну мыслительную фигуру, либо он вынужден остановиться, исчерпав свои мыслительные возможности. Тогда вступает другой.

Собственно, на этом американцы строят всю свою организацию интеллектуальной работы. Каждый имеет отдельный кабинет, где он сидит и пишет, а внизу – общее кафе. Заходит он в тупик в своей мыслительной работе, не хватает идей и средств – он идет в кафе. Посидел, поговорил, смотришь – чего-то подхватил и пошел назад к себе в кабинет писать, опять совершать мыслительную работу. Там, в кафе, идет общение, коммуникация, люди, как говорят, получают информацию. У нас такую роль играют

научно-исследовательские институты: все собираются в присутственный день, в это время не работают, ничего не пишут, происходит общий треп, а потом все возвращаются домой, т.е. туда, где происходит потом работа, и вспоминают – вот сегодня я это и то интересное услышал... Вот как все это организовано.

Поэтому я утверждаю, что невозможность исследования интеллектуальной деятельности как коллективной, невозможность исследования ее даже для социологии объясняется тем, что в одной из своих сильнейших тенденций интеллектуальная деятельность индивидуализирована. Хотя тут же возникли очень интересные контр-примеры. И я даже утверждал, что успех физики как науки объясняется, по-видимому, как раз тем, что там этот момент был преодолен.

Здесь я практически уже подошел к концу того, что я говорил в прошлый раз, и могу перейти к новому.

Тут основной тезис будет состоять в том, что, несмотря на всю эту индивидуалистически направленную детерминацию, заданную особенностями культурной нормировки, несмотря на то, что, действительно, мышление очень часто отправляется как деятельность индивидов, несмотря на это существуют совсем иные примеры интеллектуальной работы, осуществляемые в группе, – они только в группе и могут существовать. И мы подошли в прошлый раз к тому, что история ММК есть пример такой групповой интеллектуальной деятельности. И это – деятельность совершенно другого типа, нежели та, что описана в логических нормах.

А дальше я сделаю следующие шаги. Я теперь хочу (пункт 4) дать феноменологическое описание интеллектуальной деятельности в ММК. Затем (пункт 5) я постараюсь дать первое структурное представление этой работы и зафиксировать ее отличие от того, что могло бы быть названо индивидуальной интеллектуальной деятельностью. Таким образом, я поставлю вопрос о построении онтологической картины и моделей, описывающих групповую интеллектуальную деятельность (пункт 6) – с тем чтобы потом, на другом уровне работы, рассмотреть саму эту модель и дальше, в конце, решить вопрос о том, как же в соответствии с представлениями об организации групповой деятельности происходит связь между мышлением, рефлексией и пониманием.

Вы помните, что основной мой тезис состоял в том, что, пока мы исходим из представления об индивидуализированном, негрупповом процессе, будь то мышление, рефлексия или понимание, мы их взаимной связи не поймем, ибо связь их в единой интеллектуальной деятельности – это групповой эффект, и вне группового взаимодействия его вообще не существует. Я бы сказал так: когда индивид начинает имитировать работу группы, то разница между мышлением, пониманием и рефлексией исчезает. Ее просто нет. А поэтому ее там и найти нельзя. Хотя по содержанию и по функциям он будет имитировать иногда понимание, иногда рефлексию, иногда мышление. Но он это все гомогенизирует и начинает осуществлять единым

образом. Поэтому различие между тем, другим и третьим, а также их взаимная связь суть эффекты группового взаимодействия. Вот что я хочу показать.

Алексеев. ...

Игорь Серафимович, вы меня опять возвращаете ко второму пункту. Я спрашиваю: что означает социальность в интеллектуальной деятельности? Это – проблема.

Тюков А.А. И вы через запятую или через знак равенства говорите: социальное, коллективное, групповое.

Я сознательно этого не уточнял. И только теперь я отвечаю: ну, конечно же, между ними нельзя ставить знак равенства. Вот есть социальное, и надо обсуждать вопрос о том, что это такое применительно к интеллектуальной деятельности. Тогда мы увидим, что социальное реализуется по-разному в разные исторические эпохи; каждая из них характеризуется определенными формами организации, и, не рассматривая тех или иных форм организации в каждую эпоху, мы не сможем ответить на вопрос, что такое социальность.

Но ведь из того, что я это признаю в позитивной части моей работы, ровным счетом ничего не следует в моей критической части. Я ведь проделал критическую работу по своим особым законам. И там я утверждал следующее: до сих пор не рассматривается специфика групповой интеллектуальной деятельности, и тезис о социальной природе не переводится в план технологии, методов исследования; вопрос остается открытым, ибо все рассуждения сводятся, как я говорил, к следующему: поскольку социальное присуще интеллектуальной деятельности по природе, постольку, какие бы формы и отправления ее мы ни взяли, этот тезис будет справедлив. И на уровне натурального представления это верно. Но такой подход оставляет нас без изучения групповой интеллектуальной деятельности. Поэтому я должен проделать дальнейшее движение в чисто конструктивном ракурсе. Я должен забыть всю свою критику и начать конструировать.

Тюков. Вследствие того, что вы четко не разделяете групповое, социальное и коллективное, ваш вывод относительно противопоставления нормы и реализации кажется неверным. Почему вы думаете, что социальное противоречит идее индивидуализации нормировки? Может быть, для того чтобы сделать мышление социальным, следует нормировать его таким вот образом...

Но я говорю тоже самое. В пункте «Объяснение» я стремился показать, что такое индивидуальное отправление есть форма проявления социального при определенной организации процесса воспроизводства.

Алексеев. Вы утверждаете, что эти общие для всех реализации норм тоже одинаковы?

По установке – да. Вспомните дискуссию на прошлом заседании. Разве В.В.Давыдов неправильно характеризовал эту установку?

Я же осуществляю проблематизацию. Я говорю: а что такое социальность интеллектуальной деятельности?

Алексеев. На этот вопрос вообще нельзя ответить в общем виде. Требуется специальное историческое исследование.

Распределение-то происходит в действительности, и как-то оно формируется. В том числе – и по законам нормировки обучения.

Алексеев. А разве нельзя при таком способе нормировки проблематизировать по-другому?

Тюков. Да. И почему в качестве объяснения того, что социальность не была реализована в исследованиях мышления, вы привели вот этот тезис о превращении групповой и коллективной нормировки в индивидуальную?

Я вас понимаю, но говорю, что, следовательно, вы меня неправильно понимаете. Потому что я-то таким образом объяснял отсутствие логики групповой интеллектуальной деятельности. Не почему социальность не учитывается, а почему у нас нет логики групповой интеллектуальной деятельности. Во втором пункте я произвожу общую проблематизацию социальности. Через эту проблематизацию я объясняю не вообще отсутствие социального аспекта, а отсутствие групповой мысли. А из этого третьего пункта есть еще много ходов проблематизации. И это еще нужно специально проблематизировать. А я теперь беру одну веточку с учетом интересующей меня темы – групповая интеллектуальная деятельность и ее нормировка.

Тюков. А почему вы считаете возможной только нормировку индивидуального типа? Почему других форм трансляции и нормировки не могло быть?

Я так жестко не утверждал. Если вы помните, я специально этот момент оговорил. Этот тезис надо рассматривать как фиксацию тенденции. Это – первый момент. Второй момент: я ограничился здесь пространственно-временными рамками, сказав «в рамках европейской цивилизации». В других культурах было иначе. По-другому это было и у пифагорейцев. Была система аристократических, элитарных пифагорейских клубов со своей особой логикой, и всякое разглашение полученных там знаний, принципов за пределами клуба каралось смертной казнью. Это все примеры, показывающие, что другая нормировка может быть и бывает. И теперь я говорю: представьте себе формы нормировки групповой деятельности. Вы сможете понять путем простых арифметических подсчетов, что сама система нормировки, а следовательно, и обучения крайне сложна. Потому что

тогда, грубо говоря, в восьмом классе я буду отрабатывать логику докладчика, в девятом классе – логику и формы мышления критика, в десятом классе – логику проблематизатора, в шестнадцатом классе я буду рассматривать формы мышления лидера (все по Платону, как в «Государстве»).

Но ведь это все будет противоречить основной установке европейской цивилизации на человека вообще, гуманистическим традициям, демократическим традициям. Вы можете все это делать, но тогда вам придется иметь массу школ и готовить людей на определенные роли.

Тюков. Зачем делать шестнадцать классов, когда можно в одном пройти как следует деятельность докладчика, а другие люди в другом классе будут осваивать другую роль, и так эта групповая норма будет транслироваться по частям, хотя это и противоречит, действительно, гуманистической традиции.

Нет, ваши представления неверны, потому что опыт работы нашего семинара показывает, что доктора наук ничего не осваивают. (Здесь я перехожу уже к следующей части своего доклада.) И не потому, что они доктора наук и вообще уже ничего не осваивают, а потому, что это все-таки для них еще слишком трудно. И я буду доказывать, что групповая интеллектуальная деятельность требует значительно более высокой интеллектуальной подготовки, нежели индивидуализированная, что это есть следующий, более высокий этап интеллектуальной деятельности, требующий от участника ее таких способностей, которых сейчас не получают ни в вузе, ни в аспирантуре, ни в докторантуре. И мы здесь имеем дело с такой дифференциацией ролей и таким усложнением, детализацией самих мыслительных норм, которые современному человеку не под силу.

Писарский П. Мышление представляется вами как индивидуализированное. А как относительно деятельности?

А деятельность кооперативна. За счет наличия профессий. Но это сложный вопрос. И я прошу вас относиться снисходительно к моему докладу. Потому что я во многих случаях не смогу этого сформулировать понятно.

Теперь я перейду к рассмотрению контр-примера, возникающего из всей этой проблематики. Причем, первоначально должен буду дать феноменологическое описание.

Я уже сказал, и это надо все время иметь в виду, что на мой взгляд, с одной стороны, такое индивидуализированное нормативное представление поддерживалось существующей социотехнической практикой, т.е. нормировкой, обучением, воспитанием и социальной организацией. Поэтому индивидуальная интеллектуальная работа была вроде бы фактом. Но, с другой стороны, конечно, развитие этих представлений в теоретической плоскости – в логике, социологии, психологии – ни в коем случае нельзя объяснять одним влиянием социотехники.

С того момента, когда этот круг идей сложился – возникли соответствующие схемы, появилось представление о единой и всеобщей логике, – с этого момента сам этот круг идей оказывал рефлексивное давление на практику и на попытки ее рефлексивного осмысления и осознания. Кстати, с этой точки зрения, надо очень внимательно относиться к тезису о всеобщем и обязательном характере логики, ее единственности. Если вы начнете смотреть работы советских логиков, начиная где-то с 1949 г., то буквально каждый считает своим долгом заявить, что логика едина для всех времен и народов. Это идеологема, которая и делает возможным существование логики того рода, какая есть сейчас, и соответствующего ее анализа. Эта идеологема определяет все подходы, и получается следующее: сколько мы ни глядим на контр-примеры, т.е. на примеры различия логик разных групп и народов (это – работы Леви-Брюля, Уорфа и многих других), сколько мы ни глядим на групповую интеллектуальную деятельность, а видим только то, что зафиксировано в этой идеологии и в соответствующих ей знаниях. Этот момент, с моей точки зрения, характерен и для истории ММК и объясняет многие коллизии.

Это сейчас, в октябре 1977 года, я могу так смело рассказывать о групповой интеллектуальной деятельности и считать это само собой разумеющимся. А года до 1971-го (или 1972-го) происходила странная вещь. В своей реальной работе мы осуществляли групповую интеллектуальную деятельность, а строили при этом индивидуализированную теорию мыслительных процессов. И хотя мы все время «наступали на грабли» групповой интеллектуальной деятельности и все наши внутренние методологические проблемы были связаны в первую очередь именно с этим, но глаза наши от этого не раскрывались. И мы в своей теории твердили о нормативном процессе, последовательности операций, средствах, которые туда вставляются, и максимум, до чего мы доходили, это до того, что нельзя линейно представить процесс решения задачи, что он есть, фактически, звездообразный, с векторами, сходящимися в какие-то точки. Мы тогда говорили о Т-образном развертывании процессов рассуждений, обсуждали эту платоновско-дункеровскую проблему – структура и процесс. Одно время мы рассматривали рассуждение и решение задач как процесс; потом говорили: не процесс, а структура; потом стали говорить: структурированный процесс. Но что мне очень важно: все эти ходы мысли не имели никакого отношения к пониманию и представлению группового характера интеллектуальной деятельности.

Уже с 1950-х годов ММК, фактически, жил и функционировал как групповая интеллектуальная деятельность. Началось это где-то в 1953–1955 гг., когда у нас появились семинары, живущие по совершенно определенным законам диалога, или беседы. Примерно к 1956 г. это было осознано и начало превращаться в форму субкультуры.

Мы искали формы групповой работы. Существовал в то время даже писанный «устав», где затрагивались сложные этические проблемы. Там

утверждалось, что идеи, разрабатываемые нами в семинаре, не принадлежат никому. Если человек приходил и докладывал какую-то идею, то он терял право собственности на нее. Это очень сложная этическая норма.

Была и другая очень сложная проблема. Дискуссии часто носили такой жесткий характер, что некоторые люди после двух-трех таких дискуссий уходили.

Я помню эпизод, происшедший лет десять назад, когда один докладчик, которого очень сильно ругали, вдруг нажал рукой на кнопку «стоп» магнитофона, собрал свои вещи и ушел. Здесь действовал этический принцип разрушения всего, что разрушению поддается, ибо не все, что создается, есть благо.

Да и вообще вся практика нашей работы была совершенно иной, нежели в традиционных академических собраниях. Выделю некоторые характерные моменты.

Первое, что я хочу отметить, это то, что «докладчик» никогда не был докладчиком в полном смысле этого слова. Докладчик лишь объявлял тему и начинал движение по поводу этой темы.

Многие из вас слышали в прошлом году выступление В.Розина, который является членом семинара с 1965 г. Мотивируя свое нежелание работать дальше в такой манере, он сказал, что на семинаре никто не может сделать доклад: докладчик произносит первые два предложения, а дальше ему уже не дают говорить. Поэтому он поставил непременно условием, чтобы его не прерывали, ибо он хочет *сделать доклад*.

Итак, докладчика не было. Но, можно сказать, не было и доклада. Если говорить о развертывании мысли, то на каждом заседании был не один, а три, четыре, пять разных докладов на одну тему. Ибо внутри нашей группы был целый ряд «частичных лидеров», каждый из которых вел свою особую разработку темы.

В свое время М.К.Мамардашвили после двух лет участия в такой работе сказал, что это невероятно трудно. Ибо непосредственный план изложения материала все время прерывается рефлексией, потом – рефлексией по поводу рефлексии, рефлексией по поводу второй рефлексии и т.д., после чего предмет обсуждения исчезает. Поэтому многие из ходивших на семинар потом говорили: все очень здорово, только нельзя понять, что именно обсуждается.

Существовал принцип, что докладчика можно прерывать фактически в любом месте. Это потом, пойдя навстречу амбициям докладчиков, стали делить доклады на смысловые куски. Раньше этого не было, и, прервав докладчика после любого предложения, можно было требовать, чтобы он выложил основания сказанного. Ко всякому произносимому тексту как бы подвешивали большое количество совершенно разных дополнительных вопросов.

Следующий характерный момент состоял в том, что на каждый вопрос следовало, как правило, несколько совершенно разных ответов. И все

они объявлялись истинными, несмотря на то, что нередко они прямо противоречили друг другу – как своего рода апории, как чистая парадоксальная форма. Больше того, мы очень этим гордились, наше мышление сознательно развертывалось как мышление в парадоксах.

Теперь я понимаю, что это была особая форма проблематизации: мышление было не в суждениях, не в высказываниях, а в проблемах.

Итак, возникли какие-то новые структуры. Причем их получение мы считали самоценным. На определенных этапах главная цель состояла не в том, чтобы найти решение, а в том, чтобы накрутить как можно больше значимых парадоксов или поставить как можно больше проблем.

Как я уже сказал, мы зафиксировали множественность ответов на вопрос и невозможность применять критерий истинности. Нельзя было ответить на вопрос, какое из утверждений было истинным, а какое – ложным, какое – «правильным», какое – нет; на каждый вопрос существовало множество разных и, казалось бы, взаимоисключающих ответов.

Существовало мнение, что у людей с такой формой мышления началась тахикардия. И было непонятно, что со всем этим делать, ибо, если «истины нету», то человеку становится очень дискомфортно. Если высказываются совершенно разные утверждения, то непонятно, что из этого следует.

Самое важное и интересное, пожалуй, состояло в том, что разные участники этой группы занимали разные места, играли разные роли; эти роли даже начали закрепляться. Скажем, определенная группа людей осуществляла конструктивную работу. А другие специализировались на том, что они все подвергали критике – играли роль «критика», работая в совершенно особой мыслительной структуре. Четвертые ставили все в «исторический контекст», создавая массу ассоциаций с другими решениями. Пятые разрабатывали средства.

И «рефлексивные выходы» либо к средствам, либо к основаниям стали характерным моментом работы. Кто-то высказывает утверждение, а его спрашивают: «А какие у тебя основания»? Он выложит основания. Его спрашивают: «А какие основания у этих оснований»? Он и их выложит. Его спрашивают дальше. Он начинает сердиться.

Или его спрашивают: «Какие средства ты использовал, чтобы получить это знание»? Объяснил. «А это ты как получил? А это? А то?». Оказывалось, что если заменяются средства, то следуют, соответственно, разные высказывания.

Работа одновременно в плоскостях непосредственного содержания, средств и средств, обеспечивающих производство средств, делала само рассуждение многослойным. И внимание могло концентрироваться на любом из этих слоев.

Вот начал человек делать доклад. Выяснилась по ходу дела нехватка в средствах, и его отправили на неделю, на месяц, на полгода поработать дополнительно, чтобы он потом рассказал об этих средствах. Он про-

делал эту работу, рассказал. И если ситуация эта повторялась, доклад мог растянуться на год, на три года, на пятилетие. Точно так же могли требовать оснований и отсылать докладчика до тех пор, пока он не продумает оснований.

Поэтому роли не только закреплялись, но и постоянно менялись. Тут могла возникать чисто психологическая игра. Представьте себе, что я делаю доклад, а Петров с Ивановым очень на меня нападают. Вот они меня забили, и теперь я сижу на их месте, а они делают доклад. Вы понимаете, что все, что они делали, будет им возвращено.

И вот теперь я перехожу к тем, кто сидел за этим столом и пытался все это как-то направлять. Ведь тахикардия начиналась не только у неофитов. Потому что управлять таким процессом мышления было очень трудно, а практически – невозможно. А люди, которые здесь собирались, хотели осуществлять именно такое мышление. Они считали это важнейшей ценностью. И апеллировать к уже сложившимся парадигмам было невозможно, потому что тогда человек с пафосом отвечал, что он для этого и пришел делать доклад, что его этот непосредственный материал вообще не интересует, но что он вам показывает, как нужно мыслить в подобных ситуациях. И пусть вам кажется, что все это «неправильно», «ненормально», «нелогично», но он как раз и хочет вам показать, что все это надо делать именно так, как он делает.

Но если исчезали логические нормы, то, спрашивается, относительно чего можно было регулировать процесс мышления? Как можно было отличить «правильное» от «неправильного»? И оказывалось, что основным регулирующим моментом становилась цель – приближает это к решению задачи или не приближает.

Но тогда в этом процессе должна существовать и дополнительная рефлексивная нормировка. Ибо, когда этот процесс был проделан, его начинали «сглаживать», «исправлять». И потом его «логику» или примененные в нем приемы объявляли некоторой новой нормой интеллектуальной работы.

Поэтому и оказывалось, что у таких сложных образований не могло быть одного продукта. Они всегда были полипродуктивными и, значит, полифункциональными.

И в какой-то момент представления о целях стали меняться. Если сначала человек говорил, что он хочет решить такую-то задачу, то в конце работы могло выясниться, что цель была не в этом, а в том, чтобы построить приемы и способы решения целого класса подобных задач. Так что добавлялся еще момент поиска альтернатив. Сначала это осуществлялось за счет групповой деятельности, как разные предложения разных людей. А позднее, если докладчик говорил: «Это для меня новый вариант», то ему отвечали: «А что же ты делал, когда к докладу готовился? Почему не перебрал возможных ходов?».

Это становилось нормой. Здесь был зародыш типологического метода. Благодаря этому процесс дополнительно расщеплялся, потому что го-

ворилось: «Ты будешь разыгрывать этот вариант, ты – этот. Кто хочет третий и четвертый?»).

Все это нарастало, и дальше происходила одна принципиальная вещь. С одной стороны, все те, кого не устраивала такая групповая форма работы, просто уходили. А с другой стороны, начались расщепления внутри самого семинара – в большой степени за счет того, что году к 1965-му сложился целый ряд систем средств, которые давали разные решения. Это то, что мы потом зафиксировали как факт, когда стали говорить о собрании «разнопарадигматиков» (т.е. – в терминологии Т.Куна – людей, представляющих разные системы «парадигм»).

К 1965 г. этот факт стал очень важным и принципиальным, потому что к этому времени оформился целый ряд теоретических оснований нашей работы: теория мышления, семиотика, теория знания, теория предмета, теория сознания и т.д. В зависимости от того, с каких теоретических позиций человек строил свое мышление, получались совсем разные результаты.

Так, к 1965 г. выделились «системщики» и пошли по своей линии. Потом вдруг оказалось, что могут быть не только познавательная установка и познавательные способы работы, но и проектный подход, организационный подход, конструктивный подход. И научный подход – только один из многих. Может быть исторический подход к теме, может быть методологический.

Но если остающиеся желали сохранить групповой стиль работы, то приходилось строить разработки, выходящие за тот или иной профессиональный стиль мышления. И от участников семинара требовалось, чтобы они совершенно свободно могли менять программы. Они должны были с легкостью и без ошибок работать как в критической, так и в конструктивной модальности и т.п.

Все это привело к тому, что сложился особый – методологический – тип мышления. Вот его характеристики:

- Нет единого доклада и единой темы – есть сразу много докладов.
- Нет разницы между утверждением и вопросом, между формулировкой знания и проблематизацией.
- Определяющая роль цели.
- Отсутствуют признаваемые всеми нормы, в том числе и логические нормы.

Мы с самого начала считали, что нет единой и всеобщей логики, что существуют разные логики – в зависимости от объекта, предмета, от стиля и способа мышления, что каждая категориальная организация мышления требует своей логики и т.д. Но здесь получалось нечто более страшное. Здесь *в одном рассуждении* надо было применять одно, другое, третье, и, что самое важное, оказалось, что мы решаем поставленные задачи принципиально иначе, чем любой предметник.

Появился эффект целостности. Каждый из особых способов мышления не мог быть целостностью сам по себе. Наше научное мышление ока-

залось неавтономным. Оно зависело от проектного и конструктивного. И мы эти связи стали постоянно фиксировать. Таким образом, в этом пространстве и, в частности, в этом зале происходило одновременно много разных – по технологии, по нормировке – типов работы, которые, кроме всего прочего, были особым образом завязаны друг на друга, стыковались и создавали единое целое.

За счет чего? Ведь у них даже цели разные, поскольку разные продукты. Ведь каждый тип работы тянул все на себя. И все, что происходило в аудитории, становилось материалом для мышления в рамках каждого из них. При этом каждый решал свой круг задач. И если кто-то рефлексировал, то все, что происходило, было материалом для его рефлексии. Так за счет чего групповая работа была целостностью?

Не за счет цели, не за счет продукта, не за счет норм, не за счет материала. Оказалось, что особую роль здесь играла организационно-управленческая деятельность. Единственное, что обеспечивало связность всего происходящего, была деятельность председателя.

Но председатель не мыслил. Он решал совершенно другую задачу. Ему важно было представить себе это в целом и куда-то подтолкнуть. Чтобы это не развалилось, не распалось, чтобы это снова воспроизводилось, чтобы что-то в результате получалось – то тут, то там. И чтобы это сложное, не имеющее правильной геометрической формы образование катилось вперед, порождая массу разнообразных продуктов.

К 1965 г. это стало тем более проблемой, что надо было организовывать мышление людей, исповедовавших разные системы парадигм, работавших в разных онтологиях. И надо было требовать от них, чтобы они понимали друг друга, т.е. четко знали, когда кто и в какой модальности работает. И мало того, они должны были сочленять чужие парадигмы со своим способом мышления.

И я утверждаю, что именно эта многослойная, многоплановая, регулируемая отчасти целями, отчасти нормами форма мышления и есть новое, методологическое, мышление. Я думаю, что стиль работы, например, Гудзоновского института или то, что описывается как «синектика», это примеры того же самого – группового, коллективного мышления.

Итак, разные задачи, но на чем-то завязанные и как-то структурно и организационно стыкованные, могут решаться одновременно таким образом, что все рядом происходящее используется как материал для ассимиляции. Но став компонентами этого целого, отдельные части такого мышления возможны только внутри него. Поэтому-то оказалось, что активно, творчески работавшие члены нашего семинара, будучи вырванными из контекста этого семинара, меняли свое интеллектуальное, теоретическое лицо и начинали писать про другое и иначе, чем они писали и работали здесь. У нас накопился гигантский материал на этот счет, потому что через этот семинар прошло огромное количество людей – Шехтер, Леонтьев-младший, Рождественский и др.

А потом происходило то, о чем говорил Давыдов. Надо было теперь это групповое методологическое мышление вытащить и реализовать в условиях индивидуальной работы. В этом смысле классический пример – В.Розин. Вся его эволюция – результат того, что он «вывалился» из этой среды.

И реально стало получаться так, что любой участник семинара, активно и творчески в нем работавший, «вывалившись» из него, не мог воспроизводить всего целого и либо оказывался «уродом», либо должен был принять другой социализированный способ мышления и работы.

У меня недавно был такой разговор с одним человеком. Он сказал мне, что я не психолог. Я обиделся, спросил: почему? На что он ответил, что я не разделяю общепризнанных психологических предрассудков!

Оберните этот ответ: быть психологом, логиком, математиком и т.д. – значит «разделять общепризнанные предрассудки»! А методологический семинар не мог этого делать. В крайнем случае, у него были свои, методологические предрассудки. Но еще не вылившиеся в форму парадигм и реально не являющиеся предрассудками, ибо набор альтернатив – это не предрассудок. Ведь вы говорите: я могу пользоваться этой нормой, а могу не пользоваться, могу идти к этому продукту или к другому. И нет разницы между «правильными» и «неправильными» продуктами. Если это и предрассудки, то какого-то другого порядка.

– Можно ли говорить о работе семинара как о реализации полифонического мышления – подобно тому, как Бахтин говорит о полифонии Достоевского?

С моей точки зрения, это – термин, а не понятие. Надо расписать, что такое полифония литературного мышления. Эта же задача стоит и у нас. Я же описываю все в феноменальном плане – как такие странные факты. И не могу пока сказать, в чем там соль дела.

– ...

На мой взгляд, нет никакого индивидуального мышления и нет индивидуальной интеллектуальной деятельности. Я пытался описывать индивидуальный процесс и потратил на это двадцать лет. Разные были заходы. Я брал, например, текст рассуждения Аристарха Самосского. Он ставил задачу о соотношении расстояний «Земля – Солнце» и «Земля – Луна». Я брал этот текст и пытался его проанализировать – каков был процесс решения. Я написал толстую работу на этот счет, которая заканчивается тем, что, по-видимому, процесс этот линейно представлен быть не может. У него нет ни начала (либо их бесконечно много), ни конца. И требуется понятие структуры. Но тогда не ухватывается главное – процессуальность. Тогда я еще не знал, что Дункер зафиксировал то же самое. Все мои попытки выяснить у логиков, как описывается индивидуальный процесс мышления, ничем не кончились. И я думаю, что опыт всех предшествующих

щих подходов показывает только одно: этого сделать не удалось, и это, по-видимому, невозможно – в силу каких-то странных причин. И сейчас я, в частности, пытаюсь ответить на вопрос, в чем состоят эти причины.

Вопрос же о нормировке очень интересен и его надо обсуждать именно в таком широком контексте. Логика дает только один частный вид нормировки мышления. Математика, физика суть особые типы нормировки мышления. При этом они все всегда нормируют не процессуально. Поэтому, как нормируется процесс мышления, я не знаю.

Писарский. Неужели интеллектуальная деятельность рассматривается в отрыве от практических действий?

Да.

Писарский. Но, может быть, вообще решение проблемы интеллектуальной деятельности заключается в обращении к какой-то иной практике?

Может быть. Но я в это не очень верю. И в свое оправдание могу сказать так: вот собираются люди в течение 25 лет и, сидя здесь и приходя потом домой, осуществляют интеллектуальную деятельность и, слава богу, никакой другой. Я могу это рассматривать как реальность интеллектуальной деятельности? Могу? Тогда я говорю: я не претендую на всеобщность. В моей методологии всеобщее мало интересно. Современное мышление, в частности системное, ориентировано не на всеобщее, не на понятие, а на объект и систему. Они каждый раз индивидуализированы. Для меня человечество индивидуально, и каждый человек тоже индивидуален. Я не верю в возможность описывать личность обобщенно. Это для меня нонсенс. И поэтому я говорю: меня все время интересовал этот семинар – уникальный и неповторимый. Я хотел понять, что здесь происходит.

Писарский. Но непонятно, почему интеллектуальная деятельность? Ведь вы вводите ее через оппозицию к индивидуальной...

Я ее ввожу дважды. Объектно я ввожу ее тыканьем пальца. Я говорю: вот *это* в своей работе осуществляет групповую интеллектуальную деятельность.

Писарский. Но почему интеллектуальную?

А какую? Мы же собрались здесь для решения определенных интеллектуальных задач. Нам надо развить и разработать методологическое мышление, построить теорию мышления и т.д. Так в чем вы сомневаетесь? Вам кажется, что это не интеллектуальная работа, а ручная или практическая?

Тюков. Вроде бы разговор идет о представлении мышления, и здесь фиксируется оппозиция. При описании же феноменов и отсылке к явле-

ниям речь уже идет о деятельности. А деятельность здесь всякая происходит – интеллектуальная, если вы такую найдете, организационная, общение... А всеобщие формы мышления вы хотите описывать через формы деятельности.

Я бы ответил так. Вот есть передо мной некий объект – семинар. И я нахожусь по отношению к нему в особой роли: мне надо управлять неким процессом жизнедеятельности семинара. Вы спрашиваете: почему я вот это описываю как групповую интеллектуальную деятельность? Как можно понимать подоплеку ваших вопросов? Почему я вообще воспользовался термином «интеллект», «интеллектуальное»? Я отвечаю: раньше я его не признавал. И когда мне пришлось писать статью в педагогический словарь, то я написал: «Понятие, используемое Пиаже и другими психологами для обозначения неизвестно чего. (Это был смысл дела.) Имеет такую-то историю» и т.д. В русском языке это немного иначе – у нас это существует как особый термин. Так что я сейчас им воспользовался, поскольку мне надо было назвать что-то общее, объединяющее мышление, рефлексия и понимание.

А история была такой: двигаясь вместе со всеми, я понял, что кроме мышления есть еще рефлексия, есть еще и понимание. Долго я пытался включить понимание в мышление – выяснил, что это невозможно; рефлексия в мышление – выяснил, что это невозможно. Я попробовал все включать в рефлексия, и это оказалось невозможно. И у меня получилось три образования: рефлексия, понимание и мышление. Чем же связаны все эти представления? Тут я вспомнил свою статью в словаре и свое самонадеянное утверждение. И получилось, что интеллект – это нечто общее, связывающее понимание, мышление и рефлексия.

Почему деятельность? А это уже касается проблемы соотношения между мышлением и деятельностью. Мышление и мыслительная деятельность – разное. Деятельность универсальна. Мышление такой универсальностью не обладает (во всяком случае, так мы считали до сих пор, хотя это, по-видимому, требует возвращения и новых специальных обсуждений). Мышление не автономно, оно существует как паразитирующее на деятельности, частично – внутри и как обслуживающее ее. Но пока мне важно, что деятельность есть нечто, что требует воспроизводства и, следовательно, нормировки, описания и т.д. Я бы мог сказать «групповое интеллектуализирование», имея в виду, что это – тип мышления, а не мыслительной деятельности. Однако я сознательно говорю про интеллектуальную деятельность, поскольку у меня задача нормировки и воспроизведения. Ибо 25 лет – довольно большой срок. И раз это воспроизводится – значит есть что-то, что обеспечивает эту нормировку.

И, наконец, последний пункт. Почему то, что здесь происходит, я беру в плане интеллектуального – мышления, рефлексии и понимания? Я мог бы рассмотреть это как клуб. Это был бы другой подход. Я дал ответ на ваш вопрос?

Тюков. Нет. По очень простой причине. Вот у вас в блоке методологических средств выделены различные типы деятельности, и там, в этих блоках, совсем не обозначено то, что, например, проектная или семиотическая, или знаниевая установка суть реализации каких-то интеллектуальных процессов. Скорее, наоборот: можно сказать, что интеллектуальная деятельность будет связана с познавательной установкой. Другого типа предметы...

Я понял. Но это – классическая для нас ситуация. Я вам отвечаю: конечно, то, что я докладываю, вы рассматриваете с точки зрения наших старых средств. Но весь пафос моего доклада в том, чтобы вы проблематизировали средства и взглянули на них критически. И сказали: а ведь у меня нет средств, чтобы понять то, о чем здесь речь. И вообще, мы были так твердо уверены, что это здорово, а вдруг оказалось – не работает.

Тюков. Но тогда вы отвечаете определенно: что ваша интеллектуальная деятельность есть образ, который по задаче или онтологически, или как-то иначе будет объединять мышление, понимание и рефлексю.

Я так с самого начала и говорил. Еще в тот раз я сказал, что моя задача будет состоять в том, чтобы объединить рефлексю, понимание и мышление в рамках одного целого – раз, и взять мышление в связке с коммуникацией – два. И когда я рассматривал традиционные психологические подходы, я говорил, что они готовы признать роль коммуникации как средства, соединяющего индивидуальные интеллекты. Но нет такого. А надо взять все это вместе, чтобы коммуникация была моментом, конституирующим интеллект, или то, что я назвал групповой интеллектуальной деятельностью. И я-то понимаю вопросы Писарского значительно глубже. Потому что если я так сказал, то ведь, наверное, деятельность идет по ведомству трансляции. А если я беру коммуникацию, то здесь должна быть не интеллектуальная деятельность, а то, что я условно назвал интеллектуализированием. Но тогда я на этот вопрос отвечаю: я должен пока что рассмотреть это как отправления, организуемые эффектом совместности. Но ведь у меня установка на то, чтобы представить это как деятельность, т.е. с точки зрения воспроизводства и нормировки. Поэтому я говорю о групповой интеллектуальной деятельности. А сам термин интеллект понадобился мне для того, чтобы объединить понимание, мышление и рефлексю.

Тюков. И характеристик никакого другого рода пока нет.

Это по цели. А я ведь что сделал? Я произвел критическую проблематизацию и в плане понятия объяснил, что я делаю. Теперь я начинаю формировать материал. Вот я задал ему первое феноменологическое описание. Теперь я сделаю второй шаг. А цель-то моя в том, чтобы выйти к онтологии и моделям, описывающим то, что я здесь пока задавал чисто

номинативно как групповую интеллектуальную деятельность. Теперь надо ответить на вопрос о том, каково онтологическое представление, что это как объект.

Тюков. Тогда я иначе спрошу. Значит, когда вы задавали представления о деятельности и воспроизводстве и т.д., потом описывали исторические иллюзии и социальные феномены, вы, фактически, никак не задавали такого рода ограничения на понимание интеллектуальной деятельности?

Никак. Ведь вы выходили в свои рефлексии и задавали мне вопросы: скажите, откуда возникла установка на родовое мышление? Я вам отвечаю на ваш вопрос. Но я не виноват, что вы тянете свою линию мышления, что все мое сообщение для вас выступает пятнами. Было бы странно и удивительно, если бы вы могли сходу представить себе все, что я хочу сказать.

Тюков. Вот вы опять говорите про мышление: спрут, Солярис. Вы вроде бы обсуждаете сейчас рефлексию, мышление и понимание, но остается этот образ, и вам как будто надо описать мышление.

Привык за 25 лет пользоваться словом «мышление». Вместо того, чтобы своевременно сказать «интеллектуальная деятельность». Хотя, если честно, меня интересует только мышление. Но, поскольку выяснилось, что оно не существует само по себе, то меня интересует и все то, что его окружает, – интеллектуальная деятельность. Простите мне сейчас терминологические прегрешения. Терминологические в этом контексте. А вообще-то это, конечно, понятийные вещи, и, может быть, мы лет через пять здесь же соберемся и я продолжу этот доклад и скажу: вот в 1977 г. я ошибался там-то и там-то, и поэтому все это так выглядело.

– Вы говорили, что весь этот конгломерат группового мышления двигался и развивался за счет председателя.

Нет. Он двигался за счет всех участников, за счет своего группового характера. Но при этом за счет своего движения он все время разваливался и заходил в тупики. И каждый раз приходилось принимать социальные решения, исходя из социальных целей. И при этом каким-то образом надо было еще учитывать «содержание». Председатель лавировал. Чтобы Иванов не обиделся, а Петров с ним не поссорился. Чтобы через неделю все повторилось – это или другое, но с этим как-то связанное. Чтобы в тот момент, когда докладчик и оппонент зашли в тупик, дать пинок всему этому, чтобы это опять куда-то покатило. Или незаметно подменить тему.

Кстати, поэтому председатель у нас обладал неограниченными правами. Мы все обязаны были ему подчиняться, хотя каждый мог оставаться

при своем мнении. И председатель мог, например, сказать «Сегодня играем без системного подхода», и тогда никто не мог использовать системный подход.

Роль председателя я сейчас буду рассматривать подробнее.

– Вот Ильенков критикует тенденцию к профессионализации и предлагает выход: способ универсализации. Он говорит, что достаточно изучить и применить диалектическую логику, чтобы разобраться в любой отрасли знания. Но вы говорите, что логики все-таки разные. Как же тогда можно стать универсалом?

Это серьезный вопрос. Мне кажется, что ответ на него заключен в разделении мышления и деятельности. С моей точки зрения, представление о том, что исчезнут профессии, иллюзорно. Этого не может быть, во всяком случае, при современных тенденциях развития общества. В деятельности необходимы профессионалы, специалисты, и я произношу это слово без всякого оттенка пренебрежения. С моей точки зрения, это очень здорово, поскольку иначе быть не может. Давайте отделим друг от друга деятельность, и даже мыслительную деятельность, профессионализированную, от мышления как такового. Деятельность и мыслительная деятельность нормируются одними способами, а мышление – это то, что в каком-то смысле не нормируется, что еще только должно быть нормировано. Но когда оно будет нормировано, оно превратится в мыслительную деятельность. Давайте поймем, что есть разные слои существования. Можно существовать в деятельности, а можно – в мышлении. Отсюда – глубина вопроса Писарского. Он спрашивает: «Почему вы говорите об интеллектуальной деятельности?». Это очень серьезный вопрос, и это вопрос, на который я, по сути дела, сейчас не могу достойно ответить. Я объясняю мотивы, которые заставили меня употреблять этот термин, но не понятийно.

Поэтому я понимаю критическую часть замечаний Ильенкова, но не разделяю его предрассудков в отношении того, что можно сделать. Я понимаю его устремление к диалектической логике, и оно мне созвучно. Я тоже так себе это представляю: надо создать логику методологического мышления, и тогда вы во всем разберетесь. Но разобраться – это не значит что-то сделать, профессионалы все равно будут нужны. Потому что такой методолог будет решать свои задачи – разобраться в мышлении и осуществить связь его с деятельностью. Но, чтобы осуществить деятельность, нужны профессионалы. Не потому, что методолог не может этого осуществить, а потому что он очень медленно это будет делать. Он слишком много будет размышлять. А если вам надо действовать, то размышлять нельзя. Если же вы размышляете, то нельзя действовать. Я, кажется, ответил на ваш вопрос...

Теперь я делаю следующий шаг.

Итак, получается, что сидит председатель и все время думает: а что же дальше? Тут развертывается страшная дискуссия, и он понимает, что

люди поссорятся. Что кто-то выдвинет ультиматум: если ему не дадут дальше продолжать доклад, то он уйдет и никогда больше не появится. И надо что-то делать. Больше того, начинаются вопросы о том, что правильно, а что неправильно, и кто прав. И все смотрят на председателя. Он должен сказать, что правильно, и в зависимости от того, как он ответит, будет то или иное продолжение: одного лишат слова, другому – дадут.

Следовательно, чтобы принимать организационно-управленческие решения, надо во всем этом разбираться. На каком уровне? На организационно-методическом. Поэтому здесь на семинаре возникли две действительности, которые долгое время существовали параллельно и никак друг с другом не взаимодействовали. По содержанию строилась теория индивидуализированного мышления, а все руководители (а был такой период, когда у нас кроме этого «большого» семинара было еще двенадцать секций!) должны были решать вопрос: как быть с организацией. Они начали отсеивать приемы, способы, типичные структуры, но не в теоретическом плане, а на уровне организационной методике: что делать.

Возникла система прецедентов. Говорили: «А-а, вот у нас была такая ситуация год назад, и мы так-то делали». Поэтому фоном стали идти исторические аналогии – как в английском законодательстве. Прецеденты и образовывали основное ядро этой «организационно-методической логики».

При этом по-прежнему разрабатывались модели индивидуализированного мышления. И только после того, как эта организационно-методическая рефлексия оформила себя и начала организовываться в особые единицы – «методологемы», как говорил Генисаретский, – только после того, как этих методологем накопилось достаточно много и возникло, фактически, два совершенно разных представления о мышлении: одно – организационно-методическое, где есть рефлексия и «выходы» разного рода, а другое – научно-теоретическое, только тогда встал вопрос, как же их соотносить друг с другом. И начался типичный, с моей точки зрения, процесс «оборачивания» организационно-методических схем в теоретический план – их «объективация». Это, на мой взгляд, узел новых и очень интересных методологических и теоретико-интеллектуальных проблем.

В организационно-методической рефлексии объектом были «ошибки». Я могу сказать и иначе, чтобы не употреблять слова «объект», так как объекта здесь не было – была деятельность, которая разворачивалась. И с какого-то момента она стала крутиться сама по себе. То есть сначала надо было прикладывать усилия к тому, чтобы семинар воспроизводился, а потом он функционировал уже сам. И никто не мог сказать: «Семинара не будет, потому что я заболел».

(Вот А.Н.Леонтьев отменял эти семинары на том основании, что он был занят. А так как он занят был всегда...)

А дальше сложилась иная практика: семинар есть самое главное. Если кто-то не может – это его личное дело. Семинар должен состояться. И он был.

И были ошибки, и каждый раз ставился вопрос, как из этой ситуации выходить. Рефлектировалась деятельность и затруднения в ней, и находились каждый раз правила для дальнейшей организации работы. И у всех этих знаний не было *объекта*. Это были *предписания*. Они отвечали на вопросы: «как действовать?» или «что там произошло?», «кто действовал правильно, кто – нет?»; надо было осознать, кто что говорил, в чем оппозиции. Но не объект надо было представить – вот что очень важно. В теории мышления мы строили представления об объекте: онтологическая картина, схема замещений многих плоскостей, «нотная азбука» и т.д. А здесь – никакого объекта. Здесь были системы прецедентов и рефлексивное осмысление деятельности на предмет ее продолжения. Поэтому их нельзя было соотносить друг с другом. Организационная рефлексия существовала сама по себе, а теория мышления с ее объектом или теория понимания, или теория рефлексии – сами по себе. И они вообще никак не могли быть соотнесены.

Мы приходим к важному вопросу о соотношении между практико-методическими (и организационно-методическими как их вариантом) и теоретическими знаниями, которые обязательно объективированы и соотнесены с единым представлением объекта. В выяснении этих соотношений очень велика роль В.А.Лефевра.

Он это объяснял таким образом. Он говорил: «Вот я сижу и ничего не понимаю». – «Чего ты не понимаешь, Володя?». – «А я не понимаю – ты что, серьезно так думаешь или ты хитришь. Вот что ты сказал? Ты нас что – обманул всех? Или что это было?». А потом он как-то однажды сказал: «Я понял. Это вообще все не мышление, а нечто совершенно другое». И тогда он сформулировал этот принцип, который теперь часто повторяется: «Ты же не соблюдаешь правил – ни мыслительных правил, ни правил, о которых сам говоришь. И вообще, это – какое-то совсем особое место». Вот так появился термин «рефлексия».

И он тогда (эти две работы его опубликованы в сборнике «Проблемы исследования систем и структур» [Лефевр 1965 а, б]) расписал систему позиций, нарисовал картинку, нарисовал у каждого соответствующее табло и на табло – разные системы представлений. И выделил функцию лидера. Это ему понадобилось, чтобы понять то, что происходило. А его понимание заключалось в том, что он изобразил групповую деятельность с ее специфическими ролями.

Кстати, тут был особый ход. Дело в том, что уже в 1961 г., готовясь к симпозиуму по структурной семиотике, мы построили вот эти схемы групповой деятельности, которые были опубликованы в сборнике «Семиотика и восточные языки» [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967]. Но то, что сделал Лефевр, это – нечто иное. Потому что там были позиционеры, а здесь не позиционеры, а индивиды, осуществляющие разную работу, и все это бралось относительно процесса организации и управления. И очень важно было то, что там были разные табло с разными представлениями. Плац-

дарм у них был один (я пользуюсь тогдашними терминами), а на табло у них было разное, и на планшетах у них было разное.

И вот с этого момента, когда была зарисована эта схема (декабрь 1964 г.), впервые произошла онтологизация и объективация представления о групповой интеллектуальной деятельности. Хотя слово «интеллектуальный», как вы понимаете, там не фигурировало. И появилось понятие (уже в рамках этой групповой интеллектуальной деятельности) о рефлексии. Термином мы пользовались и до этого – скажем, обсуждали роль рефлексии в процессе учения. А здесь представление перевернулось. Этот момент нужно исследовать специально – в чем здесь был поворот. Интеллектуальная деятельность была переведена в план групповой организации, и оказалось, что все участники осуществляют разные процессы. И с того момента, когда Лефевр сделал этот шаг – просто зарисовал и расписал это, – вся наша организационно-методическая рефлексия и наши представления стали уже относиться к этому. И тогда впервые появилось основание для онтологических сопоставлений.

Это не значит, что они начали сразу делаться. Первоначально – еще лет пять – эти две вещи тоже разворачивались параллельно, но уже как теоретические. Возникла теория рефлексии – но как интеллектуальной деятельности – и теория мышления, которая оставалась индивидуализированной. И, таким образом, рефлексия и мышление оказались противопоставленными друг другу. Причем, рефлексия рассматривалась в рамках деятельности, а не мышления.

Тюков. А разве лефевровские представления о рефлексии разворачивались не в контексте теории мышления?

Нет. До 1963 г. мы разрабатывали теорию мышления. В 1963 г. появилась теория деятельности. И когда Лефевр рисовал свою групповую деятельность и рефлексивные процессы, это шло не в контексте мышления, а в контексте игры, в контексте деятельности. Более того, я ведь утверждаю – и в этом пафос, – что родилось-то это из его непонимания ситуации и, следовательно, опиралось на его желание разобраться в том, что происходило. А он был одним из лидеров и вел очень сознательную и целенаправленную игру. Термины «игра», «лидерство» не случайны. Он осознал всю ситуацию с точки зрения системы лидерских отношений.

Это вообще был сложный период, когда семинар фактически раскололся. Образовалось четыре или пять мощных направлений. И все это осознавалось как игра; создавались коалиции, блоки, и все перешло в план коммунальной политики. И в таком духе – в плане игры, деятельности – и давались все схемы. К мышлению это не имело никакого отношения.

Рефлексия существовала не в мышлении, а сама по себе и была приписана вначале только лидеру. И нужна она была ему в особой роли – когда лидер должен был участвовать как игрок наравне с другими и в то же время управлять всей группой. Он мыслил как участник, руко-

водил как лидер, и рефлексия нужна была ему как средство связи того и другого.

3.

В прошлый раз я рассмотрел механизмы работы семинаров ММК. И рассматривал их как контр пример – пока на уровне чисто феноменологической теории – к тем нормативным, по необходимости индивидуализированным представлениям мышления, которые сложились в рамках существующей культурной традиции. Это был четвертый блок моего доклада.

В следующем, пятом, блоке внутри механизмов, обеспечивающих групповую интеллектуальную деятельность, были специально выделены работа и функции председателя, с одной стороны, и нескольких лидеров, обычно всегда присутствующих на заседаниях, – с другой. Именно среди них и возникла обычно дискуссия.

Затем я сказал, что необходимость организации группового интеллектуального процесса и управления им требовала от председателя и лидеров дискуссии специальных организационно-методических знаний и представлений, которые существенно помогали им в работе. Эти знания, названные «методологемами», существенно отличаются от тех теоретических знаний и представлений, которые были выработаны в рамках изучения теоретико-мыслительного предмета.

Эти теоретические представления, в соответствии с общекультурной традицией, ориентировались на нормативные представления о мышлении как индивидуальном процессе. Методологемы же были ориентированы на групповую работу и фиксировали не столько какие-то операциональные и объектные связи, сколько то, что было необходимо для управления процессами работы. Но методологемы были направлены не столько на сам процесс мышления, сколько на что-то внутри этого процесса: на столкновение различных точек зрения, на границы, возникающие между представлениями разных «позиционеров», на точки их соприкосновения или на несоответствия и разрывы между различными представлениями, на различия средств и т.д.

Следует подчеркнуть, что эти методологемы выделяли какое-то принципиально новое содержание, по сравнению с традиционным содержанием процессов мышления.

Эти два типа знания различались не только по содержанию, но и по форме. Знания, получаемые в рамках теории мышления, были объективированными и в целом строились вокруг создаваемых моделей и различных онтологических картин. Что же касается методологем, то они имели практико-методическую форму и не были отнесены к какому-то объекту. Более того, до 1964–1965 гг. вообще не было схем, фиксирующих групповую интеллектуальную работу.

Обсуждение этой стороны дела составило содержание пятого блока моего изложения. В следующем, шестом блоке был зафиксирован момент,

когда впервые в двух статьях сборника [Пробл. иссл. систем... 1965] были введены схемы, описывающие коллективную интеллектуальную работу, функции лидера в этой работе, совмещающего роли рядового ее участника и руководителя, и обсуждалось понятие рефлексии, существенно необходимое для описания совмещения этих ролей.

Однако к термину «рефлексия» следует относиться осторожно, поскольку его употребление в этом контексте связано с новым содержанием этого термина, которого не было ранее в философской традиции. Кроме того, примерно в то же время возникло еще несколько представлений о рефлексии. И если сейчас попытаться их как-то различить, то, помимо традиционных представлений о рефлексии, можно наметить по крайней мере три других представления, зафиксированных в схемах и противопоставленных друг другу.

Хочется подчеркнуть, что представление о рефлексии родилось не в связи со схемами мышления, а в связи, во-первых, со схемами деятельности и, во-вторых, интеллектуальной деятельности.

В этом месте А. Тюков мне возразил, но я не очень понял смысл его возражения.

Тюков. Представления о рефлексии возникли, на мой взгляд, не в связи со схемами деятельности, а в связи с развитием предмета теории мышления, в связи с представлениями о табло сознания, рефлексивными выходами мышления и т.д.

Теперь я вас понял, но по-прежнему не согласен, поскольку, с моей точки зрения, для теоретико-мыслительных схем схема замещения является ядерной, а схемы, фиксирующие рефлексию на табло сознания, могут не иметь ничего общего с мышлением. Они могут иметь, например, чисто деятельностьную интерпретацию. Именно так я и понимаю статью Лефевра, где вообще нет речи о мышлении.

Итак, в статьях 1964–1965 гг. впервые появились схемы, которые особым образом фиксировали и структурировали общение, коммуникацию, рефлексию как особую связь между двумя практическими деятельностями: 1) деятельностью управления и руководства и 2) той деятельностью, которую управляют и руководят – при условии, что тот, кто управляет, должен одновременно с управлением осуществлять рядовую деятельность внутри группы, каким-то особым образом связывая и соотнося эти две деятельности. (Здесь возникает особого рода имитация, которую, на мой взгляд, нельзя называть мышлением и надо исследовать специально, что это такое.)

После появления этих схем рефлексия стала исследоваться теоретически. Какое-то время представления о мышлении и представления о рефлексии развивались параллельно и никак друг с другом не соотносились. И примерно в этот же период выявился еще один, третий момент, который можно назвать «понимание в процессе коммуникации».

Сам феномен понимания был зафиксирован довольно давно. Но все попытки трактовать понимание шли в контексте операциональных схем мышления и отношений между плоскостями в многоплоскостных структурах мышления. Мышление трактовалось как горизонтальное движение по многоплоскостным структурам сознания, а акты понимания – как вертикальное движение, вертикальные скачки, позволяющие нам соотносить разные формы сознания друг с другом. Понимание связывалось с ага-эффектом, со скачкообразным замещением в сознании одного содержания другим, представленным в отличной от первого форме (например, с умением увидеть фигуру треугольника как составленную из двух или трех самостоятельных фигур).

При анализе процессов понимания никогда не вводился момент коммуникации как отношения между двумя действующими индивидами. Это всегда был процесс понимания текста (текста условий задачи, текста решения и т.д.). А где-то начиная с 1965 г. на передний план выдвигается схема отношения между двумя индивидами через текст.

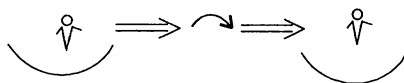


Рис. 1

При появлении в исследуемой схеме индивидов она существенно обогащается. Встает вопрос о том, где же здесь должно быть понимание.

Ведь когда мы трактуем понимание как фиксацию своей собственной внутренней работы, мы не ставим вопроса о том, где находится понимание, ибо схема эта принципиально не объективирована. Перед нами есть текст, есть то содержание, которое мы должны вычленять, и есть задача зарисовать то понимание текста, которое в результате образуется.

Когда же мы в схему внесли индивидов – продуцирующего этот текст и понимающего тот же текст, – тогда впервые появляется возможность поставить вопрос о понимании не как о нашей способности или нашем качестве, не как об особой функции нашего сознания, а как об особом свойстве этой картинки, включающей двух человечков. Тут-то и становится законным вопрос о том, где же здесь понимание.

В этой связи возник сложный вопрос о соотношении между коммуникацией и трансляцией, который специально обсуждался. Сейчас можно сказать, что коммуникация осуществляется в актах общения индивидов друг с другом, а трансляция существует в процессе воспроизводства деятельности. Коммуникация существует в горизонтальных структурах, а трансляция – в вертикальных.

Когда мы таким образом их различаем, то все просто. Трудности возникают, когда мы спрашиваем: «Вот этот индивид, который пишет книжку, – он коммуницирует или транслирует?».

В своих работах я рассматривал ситуации, когда коммуникация и трансляция жестко расходятся друг с другом как по содержанию, так и по

форме и могут быть противопоставлены. Однако все это понимание пришло относительно недавно, а тогда, в 65-ые годы, проблема была только поставлена. И вопрос был не в разделении трансляции и коммуникации, а в использовании полученных схем для анализа процесса понимания. Понимание стало рассматриваться на таких схемах и поначалу никак не было связано ни с анализом мышления, ни с анализом рефлексии. Эти три направления развивались относительно независимо друг от друга, и только в 1969–1970 гг. была осознана необходимость соотнесения их друг с другом.

На семинарах часто стала возникать трудная ситуация, когда три лидера говорили об одном и том же из трех разных позиций (т.е. мышления, рефлексии, понимания). И естественно возникла потребность погрузить эти три подхода в нечто всех их объемлющее, чтобы разобраться, что же происходит «на самом деле».

На этом я закончил изложение блока 8 моего доклада.

Итак, рассмотрим сначала чисто феноменологическую схему того, что происходило на семинарах ММК. Эта схема не претендует на то, чтобы быть моделью или онтологической картиной, так как для этого потребуются еще дополнительная работа.

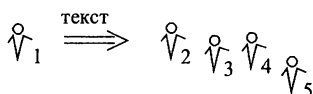


Рис. 2

Индивид 1 произносит некий текст, адресованный группе и, как это обычно бывает, в первую очередь лидеру 2, который осуществляет процесс понимания лучше, чем другие слушатели 3, 4 и 5 (причем, разделение на лидера и рядовых слушателей проявляется в самые разные моменты групповой работы в отношении к содержанию текста и т.д.). Индивиды 3–5 также слушают текст и по правилам работы семинара могут задавать самые разные вопросы в любой момент дискуссии. Вопросы эти могут быть весьма разнообразны и на следующих этапах работы должны быть подробно классифицированы. Пока же несколько наиболее характерных:

1) вопросы 5-го ко 2-му: Что ты понял? Как ты понял? Что сказал 1-й? Что хотел сказать 1-й? Как 1-й это сделал?

2) вопросы 5-го к 1-му: Что ты сказал? Что ты хотел сказать? Как ты это получил? Зачем ты это сказал? С какой целью ты это делал? Какими средствами ты пользовался? На основании чего ты это сказал? Какие здесь были термины, понятия, операции?

То, что я буду говорить дальше, относится не столько к тому, что на самом деле происходило на семинаре, сколько к весьма упрощенной модели происходившего. Но уже на этой очень простенькой модели получается целый ряд таких различий, которые если и фиксируются в традиционной литературе, то не систематически и в таком виде, что не могут быть самостоятельно исследованы.

Например. 1-й, проговаривая текст, осуществляет процесс мышления. Это значит, что я, описывающий и анализирующий всю эту ситуацию, могу представить его работу в многоплоскостных схемах замещения, выработанных в предмете теории мышления.

Если 1-й осуществляет процесс мышления, то 2-й осуществляет процесс понимания текста. А когда 3-й, 4-й или 5-й задают свои вопросы, то они тем самым провоцируют 1-го на рефлексию собственного мышления или других позиционеров – на понимание. И, следовательно, эти вопросы выбивают как 2-го в особую, рефлексивную позицию 2', так и 1-го в позицию 1', в которых они должны осуществлять осознание своих только что осуществленных процессов.

– Вопрос-обвинение: Георгий Петрович выводит представление о групповой деятельности на основе традиционных представлений об индивидуальной деятельности, а не наоборот, как это декларировалось в самом начале доклада.

Этот вопрос очень принципиален и вместе с тем достаточно сложен. Конечно, вы можете проинтерпретировать все мои слова объектно – как описание того, что же там в групповой деятельности происходило. И со временем мы сможем это сделать. Но пока что я делаю только одно: я рисую феноменологическую картинку. Так как я ее должен рисовать по порядку – рисовать отдельные черточки, элементики и т.д., – то я тем самым осуществляю конструктивную деятельность. Когда я пишу слово «азбука», я пишу вначале букву «а», потом «з» и т.д. Но в конце я получаю не набор букв «а», «з», ... «а», а слово «азбука», которое живет своей жизнью и имеет свои собственные характеристики (имеет содержание, денотат и т.д.). То же происходит и на доске. Я всю картинку складываю как бы из букв, но мои буквы – это человечки, расчленения, связки и т.д. Причем, есть и отличие этой «живописной» ситуации от ситуации написания одного слова с помощью букв. Каждый мой отдельный элементик имеет свое особое, нетривиальное содержание. И мою ситуацию следует, скорее, сравнивать со складыванием предложения из отдельных слов. При этом каждое слово имеет свой собственный смысл, но сумма этих смыслов не имеет ничего общего со смыслом всего предложения. Скорее, даже наоборот: смысл отдельных слов в большой степени определяется смыслом всего предложения.

Конечно, вы правы, когда обращаете внимание на то, что первый осуществляет какую-то самостоятельную работу мышления, а второй – самостоятельную работу понимания. Но в целом, когда я закончу рисование, получится нечто цельное и совсем другое, не похожее на составные части. Отдельные дискуссионты, действительно, проделывают индивидуальную мыслительную работу. Но не это меня сейчас интересует. И даже не то, что получится, если все эти индивидуальные работы сложить. Меня интересует то, что отличает полученное целое от частей, то, что отличает жи-

вого человека от труппа, осмысленное предложение от суммы смыслов отдельных слов.

Сазонов. Вы излагаете готовый результат или просто работаете?

Раньше, лет 20 назад, я делал это различие. А теперь я совсем забыл, в чем там было дело.

Тюков. У вас уже есть готовый набор элементов, из которых вы строите свою конструкцию?

Это хороший пример вопроса к докладчику. Вы спрашиваете, по сути дела: есть ли у меня язык? Я вообще-то могу выйти в рефлексивную позицию и задуматься, есть ли у меня язык, какие у меня средства и т.д. А я сейчас не хочу об этом даже задумываться. Я просто рассказываю. <...>

Я хочу обратить внимание на несколько тонких моментов, которые возникают при анализе ответов 1-го или 2-го на обращенные к ним вопросы.

Первое. Рассмотрим вопрос ко 2-му: «Что ты понял?». Казалось бы, вопрос относится к содержанию понятого и вроде бы не выбивает 2-го в позицию 2'. И, например, в лингвистических работах, идущих в рамках концепции «текст – смысл» (И.А.Мельчук и др.), утверждается, что эти вопросы не выталкивают второго в рефлексивную позицию. Иначе говоря, эти вопросы считаются относящимися не к деятельности понимания, а к тому, что понимается.

Но я утверждаю, что эта точка зрения ошибочна. И именно в этом я вижу основную ошибку концепции «текст – смысл». Все эти вопросы, несмотря на свою квазиобъектную направленность, являются вопросами рефлексивными.

Например, 1-й может не принять вопроса «Что ты сказал?» по сути и, как это нередко бывает, тупо повторить сказанное, т.е. возможна и нерелексивная трактовка этих вопросов. Но по сути своей эти вопросы требуют от 2-го рефлексии понимания и рефлексии мышления от 1-го.

Вторая тонкость. Когда 2-му задается вопрос, то у него есть две возможности. Первая: он может для себя разобраться в том, как или что он понял и промолчать или как-нибудь уклониться от ответа по существу. Вторая: он отвечает на вопрос и производит свой собственный текст, который и разъясняет, что или как он понял. И в этот момент он, в соответствии со всеми предыдущими полаганиями, будет уже осуществлять процесс мышления, а не рефлексии, ибо он производит текст. Но это будет особое мышление, стоящее в особом отношении к его предшествующей работе понимания и к мышлению 1-го.

Что же я сделал? Фактически, я уже наметил в феноменальном плане взаимосвязь мышления, понимания и рефлексии. 1-й мыслит, 2-й понимает. Этот процесс идет до первого заданного вопроса. После того как задан вопрос, он (2-й или 1-й) прерывает свою деятельность и выходит в рефлексивную позицию анализа своей предшествующей деятельности. При-

чем, эта новая рефлексивная деятельность находится в очень сложном отношении к его предыдущей деятельности: можно сказать, что предыдущая деятельность рассматривается рефлексией как объект, как вещь.

Процессы в групповой интеллектуальной деятельности не прикладываются линейно друг к другу. После такого вопроса уже нельзя механически продолжить предыдущую деятельность. Приходится начинать новую деятельность.

– Для того чтобы осуществлять все то, что вы говорите, индивид должен внутри себя уже иметь понимание всего вокруг него происходящего. А если вы не хотите признать, что внутри индивида есть все, что необходимо для описания групповой интеллектуальной деятельности, то вы должны показать, как же индивид может такое делать, может переключаться с одной деятельности на другую и т.д. Как же у него это получается?

Это – вопрос о способностях. Это – кондовый психологический вопрос. Так пусть психологи на него и отвечают! В моей феноменологической картине нет никаких способностей. Мне они не нужны.

Я пока что рисую феноменологическую картинку и не ставлю вопросов, на каком основании, в силу чего, как я это получил.

– ...

Смотрите, что я сделал. Я нарисовал эту схемочку и тем самым – то, что вы хотите получить: связь мышления, рефлексии, понимания. Я задал принцип их стыковки. Я не нарисовал никакого объекта, а описываемая ситуация служила мне лишь костылями. Делая вид, что я описываю ситуацию, я нарисовал структурную схему, т.е. принцип стыковки понимания, мышления, рефлексии... Вопрос ваш интересный, но, поскольку это феноменологическая схема, это незаконный вопрос. Это вопрос о существовании: где и как это существует? Но это все будет потом, а пока это – лишь принцип. Кстати, интересный вопрос: а где существует содержание принципов?

– А можно ли изобразить как-нибудь по-другому то, что вы сделали?

А что именно изобразить по-другому? Ведь я же не знаю, что я зарисовал!

Кроме того, что значит применение категории возможности к моей работе? Ведь я же зарисовал именно эту схему, а не другую! Если же вы меня спросите, а можно ли по-другому связать мышление, понимание и рефлексия, то я отвечу: конечно! Более того, я могу показать достаточно большое число способов связать их друг с другом.

Вы все время исходите из одного, на мой взгляд, ошибочного тезиса, что мыслительная работа идет на видении объекта и что видение объекта

и выражаете в схеме. Я же говорю: объект видит только Господь Бог. Люди не наделены этой способностью. Люди мыслят, понимают, рефлектируют.

Мыслят – это значит работают со знаками: конструируют, комбинируют их и т.д.

Понимают – это значит интерпретируют их особым образом, соотносят с другими.

Рефлектируют – это значит относятся к своей деятельности и начинают в ней, т.е. в своей деятельности, выделять то или иное содержание.

Важно, что люди никогда не видят объекта.

А вы спрашиваете относительно моей картинки: можно ли этот объект изобразить иначе? Но у меня ничего этого нет и никогда не бывает. Интеллектуальная работа подчиняется другим законам.

Сначала надо нарисовать схему. Потом с ней можно разнообразно работать. В том числе: объективировать, трактовать как объект, развертывать ее дальше и т.д. Когда есть схема, с ней можно делать самые разные вещи и, в том числе, имитировать отношение этой схемы к объекту в приеме двойного, тройного и т.д. знания.

– *А можно ли как-нибудь проверить данную схему на истинность? На самом деле она соответствует чему-либо или нет?*

Этим занимаются философы. И пусть они этим занимаются.

Но все, что я говорю, отнюдь не означает, что не надо задавать вопросы. Больше того, чем больше хороших вопросов будет задано, тем дальше вы, а вместе с вами и я, продвинемся в нашем мышлении. Причем, на некоторые вопросы буду отвечать я сам, на другие – будут отвечать сами задающие, часть вопросов останется без ответа, хотя и они как-то повлияют на нашу мыслительную работу.

Задавайте как можно больше вопросов! Но помните при этом, что это должны быть вопросы по поводу уже нарисованных схем. Даже если вы спрашиваете, почему я нарисовал именно так, какие у меня были основания, какими средствами я пользовался и т.д., вы должны помнить, что все ответы на эти вопросы будут следовать после того, как я нарисовал схему.

– ...

Смотрите, какова была логическая схема моих рассуждений, начиная с позапрошлого доклада. Я говорил, что, с моей точки зрения, научное исследование возможно лишь в том случае, когда имеется заданный в онтологической картине объект. Я затем постарался показать, что мы не представляем себе в онтологических картинках, что такое групповая интеллектуальная деятельность. Вообще не представляем себе, как ее рисовать, как ее изображать, как ее мыслить. И задача моей работы состоит в том, чтобы задать новый класс схем, начиная с феноменологических, а затем произвести их объективацию, превратить их в модели, в элементы онтологической картины.

Групповая интеллектуальная деятельность – это то, что изображено в этих схемах. Ведь Галилей как определял, что такое свободное падение? Он задал закон и сказал, что это и есть свободное падение. И вопросы, почему именно это есть свободное падение, а не что-нибудь другое, не имеют смысла.

Вообще, в научном теоретическом мышлении всегда происходит специфическое оборачивание: не модель определяется относительно объекта, а класс объектов относительно модели. Когда такое оборачивание совершено, мы покидаем почву философии и попадаем на почву науки.

– Как вы считаете – ваша схема закончена?

Если вы сможете после моего доклада выйти к доске и разворачивать нарисованную мною схему, то я скажу, что для задания принципа моя схема закончена и она достаточна. Причем, не обязательно, чтобы у вас было точно такое же разворачивание схем, как у меня. Достаточно, чтобы мы смогли понимать друг друга и работать на этих схемах.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что пока вы рассматриваете индивида, вы не сможете различить между собой рефлексию, понимание и мышление, ибо их различие – функциональное, внутри структуры, как различие левого, правого, среднего. На уровне сознания, психики нет явного различия между пониманием, рефлексией, мышлением, хотя это различие и существует в сознании как отражение изображенных в моей схеме функционально различающихся структур. Поэтому психологический подход с его анализом сознания вообще дефицитен по отношению к этим проблемам. Для рассмотрения этих проблем необходим выход из психологии в теорию деятельности. Только там их можно увидеть.

Вы вообще не можете изучить сознание и психику, изучая сознание и психику! Потому что их природа такова, что закон не в них, а в другом – в том, что они отражают. Для того чтобы понять, что они есть, надо изучать другое. Точно так же, как для того чтобы понять, например, что такое число «четыре», надо изучать другое – понятие количества.

Тюков. Зачем вам нужно было проговаривать первые части вашего доклада? Ведь сейчас вы принимаете вопросы только по последней части, по нарисованной вами картинке. И это – ваша обычная манера: вы рисуете схему и затем отбрасываете все вопросы по содержанию, по связи вашей схемы с тем, что происходит реально.

Но ведь вы не знаете, что было бы, если бы я начал доклад с феноменологической схемы. Я думаю, что было бы гораздо больше непонимания и недоуменных вопросов. Сейчас-то хоть все знают, о чем идет речь!

– С самого начала мне казалось, что основным для вас была демонстрация вот такого способа продвижения, начиная с феноменологической

схемы. А на групповую интеллектуальную деятельность вам, в общем-то, наплевать.

Вы не правы. Меня в равной степени интересует и то, и другое. Сейчас для меня даже, пожалуй, важнее именно предметное содержание. Мне кажется, за счет этой схемы мы впервые получили средство и онтологическую схему для правильного описания истории нашего Кружка. До этого мы использовали историю Кружка в другой функции: для снятия полученных содержаний и структурирования их. Это одна из функций исторического исследования. А эта схема дает нам возможность действительно *объяснить*, что происходило в истории ММК.

– А что это такое – то, что вы нарисовали?

А это очень интересный вопрос: что это такое? Например, это не кооперативная схема. Но я не могу ответить на ваш вопрос, не проделав еще несколько шагов. Что я должен был бы сделать дальше? Я должен был бы нарисовать мою схему, сегодняшнюю, как один блок, нарисовать блочную схему всех моих элементов – методологом, теоретических представлений о мышлении, понимании, рефлексии, модели категорий – и уже тогда поставить вопрос: что изображает эта схема? И далее начать конструирование объекта; при этом проделать категориальную проработку этой моей схемы в деятельностных парадигмах, на пересечении онтологических и категориальных средств. И все время я буду себя спрашивать: так что же это такое? И буду проигрывать варианты кооперативных схем, схем коммуникации, деятельности, и буду показывать, что это не то и не другое, и не третье. Перебрав все имеющиеся схемы, я покажу, что это нечто другое, положу эту схему рядом с уже известными и скажу, что я обогатил теорию деятельности, задав еще одну онтологическую схему.

Далее надо будет смотреть, какие новые предметы могут быть сформированы, вытягивать из этой онтологической схемы коммуникацию, группу, индивидуальность. Впервые мы получим возможность поставить вопрос о деятельности индивида и индивидуальной деятельности. Где-то дальше – выход к понятиям индивида и личности.

Здесь может быть развернута куча разнообразных предметов. Здесь можно, например, различить коммуникацию и общение. Все это должно быть дальше обсуждено.

Нормативно-деятельностный подход в исследовании интеллектуальных процессов *

Цель моего выступления сегодня состоит в том, чтобы пояснить, что я называю *нормативно-деятельностным подходом*, представить основания, которые привели к появлению этого образования и задают его назначение и функции, а также место внутри других методов, способов, подходов к исследованию интеллектуальных процессов.

Первое ограничивающее замечание – дабы все, что я дальше буду говорить, понималось достаточно узко и именно в том контексте, в каком это имеет смысл и значение.

Я полагаю (и говорил об этом здесь два года назад), что в развитии робототехники и того, что мы называем исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта, нужно различать *два* основных направления. Первое – когда «искусственный интеллект» создается как орудийная или инструментальная система безотносительно к задачам имитации человеческих интеллектуальных процессов. И второе – когда ставится специальная задача имитации тех процессов понимания, рефлексии, мышления, схематизации смысла, которые осуществляются у человека и в человеческих сообществах.

Эти два направления достаточно автономны и, самое главное, требуют совершенно разных исследований. Все, что я дальше буду говорить, имеет смысл лишь в рамках второго направления, т.е. таких исследований и разработок, которые с самого начала ориентированы на имитацию человеческих интеллектуальных процессов. Я бы даже сказал еще более определенно: все, что я буду говорить, связано прежде всего с исследованием человеческих интеллектуальных процессов; именно в этих рамках меня надо будет понимать и трактовать.

Теперь я перехожу к основным тезисам моего доклада.

Первая, по сути дела, исходная, посылка (я ее тоже довольно подробно развивал здесь два года назад) состоит в том, что человеческий интеллект и, в частности, интеллектуальные процессы в принципе не сходны с теми физическими явлениями – механическими, термодинамическими, электродинамическими и т.п., которые нам уже достаточно известны и которые мы умеем представлять в так называемых естественнонаучных теориях.

Интеллектуальные процессы являются образованиями принципиально иного рода. Это, прежде всего, целеустремленные и нормируемые системы. А это означает, что бессмысленно делать ставку на поиск каких-то

* Выступление на симпозиуме по проблемам искусственного интеллекта (Киев, 12 июня 1979 г.). Арх. № 2545.

законов интеллектуальных процессов. Нет у них таких законов и быть не может.

А из этого следует, что и строить модели, онтологические картины и научные теории такого типа, какие мы строим, скажем, в физике, точно так же не имеет смысла; а надо искать какие-то другие образцы построения моделей, онтологических картин и научных теорий.

Это мой исходный тезис. Я уже сказал, что докладывал здесь это два года назад, и сейчас я не буду возвращаться к той аргументации, которая тогда проводилась; я лишь попробую осветить эти положения с несколько иной стороны, в каком-то смысле – исторически.

Дело в том, что сделанное мною только что утверждение – а оно представляется мне крайне важным – является результатом достаточно долгой, по сути дела, двадцатипятилетней, истории моих собственных исследований и исследований всех тех, кто со мной сотрудничал, истории поиска средств для исследования интеллектуальных процессов, историей трудностей, редких удач, дрейфов и вынужденной эволюции наших основных представлений.

Эта история и сама по себе очень поучительна, но сейчас она особенно значима, как мне кажется, еще и по тому, что многие и многие исследовательские коллективы начинают эту работу примерно с того, с чего мы начинали 25 лет тому назад, и, как я вижу, проходят шаг за шагом те же этапы, которые проходили мы. Но зачем же повторять еще раз чужие ошибки? Как говорил Бисмарк, только дураки учатся на своих собственных ошибках, умные должны учиться на ошибках других. Вот поэтому я и хочу представить историю наших ошибок.

Все то, что мы пытались делать в исследовании интеллектуальных процессов, можно разделить на несколько основных этапов. Первым из них был этап 1954–1959 гг., когда мы исследовали научные рассуждения, зафиксированные в текстах. Это были по преимуществу историко-научные исследования. Мы пытались восстановить те интеллектуальные процессы, посредством которых эти тексты создавались. В этих работах участвовало довольно большое количество исследователей, сейчас достаточно известных в нашей стране. Часть из них продолжает эти исследования и дальше, в том числе и я сам.

Самым главным, что характеризовало тот этап, было использование категории процесса. Мы ставили перед собой задачу выделить строение и основные механизмы мыслительного рассуждения, которое мы рассматривали как естественный процесс. Мы пытались найти способы членения этих процессов, выделить в них процедуры и операции, составить алфавит операций и показать, как из них в ходе мыслительной деятельности по решению задач строятся сложные процессы. Программа этих работ была опубликована в 1957 г. [*Щедровицкий, Алексеев 1957*], а основные результаты зафиксированы в моей работе «Опыт анализа сложного рассуждения, содержащего решение астрономической задачи» [*Щедровицкий 1960*]

и в ряде статей И.С.Ладенко, В.М.Розина, А.С.Москаевой и др. И в этом же контексте проводился анализ логико-эпистемического строения научной теории – «Начал» Евклида, молекулярно-кинетической теории газов, «Бесед» Галилея и др.

С 1959 г. начался второй этап наших исследований и разработок, когда мы обратились к анализу процессов решения учебных задач детьми. Программа этих работ была представлена в материалах II Съезда общества психологов, а затем в статье в журнале «Вопросы психологии» [Щедровицкий 1964 б].

Значительная часть результатов, которые мы получили во втором направлении и на этом втором этапе, представлена в моей, вышедшей в 1965 г., работе «Исследование мышления детей на материале решений арифметических задач» [Щедровицкий 1965 б], и те, кто этим интересуется, могут посмотреть эту работу.

Самое главное, что характеризует второй этап наших исследований – а он тоже был логическим в первую очередь, – это то, что мы искали некоторые *нормативные структуры* для процессов решения задач, чтобы потом использовать их в процессе обучения детей. Мы стремились прежде всего выделить эти нормативные структуры решений, а после того как нам это удавалось, рассматривали реальное поведение и реальные действия детей относительно этих нормативных представлений.

При этом мы все время стремились сопоставить то, что мы получили при исследовании мышления по текстам научных произведений, с тем, что мы получали при исследовании «живой» деятельности по решению задач у детей.

Мы предполагали, что анализ «кухни» или «лаборатории» мышления большого мыслителя даст нам возможность выявить некоторые средства, которые потом можно будет передать другим людям и таким образом оптимизировать мыслительную работу современных поколений.

Эта двойственная направленность нашей работы – с одной стороны, нормативно-технической и нормативной, а с другой – исследовательской, поскольку мы имели перед собой «живой» материал, с которым соотносили наши конструкции и относительно которого мы их проверяли, – очень важна, в том числе и в плане дальнейшего развития наших методов работы. На тех этапах мы еще не сделали из этого необходимых методологических выводов. Тогда мы еще думали по традиции, что можно найти нечто похожее на законы построения интеллектуального процесса, мы еще верили в это, хотя весь материал и наши собственные способы работы фактически это опровергали. Даже в постановке основных задач – определить строение, формы организации, механизмы интеллектуальной деятельности – тоже уже не было традиционной естественнонаучной направленности, но наше осознание явно отставало от того, что происходило реально.

Итак, первое и очень характерное в нашей работе на этих двух этапах, это то, что мы вроде бы рассматривали некоторый материал, но це-

лю и результатом наших исследований и разработок должно было быть не описание того, что происходило, а некоторое нормативное образование. Мы фиксировали факты, то, что фактически случилось, но при этом хотели ответить на вопрос, как нужно или как должно мыслить.

На тех этапах это обстоятельство не казалось нам странным, поскольку мы и естественнонаучные законы рассматривали, с одной стороны, как некоторую фотографию, а с другой – как некоторое технологическое правило.

Но при этом выпадало из поля зрения то, что при естественнонаучном исследовании главное – получить фотографию, а в педагогическом нормативно-ориентированном исследовании главное – получить норму. Мы же рассматривали материал относительно нормы, и тогда очень наивно полагали, что достигли успеха, если показали, что материал хорошо вкладывается в наши нормативные конструкции, т.е. что нормы соответствуют материалу, а материал – нормам.

С нашей современной точки зрения в этом было сразу две ошибки: во-первых, мы стремились к установлению соответствий между материалом и конструкциями, не очень понимая разнообразия их отношений и связей, а во-вторых, стирали различие между *нормативными* и *естественнонаучными* конструкциями, по сути дела, отождествляли нормативные образования с моделями интеллектуальных процессов.

Оба эти пункта являются крайне важными и принципиальными. Чтобы пояснить это – установку на соответствие материала и конструкций и смешение нормативных конструкций с описывающими – можно обратиться к истории психологии. Нетрудно видеть, что психология сегодня так и работает. Скажем, если вы берете исследования П.Я.Гальперина, то там точно такая же задача и установка. Например, нормативно описываются процессы образования понятий. Когда эти процессы зафиксированы, то соответствующие схемы дают детям и говорят: вот так нужно образовывать понятия. И если дети потом образуют понятия именно таким образом, то считается, что нормативные описания оправдали себя, и на этом основании их проецируют не только в план употребления нормативного образования, но и непосредственно – как модель интеллектуальных процессов. Утверждается, что если дети эффективно строят по этим нормативным схемам решения учебных задач, то, значит, мы правильно описали реальные процессы их мышления или те процессы образования понятий, которые происходят и должны происходить по некоторым законам мышления. Но как бы там ни было, мы более десяти лет исследовали тексты научных работ, фиксирующие мыслительную работу ученых, мы исследовали мыслительную деятельность детей по решению задач, мы развили методы своей работы, мы открыли массу интересных подробностей, но в конце концов пришли к общему результату и выводу, который, как мы теперь понимаем, был известен уже Платону и воспроизведен в работах К.Дункера, а именно: что мышление нельзя рассматривать только как процессы. Ни мышление, ни понимание, ни интеллект в целом нельзя рас-

смагивать только как процессуальные образования. Здесь нужна принципиально иная категориальная система.

Это стало для нас совершенно ясным к 1965 г. И тогда мы перешли к категории структуры, ибо наши нормативные образования представляли собой, по сути дела, структуры, которые задавались как одно целое и выступали как особые формы организации интеллектуальных процессов – искусственные, социотехнические формы.

Платон давным-давно знал (но мы в трансляции культуры не получили этого как знание и принцип), что в мышлении всегда есть два плана: план заранее заданных структур (и поэтому каждый человек, мысля, лишь «припоминает» то, что он уже имел – реализует эти структуры), и другой план – план процесса, который он строит, план дискурсивный, или сукцессивный. И эти два плана обязательно присутствуют в том, что мы называем мышлением и интеллектом.

Таким образом, весь наш материал и весь ход нашего исследования говорили, что пока что нам нужно отказаться от категории процесса – с ней ничего не получается и не может получиться – и надо работать с категорией структур. Осознание и осмысление этого началось у нас уже в 1960–1961 гг., но к ясному и отчетливому формулированию этого как принципа нашей работы мы пришли к 1963–1965 гг., поэтому в плане категорий этап 1960–1965 гг. может считаться переходным.

В плане общего методологического осмысления этот этап связан также с переходом от теоретико-мыслительных к деятельностным и теоретико-деятельностным трактовкам мышления и интеллекта.

В плане собственно предметного анализа рассуждений и деятельности по решению задач он связан с переходом от исследования процессов решения задач к исследованию способов решения задач и всего того, что мы сейчас называем собственно деятельностными структурами.

В период 1956–1960 гг. у нас параллельно фигурировали два понятия: с одной стороны, *процесс решения* определенной задачи, а с другой стороны, *способ решения* задачи и, соответственно этому, – *процесс рассуждения* и *способ рассуждения*. Но на вопрос, где же существуют способы, ответа пока что не было. Мы вроде бы конструировали способы, описывали их и давали детям – мы все это делали, – но при ответе на вопрос, где же они существуют «в натуре», мы опять-таки проецировали наши конструкции способов на процессы и считали, что там, в процессах, они как раз и реализуются. Но такой ответ, естественно, не мог нас удовлетворить.

Переход от теоретико-мыслительных к деятельностным представлениям был связан прежде всего с решением этой проблемы. И когда были сформулированы наши первые общие представления о деятельности (процессах воспроизводства и трансляции нормативных образований в системе культуры) – а это произошло в период с 1961 г. по 1965 г. (первые доклады были сделаны и первые статьи были написаны в 1961 г., первые публикации вышли в 1965 г.), – появилась возможность строго предметно и

онтологически объяснить существование как способов решения задач, так и нормативных структур.

Поэтому можно сказать, что с 1961 г. начался третий, теоретико-деятельностный, этап наших исследований мышления и вообще интеллектуальных процессов. В период с 1961 г. по 1965 г. он как бы подготавливался внутри других направлений анализа, а к 1964–65 гг. слился с линией смены категорий, перехода от процессуального к структурному представлению мышления и интеллекта, и все это вместе дало уже собственно новый этап наших исследований и разработок – *структурно-деятельностный*, как я уже сказал. Мы, как только это произошло, получили возможность ответить на вопрос – теперь уже в онтологическом плане, – чем же отличаются друг от друга 1) нормативный план решений задач, 2) план способов и 3) план реализационный, план процессов. Мы получили возможность объяснить объективное существование того, другого и третьего.

И это опять-таки не было чем-то принципиально новым. Двигаясь на материале интеллектуальных процессов, мы снова переоткрыли для себя то, что уже сделал для лингвистики Фердинанд де Соссюр, правда, с несколько иной трактовкой.

Мы поняли, что нормативные образования должны существовать в деятельности сами по себе, автономно от мыслительных процессов, являющихся реализациями этих способов. И эти нормативные образования как моментально данные конструкты, как нечто симультанно присутствующее в процессе мышления суть особые элементы мыслительных или интеллектуальных образований, интеллектуальных систем.

Иначе говоря, наша основная задача на этом этапе работы состояла в том, чтобы развести эти два момента – способы решения задач, или нормы, и процессы решения – и задать им раздельное объективное существование, построить такую онтологическую картину, где бы нормативные образования существовали сами по себе как нормативные образования и было бы ясно, где и как они существуют, а процессы реализации существовали бы отдельно от способов и норм, в своей особой структуре, в других конструкциях и в других процессах.

Этот третий этап, который мы обычно называем структурно-деятельностным, характеризовался, следовательно, кроме перехода к категории структуры, еще созданием специальных онтологических картин деятельности, где деятельность задавалась в процессах воспроизводства и трансляции норм культуры.

Один из вариантов этой картины я представил здесь на схеме (рис. 1).

Слева в этой схеме представлена одна группа составляющих деятельности, а именно ситуации совместной деятельности, в которых развертываются, в частности, процессы решения задач и другие интеллектуальные процессы. В этой же части деятельностной структуры я нарисовал и представил те нормы, которые были усвоены индивидами, интериоризованы и реализуются ими в процессах интеллектуальной деятельности. Все, что

происходит в ситуациях деятельности, нормировано. Но сами процессы осуществляются отнюдь не только в соответствии с этой нормировкой; сами нормы, выбираемые и определенным образом организуемые в процессе реализации, выделяются в соответствии с логикой овладения ситуацией, построения ситуации, переорганизации существующей ситуации и т.д. и т.п. Весь процесс, следовательно, креативен, является творческим процессом.

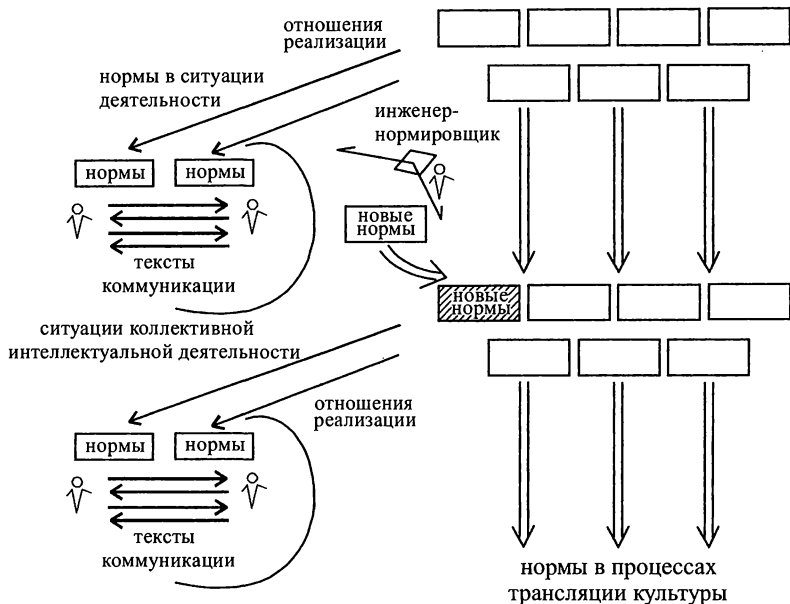


Рис. 1

Но этот момент – креативности, творческого характера деятельности в ситуациях – никак не может противопоставляться моменту нормированности. Любой процесс деятельности, любой интеллектуальный процесс и нормирован, и креативен одновременно.

Это само по себе – очень важный момент, который надо обсуждать особо, но сейчас для меня существенно совсем другое – самостоятельное и автономное существование в структурах общественной деятельности норм деятельности и, в частности, норм интеллектуальной деятельности – отдельно и независимо от реализации этих норм в процессах деятельности вообще, в процессах интеллектуальной деятельности в частности. Нормы деятельности – и это важнейшее утверждение для деятельностного подхода – существуют сами по себе в процессах трансляции культуры, они создаются, конструируются специальными деятелями культуры – культуротехниками, инженерами-нормировщиками, «операторами культуры», как говорят в итальянской традиции, и в особой фокусировке могут рас-

смагиваться как таковые в процессах трансляции и реализации. Вот что сейчас особенно важно для меня.

Это был основной результат, основное представление, полученное нами в 1961 г., осознанное в различных планах в период с 1961 по 1965 гг. и с тех пор легшее в основание всех наших работ.

Я отойду теперь чуть-чуть в сторону от основной линии моих рассуждений; это будет своего рода аппендикс, но он представляется мне сегодня крайне важным. На этих совещаниях собираются и психологи, и логики, и лингвисты, и инженеры, и все мы пытаемся делать общую работу по анализу и разработке систем интеллекта. Но я бы хотел обратить внимание всех присутствующих, что лингвисты, на мой взгляд, продвинулись далеко вперед, по меньшей мере, лет на сто по сравнению с представителями других наук – и логиками, и психологами – в развертывании онтологических картин интеллектуальной деятельности. Это обстоятельство, которое могло бы очень быстро и эффективно продвинуть нас всех вперед, если бы мы просто заимствовали и использовали главное из того, что уже поняли и наработали лингвисты, на деле становится тормозом в нашей совместной работе, поскольку мы не имеем пока общей онтологической картины интеллектуальных процессов и собирающиеся здесь представители разных наук исходят из принципиально разных онтологических представлений.

Сейчас нам необходимо прежде всего как-то соотнести и сообразовать друг с другом наши онтологические картины. Для психологов, к примеру, – и О.К.Тихомиров сегодня это очень ярко продемонстрировал (я, конечно, понимаю, что он не ответственен за положение психологии в целом, ведь это фирма, как говорится, с ограниченной ответственностью, но он очень точно представил нынешнее положение дел в психологии), – до сих пор практически не существует того, что сделал Соссюр, нет различения нормативных образований и их реализации, и поэтому им приходится склеивать то, что характерно для норм, с тем, что характерно для процессов. И то же самое делают логики. Но если логики еще могут оправдаться тем, что они нормировщики и работают только в нормативной сфере, т.е. тем, что их интересуют только нормативные образования и больше они ничем не интересуются, то положение психологов много сложнее – они-то утверждают, что интересуются «живой» деятельностью в целом, и поэтому они никак не могут игнорировать различие этих двух моментов. Мне представляется, что если психологи и дальше будут гнуть свою линию и продолжать работу, не учитывая различий между нормами и их реализациями в процессах деятельности, т.е. между нормативными конструкциями и процессами, если они не будут учитывать того, что человек зажат между этими двумя принципиально разными образованиями, то, я боюсь, они будут тянуть назад не только свою собственную науку, но и работу всех других, тех, кто завязан с ними в общем движении развития исследований интеллектуальной деятельности. После этого замечания,

которое представляется мне важным не только в теоретическом, но и в практическом плане, я могу вернуться к рассказу об эволюции наших основных представлений об интеллекте.

Итак, мы вынуждены были построить схему, где различаются моменты существования норм и их реализации; мы дали нормам отдельное самостоятельное существование и получили таким образом структурные представления деятельности. Но нужно было еще ответить на вопрос: а как же создаются нормы, нормативные конструкции, нормативные описания?

Здесь мы были вынуждены обратиться в первую очередь к категориям *естественного* и *искусственного* – и это стало следующим важным шагом в развертывании структурных представлений о деятельности, – а затем, как развитие представлений об искусственном и естественном, к идее социотехнической организации деятельности и к утверждению определяющей роли *деятельности над деятельностью* в жизни всех систем деятельности.

Уже потом, когда эти идеи были достаточно разработаны и развернуты, мы, опять-таки с некоторым удивлением для себя, узнали, что переоткрыли различия и понятия, уже вводившиеся в психологию, в частности Л.С.Выготским. Именно он настаивал на необходимости различать естественное и искусственное в интеллектуальных и вообще во всяких психических процессах. Но даже его ближайшие ученики не оценили и не приняли этой его идеи, и она не получила практически ни приложений, ни распространения в психологии. Сейчас я не буду обсуждать самого существования идеи искусственного и естественного – два года назад я довольно подробно обсуждал ее в применении непосредственно к проблемам изучения интеллектуальных процессов и сейчас поэтому затрону лишь те вопросы искусственного и естественного, которые лежат непосредственно в линии моих дальнейших рассуждений.

Обратимся снова к только что зарисованной мною схеме. Предположим, что в какой-то ситуации – она нарисована на схеме сверху – произошел креативный интеллектуальный процесс. Как я уже отмечал, несмотря на то, что в этом процессе все было нормировано, в нем *могли* и *должны* были возникать различные *новообразования* – новые процедуры и новые средства деятельности. Именно за счет них, собственно говоря, и была решена та интеллектуальная задача, которая стояла в этой ситуации. Но теперь, для того чтобы эти новообразования вошли в систему культуры и выступили в качестве новых образцов, норм и средств интеллектуальной деятельности, нужно их еще особым образом переработать, оформить и перевести в системы культуры. Эту работу, как я уже отмечал, осуществляют *культуротехники* и, в частности, *«инженеры-нормировщики»*. (Последнее обозначение – это, конечно, весьма условное выражение, за которым я прошу вас видеть и фиксировать лишь два связанных между собой смысла: 1) работу по созданию нормативных конструкций, 2) осуществляемую инженерно.)

Чтобы сделать этот принцип наглядным, я изобразил на схеме «инженера-нормировщика», который продельывает специальную социотехническую работу – анализирует процесс рассуждения или решения задачи, выявляет структуры и механизмы осуществляемой при этом интеллектуальной деятельности, схематизирует то и другое, выражает это в виде определенных конструкций и приписывает этим конструкциям определенную нормативную функцию.

На схеме я изобразил эти новые нормативные конструкции в виде заштрихованного прямоугольника.

В принципе, только что обозначенный механизм деятельности и обеспечивает появление в системе общественного воспроизводства новых образцов и норм деятельности.

В своих основных чертах этот процесс был проанализирован и описан во многих работах, опубликованных в период с 1965 по 1974 гг.¹, и поэтому сейчас я опять-таки не буду на нем останавливаться; мне важен в контексте моих рассуждений только один момент.

Уже одно то обстоятельство, что культуротехники разного рода специально анализируют процессы интеллектуальной деятельности, чтобы выделить их нормы, а затем передают созданные ими нормативные конструкции в систему культуры и в сферу образования, все время меняет отношения между нормами интеллектуальной деятельности и креативными процессами интеллектуальной деятельности в ситуациях, т.е. связывающее их отношение реализации, и таким образом все время трансформирует и преобразует креативную деятельность, делая ненужным ее повторение.

И это легко понять, ибо оформление какой-либо креативной деятельности в виде нормы делает ненужным и бессмысленным повторение той креативной работы, которая до этого была выполнена коммуникантами в ситуации: теперь тот же самый продукт может быть получен путем реализации новой нормы, созданной инженером-нормировщиком, а все остальные получают свободу для нового креативного процесса, для создания чего-то нового на базе имеющихся образцов и норм деятельности.

Кстати, это еще одно основание считать, что процессы деятельности – это не естественнонаучные процессы. Здесь действует принцип куда более глубокий, чем принцип дополнительности. Появление каждого нового знания меняет сам объект, к которому эти знания относятся. Так живет деятельность, и так живут интеллектуальные процессы. Поэтому они принципиально историчны. И чем быстрее мы бежим вперед в познании и в нормировании самой деятельности, тем быстрее она убегает от нас в креативных процессах собственного развития.

Схемы воспроизводства деятельности, как я уже отмечал, были созданы нами в 1961 г. В 1963–65 гг. на базе этого были разработаны основ-

¹ Из их числа я назову важнейшие: [Левфевр, Щедровицкий, Юдин 1965; Щедровицкий 1966 а; 1967 а; 1968 а; 1970 а; 1974 а].

ные представления и понятия теории деятельности, и, по сути дела, все, что относилось к мышлению и к интеллекту, стало рассматриваться нами сквозь призму схем деятельности и в их рамках. Но это привело к тому, что стерлась и растворилась разница между деятельностью и мышлением. Начиная с 1963 г. и, наверное, вплоть до 1972–73 гг. мы рассматривали мышление как особый вид деятельности, как мыслительную деятельность, и это обстоятельство лишало нас возможности выделить и рассматривать специфически недеятельные моменты мышления, в частности все то, что относилось к собственно коммуникативному мышлению, понять механизмы построения текстов и коммуникации, представить мышление и другие составляющие интеллекта как своеобразную надстройку над деятельностью, появляющуюся в ситуациях и обеспечивающую выбор и организацию самих норм деятельности. Именно это, как мне кажется, было характерным для третьего этапа наших исследований и разработок.

Правда, именно внутри него стали появляться и разрабатываться многие новые существенные представления и понятия, которые затем дали нам возможность перейти к принципиально новым исследованиям самого мышления.

На первое место среди этих новых представлений надо поставить, наверное, представление о рефлексии. Хорошо известное нам и не раз используемое в 50-ые годы, оно обрело совершенно новую жизнь с 1964 г. в контексте новых представлений о деятельности. Это невероятно важно и принципиально, ибо в рамках чисто мыслительных (или теоретико-мыслительных) представлений оно, по сути дела, не могло эффективно развертываться и развиваться. Теперь оно получило совершенно новый и исключительно богатый смысл в рамках деятельностных представлений, было, таким образом, отделено от мышления, оформлено в виде самостоятельного процесса – и все это создало совершенно новую базу для сопоставления и сопоставления рефлексии с мышлением и коммуникацией (см. [Щедровицкий 1974 а; 1975 б: Приложение I]).

На второе место я поставил бы развитие представлений о понимании и особой роли понимания в деятельности и в интеллектуальных процессах. Проблемы понимания, намеченные нами еще на первых двух этапах нашей работы в 1954–1965 гг., почти не обсуждались и не разворачивались на третьем этапе, но, тем не менее, зрели в нем и наполнялись совершенно новым содержанием и смыслом, а с 1971 г. начали интенсивно обсуждаться и разворачиваться уже как совершенно особый и самостоятельный круг проблем (см. [Щедровицкий, Якобсон 1973], [Щедровицкий 1974 а], [Щедровицкий 1976 б]).

Наконец, третьим важнейшим моментом в развитии наших идей в тот период стал переход от категории структуры к категории системы, объединяющей в себе четыре группы категориальных представлений – процессуальные, структурно-функциональные, структурно-морфологические и материальные, – переход, осуществившийся где-то в период с 1967 по

1969 г. (см. [Гущин и др. 1969; Щедровицкий, Дубровский 1971 – правда, в совершенно искаженном редакторами и обесмысленном варианте, а затем, уже в осмысленном виде: Щедровицкий, Дубровский 1973; Щедровицкий 1974 а; 1975 б: Приложение I]. Разработка совершенно новой основополагающей категории системы была исключительно важным и принципиальным достижением, и нужно было бы, конечно, обсуждать все это очень подробно, но это вывело бы нас уже очень далеко за рамки сегодняшнего доклада, и поэтому я лишь фиксирую этот момент среди трех важнейших обстоятельств нашего развития в период 1965–1972 гг. и хочу продолжить обсуждение основной темы, касающейся изменений и развития наших представлений об интеллектуальных процессах.

В этом месте мы снова должны вернуться к исходным утверждениям моего доклада.

Вы помните, надеюсь, что я начал его с утверждений, что интеллектуальные процессы не подчиняются законам, ибо они являются, с одной стороны, нормированными, а с другой – целеустремленными системами. Я говорил также по ходу доклада, что нормированность нередко противопоставляют творческому, креативному и что это противопоставление является в принципе ложным. Теперь я хочу продолжить эти замечания и в той же манере отмечаю, что нередко нормированность интеллектуальных процессов противопоставляют целеустремленности. И это противопоставление является, на мой взгляд, столь же ошибочным, как и первое. Нормы и цели являются теми двумя взаимодействующими факторами, которые в равной мере и одновременно определяют течение и развертывание интеллектуальных процессов. Нормы и цели – это взаимодополняющие факторы, которые создают запас надежности в организации процесса. Есть еще ситуация, которая особым образом рефлектируется и в этом своем качестве тоже определяет интеллектуальный процесс. Итак, мы имеем, с одной стороны, нормы интеллектуальной деятельности – и живые процессы рассуждений, решений задач и т.п. строятся в соответствии с этими нормами, – а с другой стороны, мы имеем *обстановку, ситуации и цели* деятельности, которые точно так же определяют живые процессы интеллектуальной деятельности, и в силу всех этих факторов процессы мышления и вообще интеллектуальные процессы осуществляются не как естественные процессы, не по естественнонаучным законам, а как *искусство*, описываемое в понятиях *стратегии, тактики и техники*.

Но если принять, что такая трактовка интеллектуальных процессов является правдоподобной, то спрашивается, как же их можно и нужно исследовать и описывать и, главное, для чего – кому нужны подобные описания и как ими будут пользоваться при решении тех или иных практических задач. В этом, на мой взгляд, основной вопрос, который стоит сейчас перед нами.

Я с большим вниманием слушал доклад О.К.Тихомирова и попробовал для себя его резюмировать. Олег Константинович все время говорил о

том, как надо применять имеющиеся психологические знания в практических, в частности инженерных разработках, а меня все время интересует другой вопрос – как надо исследовать интеллектуальные процессы в связи с инженерными разработками. Потому что это глубокая иллюзия думать, будто современная психология уже дает все необходимые представления и средства инженеру, чтобы он мог имитировать интеллектуальные процессы на машинах и вообще организовать с учетом этих представлений и средств системы, непосредственно имитирующие интеллект или смешанные диалоговые системы. Повторяю: это – иллюзия. Задача, на мой взгляд, во всяком случае для психолога, состоит совсем в другом – постараться продвинуть сами психологические исследования интеллекта. Но для этого нужно прежде всего ответить на вопрос: что, собственно, мы ищем? Что мы хотим получить в результате наших исследований? Что является нашей целью? Будем ли мы искать законы интеллекта? А если нет, то что?

Но, к сожалению, на этот вопрос не только не дают ответа, его всячески избегают, и потому из поля зрения исчезает самое главное – ответ на вопрос, что же, собственно, должна делать психология в этой ситуации. И не только психология, но все другие собственно исследовательские дисциплины, которые занимаются изучением искусственного интеллекта. Я попытаюсь ответить на этот вопрос.

Чуть раньше я уже сказал, что и психология, и логика, на мой взгляд, отстали от лингвистики в плане выработки представлений об объекте изучения. Великий лингвист Соссюр уже различил в рамках речевой деятельности систему языка (для меня это система норм) и систему речи (для меня это «живые» процессы, выражаемые в текстах). И это, по моему мнению, совершенно правильное представление объекта нашего общего изучения – всякой интеллектуальной деятельности. Но если это так, если есть два таких образования, то каждый раз приходится отвечать на вопрос, что вы исследуете – норму, процессы или связь и того и другого, язык, речь или речевую деятельность. И именно в такой жесткой дефиниции: или – или.

Этот вопрос во всей его остроте должен быть адресован не только логикам и психологам, но и лингвистам. Хотя Соссюр и решил эту проблему в принципе, разделив в системе речевой деятельности язык и речь, но сами лингвисты никак не могут додумать эту идею до конца и вывести из нее все необходимые методологические следствия. Они постоянно ссылаются на Соссюра и его представления, но исследуют совсем не так, как этого требуют эти представления.

Правда, последние десять лет очень продвинули нас вперед и появилась «лингвистика текста». Это, конечно, великое достижение, но только лингвистику текста по-прежнему пытаются строить как лингвистику языка, не ставя вопрос о необходимой специфике ее методов, и это сводит смысл всех различий на нет. Поэтому и перед лингвистикой приходится со всей резкостью ставить вопрос, в чем же специфика средств и методов

изучения, с одной стороны, норм деятельности (парадигматики), с другой – процессов (синтагматики) и, наконец, какими должны быть средства и методы изучения деятельности в целом.

Сегодня и лингвисты, и психологи, и логики работают, по сути дела, по одной и той же схеме. Они начинают все свои исследовательские процедуры с уже существующих абстрактно-теоретических, конструктивных представлений, не ставя, по сути дела, вопросов о том, что представляют собой эти конструкции и как они были получены. С моей точки зрения, все они являются отнюдь не научными представлениями и описаниями, полученными путем исследовательских процедур, а нормативными образованиями, используемыми прежде всего при обучении деятельности и оценке ее исполнения.

Но этот момент не осознается ни лингвистами, ни психологами, ни логиками, поскольку никем из них не фиксируется как факт объективное различие норм и их реализаций. Отсутствие самого этого различия и четких противопоставлений исследовательских моделей и нормативный образований позволяет всем этим исследователям использовать нормативные конструкции в качестве научно-исследовательских моделей: их берут и «накладывают» на процессы в качестве описаний последних, совсем не учитывая ни структурных различий, ни различий в способах существования норм и процессов. Получается очень странная вещь: мы сравниваем нормы с их процессуальными реализациями. Но, спрашивается, что мы хотим при этом получить?

В таком методе работы и при таком подходе совершенно исчезает различие между методами построения нормативных представлений и методами собственно научного исследования явлений деятельности вообще, интеллектуальной деятельности в частности. И в силу этого мы лишаемся возможности сознательно и целенаправленно совершенствовать средства и методы как одного, так и другого. И наоборот: если мы хотим развить и усовершенствовать как методы построения нормативных представлений, так и методы собственно научного исследования интеллектуальной деятельности, мы должны прежде всего разделить эти два направления работы и оформить их методы как принципиально разные.

Нормативный метод анализа сам по себе вполне оправдан, но нужно четко представлять себе его место и назначение. Нужно додумать ситуацию до конца. Нормативный метод может дать нам лишь нормативные представления, или нормы. Но нужно правильно определить его технологию: в сути своей она является инженерно-конструкторской работой. Надо зафиксировать это и не обманывать общественность и самих себя разговорами об исследовании. Во всяком случае, если это и исследование, то в каком-то совершенно особом смысле.

Но ведь, кроме того, надо еще исследовать реализации этих норм в процессах. И здесь, действительно, имеет место исследование в точном смысле этого слова. Но возникает вопрос: относительно каких теорети-

ческих конструкций мы будем рассматривать сами реализации, т. е. синтагматические процессы?

Именно в этом месте я могу теперь ввести представление о нормативно-деятельностном подходе и нормативно-деятельностном предмете изучения. Оно опирается на те онтологические представления о деятельности вообще и интеллектуальной деятельности в частности, которые я все время развивал по ходу этого доклада. Главное здесь в том, что всякий интеллектуальный процесс, с одной стороны, есть реализация норм, а с другой – это всегда ситуативный и потому совершенно уникальный процесс.

Чуть иначе и резче этот же тезис можно выразить так: хотя любой интеллектуальный процесс жестко нормирован, но человек никогда не мыслит и не решает задачи только по норме; он всегда ищет решения целенаправленно, ситуативно и, в этом смысле, креативно; а значит, он всегда отклоняется от этой нормы. И всякий ситуативный интеллектуальный процесс, который мы исследуем, интересен нам как раз не тем, что он реализует норму, а именно тем, что он ее не реализует, и в тех моментах, в которых он ее не реализует. И отсюда вытекает основная идея нормативно-деятельностного подхода.

Оказывается, что мы можем взять норму – норму в смысле языка, норму в смысле некоторых логических систем, норму в смысле понятий, категорий, которые у нас зафиксированы – и использовать ее в совершенно особой функции: не как норму, т.е. не как то, в соответствии с чем строится процесс решения, а как *нормативное описание* или, может быть, как *нормативную модель* самого процесса решения.

Это совсем не значит, что мы будем осуществлять нормативное исследование (или разработку) – последнее имеет совсем иную структуру и осуществляется при других обстоятельствах. И это не значит, что мы вернемся к старому недифференцированному методу работы, когда нормативное представление без достаточного рефлексивного осознания используются в качестве исследовательской модели. Это будет совсем иное в своей сути исследование, при котором мы начинаем с четкого осознания и фиксации того, что имеем дело с нормативной конструкцией, но к этому мы добавляем еще второе знание: что эта нормативная конструкция может быть использована совсем в особом качестве – не как исследовательская модель, которую сопоставляют с материалом процессов либо на предмет фиксации их совпадения, либо на предмет опровержения самой модели в случае несоответствия ее материалу, а как *нормативная модель*, с помощью которой выявляют все отличия процессов реализации от нормативных конструкций, все их отклонения, которые затем квалифицируются либо как *ошибки*, либо как *креативные новообразования*. Именно в этой новой ориентации всего исследования и в этом совершенно особом и специфическом его продолжении суть нормативно-деятельностного подхода.

Если мы берем и вторично трактуем норму как некоторое нормативное описание, то у него появляются два плана отнесений: один план – в отношении к норме, которую это нормативное описание описывает и представляет как бы автономно, а второй план – отнесение к реализации, к «живым» процессам деятельности. Это двойное использование и, соответственно, двойная трактовка нормативной конструкции и создают то, что называется нормативно-деятельностным подходом и нормативно-деятельностным предметом изучения.

Первое отнесение и первая трактовка, как я уже сказал, являются нормативное описание

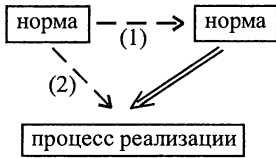


Рис. 2

автономными; мы говорим: это – норма, и это, вместе с тем, может рассматриваться нами как изображение нормы. Второе отнесение должно быть исследовательским: мы сопоставляем нормативную схему (нормативную конструкцию и т.п.) с заведомо другим – с процессом реализации, – и мы спрашиваем, в чем именно и в какой мере процесс реализации отличается

от той нормы, которую он реализует.

Цели и задачи работы здесь, следовательно, состоят совсем не в том, чтобы материалом процесса реализации *подтвердить* нормативную конструкцию (нормативная конструкция должна подтверждаться и подкрепляться иначе), и не в том, чтобы через нормативную конструкцию *объяснить* материал реализации (такое объяснение частично происходит, но сама по себе нормативная конструкция никогда не может объяснить процесс реализации). Цели и задачи работы в этом случае состоят в том, чтобы прежде всего выявить и зафиксировать отличия процесса реализации от нормативной конструкции и затем сделать эти отличия предметом специального исследования и объяснения, апеллирующего уже не к норме (во всяком случае, не к той норме, которую мы выбрали первоначально). Это и будет исследование того, что традиционно называется *ошибками, разрывами, конфликтами* и т.п. Именно так ориентированное, так направленное исследование даст нам то, что может быть названо собственно нормативно-деятельностным исследованием и нормативно-деятельностным подходом.

Разворачивать его мы можем в двух планах. С одной стороны, в плане как бы квазиестественного описания интеллектуальных процессов – тогда мы будем работать так, как работает, скажем, врач, как работает психолог или психиатр, когда он отмечает все отклонения от нормы и ищет их причины и естественно-материальные механизмы. И это будет один план работы.

С другой стороны, мы можем взять все эти описания реальных (а не нормативно представленных) интеллектуальных процессов и поставить перед собой задачу выделить или сконструировать для них новую норму

работы. Это будет уже совсем другой план работы, собственно нормативной работы по обогащению системы норм.

Последнее замечание, которое я хотел бы сделать: всегда нужно очень четко знать и понимать место и ограничения нормативно-деятельностного анализа. С ним работают именно так, как я рассказал. А кроме того, существует еще теоретико-деятельностный подход к описанию деятельности. Он включает в себя и нормативный подход, и нормативно-деятельностный, и собственно деятельностный. Он берет системы деятельности как целостности, а это значит – обязательно в плане процесса воспроизводства вместе с историческими, или, как говорил К.Маркс, естественно-историческими процессами и механизмами его функционирования и развития. И это будет нечто совершенно другое, нежели нормативно-деятельностное исследование. Нормативно-деятельностный подход может работать только в очень узких и определенных границах, в той отнесенности, когда мы берем за основание нормы и рассматриваем их как своеобразные модели; но именно *своеобразные* – не изображающие, не описывающие, а лишь выделяющие и фиксирующие *ядро* процесса, и поэтому соотношение их с материалом осуществляется не с целью показать в материале то, что соответствует норме, а с целью выявить и показать в нем то, что не соответствует норме и может быть квалифицировано как отклонения, ошибки, новообразования и т.д. и т.п. Именно так мы будем получать факты внутри нормативно-деятельностного анализа интеллектуальных процессов.

Дальше следует целый ряд очень сложных и интересных вопросов – например, как нужно все это разворачивать в предметы изучения, какие здесь могут и должны быть направления анализа и т.д. и т.п. Но все это уже не проблемы, а отдельные задачи, которые можно решать в соответствии с заданной онтологической картиной.

Теперь я отвечу на вопрос, заданный мне по ходу доклада: «А что будет с целями?». Все зависит от того, в каком плане вы ведете анализ. Если вы хотите дать квазинаучное описание того, «что было» и «как было», тогда вы обращаетесь к схемам актов деятельности, которые здесь выступают в качестве основных объяснительных средств. Эти схемы имеют в качестве одного из блоков блок целей. И вы начинаете исследовать цели в контексте актов деятельности. Вы можете ставить вопросы о том, какие были цели, как они осознавались, описывать всю «жизнь» целей. Для современной теории деятельности это не проблемы – уже лет пятнадцать как это все расписано довольно подробно. А если вы ведете нормативный анализ, тогда вы должны все то, что там было описано и представлено как цели, представить в принципиально другом виде – как нормы. Тогда вы целевую определенность деятельности переводите в нормативную определенность, и в последующих актах деятельности все это будет существовать уже не как цели, а как нормы, как то, что нормативно вменено и человеку, и группам, и обществу, как то, что осуществляется уже не за счет

целобразования, а за счет формирования соответствующих ценностей, способностей, умений, навыков, создаваемых нами технологий и т.д. И тогда все это содержание будет рассматриваться и изучаться уже не теоретико-деятельностно, а нормативно-деятельностно.

Благодарю вас за внимание.

– Есть ли конкретные описания этих ваших нормативных интеллектуальных образований и описание правил и законов их реализации? Если есть, то приведите образец, если нет, то как вы думаете их описывать?

В 1958–1960 гг. в «Докладах АПН РСФСР» была опубликована серия сообщений «О строении атрибутивных знаний» [Щедровицкий 1958-60] – это один пример нормативного описания интеллектуальных процессов. В 1962 г. в «Докладах АПН РСФСР» мною совместно с С.Г.Якобсон была опубликована серия сообщений, посвященная нормативному анализу процессов решения арифметических задач [Щедровицкий, Якобсон 1962]; в 1964 г. и в 1974 г. вышли две статьи, продолжающие эти работы. В 1967 г. в сборнике «Семиотика и восточные языки» вышли работы В.М.Розина, демонстрирующие другие примеры нормативного анализа [Розин 1967]. В книге [Педагогика и логика 1968] представлены работы Н.Г.Алексеева, А.С.Москаевой, Н.И.Непомнящей, В.М.Розина с подобными же примерами нормативного анализа, осуществленного на разнообразном материале. Здесь же можно назвать работы Н.С.Пантиной по анализу деятельности детей с так называемыми дидактическими игрушками, опубликованные в 1966 г. в сборнике «Психология и педагогика игры дошкольника» [Пантина 1966]. Но все это – только небольшая часть уже выполненных и опубликованных работ.

– Вы серьезно говорите об отсутствии законов интеллектуальных процессов?

Да. Конечно, серьезно. И более того, я очень серьезно вам говорю, что это – результат двадцатипятилетних исследований большущего коллектива ученых разных специальностей.

– И вы всерьез думаете, что мы примем этот ваш тезис?

Нет, я уже давно так не думаю, хотя, признаться, не понимаю, а почему бы вам не принять этого тезиса. Пока что мне приходится с сожалением констатировать, что вы этого тезиса не понимаете и не принимаете, но почему – это для меня до сих пор остается загадкой. Я каждый раз не могу этого понять, потому что мне-то представляется это удивительно прозрачным и ясным, а вот почему вы этого не хотите учитывать – это для меня проблема, восьмое чудо света...

– В каждом явлении есть свои законы природы. Нет ничего, в чем не было бы своих законов.

Я думаю, что вы сейчас пользуетесь, извините за резкость, *бытовым* понятием закона, которое взято вами, наверное, из популярных книжек. Но это несерьезно. В современной методологии есть очень точное понятие закона: это – определенное технологическое правило и, в этом смысле, определенная конструкция. Если вы обратитесь к современной методологической литературе и познакомитесь с понятием «закон», я думаю, что вы всерьез уже не будете задавать ваших вопросов. Ибо они звучат серьезно только с точки зрения обыденного здравого смысла.

– *Законы существуют в природе; другое дело, что мы не все из них знаем.*

Я воспользуюсь тем, что стою здесь, и отвечу вам.

Мне-то представляется – и, собственно, в этом пафос моего выступления, – что эта ваша твердая уверенность и убежденность, что во всяком явлении, с которым мы имеем дело, есть законы в традиционном естественнонаучном смысле, законы в смысле «законов природы», эта ваша убежденность есть основной тюремщик, который сегодня тормозит развитие всех исследований и разработок в области искусственного интеллекта.

Я не хочу этим сказать, что вы уже, с моей точки зрения, вообще ничего не будете получать. Кое-что вы получать будете. Но каждый раз вы будете интерпретировать получаемое вверх тормашками, и это будет очень сильно тормозить развитие этих областей исследования.

Я еще раз поэтому повторю свой тезис. Интеллект является не природным, а деятельностным образованием, и когда я говорю, что интеллектуальные системы являются целеустремленными и нормируемыми системами, то я тем самым не просто утверждаю, что здесь нет законов, а я еще и объясняю, *что* именно заменяет эти законы и делает их ненужными. Я объясняю и показываю, что именно создает организованности этих процессов, определяющие и детерминирующие интеллектуальные процессы без того, что мы называем законами их функционирования.

Больше того, мне в каком-то смысле даже странно здесь с пафосом об этом говорить, поскольку и в биологии, и в социологии, и в психологии есть гигантские традиции, где это показано на огромном материале.

Больше того, если вы возьмете работы Норберта Винера, почитаете их и посмотрите, что он там писал по поводу закона и той трансформации, которая произошла в кибернетике с понятием цели, как это понятие было отставлено в сторону в связи с переходом от принципов телеологизма к принципам детерминизма, если вы задумаетесь над всем этим, то, я полагаю, вы более серьезно будете относиться к тому, что я говорю.

Но прежде всего, конечно, надо избавиться от внутреннего тюремщика, который сковывает вашу мысль.

– *В каждой процедуре анализа мы выявляем и совпадения, и отклонения?*

Нет, если мы ищем совпадения, то мы фактически всегда и получаем совпадения. На отклонения мы, как мне кажется, можем *натолкнуться* лишь случайно и, скажем, отделить их. Но дальше начинается одна очень интересная вещь. Она принципиальна. Мы фиксируем эти отклонения, скажем в инженерной психологии, чаще всего как *ошибки*. Но что значит «ошибка»? Ведь нужно еще задуматься, какого рода категориальную квалификацию вы дали, сказав, что это «ошибка». Кстати, а ошибки законосообразны или нет? Ведь когда вы сказали, что это – «ошибка», то тем самым вы подчеркнули, на мой взгляд, что это незаконсообразное явление. Вы будете относить это либо к злой воле оператора, либо к тому, что он не приспособлен к данной работе, не имеет навыков, вы можете отнести это к случаю или еще к чему-то. А в нормативно-деятельностном предмете требуется совершенно иное осмысление. Ведь надо теперь зафиксировать все это как материал, подлежащий как бы законосообразному объяснению. Я говорю «как бы», потому что это объяснение опять будет обусловлено и вызвано либо особыми целями, либо особыми нормами, либо ситуацией и т.д., т.е. «ошибка» должна быть перекалфицирована в нормативно-деятельностном анализе и определена не как ошибка, а как материал, требующий своего законосообразного или правилосообразного описания и соответствующего объяснения.

И вот здесь-то, как мне кажется, в различии этих установок, и заключено различие выходов в нормативный анализ и в анализ квазиестественнонаучный. Здесь заложена тайна этого дела. Следовательно, суть проблемы, с моей точки зрения, не в том, что мы выявляем совпадения и при этом наталкиваемся на отклонения, а в том, с каким изначальным шаблоном и с какими целями мы подходим и как мы осмысляем и трактуем все то, что получаем в наблюдении и анализе. При нормативном подходе у нас будут одни шаблоны и цели, при нормативно-деятельностном – другие, а при теоретико-деятельностном – третьи. В этом суть дела.

Председатель. Я вижу, что есть еще очень много вопросов. Но время истекло – мы должны переходить к следующему докладу. Я думаю, что вопросы и замечания по докладу Г.П.Щедровицкого можно будет продолжить на заседаниях секций. В частности, уже сегодня на заседании психологической секции.

Вопросы и дискуссия по пленарному докладу Г.П.Щедровицкого (Психологическая секция)

Бондаровская В.М. Кто может и должен создавать нормы? Или они существуют независимо от нас в приобретениях культуры? Как соотносится современный человек с нормами? Кому практически нужны исследования отклонений от нормы, как могут применяться выработанные здесь знания?

Мне представляется, что основной недостаток в организации нынешних психологических исследований и разработок, так же как и в организации системных, квазисистемных разработок сложных научных проблем, таких, скажем, как искусственный интеллект, региональное проектирование и планирование и др., состоит в том, что нет социокультурного разделения труда и соответствующей организации коммуникации и кооперации. И это то, на что мы все сейчас наталкиваемся. А применяем мы обычно образцы работы, которые сложились в современных естественных науках и связанных с ними областях инженерии.

Если мы, скажем, возьмем традиционного психолога или традиционного лингвиста, то каждый из них является социотехником или культуротехником в современном смысле этих слов, каждый из них имеет дело с определенной коммуникативной и деятельной ситуацией, в которую он включен и на которую он должен воздействовать.

Поэтому, если здесь вырабатываются знания какого-то рода, то это всегда знания, обслуживающие непосредственное воздействие на эти индивидуализированные объекты, и оно не экстерииоризуется в обобщенном виде. Это, следовательно, знания, которые принципиально отличаются от тех, которые вырабатываются в естественных теоретических науках.

Но общий дух сайентизма приводит нас к тому, что мы начинаем говорить о научном исследовании в этих ситуациях, начинаем мыслить психолога и лингвиста как ученого. Мы начинаем требовать от них обобщенных знаний, т.е. таких, которые будут переноситься на другие объекты.

Сегодня в перерыве между заседаниями мы кулуарно обсуждали эту тему. Я воспользуюсь примером, который там приводил. Если, скажем, физик изучает падение какого-то тела, то он абстрагируется от самого этого тела. Он не изучает падающее тело, скажем, падающий шар. Был период, когда это было не так: ко всем этим процессам подходили как к неразрывно связанным с телами. И так же исследовали явления электрического тока и электродинамизма Ампер и Фарадей. Но современный ученый-физик рассуждает иначе. Он изучает *процесс падения* тела. Но нужно было тысячу лет обсуждать эту тематику, чтобы выделить вот эту абстракцию – «падение тела», или «процесс падения тела».

У психолога и лингвиста нет и не может быть ничего подобного. Если он работает с какой-то ситуацией, скажем, коммуникативной или решения задачи, то все то, что он изучает, неразрывно связано с участниками ситу-

ации, со структурой группы и т.д. Если, скажем, вы строите какие-то отношения с человеком и очень точно следите за эволюцией этих отношений, то должны все время отслеживать и понимать мотивы деятельности этого человека, и такое знание необходимо для поддержания отношений. Но вы никогда не будете писать статью или книжку о том, что представляет собой *этот* человек и как с ним строить отношения. А научные образцы исследования требуют именно этого.

Почему я начал обсуждение с такой странной, на первый взгляд, темы, не имеющей, казалось бы, отношения к заданному вами вопросу? Потому что, как мне кажется, Валентина Матвеевна, вы в своих вопросах все еще склеиваете самые разные моменты: моменты обучения, воспитания, исследования, разработки нормативных систем и т.д. А мне надо их прежде всего различить и разделить.

Если бы вы работали в системе Академии педагогических наук, то это было бы для вас и принципиально, и жизненно, потому что там все это не различается в принципе. Если вдруг аспирант говорит: «Я хочу проводить исследование» – то в ответ следует: «Прекрасно. Вот в первый год сдай экзамен. Второй год – у тебя будет гипотеза. Третий – фронтальное обучение класса». – «Но какое фронтальное обучение? Мне же *исследовать* надо. У меня уйдут на это все три года». Ему отвечают: «У нас не “большая” Академия, у нас Академия педагогических наук. Если ты не проведешь фронтального обучения и не покажешь, что у тебя показатели на 0,3% лучше, чем при другой системе обучения, кто же поверит, что ты сделал настоящую работу?».

Это – принципиальная идеология, делающая невозможным исследование. В Академии педагогических наук не может быть ни исследователей, ни инженеров-разработчиков, ни методистов. Там каждый должен выполнять все работы, и поэтому практически он никогда не может стать кем-либо.

Но уж коль мы начинаем ставить вопрос так: кто вы – исследователь, практик, нормировщик и т.д.? – то обязательно должны задать соответствующие образцы работы, создать эти новые культурные профессиональные образцы и создавать также продуманную систему социальной и культурной кооперации между ними. И реально мы обсуждаем все время именно этот вопрос.

Вернемся к основной линии моей мысли. Я говорил, что когда человек осуществляет какую-то деятельность – в группе, в процессе коммуникации, или отдельно, сидя у себя в кабинете, – тогда то, что он создает в качестве интеллектуального процесса, процесса речи-мысли, еще чего-то, есть всегда реализация его способностей, интериоризованных средств. Если он включен в систему коммуникации, то, вдобавок к способностям, идут еще какие-то правила, методики знания и т.д. И все это образует некоторую выделяемую нами условную единицу рассмотрения. Именно *условно выделяемую*, потому что реально нет таких единиц в деятельности,

но мы работаем в системном подходе, где надо идти от целого к выделяемым в нем единицам. И поэтому, чтобы рассматривать и обсуждать, мы должны их выделить.

Предположим, что мы встретились с каким-то человеком, с которым мы ранее не виделись, и час беседуем. У него, безусловно, есть своя линия развития: он, фактически, продолжает монолог, т.е. экстериоризацию имеющих у него средств, онтологических картин, реализацию присущих ему норм деятельности, личных и групповых норм той стартовой ситуации, в которой он развивался. То же самое делаю и я сам. Но при этом мы задаем друг другу вопросы и отвечаем на них.

Получились две пересекающиеся траектории мысли-деятельности. Интересно, что вы будете исследовать, если вы чертите ситуацию пересечения? То ли развитие одной траектории, то ли другой, то ли вообще саму систему взаимодействий – вы никогда этого не знаете. Поэтому в процессах деятельности никогда нет уже выделенных объектов-элементов, из которых все это складывается.

Человек, который реализует здесь определенный интеллектуальный процесс, реализует всего себя в целом, всю свою историю формирования, цели, способности – и вы не можете здесь ничего отделить от всего остального.

Но вы начинаете задавать вопросы. А откуда взялись его способности? Что это такое? Вы спрашиваете, как они формировались исторически. Вы знаете, что это происходило в обучении. И где-то на предыдущих отрезках его траектории вы фиксируете другие ситуации, где ему задавались некоторые образцы или нормы, которые он воспроизводит.

Это будут совсем другие ситуации. Самих по себе ситуаций актуального действия здесь уже не может быть, но они присутствуют через способности, через память человека, через его сознание и т.д.

Теперь следует другой вопрос: «А кто создает его нормы?». И вы должны нарисовать другую единицу, которую вы вводите, единицу деятельности по созданию самих образцов или норм, службу их вменения, социализации, перевода их в сознание и психику людей.

Фактически, современные психологические исследования идут и разворачиваются по-прежнему *внедеятельностно*: мы все время выделяем какие-то «вещи», организованности. Мы не рассматриваем выделяемое в потоках и процессах деятельности, не рассматриваем его миграцию, не умеем выделять отдельные акты, профессионально детерминированные позиции и т.д. и т.п.

А если, наоборот, мы будем исходить из принципа множественности существования всех организованностей в разных актах деятельности, в ее потоках и процессах? Что будет означать этот принцип в плане методологии исследования? Да очень многое – по сути дела, принципиальное изменение объекта рассмотрения. В актах реализации, или в актах актуализа-

ции этой деятельности, исполнения ее, нормы будут представлены одним способом – в виде способностей или в виде методических правил. Но они сюда поступили из других актов деятельности. И в этих других актах они существовали иначе. В системе обучения они представлены по-другому, в системе конструирования норм они представлены третьим образом. И пока мы не научимся различать все эти моменты, мы всякий раз будем ставить вопрос: «А, собственно, как существуют нормы?». И никогда не сможем получить ответ на него.

Потому что для человека, *исполняющего* знакомую деятельность, пусть даже креативную, они существуют одним способом, для учителя в системе обучения – другим, для ученика – третьим, для конструктора, который работает абстрактно, как бы на культуру, они существуют четвертым способом. Я говорю «они». Но кто они? Что, собственно, я имею в виду? Они же в каждом случае передаются от одного к другому, во всяком случае, в своих знаковых оформлениях, и при этом все время меняются в своем содержании, в операциональном составе, в способах действия – они движутся. И при этом все время меняются их функции – в одном месте они выступают как нормы, в другом – как знания, в третьем – еще как-то. Все время идет трансформация. И нужно теперь организовать все это профессионально, кооперативно, социокультурно. Следовательно, мы не можем здесь говорить о каких-то «вещах»; речь идет о каких-то принципиально иных образованиях, которые и меняются, и остаются теми же самыми. И нужно научиться и анализировать, и описывать их.

Теперь по вопросу «кто же создает нормы?». В принципе, нормы могут создавать все. Все, кто так или иначе причастен к процессу работы в культуре. А кто попадает в культуру, сказать очень трудно. Вот, скажем, начинает актриса работать. Одна прекрасная роль, вторая... – она уже звезда. Тогда оказывается, что ее пухлые губы, которые раньше вызывали насмешку, теперь стали нормой для всех женщин. Они приходят к своей косметичке и говорят: «Мне, пожалуйста, губы под Брижит Бордо». И им делают их. Что произошло? Она стала носителем соответствующей нормы.

Вот вы, скажем, наделены некоторой властью – вы создаете нормы. Как вы их создаете – профессионально, компетентно или некомпетентно, – никто не спрашивает. Вы сидите на этом месте, значит должны соответствовать. А какой вы на самом деле, это никого не интересует.

Теперь мы идем дальше. Мы задаем совсем другой вопрос: как *надо* создавать нормативные описания? И тут начинается совершенно новая техника и новый круг проблем.

Что мне здесь важно сказать. Давайте, наконец, различим научное исследование, результатом которого должно быть знание, и схематизирующую работу, конструктивную работу.

Если вы, к примеру, собираете психологов и прочих исследователей, чтобы выделить и записать решение, которое находят ваши инженеры, то

это к научному исследованию не имеет ровно никакого отношения. Это такая же важная и необходимая работа, может быть, даже много более важная, чем научное исследование, но это не научное исследование в прямом и точном смысле этого слова. И раньше, скажем, во времена Декарта, это было хорошо известно. Только современный дух сайентизма вывернул все наизнанку, и мы почему-то думаем, что наука, научные исследования играют какую-то особо важную роль. Ерунда все это. Кроме научного исследования и исследования вообще есть много других деятельных интеллектуальных отправлениях. Человеческий интеллект и наше сознание проделывают массу самых разных работ:

- типологическую работу – она крайне важна для практики, и это не научное исследование;
- схематизацию всех предшествующих смыслов и знаний, выражение их в схемах, уплотнение всего того, что мы называем знанием;
- систематизацию знаний – она не имеет к научному исследованию никакого отношения, хотя невероятно важна;
- мы проектируем, конструируем, ведем критику, занимаемся онтологической работой – и это все не исследование.

Все эти интеллектуальные процессы и процедуры собираются и организуются в сложные системы. Например, вам надо сконструировать некую форму и записать ее в определенном языке. Вы либо берете язык, который уже где-то был создан, либо выдумаете его сами. Вы заставляете работать испытуемых; они подбирают элементы, создают само это решение. Вы его потом схематизируете и конструктивно описываете. Там может быть много разных деятельностей, но в целом все это задано вашей общей установкой – конструктивной в одних случаях, проектной в других.

И нужно *технология* этой работы исследовать (вот здесь у меня впервые появляется исследователь), записать ее и учить тех, кто создает эти нормы, работать в дальнейшем по этим методам.

Это совсем другая вещь, о которой вы все время говорили, – собственно исследование. Но каким оно может быть в психологии – это вопрос. Для этого нужен объект, внешнее самого исследователя, задание соответствующих онтологических картин, т.е. решение той задачи, которую решал Майкл Фарадей, когда он изучал законы электротока. Ведь он не знал, что произойдет с силой тока, если он проволоку согнет, положит рядом с ней другой кусок проволоки; он не знал, меняются ли законы тока, когда он меняет медь на свинец. Массу таких вещей нужно было проанализировать, чтобы образовалась та абстракция, на которой был построен закон Ома.

И сегодня психологи накапливают материал. Есть гигантская область подобной человекотехнической практики. Они влезают в решение задач и описывают там массу вещей, не зная, что относится к объекту, а что не относится и каковы те предметные организации, в которых они работают, – про что это, про решение задач или про коммуникацию? Именно поэтому

появляется тезис О.К.Тихомирова: «Интеллектуальное зависит от аффективного». Ну хорошо, зависит. Ну и что? Что теперь делать? Их же растягивать, разделять надо. О.К.Тихомиров призывает сегодня психолога все до кучи собирать. И это важно, и это важно, и это важно. Действительно, практически все это очень важно. Но только на таком пути к научному исследованию мы вообще никогда не придем.

Бесспорно, эта позиция в психологии очень распространена. Но это антинаучная позиция. Она имеет свои практические оправдания, но так нельзя получить науку. Когда О.К.Тихомиров говорит, что нельзя интеллект рассматривать вне аффективной сферы, он по-своему правильно говорит, но он говорит с антинаучной позиции. И это надо понимать. Смысл его тезиса: не будем пытаться делать из психологии науку. И я хорошо понимаю эту точку зрения и в каких-то своих разработках, скажем, в челловетехнических, даже принимаю ее. Но только в некоторых.

И теперь последний момент – вопрос А.И.Нафтульева. Вот когда психологи, языковеды или кто-то еще начинают свою квазинаучную работу, хотят стать учеными, хотят измерять, исследовать по тем образцам, которые предписаны им естественными науками и методологией естественных наук, то они прежде всего должны построить некоторые модели объектов.

Представьте себе это. Такому ученому надо найти модель решения задачи. Из чего она возникает? Из решений, которые находят ваши испытуемые, или из того образца решений, который в данной задачке заключен?

Предположим, я приступаю к исследованию решений арифметических задач, построенному традиционно. У меня несколько классов, и я начинаю смотреть, как дети решают эти задачки. А зачем я это делаю, когда я и так знаю, что эти задачки можно решать только тремя способами? Это известно и зафиксировано. И больше того, у меня может быть только два случая: дети либо решают задачки, либо не решают. Допустим, дети не решают, но тогда зачем мне эти случаи нужны в исследовании, если я ставлю своей целью выяснить, как надо решать задачи? А если они задачи решают, то у меня будут только эти три, уже известные мне способа решения задачи. Спрашивается, зачем же я исследую и что, собственно, я хочу выявить или описать?

Мое описание будет относиться либо к процессам решения, либо к нормам. Я знаю также, что сами процессы решения есть не что иное, как либо реализация этой нормы или комбинации норм, либо поисковые ходы, которые имеют отношение уже не к решению, а к решению задачи. Но есть еще ошибки, отклонения, поиски и т.д. Что я с этим должен делать?

Здесь намечается несколько принципиально разных стратегий.

Первая. Я говорю: «Иванов путался и сделал много разных ошибок, но это – ошибки, и они к делу отношения не имеют. К какому делу? К решению задач. Иванов либо не выучил, либо не может. Надо его учить».

Вторая. Я выделяю весь этот набор ошибок и рассматриваю их как ошибки в инженерно-психологическом плане. Мы начинаем искать ошиб-

ки и устраняем их. Является это естественнонаучным исследованием? Ничего подобного. Причинное объяснение, объяснение того, чем вызвано то или иное явление, не имеет отношение к науке. Научные описания появились позже – как прямое отрицание этого подхода, выявляющего причины ошибок.

Если мы просто фиксируем причины ошибок, то это нужно нам, чтобы устранить ошибки, т.е. для конструктивной реорганизации, для проективной работы. Это вторая стратегия.

Третья. Я говорю, что все эти ошибки, это – совсем не ошибки, а нечто такое, что было необходимо, потому что действовал еще и другой механизм работы.

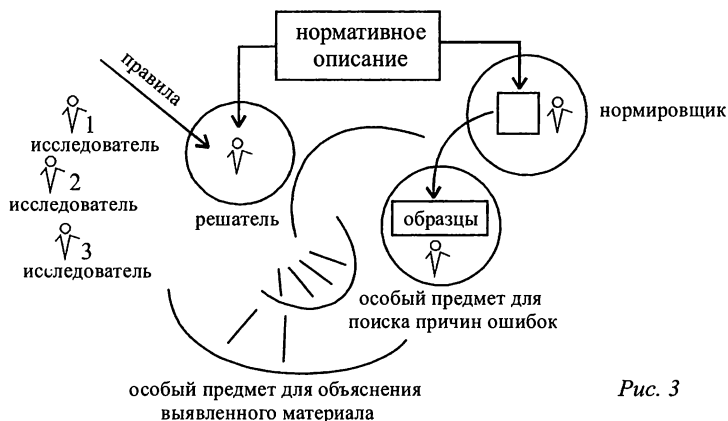


Рис. 3

Важнейшая заслуга Жана Пиаже в изучении детского интеллекта, по мнению Клапареда, заключается в том, что он первым понял, что там не одна игра, а много разных игр. Поэтому нужно иметь не одно правило-закон, а много разных правил, которые по-разному соединяются и комбинируются. Это в полной мере применимо и к нашему случаю. Когда я получил нормативное представление процесса решения задачи, то я задал его логический срез, я описал, как задача должна решаться в абстрактных процедурах. Но давайте теперь посмотрим на решение задачи как на проявление механизма работы сознания. Тогда то, что я зафиксировал как «ошибки», это уже не ошибки, а некоторое поведение, которое должно объясняться особой структурой своих механизмов. Мы эту часть выделяем в особый предмет и объект изучения и начинаем искать другие механизмы, объясняющие ее появление. Мы будем искать эти механизмы либо в другой системе норм, либо в социо-психологических процессах, либо в аффективных процессах. То, что мы выявили, будет при этом раскладываться в свои предметы. Здесь главная задача состоит в том, чтобы *растачить* человеческий интеллект, который многопроцессуален, представля-

ет собой организацию многих процессов, на отдельные монопроцессы, ибо вся хваленая современная естественная и математическая наука может описывать только *монопроцессуальные* образования. Она не решила ни одной задачи с полипроцессуальными образованиями. А мы в деятельности все время имеем дело с полипроцессуальными образованиями.

Поэтому мы вынуждены, если хотим искать научным способом законы, или, как говорят, механизмы всех этих явлений, растаскивать их на слои со своими особыми процессами. И это обстоятельство определяет направление и логику нормативно-деятельностного исследования. Все то, что мы рассматриваем в первой и второй стратегиях как ошибки (в первой – просто как ошибки, во второй – как ошибки, обусловленные причинами, которые надо устранить), теперь, в третьей стратегии, рассматривается как результаты действия определенных механизмов, которые мы должны открыть. С какой целью? Чтобы представить человеческий интеллект и интеллектуальные процессы как полиструктуру, полипроцессы, одним словом – как полисистемное образование. И пока мы этого не сделаем, никакой науки в этой области быть не может.

– *Но почему же тогда вы ругаете О.К.Тихомирова?*

Я его не ругаю. Я просто говорю, что у него направленность совершенно другая, нежели у меня. Он говорит тем, кто хочет «растянуть» человеческую деятельность и мышление и рассматривать интеллект в одном предмете, аффекты в другом предмете: «Ай-яй-яй! Так нельзя делать».

– *Тихомиров предлагает рассматривать реальный процесс.*

Вы даете мне отличный материал. В том то и дело, что наука *не занимается* реальными процессами. Я даже не могу представить себе, откуда могло возникнуть представление, что наука имеет дело с реальными процессами. Наука занимается только идеальными объектами, продуктами идеализации. А Тихомиров, как вы правильно отметили, хочет заниматься реальными объектами.

– *Но разве интеллектуальная деятельность это не реальный, не живой процесс?*

Вопрос не в том, что есть подлинная интеллектуальная деятельность, а в том, как мы ее можем и должны представить. Если вы хотите изучать интеллектуальные процессы научно, вы обязаны представить их идеально. Обратите внимание: *обязаны*. И именно это-то и составляет проблему научного подхода в психологии.

А пока что вы стоите на позициях психологического обскурантизма. Представьте себе вашу позицию по отношению к физике. Физик говорит: «Надо изучать свободное падение тел». Появляется психолог и говорит: «Какой такой закон, какие там процессы? Это не тела падают, а в одном случае – кусок мела, в другом – ручка. А вы хотите какие-то законы паде-

ния изучать. Где же они бывают без тех тел, которые падают? Надо обязательно вместе – и падения, и тела».

Но изучать-то все это вместе научно нельзя. Наука требует, чтобы все было растянуто и организовано в виде отдельных и самостоятельных предметов изучения. Нельзя изучать то и другое вместе, оставаясь ученым. И до тех пор пока психологи этого не поймут, до тех пор ничего не сдвинется с места.

Вот вам простой пример из наших опытов. Мы задаем детям модели «целого» и «частей» – большой кружочек и маленькие кружочки – в качестве средств решения задачи. Дети работают, а потом кто-то из них говорит: «А теперь я этот стульчик понес к этому столику». Для него, оказывается, маленький кружок стал вдруг стульчиком. Ну я это обнаружил. А что с этим делать дальше? Можно ли включать все это в процесс решения задач?

– А как же это растащить?

Для этого нужно проделывать сложнейшие процедуры: онтологизацию, объективизацию, реализацию, строить предметы, задавать схемы эксперимента и т.д.

А сейчас все просто перепутано. Например, что такое эксперимент? Эксперимент есть создание таких искусственных условий, где мы показываем возможность реального существования онтологической картины, т.е. правильность нашей идеализации. Когда вы будете производить идеализацию, отрывать одно от другого, то потом для проверки ваших логических операций вы обязательно должны создавать искусственные, или экспериментальные, условия, в которых ваша идеализация начнет существовать как объект. И таким образом вы будете выяснять, реализуема практически ваша онтологическая картина или нет. Идеализацию надо подтверждать. Для этого надо создавать экспериментальную ситуацию. Но нельзя изучать все вместе.

Об историческом развитии форм организации мышления *

Первое, что мы хотели здесь продемонстрировать и показать, – это значительно большая сложность того, что принято называть мышлением и коммуникацией, чем утверждается в существующих ныне, во многом традиционных и широко распространенных лингвистических, логических, психологических и философских представлениях.

В первом докладе, с которого начинались наши тематические заседания, я уже говорил, что, на мой взгляд, эти широко распространенные и принятые большинством исследователей так называемые «научные» основания являются принципиально ложными. Я бы сейчас усилил этот тезис. На мой взгляд, нельзя понять и исследовать мышление, коммуникацию, сознание, не отказавшись целиком и полностью от существующих логических, психологических и лингвистических представлений; все это – лишь разные формы *преднауки*.

При этом я не хочу сказать ничего плохого про все эти представления; просто исторически они уже изжили себя. И в этом разница между тем, что нам нужно, и тем, что мы имеем – примерно такая же, какая была между механикой Галилея и, скажем, перипатетической физикой. Вот как я вижу эту ситуацию. И вы прекрасно понимаете, что как представления Галилея не были чем-то истинным и незыблемым, так и перипатетические представления были достаточно хороши для своего времени. Но времена меняются. И то, что, скажем, еще 70 или 80 лет назад могло казаться вполне удовлетворительным и было таковым, сегодня за счет принципиальной смены интеллектуальной ситуации становится уже неприемлемым.

И я опять-таки не хочу сказать, что в настоящее время нет, не существует каких-то принципиально новых направлений. Наоборот, я рассматриваю нынешнюю ситуацию, как ситуацию невероятно быстрой, радикальной ломки.

В книге, которая была опубликована, если я не ошибаюсь, в 1954 г., Дж.Дж.Томсон сказал, что XX век знаменует собой начало науки о мышлении. Конечно, Томсон не очень большой специалист в этой области. Но именно поэтому я и апеллирую к его высказыванию – чтобы подчеркнуть, что даже физики это понимают. Но в этом и состоит, на мой взгляд, своеобразие ситуации – что физики это понимают, а вот лингвисты и психологи, логики и философы этого совсем не понимают. Поскольку они продолжают работать предметно, глаза у них зашорены, и они по традиции выда-

* Выступление на Всесоюзной конференции по искусственному интеллекту (Киев, 18 апреля 1980 г.). Арх.№ 3488.

ют привычные для них стандартные представления; им очень трудно от них оторваться.

Здесь на совещании не только в тех общих принципах, которые я изложил, но и в демонстрации реального материала, в тех чисто обыденных описаниях ситуаций, в которые мы попадали вместе с другими людьми, представителями разных профессий и специальностей, мы пытались передать вам ощущение коллективной мыслительной работы, в буквальном смысле слова втянуть вас в реальную ситуацию, в которой мы находились. И я надеюсь, что в какой-то мере нам удалось продемонстрировать сложность того, что мы называем мышлением и коммуникацией. Я надеюсь, вы увидели невероятно сложную состыковку и переплетение принципиально разных процессов – процессов рефлексии, которые не есть мышление, процессов понимания, которые тоже не есть мышление, процессов мысли-коммуникации, которые тоже не есть мышление, и, наконец, самого мышления. Но все это вместе с тем завязано в один узел, спроецировано в деятельность и то отслаивается от нее, то, наоборот, с ней «сослаивается».

И эти связи, эти отслоения и сослоения таковы, что разные процессы постоянно взаимно дополняют и компенсируют друг друга. И то, что мы вначале делаем на уровне деятельности, потом мы начинаем осуществлять в рефлексии и через рефлексии, и все это еще восполняется и возмещается пониманием. Через коммуникацию и понимание мы берем у других то, что уже не есть наше собственное мышление, и замещаем этим наше собственное мышление. Размышляя, мы постоянно пользуемся разными «костылями». И содержание, которое движется в нашей мыслительной работе, непрерывно и постоянно перетекает из одной формы в другую.

И если мы не уловим, прежде всего качественно, этих сторон рассматриваемого нами предмета, не поверим в правдоподобность этой картины и будем по-прежнему работать в традиционных логических, психологических, лингвистических представлениях, построенных на принципиально ином видении мышления, если мы, повторяю, не уловим этих новых моментов и не поверим в них, то мы никогда не получим ничего серьезного и ничего подлинно научного в области мышления и мыслительной деятельности.

Я бы еще добавил к этому, что дело не только и, может быть, даже не столько в том, что за последние 100 лет углубились и продвинулись вперед наши представления о мышлении и деятельности, сколько в том, что изменилось и приняло другие формы само мышление.

Правда, это – очень резкий и ответственный тезис, но я уверен в нем: практика мышления раньше была другой, будь то в Академии Платона или в Ликее Аристотеля, или даже в эпоху средневековой схоластики. Каждый раз это было нечто принципиально иное, чем у нас – и в плане деятельности, и в плане мышления. И это надо отчетливо понимать. Здесь,

таким образом, два принципиально разных процесса. Один – изменение форм организации мышления и деятельности, их структур и процессов; другой – очень быстрое изменение наших представлений о мышлении и деятельности, невероятно мощное углубление и дифференциация их. И если мы не будем этого видеть и не начнем под это разрабатывать новые средства и методы анализа, то вряд ли мы можем рассчитывать на возникновение когда-либо, пусть даже в сравнительно отдаленном будущем, научных и квазинаучных представлений и знаний о мышлении, деятельности и коммуникации.

Я бы еще на одном примере попробовал продемонстрировать то, о чем я говорю. Представьте себе, что я слушаю какой-то доклад здесь, на этой конференции. Я очень внимательно слежу за тезисами и стараюсь понять то, что мне говорят. Но при этом, поскольку я методолог и примерно представляю себе те схемы, которые только что рисовал С.В.Наумов, я не столько обращаю внимание на плоскость объектов, о которых рассказывает мне докладчик, сколько стараюсь понять, что он при этом делает – вытащить из его текста метод.

Супруга Э.Ферми, Лаура, когда описывала его деятельность, написала, что Энрике никогда не читал статью до конца. Он старался вникнуть в постановку целей и задач, потом откладывал текст статьи, решал задачу сам и, получив ответ, глядел, что получилось там. Если результаты совпадали, то он считал статью прочитанной, а если нет, то начинал разбираться, в чем тут дело и кто, собственно, ошибся – он или автор статьи.

В принципе Энрике Ферми работал именно как понимающий человек, по третьей схеме С.В.Наумова, поскольку понять для него означало – взять метод работы в принципе.

И точно так же работаю я – сижу и стараюсь понять, что человек делает. При этом я нахожусь в коммуникации, и поэтому у меня превалирует понимание, хотя, конечно, мое понимание каким-то образом «стянуто» с моим мышлением и моей рефлексией.

Но вот представьте себе, что наступил какой-то такой момент, когда я сказал: «Эврика!». Я уже понял, как он работает. И в этот момент я перестаю слушать. Но я могу еще наблюдать за тем, что делает докладчик. И больше того, я перестал слушать, но я начинаю размышлять совсем о другом – о том, как мне с ним коммуницировать. Ведь мне надо ему что-то сказать, поставить «правильный» вопрос, раскрывающий суть дела. Но при этом надо ведь еще обязательно прикинуть, а как этот человек будет воспринимать мой вопрос. Его, скажем, можно обидеть. Или, наоборот, если он верит своим взглядам и верит в свое содержание, то ему можно задавать любые вопросы по существу. Значит, я еще должен «прицениться» к этому человеку.

Я полагаю, что так в общем-то поступают все, участвующие в коммуникации. В нашем понимании есть много планов. Но, обратите внима-

ние, это уже не понимание в традиционном смысле: лишь переменив свое отношение и ничем это не выявив вовне, я делаю того человека, который выступает передо мной, *объектом* своего анализа.

Если вспомнить слова А.В.Брушлинского, я сделал его «вещью своей мысли». Он теперь не коммуницирует со мной, он не собеседник. Он определенная вещь, которую я анализирую. Я должен определить его. И хотя никто не заметил, но у меня уже идет другой процесс – процесс мыслительного анализа. Он мне тоже нужен для понимания и коммуникации. Ведь иначе я не смогу правильно задать вопрос. И при этом еще я стараюсь выявить его онтологические основания, его средства, его метод работы. Я реконструирую их. Я уже начал размышлять, причем – размышлять на моих собственных конструкциях, дополняя то, что я вижу и выделяю в объекте, тем, что представлено в моих схемах.

Мне уже мало моего собеседника только как поставщика материала для рефлексии и чистого мышления. Я начинаю еще конструировать его как *идеальный объект*. И я начинаю двигаться в своей идеальной действительности – потому что ведь конструирование происходит в идеальной действительности нашего мышления, – и я мобилизую при этом все, что я знал про этого человека. И из этого идеального представления его как объекта я делаю свои выводы. Потом я еще вернусь к материалу рефлексии и буду проверять свои идеальные выводы и допущения. Но это – потом.

И лишь проделав все это, я могу вновь вернуться к коммуникации с моим собеседником. У меня есть несколько вариантов такого возврата: я могу теперь вернуться назад, в его действительность, а могу, наоборот, втащить его в свою действительность. Происходит как бы выбор плацдарма, на котором будет дальше разворачиваться коммуникация.

Но это перетягивание говорящего человека на свой плацдарм или возвращение к нему, т.е. подстройка моего аппарата, моей системы к работе в его «цивилизации» – это уже другой, особый процесс. Его нельзя сводить к чистому мышлению, хотя чистое мышление есть предпосылка коммуникации, и только осуществив его я могу начать задавать правильные и адекватные вопросы. Но сам этот выход на тот или иной плацдарм есть уже *коммуникативное действие*.

Давайте сообразим теперь, что я вам рассказал и что я в этом плане вам показал. Я стремился продемонстрировать удивительно сложные переходы между мышлением, рефлексией и пониманием, которые каждый из нас, между прочим, делает постоянно и умеет делать – а некоторые весьма изошрены во всем этом, – но которые для научного исследования, даже для такого, которое претендует на какую-то глубину и основательность, остаются за пределами не только мыслительного анализа, но даже простого понимания и видения. Все названные мною науки, хотя они и кичатся вроде бы своими мощными средствами, вообще не ухватывают этой действительности, этих переходов, этих сложных замен. Но в таком

случае они в принципе не могут претендовать на исследование и описание мышления и коммуникации.

С другой стороны, такое исследование и понимание рефлексии, понимания и мышления невероятно важно для нашего общества. Здесь я возвращаюсь к вопросу В.М.Бондаровской: «А где они учатся делать доклады, понимать, мыслить?». То, что не в вузе, – это ясно. В вузе этого быть не может. То, что и не в школе, – это тоже ясно. Но где тогда?

Мои замечания надо понять правильно. Это не критика школы и вуза. Мне важно подчеркнуть другой момент: обучение всему этому – неизменно сложное и трудное дело. И оно требует совершенно иных организационных форм.

Если с этой точки зрения рассмотреть первый доклад С.В.Наумова, то в каком-то смысле он, на мой взгляд, неудовлетворителен. Прежде всего потому, что Наумов не смог донести до нас свои собственные трудности и свои собственные переживания. Поэтому я оцениваю его доклад как непроблематизированный. И я полагаю, что в этой оценке я сойду с многими.

Кое-какую ниточку для понимания этого Наумов дал сегодня. В Игре-1 он работал в качестве методолога-программиста, ответственного за осуществление намеченной программы программирования в ходе коллективной работы. И у него как у методолога-программиста были (я, к сожалению, не могу это нарисовать так красиво, как он сам это сделал) еще и своя действительность, и свои специфические проблемы, которые разворачивались в его идеальной действительности и на его собственном плацдарме. И он все это имеет, знает и помнит. Это очень определенные, оформленные, отчеканенные представления. А потом волею судеб он попадает в новую, исследовательскую позицию и должен принять соответствующую роль. А это значит – принять еще одну действительность, совсем другую, нежели та, которая была у него раньше. И он должен в этой действительности и из этой действительности извлечь проблемы, о которых он вам расскажет. Но он, между прочим, может быть, и сам не почувствовал, как он туда, в эту новую действительность и в эти новые проблемы, вывалился. И при этом еще, когда он должен вам рассказать свои исследовательские проблемы, перед ним поставлена задача – давать все это на уровне представлений.

Если бы он докладывал на нашем семинаре, то он этого бы не делал – он рассматривал бы методы работы, он ставил бы свои исследовательские проблемы. А здесь, общаясь с вами и с нами, здесь сидящими, он по условиям игры обязан работать не так, как он работает в семинаре. Он обязан работать на уровне онтологического представления, доступного всем. И он должен все проблемы своего метода, относящиеся к материалу Игры-1, особым образом склеить, сгруппировать и вынести их в исследовательскую действительность, спроецировать на онтологическую картину игры и представить в такой форме, чтобы все сидящие в зале их увидели.

Это невероятно сложно. Надо очень тонко чувствовать и понимать все это, чтобы осуществить. Этому надо научиться. И более того, это надо каждый раз суметь сделать.

Здесь я напоминаю вам известное положение Ульдалля: правильное мышление встречается так же редко, как и танцы лошадей; этому надо очень долго учиться; и даже тот, кто сумел осуществить это четыре или пять раз, никогда не может быть уверен в том, что осуществит это и в шестой. Я часто напоминаю это положение Ульдалля, потому что никогда не встречал ничего более точного о мышлении и его распространении в человеческом обществе. Но далее приходится отвечать на вопрос, почему так происходит.

Здесь у меня своя, отнюдь не распространенная точка зрения. Я не верую ни в какие прирожденные способности или задатки. Я думаю, что мышление встречается так редко, во-первых, потому, что у нас неправильная система воспитания. Но также и потому, это – во-вторых, что само мышление – это очень трудное дело. И, наверное, так и должно быть. И больше того, обратите внимание, мышление – это всегда творчество: то, что было правильно вчера, сегодня уже не будет правильным. И чем крепче мы научились вчерашнему правильному, тем труднее нам будет сегодня. Ибо мышление непрерывно разворачивается, развивается, и нужно еще, кроме всего прочего, обладать качествами, необходимыми для того, чтобы себя все время перестраивать. Надо принять «окаанный» способ жизни. Поэтому я бы сказал: мыслить может только тот, кто предельно беспощаден к самому себе, кто готов себя все время перестраивать. А это очень трудно, понимаете. Для этого каждый раз требуется специальная техника.

И теперь я могу перейти к тому вопросу, который, собственно, и объявлен в моем докладе, – это вопрос об историческом развитии мышления и формах его организации.

Вообще-то говоря, на все то, что происходит сейчас, можно взглянуть еще и с исторической точки зрения. Я уже сказал в самом начале, что, на мой взгляд, мы живем в переломную эпоху. И это касается не только мышления, но и нравственности, в каком-то плане – всего облика человека. Период жизни и функционирования человека эпохи Возрождения, человека, я бы сказал, свободного от организации и, в этом смысле, предельно индивидуалистичного, кончился. И сейчас главная проблема времени – это вопрос о том, как сохранить индивидуальности, личности человека в условиях включенности человека в организацию. И это проблема не только теоретическая, но и проблема жизни – нашей жизни и жизни наших детей. Необходимо выработать новую модель человека – взамен той, которая была создана в среднеитальянских городах в эпоху Лоренцо Медичи.

И именно с этой точки зрения я попробовал бы рассмотреть сейчас один аспект, характеризующий развитие мышления. Когда мы берем, скажем, греческое мышление VI–V вв. до н.э. (я просто не рискую двигаться

в другие времена и другие эпохи), то обнаруживаем, что перелом, который характеризует жизнь греческого полиса в тот момент, проявился, среди прочего, в создании того, что мы сейчас называем понятийной организацией мышления, а параллельно с ней – особой логики рассуждения, или диалектики, как ее тогда называли.

Вы должны иметь в виду, что слово «логика», употребляемое в этом смысле, появилось много позднее. Некоторые историки (например, Г.Шольц) говорят даже, что современный смысл этого слова создан Гегелем, а до этого очень часто для обозначения того, что мы называем логикой, употреблялось слово диалектика. Все это хотелось бы исследовать в деталях и подробнее. Но то, что я сейчас хочу сказать, от этого не зависит – моя мысль много грубее.

Итак в VI–V вв. до н.э. благодаря усилиям софистов, затем Сократа и Платона и, наконец, Аристотеля с его школой и стоиков появляется логика, организующая работу с понятиями. Параллельно этому выделяются основные роды категорий и создается онтология, или метафизика. Складывается новый тип «рассуждающего мышления», где основными узлами, или ключами, являются категории, организующие мир понятий, а оперирование ими организуется логикой, или диалектикой.

Этот тип организации мышления на долгое время становится господствующим. Хотя одновременно и параллельно с ним, и на его базе, через несколько веков появляется то, что получило название математики. Тогда слово математика (это недавно еще раз зафиксировал А.Ф.Лосев) обозначало не математику в нашем современном смысле, а науку вообще, точнее – первую форму науки. Математика, наряду с философской, категориальной формой организации мышления, создала, как мы это сейчас понимаем, еще одну форму организации, или соорганизации, мышления и деятельности, которая в дальнейших рефлексивных исследованиях получила название *предметной*.

Эти две формы организации мышления и деятельности – категориально-понятийная и предметная – долгое время взаимодействовали друг с другом и, вместе с тем, определяли характеристичное лицо европейского мышления в целом. Этим я отнюдь не хочу сказать, что в это время не существовало никаких других форм организации мышления. Наоборот, я уверен, что они были. Скажем, существовала еще со времен Древнего Египта (все, что мы знаем, дает основание утверждать это) методическая форма организации знаний и мышления. Большую роль всегда играли так называемые «мифологические» формы организации мышления и деятельности. Они были очень сложны и разнообразны. И их было много разных. В принципе нам, конечно, надо их лучше знать. Но мы до сих пор очень плохо представляем себе, что там было. Лучше исследованы методические и научные формы, поскольку они получили дальнейшее развитие и мы их изучаем. Я повторю еще раз: я уверен, что таких форм организации мышления и деятельности в каждую эпоху было много

разных, они взаимодействовали друг с другом и взаимно друг друга обогащали и определяли.

И дальше я утверждаю, что все эти формы находились в антагонистическом отношении друг к другу. Между ними постоянно шла борьба. И, собственно говоря, именно это обеспечивало их развитие и богатство человеческих форм мышления. Для полноты картины я бы еще раз подчеркнул, что математика как особая предметная форма организация мышления и деятельности делала ненужной традиционную древнегреческую логику. Иначе говоря, математика как совокупность принципов организации мышления и деятельности делала ненужной логическую организацию, во всяком случае – вытеснила последнюю. Поэтому слова И.Канта о том, что логика за 1,5 тысячи лет не сделала ни шагу вперед, хотя и не отступила назад, легко объясняются тем, что логика в этих своих традиционных формах была просто не нужна. И это можно считать совершенно общим принципом: предметные формы организации мышления и деятельности не нуждаются в логике, ибо математические оперативные системы, включенные в состав предметов, модели и онтологические схемы функционально заменяют логику. Математику логика нужна только в том случае, когда он работает в области *метаматематики*, а когда он работает в области собственно математики или решает задачи ему логика не нужна. Это красиво выразил Л.Эйлер, сказавший: «Мы не спорим и даже не рассуждаем – мы вычисляем». Вот что нужно было математику, и он развивал структуры, необходимые ему для такого технологизированного мышления и деятельности.

В результате сложилась особая иерархия форм организации мышления:

1) как бы внизу находились различные области практической деятельности и практического мышления, в которых реализовывались те или иные формы организации чистого мышления и коммуникации;

2) над этим надстраивались различные типы предметной организации мышления и деятельности (для упрощения я здесь опускаю все допредметные, квазипредметные и псевдопредметные формы организации, взаимодействовавшие и борющиеся с предметными формами);

3) еще выше располагались, во-первых, все отслаивавшиеся от предметных форм организации мышления и деятельности системы чистых средств и методов (например, все «математики» в современном смысле слова), а во-вторых, все категориально-понятийные формы организации мышления и коммуникации, а через них и деятельности.

К этому надо добавить, что содержания предметно организованных форм мышления и деятельности все время переводились в категориально-понятийные формы и в них снимались. Но это была уже особая форма организации – так сказать, распремеченная. Поэтому, распремечивание, которое мы сегодня обсуждали, осуществлялось там через понятия и категории и, можно сказать, в формах понятий и категорий. И все предмет-

ные формы организации мышления и деятельности были формами организации мышления и деятельности специалистов, а понятийно-категориальные формы – формами организации обыденного и массового мышления. При этом содержание, развитое в предметных формах, за счет понятийной и категориальной работы все время поднималось на обыденный, популярный уровень. И раньше этого вроде бы было достаточно.

Я прекрасно понимаю, что с теоретической точки зрения сформулированные мною тезисы невероятно бедны. Бедны в смысле проработки деталей, демонстрации материала и методов. И бессмысленно сейчас это как-то пытаться обогатить и фундировать, хотя на деле за всем тем, что я сейчас говорю, стоят достаточно большие разработки и представления, проверенные на материале истории науки. Поэтому, если стремиться что-то действительно, показать, то там много чего надо показывать и более детально все разбирать. И, может быть даже, на материале многое из того, что я сейчас говорю, приобретет совсем иной вид. Но мне это сейчас не важно; важно, чтобы вы зафиксировали, во-первых, неединственность указанной категориально-понятийной формы организации мышления и деятельности, во-вторых, оппозиционность ее предметным формам организации мышления и деятельности, в том числе – научной форме организации, обслуживаемой, скажем, математикой, и, в-третьих, мой тезис – что раньше взаимодействия и взаимосвязи этих форм организации было достаточно, чтобы обеспечить правильные пропорции в соотношении предметных форм и распределенных форм, а теперь мы подошли к принципиально новой ситуации, в которой этого уже недостаточно.

Во-первых, оказалось, что в мире предметов развились такие формы предметной организации, для которых традиционные формы категорий и понятий стали слишком бедной оболочкой. Иначе говоря, традиционные понятийно-категориальные формы стали дефицентными по отношению к новым, недавно возникшим формам научного и квазинаучного мышления. И этим объясняется тот разрыв между наукой и философией, который сложился в XIX в. и который Маркс и Энгельс очень резко фиксировали как конец традиционной философии.

То же самое потом, уже в XX в., зафиксировали неопозитивисты. Правда, правильная интерпретация смысла и содержания неопозитивистских концепций – достаточно трудное дело; сами эти концепции очень неоднозначны и противоречивы. Здесь приходится фиксировать, что это была попытка развить в сфере философии и методологии собственно научные, предметные концепции – и в этом плане неопозитивисты шли, на мой взгляд, вразрез с основными тенденциями исторического развития. Одновременно, это была антиметафизическая тенденция, и в этом пункте они подрывали основы своего научно-предметного подхода, ибо наука неразрывна с метафизикой, опирается на последнюю и без нее просто невозможна. И, наконец, в силу своей антиметафизической, или антионто-

логической, направленности неопозитивистская концепция представляла собой попытку развить дальше собственно логические и, в этом смысле, квазипонятийные и квазикатегориальные формы организации современного мышления и деятельности.

Но это – уже детали. А мне важно зафиксировать признаваемый многими и с разных сторон разрыв между предметными и понятийно-категориальными формами организации мышления. Это первый важнейший момент.

Во-вторых, мы поняли тот факт, что этих форм организации мышления и деятельности очень много – много разных предметных форм и много разных логик.

В-третьих, мы вынуждены были зафиксировать факт их взаимодействия.

Это представление отбрасывает в сторону традиционный методологический принцип, что мышление у людей всех времен и народов одинаково. Это было кредо собственно научной точки зрения в логике: ведь наука только так может рассматривать свой мир – как вечный и неизменный; другого ей не было дано, поскольку только на этом принципе до последнего времени могли строиться научные предметы. И в этом смысле неокантианцы были правы. Между номотетическими дисциплинами и идеографией действительно существует непроходимый барьер, если иметь в виду традиционные науки и традиционную историю: они не сопоставимы друг с другом. И чтобы научно схватить историческое развитие, надо создавать супернауку. Это – четвертый момент, который мы здесь должны зафиксировать.

Значит, эти формы организации мышления и деятельности не только весьма разнообразны, они еще и непрерывно исторически меняются и эволюционируют. Более того, мы в своем мышлении и в своей деятельности, по сути дела, только тем и заняты, что изменяем и развиваем их. Здесь раскрывается невероятно широкая, на мой взгляд, область анализа разных форм организации мышления, понимания и рефлексии, причем – как в естественнонаучном, так и в техническом плане. Необходимо, с одной стороны, описать и зафиксировать все эти формы организации мышления и деятельности, а с другой – разработать для каждой из них свою логическую и герменевтическую технику.

Уже сейчас мы знаем целый ряд принципиально различных типов такой организации – мифологические формы организации мышления и деятельности, диалогическую форму организации коммуникативного мышления, категориально-понятийную форму организации коммуникативного и действенного мышления, методическую форму организации мышления, научно-предметную форму и др. Меньше мы знаем и меньше говорим о таких формах, как задачная и проблемная формы организации мышления. И хотя мы давно уже изучаем процессы решения задач, мы не дошли еще до понимания, что задача – это особая форма организации

мышления и деятельности. И в этом плане она не понятийно-категориальная. Она – задачная. И как особая форма организации мышления и деятельности она должна быть поставлена в один ряд со всеми другими формами.

Сейчас очень много внимания привлечено к онтологической форме организации мышления. Гегелю казалось, что онтологии в будущем мышлении не будет, что она совпадет с гносеологией или логикой как наукой. Но это была ошибка. И сейчас мы все больше и больше понимаем, что эта ошибка лишила нас возможности программировать наши мышление и деятельность и обоснованно проектировать наше будущее. А без этого мышление и деятельность вообще не могут нормально развиваться и функционировать. Сейчас мы зафиксировали это и начинаем судорожно работать в этом направлении в разных областях науки и техники. В биологии, геологии, географии, кибернетике всюду пытаются сейчас строить свои онтологии, поскольку философия и методология не выполняют этой своей функции. Эта работа наверняка будет продолжаться, и в разных точках и фокусах сферы мышления будут формироваться особые структуры онтологического мышления.

Но точно так же мы должны зафиксировать проектные формы как особые предметные формы организации мышления и деятельности. Ведь это даже смешно: у нас существует и за последние 100 лет невероятно развилось проектирование, оно буквально захватывает все сферы деятельности, а мы до сих пор верим лишь в науку и кроме науки ничего видеть не хотим. И практически никто, как у нас в стране, так и за рубежом, если не считать небольшой группы дизайнеров, не занимается изучением специфики проектного мышления. Но точно так же никто практически не занимается изучением организационного мышления, которое тоже имеет свои особые формы и требует (мы сегодня начали обсуждать эту сторону дела благодаря вашим вопросам) совершенно особых средств и особой методологии.

В Новой Утке мы еще раз обнаружили для себя значимость таких форм организации мышления, как ситуационные формы. Вот уже несколько раз я просил организаторов этих совещаний, воспользовавшись их популярностью и присутствием многих заинтересованных лиц, пригласить Клыкова, Поспелова, Мартемьянова, Загадскую и др. и устроить круглый стол по поводу понятия «ситуация». Пусть, наконец, люди, которые говорят о ситуациях, расскажут, что это такое. Мы бы с удовольствием приняли участие в таком круглом столе; на наш взгляд, уже назрела необходимость разобраться в том, что такое ситуация и в чем особенность ситуационного подхода, ситуационного анализа и ситуационного управления.

За этими словами, по нашему глубокому убеждению, стоит совершенно особая форма организации мышления и, соответственно, особые его средства, методы и техника. Это один из видов распределенного мышления. И сюда же – в ситуационное мышление – попадает проблемное,

или проблематизирующее, мышление. Поэтому, когда мы начинаем говорить о проблеме в ее отличии от задачи, то мы упираемся, по сути дела, в это различие ситуационных и неситуационных форм организации мышления.

Резюмируя этот предпоследний кусочек моего заключительного выступления, я хочу еще раз повторить: перед нами огромная область различных форм организации мышления и деятельности, и изучать ее можно только методами, соразмерными самому объекту, т.е. историческими и типологическими.

Если онтологическая картина мышления и деятельности действительно такова, как я ее обрисовал, то дальше мы должны искать такие дифференцированные подходы и методы анализа, которые соответствовали бы объективному устройству самой этой области и могли бы адекватно ухватить как разнообразие форм организации мышления и деятельности, так и факт их исторического становления, развития и эволюции.

С этой точки зрения, мы, наверное, могли бы предъявить счет языковедам: они больше всего продвинулись в типологическом анализе – пусть расскажут, что такое типологическая организация мышления, и таким образом продвинут нашу общую методологию.

И закончить я хотел бы ответом на два вопроса из числа тех, которые были мне заданы. Это в каком-то смысле провокационные вопросы – не в том смысле, что они задавались с провокационной целью, а в том, что я их так воспринимаю. Один из них: «Каковы результаты вашего эксперимента по распределению, поставленного на нас?». И другой: «Как вы представляете себе дальнейшую форму нашей коллективной работы?». Конечно, можно было бы не обратить внимания на эти два вопроса, но я хочу ответить на них всерьез. На мой взгляд, первым принципом должен стать старый библейский принцип: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а надо жить и давать жизнь другим». Смысл этого принципа не в том, чтобы жить спокойно, не вмешиваясь в чужие дела, не мешая другим жить, а в том, чтобы действительно *организовывать* новую жизнь. А мертвецы – они похоронят друг друга. В этом смысле надо понимать мой тезис, что задача такого эксперимента состоит прежде всего в том, чтобы посмотреть, как строятся организации, которые могли бы создавать системы, двигающие нас вперед. Необходимо, во-первых, практически создавать новые формы мышления, во-вторых, рефлексивно анализировать и описывать их, в-третьих, нормировать и распространять. В этом я вижу дальнейший смысл нашей коллективной работы.

Но главное – это то, что надо практически создавать новые формы мышления. Одну из таких форм мы искали, строили и проверяли на Игре-1 в Новой Утке. И я считаю, что создание новых форм мышления и деятельности – это наша главная задача. И в этом смысле вопрос киевского товарища насчет предметов материальной культуры для меня оборачивается следующим принципом: забудьте вы про эту материальную культуру,

смысл дела не в материальной, а в духовной культуре. Надо просто более внимательно почитать Маркса. Не тех, кто излагает и перелагает Маркса соответственно своему уровню, а самого Маркса. И можно, наконец-то, принять эту марксистскую точку зрения. Я понимаю, что 100 лет назад это было достаточно трудно, но с тех пор прошло много времени, теперь легче все это принимать. А ведь Маркс очень четко писал о том, что все предметы материальной культуры есть не что иное, как материализованная мысль, мысль, запечатленная в материале природы. Поэтому суть-то дела, по Марксу, в мышлении, в мысли, которую надо развивать, а не в мертвых скорлупах и продуктах этой мысли. Именно живая, организованная в определенных формах мысль людей и есть наша культура. А формы организации мысли – это то, в чем откладывается человеческая социальность и коллективность.

Здесь можно вспомнить известный тезис Ф.Энгельса: настоящая, подлинная наука – это наука о мышлении. Только наука не в естественнонаучном смысле – во-первых, она историческая, во-вторых, склеена с практикой. Именно поэтому я говорю, что новые формы мышления и деятельности надо прежде всего создавать практически, а затем уже рефлексировать их, описывать, распространять, вводя в систему трансляции и в производство. Вот в чем, на мой взгляд, состоят задачи нашей совместной работы. И если нам удалось обратить ваше внимание на эти сложные явления, требующие своего изучения, если нам удалось заронить в душу кого-то мысль, что это невероятно интересно и увлекательно, тогда мы будем считать свою задачу выполненной.

Заметки об эпистемологических структурах онтологизации, объективации, реализации *

1. Весь круг этих проблем должен теперь рассматриваться в свете важнейшего для нас различения двух пространств: пространства *действительности* мышления-знания и пространства *реального* мышления и деятельности. Особый вопрос – куда и как помещать коммуникацию.

Суть всех этих проблем для нас во многом определяется тем, что во всякой работе, и в методологической в особенности, мы постоянно должны *переводить* действительность нашего мышления в реальность нашей деятельности и, обратно, реальность деятельности в действительность мышления; этим и окрашиваются все наши проблемы.

2. Начинается все с того, что мы определенным образом разрезаем деятельностные схемы, с которыми работаем, и объявляем, что одна их часть будет принадлежать реальности нашей деятельности и мышления, а другая – действительности нашей мысли и деятельности.

Если, скажем, я объявляю, что займу позицию II и буду работать в ней в определенных кооперативных связях с позиционерами I и III, и при этом *объектом моих исследований*, а потом и практических воздействий будут люди в ситуациях 1 и 2, то тем самым я практически провожу границу между тем, что составляет реальность моей деятельности – в данном случае исследовательской – и тем, что принадлежит действительности моего мышления.

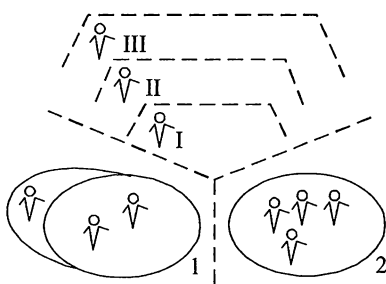


Рис. 1

3. Когда все это объявляется и, тем более, когда это обсуждается, то все, естественно, находится в *действительности рефлектирующего и планирующего мышления*, но в процессе самого мышления все то, что зафиксировано и представлено на схеме и составляет действительность мысли, разбивается на две части сообразно будущим перспективным линиям нашей работы: одна часть объявляется тем, что станет для нас *самой реальной деятельностью*, тем, что мы будем уже не представлять, а *делать*, а другая часть объявляется тем, что будет оставаться для нас в действительности мышления, если мы будем мыслить, или же *станет объектом деятельности*, если мы будем *действовать*.

Таким образом, здесь намечаются две принципиально разные линии жизни для тех двух частей, которые мы задали на исходной оргдеятельно-

* Заметки 27–28 апреля 1980 г. Арх. № 3713. Переиздание публикации [Щедровицкий 1996].

стной схеме: одна часть будет переходить, превращаться в *реальное мышление* или в *реальную деятельность*, а другая будет становиться объектом мышления или объектом деятельности.

Здесь важно отметить, что понятия *объект мышления* и *объект деятельности* являются нетрадиционными и требуют самого тщательного анализа. Это именно объекты, а не предметы, и, обозначая их таким образом, мы фиксируем определенные законы их жизни: их превращение в объекты мышления и в объекты деятельности требует совершенно специфических механизмов и технологических правил работы. Но вместе с тем мы пока не обсудили отношений между действительностью мышления и деятельности, с одной стороны, и объектами мышления и деятельности – с другой; к этому надо будет еще вернуться.

4. Здесь, конечно, возможен и более тонкий вариант анализа. Все, заданное оргдеятельностной схемой, делится не на две, а на три части: 1) то, что я буду реализовывать своей собственной деятельностью, 2) то, что будут реализовывать своей деятельностью другие участники нашей совместной кооперативной работы, и, наконец, 3) то, что будет оставаться в действительности нашей мысли и деятельности и вместе с тем переходить в объекты мыслительной и практической деятельности.

Таким образом, главный вопрос в одном: как теперь то, что мы мыслили и представляли себе в оргдеятельностных схемах, а значит, в действительности нашего самоопределения, будет преобразовываться и переходить, во-первых, в *реальное осуществление* нашего собственного мышления и деятельности, во-вторых, в *систему наших взаимодействий* с другими кооперантами и коммуникантами, в-третьих, в *объекты* нашего мышления и нашей деятельности (либо индивидуальные, либо коллективно-групповые).

Рассмотрим все эти моменты последовательно.

5. Реальное осуществление мышления и деятельности после того, как выбрана *позиция*, а вместе с тем и *тип* мышления и деятельности, проходит в соответствии с *образцами и нормами* этого мышления и деятельности. Здесь, следовательно, основной вопрос: как мы, ориентируясь на эти образцы и нормы, строим эту деятельность в одних или других ситуациях.

6. Поскольку эта деятельность проходит в рамках организаций при определенных проектах, программах и планах и при определенном взаимодействии с другими исполнителями и соисполнителями, то и все эти аспекты и стороны мышления и деятельности тоже должны переводиться из действительности мышления, производимого при самоопределении, в реальность мышления и деятельности и в реальность дополняющих их взаимодействий с другими *членами организации*. Здесь возникает очень сложный круг вопросов, которые мы в последнее время интенсивно обсуждаем, вопросов, касающихся самоопределения вообще, в организации и в ситуации в частности, учета целей организации при выдвигании и формулировании своих собственных целей и т.д. и т.п.

7. Но меня сейчас во всем этом движении интересует больше другое: во-первых, преобразования и трансформации исходной оргсхемы в процессе перехода от самоопределения на оргсхеме к какой-либо выбранной на ней позиции и начала самой работы в позиции, а во-вторых, способы введения и задания объектов для тех деятельностей и того мышления, которые мы будем осуществлять в выбранной нами позиции.

Исключительно важно и принципиально, что оргсхема уже содержит (или должна содержать) изображения всего того, что попадет в мир объектов, и в этом плане она уже является целиком или в какой-то своей части *онтологической схемой* (или может быть использована в качестве онтологической схемы). Какая часть исходной оргсхемы станет онтологической схемой, зависит от того, какую именно позицию мы займем; если мы останемся в позиции внешнего наблюдателя, то вся оргсхема может быть превращена в объектную или предметную схему; если мы становимся в какую-то из «внутренних» позиций, то граница между тем, что будет отнесено к деятельности (к нашей собственной деятельности или к окружающим ее структурам, в которые мы должны вписаться), а что к объекту или предмету нашей деятельности, определяется каждый раз целями (или задачами) деятельности и ситуаций.

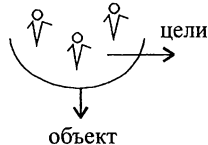


Рис. 2

Здесь важно также, что именно в этом пункте решается вопрос, как именно будет использоваться та часть схемы, которую мы трактуем недеятельно — в качестве онтологической объектной схемы или же в качестве предметной схемы.

8. В первом случае мы полагаем, что часть оргдеятельностной схемы задает нам *деятельное представление* того, что мы будем считать миром объектов, и мы можем либо положить саму эту часть схемы в виде изображения объекта — и тогда мы обязаны считать, что находимся перед деятельностьюным миром (т.е. миром деятельностьных объектов), — либо же на этом изображении строить еще другие дополнительные объектные и предметные схемы, вполне возможно и недеятельные. Интересно, что здесь возможны разные стратегии: скажем, от деятельностьной схемы, используемой в качестве исходной онтологии, мы идем, к примеру, к натуралистической онтологической схеме, а затем уже от нее — к предметной схеме натуралистического толка (рис. 3); а можем двигаться и совсем иначе: от деятельностьной схемы, используемой в качестве исходной онтологии,



Рис. 3

мы идем к предметной схеме натуралистического толка (рис. 3); а можем двигаться и совсем иначе: от деятельностьной схемы, используемой в качестве исходной онтологии, мы идем к предметной схеме, например, фиксирующей ту или иную орга-



Рис. 4

низованность деятельности, а от нее – уже к онтологической схеме объекта, представляющей некоторый натуральный объект, соответствующий этой организованности деятельности (рис. 4).

9. Во втором случае мы можем считать выделенную часть исходной оргсхемы предметным представлением (или группой предметных представлений, собранных и состыкованных друг с другом), перестраивать и развивать ее соответственно этому предположению и, в зависимости от выбранной нами стратегии организации деятельности, подыскивать для этого предметного представления или группы предметных представлений соответствующую им онтологическую схему; при конфигураторно-синтезирующем подходе это будет одна онтологическая схема, при системном подходе – другая, при комплексном подходе – третья.

10. Последние замечания выводят нас к новой проблеме, имеющей исключительно важное значение. Определение типа и функциональной организации деятельности и определение типа и характера объекта деятельности (и мышления) находятся в неразрывной связи и должны соответствовать друг другу; вместе с тем они представляют собой целостные и автономные движения и, следовательно, могут осуществляться (и нередко осуществляются) независимо друг от друга. Это обстоятельство может приводить и приводит к разрыву между деятельностью и ее объектом (к разрыву между методом и объектом), хотя смысл дела всегда в том, чтобы этого разрыва не было (и именно это как требование фиксируется в гносеологической схеме «субъект – объект»).

Следовательно, при занятии той или иной позиции в оргдеятельностной схеме мы должны еще, кроме всего прочего, побеспокоиться по поводу *методологических схем, норм и технологии* достижения соответствия между деятельностью-мышлением и творимыми ими объектами.

Таким образом, именно здесь мы вновь приходим к вопросу о подходах и конституирующих их принципах, определяющих связь между объектами деятельности и самой деятельностью, в частности к вопросу о различии натуралистического и деятельностного подходов. Именно в этом контексте мы должны обсуждать вопросы о том, как тот и другой подходы осуществляются, с одной стороны, в предметной, операциональной и технологической организации мышления-деятельности, а с другой – в способах объективации, в строении онтологических схем и в устройстве полагаемого за ними объекта.

Опять же попробуем рассмотреть это по порядку.

11. Существует ли разница в способах существования *объекта* деятельности-мышления при натуралистическом и деятельностном подходах – вот основной вопрос, который мы в этом месте должны обсуждать.

Самое главное – это то, что при натуралистическом подходе объект считается существующим автономно, независимо от нашей деятельности, по законам природы и в пространстве самой природы; он есть объект в себе и сам по себе.

При деятельностном подходе объект считается существующим в деятельности и относительно деятельности, т.е. либо внутри нее, либо в отношении к ней, либо по законам только деятельности, либо по законам деятельности и материала (деятельностного и природного), т.е. как И-Е объект, либо же по законам *самого объекта* (природным или общественно-историческим). С этой точки зрения натуралистическое представление объекта является *предельным случаем* деятельностного представления.

12. Это фиксируемое нами различие в способах существования натурального и деятельностного объектов определяет различия в способах онтологизации и объективации, практикуемых и законных при натуралистическом и деятельностном подходах.

Сначала объект существует лишь в действительности нашего мышления, причем, всегда за счет той организации нашего мышления, которая задана схемами самоопределяющегося рефлексивного мышления. Если там, скажем, объект задавался как нечто самостоятельное и независимое, противопоставленное субъекту и его деятельности, то и в действительности организуемого этими представлениями мышления объект будет существовать таким же образом. А если в рефлексивном самоопределении задавались схемы, по которым объект есть некоторая *организованность мышления-деятельности*, включенная в процессы и структуры мышления и деятельности, то и в действительности соответствующего мышления объекты будут существовать в системах деятельности и по их законам.

Но здесь, вместе с тем, появляется очень тонкое различие между эпистемологическим, гносеологическим и онтологическим отношениями к объекту, которое весьма своеобразно проявляется в процессах реализации деятельности и объективации. Если вернуться к исходной схеме сферической организации и по-прежнему обсуждать все вопросы в предположении, что мы занимаем позицию II, то мы должны будем сказать, выбрав деятельностный подход, что объект нашего рассмотрения, скажем, ситуация 1 или ситуация 2, является деятельностным прежде всего постольку, поскольку мы учитываем включенность его в нашу деятельность и будем рассматривать его либо как объект познания, либо как объект исследования, либо как объект организации, руководства или управления – и именно в этом будет проявляться гносеологический или собственно деятельностный подход наш в обсуждении этого вопроса; а кроме того и во-вторых, этот объект является деятельностным в силу того, что он является деятельностью и живет по специфическим законам деятельности – и это будет уже собственно онтологический аспект нашей проблемы.

Таким образом, с одной стороны, принципы деятельностного подхода будут *реализоваться* в том, как мы будем, становясь, скажем, на познавательную точку зрения, *отделять* объект от своей собственной деятельности, придавать ему его собственную жизнь и законы этой жизни (эффект Пигмалиона), – и это будут, прежде всего, *функциональные определения объекта*, связанные с нашим пониманием природы объекта как тако-

вого и с нашими употреблением категории объекта, а с другой стороны, принципы деятельностного подхода будут *реализоваться* в том, как мы будем строить *представления об объекте* (заполняя соответствующее функциональное место, созданное организацией нашего мышления-деятельности), – и здесь начнут работать уже специфические методолого-онтологические категории деятельностного подхода, скажем, такие, как И и Е, кентавр-объект и т.д. и т.п.

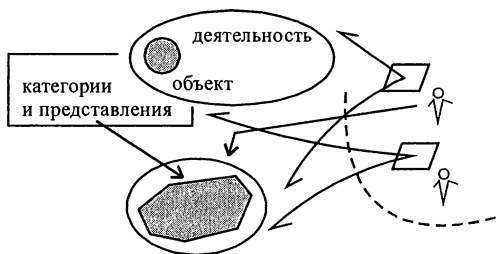


Рис. 5

Здесь очень важно, чтобы наши *морфологические представления* о деятельностном объекте, реализующиеся в «прямом» естественнонаучном мышлении и исследовании, соответствовали нашим структурно-функциональным представлениям, реализующимся в рефлексивном методологическом (в какой-то мере гносеологическом) мышлении.

А *подлинная объективация* (и в этом отличие ее от *формальной онтологизации*) предполагает единство и согласие структурно-функционального и морфологического, рефлексивного и «прямого» в мышлении и деятельности.

Натуралистический подход, в противоположность этому, предполагает, что объект в рефлексии фиксируется, а в «прямом» представлении мыслится как независимый от деятельности, живущий по своим собственным законам. И здесь всякое представление о каком-либо конкретном объекте должно соответствовать нашему общему категориальному представлению о натуральном объекте, а через это специфическим, познавательным и преобразовательным отношениям человека к натуральным объектам.

В этом, собственно говоря, и заложен основной узел методологических проблем, суть которых всегда в соответствии логики и метода онтологиям, а онтологий – логике и методам.

Итак, в организации и при осуществлении исследовательского мышления и деятельности мы реализуем установку и принцип того или иного подхода – натуралистического или деятельностного – и должны либо иметь, либо получить представления об объекте, *соответствующие* реализуемому подходу. Если это требование выполнено, то *процедура онтологизации* имеющихся схем и представлений об объекте не будет уже формальной, а будет соответствовать возможной *процедуре объективации*.

13. Эта процедура объективации идет как бы параллельно *процедуре создания, или организации, объекта*.

Если мы принимаем натуралистический подход, то наши представления об объекте, объединяющие рефлексивно-функциональную и морфологическую характеристики, должны соответствовать реально существующему, как мы предполагаем, объекту; при этом представление об объекте, порожаемое нашей познавательной и исследовательской деятельностью должно «выпасть» из деятельности и приклеиться к самому объекту, и этому соответствует особая процедура «вписывания» этого представления в натуральное пространство-время. Образно говоря, мы как бы переносим объект, воссозданный нашей познавательной и исследовательской деятельностью, из контекста деятельности в контекст природы, и осуществляется это за счет предположения и утверждения, что наше представление истинно (или претендует на истинность); а проверяется это утверждение затем либо с помощью эксперимента, либо с помощью практики, когда мы *собственной деятельностью* создаем *реальный объект*, соответствующий нашим представлениям.

И если такое искусственное создание удастся и соответствующий объект начинает жить «сам по себе» (хотя и в контексте нашей деятельности), то *в рамках натуралистического подхода* и натуралистической методологии это может служить достаточным подтверждением и даже доказательством *правильности* и *истинности* наших представлений об объекте и соответственно наших процедур онтологизации и объективации.

Процедуры экспериментально-эмпирического исследования объекта схематически представлены на рисунке.

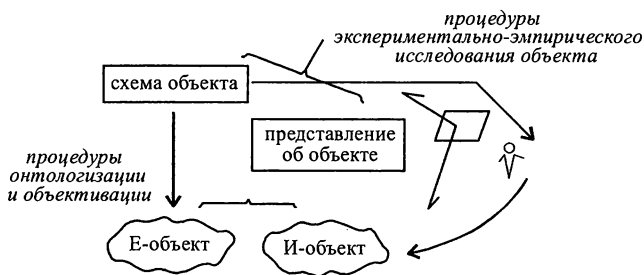


Рис. 6

Несколько грубовато суть всего происходящего здесь можно выразить так: сначала при онтологизации и объективации мы предполагаем, что независимо от нашей деятельности «в природе» может существовать объект, соответствующий нашему представлению об объекте (именно здесь совмещаются И- и Е-аспекты, характерные как для мышления, так и для деятельности), а затем мы проверяем наше предположение, создавая этот объект либо экспериментально, либо практически, и на основе этого можем уже утверждать, что наше представление действительно объективно в натуралистическом смысле, ибо соответствующий объект создан и, как мы выяснили путем исследования, *действительно* существует. Таким образом, здесь мы вновь возвращаемся от *реального* к *действительному*,

фиксируя в процессе познания или исследования, что соответствующий объект вроде бы на самом деле существует.

14. Если же мы будем исходить из деятельностного подхода, то здесь сразу же возникает значительно больше вариантов, нежели в предшествующем случае.

Если, скажем, мы рассматриваем какую-то материальную вещь или какой-то процесс в машинах или в городе и т.п. и с самого начала трактуем их как порождения нашей деятельности, как объекты в деятельности, деятельностью создаваемые и поддерживаемые, то сама объективация может трактоваться, по меньшей мере, в двух направлениях – ретроспективном познавательном и проспективном созидательном. И в том и в другом случае мы уже не можем брать этот объект сам по себе, а должны брать его в деятельностном окружении, от которого зависит его существование. Здесь уже не имеет смысла обсуждать вопрос, существует ли этот объект или не существует, ибо в каждом случае он существует, *если его сделали или создали*. Само существование этого объекта оказывается не безусловной, а наоборот, деятельностно обусловленной истиной, и истина такого рода уже не может подтверждаться или опровергаться тем, что мы создаем соответствующий ей объект.

Здесь, следовательно, приходится говорить, что объекты такого рода существуют, если мы можем их сделать, и тогда экспериментально-эмпирической проверке подлежат не существование или несуществование подобных объектов, а наши *возможности и способности их создавать*.

Иначе говоря, в этих случаях процедура объективации должна соответствовать нашим возможностям создавать объекты такого рода, но сама эта процедура, как и процедура онтологизации, входит в процесс создания объекта и очень часто определяет саму возможность этого создания. Поэтому осуществляя онтологизацию и объективацию, мы, по сути дела, и решаем главную проблему создания объекта, ибо показываем и доказываем возможность совместить определенный материал и определенную морфологическую организацию с функцией, т.е. функциональными признаками объекта. Короче говоря, с точки зрения деятельностного подхода, онтологизация, объективация, а затем и оестествление суть лишь звенья процесса создания и реализации объекта и как таковые являются лишь продвижениями на пути этого создания, а совсем не звеньями доказательства естественного или натурального существования этого объекта.

А подлинная суть и реальный смысл всей этой работы состоят в том, чтобы найти подходящий материал и морфологическую организацию для той *деятельностной структурной функционализации, которая стоит за понятием объекта*.

15. Но это включение «объекта» в структуры деятельности, являясь принципом деятельностного анализа в подходе к объекту, не означает еще

того, что сам объект стал деятельностью; это пока лишь деятельностное рассмотрение квазинатурального объекта: морфология объекта пока может описываться натурально, меняются лишь категориальные определения и общее истолкование; мы говорим теперь об *организованностях деятельности*, и это специфическое выражение указывает на специфически деятельностный подход.

Вместе с тем, такая квалификация с *необходимостью* влечет за собой следующий шаг, заключающийся в кардинальной перестройке самого представления об объекте. Если выясняется, что организованность деятельности не является и не может быть самостоятельным и целостным объектом, существующим вне деятельности и независимо от деятельности, то это означает, что она не может быть объектом *естественнонаучного* изучения. Нам приходится расширять объект и обращаться к изучению собственно деятельности, разыскивая в ней такие образования, которые могли бы быть *целостными объектами* научного изучения. Начинаем мы, естественно, с объектов естественнонаучного исследования или подобных ему.

Основным понятием, решающим эту задачу, является понятие *системы деятельности*. Собственно говоря, именно системы деятельности и только системы деятельности являются теми образованиями, которые (при определенных допущениях и упрощениях) могут удовлетворить нашим традиционным представлениям об объекте естественнонаучного изучения и тем принципам, которые мы закладываем в понятие исследования. Поэтому задачу можно перевернуть; можно спросить, а не существуют ли в деятельности такие образования, которые могли бы удовлетворить традиционным представлениям об объекте естественнонаучного исследования, и все специфические признаки этого представления объявить отличительными формальными признаками систем деятельности. (Здесь очень важно, что организованности деятельности не могут быть объектами естественнонаучного изучения; это не означает, что они не могут стать объектами иначе построенных исследований – нужно только сформировать образцы подобных исследований.)

Именно так мы и поступаем. Другое дело, что после всего этого нужно еще найти «действительные» или «подлинные» системы деятельности, обладающие, например, автономностью жизни; но это уже совсем иные проблемы.

Таким образом, здесь в рамках деятельностного подхода к объекту мы меняем основные требования к представлениям, допускающим объективацию: если что-то называется объектом, то это значит, что оно либо уже объективировано, либо допускает объективацию; но в рамках деятельностного представления «объектными» могут быть только деятельностные представления, т.е. только представления систем деятельности могут быть непосредственно и прямо объявлены объектами, могущими суще-

ствовать естественно или квазиестественно, а для всего остального надо формулировать специальные условия и ограничения. В этом контексте нам приходится обсуждать вопросы, в каком смысле существуют и могут существовать процессы деятельности, в каком смысле существуют и могут существовать функциональные структуры (то же, соответственно, для организованностей материала и для самого материала).

Но затем эта процедура как бы перевертывается и мы начинаем обсуждать вопросы, могут ли быть «объектами» процессы, функциональные структуры, организованности материала и сам материал. Суть возникающих здесь проблем опять-таки в переходе от действительности мысли к реальности деятельностного существования (или существования в действительности).

Ведь главный вопрос здесь в том, что значит быть «объектом» – объектом в действительности мышления и объектом в реальности действия. И мы фиксируем всего два отношения. Но так как эти два отношения могут реализоваться последовательно и создавать за счет этого сложнейшие иерархические связки и склейки, то мы всегда встаем перед проблемой: с каким числом этих связей и склеек мы имеем дело в каждом конкретном случае?

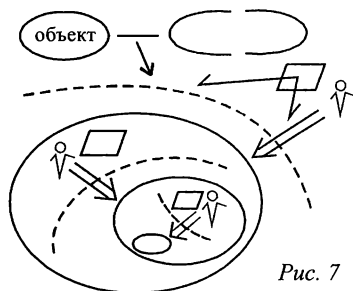


Рис. 7

Если в деятельности реализуется исходная схема $S \leftrightarrow O$, то *нижележащая система деятельности* – это объект, но именно потому, что она определенным образом соотносена с нашей деятельностью, направленной на нее. При этом мы фиксируем объект в рефлексии и благодаря рефлексии, в функциональном плане мы представляем объект благодаря мышлению и через мышление и, наконец,

мы должны реализовать деятельное отношение к этой системе деятельности как к объекту. И это последнее – самая трудная проблема в анализе и описании – проявляется в организации операций и действий в практической деятельности и, очевидно, в такой соорганизации деятельности-объекта, которая будет соответствовать представлению об этой деятельности.

Но для того чтобы эта вторая представляемая и организуемая нами деятельность стала реальной и соответственно реальным объектом, нужно, чтобы был кто-то, кто будет ее осуществлять, и вне этого другого человека (или этих людей) эта деятельность реальным объектом не станет. Следовательно, здесь выявляется еще одна проблема, которую я до того не затрагивал, хотя она и должна была обсуждаться, – проблема *материала*, на котором *реализуется объективное существование* систем деятельности (или, что аналогично, вещей). Иначе говоря, реализация объекта предполагает не только адекватность соответствующих представлений функциональному месту объекта в деятельности (в структуре и организа-

ции деятельности), но и адекватность того материала, на котором это представление будет реализовываться.

Здесь деятель сначала как бы *входит* в свои представления о деятельности, а затем *воплощает* в материале (другого человека) свои представления об объекте.

Но хотя весь этот процесс и есть «на самом деле» организация объекта, и в известном плане организация может быть отождествлена с конструированием объекта, тем не менее здесь происходит какое-то весьма сложное и хитрое удвоение деятельности, и в своем непосредственном воплощении деятельность организации выступает в каких-то совсем иных формах – как взаимодействие, коммуникация, руководство, управление, убеждение, воспитание и т.д. и т.п. И во всех этих взаимодействиях и в коммуникации этот момент *организационного отношения к объекту* попросту исчезает, он заменяется другим – *межличностными и межиндивидуальными отношениями*.

Следовательно, реализация деятельного отношения к объекту в процессе деятельности над деятельностью весьма сложна и вызывает множество затруднений. Объясняется это тем, что человек как *носитель определенных структур деятельности* отождествляется с человеком как *определенной личностной организацией*. Если мне надо организовать какую-то деятельность, то я отношусь к людям как носителям ее, а не как личностям, хотя я все время должен считаться с тем, что они являются также и личностями (жалкими или возвышенными).

Обсуждение этой коллизии составляет предмет многих романов. «Человек из Афин» Георгия Гулия – только один из примеров этого.

Таким образом, реализация объектного отношения в деятельности над деятельностью предполагает очень сложный идеальный, надбытовой план, в котором объектами являются именно *системы деятельности*, а не случайные материальные и морфологические организованности, входящие в материал деятельности. И эти системы деятельности действительно *должны стать* объектами деятельности – организационной, управленческой, исследовательской, может быть, даже проектной. И это есть подлинная, реальная проблема – отделение деятельности в качестве объекта другой деятельности от межчеловеческих взаимодействий и общения. Чтобы это действительно произошло, надо иметь, во-первых, соответствующие наборы представлений о деятельности, во-вторых, методологические, технологические и логические представления и средства, позволяющие реально строить и осуществлять те деятельности, которые могут сделать другие деятельности своим объектом.

Именно в этом заложен узел подлинных проблем, связанных с реализацией (здесь везде реализация есть синоним осуществления) деятель-

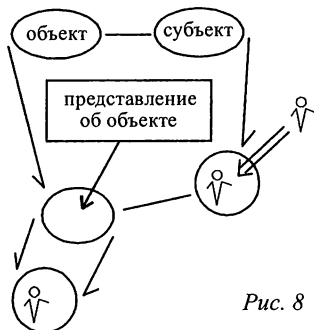
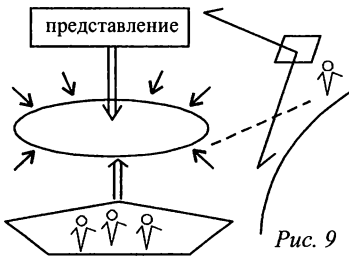


Рис. 8

ности над деятельностью: чтобы сделать деятельность объектом своей деятельности, надо увидеть ее в качестве объекта, а это не так просто. Но объективация представлений о деятельности всегда есть лишь аналог и имитация того, что происходит при построении и осуществлении, т.е. *реализации*, деятельности над деятельностью.

Итак, *объективировать* это значит привести онтологизируемые представления на пересечение мышления и деятельности, что достигается за счет соответствия: 1) *морфологических представлений*, 2) *функциональных требований объектности* и 3) *поведения материала*. При этом все три



составляющие создаются нашей деятельностью и существуют через деятельность, а следовательно, взаимосогласование их зависит в первую очередь от взаимоорганизации всех соответствующих деятельностей – разработки представлений об объекте, функциональной организации собственного мышления и деятельности, выделяющей в них место объекта, практической организации материала и руководства (или управления) его поведением, обеспечивающего намеченную организацию; во вторую очередь, это зависит от поведения материала.

Хотя каждая из названных деятельностей подчиняется своим особым культурным нормам – и в этом плане обладает инерцией – все эти деятельности могут перестраиваться и подстраиваться друг к другу; и в этом, собственно говоря, и состоит смысл их соорганизации. Но практическая деятельность организации связана не только своими нормами, но и своим непосредственным отношением к материалу, и в этом плане ее можно считать более связанной, нежели другие деятельности. Поэтому анализ их сложных связей и взаимозависимостей надо начинать, наверное, с фокусировки именно на организационно-управляющей деятельности. В ней, в ее технологии и механизмах, заложен ключ к пониманию объективации в социотехнических деятельности; иначе говоря, очерчивать объект и производить объективацию здесь нужно в соответствии с механизмами и технологией организационно-управленческой деятельности.

Только затем мы сможем перейти к анализу форм и способов функционализации и функциональной организации в оргуправленческой деятельности, а еще дальше – к определению и формулированию категориальных требований к представлению объекта.

Только затем мы сможем перейти к анализу форм и способов функционализации и функциональной организации в оргуправленческой деятельности, а еще дальше – к определению и формулированию категориальных требований к представлению объекта.

Таким образом, сначала надо *описать* объективацию в оргуправленческой деятельности, затем *объектную функционализацию* при рефлексивном самоопределении в этой деятельности и, наконец, *конструирование представления об объекте*. И все эти деятельности должны быть описаны нормативно и на уровне нормативных описаний взаимно согласованы друг с другом. Это будет линия искусственного формирования осмысленных и

содержательных процессов объективации в социотехнической деятельности и мышлении. А в каждом конкретном случае такого мышления и такой деятельности процессы будут идти, конечно, в обратном порядке: сначала мы будем строить представления об объекте, потом онтологизировать их, осуществлять формальную объективацию, мысленно прикидывая схемы к материалу, проверять таким образом возможность реальной объективации их и только после всего этого пытаться включить их в реальную оргуправленческую деятельность.

При этом, чтобы осуществить всю эту конкретную работу, нам понадобятся еще многие специфические мыслительные средства и знания, в частности – знания о том материале, с которым мы имеем дело, о законах и механизмах его жизни, возможностях его организации для осуществления (или обеспечения) определенной деятельности, возможностях спонтанного и противодействующего нам поведения материала и т.д. Значительная часть всех этих средств и знаний будет относиться уже к условиям реализации наших объектно-организационных схем на данном материале, т.е. к взаимоотношениям и взаимосвязям между нашим *объектным представлением* (тесно связанным с нормативным представлением деятельности) и материалом, на котором мы должны реализовать это объектное представление:



Рис. 10

И все это должно быть органически связано с методологией и технологией оргуправленческой деятельности, следовательно, с представлениями об этой методологии и технологии.

Таким образом, здесь мы непосредственно выходим ко всем вопросам о том, что же будет представлять собой *организованный нами деятельностьный объект*.

Организованный объект – а это всегда определенная *система деятельности* – является объектом совершенно особого типа, он имеет совершенно особое строение (или устройство), живет по своим особым законам и нормам, требует совершенно особых средств, процедур и методов описания и т.д. и т.п. И относительно этого объекта мы также должны проводить три взаимодополняющие друг друга процедуры фиксации и

описания: 1) функциональную – относительно той системы деятельности, в которой он является объектом, 2) морфологическую – объединяющую планы И- и Е-существования объекта, и 3) материально-субстратную – соответствующую формам и способам жизни материала объекта.

Во всех случаях мы должны будем вписывать эти представления об объекте в какие-то более широкие, объемлющие объект системы и пространства. Поскольку речь идет о системах деятельности как объектах нашей деятельности, во всех трех случаях такими объемлющими системами будут те или иные системы деятельности.

О значении исследования коммуникации для развития представлений о мыследеятельности *

В моем докладе будет пять основных частей: 1) вступление, поясняющее смысл ситуации и саму тему, 2) часть, посвященная методологической характеристике ситуации и постановке методологических целей и задач, 3) самая большая часть, где я постараюсь рассмотреть внутреннюю эволюцию подходов к теме в рамках представлений Московской методологической школы, 4) обсуждение той онтологической схемы, которая представляется мне ядерной для рассмотрения коммуникации, 5) часть, в которой я попробую наметить некоторые проблемы предметного представления коммуникации, понимания и мышления.

1. В настоящее время не существует сколько-нибудь удовлетворительных представлений о коммуникации. Ни онтологических, ни представлений собственно предметных, хотя есть уже достаточно много работ, в которых, как думают их авторы, проблемы коммуникации ставятся и обсуждаются. Характерно, что при этом коммуникация вольно или невольно отождествляется либо с передачей сообщений, либо с циркуляцией информации, либо с какими-то целенаправленными организационными воздействиями, т.е. если перефразировать Ельмслева, коммуникация вроде бы и берется как некий эпифеномен, но рассматривается при этом не она, а нечто другое.

Вот поэтому я и говорю, что мы находимся сейчас лишь на пути к выделению коммуникации как особого, специфичного явления. Движение идет с разных сторон, но при этом специфика самой коммуникации, ее особенности пока еще не схвачены. Вы можете рассматривать эти утверждения как странные, но вот в недавно переведенной на русский язык очень разумной книге Роджерса и Агарвала «Коммуникация в организации» дана весьма сходная характеристика нынешней ситуации, хотя сами авторы являются, если можно так выразиться, узкими специалистами именно в этой области. Там дана точная характеристика состояния этой области, а когда авторы переходят к позитивным рассуждениям, они еще раз демонстрируют отсутствие подлинных эмпирических и теоретических представлений о коммуникации, невозможность выйти на этот предмет.

Я хотел бы в этой связи подчеркнуть один специфический момент. Нас интересует не столько коммуникация сама по себе, хотя нам хотелось бы выйти к этому предмету, сколько место и роль коммуникации в мыследеятельности, т.е. по отношению к деятельности, мышлению и, более узко, по отношению к процессам решения проблем и задач. Поэтому мы долж-

* Доклад на совещании по коммуникации и пониманию (НИИ бщей и педагогической психологии АПН, 15 декабря 1980 г.). Арх. № 0408-2.

ны рассматривать коммуникацию не саму по себе, а именно в той ее роли, в какой она позволяет нам понять и точнее описать мыследеятельность. Это задает особый срез, в котором мы рассматриваем эту сложную и большую область.

Поскольку еще нет ни предметного, ни онтологического представления о коммуникации и я при всем желании не могу критически рассмотреть предшествующие подходы и как-то связать их, я должен был искать другой путь введения всей этой проблематики и самой темы. Я поэтому, с одной стороны, попробую обрисовать ситуацию в общеметодологическом плане, а с другой – буду рассказывать историю подходов в Московском методологическом кружке. И это будет обратным ходом по отношению к тем разъяснениям, которые я сделал сейчас.

По моему глубокому убеждению, *сегодня отсутствие предметных, технических или научных представлений о коммуникации стало главным тормозом развития наших представлений о мыследеятельности.*

Вроде бы нам теория коммуникации и не нужна сама по себе, этим занимаются и должны заниматься другие, но так сегодня складывается ситуация, что мы не можем дальше исследовать мышление и деятельность, не продвинувшись специально и целенаправленно в исследовании коммуникации. Отсутствие предметных представлений о коммуникации не дает нам сегодня возможности работать.

Отсюда возникают две группы проблем. С одной стороны, мы должны рассмотреть коммуникацию в отношении к мышлению и деятельности, функции коммуникации относительно мыследеятельности, и, следовательно, должны задать какую-то общую онтологическую картину, в которой мышление, деятельность, коммуникация были бы увязаны в одно целое. С другой стороны, мы не можем этого сделать именно потому, что у нас сегодня отсутствуют достаточно развернутые и детализированные представления о коммуникации как таковой. И отсутствие таких представлений сдерживает развитие наших разработок в этой более глубокой области.

Мы, таким образом, приходим к двойной задаче: 1) необходимо построить онтологическую картину, в которой коммуникация будет вписана в структуры мыследеятельности и будет выступать там как определенный функциональный элемент; 2) мы не можем этого сделать, пока не имеем предметных представлений о коммуникации.

Эти два момента теснейшим образом друг с другом связаны. Но они вместе с тем разделяют и дифференцируют нашу проблематику. На этом я закончил обрисовку ситуации и поставил цели и задачи.

2. Во второй части я попытаюсь наметить программу описания эмпирической истории.

В сложнейшей области мыследеятельности все связано и склеено: деятельность, мышление, рефлексия, понимание... Все это там перекручено. Мы пытаемся с разных сторон рассматривать это целое и выделяем соответствующие предметы.

Мы выделяем какие-то срезы, аспекты целого и фиксируем их в предметных представлениях: мышление, деятельность, коммуникация или что-то другое, понимание, рефлексия. И мы можем разворачивать все это, делая каждый раз вид, что это самое мышление существует вне деятельности, само по себе, подчиняется своей особой логике, безотносительной к изменяющимся факторам деятельности. Или описываем деятельность как таковую. Но каждый раз мы приходим к вопросу: а как же они связаны между собой в этом целом? Потому что, как только любое исследование делает шаги вперед и укрепляется, то оно обнаруживает массу таких пунктов, в которых анализ и описание мышления невозможны без учета соответствующих моментов в деятельности или в понимании. Начинается уход от этой предметной области и попытки построить то, что мы в начале 60-х годов называли «конфигураторами» и «конфигуроидами», т.е. особые онтологические представления, в которых эти моменты, аспекты, фиксированные в разных предметах, даются уже не как аспекты, а в своих онтологических формах. Следовательно, постулируется некоторое объективное существование того, что рисуется здесь в онтологии.

Здесь, на мой взгляд, проходит граница между собственно предметным (научным) и методологическим (онтологическим) типами работы. Это обстоятельство было уже очень давно отмечено Кондильяком и Кантом: представление об объекте рождается на основе синтеза наших представлений. Но долгое время под влиянием работ Гегеля значимость таких онтологических проработок принижалась. Считалось, что при диалектическом подходе такие проработки не нужны. Хотел того Гегель или нет, но таким образом он работал на самый плоский сайентизм. Гегель в своих крайних утверждениях создавал почву для позитивизма. Как только мы отрицаем необходимость онтологической работы, того, что традиционно называлось метафизикой, тотчас же расцветают сенсуализм, плоский позитивизм и т.д.

На мой взгляд, должна идти постоянная игра между этими двумя формами работы (предметной и онтологической) и их постоянное обогащение. Когда мы получили три предметных представления, то, чтобы ответить на вопрос о том, каков же объект на «самом деле» (в кавычках потому, что я понимаю исторически преходящий характер этого предположения), мы должны проделать определенную синтезирующую или конфигурирующую работу и построить некоторую схему, которая даст нам представление об объекте.

Именно здесь, в онтологической работе, мы прорываемся к объекту. А научные, предметные представления начинаем оценивать не как дающие нам объективное знание, а как аспектное представление этого объекта. Сама идея аспектов зиждется на этом различении предметной и онтологической работы. Только сам этот момент не различается и остается где-то за пределами непосредственного сознания, как определенный фон.

Но если мы сделали этот шаг и получили онтологическую картину сложного объекта, то мы сразу же получаем возможность проделать обратную работу предметизации. Мы можем либо взять онтологическое представление, которое мы построили, как основание для развертывания нового теоретического предмета – это случай предельный и не очень выгодный, – либо же, исходя из этой онтологической картины, в которой мышление, деятельность и коммуникация увязаны, причем показано, как они увязаны, развернуть целую серию новых предметных представлений. И одновременно произвести корректировку старых предметных представлений.

Мне кажется, что в этой игре постоянных переходов – от предметных представлений к онтологическим и обратно – реализуется единственно возможная стратегия как системного анализа, так и комплексной организации исследования. Этот пункт мне очень важен, поскольку дальше я постараюсь показать, как мы в развитии своих собственных исследований постоянно осуществляли эту работу, а когда не осуществляли, то получали длительное торможение наших исследований и разработок. Я рассказываю об этом, чтобы сделать эту тему строгим методическим принципом реализации наших исследований и разработок.

Итак, мы возвращаемся к предметам, осуществляем предметизацию, увеличиваем число предметов на базе новой онтологической картины, охватываем новый эмпирический материал и затем снова выходим – в результате автономного развития всех предметов – к новому набору диссонансов, дисфункций, расхождений между ними. И затем снова должны проделать конфигурирующую онтологическую работу и снова вернуться к предметам.

С какого-то момента получается (в физике это уже наверняка произошло в середине XVIII в.), что мы начинаем разворачивать два параллельных канала работы: 1) собственно предметный канал, формируя все новые и новые частные предметы изучения, 2) канал онтологической работы, где мы получаем единое, связанное системное представление об объекте.

Самая большая опасность, которая нас здесь поджидает – перепутать функции и назначение каждой из этих работ. А между тем это происходит постоянно. Игнорирование различия между научно-предметной и онтологической работой всегда оборачивается ошибками, возникающими в результате использования онтологических картин там, где нужно пользоваться научными знаниями, и научных знаний там, где нужно пользоваться онтологическими картинками. (Современное положение в психологии или в области исследования процессов решения проблем и задач, так же как и в исследованиях коммуникации, является точной и очень красивой иллюстрацией этого положения.)

Разрабатывая онтологические представления – к ним, на мой взгляд, принадлежат и культурно-историческая концепция Выготского, и психологическая теория деятельности Леонтьева, – их ничтоже сумняшеся вы-

дают за теоретические разработки, и начинается катавасия, в которой все запутываются окончательно.

Итак, как же с этой точки зрения выглядит нынешняя ситуация. Вот развивалась какое-то время теория или предтеория мышления. При этом в соответствии с логической и психологической традицией она охватывала моменты индивидуального поведения и деятельности. Фиксировала их в своей онтологии и строила всем вам хорошо известную картину. Потом исследование мышления все более переходило в план деятельностных представлений. Мы говорили об исследованиях мышления как деятельности и за счет этого развернули какую-то совокупность деятельностных представлений.

В психологии, например в концепции Выготского, были представления о коммуникации и чистом сознании, затем эта концепция подменяется психологической теорией деятельности, принципиально, на мой взгляд, иной, и начинает разворачиваться другой комплекс представлений. Но теперь, чтобы обеспечить полноту и объективность нашего научного знания – научное знание само по себе не обеспечивает объективности, это глубочайшее заблуждение сайентизма, ибо наука всегда аспектна, – мы на основе полученного ряда аспектных представлений должны построить соответствующее онтологическое представление.

Так получилось, что у нас сегодня напрочь отсутствуют представления о коммуникации – предметные представления. И в результате у нас нет онтологической картины, которая моменты мышления, деятельности, понимания увязывала бы друг с другом и с коммуникацией. И поэтому мы не можем сделать обратного шага – выделить коммуникацию как особый предмет изучения. Для этого нужно иметь общую онтологическую картину мыследеятельности.

И здесь я резче формулирую основной тезис моего доклада: нельзя организовать научные исследования коммуникации, не определив место и функции коммуникации внутри мыследеятельности.

Но для того чтобы это сделать, нужна соответствующая онтологическая картина, в которой мышление, деятельность, рефлексия, понимание, коммуникация были бы увязаны друг с другом. Пока такой картины нет, реальное развитие исследований коммуникации просто невозможно. Ибо суть коммуникации в ее функциях.

Те инварианты, которые обязана искать наука и которые образуют специфику научного знания, эти инварианты в сути своей функциональны. Иначе говоря, нельзя исследовать коммуникацию как нечто морфологически, вечно данное. Тогда и получаются такие редукции, как «передача сообщений», «циркуляция информации» и т.д. Ибо в мире гуманитарного знания главная и единственная, на мой взгляд, инварианта – это функциональное место того или иного образования. Но чтобы определить функции коммуникации, надо иметь онтологическую картину мыследеятельности как целого с вписанной туда коммуникацией.

Это один момент и один полюс. А с другой стороны (я, забегаю вперед, резюмирую основной вывод третьей части), вроде бы сейчас становится ясным, что именно коммуникация и ничто другое, я чуть поправлюсь – коммуникация и трансляция, является тем стержнем, который и дает нам возможность объединить мышление, понимание, рефлексию и деятельность в одно целое.

Я, по сути дела, уже сказал то, что должно быть итогом моего доклада. Весь ход исследований мышления, деятельности, понимания, который шел в разных предметах, теперь приводит нас к мысли, что потому у нас нет этой единой обобщающей онтологической картины, что мы утратили коммуникацию. Ибо коммуникация и есть то, что собирает мышление, понимание, рефлексию и деятельность в одно целое.

Отсюда понятен мой тезис, что отсутствие представлений о коммуникации тормозит развитие наших представлений о мыследеятельности. Если мы не имеем главного – этого стержня или «шампура», на который надеваются все «кусочки» мышления, деятельности, рефлексии, понимания, то у нас нет обобщенной онтологической картины.

Таким образом, нам сегодня нужны представления о коммуникации, как ядерное, основное образование, через которое мы могли бы объединить между собой и деятельность, и понимание, и мышление и обеспечить организационный современный подход ко всем этим явлениям, и перейти к анализу форм исторически изменяющегося мышления, деятельности и т.д.

И я здесь, фактически, выхожу к тезису, который сегодня звучит все чаще и чаще – коммуникация, формы этой коммуникации определяют формы организации мыследеятельности. Смена форм коммуникации влечет за собой изменение отношений между мышлением и деятельностью и изменение самой этой мыследеятельности.

Я зафиксировал эти два полюса и перехожу к формулировке цели и задачи.

Если все это правдоподобно, то наши цели и задачи становятся очевидными. Мы должны, с одной стороны, строить онтологическую картину, объединяющую мышление, деятельность, понимание, рефлексию (далее МДПР) в одно целое, которое я сейчас условно называю «мыследеятельность». Надо найти схему, которая показывала бы принцип связи всего этого в единое целое – на основе коммуникации, в связи с коммуникацией. А с другой стороны, мы должны будем, идя от МДПР, представленных этой онтологической картиной, осуществить затем обратный ход и определить, каким же образом коммуникация может и должна исследоваться предметно, т.е. ответить на вопрос, каковы приемы, средства и методы предметного выделения и изучения коммуникации. Одним словом: *предметизации ее*.

Эти задачи представляются мне сегодня решающими. Я закончил вторую часть.

3. Переходя к третьей части, я кардинальным образом изменю стиль и жанр изложения. Я буду работать здесь с материалом истории представлений в Московском методологическом кружке (ММК) с начала 50-х годов, т.е. в течение 30 лет, и постараюсь показать, как шла эта игра с предметными представлениями и переходами к общей онтологии, находя, как мазохист, особое удовольствие в том, чтобы выделять и фиксировать те ошибки, которые мы невольно совершали в этом движении.

Первый период: 1951–1959 гг. Это период содержательно-генетической логики, или теории мышления, разворачивавшейся на базе, в первую очередь, логических представлений. Начинали мы с логических форм. Дискуссии об отношении между формальной и содержательной логиками были актуальными в то время на философском факультете МГУ. В них участвовали не только логики, но и психологи, сделавшие свой важный вклад.

Но сама исходная идея диалектики, отвергавшая представление о неизменных формах, способствовала установке на поиск других форм организации мышления. При этом, с самого начала и соответственно той традиции, которая существовала в 50-е годы и которая, к сожалению, сейчас кое в чем утеряна, сама установка тех лет заставляла нас ставить вопрос о соотношении мышления и коммуникации. Была точка зрения, ее отстаивал В.В.Давыдов, что все фиксируемые в логике формы мышления суть не что иное, как фиксация стандартных, элементарных форм коммуникации, а совсем не мышления.

Этот тезис тем более важен, что мы сейчас хорошо понимаем, что в мышлении постоянно происходит эта замена, а именно: бывшие формы мышления становятся нынешними формами речи. И мы все время впишем новое содержание в старые формы. Поэтому развитие древнегреческой математики и, позднее, естественных наук создавало такие новые формы, которые уже явно не соответствовали традиционным логическим формам суждения и связи суждений, формам умозаключений или иным.

Аристотелевская логика становилась лишь формой языка; отсюда отождествление языка и мысли в современной логике – ошибка очень устойчивая и вместе с тем понятная, имеющая основания.

Итак, мы начинали с традиционных логических представлений, обсуждали, являются ли они формами мышления и формами коммуникации и, следовательно, стягивали мышление и коммуникацию вместе. И в первых схемах содержательно-генетической логики этот момент был зафиксирован очень четко.

В докладе 1957 г. (в дискуссии об отношениях диахронического и синхронического) я рисовал такую схему:



Рис. 1

Есть некоторая область содержания, выделенного нами. Оно фиксируется в определенной форме, или, как мы тогда говорили, знаковой форме, и затем отображается уже другим человеком (подразумевалось, что за этим стоит акт коммуникации), т.е. отображается в другом содержании, реализуется за счет другой деятельности.

В статье «Языковое мышление и методы его анализа» [Щедровицкий 1957] я очень резко фиксировал три основные функции всякой знаковой формы: функцию замещения, или отражения, то бишь мышления, как тогда мы это называли, функцию коммуникативную и функцию экспрессивную, или выразительную. Формулировалась определенная программа изучения знаковых форм в единстве этих трех функций.

Уже в этой, очень примитивной схеме угадывались вот эти коммуниканты, человечки, которых мы рисуем в современных схемах, задавалось довольно сложное отношение между структурами мышления и структурами коммуникации. Структура коммуникации фактически обнимала как функцию и структуру мышления (на рисунке слева), так и структуру и функцию понимания (на рисунке справа). И понимание уже тогда в 1953–1954 гг. понималось как обратное движение от знаковой формы к содержанию, а мышление – как движение от содержания к знаковой форме. Хотя и считалось, что это единый процесс.

Анализ фокусировался на знаковой форме. И, рассматривая структуры знаковых форм – семантику и синтаксис текстов речи, – нужно было выявлять эти три функции – отражения, коммуникации и выражения (экспрессивную) – и анализировать морфологию знаковых форм соответственно этой функциональной установке.

Эта программа задавалась в целом ряде работ, в частности в работе «О строении атрибутивного знания» [Щедровицкий 1958–60], это публикации 1958–1960 гг., хотя работы были сделаны в 1954–1955 гг. <...>

... было неясно как это нужно определять. Следовательно, здесь намечалось различие между собственно предметным представлением и онтологическим. Когда мы говорили об онтологических схемах, мы вводили понятие «языковое мышление», или «речевое мышление», которое обязательно разворачивалось на такой, по сути своей коммуникативной, схеме. При этом оставалась еще очень сложная проблема единиц.

В этом цикле работ было показано, что принципиально неверными являются сделанные Ч.Моррисом различения синтактики, семантики и прагматики, что у нас нет средств различить эти три плана. Было показано, что в синтаксических структурах фактически замещаются и изображаются семантические отношения, начиная от элементарных форм и кончая сложными, что эти семантические отношения или отношения номинации поднимаются в отношения предикации и, собственно, в них выражаются. Сама структура предикации рассматривалась в коммуникативном аспекте, и растяжка номинативных комплексов, как замещающих или изобра-

зительных форм синтагмы, фиксировалась как результат именно коммуникации со ссылками на соответствующие работы.

Тут большую роль сыграли очень интересные психологические работы Н.Х.Швачкина. Одним из первых он фиксировал это простейшее коммуникативное отношение между взрослым и ребенком в ответах на вопросы.

Короче говоря, рассматривалось именно «речевое», или «языковое», мышление, но рассматривалось не логически, в оппозиции к лингвистическому анализу, не лингвистически, в оппозиции к логическому анализу, но синтетически, на базе совершенно других единиц, хотя затем происходила растяжка в два плана – план собственно мыслительного анализа и план речи-языка, или лингвистического анализа.

Из целого вытягивались два предмета, и все время шла работа на связке между лингвистическими и содержательно-логическими, или, как я сказал бы сейчас, эпистемологическими представлениями. И было показано, что в рамках такого рода образований – «речи-мысли» в коммуникации – различить речь и мысль в принципе невозможно.

Здесь работал принцип аспектного анализа и утверждалось, что в объекте этих аспектов нет и что правы те, кто говорил, что нет мышления и языка, а есть только «речевое мышление», оно же «языковое». Было показано, что на уровне объекта различить это невозможно, что логические единицы фактически, в сути своей, являются лингвистическими единицами, особой формой фиксации.

Было много работ – немногие из них опубликованы, но их достаточно, чтобы увидеть суть. Обобщающая работа была опубликована в сборнике «Семиотика и восточные языки» [Щедровицкий, Розин 1967], хотя как доклад она была прочитана в 1963 г. на совещании по принципу лингвистической относительности Сепира–Уорфа и запоздала с выходом.

Это было сделано. А сейчас я перехожу к нашим ошибкам.

Ильясов. А как тогда предметы выделялись?

Аспект снимали – и все. Технически важную для нас проекцию. Мы проделали цикл работ исторического характера, показывая, как возникала логика, каким образом формы логические переводились в лингвистические, как они начинали дифференцироваться, расходиться и как они осуществляли проектное влияние на речь, язык и мысль, организовывали их и т.д. Дальше все это получило развитие в концепции «естественного» и «искусственного» и их соотношения, в очень странных вещах типа «речь без языка», которые лингвистам кажутся несуразными, но которые для меня очевидны. Эта линия сама по себе продуктивна, но сейчас меня интересуют ошибки.

Прежде всего, на этом этапе мы не различали и не могли различать речь и язык. И в этом смысле мы сильно отставали от Ф.де Соссюра. В

сборнике 1961 г. «Историческое изучение языка и синхронический анализ» – это материалы дискуссии 1957 г. – я отстаивал аспектную точку зрения, базируясь на оппозиции предмета и объекта. Утверждал, что язык есть не что иное, как предметное представление речи-мысли – наряду с другими предметными представлениями. Невероятно интересной была реакция лингвистов. В книжке это отражено, хотя и с купюрами. Каждый из выступавших касался этого тезиса. Скажем, П.С.Кузнецов и другие формулировали тезис, идущий из традиций лингвистического анализа, но для меня тогда непонятный и противоречивый. Они говорили: все верно, но забывается то важнейшее обстоятельство, что язык есть тоже объект. Объект второго рода.

Я не мог понять, почему. И сейчас я формулирую очень важный тезис. Я не мог этого понять потому, что был не лингвист, а логик и психолог. А в логике и психологии различений, соответствующих различению речи и языка, не существует до сих пор.

Принципиальнейший факт, зафиксированный Ф. де Соссюром в представлении о соотношении трех планов – «langue», «langage», «parole», – для современных логиков есть нонсенс. Как и для психологов. Психологи лишь говорят о культуре, но на самом деле они не придают ей объективного статуса.

На вопрос «что же такое культура в отличие от социального плана?» они отвечают: это все аспекты психологических или антропологических явлений.

Как же должна быть фиксирована культура в отличие от ее социальной структуры и организации? Они отвечают: это сложный вопрос выше нашего понимания. Если по-прежнему реализовать аспектную точку зрения, то оказывается, что есть это феноменальное целое, а ответов на вопрос, как устроено это антропо-психологическое целое, они не дают, т.е. отказываются рисовать онтологическую картину. И тогда вся эта совокупность дисциплин – культурология, антропология, психология мышления – оказывается без объекта.

Поэтому я в 1957 г. не понимал того, что мне говорили лингвисты. Мне это казалось непоследовательным. Они принимают аспектную точку зрения и говорят: да, язык есть совокупность знаний. Аспект (проекция) фиксируется. Но нет – это тоже объект. Какой объект? Второго рода. Я тогда хихикал в наивности своей и говорил: тоже мне мыслители! Признают, что это знание, а потом говорят: объект второго рода. Как это у них получается?

В оправдание могу сказать, что я в тот момент, в 1957 г., Соссюра не читал. И когда Ф.А.Сохин, представитель школы Рубинштейна, прочитав мои первые работы, спросил: а вы различаете речь и язык? – я сказал: да, я их различаю. И рассказал ему о том, как я их доморощенно различаю. Но подлинного различения не было.

И я повторяю еще раз: современная психология и современная логика отстают, по крайней мере, на 70 лет, и пока они не сделают в этом плане

шага вперед и не выровняют свои представления с лингвистическими, до тех пор никакого подлинного развития у них не будет.

Ильясов. Выготский и Рубинштейн понимали это различие, они знали Соссюра.

Да, но они его не принимали и не использовали. Если бы они его приняли, то должны были бы отколоться от сообщества и пойти своими еретическими путями незнамо куда. Выгнали бы одного и другого из института психологии и философии, и ходили бы они безработные.

Знать знали, в книжках упоминали, а при конкретной работе игнорировали. Ибо не игнорировать не могли.

Ильясов. У Умова в очень грубой форме зафиксировано, что аспект есть объект второго рода.

Это результат нашей работы – общения с нами. Кстати, первым это зафиксировал, совсем в другом плане, В.Смирнов – в томском сборнике [Методология и логика наук 1962]. Но слова есть слова, а дело есть дело. В словах это фиксируется, а на деле ничего подобного нет. А когда это будет, это будет означать кардинальнейший отказ от всей традиционной психологии, от всей традиционной логики.

Кстати, в этом пункте я расхожусь со всей логикой. Поэтому сейчас я уже не логик, хотя и логик по своему исходному образованию. Я считаю, что продолжаю заниматься логикой, но я исключен из этого сообщества, или, точнее, занимаю место аутсайдера. И я очень четко это понимаю. Потому что принять эти тезисы означает для них отказаться от всей традиции изучения мышления.

Второй, не менее важный недостаток. Обратите внимание, все эти схемы коммуникации, знания, мышления оставались подвешенными в пустоте. Если бы вы спросили: а что, собственно, они изображают? – то ответ был бы: мышление, знание в коммуникативном потоке. Но если спросить: а где это существует? – то ответа бы не было. Характерно, что при господстве современного натуралистического представления, эпистемология «существует нигде». Или – в голове у человека, т.е. получает психологическое обоснование. Где существуют знания?

– В культуре.

Так ведь ее нет. Она ведь тоже аспект. Но где? Аспект чего?

И мы возвращаемся к старой дискуссии: само по себе или in re. В объекте, в реальности оно есть? В каком объекте? Натуральном? И тогда оказывается, что психология оказывается для всех них единственным выходом. Где существует язык? В голове! Поэтому-то грамматика кажется несурзадной. Что значит грамматика? Это опять-таки тот же самый аспект, опять то же самое знание. А где онтология этого? Поэтому онтологически наше мышление оставалось в пустоте. Его некуда было поместить, не было

объемлющей онтологии. Ни объемлющей, ни предельной, как сказал бы я сейчас.

Третий очень важный момент. С самого начала мы постулировали необходимость рассматривать мышление как деятельность. Но что это означает? Этот момент невероятно интересен. Это означало лишь одно – отрицание психологистической точки зрения. Это означало – перенести мышление из области умственных явлений в область практики, и поэтому в работе «О возможных путях исследования мышления как деятельности» [Щедровицкий, Алексеев 1957] смысл этого тезиса был таков: мы хотим рассматривать мышление как практику особого рода. Как нечто существующее объективно, безотносительно к процессам в голове.

Таким образом мы выводили мышление из области души в область духа. И должны были рассматривать, фактически реализуя программу Выготского, мышление реально, как момент культуры. Первоначально тезис «как деятельность» означал одно (и в этом смысле Э.Г.Юдин не совсем прав в своих всем известных работах о категории деятельности как объяснительном принципе [Юдин 1976, 1978] – там пропускается предварительное звено с соответствующими интерпретациями): объективное рассмотрение, отказ от психологизма. Но не было онтологического решения этого вопроса.

Что значит «как деятельность»? Нарисуйте мышление как деятельность. А это означало, что схема, которую я привел (рис. 1), должна была быть вписана в более широкую, объемлющую ее онтологию. Нужно нарисовать соответствующую реальность или объект.

Ильясов. Действительность?

Нет, вы меня не путайте. Я об этом буду говорить дальше. Это у меня очень точные термины.

Этот шаг был сделан где-то на рубеже 1959–1961 гг. С этого момента начинается деятельностный, теоретико-деятельностный, системодетельностный этап в развитии всех этих представлений.

Докладывалось это впервые на первом симпозиуме по структурному изучению знаковых систем в Москве (то, с чего начинается советский структурализм). Характерно, и я этим горжусь, что редколлегия сборника во главе с Лотманом, Пятигорским – при наших приятельских отношениях – выкинула все наши тезисы из сборника, поскольку оказалось, что это разрушает единство всего направления и они никак не могут публиковать в своей книге таких сумасшедших представлений. Нам, правда, дали возможность выступить. Кстати, интересно, что левые, в этом смысле, совершенно не отличаются от правых. И те, и другие в отношении научной дискуссии абсолютные бандиты. Левые даже более. Как они мне потом объясняли: то, что печатается в «Новом мире», не печатается в «Октябре» и наоборот.

В чем же состоял смысл дела? Для многих из числа постоянно участвующих в нашей работе его существо остается абсолютно темным местом.

Основная суть деятельностного подхода состоит в том, что был выделен процесс трансляции культуры, построены схемы воспроизводства деятельности и, рискну я утверждать, культура впервые в мировой литературе, была задана через схему идеального объекта.

Тут я должен сделать маленькую петлю. Вроде бы культурология сейчас широко распространяется. Лингвистический и структуральный подход к культуре, Тартусская школа с московскими ответвлениями, тот же М.Коул, тот же А.Крёбер, и масса других имен. Но что характерно – я прошу вас обратить внимание на завтрашний доклад Коула, он точно выражает эту позицию – ни в одном из современных культурологических направлений нет изображения культуры как идеального объекта. В тех специфических процессах, которые характеризуют именно культуру. А поэтому оказывается, что социальное и культурное (старая оппозиция Дюркгейма и Риккерта – оппозиция социологического и культурологического подходов) склеиваются и культурный процесс считается существующим в социальном окружении. Отсюда следуют автоматические ходы, характерные для психологии: ориентация на культуру отождествляется с ориентацией на социальное окружение, приспособление к социальному окружению трактуется как усвоение культуры, механизм социализации отождествляется с механизмом культуризации. До сих пор.

И если вы возьмете известную книгу А.Крёбера и К.Клакхона «Идея культуры», где разбираются разные понятия культуры, вы при самом пристрастном отношении не найдете определения, где культура задавалась бы как идеальный объект через ее специфические процессы.

Ильясов. В виде схемы нет, но в виде понятия есть.

Обратите внимание, я говорю: аспектный подход не дает нам идеального объекта. Если вы вводите понятие культуры, а на вопрос, где же она есть, отсылаете к социальной структуре и говорите, что культура есть особый механизм в составе этой структуры, особый аспект, то у вас нет культуры как идеального объекта.

Основной смысл этой схемы состоял в том, что задавались особые блоки культуры, которые транслировались – вводился особый процесс трансляции культуры. И выделялось пространство социальных реализаций, где есть производство и люди вступают между собой в определенные отношения и, соответственно (я забегаю вперед), организуется коммуникация в ее отличии от трансляции.

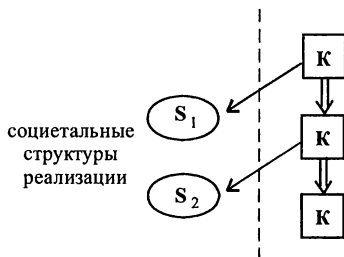


Рис. 2

Была введена сознательно такая односторонняя схема. Односторонняя в том смысле, что в ней не было обратной связи между социетальными структурами и культурой, хотя, скажем, в первых работах это обсуждалось.

Таким образом, впервые на рубеже 1959–1960 гг. мы ввели понятие о деятельности, которое принципиально отличается от психологических представлений о деятельности.

Поскольку сейчас все время противопоставляются психологические представления о деятельности и методологические представления о деятельности и при этом ясности нет, я хочу несколько слов сказать по этому поводу. С точки зрения этой схемы (рис. 2) нельзя говорить, что в деятельности существует процесс воспроизводства и процесс трансляции культуры. Сказать так было бы принципиально неверным. Сказать, что есть процесс трансляции культуры, который происходит *в деятельности*, нельзя.

Уж коли мы все время говорили «мышление как деятельность», то мы должны были задать объемлющую, или предельную, структуру. Поэтому мы говорим так: процесс воспроизводства и трансляции культуры и есть то, что впервые задает или конституирует деятельность в ее отличии от поведения человека.

Таким образом, реализуется принцип антипсихологизма, деятельность отнимается от ее индивидуальных носителей, от «умственности» всякого рода, и рассматривается как естественно-исторический процесс, который впервые создает деятельность как целое. Задает и конституирует ее. Следовательно, деятельностным для нас оказывается теперь только то, что причастно к этим процессам воспроизводства, живет соответственно этой схеме и, следовательно, в процессах трансляции и реализации. <...>

Я здесь не хочу сказать, что – это единственное правильное представление о деятельности, которому надо следовать, а все другие – неправильны. Я только утверждаю, что, обсуждая вопрос о понятии деятельности в психологии и в методологии, надо очень четко представлять себе, в чем суть различия обоих представлений.

Психология по-прежнему традиционно идет от поведения человека и наказана тем, что, фактически, моменты поведения и деятельности не различаются. Наша точка зрения состоит принципиально в другом. Деятельность есть не душевное явление – она принадлежит человечеству и является системой, зафиксированной вот таким образом – через выделение культуры, трансляцию культуры и реализацию образцов, норм культуры в социетальных структурах.

Само жесткое разделение мира культуры и мира социетальных реализаций, как нам кажется, дает возможность разрешить многочисленные парадоксы, которые не разрешают другие типы знаний, дает нам некоторый новый реальный ход в трактовке самой коммуникации.

Итак, самым важным результатом этого этапа (в плане рассматриваемой нами темы) было жесткое разделение трансляции и коммуникации, которое реализуется вот в этих социетальных образованиях. Программ-

ной в этом смысле была работа 1957 г., где коммуникация вводится через разрывы в социетальных структурах деятельности – как заполняющая эти разрывы. Тем самым задавалось особое понимание коммуникации, которое в последнее время достаточно распространилось.

Вместе с тем, я хотел бы отметить, что в результате внедрения такой схемы проблемы мышления как такового в 60-е годы несколько отошли на задний план. Если вы теперь вернетесь к первой схеме (рис. 1), то вы увидите, что фактически происходило на базе этого схематизма. Вот у нас было предметное представление о мышлении через ту схему, которую я нарисовал. Мы это мышление определяли как деятельность, как практику особого рода, тем самым подчеркивая его апсихологический характер. Но затем вставал вопрос о том, что такое деятельность, и, для того чтобы ответить на этот вопрос, мы вынуждены были построить другую онтологическую картину деятельности (рис. 2), которая теперь начала конкурировать с картиной мышления.

Смотрите, какой важный шаг. Сначала мы говорим: вот мышление, вот его схемы, и тем самым даем интенцию на объект. А теперь говорим: и это есть деятельность – в том смысле, что это не в голове, а есть практика особого рода. А предметно-онтологической картины самой деятельности нет еще. Теперь она создается, но тогда возникает вопрос: что же делать с мышлением?

Начинается дифференциация этих предметов, и рядом с теорией мышления, которое рассматривают как деятельность, возникает своя особая теория деятельности со своей особой предметно-онтологической картиной. Мало того, эта онтологическая картина начинает теперь трактоваться как объемлющая все остальное – раз, и как предельная – два. Иначе говоря, если мы теперь хотим рассматривать мышление как деятельность, коммуникацию как деятельность и т.д., то мы должны рассматривать все это в деятельности, т.е. мы должны все эти схемы мышления, понимания и т.д. поместить в схемы деятельности и протрактовать относительно схем деятельности.

Появляется объемлющая онтологическая картина и основания для ответа на вопрос, где существуют коммуникация и мышление. Мы теперь отвечаем: коммуникация и та речевая мысль, которую мы изучали до этого, существуют в *социетальных ситуациях*. И в 1960 г. появляется принципиальнейшее понятие ситуации со всеми вытекающими отсюда интенциями – ситуативной логики и всего остального. И тогда мы возвращаемся к логическим представлениям и говорим: логика – это все несурзность, поскольку необходимо теперь различать, с одной стороны, речь и мысль, которые едины в социетальных ситуациях (речь-мысль), и с другой – язык и мышление, которые принципиально различны в культуре, поскольку они фиксируются как разные типы норм.

Таким образом, мы снимаем все парадоксы, связанные с этой традиционной оппозицией. Мы теперь можем сказать, что правы те, кто гово-

рил, что речь и мысль неразличимы, что есть только одно – речевое мышление. Это верно – вот здесь, в социетальных ситуациях этих структур. И правы те, кто говорит, что мышление – это одно, а язык – это совсем другое, ибо это верно по отношению к парадигмам, т.е. к системе культурной нормировки.

Появляется вот это представление о деятельности, и в 60-е годы мы разворачиваем это деятельностное представление, отодвинув на второй план представления о мышлении, понимании, коммуникации и т.д. – было не до этого. Но сама трактовка деятельности одновременно и как предметной онтологии, и как общей, объединяющей предметные онтологии, заставляет нас относить мышление, коммуникацию, понимание и т.д. к деятельности, вкладывать их туда и, соответственно, отсюда их выводить...

Этим заканчивается второй период и начинается третий – где-то на рубеже 1969–1970 гг. Здесь наиболее важными и интересными являются работы, развертывающиеся в тесной связи с лингвистикой и психолингвистикой. Это работы, которые привели к принципиальному, хотя и намеченному раньше, различению значения и смысла, смысла и содержания [Щедровицкий 1974 а] и к не менее принципиальному различению понимания и мышления.

Правда, как я уже сказал, различение понимания и мышления было уже зафиксировано в самом общем виде раньше, скажем, в работах 1959–1960 гг. по исследованию процессов решения задач детьми, где все время фиксировалась принципиальная оппозиция понимания и мышления. Но, во-первых, не было еще схем, которые могли бы достаточно четко и детализированно разъяснить одно и другое, и, во-вторых, не было соответствующей проработки.

Различение трансляции и коммуникации оказалось невероятно важным и принципиальным для ситуации учения–обучения, и на этой базе мы сумели построить соответствующие типологии ситуаций учения и обучения – поскольку это в принципе не коммуникация, коммуникация является здесь лишь внешней формой выражения совершенно иного процесса (здесь мы уже начинаем подходить к существу нашего совещания), суть же состоит в демонстрации образцов деятельности).

Теперь, когда мы уже различили трансляцию культуры и коммуникацию, наш вывод нужно представить в принципиальной схеме коммуникации – вот в такой структуре:

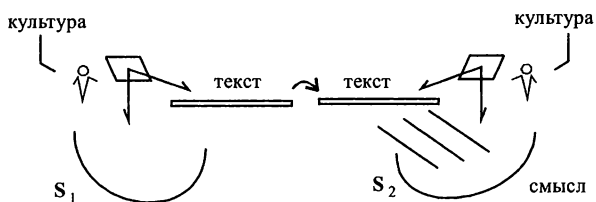


Рис. 3

Имеется коммуникант 1. Он имеет табло сознания, работает в определенной ситуации (S_1) и создает текст, как бы описывающий эту ситуацию и, кроме того, направленный от одного к другому. Тем самым выделяется область содержания. Затем этот текст передается другому коммуниканту, который должен его понять, т.е. включить этот текст в ситуацию своей практической деятельности или, соответственно, построить новую ситуацию. И потом все это отображается в схему трансляции культуры, порождая тем самым вторичные проблемы – фиксации и трансляции парадигм коммуникации. И это нам тоже будет очень важно в дальнейшем.

Итак, была задана такая схема, на которой началось разворачивание собственно коммуникативных структур с учетом либо тождества, либо различия культур, с учетом тождества либо различия ситуаций, тождества либо различия содержаний сознания, т.е. того, что фиксируется на табло сознания, тождества или различия целей, которые фиксировались участниками и т.д. – масса очень сложных типологических разработок, переводящих это системное представление (процессуальное, структурное, морфологическое) в типологии. Я не буду этого касаться, поскольку это более известно – оно и новее, и сами публикации чуть-чуть полнее.

В чем недостатки такого представления? Все это, как я уже сказал, относится к социетальной ситуации – выделяется на передний план ситуация. Но нарисовав такие схемы, мы обнаружили, что нам не удастся выделить мышление. И это в каком-то смысле была расплата за всю эту историю, потому что у нас ведь мышление трактовалось как деятельность.

Коммуникация разворачивалась *над* ситуациями практической деятельности или практической мыследеятельности, и тексты, фактически, были тем верхним ограничением, или пределом, в который все упиралось. Таким образом, наше схематическое представление фиксировало коммуникацию, но мышления как такового там не было. Мышление вроде бы существует совсем в другой области – в культуре. А здесь существует речь-мысль, вплетенная в практику, в деятельность. Тогда мы повторяли то, что говорят сегодня 99% социологов, 99% психологов, 99% культурологов. Это все достаточно традиционно. В отличие от них мы четко понимаем одну вещь: таким образом к мышлению не «выплывешь» и мышления не поймешь. И возник разрыв между коммуникацией и мышлением как таковым.

Как я уже сказал, эта схема была уже очень четко зафиксирована в 1971 г. и потом разворачивалась вплоть до 1979–1980 гг. Мы все время бились над этой проблемой соотношения мышления и деятельности и решить ее не могли. Как только мы относили мышление к ситуациям, тотчас же возникали все эти онтологические вопросы типа: а где существует идеальный объект? По-видимому, в текстах. И мы невольно переходили на традиционную натуралистическую точку зрения. Либо же – в голове, на табло сознания, тогда – концептуализм, психологизм. Все эти традиционные ходы.

Но мы ведь знаем, в силу нашей традиции (через Гегеля, Маркса), что мышление живет в идеальных объектах. Мы-то все время говорим о культуре. Оказалось, таким образом, что эта схема коммуникации – такая симпатичная, открывающая вроде бы очень интересные перспективы – совершенно уничтожает возможность увидеть мышление и понять мир мышления. Мы вслед за всеми этими культурологами, которых я сейчас сильно ругал, шли тем же самым путем, так как не могли идти иначе.

Культура вроде бы была, но она существовала как амбар, из которого вынимаются средства. А нам надо было объяснить мышление не как набор средств, а как что-то актуально включаемое в коммуникацию и деятельность. Короче говоря, наши коммуниканты на этих схемах не мыслили и не могли мыслить, поскольку мы им не нарисовали этого мира. А не нарисовали мы его, поскольку не знали, как его рисовать.

Я не знаю сколько бы это продолжалось, если бы в играх* мы не столкнулись с этим лоб в лоб и не вынуждены были искать решения. Я сейчас поясню ситуацию. Собранные нами там специалисты должны были разрабатывать программы комплексных НИР. Совершенно ясно, что эта работа может быть выполнена только в мышлении. И эта работа по программированию должна была определяться в самой ситуации – тем набором позиционеров, которые там были. Мы умели создать реальную проблемную ситуацию за счет столкновения мнений и фиксации парадокса, неразрешимого – онтологически и сайентистски – противоречия. И нам все время казалось, что люди, собранные нами, в едином коллективе решающие задачи, столкнувшись с различием своих мнений, точек зрения, подходов, начнут искать какое-то решение.

Что же мы получили на самом деле? Они доходили до этого места, до этой проблемы и могли сидеть здесь вечно, пережевывая эту ситуацию. Они не делали только одного – они не решали задачу.

Кстати, они очень здорово приспособивались к ситуации: поскольку там была соответствующая иерархия, то они остороженько критиковали начальников. Они делали самые разные вещи, но только не мыслили и не решали задачу.

И когда мы сами себе поставили вопрос: чего мы здесь не понимаем, в чем дефекты наших собственных представлений? – то в результате очень напряженной стрессовой ситуации, собирая по кусочкам намечающиеся результаты, мы пришли к схеме, которую я и считаю главным результатом этих игр. Я ее немножко затрагивал на прошлых совещаниях и разворачивал дальше. И теперь я предлагаю вам эту схему как некоторое онтологическое основание для обсуждения проблемы коммуникации (рис. 4).

Наша трактовка мышления как деятельности и механическое образование такого целого, как мыследеятельность, в котором мышление в

* См. [Щедровицкий 2004-2005] – Ред.

одном из своих аспектов вроде бы есть деятельность и деятельность в одном из своих аспектов есть мышление, и та эволюция наших взглядов, которую я сейчас описал, закрывали от нас тот принципиальный, кардинальный, самый существенный факт, что мир мышления не совпадает с миром деятельности, что мышление имеет свою особую действительность, мышление есть конструктивный и проектный процесс в сути своей.

Короче говоря, у нас не оказывалось того, что Аристотель назвал «логосом». Смыслы у нас есть. Они возникают за счет процедур понимания как структуры. У нас есть объективные содержания (информационные) – это то, что выделяется текстами. Но тексты у нас практические, а не мыслительные. Там нет идеальных объектов.

И тогда вдруг мы смогли зафиксировать и нарисовать эту простую вещь, которая предстала для нас в виде набора досок, имеющихся в каждой аудитории, а практически – у каждого человека. Досок, в которых живут по своей внутренней имманентной логике идеальные объекты.

Мир идеальных объектов как особого содержания коммуникации не подчиняется законам человеческой деятельности, законам человеческих взаимодействий. Это есть мир культуры в его подлинном смысле – тот самый мир культуры, который, собственно, и является условием существования индивида как личности. Это есть то пространство, та действительность, которая дает индивиду опору в его неприятии социетальных структур, в его возможности быть человеком и противостоять давлению группы, давлению ситуации, сиюминутной, всегда корыстной, всегда по сути своей вредной (и в практическом отношении тоже).

И тогда в результате оказалось, что мир мыслительности содержит две принципиально разные части.

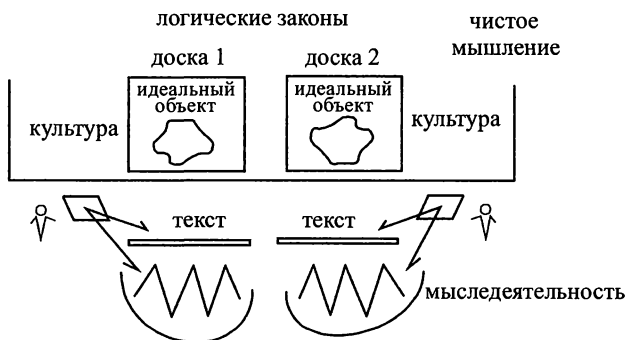


Рис. 4

С одной стороны, – часть, относящаяся к *чистому мышлению*. Здесь мы возвращаем все традиционные представления немецкой классической философии – о чистом мышлении, о мышлении априорных форм, о филиации идей. Это – мир «логоса»; здесь как принцип действуют логические законы – законы мышления как такового. И этот мир *реален* за счет существования человеческой культуры. Он «живет» здесь, в мире куль-

туры и, собственно, как бы образует ее цементирующее основание. И этот мир идеальных объектов может отражаться и отражается в текстах коммуникации.

А кроме того, есть еще мир реальных ситуаций, мир *мыследействования*, который точно так же отражается в текстах за счет особых механизмов рефлексии. И тогда оказывается, что именно тексты коммуникации и сама коммуникация как таковая и есть тот стержень, на который мы «насаживаем» мыследеятельность в целом, с ее двумя частями (с мышлением и мыследействованием), и что, вместе с тем, это есть средство склейки одного, другого и третьего.

Не надо думать, что я, нарисовав эту схему, задаю тем самым коммуникацию как объект и предмет. Это только онтологическая картина мыследеятельности, где намечены принципиальные связки между чистым мышлением и практическим действием и взаимодействием людей (кооперацией, борьбой, конкуренцией и т.д.). Но мы тем самым в принципе уже решили проблему связи практического и теоретического – ту самую проблему, которую не могла решить классическая немецкая философия. Мы уже объединили их в рамках единого объекта.

Но мы при этом понимаем, что эти тексты не есть коммуникация, и нам здесь еще не хватает собственно предметного определения коммуникации, т.е. ответа на вопрос, в чем же, в каких единицах эта коммуникация существует и как она осуществляется внутри мыследеятельности. Мы получаем возможность выделять разные «усеченные» предметы, например, мы можем говорить о «мысли-коммуникации» и «коммуникации-мысли». Это очень важно и принципиально.

Представьте себе, что идет какой-то текст и имеется понимающий этот текст. Он его может отнести к доске, на которой заданы идеальные объекты, т.е. к действительности мышления, и понять все это только в действительности мышления. Если предположить, что первый коммуникант строил текст через рефлексии ситуации, то перевод в действительность мышления или идеального объекта будет происходить через схематизацию смысла текста. Таким образом, здесь за счет коммуникации начинается в ее структурах реальная схематизация мыследеятельности, перевод ее в логически детерминированную действительность мышления.

Мы можем получить совсем другой процесс, если, скажем, коммуникант 1 работал в мышлении и строил схемы идеального объекта, а коммуникант 2 начинает реализовать эти схемы в своем практическом действии и взаимодействии с другими, т.е. происходит перевод мышления в мыследействование, если, конечно, эти схемы легко реализуемы.

Я здесь нарисовал бинарную схему. Вы можете разворачивать ее дальше – брать четырех, пять участников и, соответственно, рисовать не однонаправленные, а циклические и двухсторонние схемы коммуникации, но мы все время должны очень четко и жестко различать между собой мир чистого мышления, или мир идеальных объектов, которые фиксируются в тек-

стах, и мир реального мыследействования. Смотрите: действительное – это к мышлению, а реальное – к деятельности, к ситуации, к взаимодействию.

А это все склеивается и организуется за счет того, что мы называем коммуникацией или текстами. Тут и оказывается вроде бы, что коммуникация и тексты, в ней создаваемые, и образуют стержень мыслительности, в которой мышление не растворено в деятельности, а деятельность отличается от мышления как такового. Обратите внимание, ведь это – различение функциональное, поэтому мы, когда говорим о мыследействовании, тем самым подчеркиваем, что это может быть бывшая мысль, перешедшая на уровень ситуативного действия – в деятельность как таковую.

А то, что она «мыслительная», это в эпоху «белых воротничков» никого не должно удивлять. Мы сейчас осуществляем практическую деятельность не на заводе и не на улице, когда сгребаем снег, а в конструкторских бюро, проектных бюро, в научно-исследовательских институтах и т.д. Вот где осуществляется подлинная *практика* современного общества – практика мыследействования. То, что это мыследействие становится по своей морфологии *мыслительным*, не меняет его сути как действующего; если оно происходит в ситуации кооперированного программирования, проектирования, исследования или чего-то другого – это все равно мыследействие.

А чистое мышление всегда находится в функциональной оппозиции к этому, поскольку это есть выход на мир идеальных объектов.

Эта схема выступает для меня онтологической картиной мыслительности, построенной на идее коммуникации. Только одно здесь непонятно – что такое коммуникация? Это не тексты, и это не процесс построения текстов. Вот теперь мы подошли к нашему основному вопросу. Ибо, по сути дела, это теперь вопрос не онтологический – с онтологической работой я вроде бы на первом шаге покончил. Мне теперь надо выйти совсем в другую область и извлечь много разных предметов, с разных сторон выделяющих то, что мы называем коммуникацией.

Здесь мы должны соблюсти основной принцип формирования естественных наук и наук вообще (в узком смысле этого слова). Ведь мы очень часто забываем простую истину – что наука есть служанка техники. Идея чистого познания, изображения объекта в целом принадлежит только философии и методологии как таковой, а не науке. Наука начинает существовать лишь тогда, когда выделена соответствующая *техника*, например, техника организации коммуникации, техника организации понимания, техника мышления в коммуникации. Когда есть, следовательно, техники или операторы коммуникации, мышления, понимания, которые хотят организовать эти процессы, обучать им, т.е. переводить их в план трансляции культуры, фиксировать соответствующие нормы и т.д.

Для обслуживания этой промежуточной части возникает то, что мы привыкли называть «естественной наукой», не натуральной, а естественной, т.е. описывающей объект как он есть сам по себе, снимающей фото-

графию. Тут я формулирую один очень важный принцип: у нас не может быть научного изучения коммуникации, пока и поскольку мы не определимся в техниках разного рода по отношению ко всей этой ситуации. Надо определить возможные здесь техники с их соответствующими целями, затем относительно них выделить предметы техники или техник, а потом преобразовать эти предметы техник в предметы собственно научного или естественнонаучного исследования.

И никакой «королевской дороги» на этом пути нет. Это надо проделывать систематически, шаг за шагом. Конечно можно все это методологически проанализировать и определить, но тут есть тоже зона возможного развития, и она весьма ограничена, потому что ум человеческий – это очень слабая штука. Культура человеческая – это мощная штука, а ум невероятно слаб. Он плетется, как правило, сзади, только думает, что он забегает далеко вперед. Это означает, что мы, практически, должны строить эти техники и, шаг за шагом строя их, обслуживать их знанием.

Но этот вопрос и хотелось бы обыграть. Вроде бы это образует третью тему нашего обсуждения, а может быть даже и вторую... Нужно наметить возможные программы развития техник – коммуникации, понимания, мышления. Затем, исходя из этого, определить типы знаний, которые мы должны иметь. А уж затем определить те единицы, которые у нас будут в теории коммуникации. Что это за единицы?

Это, конечно, не построение текста. Это текст вместе с мыслью, вместе с содержаниями, вместе с целью, вместе с техникой коммуникации и техникой понимания. Что это за единицы, которые, собственно, и образуют тело коммуникации – на этот вопрос сегодня, практически, нет никакого ответа. Даже вопрос не поставлен со всей должной резкостью. Какого рода идеальные объекты мы должны нарисовать здесь, на этой схеме (общей схеме мыследеятельности), чтобы увидеть через этот рисунок то, что мы будем называть коммуникацией? Какого рода рисунки-схемы с онтологической интенцией? Какого рода категориальные определения мы должны получить?

Например, представьте себе, что мы будем считать коммуникацией переброс культуры первого коммуниканта в ситуацию второго коммуниканта с соответствующим целевым оформлением (например, «хочу передать ему культуру») – здесь педагогическая техника. Совсем другая установка: «хочу добиться согласия наших сознаний» – точка зрения, развиваемая сейчас О.И.Генисаретским (у него коммуникация есть момент, обеспечивающий целостность сознания разных индивидуумов). А, скажем, «хочу перебросить идеальные объекты мышления в реальную ситуацию, добиться реализации их в деятельности другого индивида» – другая, по сути, стратегия и тактика коммуникации. И это будут процессуальные варианты передачи, переброса элементов.

Если вы отнесете это к системам трансляции, например к задачам развития ситуации, вы получите совершенно новый набор пред-

метов. Тогда – коммуникация в целях развития ситуации действия или приведения ее к образцу, коммуникация в целях развития данного индивида. Здесь вырисовывается огромная область различных коммуникативных предметов. Вы можете рассматривать их как предметы отдельных теорий или как главы единой теории – это уже несущественно, если есть такая онтологическая картина.

Но на все эти вопросы нужно дать ответ. В этом я вижу одну из основных задач нашего совещания – наметить такую программу и посмотреть, как она реализуется в разных исследовательских лабораториях и направлениях. Благодарю вас за внимание и терпение.

Алексеев Н.Г. Как относится докладчик к тем попыткам, которые уже были предприняты по складыванию области идеальных объектов? В чем специфика предлагаемого метода?

Я думаю, что в отношении к тем традиционным линиям, о которых вы говорите, это просто совпадает с их трактовками (скажем, с платоновской, не Гуссерля). Но мне важно в целом подчеркнуть один момент. Когда мы работали, будь то на схемах воспроизводства и трансляции деятельности, будь то на схемах вот так представленной коммуникации, над мыследеятельностью, мы совершенно особым и специфическим образом решали вопрос об онтологическом существовании этих идеальных объектов и действительности мышления. Наверное, вы помните, Никита Глебович, что, когда мы, начиная с 50-х годов, рассматривали структуры мышления, процессы мышления и знаки, мы, фактически, относили их к ситуациям. Отсюда возникал очень интересный вопрос: где же, собственно, существуют эти структуры?

Ясно, что они существовали вот здесь, на уровне смыслов, которые существуют между формой и как бы вырезаемой плоскостью содержания. И поэтому наши схемы знания были вот такими: объект практического оперирования (X), некоторые операции (Δ), замещение в знании и отнесение назад. Это первая исходная схема.

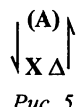


Рис. 5

Потом, когда мы начали рассматривать процессы объективации абстрактного содержания, процессы схематизации, то родились другие схемы. Появлялась где-то внутри идеализация, но она существовала именно внутри – между плоскостью знаковой формы (A) и плоскостью объектов и операций с ними, т.е. так называемого объективного содержания.



Рис. 6

В брошюрке 1964 г. [Щедровицкий 1964 а] эта часть схемы, уже как онтологическая, была вынесена сюда – влево.

Она обеспечила прямой выход в мир объективной реальности, и поэтому основные поиски все время шли в направлении выхода назад, на объекты практической деятельности.

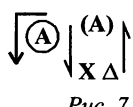


Рис. 7

Что мне сейчас важно подчеркнуть? С моей нынешней точки зрения, это – неправильное направление поисков. Мир идеальных объектов, как мир действительности мышления, конструируемый, проектируемый, существует не здесь – не в отношении к миру реальному. Он существует в мире логики, логического, логоса. И это – другой мир, противостоящий практике деятельности. Нужно осуществить как бы зеркальное оборачивание и задать самостоятельное существование культуры; это и будет реализацией культурологической или культуротехнической точки зрения на мышление.

Алексеев. Смотря на этот рисунок, я спрашиваю: могу ли я повернуть рисунок на 90°?

Можно, но не нужно. Тут ведь суть дела не в том, где мы нарисуем – это все проблемы формы. Мне важно подчеркнуть следующую принципиальную вещь: *мышление живет не по законам деятельности*, как думали раньше. Рассматривая мышление как деятельность, мы тем самым задавали неверную, с моей нынешней точки зрения, трактовку мышления. Мышление всегда может быть рассмотрено как деятельность, но не в этом его суть. И я возвращаюсь в этом плане к очень интересным и принципиальным установкам В.Я.Дубровского. Что значит мыслить? *«Мыслить» – это значит отдать себя законам жизни другого, мыслимого содержания.*

Мы как бы вперяем свой взгляд в то, что происходит в идеальной действительности, и начинаем двигаться по логике этой идеальной действительности, а не по законам социальных взаимодействий. И в этом – величайший, принципиальный смысл человеческого существования, ибо человеком является только тот, кто имеет такую плоскость, тот, кто за счет этого может существовать в *культуре*, а не только в коммунальных столкновениях и взаимодействиях. Тот, у кого этого нет, перестает быть человеком и становится животным – это уже результат распада человеческого общества.

Но распада, который обосновывается и программируется, скажем, радикальным направлением. Ведь этот тезис – «Долой культуру!» – и приводит к распаду человеческого общества и человеческого существования. И поэтому ранний вариант методологической теории деятельности с ее сведением идеальной действительности мышления к деятельности, как и вариант теории деятельности по А.Н.Леонтьеву, есть не что иное, как оправдание бескультурия, теоретическое или квазитеоретическое оправдание этого распада, как бы научное его обоснование за счет идеи деятельности. В этом основная суть оппозиции психологической теории деятельности и культурно-исторической концепции Выготского. Они разошлись не только теоретически. Они разошлись культурно.

Алексеев. Функционарно это может означать, что возможно разведение коммуникантов по разным деятельностным позициям?

По позициям – нет. Для меня должна существовать отдельно мыслекommunikация. За счет коммуникации вся эта верхняя часть может сниматься и существовать вне мыследеятельности. Так возникают всевозможные формальные направления, в частности, вся классическая философия...

Алексеев. Можно ли представить дело так, что этот верхний слой есть слой по преимуществу методологический?

Нет. Это лежит совсем в другой плоскости. Мы с вами обсуждаем это онтологически – мы обсуждаем проблемы человеческого существования и отношения между мышлением и деятельностью. Они действительно разделяются – на уровне текстов коммуникации они могут расслаиваться и распадаться, расщепляться вообще. И может существовать (как это было в практике немецкого академического профессора) чистое мышление в коммуникации – через книги. Золотой век европейской цивилизации – XVIII–XIX вв.

А может существовать и нечто совершенно другое – рефлексивные тексты, причем, рефлексивные уже в классическом английском смысле, в смысле рефлексии как отражения. Вот тут и проходит принципиальная грань между трактовками отражения и мышления. Мышление, в этом смысле, есть конструирование замещающих изобразительных средств. Мышление всегда замкнуто на развитие. А отражение есть фиксация в речи самой ситуации. И есть особые средства отражения, т.е. подъема вверх, от ситуации к технике, а есть совершенно другой мир – мир мышления с его идеальной действительностью, и он существует в другом плане.

И есть одна принципиальнейшая проблема, поставленная Шеллингом – проблема соединения отражения с мышлением, т.е. рефлексии с мышлением, конструирования с отражением. И она вроде бы решается здесь за счет того, что (в особенности, при понимании) возможен выход наверх – в мышление, может быть выход вниз – в ситуацию, а может быть соединение того и другого.

Но практически такое соединение чаще происходит за счет коммуникации – один движется в действительности мышления, другой – это реализует в практике своей деятельности, и только потом – как бы обратная интериоризация, снятие, из «интра» в «интер» – и на этом формируется человеческое сознание. Вот так бы я это представлял.

Неверкович С.Д. Ведь это процесс познания самого себя, а не процесса, который на самом деле происходит. Поэтому непонятно, является ли мысленное отнесение себя к тем закономерностям, которые существуют на сегодняшний момент, познанием себя или видением тех закономерностей. Тогда первый вопрос: действительно ли коммуникация – такая, какой вы ее сегодня представили – является первичной по отношению к наблюдению?

Я благодарю вас, Сергей Дмитриевич, за ваши замечания, поскольку они дают возможность мне четче сформулировать то, о чем я только что говорил.

Первое. Я бы в этих структурах мыследеятельности ничего не выделял в качестве первичного. Собственно, системный подход мне это запрещает. Ибо реальностью является это целое. Там все важно. Как в нашем организме – печенька, легкое и сердце так же нужны нам, как и голова и ноги, и без этого мы жить не можем. Здесь все на своем месте, и это есть то целое, которое меня интересует.

Второй момент. Когда я говорил, что это стержень, то это относится к проблеме связи и соотношения чистого мышления и деятельности, или мыследействования. Коммуникация связывает и склеивает то и другое. Я бы сказал, что коммуникация и есть то посредствующее звено, которое соединяет эти два момента вместе и дает возможность переводить мышление в деятельность и поднимать деятельность до уровня мышления. Мы все это делаем с помощью коммуникации в ситуациях нашего общения, взаимодействия и взаимовлияния.

Третий момент. На мой взгляд, необходимо различить (то, о чем говорил Курт Левин) полагание себя (то, что вы назвали исследованием себя) и этот мир действительности мышления. Я здесь все время выступаю как антипсихологист. Я очень люблю психологию, но придерживаюсь принципа: психология, бойся психологизма. На мой взгляд, для психологии нет ничего страшнее, чем психологизм, и при психологистической философии психология развиваться не сможет. На мой взгляд, психология может развиваться только в тесной связи с культурологией, социологией, теорией организации и т.д. И мышление как явление культуры имеет самостоятельное, имманентное, независимое от нашей психики существование. Ни в коем случае нельзя отождествлять мышление как явление культуры с тем, что происходит в нас, с *психологическим*. Наоборот, психологическое есть только отражение, с одной стороны, мира мышления, его действительности, мира идеальных объектов, который для человека, как это показал Марке, *столь же объективен и реален, как все остальное*, и даже еще более объективен и реален, ибо он в сути своей человеческий и определяет его, и, с другой стороны, мира деятельности, мира взаимодействий, непосредственных столкновений, ситуаций и т.д.

Значит, здесь все идет по законам логики, которая есть лишь частный вариант имманентного движения культуры, и это не «Я». Когда я познаю – вперив взгляд в этот логос – законы жизни идеальных объектов и все остальное, то я не себя рассматриваю... Кстати, вот сюда, в мир идеальных объектов попадают все естественные науки. Естественные науки потому и смогли игнорировать деятельность, обойти ее, что они сумели построить идеальные объекты, в частности представили природу как идеальный объект и начали изучать ее законы.

Когда я положил перед собой представление о законах природы и начинаю жить по этим законам, следуя им, глядя на них, а не на свою деятельность, я живу в мире натуральной культуры (или натуралистической, в этом смысле), в мире действительности абстрактного мышления, идеальных объектов, а не деятельности. И наоборот, чтобы обратиться к деятельности, я должен оторваться от этого мира уже фиксированной культуры, «разуть глаза» и посмотреть, что происходит кругом.

Кстати, я ведь настаиваю на значимости этих обоих направлений. Мне чужды формализмы разного рода и чужда идеализация, но только на поляризации того и другого и только на соединении того и другого, т.е. на постоянном окультуривании наших ситуаций и на постоянном «оситуачивании» нашей культуры, т.е. приложении ее, может сохраняться и существовать человек.

А вопросы о том, что он видит *в себе* – это уже особый разговор. Я бы дальше обсуждал вопрос о том, когда человек должен отвечать на вопрос, что он есть, и раскрывать себя. Но это уже особая практика самоопределения. Вот так я бы ответил.

Литвинов В.П. Верно ли я понимаю, что мышление, по вашей трактовке, разворачивается на внутреннем видении?

Нет, неправильно. Это ведь культурная работа. Внутреннее видение – это ваше отражение всего этого. Когда вы приобщаетесь к культуре, то вас долго-долго учат, закладывают туда идеальные объекты, потом вы их начинаете видеть. Это результат окультуривания вас.

Литвинов. Вы положили в вашу онтологию эти доски-планишеты – на каком основании? Это вам исследование подсказало, что их надо туда положить? Вы это на игре наблюдали?

Наблюдал в том смысле, что меня как «граблями в лоб» – один раз, другой... Пока я не понял, наконец-то. И тогда дело двинулось.

Литвинов. То есть никакой логической необходимости не было для введения этих вещей?

Нет, это неправильно. А потом я могу рассказать вам историю, почему я все-таки это сообразил. «Ага, ведь это мы давно знаем, и, больше того, это все знают. Как же я раньше этого не учел? Это ведь все известно!». И тут начинается филиация этих идей... Мышление для меня есть культурная общечеловеческая работа по разворачиванию средств выражения, именно – знаковых форм, конструктивное и прогностически ориентированное разворачивание. Вот что такое для меня мышление.

Литвинов. Не встает ли перед вами сложнейший вопрос об онтологии, так сказать, этого планшета? Вы его положили, и он задан – там

что-то должно быть, что-то «зеленькое»... Этот вопрос существенен для вас?

Да, и я на него отвечаю. У нас есть так называемая «сферно-фокусная схема деятельности», куда все это вписывается. Я ведь рассказывал только о части, имея в виду коммуникацию. И мы знаем, что это значит. Это и есть мир культуры. А из чего состоит культура? Культура состоит из значений – идеальных объектов. Это и есть мир значений культуры, который живет в исторических процессах, с одной стороны, трансляции, с другой – развития. Ведь его все время строят специальные операторы культуры, культуротехники, – с помощью культурологов.

И это есть тот самый мир значений – наше основное достояние, которое мы все время накапливаем и передаем. Сюда входят все наши орудия, образцы вещей, совокупности наших идей, проектов и т.п. И этот массив живет и развивается. Вы меня спрашиваете: по каким законам? Я отвечаю: по законам человеческой эволюции. Там свои процессы.

И я вроде бы отвечаю, что это такое.

Литвинов. Я спотыкаюсь на другом. Я спотыкаюсь на проблеме индивидуального сознания. У меня это как бы автоматически выскакивает в связи с тем, что у вас для мышления должен быть конфликт.

Это то, что мы будем обсуждать в четверг. Вы спотыкаетесь на проблеме индивидуального сознания. А я здесь при чем? Это ваши проблемы! А я с проблемами индивидуального сознания разбираюсь очень просто. Это интересно, но теперь у меня нет там проблем, которые меня бы держали. Я теперь могу и «личность» строить, и теорию сознания строить, я теперь все могу делать – у меня нет там проблем.

Непонятно я отвечаю? Давайте, конкретно. Вы кто, оператор культуры или кто-то еще? Что вы делаете? Какое у вас мышление и т.д.? Я теперь имею принципиальную методическую схему для объяснения вашего сознания и всего остального. У меня нет больше проблем с психологизмом. Это они у вас потому были, что вам все время надо объяснять, как там быть с миром сознания. А я отвечаю: сознание есть универсальный механизм отражения и соотношения. Я построил модель сознания, она у меня работает и подтверждается на самом разном материале – вот это главное.

Литвинов. Вот вы мне показываете планшеты. А где они еще существуют, кроме доски? Вы скажете – в культуре?

Вам нужен конкретный ответ? В книгах, проектах, в рукописях, в том, что передается через мысль-коммуникацию, сейчас это существует в нашем собрании, через наше собрание сейчас культура течет. Вот где это существует.

Литвинов. А конфликт двух индивидуальных сознаний...

Обратите внимание, конфликты в сознании бывают, только если это сознание некультурное. Оно некультурное – тогда в нем конфликты. Но за этим для меня стоит реальная проблема. Я вам говорю: поэтому так важны феноменология и феноменальный план. Потому что этот ваш вопрос я теперь должен перевести в другой, а именно: для меня возникает тоже очень сложный и интересный, но уже вроде бы решенный вопрос – проблема соотношения идеальных объектов и феноменального плана сознания, феноменальной действительности. Но Гуссерль, Нейман, Brentano практически уже наметили эту линию. Может быть, она исторически ошибочна, но работать там есть над чем.

Таким образом, это для меня проблема идеального и феноменального. И там она должна решаться строго и как таковая. Проблема понимания – точно так же, ибо мы потом туда выходим.

Данилова В.Л. Георгий Петрович, у коммуникантов разные доски, потому что у них культура разная?

Нет, просто потому, что у них разные парадигматики. У одного – одна концепционная схема, у другого – другая. Один – одними схемами онтологии пользуется, другой – другими. Это не просто культура, это то, что они *положили* в процессе коммуникации. Один положил одно, другой – другое, хотя это и реализация разных культур.

Смотрите, я этой доской вырезаю некоторое наличное. Я таким образом культуру как бы удваиваю – появляются культура вообще, как амбар средств, и то, что положено в мышлении в данный момент. А то, что положено в данный момент для мышления – это уже не культура, а действительность мысли.

– Можно ли провести аналогию между вашей схемой и таблицей Менделеева, где были пустые места, но известно, что там должно быть то-то и то-то?

Я бы принял вашу характеристику, только кое что бы к ней добавил. Для этого я обсуждал «игру» на постоянных отображениях совокупности предметов в онтологию и обратно. И мысль моя состоит вот в чем.

Вроде бы я построил онтологическую картину, но коммуникации пока там все равно нет. Я говорю: вроде она где-то должна быть, но только я ее не вижу. Мне, для того чтобы нарисовать здесь коммуникацию, нужно иметь предметное представление о коммуникации.

Те представления, которые в теории коммуникации развиваются, они не помогают, они «не кладутся». Они не помогают не только в этом рисунке – они нам *реально* не помогают. Мы организуем коммуникацию между разнопредметно организованными специалистами, мы прочитали все, что есть по коммуникации, мы пытаемся следовать этим принципам – и ничего не выходит, потому что они у нас не просто коммуницируют.

Я беру те же представления о коммуникативных сетях, о системе коммуникации в группе – ну и что? Что я с этим могу сделать? У нас нет ничего этого. Мне надо разнопредметных специалистов организовать на коллективное мышление, и то, что хорошо для коммуникации в организации, при организации коллективной мыследеятельности не срабатывает...

– Можно ли так представить, что без включения верхней части схемы, все оказалось бы только уровнем явления, а если включается – то возможно представление на уровне сущности?

Вы совершенно правы, но я бы ушел от употребления термина «сущность» и т.п. С чем мы столкнулись? Я должен уметь, организуя работу этих людей, переходить от рефлексии ситуации в план идеального объекта. Пока они не сделали этого перехода, они не могут решать задачу. Они мне снова и снова будут воспроизводить проблемную ситуацию и невозможность движения. Как только у меня в ситуации набралось пять-шесть разнопредметных специалистов, как только они поняли, что столкнулись лбами, поняли, что несовместимость, – на этом все кончилось.

Они больше не могут двигаться. Больше того, я даже не могу им помочь, если я не понимаю, что я должен их перевести в план идеального объекта, эту сущность им каким-то образом задать, адекватно ситуации, и вообще, заставить их уйти туда и решать там задачу, потому что оказывается, что проблема в задаче здесь, на уровне ситуации, переведена быть не может. И задачу решать нельзя, пока ты не перешел туда, в мир чистого мышления. Задачи решаются только в мире чистого мышления. Приспособиться здесь – можно, уйти от мыследеятельности в ситуации – можно, круговую оборону занять – можно, а культуру развивать – нельзя.

Тюков А.А. Георгий Петрович, вы ведь различаете мышление и деятельность...

Теперь – нет. Я говорю так: деятельность – это эти схемы (воспроизводства и пр.). Это – *деятельное*. Теперь я различаю мыследействие (это то, что в ситуации) и чистое мышление, я могу говорить о мыследеятельности как об этом целом, но обязательно должен взять это в связи с *трансляцией*.

Тюков. Это онтологическая схема мыследеятельности...

Это часть онтологической схемы мыследеятельности. Она обязательно должна быть взята в отношении к воспроизводству и трансляции.

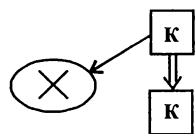


Рис. 8

Тюков. Воспроизводство и трансляция – это тоже онтологическая схема мыследеятельности?

Смотрите, это ведь – увеличенный кусочек от этой схемы.

Тюков. Я понимаю. Меня и интересует вопрос о том, существует ли, по вашему мнению, по представлению, по логике того, что вы здесь изображаете, действие в своих социальных формах, организуемых, ситуативных и т.д., по отношению к трансляции культуры как не мыследеятельность?

Вы затрагиваете один невероятно интересный, принципиальный и сложный вопрос, который я на этой схеме не могу обсуждать.

Давайте попробуем разобраться.

Первое. Я называю деятельностью нечто, представленное в схемах воспроизводства с трансляцией культуры. Все, что соответствует такой организации, я буду называть деятельным, или принадлежащим к деятельности, или деятельностью. И теперь я это рассматриваю как абстрактное. Однако, когда я говорю, скажем, «графин», так вроде бы вот это и есть графин, но, с другой стороны, это графин лишь в той мере, в какой это «графин», т.е. соответствует абстракции графина. Поэтому я говорю: все то есть деятельность, что соответствует вот этим схемам, живет по их законам, по их логике. Так вы меня спрашиваете: ну хорошо, а где деятельность?

Тюков. Я этого вопроса не задавал.

Но, смотрите, вы обращаетесь к этим схемам. Я теперь говорю такую странную вещь: ну да, вообще-то есть деятельность как предельный случай мыследеятельности, который ведет в безмыслие, это – деятельность безмыслия.

Тюков. Например, мыследеятельность есть очень редко и сложно организуемый случай организации деятельности.

Наоборот, случай деятельности есть очень трудный, редкий случай. Это тот случай, когда я прихожу на лекцию читать своим студентам и меня ничто не интересует в ситуации, я гляжу на них и ничего не вижу, я прихожу и начинаю бубнить свою лекцию, меня ничто не интересует, я себе знай хожу и бубню свое. Вот это – случай *деятельности*, но такого не бывает, потому что, сколь бы отупевшим я ни был за прошлые двадцать пять лет чтения лекций, но чтобы довести меня до такого состояния, что я вообще не буду глядеть на мир, это редкий, вырожденный случай. Если же я начинаю глядеть, зацепившись за чьи-нибудь глаза, за чью-то улыбку, все – деятельность кончилась, началось мыследействие. Я оказываюсь в коммуникации и мыследействую – что-то начинаю передавать, как-то начинаю воздействовать, а не просто бубнить содержание.

И уже нет деятельности, а есть мыследействие. В той мере, в какой вот это мое мыследействие включено в процесс воспроизведения человеческой деятельности, оно есть деятельность в родовом смысле.

Рубцов В.В. *А если вы будете обругивать ваших студентов? Ставить им двойки? Будет ли это мыследеятельность?*

Конечно. Потому что – кто же сейчас так ставит? Принцип же нужен: через одного или ребятам одно, а девушкам другое... – уже мыследеятельность.

– Правильно ли я вас понял, что мыследеяствование обычно связано с обращенностью?

Конечно.

Буряк А.П. *А как же вы тогда говорите о переводе ваших коммуникантов из мыследеяствования в чистое мышление? Вы их подняли наверх, дали им там другие объекты, они там начали опять мыследеяствовать...*

Нет. Вот тут начинается самое интересное. Смотрите. Мыследеяствование всегда ситуационно. Представьте себе, Александр Петрович, что я их пригласил в комнату и они начинают мыслить. Один мыслит, другой мыслит, третий мыслит, а я как организатор смотрю на это как на мыследеяствие, хотя каждый из них мыслит. Потому, что один мыслит в одной концепции, другой – в другой и т.д. У меня они несовместимы. Я трачу массу усилий для того, чтобы они сообразили, что они мыследеяствуют – не мыслят, а мыследеяствуют. Их поэтому нужно сначала распредемитить, снять с их глаз шоры... И вдруг после такой двухдневной работы он думает: «Да я же не один сижу! Мне ведь с этим паразитом тоже приходится считаться». Значит, я проделал сложнейшую работу, чтобы он понял, что он мыследеяствует, а не мыслит.

Что я теперь должен сделать? Начинается такая интересная игра: я их теперь обратно в мышление должен перевести. Но не в мышление, соответствующее их парадигмам, а в мышление, соответствующее их ситуации – что они все вместе задачу решать должны. И вот теперь я начинаю вышибать из них то, что я только что закладывал. Я говорю: «Вы не мыследеяствуйте. Перестаньте считаться с тем, что говорит сосед. Вы мыслите, пожалуйста, т.е. решайте задачу». Если он у меня начинает опять мыследеяствовать, он задачу не решит, он приспособливаться и адаптироваться будет.

Значит, вы говорите, применяя аспектный подход: вы вроде бы утверждаете, что они там мыслят, а я поглядел со стороны, у меня очки другие и вижу, что они не мыслят, а мыследеяствуют. Я говорю, что это очень интересно и важно, но это аспектный подход. Вы-то можете представить как угодно, но вот теперь начинается развал между его позицией и вашей: он-то думает, что он мыслит, а вы думаете, что он мыследеяствует – и началось расхождение ваших представлений, вы теперь неадекватны тому, что происходит, ибо это не соответствует принципу заимствования. Понятно, да?

Буряк. Нет, непонятно, почему он думает, что он мыслит.

Потому что я ему это вложил, У него установка такая.

Буряк. А теперь непонятно, как вы в него это вкладываете. Вроде бы вы говорите, что не существует мышления как процесса, а существует мышление как история.

Наоборот, я все время доказываю, что человек может мыслить, что есть мышление (вот оно наверху). А что значит мыслить?

Буряк. Окультуренно действовать.

Не-е-т! Не действовать, а мыслить...

Буряк. С реальными объектами...

Нет, не с реальными.

Буряк. С идеальными.

А с идеальными объектами нельзя действовать. Обратите внимание, с идеальными объектами действовать, как мы думали ошибочно раньше, нельзя. Потому что, смотрите, мне дают задачу: «На дереве сидели птички, потом прилетело еще шесть, и стало...». Вот, если у меня ребенок начинает строить ситуацию, он не научится решать задачу ни арифметически, ни алгебраически, он ситуацию будет строить, возвращаться к мыслительному действию. В наших экспериментах так и делали. Сидели птички – положим пять кубиков. Почему пять – ведь неизвестно, сколько? Пока положим пять, потом выясним, сколько, но без этого нельзя. Почему? И он начинает эти кубики передвигать или на пальцах работает, т.е. действует. Учитель даже может считать, что он думает, но на самом деле он мыслительствует. А что такое мыслить? Он думает: «Птички, опять эти птички, хоть бы пирожок дали». Он же знает, что это все к делу отношения не имеет. Он думает: «Сидели птички – X и т.д.» – пошел делать преобразования.

Мы, кстати, не различаем действия и операции, а смысл здесь очень большой, поскольку во втором случае он перешел к оперативной системе и осуществляет операции, а не действует. И в этом смысле Пиаже прав, а наши многие советские критики просто не понимают, о чем идет речь, поскольку для них операции и действия суть одно и то же. А я говорю, что нет, ничего подобного. Операции – это в действительности мышления, но это есть не действия наши, а форма субъективного снятия преобразований или превращений идеального объекта, это есть повторение, воспроизведение этих превращений, логики жизни идеального объекта.

И поэтому я говорю, что психологическая концепция деятельности вообще не дает возможности понять, о чем говорил Пиаже, так как она из другой субкультуры. Вы отстали от того же ругаемого вами Жана Пиаже

на полстолетия минимум, а то и больше, и критикуете со своих пещерных позиций.

Значит, здесь происходят логические превращения, снятые в форме операций, т.е. представленные в превращенной форме – это не действия. И поэтому так важно, чтобы человек знал, где он мыслит и где он действует, что мышление и действие живут по разным, образно говоря, законам, т.е. имеют разные нормативные системы организации.

А кроме того, есть еще проблема отображения одного на другое, и она решается либо в этих сложных структурах коммуникации, либо в снятии через имитацию, в имитирующей работе.

Данилова. ...

Вера Леонидовна, вы задаете очень серьезный и важный вопрос. Я, вообще-то говоря, его проработал, но сейчас докладывать не могу. Тут вот в чем вся штука. Это уже касается непосредственно методов предметизации.

Если я беру схему воспроизводства деятельности через трансляцию культуры, я могу, во-первых, взять социетальную структуру как часть этой большой структуры и заниматься морфологическим ее наполнением – один способ предметизации; другой – я фокусируюсь на этой социетальной ситуации, и теперь я должен все остальные элементы структуры снять в нее; при этом, смотрите, я связи вроде бы обрываю, перевожу их в функции и эти функции должен особым образом здесь фиксировать. Тогда у меня оказывается (тут мы уже попадаем в область психологических проблем), что культура снята в индивидуе. И это уже не культура вообще, а, кстати сказать, микрокультура. Так, как это различал В.Дубровский: макрокультура и микрокультура – как то, что в индивидуе зафиксировано. Индивидуальная культура, культура как наборы присвоенных или освоенных средств – это второй способ предметизации.

Третий – это когда я не часть вынимаю, а все целое фокусирую и свертываю сюда; есть особый метод таких вот фокусированных предметизаций.

И есть еще метод – тот, который В.П.Литвинов намечал, связанный с методами феноменальной редукции, т.е. перевода всего в феноменальный план. Это возврат к точке зрения Майкла Коула и др. Ведь он что говорит: «Не вижу я этой вашей схемы культуры. На что вы глядите?». Причем, он меня спрашивает в плане ситуации, т.е. на какие я опираюсь материалы – антропологические, психологические. Я ему говорю: «Помилуйте, я гляжу на идеальные объекты. Я в мышлении нахожусь, а не в вашем мыследействии. У меня в мышлении я как шапокляк это растянул и знаю, что вот так вот все и есть».

Теперь смотрите, нет же такого зримого процесса трансляции культуры. Трансляция культуры ведь через определенное взаимодействие происходит, через определенные аксиологические фиксации – авторитет, образец и т.д. Так спрашивается: если я веду феноменальный анализ, что же

я здесь вижу? Я теперь должен все сплющить, собрать вместе. И тогда у меня будет третья предметизация, где, фактически, я должен увидеть в феноменально фиксируемых явлениях все остальное.

А что значит «увидеть»? Уметь этот феноменальный план растягивать и снова складывать. Вот такую процедуру я должен уметь делать, и она идет уже не в мышлении, а на связи мышления и феноменальной действительности – и это третий момент. Поэтому я бы не согласился с вами, что это из другого места, и сказал бы, что я здесь не провел различения этих трех предметизаций. Когда я их проведу, у меня все будет о-кей.

Литвинов. Когда мы мыслим, что мы делаем с идеальными объектами?

Отвечаю. Когда мы мыслим, мы живем по законам этих идеальных объектов, уподобляемся этому идеальному объекту. Когда мы мыслим, мы забываем о себе, мы уже не действуем, у нас нет нашей подлинности, мы там живем, мы имитируем эту логику. Вот что мы делаем, когда мы мыслим. Отсюда, кстати, метод маленьких человечков у Альтшуллера. Он говорит: «Представьте себя маленьким атомом в краске на поверхности цилиндра». <...>

Понимание и мышление (1) *

Я буду работать в силу недостатка времени очень схематично и только намечать основные пункты. Первое: моя идеологическая установка. Вчера, после замечаний по докладу Г.И.Богина, я получил очень характерную записку, которую я вам и зачитаю: «В своей реплике на доклад Богина вы высказывались за необходимость различения понятий “герменевтический” и “гносеологический”, или “понимающий” и “познавательный”. Но в чем различие, по-вашему, техники понимания от техники познания? Разве не одно и то же понимается, или познается, в обоих случаях? Разве понять другого субъекта не все равно, что понять, или познать, некий объект? Ведь структура смысла одна и та же».

Эта позиция, с моей точки зрения, не является частной. Она является выражением позиции очень большой группы людей, по сути дела, общепринятой позицией, результатом гносеологизма XVII–XVIII вв. и такой трансформации и аберрации всей человеческой культуры, которая привела к нашему нынешнему состоянию, а именно к тому, когда мы, как говорится в одной детской сказке, «такие умные, такие умные, что ничего не понимаем».

От меня к тому же потребовали доказательств – доказательств того, что понимание не есть познание. И это тоже есть реализация этой вот сциентистской позиции, потому что думают, во-первых, что доказательства что-то значат, что, во-вторых, они вообще возможны и т.д. Я во все это не верю. Единственное, что я мог бы здесь делать, это ссылаться на классиков, которые различали одно, другое, третье, четвертое, рассказывать о том что еще К.Маркс, скажем, во введении к «Критике политэкономии» объяснял, что категория труда вообще, категория производства вообще – такие тощие бессмысленные абстракции, из которых ничего не извлечешь.

Я ничего этого не хочу и не буду делать, потому что для меня это не аргументы. Я фиксирую это как мою идеологическую позицию. Я говорю, основываясь на всем опыте своей работы, что мы не можем дальше эффективно работать нигде, в том числе при изучении гуманитарных, духовных и душевных явлений, не различая и не противопоставляя жестко друг другу познание – с одной стороны, и мышление, понимание, рефлексию – с другой, не различая этих разных функций, сложным образом связанных друг с другом. На мой взгляд, дальнейшее отождествление, скажем, понимания с рефлексией и рефлексии с мышлением, сведение всего этого к одной категории отражения без различения всех этих тонких вариаций не даст нам возможности ни познать эти явления, ни понять, что происходит вокруг нас в современном мире. Поэтому, я исхожу из идеоло-

* Доклад на Комиссии по психологии мышления и логике 18 декабря 1980 г. Арх. № 2061.

гического разделения и различения всех названных моментов и считаю, что каждому из них соответствуют свои особые процессы, которые и должны быть выделены.

Итак, есть процессы понимания, есть процессы рефлексии, есть процессы мышления, они сложно завязаны в мыследействовании и в процессах воспроизводства через трансляцию культуры, но прежде чем описывать все это, надо очень жестко, и тем самым понятно, эти моменты разделить.

Второй момент. <...>

... отсюда возникает идеология и философия *сопричастности*. Она по-своему оправдана. Вот как говорит М.К.Мамардашвили: «Ведь что непонятого в том, что кто-то – Иванов, Петров, Сидоров – чего-то не понимает? Не понимает в философии, не понимает нынешних проблем и т.д. Чтобы понимать, надо быть *причастным*». Быть причастным *к этой культуре*, или, как сегодня очень красиво сказал С.Н.Некрасов, «надо свой разум прикрепить к существующим предрассудкам». Вот когда мы разум свой к этим предрассудкам прикроем – вот тогда мы начнем что то понимать. Иначе это еще называют приобщением к культуре.

Но, говорю я, вот такого рода понимание, выражаемое в текстах – еще раз подчеркиваю, для меня подавляющее большинство текстов есть тексты понимания, – такое понимание не создает еще ни понятия, ни, тем более, возможности конструктивно работать. И это, как мне кажется, и демонстрировалось на этом совещании. Обсуждая проблемы понимания, мы вроде бы каждый раз доходили до такого необходимого шага, как создание понятий – и перед этим останавливались. С моей точки зрения, мы останавливались потому, что не могли осуществить схематизацию и начать собственно мыслительную, конструктивную работу. Но есть и идеологи такой позиции. Скажем, если я правильно понял Игоря Серафимовича, то он считает, что понимание и не должно мыслиться. Понимание должно пониматься.

Алексеев И.С. Неправильно понимаете, Георгий Петрович.

Отлично. Итак, фиксирую: «Неправильно понимаю», – говорит мне в коммуникации Игорь Серафимович. Но интересно, как мне проверить, правильно я понимаю или нет? Должен ли я поверить Игорю Серафимовичу и его внутренней рефлексии или полагаться на свое понимание и разумение? В этой ситуации мы все и оказываемся. Один что-то говорит, а другой говорит: ничего ты не понимаешь. И это мы потом называем коммуникацией и взаимопониманием. Коммуникация, с этой точки зрения, есть синоним взаимопонимания.

С моей точки зрения, это нас мало куда продвигает, и поскольку у нас есть еще организационные или социотехнические, или культурологические задачи по организации понимания, я исхожу из того, что может и должна существовать определенная *техника* понимания. И герменевтика,

в моем смысле, есть совокупность тех приемов, средств, технологий, которые обеспечивают или могут обеспечить нам взаимопонимание в условиях глобальной коммуникации, т.е. когда мы имеем дело с различными, разнопредметно мыслящими, разнопредметно работающими специалистами. Мой идеал состоит в том, чтобы научиться понимать каждого. И иметь возможность сказать, например, так: «Я тебя понял, вот я сейчас дальше буду рассказывать, что ты будешь говорить». И чтобы потом это объективно проверить, я пишу на своей бумажке, что он будет говорить, он – на своей, а кто-то третий потом, сличит и скажет, смог ли я проинтерпретировать ход его мысли. Это будет достаточным доказательством того, что я адекватно понимаю. Итак, герменевтика для меня есть совокупность вот таких приемов и методов.

Алексеев. Предполагается универсальный базис для понимания или нет?

Конечно, нет, так как я говорю: разнопредметники, разнопрофессионалы. Я потом подойду к тому, о чем вы спрашиваете, но уже сейчас вам отвечаю: для меня понятие «базис» неосновательно, базиса здесь быть не может, мне нужны формы организации. Не базис я ищу для понимания – это безнадежный путь; я ищу новые средства организации понимания. Но, коль вы уж так задали вопрос, я говорю: смотрите, вот есть язык. Язык, с моей точки зрения, есть герменевтическое образование – язык с его совокупностью значений. Но я употребляю термин «язык» в своем смысле – так, как я это описываю в своих работах, т.е. система значений, фиксируемых в лексике, грамматике и т.д. Язык есть средство понимания для всех эпох. Кроме того, мы используем в качестве средства понимания то, что мы привыкли называть мышлением. Но всего этого, с моей точки зрения, сейчас уже недостаточно, и должны быть еще дополнительные формы организации, средства, которые я называю герменевтическими, а именно: средства и формы организации понимания – не языковые, не мыслительные, а собственно понимания, понимания как такового, понимания не через мысль, мышление, знание, понимания не через язык, значение, а другие формы понимания – герменевтические.

И я делаю следующий шаг, и говорю: для того чтобы обеспечить такую технику – герменевтическую, – нам нужны еще определенные знания о понимании, т.е. своего рода теория понимания. Она не совпадает с этой техникой, но вот тут, Игорь Серафимович, я бы воспользовался вашим словом «основание» – вот эти знания о понимании, о его условиях, причем заданные в традиционной теоретической форме, как необходимые, универсальные, эти вот теоретические знания являются временными, переходящими, всегда неадекватными, всегда конечными основаниями герменевтики, которая как техника, в этом смысле, вечна, т.е. если она будет создана, зафиксирована, если человечество ее построит, то это войдет в культуру и будет передаваться как герменевтическая культура, или часть культуры.

Вот мои установки – представления о том, что нам нужно и что должно быть.

И последний, третий, очень важный для меня тезис. Понимание является исходным функциональным процессом, над которым в дальнейшем надстраивается и мышление, т.е., рассматривая отношения между пониманием и мышлением, я говорю: исходным, лежащим в основании, является *понимание*, а не мышление. Мышление, фактически-то, есть и возникает как некоторый функциональный орган внутри понимания, а затем обособляется и окукливается, откалывается от понимания и существует как особая интеллектуальная функция, точнее, как сфера. Больше того, с моей точки зрения, между пониманием как таковым и мышлением начинается борьба и взаимопожирание.

Вот это обстоятельство, о котором я сейчас буду говорить, и затрудняет постижение и схватывание существа дела. Между мышлением и пониманием все время идут процессы взаимной ассимиляции: мы начинаем понимать через средства мышления, через логику – и, наоборот, мыслить на базе специфических форм, создаваемых пониманием, или рождающихся в понимании, а именно на базе смыслов.

Ильясов И.И. Понимание есть основание чего?

Хороший вопрос, я попробую на него ответить. Пока считайте, что я сказал так: понимание есть основание и объемлющая сфера для мышления. «Для» – не «чего», а «для чего».

Каким образом я это себе представляю? Этот момент мне очень важно зафиксировать: это я в историческом плане говорю, что понимание есть основание и объемлющая сфера для мышления – в том смысле, что мышление рождается внутри понимания, из него потом выделяется. Потом они взаимно ассимилируют друг друга, и все время развертываются как такие две сферы – это как бы генетический аспект.

А теперь я оставляю этот тезис и начинаю рассматривать наши шаги к образованию понятий «понимание» и «мышление». Потому что я ведь не могу вводить и задавать все это иначе, нежели через историю движения к этому, которая – эта история – и фиксировала функциональные требования к схемам и моделям понимания.

Я решаю одну задачу: на этой связке – герменевтики как техники и герменевтики как знания – я теперь должен задать схемы и модели понимания. И я считаю такую задачу выполнимой. Но именно модели, чтобы я мог по отношению к пониманию работать мыслительно. Но злоязычник, конечно, может сказать, что я таким образом обеспечиваю новый шаг поглощения понимания мышлением. Да, сейчас я работаю на это, я очень четко это осознаю. Я хочу, чтобы наше понимание было мыслительно организовано. И в этом суть той социотехники, которой я служу. Другого пути для выхода из этой ситуации, кроме как организовать понимание с помощью мышления, я сейчас не вижу. Здесь я расхожусь со многими предста-

вителями герменевтики – с Гадамером, Хиршем и всеми другими, – а именно в том, что я хочу *мыслительно* все это делать; для этого мне и нужны схемы и модели.

Вот теперь я возвращаюсь к вопросу об основаниях такой трактовки понимания и должен перечислить существенные пункты, которые привели нас к этой трактовке. Когда я готовился к этому докладу, я насчитал 17 таких пунктов в нашей малой истории. Я, конечно, не смогу здесь изложить все эти пункты, но самые важные из них я наметчу.

Первой была проблема, вставшая перед нами в 1962 г. Это проблема различия сигнала, символа и знака. Надо было понятийно их различить. В чем состояла суть этих решений, намеченных в 1952–1954 гг.?

Занимался я тогда разной зоопсихологией: муравьями, галками... Усиленно читая соответствующие книжки, я пришел к следующему выводу: если человеческая речь и человеческий язык возникают натуральным образом (т.е. если не считать, что их нам принесли «тарелочники» или что-то в этом роде), то вроде бы единственное, что я смог придумать, это показать на разворачивающейся модельке, как сигнал превращается в знак.

Что это значит? Представьте себе: ворона, взлетающая при опасности, громко хлопающая крыльями, кричащая. Как показали многие тогдашние исследователи (а другие это опровергали), она это делает не для того, чтобы нечто сообщить, а поскольку очень торопится взлететь, судорожно заглатывает воздух. Мне не важно, правильно это или нет, истина или не истина – меня это не интересует. Если возникают какие-то естественные движения, тесно связанные с какой-то ситуацией, скажем, вот этот звук, который выступает как сигнал и, значит, включает следующую реакцию, то вот эта реакция, переходя в действие, потом, в своей эволюции, должна быть обязательно направлена на некоторый объект. Так вот, звук-сигнал к объекту не имеет и не может иметь никакого отношения, в этом его отличительный признак. Звук-сигнал, или всякий другой сигнал, вызывает *реакцию*.

А вот для того чтобы он стал знаком, должно возникнуть нечто совершенно особое, а именно: он должен получить отнесение к объекту – обозначить или означить его, как хотите называйте. И потом уже действие, то или другое, будет включаться не на основании самого этого звука, а на основании выявления содержания этого знака, т.е. того объекта – смотрите, я не говорю «значения» говорю, – на основании фиксации того объекта, который им обозначен. И вот тогда, когда складывается уже такая структура, т.е. движение как бы начинает идти уже в обратном направлении, у нас появляется знак.

Для чего мне это сейчас нужно? Почему я об этом говорю? Потому что, на мой взгляд, понимание и есть то, что обеспечивает это отношение. Оно рождается до всякого мышления. Понимание приводит к возникновению «смысла», того, что я в отличие от «значения» называю «смыслом», т.е. *отношения к содержанию*, к объекту.

И вот теперь я могу ответить на ваш вопрос, Ислам Имранович. Теперь я говорю: понимание неразрывно связало со знаковостью. Понимание есть та функция, которая обеспечивает существование знака, можно сказать – создает знак как знак.

И суть, содержание этого понимания состоит, если хотите, в том, что оно, понимание, переводит сигнал в знак. И делает некий материальный объект знаком с соответствующим отношением к объекту.

Ильясов. Но должен быть еще процесс, в результате которого появятся объект и знак, который потом соединит их в понимании. Вот этот процесс и есть мышление...

Нет. Мне приятно слышать вашу точку зрения, я принял ее к сведению, но я говорю: с моей точки зрения, все иначе. Первое: объект уже есть. Он есть как *объект оперирования* – не «объект», а «объект оперирования». Я говорю: объект первоначально выделяется реакцией, превратившейся в действие.

– А есть механизм у этого превращения?

Да. Я построил довольно развернутые модельки, и мне кажется, что они мне объясняют, как это все происходит. Понимание – это очень простая и в этом смысле мгновенная функция: использование некоторой вещи как знака, т.е. как обозначающего нечто другое.

А что значит «обозначающее»? А вот, смотрите: фактически, этот знак, сохраняя свою сигнальную функцию, обеспечивает связь действия с объектом при адекватности объекта и действия – вот в чем его функциональная роль. У него сигнальная-то функция была, он действие вызывал, а теперь он обеспечивает соответствующий выбор объекта. И поэтому, смотрите, ведь эта схема-то – та же, что у Выготского, или, по крайней мере, очень близкая. И я говорю: вот начальная, исходная функция знака – он замыкает внешним образом действие и объект. А делает он это за счет такой вот особой вещишки, которая называется нами пониманием, но содержание у него вот такое: он захватывает материал знака и материал объекта.

Вот это есть понимание.

Ильясов. А как вы называете тот процесс, который создает все элементы этой сложной связки?

Деятельность.

Ильясов. А деятельность – это что, руки-ноги? Поведение?

Нет. Вы мне задали один вопрос. Я ответил: деятельность. А поведение – это то, что без знака, то, что было раньше.

Сегодня у нас поведение – знаковое, больше того, только знаковое. Поскольку у меня каждая следующая форма снимает в себе предшествующие, переорганизует их. Поэтому сегодня у нас нет *восприятия* и *пред-*

ставления, у нас есть только либо *понимание*, либо *мышление*, которые захватили представление, восприятие.

Я сейчас вам очень бегло поясню, как я различаю сигнал и знак (сигнал у меня замкнут на реакцию, знак замкнут прежде всего на объект – есть отнесение к объекту), и рассказываю вам, посредством какого движения я к этому пришел.

Ильясов. Люди, которые говорят, что мышление предшествует пониманию, имеют в виду то, что вы называете деятельностью, и поэтому разница чисто терминологическая.

Нет. Я принимаю их терминологию, признаю их право называть, как они хотят, все что угодно, оставляю за собой право их читать или не читать, но твердо знаю одно: что они называют это иначе. Я, главное, знаю, в чем мы отличаемся; я знаю, я понимаю, что говорю я и что говорят они. Вроде бы я уже ответил Игорю Серафимовичу. Если бы вы этот момент ушли, то не говорили бы того, что говорите сейчас.

Двинулись дальше. Мне хочется очень коротко ответить на вопрос о взаимоотношениях мышления и понимания. Следующие два хода состояли в том, что мы ввели – это 1952–1954 гг. – такое представление о действии, мыслительном действии, которое свертывало эти два момента. У нас получалось, что каждое мыслительное действие имеет две разнородные компоненты: сопоставление некоторого нового объекта с объектом-эталоном (по отношению к некоторому объекту-индикатору – тут вводились процессы отождествления и растождествления) и перенос на основе этого тождества (или отрицание переноса) знака, обозначавшего раньше этот объект-эталон, на объект X.

Вот это было наше, универсальное для нас, представление о мыслительном действии и выделение того, что мы тогда называли мышлением. Что мне здесь важно? Что тут снимались два разнородных момента: с одной стороны, вот это сопоставление с отождествлением, а с другой – перенос и развертывание смысла знака за счет захвата нового объекта X. Это была, вместе с тем, исходная, элементарная машина мышления.

Тогда же, где-то в 1954–1955 гг., была задана та схема, о которой я рассказывал в первом докладе, схема исходной коммуникации, т.е. переход ситуации в некоторую знаковую форму, выделение тем самым ситуации содержания и отображение этой самой знаковой формы в новое содержание в новой ситуации.

Вот эти две схемы, соединенные с исходной схемой знака в его отличии от сигнала, и дали базу для дальнейшего развертывания представления о понимании и мышлении.

Я пропускаю 16 глав и перехожу к очень короткому ответу на вопрос, каково же отношение между мышлением и пониманием, с моей нынешней точки зрения.

В тех случаях, когда, получив текст некоего сообщения, мы можем перейти к объектам (они есть перед нами, и нам достаточно указания на них), мышление не нужно. Осуществляется простая коммуникация-понимание. Без всякого мышления. И когда я могу, исходя из этой ситуации, перейти к некоторой знаковой форме, выразить то, что здесь было, в знаковой форме – мышление не нужно, все осуществляется без мышления. Поэтому я бы повторил: люди мыслят невероятно редко, а разговаривают они постоянно. И прибавил бы к этому любимое мною место из Короленко. Он рассказывал о своем учителе, который пришел в гимназию и спросил: «Господа, вы мыслите?». Те сказали: «Да, конечно, мы уже в восьмом классе». Он говорит: «Вы сидите, думаете о том, сколько минут осталось до звонка, и при этом вы считаете, что вы мыслите!».

Люди мыслят очень редко – лишь по необходимости. Потому что, в общем-то (опять же повторяю мысль Ульдалля), это им не нужно.

Когда же начинается мышление? В том случае, когда надо построить схему идеального объекта, чтобы осуществить интенциональный акт, поскольку понимание вроде бы осуществляется, а упереться этой интенциональности, этой акции отнесения, не во что, т.е. нет объекта, соответствующего знаковой форме данной ситуации, у нее нет содержания – и тогда приходится конструировать это содержание.

Но как? Либо материально-вещно, либо в знаках – это абсолютно неважно; на место объекта или объективного содержания может быть подложен знак. Либо же, более сложный случай, вторичный, возникший много позднее, – когда надо сконструировать адекватную знаковую форму. Но это уже предполагает невероятно сложные вещи – понятие истинности, адекватности, очень сложные эпистемологические, логические структуры. Так что это возникает много позднее – люди начинают конструировать язык позднее, чем они начинают конструировать объекты. Но это конструирование объекта есть, вместе с тем, развертывание языка – всегда языка, как это ни странно.

Так вот, для меня мышление есть такая конструктивная работа, т.е. развертывание знаковой символической сферы в контексте трудностей коммуникации, понимания, возникающих либо из-за отсутствия объекта, к которому надо прийти, либо из-за отсутствия знаковой формы, в которой его надо выразить. Поэтому мышление всегда связано с муками, муками творения, и реализуется как конструирование в контексте взаимопонимания в процессе коммуникации.

– А знаковая форма содержания – это не объект?

Нет. Это интенциональная плоскость, т.е. то, с чего понимание снимает как бы проекцию, и то, во что понимание упирается. Вообще-то, это есть то, что называл смыслом Готлиб Фреге. Но не для меня. Для меня смыслом являются вот эти структуры отношений. Но это уже другие проблемы.

– *Существует один механизм понимания?*

Существует бесконечное множество механизмов понимания. Они могут быть исторически соотнесены и типологизированы. Больше того, я ведь работаю функционально. Я вам описывал функциональную определенность понимания и мышления в отношении друг к другу и к коммуникации. Я не отвечаю на вопрос о морфологии, потому что все, что дальше будет вкладываться в эту функциональную структуру, будет пониманием, а морфология может быть самая разная. Больше того, я считаю, что морфологический подход бессмыслен, когда мы говорим о таких вещах.

Понимание и мышление (2) *

1.

Основной смысл этого доклада для меня в контексте работы нашего вторичного семинара состоит в том, чтобы очертить основные фокусы широкого круга проблем, центрирующегося на проблемах понимания.

В силу такой установки я буду набрасывать достаточно широкую схему и должен буду обращаться к некоторым вопросам, которые уже нами проработаны. Я не буду их детально развивать, а только намечу их место. В других случаях я буду рассматривать вопрос более детально – когда это новый для нас вопрос или когда его приходится рассматривать в нетрадиционных для нас аспектах.

Во многом этот доклад примыкает к тому, что я начинал делать на заседании Комиссии по психологии мышления и логике ¹, а в каком-то плане он будет самодостаточным.

1. Последние пять, а может, и семь-девять лет работы нашего семинара, мы все больше обращаем внимание на *понимание* как таковое, стремимся выделить его специфические моменты, разработать специфическую технику понимания и даже представить понимание в некоторых онтологических схемах, с тем чтобы затем образовать на базе этих схем несколько специальных предметов изучения. Мое утверждение не означает, что раньше мы вовсе не занимались вопросами понимания. Наоборот, эти проблемы мы всегда обсуждали, но особенность нынешнего этапа состоит, наверное, в том, что нам удалось выделить понимание как особую и специфическую действительность нашей техники и наших исследований. И сейчас, в свете этих новых представлений, можно даже сказать, что особая, более детальная, чем обычно, техника понимания является специфической особенностью методологической работы.

И здесь я формулирую резкий тезис. Мы всегда фиксировали феномены понимания, стремясь их выделить и описать, но считали, что мышление (и только мышление) образует ядро методологической работы. Сейчас я бы рискнул отказаться от этого представления и сказал бы, что не мышление, а именно понимание образует целостность методологического мышления. Не «не только мышление», а именно так: не мышление, а понимание.

– *Может быть все-таки, «не только мышление, но и понимание»?*

Смотря какой вы смысл вкладываете в эти термины. Если тот, который у нас был два года назад, то будет одно, а если тот, который я сейчас хочу вложить, то совсем другое.

* Доклад на «вторичном» семинаре (6, 13 и 20 января 1981 г.). Арх. № 2062.

¹ См. с. 482–490 настоящего издания.

Ведь мыслительная работа, которую я сейчас осуществляю, требует очень жестких демаркационных линий и оппозиций. Поэтому я не могу говорить «не только, но и ...». Я должен сказать «не мышление, а ...», с тем чтобы провести демаркационную линию.

А так как понятия взаимоопределяются через борьбу за пространство—время и вроде бы взаимно ограничивают и взаимно определяют друг друга, то я, таким образом, теперь сужаю понятие мышления. В этом, собственно, смысл и того доклада, который я делал на Комиссии, и того, который я делаю сейчас: произвести новые разграничения понятий, внести определенные уточнения, сузить понятие мышления, расширить понятие понимания, установить между ними новые отношения, т.е. повернуть все наше видение в другом ракурсе, и в этой связи изменить акценты на многих проблемах, сменить центрацию, фокусировку, а вместе с тем и структуру того смыслового облака, которое разворачивается в нашей работе.

Мысль моя состоит в том, что мы в этой иерархии как бы меняем местами понимание и мышление. Мне кажется (и эту мысль я резко сформулировал уже в докладе на Комиссии, но сейчас я бы ее повторил), что в любой человеческой мыследеятельности понимание является основным и фундаментальным процессом, с анализа которого мы и должны начинать, а мышление носит вторичный характер.

— *А не является перестановка акцентов методическим приемом?*

Нет, не является. Я придаю всем этим утверждениям онтологический статус. Общеонтологический статус. Больше того, я даже говорю, что, наверно, так происходит во всякой мыследеятельности. Понимание всегда является исходным процессом, на котором затем за счет специальной организации возникает мышление.

И поскольку понимание есть основной, фоновый процесс, причем именно он задает смысловую целостность — я подчеркиваю, не содержательную, а смысловую, постольку в этой проекции на понимание особенность нашей методологической работы состоит в том, что мы очень сильно углубили технику понимания.

Наверное, можно сказать, что методологи нашего круга тем и сильны, что они, в отличие от других, лучше понимают. И это дает им возможность работать безотносительно к частному предметному содержанию. Когда меня спрашивают: а как вам удастся работать с дизайнерами, с физиками, с химиками, с инженерами без знания содержания их работы? — я говорю: а методологу не надо знать содержание, если у него развита функция понимания. И в этом смысле понимание как обеспечивающее правильные условия коммуникации и организации коллективной кооперированной деятельности и есть основная функция. Тот, у кого она развита, может работать, не зная многих предметных содержаний, не имея соответствующих знаний. Он восполняет их отсутствие мощью своего понимания.

И техника игр, техника коллективной работы, вовлечение в нее специалистов разного профиля – все это становится возможным на базе развитого понимания.

– Вы сказали «основной фоновый процесс». Это как? Через черточку, через запятую?

Без всяких знаков. Оба слова отдельно и с большой буквы, как в немецком языке.

Это серьезный вопрос, лежащий за пределами рассудка и требующий разумного отношения. Ну что такое основной и фоновый? Рассудительный формалист сказал бы: если основной, значит, не фоновый, а если фоновый, значит, не основной. И это все верно. Но именно поэтому я здесь и ставлю рядом эти два термина: он – Основной и Фоновый.

Что я этим хочу сказать?

Системный подход, представления об основных категориях системного анализа (процесс, структура, организованность, материал), представления о соотношении искусственного и естественного, о сложных склейках, об отношениях симбиоза, паразитирования и т.д., – весь этот круг основных определений и характеристик наших системных представлений дает нам возможность модельно, а не только спекулятивно-диалектически сочленять эти определения.

Я ведь хочу сказать, и фактически сказал, что мышление – это организованность, возникающая внутри понимания, внутри процессов понимания. И в этом смысле мышление подчиняется законам понимания, если мы его не вырываем из того контекста, в котором оно существует. При этом возможны два принципиально разных способа оестествления понимания и мышления.

Мы, например, можем – я обсуждал этот вопрос в 1973 г. – оестествлять понимание через мышление, рассматривая понимание как условие мышления. А можем оестествлять мышление через понимание. Это, если хотите, две разных линии и стратегии вживления организованностей мышления в материал.

И в этом смысле могут быть мыслящие, но ничего не понимающие. Могут быть люди понимающие и не мыслящие. Но могут быть люди, мыслящие через понимание. Соответственно, могут быть люди, понимающие через мышление.

Когда я говорю «основной фоновый процесс», то я тем самым, намечая особую линию оестествления, т.е. мышление должно оестествляться через понимание, и понимание должно быть при этом ведущим процессом, определяющим способы использования мышления, мыслительных средств, мыслительной техники. Вот что это означает.

2. Проблему взаимоотношения понимания и мышления (а смысл всего дела я уже передал в предыдущем тезисе) я могу охарактеризовать на категориально-онтологическом уровне.

Когда я говорю «на категориально-онтологическом», я фокусируюсь на категориях, но трактую их как имплицитно несущие в себе онтологическое представление. Поэтому я и говорю «на категориально-онтологическом уровне» – на категориальном, но имеющем своим пределом онтологическое представление. Он более категориален, чем собственно онтологический уровень. Но кстати, категория ведь обязательно «упирается» в онтологию. Одним «концом» она упирается в логику, другим – в язык, третьим – в онтологию, четвертым – в понятие. Здесь надо просто вспомнить схему категорий и представить себе способы фокусировки, способы схематического развертывания.

Так вот, я работаю сейчас в категориально-онтологическом плане; я характеризую проблему на уровне категорий, но категории мыслю как бы спроецированными на онтологические схемы. И вот тогда я должен каким-то образом соотносить между собой такие категориальные понятия, как деятельность, сознание, рефлексия, понимание, мышление. Тем самым я буду вписывать мои представления о понимании и мышлении в более широкую объемлющую систему.

Пока я только постулирую нечто, не обосновывая этого, хотя эту работу я проделал и вроде бы достаточно четко сейчас представляю себе здесь все моменты и даже механизмы. Но коротко я бы мог сказать, что понимание, на мой взгляд, есть особая организованность рефлексии.

В этом смысле *рефлексия есть родовое понятие для понимания*.

Поливанова С.Б. *Организованность или организация?*

А в чем разница? Вообще-то, было бы точнее, если бы я сказал: организация и организованность.

Понятно, почему ты спрашиваешь: если мы имеем дело с рефлексией как процессами, то ты бы, скорее, сказала, что понимание есть организация процессов рефлексии. И это так. Но ведь эта организация должна в чем-то фиксироваться, в частности в определенных организованностях. Ведь если мы говорим о технике понимания, то мы должны спросить себя: а в чем же эта техника существует? Она осуществляется как особая организация процессов. Но она не только осуществляется, но и всегда *существует*, и может транслироваться (я об этом дальше скажу).

Но тут вторая онтологическая трудность, о которой ты говоришь. Оказывается, что понимание есть организация рефлексии, а как организованность рефлексии оно (понимание) фиксируется в мышлении и мыслительных организованностях.

Мышление и оказывается тем, что несет на себе организацию понимания, технику его, и обеспечивает определенную организацию процессов рефлексии как понимания. И теперь я могу сделать следующий шаг: понимание есть тот вид рефлексии, который возникает в связи с появлением знаков.

Итак, понимание есть рефлексия знаков, или рефлексия означкованного. Именно в этом смысле понимание есть вид рефлексии. Поэтому я

бы мог теперь расширить этот тезис и сказать, что не только мышление несет в себе организованности понимания, но и речь-язык в этом смысле непосредственно выражает эти организованности и, следовательно, может их нести.

В результате у меня получается определенная иерархия самих этих категорий. Я пока их просто как бы разношу по этажам.

Мне очень важно, что сознание принадлежит уже к другому уровню иерархии, чем деятельность и мыследеятельность.

Я бы критиковал основной тезис советской психологии 30-х годов – тезис Рубинштейна–Леонтьева о единстве деятельности и сознания. То, что деятельность и сознание существуют в единстве, конечно, верно – но только в том же плане, как, скажем, стул и его ножка существуют в единстве. Этот вульгарный пример показывает бессмысленность самого этого утверждения. Не в этом состоял тогда смысл этого тезиса – и как раз в том была ошибка, что не в этом.

Теперь начинаются сложности с рефлексией. Мы уже их не раз обсуждали и еще будем обсуждать. Рефлексия, с одной стороны – я это уже обсуждал в лекциях о принципах построения теории мышления в 1978–1979 гг. – относится нами к сознанию, а с другой – к деятельности. Но не в смысле деятельности вообще, а, как я говорил, она *включается* в деятельность, т.е. опять-таки принадлежит другому уровню, более низкому, и там рефлексия выступает как момент, механизм, развития отдельных структур и систем деятельности. Это тезис 1966 г., потом отраженный в «кирпиче» [Щедровицкий 1975 б].

Но с тех пор мы обсуждали рефлексию как такие очень странные процессы – процессы, скажем, интенционального толка. В свете этих представлений о рефлексии я и строил модель работы сознания (как раз в лекциях 1978–79 гг.) как осуществляющего рефлексию – именно *осуществляющего* рефлексию за счет своего специфического устройства.

И если мы ввели рефлексию как механизм развития деятельности за счет внутреннего элемента деятельности, мы можем дальше переходить к пониманию, и понимание по отношению к рефлексии будет категориальным понятием следующего, еще более низкого уровня. Это будет, следовательно, особый вид организации рефлексии и особый набор организованностей, которые обеспечивают эту организацию. А уже дальше мы должны вводить мышление – на следующем нижнем уровне иерархии категориальных понятий – как особую форму организации процессов понимания, с одной стороны, и как возврат к деятельности и появление мыследеятельности – с другой. Мышление, таким образом, выступает как форма замыкания понимания на деятельность.

– Этот тезис непонятен. Почему тогда понимание является основным процессом? И где? Или я что-то неправильно понимаю?

Нет, вы все правильно говорите. За исключением одного. У вас вы-

зывают недоумение способы системного замыкания одного на другое. Я бы ваши вопросы спроецировал в два плана, очень важных, но недостаточно проработанных (это две группы задач, сейчас перед нами стоящих).

С одной стороны, ваши вопросы касаются техники перехода от онтологических представлений к предметным, той техники, которую мы в последние годы обозначили как технику представления. Когда мы работаем в системных онтологиях, а затем должны что-то выделить из сложных полисистем и предметно рассмотреть – собственно, вырвать нечто из системы и рассмотреть автономно и изолированно мы можем только за счет этой техники фокусировки, – так вот, когда мы это должны сделать, т.е. перевести в автономное, изолированное предметное рассмотрение какие-то моменты, мы осуществляем вот такой прием фокусировки и переходим к предметным представлениям. Потом мы должны осуществлять обратную процедуру перевода фокусированных представлений в системные, т.е. обратного помещения предмета в онтологию. И это, как правило, вызывает большие затруднения. Это – тот тип обратных задач, которые мы до сих пор либо вообще не научились решать, либо решаем очень плохо. Это один план ваших вопросов.

Другой, еще более сложный, план, касается соотношения генетического и структурного аспектов в системных образованиях, т.е., проще говоря, это – вопрос о том, как процессы происхождения и развития в органических целостностях и популятивных целостностях такого типа, как деятельность, мыследеятельность, мышление, понимание, свертываются в структуру и как они существуют. Собственно, вы именно об этом и спрашиваете. Потому что если глядеть на мыследеятельность в структурном срезе, то, конечно, мышление и деятельность будут основными, а понимание оказывается лишь вторичным механизмом. Собственно говоря, так мы это всегда и рассматривали; и поскольку мы, как правило, недостаточно реализовали в наших исследованиях декларированный нами принцип исторического подхода – ну не могли просто сделать этого достаточно строго, вынуждены были оставаться в структурном плане, – постольку у нас мышление и выходило на передний план, а понимание уходило назад, и мы его никак не могли ухватить. То же самое было с рефлексией.

Но если мы теперь реализуем эти принципы достаточно строго... А кстати, ведь мы их обсуждали всегда. Если вы посмотрите мою статью «О происхождении языка» [Щедровицкий 1963] (она написана в 1956 г., когда обсуждалась проблема происхождения мышления) или, скажем, брошюрку «Проблемы методологии системного исследования» [Щедровицкий 1964 а], где есть специальный разделчик о генетическом системном анализе, то вы увидите, что там этот вопрос поставлен очень резко. И в книжке Б.А.Грушина – тоже, хотя там это сделано не совсем приемлемым для меня образом.

Так вот, если мы все это поставим достаточно резко, а это я сейчас и попытаюсь сделать, то мы увидим, что в этом смысле фоновые процессы

и являются основными. Поскольку исторические процессы и процессы эволюции, генезиса, становления, развития как раз и являются таковыми. Эти исторические процессы выступают как фоновые для структур и организованностей, для того, что мы рассматриваем в плане функционирования.

– А если рассматривать не просто генетически и структурно, а еще трансляцию...

Ничего не меняет. Это все идет на фоне трансляции, но проблема здесь – в соотношении структурного и исторического. И мой тезис «Фоновый Основной» содержит в себе утверждение, что для такого рода образований, как мышление, понимание, историческая точка зрения является основой. Этот тезис я очень резко подчеркивал в начале 70-х годов в длинных обсуждениях существа методологической работы (это семинары 1971, 1972 и 1973 гг.). Там подчеркивалась та мысль, что мышление вообще может рассматриваться только как исторический процесс. И, наверно, мыследеятельность тоже. В этом смысле все структурные срезы являются неадекватными для такого рода образований. Тем самым это ведь другой момент тезиса о том, что мышление, деятельность принадлежат не индивиду, а человечеству, а человечество существует в истории. Рассмотрение в структурном плане каждый раз дает дефицитность.

Правда, я бы сейчас вернулся к очень важным работам В.Я.Дубровского и А.А.Пископеля, посвященным проблеме акта. Вроде бы Дубровский центрировал все на акте и, следовательно, на индивидуализации. Этот момент представляется мне сейчас сложным. Но я бы вписал все это в контекст обратной задачи, т.е. положил бы историческую точку зрения как основную, как (опять-таки пользуюсь этим выражением) «основной фон». Я бы теперь начал обсуждать то, как же теперь происходит индивидуализация исторически развивающегося мышления, мыследеятельности, как человек выступает – и в смысле Бергсона, и в смысле Маркса, как хотите – как момент исторической эволюции мыследеятельности и как на нем, в его онтогенезе и в процессе его индивидуальной жизни, реализуется этот отблеск исторического процесса.

И тогда мы бы пришли к вопросам задания акта как функционирующей системы и структуры. И было бы очень важно использовать все, сделанное Дубровским и его группой, начиная с 1969 г. и по настоящее время.

На этом я мог бы закончить свои замечания по вашему вопросу.

– Можно ли сказать, что «фоновый» есть основной, потому что он выступает в качестве механизма? Или лучше так не говорить?

Лучше так не говорить. Фоновые процессы являются для этих структур основными, поскольку процессы исторического развития этих целостностей являются основными и превалируют над всеми структурными образованиями. Я бы сказал так: все эти функционарные структуры оправданы, существуют, закрепляются лишь в той мере, в какой они обеспе-

чивают процессы воспроизводства и исторического развития процессов воспроизводства. А все то, что не удовлетворяет этим условиям, отсеивается, гибнет и идет в какие-то субкультуры, которые скоро вырождаются и исчезают из целого. Они обращаются в экскременты этого сложнейшего процесса, хотя и существуют.

– Это значит, что определять могут не только механизмы?

Тут более сложный вопрос. Я ведь, фактически, спрашиваю вас: можно ли основной процесс исторического развития считать механизмом для функционарного отправления?

Вы меня что спрашиваете? Могу ли я считать всю предшествующую историю человечества подготовкой к моему рождению и осуществлению? Ну да, если я «псих ненормальный», я могу иметь и такую точку зрения, что вообще все, что происходило в истории человечества, это лишь механизм, который дал мне возможность осуществиться. Интеллигенция, особенно московская, обычно на такой точке зрения и стоит. Но это, тем не менее, не делает такую позицию культурной.

Поэтому я переворачиваю: нет же, история не для того осуществлялась, чтобы нас с вами реализовать; она просто осуществлялась, а мы с вами должны оценивать осмысленность своего существования и своих действий относительно этого процесса. Это мы суть механизмы этого процесса, а не он – механизм нашего существования.

– Можно ли сказать, что «деятельность или мыследеятельность» располагается на верхних уровнях, потому что происходит рефлексивное замыкание мышления на деятельность?

Нет, конечно. Без «потому что». А то, о чем я говорил, это, конечно, есть вопрос идеологии. Формально, каждый московский интеллигент может считать, что весь мир крутится только для того, чтобы он мог свою работу выполнить. Формальный принцип относительности здесь работает. Но он, с точки зрения здравого смысла и понимания, бессмыслен – как всякая фокусировка, перестающая понимать себя как фокусировку. Вы можете осуществить такую фокусировку, но вы должны знать, что вы сделали, т.е. должны привести ее в соответствие с рефлексией и пониманием. А дальше есть некоторые соразмерности, масштабы. <...>

3. Здесь, как и во всех наших заходах, мы имеем две группы принципиально разных целей и задач.

С одной стороны и прежде всего – я уже говорил об этом, – это развитие техники понимания. И лишь во вторую очередь это – изучение процессов понимания и фиксация знаний о понимании в предметных или квазипредметных формах.

Весь этот круг вопросов надо, наверное, рассматривать в тоже очень важном для нас разделе, касающемся взаимоотношений между техниками и исследованием и синтеза всего этого в том, что мы называем инженерией.

Я бы хотел здесь отметить только два момента.

Первое. Техники в каком-то смысле беспредметны. Они, скорее, ситуационны – это важно. Хотя само это соображение появилось у меня совсем недавно, и я его зафиксировал с большим для себя, в каком-то смысле, удивлением. Но вроде бы те схемы, которые мы сейчас разворачиваем – и они кажутся правдоподобными – показывают, что, действительно, техники если и предметны, то не в том смысле, как предметы изучения. Там другой тип предметизации. Они скорее включаются в какие-то деятельности, обслуживают их. Характер оргуправленческого воздействия на объект определяет характер техники, и эта зависимость, характер реализации техники лишает техники возможности быть предметными.

Хотя, если вы обратитесь к истории, и начнете обсуждать вопрос о том, почему электротехника или теплотехника именно таковы, может быть, вы там найдете реализацию некоторых принципов универсализма.

Я-то думаю, что все наши представления о пространстве, времени, о полях электромагнитных – например, максвелловские представления с источниками поля и с отрицательными источниками, т.е. поглотителями – все, это, представляемое как естественное устройство мира и природы, есть не что иное, как отражение нашего искусственного мира, мира электромоторов, динамомашин и тока, идущего по линии передач. А уж затем это все было оестествлено и натурализовано. Я-то думаю, что в ближайшее десятилетие физики снимут шоры со своих глаз (вроде бы они уже начинают это делать) и поймут, что под видом изучения природы они изучают лишь свои собственные творения.

Я так, для игры, могу показать вам, насколько смешна вся эта метафизика современной физики. Ее зависимость от наших технических устройств совершенно очевидна. И невозможность выйти на природу тоже очевидна, так как, какие выкрутасы ученые ни делают, они каждый раз остаются в пределах своей техники. Но все же, возвращаясь к вопросу об электротехнике, приходится сказать, что происходит процедура оестествления, и поэтому техники приобретают не свой, для них «естественный», то бишь искусственный вид, а начинают трактоваться как слепок с природы. Посмотрели в замочную скважину, увидели, как там природа машинообразно устроена, и слепили вроде бы. Но вместо того, чтобы вот это понимать – что это мы строим технические устройства и потом их квазинатурально описываем, – мы все время делаем вид, что мы подглядываем какие-то тайны природы, открываем ее законы, а потом в соответствии с этим строим эти самые машины. И происходит оестествление, или натурализация. И за счет этого появляется представление о вроде бы универсально предметно организованной технике. Но техника, говорю я, и хотел бы дальше обсудить этот тезис, техника носит, скорее, ситуационный характер.

– А как она транслируется?

Вот это вопрос! По существу дела. Надо ответить на вопрос: а как же она транслируется?

– Или это связано с искусственным и естественным?

На мой взгляд, это связано с искусственным и естественным, но я-то гляжу в этот вопрос глубже. Да, действительно, если это ситуативно, то надо вместе с ситуацией и транслировать. А ситуации не транслируются, и, больше того, вроде бы их бессмысленно транслировать. Хотя я бы с этим сейчас не согласился и сказал бы, что транслируются именно ситуации (классический пример тому – Библия). Больше того, я бы вообще, может быть, попробовал показать, что воспроизводятся постоянно именно ситуации и что, собственно, это наша ошибка, что мы техники рассматриваем в их воспроизводстве и, соответственно, трансляции как предметизованные. Вроде бы это псевдоформа, или превращенная форма, а вообще-то происходит так, что они транслируются ситуационно. Я бы принял для игры такой тезис и постарался бы его развить, но пока я оставляю этот вопрос. Фактически, введя это представление о техниках, которое я привязываю к организации, управлению и руководству, я как бы начинаю членить то, что мы до сих пор никогда не разделяли. Мы с вами говорили о социотехнике, антропотехнике, психотехнике, культуротехнике и т.д., и при этом вроде бы организация, руководство и управление и были такими техниками. А меня постоянно спрашивают: «А какая разница у вас между практикой и техникой?».

Вот, может быть, здесь нарушается это соотношение между практикой и техникой, выпадает какое-то функциональное звено. Но я просто обращаю на это ваше внимание и говорю, что в моем представлении техники замыкаются на практику; отсюда интересный парадокс – педагогика как антропотехника, и она же выступает как практика по отношению к социотехнике, психотехнике, культуротехнике и т.д. То есть у нас явно не хватает понятий. <...>

И, следовательно – я обсуждаю цели и задачи – мы должны, с одной стороны, развить технику понимания, а с другой – построить соответствующие предметы изучения понимания. Но тут мы сталкиваемся с многообразием этих предметов. Например, одно дело – рассматривать понимание в контексте изучения коммуникации, понимание как момент коммуникации, когда мы строим теорию коммуникации. Другое дело, тоже вполне возможное – когда мы понимание рассматриваем в контексте мыследеятельности. Или в контексте чистого мышления. Или, скажем, мы начинаем обсуждать понимание как таковое и строить герменевтику как такую предметную дисциплину или предметную теорию.

Значит, здесь должен быть развит соответствующий набор предметных представлений, связанных с пониманием, и при этом все эти предметные представления должны быть еще соотнесены с соответствующими техниками. Потому что, какую бы технику мы ни рассматривали – куль-

туротехнику, социотехнику, антропотехнику, – мы каждый раз столкнемся с вопросами о понимании и должны будем их развивать в этом ракурсе. Но это, повторяю, вроде бы проблема уже не по отношению к пониманию как таковому, а проблема соотношения между «практиками» – условно вводим такой термин, – техниками и исследовательскими предметами. И для того, чтобы двигаться дальше в изучении проблем понимания, мы должны эту часть очень четко проработать.

Нам нужно схематизировать понимание как таковое; эти схемы будут выступать, с одной стороны, как оргсхемы, которые организуют нашу технику понимания именно как процессы и переводят ее в форму организованной деятельности. Мы, таким образом, понимание будем превращать из фоновых процессов в деятельность особого рода, деятельность по пониманию, или деятельность понимания. С другой стороны, наверное – и я этот тезис формулировал очень резко в последние месяцы, – не будет у нас этих техник – не будет и соответствующих исследовательских предметов. Значит, нам нужно эти технические схемы затем, в процессе их онтологизации и объективации, трансформировать и затем, соответственно, натурализовать и довести до выявления эмпирического материала, касающегося понимания.

Таковы наши задачи.

Но путь к этому сложен, и он проходит через соответствующую критику, в частности историческую критику наших представлений о понимании. И поэтому в следующем, четвертом, пункте я хочу вернуться уже к историческому обзору подходов к проблеме понимания и попробовать расположить их в некоторой хронологии, наметив – правда, очень эскизно и на память – основные фазы нашего общего продвижения.

– А чем отличается наше оестествление от традиционного?

Двумя моментами. Во-первых, тем, что мы понимаем, что это оестествление, а во-вторых, следовательно, свободой и трансформацией самих схем. Поэтому что, если мы знаем, что мы технические и организационные схемы оестествляем, то ведь это значит, что мы знаем, что технические схемы суть технические схемы, а следовательно, их как таковые оестествлять нельзя. Мало того, что мы знаем, что эта наша процедура во многом произвольна, мы еще, кроме того, знаем, что в этой процедуре всегда заложена ошибка, которую надо исправлять, так как оргсхема принципиально не может оестествляться.

Поэтому сама онтологизация, объективация и, в дальнейшем, оестествление этих схем происходят и возможны только в процессе их пошаговой трансформации. Короче говоря, чтобы оестествлять схемы, их надо переделать – согласно законам оестествления. И раз мы это понимаем, мы такую их переделку производим. В то время как все другие – как в примерах с максвелловской теорией поля или лоренцевской электродинамикой, или с современными квантово-механическими представлениями в физике

– делают это, совершенно не понимая, что это делают они и что для этого надо трансформировать схему. Поэтому они никак не могут прийти до того, к чему стремятся – до естественного закона. Больше того, они никогда не знают, когда нужно стремиться к естественному закону, а когда – нет. Может быть, очень часто и не нужно. Если вы сделали синхрофазотрон хуже или лучше, то его совсем не надо оестествлять и не надо говорить, что мир состоит из этих ваших синхрофазотронов, естественно устроенных и т.д. Все время не учитывается техническое устройство как условие выделения некоего куса действительности.

– Вы говорите как бы через запятую о технике трансформации схем, а потом о законах оестествления – как будто это одно и то же.

А для меня это и есть одно и то же. Я занимался понятием закона и показал, что делает техническое правило законом – как раз эта процедура оестествления, полагаемого или реализуемого. Когда вы это сделали, то техническое правило становится законом. Закон это всегда и обязательно правило, и только как правило он, закон, имеет для нас смысл. Как техническое правило. Но это правило особого рода, а именно особым образом, т.е. при соответствующих условиях, оестественное. Тогда это закон.

– Но ведь так можно продолжать до бесконечности – оестествление правил оестествления?

А нет никакого «оестествления правил оестествления». Правила оестествления искусственны.

– А после этого вы начинаете говорить о законах...

Так я могу как угодно. Я в логике квазигегелевской могу говорить о законах. Я все могу. Самое главное, что у меня все осмысленно, поскольку отрефлектировано. Я делаю и говорю: я делаю это. И если я даже залез на 7-й этаж или на 11-й, у меня тоже маркер стоит: в одном – 7-й этаж, в другом – 11-й. И поскольку все маркировано, я все могу. Плохо, когда залез на 7-й, а думаешь, что на 11-й.

Я понимаю, что это странно. Но больше ничего не нужно. Как сказал Дубровский: «Уж, осознавший себя Ужом, полетит». Но это вызывает у всех протест, хотя это невероятно красиво; все твердо стоят на том, что сколько бы Уж ни осознавал себя Ужом, он не полетит. <...>

Двигаемся дальше. В докладе на Комиссии я начал с работ 1952–1954 годов. Эти работы были связаны с попыткой объяснить происхождение языка и мышления, во всяком случае, вывести структурные схемы из генетических. Реально-то именно там были впервые развернуты достаточно сложные схемы – и линейно разворачивающиеся, и в плоскостях замещения, и т.д., – основные элементы структурно-функционального анализа таких схем. В частности, обсуждался вопрос о различии и сходстве

между сигналом, знаком и символом. Я уже говорил там, что, на мой взгляд, сигнал, или стимул – в плоской бихевиористской традиции они по понятию синонимы, – непосредственно связан с действиями и вызывает эти действия. Знак же, в отличие от сигнала, предполагает совершенно другой тип отношения, а именно интенциональный выход на объект и, следовательно, замыкание между объектом и действием, которое связано с материалом этого знака как с сигналом.

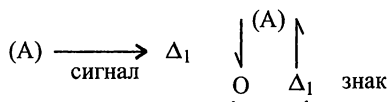


Рис. 1

При этом тогда, в 1952–1954 гг., разработка всей этой области шла на, по сути дела, псевдокоммуникативных структурах. Все время присутствовали два «коммуниканта» – две вороны, две обезьяны, два таракана и т.д., – которые связывали свое поведение через сигналы, превращающиеся в знаки. В этом плане и на этих схемах я обосновывал бы и тезис, что понимание является основной, фоновой функцией или основным, фоновым процессом, потому что я до сих пор не нашел никаких других путей объяснения происхождения знаков, – речи, с одной стороны, и мышления, с другой стороны, – кроме как выводить их через такую вот связку. Сигнал-знак производится не в качестве сигнала-знака или материала сигнала-знака; он просто производится. Пример: ворона, взлетающая в испуге, очень торопится, судорожно хлопает крыльями и набирает воздух, из-за чего получается специфический звук. Это лишь сопровождающий факультативный процесс, а не сигнал и не знак, производимый как таковой. Но вот для тех, кто слышит этот звук, или, точнее, этот шум, он уже несет сначала сигнальные, а потом и знаковые функции. Поэтому, фактически, и сигнал, и знак появляются только на другом конце связки передачи. В этом смысле я и могу сказать, что нет никакого активного мышления, активного выражения чего-то, а есть лишь трактовка, интерпретация, толкование чего-то.

Здесь важно, что функция первична. Берем ли мы первую схему «стимул – реакция» или «стимул – соответствующее действие», или вторую схему «знак – отнесение к объекту – параллельно осуществляющееся действие», неважно, какую из этих схем мы берем, бихевиористскую или семиотическую, – во всех случаях функция первична. Собственно, функция, или употребление, и порождает это образование.

Вот в этом я сегодня вижу единственный путь объяснения подобных явлений. И в обоих случаях, сказал бы я, ведущим является то, что мы сейчас называем *пониманием*.

Но как понимание это не трактовалось. Это был как бы фон для возникновения того, что я называл речью-языком, мышлением, и вместе с тем изображение объемлющей структуры – и поэтому дальше осуществился уже непосредственно переход, скачок к собственно мыслительным пред-

ставлениям. А именно: возникла схема мысленного действия, включающая сразу и замещение, и отнесение.

Смысл этого дела – а он мне представляется крайне важным – состоит в том, что мысленная операция, или процедура, трактовалась как очень сложное, неоднородное образование. Она приводила к возникновению простейшего знания, номинации, и там были связаны между собой два действия. «Действия» не в смысле действия в психологической теории деятельности – это были чисто логические действия. Термины очень неудачны; они в свете психологической традиции мне очень не нравятся. Хотя, скажем, у Пиаже есть отзвук этого; там операция – более сложное образование, чем действие; операция есть связка двух действий – прямого и обратного. В этом смысле здесь мыслительная операция тоже представляла собой связку очень простых действий и вот какого рода.

Существовал какой-то новый объект X; этот новый объект X, взятый в отношении к некоторому индикатору И, ставился в отношения сопоставления с другим, эталонным объектом Э, включенным в какую-то практическую деятельность, и в результате знак, связанный с этим эталоном, или материал знака, обозначающий этот эталон, переносился на этот новый объект X. Различались действие сопоставления – то, что внутри, – и действие замещения-отнесения – как одно действие, носившее чисто семиотический, а как я сказал бы сейчас, «понимающий» характер.

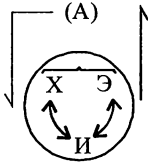


Рис. 2

В этой схеме то, что я сейчас пытаюсь различать – мышление и понимание – были склеены воедино и таким образом, что фактически-то мышления как такового там не было, мышления как я бы его сейчас хотел понять. А было лишь рефлексивное действие отождествления X с эталоном через отношение с индикатором и то, что специфично для понимания.

Как бы я сейчас трактовал эту схему? Фактически, рефлексивная структура, очерченная здесь кругом, вставлялась в структуру понимания, так как замещение-отнесение и есть, фактически, то, что сейчас принято называть интерпретацией в самом простом виде.

Значит, здесь происходило связывание двух структур – структуры рефлексии и структуры понимания. И это объявлялось единицей мыслительной и единицей знания. Естественно, возникает вопрос, почему я эту нижнюю часть называю не мышлением, а рефлексией.

Малиновский П.В. Но в вашем сообщении 1979 г. это и есть рефлексия по определению.

Хорошо – впрочем, так это и должно быть, – что вы лучше меня понимаете мои сообщения. Это закон, что человек, который говорит, как правило, плохо понимает то, что он говорит. В этот момент он в лучшем случае мыслит или рефлектирует, но не понимает. Поэтому это служит

для меня очень хорошим замечанием и уроком, что по докладу 1979 г. рефлексия... Я правда, не знаю, о каком докладе вы говорите.

Малиновский. «Четверги» 1978–79 гг.

А, да, да. Но, обратите внимание, тогда я не понял того, что сказал; понял я это всего 2-3 недели назад. Я вдруг с большим удивлением сказал: «Ба! Да я же такую важную вещь давно уже сделал!». Меня же в тот момент занимал вопрос, в чем разница между мышлением и мыслительной рефлексией или чистой рефлексией. По отношению к коммуникации я уже это рассматривал, и тогда этот новый круг проблем, связанных с описанием коммуникации, я отнес именно к рефлексивной, а не мыслительной коммуникации. И обосновал это, вы правы, через понятие «пространство рефлексии».

Смотрите, как я теперь пытаюсь определить мышление, развертывая все это. Мышление – это когда я ввожу имитирующую конструктивную работу с замещающими знаками.

Вообще-то результат это стародавний. Где-то в 1960-е годы мы это обсуждали, и в том числе, имитационное мышление; особенно в дискуссиях с Лефевром мне приходилось вводить это, и тогда схема знания имела такой вид:

$$\left| \begin{array}{c} (A) \\ \lambda \\ \hline X \Delta \end{array} \right| \quad \text{Рис. 3}$$

Причем там были проблемы: к чему, например, применяется оператор λ – к материалу знаковой формы (A) или ко всему предмету? В этой связи было сделано много интересных различий, которые дальше не получили развития ни в технике нашей организационной работы, ни в эмпирических исследованиях. Но это особый вопрос – почему.

Здесь я попробовал расписать этот кусок, просто фиксируя этапы нашей работы, и выделил те периоды, когда мы фактически отказывались от эмпирической работы и работали на базе только рефлексии, а не исследования.

Мышление-то появляется тогда, когда появляется это оперирование со знаками, имитирующими работу в плоскости содержания. И я вроде бы две-три недели назад ответил на долго мучавший меня и серьезный вопрос: а в чем же существует рефлексия? Каковы удерживающие формы рефлексии? Я долгое время, лет 15, все искал специфические формы рефлексии. Ибо если нет форм, то нет ничего – не может быть. Но форм рефлексии не оказывалось. Хотя я понимал, что и речь может служить такой формой, но тогда было непонятно: если это речь, то это уже вроде бы выраженная в речи рефлексия, или рефлексия, зафиксированная в речи, т.е. получившая иные формы существования. И тогда она, естественно, превращалась в понимание, а не рефлексию. Но потом я сообразил то, о чем сказал Малиновский, – что для рефлексии-то достаточно одного, а именно взаимных сопоставлений, противопоставлений, выражений одного содер-

жания в другом. Оказалось, что рефлексия тем и отличается, что она удерживает одни содержания через другие содержания. И в этом, кстати, и состоит суть первых процедур смыслообразования, когда я говорю: это то же самое, что то – говорю, и даже на уровне восприятия это осуществляю. Отсюда проблема спуска рефлексии в формы восприятия.

– На уровне интенциональности.

Правильно! На уровне интенциональности этих взаимоотнождествлений содержания. И, собственно, рефлексия так и работает; рефлексия не имеет в этом смысле своей специфической формы. В этом особенность рефлексии, ибо рефлексия и начинается с этих единиц содержания объектов, и замыкается в конечном счете в них же. Если только она не размыкается через речь или в следующей надстройке над ней. В этом смысле коммуникация есть разрешение рефлексии.

Итак, были заданы вот эти якобы мыслительные единицы, или схемы мысленных операций, которые, по сути дела, были ничем иным, как удержанием через замещение-отнесение и знаковую форму, т.е. через структуру понимания, некоторых сложных, содержательных рефлексивных образований.

Смотрите, что получается – я возвращаюсь вновь к тезису, что понимание есть фактически особая организация рефлексии и особая организованность. Понимание и есть то, что через знак удерживает рефлексивно созданное содержание. И это – домыслительное образование. Поэтому мы приходим к тезису, который давно мне казался очень симпатичным, но только я его никак не мог схематически обосновать, а именно, что понятие есть домыслительное образование.

И в этом смысле разрешаются вроде бы многие парадоксы. Ведь понятие существует и «по Аристотелю», и на уровне чистой речи, а не сложнейших структур. Другое дело, что потом эти понятия стали мыслительными.

– А как же тогда трактовать образование знака? Как увязывать трактовку понимания через эту схему, которую вы нарисовали последней? Ведь эта схема может трактоваться как образование знака.

Совершенно верно. Это важная проблема, и, обдумывая это, я себе записал такой, на первый взгляд, странный тезис: что, следовательно, ключ к изучению знака – в изучении рефлексии. Короче говоря, рефлексия вроде бы порождает знак.

Знак существует как понимаемое. Если я говорю, что некоторая вещь становится знаком через понимание, то я ведь что должен сказать? Она есть, существует, но как же она становится знаком? А становится она знаком за счет того, что на фоне рефлексии рождается понимание. За счет чего это происходит? Вещь, потерявшая свой внешний облик и «смысл», вещь переставшая быть вещью и попавшая в рефлексию, или остающаяся

в рефлексии, используемая в рефлексии, или используемая рефлексивно – есть знак. Вещь, переставшая быть вещью, но используемая в рефлексии для удержания этих сопоставлений.

Ведь если моя рефлексия развертывается таким образом, что у меня не было никакого знака, а было лишь сближение, сопоставление, противопоставление объектов, и при этом я теперь начинаю удерживать один из этих объектов, как представляющий все другие, т.е. произвожу фокусировку на одном из них, то эта вещь и есть теперь знак, так как она в рефлексии выступила в новой функции. Это есть знак до знака. Это пока – вещь как знак, знак без специально выделенного знака, без мира знаков (их пока еще нет), ставшая знаком функционально, но в морфологии это никак не закреплено. А вот потом, когда появляется социокультурная необходимость выделить для трансляции вот этот класс вещей, которые суть знаки, и сделать звуки, пустые, как хлопанье крыльев, вещью особого рода, – когда появляется такая необходимость, то выделяется мир знаков.

Поэтому я бы сказал так: мир знаков рождается из разного материала. Знаками становятся вещи, движения, звуки. Материал разный, а смысл этого семиозиса в том, что возникает структура такого рода. При этом не важно, на каком материале, – важно, что должен быть мир эталонов, и у эталонов должны быть маркеры, показывающие, что они – эталоны. Этими маркерами становятся, по-видимому, звуки, движения, отметки какие-то графические.

И для того чтобы возник знак, должен возникнуть дуализм означаемого и означающего. Происходит растяжка и как бы удвоение. Эта растяжка рождает понимание. Понимание ведь существует только на отнесении знаковой формы к знаковому содержанию, на связи формы и содержания в знаке. Понимание, следовательно, рождается из рефлексии как из формы, а существует как искусственное образование, после того как некая вещь растянута на знаковую форму и на содержание. И вот то, что связывает – а ведь это есть интенциональная рефлексивная акция, – и есть то, что выступает для нас затем как понимание.

Понимать – это значит увязывать форму с содержанием, а содержание – с формой. Но происходит это все в пределах знака.

Малиновский. Правомерно ли вообще говорить о содержании, пока в нашем рассуждении не появилось мышление?

Не очень правомерно.

– *Здесь надо ввести другие термины.*

Но это не просто, надо проделать особую работу – потому что опять возникает очень сложный вопрос, я его не разобрал до конца. Ведь из статьи «Смысл и значение» [Щедровицкий 1974 а] – там это намечено – следуют три направления работ, которые я сейчас и веду все время. Первое – надо рассмотреть взаимоотношение между значением и смыслом. Это раз-

ворачивается в отношении между смыслом и пониманием – это второе направление. И третье – оно касается отношений между знаком и знанием. И работа в этих трех направлениях должна проводиться параллельно. Это сложно. И пока мы здесь не проведем филигранных обсуждений и не зададим соответствующей линии, до тех пор ответа не будет. Это очень важный вопрос.

Например, серия работ об атрибутивных знаниях была прекращена из-за отсутствия понимания этих дальнейших линий.

Малиновский. А интерпретация символа – она не значима сейчас?

Видите ли, она сейчас не очень значима, хотя вроде бы понимание, очень близкое к тому, которое у меня есть, мы получили в прошлом году во время наших герменевтических обсуждений с калининцами. Там, по моему, был красивый такой, выпуклый и на материале, результат, связанный с трактовкой символа. Он, конечно, требует еще культурной и исторической проработки, в частности по отношению к символическим формам Эрнста Кассирера и т.д. Это работа большая и важная, но, по-видимому, мы уже этот вопрос решили. Для меня символ есть обратная свертка знака, как его квазиоестествление. Вот когда мы начнем разворачивать номинативные знаки в синтагмы с соответствующей предикативностью, и это будет одна линия, а с другой стороны, начнем к знакам-заместителям [Щедровицкий 1958-60] привязывать мир объектов и как бы «назад склеивать», вплоть до неразличения формы и содержания, – вот тогда у нас возникнет символ. Для меня символ есть склейка формы и содержания, в которой разорванность и противопоставленность того и другого, т.е. формы и содержания, уже снята. И за счет этого происходит оестествление, и даже натурализация. Я бы сказал, что символы – это натурализованные в мышлении и мыследеятельности знаки. Знаки, кстати, не требующие понимания. И поэтому понимание есть то, что всегда развертывается в рамках знака как такового, знаковой структуры. В этом смысле символ есть то, что замещает понимание как специфическое образование мышления и мыследеятельности.

– Превратившейся опять-таки в сигнал.

Фактически, да. Превратившейся в сигнал, но через эту свою историю. Вот так это все представляется, но это требует беспощадных опровержений.

2.

В прошлый раз я перешел к рассказу об истории наших подходов к проблеме понимания и взаимоотношения его с мышлением и выделил в этом плане два пункта.

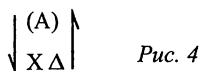
Во-первых, обсуждение темы «сигнал и знак и формирование знака из сигнала при псевдогенетическом моделировании развития языка и мыш-

ления». В этом кусочке доклада я старался показать, каким образом мы тогда представляли это отношение между сигналом и знаком, и как обсуждение модели сигнала, с одной стороны, и знака – с другой, привело к анализу взаимоотношений между объектами и действиями.

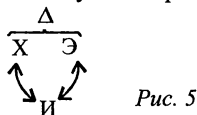
Затем, во втором кусочке, я рассказывал уже о знании, знаке, а также о том, что мы назвали операцией – познавательной и мыслительной (это, фактически, два определения этой операции), – и о схеме, которая соединила в себе как бы два действия – действие над объектами, их отождествление и различение, и действие замещения-отнесения, которое фиксировало саму эту операцию с включенными в нее объектами оперирования и помещало ее в более сложную структуру, по сути дела, структуру понимания, которая и приводила к тому, что я тогда называл знанием.

Хочу обратить ваше внимание на то, что уже здесь в полной мере использовался принцип материальной организации структур, и, в отличие от всего того, что делалось в то время, в отличие, скажем, от того, что пытались делать Бриджмен и Эддингтон, затем итальянские операционалисты, сама операция рассматривалась как структура, объемлющая объекты оперирования. Таким образом, уже в это представление об операции вводилась структурная организация, противостоящая процессуальной организации.

Это очень важный и принципиальный момент. Тем самым сюда, вот в эти представления мышления, закладывался парадокс процессуального и структурного, ибо вроде бы мы сами операции могли выстраивать одну вслед другой и таким образом образовывать линейные последовательности операций, трактуемые как процессы особого рода; а с другой стороны, при трактовке знаний, анализе действий сама операция трактовалась как сложная структурная связь разных действий и, соответственно, объектов оперирования, включая и материал знаков. Но это обстоятельство тогда не осознавалось достаточно четко, и, в частности, возникали уже и логические неточности, и противоречия, связанные с изображением самой операции. Вспомним обычную структуру знания:



Но если сейчас смотреть работы об атрибутивном знании, то там совершенно отчетливо видны эта парадоксальность и несоответствие трактовок. Эта форма знания фиксировала одну простейшую мыслительную операцию сравнения – при соответствующем раскрытии « Δ », а именно:



Действие, представленное в этой схеме, определялось как сопоставление, и оно особым образом соединялось с действием замещения-отне-

сения (рис. 4). И, следовательно, вот здесь (рис. 5) Δ изображала не что иное, как действие сопоставления. Но дальше, когда мы говорили в 1954 г. «двойка-процесс», «тройка-процесс» и т.д., то мы нередко писали Δ_1 Δ_2 Δ_3 и называли такие соединения «операциями». Здесь совершенно явная нечеткость. С одной стороны, мы как бы вынимаем действенную часть операции из структуры, а с другой – операция выступает как нечто как бы процессуально трактуемое, т.е. мы имеем то, что я только что назвал парадоксом структурного и процессуального представления.

Но это была не просто ошибка и не просто, так сказать, недодумка, поскольку за этим стояли – как я сейчас понимаю – реальные особенности мыслительных операций. Дело в том, что подобные структуры как бы все время декомпозируются на свои элементики, элементики выступают как символы целого, элементики композируются в последовательности, а остальные элементики – скажем, знаковой формы, интенциональных отношений замещения-отнесения – не осуществляются актуально, а все время подразумеваются как возможные. Таким образом, за всем этим стояла невероятно сложная система связей между процессуальными и структурными аспектами мышления – проблема, до сих пор так и не решенная.

Это, собственно, и есть та проблема, из-за которой творческие процессы и не могут минимизироваться, поскольку они не переводятся в эти линейные связки за счет, фактически, «завернутой» в них символической функции.

Я бы попробовал это сказать еще раз, поскольку к этому мне придется возвращаться, когда я перейду к обсуждениям уже 70-х годов, к теме взаимоотношений между операциями, содержанием и смыслом в их отношении к знаковой форме.

Дело здесь в том, что вроде бы есть наборы каких-то материальных элементов или кинетических составляющих. А кроме того, есть смысловые структуры, и эти смысловые структуры все время сопровождают любые элементы, скажем, материал знаковой формы, сами действия, интенциональные отношения.

Таким образом, уже вот эти простейшие структуры знания, а вместе с ними и простейшие мыслительные операции являются образованиями трех «г», т.е. гетерохронными, гетерогенными и гетерархированными. Это обстоятельство – то, что они состоят из разнородных элементов, живущих по разным законам – и путало все карты. И пока мы не разберемся с этим на уровне структурно-системного анализа, и не построим соответствующую логику...

– И не проведем границы существования элементов материальных – то, что вы назвали кинетическими...

Так нельзя провести эти границы, в этом все и дело! Именно в силу знаковой, или символической, функции. Это же не просто структура, это структура, состоящая из интенциональных отношений, замещений, интен-

циональных отнесений и т.д. И когда вы, скажем, производите декомпозицию этих структур (что происходит в реальной технике мыслительной работы) и берете только действия сопоставления как представляющие всю операцию в целом, и выстраиваете их в такие линейки Δ_1 , Δ_2 , Δ_3 , то они вроде бы осуществляются именно как линейки, но за ними все время стоят соответствующие смысловые структуры, которые, между прочим, так вот на части не раскладываются, не декомпозируются и не компонируются, а все время переструктурируются и перефункционализируются.

Значит, они все время структурируются, и поэтому в процессе мышления мы всегда имеем не один процесс, а много параллельных процессов, в которых, кроме всего прочего, по материальному принципу – и одновременно по принципам расслаивания, фокусировок – включены еще блоки материальных элементов, которые иногда просто не разлагаются, несут в себе свернутый смысл, который включается в общую структуру.

И поэтому, когда вы начинаете с этим работать, возникает тот комплекс проблем, который отображается, в частности, и в лингвистической, и в логической, и в психологической проблематике. Например, вы материал предложения можете членить на слова, а смысл предложения на части не делится. Это понимают даже самые занюханые лингвисты. С логиками – особый разговор. Логики этого не понимают в силу того, что они с этим не работают. Они работают с организованными формулами или с операциями. Но когда они работают на уровне оперативных знаков-моделей, зачем им знать, что там есть смысл?

А вот лингвисту, который все время движется на уровне смысла и значений, его надо учитывать. Там есть материал знаковой формы предложения, который можно делить на отдельные слова, а смысл получается, когда вы дошли до целого. Есть игроки среди лингвистов, которые играют в такую игру: они строят предложение, записывают его и потом говорят: смотрите, поставим еще одно слово – один смысл, другое слово – другой, третье – третий. Значит, что же оказывается? Чем определяется смысл целого – одним словом или той структурой целого, которая в результате получается? Что они тем самым показывают? Дискретный, скачкообразный характер изменения смысла. Смысл каждый раз переструктурируется – в зависимости от того, что вы туда поставили; он каждый раз целое и каждый раз появляется одновременно, симультанно, в зависимости от того, как вы схватили это целое, как вы его поняли. Хотя вроде бы материал вы все время делите.

– Может быть, членить смысл можно в соответствии с членностью знаковой формы?

Нет.

– Но смысл ведь имеет свою форму...

Это уже новенькая мысль.

– Я бы согласился, что относительно знакового материала смысл членить нельзя. Но что вообще смысл членить нельзя...

Так это единственный вывод, который можно сделать – и который все они делают.

И кстати, ведь когда они пишут, например, вот эту формулу, S–P, то лингвисты, в отличие от логиков, хорошо понимают (возьмите работы Есперсена и вообще всех синтаксистов), что S–P есть элементарная формула, она не состоит из S, P и связки между ними. S–P есть элементарная формула, фиксирующая структуру смысла, синтаксического смысла, это элементарная синтаксема. Поэтому они выписывают перечни этих элементарных синтаксем и не применяют там процедур выводимости, на уровне этих схем. Только когда вы берете лингвистов совсем уже с растрепанными мозгами – те уже, поскольку они не различают схем и изображений, начинают говорить, что мы, скажем, схему вот такую, S–Pa, получаем, из схемы S–P путем добавления «а». Им показывают, что это не так. Но они говорят: «в достаточном приближении».

Я возвращаюсь еще раз к этому пункту и говорю: итак, когда мы это все зафиксировали – в этой схеме знания или в том, что я тогда называл атрибутивной структурой, а потом более сложно, атрибутивно-предикативной структурой, или в том, что я называл номинативной структурой, – понимание и мышление оказались, фактически, слиты. И при этом возникли эти парадоксы структурного и операционального представления, которые очень интересно отражались и в наших изображениях – в трактовках ХД: Δ трактовалось то как действие, то как операция в целом.

– Фиксировав сейчас принципиальное различие между материальными элементами, или тем, что мы называли элементами материала знака, с одной стороны, и смысловыми образованиями, с другой, вы почему-то процессуальность, полученную на материальных элементах, опрокидываете на смысловые образования...

Нет. За этим стоит сложная проблематика. Я ее обсуждал в серии докладов уже в 70-е годы под названием «Знания в деятельности». Таких серий было три или четыре, одна из них читалась на внутреннем семинаре, я ее имею в виду. Дело в том, что вы сейчас глядите на схему и начинаете элементы схемы, как графемы, определенным образом интерпретировать. И непонятно, где какие денотаты стоят за отдельными элементами сложной схемы, за отдельными графемами. Вы можете интерпретировать некоторую графему как материальный элемент, можете – как структурный элемент, а можете – как процессуальный элемент, потому что эта структура сопоставления разворачивается во времени. И когда вы глядите на эти стрелочки – что там за ними стоит? Это же все неизвестно. Поэтому, когда вы мне инкриминируете такую трактовку, то я вам отвечаю следующее: я вообще работаю не с материальными, не с процессуальными, не с функ-

циональными образованиями – я работаю со структурными схемами. А вот как тут быть теперь с интерпретациями – непонятно. И, кстати, именно из тех трудностей, о которых я сказал, и родился структурно-системный анализ в его нынешних вариантах, т.е. как анализ, объясняющий все через множественную интерпретацию одной и той же схемы. Один раз – через интерпретацию на процесс, другой раз – на функциональные структуры, третий раз – на организованности материала, четвертый – на материал как таковой.

– Но я вроде бы сейчас прогоняю через все это, через четырехслойку.

А тогда вы про меня ничего не можете сказать. Потому что я вам отвечаю: надо бы прогнать – только как, я не знаю.

– Но тогда, пока вы не прогнали, вы не имеет права говорить о парадоксальности процессуального и структурного.

Но почему же?

– Но ведь сейчас вы зафиксировали связку этой схемы в определенной деятельности. Скажем, вытягивание операций в линейную структуру. И через эту связку задаете вдруг парадоксальность. А другие?

Я ничего не знаю про другие. Посмотрите, что мы делали. Это парадоксы неявные, но они зафиксированы как парадоксы. Я вытягиваю их в связку – я должен произвести реорганизацию всех моих понятий. Мы этого не производим, поскольку даже не знаем как производить. Начинаем, тыкая в эти «дельты», иметь в виду все эти структуры в целом. И при этом я начинаю эту «дельту» иначе именовать. До этого я ее называл «действие», а теперь я написал «Δ», имея в виду это действие по материалу, и называю это операцией в целом. А это уже не операция, а действенный элемент операции. Но говорю я про него как про операцию. Про операцию, которую мне надо выстроить в линейку. А что это значит – композиция таких структур? Что это? Мы же не делаем композиции таких структур, хотя мы вроде бы должны это сделать.

Кстати, и в тюркском языке это обнаружилось. Как там строилось предложение? «Студент который сдавал экзамены студент», «студент который уехал от жены студент», «студент который билет получил тогда студент» – все время рамочная конструкция, поскольку не могут удержать сложную структуру. И в современных газетах идет номинативный текст, глаголы переведены в существительные, а к чему они относятся – совершенно не поймешь. И смысл уже не заземляется на деятельностное содержание, а вообще оторван. Потому что тот, кто читает сообщение в газете, не интересуется содержанием того, что там написано. Его интересует, кто писал, зачем писал, что с ним хотели сделать, когда эту статью писали – его абсолютно не интересует, про что писали. И отнесение отсутствует.

Но точно так же происходит в синтаксически сложных структурах. Потому что, если кто-то сказал «золото – металл», то неизвестно, про что он дальше будет говорить – про золото или про металл. И вообще непонятно, про что идет речь в таком простейшем номинативном комплексе из двух слов. И пока я не вижу формальную синтаксическую структуру – до тех пор ничего, так сказать, культурного не будет. Вот, например, сегодня Галина [Г.А.Давыдова] искореняла в перечне моих статей все семантическое – по формальной структуре. Происходила очень интересная вещь. Я ей говорю, что я в этой записи хочу содержание выразить. А она мне отвечает: «Кому нужно твое содержание – им формальный список нужен». А содержание, значит, абсолютно не нужно. И в этом списке никого содержание работ интересовать не будет. Естественно. Но ведь тоже самое происходит всюду.

– Переорганизация с определенной фокусировкой на понимание.

Да нет. Сначала идет переорганизация на уровне знаковой формы. А сохранится при этом смысл или не сохранится – это уже не существенно. Начинают композироваться либо операции, теряющие осмысленность, либо знаковые формы, точно так же теряющие осмысленность. Но они композируются. Характер всей современной субкультуры определяется вот этой штукой: слова не имеют денотатов. Происходит, скажем, удивительный разговор. Спрашивают: «Так что, общение невозможно между людьми?». Я говорю: «Какое общение?». Говорят: «Ну как же, вы же про диалог говорили, да?». Я говорю: «Про диалог». – «Ну так я же и говорю: значит, общение невозможно». Потому что для него общение, диалог, коммуникация – одно и то же. Ибо объектов за этим вообще никаких не стоит. А есть только вот эти семейства значений, которые и соединяются: одно, другое...

И ведь это и есть то, с чем мы реально имеем дело. Поэтому повторение того же самого на уровне структурных схем изображений – это не просто ошибка, это ошибка, повторяющая реальный процесс мысли–коммуникации–понимания. Тут действительно имеет место декомпозиция, поскольку идут замещающие друг друга параллельные процессы. Один, другой, третий, четвертый.

– Процессы ли? Получается, что такие языковые процессы могут заполняться либо смыслами, связанными с мыслительной организацией содержания, либо смыслами, связанными с видением...

Либо смыслами, связанными с правилами построения речевых высказываний.

– Либо с тем, и с другим, и с третьим.

Либо без того, без другого и без третьего.

– Так ведь все это надо как-то развести...

Там, где мы будем рассматривать современные мышление, коммуникацию и понимание, мы это будем разводить. Но мне-то сейчас важно другое – парадоксальность.

– А можно интерпретировать парадокс так, что операция в вашей схеме имеет две интерпретации?

Да нельзя сказать, что две интерпретации! Скорее, синкретическую интерпретацию. И синкретизм этот возникает, с одной стороны, за счет того, что так идет работа со схемами и их элементами, а с другой – это вроде бы синкретизм, соответствующий тому, что реально происходит. Вообще, что такое «операция»? Ведь пока что никакого определения операции, мало-мальски осмысленного, в современной науке – ни в одной! – нет. Это задача, которая еще стоит.

И понятия здесь никакого нет. То, что я ввел, я разрушил сразу же. Нет никакого понятия операции. Не удастся мне его построить.

– В чем тогда смысл вот этой схемы?

Смысл этой схемы в том, что она вот такая. У нее невероятно много смыслов. Вообще, как эвристическая схема она мощна, как тысяча атомных бомб. В ней, в общем-то, все и заложено.

– Разворачивая псевдогенетически из этой схемы движение к построению предмета, Розин в своей статье «О структуре науки» [Розин 1967 б] вводит понятие процесса как связки, замещающей вот эти две стрелочки (рис. 4). Но он замещает знаковую форму понятием «задача», а внизу вот это – объект и операцию – просто заменяет объектом.

Этого я уже не понимаю. Я знаю лишь одно: что в работах того периода у него в один ряд попадали познавательные операции, операции преобразования, операции с объектами и операции со знаковыми формами – и все в линейку. А чтоб их различить, он «дельты» красил по-разному (светлые и темные). Но потом выяснилось, что на самом деле речь идет о многих и многих вещах. И сломался-то Розин, и вообще все это направление исследований, где-то к 1965 г. именно из-за отсутствия понятия операции. Оказалось, что операционализм дальше нельзя реализовать. С одной стороны – из-за того, что нет понятия операции, а с другой – из-за того, что операционализм – это только момент человеческого мышления, и когда он берется вне связи с другими моментами, то получается ерунда.

Мы в этом смысле получили еще раз тот же результат, который получили англо-американские операционалисты, а потом итальянские.

Еще есть какие-то замечания?

– В чем же здесь парадокс, я как-то забыл?

Парадокс в том, что операция трактовалась нами двояко и взаимоисключающим образом. С одной стороны, это структура, объемлющая дру-

гие элементы знания, в частности знаки и даже интенциональные отношения – все это входило в операцию. А с другой стороны, операция оказывалась ничем иным, как элементом этих структур знания, обнимаемых другими элементами.

– Какими, например?

Интенциональными отношениями, к примеру.

– А тогда нельзя отключать первоначальную структуру. Когда операция объедает первоначальные отношения, они, как момент сознания, вообще не отключены.

Отлично. Вот вы мне задаете рассудочное решение этой проблемы. Вы говорите: нельзя. А я вам говорю совсем другое. Я много богаче: я и одно задаю, и другое. Я даю вам проблемную ситуацию, и будьте любезны разрешить ее так, чтобы сохранить обе посылки. Вот в этом и парадокс, что мне нужно и то, и другое.

Я вам сейчас приведу этот парадокс к традиционной форме. Первый тезис. Операция есть целое, охватывающее объекты, интенциональные отношения и знаки. Второй тезис. Операция есть часть, охватываемая интенциональными отношениями, знаками и объектами. Спрашивается: что есть операция? И этот парадокс ничем не отличается от такого классического парадокса: скорости этих двух тел равны – скорости этих двух тел неравны. Подумайте.

Итак, третий пункт. На дискуссии 1957 г. о синхронии и историческом изучении языков была зафиксирована общая схема коммуникативной знаковой формы передачи знания, которую я приводил на последнем совещании Комиссии: отображение некоторой структуры объективного содержания в определенной знаковой форме и обратное отображение этой знаковой формы в другой, по возможности аналогичной, структуре содержания.



Рис. 6

Тогда, марте 1957, и были впервые, по-видимому, противопоставлены друг другу мышление и понимание. Причем первое трактовалось как перевод некоторого, выявляемого в ситуации, содержания в знаковую форму; а второе, то бишь понимание, трактовалось как обратное движение, как перевод некоторого текста в содержание, вписываемое в определенную ситуацию.

Но затем, в исследованиях по решению задач (1959–1960 гг.), такого рода трактовка с неизбежностью привела – это пункт четвертый – к попыткам операционального представления понимания.

4. Те из вас, кто знаком с работой «Исследование мышления детей на материале решения задач» – либо в публикации 1965 г. [Щедровицкий 1965], либо в ранних публикациях 1962 г. [Щедровицкий, Якобсон 1962 b], – знают, что там все начинается с вопросов понимания или непонимания детьми косвенных задач. И вся полемика идет с теми, кто говорит, что дети «не

понимают». Мы там показываем, что такое выражение просто неверно, потому что они при этом много чего понимают, подчас больше, чем сам экспериментатор, и если уж и говорить о непонимании, то так, как говорили более тонкие исследователи: что они не понимают «математического смысла» задачи. Позднее, уже в работах 1975–1977 гг., я вернулся к этому вопросу и постарался показать, что само выражение «понимают смысл» – бессмысленно. Поскольку понимают не смысл, говорить о понимании смысла – нонсенс. А в тех, первых работах обсуждение идет на уровне того, что дети все прекрасно понимают, только вот чего-то они все же не понимают. Естественно, мы вынуждены поставить вопрос о том, как же нам представить это «понимание».

Что там делалось, в этих работах? Это еще реализация операциональной установки. В 1957 г. выходит программная работа «О возможных путях исследования мышления как деятельности». Сама эта установка на понимание мышления как деятельности понимается как операциональная установка. В эти годы (1954–1959) мы занимались тем, что старались в различных областях выявить те или иные операции мысли и научиться выделять их, составлять их перечни, или алфавиты, собирать сложные процессы из операций и т.д. Операционализм, таким образом, господствовал. И поэтому, несмотря на то, что схемы везде в этих работах идут структурные, но они всегда переводятся в процессы. Собственно, на том этапе это даже не изучение способов решения задачи – это появляется потом; тогда же, в 1959 г., это, прежде всего, экспериментально-эмпирическая работа по анализу процессов решения задач – такова установка. Есть процессы рассуждения, процессы решения задач, которые надо научиться раскладывать на составляющие.

Кстати, меня и до сих пор интересует, как это делают математики, программисты. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на очень интересные работы Колмогорова 1927–1929 гг., посвященные так называемым исчислениям задач. В этой же связи я бы обратил ваше внимание на очень плохо известные мне работы Лоренсена по операциональной логике (послевоенные), где он возвращается к тем же идеям Колмогорова (они, кстати, не получили развития в силу трудности этой проблематики).

Но работа идет все время в этих установках: надо выделять алфавит операций, производить декомпозицию, композицию. И хотя фоном стоят структурные представления и работа идет на них, но, тем не менее, все надо представить именно в операциях, и, следовательно, даже то, что там (в исследованиях 1957 г.) выступало как обратное движение – тоже надо представить именно операционально. Значит, должны существовать определенные операции понимания.

И поэтому встает вопрос: что же такое операции понимания? И как они могут быть состыкованы – операции понимания и мыслительные операции? Про мыслительные операции вроде бы ясно – они организуются в последовательные линейки – одна к другой, к третьей и т.д. В этом смысл

формализующего и алгоритмизирующего подхода. А вот когда речь уже заходит о двух разнородных типах операций – мышления и понимания, – то очень интересно, как они стыкуются? Этот вопрос прямо ставится в работе 1965 г. И он стоит до сих пор. Если мы принимаем возможность такого операционального представления.

– *А операциональное всегда относится к процессуальному плану?*

Нет, потому что план операциональный и план операционально-процедурный фиксируются как разные. Но между ними тоже должны быть установлены соответствия, поэтому процесс рассматривается как нечто более широкое, нежели операции-процедуры. Операции-процедуры входят в процесс, но процесс не исчерпывается операциями-процедурами. Поэтому можно говорить, например, об операционально представленном процессе, об операционально-процедурно представленном процессе. Именно поэтому я специально говорю, что фоном за этим стоят структурные представления, и поскольку они стоят, все время надо к ним относиться. Они, по сути, дела, и создают то, что я бы в современных терминах назвал «объемлющей онтологией». А поэтому идет отнесение процедур и операций в две принципиально разные онтологии, структурную и процессуальную, и нужно еще соотносить эти две онтологии между собой. Вот эта коллизия приводит в 1964–1965 гг. к идеологическому отказу от понятия процесса. Говорится, что мышление – это не процессы, а структуры.

– *Процессуальная онтология не разработана...*

Да, с процессуальной онтологией как-то плохо очень, поскольку объемлющей все время является структурная онтология, и все это относят к ней. По идеологии вроде бы – наоборот: надо было бы изучать мышление как процесс, а реально все завершается структурным представлением. Утверждается более высокий онтологический статус структурного представления. Это не означает, что процессуально-процедурный подход вытеснялся вообще. Но утверждалось именно то фактическое обстоятельство, что объемлющей и даже предельной онтологией является структурная. А поэтому и говорилось, что мышление и знание суть структуры, а не процессы. А процесс есть лишь момент во всем этом.

Тогда, в декабре 1964 г., появилась работа «Логико-педагогический анализ категорий целого и части». Делалась она по программе исследований в Институте дошкольного воспитания. Там я еще раз вернулся к вопросу о времени при разложении этих процессов и процедур, и там были различены многие времена, в частности, *t*-время и *τ*-время, скажем, время организованности и дезорганизованности. Начинает готовиться работа С.Г.Якобсон по организованности у детей, с очень идеологической установкой, что неорганизованность есть наличие множества перерывов между деятельностью – такая идеальная установка, перенос из идеального мира через объяснение в реальную практику.

В 1969–1979 гг. родилось новое, четырехплановое понятие системы. Это типичный парадокс. Именно так он и формулировался в дискуссии тех лет. И, слава богу, мы победили тех, кто говорил, что парадокса нет. Надо работать, брать тексты 1969–1970 гг., анализировать, расписывать. Вы увидите, что там многие из вещей, над которыми мы сейчас бьемся, уже были сделаны. Для того, чтобы все это перевести на уровень парадигматик, надо брать тексты за 10 лет, проводить собственно теоретическую работу, систематизирующую. Я систематизирующую работу обычно делаю в рефлексии. Но это еще полдела; нужна еще специальная работа, когда кто-то садится за эти тексты и начинает их тщательно штудировать – собирает один тезис, другой, фиксирует малые парадоксы, большие парадоксы, снимает их, преодолевает и т.д. Тогда появляется толстая книжка, и человек становится академиком. Академиком становится не тот, кто открытия делает, а тот, кто потом эти открытия систематизирует.

5. В 1959 г. пишется последний вариант «Аристарха» [*Щедровицкий* 1960], дальше было обсуждение в 1960–1962 гг. – есть, соответственно, по два тома первого и второго обсуждения. (Кстати, интересно сравнить эти две пары томов на предмет роста культуры нашей магнитофонной работы и обработки.)

В работе про Аристарха ставятся задачи эмпирического исследования знака, или построения эмпирической семиотики как изучения типологии знаков и т.д. Причем, знака в его конкретном употреблении, в отношении на научный текст (и, следовательно, в историко-критической реконструкции) и непосредственно в работе ребенка. Сейчас мы возвращаемся к этой проблематике, почти через 20 лет. И те, кто участвует в пятничных семинарах с В.В.Рубцовым и Б.Д.Элькониным, должен это знать. Там снова встает проблема: что есть знак для ребенка? И сейчас, когда игру будем обсуждать, она снова возникнет.

Эта проблема – знака, символа – обсуждается в дискуссии по игре 1963 г. и в материалах 1966 г. У меня на эту тему было выступление: «Игра, знак, символ, имитирующие модели».

В «Аристархе» было зафиксировано различие между знаком-моделью и знаком-символом. И с этого начиналось обсуждение типологии знака. Мы предполагали тогда провести большую критическую работу – в частности, «снять» работы Пирса, работы Кондильяка и всю современную неструктуральную семиотику. Серия сообщений «К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании» [*Щедровицкий, Садовский* 1964–65] была введением, по сути дела, в этот большой цикл работ. Причем охвачено было довольно много в этом историко-критическом анализе, включая, скажем, средневековые теории знака со всеми суппозициями, пресуппозициями и т.д. Кстати, надо бы это поднять, потому что у них была разработана очень интересная теория знака, и, кстати, Кондильяк в своей семиотике, Лейбниц в своей семиотике пользуются именно средневековыми представлениями.

Но к 1965 г. семинар претерпел очень резкий распад – тогда уходит В.А.Лефевр, фрондирует О.И.Генисаретский, потом уходят Э.Г.Юдин с В.Н.Садовским; в результате целый ряд направлений не получает дальнейшего развития, работы остаются в рукописях.

Однако кое-какие разработки все-таки ведутся и одна из этих линий намечается – это исследования В.М.Розина и А.С.Москаевой по знаку и знанию, в частности на материале решения задач. И, скажем, статья Розина о знаке в догреческой математике [Розин 1967 а] – это один из фрагментов этой работы, продолжающей то, что было сделано в «Аристархе».

Какое же все это имеет отношение к пониманию? Дело в том, что как раз в одном из трех сообщений о знаке [Щедровицкий, Садовский 1964-65] зафиксирована проблема эмпирического существования знака. Оказывается, что знак, как особым образом понимаемая вещь, знак как единство материала-носителя и значения вообще не может быть предметом эмпирического исследования в таком же смысле, как, скажем, кусок металла. Ибо, прежде чем мы начнем эмпирическое исследование знака, этот знак должен быть понят. Понимание его фактически входит в существование знака как такового. А следовательно, когда мы приступаем к исследованию знака, мы должны исследовать это понимание как уже гипостазированное, т.е. существующее в знаке как в объекте.

Исследователь, который приступает к изучению знака, всегда выступает в двух функциях: сначала он выступает как творящий знак или конституирующий его за счет процедур понимания, а затем – как исследующий. Но так как знак, как единство знаковой формы и смысла, создаваемого пониманием, не противопоставлен исследователю, которому противопоставлен только материал знака, и так как понимание создается за счет работы самого исследователя, то исследователь оказывается перед принципиально дефицитным объектом. Это и фиксируется как проблема эмпирического исследования знака.

Так как материал нельзя исследовать, то вы должны создать такую модель, в которой понимание уже свернуто. Кстати, этого момента совсем не понял М.А.Розов; в своей книжке он полемизирует со мной так, как будто я утверждал, что знаки, знания вообще нельзя эмпирически исследовать. И приводит статьи тех лет, в частности статью «Понимание как компонента исследования знака» [Щедровицкий 1971 с]. Розов не понимает того, что для меня эти констатации – а я их рассматриваю именно как самоочевидные констатации – были необходимы для того, чтобы, наоборот, подчеркнуть идеальность существования знака, особый тип существования знаков как чисто идеальных объектов, т.е. тех, которые могут быть даны только через свою схему, модель.

– *Интенциональных?*

Нет, именно идеальных объектов – таких, которые на уровне эмпирии нам не даны. Знаки как объекты даны только в идеальной действи-

тельности. А на уровне эмпиричности они в принципе не даны.

– *Нельзя ли пояснить термин «эмпиричность»?*

Видите ли, я эту вещь обычно ввожу через принцип недопустимости отождествления феноменального и эмпирического. Феноменальное и эмпирическое резко различаются. Знак вроде бы имеет существование феноменальное, но не эмпирическое. Есть проблема предметизации. Для того чтобы сложить предмет, надо объект представить как эмпирически существующий. Так вот, знак нельзя представить как эмпирически существующий, ибо нет той субстанции, в которой он существует.

Дальше этот тезис соединяется с принципами системного подхода и формулируется в виде положения, что знаки суть организованности понимания, мышления и деятельности. А следовательно, только понимание, мышление и деятельность суть те «субстанции», в которых существуют знаки.

И отсюда делается вывод о невозможности самостоятельного исследования знаков. Ибо знаки не есть самодостаточные объекты. Скажем, металл есть самодостаточный объект. И в силу того, что было положено (меня не интересует сейчас, верно это или ошибочно) Бэконом, Декартом и др. существование природы, дальше были осуществлены процедуры эмпиризации. У меня цели и логика прямо противоположны тем, которые приписывает мне Розов: мне надо показать как, при каких условиях, знак может *стать* эмпирическим объектом.

– *То есть природным?*

Нет. Эмпирическим. Но это возможно только тогда, когда мы зададим мир деятельности, мышления и понимания и найдем эмпирию в знаках как таковых – эмпирию понимания, мышления и деятельности. Знак в эмпирическом смысле существует как организованность мышления, деятельности и понимания.

– *Таким образом, не только понимание должно быть включено в исследовательскую модель, – нужна еще следующая матрица.*

Правильно. И это было сделано в статье «Смысл и значение» [Щедровицкий 1974 а]. В этой работе показывается, что знак существует в трех ипостасях – на уровне смысла, на уровне значения и через знание. А потом говорится, что реально-то надо двигаться в обратном порядке. И поэтому все это существует через знание и в знании. Но только знание ведь должно быть во что-то «уперто», в какой-то денотат. И вот, чтобы оно приобрело эту денотативность и материальность, надо выделить субстанцию другого рода. И тогда, фактически, мы возвращаемся к исходному Декартову тезису, а именно, что есть две субстанции – материя и мышление. Возвращаемся на точку зрения этого реализма. Декарт говорил: протяженность и мышление. Я бы сказал: материал и мышление.

– ...

Вы сделали замечание насчет того, что это двойной объект. Я понимаю это и просто расскажу, как раньше, в 1966-67 гг., я это решал. Тогда был написан текст, который должен был идти как пятое приложение к «Кирпичу» [Щедровицкий 1975 б] (оно не вышло), – о том, что в теории подобные образования (такие, как знаки, знания и пр.) являются двойственными, двойными. И там действительно двойной объект, как вы говорите, но объект, снимаемый в понятии системы – когда разворачивается как бы

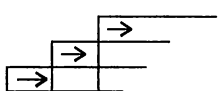


Рис. 7

одна лента в восхождении от абстрактного к конкретному, а с какого-то момента поднимается вторая лента и разворачивается параллельно; потом, скажем, третья лента, опять же параллельно и т.д.

Тогда действительно оказывается, как вы говорите, как бы матрешечный, вложенный один в другой, объект. Но эта матрешечность снимается за счет системной трактовки объекта, и утверждается, что каждый следующий объект может быть понят только как надстройка над предыдущим. Отсюда реализуется идея восхождения по вертикали, т.е. есть объект А, потом есть объект АВ. Что это означает? Что В так таковое не существует. Потом АВС и т.д.

Статья о принципе восхождения [Щедровицкий 1975 б: Приложение II] должна была служить и служила только введением к разъясняемым дальше принципам построения теории. Поэтому я и сделал такую насильственную процедуру: оторвал идею восхождения. Мне важно было не только реализовать это на идее-клеточке, как это было у Гегеля или Зиновьева, но еще и рассмотреть эту идею как бы в двух измерениях – в горизонтальном и вертикальном. Поскольку возникли теоретические объекты принципиально нового типа, а именно объекты, которые как организованные без процессов взяты быть не могут, они выступают вроде бы как статические и как материальные, но на самом деле они интенциональные, а как интенциональные они вписаны в определенные процессы, плывут как бы в них и без них вообще не могут быть поняты. И тогда это не самостоятельный объект, а лишь организованность в определенной системе.

Поэтому утверждалось, что семиотика есть наука об особых организованностях, а именно о знаковых организованностях мыслительности, и как таковая теория семиотики может развиваться только вторично, на базе теории деятельности, теории мышления, теории понимания и тому подобных процессуальных теорий, и должна с ними входить в определенную систему. Вот что утверждалось. И в этом смысле говорилось (еще раз повторю), что если мы к знаку будем подходить согласно его традиционному определению как к вещи, обозначающей нечто другое, и даже будем трактовать ее структурно как вещь со связкой значения, то такой знак эмпирическим объектом быть не может в принципе.

– Так же, как и металл.

Нет, не так же, как металл, и в этом все дело.

– *Все зависит от онтологии, задаваемой для существования этого объекта.*

Я бы сказал, категории. Потому что здесь все дело не в онтологии, а в категории.

– *Но если принять во внимание ваше развертывание от категории к предметам и отображенность предмета в категории, то опять-таки мы возвращаемся к множественности онтологий.*

Но к множественности онтологий, организованных в единую систему. Это уже не плюрализм, а своеобразный монизм. Для меня это очень важно. Теория знаков не может быть самостоятельной теорией. Поэтому я говорю, скажем, Лотману и другим структуралистам: вы занимаетесь ерундой и мистификацией, поскольку не может быть самостоятельного изучения знаков; и теории знаков в этом смысле не может быть, пока вы не введете теорию знаков в такую структуру, в основании которой будут лежать другие теории, теории как бы процессуального типа, поскольку знаки процессуальностью не обладают, а следовательно, не могут быть объектами теории.

– *Вот и парадоксальность...*

Но это-то уже снятая парадоксальность, поскольку уже показано, как из нее выходить, за счет какой конструкции объекта и какой соорганизации теоретических представлений.

В этой связи возникло очень важное противопоставление парадигматики и синтагматики.

6. В этих же работах я противопоставляю прагматической традиции в трактовке значения знака, представленной В.А.Звегинцевым с его попытками трактовать значение как употребление. Такова вообще бихевиористская прагматическая трактовка знака. Смысл и значение – они эти две вещи отождествляют. Собственно, этому я и противопоставляю, отождествлению смысла и значения, а следовательно, тому, что понимание знака определяется его употреблением. Суть моего возражения (это культурологическое возражение в сути своей) состоит в том, что знаки имеют те или иные значения вовсе не потому, что мы их так или иначе понимаем – мы потому их так или иначе понимаем, что они имеют те или иные значения. Знак имеет значение независимо от текста и его частичного употребления. Он имеет значение как таковое, в культуре. И понимание знака есть всегда понимание его культурного значения.

Но дальше я этот тезис буду опровергать, и это существенно, потому что тут двусторонняя, взаимная связь – как это и было первоначально зафиксировано в схемах воспроизводства с развитием, т.е. с обратной связью на парадигматику, с рефлексией. Но на том этапе, в противопостав-

ленности трактовкам прагматическим и бихевиористским, важно было подчеркнуть вот эту культурологическую компоненту, т.е. наличие фиксированного культурного значения.

Это шестой пункт. Какие здесь есть вопросы и замечания?

Здесь ставится вопрос о том, что же мы понимаем, когда мы понимаем сгусток материала? Когда я произношу слова, то, спрашивается, что мы понимаем? И образ, который я использую, это образ канала или провода. Понимание есть канализированный процесс. Понимание – что очень важно – организовано значениями.

Ведь в чем здесь смысл оппозиции? Это можно даже применить к тому, как Л.С.Выготский обсуждает эту проблему – в бихевиористской трактовке. Все обращают внимание на стимулы, реакции – это все ерунда. Там в другом ущербность – в том, что значение устанавливается произвольно. Мы говорим: с орлом будет связано одно, с решкой – другое. И получается, что употребление знака произвольно, понимание знака произвольно. И когда я получаю знаковую цепочку, я вроде бы могу понять так, а могу совсем иначе. Это зависит от меня, от того, как я буду оперировать знаками. Так ничего подобного, говорю я, понимание – не произвольная акция.

– У Выготского тоже есть что-то в этом роде.

Выготский, действительно, в самых последних работах открывает значение и говорит: самое главное в знаке – это проблема значения. Так и Эльконин рассказывает: когда Выготский начинает, его концепция выступает как инструменталистская, а в последних работах 1933–1934 гг. оказывается, что самое главное – значение. А раньше было вот это произвольное операциональное употребление и понимание, соответственно, было произвольное. Теперь же возникает эта проблема значения. Но эту проблему Выготский никак не разрешил, хотя, скажем, у Соссюра, которого он хорошо знал, она уже разрешена.

Вспомните его полемику со Штерном. Штерн говорил: значение есть свойство знака. Выготский ему возражал: не свойство, а привносимое нами. А что я здесь говорю? Нет, все-таки свойство, свойство-функция, но тем не менее свойство знака. И знака без этого не может быть. Больше того, не свойство, а структура в нем есть, и она есть независимо от нашего понимания; наоборот, наше понимание зависит от этой структуры. Здесь понимание фиксируется как зависящее от структуры знака, от его значений.

– То есть значения суть структуры.

Это я с самого начала зафиксировал, в самых ранних работах. Я думал, что об этом просто говорить не надо.

В схеме знания, что задает структурность? Она задается прежде всего связями замещения–отнесения. Эти два отношения и есть для меня либо смысл, либо значение – в зависимости от того, куда это попадает,

в синтагматику или в парадигматику. Этот момент здесь и важно было зафиксировать.

И теперь еще один кусочек я сумею сейчас рассказать – седьмой пункт.

7. 1967 г. у нас был очень напряженный. В Ленинграде было совещание по терминологии. Я заинтересовался этой темой, чтобы понять, как надо термины образовывать, как правильно и как неправильно, как они вместе живут. На передний план здесь выступила – в реализации всего того, что было раньше – социотехническая схема существования термина. Она первоначально разрабатывалась на отношении к знакам.

Сегодня Н.Г.Алексеев мне сказал, что он новый ход придумал: сам процесс выработки знаний он теперь будет рассматривать как социотехническую схематизацию. В общем, это известно лет 15. Но он сейчас это применил, и получают совсем новые расчленения, новые единицы и т.д. Вот то же самое произошло и со мной тогда, в 1965–1966 гг.

Первое, из чего рождается социотехническая схема – это отношение лингвиста к термину. Меня тогда волновал вопрос о естественном и искусственном в образовании терминов. Соответствующие работы были опубликованы позднее, в 1971-1972 гг. Там впервые была дана и применена социотехническая схема. Она же была сразу использована для методологической работы. Причем, каждый раз, когда появлялся новый схематизм, он моментально прикладывался в разных областях и через это разворачивался весь веер развиваемых нами представлений.

Так вот, появляется схема социотехнической трактовки термина и вообще знака, которая моментально объясняет много сложных моментов. И знак выступает как искусственно-естественное образование, а следовательно, и смысловое поле его оказывается очень сложным – то, о чем сегодня говорил А.Веселов: что множество планов раскладывается на планы искусственного и естественного. И в этой схеме впервые приобретает осмысленность связь смысла и значения. И впервые в социотехнической схеме так наглядно значение и смысл разводятся. Все это было подготовлено работами наших предшественников. Все они, включая Фреге, фиксировали ситуацию феноменально: есть смысл и есть знание, есть значение и есть смысл, есть денотат и есть смысл – и все это изображается в виде треугольника. Но они никак не могли объяснить, откуда берется это различие. Так вот: оно появляется за счет того, что вся работа со знаками носит социотехнический характер. Дальше (это 1966 г., один из самых продуктивных для нашего развития) этот технический подход к знаковым системам получит развитие в статье об универсалиях [*Щедровикий* 1969].

После этого (рубеж 1968-1969 гг. и 70-е) начинается новый комплекс работ – о смысле и значении и о связи понимания и значения, а дальше возврат опять к проблеме связи понимания и мышления (что было зафиксировано в 1973 г. [*Щедровикий, Якобсон* 1973]).

3.

В прошлый раз я рассказывал об истории развития представлений о взаимоотношениях понимания и мышления в ММК. Последний момент, который я обсуждал, касался места понимания в объективном существовании знака. Сегодня я хочу закончить свой рассказ, доведя его до сегодняшних дней, и попробую сформулировать некоторые дальнейшие проблемы.

Итак, этот момент – включение процессов понимания в жизнь знака – был, с одной стороны, принципиальным, а с другой – внутренне очень сложным и противоречивым. В каком-то плане он подытоживал весь первый период развития наших представлений, как содержательно-генетикологических, так и теоретико-деятельностных, и вместе с тем отражал и фиксировал тот уровень развития категории системы, которого мы достигли к 1963–1965 гг. В этой проблеме связи знака с процессами понимания, точно так же как в других, четко выражалась недостаточность нашего тогдашнего представления о системах. Поэтому все то, что я предметно обсуждал в конце прошлого заседания (знак и понимание), должно рассматриваться на фоне развития категории системы.

С самых первых работ (1952–1953) мы фиксировали знак и представляли знак в схемах через единство материала знаковой формы и того, что мы называли связями значения.

На схеме мы изображали эти связи значения в виде черточек или стрелочек в соответствии с традицией структурных изображений (развитой, скажем, в химии и в некоторых других дисциплинах и получившей отражение в некоторой общей онтологии). Поэтому знак для нас выступал как некоторое усеченное структурное образование. Усеченное, потому что в принципе наш анализ знака и его функций был теснейшим образом связан с анализом значения и того, что мы называли предметом.

Вообще, это склеивание или отождествление значения и предмета очень характерно для всех наших работ и требует специального критического анализа. Это пункт, который дальше надо развивать и развертывать. И мне сегодня не очень понятно, почему все это так получилось, и какие, собственно, выходы из этого мы должны наметить.

Но сейчас меня будет интересовать не это, а отношения между структурой знания – полного, объективного, или реального, как мы тогда говорили, – или структурой предмета, и знаком. Тогда мы просто вырубали то, что изображало или символизировало содержание или плоскость содержания – объекты и операции. Остался материал знаковой формы и две связи, которые нами трактовались как действия замещения и отнесения, или замещения и интенции, интенционального отношения.

При этом в соответствии с первым понятием системы, тем понятием, которое было выражено в сборнике [Пробл. иссл. систем и структур

1965], такая усеченная структура могла интерпретироваться через особое предметное образование, содержащее материал знаковой формы и, скажем, два свойства-функции – свойство-функцию α , которое соответствует отношению, или связи, замещения, и свойство-функцию β , которое соответствует интенциональному отношению, или связи отнесения – $\beta(A)\alpha$. Но сама эта техника перевода связей в свойства-функции постоянно обсуждалась в моих работах, начиная с первой публикации «“Языковое мышление” и методы его исследования» [Щедровицкий 1957], и уже была формализована в статье «О принципах классификации наиболее абстрактных направлений методологии системно-структурных исследований» [Щедровицкий 1965 с] в этом сборнике 1965 г.

Значит, за этим стояла, повторяю, особая техника представления связей или отношений значения как свойств особого рода, свойств-функций. Поэтому мы всегда могли знак представлять либо в структурном плане (рис. 8), либо как $\beta(A)\alpha$, и между этими двумя предметными представлениями – структурным и представлением вещь-свойство – устанавливались определенные отношения.

Таким образом, мы снимали очень многие парадоксы существования знака, но при этом не справлялись с процессуальными аспектами.

И когда в этих работах 1963–1965 гг. обсуждался вопрос о роли процесса понимания (именно процесса, поскольку даже когда говорилось о понимании вообще, то это трактовалось именно как процесс), то возникла сложная склейка – та самая, которая в химии проявилась в 80-х годах прошлого века в дискуссиях между Бутлеровым, создателем таких структурных схем, с одной стороны, и Менделеевым и Меншуткиным – с другой. Менделеев и Меншуткин доказывали Бутлерову, что никаких связей в реальности нет, и Бутлеров признал это и говорил, что таким образом мы изображаем некоторые процессы.

В данном случае, когда фиксировалось, что понимание есть компонента реального, объективного существования знака как такового, то тем самым, фактически, давалась процессуально-деятельностная трактовка этих связей – связей замещения, связей отнесения к некоторому объективному содержанию. Но что при этом происходило? Сам этот процесс принадлежал уже не знаку как таковому, как он был начерчен, изображен в схеме и как соответствовало бы разворачивающемуся отношению объективации (сначала онтологизации, потом объективации и оестествления) – он принадлежал человеку читающему, понимающему этот знак.

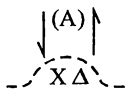


Рис. 9

И тогда, как вы видите, возникала очень острая и сложная проблема существования знака. Фактически, в этой идее включения в знак процесса понимания устанавливался определенный запрет на прямые, непосредственные онтологизации знака как идеального объекта.

Значит, вроде бы все то, что было представлено в такой структурной форме, – все это существовало и было зафиксировано, – но только суще-

ствовал знак, как теперь вдруг оказывалось, не сам по себе и не в себе, а всегда по отношению к работе человеческого сознания. Иначе говоря, это означало, что он существовал объективно не в природе, а в человеческой мыследеятельности.

Фактически, в тезисе, что понимание есть конституирующая компонента в реальном существовании знака, реализовался давно сформулированный нами принцип: знак как особая организованность существует только в мыследеятельности. На схеме такого рода это получало точное онтологическое выражение и представление.

Но этот тезис входил в противоречие с другим, феноменально совершенно очевидным. И кстати, ведь сейчас, в дискуссии с В.С.Библером, мы должны были бы снова вернуться к этой теме, ибо здесь возникает основная для психологии проблема: границы между внутренним и внешним. Ведь в этой схеме граница между внутренним и внешним принципиально снимается или, во всяком случае, проблематизируется.

Так вот, оказывалось, что вроде бы знак существует только в процессах мыследеятельности, во включенных в нее процессах понимания и по-другому он не существует. Или иначе: знак существует только в моем процессе понимания.

Но, с другой стороны, ведь феноменальные представления требовали разграничения и противопоставления знака и моего сознания. Ибо знак как таковой, и это с обыденной точки зрения совершенно очевидно, существует вне моего сознания. Мое сознание лишь прочитывает этот знак, его понимает. И поэтому понимание должно быть противопоставлено знаку.

Традиционно существовали разные точки зрения – точка зрения Звигинцева, что именно употребление задает знак или процесс нашей работы с ним, и тезис, который я в противоположность этой точке зрения формулировал в работах 1963–1965 гг.: что, с одной-то стороны, это, конечно, так, но с другой – не значение знака определяется пониманием, а понимание определяется значением знака. Я, таким образом, включал сюда весь культурный аспект.

И я теперь хочу вернуться чуть назад. Я фиксирую этот парадокс, – движущий, важный, требующий разрешения. Мы уже подошли к очень четкому пониманию того, что знак существует в мыследеятельности и через процесс понимания, и в этом смысле нет никакой разницы между пониманием и знаком. Собственно говоря, понимание конституирует знак как таковой. Я возвращаюсь к самым ранним работам 1952–1954 гг., когда на этой процедуре различались сигналы, знаки и, дальше, символы. Теперь мы дали более развернутую характеристику. Таким образом появился один план существования – в мыследеятельности. Но если эта мыследеятельность сфокусирована на индивидуе и его сознании, то параллельно фиксировалась еще другая форма существования знака – та, которая противопоставлена индивидуальному сознанию и индивиду вообще и есть существование знака в культуре. Другое существование знака.

– Так, а первая онтологизация была не культурная, а замкнутая на индивидуальное сознание?

В этих работах. Тут же дело вот в чем. Вы прекрасно понимаете, что тут дальше идут ходы к различению синтагматики и парадигматики в существовании знака – раз, использование схем воспроизводства – два. И интересно: схемы-то воспроизводства появились черт знает когда – уже в 1961 г. они были зафиксированы. Но осознание-то приходит всегда потом. И распространение схемы на другие области тоже происходит потом. Значит, схема воспроизводства была зафиксирована, а осознание ее как схемы, конституирующей деятельность, приходит позже – с 1963 г. И в другом контексте.

Так же здесь. Вроде бы различение парадигматики и синтагматики, норм культуры и социетальных реализаций было зафиксировано давно. А у Соссюра эта множественность существования знака была зафиксирована еще в 1916 г. Но надо было еще отработать эту схему как онтологическую и методическую на этом материале. И, как видите, ход-то к ней шел странным образом – как бы имманентно, через обсуждение внутренних проблем знака и анализа его самого в серии логико-семиотических работ.

А рядом существовали схемы деятельности, в которых вроде бы решение этой проблемы уже было в общем виде дано. Но только то, что это существовало на схемах деятельности, для анализа знака не играло никакой роли – пока что. Решена там проблема, задана структура деятельности – и ладно. А знак – сам по себе, и обсуждается он вроде бы сам по себе; только фиксация вот этих имманентных, внутренних трудностей заставляет разворачивать схематизмы и строить все более сложное, расширяющееся представление о знаке.

Это, кстати, то, что у нас очень резко проявилось в полемике с М.П. Папушем – вот совсем недавно, на заседаниях по пятницам, когда я требовал от него, чтоб он нам давал не готовые схематизмы, а дырки, разрывы, т.е. проблемы, которые он решает. Собственно, предметная-то мысль заключена в фиксации этих дырок как проблем, а не в задании схематизмов как таковых. И здесь это проявилось.

Таким образом намечалось очень странное существование знака в понимании и через понимание и говорилось: понимание-то и создает организованности замещения и отнесения. Поэтому, если мы хотели рассмотреть знак, то мы должны были прежде всего фиксировать понимание как таковое. И пока в работах 1963-65 гг. игра шла на самом понимании и на расчленениях внутри индивидуальной деятельности, получалось следующее. С одной стороны, понимание, идущее от сознания и в сознание включенное, оказывалось конституентой знака. Но, с другой стороны, знак должен был задаваться как объект отдельно от сознания, от индивидуального поведения и деятельности, он должен был получить другие определения. И тогда понимание оказывалось моментом присвоения знака, его прочте-

ния, и в этом смысле, вхождения моего (или какого-то другого индивида) в связь со знаком и через знак во что-то другое.

Таким образом появлялись две фокусировки понимания: понимание как конституента знака в его объективном существовании и понимание как моя техника присвоения знака. И основная проблематика герменевтики и вообще всего комплекса «понимающих наук» сводилась к этой проблеме...

– Но в некоторых вариантах герменевтики и знака-то не было вообще. Там проблема понимания обсуждалась без знака.

Ну да, через знак, поскольку знак вообще попадал в средства понимания. Это тоже интересный ход. Но я-то, рассматривая то, что мне тогда было известно из герменевтики, говорил, что это неразличение двух функций понимания фактически и приводит ко многим смещениям и ошибкам – когда, говоря о понимании, мы не фиксируем каждый раз, в какой отнесенности мы его рассматриваем: рассматриваем ли мы его в отнесенности к объективному существованию знака и таким образом фиксируем все это в идеальном объекте, называемом «знак», либо же мы рассматриваем понимание в отнесении к индивиду и работе сознания как такового – и тогда мы фиксируем это в идеальном объекте теории сознания. Когда же мы такое различие проводили, то происходило как бы расщепление и расслоение между семиотикой как теорией знака, с одной стороны, и теорией сознания – с другой. И само понимание, фокусируясь в эти два плана, получало два разных идеальных существования.

Вот что тогда было зафиксировано. Вопросы?

– Когда вы говорили о внешнем и внутреннем, я уразумел, что вы говорили о деятельности, а не об индивидуальной деятельности. Не так ли?

Для меня эти различия безразличны, так как я пока не знаю, как работает категория внешнего и внутреннего. Для того и другого – как для деятельности, так и для индивидуальной деятельности. Но вроде бы для деятельности это вообще не проблема. Там я этот принцип сформулировал давным-давно: деятельность не допускает различения на внешнее и внутреннее, т.е. категория внешнего и внутреннего дефициентна по отношению к деятельности. Думаю, что эта категория дефициентна и по отношению к индивидуальной деятельности. Там должны работать другие категории. Например, «мое» и «чужое», а не «внутреннее» и «внешнее». Но я не прорабатывал эту тему, так как у меня не было пока серьезных оппонентов.

То, что пытался с внешним и внутренним делать Олег Генисаретский, на мой взгляд, несерьезно, потому что предельно формально. Он исходит из того, что делит что-то на части – правую и левую; после этого он либо объявляет правую часть внешним, а левую – внутренним, либо наоборот, и затем начинается формальная работа на соотношении того и другого. Фактически, на понятии границы. Вот проблему границы в категориальном плане я принимаю как таковую, но проблема границы не есть

проблема внешнего и внутреннего. Поэтому пока что я думаю, что для индивидуальной деятельности эта категория тоже дефицитна и не может работать.

С другой стороны, вся современная психология построена на этой категории внешнего и внутреннего. Но при этом сама категория не проработана. Если я кого-то из вас начну спрашивать, а как вы вводите внешнее и внутреннее, то вы мне не ответите на этот вопрос. И никто из психологов не ответит. Хотя они с этим работают, но они считают, что это – вопрос бестактный.

Вот поэтому у меня подозрение, что и для индивидуальной деятельности эта категория дефицитна и не значима. Но у меня пока нет потребности всерьез продумывать это.

– Зачем тогда говорить?

А я и не говорю. Когда при мне другие говорят о категории внешнего и внутреннего, то я говорю: вы сами не знаете, о чем вы говорите, и я могу вам это доказать. А у меня нет необходимости говорить о внешнем и внутреннем.

– Вы говорили о процессуальности знаков и связывали это с пониманием. Будет ли связываться понимание с процессуальной стороной знака как системного образования или понимание будет связываться и с другими планами системы?

Это хороший вопрос, только все наоборот. Как я сказал, прошедшее тогда обсуждение достаточно четко фиксировало отсутствие у нас достаточно развитого и мощного понятия системы. Фактически, за счет элиминированного процессуального плана наше понятие системы было сведено к понятию структуры, о чем я в прошлый раз говорил. Я говорил и о том, что появление нового понятия системы, включающего процессуальный план, было теснейшим образом связано с работами В.Я.Дубровского, поскольку в 1965 г. мы пришли к выводу, что мышление – это не процессы, а структура, и отказались от процессуального рассмотрения, а Виталий Яковлевич с 1966 г. не принимал этой точки зрения и продолжал работу по стягиванию и связыванию структурных и процессуальных представлений. Поэтому в первую очередь ему мы и обязаны появлением нового понятия системы в нашем кружке.

Но ведь, фактически (отвечаю на ваш вопрос), здесь произошла стяжка или стыковка организованностного или морфологического, как я бы сейчас сказал, представления знака с процессуальным, мыследеятельностным. В рамках одного структурного схематизма (а он подчиняется принципу трех «Г» (гетерогенности, гетерохронности и гетерархированности) представлены и организованности (материал знака и элементы объективного содержания), и процесс.

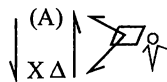


Рис. 10

Я бы мог перерисовать это, убрав связи замещения и отнесения, и оставив только организованности объекта действий, совершаемых нами, причем практических действий, как говорят психологи, внешне выраженных действий, и организованности материала знаковой формы, – и сказать: вот есть две противопоставляемые организованности материала и сам процесс противопоставления и соотношения, и этот процесс реализуется в мыследеятельности, ну, в частности, как понимание или еще как-то. Значит, эта структурная схема должна быть поделена на две части.

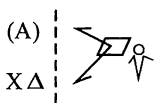


Рис. 11

Вот теперь следует вопрос: а как же мы рассматриваем теперь знак? Рассматриваем ли мы его морфологически? Системно?

А я вот не могу ответить на так красиво, в лоб поставленный вопрос. Я говорю: все зависит от того, как вы рассматриваете. В этом основные парадоксы. Вы обязаны рассматривать системно, но не знак, а вообще все. Когда же вы все рассматриваете системно, а это значит: как процесс, как функциональную структуру, как организованность материала, или морфологию, и как просто материал, то вы каждый раз меняете границы, и объект у вас вроде бы исчезает. Потому что особенность системной категории в том, что там нет одного объекта. И когда вы даете процессуальное представление, то у вас оказывается, что знака-то вроде бы нет, а есть только материал знака, объект оперирования и действие оперирования; а кроме того, есть процесс понимания. И этот процесс понимания, соединяющий эти две организованности, принадлежит уже другому – не материалу знака, не объекту оперирования, не действиям, а вот тому, что мы называем сознанием человека, или, более широко, его мыследеятельностью. Так что вы рассматриваете системно – знак или человеческую мыследеятельность?

Поэтому я еще в 1964 г. сформулировал принцип: знак не является объектом и быть им не может. Объектом является мыследеятельность. Но это – когда процессуально рассматривают. А если рассматривать структурно? При структурном рассмотрении я применяю очень простой прием. (Здесь я забегаю вперед, поскольку осознано-то это было только в 1971 г.; это очень важная веха – 1971 г., и, в частности, подготовка к минскому совещанию по семантике и публикация материалов этого совещания, хотя они там сильно изуродованы). Итак, когда я подхожу структурно, то я этот процесс, осуществляемый моим сознанием – процесс понимания – должен представить в другой, превращенной форме, в виде двух стрелочек, т.е. в виде двух связей – фиктивных сущностей. И когда я это представил, то я могу мыследеятельность стереть. И у меня тогда на структурном уровне появляется знак как идеальный объект.

А теперь интересно: вы морфологизацию такого знака-знания можете произвести или нет?

– *Никоим образом.*

Красивый ответ. Вот с этого и начиналась работа с атрибутивными

знаниями. Ведь, с одной стороны, действительно, никоим образом; иначе говоря, я буду так морфологизировать, что знак как целое у меня исчезнет, у меня останется только то, что все и фиксируют в феноменальном плане: одна вещь, обозначающая другую вещь. Но это же парадокс – что значит «обозначающая»? Так что такое знак – вещь, которая обозначает, или обозначение? Никто на этот вопрос не ответит – кстати, потому, что речь наша очень четко фиксирует процедуры нашей работы. Потому что, действительно, тогда на уровне морфологизации остается вещь, обозначающая другое, а само обозначение принадлежит только структуре, а не морфологии.

Но морфологизировать-то надо, и поэтому, как было показано в серии сообщений «О строении атрибутивного знания» [Щедровицкий 1958-60], мы производим морфологизацию за счет синтаксических структур речи. Реальное значение и реальные связи переводятся в формальные и начинают выражаться в последовательностях нашего речевого текста, в последовательностях слов. Потому что эти горизонтальные последовательности, цепочки слов суть не что иное, как снятые в материале (т.е. на морфологическом уровне) связи между материалом знаковой формы и содержанием. Это не связи знаков. В этом смысл работы об атрибутивном знании.

Я там утверждаю, что рассматривать синтаксис как связи знаков есть ошибка. Грубая, причем, делающая понимание природы знаков невозможным. Я утверждал, что в этом смысле синтаксис и морфология суть одно и то же, и синтаксис есть морфологизация – но связей между знаковой формой и объективным содержанием. Больше того, мы еще в 50-е годы на разном материале демонстрировали эти процедуры морфологизации.

Это очень красиво выступает на примере возникновения числового ряда. Что делает Архимед? Он поднимает семантические отношения на уровень морфологизации материала знаков. И дальше – эта разрядная система, позиционная. Связи с объективным содержанием морфологизируются и даже фиксируются – они могут фиксироваться либо синтаксически, либо морфологически, собственно морфологически. Но во всех случаях происходит одно – морфологизация.

Отсюда, кстати, – и это надо обсуждать, это важно – подлинными-то единицами нашей мысли являются функционализация и морфологизация, находящиеся в постоянной борьбе друг с другом. Рассматривать нужно именно отношения между функционализацией и морфологизацией как направлениями и их осуществление – одного через другое. Это один из ведущих моментов понимания и мышления.

Но это значит – резюмирую, – что никоим образом нельзя представить знак как морфологию. Однако системный-то подход требует такого представления. Если вы этого не можете сделать, значит, вы зря болтаете про системный подход. И поэтому вот эта невозможная морфологизация осуществляется за счет перевода вертикальных связей, или семантики, семантических отношений, в план чистого материала, т.е. якобы синтаксических отношений (отношений между знаками); а это есть, по сути дела,

особого рода морфология. Но эта морфология – отношения между знаками – есть не что иное, как отображение семантических отношений между знаками и их содержанием.

– Но вот интересно: морфологизация идет, собственно, за счет какого-то другого знакового материала...

Кстати, она может идти и на объективное содержание – так и происходит. В этом смысле Витгенштейн был прав: мир имеет структуру языка.

– И, с другой стороны, у вас появляется синтаксис. Откуда он?

Я это потом показал в следующих сообщениях по атрибутивному знанию, которые не были опубликованы. Эта работа перешла в работу другого толка, она сейчас называется «Об атрибутивно-предикативных структурах». И в лекциях 1971 г. я как раз внес все эти коммуникативные моменты (они только намечались в работах 50-х годов) и показал, как коммуникация и необходимость взаимопонимания начинают растягивать знаки, создают предикативные отношения, или отношения предикации, и как вот это отношение предикации впервые создает синтаксис в его отличии от морфологии. А оформлено это было совсем интересно: за счет различия греко-арабской традиции и греко-европейской. Хотя намечалось уже в древнеиндийской традиции при создании санскрита. Но, фактически, это различие – собственно морфологии и синтаксиса – возникает за счет двух школ в языкознании, за счет двух методов искусственного построения языков – морфологического построения и синтаксического построения. Потом, когда они накладываются друг на друга и соотносятся друг с другом, это различие морфологии и синтаксиса рождается и фиксируется уже в осознании. Но, по сути дела, это лишь разные формы морфологизации.

– Я не понимаю – эти связи замещения, они у вас что, морфологизируются и в то же время синтаксизируются?

Да, но тут нужно добавить, и это очень важно, что это отношение между нашими процедурами и реальным оестественным процессом. И это легло в основание серии лекций про структуру знания. Там впервые отработывалась эта логическая техника обсуждения искусственно-естественных образований, переход естественного в искусственное и обратно.

Что здесь происходит? Я обсуждаю это на своих схемах. А люди-то, имея дело с реальными знаками, тоже должны были морфологизировать эти семантические связи, дабы обеспечить взаимопонимание. И поэтому я, обсуждая в своих схемах уже операторику морфологизации, фактически имитирую то, что люди испокон веков делали в развитии речи-языка. Они тоже все время должны были продолжать эту морфологизацию.

Я вот сейчас помаленечку читаю Диогена Лаэртского. И я начинаю видеть эту афинскую ситуацию. Это описание внедрило в меня твердое

убеждение, что афиняне занимались в основном рече-языковым производством. Там, в этих описаниях, четко ощущается, какое удовольствие они получали, когда фиксировали новую форму: падеж создавали, какую-то синтаксическую или новую морфологическую структуру. Это было то, что В.А.Лефевр где-то в 1959 г. назвал семиотическим производством. Оно у них было. И они все время обсуждали – как дети, – как можно создавать эти морфологические семиотические конструкции. По-видимому, расцвет этого был у Зенона-стойка и дальше у Хрисиппа. Роль стоической школы также очень важна в этом плане. Поскольку развивалась демагогия, риторика, постольку большой интерес привлекала техника выражения оттенков содержания. Поэтому главное, что они должны были делать – и там это достигло огромной изощренности, – они должны были все время переводить эти семантические отношения в морфологию и синтаксис, строить морфолого-синтаксический план языка. Тогда-то, по-видимому, и появились в греческом языке связка и все остальное.

– А функционализация – это как бы начинается борьба с оестественлением? Потому что оестественление может привести к натурализации. Вот это, по-видимому, Кассирер и разыгрывает, да?

Совершенно верно. Кассиреру надо вернуться назад и начать показывать особую роль функциональной организации объекта.

– То есть, постоянно оестествляя, не забывать, что это все-таки есть искусственное.

Вы совершенно правы, и в этом смысл оппозиции функционального и морфологического. Кстати, в этом же проблема эмпирического материала для науки. Здесь же проходит граница между онтологической работой и научной предметизацией. Потому что наука невозможна без морфологизации. Собственно, наука в сути своей есть господство морфологической направленности над функциональной, сведение функциональных схем к морфологии. И это очень интересно происходило в истории ММК, в частности, с понятием операции, поскольку Зиновьев-то задал чисто функциональное расчленение: сведение – выведение. А меня, как несшего научную традицию, интересовала проблема морфологизации этих процессов. Где границы этого сведения, где кончается сведение и начинается выведение? И мне надо было перевести эти функциональные оппозиции в морфологию.

Так что вы совершенно правы, но тут и натурализация, и ход к науке – все эти очень важные вещи.

– Вы говорили о феноменальном плане. Что это такое?

Ну культурная традиция у нас есть, и она вроде бы закреплена в очевидном и непосредственном видении, что знаки есть знаки, что они имеют культурное существование. Я иначе могу сказать. В чем разница меж-

ду графической формой выражения текста и орнаментом? В чем разница для вас между графикой фарси и орнаментом? Для вас? Но тем не менее мы считаем, что есть принципиальная разница между орнаментом и текстом. И текст – графика текста – это не орнамент.

Следовательно, дело не в том, что я одно прочел, а другое не прочел, а в том, что я одно могу прочесть, а другое прочесть нельзя. В данном случае я, как Господь Бог, по схеме двойного знания работаю. Так вот, орнамент нельзя прочесть, поскольку это не знаки. И не потому они не знаки, что я их не понял, а потому я их не понял, что они не знаки. И это вроде бы не имеет отношения к моему сознанию, потому что в моем сознании все совершенно иначе. Для моего сознания, если я не знаю фарси, это тоже орнамент. Понимаете, я ведь вроде ни того, ни другого не могу прочесть. А тем не менее, одно есть текст, а другое – орнамент. И вот это вроде бы феноменальное знание, и оно еще не идеализированное. Я на следующих шагах попробую ввести это в идеальный объект. И это должно быть учтено во всех этих схемах. Пока что получается странная вещь: знак – это то, что я понял. А вроде бы должно быть наоборот: мы понимаем то, что суть знаки. И следовательно, понимание не создает значение, а раскрывает его, выявляет; оно само, это понимание, идет по уже имеющемуся у знака значению. И я в этом смысле каждый раз лишь это значение воспроизвожу.

Поэтому я так и отвечал Звегинцеву: дело не в том, что мы понимаем знак, делая его знаком, а в том, что есть знак в фиксированном культурном значении; и мы в понимании его не творим, а лишь раскрываем или воспроизводим. В этом смысле понимание есть репродукция значения, заключенного в знаке. Но это, кстати, опять к вопросу о существовании культуры. За этим стоит невероятно сложная вещь, поскольку культура – куда я теперь ее буду рисовать? Я спрашиваю: а где же существует значение? И возникает так называемый «парадокс Смирницкого»: язык существует в голове у человека, и это есть не что иное, как знание языка; и это знание языка культурно, и за счет этого, собственно, и создается вроде бы целостная структура знака.

Я тогда возражал против этого, и сейчас возражаю – более осмысленно. Вот здесь проходит демаркационная линия между нашим подходом и тем, что пытается реализовать Хомский, всеми этими системами порождающих грамматик, всем этим бихевиоризмом. Туда попадает и весь Пиаже – потому что они же каждый раз вытягивают (как я сказал бы на своем языке) значение из смысла. А для меня значение суверенно и существует само по себе.

Поэтому проблема двух каналов трансляции культуры остается. Трансляция осуществляется через человека и его воспитание – это один канал, а другой – это то, что сам знак уже несет в себе отпечаток культуры. И здесь, в культуре, уже отмечен смысл, или форма употребления, создающая смысл. Понимание лишь актуализирует это, а иногда нарушает, а

иногда вообще творит заново и т.д. Здесь может происходить что угодно, но самое главное – здесь, на знаке, происходит столкновение двух разных каналов культуры. И без этого мы вообще не можем рассматривать ни понимание, ни коммуникацию. Все это требует совершенно других схем для объяснения – психологического или культурно-исторического. Сейчас они находятся в жесточайшей оппозиции и в силу этого фиксируют разные аспекты реального.

Вот как в рассуждениях 1963–1965 гг., связанных с определенным направлением дискуссии, разворачивались эти противоречия. Вот как и через что мы шли.

Пока есть лишь фиксация противоречий, нет их преодоления. Схема фиксировала некоторые масштабы видения и породила противоречия. Она их не снимала, не учитывала.

– Создается впечатление, что ваша работа создавалась, особенно в переломных моментах, не рассуждением, а пониманием.

Моя работа всегда определяется пониманием, и в переломные, и в непереломные моменты – я всегда соотношу свою мыслительную работу с пониманием. Для меня понимание все время является верховным – не ведущим, а верховным.

– Вы зафиксировали два канала трансляции. Замыкание понимания на одном рождает разрыв?

Да, вы можете понять это так. В школе происходит заведомый отбор некультурных текстов. И так происходит отбор, что вся человеческая культура отсекается. Нынешнее поколение отрывается от всей прошлой культуры в силу педагогического, целенаправленного отбора текстов. А параллельно происходит невероятное упрощение текстов, они вульгаризируются, низводятся до африканского уровня, и становятся ненужными все отработанные в культуре формы логического, герменевтического обеспечения. Даже языковые структуры уже не нужны, потому что для того, чтобы работать с этими текстами, даже падежей знать не нужно, а не только какой-то сложнейшей логической связи.

Поэтому возникает разрыв между всем массивом культуры и текстом, ее фиксирующим – высокой наукой, высокой литературой, – и тем, что дают в школе. Больше того, это не только в школе. Кроме того, действует идеология так называемой продуктивности.

Поэтому я бы мог сказать так: у нас практически вся литература, сейчас выходящая, некультурна. Вместо фиксации образцов деятельности, она фиксирует продукты, которые не дают возможности восстанавливать деятельность. И в этом смысле они не транслятивны. Фактически, издательством «Наука» и всеми другими издаются не транслятивные, а коммуникативные тексты; это – сообщения, научные конференции, отчеты: я сделал то-то и то-то (а не так чтобы «я создал новую норму работы,

и эта норма для решения задач строится так-то»). Ну, сделал – и молчи себе в тряпочку. Но это сообщается с великой важностью.

Поэтому, фактически, культура как таковая в текстах больше не существует. Она уничтожена за счет видоизменения характера текстов. Уничтожена трансляция культуры, а следовательно, возможности воспроизводства деятельности. Мы все – американцы в такой же мере, как и мы, даже больше – превращаемся в обитателей планеты Стругацких, через которую проходит нуль-транспортировка образцов. Фактически, мы сейчас и представляем собой такую вот обезчеловеченную массу. Массу, у которой вырвали ее культуру за счет этой трансформации текстов.

– Но ваш оппонент об этом давно уже писал...

Я очень уважаю Владимира Соломоновича Библера за его подвижническую деятельность. Но, кстати, на вопрос «Различаете ли вы трансляцию и коммуникацию?» я получил от него отрицательный ответ. Обратите внимание, на самом-то деле Библер осуществляет трансляцию, но идеология у них – чистой коммуникации. Поэтому, когда я предлагал тост за учителя, то мне отвечали с пафосом (в том числе и сам Библер): «У нас нет учителей, у нас есть диалог».

– Очень интересно посмотреть, как в различных современных околонаучных идеологиях провозглашается тезис, что культура есть всеобщая коммуникация.

Да я так и спрашивал: вы что, сводите все к коммуникации? Выделяете ли вы процессы трансляции как передачи культуры? И получил фактически отрицательный ответ. И это тоже очень интересно. Хотя я понимаю, что это идеологический принцип, причем социальный – противоречащий практике работы этого кружка.

– А какое содержание вы передаете?

Я полагаю, что практически все мои тексты транслятивны. Но на ваш вопрос я таким образом не отвечаю, потому что вы ведь о чем спрашиваете? О том, какое именно содержание я транслирую – средственно-структурное, историческое и т.д.

Кстати, я не очень точно вам ответил. Все тексты подобных сообщений транслятивны. Но кроме того, у нас есть прямые тексты коммуникации. Например, «четверговые» тексты в последнее время у нас принципиально коммуникативны, а не транслятивны. Кстати, в этом нас и упрекали в 70-е годы, в частности Генисаретский – что у нас слишком мало транслятивных текстов, что нет учебника. Тоже верно.

– Но по четвергам бывают и транслятивные тексты.

Это так. Во всяком случае я был неправ, когда сначала ответил, что у меня только транслятивные тексты; есть и такие, и такие.

Это ведь вообще очень сложный вопрос – распределения текстов по этим двум планам, коммуникативному и транслятивному <...>

– Мне кажется, что даже те образцы и эталоны культуры, которые транслируются на знаковом уровне, сфокусированы на социетальную онтологию, без исторического отнесения, отсюда они дефициентны.

Это важный вопрос, который требует обсуждения. Вот Ефремов в книжке «Час быка», считает, что история есть не только основная, но, фактически, единственная, форма трансляции культуры. Отсюда, на его идеальной коммунистической Земле изучение истории – это основное, все остальное рассматривается уже не как передача культуры, а как освоение профессиональной техники. Эта мысль – что передача истории есть основная форма трансляции культуры – мне очень близка. Но это не снимает вопроса о том, что это за история – реальная история или псевдоистория. Должен отметить, что с ней может конкурировать методологическая форма организации.

– А не работает ли эта методологическая форма как компенсаторный механизм в связи с отсутствием подлинного исторического плана?

Конечно. Гигантский вклад в обсуждение этой проблемы внесли Маркс и Энгельс. И последнему принадлежат те формулировки, которые вы сейчас произнесли. Вы, конечно, их выдумали сами, но еще раньше их написал и широко опубликовал он.

Но при этом – обратите внимание – эта форма может стать основной и самодовлеющей. И действительно, в каком-то смысле методология есть попытка передачи исторического содержания в структурных формах, поскольку история должна сниматься в каких-то формах.

Пошли дальше.

Я вас уже подвел к следующему этапу развития наших представлений. Я очертил намечающуюся проблематизацию. Вообще-то говоря, смысл и значение я различал всегда. В частности, в силу знания традиции, где все это различается – фрегевской, огденовской. Но это различие не было рабочим в рамках нашей системы до 1970 г., некоторое время вопросы оставались без ответа. Хотя здесь различаются два параллельных направления.

С одной стороны, теперь эта схема (рис. 4) вроде бы естественно начала соотноситься с общей схемой воспроизводства, и поэтому появилось расчленение на синтагматику и парадигматику.

Тут ведь была еще одна проблема, которой меня мучил Б.В.Сазонов с момента появления работ об атрибутивном знании. Он мне говорил: «Ладно, как получается знание про объект X, я понял. А откуда берется первая исходная форма, т.е. знаковая форма (А) в связи с некоторым объектом-эталоном? Вот пока ты не расскажешь этого, я ничего не буду прини-

мать». Тут мне важно даже не объяснение происхождения, так как в этом я всегда отбивался от него, ссылаясь на различие развития и происхождения, и эти вещи в конце 50-х – начале 60-х годов были отработаны. Но речь шла о форме существования, т.е., фактически, он спрашивал: а где существует этот образец?

И вот в работе 1962 г. (это тезисы о принципе относительности Уорфа) этот вопрос был вроде бы уже поставлен очень резко, и наметилось различие парадигматического и синтагматического существования знака. Дальше все это обсуждается в большой серии статей, где, в частности, обсуждалась проблематика термина и его знания, рассматривались логическое и лингвистическое и соотносились друг с другом разные типы парадигматики: знаниевые и знаковые. Это была одна линия.

А с другой стороны, различие смысла и значения приобрело новый смысл, и то, что раньше недифференцированно фиксировалось как проблема значения, или связи значения, теперь распалось в два разных существования. И в этом смысле язык и речь получили жесткую разнесенность. Особенно большую роль в этом плане сыграли дискуссии, происходившие после 1965 г. Например, в работе «О методе семиотического исследования знаковых систем» [Щедровицкий 1967 а] вы можете столкнуться со вставкой, появившейся позже – но до 1966 г.; она набрана пети́том со ссылкой на Генисаретского, который различает верстак и в связи с этим смысл и т.д. Потом это обсуждалось в 1964 г. в связи с работами Лефевра по рефлексивным конфликтующим структурам. Там есть масса стягивающихся линий маленьких фиксаций. Но систематическая работа в этом направлении не велась.

Вроде бы все это обсуждалось. Но различие между смыслом и значением при этом практически не проводилось.

И только где-то к 1970 г., для меня во всяком случае, это выступает как принципиальнейшее различие. Отсюда появляются публикации [Щедровицкий 1971 с] и [Щедровицкий 1973 b] и потом статья «Смысл и значение» [Щедровицкий 1974 а]. Но писалась эта статья лет пять – кусками и непрерывно. И то, что в работе об атрибутивном знании рассматривалось как проблема значения или связи значения, там рассматривается как два принципиально разных плана и задаются смыслы, которые характерны для синтагматики, и значения, которые характерны для парадигматики. И между конструкциями значений, которые относятся к системе языка, и смыслами, относящимися к текстам речи, проводится принципиальнейшее различие. Вот тогда и решается та проблема, которую я до этого фиксировал.

Как раз 1970–1971 гг. – это время резкого продвижения вперед. Вообще-то, мы постоянно и интенсивно работали, но так как параллельно разрабатывалась масса дисциплин, то в какие-то времена фокусировка происходила на том или другом, больше продвигались какие-то части, продвижение в одних направлениях подготавливало почву для продвиже-

ния в других направлениях. Где-то в 1970–1971 гг. были очень интересные доклады Д.Б.Зильбермана, очень интересные доклады О.И.Генисаретского по временизации действия – пространство и время в актах мышления. В одном из его докладов было зафиксировано очень важное различие первичных и вторичных процессов. Первичные процессы – это те, которые фиксируются потом в организованностях, а вторичные протекают по готовым уже организованностям, т.е. канализированы. Правда, это различие уже до этого делал Вадим Розин в своих понятиях организованной структуры и структурированной организованности, но тут это все как-то складывалось вокруг понятия системы и в связи с ним. Фактически, теперь смысл понимался как первичная структура, а значение – как вторичная.

Вообще-то, я не точно говорю. Этот абзац весьма не верен. Во первых, появились структуры смысла и структуры значения, а во вторых – вот это различие первичных и вторичных процессов, которое как бы ортогонально увязывало одно и другое.

– Первичное по отношению к созданию?

Нет. К организованности. То есть фокусом склейки была организованность. Первичный процесс – это процесс, порождающий организованность, а вторичный – происходящий по этой организованности.

Если вы возьмете самые ранние мои работы по порождению и употреблению, то, фактически, там все это было. Там все это было, но оказывается, что содержание должно постоянно переводиться в смысл, смысл должен проецироваться в новую плоскость содержания – все время идет вот такая игра. Содержание в смысл, смысл – снова в содержание, и мы, таким образом, как бы все время поворачиваем это смысловое облако, или поле, разными гранями, отображая его в новые категории, в новые планы отношений, и за счет этого возникают такие формы, которые можно применить на новом схематизме.

Поэтому очень часто дальше мы можем, пользуясь этими отношениями смысла и содержания, переводить прошлое содержание в новое содержание, предварительно переведя их в общий смысл. В этом функция смысловой работы.

И вот здесь все завязывалось – на этом различии смысла и значения. Больше того, в эти же годы происходят (я как раз вчера читал эти тексты) невероятно драматические дискуссии на наших внутренних симпозиумах, в частности на пятом (1971), который стал последним для этого объединения. Очень усиливается направление Олега Генисаретского, он пользуется большой популярностью и все время использует одну тактику: он приходит в готовые организованности, чтобы захватить их, повести в другую сторону. И в этом плане он в этот момент проводит тщательную, очень направленную, продуманную деструктурирующую работу. И начинается планомерное вытеснение представителей кружка из областей систем-

ного анализа, потом деятельностного, снятие и проговаривание всех результатов.

8. Так вот, идет сложная дискуссия между «смысловиками» и «нормировщиками». Это – к вопросу о понимании и мышлении. И, фактически, эти дискуссии начинают конституировать различие между мышлением и пониманием. Вообще, в нашей истории очень многие теоретические положения возникали в рефлексивной фиксации того, что происходило на семинаре, т.е. были решением его социальных, тактических и стратегических задач, скажем, задач дальнейшего развития, размежевания членов кружка и т.д. Конфликт был основной движущей силой. И поэтому различие смысла и значения моментально включается во все формы теоретической работы и оказывается здесь очень продуктивным, но одновременно оно включается и в организацию работы. Члены кружка делятся на две части, одна из которых пропагандирует смысловую работу, или смыслообразование, с отказом от жесткой нормировки; возникает раскол внутри кружка, как раз проходящий по этому пункту. Выдвигаются резкие возражения против установки на нормировку. Вчера я читал заключительную дискуссию пятого симпозиума, там Вадим Розин упрекает меня в том, что я единственный не понимаю всей этой работы, а они друг друга понимают: Розин – Генисаретского, Генисаретский – Розина, Дубровский – и Генисаретского, и Розина и т.д.

Они проиграли, поскольку мышлением нельзя заниматься в одиночку – в принципе. Можно либо понимать, либо осуществлять культурные реминисценции. И то, что один уехал, другой находится в подполье, третий самоопределяется, то, что они практически не коммуницируют друг с другом – это есть результат избранной ими тогда линии. Но остается один великий вопрос: а почему все-таки ни у кого не хватает сил работать в коллективе и осуществлять мышление? То ли это вообще въелось в нас и заскорузло – вот эта установка, она воспитывается, – то ли это социальные условия, то ли я что-то не то делаю, что тоже вообще-то очень значимо.

Значит, вы должны четко представлять себе эту ситуацию – как теоретическое различие дает объяснение происходящему: возникают два больших направления – смысловое и обеспечивающее конструктивное развертывание содержания, – и это, естественно, становится материалом для анализа и размышления. Но прежде чем я перейду к этому, я должен проиграть еще одну вещь уже в русле непосредственно смысла, вещь, которая получила развитие в дальнейших работах. В частности, в горьковском сборнике публикуется статья «Смысл и понимание» [Щедровицкий 1976 b] – это начало большой работы, страниц на 300, которая касалась соотношений между смыслом и пониманием.

К этому времени уже зафиксировано второе понятие системы, в его новом варианте. Я отрабатываю его на новом структурно-системном семинаре, который мы ведем вместе с Лефевром. Там идет серия многоме-

сячных лекций по категории системы, и там подробно отрабатываются все планы интерпретаций схемы: процессуальный, структурно-функциональный, морфологический и материальный, причем с очень интересной раскладкой типов знания. Я воспользовался тем, что там в зале висело две доски, перпендикулярно друг к другу, и можно было все предметные выкладки делать на одной доске, а все метапредметные или организационно-деятельностные – на другой. И вот отсюда рождается эта ортогональность, причем в новом ее варианте – не как разноплановость (как было в 1969 г.), не как различие пространств, – а именно идея ортогональности как прием.

Лекционная форма работы оказалась в этом отношении очень плодотворной. Оргдеятельностный подход был зафиксирован именно там, на этих занятиях. Излагать приходилось очень сложное содержание, и я все время искал дидактическую форму. Наконец, я понял, что я должен делать: я должен был фиксировать свое место у одной доски и свое место у другой доски. И с этого момента все сдвинулось вперед. Это лекции 1971 г. по генезису категорий системы. Тогда основным предметом обсуждения (параллельно с проблемой смысла и значения) становится проблема системных категорий. Именно тогда сделана первая часть работы «Системное движение и перспективы развития структурно-системной методологии» [Щедровицкий 1974 е], и вот сейчас в «Системных исследованиях» выйдет вторая половинка [Щедровицкий 1981 е]. Параллельно идут эти лекции в ЦНИИПИ – «Язык, мышление, знание и знак». И еще один цикл лекций – о природе знания, – которые читались в Пищевом институте. Красивое было время. Новые идеи сыпались как из рога изобилия.

Тогда же отрабатывается эта идея, что действительно субстациональными являются процессы. Я сознательно говорю такую бессмысленную, гротескную фразу. В этом никакого смысла нет вообще. Он реально не существует. Смысл есть структурная форма фиксации процесса понимания. Вторично он появляется тогда, когда мы становимся к тому, что происходило, совсем в другое, а именно в познавательное отношение. И в схеме особого рода фиксируем структурную организованность знака. Смотрите, как я вынужден говорить: *структурную организованность знака*. Итак, если до этого я сопоставлял знак с пониманием, то теперь сюда добавляется еще одна вещь: знание о понимании и знаке. И тогда знаком оказывается не то, что рождается из понимания, а то, что рождается из специальной фиксации и описания того, что происходит у нас в понимании. И отсюда появляется этот тезис, уже сформулированный в статье «Смысл и значение», о трех ипостасях существования знака; причем, объемлющим оказывается существование знака в знании. Объемлющим – на этом этапе, но, может быть, это и самодостаточная структура.

Дезорганизованные или несобранные организованности мы собираем за счет понимания. Но понимание собирает знак в кинетике и не оставляет ничего организованного. А вот для того чтобы теперь возникала фик-

сированная организованность знака, нужно еще знание. И если оно сюда не присоединяется, то и знака как такового не будет. Будет только процесс понимания, но знак существовать не будет.

Поэтому если до этого я говорил, что знак существует в процессах понимания, то теперь я должен сказать совсем другое: знак существует не только в процессах понимания, но обязательно и в надстраивающихся над этим процессами знания и, следовательно, в процессах нормировки, или, точнее, в процессах организации через знания. Это и есть, по сути дела, мой ответ «смысловикам». Я говорю: понимая и порождая через коммуникацию смыслы, вы вообще ничего не создаете, в принципе. Ваша работа – коммуникация, общение, обмен – не имеет никакого культурного смысла, не оставляет никаких продуктов. Если вы хотите, чтобы это давало какие-то продукты, вы должны зафиксировать все это в знании, наложить на это определенную конструктивно развиваемую организующую схему. Если этого сочленения не будет, то не будет ничего. Это пустое сотрясение воздуха. Чувство удовлетворения от общения может быть, но культурного продукта не будет.

Таким образом, знак оказывается существующим не только в процессах понимания и, соответственно, не только в фиксации через значение, но обязательно еще и в фиксации через знание. И, больше того, фиксация через значение оказывается вторичной по отношению к фиксации через знание. Поэтому мы возвращаемся к очень важному тезису, что язык есть порождение знания, т.е. объективация некоего знаниевого содержания. Тем самым обосновывается тезис 1967–1969 гг., что язык есть искусственное образование. Язык создается лингвистами.

И тут снова возникает сложнейшая проблема отношений между техническим знанием и научным знанием. Если все это фиксируется через знание, то через какое? Через техническое или через собственно познавательное? И на передний план выдвигается (она обсуждается на внутреннем семинаре) проблема соотношения конструирования и исследования.

Это очень важный поворот. Итак, смысл есть особое структурное представление процессов понимания, создаваемое нами в знании и через знание, т.е. через знаниевую фиксацию процесса понимания. Это было достаточно четко отработано в статье «Смысл и значение», с фиксацией там соответствующих позиций. Из этого и на этом материале делается вывод, который нам был известен давно: что тип объекта определяется количеством соорганизованных позиционеров. Чем больше этих соорганизованных позиционеров, тем сложнее сам создаваемый здесь, в деятельности, объект. А фиксация вот этой знаниевой структуры дает нам возможность объяснить, как эти образования замыкаются и оукливаются. В этом смысле знание каждый раз оказывается как бы собирающим все до полноты, замыкающим через содержание и соответствующую форму, т.е. возвращающим в эту предметную структуру. Поэтому еще раз было показано, что сначала порождается предмет (уже объяснен этот механизм), и

внутри предмета рождается определенный объект – но за счет последующей онтологизации.

И отсюда новый ход. Проблематика разворачивания позиций, все более сложная, которую мы разыгрываем в Играх 1 и 3, есть не что иное, как реализация полученных в начале 70-х годов принципов, принципов творения предмета и объекта через создание все более сложных организаций.

Нельзя сказать, что мы это выдумали впервые, потому что нечто подобное, скажем, я находил даже у Лемма, в этой шуточной форме, что саперный батальон, замкнувшись друг на друга через розетки в пузе и штепсель на спине, достиг такого совершенства, что воспроизвел солипсистскую философскую концепцию. Но это все существовало на уровне поведения и понимания (у Лема, скажем), а не конструктивной работы. Здесь же мы получаем четкий конструктивный язык разворачивания таких сложнейших предметов со взаимными отображениями их друг на друга. И, действительно, в этом плане вы должны проводить прямые параллели, вплоть до Игр 1 и 3, ибо это есть реализация этого принципа, с взаимозаменяющимися формами, с тремя «с»: самоорганизацией, саморазвитием, самодеятельностью.

И отсюда рождается новая проблема, проблема соотношения между знаком и знанием, смыслом и содержанием – в том числе, в проекции на рассуждение. Уже в лекциях в ЦНИИПИ были поставлены вопросы о двуединой, смысло-содержательной, или триединой, смысло-содержательно-формальной, структуре рассуждения. Дальше идут дискуссии 1972–1975 гг. о структуре рассуждения и структуре понимания как процесса. Появляются вот эти обсуждения с В.В.Овсяником таких тем, как текст, ситуация (1972–1973). Потом идет типологическое обсуждение на этом же материале, поскольку делается попытка строить типологию текстов. Отчасти это докладывается в Киеве на конференциях по искусственному интеллекту, но это то, что будет решаться позднее, в частности за счет решения ряда вопросов, связанных с проблемой систематизации знаний, природы знания, условий выделения в содержание и т.д.

Таким образом, замыкается проблема смысла и понимания.

Итак, какой путь таким образом намечается? Анализировать представления о смысле, чтобы редуцировать их к процессам понимания. Свети, значит, смысл к процессам понимания. А потом развернуть процессы понимания. Отсюда наш переход к герменевтике и изучению процессов понимания уже в герменевтической линии – всего, что с этим связано, включая прошлогодние пятничные заседания. Потом свернуть анализ процессов понимания в соответствующие представления о структурах смысла, дать типологию смыслов и, тем самым, типологию понимания.

Естественно, что такая постановка вопроса приводила к вопросам соотношения понимания и мышления, с одной стороны, а языка и знания – с другой. В начале 70-х годов очень важными стали работы по анализу от-

ношений между пониманием и мышлением. Частичное отражение они нашли, с одной стороны, в заметках о соотношении понимания и мышления [*Щедровицкий, Якобсон 1973*] (там намечены основные коллизии понимания и мышления), а с другой – в серии очень интересных сообщений на психолингвистических совещаниях и конференциях. Там был один очень интересный доклад. Назывался он «Смыслы как материал мышления».

Это до сих пор не задействованные работы. Здесь (если вы поняли эту ситуацию борьбы «смысловиков» и «содержатников») вопрос для меня состоял в том, чтобы теоретически развернуть оппозицию между пониманием и мышлением, определить взаимоотношения между ними. А сводилось это все к проблеме соотношения смысла и содержания, «творения содержания», его природы, в частности и через рассуждение. Получились невероятно интересные результаты.

Дальше я должен рассказывать о совершенно другом заходе.

С 1974 г. начинается еще одна серия интересных работ. Это, во первых, большой том обсуждения работы «Смысл и значение». Дальше, в 1975–1976 гг., идут параллельно три цикла работ. Одна линия – это работы о связи мышления, понимания и рефлексии, включая большие доклады в Киеве на этот счет. Вторая – связана с возвратом к понятиям формы и содержания. При этом теперь уже форма и содержание рассматриваются как результат взаимодействия понимания и мышления; мышление и понимание берутся обязательно в контексте коммуникации, и это характерно для всех тех работ. Отсюда та добавка отношения предикативности к работам об атрибутивных структурах, о которой я сказал раньше. И начинается обсуждение вопроса об объекте и объективации.

Тогда было два семинара: в понедельник – логический, во вторник – психологический. И вот на этих двух семинарах, с одним составом, мы, просто для игры, разворачивали как бы две параллельные работы, которые взаимно обогащали друг друга. Но с материалами этого периода много неприятностей произошло: какие-то кассеты украли, какие-то пропали. Даже известно, кто украл. Надо сказать, что компания тех лет очень серьезно относилась к работе, и поэтому целый ряд участников тащили все, что могли – тексты, пленки и т.д. Поэтому некоторых очень важных текстов у нас сейчас нет.

Но на передний план в эти годы выходит именно коммуникация, через нее рассматривается все. Разворачиваются очень резко три этих составляющих: понимание, рефлексия, мышление, причем они берутся в связи друг с другом. Строятся сложные коммуникативные структуры с вопросами–ответами. Было показано, каким образом те или иные вопросы выводят участников позиционных структур либо в рефлекссию, либо в понимание. Причем, фактически, была намечена техника построения структур любого типа, т.е. все более усложняющихся и порождающих богатство коммуникативного содержания. Там были определены очень сложные диалоговые формы и разные типы диалогов.

И вот тогда понимание начинает представляться как деятельность понимания. Понимание ведь в принципе непродуктивно, поскольку даже смысл как псевдопродукт понимания фиксируется совсем в другой позиции, а именно позиции познающего, или фиксирующего в знании; но при этом как бы ничего нет – понимание следов не оставляет. Но затем вот это все начинает оборачиваться как ядро, оформляющееся в виде специальной деятельности понимания, с одной стороны, и особой деятельности по выражению в тексте – с другой. То есть рождается представление о выразительной деятельности, или деятельности выражения, и о деятельности понимания. Ставятся вопросы, как она может существовать и за счет каких констелляций позиций и структур она может приобретать продуктивную форму. Все это выводит нас к тем вопросам, которые мы уже ставили в 1979–1980 гг. на семинаре по герменевтике. Но этого я уже не буду обсуждать, так как период после 1974 г. требует, наверно, либо очень тщательной проработки, либо достаточно того, что я сейчас сказал.

– Понимание всегда рассматривалось в контексте мышления, знака и т.д. А относительно других конституентов?

А каких других конституентов? Понимаете, я утверждаю, что понимание неразрывно связано со знаком. Вне знака нет и не может быть понимания. Как вы будете трактовать понимание знакового текста – как восстанавливающее его содержание или как понимание содержания через знак, включение его, – это для меня не имеет значения, поскольку я все фиксирую в структурном представлении. Я даже писал в работе 1973 г., а может, в дискуссии 1974–1975 гг. это зафиксировано, что для меня понять – значит иметь возможность выразить в тексте, а понять текст – значит иметь возможность восстановить ситуацию. Понимание для меня неразрывно связано с содержанием. Я даже утверждал в тех работах, что, собственно, выход на объект всегда обеспечивается пониманием. И позднее я пояснял, что в тех случаях, когда мы либо не можем выйти на объект, либо не можем оформить в знаковой форме, мы начинаем собственно мыслительную работу, т.е. либо конструирование знаковой формы, либо конструирование объекта. Но осуществляется это всегда в структуре понимания, и в этом смысле мышление включено в понимание – то, с чего я начинал свои «структурные» доклады, этот цикл. А как это все происходит дальше – это вы можете поворачивать любым образом.

Что еще очень важно? Что эта структура с большим трудом раскладывается на отношения внутреннего и внешнего. Здесь в принципе необходима множественность позиций. Есть особая проблема – проведение разграничительных линий. Кстати, решение психологических проблем, в том числе проблем личности, без этого невозможно. Начинать надо с этого. И в этом смысле мы будем воспроизводить основные идеи и ходы Выготского. А дальше возникает вопрос: как проводится граница – по знаку, по содержанию, с захватом другой личности... И теперь сюда должны быть

введены отношения организации. Через рефлексию. И эта организация через рефлексию и определяет тип личности, тип вхождения в кооперацию, коммуникацию и т.д.

– Это почти то, что Лефевр зафиксировал как ранги рефлексии.

Возможно. Мы должны вернуться к этому. Проблема личности и личностного существования есть проблема, по сути дела, границ в этих коммуникативно-кооперативных полях.

Мыследеятельность, рефлексия и мышление *

1.

Мой доклад называется «Мыследеятельность, рефлексия и мышление», но с таким же успехом он может быть назван «Деятельность, речь и мышление» или, скажем, «Деятельность, сознание и мышление», или «Понимание, рефлексия и мышление». То, что я буду обсуждать, захватывает все аспекты, собирает все это в одно целое; все эти аспекты – моменты единого рассмотрения.

Я хочу попробовать в этом докладе показать целый ряд очень рискованных вещей.

Первое: у человека нет и не может быть никакой деятельности, это вообще нонсенс, а есть и может быть только мыследеятельность, которая обязательно включает в себя коммуникацию. Поэтому, с моей точки зрения, понятие деятельности осмысленно либо только в безличной форме, когда мы говорим «универсум деятельности» (но это все равно метафора, надо говорить «универсум мыследеятельности»), либо это просто дурная абстракция, которая выделяет такой объект или такую область, которой у человека не может быть.

Второе: выражение «предметность деятельности» осмысленно лишь в той мере, в какой оно фиксирует одну из форм связи мысли и деятельности. Но это отнюдь не единственная форма связи мысли и деятельности. Могут быть и другие, непредметные, формы, например через рефлексивную, и тогда деятельность, или точнее – мыследеятельность, является непредметной. Значит, предметность – отнюдь не универсальное свойство деятельности, мыследеятельности. Даже наоборот: это есть особая, очень узкая и частная форма.

Я постараюсь – это третий момент – в этой связи показать, что предметность деятельности рождается не в деятельности, а в мысли.

Четвертое: возможна чистая мысль-коммуникация, вне деятельности, и только эта внедеятельностная, чистая мысль-коммуникация и есть мышление. А следовательно, когда мы говорим о мышлении, то его нельзя рассматривать как деятельность; значит, начинать анализ мышления надо не с деятельности, а с коммуникации.

В этом плане я хотел бы заняться самокритикой, потому что наша с Никитой Глебовичем Алексеевым установка, отраженная в декларации 1955–1957 гг. – «о возможных путях исследования мышления как деятельности», – была неправильной или, во всяком случае, не лучшей и не оптимальной. Правильнее было бы писать «о возможных путях исследо-

* Доклад в лаборатории В.В.Давыдова (НИИ общей и педагогической психологии АПН, 12 и 18 марта 1981 г.). Арх. № 0211.

вания мышления как *коммуникации*». Это не значит, что та установка была просто ложной. Как мы теперь вроде бы понимаем, это была установка на исследование мыследеятельности, и, собственно, так все дальше и развивалось: исследование мыследеятельности, а не мышления.

Я также постараюсь показать, что знания не нуждаются ни в деятельности, ни в предметности. Деятельностный характер знания и его предметность суть вторичные замыкания и следуют после того как знание уже образовано. И есть способ выделения узкой группы знаний – научных, скажем, проектных или еще каких-то, – а в принципе знание не предметно и не деятельно.

И, наконец, завершая эту совокупность, я повторяю, очень рискованных тезисов, я бы сформулировал это все в одном утверждении. Тот путь, который намечал Лев Семенович Выготский, представляется мне перспективным и правильным именно в изучении мышления, а тот путь в изучении мышления, который намечал Алексей Николаевич Леонтьев, представляется мне ложным и тупиковым. С моей точки зрения, на этом пути ничего про мышление узнать нельзя, и поэтому то, что на этом пути изучения мышления ничего не было получено, это не случайность – не потому, что не занимались изучением мышления, а только так и могло быть.

Весь смысл того, что я буду дальше говорить, состоит в том, чтобы развести эти планы: мыследеятельность, с одной стороны, и мышление – с другой, чтобы показать, что они существуют порознь и то, что их связывает, есть текст коммуникации, или речь, но мыследеятельность и мышление стоят по отношению к тексту-коммуникации как бы по разные стороны. Я говорю «как бы», поскольку это есть способ изображения всего этого, но он очень нагляден; и коммуникация, текст коммуникации, как бы разрезает это целое на две части – на мыследеятельность (внизу) и собственно мышление (наверху) – и вместе с тем связывает их. Поэтому та основная схема, которую я буду вводить и на которой я все время буду работать, может быть изображена так:

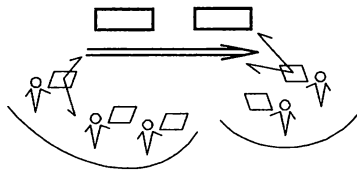


Рис. 1

Давыдов В.В. Простите, Георгий Петрович, я вас прерываю вот для чего. Вы знаете, ваши высказывания не столько опасные, сколько крайне эпатажные. Поэтому, пожалуйста, прежде чем употреблять ваши понятия, дайте точную характеристику тому, что вы называете деятельностью, и всему прочему. И в каком смысле вы отрицаете деятельность? Деятельность кого? В каком понимании? Поскольку без четкого выяснения вопроса о том, какое понимание деятельности вы отрицаете

и отвергаете, обсуждать нечего, потому что все запутается. Какое представление о деятельности вы отрицаете? Поскольку вы выдвинули положение, опровергающее наши фундаментальные понятия, мы должны знать, что же вы на самом деле опровергаете. В противном случае не ясно, по отношению к чему вы так мужественны.

Василий Васильевич, ваши требования, конечно, законны, но я хочу предупредить всех собравшихся, что у меня очень сложный доклад и дидактика его тоже достаточно сложна.

Я бы вообще попробовал предложить другую ориентацию по отношению к высказываемым мыслям. С ними не надо соглашаться – их надо опровергать. Собственно, по современной методологии почти всякая мысль высказывается для того, чтобы ее можно было опровергать. Мыслью является то, что опровергают. Поэтому я хотел бы просто это изложить по возможности понятнее – с тем чтобы потом мы совместно не оставили от этого камня на камне.

Давыдов. А я, в общем-то, и не считаю, что ваши представления истинны.

А поэтому к ним надо относиться терпимо и, может быть, даже сочувственно.

Давыдов. Но чтобы сочувствовать, мы должны знать, чему сочувствовать.

Георгий Петрович, вы поймите наше положение. Мы тоже ведь не лыком шиты, мы же имеем свое понимание деятельности, места психологии, ее значения для изучения мышления. Вы наносите удар по нашим святыням. Так против чего вы?

Я все это поясню.

Давыдов. Тогда ладно – изложите это при всей сложности вашей дидактики. Но просто я прошу вас иметь в виду, что иначе все будет мимо цели.

Конечно. И поэтому сейчас я только формулирую цели моего сообщения, чтобы было понятно, куда я иду.

Действительно, в определенном смысле это – эпатаж, но я думаю, что он при научном обсуждении не только возможен, но и необходим, поскольку надо с самого начала сказать, к чему я иду, чтобы не было никакого обмана. Тогда вы будете ревниво следить за мной, чтобы найти любой огрех, любой промах, и это пойдет на пользу делу. Как говорил Курт Левин, когда в научной дискуссии в ход пускаются стулья, то это только говорит о заинтересованности делом. Вот из этого мы и будем исходить.

И теперь я рисую схему, которая вроде бы выражает суть этого дела.

Здесь я говорю, что самое главное – в попытке различить мыследеятельность и чистое мышление и показать, как они разделяются и как свя-

заны между собой. Представим себе ситуацию, в которой разворачивается коллективная работа, причем неважно, группа ли это взрослых, решающих проблему или задачу, или это педагог со своими учениками, которые осуществляют учебную деятельность. Главный тезис состоит в том, что все это для меня будет мыследеятельность, т.е. эти виды коллективной работы, которые изучаются вашими лабораториями и многими другими, нельзя представлять как деятельность, а надо представлять как мыследеятельность.

Вы мне можете здесь возразить, что это только терминологические ухищрения, что мы же, мол, всегда имели это в виду и что, например, принятый в советской психологии тезис о единстве деятельности и сознания и есть выражение этого обстоятельства. Я скажу: да, так оно и есть. Но тогда, как мне кажется, наносится ущерб изучению мышления, ибо не разделяются мыследеятельность и мышление. И вот это я сейчас пытаюсь ухватить понятийно и в схемах. Но я буду к этому двигаться, я буду разъяснять все это.

Пока что я говорю: вот есть ситуация, в которой коллектив осуществляет мыследеятельность, а есть, кроме того, мышление, чистое мышление.

Давыдов. Давайте не будем спешить. Что это за двойная стрелка?

Текст коммуникации.

Давыдов. А зачем слово «текст»?

Я утверждаю, что нельзя рассматривать деятельность *вне* текстов коммуникации, или вне коммуникаций и их выражений – текстов коммуникации, вне процессов понимания этих текстов, вне рефлексии, отображающей то, что происходит в ситуации, на табло сознания. И вот это все я отношу к мыследеятельности. А кроме того, говорю я, есть еще чистое мышление, которое разворачивается на «доске», в идеальной действительности.

Давыдов. Георгий Петрович, я все-таки вернусь. Эта стрелка означает коммуникацию?

Нет. Я понимаю, Василий Васильевич, о чем вы говорите, но смотрите, какая трудность стоит передо мною. Ведь я так же, как и все мы, имею дело с динамикой, с процессом. И когда мы говорим «коммуникация», мы имеем в виду процесс – правильно?

Мы имеем в виду процессы, но мы должны как-то это нарисовать в схеме. И, следовательно, мы должны их остановить и представить структурно. Но структурное представление не фиксирует процессуальность, поэтому приходится здесь применять трюки и фиксировать здесь не коммуникацию как таковую, а ее продукт – текст. И класть его как некоторую морфологию. Поэтому я и говорю: здесь *текст*. Вот это – люди, которые остановлены, как бы в фотоснимках; вот – организационные отношения между ними; вот – доска, на которой мы рисуем схему, но мыслить прихо-

дится в соответствии с категорией системы, т.е. один раз интерпретировать все это как процессы (и тогда мы говорим: коммуникация как процесс), второй раз – как функциональную структуру, третий раз – как морфологию и четвертый раз – как материал, или субстрат. У нас за каждой такой схемой всегда стоят четыре плана понимания или интерпретации.

И когда вы мне задаёте сейчас совершенно правильный и законный вопрос, то вы противопоставляете один план интерпретации другому. Я имею в виду их все и буду стараться обсуждать все.

И последнее, что я должен здесь сказать. Мне кажется, что то, что я буду различать, само это различие мыследеятельности и мышления, имеет самое прямое и непосредственное отношение к тем исследованиям, которые ведутся в лаборатории. Этот ход рассуждений действительно ведет к радикальному пересмотру основных и в каком-то смысле святых для нас теоретических понятий. Это надо четко понимать и поэтому рубить это со всей мощью и без сожаления.

Итак, я указал цели. Что я хочу сделать? Я хочу различить мыследеятельность и мышление, показать их связь через текст и сказать: если мы хотим изучать мышление или мыследеятельность, всегда надо начинать с коммуникации и текстов коммуникации, а не с деятельности. А если начинать с деятельности, то – тупик, и никогда и ничего не будет получаться, и ничего мы не поймем. Вот это я хочу попробовать показать. Может быть, здесь будут какие-то вопросы и замечания по постановке цели?

– Вот вы говорите: мышление – это идеальная действительность. По отношению к мыследеятельности в каких формах существует мышление?

Я хочу постараться показать дальше, что мышление возникает из текстов по поводу текстов, и поэтому, как учил Выготский, мышление возникает бездеятельно, оно внедеятельно.

Давыдов. А почему? Георгий Петрович, давайте мы все-таки договоримся с вами, чтобы вы не залихватски относились к некоторым текстам. У Выготского таких вещей просто нет, а вы играете просто на том, что используете в неопределенном смысле...

Надо как-то немного приземлить постановку самой проблемы.

Я попробую ответить и дальше показать, что мышление возникает из текстов над текстами, в метатексте. <...>

В этом смысле собственно мыслительный процесс и знание как таковое – я это утверждаю – с нижней частью, т.е. с этой мыследеятельностью, по идее не связаны.

Давыдов. Простите, нижняя часть что означает?

Мыследеятельность.

Давыдов. Знание не связано с нижней частью?

Знание не связано с мыследеятельностью по своему возникновению. А связь между мыследеятельностью и мышлением обеспечивается за счет рефлексии.

Давыдов. Я хочу все-таки разбираться. Значит вы утверждаете, что знание по своему возникновению не связано с мыследеятельностью. Не ясны основания, но утверждения понятны. А при чем тут мышление?

Мышление – верхняя часть, это то, что развертывается в логосе.

Давыдов. Верхняя часть – мышление. И что связано с мышлением?

Идеальная действительность. А связывает и замыкает мышление и мыследеятельность рефлексия. Собственно говоря, рефлексия есть средство зашнуровки и увязки.

Давыдов. Простите, я хочу понять. Итак, вы считаете, что есть низ и верх. Нижняя часть – это мыследеятельность, верхняя часть – это мышление, или какая-то непонятная действительность. Связь мыследеятельности и мышления (верха и низа) обеспечивается посредством зашнуровывания, и это зашнуровывание осуществляет рефлексия...

И сознание. Здесь включается в работу сознание.

Давыдов. А куда относится знание?

Знание относится к верхней части.

Давыдов. Значит, идеальная действительность это знание?

Нет. Идеальная действительность – это идеальная действительность. Знание возникает в верхней части – в метатекстах, или в текстах по поводу текстов.

Давыдов. Вы сказали: то, что в верхней части – это мышление...

Или мысль-коммуникация. А чистое мышление возникает тогда, когда эта мысль-коммуникация отражает себя в схемах, которые трактуются как идеальные объекты.

Давыдов. Значит, внизу – мыследеятельность, а сверху – мысль-коммуникация. Так? Мысль-коммуникация в чем отражается?

Когда мысль-коммуникация находит себе идеальный объект и начинает сначала объективироваться на идеальных объектах и предметизироваться...

Давыдов. Значит, мысль-коммуникация опредмечивается... И что же возникает тогда? Чистое мышление – при опредмечивании идеального объекта. А где же знания появляются?

Это и есть знание.

Давыдов. Определенный идеальный объект?

Да. Идеальный объект, положенный как схема. Так определяется знание.

Давыдов. На рисунке.

И это все объединяется рефлексией. Решающая роль в этом процессе объективации, онтологизации или опредмечивания принадлежит рефлексии, которая, собственно, завязывает мысль-коммуникацию на мыследеятельность и создает это целое.

Давыдов. У меня только очень простой вопрос. Откуда появляется идеальный объект? Что сие значит?

Законный вопрос. Я попробую ответить на него.

А на ваш вопрос я ответил?

– Я спрашивал, в каких формах существует идеальная действительность. Вроде бы вы говорите: в знании...

Я говорю: идеальная действительность существует только в конструкциях идеальной действительности – когда появляются рисунки (на доске, на песке, на скале, еще где-то) и фигурки начинают жить по своим правилам и законам, которые, обратите внимание, есть законы логоса. И понятие логоса – так, как оно возникает до Аристотеля, у Аристотеля – фиксирует вот эту идеальную действительность.

Давыдов. Георгий Петрович, логос ведь не имеет этих теоретических представлений, которые вы вкладываете. Мы попросили вас на пальцах рассказать. Логика вашего рассказа должна руководствоваться вашей глубокой философско-исторической образованностью.

Пока нет логики, и нет рассказа. Я только сказал, что я хочу сделать.

Давыдов. Неясно, что вы хотите сделать. Абсолютно неясно.

Давайте еще разочек.

Я хочу показать, что то, что мы называем деятельностью...

Давыдов. А что вы называете деятельностью? Я ведь начал с этого. Дайте, пожалуйста, характеристику деятельности. От чего вы ее отличаете?

Все будет. Наберитесь только терпения.

Давыдов. Я набираюсь терпения. Все. Прекращаем вопросы. Георгий Петрович, докладывайте. Никому не перебивать. Все. По результатам будем судить. Цыплят по осени считают.

Теперь я приступаю к систематизированному изложению. Здесь я уже буду следовать определенной логике. До этого я только рассказывал, что я хочу сделать.

И первый кусочек, с которого я должен начать, это введение процедуры оборачивания метода на объект и объекта на метод. Об этой процедуре писал К.Маркс в «Математических рукописях», и это достаточно известно. Но мне это надо выложить здесь как прием моей работы. Об этом писал Л.С.Выготский, когда он говорил о соразмерности метода и объекта. Я обсуждаю сейчас этот прием оборачивания и этот принцип соразмерности метода и объекта. И это есть прием моей работы.

Значит, я сейчас вынужден рассказывать вам, описывая мои методические принципы, то, что, фактически, заложено в этом представлении, в этой схеме как объектно интерпретируемой. Вы мне можете, естественно, возразить, что это «кольцо». Я говорю: это – кольцо, но оно так и осознается – как кольцо, поэтому и называется приемом оборачивания метода на объект и использования представления об объекте как методического принципа, или методологического принципа, для формулирования процедур. И я выкладываю это как соответствующий прием.

В чем состоят здесь основные посылки? Это для меня методологические посылки. Они состоят в том, что такие слова, как «знание», «мышление», «деятельность» и т.д., возникают в нашей речи до того, как появляются и фиксируются как таковые соответствующие объекты. Поэтому, когда мы начинаем пользоваться словами «знание», «мышление», «деятельность», «мыследеятельность», объекта еще нет, но в этих словах уже фиксируется некоторое знание. Поэтому, как это ни странно на первый взгляд, знание в своем истоке безобъектно, и оно еще не предметизовано, оно изначально существует на фоне и на уровне понятия.

Давайте попробуем с этим разобраться. Василий Васильевич возражает мне совершенно законно. Он говорит: «Георгий Петрович, вы нарисовали эту схему, говорите, что здесь “мыследеятельность” или “деятельность”, употребляете эти слова, но я, – говорит он, – понимаю под деятельностью, мышлением совсем не то, что вы рисуете, а другое».

Я задаю вопрос: а как это вообще возможно? Мы вроде бы коммуницируем с Василием Васильевичем, одни и те же слова употребляем, а когда я пытаюсь указать, какой у меня объект, Василий Васильевич говорит, а у меня совсем другой объект и другое представление. Это что – несуразица, нонсенс или это нормальное положение дел? Я утверждаю, что это нормальное положение дел. Но ведь из этого следует тот радикальнейший вывод, который я только что сформулировал, что эти слова (деятельность, мышление и др.) осмысленны и несут содержание даже в условиях, когда между коммуникантами нет согласия в выходе на объект и нет единой предметизации. Более того, и у Василия Васильевича есть знания о деятельности, и у меня есть какое-то знание о деятельности, у каждого из

здесь сидящих есть знание о деятельности, а каков объект – на этот вопрос мы не можем ответить.

Больше того, знания как предмета тоже еще нет. Предметизация, объективация тоже еще не произошли. Про знания начал говорить еще Платон, он отличал знание от мнения. И дальше все обсуждали проблему знания на уровне понятия или понимания и свернутых форм этого понимания в понятии, но без предмета и объекта. И это есть радикальный факт, над которым мы должны задуматься.

Поэтому я делаю первый вывод: знания существуют без объекта и без предмета. И это нормальные, хорошие знания. Они существуют в словах. Поэтому прав был Фихте: мы начинаем с наукоучения. Что это значит? Это значит: со знания о знании. И теперь вы можете задать мне тот вопрос, который задает Василий Васильевич, а именно: откуда же это все берется, вот эти первые знания? Что это такое?

Я отвечаю: знания у людей возникают в коммуникации из процесса экстерииоризации понимания. Происходит все то, что я пытался разыграть в первой части, когда я говорил о целях. И дидактику я нарушал не потому, что я ошибался, а мне это нужно было, чтобы обратиться к этому материалу нашей с вами мыследеятельности и оттуда начать извлекать содержание.

Смотрите, что происходит. Я нечто утверждаю – Василий Васильевич хочет понять то, что я говорю, и задает мне вопросы. Он спрашивает, в чем смысл моих слов? И мы начинаем с ним как-то обсуждать это. Но так ведь происходило всегда и между всеми людьми, испокон веков. И я не могу указать на объект, называемый знанием, мышлением и т.д., а Василий Васильевич меня просит сказать, где здесь знания.

Кстати, а где «здесь»? Куда смотреть? Где они? Вот здесь на доске или в нашей комнате, в мыследеятельности, в коммуникации между нами?

А что я мог ответить? Я говорил: вы вроде бы понимаете эти слова, и я понимаю, но мы понимаем по-разному. У вас одни знания, у меня другие знания в этой коммуникации, а объекта нет, и предмета пока что нет, но знания-то есть, и даже понятие может сформироваться. А объективация и предметизация начинаются потом, когда у нас уже знание есть, и оно возникло в этих встречных текстах, в коммуникативном обсуждении, в вопросах–ответах, в препирательствах по поводу того, кто понимает правильно, а кто неправильно. Вот когда это знание сложилось в этих коммуникативных текстах, в этом понимании, в этих препирательствах и т.д., может быть поставлен следующий вопрос, который детерминируется техническим отношением или научным исследованием. Когда появляется это особое – не коммуникативное, а техническое, то бишь деятельное – отношение, тогда то, что существовало в форме знания и для коммуникации было вполне достаточным, – вот это начинает объективироваться и предметизоваться. И тогда, чтобы реализовать деятельностное, техническое или исследовательское, отношение приходится отвечать на вопрос, каков же

объект, а следовательно, рисовать объект, приходится изображать предметизацию. И это есть переход от мысли-коммуникации, развертывающейся в знаниях и понятиях, к чистому мышлению, логосу.

Василий Васильевич теперь настойчиво спрашивает: так что же такое деятельность? что такое мыследеятельность? как я употребляю эти понятия? чем мое представление отличается от его, а его от моего? И он ведь меня возьмет за грудки и будет трясти, пока я этого не сделаю. А чего «этого»? Что я должен сделать, чтобы ответить на этот вопрос?

Одно из двух: либо я должен это нарисовать в виде идеального объекта и мы сойдемся или разойдемся, либо я должен показать экспериментальную методическую процедуру выхода на материал. Тогда мы это начнем мерить, выявлять, и скажем, что то, что мы выявляем с помощью этих процедур, и есть знание или мышление и т.д., но это есть каждый раз уже деятельное отношение, а не коммуникативное – коммуникативное было раньше.

Обратите внимание: проходит две с половиной тысячи лет, прежде чем вот это знание, существующее в мысли-коммуникации и в понятии, начинает только сейчас, в XX в., перерабатываться в свою онтологическую, объектную и предметную форму. И вроде бы это повторяется каждодневно, это повторяется буквально всюду, но мы не видим этого. Есть знание, которое существует в форме понимания и понятия, и это знание, с одной стороны, переходит в онтологическую форму, т.е. в представление объекта, а с другой – предметизуется. Я различаю эти вещи.

Я сейчас обсуждаю это на примере знания, но это в такой же мере приложимо к мышлению, мысли-коммуникации, деятельности и т.д. Ведь факт состоит в том, что мы сначала говорим про что-то – и нам этого вполне достаточно, и мы понимаем друг друга, и мы можем действовать – и только потом мы начинаем проводить специальную работу выноса на материал, предмет, объект. <...>

Почему я нарисовал это в разных планах? Потому что мы от текста, от слов, за которыми скрыто знание, начинаем переходить в идеальную действительность, начинаем рисовать идеальный объект, и это есть выход к чистому мышлению, а с другой стороны, мы начинаем предметизовать это на базе рефлексии и опускать вниз, в нашу мыследеятельность. А что же является основанием и средством, творящим целое? Рефлексия.

Причем, эта рефлексия начинается с препирательства в коммуникации. Скажем, когда я говорю нечто, а Василий Васильевич меня спрашивает: «Так что же вы все-таки говорите?», – он же меня тем самым выводит в рефлексивную позицию, он меня заставляет обдумывать то, о чем я говорил. Ему недостаточно того, что я сказал, он требует еще чего-то сверх. Следовательно, я ему должен ответить как-то иначе, уже не на уровне слов, а с помощью чего-то другого – либо в идеальной схеме объекта, либо в выходе на реальную вещь.

Давыдов. При этой манере изложения никаких вопросов нельзя задавать. Я, например, никаких вопросов не могу задавать. Произведениям искусства не задаются вопросы, они созерцаются. Я буду созерцать твоё выступление как продукт вольного художника, потому что твоя манера изложения противостоит установленным формам научного доклада и научной дискуссии.

Я буду интересоваться логикой твоего рассуждения как произведением искусства. А произведению, как я повторяю, вопросы не задают.

А это неверно, что вопросы по поводу произведения искусства не задаются.

Давыдов. Нет, не задаются. Здесь с самого начала либо отношение восторга, либо неприязнь.

Как учил нас М.К.Мамардашвили, даже любви без слов не может быть.

Давыдов. К счастью, любовь есть. Мамардашвили, действительно, без слова не может, потому что он не любит по-настоящему. А настоящая любовь есть...

– Можно вопрос задать?

Давыдов. Нет. Какие вопросы можно задавать?! Не надо.

– У меня есть очень интересный вопрос.

Давыдов. Разберемся по ходу дела. Все будет проясняться дальше.

– Созерцать трудно – уж очень произведение искусства большое.

Давыдов. Задавайте вопрос.

– Георгий Петрович, не получается ли, что вот эти самые идеальные объекты, вот эта самая идеальная действительность есть объективация самой коммуникации? А если это так, зачем вы разводите эти два плана?

А смотрите, какую важную вещь говорил В.С.Библер. Ведь здесь, в дискуссии, разворачивается диалог, он алогичен – в том смысле, что это есть стыковка взаимно исключающих, несогласованных представлений и понятий. Диалог – обязательно препирательство. А перевод в план мышления есть перевод в план логики.

– Я и говорю: перевод коммуникации, её форм. А тогда что делать с идеальной действительностью?

Так вроде бы да – форм коммуникации. Но, смотрите, они же преобразуются, эти формы коммуникации, в логику. А если вы начинаете замыкать на мыследеятельность и включаете рефлекссию как отражение опыта деятельности на полную катушку, то вы говорите не о коммуни-

кации, а о деятельности с объектами, объективном деятельностном содержании.

А я, смотрите, как отвечаю: ведь это – тайна рефлексии. Вот как она начнет строить этот логос, эту логику <...>

... кусок методический – я рассказываю, что я буду делать. Вот из этого я исхожу. Я считаю, что мы, обсуждая проблему мышления, деятельности, мыследеятельности, знания, коммуникации и т.д., находимся на стадии развертывания этого процесса, мы уже имеем все это на уровне слов, и мы теперь это должны объективировать в мышлении, т.е. найти схематизмы. И мы должны осуществлять предметизацию этого.

А вы помните, что для меня предмет есть форма связи и замыкания мышления и деятельности через рефлексю, форма их сорганизации. Рефлексия творит эту предметную организацию, и когда она ее сделала, то и произошло замыкание одного на другое. В этом смысле это продолжение, Виталий Владимирович [Рубцов], ответа на ваш вопрос, потому что предмет есть тоже особая форма связи и она в этом смысле отлична от чисто мыслительной, чисто логической, она содержательна, или, как мы говорим, предметна. Это значит, что мы логику замкнули на мыследеятельность и увязали одно с другим. И мы, фактически, идем все время к этой форме, поскольку нам нужен выход в мыследеятельность, нам нельзя оставаться в чистом мышлении. Но начинается все с такой коммуникации, с перевода в мышление и одновременно замыкания на мыследеятельность.

У меня даже есть подозрение, что это – основные проблемы вашей работы.

– Вам удобнее коммуникацию и мыследеятельность разделять или для этого есть какое-то основание?

Да они абсолютно разные! Ничего между собой не имеют общего.

Теперь я перехожу ко второму куску. Я начинаю рассказывать про нашу собственную историю, про историю Василия Васильевича, мою историю, нашу историю, поскольку у меня же нет другого обоснования. Я говорю: вот эти результаты – выход к идеальному объекту и предметизация – не могут быть итогом чисто логического движения, это – процесс алогический, процесс коммуникации, спора, процесс деятельности или выходов на деятельность, он не логичен, он не подчиняется логике. А чему же он подчиняется? Он подчиняется процессу истории, или процессу «дрейфа». Мы же, фактически, все время дрейфовали, как дрейфует каждый исследователь. Он начинает с одной концепции, и постепенно его волочит в другую сторону. Волочит!

Когда я оглядываю историю наших поисков, я все время удивляюсь одной вещи: как можно было ходить настолько близко к подлинным решениям и не замечать их?! Очень интересно, почему так было.

В этом плане я взял, скажем, свою статью 1958 г. «О строении атрибутивного знания» (*Щедровицкий* 1958-60), которая для меня была вооб-

ще исходной в анализе проблемы знания и мышления. Я зачитаю вам маленький кусочек, чтобы показать, как мы тогда рассуждали. Вот с чего начинается эта статья: «Последнее время в логике, психологии и языкознании все более утверждается мысль о том, что единицы речи имеют свое особое содержание и значение, которые не могут быть сведены к содержанию и значению чувственных образов: ощущений, восприятий, представлений. Специфический характер этих содержаний и значений позволяет выделить особый вид отражения, называемый мышлением».

Я рискую сказать, что я здесь выражал общую мысль. Все так думали в 50-е годы.

Давыдов. А возьмите учебник по философии – там то же самое написано.

Мы все так думали. Так было написано не только в учебниках по философии, но и в работах по психологии.

Давыдов. В работах по психологии так никогда не писалось. Даже великая американская психология, которая затмила теперь все, так и не поднялась никогда выше плоского сенсуализма. И наша психология мышления всегда оставалась в рамках классического локковского сенсуализма. Простите, логика, философия поднялась до этого тезиса, но нет ни одной психологической теории, которая бы рассматривала мышление как процесс, как отражение этой сверхчувственной действительности.

А Вюрцбургская школа? А Бине? Ведь, собственно, психология мышления начинается с этого тезиса.

Давыдов. Вюрцбургская школа и Бине действительно столкнулись с этим безобразным, внечувственным, но никакой развернутой теории они не создали. Если бы они создали такую теорию, то потом бы мы не отказались опять в плоский сенсуализм. Поэтому тезис этот верный, он догматически повторяется в нашей философии, но, повторяю, психология к этому тезису не имеет никакого отношения. Именно поэтому я считал, что мы в конце 50-ых годов действительно вырвались на новые просторы психологических исследований, поскольку поставили проблему изучения мышления как относящегося к сверхчувственной действительности. Как мы реализовали этот подход, уже тогда нами ощущавшийся, это другой вопрос. Так что, простите, это имеет отношение только к философии. Причем, я подробно разбирался в психологических теориях мышления и утверждаю, что до сих пор все психологические теории мышления зиждутся на трех китах: классический сенсуализм...<...>

Больше ничего в психологических теориях мышления нет. Каким образом психология так оторвалась от философии, это другой вопрос.

– Это и понятно. Философию у нас преподают так примитивно, что психология до этого просто не дошла.

Давыдов. Но утверждение, что мышление имеет дело с особыми образованиями, лежащими за пределами чувств, это же общее место в настоящей философии.

Это да. Но я поэтому так осторожно и писал: «последнее время в логике, психологии и языкознании все более утверждается мысль». Я не сказал, что они сделали открытие. Я говорил: «все более утверждается мысль».

Давыдов. Она и сейчас все еще утверждается.

Я с тобой целиком согласен, что это был прорыв – прорыв за пределы вульгарного сенсуализма. Мы не только повторили то, что сделала Вюрцбургская школа, но и несколько вышли вперед. Это был залог многих интересных работ в последующие 25 лет.

Но мне сегодня нужно другое. Я хочу сегодня обсуждать то, как мы при этом ошибались. Это был очень большой шаг, но мы ошиблись. Вроде бы мы бродили все время рядом, но не видели даже того, что следовало даже из всего того, что мы сами говорили.

Давайте посмотрим, в чем здесь идея. Итак, мы начинали не с чистого мышления, а со знаковых образований, со знака. Анализ мышления начинается со знаковой формы. Это очень важно, с чего начинается анализ мышления, как конструируются предмет и объект. Ведь это мы конструируем объект за счет метода. Его же еще нет – как пытался я показать в предыдущей части. Его надо нащупать, и здесь очень важно, от чего мы идем. Мы шли от знаковой формы, от текстов речи на самом деле. Смотрите, что мы делали. Мы говорили: у этих знаков есть особые значения, раз, и особые содержания, два, которые и дают нам возможность говорить об особой форме отражения – мышлении.

А где находилось это мышление? А это мышление находилось для нас в движении от знаков к реальному объекту действия. Вот что мне очень важно. Я беру это в оппозиции к тому, что я здесь нарисовал (рис. 1). У меня в схеме, из которой я исхожу, мышление нарисовано с одной стороны, а мыследеятельность нарисована с другой стороны, тогда как в утверждениях, с которыми мы сообразовывались 20 с лишним лет, этой поляризации мышления и мыследеятельности не было. Там мы имеем другую схему: текст речи, движение к мысленному содержанию, к мысленной действительности, а дальше как продолжение этого движения – выход к объектам действия и самим действиям, операциям. Вот как мы представляли себе структуры знания и место мышления внутри деятельности. Ты согласен со мной?

Давыдов. Нет.

А как тогда? Во всяком случае, я понятно сформулировал тезис. А почему мы делали такой ход? Потому, что идея мышления (неважно – чистого мышления или мышления как деятельности) неразрывно была для

нас связана с двумя другими определениями, а именно: с гносеологизмом, познавательной установкой, и с индивидуализмом, т.е., хотя мы и вырвались на третьей космической скорости далеко за пределы сенсуализма, мы по-прежнему понимали это самое мышление как индивидуальный процесс, как процесс в «голове». Когда вы думаете, что это процесс в голове, вы никуда от сенсуализма не уйдете.

Поэтому, когда, скажем, в 1955 г. я делал доклад и выделял познающее мышление, то М.К.Мамардашвили смеялся и говорил: познающее мышление, мысленное мышление – а какое еще бывает мышление? Мышление было неразрывно в те годы связано с познанием. Кстати, американцы сейчас повторяют этот ход в субъективной психологии.

Но ведь мышление не обязательно связано с познанием. Есть огромное количество других видов мышления, совсем не познавательных: проектное, организационное, педагогическое, техническое... Поэтому мы вроде бы в чем-то вырывались из традиционных представлений, но при этом в чем-то оставались целиком в них. Мы трактовали мышление индивидуалистически и гносеологически. А из этого неизбежно следовала схема отражения: акт речи, мыслесодержание, действие. Мыслительный образ был нечувствительный, конечно, но этот мыслительный образ был образ, он по-прежнему стоял между объектом и знаком, он опосредовал связь объекта и знака – вот что было принципиально важно. Мы по-прежнему двигались в этой традиции.

Смотрите, что было дальше. Вроде бы мы знали тезис Выготского о том, что генетические корни речи и мышления различны. Больше того, мы вроде бы знали, что речь может отделяться от мышления. Я очень любил пример гоголевского Петрушки – это пример чистой речи без мышления, когда он читает слова, не вдумываясь в их смысл (он очень любил читать тексты, но при этом никогда не знал, о чем читает; само составление этих слов для него было целостной деятельностью). Таким образом, вроде бы мы это понимали, но рассматривали как патологию. А в норме речь и мышление были для нас неразрывно связаны.

Причем, когда мы обсуждали этот вопрос, мы как-то пытались найти решение этой антиномии: язык и мышление – разное, язык и мышление – одно. Мы говорили, что на уровне синтагматики, т.е. речи, нет речи и мышления как разного – есть речевое мышление как одно, а на уровне парадигматики есть еще системы средств мыслительных, в частности понятия, как нечто отличное от языка. Таким образом, все складывалось так: текст речи-мысли нормируется двумя системами средств – мышлением и языком; они в этом тексте, в синтагматике, сливаются. Вот так мы это рассматривали. Мы начинали со знаков, мы говорили «речь-мышление», но при этом почему-то коммуникация как особая реальность не выделялась. Я хочу спросить: а почему, собственно, у нас до сих пор нет теории коммуникации? Почему у нас нет психологических и других исследований коммуникации?

– Десятки таких теорий есть. А.А.Леонтьев этим занимается.

А.А.Леонтьев не занимается коммуникацией. Он занимается психолингвистикой, т.е. объединением методов лингвистики и психологии, а не коммуникацией. Более того, на мое прямое предложение заниматься коммуникацией он ответил: коммуникация не предмет психолингвистики. Он занимается не коммуникацией, а рече-языковой деятельностью, и это невероятно важно и значимо. Но исследований коммуникации почему-то нет. А почему?

А потому, что мы мышление понимали индивидуалистически. Мы создавали абстрактные категории. Мы говорим, что мы вырвались за пределы сенсуализма. Мы не вырвались за пределы сенсуализма, потому что в индивидуалистическом понимании мысли, деятельности все это по-прежнему заложено. Вы никуда не можете вырваться. Поэтому вы не можете изучать коммуникацию, как и я не мог изучать в то время коммуникацию.

При этом, обратите внимание, мы говорили странные и удивительные вещи про коммуникацию, и она не предметизовалась. Скажем, в моей статье [Щедровицкий 1957], при рассмотрении мышления выделялись три функции: отражения, коммуникативная, экспрессивная. Я писал об этом. Я говорил, что необходимо изучать коммуникацию, но не изучал ее, она проваливалась.

Я помню потрясающе интересный доклад Василия Васильевича в 1955 г. на семинаре по системному подходу в логике и методологии. Василий Васильевич показывал, что все традиционные логические формы суть не формы мышления, а формы коммуникации. Смотрите, как докладывалось: логические формы суть формы коммуникации, а не мышления. А вроде бы надо было сказать: логические формы, через которые задается мышление, суть формы коммуникации, и, следовательно, мышление есть коммуникация.

Давайте сделаем паузу. Я хочу, чтобы вы уловили ситуацию того времени, когда у нас синкретически склеивались совершенно разные представления. Мы все время вырывались из пут традиционных представлений, но они нас держали. Поэтому мы говорили: логические формы, которые суть репрезентация мышления, сферы мышления, – это формы коммуникативные, а не мыслительные. Для нас коммуникация, следовательно, существовала отдельно от мышления, а мышление существовало отдельно от коммуникации. Мышление было противопоставлено коммуникации. Отсюда тезис «о возможных путях исследования мышления как деятельности».

Давыдов. Можно ли вас так понять, что тезис об исследовании мышления как деятельности возник, когда мышление стало рассматриваться вне коммуникации?

Так дело в том, что мышление в коммуникации никто не рассматривал. Мышление рассматривалось – как вы это очень хорошо говорили в

вашей докторской диссертации, и сейчас я это повторяю – в первую очередь в логике и в философии. Оно фиксировалось в логических формах. Но, обратите внимание, оно не предметизовалось и, тем более, не объективировалось. Если бы вы взяли философов и логиков всех прошлых времен за грудки и спросили: какое оно мышление? – они бы вам ответили, что оно такое, как оно фиксировано в аристотелевских логических схемах, в схемах логики отношений или в специальных логико-математических схемах.

А Василий Васильевич говорил, что это не мыслительные формы, это формы коммуникации. Мы все время говорили про коммуникацию, коммуникативные функции, но мы были твердо убеждены, что мышление – это не коммуникация.

А что это такое? Мышление есть деятельность, писали мы тогда, а не коммуникация. Хотя вполне возможен и допустим тезис: мышление есть коммуникация. Этот тезис ничем не хуже, чем первый тезис. Вроде бы даже лучше. Кстати, по-видимому, именно об этом Выготский и писал. Писал черным по белому. Мы это читали. Мы его любили, мы ему верили, но мы этого не понимали. Мы пытались это трактовать как действие, как деятельность. Почему? Потому что выход на реальный объект был возможен только один: через человека и работу его головы – на умственные действия.

– А вы считаете, что в диалектическом материализме мышление не объективировалось?

Объективировалось. Объективировалось чистое мышление. Ведь Гегель объявлял про логос, что это – суть мира. Объективировались здесь образы, но не коммуникация.

Здесь невероятно сложный перелом – что надо объективировать. И я сейчас танцую вокруг одной вещи: что мы имеем невероятную трудность в объективации; мы же не знаем, куда глядеть: прямо, направо или налево. А глядеть-то можно в разные стороны. Потому что одно дело, если я говорю: мышление и есть коммуникация, вот оно здесь в коммуникации существует, оно есть мысль-коммуникация. Тогда я должен объективировать коммуникацию с ее законами. Если же я говорю другое: мысль есть логос, идеальные объекты, действительность у Гегеля, – тогда объективируется схема, и она объявляется сущностью того, что происходит в мире деятельности.

– И в мире коммуникации.

«И» не получается, потому что у Гегеля не было коммуникации. И у нас не было коммуникации.

Тезис «мышление как деятельность» задавал линию объективации на поведение отдельного индивида. И при этом терялась коммуникация, потому что здесь были возможны разные линии объективации, разные линии выхода. Нам не приходило в голову сказать, что мысль должна объек-

тивироваться в коммуникации, в текстах. Мы жили в представлениях своего времени, поэтому мы естественно выходили на индивида и его действия.

Давыдов. Можно ли вас понять так, что когда вы употребляете термин «деятельность», то представляется у вас эта деятельность как индивидуальная деятельность? Это следует из общей логики вашего рассуждения. Если рассматривать деятельность вне процессов коммуникации, тогда, действительно, эта деятельность есть в чистой форме индивидуальная деятельность.

Нет. Смотрите, что происходило. Давайте вспомним основной тезис П.И.Зинченко, его упрек Выготскому. Он говорил: общение сознаний – вот ошибка Выготского. А надо идти к практической деятельности. (В термине «практическая деятельность» выражалась суть практики, поэтому понятие «мышление как деятельность» означало выход на практику и выведение законов мышления из практики.) В этом была суть экспериментов Л.И.Божович и А.В.Запорожца 1928–1929 гг. по наглядно-действенному мышлению. Именно это обобщал А.Н.Леонтьев в понятии «деятельность».

Значит, тогда мы говорили «деятельность» в ориентации прежде всего на такую практику. С другой стороны, деятельность может носить безличный характер, кооперированный, коллективный. Меня-то интересует не деятельность, а мысль как деятельность. А мысль – это деятельность, пересаженная в человеческую голову, переведенная из внешнего действия в умственный план. И дальше уже шел Гальперин со всеми его выводами. Если «умственный», то «умственный» где находится? Ясно, что в башке у человека, в индивиде, а совсем не между людьми, не в коммуникации. Поэтому и происходил вот такой раздрай. А давайте смотреть, что Выготский обсуждает в «Речи и мышлении»: что первое – слово или дело? Выготский прав – слово. Вы хотите объяснить мышление словом...

– Нельзя разделять.

Можно, говорю я. Это моя позиция. Давайте ее бить. На самом деле Выготский хитрее говорил.

Давыдов. Слушайте! Здесь говорятся такие значимые вещи!

Дело вот в чем. Когда Зинченко делал упрек Выготскому и требовал выхода на практическое действие, то у него слово «практическое» имело чисто внешнее, схоластическое отношение к философскому понятию практики. Практическое здесь означало – осуществляемое с вещами. И, с этой точки зрения, практическое действие с самого начала понималось как индивидуальное действие. Это, простите, никакого отношения к философскому понятию практики не имеет. Философское понятие практики соотносимо с родовой общественно-исторической производственной деятельностью людей. Поэтому нельзя путать психологические нововведения в

30-ые и в последующие годы, связанные с употреблением якобы марксистских терминов, с подлинно философским пониманием этих вещей. Когда мышление связали с деятельностью, с действием, то вместе с тем связали с индивидуальным действием. Все осталось в области индивидуальной психологии, психологии индивида. В этом смысле можно бросить упрек нашим «марксистам» в том, что они стояли не на позициях философского понимания практики, а были прагматистами – почище, чем Дьюи.

– А почему индивидуальная практическая деятельность исключает фактор коммуникации?

Хороший вопрос.

Давыдов. Георгий Петрович, ваш пафос направлен против прагматизма в психологии мышления. А слава богу, мы, в силу нашего недостаточного развития, не осуществили сколь-нибудь последовательно даже прагматизма.

Василий Васильевич, вы меня, ради бога, извините, я имею диплом преподавателя философии и считаю себя марксистом. Я вроде учился на пятерки и все экзамены тоже сдавал прилично. А сейчас я занимаюсь самокритикой. Я говорю: дело не в том, что психологи марксизм извратили, не так поняли, вульгаризовали, до прагматизма не дошли, писали это в 30-е годы. Я говорю: я это писал в 50-е годы, а вы на меня ссылались, когда я это писал, без критики. Я-то брал практику не индивидуально, а общественно; задачу ставил вывести мышление из практики, посмотреть как практические действия рождают мысль, мышление, мыслительные операции. Вот такая у меня была установка. Я верил в это.

Давыдов. То есть чисто пиажистская установка.

Не знаю. Пиаже этого вопроса не обсуждал. Это мы обсуждали, исходя из идеи практики.

Давыдов. Пиаже не пользовался словом «практика», к счастью, но все дело в том, что он как раз бился над проблемой, как из старых действий вывести операции.

– Поэтому у него получалось, что интеллектуальная операция есть копия практической операции.

Да, он установил изоморфизм между тем и другим. С моей точки зрения, ошибочной была эта установка выводить мышление из практики. Оно не может быть выведено из практики.

Давыдов. А что вы имеете в виду под практикой?

Да что бы ни иметь – не может оно быть выведено из практики.

А уже затем эта практика в процессе выведения индивидуализировалась. И вот здесь ваш вопрос «почему же терялась коммуникация?». А потому, что в практике никакой коммуникации нет. Как только вы в практику включите коммуникацию, практики в ее кондовом классическом смысле просто не будет. Все. Лопнула – и конец.

Поскольку мы были правоверные и двигались очень четко, мы и выходили на совокупность индивидуальных операций и разрабатывали нормативный подход для анализа и описания этих операций, будь то на уровне практического действия, будь то на уровне мыслительного решения задач.

Кстати, очень многие психологи критиковали меня за этот ход – за выведение мышления из практических действий и операций и за нормировку.

Давыдов. А разве ты когда-либо этим занимался?

Я все время этим занимаюсь. Я, конечно, ошибался, я это понимаю, но я делал так. И спешу покаяться.

– Наверное, надо объяснить, почему коммуникация исключает практику. Красиво звучит, но не понятно.

Вы знаете, как Василий Васильевич ругает наш семинар? Он говорит: болтаете, болтаете, а дела никакого.

Представьте себе, что мы становимся на вашу точку зрения. Тогда окажется, что Василий Васильевич меня вообще ни в чем упрекать не сможет. Окажется, что я болтаю, болтаю, а это и есть единственное дело – практика. Ведь до сих пор в обыденном сознании болтовня в практику не входит. Практика – это «надо вещь делать». А если вы включаете коммуникацию в практику, то ведь все летит, потому что получается, что мы болтаем и тем самым делаем эту практику, а все остальное вообще фуфло.

Это очень интересно, почему выпадала коммуникация. Ведь я могу иначе рассуждать. Я могу говорить: а где работы про коммуникацию, психологические, логические, где они? Вот я, например, рассматривал подробнейшим образом ситуации обучения, рассматривал как решаются арифметические задачи детьми. А разве в работах 50-х – начала 60-х годов учитывалась коммуникация между педагогом и учеником, разве там утверждалось, что задача есть коммуникативное образование? Где вы видели такие работы?!

Ведь для меня из этого следуют невероятно значимые выводы. Что я теперь буду делать, если я это понял? Я буду говорить: задача есть оформление коммуникации и трансляции. Вот вы вроде бы задачками занимаетесь – так что я должен сказать? Я должен сказать, что вы вообще не там ищите, в принципе. Потому что если задача есть коммуникативная форма, так и давайте ее как коммуникативную форму изучать.

Давыдов. Изучать-то нужно. Но что из этого следует? Это очередное ваше увлечение: одностороннее сведение мышления к коммуникации.

Кстати, я этого не говорил.

Давыдов. «Задача есть оформление коммуникации и трансляции». Трансляция – что сие значит?

Я столько работ на эту тему написал – я думал, что хоть некоторые из них прочитывались.

Так что я утверждаю? Есть мысль-коммуникация, есть чистое мышление и есть мыследеятельность, т.е. деятельность, которая тоже мышление. Вот, например, мы сейчас осуществляем здесь все три формы. Мы осуществляем мысль-коммуникацию, и мы осуществляем чистое мышление, а кроме того, понимание. Чистое мышление – это то, что я на доске рисую, и то, что вы мой текст относите туда и понимаете через эти схемы идеальных объектов. Когда вы фиксируете, что я святые истины разрушаю и подкоп под них делаю – это вы мыследействие фиксируете. А кроме того, мы еще строим диалог очень сложным образом, вы от меня дидактики требуете, т.е. чисто коммуникативной формы. И самое главное, что это не один процесс, а три процесса и, следовательно, три группы законов. Я напоминаю этот замечательный тезис Эдуарда Клапареда в предисловии к книжки «Большой Пиаже»: заслуга Пиаже состояла в том, что там, где вы искали правила одной игры, он понял, что там не одна игра, а много разных игр; разделив их, он получил возможность искать правила и законы для каждой.

В этом смысл того, что я говорю. Я не говорю, что мысль есть только коммуникация. Я говорю: мысль существует как коммуникация, как чистая мысль, как мыследеятельность, и это три разные формы существования мышления.

А вы ведь вынуждены заниматься практикой, т.е. сложной комплексной деятельностью. И когда ваши сотрудники исследуют процессы обучения в школе, так они же имеют дело со всеми этими тремя формами, и вроде бы, говорю я, их надо четко различать, потому что у них разные законы. Если мы будем вести между собой спор, противопоставляя мысль-коммуникацию чистому мышлению, а чистое мышление мыследеятельности, мы во всем этом не разберемся. Мы зря будем спорить.

Давыдов. Это верно. Тогда все-таки к вам вопрос. А мышление, имеющее эти формы – мыследеятельность, мышление как коммуникация, чистое мышление, – откуда оно возникает?

Смотрите, как Выготский ответил: эти три части имеют разные генетические корни, каждая часть возникает по своей особой линии.

Давыдов. Значит, генетические корни этих трех типов различны.

Но генетические формы могут быть различными, а слилось это все-таки в разных формах, но единого мышления.

Я говорю: и не слилось.

Давыдов. Тогда по законам коммуникации это нельзя обозначать единым термином «мышление».

Конечно. Поэтому я и говорю: нет никакого единого мышления, нельзя обозначать одним термином. Чистое мышление живет само по себе, по своим законам, мысль-коммуникация – по своим законам, законам коммуникации, в частности диалога, мыследеятельность – по своим законам, и только рефлексия организует и стягивает одно в другое и переводит одно в другое. Но, обратите внимание, они еще постоянно распадаются, особенно на том полюсе, где есть человек, принимающий сообщение, на полюсе принимающего.

Давыдов. Тогда надо и термины различные употреблять. Если вы считаете, что нет никакого единства между законами мыследеятельности, законами мышления как коммуникации и законами чистого мышления, то употребление в этих трех случаях единого слова «мысль» неправомерно. Это значит, что это разные формы духа.

– Тогда мы откидываем деятельность, коммуникацию.

А может ли современный человек жить без той флоры, которая живет «на нем»? Не может человек жить без этой флоры. То, с чем мы имеем дело, с чем вы имеете дело на практике, это всегда эти три части – только в разных связках друг с другом. Отсюда значимость проблемы рефлексии. Потому что рефлексия один раз зашнуровывает это одним образом, другой раз – другим, третий раз – третьим.

Давыдов. А рефлексия какой из этих сфер принадлежит?

А рефлексия принадлежит четвертой сфере, она неразрывно связана с сознанием. Поэтому, когда я начинал свой доклад, я сказал, что его тема – «Мыследеятельность, рефлексия, мышление», но точно так же он может быть назван «Деятельность, сознание, мышление» – я только буду фиксировать материального носителя рефлексии, вот этого человечка.

Давыдов. Что же тогда, повторите, зашнуровывает рефлексия?

Она зашнуровывает мысль-коммуникацию, чистое мышление и мыследеятельность.

– Но тогда мы не можем изучать рефлексия, не изучая трансформации, скажем, мысли-коммуникации в мышление.

Не можем. Изучение этих трансформаций – одного в другое – и есть изучение рефлексии.

Рефлексии тоже все разные. Это еще Джемс понимал.

– *Можно ли вас так понять, что коммуникация присутствует в мыследеятельности?*

Обязательно. Но теперь я говорю еще более еретическую вещь. Вы сказали, что коммуникация присутствует в мыследеятельности, а я говорю нечто другое: главное в мыследеятельности – это коммуникация, и начинать надо с коммуникации. Поэтому не коммуникация присутствует в мыследеятельности, а мыследеятельность обволакивает коммуникацию.

– *Можно ли тогда вас так понять, что коммуникация может быть выражена в предметных действиях?*

Не может. Кстати, ваши замечания интересны тем, что вы сейчас разыгрываете роль моего оппонента. Вы хотите понять, но вы разыгрываете роль моего оппонента в мыследеятельности. И это прекрасно.

Фактически, что я утверждаю? Опять я наберусь окаянства для резкости.

Давыдов. Для устрашения нашей публики.

Да нет. Нельзя ничего понять ни в мышлении, ни в коммуникации, не изучая в первую очередь коммуникацию.

Давыдов. Это мы уже давно осознали.

А мы же не изучаем коммуникацию.

Давыдов. Скажите, Георгий Петрович, к какому из этих трех или четырех слоев относятся упражнения нынешней логики в узком смысле и нынешней философии познания в более широком смысле?

Я бы уклонился пока от этих вопросов. Я еще не ввел всего, чтобы ответить на этот вопрос.

Я подвожу итог этому куску и обращаю ваше внимание вот на что. Мы двигались в рамках представления о мышлении как отражении, как об образе, а о знаниях – как об образах посредствующих связей знаков с вещами, объектами деятельности, операциями и т.д. И при этом сводили мышление к познанию и к индивидуальности. Это – с одной стороны. Но параллельно мы все время обращали внимание на коммуникацию и знаки, и одно невероятным образом синкретически уживалось с другим. Мы жили вот в этом осколочном мире и на разных собраниях говорили разное, не додумывая все это до конца.

Я только перечислю важнейшие пункты.

В работах 1954 г. сигнал и знак рассматривались на связи между кооперантами, а значит, на связи, по меньшей мере, двух актов мышления, но это обстоятельство никак не отражалось на предметизации. Предметизовался знак в отношении к операциям и объектам, без отношения к дру-

гому участнику коммуникации. На чем сейчас паразитируют Б.Ф.Ломов и остальные? На связке «субъект – субъект», вместо «субъект – объект». Ведь наличие этой дырки и позволяет ему делать вид, что делается какой-то новый ход, новое открытие. Про это вроде бы все говорили, но не осуществляли предметизации. В знании-то это фиксировалось, а в выходе на исследование, на предмет и на объект делалось нечто другое – индивидуализация операций.

В работах 1955–1956 гг. знаковым выражениям приписывалась особая функция коммуникации. И это писалось и говорилось.

В докладе 1955 г. Василий Васильевич прямо рассматривал традиционные логические формы как коммуникативные. Казалось бы, подумайте это дело и начните разворачивать исследование коммуникации. Нет, этот доклад – интересный, блестящий, красивый – оставался вне предметных разработок. Это были, так сказать, умствования на произвольную тему.

В тезисах и статьях 1961, 1965, 1967 гг. знак рассматривался на разрыве между индивидуальными деятельностями. Но из этого не делалось никаких выводов.

– Подбирались к тому, что знак есть знак-коммуникация?

Прямо это говорили, но не делалось из этого никаких выводов. Предметные разработки оставались прежними. В тезисах 1961 г. знак вообще был отнесен к транслируемому образцу и начал рассматриваться как символ. И был реализован этот план. Но все равно из этого ничего не следовало в отношении к мышлению.

В работах 1965 г. речь и язык были отделены от мышления. Было показано, что значение существует не по законам содержания, что есть знаки, выражающие значения и не выражающие мысли, т.е. появилась речь, не выражающая мышление. С точки зрения схемы (рис. 1) это понятно. Если мыследеятельность поднимается вверх в текст через рефлексию, то она будет не мыслительной коммуникацией. Она будет рефлексивной, отражающей образ работы, и она будет образной в этом смысле. Здесь совершенно другие законы речи, коммуникации и т.д., нежели в том случае, когда она выражает идеальный объект. Это все было сделано в 1965 г., все было разведено, но вывода из этого не делали – вывода, что надо изучать специально коммуникацию.

Можно перечислять еще массу публикаций, работ, докладов, даже малюсеньких исследований, где все это намечалось. Но, тем не менее, из этого ничего не следовало. Мы все время на уровне знания говорили про это, а в плане предмета, объекта исследования ничего не делалось. А почему? Потому что нужно было сделать этот решающий ход. Пока мышление оставалось внутри деятельности и коммуникация оставалась внутри деятельности – до тех пор никакой новой продуктивной предметизации не могло быть.

Поэтому я сейчас и провоцирую вас на это. На мой взгляд, для того чтобы прорваться к тому, что происходит в реальной человеческой жизнедеятельности, надо разодрать их и разделить. И, в частности, поместить чистое мышление по одну сторону от коммуникации, мыследеятельность – по другую сторону, а коммуникацию взять как «шампур», на который все это насажено. А пока мы не дошли до этого, сколько бы мы ни говорили про знаки, про их опосредствующую роль и т.д., никакой объективации, никакого, следовательно, исследования, никакой предметизации не могло быть. Мы оставались в рамках той же индивидуальной деятельности и сенсуализма, поскольку было непонятно, на что выходить.

Давыдов. Но вы-то еще не разделили этих планов.

В докладе – нет, я пока рассказываю старое. Вот теперь я дошел до того места, где я должен начать рассказывать все по новой: про то, как же мы пришли к разделению и как мы это разделили. Пока я все время рассказываю, как мы не разделяли – все время говорили, но не разделяли.

(Перерыв)

Давыдов. С большим трудом мы переварили даже то, что нам уже рассказал Георгий Петрович, поэтому, может быть, мы перенесем продолжение. Георгий Петрович, вы не будете против, если мы вторую и окончательную часть вашего выступления заслушаем в следующий раз?

Как вы сочтете нужным.

Давыдов. Тогда мы соберемся в следующую среду. Георгий Петрович, не могли бы вы все-таки в следующий раз кратко объяснить, почему мы, крутясь все время вокруг проблемы коммуникации, не смогли определить эту проблему в системе новых исследований и почему даже вы, я говорю «вы», потому что вы очень чувствительны к этой проблематике, столкнулись с необходимостью превратить коммуникацию в стержень подходов ко всем проблемам, касающихся мышления, лишь в последнее время. Какие здесь внутренние причины были?

Человек всегда видит только то, что он знает. А знали мы другое, и хотя мы все время говорили, что коммуникация важна, но методы и линии предметизации и онтологизации задавались таким набором категорий, которые заставляли нас не видеть этого обстоятельства или отбрасывать его.

Давыдов. Это сугубо психологическое объяснение: не видели, не знали, не понимали.

Это не психологическое, а историческое объяснение. Я могу сказать и по-другому. Представления авторитетов и весь предшествующий ход развития и наук, и философии, и методологии заставляли нас думать иначе. Это невероятно сложный переворот.

Я дальше хочу рассказать, как выкристаллизовывалось другое понимание, за счет чего. Механизм там будет вот какой: за счет взаимодействия нескольких людей, занимающих разные позиции в коллективе. Это произошло, когда здесь внизу оказался семинар, который был вами и мной создан – Комиссия по психологии мышления и логике – и в котором начала разворачиваться новая форма работы – коллективное мышление.

Я только коротко основную идею изложу. Для коллективной работы собирались носители чистого мышления: В.Давыдов, Я.Пономарев, В.Зинченко, М.Шехтер и другие. Когда они сидели у себя в кабинете, они осуществляли мышление в тех или иных парадигмах. А когда они собирались на семинар, это были люди, которых Томас Кун называл носителями разных парадигм: один гегельянец, другой кантианец, третий эмпирик и т.д. И между ними на семинаре начиналась дискуссия, которая не приводилась к единой логике мышления. Один говорил одно, другой – другое, а семинар-то должен был двигаться вперед. Поэтому руководитель семинара не мог быть парадигматиком. Если бы он встал на точку зрения парадигматиков, семинар перестал бы существовать. А мы продолжали коллективную мыследеятельность. Тогда спрашивается: а за счет чего мы продолжали коллективную мыследеятельность? Средств чистого мышления и онтологических картин здесь уже недостаточно, они только дают возможность искры высекаать.

И вот тогда понадобились новые средства для организации коллективной мыследеятельности. Тогда все схемы должны были употребляться не в функции предметных схем или онтологических схем мышления, а как организационные схемы. Тот, кто отвечал за работу семинара, как бы не мог уже мыслить и пользоваться чистым предметным или теоретическим мышлением. Он же выступал в роли организатора, имея перед собой спорящих людей, сталкивающихся людей, а не гегелевскую или кантовскую картину. И он должен был решать проблему – как двигаться дальше. А в шестом ряду сидел В.Лефевр, который глядел на все это и не понимал, что происходит.

Была каждый раз проблема: организатор что – мыслит или политикой занимается? И как вообще он приводит все это к единому знаменателю?

Тогда оказалось, что средства организации коллективной мыследеятельности – это принципиально другие средства, нежели средства индивидуального мышления. Даже когда там используются, казалось бы, те же самые схемы, они используются совершенно в другом значении, в другой функции и с другим содержанием.

Тогда начала выявляться действительность коллективной мыследеятельности, требующая своих особых средств. Это то, что происходит в каждом классе, каждом детском коллективе. Это то, чем вынужден заниматься сейчас В.В.Рубцов, потому что ему-то нужны организационные схемы и те схемы, которые лидер группы начинает выдвигать, дабы организовать это. Или педагог, который выступает в роли организатора, – он

же не осуществляет чистого мышления, он осуществляет организационную мыследеятельность.

Давыдов. Это все известно.

Слава богу, я вообще не такой революционер, каким вы меня пытались представить.

А если это понятно, так давайте это положим в основание исследования. Получается, что для того чтобы мыслить, нужны одни средства, а чтобы осуществлять организацию, коллективную мыследеятельность, нужны другие средства.

Давыдов. Правильно. Это давно всем известно в психологии мышления. Были какие-то здесь существенные обстоятельства, которые препятствовали подходу к мышлению со стороны коммуникации. Факт – Выготского презрели в 30-ые и последующие годы.

А почему «презрели»? Любили, уважали.

Давыдов. Любить – любили, уважать – уважали, но не понимали. Почему не понимали, я и хочу понять. Потому, что все идеи Выготского о том, что есть переход от «интер» к «интра», исчезли.

Потому и исчезли, что нет такого перехода. Есть различие позиций, которое заставляет видеть мир по-разному. Никакого перехода от «интер» к «интра».

Давыдов. То, что вы сказали сейчас, это даже не банально, а похуже – это примитивно.

Пусть это будет примитивно, но посмотрите, что из этого следует.

Давыдов. Вы иногда с высот теоретических размышлений и тонких различений переходите вдруг на общие места. Это не способ ведения разговора.

Из этого следует, что тот, кто выполняет организационную работу, должен иметь двойную онтологию.

Давыдов. В вашем сознании почему-то фигурирует все время представление о том, что люди управляются только чиновниками, что и для коллективной мыследеятельности есть всегда тот, кто ее организует.

Тот, кто организует, не чиновник, а человек.

Давыдов. А вы не исключаете того, что люди сами организуют свои взаимодействия и даже коллективную мыследеятельность? Что не нужны нам вы как организатор?

Я как организатор никому не нужен. Я не претендую на это. Но обратите внимание: люди сами организуют свою коллективную мыследеятель-

ность, но чтобы человек мог это сделать, он должен перестать быть человеком. Почему? Он должен расстаться со своим единым видением мира, тем, которое было продиктовано его чистым мышлением, забыть о нем. Следовательно – распродеться. Выложить содержание своего сознания на стол, закрыть платочком это все и сказать: меня больше нет, и я теперь должен строить работу на взаимодействии этих позиционеров и нарисовать совершенно другую картину мира.

Человек, который не раздвоился, не раздвоил своего сознания, не отделил себя от своего мышления, не может выступить организатором. Я говорю, что организуют друг друга люди, но чтобы человек мог организовать компанию, он должен освободиться от своего мышления.

Поймите, если у меня все это есть, это вот видение мира – я знаю, как он устроен, – и оно задано моими мыслительными картинками, логосом, я не смогу никого организовать. Я же как носитель этой парадигмы, этого видения буду стоять на своем и говорить: вот истина. А другой будет говорить: вот истина. И мы столкнулись. Вот и все.

Давыдов. Вот когда столкновение переходит в драку, тогда выступает чиновник, т.е. полицейский, и навязывает свой логос.

Кто такой чиновник? Чиновник – это человек не имеющий ни принципов, ни убеждений; он только потому и может быть чиновником и организатором, что он не относится к содержанию. Если бы у него было мыслительное содержание, он бы не мог выступить организатором. Он бы вмешался в эту историю и отстаивал свою точку зрения.

Давыдов. Он подчиняет всех своей точке зрения, и те, кто спорят, превращаются в исполнителей его точки зрения.

Вся соль разделения труда состояла именно в том, что выделились управленцы, которые узурпировали все основные функции мыследеятельности, и чистого мышления в том числе.

Да нет. Если все участники мыследеятельности замкнуты на чистое мышление, у каждого своя картинка, они носители разных парадигм, то тогда никакой коллективной мыследеятельности быть не может. Для того чтобы была коллективная мыследеятельность, надо, чтобы была еще организация, которая ортогональна всем этим системам парадигм. Вот вам парадокс, из которого надо исходить. И в этом весь смысл дела.

Организатор не может мыслить в традиционном смысле, у него совершенно другие схемы. И вот здесь начинается разница между мышлением и мыследеятельностью.

Сейчас я очень важную вещь буду говорить. Вот я делаю доклад. Я рассказываю что-то такое – нарисовал схему. Вы эту схему воспринимаете следующим образом: это я что-то нарисовал на доске, и это к моему действию в отношении вас никакого отношения не имеет. Это ведь схема,

которую вы автоматически предметизовали и объективировали. В лучшем случае, это изображение чего-то.

Организатор не может так работать. Он не осуществляет предметизации. Он берет эту схему, и это есть прямое орудие и средство его действия. Он должен эту схему «надеть» на присутствующих людей. Следовательно, он работает не с фигурками, которые он движет здесь на доске по законам логики. Он осуществляет реальное организационное действие, «беря» свою схему из доски и «надевая» ее на людей. Тогда оказывается, что его схема в контексте организационного действия есть не мыслительный акт, а деятельностный. Он ярмо надел. Или иначе: людей записал в эти места, и теперь они будут двигаться в соответствии с этими местами. Это значит, что схема работает не как схема в онтологизированном и предметном мышлении, а как «палка». Поэтому организатор не в мышлении живет. Он в мышлении предварительную работу делает, и то он приглашает для этого программиста, оргпроектировщика, сценаристов. Он берет схему, проект, оргсхему и «надевает» на людей. Это не мыслительный акт, а деятельный.

Давыдов. Я понял так, что все гнусные функции в мышлении выполняет деятельность.

Итак, в следующую среду мы дослушаем.

2.

Я напомним те пункты, на которых останавливался первый раз.

Я остановился вначале на проблеме знания и постарался показать, что знание отнюдь не предполагает чистого мышления, что подавляющее большинство знаний рождается не в мышлении и не благодаря мышлению, а благодаря рефлексии и выражению рефлексивно-деятельностного содержания в текстах речи. Я стремился показать, что эти знания являются хорошими, полнокровными, обеспечивающими практику, если тексты речи понимаются и все это происходит без отнесения знаков к объектам и без какой-либо предметизации, что, следовательно, знания сами по себе не предполагают ни интенционального выхода на объект, ни соответствующей проблематизации. Такой интенциональный выход на объект и предметизацию предполагает только узкая группа знаний, а именно научные знания.

Давыдов. Узкие знания?!

И вы, Василий Васильевич, в предыдущей своей речи зафиксировали, что научные знания выхода к практике, к сожалению, не имеют. Я не обсуждаю сейчас вопрос – вина ли это знаний или вина практики; я бы здесь согласился с тем, что вы имеете в виду подспудно: что это практика такая, мало куда годная, несовременная практика, поскольку в ней научные знания даже и применяться не могут. В оценке практики мы, навер-

ное, совпадаем с вами. Но она такова, к сожалению. Научные знания ей не нужны, и она научными знаниями не организована.

Давыдов. При всех наших домыслах все-таки принято считать, что чистая физика, в конце 30-х годов двигавшаяся в русле, или, по-твоему, в парадигме, чистого исследования и обнаружившая возможность атомного взрыва, была потом приложена к практике и дала чудовищный практический результат. В частности, в биологии сейчас, когда открыты – в чистой науке, кстати, в чистом исследовании – законы рекомбинации генов, созданы возможности для порождения чудовищных существ. Мы, к счастью, ограждены от разных буржуазных влияний, но ведь Запад сейчас находится в потрясении от того, что группа американских чистых ученых опубликовала возможные последствия этого чисто научного открытия.

Достаточно хорошо известно, что эта чистая наука уже перешла в область технологии. У нас грешных принято думать, что вначале чистая наука, как наука предметная – биология, физика, – дает фундаментальные закономерности, на основе которых надстраиваются прикладные исследования, а на уровне прикладных исследований зарождается уже технология применения закономерностей, что в результате дается практике.

Другое дело, что технология требует комплексного подхода. Чтобы обнаружить возможность соединения атомов, чистая физика работала, а чтобы построить атомную бомбу, надо было объединить представителей очень многих наук.

Поэтому мне не ясно, в чем пафос утверждения, что якобы наука уже не работает. Как раз вся реальность работает против этого утверждения. Но почему не работает чистое мышление? Чистое мышление не работает само по себе. Это не бог весть какое открытие. Чистое мышление и его результаты надо соединить с определенными, столь же историческими вырабатываемыми технологиями, по сути дела, комплексными, а не чисто предметными.

Главная беда в том, что в области гуманитарных наук зарождаются так называемые технологические представления, которые в Америке выливаются в систему манипуляций человеком. Выход в том, чтобы построить чистую теорию человека и опираться на чисто теоретические представления в противовес некоторым прагматическим выводам.

Ваше рассуждение ясно. Но не ясно только одно: на каком основании вы опровергаете реальность истории, с которой связаны наука, технология и практика. Все-таки в этой истории все начинается с чистого мышления с поисков фундаментальных предметных закономерностей, с возможности их выражения в технологии с последующим применением в практике. Что у вас есть, чтобы опровергать этот веками освещенный исторический ход?

Отвечаю. Из того обстоятельства, что за 2,5 тысяч лет наука и чистое мышление действительно сумели в некоторых единичных случаях пере-

строить практику, создать особые локусы научно организованной практики и технологии и выйти на взрыв атомной бомбы, на идею генетической перестройки и т.д., из того обстоятельства, что есть несколько таких случаев, не следует, что такая форма связи чистого мышления с практикой является всеобщей или даже широко распространенной.

Я ведь не отрицаю возможности таких случаев. Они возможны, и там, где это может быть, мы должны к этому стремиться. Но такая связь чистого мышления с технологиями, а не просто с мыследеятельностью, сегодня наблюдается в единичных случаях.

Давыдов. Я возражаю решительно. Понятие всеобщего не означает распространенности. Я утверждаю, что чистое мышление и собственно предметное научное мышление носят всеобщий характер, в гегелевском смысле. Всеобщий – значит генетически порождает все здание знаний и их применения.

Нет. Я не вижу оснований!

Давыдов. Все, что я утверждаю, это есть утверждение Гегеля и последователей Гегеля. Но они основывают свои положения на большом историческом опыте. Что служит у вас основанием для потрясения гегелевских основ? Я с вами в принципе не могу согласиться. Не потому, что я не понимаю вас – мне непонятны основания потрясения основ Гегеля. Я, правда, чистый гегельянец. Но современная наука воспроизводит и в реальности, и в своих рефлексивных представлениях именно понимание Гегеля, что выражено в его «Логике», «Феноменологии духа».

Вы будете гегельянцем, а не просто адептом Гегеля, если вы сумеете показать ошибочность моих рассуждений.

Давыдов. Это вы должны доказывать ошибочность Гегеля! Вы же поднимаете какие-то вопросы...

Давайте мы еще раз вернемся к условиям нашей дискуссии. Я в прошлый раз говорил, что я высказываю эти соображения для того, чтобы вы могли их раскритиковать и опровергнуть. Я знаю, что я говорю неправильно. Но давайте посмотрим, как показать, что это неправильно.

Вы, действительно, очень четко фиксируете суть наших расхождений. Есть тождество бытия и мышления или нет тождества бытия и мышления? Вы как гегельянец говорите: есть.

Ведь что я пытаюсь доказать? Я пытаюсь доказать, что необходимо проводить жесткую и четкую границу между чистым мышлением и мыследеятельностью – они не тождественны, а принципиально различны. Следовательно, то, что мы не замечали этого различия, не фиксировали его, что мы всегда исходили из того, что мышление, опираясь на факты науки, предметизуется и внедряется в деятельность, оснащает ее, и деятельность начинает идти как мыслительно организованная деятельность, –

то обстоятельство, что мы это фиксировали как самоочевидный факт, и есть, с моей точки зрения, главный недостаток наших подходов, ошибка. Это я стараюсь показать.

Действительно, есть такие случаи, на которые вы ссылаетесь. Это те случаи, когда практика была реорганизована за счет науки и получила научную организацию. Но это произошло в уникальных, редких случаях, а реально мы имеем дело с неимоверно широкой практикой, где мышление существует само по себе, мыследеятельность существует сама по себе и схемы, которые развертываются по законом логики в чистом мышлении, не соответствуют тому, что разворачивается в мыследеятельности.

Это утверждение о принципиальном различии чистого мышления, рефлексии чистого мышления, рефлексии мыследеятельности, мысли-коммуникации и является тем, что я хочу вынести на ваше обсуждение и критику. В этом состоит основной тезис.

А дальше я зафиксировал представление о знании, подчеркнул, что знание не предполагает выхода на объект и не дает ответа на вопрос, каков объект. Зафиксировал, что знание не предполагает в принципе предметизации, хотя есть такая узкая группа знаний, которая дает выход на объект за счет чистого мышления и предметизована.

Что мне очень важно? Вы имеете дело с работой педагогов – их мыследеятельность не предметизована. Вы имеете дело с работой детей почти по всем предметам – их мыследеятельность не предметизована, нет там чистого мышления никакого. Вы имеете дело с играми детей или взрослых – там мыследеятельность не предметизована. И если вы к анализу всего этого материала подходите с точки зрения предметизованности, объективированности, вы заведомо не можете понять, что там происходит. Вот мой тезис.

– *А чистая физика?*

Эта легенда о чистой физике существует только в околonaучной литературе. А в истории науки показано, что это было не так, что сначала развивалась теория машин и механизмов, а потом на этой базе развивалась так называемая естественная механика; что электродинамика не могла быть реализована даже в проводочках, пока не возникла электротехника. Электротехника возникла раньше, чем возникла электродинамика. И это знают все, кто занимался физикой или историей науки.

Давыдов. Это различие давно проведено. Нам известен старый тезис, что история промышленности есть раскрытая книга развития человеческой сущности. Это все уже поднято, разобрано.

Теперь из этого надо сделать выводы. И, как мне кажется, те выводы, которые я предлагаю на ваше рассмотрение, не столь уж тривиальны, а главное практически очень существенны, в том числе и для организации наших исследований, для организации нашего мышления и нашей мысле-

деятельности. Если мы этого не поймем, то мне кажется, что нам будет не очень здорово. Вот в чем пафос моего выступления.

А дальше я напоминаю вам логику моего движения. Я сказал, что есть такие – выходящие на объект – знания. Они предполагают определенный тип работы, а именно онтологическую работу и онтологизацию. Есть знания, которые предметизируются, но это предполагает особый тип работы, а именно специально организованную предметизацию.

Я тут встретил В.П.Зинченко, он говорит: «Слышал я о твоём докладе в понедельник. Но как же так – науки нет? А что ты сам делаешь? За что нам деньги платят?».

Но я-то ведь доказывал не то, что науки нет. Я-то, наоборот, специально ею занимаюсь, стремлюсь ее рафинировать, развернуть эту научную работу. Я только говорю, что есть особая форма организации знаний – научные знания. Но не надо думать, что она всюду распространена, что других нет. Надо определить точно ее место и не путать, где мы работаем без объективации и предметизации, а где мы работаем с предметизацией и объективацией. Кстати, не всюду она нужна. Дальше я попытаюсь показать, что там, где вы организуете деятельность, а не технологии, обратите внимание, коллективную групповую деятельность, там предметизованные, технологизированные знания не нужны, а нужно то, что обеспечивает организацию человеческой деятельности.

Кстати, вы работаете на коллективах детей. А педагог ведь все время организует их деятельность, и из того, что он там создает какие-то маленькие «шахты», куда он опускает эти предметизованные знания, основы наук и т.д., не следует, что вся его деятельность носит такой характер. Надо просто суметь правильно, четко это отгородить.

Как я аргументировал свои тезисы? Реально мы не занимались изучением коммуникации. Каким изучением? Объективированным и предметизованным изучением коммуникации. Мы говорили все время о коммуникации (я здесь упоминал доклад Василия Васильевича 1955 года, мог бы назвать последующий целый цикл работ). Но ведь я утверждал одно: мы про коммуникацию на уровне знания говорим, в реальности нашей жизни фиксируем этот факт, а в качестве объекта коммуникация не положена. Когда мы задаем вопрос, что есть коммуникация, мы не можем нарисовать схему коммуникации. Более того, наши отношения к коммуникации между педагогом и детьми или между детьми не предметизованы. Мы говорим обо всем этом на уровне рефлексии.

Что из этого получилось? Говорят: тогда дело в коммуникации. Нет, у меня мысль другая. Мне ведь надо развести чистое мышление и мыслительную деятельность. Мне надо показать, в чем они различаются, и я для этого проделываю определенную онтологическую работу, нацеленную на предметизацию.

Мы про коммуникацию все время говорили, но говорили на уровне знания и понятия, в лучшем случае. А чтобы исследовать, понятия мало,

надо онтологизацию произвести и выйти в чистое мышление – как бы вынуть из реальности и положить на доску, нарисовать там и начать по определенной логике, по определенным правилам с этой схемой работать.

Предположим, меня спрашивают, что здесь сейчас происходит. Я говорю, что доклад пытаюсь читать, а Василий Васильевич мне возражает и я отвечаю как-то на его возражения. С моей точки зрения, это все пока находится на уровне мыследеятельности, в пространстве мыследеятельности, но не чистого мышления.

А вот если меня спрашивают, а что же у меня с Василием Васильевичем происходит, я обращаюсь к доске, начинаю это рисовать на схемах и начинаю обсуждать это уже в форме идеального объекта. Перевожу это в чистое мышление, если могу.

Но мы очень редко это можем, потому что у нас схематизмы неадекватные. И идеальный объект у нас не тот. Я начал обсуждать нашу практику – с 1952 г. по 1980 г., когда мы вроде бы и про коммуникацию говорили, и про мышление как деятельность говорили, и даже пытались рисовать это на схемах. Но схемы наши имели такой вот вид: текст, или знаковая форма, есть выход к оперированию с объектами, есть объектное содержание, операциональное содержание, есть обратный возврат к объектам. Я могу напомнить здесь схемы по анализу решения арифметических задач. Я ведь там все время работал в двухплоскостных схемах, и тогда меня или вас, Василий Васильевич, спрашивали: вот это есть объективное или объектно-операциональное содержание, а где здесь действительность мыслей, где здесь идеальные объекты? Кстати, вопрос: где вообще идеальные объекты? Куда их надо поместить?

В прошлый раз я говорил, что мы всегда их рисовали где-то между знаками текста и объектами нашего оперирования и операциями. И было это однонаправленное движение. Если появлялось вроде бы чистое мышление, то мы его рисовали между знаками и реальностью. У нас эта действительность мышления каждый раз оказывалась посредствующим звеном в том же движении. В результате мы никогда не могли в действительности чистого мышления и на идеальных объектах поделить мышление и мыследеятельность. Не могло возникнуть такого различия. Оно и сейчас кажется очень странным и непонятным.

Поэтому, я нарисовал схему, где попробовал изобразить все иначе, и утверждаю следующую вещь (она вроде бы феноменально очевидна, только схемы никогда не соответствовали этому). Если я коммуницирую с вами, взаимодействую, делаю что-то, то я смотрю сюда в зал, и текст мой должен пониматься вами, интерпретироваться по отношению к тому, что есть в реальности. А теперь, когда я начинаю работать со схемами на доске, я же поворачиваюсь спиной к реальности – начинаю рисовать на схеме, и у меня появляется второй мир: мир схем, фигур, значков, которыми я оперирую в соответствии с правилами рисования и в соответствии с этой логикой.

Когда вы получаете мой текст, вы его можете понимать и интерпретировать по отношению к реальности, раз, или по отношению к тому, что нарисовано на доске или на листе бумаги, два. Эти два мира – мир реальный, мир мыследеятельности, и мир чистого мышления и его действительности – расположены как бы по разные стороны от текста коммуникации. Больше того, эти миры могут разделяться по тексту.

Возьмем такой образ. Вот, скажем, сидел немецкий профессор, читал тексты, написанные его коллегами, и сам писал эти тексты. Что он обсуждал, что он мыслил? Метафизические проблемы, критические проблемы. Где они существовали в реальной жизни того времени – с его студентами и их попойками, любовью, драками и т.д.? Это совсем другой мир – мир, в котором жили и общались немецкие профессора. И этот мир развертывался в действительности чистого мышления. <...>

А что происходит реально?

Давыдов. Это как раз сказали немецкие профессора. На этот счет есть известное положение Маркса: все, что творилось во Французской революции, с ее гильотинами, переворотами, было выражено в идеальной форме в немецкой классической философии.

Все ваши примеры, Георгий Петрович, не новы. Все известно. И давно известно в истории философии, что идеальный мир немецких профессоров, действительно не реальный мир, а мир идеальный. Но, к счастью, существует теория, которая соотносит построения этого идеального мира и оперирование этим идеальным миром с реальным миром. Мир мысли – это не мир реальности, но в мире настоящей мысли выражаются внутренние потенции реальности. Не бюргеры могут управлять движением вещей, а те правители, которые уже учитывают построения немецких философов. Поэтому, все, что вы говорите, известно, но с другими поворотами. Мыследеятельность отличается от чистого мышления. Эти все различия хорошо известны. Вы сказали: важно различать чистое мышление, мыследеятельность, рефлексия и коммуникация. Все эти различия уже есть. Никто не отождествляет чистого мышления с коммуникацией, никто не считает, что мыследеятельность и чистое мышление совпадают, и есть основания для различения. Только для меня, к счастью, под ваш лозунг не подпадает рефлексия. Почему? Диалектическое чистое мышление возможно только через механизмы рефлексии. Поэтому рефлексия не зашнуровывает что-то с чем-то, а чистое теоретическое мышление существует в своей реальности именно благодаря рефлексии.

Нет.

Давыдов. А там, где нет рефлексии – прагматически и эмпирически рассудочное мышление. Кстати, вы в основном апеллируете к фактам этой рассудочной эмпирической мыслительной деятельности. Вы даже

не ставите вопрос о всеобщности чистого мышления. Вы все время опираетесь на житейские представления, которые для меня есть мыследеятельность, действительно отличающаяся от чистого мышления, потому что чистое мышление – это теоретическая область. Там тоже есть своеобразная теоретическая деятельность, но от ваших примеров мыследеятельности она отличается, и кардинально, потому что это – мир рефлексии, мир, построенный на обсуждении предпосылок и начал собственного движения.

Я дальше не буду вам возражать. Все, что вы говорите, все это уже гениально проработано. Это не столько потрясение основ, сколько перевод на житейский язык давно известного – разработанных в истории положений. Все это уже давно известно, но, к счастью, известно в уже продуманной форме, явной форме, раскрытой форме. Вот здесь уже возникают противоречия между разными теоретическими представлениями: как понимать мыследеятельность, как понимать чистое мышление, как понимать коммуникацию, как понимать рефлексию.

Тогда зачем вы пропагандируете эти различия? Они уже у нас есть. Тогда, пожалуйста, в какой-то определенной теории описывайте, что такое мышление, мыследеятельность, рефлексия, коммуникация, противопоставляйте свою теорию другим. А вы двигаетесь в мире дурных абстракций.

Да нет таких теорий, и противопоставляться нечему.

Давыдов. Это не серьезно.

Мне очень приятно слышать, от вас, что все это давно известно и банально.

Давыдов. Это не банально, это какая-то теория, но вы существо этой теории не раскрываете.

Не теория! Что я говорю? Первое. Я не теоретическую работу проделываю, я до предметов, предметизации вообще еще не дошел, я проделываю онтологическую работу.

Давыдов. Я слова «онтология» в принципе не понимаю.

Тогда – метафизическую работу.

Давыдов. Эти слова для меня бессмысленны. Всюду теперь молодые говорят слово «онтология» – наверное, за вами, Георгий Петрович, – хотя они сами понятия об этом не имеют. Слышали звон, но не знают, где он. Я не знаю, что такое онтология.

Я рисую строение объекта, я не теорию строю.

Давыдов. Возможность построения схемы объекта наступает только внутри конкретной теории.

Нет. Мне безразлично, как вы будете это трактовать – как банальность или как потрясение основ. Онтологическая работа представляет собой не теоретическую работу, не научно-теоретическую работу – это особый тип работы.

Давыдов. Я понимаю, что такое онтология при соответствующих метафизических упражнениях.

Я занимаюсь этими метафизическими упражнениями точно так же, как вы занимаетесь в своей лаборатории или в классе. Прodelывать онтологическую работу – значит рисовать схему идеального объекта.

Давыдов. Непонятно, что такое идеальный объект. За этим нет никакой теории.

Может быть, все мои положения и банальны, но вот схемы такой не было.

Давыдов. А зачем мне такая схема?

У меня, в частности, до 1980 г. такой схемы не было. Поэтому я лично очень мучился.

Давыдов. А что нового в этих ваших схемах, в ваших закорючках?

В этой схеме разделены и представлены во взаимной связи друг с другом, т.е. структурно, и даже механизмически, мыследеятельность (низ), чистое мышление (верх), коммуникация как связывающая их и рефлексия как зашнуровывающая их. Еще раз. На этой схеме, изображающей строение объекта, они разделены и представлены в связях друг с другом, то бишь структурно. А дальше я эту структуру могу проинтерпретировать как механизмы мыследеятельности – относительно автономного и самого по себе существующего образования, которое может развиваться и существовать безотносительно к чистому мышлению.

Давыдов. В рассудочной схеме всегда можно все изобразить, она всегда оригинальна. То, что вы говорите, это до Гегеля еще не дошло, это все есть у Канта. Я в следующий раз принесу тексты Канта и все раскрою на текстах Канта.

Хуже того. Даже у Платона это уже есть.

Давыдов. Я плохо знаю Платона.

А я знаю Платона. У Платона это есть, у Гегеля это есть. И дальше.

Давыдов. Но Гегель на этом не останавливался. Для него это было элементарное различие.

Конечно. Он не останавливался, он дальше шел.

Давыдов. Для него это было элементарное различие. Для Канта это, действительно, было важно в различении, а для Гегеля это было элементарным различием. Он учитывал и шел дальше.

Конечно, это было у Платона, у Канта, Гегель это фиксировал мимоходом, шел дальше и прочее. Они все были философы и занимались этим в мире философии и на уровне знания, не объективированного и не определенно знания, ибо наукой они не занимались.

Давыдов. Гегель написал «Науку логики».

Про науку логики он написал, но наукой мышления или мыследеятельности он не занимался.

Я делаю следующий шаг и работаю здесь уже не на уровне знаний и понятий. Меня это не интересует. Хотя я понимаю, что хожу много ниже Платона, Канта, Гегеля. Понимаю – и очень хорошо. У меня другие цели, ценности, задачи. Мне надо теперь то, про что они разговаривали на уровне знаний и понятий, превратить в предмет научного исследования.

Давыдов. Этого никто никогда не делал. Американцы не могли делать. У них никогда гегелевских различений не было. Они до этого только сейчас доходят. А мы должны, встав на ваш уровень, сделать это предметом конкретных исследований?

Но об этом же не скажешь просто так. Для этого надо, чтобы была стрессовая ситуация. На уровне чистого мышления этого не сделаешь.

Давыдов. Это серьезный вопрос. Вся философия, которая занимается подобными и более серьезными различениями, абсолютно бездейственна сейчас.

Я неоднократно писал и сейчас повторяю, что реальность философии – в педагогике, потому что через педагогику воспроизводится мышление людей. Педагогика в последнее столетие в принципе отрезана от философии. Но это же не говорит о ничтожестве педагогики. Она все-таки действенна – плохо или хорошо, но действенна. А философия бездейственна. Это мир демагогов и священников.

– И доцентов

Давыдов. И доцентов, преподающих в «пищевых» и «рыбных» институтах. Ведь существует громадная социальная практика, когда философию преподают кораблестроителям, педагогам, рыбакам и прочим. Зачем им это все нужно? Не нужно. И, более того, даже для нашей политики она не нужна. <...> Это значит, что эта философия не получила технологического выражения. С этим я согласен.

Но для того чтобы понять смысл и значение курсов философии надо поехать в Америку и покрутиться там. Тогда становится понятным, в чем

смысл категориальной работы, потому что когда наши эмигранты начинают обсуждать с американцами проблемы мыслительные, то они оказываются, как правило, намного сильнее, ибо несут эту немецкую академическую школу чистого мышления, и у них, в отличие от американцев, кроме мыследеятельности, есть еще и чистое мышление, не связанное с реальностью мыследеятельности. Но оно у них есть как добавка, как особая функция. Оказывается, что эта особая функция несет в себе огромный потенциал.

Я не хочу указывать на преимущества того или другого. Я только говорю: очень важны и мыследеятельность, и мышление, и связывающая их реальность, их рефлексия и понимание. Они все очень важны, и нам важно исследовать их как разные функции в их реальных взаимосвязях. Исследовать, а не просто говорить про это на философском языке. Мы должны иметь средства и язык, мы должны предметы построить. Сколько и как – я пока не обсуждаю. Но оказывается, что условием такой предметной работы и построения предметов является онтологическая работа, т.е., чтобы правильно предметизовать, надо сначала в общем виде представить себе устройство этого объекта. И *правильно* представить себе это устройство. Пока мы, совершив очень большой прорыв в 50-е – 60-е годы – в прошлый раз об этом шла речь, – рассматривали чистое мышление как опосредующее звено между текстами и реальностью оперирования, у нас не получалось правильной предметизации, несмотря на то, что у нас были соответствующие онтологические схемы, мощные, хорошие схемы, опережавшие время. И, в частности, мы не могли выйти на теорию коммуникации.

Мы пришли к этому случайно. Когда это было найдено, то оказалось, что начинают решаться многие-многие из тех проблем, перед которыми мы раньше стояли в растерянности. Эта схема не тривиальна, хотя вы правильно говорите, что в философии уже многие из этих различий были сделаны, а именно: что чистое мышление с его действительностью и мыследеятельность находятся как бы по разные стороны от коммуникации и они либо разнесены друг с другом, либо не соотношены. И вот от того, соотношены они или нет и с каким именно чистым мышлением соотношена та или иная мыследеятельность, зависит очень многое в реальном поведении детей и взрослых, наших испытуемых и нас самих. Очень важно, когда есть чисто графическое разнесение этого в два плана.

Почему? Оказывается, что то, что у меня нарисовано на доске и что есть пространство чистого мышления, пространство идеальных объектов, то, что здесь рисуется в некоторых схематизмах и движется, обладает своими законами жизни, а именно: включенность человека в чистое мышление, наличие у него этой действительности, оказывается, начинает управлять его поведением в реальных ситуациях взаимодействий, вопреки законам ситуации.

Давыдов. Вы сейчас в плане теории сформулировали положение, нам весьма понятное – нам как педагогическим психологам. Все дело вот в чем. У нас сейчас говорят об отрыве школы от жизни. Этот тезис полностью соответствует вашему положению: освоение всяких знаний внутри чистого мышления не выражает их связи с их мыследеятельностью. Поэтому в реальных ситуациях эти знания в принципе не применимы, и сейчас наша школа бьется вокруг этого вопроса: что знания, которые школьники получают в своих заведениях, не применимы к жизни в широком смысле. А в вашем смысле, видимо, – к реальной мыследеятельности.

Или в реальной мыследеятельности, в ситуации.

Давыдов. Это уже громадная социальная трагедия. Кстати, понятно откуда идущая. Так называемые знания, которые даются школьникам, это сколок со старых абстрактных философий, которые понимали знания как компендиум сведений – не знаю о чем.

Там сложная вещь. Когда человек учился в гимназии и дальше шел в университет и занимался исследовательской работой, то оказывалось, что его оторванное от жизни мышление, давало ему кусок хлеба и профессию, и он работал. Но для этого создавались особые изолированные экзотические ситуации для интеллигенции и для особых условий жизни.

Когда приезжает миссионер в Латинскую Америку, он вырывает людей, аборигенов, из их реальной ситуации жизни и начинает учить их религиозным догматам – вынимает их из реальной жизни и вставляет в другую жизнь. И это тоже оправданно.

Так вот оказывается, что можно замкнуть мир текстами коммуникации и чистым мышлением, выйти туда, жить там, где «поддоном жизни» является чистая коммуникация, а действительность чистого мышления образует как бы верх, и вот на отношении того и другого все осуществлять. Вы все знаете хохмы про наших профессоров, например про известного нашего математика, лауреата Ленинской премии. Идет в валенках летом, одна нога на тротуаре, другая – на мостовой. Его встречает его аспирант и спрашивает: «Что вы тут делаете?». Он говорит: «Иду, думаю». – «О чем вы думаете?». – «О теореме Гёделя думаю». – «А почему вы так странно идете?». – «А что странного, простите? Какая разница как ходить!». Вот он так и ходит. Он живет в нашей «верхней» действительности. И математика и есть его жизнь.

Когда мы имеем дело с людьми, для которых знание есть не действительность их существования и способ жизни, а средство работы в практических ситуациях, вот тогда начинаются разрывы, потому что отнюдь не для всех ситуаций эти средства чистого теоретического мышления подходят. И, наоборот, оказывается, что для ситуации нужны другие средства, которых мы не даем, о чем я и хотел говорить.

Но давайте вернемся к нашей собственной истории. Мне задали невероятно принципиальный вопрос в конце прошлого заседания: так почему же, несмотря на то, что мы делали доклады про коммуникацию, обсуждали ее, фиксировали коммуникативные функции знаков, почему же коммуникация не стала предметом изучения? Он очень сложен и очень принципиален, хотя я утверждаю, что, фактически, эта схема и есть ответ на вопрос. Действительность чистого мышления живет по своим законам, безотносительно к тому, что там происходит в реальных ситуациях мыследеятельности и коммуникации. И если в действительности чистого мышления нет соответствующих схем и соответствующего видения, то сам факт рассогласования между тем, что есть реально в мыследеятельности, и тем, что у вас есть в схеме мышления, не имеет никакого значения. Человек раздваивается. Начинает существовать в чистом мышлении по одним законам, а в мыследеятельности – по другим.

Давыдов. Почему раздваивается? Учетверяется.

У меня раздваивается.

Говорить – говорили, писать – писали, но у нас не было соответствующих схем для идеальных объектов. И вот теперь я действительно счастлив, что могу заняться самокритикой и сказать, что рассматривать все в одном движении не верно, а надо разделять и рассматривать в разных движениях и по разным законам. А что же организует целое? Здесь мы вынуждены зафиксировать две функции: с одной стороны, функцию рефлексии, с другой – функцию понимания. И еще исследовать специально связи между ними.

Так что же практически из этого следует? Следуют совершенно другие направления и линии предметизации, т.е. другие линии организации исследований. Нам же теперь надо каждый раз выяснять, как взаимодействуют между собой чистое мышление, которое мы задаем через учебное содержание, с реальной мыследеятельностью. Для этого мы должны чистое мышление с его схематизмами описать как таковое, мы должны мыследеятельность описать как таковую, мы должны коммуникацию описать как таковую, предметно, рефлексию должны описать и понимание должны описать.

И оказывается, что любой экспериментально фиксируемый факт требует такого четверичного, пятеричного опредмечивания – проецирования в четыре-пять разных предметов и особой комплексной их сорганизации. Для этого опять нужны онтологические схемы.

У нас осталось очень мало времени, и мне хочется проговорить одну вещь – она практически очень значима в плане работ.

Я хочу вернуться к тому, что я бегло назвал в конце прошлого выступления.

Очень важно, что все схемы, с которым мы работаем, имеют разные функции и разный смысл в мышлении и мыследеятельности.

Может происходить то, о чем вы говорили, Василий Васильевич, – выход из действительности чистого мышления в технологию и, соответственно, предметизацию в мыследеятельности. Но не обязательно, говорю я, в технологию, а очень часто осуществляется выход в организацию коллективной мыследеятельности, а мы ведь реально сейчас имеем дело с такой коллективной мыследеятельностью.

Здесь невероятно важно, что когда мы со схемой работаем в действительности мышления, нам обязательно нужна логика и правила работы со всеми этими графемами, со схемочками, фигурками и т.д. И это один план использования схем в чистом мышлении.

А вот если такие схемы есть у организатора – а педагог всегда выступает как организатор, особенно если он коллективную деятельность организует, – то ему нужны не любые предметные схемы, а то, что мы называем оргдеятельностными схемами, т.е. появляется необходимость в схемах особого типа – организационных.

Он берет эту схему и «надевает» ее на реальных людей, и тогда эта схема организует не движения с фигурками, а реальное действие. Тогда схема из чистого мышления начинает реализоваться, т.е. погружается на реальный материал. Но за счет чего? За счет того, что она выступает как чисто функциональная, а материалом для нее служат реальные люди, с их способностями, нормами и т.д. Когда мы игру рассматриваем или обучение, там каждый раз происходит склейка функционально проинтерпретированной схемы из чистого мышления с реальным материалом, культурно оформленным, регламентированным, зажатым в систему взаимодействий.

Происходит склейка этого чистого мышления с деятельностью через оргформу. Оказывается, что такая организационная деятельность имеет место не только у организатора, а фактически у всех людей. И она в этом смысле оказывается всеобщей, в вашем смысле этого слова, и должна рассматриваться как совершенно всеобщая функция в человеческой мыследеятельности.

Это очень важно, что принципиально меняется смысл схем. Одно дело, когда схема движется по своим искусственным логическим законам (и мы оперируем этими фигурками), а другое дело, когда мы на жизнь, на реальные отправления накладываем мыслительно-организующую схему. Это совсем другое употребление. <...>

Средства и методы конструктивно-нормативного представления и описания мыследеятельности *

1.

Четыре предварительных замечания. Я буду использовать термин и понятие «конструктивно-нормативное представление» применительно к деятельности, мышлению и мыследеятельности (это три разных образования). Это понятие, «конструктивно-нормативное представление», с одной стороны, является для меня родовым, и я буду различать несколько понятий, относящихся к нему как виды, а с другой стороны, оно фиксирует специфические образования, противопоставленные другим.

Кроме того, есть такие понятия, как «нормы» и «нормативы», или, более широко, «нормативная сфера мыследеятельности». Эти нормы и нормативы, или нормативная сфера мыследеятельности, не то же самое, что нормативное (конструктивно-нормативное) представление.

Еще одно понятие – это *собственно* «конструктивно-нормативные представления деятельности, мышления и мыследеятельности». Таким образом, это родовое понятие повторяется еще раз на следующем уровне. С точки зрения формально-логических представлений это может показаться ошибочным, а в диалектической логике – скажем, у Гегеля (и это было прекрасно описано в работах Э.В.Ильенкова) – такой спуск является обязательным, если мы используем методы восхождения от абстрактного к конкретному.

Кроме того, я ввожу понятие «конструктивно-нормативное описание деятельности, мышления и мыследеятельности». Затем – понятие «нормативная модель». И наконец, еще одно понятие – «нормативно-деятельностное описание деятельности, мышления или мыследеятельности».

Вот набор близких по языковой форме терминов и понятий, которые необходимо различать. Поэтому, по сути дела, этот доклад (я еще раз напоминаю его название: «Средства и методы конструктивно-нормативного представления и описания мыследеятельности», т.е. он охватывает второй и третий блоки в этом ряду) должен войти в обиход докладов, посвященных обсуждению трех тем. Первая тема – конструктивно-нормативные представления и описания для *коллективной* мыследеятельности (должна быть такая конкретизация, которая существенно меняет средства и методы). Следующая тема – это анализ нормативной сферы деятельности, т.е. образцов, эталонов, нормативов и норм. И, наконец, особая тема – это анализ нормативно-деятельностных описаний и средств и методов нормативно-деятельностного описания.

* Доклад на семинаре отдела психологии управления НИИ общей и педагогической психологии АПН (16 февраля, 2, 16 и 30 марта 1982 г.). Арх. № 0656.

Второе замечание. Мне представляется, что обсуждение этого круга вопросов является первой и обязательной темой всякой деятельностно ориентированной психологии, или деятельностно ориентированных психологических исследований.

Без того или иного нормативного представления изучаемых нами процессов и структур деятельности и мышления деятельностно ориентированного психологического исследования быть не может. Поэтому обсуждение методов и методик нормативного и нормативно-деятельностного или нормативно-психологического описания имеет, на мой взгляд, первостепенное значение для деятельностно ориентированных психологических исследований. Я бы даже сказал, что если в той или иной форме такого нормативного представления нет, то и никакого подлинного деятельностного описания психологических явлений тоже быть не может.

Третье замечание. Мой доклад должен поделиться на две большие части. В первой части речь пойдет о понятиях, образующих теоретико-методологическую часть работ, а во второй средства и методы нормативного описания будут уже демонстрироваться на материале.

При этом, в первой части я постараюсь изложить историю подходов ко всей этой проблематике, со всеми теми коллизиями, которые наметились за тридцать лет. Затем я размечу функциональные и морфологические определения этих понятий, покажу сложную динамику отношений между ними. (Это вроде бы очень важно для понимания существа дела.) А дальше перейду ко второй части, где буду обсуждать саму технику нормативного представления деятельности и мышления.

И последнее замечание. Я столкнулся с очень большой трудностью при распределении времени. Тематика, которая должна быть разобрана, очень сложная и многоплановая. Но поскольку я утверждаю, что это действительно узловые вопросы, то я хочу двигаться медленнее, чтобы это было не просто набрасывание каких-то идей, а именно техническая проработка. Поэтому я очень боюсь не уложиться.

Давыдов В.В. Простите, Георгии Петрович, наш семинар создан прежде всего для определения и освоения общего языка для всех сотрудников отдела психологии управления. Как я говорил в прошлый раз, этот язык должен быть основан на деятельностных представлениях. С этой точки зрения спешить нам, в принципе, некуда. Сколько нужно, столько и говорите. Если не успеете, продолжим в следующий раз. Поскольку (и в прошлый раз об этом шла речь, и вы сегодня подчеркнули) без определения соответствующих нормативов и норм деятельностный подход просто невозможен. Вместе с тем, хотя про деятельность много говорят, о том, что такое конструктивно-нормативные представления в теории деятельности, известно очень мало. И поэтому, мне кажется, вы должны не спешить и очень тщательно доводить до нас все тонкости дела, потому что нам дальше нужно будет на этой основе работать. Пожалуйста, не спешите.

Спасибо, Василий Васильевич. Итак, первый тезис. Когда мы употребляем перечисленные выше понятия и другие, аналогичные им, то мы прежде всего фиксируем способ употребления каких-то знаково-знаниевых конструкций в мышлении и деятельности. Норма – это то, что употребляется в качестве нормы. Точно так же то или иное описание является конструктивно-нормативным (а не каким-то другим, ну, скажем, не нормативно-деятельностным) по способу своего употребления или по способу функционирования в мышлении и деятельности. Поэтому, если бы мы попробовали искать какие-то материальные, морфологические признаки норм – скажем, отличающих их (нормы) от конструктивно-нормативных описаний, – то мы бы их не нашли. Более того, одна и та же конструкция в деятельности может быть использована как норма и как конструктивно-нормативное описание. Это зависит от того, к кому эта знаково-знаниевая конструкция попадает, кем и для чего употребляется.

Поэтому я не могу положить эти образования – нормы, конструктивно-нормативные представления, конструктивно-нормативные описания – как вещи и сказать: вот есть вещь А, вещь В, вещь С, и они отличаются друг от друга таким-то и таким-то набором признаков. Сделать этого нельзя, ибо все эти образования суть искусственные объекты и отличаются друг от друга своей функцией и назначением. Поэтому, чтобы их различать, приходится работать в совершенно особой манере, а именно: задавать некое объемлющее представление, своего рода конструктивную или описательную рамку, представляющую те или иные структуры деятельности, а затем в эту рамку (в эту объемлющую структуру) вписывать на определенном функциональном месте какую-то знаково-знаниевую конструкцию и определять ее функции, назначение или способы функционирования внутри деятельности.

Никакого другого пути теоретического или квазитеоретического описания подобных искусственных объектов, функционирующих в деятельности, по-видимому, нет. И более того, если наша деятельность является сложной, скажем, многопозиционной, включает несколько слоев деятельности, то оказывается, что одна и та же знаково-знаниевая конструкция начинает в них двигаться, и соответственно этому изменяются функции и смысл этой знаково-знаниевой конструкции.

Она, например, может начать работать как конструктивно-нормативное представление у позиционера 1, затем будет передана им какому-то другому позиционеру 2, выступив как нормативное описание; потом эта же конструкция, очень часто не меняя ничего в своей морфологии, попадает к позиционеру 3, который начинает работать с ней как с моделью, потом она же попадает к позиционеру 4, который использует ее уже в совсем ином контексте – в контексте нормативно-деятельностного анализа, и там она приобретает другое назначение, другие функции.

Поэтому, имея дело со сложной человеческой деятельностью, мы должны постоянно следить за этой сменой функциональных мест наших

конструкций, и только описание этой смены мест в конструкциях и дает нам, собственно, возможность образовывать все названные здесь понятия и осмысленно ими пользоваться.

Таким образом, это – метод рамок, или метод задания объемлющих мыследеятельностных структур.

Этот метод я и считаю принципиальным для деятельностного подхода. Я бы мог здесь ввести некоторые такие, не определения, нет, а какие-то рабочие характеристики каких-то аспектов деятельностного подхода в этом контексте. Я бы сказал так: искусственные объекты (а с моей точки зрения, и психика является искусственным объектом; вроде бы, как я это понимаю, к этому и вела нас школа Л.С.Выготского) – это те, которые не могут быть поняты без их мыследеятельного окружения, это объекты с соответствующим назначением, с соответствующими функциями в мыследеятельности.

Поэтому, обратно: вроде бы деятельностный подход (это одна из его частных характеристик) определяется тем, что он каждый раз не начинает с непосредственного объекта, интересующего нас, того, которым мы манипулируем, а проблематизирует само представление об объекте и вводит как бы двойное представление объекта, теперь уже объекта рассмотрения. Вроде бы оказывается, что есть, с одной стороны, некоторая вещь (в предельно широком смысле), которая нас интересует, например норма, представленная как вещь, а с другой – те структуры деятельности и мышления, в которых это образование живет, движется, функционирует. Таким образом, у нас получается двойной объект: с одной стороны, широкий, объемлющий – структуры мыследеятельности (здесь ведущей является именно категория структуры), а с другой – вот эта знаково-знаниевая конструкция, или организованность, которая имеет определенные траектории жизни. И когда мы рассматриваем эту конструкцию, то главнейшим для ее определения становятся эти траектории, потому что, не очертив этих траекторий движения от одного позиционера в сложной деятельности к другому, к третьему, к четвертому и т.д., мы не можем понять, с чем мы имеем дело.

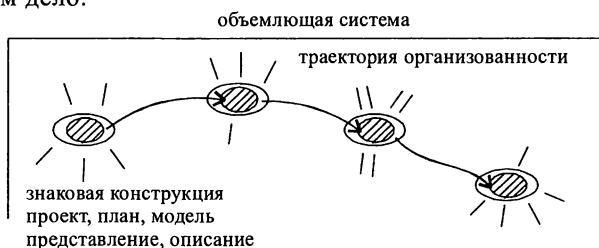


Рис. 1

Я полагаю, что это проявляется во всех сферах нашей психологической практики. В частности – если мы рассматриваем чисто учебные ситуации и обсуждаем вопрос о задаче (ее появлении, способах ее решения и

т.д.). Учитель берет из учебника или сам формулирует некий текст – вроде бы это не задача, а задание, но, с другой стороны, зная искомое решение и способ решения, он может говорить, что он передал задачу. Но он будет очень наивным, если будет при этом твердо уверен, что ученик задачу взял. Вовсе нет. Весь вопрос в том, как принял и в какую структуру ученик включил этот текст. Как показывает опыт многих экспериментальных исследований, для ученика это может оказаться просто сюжетным описанием какой-то ситуации, а отнюдь не задачей, может оказаться для него проблемой, поскольку он не знает способа решения, не может произвести никакого подведения под более широкие классы, может оказаться и задачей и т.д.

Но чтобы понять, с чем мы имеем дело в таких случаях, мы должны рассматривать эти мыследеятельные структуры и соответствующие функциональные места всех этих конструкций, способы их включения в деятельность. Отсюда двойной метод фиксации, описания подобных образований: сначала структурно функциональный (т.е. по их месту в объемлющих структурах мыследеятельности), а потом, соответственно, морфологический (т.е. анализ особенностей самой этой конструкции, ее организации, или организованности).

Итак, сначала структурно-функциональный, а потом морфологический. Все понятия, относящиеся к объектам такого рода, так, собственно, и строятся: сначала по функции, а потом по морфологии. И что еще очень важно: при этом между функциональной определенностью и морфологической определенностью могут существовать как соответствие, так и несоответствие. Например, может образоваться какое-то конструктивно-нормативное представление, и оно по своей морфологии и организации точно соответствует этому назначению и этой функции. Потом оно передается другому, попадает в другое функциональное место, например начинает использоваться как норма или норматив, но морфология его при смене функций не изменилась – вроде бы должна была измениться, но этого не произошло. Возникает определенная дисфункция.

Она обычно восполняется за счет других интеллектуальных субъективных функций, за счет более широкого понимания без явной фиксации в морфологии, т.е. человек при этом привносит еще какие-то субъективные моменты и за счет этой своей субъективности восполняет недостаток морфологии: иногда образует склейки с чем-то другим, иногда задает определенные интенциональные, интерпретационные отношения, которые нам очень трудно фиксировать, ибо мы имеем дело с разнородным внутри себя, гетерогенным объектом. И что-то мы видим и воспринимаем непосредственно, в экстерииоризованном виде, а что-то остается в сознании человека, привносится им непрерывно и требует, соответственно, совершенно другого метода выявления и фиксации.

Очень часто объективно это вообще не может быть фиксировано; требуются заимствование чужой позиции и какого-то рода процедуры ин-

троспекции, такие же или близкие тем, которые сейчас рассматриваются, скажем, в понимающей психологии, понимающей социологии и т.д.

Теперь от конструктивно-нормативных представлений мы переходим к формам нормативно-деятельностного описания. И опять требуется соответствующее изменение морфологии, но его не происходит за счет тех склеек, сплавлений, соотнесений, дополнений, которые производит сознание, отнюдь не всегда фиксируя это явно, а чаще даже просто не фиксируя. Значит, происходит непрерывная смена функций этих образований, и она может происходить без морфологических изменений. Вроде бы вещь это остается тот же самый объект, а по своей функциональной структуре он непрерывно меняется.

В других случаях – наоборот. Например, может происходить изменение морфологии при смене функций, и соответствие каждый раз соблюдается. Для этого нужно иметь достаточно рафинированное, культурное сознание, которое фиксирует каждую смену функции и производит необходимые изменения и трансформации морфологии. Иногда вдруг морфология начинает жить своей особой жизнью без смены функций, например происходит выпадение каких-то моментов, замена другими морфологическими моментами.

Итак, резюмирую. Все объекты такого рода требуют сначала структурно-функционального описания с отражением в понятиях, а затем морфологического, и только единство этих двух моментов – структурно-функционального и морфологического – задает представление об объектах такого рода. И в этом – невероятная трудность психологического анализа, ибо здесь психология выходит на передний край и начинает обсуждать такие структуры и образовывать такие понятия, до которых, скажем, самая рафинированная теоретическая физика, химия и другие дисциплины просто еще не дошли. Поэтому нам здесь приходится прибегать к очень сложным наборам системных, или структурно-системных, и, в особенности, деятельностных понятий и представлений.

На мой взгляд, деятельностные представления невозможны без структурных и системных, поэтому я предпочитаю говорить о системно-деятельностном подходе, подчеркивая таким образом, что любые деятельностные исследования и аналитические проработки предполагают невероятно сложный, рафинированный, самый передовой аппарат структурно-системного анализа с различием функциональных структур, организованностей материала, процессов, которые мы вынуждены представлять и в виде траекторий, и в виде программ, планов, сценариев и т.п., т.е. таких форм, до которых, повторяю, ни одна естественная наука сегодня еще не дошла, и здесь психология прокладывает им пути. Они потом должны будут пойти этими путями, ибо и они уже до этого дошли. Вот здесь я сделал паузу.

Давыдов. Вас, видимо, можно понять так, что вначале нужно фик-

сировать все-таки какую-то общую конструкцию. Но при этой первой фиксации даже не анализировать ее морфологию, а в каких-то, действительно, пока абстрактных рамках определить всю систему функций, которые эта конструкция может выполнять....

Или пусть даже какую-то одну функцию для начала...

Давыдов. Затем описание этих конструкций должно проходить через рассмотрение функций, взаимопереходов этих функций друг в друга. И тогда некоторые морфологические особенности являются следствием функциональных изменений. Но здесь возникает такой момент: ведь не всякая конструкция способна к своей морфологической перестройке при изменении системы функций. Следовательно, должны быть какие-то общие особенности конструкций, включенных в ваши рамки, которые позволяют им получать морфологию или даже вообще не производить никаких морфологических изменений при изменении функций.

Так точно, Василий Васильевич.

Давыдов. Это очень важно, конечно. И вместе с тем – это уже моя реплика – мне кажется, что то, что вы говорите, было уловлено Марксом в понятии «органическая система», в отличие от агрегатов. Это понятие и то различие, которое в свое время ввел еще Кант – органические системы. И, кстати, ведущей характеристикой органических систем является главенство функции над морфологией. Всякая морфология является следствием многоликости функций. Но у меня к вам вопрос. Помоему, органические системы бывают не только в человеческой деятельности. Вы же, мне кажется, в своих выражениях – я не знаю, как вы на самом деле здесь мыслите – свели своеобразие этого подхода, который вы так ярко описали, к деятельности. Но, повторяю, органические системы, видимо, присущи не только деятельности.

Василий Васильевич, ваше замечание о самостоятельности и известной автономности жизни морфологии, с одной стороны, здесь крайне важно, а с другой стороны, вроде бы является ключиком к ответу на ваш вопрос. Особенность мыследеятельных систем состоит в том, что там особо важную – я бы сказал, первенствующую – роль играют знаковые конструкции. А знаковые конструкции отличаются той особенностью, что они имеют форму и содержание. Я, кстати, в своих работах всегда различаю смысл и содержание. Смысл есть, фактически, производная от тех функциональных структур, которые знаки получают в процессах мыследеятельности, коммуникации и т.д. А вот содержание есть другое образование, как бы материал другого рода – оно может быть операциональным, процессуальным, объектным. За счет интенциональных связей и отношений знаки связываются и дополняют друг друга. Поэтому они, в отличие, скажем, от биологической морфологии, оказываются неимоверно пластич-

ными за счет особенностей работы сознания, и вроде бы, действительно, знаково-знаниевые конструкции отличаются от обычной биоморфологии тем, что они очень легко себя изменяют и трансформируют соответственно изменениям функций.

Таким образом, само функциональное изменение в процессах мышления и деятельности очень часто состоит как бы в захватывании другого как плоскости содержания, причем – одной плоскости содержания, другой, третьей и т.д. За счет этого знаково-знаниевые образования очень пластично следуют за изменением функций, и легко происходит изменение морфологии, морфологии содержания. Это, с одной стороны, особенность подобных систем, а с другой – та трудность, с которой все – и логики, и социологи, и, в особенности, психологи – сталкиваются при изучении этой странной материи: морфологии.

Я вспоминаю тезисы, которые мы писали с С.Г.Якобсон [*Щедровицкий, Якобсон 1970*]. Там ведь происходит удивительно интересная вещь: смысловые структуры, или сети, становятся материалом мышления, т.е. становятся как бы морфологией мышления, именно смысловые структуры, т.е. сети интенциональных отношений. Они подхватываются каким-то знаком и в нем фиксируются. Но это те тонкости существования и функционирования знаков, которые, как я знаю, и в вашей лаборатории очень тонко изучаются. Много было таких вот тонких исследований, вроде бы дающих ключ к пониманию вопроса, который вы ставите.

Итак, особенность здесь – в очень подвижном отношении между функциональными структурами и морфологией. Очень часто за счет особенностей жизни, функционирования знака сами эти функциональные структуры становятся морфологией для какого-то знака, рефлексивно высказывающегося наверх и их как бы захватывающего.

Лазарев В.С. То, что вы сейчас говорили по поводу соотношения между функцией и морфологией, неспецифично для деятельности. Ведь для технических систем, как правило, сначала проектируют функциональные структуры, а потом подбирают элементы, соответствующие определенным требованиям.

Как раз наоборот: это специфично для деятельности, поскольку техническая система есть искусственный объект:..

Лазарев. Понятно. Но, как мне кажется, для систем деятельности, помимо того, что мы сейчас зафиксировали, важно отметить, что сама функциональная структура не остается неизменной. Если в технической системе функциональная структура жестко закреплена, то в системе деятельности функциональная структура все время изменяется, колеблется. И, более того, люди, которые там находятся, до неузнаваемости изменяют формальную функциональную структуру, которая была спроектирована. Вот этот момент подвижности самой структуры ва-

жен. Поэтому, когда вы рассматриваете отношения между функцией и морфологией, имеет смысл рассматривать не просто то, что морфология изменяет функции и что изменение функции ведет к изменению морфологии, а то, как это происходит – изменение функции самой по себе.

Совершенно справедливое замечание. Я думаю, что частично его ухватил. Вот смотрите: я изображал конструкцию, которая сначала вроде бы включена в один набор функций, потом я вводил другой процесс. Я фокусировался и центрировался на этой морфологической организованности, потом я вводил траекторное представление, переходя как бы в другую функциональную структуру; появлялось другое функционирование, потом, соответственно, третье функционирование.

Но вы безусловно правы, поскольку это частный случай представления взаимодействия функциональных структур. Он ведь возникает потому, что, применяя структурно-системный анализ, я взял особый метод фокусировки. Я не случайно говорил о двойственном объекте. Если мы объявим объектом объемлющую структуру деятельности, то мы должны будем вписать в нее несколько разных функциональных структур и задать это либо в план-картах, либо в моделях (тут разные могут быть методы). А еще я могу, например, сделать, смотрите, какой хитрый трюк: центрироваться на этой конструкции, сказать, что она меня интересует, а потом разбивать по фазам, этапам, стадиям ее жизнь на этой траектории (рис. 1) (это позволяет идея траектории), и, соответственно, представлять то, о чем вы говорили, как последовательные фазы движения из одной функциональной структуры в другую, в третью (естественно, там, где это можно, а это не всюду можно).

Итак, я обращаю ваше внимание (я думал это потом обсуждать, но раз уж здесь затронут этот важный вопрос, скажу это сейчас) на *метод фокусировок* в определении объекта изучения как очень важный прием деятельно-структурно-функционального анализа. Раз объектов два, то мы можем выделять их по-разному, разными способами задавать системно-структурные объекты. С другой стороны, вы очень правильно отмечаете разрыв и белое пятно в моем сообщении, поскольку, повторяю, отнюдь не все системы деятельности могут быть вот так линейно разложены. Здесь проходит граница между моносистемным и полисистемным представлениями объекта.

Мы сейчас, в частности в проводимых нами играх, да и в другом анализе, сталкиваемся с тем, что одна и та же конструкция оказывается в одной функциональной системе для одного деятеля-позиционера и совсем в другой функциональной системе для другого деятеля-позиционера. А если их четыре или пять, то оказывается, что одна и та же конструкция выступает для разных позиционеров в качестве совсем разных образований.

Кстати, я думаю, что тот момент, на который вы постоянно обращаете внимание – момент с планами, программами, проектами, – точно так

же возникает в связи с полифункциональностью. Скажем, то, что для одного выступает как проект, для другого может быть планом или, например, программой, или сценарием, в зависимости от того, как это употребляется. Тогда оказывается, что одна и та же конструкция в этой коллективной мыследеятельности живет и существует сразу в нескольких функциональных системах, фактически на растяжке, и начинает приобретать в коллективной работе разные конструктивные «прилепы» за счет мышления и деятельности разных участков этой коллективной работы. Это очень важная и принципиальная вещь, требующая специального изучения. Я благодарю вас за это напоминание.

Если здесь не будет больше вопросов и замечаний, то я начну делать первые шаги по содержанию.

Я сейчас введу две мыследеятельные схемы, которые, с моей точки зрения, задают обязательную рамку наших исследований. Когда я говорю «обязательную» и «наших», я имею в виду исследование оргуправленческой деятельности и обязательность именно для исследования оргуправленческой деятельности. Как мне кажется, оргуправленческая деятельность существует только на этих структурах.

Эти две схемы называются так: «схема переноса опыта» (рис. 2.) и «сферно-фокусная схема деятельности» (рис. 3.).

Схема переноса опыта фиксирует некую ситуацию деятельности со своими началом и концом; в ней участвует ряд позиционеров, или кооперантов, а также имеется организатор и руководитель, осуществляющий сложную социотехническую деятельность.

Для полноты я нарисую вторую рефлексивную техническую систему; это может быть методолог, может быть языковед, литературовед и т.д., там каждый раз сложные вещи, т.е. фактически это нормировщик в той или иной форме.

Штриховые линии означают пространственно-временной раздел.

И наверху я рисую еще одну систему деятельности (тоже отделяю ее линиями хронотопического раздела), которая обеспечивает перенос опыта из прошлых ситуаций в новую.

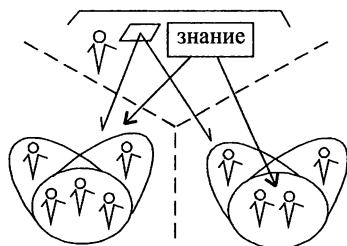


Рис. 2. Схема переноса опыта

Вот такую структуру переноса опыта я считаю необходимой и обязательной при описании всех явлений организации, руководства и управления. Я полагаю, что без учета этих моментов: будущего, которое должно быть организовано, прошлого (причем, иногда это может быть одна ситуация, иногда это может быть много таких ситуаций) и некоторой рефлексивной надстройки, или системы деятельности, обеспечивающей рефлексивную связь прошлого и будущего, – без такой структуры, на мой взгляд, просто невозможно изучать всю ту область, изучать которую мы подрядились.

Понятие переноса опыта является старым, традиционным и классическим. Но сейчас к нему редко, на мой взгляд, явно недостаточно, обращаются. Я, правда, знаю, что в 60-е годы немцы пытались возродить эту линию, но не очень у них это получилось. Почему мне это так важно? Потому что в каждом знаково-знаниевом образовании у людей всегда задано два отношения – отношение к будущему и отношению к прошлому – и, возможно, настоящее. Тут, в разрыве с традиционными обычными представлениями, я бы сказал так: будущее существует, прошлое тоже, а настоящее не всегда. Ведь для того чтобы существовало настоящее, нужна совершенно особая вещь: рефлексия. Настоящее существует только в рефлексии.

На самом деле это очень сложная структурно-системная схемочка с массой отношений. Но давайте посмотрим, за счет чего может переноситься опыт. Опыт может переноситься за счет того, что переходят сами люди, обладающие способностями, умениями, готовностью действовать и т.д. Причем, для психологического анализа фиксация этого канала крайне важна. Люди просто разрывают эти границы хронотопа и движутся вперед. А с другой стороны, опыт может передаваться опосредованным путем – за счет надстройки (рис. 2). Фиксация того, что было, появляется в том, что у нас называют знанием... И затем вот это знание перебрасывается – пока я не обсуждаю вопрос, в какую ситуацию, но в будущую. И будущая, следующая ситуация строится с учетом этого знания или на его основе. Знания эти могут быть методическими, научными, проектными, историческими, методологическими, организационно-управленческими – любыми, мне сейчас важен принцип.

Итак, есть два основных способа переноса опыта.

Один – я бы его назвал чисто субъективно-психологическим способом, – когда человек не образует знания. Он работает, совершает какое-то действие, и оно морфологизируется на нем. «На нем» – я имею в виду в психике, в сознании, в подсознании, в моторике рук, может быть, в физиологии, но важно, что прошлая ситуация деятельности не отражается в знании. Вот когда мы говорим, что человек умеет, может, готов действовать, мы имеем в виду каждый раз и прежде всего вот эти психологические морфологии.

И другая форма, связанная уже с рефлексивной работой сознания, это либо когда человек задает себе вопрос «что же было?» и таким образом фиксирует знания в их ретроспективной ориентации, либо же – и, об-

ратите внимание, на мой взгляд, чаще всего – он задает вопрос «как мне действовать в будущей ситуации, что там надо делать?» и образует знание, ориентированное, в первую очередь, на будущие ситуации. Это знание является прожективным, проектным, программным, плановым или еще каким-то.

И вот задав этот вопрос, как ему действовать в будущей ситуации, человек либо обращается в ретроспекции к прошлой ситуации и начинает извлекать из нее информацию, представления, либо же начинает осуществлять интроспекцию и извлекать все это не из объективно данной ситуации, а из своей памяти о ней – из самого себя, из своего умения действовать.

У нас на детях это очень интересно получалось. Когда мы задаем ребенку вопрос, что и как ты делал, он начинает вспоминать и имитировать кусочки: это, это, это и т.д. Начинается рефлексивная реконструкция способа действия, как бы извлечение из своего непосредственного субъективно-психологического умения и возможностей. В этом плане также очень интересны работы, которыми Василий Васильевич руководил в Душанбе, по рефлексивному осознанию процессов решения задач – с соответствующим словесным описанием и фиксацией, без этого словесного описания и т.д. Я хуже знаком с работами, которые потом проводили А.З.Зак и его группа, но, по-моему, там точно так же этот момент фиксировался.

Что мне здесь важно? Итак, есть два начала аккумуляции и передачи опыта: один канал связан с непосредственным переходом способных, умеющих, готовых действовать людей и с воспроизведением деятельности из своей морфологии; другой связан с рефлексивной фиксацией прошлого опыта в знаниях того или иного типа – прожективных или ретроспективных.

Есть еще один момент, который мне очень важен (тут я, с одной стороны, отношусь к работам Миллера, Галантера и Прибрама, считая их достаточно важными и значимыми в этом плане, с другой стороны, даю свои интерпретации и вношу свои коррективы). Я утверждаю следующее: прожективная установка в процессе образования знаниевых форм, направленная на организацию будущих действий, является ведущей; ретроспективная ориентация, в смысле фиксации объективных знаний с выходом на объект, является вторичной, производной. И, более того, я утверждаю, и в этом плане я проводил много и теоретических, и экспериментальных исследований и разработок, что все ретроспективно ориентированные знания являются порождением прожективно ориентированных. Это положение будет для меня крайне важным в объяснении конструктивно-нормативных форм в любых их функциях.

Итак, знания нам нужны для организации будущих действий – и в этом их исходная функция. И по своему смыслу, и по содержанию они вписаны в построение будущей деятельности. Поэтому обращение к ретроспективной ориентации (что ты делал? как? и пр.) является осмысленным и содержательным для детей и взрослых, только когда оно включено в контекст построения новой деятельности. Если мы пытаемся формиро-

вать и определять знания в чисто ретроспективной ориентации, следуя научным образцам, или естественнонаучным образцам, мы, как правило, терпим крах. В частности, система обучения и учебной деятельности, ориентированная не на построение будущей деятельности, а как бы на фиксацию некоего идеального содержания, уже зафиксированного в знаниях, является непрактичной и неосмысленной для детей – она требует создания специальных ситуаций. Вот что мне важно.

И третий очень важный момент: каналы непосредственной, субъективно-психологической передачи опыта и передачи опыта через знания являются взаимно дополняющими, и одни без других немислимы. Поэтому я формулирую здесь невероятно значимый для меня принцип: знания никогда не дают нам полного представления о деятельности и происходящих событиях, в этом смысле они никогда не истинны, т.е. они всегда не истинны, они лишь дополняют субъективно-психологическую, вернее – субъективно-психическую, способность, умение действовать, привязаны к единицам субъективно-психической способности и умения, как бы заполняют разрывы в этом умении и дают возможность стыковать куски и строить сложные деятельности из того, что ребенок уже умеет и может, способствуют восполнению его разорванной способности, умения, готовности. Поэтому они всегда коррелируют с соответствующими способностями и готовностями – те и другие взаимно дополняют друг друга.

Следовательно, рассматривать знания как таковые, в любой их форме, прожективной или ретроспективной, по отношению к неким объектам и прошлым ситуациям вне построения деятельности – это бессмыслица, с моей точки зрения. Отсюда для меня невероятно важен тезис психологизации любой эпистемологии, и логики в том числе. Обычно пытаются представлять знания как автономные единицы по их соответствию объекту вне отнесения их к этой деятельной, субъективной, психической готовности.

Я бы здесь сделал паузу.

Давыдов. Георгий Петрович! Уже так сложилось в психологии, что необходимо различать умения и знания. Это традиционное различие, видимо, имеет за собой существенные основания. И столь же традиционно дополнять умения знаниями, а знания умениями. И в педагогических представлениях совершенно банальным является требование формировать у учащихся умения и знания, знания и умения. Так что само различие подобного рода хорошо известно. В настоящее время большой упрек практике исходит от педагогов-теоретиков, которые утверждают, что сейчас школьное образование в значительной степени напичкивает школьников знаниями без дополнения их соответствующими умениями. Повторяю, это различие достаточно хорошо известно.

Что вы называете знаниями? И второй вопрос: в силу каких общих причин в обществе складываются такие ситуации, когда некие знания превалируют над умениями?

И еще дополнительно третий вопрос. В настоящее время в педагогике категории учения и знания вводятся без таких деятельностных представлений. Как это возможно?

Я понял, Василий Васильевич, и кое-что добавлю, косвенно отвечая на ваши вопросы. Хотя педагогика постоянно говорит о необходимости дополнять знания умениями и навыками, но на самом деле во всей традиционной педагогике знания, с одной стороны, умения – с другой, навыки – с третьей, берутся вне их взаимной связи. И сама фраза о дополнении возникает потому, что педагогика знает: навыки – сами по себе, умения – сами по себе, знания – сами по себе, а вот как они связаны, тем более, как они связаны в реальных деятельности и в мышлении и как они в структуре деятельности и мышления друг друга дополняют, этого педагогика не знает. И я бы сказал: пока она по-настоящему не включит в себя психологические, логические, эпистемологические, семиотические, теоретико-коммуникативные исследования, она никогда этого знать не будет. Суть в том, что вы отметили в самом конце: умения, знания, навыки берутся вне мыследеятельной связи, вне этого, поскольку нет этих рамок и тех общих схем, в которых это можно было бы взять. Таковы грубые причины и основания такого положения дел, которое вы отмечаете.

Но здесь есть более тонкие моменты, которые вы заметили в своем первом вопросе. Дело в том, что нет и подлинно отработанных категорий знания. В частности, в категории знания сегодня фиксируются два принципиально разных плана.

С одной стороны, в слове «знание» мы фиксируем эту субъективную готовность действовать, развертывающуюся за счет непосредственного переноса опыта. Если человек может действовать и на ваш вопрос, знает ли он, как ему действовать, он даст вам словесно выраженный ответ и расскажет, как надо действовать, вы скажете вместе со всеми, что он *знает*, как ему действовать. И мы считаем, что эта субъективная готовность действовать плюс способность это описать и есть знание. Это – знание в психологическом смысле, в субъективном.

С другой стороны, когда мы имеем знаковые формы, например, запись законов Ньютона, первого, второго, третьего, или закона Ома, или какое-то арифметическое правило, мы указываем пальцем на эту знаковую форму и говорим: вот знание, да еще общее. Где здесь знание? Что такое знание? При каком условии оно становится подлинным знанием? В педагогических работах это не исследуется. Насколько я понимаю, наиболее продвинутые представления были получены именно в Институте психологии в лабораториях по исследованию поведения младших школьников и последующих возрастов. Но и здесь из-за сложностей самого исследования это вроде бы пока что бралось вне широких контекстов деятельности, поскольку нужно более эксплицитно описать сами структуры и уметь туда структурно и морфологически все это вписывать. Это – после-

дующая, ближайшая задача исследований, будь то на педагогическом материале, будь то на оргуправлеческом.

Вот так бы я ответил на первый и последний ваши вопросы и замечания, а на средный я бы позволил себе ответить следующим кусочком.

Я перехожу к сферно-фокусной схеме. Первое, что я должен еще отметить, возвращаясь к схеме переноса опыта, – это сложное отношение между будущим, прошлым и настоящим, а именно: если я теперь произведу другую фокусировку и встану на позицию одного из рефлектирующих, то получится следующая вещь. С его точки зрения, из его позиции существует прошлое – та ситуация, которая была и к которой он относится. Причем, даже если ведется наблюдение за происходящим или экспериментальное исследование, то все равно это происходящее есть прошлое, т.е. происходящее перед исследователем всегда фиксируется как уже свершившееся. Это раз.

А с другой стороны, у него есть будущее, на которое он ориентирован и которое должно быть как-то представлено в проекте.

Настоящее же существует в другой деятельности, нежели прошлое и будущее – вот что мне важно. Прошлое, настоящее и будущее, которые мы привыкли выстраивать в ось хронологии, получают деятельное распределение.

В этой связи требуется проработка понятий времени и пространства. Вообще, в коллективной мыследеятельности, состоящей из сложной общей деятельности всего коллектива и индивидуальных деятельностей, традиционные понятия пространства и времени не работают. Они требуют кардинальной перестройки с учетом того, что и пространство, и время здесь распределяются по деятельностям, или индивидуальным деятельностям, разных участников.

Теперь я перехожу к сферно-фокусной схеме. Я пытаюсь показать, как целое мыследеятельности соорганизовано через передачу опыта и вот это различие прошлого, настоящего и будущего.

Рефлексия может быть выражена по-разному, и она по-разному оформляется в мышлении и последующей мыследеятельности. Наметив рефлексию сейчас как интеллектуальный процесс, я теперь произвожу функциональную свертку этого процесса и говорю: рефлексия отнюдь не всегда имеет свою собственную специфическую форму. Рефлексия очень часто осуществляется как рефлексивное отношение в формах мышления и, скажем, мыслительной имитации действия других.

Два примерчика. Ребенок произвел какое-то действие, решая задачу. Потом его спрашивают, как он это делал. И он начинает мыслительно имитировать то, что он делал. Вы своим вопросом «как ты это делал?» вызвали рефлексивное отношение к его прошлой деятельности. Но оно не обязательно осуществляется в специфической форме рефлексии. Он может повторить вам все действие, и тогда рефлексия будет осуществляться в актуальном осуществлении того же самого действия, но при этом оно будет ими-

тировать, оно будет непродуктивным, нецелевым. Оно принципиально изменит свою функцию, это будет имитация того, что было в деятельности.

Вы попросите его рассказать, что он делал. И он начнет вам рассказывать. Сохраняется заданное вами рефлексивное отношение новой деятельности к прежней, но выразаться оно будет в словесном описании. И это будет своя, новая речь-мысль.

Вы его можете попросить обобщить это действие. Тогда опять сохраняется рефлексивное отношение, но развертывается оно уже в форме чистого, рафинированного мышления.

Поэтому я делаю следующий ход. Я над парой ситуаций – прошлой и будущей – помещаю множество таких вот рефлексивных надстроек (рис. 3). И каждую из них начинаю определять типомыследеятельности. Типы могут быть такими: обобщение опыта, или так называемая служба обобщения передового опыта (в каких-то странных, «экспериментальных» формах), методическое оформление, проектное оформление, научное оформление, историческое оформление, методологическое оформление – много разных. Затем я рисую систему трансляции культуры (норм, образцов).

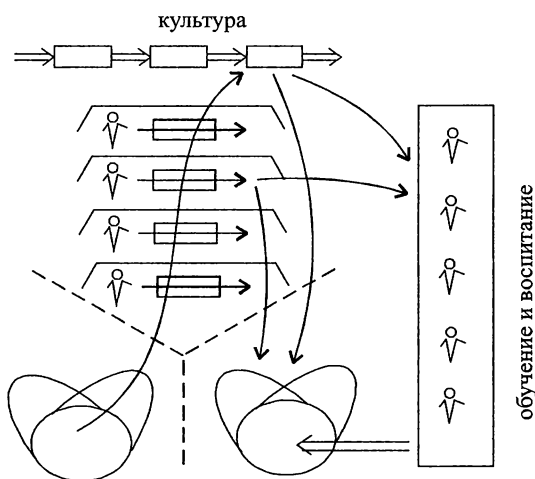


Рис. 3. Сферно-фокусная схема

Таким образом, каждая из организованностей, сложившихся в ситуациях деятельности (рис. 3, внизу), проходя через надстраивающиеся над деятельностью разнотипные рефлексивные формы и оформляясь в соответствующих структурах знаний и процессах мышления и деятельности, затем (это очень важная для меня вещь) может спускаться в будущие ситуации в виде орудий и средств, внешне данных, обеспечивающих построение этих ситуаций и систем деятельности – причем, спускаться прямо. Вот, смотрите, были ситуации какой-то практики, наука их обобщила,

оформила, в частности педагогическая наука, психология и т.д., и без закрепления в культуре и культурных формах, сразу, за счет организации работы, например экспериментальной, методической, практической работы в Институте психологии, это спускается в следующие ситуации и обеспечивает их оптимизированную или развитую организацию. Образуются такие траектории передачи опыта. Причем, если работают методист и одновременно ученый-теоретик, исследователь, то происходит как бы двойное оформление, возникают две формы рефлексивной фиксации того, что было в первой ситуации, и они сюда спускаются (в новую ситуацию) – причем, предполагается, что в будущих ситуациях люди смогут ими воспользоваться.

Другая траектория – когда эти рефлексивные единичные ситуативные формы обобщаются и фиксируются в соответствующих нормах и потом через культуру, через нормативы, спускаются вниз, в ситуацию.

И есть, наконец, еще одна невероятно значимая вещь. Я справа рисую как замыкающий канал систему обучения и воспитания, подготавливающую людей, способных действовать, умеющих действовать, которые входят в будущие ситуации. Причем, учебные средства, на которых происходит формирование людей, могут входить в систему обучения либо через эти рефлексивные надстройки (так, например, как требовал Зельдович и как требовала примерно 15 лет назад вся научная общественность: посредством учета данных новой науки в учебных предметах современной школы, переработки новейших данных науки в учебные средства), минуя культурные средства, либо через культурные формы.

И что мне еще очень важно в этой сферно-фокусной схеме – что система образования замыкает будущее, она ограничивает это будущее.

Теперь я буду обсуждать эту схему. Что мне невероятно важно на заданных тут траекториях движения опосредованных форм фиксации нашего опыта или знаний?

Есть человеко-ориентированные знания. В какой-то мере, Василий Васильевич, я здесь отвечаю на ваш вопрос и фиксирую, по-моему, вещи, которые не так уж новы, но их не всегда фиксируют как невероятно значимые.

Есть знания, будь то методические предписания, проекты, научные знания, которые, пройдя через соответствующие рефлектирующие службы – службы проектирования, науки или еще какие-то, – сразу попадают в ситуации построения деятельности. Считается, что человек может включить их в качестве орудий или средств – внешне данных орудий и средств построения деятельности. Таким *орудийно* оформленным знанием является, например, инструкция, прилагаемая к любому техническому устройству; работник читает ее, воспринимает и по ней начинает строить деятельность.

А есть принципиально другой тип знаний – тот тип знаний, который переходит в учебные средства. Эти знания ориентированы не на то, чтобы человек построил деятельность и выбросил их как использованные ору-

дия, а для того, чтобы он их усвоил и в процессе этого усвоения формировал свои способности, умения, навыки, готовность.

Я не знаю, удастся ли мне донести до вас эту принципиальную разницу двух типов знаний: (1) знаний, которые используются нами как внешне данные орудия и средства в процессе построения деятельности – они не должны переходить ни в наши способности, ни в наши умения, ни в наши навыки, и (2) знаний совершенно другого типа – знаний, которые лишь опосредованно существуют как знания и ориентированы на то, чтобы они потом были превращены в способности и умения и застыли бы в человеке как его способность, умение, готовность действовать.

При этом и те, и другие могут быть культурно оформлены, если они прошли через систему трансляции культуры, зафиксированы в нормах, образцах, эталонах, а могут быть не оформлены культурно и передаваться сразу из этих рефлектирующих систем, например в систему обучения и воспитания.

Дальше я бы сделал из этого несколько очень важных для меня проходов. Я не знаю, как вы, Василий Васильевич, к этому отнесетесь. Мне кажется, что если учение идет в ситуациях, где не оформлены учебные средства, то это просто учение – еще нет учебной деятельности как таковой. А учебная деятельность действительно разворачивается, когда есть специальные человеко-ориентированные знания, т.е. знания, не используемые как средства, а превращающиеся в способности людей. Вот это очень важно и принципиально для всей нашей области исследования.

Давыдов. Я бы только дополнил: те знания, которые приобрели культурную форму.

Не обязательно, Василий Васильевич. Я бы привел такой пример...

Давыдов. Учебная деятельность существует только в культурных формах, в формах культуры. Простое учение либо не доходит до культурной формы, либо использует превращенные формы культуры. Но это уже детали, все дальше ясно.

Тут ведь вот еще что очень интересно. Я это сейчас поясню на примере. Когда я делаю какой-то доклад, выступаю с лекцией, моя задача всегда состоит в том, чтобы что-то сделать с головой слушателя, т.е. дать такие знания, которые бы перестроили их способности, умения, навыки. Может быть, это старая заскорузлая учительская привычка – в двадцать лет я попал в школу и должен был вкалывать как учитель, а следовательно, что-то делать со своими учениками: развивать, учить... Поэтому все и любые знания меня всегда интересовали как человеко-направленные, т.е. я что-то делал с человеком. В этом смысле я работал по Выготскому, т.е. давал такие знаки, такие схемы, такие средства, которые позволяли моим ученикам овладеть своими натуральными психическими процессами и перевести их, соответственно, в рафинированные формы. И вроде бы так

работает всякий учитель, он дает то, что вы сказали – культурные формы, которые обеспечивают развитие способностей учеников: увеличение класса задач, которые они могут решать, новые способы деятельности.

И так я считал – что это всегда основной результат – до того, как я приехал в новосибирский Академгородок. Там собрались меня послушать разные ученые, от академиков до младших научных сотрудников, и один из учеников Ершова, такой нахальный, нахрапистый парень – он три часа слушал, а потом вышел и говорит: «Вы мне скажите, где тут сухой остаток всего того, что вы говорили?». Я ему говорю: «Какой сухой остаток?». Он говорит: «Ну что надо из всего этого взять, чтобы “гвозди забивать”?». Так я впервые столкнулся с тем, что от ученых требуют орудийной формы знания. (Еще один раз это было в дискуссии с Уманским по проблемам воспитания; Уманский тоже говорил: я, мол, человек практики, и вы мне дайте «молоток», которым я мог бы забивать «гвозди воспитания», т.е. от ученых он требовал такой вот орудийной формы знания).

Давыдов. И сейчас требуются от всех нас орудийные формы знания.

Причем, обратите внимание, это справедливо. Ведь если он работает, то ему нужны именно такие формы. Кстати, не всякий человек, уже вышедший из ученического возраста, разрешит что-то делать с его представлениями, мировоззрением, методами. В этом смысле он уже не хочет учиться, он уже доволен собой, ему нужно лишь получать извне орудия и средства. Кстати, отсюда такое широкое распространение имеют методики Гезелла, например. С людьми, которые их берут, ничего не происходит, они их берут и по ним работают.

Значит, очень часто от научных знаний требуется не то, чтобы они меняли мировоззрение человека, его видение, развивали бы его, а чтобы они были системой орудий. Из этого я делаю такой вывод. Я говорю: давайте зафиксируем вот этот невероятно важный момент. Есть тип и класс знаний, производимых нами в этой системе, – тот, который порождает в результате хоть и знаково оформленные образования, но именно орудия внешнего действия, т.е. такие знания, которыми используются в качестве орудий. Вот, например, планы, которых требуют в учреждениях, это, наверное, такие орудийные формы.

Лазарев. Если руководителю разработать план социально-экономического развития, то он его примет с распростертыми объятиями. Но как его делать, он не знает. Если же вы будете этого руководителя учить, как его делать, он вас пошлет далеко. То есть это – две формы вашего знания. Первая форма – это инструкция, как им делать в практических действиях, а вторая – тоже инструкция, но другого, более высокого класса – как решать задачи по разработке таких инструкций.

Значит, они совершенно по-разному ориентированы. Этот момент мне крайне важен. Я-то сам дошел до этого совсем недавно. Казалось бы, это

лежит и должно лежать на поверхности, но для меня это было открытием, результатом посещения вместе с В.В.Рубцовым новосибирского Академгородка, я тогда это увидел.

Итак, есть знания, которые являются орудиями действия. И они присваиваются в деятельности как бы извне. Они должны быть освоены – не усвоены, а *освоены*. Они остаются как бы там, вовне, мы их берем, мы по ним строим деятельность. Это, как правило, очень сложные суперформы, дающие возможность развертывать сложные типы деятельности. Это – один тип знания.

И есть совершенно другой тип знания, с самого начала на другое ориентированный, – на то, чтобы при передаче его другим другие бы это *усвоили* (это предполагает, в частности, и запоминание), перевели в какие-то превращенные, субъективные формы, в свою способность, умение, может быть, навык действия и чтобы они там умерли как знания, перестали бы существовать как знания в этой самой способности, хотя все это тоже особая превращенная форма знания.

Это две принципиально разные функции.

Рубцов В.В. Георгий Петрович, непонятно, зачем, скажем, нужна культура для таких форм трансляции знания? Понятен вопрос?

Конечно, понятен.

Рубцов. Тогда получается очень искусственный, какой-то другой характер этих траекторий, которые вы там намечаете...

Конечно, и мне это невероятно важно, поскольку без понимания вот этой стороны дела нельзя вообще обсуждать проблему норм, нормативного обеспечения деятельности, с одной стороны, и нормативных описаний деятельности и нормативно-деятельностных методов исследования – с другой. Мне важно это для последующего различения норм, образцов и т.д., с одной стороны, и нормативных описаний – с другой, ибо они здесь принципиально разные. Когда мы обсуждаем вопрос о нормативной сфере деятельности, мы очень мало исследуем это.

Но мы здесь сталкиваемся с одной группой проблем. Нормы и нормативы, определяющие нашу деятельность, как правило, уже интериоризованы, превратились в наши способности, навыки и умения, и у нас есть очень сложная методическая и методологическая проблематика – как нам теперь быть в психологическом исследовании. Ибо без психологов этого никто не может сделать. Социологический анализ норм и нормативов здесь замкнут на кооперативные комплексные работы с психологами, без них социологи ничего не сделают.

Василий Васильевич не случайно сказал, что учебная деятельность предполагает пропущенные через культуру формы. Они же теперь превращаются в культурные способности человека и в таком виде застывают. И, в принципе-то, педагоги сегодня бьются вместе с пси-

хологами над вопросом: что же это за специфические формы учебного знания? Я опять вспоминаю замечание Василия Васильевича, что не всякая морфология может соответствовать всякой функции, не всякая морфология, а строго определенная, и нужно еще найти соответствия между морфологией и функцией.

Так вот, если у нас есть особая функция формирования способностей, то должна быть соответствующая морфология этих знаний. Каких? В отделе оргуправленческой деятельности, психологии оргуправления, крайне важны работы по анализу нормативной сферы. Ведь, фактически, организации и управления без учета нормативной сферы, без создания этой сферы быть не может – нормативные образования играют там решающую роль. Но эти нормативные образования сложным образом проходят через всю систему обучения и воспитания. Существует, однако, и совершенно другая проблематика – вот этих средств, орудий организации и построения работы, которые дают другой канал оргуправленческой деятельности. Я хотел бы дальше вернуться к этому пункту. Нас это выводит в область нормативной сферы обеспечения деятельности. Это очень сложная проблема, Виталий Владимирович.

Неверкович С.Д. Вот вы сказали, что у вас единицей в деятельности является ситуация прошлого, настоящего, будущего...

Одной из единиц.

Неверкович. А вот когда вы говорите о проектировании деятельности, скажите, пожалуйста, что вы принимаете...

Сергей Дмитриевич, пока не отвечу на ваш вопрос, потому что я это дальше буду обсуждать.

Неверкович. Но слова-то уже произносятся... Единица в деятельности, в проектировании деятельности, в мыследеятельности – что-то уже такое введено.

Вот смотрите, как я попробую ответить вам. В силу объявленного мной метода (а я должен анализировать нормы, нормативы, конструктивно-нормативные описания деятельности, мышления и мыследеятельности, нормативные модели деятельности, мыследеятельности и, наконец, нормативно-деятельностные схемы – вот у меня этот набор) что я должен задать? Я должен задать определенный набор структурно-функциональных схем единиц деятельности, в которых все эти образования живут. Ведь что для меня значит, например, сказать «нормы и нормативы при деятельностном подходе»? Я же должен теперь траекторию этих знаково-знаниевых конструкций задать, ту траекторию, которая характерна для норм и нормативов.

Если я говорю о конструктивно-нормативном представлении деятельности, я должен задать такую структуру деятельности, где рождаются эти

конструктивно-нормативные представления, и задать их траекторию: как, от кого и куда они движутся. А для этого я должен вводить определенные структурные единицы деятельности, внутри которых смогу развернуть эти траектории. И более того, я утверждаю: если мы будем изучать нормы, мы обязаны будем проследить их по траектории. Когда дальше мы будем использовать нормативные методы описания деятельности, тогда все это попроще будет, техничнее. Но понимать мы должны вот эти траектории.

И вот я рисую несколько единиц. Сначала задаю как принцип схему переноса опыта и говорю: берем ли мы нормы и нормативы, берем ли нормативно-деятельностные описания, нормативные представления – они каждый раз живут в этих единицах на расхождении своей прожективной и ретроспективной ориентации, имеют две функции. Эти функции все время растягивают и деформируют их морфологию. А кроме того, они еще живут на таких вот сложных траекториях.

Вот я задаю сферно-фокусную схему и утверждаю теперь (я образ даю и начинаю отвечать на ваш вопрос): все мы, чем бы мы ни занимались, и все те, кого мы исследуем, – все мы живем по законам этой схемы.

Что это значит? Если я практик и работаю в каких-то ситуациях, то это означает, что надо мной надстроились методисты, проектировщики, оргуправленцы, ученые, и они, независимо от того, хочу я или нет, проводят работу, причем каждый в своем сообществе и в своем институте. Одни методикуют для моей деятельности и спускают ее мне сюда, другие делают научные описания, третьи проектируют меня и мою деятельность, включают это в оргуправление, задают мне проекты, планы и т.д.

Причем, ведь вот что интересно: заключили те или иные предприятия хоздоговор, скажем, с Валерием Семеновичем или не заключили, а он свою деятельность их планирования и оргпроектирования осуществляет неуклонно. Хотят они этого или не хотят, он пропустит это через Госкомитет по науке и технике, и, обратите внимание, соответствующие планы, проекты и нормы возьмут и спустят этим предприятиям и скажут: ориентируйтесь. С другой стороны, вся эта работа завершается выходом в систему обучения, попадает в институты повышения квалификации и т.д. И вот там вызывают эти группы управленцев и начинают с помощью Сергея Дмитриевича Неверковича, Виталия Владимировича Рубцова и т.д. давать им такие знания, которые формируют у них определенные способности, умения, навыки, а также давать им нормативные представления и нормы. Они сидят, учатся, потом приходят, напиваются и говорят: «Депрофессионализировался! Раньше знал, как организовывать и управлять, а теперь ничего уже не знаю, ничего понять не могу, все поплыло».

Я повторяю: хотят они или не хотят, такова жизнь. Теперь нам надо знать, сколько таких вот надстроек работает и как опыт, накапливаемый в ситуациях практической работы, пропускается через множество этих фильтров (надстроек), как при этом формируются планы, проекты, научные знания, нормы, нормативы, учебные структуры и т.д. и как они все попа-

дают сюда и вновь замыкаются на ситуациях будущей деятельности. С одной стороны, они приходят из прошлого опыта, и люди приносят этот опыт, они работают. С другой стороны, их пропустили через систему повышения квалификации или обучения, дали им какую-то систему представлений, причем их «запаяли» им в головы, и они не заметили, когда это произошло, но у них уже головы иначе работают. Они уже здесь получили расхождение с их прошлым опытом и такие дисфункции, через которые они будут мучиться и развиваться. Далее, им спускают сюда огромное количество разных знаковых форм: календарные планы, сетевые графики, сметные расчеты. Вот нам В.А.Капустина рассказывала в прошлый раз, как все это она делает и как им это спускают. И нам нужно представлять себе, как же все это живет и работает в сфере нашей мыследеятельности.

Я сейчас задал такую сложную единицу, которая содержит веер, или семейство, вот этих траекторий. Опыт может проходить через одну систему и спускаться вниз в виде орудийных знаний, а может идти в обучение и превращаться в способности; может проходить через две, три, четыре такие рефлексивные надстройки. И каждый раз эти конструкции попадают в особые системы деятельности. Могут быть пропущены через культуру, а могут и не быть пропущены. Но когда они проходят через культуру, то они тоже меняют свою морфологию.

Мне ведь что важно задать? Мне важно задать такие деятельные структуры, которые определяли бы наборы функциональных мест, т.е. наборы, позволяющие исследовать, как в современном обществе идут эти траектории, через что они проходят, каковы наборы основных функций. И каждый из этих наборов функций, соответствующий деятельностной схеме, привносит свои изменения в морфологию – вот что очень важно.

Ведь вот какой вопрос задает Василий Васильевич – он говорит: «Георгий Петрович, объясните нам, пожалуйста, почему же передача знаний приобретает самостоятельность и знания начинают работать вне развития тех способностей, умений, навыков, которые есть у людей?». Я говорю: а смотрите, какое интересное мыследеятельностное распределение происходит. Вот тут (рис. 3) люди осуществляют практическую деятельность, далее ученый (он у меня задан, скажем, в третьей надстроечной системе) понаблюдает, рефлексивно извлечет этот опыт и образовал научное знание. Обратите внимание, ведь это научное знание теперь существует в его (ученого) деятельности. Оно из деятельности практиков содержание вытащило, но как форма оно существует не в деятельности практиков, это не их знания. Это теперь знания ученого о том, что здесь происходит, и носителем этого знания является научная деятельность. В проектной деятельности будет другая форма того же самого содержания, другое, проектное, знание.

А теперь очень интересно, кем и как эта кооперативная деятельность замкнется и кто теперь это знание, рефлексивно выражающее содержание практики, передаст другим. Ведь в конце концов это знание спустится вниз,

обратно в практику, спустится в своей превращенной, часто совсем нелепой форме, не увязывающейся с этой практикой. Причем, оно может так трансформироваться в этих траекториях, что уже совсем не будет подходить под эту исходную практическую деятельность.

Теперь я отвечаю на ваш вопрос: так что такое для меня деятельность? На этом этапе для меня деятельность представлена через совокупность вот таких структурных схем, которые дают мне возможность определять траектории движения интересующих меня образований – норм и нормативов, нормативных представлений или конструктивно-нормативных представлений деятельности, нормативных описаний, нормативных моделей и т.д. Что я теперь должен сделать? Теперь (по-видимому, в следующий раз) я, исходя из схемы, должен буду найти те точки, где рождаются все объявленные мною образования – где, в какой именно деятельности они рождаются, но всегда по поводу исходной практической деятельности. Они могут родиться в первой надстройке, во второй, в третьей, в четвертой. Я должен найти эти точки, где рождаются конструктивно-нормативные образования, а потом посмотреть, что же с ними происходит, какие наборы функциональных мест в каких социально культурно фиксированных деятельности они проходят и как меняется их морфология, и как они возвращаются.

2.

Со времени нашей последней встречи прошло две недели, и для того чтобы все мы могли включиться, я коротко, перечисляя пункты, напомуно все то, о чем шла речь.

Первое. Я стремился различить часть, связанную с понятием нормативно-деятельностного анализа, и часть, относящуюся к средствам и методам. Это первое принципиально важное различие. И на прошлом заседании, и сейчас я занимаюсь в основном понятиями.

Второй момент. Мы с вами различили функционально-деятельностную определенность всех понятий и морфологическую их определенность. Я подчеркивал, что все понятия – «нормативное представление», «нормативного описание», «нормативная модель», «норма», «норматив» – являются в сути своей функциональными, или структурно-функциональными. А следовательно, чтобы их определять, нам приходится, рассматривая любое семиотико-эпистемическое образование, строить изображение объемлющей его системы деятельности, задавать своего рода рамки – структурно-функциональную и процессуальную, которые только и могут быть связаны с функциями любого рассматриваемого нами образования. В этом особенность деятельностного подхода к проблеме. Если объекты не рассматриваются как искусственные, создаваемые объемлющими системами деятельности, и живут не в этих системах деятельности, то, на мой взгляд, никакого деятельностного подхода быть не может.

Третий пункт. Я подчеркивал расхождение между структурно-функциональными и морфологическими определениями всякого такого образования. Мне важно было подчеркнуть, что всякое такое образование – говорим ли мы о норме и нормативе или о нормативном представлении – задается прежде всего своим функционированием на определенных местах, т.е. способом употребления. А если мы говорим о морфологии знаковых и знаниевых образований, то в эту морфологию входит также и содержание этого образования, не только форма и материал, и это содержание эпистемических образований может не соответствовать их употреблению. Так происходит очень часто.

Поэтому, все время есть разрыв между функциями, в которых мы употребляем это образование, и тем содержанием, которое оно несет. Причем, особенно это важно при анализе коллективных действий и условий непрерывной передачи разных знаний от одних людей другим людям. Отсюда важность различения содержания и смысла. Содержание всякого семиотико-эпистемического образования принадлежит его морфологии, а смысл задается деятельностным употреблением. Отсюда для меня, скажем, все концепции, будь то лингвистические или логические, в которых нет принципиального различия между смыслом и содержанием и смысл склеивается с содержанием, а содержание со смыслом, являются неадекватными изначально. Неважно, идет ли речь о концепции И.А.Мельчука (модель «смысл – текст») или о какой-то другой.

Поэтому (это следующий пункт) мне так важно было фиксировать непрерывные процессы движения разных семиотико-эпистемических образований по разным местам деятельностной кооперации, и мы с вами ввели понятие траектории и пользовались им. Каждое семиотико-эпистемическое образование в процессе коллективной деятельности людей или коммуникации непрерывно перемещается, перебрасывается из одного места деятельности в другое место деятельности.

С этой точки зрения, Виталий Владимирович, я бы подверг сомнению принятый вами тезис об обмене деятельностями. Вроде бы это так и должно быть, и вроде бы должен происходить этот обмен деятельностями, но он происходит в превращенных формах, через передачу соответствующих семиотико-эпистемических образований, и каждое такое образование в деятельности как бы стягивает в себя содержание и смысл этой деятельности, и в этой превращенной форме содержание и смысл деятельности одного кооперанта передаются другим. Неважно, идет ли речь здесь о вещественных продуктах деятельности или о семиотических, или логических, но каждый раз это движение происходит именно в превращенной, недеятельной форме.

В этом плане деятельности выступают как статические структуры, внутри которых все это движется. Мне кажется, что такая трактовка в общем достаточно точно соответствует тому, что анализировали и описывали Гегель, Маркс, Ильенков, и само выражение об обмене деятельностями

ми, с этой точки зрения, требует каких-то уточнений и описаний, ибо этот обмен идет вроде бы, говорю я, в превращенной форме.

Итак, было введено понятие траекторий, по которым движется семиотико-эпистемическое образование. И утверждалось, что единицей такого семиотико-эпистемического образования является траектория. При этом (это следующий пункт) происходят постоянные перефункционализации. В первой деятельности семиотико-эпистемическое образование (рис. 4), которое мы рассматривали – скажем, какое-то представление, – выполняет одну функцию, а потом, когда его морфологии стянуты в поле содержанием и смыслом и перебрасываются в другую структуру деятельности, то там это образование, с тем же самым, казалось бы, содержанием, с той же формой, будет выполнять уже другие функции. Скажем, здесь оно было нормативным представлением, а в следующей деятельности оно будет нормой. И это будет требовать смены формы и содержания.

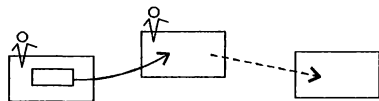


Рис. 4

Я дальше покажу это более конкретно, здесь же мне это важно именно как принцип. Но этого, т.е. смены морфологии, часто не происходит, и каждый раз в подобных образованиях возникает дисфункция. И, фактически, почти вся мыследеятельная работа идет на дисфункции между морфологией-содержанием этого выражения и его смыслом, который задается функцией.

Наконец, задание деятельностных рамок, в которых мы рассматриваем подобные семиотико-эпистемические образования, прямо связано с выделением единиц мыследеятельности. Правильность или неправильность определения функций этих образований, траекторий их трансформации, процессов перефункционализации, подстраивания морфологии к структурам функций каждый раз определяется тем, насколько точно и правильно мы схватили существо мыследеятельных единиц.

И вот тогда, рассматривая именно этот вопрос, я ввел две близкие друг другу, но в общем различные по морфологии и способу употребления схемы. В первой схеме – схеме переноса опыта (рис. 2) – я задавал некую ситуацию, с моментами организации и с моментами непосредственного деятельного обеспечения, и следующую ситуацию – я таким образом различал моменты прошлого и будущего. И рассматривал разные формы переноса опыта: (1) непосредственный перенос опыта, происходящий за счет перехода человека с его способностями, умениями, навыками в другую ситуацию, или движения человека по ситуациям, и (2) опосредованные формы, когда происходит как бы рефлексивный выход из ситуации, образование определенной семиотико-эпистемической единицы – либо знания в точном смысле этого слова, либо проекта, либо плана буду-

щей деятельности, – спуск его вниз, в будущую ситуацию, и построение уже реальной, практической мыследеятельности в соответствии с этим знанием.

И далее я зафиксировал две ориентации каждого семиотико-эпистемического образования: оно всегда живет на разрыве между будущим и прошлым. Иначе говоря, всякая семиотико-эпистемическая единица, как бы она ни была специализирована и, соответственно, как бы она специально морфологически ни оформлялась, фактически всегда несет в себе момент плана и проекта, с одной стороны, и момент изображения – с другой.

Почему я здесь говорю о специализации? Потому что, казалось бы, план и проект – это такие семиотико-эпистемические образования, которые направлены на организацию будущих ситуаций. И в этом смысле мы могли бы сказать, что у них выделяется прежде всего проспективная ориентация. Но, говорю я, в этих образованиях всегда есть и моменты ретроспективной ориентации. Они могут отодвигаться на задний план, они могут как угодно деформироваться и вытесняться, но они всегда в той или иной мере присутствуют. Поэтому любой план есть вместе с тем и знание о чем-то, что было. Любой проект будущей организации обязательно привязан к представлениям о том, что было раньше, и их изображает. Любое, повторяю, семиотико-эпистемическое образование всегда содержит проспективную смысловую ориентацию и ретроспективную смысловую ориентацию. Вопрос только в том, насколько доминирует та или другая и как они соорганизованы в том, что мы называем формой и содержанием этого семиотико-эпистемического образования.

Таким образом, говорил я, эта схема задает мельчайшую единицу мыследеятельности, связанную с переносом опыта.

Что из этого следует? Для меня очень многое. Я говорю: если вы выделили только ситуации деятельности, пусть даже с их организацией, знаниевым обеспечением, но не рассматриваете эту ситуацию вот в такой схематической форме, учитывающей движение в будущее – непосредственное, за счет как бы трансляции самих людей, и опосредованное, за счет перетекания знаний от одного к другому, из прошлого в будущее, – если это не учитывается, то никакой подлинной мыследеятельной единицы не будет.

Вторая схема, которую я ввел, является, по сути дела, развитием первой. Хотя, еще раз подчеркиваю, это не тождественные схемы. Это так называемая сферно-фокусная схема (рис 3). Мне здесь важно подчеркнуть, что, по сути дела, сферно-фокусная схема есть организационная форма фиксации схемы переноса опыта и что, собственно говоря, оформление сфер мышления, науки, проектирования, педагогики есть не что иное, как культурная и социальная фиксация именно процессов переноса опыта. Ибо они образуют суть и сердцевину всей мыследеятельности, без них она просто не может существовать.

Поэтому, переходя к сферно-фокусной схеме, я добавляю, во-первых, целый ряд надстроечных моментов, т.е. опосредованных форм передачи опыта, и говорю: тут может быть непосредственное практическое обобщение опыта, наука, проектирование, программирование, планирование и т.д. Каждая из таких надстроек над процессом непосредственного переноса опыта вместе с тем представляет собой особый канал опосредованной трансляции этого опыта. Здесь будут семь таких образований. Во-вторых, я ввожу процесс трансляции культуры и, соответственно, культуротехнику и культурологию...

Второй важный момент состоит в том, что возникает сложная проблема, связанная, с одной стороны, с включением науки, проектирования, программирования и т.д. в процессе трансляции культуры и, с другой стороны, с противопоставленностью их друг другу. Обратите внимание, наука есть прямая оппозиция процессу трансляции культуры, наука есть особая форма организации, позволяющая человеку противостоять культурному процессу.

И третий момент состоит в том, что я ввел здесь особую сферу обучения и воспитания, которая как бы замыкает весь этот процесс (рис. 3). <...>

Итак, на этой сферно-фокусной схеме я задаю множество каналов переноса опыта. Во-первых, непосредственно из прошлого в будущее, минуя настоящее. Что это значит? Что у меня в этом нижнем канале просто нет настоящего, происходит разрывное перескакивание из прошлого в будущее, поскольку я же рассматриваю это деятельностно, а там, в ситуациях деятельности, одна ситуация кончается, а следующая должна начаться, быть построена. Между ними никакой деятельности нет. Человек просто пребывает – либо спит, либо отдыхает. И в этом смысле весь наш труд построен таким образом, что мы перескакиваем из вчерашнего дня в сегодняшний день, и когда мы находимся во вчерашнем дне, то сегодняшний день – это завтра. Вот что мне важно. Мы перескакиваем из одной ситуации в другую, и поэтому здесь – поскольку я пользуюсь методом фиксации состояний или ситуаций – у меня не может быть настоящего.

Меня не интересует, что там реально происходит – реально происходит все. Но вот в этой нижней части схемы ситуации дискретно сменяют друг друга. Если я нахожусь в левой ситуации, то у меня есть будущее, на которое я ориентирован. Я знаю, что мне завтра придется идти в институт и точно так же работать. Если я нахожусь в правой ситуации, то я думаю о том, что я делал вчера.

Я потом еще поясню это, показав на простом примере уже в контексте развития моих рассуждений.

Но есть еще опосредованная форма передачи опыта, и я рисую другие каналы трансляции, каналы, когда все то, что происходило в ситуации деятельности, теперь рефлексивно осмысливается и фиксируется в тех или

иных формах – методических, проектных, научных или каких-то других. Этим рефлексивным характеристикам я и приписываю временную категорию настоящего. И вся схема сфокусирована таким образом, что позиция наверху, в «раме велосипеда», является ключевой. Только из нее я и могу все рассматривать.

Поэтому, настоящее существует здесь, вот в этой деятельности (наверху), и оно длится до тех пор, пока я продолжаю эту деятельность. И по отношению к ней, к этой рефлексивной позиции, всегда существует только будущее и прошлое, но нет настоящего, настоящее есть в самой этой рефлексии. Собственно процесс рефлексирования задает настоящее – как миг настоящего, так и длительность настоящего.

Но за этим есть еще другая сторона дела, которую мы начали обсуждать в прошлый раз. Тут возникла очень интересная – на мой взгляд, принципиальная – для нас всех проблема. Вопрос ведь в том, как фиксируется опыт. Если мы имеем практико-методические формы фиксации опыта, то в будущее переносится только прошлое, т.е. мы говорим: это делалось так-то. Подразумевается, следовательно, что и дальше надо будет так же делать. Если же мы берем, скажем, науку как особую форму передачи опыта, то ведь положения науки всегда носят вечный характер, они – вне времени. Если, скажем, мы фиксируем закон Ньютона, то бессмысленно спрашивать, для какого дня, для какого времени он действует. Он действует всегда, он есть инвариант. Мы к этому привыкли, это банальность. Но с точки зрения схемы переноса опыта это означает невероятно радикальную вещь, а именно: что наука может обеспечивать производство только таких новых ситуаций, которые без изменения воспроизводят прежние, в соответствии с этими инвариантами. Наука дает нам возможность строить новые ситуации – в своем содержании, в том содержании, которое фиксируется законом, – только тождественные тому, что уже было.

Давыдов. Во-первых, это далеко неверно...

Я-то думал, вы скажете, что это банально.

Давыдов. Это вообще неверно. Кстати, закон Ньютона – он фиксирует не всеобщность, а особенность, какую-то особенность сосуществования, соотношения тел, он фиксирует лишь момент развития природы.

Почему развития?

Давыдов. А всеобщее, кстати, немислимо без понятия развития. Всеобщее – это вектор развития. А в развитии все меняется – и форма, и содержание. Наука, слава богу, уже дошла до понятия развития, и, с этой точки зрения, науку нельзя противопоставлять непосредственному опыту. Такие подходы вас ни к чему не приведут, потому что ваши различия абстрагируются от массы явлений, которые уже давно установлены.

Почему же абстрагируются? Не абстрагируются, а учитывают их.

Давыдов. Ну при чем тут закон Ньютона? В определенных, предельно абстрактных ситуациях учитывается закон Ньютона, в изменяющихся ситуациях он не учитывается. И, кстати, его там не нужно учитывать, или учитывается он с соответствующими поправками.

Василий Васильевич, я бы не стал спорить, если бы здесь не затрагивалась суть того, что я говорил. Давайте я попробую очень подробно...

Давыдов. Не надо подробно, а то вы опять заведете нас в дебри тонкостей. Попросту, на пальцах покажите суть. Причем, не нужно науку привлекать. Тем более, неясно, что сие значит.

Вся суть сегодняшнего моего куса заключается в следующей, правда, достаточно трудной и многоплановой вещи: что если мы хотим ввести и рассматривать какие-то единицы мыследеятельности, то мы не можем рассматривать их как плоские, однослойные, а обязательно должны вводить как бы многослойную этажерку – массу процессов передачи опыта, иерархически организованных, или происходящих один над другим.

Давыдов. Это эмпирический факт.

Если эмпирический факт – отлично. Я пытаюсь это зарисовать и говорю (далее я буду показывать это более детально): тогда оказывается, что в эту единицу мыследеятельности, в структуру, неразложимую дальше на смысловнесущие деятельностные элементики, входит как действие в ситуации, так и обговаривание нашего действия.

Давыдов. Тоже чисто эмпирический факт.

И фиксация в различных формах знания, и коммуникация.

Давыдов. Это вы просто в красивых словах описываете эмпирию, а она уже много раз описывалась. И никакого здесь пока теоретического продвижения нет. Вы феноменологию нам представляете.

Отлично. И поскольку я задал много этих каналов...

Давыдов. Вы же сказали: слои.

Слои, но одновременно каналы передачи опыта. И я, если вы помните, рисовал траектории передачи опыта. Вот первая траектория, осуществляющаяся за счет непосредственного перехода человека. Вот вторая, третья (*показывает*). И я теперь говорю, что каждый из этих каналов и каждая из этих траекторий фиксируются своим особым способом фиксации опыта и особым соотношением между проспективной и ретроспективной ориентациями. В каждой форме фиксации опыта, сказал я, есть проспективная и ретроспективная ориентация – в той или иной мере. И

вот теперь я начинаю рассматривать разные культурно оформленные, зафиксированные, нормированные способы фиксации нашего опыта и говорю: смотрите, там есть практико-методическая форма, научная, историческая, проектная и т.д., – и начинаю их сопоставлять друг с другом. Я понимаю все то, что вы мне говорите по поводу развития. Я целиком с этим согласен и это принимаю, но с точки зрения марксистской философии. И когда вы мне говорите, что вне развития ничего нельзя рассматривать, я говорю: да, конечно. Но обратите внимание на мой метод.

Сейчас я перехожу к важнейшему пункту. Если мы обсуждаем вопрос, что находится в ситуациях непосредственно практической деятельности, то я говорю, что там, с одной стороны, есть все, а с другой – нет ничего вне фиксации этого в той или иной надстроечной форме. Когда мы, люди, не Бог, начинаем обсуждать вопрос, что происходит в деятельной ситуации, то мы каждый раз оказываемся в одном из этих каналов фиксации и передачи опыта, на нас эта передача опыта осуществляется, и мы говорим про ситуации деятельности то или другое в зависимости от того, в каком канале мы работаем и какие формы фиксации опыта в этом канале приняты. Вот что мне важно. И мы, следовательно, ту или иную форму фиксации опыта проецируем в прошлое и проецируем в будущее – ту форму, которая принята для этого канала.

А вот теперь я говорю про науку – как она складывалась в XVII–XVIII вв. (следы этого она несет и сейчас). Что такое наука как способ фиксации опыта? Это фиксация инвариантов – природных, деятельных, каких хотите. Вне идеи инвариантов научный анализ бессмыслен. И Валерий Семенович, когда он спорит со мной, представляет в данном случае, с моей точки зрения, всегда науку. Что бы я ни говорил про ситуацию – прошлую, будущую, – он каждый раз мне вставляет иголку.

Рубцов. Георгий Петрович, но вы ведь дали пакет таких инвариантов и в этом смысле ничем не отличаетесь от Валерия Семеновича.

Нет. Мне это важно разъяснить. Валерий Семенович мне говорит каждый раз: «Прошлая ситуация, будущая – как бы вы не рыпались, вы каждый раз должны выделять инварианты. Не будет инвариантов, ничего не будет, невозможно работать». Я правильно передал?

Лазарев. ... для того чтобы понять некоторый процесс нужно зафиксировать, что в этом процессе не изменяется.

Правильно. Вот позиция.

Лазарев. Сущность надо понять. А сущности не изменяются.

Давыдов. Простите, это далеко не точно – если уж философы пошли в ход. Во-первых, сущности тоже меняются. Во-вторых, еще ник-

то не опроверг знаменитой схемы Гегеля, согласно которой есть чувственное бытие, есть сущность – область инвариантов – и есть понятие, т.е. область развития. Сущность – это достаточно неглубокая сфера познания. И отсюда выделение инвариантов – это не конечный виток познания. Кстати, вся наука XVIII в. остановилась на инвариантах, но Гегель за это и критиковал теоретическое естествознание XVII–XVIII вв. – что оно не поднялось до уровня понятия, которое должно схватить становление и развитие.

Лазарев. Или смену инвариантов.

Давыдов. Простите, а в становлении и развитии никаких инвариантов в принципе нет. И отсюда возникает грандиозная познавательная проблема: можно ли в формах науки описать процессы развития индивидуального характера, т.е. те, где нет инвариантных начал. Вот и возникла проблема: можно ли в научной форме изобразить исторический процесс? Вот это все точно подходит к тем проблемам, над которыми в конце прошлого века бились неокантианцы. Но в общем все это достаточно хорошо проработано. Зачем спускаться на такие простые примеры эту грандиозную методологию? Здесь все проще.

Кстати, Георгий Петрович, вы сказали: опыт, ориентация на прошлое и будущее. В опыте есть только одна ориентация – на будущее. Все, что в опыте есть от прошлого, превращается в средство ориентации на будущее. Опыт, в общем, можно метафорически обозначить как «память». Память возникает только при необходимости ориентации субъекта на будущее – знаменитый пример Жане, который прямо утверждал, что память обнаруживается в ситуации покупки обратного билета. С этой точки зрения, прошлое действительно есть. Но в опыте прошлое выступает как средство движения в будущее. Поэтому опыт как таковой от начала до конца ориентирован на будущее, а прошлое заключается в средствах такой ориентации.

Здесь – по смыслу, по функции. А нас еще интересует – по форме и содержанию.

Давыдов. Я не касаюсь содержания – это особый вопрос, а по форме – это средство ориентации на будущее. Прошлое становится средством.

Вот смотрите, Василий Васильевич, что я говорю и почему мне так важно было это различение, с одной стороны, формы и содержания, с другой – смысла. По смыслу я целиком с вами согласен, и, на мой взгляд, только так можно говорить. Но по форме и содержанию это не так, и за это – за дисфункцию – и критиковали науку Гегель и Маркс. Почему? Да потому, что та ориентация на будущее, о которой вы сказали, и я целиком с этим согласен, присутствует в любой форме фиксации опыта. Но эта ориен-

тация на будущее по-разному оформляется и приводит к разному содержанию знаний в зависимости от канала передачи опыта.

Давыдов. Это верно.

При практико-методической форме ориентация на будущее осуществляется через чистую ориентацию на прошлое. И когда мы берем древнеегипетские формы жизни, то там вот эта практико-методическая фиксация – что делали при измерении лункообразного поля, как измеряли эту площадь...

Давыдов. Простите, вы не спешите здесь. Все это верно, но только не спешите и немножко конкретизируйте свои представления об этой этажерке краткими описаниями нескольких форм передачи опыта. Вы почему-то сразу обращаетесь к науке. Наука есть только одна из частных форм передачи опыта. Вы назвали несколько других форм. Ну опишите их, чтобы нам по фактуре была ясна ваша мысль.

Василий Васильевич, я это сделаю дважды: сейчас в более общей форме, поскольку мы действительно в прошлый раз это затронули и в какой-то мере обсуждали, и более детально уже в той части, в которой я двинусь дальше. Сейчас я хочу сформулировать несколько грубых мыслей, так как это, как вы сказали, самый верный путь.

Вот я здесь нарисовал три канала (рис. 5): в одном канале две ориентации – на прошлое и на будущее, в другом канале одна ориентация – на прошлое, хотя это канал движения в будущее, и в третьем только одна ориентация – на будущее.

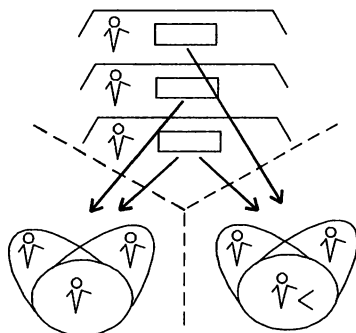


Рис. 5

Смотрите, что я говорю здесь, сопоставляя практико-методическую форму, научную и проектную. Мне только эти три формы нужны – историческую и, скажем, программную я сейчас не беру, чтобы разобрать взаимоотношение этих двух ориентаций. Когда мы берем науку, то для науки в чистом, точном смысле (которую критиковали Гегель и Маркс, но она в сути своей остается той же самой и сегодня) различия между прошлым и будущим не существует. Поскольку наука есть фиксация в

опыте мыследеятельности того, что не меняется в истории человеческой деятельности.

Давыдов. То есть это не форма науки вообще, это наука XVIII в.

Но физика ведь точно такая же до сегодняшнего дня, и химия та же самая, и биология, от Линнея до биологии популяций, точно такая же. Они ищут постоянное, неизменное, ищут инварианты; в будущем фиксируются только то, что было в прошлом. Отсюда – метод экстраполяции. Ведь вроде бы говорят так: «Как же это наука не фиксирует развития? Вот мы нашли некий закон, экстраполируем, прогнозируем – она учла будущее». Ничего подобного, происходит трансляция инварианта, и будущие ситуации строятся по инвариантам, выявленным в прошлых ситуациях. Вот что такое наука.

Давыдов. Простите, при чем тут наука? Тогда четко оговаривайтесь: наука определенного времени.

Не могу.

Давыдов. А ты что – науку вообще отождествляешь с этим?

Конечно.

Давыдов. Вот этой позиции придерживается Анатолий Сергеевич Арсеньев, который считает, что наука – это порождение вещного капиталистического мира и вследствие этого сугубо преходящее и достаточно узкое историческое явление.

Я не думаю, что «вещного», и не думаю, что «капиталистического», но думаю, что «преходящее». И это мне важно зафиксировать – в оппозиции к проектному подходу. Когда возникает проектный подход? Проектный подход есть тоже канал трансляции из прошлого в будущее, он тоже опирается на представление о прошлом, но проектный подход в отличие от научного не ищет этих инвариантов, а исходя из определенных представлений о прошлых ситуациях создает конструкцию других, будущих ситуаций.

– Но ведь у проектного подхода все равно есть какие-то научные основания.

Нет.

Лазарев. Ситуация как фиксируется? Как неизменная?

Вот. Проектный подход зиждется на принципе: будущая ситуация должна быть иной, чем прошлая. Если проектировщик только рисует прошлые ситуации и выдает это за проект – он псевдопроектировщик, он не выполняет своей работы.

Давыдов. Простите! Ты нам все-таки разъясни поподробнее разли-

чие между практико-методическим, научным в твоём смысле и проектным обеспечением. А то будет неясно. Причем, заранее скажу, что проектный способ давно уже понимается как сфера искусства: архитектура – сфера искусства, а не науки, потому что давно уже люди поняли, что проект построить на основе так понимаемой науки просто нельзя. Здесь новизна должна быть, и поэтому вводится творческое мышление, интуитивное прозрение будущего, вся мистика, которая вокруг этого накручена. Расскажи поподробнее.

Если можно, я не буду этого делать, Василий Васильевич, потому что это уведет нас далеко в сторону, а мне сейчас нужно зафиксировать достаточно абстрактные и грубые вещи. Поэтому, чтобы снять дискуссии, давайте твердо считать, что практико-методический канал, проектный, научный – это не те, которые реально существуют, а это – объекты из моего доклада, выдуманные мною идеальные образования.

Давыдов. Никакой идеализации вы здесь не произвели. Вы описываете грубую эмпирию, и вам только кажется, что вы производите здесь теоретический анализ. Это рассудочно-схематический анализ суммарной эмпирии. Вот что вы здесь сделали. Что есть практико-методический, научный, проектный подход – это давно нам известно. Правда, мы ни черта не понимаем, как они соотносятся, как организовывать эти обеспечения, и для этого нужна теория.

Не совсем, Василий Васильевич. Я согласен с характеристикой в принципе – это феноменальный план, но тематизированный и собранный в целое, с определенной логикой оперирования этим схематизмом как целым. Поскольку у меня не просто проектирование, не просто наука, это – вот почему я говорю об объектах из моего рисунка – определенный канал передачи опыта, находящийся на определенном месте. И дальше меня это место будет интересовать особенно, и я буду строить все характеристики в соответствии с местом этого канала – например, что он второй, а не первый и что он отнюдь не произволен.

Давыдов. Простите, я вас перебыю. Когда вы будете обосновывать нам произвольность положения этих каналов в этой этажерке, тогда уже будет теория. Не просто фиксация существующего положения вещей, а придание этому положению того или иного порядка. Но пока вы до теории своей нас не довели.

Не известно, поскольку я ведь сейчас резюмирую, я это уже обсуждал все и вроде бы показывал, что это значит, а сейчас просто напоминаю эти принципиальные различия, без учета которых мы не можем двигаться дальше, а именно: у нас получается много траекторий, но каждая из этих траекторий, проходя через тот или иной канал передачи опыта, задает нам определенные формы фиксации прошлого опыта и будущего, которые по

своему содержанию задают определенные отношения к прошлому и будущему и определенную связь между нами. Например, практико-методическая форма фиксации опыта выделяет феноменальные моменты прошлого и требует их обязательного сохранения в будущем. Научная – выделяет нам уже суть, как сказал Валерий Семенович, инварианты более глубокого порядка и требует сохранения этих инвариантов. А вот проектирование строится на отрицании поверхностных моментов прошлого и на отрицании глубинных структур, и в этом суть этой профессиональной деятельности проектирования.

Лазарев. Скажите, когда вы говорите о проектировании, то фиксация в ситуации опять отличается от фиксации того, что не изменяется? Может быть, наука работает не на будущие ситуации, а на проектирование, может, эти инварианты нужны не науке, а проектированию?

Нет. Поэтому мне понадобился переход к моим объектам. Ведь наш с вами спор принял уже не теоретический, а эмпирический характер. Я нарисовал разные каналы трансляции, задал две ориентации – на будущее и на прошлое, сказал, что они могут быть по-разному представлены в разных формах фиксации – в одной доминирует прошлое, в другой доминирует будущее. И я говорю, что мы с вами можем помыслить несколько принципиально разных форм фиксации опыта по этим основаниям. В одном мы движемся на будущее и из него исходим, и при этом от прошлого как бы отталкиваемся. Можем такое помыслить? Вы мне говорите: проектирование не таково, проектирование сохраняет эти инварианты, – я говорю: ладно, не будем спорить, но давайте помыслим такое проектирование, или проецирование – назовем его иначе, в котором уже будет реализоваться принцип отталкивания от инвариантов.

Можем такое помыслить? Можем. Тогда это такой канал передачи опыта, где меняется само понятие опыта – то, что говорил Василий Васильевич, – ибо там опыт становится чем-то, от чего отталкиваются; это искусство, конструирование, проектирование, схематизирование будущего, и, следовательно в этом канале весь смысл работы состоит в том, что продумывается новое будущее. Будущее является фантазируемым, и отсюда возникает – как проблема – реализация. Проект может быть нереализуемым.

Больше того, ведь здесь же смешная вещь: если доводить мою идею до конца, то, если он хороший проект, он должен быть не реализуем, а если он реализуем без изменения практики – это плохой проект, вообще не проект. Мне важно этот момент зафиксировать. Присутствующие здесь проектировщики, если бы они были в большом количестве, меня закидали бы камнями, от меня бы ничего не осталось, они бы сказали: что за ерунда такая, что за проект, который не реализуется, ведь реализуемость

есть основной принцип проектирования. Они тоже правы, но это, к сожалению, не проектирование.

Неверкович. *Но это чистая фантазия. И вот почему: если вы принимаете это как ведущий вектор развития, то вы без категории науки как необходимой, категории не обойдетесь. И хотел бы я на вас посмотреть сегодня, – не обладающего логикой рассуждения, средствами научного анализа и т.п. Вот так стояли бы вы без образования – и давай проектирование создавать.*

В 1965 г. сначала в Москве в Институте технической эстетики, а потом через некоторое время в Лос-Анжелесе («Университет-5») был создан проект образования проектировщиков, построенный на отрицании науки, научного подхода. Сейчас, когда прошло уже 15-17 лет этот проект «Университет-5» – как проект истинно проектировочного, антинаучного образования – реализован и дает потрясающие результаты.

Неверкович. *Но отрицание оснований есть знание и наука.*

Сергей Дмитриевич, если вам очень хочется посмотреть, что же происходит, когда это отвергается, то вы можете глядеть на меня. И считайте, что я есть, может быть, не очень хорошая, но реализация этого принципа, со всеми моими недостатками.

Рубцов. *Тогда получается очень хитрая штука. Вот, скажем, проектирование – оно оказывается культурным.*

Наоборот.

Рубцов. *Некультурным?*

Давыдов. *Позвольте, у вас пошла игра словами.*

Тут очень интересные вопросы. Для нас важно отношение к прошлому и будущему. Смотрите, что происходит: эти траектории могут, проходя через эти каналы фиксации и обобщения опыта, попадать снова непосредственно в ситуации, а могут доходить до культуры. Тогда соответствующие формы фиксации поднимаются до трансляции культуры, а под культурой я сейчас понимаю то, что находится внутри соответствующей службы – службы культуры.

Давыдов. *Что же – культуру ты забюракратил? Превратил в государственную форму?*

Да.

Давыдов. *Слава богу, культура – высшая истина.*

Да, она высшая истина, мне нужна эта идея. Мне важно различение между знанием и нормой, нормативным представлением. Пока нечто идет

в формах передачи опыта, оно не есть норма. Никакое научное знание не является нормой, нормативом, никакой проект, историческое представление не являются нормой и нормативом. Только попадая в систему культурных образцов, оно приобретает функцию быть нормой и нормативом и теперь спускается вниз, в ситуацию, уже с этой функцией, с соответствующими морфологическими маркерами, с дополнительным содержанием, т.е. с соответствующим морфологическим изменением. А может попадать в ситуации прямо из науки, прямо из проектирования и реализоваться.

Мне важно, что как способы попадания этого в ситуацию разные, так и содержание этих образований, попадающих в ситуацию, разное. Мы столкнулись с этим при изучении детской игры и были вынуждены просто фиксировать эти образования, потому что оказалось, что как в игре, где это особенно видно, так и при решении учебной задачи – где угодно, дети очень четко фиксируют различие между знанием, нормой и нормативом. И педагог должен работать с ними принципиально по-разному – вот что мне здесь важно. Я фиксирую эти моменты как разные траектории жизни семиотико-эпистемических образований.

Мне важно здесь при фиксации траекторий определить типы этих траекторий. Первый тип передачи опыта – непосредственный, без соответствующих сфер обобщения опыта; затем – траектории, опосредованные теми или иными сферами обобщения опыта; третий тип – траектории, опосредованные своим прохождением через культуру, т.е. приобретением нормативных функций; и четвертый – траектории, опосредованные своим прохождением через сферу обучения и воспитания, т.е. приобретшие функции систем соответствующих педагогических средств.

Вот эти четыре типа траекторий мне важно разделить и различить. Именно на них мы будем дальше различать нормы, нормативы, нормативные представления и соответствующие средства и методы. И в этой связи я зафиксирую два типа эпистемических образований. Одни – орудийные, они спускаются в ситуацию и используются непосредственно как извне данные орудия и средства. А другие – антропо-ориентированные; когда они спускаются в сферу обучения и используются там в содержании формирования соответствующих способностей, они переходят в способности.

Отсюда, между прочим, совершенно разный тип отношений человека – как ученика, так и учителя – к этим знаниям.

Итак, я закончил резюме. Вот то, что мы с вами обсудили в прошлый раз. Нельзя делать семинар раз в две недели. Тогда дальше резюме дело практически не движется, а не давать его – это значит не сохранять. Есть здесь какие-нибудь вопросы?

Рубцов. Тогда, с одной стороны, оказывается, что эти ситуации – проектирование и т.д. – задают культуру и одновременно воспроизводят

ее. А с другой стороны, они и есть те ситуации, которые ухватывают развитие... Тогда создание культуры и есть фактор развития...

Новой культуры. Создание новой культуры есть фактор развития всех этих каналов трансляции. Ведь египетское общество нам дало пример достойного общества, тысячелетиями воспроизводящего самого себя. Китай нам дает пример того же самого. Европейская цивилизация сложилась как отрицание этого принципа. И в этом вся суть дела. Поэтому и проектирование, и наука – по сути дела, антагонисты культуры как обеспечивающей воспроизводство деятельности. Это суть механизмы развития культуры, механизмы искусственного осуществления истории. И именно в этом смысле их осознавали Гегель, и Маркс.

Смотрите, что происходит: результаты научного поиска, проектных разработок попадают потом в культуру. Точно так же они попадают в педагогику. Есть даже идеологи, требующие автоматического переброса в состав учебного предмета всех новых достижений науки (например, для физики – Зельдович, для математики – Колмогоров). Но ведь весь опыт нашей педагогической работы показывает, какая все это дребедень. Потому что отнюдь не все научные знания, как я стремился показать, формируют способность. Весь набор орудийных знаний – методик и т.д. – дает средства, которые не должны проходить через систему учебных предметов.

Итак, есть знания, представления, которые формируют способности, и они должны попадать в сферу обучения. А есть те, которые дают нам орудия, орудия временного пользования, мы их не должны переводить в свое сознание, психику и т.д. Мы их должны иметь в справочниках. Они попадают сразу сюда, вниз.

Наука и проектирование – это, по сути дела, то, что позволяет нам преодолевать консервативность культуры, выходить в рефлексивное отношение к культуре, в те пространства, которые нам дают возможность видоизменять культуру.

Хотя при этом, Виталий Владимирович, я с вами совершенно согласен: формируется культура будущего, новая культура, если мы продолжим эту линию.

И отсюда – крайняя сложность той работы, которую проделывает, скажем, лаборатория при школе № 91. Она, с одной стороны, отрицает прошлую культуру, становясь в прямую оппозицию к ней, а с другой – творит новую культуру. И еще не известно, как пойдет вся работа, дойдет ли траектория до фиксации в культуре и попадет ли потом это в сферу обучения. Может оказаться, что нет. Происходит, следовательно, все время отбор. А нам ведь нужны такие фильтры при переходе к культуре – отнюдь не все надо фиксировать как культурное и воспроизводить на длительных отрезках времени.

– Консервативность есть культовое явление.

Я понимаю, но культура и должна быть консервативной.

– Но тогда как раз то, о чем говорит Валерий Семенович, и нужно выбрасывать.

Не знаю я этого. Я говорю лишь одно. Вот здесь, на этой схеме я фиксирую две принципиально разные траектории развития эпистемических образований. И мы должны знать, что есть одно, есть другое. А вот что там выбрасывать – это не моя функция. Я ничего не хочу выбрасывать, я лишь хочу знать и понимать, и говорить: вот есть такие движения и другие движения, и отсюда разное содержание и разные формы семиотико-эпистемических образований. И одни из них выступают как нормы и нормативы и попадают таким образом в деятельности – причем, тогда будут организационные нормативы, управленческие. И отсюда, кстати, важный вопрос для нашего отдела: что должно попадать в систему повышения квалификации, что должно попадать в систему подготовки, что должно попадать в систему обучения оргуправленцев, а что туда не должно попадать и должно даваться им в ходе работы.

В этом плане очень интересна проблема методик. Вспомните работы Л.Н.Ланды и эти школы, где все алгоритмизировано и т.д. Давайте спросим себя, почему мы вдруг из второй половины XX в. рванули к III тысячелетию до новой эры и почему возникают – то в США, то у нас – эти методические, алгоритмические направления, почему это произошло? Я бы ответил на этот вопрос так: потому что в организации коллективной работы организаторам нужны сложные методики, с помощью которых они могли бы организовать кооперацию. Они им вновь понадобились для того, чтобы организовывать соисполнителей и, соответственно, обеспечивать качество проектных работ. Но только в этой функции. Поэтому тащить их, например, в обучение – принципиально неверно. Я закончил это резюме.

Лазарев. Когда осуществляется проектирование, необходимо не только зафиксировать прошлое, но и зафиксировать в этом прошлом существенные моменты, да? Для того, чтобы мы могли это существенное в будущем изменить. Возникает вопрос: каким образом проектирование фиксирует существенное в прошлом без науки и кто будет передавать знание о прошлом в эту систему обучения и воспитания? И что мы там будем передавать – не инварианты, не сущности, а что-то другое?

Давайте начнем со второго вопроса. Лично мне кажется, что в школе-то надо обучать истории. Прошлое в школе должно передаваться через историю – через историю, преподаваемую в ее специфических формах. Мой опыт работы в качестве преподавателя высшей школы показывает, что наше поколение является аисторическим в принципе. Их не интересует эта история, они в ней не находятся, они ничего в ней не знают, она для них реально не существует.

Лазарев. ... генетический аспект вести в обучение.

Но в виде истории, говорю я. Прошлый опыт человечества должен быть фиксирован в очень мощных и соответственно преподаваемых исторических курсах.

Давыдов. Опыт человечества должен быть зафиксирован в формах мышления, и формы мышления должны быть воспитаны в новом поколении.

Я согласен, но я бы сказал, что это – формы исторического знания, и я отдаю им в формировании человека первенствующую роль.

Теперь второй момент. Я очень сложно буду отвечать на ваш вопрос о проектировании и научных основаниях. Один раз я отвечу для развитых форм, а дальше – это у меня следующий кусок – по сути.

В современных развитых формах проблема связи проектирования с исследованием является проблемой №1. Для того чтобы проектирование было научно обоснованным, оно должно быть увязано с обеспечивающими его исследованиями, в том числе научными. Но сегодня, говорю я, таких форм исследования, в том числе научного, обеспечивающих проектирование, нет напрочь. Они должны быть созданы. И, кстати, с моей точки зрения, они не могут быть созданы без психологических, деятельностных и других – социологических, исторических – исследований. И сегодня нас всюду преследует неудача в соединении проектирования с наукой и исследованиями потому, что существующая наука и существующие исследования принципиально нерелевантны проектировочной работе.

Теперь я оставляю это и говорю: но само по себе проектирование – как тип деятельности и идея – не имеет никакого отношения к исследованию и к науке. Оно возникает и осуществляется безотносительно к научному анализу и, фактически, против него. И это совершенно особый вопрос.

Итак, смотрите. Типодеятельностно проектирование противостоит науке, это есть принципиально другой тип работы. И норма его должна быть тоже зафиксирована в культуре, норма этого способа работы. А реально проектирование только тогда может давать нужные нам результаты, когда оно будет увязано с исследовательской работой. И увязка сегодня проектных разработок с исследованиями есть важнейший аспект комплексной организации мира, который мы должны профессионально решать рука об руку.

Вот это все есть схемы, в которых и с помощью которых я буду работать. Я исхожу из того, что мы их взяли теперь с собою, а я теперь – вы можете двояко рассматривать мою процедуру – либо буду сейчас накладывать на эти схемы новый шаблон, новую схему, либо выну отсюда какой-то кусок и буду рассматривать его как некую инвариантную единицу.

Вот сейчас у меня начинается момент теоретической работы на этой схеме. Если до этого были феноменальные схематизации, о чем говорил Василий Васильевич, то сейчас я начинаю их соединять друг с другом особым образом. С того момента, когда начинается соединение схем, начинается теоретическая работа и уход от эмпирии и задаются принципы связи и определенная логика. И это – важнейший кусок: я начинаю отвечать на вопрос, что есть, с моей точки зрения, нормативные представления.

Итак, я сейчас задаю структурную единицу мыследеятельности, в которой, на мой взгляд, возникают по функции нормативные представления. Вот цель моей работы.

Эти нормативные представления возникают в стандартной ситуации передачи опыта. Я уже говорил, что задал деятельные единицы: единицу передачи опыта и единицу сферно-фокусной организации. Вот исходя из этого я теперь и ввожу ту деятельностную, или мыследеятельностную, единицу, в которой возникают нормативные представления. Что это за единица? Для того чтобы ее зафиксировать, нужно прежде всего зафиксировать позицию человека, который – возьмем такое упрощение – либо начал осуществлять какую-то деятельность, либо должен осуществлять какую-то деятельность, но не может – у него в деятельности возникает разрыв. Разрыв, затруднение. В частности, в мышлении это может быть парадокс. Но поскольку требование выполнить определенную деятельность есть, он, этот человек, который должен был эту деятельность осуществить, выходит в рефлексивную позицию, но не создает новых средств и методов продолжения деятельности, а обращается с вопросом к другому человеку – к учителю, в одном случае, к руководителю – в другом. Мне сейчас эти различия не существенны, я потом их специфицирую.

Он обращается к другому и спрашивает: что мне здесь надо делать?

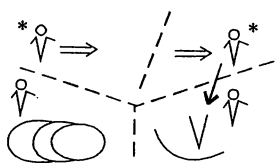


Рис. 6

И второй – руководитель, учитель или кто-то подобный – ему отвечает, что надо делать. А что это значит? Он дает текст определенный, где сказано: тебе надо делать то-то или то-то.

При этом отвечающий, конечно же, опирается на свой прошлый опыт. А поэтому я здесь рисую соответствующие ситуации его прошлой деятельности. Вот эту четырехпозиционную схему

я считаю единицей мыследеятельности, в которой возникают нормативные представления.

Что здесь характерно? Здесь есть необходимость осуществить деятельность – соответственно, с маркером будущего. Здесь есть прошлый опыт. Здесь обязательно есть коммуникация между одним и другим – соответствующий вопрос и соответствующий ответ. Теперь, получая текст ответа, первый, задавший вопрос, должен соответствующим образом построить свою деятельность, или мыследеятельность. Это я и считаю той минимальной единицей, которую мы должны рассматривать.

Неверкович. *А почему обязательно опосредованное развитие, через верхнего левого со звездочкой?*

Я не обсуждаю проблем развития, Сергей Дмитриевич. Я обсуждаю сейчас вопрос, в каких структурах мыследеятельности появляется нормативное представление.

Неверкович. *И вот эта верхняя левая обязательна?*

Все, что я нарисовал, обязательно. Для меня эта схема невероятно важна. Почему? Я сразу сделаю несколько проходов вперед, чтобы это прояснить. Дальше я буду надстраивать над этой схемой следующие каналы передачи опыта. Но вот эта ситуация будет материалом и объектом для них всех. Значит, я, по сути, утверждаю: что бы мы ни исследовали в психологии, в педагогике или еще где-то, нормативное или ненормативное, но вот эта ситуация и является тем, если хотите, объектом, с которым мы всегда имеем дело. И это тот минимальный объект, который мы должны выделять. Если мы будем выделять какие-то куски из него, мы не будем понимать сути происходящего.

Рубцов. *Георгий Петрович, а почему бы еще одного рефлексуна туда не добавить? На всякий случай. Вот мы должны это выделять, и это минимальная ситуация. Но я, например, могу добавить еще одного и тоже говорить, что тогда это будет минимальная ситуация. Или, например, одного убрать.*

Это разные вещи. Насчет добавить я говорю: я дальше и буду все время добавлять и смотреть, что будет при этом происходить. Вся моя работа дальше будет заключаться в том, что я туда буду кого-то добавлять – выше, выше и выше, но в определенном порядке – и смотреть, что будет происходить со всем этим. Но вот эта структура с четырьмя позициями, говорю я, является минимальной единицей, потому что если я что-то из нее вырублю, то я получу такую структуру, в которой уже ничего из интересующего меня не происходит.

Смотрите, каковы принципы задания этой схемы. Задавая верхний слой, я задаю рефлексивную и коммуникационную. Я ведь, фактически, тем самым утверждаю: если мы хотим исследовать мыследеятельность, проектировать мыследеятельность и т.д., мы никуда не можем уйти от факта рефлексии и коммуникации. Рефлексия и коммуникация являются, с моей точки зрения, конституирующими мыследеятельность. Не будет рефлексии и коммуникации – не можем мы рассматривать мыследеятельность. Произвели переупрощение – потеряли изучаемую нами специфику.

Точно так же нам обязательно нужен вот этот процесс реализации текста коммуникации и понимания, а также рефлексии, осуществляемой вот этим правым рефлексуном, в действии, в последовательности опера-

ций. И если мы это убираем, то мы опять теряем все то, ради чего рефлексия и коммуникация производится, мы теряем момент понимания и т.д.

И точно так же нам нужен вот этот руководитель, учитель, другой коммуникант, кооперант, который несет на себе непосредственные формы фиксации прошлого опыта.

В следующем пункте, когда я буду отвечать на ваши вопросы относительно того, откуда берутся первые нормативные представления, я буду этим пользоваться, потому что я фактически реализую то, что от меня требовал Василий Васильевич. Я включаю сюда процессы происхождения и развития, в эту единицу. И говорю: мы должны задать мыследеятельностную единицу так, чтобы она уже в себе снимала процессы изменения мыследеятельности, происхождения и развития, чтобы они были там. И чтобы эта единица в себе уже содержала преемственность прошлых и новых поколений – будущего, настоящего и прошлого. Я ведь, фактически, утверждаю: то, что я нарисовал так, четырехпозиционно, есть минимальная единица деятельности – включающая тот минимум, который нам необходим для описания мыследеятельности. Любая единица мыследеятельности содержит ориентацию на будущее действие, рефлексивную фиксацию настоящего и прошлого. Там обязательно это должно быть. Если этого нет, нет ни мышления, ни деятельности, нет мыследеятельности.

Теперь смотрите, что я говорю дальше. Единица мыследеятельности обязательно должна содержать в себе факт коммуникации. Если мы коммуникацию отделили и говорим: вот у нас есть действие, а вот коммуникация, и коммуникация есть само по себе целое, и действие есть само по себе целое, – то, говорю я, мы разрешили мыследеятельность на такие части, из которых мы никогда больше ничего не соберем. Единица мыследеятельности уже должна содержать в себе коммуникацию и момент понимания. Ибо вне коммуникации человеческой мыследеятельности просто нет.

Неверкович. Георгий Петрович, вот, пожалуйста, в левом нижнем углу коммуникант у вас и стоит... Зачем обязательно верхний – рефлексивный учитель?

Я таким образом системно, сферно-фокусно, решаю проблему человека. Что такое человек? Человек – это стяжка подобных структур. А это значит: нет человека без учителя. И человеком становится только тот, кто имел учителя и тем самым получил определенное прошлое и определенную культуру.

Лазарев. Георгий Петрович, а эта схема чем-нибудь отличается от схемы Щедровицкого и Дубровского?

Это хороший вопрос. Валерий Семенович спрашивает, чем эта схема отличается от схемы 1965 г., опубликованной в 1967 г. в сборнике «Проблемы исследования структур науки» [Щедровицкий, Дубровский 1967]. Я

отвечаю: это есть дальнейшее развитие той схемы, но – что очень важно, обратите внимание – там не было коммуникации, и там иначе все это построено. Там три позиционера, а не четыре, что было неточным.

Лазарев. Нижнего опыта там не было.

Нижний опыт был. Не было рефлексуна, не было коммуникации – того, что было получено в конце 60-х – начале 70-х годов. И на вопрос Виталия Владимировича, почему это минимальная единица, я бы должен был ответить так: мы уже пробовали работать с единицей поменьше, восемь лет с ней поработали и поняли, что мы туда никак не можем включить и что мы, собственно, потеряли. И на этом опыте работы я теперь могу сказать: обязательно должна быть коммуникация.

Мильман В.Э. Георгий Петрович, а может деятель задать вопрос, не выходя в рефлексивную позицию?

Нет, не может. Это принципиально, что все вопросы задаются из рефлексивной позиции. Я дальше об этом еще специально буду говорить, это важнейший пункт.

Еще один очень важный для меня момент. Смотрите, он спрашивает: что я должен делать? И ему отвечают, что он должен делать. И создают, следовательно, представление будущего – что он должен воплотить в действиях, опираясь на прошлый опыт другого в этом действовании. Следовательно, я уже, фактически, ввел признак вот этой нормативности. Значит, что такое для меня нормативное? Нормативное для меня неразрывно связано с ответом на вопрос «что я должен делать?» и имеет соответствующую форму: «делай то-то (ты должен делать то-то)». Это совершенно особая модальность.

Рубцов. Георгий Петрович, это очень напоминает проповеди: я спросил, ты мне сказал, и я должен делать. Как интересно получается! Но для того чтобы делать, мне еще нужно знать, как это делать. А такими формами не передается искусство «как» – оно имеет другие формы передачи или же там срабатывают какие-то очень интересные механизмы понимания. В этой передаче могут быть еще какие-то очень интересные механизмы ... я еще передаю способ и способности.

Конечно же, вы правы. Но в чем? У меня ведь сейчас одна маленькая задача. Я, следуя тому методу, который я описал, должен ввести понятие нормативного представления. Что значит для меня ввести понятие нормативного представления? Задать ту структуру мыследеятельности, в которой может существовать по функции нормативное представление – раз. И очертить его морфологию, т.е. сказать, какими по форме должны быть тексты – ответы на вопросы и, соответственно, вопросы, – чтобы для меня существовало нормативное представление чего-то (ну нас интересует – деятельности, мыследеятельности и т.д.) – два. И я эту свою задачу ре-

шаю. В этом смысле у меня отнюдь не проповедь, а демонстрация того, что должен делать, с моей точки зрения, каждый, кто хочет вести нормативный анализ. Он должен нарисовать такую четырех-позиционную схему (как шаблон), он должен в эмпирическом материале найти соответствующую ей ситуацию, будь то в практической работе, будь то в обучении (о чем я сейчас и буду говорить – как это накладывается). И он должен, соответственно, определить целый ряд параметров этой схемы. И тогда будет методика нормативного исследования нормативных представлений.

Поэтому это не проповедь. Там есть много механизмов, о которых вы говорите, и их нужно описывать. Но это тогда уже будет не нормативный анализ, а нормативно-деятельностный. Ведь что мне крайне важно, Виталий Владимирович? Допустим, я ученик (или младший научный сотрудник), я прихожу к учителю (или к завлабу) и говорю: Виталий Владимирович, вы вот поставили передо мной такую задачу, а у меня ни фига не получается...

Рубцов. Я так не работаю, Георгий Петрович.

Ладно – Иван Иванович, не вы. Иван Иванович, простите, что мне делать? И Иван Иванович отвечает: делать надо то-то и то-то.

Рубцов. Надо делать, как говорил мой учитель физкультуры, а не фиксировать.

Виталий Владимирович, вот тут я с вами принципиально не согласен. Мне очень симпатична мысль Мераба Константиновича Мамардашвили, который выражает ее в красивой гротескной форме – я позволю себе ее повторить. Мераб Константинович говорит так: если не обсуждать, то никакой любви вообще не получится.

Рубцов. И продолжает: но теперь, говорит, света уже нет, осталось одно светское общество.

Я понимаю, но давайте зафиксируем позиции. Итак, любви нет, если ее не обсуждать. А как растягивается эта структура в отношении к свету и тьме, это не имеет значения.

Рубцов. Нет, Георгий Петрович, как раз это и имеет значение.

Значит, мы зафиксировали позиции.

Рубцов. Да. Я предпочитаю не обсуждать, когда я делаю, и люблю в том числе.

Надо не вас спрашивать на этот счет.

Рубцов. Ну когда приходится спрашивать, тогда дело плохо.

Ведь моя основная мысль состоит в очень простой вещи (я еще раз

это повторяю): в этом второй признак нормативности. Первый признак нормативности – это то, что я прихожу к авторитету – к учителю или к начальнику – и спрашиваю, что мне делать, а он мне отвечает, освящая это своим авторитетом.

Неверкович. И говорит: живи, как я. И вы живете. Если получится.

Рубцов. Смотря какой начальник. Другой спрашивает: что принес?

Так вот, светское общество образовалось, когда начальники перестали выполнять свои функции. Таким образом, это ответ на вопрос, что должно делать.

Теперь второй момент, для меня крайне важный. Для того, кто спросил, самой реальной деятельности учителя, прошлой его деятельности, пока не существует. Он не знает, что там было. Он не исследователь, он ученик или исполнитель, производитель работ. Поэтому он не может проводить никакого исследования прошлого опыта. Для него в прошлом опыте существует только то, о чем ему сказал начальник или руководитель. Вот это крайне важная вещь: для нас, осуществляющих деятельность, в прошлом нет ничего и быть не может, кроме того, что нам расскажут другие. И тогда то, что мне сказали по поводу того, что делать и как надо действовать, – это я и воспроизвожу. А все прошлое в своей реальности начинает существовать через рассказ о том – теперь смотрите: модальность, – что там было или что должно было быть.

Учитель говорит: ты должен делать то-то, – и ученик воспроизводит это в своем действии, и через то, что он сделал в соответствии с текстом учителя, он теперь смотрит на прошлое. Возникла своего рода «призма», или способ представления мыследеятельности, зафиксированный в тексте. И я утверждаю, для игры, что вне этой призмы-текста в реальности мыследеятельности вообще ничего не существует и не может быть выявлено.

Виталий Владимирович, считайте, что я продолжаю с вами полемику, раз вы начали играть в эту игру. Смотрите, что я говорю. Если я теперь встану в позицию исследователя и задамся вопросом: так что же является материалом для исследователя мыследеятельности? – то ответ будет: тексты и только тексты.

Рубцов. Это профсоюзная форма организации: обмен мнениями, но не деятельностью.

Теперь давайте зафиксируем нашу жесткую оппозицию. Вы говорите: без разговоров. А я говорю: без разговоров и вне разговоров просто ничего не существует.

Рубцов. По поводу деятельности.

Вне разговоров и без разговоров по поводу, как вы говорите, деятельности, на мой взгляд, ничего не существует и не может существовать.

И вне включенного в нашу деятельность понимания текста, раз, вне реализации заданного нам в тексте долженствования, или нормативного представления, два, вне отношения этого текста к тому, что было зафиксировано в памяти и сознании говорящего, три, вне отношения этой памяти, образованной через рефлексию, к тому, что здесь (*указывает на схеме*) делал человек, четыре, – вне этого вообще нет ни фактов мыследеятельности, ни понятий, ни материала, ничего. Материал, который мы в мыследеятельности должны зафиксировать и исследовать, есть все это, пропущенное через тексты коммуникации, а следовательно, обязательно понимаемое соответствующим образом. Вне этого в самом этом действовании вообще ничего нет и быть не может.

Вот моя позиция. Здесь будут вопросы?

Давыдов. Вы закончили свой основной кусок?

Нет. Мне нужно десять минут, чтобы зафиксировать схему анализа.

Итак, я зафиксировал принцип своего подхода. Как же я должен работать теперь с этой схемой, задающей мне нормативное образование, накладывая ее на тот или иной материал? Я двойную работу проделываю: я ввожу понятие нормативного представления, с одной стороны, и осуществляю образец нормативной работы – с другой. Это надо различать и не путать.

Первое, что мне важно, это место получателя сообщения. Где он находится? Это что будет – ситуация практического действия или педагогическая ситуация, когда он имитирует практическое действие в структуре сферы обучения? Итак, мне нужно зафиксировать деятельное место получателя. Где у него возник разрыв – в рефлексивной ситуации преодоления разрыва, в ситуации, скажем, построения деятельности, в ситуации учения–научения, в ситуации самоорганизации, в ситуации саморазвития и т.д.? Какие у него цели – зачем он задает вопрос учителю?

Второе. Мне надо фиксировать место и позицию – новое понятие: «позиция» – создателя этого нормативного сообщения. Вспомните сферно-фокусную схему. Находится ли он внизу, в ситуации деятельности, находится ли он в методическом канале передачи опыта, в канале научной передачи опыта, в канале проекторочной передачи опыта и т.д. – это будут разные формы нормативных образований, соответствующие его месту в деятельности.

Третье. Мне нужна форма фиксации прошлого опыта и задания представления о должном действовании – опять-таки соответственно каналу, т.е. практико-методическая, научная, проектная, методологическая, историческая и т.д.

И мне нужно содержание знаний, фиксирующих опыт этой деятельности.

Итак, я закончил этот кусок. Значит, мне, для того чтобы это теперь описать, нужно зафиксировать место задающего вопрос, раз, место отве-

чающего, два, форму, в которой он фиксирует в тексте ответ – форму знания, три, и содержание знания, четыре. Эти четыре момента я теперь должен описать.

И тут я начинаю отвечать на вопрос, откуда берутся знания и вот эти нормативные представления. Смотрите, что здесь происходит. Тот, кто дает ответ, должен зафиксировать свой опыт в определенной форме. Это может быть форма, взятая в системе культуры или у других учителей. Если у других учителей – образуется бесконечный ряд таких форм, выводящий нас все время в прошлое, в предысторию всего этого.

Но кроме того, здесь должна быть зафиксирована проспективная ориентация содержания, т.е. отвечающий должен отвечать на вопрос (а следовательно, знать), зачем, для чего этот вопрос был задан и в какой ситуации находился спрашивающий. Появляется проспективная компонента содержания, деятельного содержания. И еще должна быть ретроспективная компонента содержания, т.е. отвечая на вопрос, что должен делать спрашивающий, строитель этой формы должен проанализировать свой опыт и решить, какие из ситуаций его прошлой деятельности соответствуют ситуациям спрашивающего, он должен дать ответ, адекватный своему прошлому опыту.

И, таким образом, я отвечаю, фактически, на вопрос, откуда берется знание. Всякое знание есть соединение прошлой формы и ее формального содержания с двумя компонентами актуального, рефлексивно выделяемого содержания: проспективного и ретроспективного (как извлекаемого из деятельности). Поэтому всякое знание не рождается из столкновения с объектом и ситуацией, как было у Иммануила Канта, оно каждый раз есть результат трансформации прошлых знаний, отложенных в виде форм мыслимости. И в этом величайший результат. Не из объекта мы извлекаем знания, а из прошлой истории; это есть форма приложения прошлого опыта к нынешней ситуации. Но это приложение заключается в том, что я беру форму с ее формальным содержанием (неважно, понятие это, категория, просто схема или еще что-то – у нее всегда есть формальное содержание). И я туда добавляю – за счет рефлексии, которая здесь совпадает с отражением в широком смысле слова – рефлексивное содержание будущей деятельности, т.е. произвожу ситуационную привязку. Вот что мне крайне важно.

Теперь буквально одно слово о том, что будет происходить дальше. Дальше я буду надстраивать над этой единицей следующие единицы и смотреть, как теперь та или иная позиция обобщателей опыта превращает это нормативное представление либо в нормативную модель, когда они начинают этот текст и это знание рассматривать как изображение того, что было в мыследеятельности, либо в нормативное предписание, когда они проектируют деятельность воплощающего. В том же случае, когда мы доводим это нормативное представление до культуры, оно превращается в образцы, эталоны, нормы, нормативы и т.д.

Иначе говоря, перефункционализация этой формы дает нам каждый раз новое образование. А проблемы, как же получилась первая форма, нет, ибо первая форма всегда берется из прошлой истории людей. И поэтому получается немножко парадоксальная вещь: нормативные представления возникают вне и без исследования. Не исследование порождает нам представление – исследование есть последующая надстройка над всем этим и особая переинтерпретация нормативных представлений.

Вообще, вопрос, откуда берется первое знание, неверный вопрос. Оно всегда есть, оно существует в истории и в культуре, и оно берется как форма. Это то, что разыгрывалось у нас сейчас в анализе игровой деятельности. Любая деятельность может стать игровой формой. Все, что было у человека, он может использовать как форму проигрывания чего-то. Весь вопрос в том, как он соединит форму и содержание. Но трудность состоит в том, что форма и содержание соединяются не только в нарисованной мной структуре, но и во всех надстраивающихся над нею структурах. И тогда получаются все эти виды нормативных представлений.

И дальше я просто должен показать, как они получаются. Ведь тот, который говорит, что надо делать, не захватывает всю деятельность целиком. Весь вопрос теперь, в каких формальных категориях он работает и что он фиксирует. Например, в одном случае он скажет: ты сначала делай это преобразование, потом это преобразование, потом это... Мы получим нормативное представление деятельности в преобразованиях. Или он скажет: ты делай эту операцию, эту... Мы получим представление деятельности в операциях.

3.

Две недели тому назад после неприлично затянувшегося резюме прошлого доклада я ввел в качестве основной коммуникативно-деятельностной единицы схему, включающую четыре позиции. Я ее сейчас перерисую. (Обращаю ваше внимание на то, что порядок, в котором я задаю эти символы позиций, тоже имеет свой смысл, я его потом буду обсуждать.)

Молодой научный сотрудник (или ученик – пока это неважно) пытается осуществить какую-то деятельность (опять-таки неважно, на какие знаковые средства и нормативные образования он при этом опирается, ибо это каждый раз морфология, которую можно менять, заполняя функциональное место). И в ходе построения или исполнения мыследеятельности он наталкивается на затруднения, или, иначе, у него появляются разрывы. И тогда первое, что он делает, это обращается с вопросом к старшему товарищу – руководителю лаборатории (или учителю). Но прежде чем задать такой вопрос, он должен выйти в рефлексивную позицию (я сейчас несколько меняю схему, вводя вместо четырех позиций шесть) и затем задать соответствующий вопрос. Он обращается за помощью и спрашивает, что ему здесь делать.

И тогда в действие вступает руководитель работ (или учитель), который по предположению знает, как это надо делать, и он дает соответствующий ответ. Этот старший товарищ (или учитель) выдает текст, содержащий – тут я ввел функционально понятие нормативного представления – нормативное представление того, что должен делать задавший вопрос.

И после этого я спрашиваю самого себя, что нужно автору этого текста ответа для того, чтобы он мог его построить и, соответственно, зафиксировать свой ответ в тексте. И мы приходим к такому традиционному для системодействительностного анализа ответу, что для этого нужна была соответствующая рефлексия (опять ставится фигурка позиционера со звездочкой) той прошлой деятельности, которую этот старший осуществлял раньше в одной ситуации или в нескольких ситуациях (поэтому я рисую несколько значков ситуации). При этом я подчеркиваю, что это отнюдь не единственный вариант. Например, такой ответ может быть получен учителем в ориентации на некоторую норму. Но это имеет место уже в достаточно развитых системах мыследеятельности, а мне нужна более простая структура, и поэтому из всех возможных вариантов я выбираю ту, которая является базовой, т.е. не предполагает никаких других образований.

Вообще, этот принцип минимума элементов являются крайне важным для подобных схематических построений, в них всегда предпочтение должно быть отдано более простой схеме, содержащей меньшее число функциональных элементов.

И я еще провожу вот эту штриховую линию, чтобы разделить по линии рефлексии план деятельности и план коммуникации.

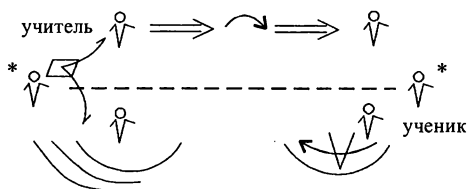


Рис. 7

Вот я задал такую схему и утверждал, что это – коммуникативно-деятельностная единица, т.е. та минимальная структура, которая дает возможность ввести представление, а потом понятие о нормативном представлении. Тут я делаю паузу и готов ответить на все вопросы.

– ...

Да, мог бы, если мы обращаемся к описанию возможных случаев. Но мне надо найти генетически первичную структуру, включающую минимум элементов, раз, и дающую основание выводить все другие, два. Я могу потом доказать – собственно говоря, на этом и будет построена, как я уже объявлял, вся дальнейшая работа, – что те случаи с обращением в транслируемую культуру, о которых вы говорите, являются развитием этого

случая. Больше того, ведь мне нужно ввести именно нормативное представление, а я утверждаю, что обращение строящего действие к культуре выводит его не на нормативное представление, а на более сложное образование. Поэтому я утверждаю – и это можно рассматривать как гипотезу, требующую проверки, – что именно вот такая структура, коммуникативно-деятельностная, дает нам нормативное представление. Это можно обратить: вот это – та структура, которая по понятию будет задавать нормативное представление. Иначе говоря, то, что получается здесь, в этом тексте, мы и будем называть нормативным представлением.

Лазарев. Георгий Петрович, а другой вариант, когда он сам находит такой способ? Может быть его рефлексия и есть первичная, потому что кто-то должен был найти этот способ.

Это красивый вопрос. Причем, он имеет под собой очень сложную подоплеку. Но я бы хотел вернуть вам этот вопрос: почему вы думаете, что если он находит, то это проще? А у меня этот критерий «проще – сложнее» является ведущим.

Лазарев. А как различать эти две ситуации по сложности или простоте?

Следующим образом: я запишу схематически обе – буду стремиться изобразить на доске все элементы ситуаций. Например, когда вы говорите: «Он выдумывает, находит, выявляет», – я буду спрашивать: «А что для этого нужно? Что значит “найти”?». А потом поставлю вопрос: какую структуру из какой я могу вывести? И мысль моя – она очень традиционна в этом смысле – состоит в том, что такая структура является самой простой. Вы естественно спрашиваете: «Почему? В психологистическом плане это несуразность». Но я обращаюсь к тезису Выготского «из интер- в интра-» и говорю: вот принцип, который дает мне возможность утверждать, что эта структура проще. Задается вот такое генетическое отношение – считается, что вообще что-то может появляться в человеке только извне, новое появляется извне.

Это очень смелый принцип. На совещании по Выготскому я пытался довести его до логического предела и формулировал тезис, что по Выготскому – я бы мог соответствующие тексты привести – психика не развивается, не может развиваться, и в этом смысл тезиса «из интер- в интра-», а не наоборот.

И вот весь этот набор принципов, фиксируемых в теории и методологии, раз, набор генетических разверток и сверток, два...

Лазарев. Георгий Петрович, чтобы было понятно: не развивается потому, что нет внутреннего источника развития?

Да. И вообще внутри ничего не появляется, и найти или выдумать что-то невозможно. Но я очень хорошо понимаю границы этих утвержде-

ний: это – в рамках определенной концепции, культурно-исторической. Если она неверна, то все эти послышки неверны.

Рубцов. *Георгий Петрович, наверное, так появляется нормативное представление...*

Я не говорю, что оно так появляется. Я вот так задаю эту функциональную структуру, с выходом на морфологию (значит, я буду проводить системную проработку этой схемы), и говорю, что эта схема является той минимальной коммуникативно-деятельностной структурой, которая позволяет нам ввести понятие о нормативном представлении. Как оно появляется – меня это вообще пока не интересует.

Рубцов. *Тогда мой вопрос состоит в следующем: нормативное представление чего или нормативное представление о чем?*

Просто нормативное представление.

Рубцов. *Объясните вот это.*

Сейчас буду объяснять, но пока что надо зафиксировать – это мой основной тезис, – что нормативные представления не имеют содержания. Собственно говоря, этот тезис я и ввожу на этой схеме и теперь буду это разъяснять.

Я не обсуждаю вопроса, как появляются нормативные представления, об этом я скажу чуть дальше. Я задаю такую структуру коммуникации и мыследеятельности, которая позволяет нам сначала функционально ввести понятие нормативного представления. Причем, делать я это буду, двигаясь от этой структуры к определению нормативного представления. Фактически, я говорю: это и есть коммуникативно-деятельная структура нормативного представления. И добавляю: по определению.

Итак, я утверждаю, что эта структура проще всех тех, которые я буду строить дальше. Очень точно в прошлый раз Давыдов спрашивал: «Вы собираетесь использовать это феноменально или теоретически?». Я отвечал: «Теоретически». – «Тогда вы должны это развертывать». – «Да, конечно, это основная моя установка». Поэтому реально я кладу это после очень сложной работы перебора всех подобных схем и выяснения, какие из них проще, а какие сложнее с точки зрения возможных представлений о развитии мыследеятельности. И там у меня имеется сложный набор различных схем такого рода и отношений их разворачивания или развития. Но пока что это принцип, или гипотеза, и проверке подлежат все наборы схем вместе со схемами выведения.

Еще есть вопросы или замечания?

Теперь давайте смотреть, что же здесь изображено, смотреть, учитывая все то, что я рассказывал до этого, включая схему переноса опыта и сферно-фокусную схему со всеми ее ответвлениями. Я эти две «призмы»

уже имею и смотрю на эту схему сквозь них. И я начинаю из того, что там уже обсуждалось, вытягивать определенные характеристики.

Первое, что мы с вами зафиксировали, это то, что этот текст (и выраженное в нем нормативное представление) всегда содержит двойную ориентацию: проспективную и ретроспективную. Рождается этот текст как переход из прошлого в будущее через настоящее, в котором находятся те, кто задают вопросы.

Настоящим является коммуникация, и она разворачивается в своем времени, во времени настоящего. Та деятельность, которая будет потом построена учеником или младшим научным сотрудником, находится в будущем, а те ситуации прошлой деятельности, к которым обращается учитель или старший научный сотрудник, находятся в прошлом. И это семиотическое или эпистемическое образование – нормативное представление – имеет такую двойную ориентацию: в будущее и в прошлое из настоящего. И оно втягивает эти ситуации: будущую, прошлую и коммуникативную ситуацию, которая находится в настоящем. Вот такая координация и стяжка времен.

Второй тезис. Нормативное представление как таковое должно быть понято, оно понимается, и в этом плане оно несет смысл, но не имеет содержания. Говорить при данном наборе позиций о содержании нормативного представления, а следовательно, о том, что оно выражает, нормативным представлением чего оно является – бессмысленно. Нет такой позиции, с которой этот вопрос мог бы быть задан. Для того чтобы ставить эти вопросы, нужно ввести дополнительный ряд позиций и усложнить эту структуру. Это утверждение делается на доске, в этой схеме, но понимать его можно и эмпирически. Пока что само по себе нормативное представление содержания не имеет, а несет в себе только смысл, который должен быть понят на этом полюсе, справа. Поэтому нельзя говорить «представление чего?».

Я бы мог сказать иначе: что это нормативное образование – некая структура, а не представление, поскольку слово «представление» требует дополнения (представление чего?). Но я фактически ревизую и понятие представления. Я говорю, что термин «представление» мы обычно употребляем – и это соответствует любым традициям: философским, психологическим, педагогическим – для таких семиотических структур, которые могут быть поняты. При этом мы смешиваем два плана: смысл, который выявляется через понимание, и содержание, которое выявляется через рефлексию. И вот поскольку мы это, как правило, смешиваем, я могу здесь, не расходясь с традицией, употреблять выражение «нормативное представление».

Таким образом, нормативное представление должно первоначально рассматриваться само по себе и в себе, без введения дополнительных рефлексивных позиций.

Следующий момент. Нормативное представление ситуативно. Оно появляется, с одной стороны, в ситуации деятельности, с другой – в ситу-

ации коммуникации, и этом смысле оно дважды ситуативно и предназначено восполнить разрыв в деятельности ученика или младшего научного сотрудника. Поэтому нормативное представление выступает как средство построения деятельности. И вот это – быть средством – очень важное определение. Поэтому, как вы уже догадываетесь, я опять здесь иду вслед за Выготским и считаю, что это положение у него было крайне важным.

В чем я иду вслед за Выготским? Я, во-первых, утверждаю примат знака над знанием и говорю: сначала идет знак, потом он превращается или может быть превращен в знание. И, во-вторых, я иду вслед за ним в тезисе, что знак выступает прежде всего как средство построения деятельности или как средство овладения своей психикой в построении этого действия. И только потом это средство может стать соответствующим знанием.

Итак, знак первичен по отношению к знанию. Подавляющее большинство знаков, используемых нами в коммуникации, в мышлении и в деятельности, знаний не несут. Это очень резкий тезис. Но в этой схеме и во всем дальнейшем оперировании это и фиксируется.

Значит, нормативное представление не есть представление «чего» или «о чем», нормативное представление есть знаковое образование, которое несет значение. С одной стороны, оно ориентировано на систему языка и тем самым имеет смысл за счет понимания, с другой стороны, его смысл и значение суть смысл и значение средства построения мыследеятельности или средства заполнения ситуационного разрыва. И это, говорю я, исходное.

Следующий момент. Нормативное представление как такое знаковое образование всегда выступает как дополнение к тем умениям и способностям, которые имеет действующий или мыслящий человек, как добавка по отношению к целостности того процесса мыследействия, который он должен осуществить. Можно сказать, что это – требование к нормативному представлению.

Лазарев. Что значит добавка? Как они соотносятся?

Я, фактически, на этот вопрос и отвечаю. Я могу теперь сформулировать требование и ответить на вопрос, что такое нормативное представление, но в очень сложной модальности, модальности долженствования. Я говорю так: нормативное представление, которое дает учитель или старший научный сотрудник, должно быть таким, чтобы оно давало возможность индивиду при имеющихся у него умениях и способностях построить или достроить ту деятельность, которая ему задана.

Лазарев. Если бы я сказал, что нормативное представление организует эти навыки, вы бы с этим согласились?

Я бы с этим согласился, но сказал бы, что это – вторичная функция, возникающая через последующие рефлексии. Я ведь должен перейти к

левому полюсу и обсудить, как строится это нормативное представление. И я, начиная этот переход, говорю, что нормативное представление, получаемое учеником или младшим научным сотрудником, только в том случае будет нормативным представлением, будет удовлетворять своей функции, если оно будет давать ему возможность построить деятельность, а следовательно, оно, во-первых, должно заполнять разрыв, возникший у него в этой ситуации, я об этом сказал раньше, а во-вторых, должно дополнять его умения и способности. Что это значит, что возник разрыв? Это значит, что образовалась нехватка в имеющихся у него способах деятельности, способностях и умениях. Не может он. А получив нормативное представление, он теперь должен смочь. Но это *он* должен смочь, следовательно, всякое нормативное представление ситуационно и в том смысле, что учитель или старший научный сотрудник вводит его для данного индивида, чтобы обеспечить *его* мыследеятельность. <...>

Следующий пункт. Нормативное представление создается креативно. Тем самым я снимаю вопрос о том, как это все возникает, происходит; я отвечаю очень просто: нормативное представление каждый раз создается учителем или старшим научным сотрудником. И ничего больше искать не нужно, это – предел. И в этом смысле оно здесь впервые возникает, делается. Но каким образом? Для того чтобы получить нормативное представление по функции, учитель или старший научный сотрудник должен рефлексировать не столько и не только прошлый свой опыт, но и ту ситуацию, в которой находится ученик или младший научный сотрудник, разрыв, у него возникший, отвечать на вопрос, в чем причины этого разрыва, т.е. чего у него не хватает, и давать ему соответствующее представление с учетом всего этого.

Следовательно, в его рефлексии будущая ситуация рефлексировается как ситуация настоящего, уже возникающая, или как ситуация только что свершившегося прошлого. Мы же предполагали этот вопрос: «Что мне делать?». Так вот учитель должен это проанализировать, и там идут очень сложные развертки, причем в схемах причинного объяснения – он ищет источники, причины. Это то, что, скажем, в инженерной психологии анализируется как причины и источники ошибок. Тут будет сложнейшая развертка этой рефлексии и введение потом мыслительных средств. Но сначала я фиксирую лишь то, что он должен здесь проделать: он должен рефлексировать, с одной стороны, эту новую ситуацию, а с другой – весь свой прошлый опыт и, соответственно, подстраивать это нормативное представление под новую ситуацию на базе прошлых ситуаций. А это означает – соотносить новую чужую ситуацию с прошлыми чужими или своими ситуациями, стягивать их в одно целое.

Перехожу к следующему пункту. Я, следуя точно вслед за Фихте, различаю развитие чего-то, которое должно быть представлено траекторно, и образование или творение и утверждаю, что ничто в ситуации не происходит внове, что в основании всегда лежит апелляция молодого че-

ловека к старому, и в этом смысле в основании всего лежит процесс переноса опыта. Этот опыт никогда не возникает впервые. И, вообще, ставить вопрос, как же что-то впервые появляется, бессмысленно, это некорректный вопрос. Никогда ничего не появляется, все переносится из прошлого.

Лазарев. ... когда вы кружочек возле «головастика» обвели, вы нарисовали функциональное место. А раз вы нарисовали функциональное место, это значит, что есть нечто большее, целое, куда это место включено. Тогда другой «головастик», дающий предписание, должен знать об этом целом.

Да. Но смотрите: понятие единицы в его отличии от понятия элемента и заключается в том, что оно дает нам возможность вести подобную проектировочную работу. И в этом я опять иду вслед за Выготским. Поскольку, что такое единица? Это такое квазиструктурное, а на деле организационное, образование, на границах которого связи с объемлющим целым могут быть элиминированы. Поэтому, смотрите как я отвечаю: конечно же, этот учитель должен знать все на свете и вообще быть, как Ян Амос Коменский, самым культурным человеком своего времени – тогда он может быть учителем, то бишь знать все. Но меня это не интересует, поскольку я работаю методом единиц и говорю: он знает то, что он знает.

Лазарев. Он должен начать анализировать большую ситуацию точно так же, как эту ситуацию.

Нет. Единица – это такая оргструктура в целом, которая может быть вынута и останется той же самой. И объемлющее целое тоже останется при этом тем же самым.

Лазарев. Ведь оттого, что я сказал, что в единицу включается необходимость анализа целого, само целое не втягивается в эту единицу.

У меня немножко другой ход. Я понимаю все то, о чем вы говорите, но я как бы один раз говорю вам «нет», а другой раз – «да». И операционально так и делаю: сначала я фиксирую «нет», а потом я фиксирую «да». Каким образом? Я говорю «нет», поскольку это единица и я ее вынимаю, значит, здесь должен быть учитель и больше ничего. Вы мне говорите: «А что значит учитель?». Я отвечаю: учитель – это не тот, который анализирует, учитель – это тот, который знает. И потому отвечаю: да. А что он знает? Он знает все, что нужно, чтобы ответить на этот вопрос.

Лазарев. Раз он все знает, ему не нужно анализировать ситуацию.

Я ведь как говорю: он не анализирует, он отвечает.

Лазарев. Но там у вас – еще стрелочка.

Эта стрелочка идет от табло сознания – он рефлектирует, то бишь отражает. Как это происходит, он сам не знает. Он отвечает. И при этом он

ничего не анализирует, он просто отвечает. Это точно соответствует практике работы. Откуда он это взял? «Из подсознания», – говорят сторонники этой концепции. А я говорю: мне не надо отвечать на этот вопрос – важно, что это у него в морфологии. Я потом эту морфологию растяну генетически за счет всего предшествующего хода его формирования, развития и буду смотреть, какие знания когда у него получались, когда он перестал анализировать, а начал просто отвечать, когда ему стало скучно и он вообще больше не задумывается, а лепит, то что он знает... И буду фиксировать ошибки, которые получаются. Мне важно, что он отвечает и выдает это нормативное представление. Эффективно оно или неэффективно – это ученик или младший научный сотрудник будет выяснять, а он обязан ответить, и как можно быстрее, в четкие, жесткие сроки.

***Рубцов.** Если вы не ставите вопрос, откуда он это взял, и говорите «из подсознания», так откуда он это взял?*

Он не взял. Очень красивый ответ всегда давал Виталий Яковлевич Дубровский со ссылкой на Миллера, Прибрама и Галантера: «Мы эти шляпки имеем».

***Рубцов.** И в этом они были не правы.*

Нет, правы. Потому что они последовательно проводили структурно-функциональный анализ. А их спрашивают: «Каковы тут генетические отношения?». Они говорят: «Какие генетические отношения? Это в другой главе». И смысл дела в различении того и другого. В чем был не прав Виталий Яковлевич? В том, что он долгое время не отвечал на вопрос о логических методах такого своего ответа, т.е. какая процедура за этим стоит. Это не было проработано. А теперь я отвечаю на этот вопрос: за этим стоит логическая процедура системного анализа, жестко различающего структурно-функциональные единицы и морфологические элементы – вот что мне сейчас важно.

***Рубцов.** В том, что вы нарисовали, действительно, есть какая-то полнота, скажем, но для меня это полнота результата той самой логической процедуры, на которую вы сейчас указали. Это как бы картинка такая, которая в полноте берет этот самый результат.*

За счет нескольких смешных трюков. Мы же не можем анализировать все. Вот мы приехали в Киев и начинаем описывать там деятельность проектирования. Но мы не можем брать всю культуру и начинать ее анализировать. Нам надо взять маленькое, но полно. Локально, но полно, чтобы у нас ошибок не было. При этом нужно задать метод. И трюк здесь состоит в растяжке «по главам». Задав такую структуру и отделив то, что он знает, мы можем описать это и зафиксировать в этой частичной полноте.

Так вот это и надо освоить и отработать. Это и есть метод нормативного анализа. Что значит освоить метод нормативного анализа? Уметь строить такие структурно-функциональные единицы, отрезая все то, что можно рассмотреть потом. А что значит, Виталий Владимирович, «потом»? Это значит, что, чтобы я там ни вводил, это не повлияет на мои теперешние утверждения. Смотрите, какой хитрый метод. Вроде бы вы говорите так: вся работа здесь зависит от того, что он знает, на что он ориентируется, что он начинает анализировать. Я говорю: ничего подобного – не зависит. Мы задаем эту единицу, а все остальное начинаем свертывать туда морфологически. И мы должны это сознавать.

Рубцов. Я принимаю это. Вы берете эту схему, и с ее полнотой я могу согласиться, если я рассматриваю ее как полно выражающую результат.

Какой результат?

Рубцов. Некоторых процессов, которые приводят к такому акту.

Ничего подобного. Меня это вообще не интересует. Туфта все это. Я даже могу для игры вообще встать в оппозицию к вам и сказать: вы воспитаны на разговорах про генетический метод. Плюньте вы на него, потому что он сам по себе ничего вам не дает, кроме непрерывного расширения проблем и невозможности задать это предметно. Работайте сначала структурно, выделяя такие единицы, а все вопросы о том, что там генетически в объекте происходит, вырубайте. Потом их надо рассматривать – тогда они будут осмысленны, а сначала не нужно этого вопроса.

Рубцов. К чему эта схема относится целиком, как единица?

Это есть «яблоко из задачи» (по Гольдштейну). Я дальше эти схематизмы по определенной логике и по определенным правилам разворачивать буду. Это единственное, что сейчас нужно в теории. Я разворачивать это буду и на базе этой схемы получу все остальное.

Рубцов. Что «все остальное»?

Вот у меня записано: методику, алгоритм, проект, описание, онтологическую картину, модель, норму, норматив, основание оценки и т.д.

Рубцов. Я говорю, что все то, что вы получите, к механизмам передачи опыта никакого отношения не имеет, а будет иметь отношение к очень интересной действительности, я не знаю как ее назвать... Мышления, скажем, – той действительности, в которой мы сами ухватываем потом то, как происходит передача опыта. То есть это какой-то второй, очень интересный план.

Я понимаю прекрасно и говорю: вы правы, но вы не дослушали мой доклад до конца, поскольку я дальше покажу, почему вы говорите так и

что у вас при этом происходит. Я сейчас здесь нарисовал нормативное представление, а вы уже выпали в рефлексивную позицию и начинаете меня спрашивать, есть ли здесь модель, отражает ли это...

Рубцов. *Георгий Петрович, вот что мне важно здесь зафиксировать: то, что вы делаете, есть очень интересная картотека развертывания нормативных представлений. И вы мне на это ответили: да.*

Нет.

Рубцов. *Кроме этого ничего другого быть не может.*

Нет, потому что нормативные представления я, конечно, выведу, и все это есть, и в этом смысле вы правы, но у вас смысл-то какой: *только* нормативные представления. Я говорю: ничего подобного, потому что я вам через два шага покажу и продемонстрирую, как из этого выводится всё: описания, модели ...

Рубцов. *Подожду.*

Но вы поняли ответ? Нормативные – да, но и все другие.

– *Если эта схема – единица, то она должна быть каким-то образом на себя замкнута – таким образом, чтобы не надо было уходить в бесконечность, надстраивать над ней что-то. Потому что ведь может быть так, что этот учитель – он тоже в отношении к кому-то ученик и т.д. Правильно ли я понял, что вы ее замыкаете через приписывание фигуре учителя Моисеевых черт: что он все знает, все понимает и в данной ситуации вот так работает и выдумывает, а как – это неважно. Вот это есть замыкание этой единицы?*

Он ничего не выдумывает...

– *Ищет.*

Первое. Да, вы правы, но почему «Моисеевы черты»? Это черты всякого человека, и чем менее он грамотен, тем увереннее он это делает. Второе. Он ничего не анализирует, ничего не ищет – он есть. Когда я, молодой и неопытный, строю деятельность, то рядом есть такие малоуважаемые мною люди, как профессор Павел Сергеевич Попов и профессор Виталий Иванович Черкесов. Мало я их уважаю и считаю, что они малограмотные, но они, обратите внимание, есть. И поэтому каждый из них может меня завалить на обсуждении текстов Канта, хотя я очень увлекаюсь Кантом. Принесет какое-нибудь немецкое издание, которое он уже прочел за счет возрастной разницы в сорок лет, и спросит меня: «А вот в главе об антиномиях, что там Иммануил Кант сказал по поводу понятия? Не знаете? Троечка!».

Эльконин Б.Д. *И эти деятели – они и есть те, кто задают нормативные представления?*

Конечно, Борис Даниилович. Причем, меня абсолютно не интересует, грамотные они или нет. Важно, что они уже ничего не анализируют, вообще не вникают в существо дела, но отвечают регулярно и точно.

– Но вы же их должны на эту ситуацию замкнуть, Георгий Петрович.

А они и замкнуты на эту ситуацию, поскольку он здесь стоит, и он в этой ситуации либо завлаб, либо учитель. И хоть ты тут тресни! А приходится его спрашивать, получать от него задание и предписание, как делать.

– У вас затруднение по Канту или нет? Вы обратились к нему, чтобы он объяснил...

Я не обратился – он меня вызвал на экзамен. Я к нему не обращаюсь, но он, обратите внимание, стимулирует мой ответ и говорит: «Скажите мне по поводу Канта...». Это же тот предшествующий текст коммуникации, который нас приводит к этой ситуации.

– Но у вас же схема иная. У вас сначала затруднение, и с затруднением вы обратились к учителю.

Это не имеет никакого значения. Я могу ее как угодно развернуть в коммуникативном плане – ничего не изменится. В этом и состоит трюк, поймите. Я же обсуждаю, как «расклепывать» структурно-функциональный и морфологический планы, метод меня интересует, и говорю: необходимо жестко различать структурно-функциональные схемы и схемы морфологические. Если мы этого не будем делать, мы работать не сможем, уже не можем работать.

И как же это различать? Вот смотрите: я стою здесь в пиджаке и брюках – где тут у меня функция, где морфология? Непросто это. И я рассказываю, как на схеме мы это делаем. И трюк-то – тот самый, который Борис Даниилович зафиксировал, а именно: мы кладем его в функции учителя, и ни фига он не анализирует, он отвечает на вопросы так, как он знает.

Рубцов. Георгий Петрович, но он же сумасшедший.

Наоборот. Это нормальная, стандартная ситуация. Вот вы немножко дольше побудете завлабом и поймете, что это так. Ведь меня не интересует абсолютно, как он это получил. Я говорю, что это все вопросы из следующей главы. Что я сделал? Я дал возможность сдвинуть их на следующую главу, обсуждать потом, и говорю: в этом логическая идея и смысл. Не нужно нам при анализе нормативных представлений задавать вопрос, откуда они возникли. Нам надо положить учителя как представителя прошлого и сказать, что через него прошлые ситуации деятельности входят в новую ситуацию морфологически, не структурно-функционально. И в этом вся идея.

Рубцов. Георгий Петрович, это есть фиксация самой единицы?

Я задаю операцию, прием фиксации единицы. И говорю: и вот так можно и нужно во всех подобных случаях работать.

Громыко Ю.В. По поводу этой единицы. Кажется, что здесь вами еще такой прием используется: задается соответствие затруднений и ответов учителя...

Обязательно. Поэтому я специально говорю: оно ситуативно. Потому что, вообще-то, есть требование, чтобы он сказал ровно столько, чтобы этот ученик при его способностях, умениях, навыках, средствах, в этой ситуации...

Громыко. ... что вы на самом деле с какой-то позиции для себя определяли те допуски и ограничения, которыми владеют эти Черкесов и Попов.

Это я сейчас – здесь стоящий, а не там. Если бы я там это определял, а не был бы догматиком и идиотом, то все было бы иначе.

Громыко. Я понимаю. Но при этом вы все равно как-то границы допустимых ответов на ваши вопросы по текстам Канта для себя определили.

Сейчас или тогда?

Громыко. И тогда тоже.

Какой же ученик знает, на какие вопросы ему учитель ответит, а на какие нет? Если бы кто-нибудь когда-нибудь это знал, то многих неприятностей не было бы. Юрий Вячеславович говорит: «Я, когда задаю вопрос “что мне здесь делать?”, знаю, что мне может ответить мой учитель». Да ничего я не знал! Он – учитель, а я спрашиваю, и я обязан спрашивать, поскольку он мне все время твердит: задавайте любые вопросы, нет глупых вопросов.

Громыко. Фактически, поиск этой единицы, когда вы сейчас из рефлексии это делаете, связан с тем, что вы должны, по идее, дойти до той черточки, когда этот ученик будет уже знать о допусках ответа.

Нет. Ничего этого не нужно. Вы уже развернули эту схему дальше, вы уже вводите следующие структурные схемы и не замечаете этого. Мне же нужно отсекал недопустимые уровни и ранги рефлексии, потому что каждая следующая рефлексия будет нас приводить к более сложным структурно-функциональным схемам.

Громыко. Вроде бы, чтобы задать эту единицу, нужно как-то выделиться это соответствие между затруднениями и ответом учителя.

Юрий Вячеславович, я, стоящий здесь у доски, все обсудил, но вы ведь не про меня говорите, а про ученика. Давайте различим меня, описы-

вающего эту единицу, и ученика, работающего в этой единице и задающего вопросы учителю – это совершенно разные вещи.

Громыко. *Вроде бы, чтобы мне как слушающему взять эту единицу, мне нужно определить единицу как отдельное целое, неразворачиваемое и ненадстраиваемое. Я должен для себя выделить как-то, как слушающий и относящийся к вашему докладу, какое-то соответствие...*

Правильно. Вы метод мой понять должны, а метод состоит в том, что мне надо задать единицу, т.е. отрезать все связи, выводящие меня в бесконечное количество элементов, – вот что мне надо сделать. И прием особый придумать, поскольку, смотрите, как у Гегеля это сказано: «Все со всем в мире связано». И каждый акт деятельности связан с бесконечным числом других актов деятельности. Но мы же не можем анализировать, опираясь на этот принцип. Поэтому Гегель, конечно, прав – все со всем связано, – но наука строится на отрицании этого принципа. И до тех пор пока я не могу эти связи разорвать и ограничить, я не могу вести исследование.

За счет чего же это делается? За счет метода морфологического включения. Я строю такую функциональную структуру. При этом я знаю, что в реальности там еще много-много связей – я должен их учесть в ходе дальнейшей работы. Каким образом? Я ставлю фигурку человека в определенное функциональное место, говорю, что он – учитель, и буду теперь через эту дырку морфологически вводить все остальное, меняя функциональные структуры и схемы. У меня теперь весь мир может войти сюда через морфологическое наполнение этого места. Это один прием. И другой – это разворачивание этой функциональной структуры, т.е. усложнение ее. И надо эти два приема различить.

Почему у нас возникают эти вопросы? Потому что вы каждый раз спрашиваете не на уровне принципа различения структурно-функционального и морфологического, а вы спрашиваете, как это в каждом конкретном случае делается. А я отвечаю, что, вообще-то, на вопрос ученика может развернуться структура любой сложности. Мне же нужно зафиксировать простейшую.

Громыко. *Георгий Петрович, вроде бы возникает впечатление, что эта схема построена на таком парадоксе: с одной стороны, разрывы в деятельности ученика должны возникать независимо от учителя, а с другой – они должны быть как-то соотнесены с прошлыми ситуациями его деятельности.*

Нет, потому что учитель может ответить: не знаю.

Громыко. *Но это тем самым все равно фиксация их соотнесения – разрывных ситуаций и ситуаций учения.*

Правильно, но мне-то, следовательно, принцип этот не нужен.

Громыко. Почему? Он вроде бы учитывается, но в такой обратной форме – утверждается, что не нужен, но все равно учитывается.

Юрии Вячеславович, я, по-видимому, чего-то здесь не схватываю. Давайте это обсудим отдельно. Мне кажется, что это не туда.

И последнее положение (я на этом заканчиваю этот параграф). Нормативное представление не является предписанием, проектом, описанием или знанием. Оно есть нормативное представление. Поскольку в нем проективные и ретроспективные ориентации не различены и не разведены. И точно так же не разведены средственные, операциональные, объектные, способностные планы. Это есть форма фиксации некоего безличного средства. Поэтому нормативное представление берется учеником или младшим научным сотрудником, употребляется как орудие понимания, а не рефлексивного анализа, его должно быть достаточно на уровне понимания.

И все вопросы – что оно изображает? про операции оно или про объекты? и т.д. – здесь незаконны, в нормативном представлении все это не различается. И точно так же здесь бессмысленно спрашивать: это нормативное представление про прошлую ситуацию или про будущую, или про настоящую? Все это нерелевантно.

Поэтому я не согласен с возражением Рубцова, когда он сказал, что это не про перенос опыта. Именно про перенос опыта, и ничего больше здесь нет. А в переносе опыта, когда вы берете нормативное представление, нет различия между будущим, прошлым и настоящим, нет различия операций и объектов, способностей. Оно есть само в себе, оно несет свой собственный смысл, смысл орудия или средства, которое может быть употреблено. Именно поэтому я говорю, что учитель знает это. Он не анализирует пока, по моим предположениям, не создает его как проект или как описание. Он знает и отвечает.

Единственное, что здесь работает, это рефлексия ситуации, в которую попал ученик, и прошлой ситуации, то бишь отражение. Оно происходит моментально, оно не процедурно – вот что мне важно. Поэтому я говорю, что рефлексия не есть анализ, рефлексия есть отражение: погладел, увидел и говорю то, что вижу. Это очень важное положение – последнее в этом параграфе. Есть вопросы и замечания?

Тогда я двинулся дальше. Мне нужен только последний, суммарный шаг.

Я вновь привлекаю сферно-фокусную схему. Предполагается, что над ситуациями может надстраиваться любое число различных форм фиксации опыта. Я их обсуждал в прошлый раз – методические, научные, проектные и т.д. Каждый из этих слоев является рефлексивным по отношению к прошлой ситуации и происходящей здесь коммуникации. И основной тезис, кстати, очень важный в принципиальном плане: нарисованная схема дает нам коммуникативно-деятельностную единицу (рис. 8).

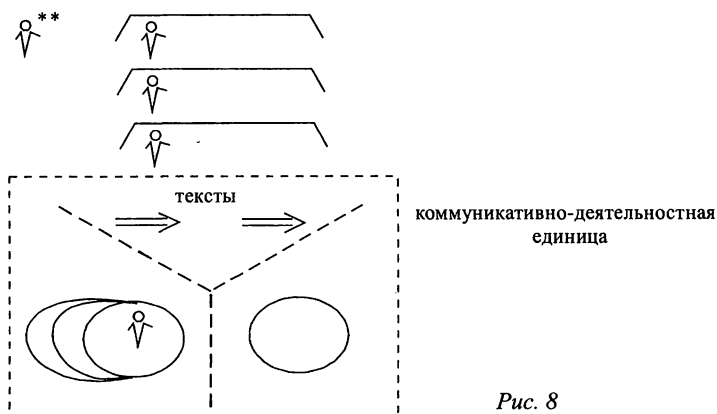


Рис. 8

Жаль, что ушел Рубцов. В прошлый раз у нас возникла дискуссия. Я сказал, что абстракция действующая (как я теперь понимаю – хотя в течение многих лет я стоял на базе этой абстракции) – это глупейшая абстракция, которая закрывает для нас все возможности исследования. Не существует никаких действий и действований в человеческом мире – там есть только мыследействие. В любое действование в том или ином виде включена как органический момент коммуникация, в частности с нормативными представлениями.

Нормативные представления образуют базу коммуникации, базу того, что мы все время передаем. И вне этих нормативных представлений никаких действий и деятельности вообще не существует и существовать не может. Хотя дальше, в этих надстроечных образованиях, они могут появиться как идеальные объекты – действование, действие и т.д. Но это не здесь, не в реальной мыследеятельности. Как раз в реальности нет действующая, а есть только мыследействие, включающее коммуникацию. Это означает, что дальше реальным материалом нашего анализа в любой из рефлексивных позиций – методической, научной – становятся эти структуры, коммуникативно-деятельностные, где то, что происходит в ситуациях прошлого опыта, в ситуациях будущего, всегда уже опосредовано теми или иными нормативными представлениями.

Лазарев. Георгий Петрович, это вообще означает очень многое. Это означает, что так называемой индивидуальной деятельности в роли единицы вообще не существует.

Конечно, я говорю это уже 20 лет. Это все, с моей точки зрения, величайший нонсенс.

– ...

Конечно, я этого не скрываю и тоже все время высказываю в очень резких формах. Я говорю: абстракции, которые ввел А.Н.Леонтьев, не дают

нам возможности исследовать этот мир. Это есть самый большой самообман, какой только существует.

Итак, в методической форме передачи опыта, в научной, в проектной формах работа начинается вот с этих нормативных представлений. Основное и единственное, что мы все время имеем в качестве материала, это акты коммуникации от старших к младшим, от младших к старшим, в которых движутся нормативные представления. И именно эти нормативные представления, движущиеся в процессе коллективной мыследеятельности, понятые нами за счет заимствования тех или иных позиций – это тоже очень важный тезис, – и становятся предметом нашего рефлексивного анализа.

Что здесь важно? Мы, во-первых, должны понять эти тексты, увидеть благодаря пониманию свои действия через тексты, а тексты через действия, а уже потом задавать себе все возможные вопросы: что это такое? что здесь представлено? чем являются эти образования? и т.д. Нет никаких действий вне текстов коммуникации и быть не может. И предметом анализа как раз становятся эти тексты коммуникации, нами определенным образом, обыденно, по человечески, понятые.

Следовательно, Валерий Семенович, я утверждаю следующую очень важную вещь: и не могут в психологии или вообще при изучении мыследеятельности работать какие-либо так называемые объективные методы, их просто в принципе не может быть в естественнонаучном смысле. А уж если мы хотим говорить об объективных методах анализа, противопоставляя их интроспекции и другим субъективным методам, мы должны рассмотреть значение и роль понимания текстов коммуникации как того, что предшествует так называемому объективному анализу, и объяснить, каким образом мы применяем объективный анализ к нами понятому.

Лазарев. Георгий Петрович, тому, кто понимает, что-то противостоит? Когда вы говорите об интериоризации...

Я об интериоризации не говорю. Что ему противостоит? Тексты.

Лазарев. Правильно. Тексты в знаках, а у каждого знака есть значение определенное, а смысл мы понимаем.

Понял ваше замечание. Значение, действительно, есть; оно определяется по употреблению.

Лазарев. Психология, для того чтобы понять понимание, должна изучать знак и значение, и Выготский на это указывал. И в этом смысле она из «подкожной» психологии выходит во внешний мир.

А я ведь не считаю эту психологию «подкожной». Я ее считаю объективной. И я не против объективной психологии, я против традиционной трактовки объективности психологии в естественнонаучном или натуралистическом смысле – это первое. Второе. Вы затрагиваете здесь неверо-

ятно важный момент. Опять-таки его зафиксировал Выготский, и это до сих пор никак не эксплуатируется, а именно проблему отношения между материалом знаков в текстах и значением. С чем мы здесь сталкиваемся? С проблемой отношения психологии к лингвистическому методу. И тут мы должны включать собственно деятельностные представления, они здесь нужны.

И это есть момент надындивидуальный, потому что, как говорил Гумбольдт, не человек овладевает языком, а язык овладевает человеком. И, следовательно, когда мы уже нечто поняли, а понимаем мы в том числе и с помощью языка, мы приобщились к этой гигантской системе, и это есть момент деятельностной организации или деятельностной сообразности этой ситуации и этой единицы. Только в том случае она будет собственно деятельностной единицей, если она включена в эту систему. Но до сих пор, несмотря на эти идеи Выготского, проблема соотношения текстов речи, взятых в их отношении к мыследействию, и текстов, взятых в их отношении к языку, не поднималась и не обсуждалась. Поэтому – я уже говорил здесь как-то об этом – из психологического анализа выпал весь план нормативности. У нас реально нет исследований, посвященных психологии нормативности и роли нормативов в построении тех или иных процессов действия. Удивительно, но это факт. И это тоже надо обсуждать – почему так происходит.

Так вот, говорю я теперь, тот смысл, который рождается за счет понимания, не тождественен значениям. И поэтому сами тексты речи оказываются на пересечении двух рядов отношений, каждому из которых соответствует свой особый метод анализа, и это то, что мы пытались обсуждать на «Круглом столе 4»: категории, знак, знание, действие в психологии.

Вопрос заключается в следующем. Когда лингвист говорит о знаке, то он берет знак как реализованный в текстах речи по отношению к системе языка. Вот что такое для него знак. И история семиотики это еще раз проиграла. Когда знак начинает рассматривать психолог, то его этот аспект – отношение к системам языка – не интересует, он не психологический. Он берет совершенно другой план – отношения этого текста через понимание–смысл к действию в ситуации. Вот что он берет, и вот что его интересует.

Как сочленишь эти два плана – план отношения к языку, соответствующий лингвистическому методу представления текстов речи, и психологический метод (тексты берутся с их смыслом в отношении к мыследействию) – это, на мой взгляд, важнейшая проблема. Ее нужно обсуждать особо, и без этого дальнейший психологический анализ этого круга вопросов невозможен. И, собственно говоря, на этом после Выготского все и остановилось. Мы сейчас должны вернуться назад и начать двигаться снова, включив какие-то маленькие прорывы сквозь чисто действительные представления реальности.

Поэтому я бы зафиксировал этот вопрос. Но утверждаю я следующее: не значение должен понять рефлектирующий – рефлектирующий должен понять текст сообщения. Он должен понять нормативное представление, которое там есть, или, иначе, у него должно сформироваться представление, соответствующее тому, что было заложено в этом тексте. И поняв это, он начинает на базе своего понимания рефлектировать понятие – вот формулировка, на которой бы я остановился.

Итак, проблема: что такое рефлексия понятого? Это опять-таки, на мой взгляд, собственно психологическая проблема, к которой никто не подходит. А.З.Зака надо спросить, что он там сделал в этом плане – в анализе рефлексии. Поскольку другой рефлексии, по-видимому, не существует. В силу того, что я говорил, другой рефлексии, кроме рефлексии понятого, нет и быть не может.

– А рефлексия своей деятельности, осуществляемая учеником? ...

Я, фактически, утверждал, что здесь тоже мыследействие, внизу, и другого быть не может. И поэтому, когда он начинает это все рефлектировать, то он опять же рефлектирует понятие.

А вот теперь я делаю следующий шаг и говорю: эта структура начинает рефлектироваться. Это означает, что по отношению к ней могут и должны задаваться разные вопросы, но все зависит от того, в какой манере эти вопросы задаются, кем типодейтельно является задающий вопрос, кто он – проектировщик, методист, исследователь, организатор, методолог? И от того, в какой из этих надстроек задается этот вопрос, в нормативных представлениях выделяется то или иное содержание. Кто-то теперь начинает развертывать эту структуру – я ставлю две звездочки, чтобы показать, что с точки зрения этой структуры это как бы матарефлексия (рис. 8).

Что он будет спрашивать? Если он проектировщик, то он задаст вопрос: проектом чего является это нормативное представление? И он, таким образом, создает прожективную отнесенность. Он начинает рассматривать нормативное представление как проект будущей ситуации. Что же в рефлексии фиксируется? В рефлексии начинают выявляться прежде всего знаковые функции или интенциональные отношения.

Итак, надо понять, а потом спросить, что я понял. И в этом вопросе – что я понял? – намечается выход к тому или иному содержанию. А понял я – в зависимости от того, какая ориентация у меня превалировала.

Если это ученик, то он понимает строго определенным образом: как надо делать или строить. Причем, опять-таки, если он не знает действия, то он начинает искать в нормативном представлении действие; если он объект потерял, он ищет объект; если у него средств не хватает, он пытается вычлениить эти средства. Все зависит от того, каким был разрыв и какова эта интенциональность понимания. И он теперь должен смысл, получившийся в результате понимания, вписать в ситуацию действия, а это значит – увидеть в этом смысле в качестве его составляющих

либо объекты, либо операции, либо средство, либо связи кооперативные, либо еще что-то – каждый раз разное в зависимости от того, какая деятельность.

Смотрите, что я утверждаю: объект, средства, операции, связи, отношения, кооперативные структуры – все это суть элементы и составляющие смысла. Мы сначала понимаем смысл, потом спрашиваем, что мы поняли, и в зависимости от ответа на этот рефлексивный вопрос второго уровня мы, производя ту или иную работу в той или иной типодейятельностной нормировке, выявляем одно или другое, в том числе объекты, средства, процедуры, операции, наши зависимости от других, кооперативные структуры и т.д.

Понятен ли пафос этого тезиса?

– *Георгий Петрович, а может учитель давать ненормативное представление?*

Если он учитель, то оно всегда нормативное, по ситуации. Я ведь ввел такую ситуацию здесь. Если же я обращаюсь к вам как к исследователю и спрашиваю, что вы получили в ваших экспериментах, и вы мне рассказываете об этом, то это не нормативное представление. Нормативное представление возникает только в одной ситуации – когда задается вопрос, что делать, и следует авторитетный ответ.

Мне еще очень важно обоснование отделить. Сначала он получает авторитетный ответ: делай то-то. А если теперь он спросит: почему это, а не другое? – моментально «свеча» в метарефлексию. Обоснование разворачивается вне всего этого, исследование – вне всего этого, проектирование – вне всего этого.

Что в этой части принципиально важного? Что я понимаю текст и тем самым приобретаю это представление. Понимание текста происходит как бы в пространстве между текстом и действиями, которые будут разворачиваться. И человек в этот момент свое сознание и смыслы разворачивает в этом пространстве между текстами – один предел – и между действиями с материалом – другой предел. Вот в этом слое разворачивается смысл, задаваемый пониманием.

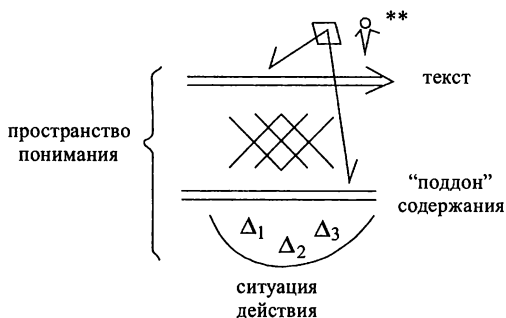


Рис. 9

Теперь начинаются вопросы по поводу этого, но каждый такой вопрос выводит в рефлексивную позицию, и уже действия как такового не существует, а есть только связка между действием и текстом, текстом и действием, и вопросы задаются по своей внешней форме относительно текстов, но реально по поводу смысла, разворачивающегося здесь между текстами и действиями.

Но теперь, когда я вышел в эту рефлексивную позицию с двумя звездочками, я должен так разложить и проанализировать смысл, чтобы выделить в нем, в зависимости от вопроса, либо объекты, либо операции, либо структуры – практически все лежит в структуре смысла, но производим мы это членение, прорываясь туда как бы через текст. Это обеспечивается за счет того, что текст уже понят и смысл уже образован. И мы теперь начинаем строить здесь как бы «поддон» содержания. Содержание выявляется нами в тексте, текст есть форма в этом смысле – как мы говорим, знаковая форма. И на базе этой знаковой формы, но осмысленной, смысловонесущей, понимаемой, начинает за счет рефлексивной позиции формироваться содержание.

Какое? Это зависит от того, в какой тип деятельности мы попали, как, соответственно, мы задаем эти вопросы. Тогда у одного и того же нормативного представления мы начинаем выявлять совершенно разные содержания. И вот тогда впервые появляются проекты, знания, алгоритмы, предписания и т.д.

Как еще я мог бы сказать? Можно все дело представить так, что теперь нормативные представления сдвигаются и переходят из этой структуры, которую я нарисовал, из коммуникативно-деятельностной единицы, в другие деятельности – проектную, исследовательскую, методологическую, методическую. Они попадают туда, происходит как бы сдвигка, рефлексия втягивает эту коммуникативно-деятельностную структуру в новый тип деятельности и при этом творит содержание.

Лазарев. Георгий Петрович, вы говорите, что при наложении нормативного представления на содержание возникают все эти образования?

Нет. Я говорю: никакого содержания на самом деле нет. Содержание – это трюк, который создается в рефлексивных позициях второго ранга, или уровня, тогда, когда возникает – точно так же в коммуникации – вторичный вопрос: что ты понял? Или иначе: каково содержание нормативного представления?.

Лазарев. Но тогда оно безотносительно к любому типу деятельности.

Я же спрашиваю: «Что вы поняли?». И представьте себе, что над этим одним текстом в коммуникативно-деятельностной единице теперь надстроилась пирамида типов деятельности.

Лазарев. Понимание у нас возникло в той схеме.

Понимание возникло в той схеме. Теперь представьте себе, что кто-то другой задает вопрос ученику, учителю и всей надстроечной системе: «Что же там было, в нормативном представлении?». И они теперь все ответят по-разному. Потому что в этом нормативном представлении, с одной стороны, было все, а с другой – там был только смысл как результат понимания. Но теперь они спрашивают: «Так что же там?», – скажем, так, как задает вопрос Виталий Владимирович: «Это было представление?». Предположим, они говорят: «Да». – «Так про что оно было?». И теперь каждый будет отвечать по-своему.

А что это означает? Я пытаюсь это объяснить, говоря, что выйдя в рефлексивную позицию, но именно выйдя в рефлексивную позицию, вы теперь можете меня спросить, что для тех, которые у меня помещены в эти надстроечные слои, означает выйти в рефлексивную позицию?

А для них – исследователей, проектировщиков, методологов – это означает вот что: они должны войти в позицию ученика, учителя, а потом выйти назад, они все должны заимствовать позицию. Потому что, когда вы меня спрашиваете: «О чем была коммуникация, происходившая между Ивановым и Петровым?», – и представьте себе, что я вообще не слушал, что там было, – я, естественно, не отвечу, что там происходило; я смогу начать отвечать и размышлять над этим, только если я вместе, скажем, с Петровым слушал эту коммуникацию, т.е. был в функционально тождественном ему месте, тоже был слушателем.

Но меня теперь спрашивают не как слушателя, а как другого. А я уже прослушал то, что здесь говорилось, понял это, и теперь я выхожу в ту или иную типодетальностную организацию и начинаю отвечать на вопрос, про что там шла речь, что там было зафиксировано, чем была эта коммуникация и т.д. А что было? А был текст коммуникации по поводу разрывной ситуации и было включение этого текста внутрь ситуации как средства для построения деятельности, но меня не про это спрашивают, а про то, что там было в смысле содержания. И отвечать на этот вопрос я буду только со своей позиции. И если я исследователь, я буду отвечать одним способом, если проектировщик – другим.

Смотрите, как это интересно сразу разворачивается на прожективной и ретроспективной ориентациях. Если я проектировщик и начинаю рассматривать это как проект (это презумпция такая, что здесь давался проект; могла бы быть и другая – что здесь давалось изображение прошлых ситуаций), то это означает, что я начинаю растягивать ситуацию и начинаю брать текст не в единстве его прожективной и ретроспективной ориентаций, не как несущий в смысле и операции, и объекты, и средства, и действия, и личности, и способы и способности, а начинаю брать в одном из этих векторов. Если я проектировщик, я говорю: это был проект той деятельности, которую должен осуществить ученик. И, соответствен-

но, выделяю содержание проекта. А если я исследователь, я буду рассуждать совсем иначе, я скажу: учитель описал свою прошлую деятельность, как бы фотографию снял и передал ученику; и это, следовательно, есть не проект, а описание его прошлой деятельности. Я выделяю совсем другое содержание, поскольку прожективная и ретроспективная ориентации расходятся.

Данилова В.Л. Георгий Петрович, можно ли понять то, что вы сейчас рассказывали, так, что проработка этой схемы в разных типах деятельности в сферно-фокусной надстройке будет требовать заимствования разных позиций из этой схемы, по крайней мере, по каким-то разным траекториям? То есть для проектировщика будет фокусировка на позиции «ученик», для исследователя...

Обязательно. Но обе позиции должны прорабатываться (или все шесть), но действительно в разных траекториях. И по-разному – в соответствии с типодейятельностными целями этих позиционеров или их профессиональной презумпцией. Он проектировщик – он привык видеть проекты, он исследователь – он привык видеть изображения. Я пока не обсуждаю, как строятся содержания, я пока говорю: и должно быть построено содержание. Фактически, что я утверждаю? Что на каждый такой вопрос – типа того, который задал Виталий Владимирович: «Так про что это?», – я, отвечая, должен построить это содержание и либо описать его, либо нарисовать и передать.

И это строительство в ответе на вопрос «про что?» производится мною впервые. Я из смысла буду выделять это содержание, и это содержание будет каждый раз типомыследеятельностным.

Лазарев. Георгий Петрович, когда вы задали эту единицу, вы вроде бы начинали работать теоретически. Потом вы вдруг начали переходить к той схеме, которую задавали феноменологически.

Нет. Я ведь что сказал Василию Васильевичу? Все схемы сначала создаются феноменально, а потом начинают употребляться одним, другим, третьим способом, в том числе как конструктивные, оперативные, моделирующие и в теоретическом смысле. Я сказал, что сферно-фокусная схема может и должна употребляться как теоретическая, поскольку тут будет строго определенный порядок этих надстроечных позиций, строго определенные траектории движения, и они каждый раз будут нам давать разные структуры.

Сейчас я обсуждаю этот вопрос в принципе – откуда берется содержание. Ведь у меня получится, что в каждой из типодейятельностных схем или типодейятельностных позиций появляется свое образование. В одном случае – нормы и нормативы, в другом – нормативное описание, нормативная модель, нормативное предписание, нормативный проект и т.д. Все будет зависеть от того, какое содержание я сюда вставляю.

Лазарев. А в чем необходимость перехода от той схемы к этой? Почему кто-то должен вставать в какую-то позицию и начинать смотреть, а что же там было?

Спасибо вам, теперь я, кажется, спасусь. Мы-то исследователи, и нам надо все это исследовать. А поэтому нам надо знать, с каким материалом мы имеем дела. И коли мы исследователи, мы всегда – приедем ли мы в Киев или будем вести работу в Москве, или вы ведете исследование в Тюменской области или в вашем НИИАА – будем иметь дело вот с такими коммуникативно-деятельностными ситуациями, и при этом будем их особым образом интерпретировать. Здесь появляется процедура интерпретации, отличная от процедуры понимания. Эта процедура интерпретации состоит в том, что вы теперь как исследователь должны подсунуть сюда определенную плоскость содержания и начать работать на ней.

А если вы проектировщик, то вы должны подсунуть другую плоскость содержания, а если методист – то третью. А от вас-то что требуется? Вы как проектировщик сработали, и как исследователь, и как методист, и каждый раз получали разные, но состыкованные заранее результаты. И вся эта штука и выстроена для того, чтобы собрать все это воедино.

Лазарев. Так, может быть, мы получим более полное представление о том, что мы будем делать, если мы встанем в другую позицию – не в позицию исследователя, а в позицию проектировщика? И тогда исследователь будет как частный случай.

Нет, частных случаев не будет. Поскольку теперь вы можете вставить в любую позицию, вы каждый раз будете брать эти нормативные представления, но их особым образом, в соответствии со своим типом деятельности, трансформировать, и у вас будут получаться траектории движения. Вы, фактически, теперь будете «перетягивать»: скажем, вы исследователь – вы это нормативное представление перетягиваете к себе, на свой рабочий верстак. При этом вы ввели определенную плоскость содержания. И вопрос как раз вот в чем: а можно ли прямо отсюда – к вам туда на верстак? Или сначала нужно, чтобы он полежал на другом верстаке, там преобразовался, потом на другом, и только на четвертом-пятом шаге вы выйдете на исследовательскую позицию?

В этом-то и состоит методологический вопрос: как же можно теперь производить эти преобразования и сдвиги? А ответ вот какой: все зависит от того, что вы хотите получить. Если вы хотите получить нормативное предписание, переходящее потом в проект, то будьте любезны протащить через такие-то три слоя. Если вы хотите сразу использовать нормативное представление как модель – пожалуйста, тащите сразу. Но, смотрите, я ведь вводил представление о дисфункции, о расхождениях между функциями и материалом, морфологией. Так весь вопрос вот в чем: вы ведь каждый раз, перетаскивая в свой тип деятельности, в свою

деятельность, в свою систему, начинаете эти нормативные представления, зафиксированные в тексте, трактовать как одно, другое, третье, как модель, проект и т.д. – а являются ли они морфологически таковыми?

Ведь что я дальше буду говорить? Мы берем нормативное представление и рассматриваем его как проект, а это – ошибка. Мы берем его и рассматриваем как описание, а это – ошибка. Мы, подводя под него то или иное содержание, потом должны осуществлять процедуру достройки знаковой формы, чтобы она стала адекватной вводимому нами содержанию. Вот эту процедуру в 99,9% случаев исследователи, проектировщики, методисты не делают.

А нам нужно эту технику описать нормативно. И я говорю: вот столько будет типов этого содержания. А дальше начну их описывать, и здесь вступает в действие содержательно-генетическая логика, здесь надо описывать содержание: операциональное – в одном случае, объектное – в другом. И знаковую форму надо перестраивать, переводя нормативные представления в форму моделей, онтологий, проектов и т.д. Мы должны знать, что мы делаем, раз, и уметь это каждый раз профессионально делать, два. Вот ради чего я веду весь этот разговор.

4.

В прошлый раз я сформулировал несколько очень важных положений – я коротко их напомним. И было бы очень здорово, если бы мы могли их еще обсудить, с тем чтобы уяснить себе и другим.

Прежде всего, я утверждал, что единственной реальной единицей, с которой мы имеем дело и можем иметь дело в исследованиях, является единица коллективной мыследеятельности, в которой содеятельность двух или большего числа ее участников организована за счет текстов коммуникации. А поэтому представления о деятельности как таковой, о действиях как таковых, которые могут разворачиваться якобы вне коммуникации – явной или предполагаемой – с моей точки зрения, слишком упрощенно представляют материал любого деятельностного, в том числе и психологического, анализа. Это первый тезис.

Второй очень важный для меня тезис: такого рода коммуникация сама по себе не несет в себе знания и должна рассматриваться в первую очередь как коммуникация, во-первых, связанная с процессом понимания текста, а во-вторых, несущая в силу этого определенный смысл. Я утверждал – и это есть, по сути дела, обратная сторона предыдущих утверждений, – что единица, которую я нарисовал, без добавления в нее других позиций, в частности рефлексивных, не имеет содержания. И поэтому обсуждать здесь вопрос о содержании текстов коммуникации, не вводя дополнительных позиций, не усложняя эту структуру, не имеет смысла.

Само по себе это утверждение тесным образом связано с тройным различием: смысла, значения и содержания. Это действительно трой-

ная оппозиция, но она может раскладываться на бинарные, и, собственно говоря, раньше мы так и делали.

Можно обсуждать, например, отношение «смысл – значение», фиксируя в нем оппозицию синтагматических структур и парадигматических структур. Синтагматическими, соответственно, будут смысловые структуры, а парадигматическими – структуры значений. Кроме того, есть и вторая очень важная оппозиция, которая до сих пор обсуждалась меньше, хотя и намечалась. Это – оппозиция смысла и содержания.

Обсуждая этот круг вопросов – на мой взгляд, кардинальнейший для психологического анализа (я не случайно говорю об этом, потому что я вообще не мыслю себе подлинного психологического анализа без различения этих трех образований: смысл, значение, содержание), – мы с вами попадаем в очень сложную область отношений между пониманием, мышлением и рефлексией. И, собственно говоря, когда я утверждал, что эта исходная единица коммуникации имеет смысл, но не имеет содержания, я лишь фиксировал конструктивный способ задания этой единицы, а именно: я наделяю получающего сообщение лишь интеллектуальной функцией понимания, а интеллектуальную функцию рефлексии буду вводить потом.

И поэтому я говорю, что когда правый (рис. 10) спрашивает: «Что здесь мне делать?», а левый отвечает: «Возьми молоток», – то такого рода текст должен быть понят принимающим сообщение и включен в его деятельность. В этих процессах понимания происходит переход от текста коммуникации к процессу действия. И в процессе понимания никакие разговоры о содержании пока что в принципе не нужны. Но это все возможно лишь при условии, что принимающий текст его понимает и может включить в свою деятельность.

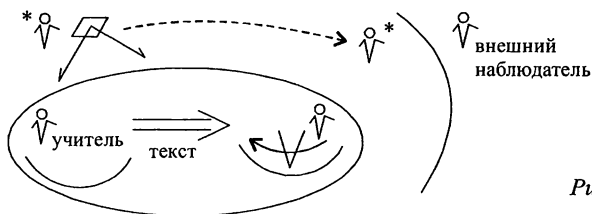


Рис. 10

Итак, я здесь очень жестко различаю факты понимания текста и факты фиксированного непонимания. Я уже как-то говорил, что, по сути дела, эти процессы понимания и непонимания являются кардинальными для психологического исследования и что поэтому-то, может быть, они в психологии не исследуются. Это не каламбур, потому что если бы мы начали исследовать процессы понимания, то вся система психологических понятий полетела бы вверх тормашками. И так как это очевидно, то все предпочитают вообще не затрагивать этого вопроса. Вот тут, в силу того, что этот момент не исследуется, нам очень трудно вообще что-либо обсуж-

дать строго обоснованно. Здесь, по сути дела, существует лишь огромная область проблем, связанных с вопросами: что такое понимание? каким образом мы на базе того или иного понимания включаем тексты в деятельность? как происходит построение наших действий по понятиям нами текстам? что в этот момент происходит? каковы условия правильного и неправильного понимания? что такое вообще различие правильного и неправильного понимания? и т.д.

Поэтому, не включаясь в обсуждение всего этого круга вопросов (в частности, это будет предметом обсуждения на совещании в апреле), я лишь утверждал следующее (и это очень важно для того, чтобы я мог двигаться дальше в описании средств и методов нормативного анализа): что здесь текст, в котором, как я все время говорил, передается нормативное представление, выступает для принимающего сообщение как определенное средство построения его деятельности или действия. Это опять-таки очень важный для меня тезис.

Итак, текст, с этой точки зрения, является средством построения действия. Здесь упор на слове «средство». Это не знание – знания здесь пока, без добавки рефлексивной позиции, вообще не может быть.

Теперь, как происходит включение текста как средства, какую роль при этом играет то, что мы привыкли называть смыслом – смыслом как результатом понимания? Я всего этого не обсуждаю, поскольку это очень сложно и требует много по детализации анализа. Мне важно только очертить эту гигантскую область исследований и разработок, в том числе, или даже в первую очередь, психологических, которые у нас начисто отсутствуют.

А затем я говорю: если такого включения текста коммуникации как средства действия не происходит и это фиксируется, то возникают разного рода вопросы. В частности, получив текст такого сообщения, правый может начать спрашивать: «Так что ты имел в виду? Что ты зафиксировал? Какие операции здесь заданы?» и т.д. Но сами по себе эти вопросы всегда задаются из рефлексивной позиции, в которую он должен выйти по отношению к своей собственной деятельности. И только в коммуникации уже второго рода, которая возникает между принимающим сообщением и выдающим его, складывающейся между рефлексивными позициями, только здесь начинается выделение того, что мы привыкли называть содержанием сообщения, и начинают формироваться знания как таковые.

Но для того чтобы к этому перейти, я должен предварительно обсудить еще один очень важный кусочек, связанный непосредственно со средствами и методом нормативного анализа. Поэтому я как бы возвращаюсь назад и говорю: давайте теперь попробуем посмотреть, что же здесь происходит в том случае, когда принимающий сообщение его не понял и у него в силу этого возникает совершенно иная ситуация; это – с одной стороны и на одном полюсе, а с другой стороны, давайте посмотрим, как же строит свои сообщения левый, т.е. учитель или руководитель работ.

Собственно говоря, с анализом и описанием этой ситуации и связана теснейшим образом методология нормативного анализа, тут она прежде всего и развертывается. Прежде всего, давайте вспомним условия, при которых правому нужно в качестве средства сообщение левого, т.е. когда он обращается к левому – учителю или руководителю – за помощью. У него должен был возникнуть разрыв в деятельности. Я сейчас как бы центрирую ваше внимание на двух точках: с одной стороны, у меня есть правый, который строит деятельность и здесь попадает в разрыв или испытывает затруднение – неважно, как мы это будем называть; с другой стороны, у меня есть левый, который, наблюдая за всем этим, должен дать правому соответствующие средства для заполнения этого разрыва, и именно для этого он образует текст и задает свое нормативное представление.

И тогда, собственно, наш анализ организуется, с одной стороны, этими фокусами разрывов и ошибок, которые здесь возникают, а с другой – теми знаковыми образованиями, которые дают возможность эти разрывы преодолеть или устранить, видоизменяя и трансформируя самого строящего деятельность, процесс ее построения и т.д. В этом и состоит основная идея нормативного анализа.

Я бы нарисовал здесь такую табличку, разбитую на две части; и, чтобы было соответствие между рисунком и табличкой, я бы в правом столбце фиксировал либо эмпирические, либо типологические описания разрывов, ошибок соответствующих, а слева – то знаковое по функции средство или то сообщение, которое дает возможность этот разрыв в мыследеятельности правого преодолевать.

Средства преодоления	Разрывы

Лазарев. Оно одно?

Очень хороший вопрос. Валерий Семенович, у нас есть такой принцип: каждый разрыв может быть заполнен бесконечным числом разных средств. Каждое из этих средств, заполняющих разрыв, должно соответствовать характеру разрыва. И это есть необходимое требование, но недостаточное, потому что дальше все определяется «испорченностью» учителя или руководителя и имеющимися в его распоряжении парадигматическими средствами. Важно, чтобы из этого набора имеющихся в его распоряжении парадигматических средств он обязательно выделял одно, другое или третье средство заполнения этого разрыва. Больше того, тут есть целый ряд тонкостей, связанных с самим понятием разрыва, очерчиванием его из рефлексивной позиции, поскольку характер разрыва всегда определяется уже относительно средств, которыми располагает учитель (или руководитель). Там учитывается дальнейшая линия трудностей и действо-

вания правого – ученика. Часто эти средства – например, если учитель исходит из идеи развития – будут иными, чем если он хочет обеспечить только функционирование правого, и, соответственно, по-разному будет разворачиваться коммуникация.

Но мне сейчас важнее даже более простые, менее детализированные вещи. Я говорю, что мы должны иметь этот столбец разнообразных разрывов с их типологией (по сути дела, это равнозначно типологии ошибок, совершаемых в той или иной деятельности) и столбец средств из тех или иных парадигматических систем, которые эти разрывы должны заполнять. Связка двух таких разнородных образований – разрывов, с одной стороны, и в тексте выраженных средств, с другой стороны – и образует существо нормативного подхода.

Лазарев. Георгий Петрович, значит, разрыв – это всегда ошибка?

Или невозможность.

Мильман. А можно назвать это проблемой?

Нет, нельзя.

Лазарев. А всегда ли разрывы в деятельности выявляются тем, кто ее строит? Может ли быть так, что он еще не увидел разрыва, а кто-то пришел и сказал: «Что ты делаешь?». Как эта ситуация фиксируется?

А она здесь и зафиксирована.

Лазарев. Нет, у вас коммуникация начинается, когда правый обратился к левому.

А это не показано здесь. Я это обсуждал на эмпирических примерах, но в схемах у меня этого нет. Я говорю только, что в деятельности правого, точнее, в его действиях, появляется разрыв. Вопрос, что такое разрыв, как он был зафиксирован, я сейчас не обсуждаю. Важно, что появляется разрыв. Он может, в частности, так как вы это говорите, фиксироваться только левым. Левый, скажем, дал задание; правый его исполняет; левый приходит и говорит: «Что же ты, милый, делаешь-то?!» – вот он зафиксировал разрыв, хотя правый мог этого не фиксировать. И он говорит: «Делать надо вот так». Но схематически это все накладывается на любой случай из тех, которые вы имеете в виду.

Лазарев. Да, но как он возникает этот случай?

Я каждый раз говорю: видал я этот генетический подход в белых тапочках! Давайте оставаться в рамках структурно-функционального анализа. Сначала надо дать функциональную структуру, после этого мы будем обсуждать, как происходят разрывы, как это фиксируется. Причем, обсуждать их в общем виде нельзя, потому что все они появляются по-разному, фиксируются, соответственно, по-разному, преодолеваются по-

разному. И это уже не проблема задания схем метода, а конкретные научные описания тех, других или третьих случаев.

Я утверждаю лишь одно: что этот нормативный подход предполагает фиксацию разрыва – может быть, с его генезисом, может быть, без генезиса; причем, я сейчас даже не обсуждаю вопроса о том, из какой позиции разрыв фиксируется, потому что он, в частности, может фиксироваться из рефлексивной позиции (например, оба участника ситуации могут понимать разрыв иначе, чем тот, кто находится вне ситуации; собственно говоря, так всегда и происходит). Я предполагаю, что мы ведем весь анализ из позиции абсолютного наблюдателя, заимствующего позиции получающего текст сообщения и создающего текст сообщения. Мне важен здесь метод и процедура заимствования. И я сейчас чуть-чуть об этом тоже поговорю. Но мне пока важно фиксировать оформление.

Значит, есть правый столбец с такими образованиями, как разрывы, и дальше это будут разворачиваться. Например, мы в некоторых случаях будем выявлять причины этих разрывов, в других случаях – не будем. Но каждый раз так или иначе этот разрыв должен быть зафиксирован и определен. А слева мы должны фиксировать ту форму или много разных форм, которые этот разрыв могут заполнить, приводя к тому или иному преобразованию и развитию деятельности правого.

Лазарев. На первом заседании мы говорили следующее: для того чтобы ввести понятия, мы будем рассматривать, как они возникают, их функции в некоторой системе. С какого момента вы начинаете обсуждать возникновение нормативного представления?

Я не обсуждаю момент возникновения нормативного представления. Я ведь, фактически, что утверждаю? Что «нормативное представление» есть фикция, которую я ввел, дабы обсудить все это в общем виде. На самом деле такого образования как нормативное представление не существует, потому что есть нечто принципиально иное, а именно: нормативные предписания, нормативные описания, нормативные модели, нормы, нормативы и т.д. – ряд этот нужно умножать. Вот это все вроде бы имеет право на существование. Но мне-то важно задать не такую онтологическую картину, на которой я генезис мог бы воспроизвести, а такую онтологическую картину, опираясь на которую я мог бы метод изложить и основные схематические представления методологии.

Для этого я ввожу обобщенную фикцию, и она у меня играет двоякую роль: с одной стороны, это общее название для всех таких образований – нормативных предписаний, описаний, моделей и т.д., а с другой – это вроде бы логически первое, то, что возникает только в такой структуре.

Но почему я говорю «логически первое», а не «генетически первое»? Это значит, что я это ввожу первым, для меня это лежит первым и является исходным для моих рассуждений – структурно-функциональных, а не генетических по своей направленности.

И поэтому я применяю такой прием. Я задаю эту структурно-функциональную единицу и говорю: вот минимум функциональных элементов, которые здесь должны быть зарисованы. Каким образом этот левый создает свое нормативное представление, я пока не обсуждаю – он его имеет.

Лазарев. На первом заседании был вопрос такого характера: где у вас основания для утверждения, что именно эта единица деятельности является исходной?

Я отвечаю на это очень просто. Я долго варьировал состав единицы, и оказалось, что если я ее разобью, то я ничего не смогу ни объяснить, ни вывести.

Лазарев. А объяснить когда не сможете? Сейчас? Для прошлого? Для будущего?

Никогда. Мне же структурку надо задать, где действуют законы восхождения от абстрактного к конкретному.

Лазарев. Если мы посмотрим на рабовладельческое общество, там дело обстояло точно так же.

Не знаю. Меня интересуют проблемы самоорганизации: я должен уметь. Что там было и как – меня это не интересует. Я вообще не интересуюсь этой, с позволения сказать, объективностью. Пускай она сама решает свои проблемы. Меня интересуют мои проблемы: что я могу и чего не могу. Поэтому моя методология предельно субъективна, она направлена на самоорганизацию. И я могу показать это тем, кто также хочет самоорганизовываться – не истину познавать, не объекты описывать. Это пусть натуралисты делают.

Лазарев. А зачем тогда теории какие-то?

Вы меня совершенно неправильно понимаете. Я говорю: теории нам нужны на соответствующем месте – тем, кому они нужны. Мне сейчас нужна методология самоорганизации. Ведь я должен знать, какого рода объекты возможны – идеальные объекты. А что там было в первобытном обществе, что есть сейчас – это вообще меня не занимает. Мне самоорганизоваться надо: я должен иметь такой набор языковых схем, чтобы я работать мог.

Я вообще полагаю, что каждый должен заниматься своим делом и себя развивать. А то ведь у русской интеллигенции сложилась такая установка: она все время других к счастью ведет, силком. Вот я хочу иметь возможность рассуждать. Мне для этого нужен язык и нужны схемы, коих я нигде не могу почерпнуть, и мне их приходится выдумывать.

Если вы, например, поставите перед собой задачу описать то, что было в первобытном обществе, и скажете: «Откуда мне исходные схема-

тизмы взять?», – и если вы вдруг решите взять вот эти схематизмы, то вы начнете накладывать их на особым образом описанный и представленный материал первобытного общества и смотреть, можете ли вы с помощью этих схем и шаблонов охватить тот материал или нет.

– *Это математика.*

Совершенно верно. Задаются определенные единички типа, например, треугольников, квадратиков и смотрятся правила развертывания, дедуктивного преобразования одного в другое. А как там с египетскими полями... Этим мы будем заниматься в другой раз.

Я сейчас обсуждаю формы организации нормативного метода, его средств и методов.

Лазарев. Вот и возникает довольно странная ситуация. Как если бы математики пришли и начали рассказывать психологам какие-то свои конструкции, и психологи пытались бы их понять и наложить на свои картинки.

С той только разницей, что это происходит так: приходит физик д'Аламбер, начинает строить математику для закона колебания струны. Дело не в том, что математики приходят со стороны.

Лазарев. Они никогда не приходят со стороны.

Это другой вопрос.

– Создали теорию групп, когда ничего не было, а потом стали прикладывать к реальным вещам.

Лазарев. Начали прикладывать, когда возникла необходимость.

Правильно. Я тоже говорю: у вас нет необходимости. Вот лаборатория Неверковича – они послушали это и сказали: «Видали мы это в белых тапочках!», – назначили свое заседание, и дело с концом.

Лазарев. Понимаете, Георгий Петрович, пока не созрели условия, для того чтобы можно было переносить этот аппарат, скажем, математический, ведь никто не будет им интересоваться.

Валерий Семенович, условия давным-давно созрели.

Лазарев. Условия созревают тогда, когда приказывает руководитель.

Мильман. Когда встречный процесс есть: от методологии к науке и от науки к методологии.

Позиция ваша очень понятная, поэтому голосовать здесь надо ногами, и это единственный способ выражения отношения. А, в принципе, я с вами не согласен.

Я вам, Валерий Семенович, отвечаю: для того чтобы можно было зафиксировать в материале проблемы и проблемные области и выделить соответствующий материал, нужны подобные схемы. Когда вы мне говорите, что, мол, нужно ждать, пока психология созреет и т.д., я говорю, что ничего подобного никогда не бывает. Наука шагает вслед за развитыми средствами, поэтому она всегда идет вслед за философией и методологией. Еще никогда не было, чтобы наука шла впереди. Она либо идет вслед за практикой, либо вслед за философией и методологией. Когда созданы средства и заданы формы мыслимости тех или иных объектов, приходит ученый и говорит: «Все это понятно, мы это давно знаем». Берет эти средства и начинает работать.

– Или говорит, что это чепуха, как говорил Герц про теорию Максвелла, а потом доходит до того, что сам...

С моей точки зрения – и это принцип, – для того чтобы мы могли увидеть какую-то область явлений, нужно иметь соответствующий схематизм. Эти схематизмы разворачиваются по весьма сложным законам.

Может быть, это математика, а может быть, физика, потому что методологи, математики и физики до сих пор спорят, чем были «Начала» Евклида – геометрией или физикой. Они являются и тем, и другим. Поэтому здесь, если вы спрашиваете, что это такое – математика или психология, – я отвечаю: это теория деятельности. Она содержательна и формальна. Все зависит от того, как вы с этим будете работать.

Лазарев. Я задаю другой вопрос: в каком случае возникает потребность в каком-то инструменте?

Тогда, когда человек в тупике.

Лазарев. Когда он не может старыми инструментами или когда он сформировал новую деятельность, для которой у него нет инструментов.

Правильно. Поэтому надо повесить над входом в эту аудиторию объявление: «Всякий, кто может работать по-старому, пусть сюда не ходит».

Лазарев. Может быть и другой случай: когда деятельность новая не сформирована, не построена, трудно обратиться за средством.

Правильно, и я на это отвечаю с присущей мне резкостью: ну и продолжайте гнить дальше!

Мильман. Тот, кто спрашивает для себя средства, должен приобрести еще и собственные средства понимания. Наука, обращающаяся к методологии, должна развить в себе соответствующие средства понимания методологии. Это процесс обоюдный, так что тут нельзя винить методологию за то, что ее не понимают.

Валерий Семенович ведь все понимает – у него вопрос же теоретический, а не методологический.

Мильман. Стоит вопрос о природе разрывов, а вы говорите, что это не имеет значения для построения этой схемы. А может быть, все-таки имеет значение, если мы выделим принципиально разные типы разрывов, которые могут принципиально менять и структуру вашей схемы, например разрывы функционирования и разрывы развития? Или вы думаете, что они уложатся в схему и будут разграничиваться на другом уровне, научно-теоретическом только?

Если, скажем, типологическое различие разрывов (например, на разрывы функционирования и разрывы развития) будет менять мою схему, значит, я плохо построил схему. Мне очень важно, чтобы схема была неопределенной. Я еще раз подчеркиваю один важнейший принцип: работающие схемы должны быть достаточно неопределенными, определенность – не достоинство, а неопределенность – не недостаток, все наоборот. Для того чтобы схема могла быть задействована как методологическая схема, она должна быть достаточно неопределенной, и я поэтому совершенно сознательно и целенаправленно строю ее таким образом, чтобы убрать все специфические признаки разрывов. И работаю над этой схемой до тех пор, пока мне не удастся сделать ее такой. Это как метод Пикассо: нарисовали быка во всей его реальности, а теперь начинаем убирать одно, другое, третье, пока не остается предельная схема быка. А различия должны включаться сюда в дальнейшем, причем не трансформировать эту схему, а развивать ее – как бы по разным траекториям. Поэтому, достаточная неопределенность и общность есть моя целевая установка.

Мильман. Понял: тогда характеристики разрывов не важны. Но почему тогда нельзя это назвать проблемой?

Потому что проблема, с нашей точки зрения, – это особая фиксация формы и содержания. Проблема есть эпистемическая единица, и она создается лишь на уровне рефлексии и мышления.

Мильман. А разрыв может быть задан любым способом, даже эмоциональным дискомфортом? Скажем, начиная от этого и кончая формулированием проблемы?

Это очень хороший вопрос, и он действительно примыкает к тому, что спрашивал Валерий Семенович. Но теперь я вынужден, отвечая на него, проводить очень тонкое рассуждение. Вы знаете эту историю Гольдштейна с яблоками из задачи? Он описывает знаменитую американскую школу для дебилов, в которой идет занятие. Учительница объясняет сложение, и она, для того чтобы облегчить дебилам работу, приносит яблоки: кладет три яблока и еще пять яблок. Проходит не-

сколько уроков – никакого продвижения. И вдруг на четвертом или пятом уроке с задней парты кто-то говорит: «Мэм, я, кажется, наконец, понял: эти яблоки, которые вы принесли – ненастоящие, они из задачи». Она говорит: «Да, а что?». И этот дельный дебил говорит: «Так это же совсем другое дело». И с того момента, как класс понял, что это яблоки из задачи, все сдвинулось.

Что мне важно? Вот это – разрыв из моей мыслительной действительности, он нарисован на доске. Это очень тонкое рассуждение. И мы обсуждаем его и строим наш дискурс относительно этого разрыва. Что такое у меня разрыв? Это галочка, прерывающая поток действий, и ничего больше. И пока я туда ничего не вставил. Вы же меня спрашиваете все время про реальность, вы имеете множество случаев, которые известны вам из опыта, и спрашиваете: «Что такое разрыв?». Не этот мой разрыв из моей задачи, а реальный разрыв. А я отвечаю на это: все зависит от того, кто разрыв оформляет, из какой позиции в этой структуре или в более сложных структурах и какие средства при этом используются.

Дальше я, фактически, должен показать, что способы наполнения этих табличек будут зависеть от наших теоретико-деятельностных, психологических, социально-психологических представлений. Если вы, либо как учитель, либо как находящийся здесь рефлектирующий исследователь, настолько изошрены, что вы можете эмоциональный дискомфорт фиксировать как разрыв в деятельности, то это будет разрыв – если вы его таким образом зафиксируете и передадите своим ученикам или если ваши ученики эмоциональный дискомфорт фиксируют как разрыв и могут это фиксировать как фактор, мешающий им дальше действовать. Но это каждый раз будет не общая схема, где я говорю про разрыв вообще, а это каждый раз будет та или иная экзemplификация.

Я утверждаю, что при исследовании любых проявлений деятельности, вообще или в психологическом аспекте, бессмысленно пытаться фиксировать все эти разнообразия – нельзя ухватить их в общей теоретической форме, это можно делать только в виде описаний.

Лазарев. Вопросы почему возникают? Пока вы обсуждаете знаковую конструкцию, которая наверху, она остается знаковой конструкцией. Как только вы начинаете строить эту табличку, становится непонятно. Ведь кроме слов «средства» и «разрыв» вы записать в эту табличку ничего не можете, записывать в них что-то можно только тогда, когда мы перейдем к какой-то реальной деятельности.

Валерий Семенович, прекрасно, в этом все дело. Но мне-то надо последовательно показывать, как разворачивается этот метод (и этот подход), и каждый раз фиксировать соответствующие средства: что можно сделать на уровне этой конструкции, что требует совершенно других представлений. Мне это надо фиксировать, причем в рационализированной форме, в дискурсе.

Лазарев. Тогда и возникает этот вопрос: что такое разрыв? Эта конструкция должна нам вроде бы позволять заполнять такую табличку...

Нет. Если мы хотим осуществлять нормативный анализ, нам нужно, во-первых, иметь такую схему, причем более сложную – я покажу, какую, – и, во-вторых, нам надо иметь по крайней мере двойную табличку.

Лазарев. А присутствующие здесь начинают накладывать эту схему на то, что они...

Этого делать нельзя, поскольку, как только вы начинаете это делать, вы уходите из плана конструктивного развертывания методологии в научное исследование, начинаете осуществлять совершенно другие процедуры.

Лазарев. Они делают другую вещь: начинают оценивать это средство.

Понятно. Но нельзя оценивать ножку от стула, не имея всего стула. Здесь же действует принцип целостности. Пока подход или метод не изложен весь, в своей целостности, со всеми своими элементами, не представлен как машина, до тех пор оценивать нечего.

Лазарев. Начало движения всегда можно оценивать. Можно оценить исходный пункт движения.

Отлично, попробуйте. Исходный пункт моего движения – отказ от генетического подхода, введение системных представлений, задание структурно-функциональной схемы и отделение процедуры морфологического наполнения. Ну и что вы можете сказать?

Лазарев. Теперь я посмотрю, позволит ли эта конструкция мне начать движение в моей деятельности, начать движение именно с этого?

А в какой вашей деятельности? Вы занимаетесь разворачиванием методологических схем или исследованием?

Лазарев. Я занимаюсь приложением методологических схем.

Никак не сможете. Этого нельзя делать, это запрещено.

Лазарев. Значит, это средство, которое я никак не могу использовать.

Нет, вы должны его использовать, но в строго определенной деятельности – в конструктивном развертывании и описании метода нормативного анализа. Обратите внимание. Вас ваши заказчики будут спрашивать, какие методы вы будете использовать в анализе – есть такой пункт в любом заказе. Вы перечисляете эти методы, зная, что вы будете использовать, или нет?

Лазарев. Конечно, нет.

А это некультурно, потому что вроде бы, если вы действительно ответственно работаете и пишете, например, «нормативный метод», вы же должны знать, что это такое.

Лазарев. Какие-то методы я могу знать, но я не могу знать, какие методы я буду использовать.

Это я уже перестаю понимать. Но, во всяком случае, мы согласились, что то, что вы пишете, нужно знать и понимать; методы собственной работы должны быть инвентаризированы.

Лазарев. Ведь записывается тема, а какие будут использованы методы при реализации этой темы – это еще вопрос. И поэтому когда я заполняю эту карточку, я еще не знаю...

Ваш подход для меня неприемлем. Я всегда должен четко знать, что я пишу в разделе методов.

Мильман. Мы можем принять, что нам не надо сейчас знать структуру разрывов. Но все-таки у нас есть интуитивное стремление применить эту схему на свою действительность.

Нельзя. И это принципиально для нормативного подхода. И вот почему. Давайте сделаем следующий шаг. Здесь у меня нарисован абсолютный наблюдатель (рис. 10). Это мы с вами, те, кто разрабатывают методологию. Но для того чтобы мы могли работать, мы себя каждый раз должны отождествлять с той или иной позицией и производить процедуру заимствования. Все наши процедуры должны строиться в соответствии с произведенной идентификацией. Мы должны самоопределиться и сказать: «Теперь я встаю в позицию ученика и буду рассуждать из его позиции. А теперь я встаю в позицию учителя и буду рассуждать из его позиции». Вот что мне важно.

И я начинаю рассуждать. Если учитель, руководитель, строит текст сообщения, выражая в нем определенные средства заполнения, преодоления разрыва, средства построения действия в определенной ситуации, то он, очевидно, должен каким-то образом зафиксировать саму эту ситуацию и определить характер этого разрыва. Только после этого он может предлагать ученику или подчиненному то или иное средство.

Теперь я делаю из этого вывод. Я ведь раньше утверждал, что то, что мы имеем перед собой как исследователи, это всегда сложная структура, включающая в себя коммуникацию. И поэтому я теперь говорю, что та работа по анализу ситуации, разрывов в ней, возможных ошибок и выбор того или иного средства из имеющегося арсенала – все это всегда лежит перед нами, когда мы начинаем наше исследование. Там обязательно есть практика преодоления возникающих разрывов, или практика, обеспечивающая воспроизведение деятельности в условиях постоянных разрывов. Это – практика, а не исследование. Берем ли мы работу мастера и рабочих,

берем ли мы работу заведующего лабораторией и его сотрудников, берем ли мы учителя и ученика – мы каждый раз имеем перед собой как наш материал эту определенную работу заведующего, мастера, учителя по анализу ситуации, определению характера разрывов и, соответственно, по заданию тех или иных выраженных в тексте схем.

Лазарев. Опять непонятно. Мы хотим представить, как эту конструкцию наложить на ту практику, в которой мы работаем, как в той практике нам обнаружить разрывы. Ведь прежде чем мы начнем обнаруживать разрывы, мы спрашиваем: «Что такое разрыв?». Чтобы обнаружить его, нам надо его как-то идентифицировать.

А я говорю: эта схема не для того, чтобы ее накладывать. Мы не накладываем схему как шаблон на материал, предполагая, что материал здесь лежит; это совершенно другая процедура, заимствованная нами из натуралистических представлений. Больше того, я утверждаю, что если мы попытаемся накладывать эту схему и вычерпывать таким образом разрывы и определенные средства, мы никогда ничего не получим. И мы так никогда не действуем, мы проделываем совершенно другую процедуру – мы заимствуем позицию того или иного практика. Мы говорим: «Поставлю-ка я себя в ситуацию ученика».

Лазарев. А они там есть, там, куда мы приходим, или там их вообще нет и мы просто так себе говорим?

А это два разных пути. Но это несущественно. Вот, допустим, вы анализируете арифметические задачи. Что вы делаете? Вы говорите: «Возьму-ка я это задание и попробую его решить. И интересно, где и как у меня возникнут затруднения». Вы начинаете в собственной деятельности, заимствовав эту позицию, имитировать эту деятельность и искать затруднения.

Лазарев. Эта деятельность есть? Я ее не выдумал?

А это неважно. Может быть, вы ее по ходу дела и выдумываете. Представьте себе, просто как контрпример, что я на семинаре задал кому-то тему. Она проблемная – неизвестно, что делать. Я сажусь и начинаю готовиться к чужому докладу, начинаю воспроизводить и имитировать эту деятельность. Так что я при этом – имитирую или строю эту деятельность, выявляя для себя разрывы из позиции ученика или сотрудника? Неважно это – имитирую или строю, – важно, что я начинаю осуществлять эту деятельность либо как реальное действие, либо в мыслительной имитации. Это очень важно – то, что я могу здесь задавать мыслительную имитацию, а могу как бы проигрывать реальное действие. Кстати, отсюда возможны ходы и к мышлению, и к моделям, и к проигрыванию деятельности, к нашим играм. Но что я для этого должен сделать? Я должен сказать себе: «Предположим, я ученик 1-го класса». А я ученик 1-го класса?

Лазарев. Сейчас это не имеет значения.

Очень большое. Я должен так сказать себе, но неизвестно, смогу ли. Для меня это самое главное. Для меня проблема здесь как раз и состоит в том, насколько мы способны войти в соответствующую роль, освободиться от своих более мощных средств и начать действительно проигрывать или мыслительно имитировать эту работу и насколько мы можем получить представление о том видении ситуации, действия, средств, которое есть у того, в чью позицию мы встаем.

Лазарев. Мой вопрос состоит в следующем: вот вы смогли стать учеником – как вы будете фиксировать разрыв, какие средства для этого можно использовать?

А здесь не может быть таких вопросов. Либо я это могу, либо не могу.

Лазарев. Значит, если вы не можете зафиксировать эти разрывы, то вы не можете стать учеником.

Поймите, я говорю простую вещь: я средства имею, а рассказывать про них не умею. И в этом, с моей точки зрения, главная, может быть, единственная, проблема. Я-то средства имею и могу сказать, какие тут разрывы, а рассказать вам, как я это сделал, я не могу. И в этом проблема психологического исследования.

Лазарев. Хорошо, скажите, откуда берутся эти средства.

Откуда я знаю? Это вы мне, как психологи, должны объяснять, а я фиксирую методическую часть. <...>

Смотрите, этот правый может зафиксировать свои разрывы, только проделав двойную работу: один раз он решает задачку, другой раз он в рефлексивной позиции, выведенной в одну из «рам велосипеда» (рис. 5) – в научной позиции, в проектной, в методической), – и в средствах этой «рамы» фиксирует и описывает разрыв.

За счет этой двойной деятельности, многоплоскостного процесса, за счет отображения одного на другое все и происходит. Сначала надо осуществлять эту деятельность, реально или в имитации, и – кстати, от этого будут зависеть дальнейшие результаты – надо фиксировать трудности. Но как фиксировать? Опять-таки ходом своей работы – натываясь на них и не имея возможности дальнейшего движения. И параллельно двигаться в рефлексивной позиции, имея для этого соответствующий язык.

Теперь вы меня спрашиваете, откуда берутся формы фиксации разрывов. Я отвечаю: из той рамочной надстройки, в которой вы проделываете эту рефлексивную работу.

Итак, форма фиксации разрыва задается средствами той рефлексивной мыследеятельности, которую вы осуществляете.

Лазарев. Давайте теперь только зачеркнем эту табличку, поскольку в графе разрывов выявляется столько разрывов, сколько людей ставит себя в эту позицию.

Сначала.

Лазарев. А если это только сначала, тогда не будем этого обсуждать.

Давайте я буду проще с вами играть – с вами же вообще компромиссы невозможны. Нет, говорю я, поскольку формы фиксации разрывов определяются числом этих рам. Никаких индивидуальных форм фиксации нет и быть не может. Разрывы индивидуальны, а формы их фиксации обобщены.

Лазарев. Отлично. У меня был один вопрос: откуда берутся средства фиксации? Вы долго не отвечали, теперь ответили.

Нет. Я поставил себя в позицию ученика. А ведь я точно так же должен поставить себя в позицию учителя. И вот теперь я начинаю всю эту работу в позиции учителя и получаю другую форму фиксации разрывов, соответствующую той деятельности, которую продельывает учитель. И больше того, я вдобавок получаю средства преодоления, средства заполнения, которые имеет учитель. И я делаю следующий ход: таблиц таких должно быть, по меньшей мере, две: одна – для делающего ошибки, другая – для учителя или руководителя.

Лазарев. Непонятно, как у делающего могут появиться средства.

Могут, как выясняется. Но вы можете, между прочим, для него оставить пока эту таблицу пустой.

Лазарев. Если у него есть средства, то ему не надо ни к кому обращаться, а если нет, тогда он обращается.

В оргуправленческой деятельности это не так, потому что там еще есть проблема ответственности. И отсюда совсем другая будет картинка. Мне нужна обобщенная схема, поэтому я говорю: обязательно две таблички.

Лазарев. Вы меня отсылаете к организационно-управленческой деятельности, но это не имеет отношения...

Вспомните наш разговор с Вадимом Мильманом. Ведь мне нужна такая схема, в которую бы вкладывались все смыслы.

Лазарев. Я с этим согласен, но когда вы эту схему уже представили, нужны основания того, что все случаи сюда вкладываются. Мы должны поверить этому, потому что проверить не можем. И не надо меня отсылать к деятельности – мол, это там есть, этого нет. Для меня это никакого значения не имеет. Я это понял и согласен так работать. А вы снова говорите: «А в организационном плане есть много чего – там есть

средства...» и т.д. Тогда я говорю: значит, ваша схема неполна, в ней чего-то нет. У ученика нет средств, которые этот разрыв....

Пока он не вышел в рефлексивную позицию, у него нет средств, а когда выйдет, они могут появиться. И в этом вся соль дела.

Лазарев. *Тогда он не обратится к учителю.*

Обратится. И больше того, само обращение ему необходимо как сигнал выхода в рефлексивную позицию. Именно так оно и должно использоваться в обучении детей. Он должен обратиться и получить ответ: «Подумай, вспомни, что мы проходили во второй четверти» и т.д. Ведь учитель должен вытягивать из него эти средства, и может оказаться, что они у него есть, они у него только, как говорят в педагогической психологии, не актуализированы.

Данилова В.Л. *У меня есть несколько вопросов. Во-первых, когда вы обсуждаете разрывы относительно левой позиции, то что это – разрывы у ученика, какими их видит и мыслит учитель, или это разрывы у учителя?*

Разрывы у ученика, какими их видит и мыслит учитель.

Данилова. *Не предполагает ли это тогда, что учитель должен проделать процедуру, аналогичную той, которую проделывали вы, имитируя деятельность ученика?*

Вполне возможно, что он должен это проделать или проделывал раньше.

Данилова. *Еще одно: когда вы представляете ученика, который выходит в рефлексивную позицию и начинает извлекать средства, не значит ли это, что тогда его деятельность будет представляться схемой, аналогичной вот этой?*

Ни в коем случае. Ведь у учителя плоское представление. В лучшем случае, у него на табло есть видение ситуации, действий ученика, и каким-то образом с этой ситуацией и с этим видением соотносятся те наборы средств, которые он имеет. Он же обязательно через свои средства все это осознает. Не надо смешивать средства, которые он дает ученику, и его собственные средства, с помощью которых он строит свою деятельность по передаче этих средств. Но они как-то тоже присутствуют, и срез, который он имеет, всегда определен в средствах его мыследеятельности.

Данилова. *Еще один вопрос. Правильно ли я поняла, что, перейдя к процедуре имитации, вы перешли от работы со структурно-функциональной схемой к работе по наполнению этой схемы?*

Конечно. Я закончил структурно-функциональную часть и начал теперь осуществлять особую процедуру специфически деятельностной мор-

фологизации. При этом суть работы по морфологизации, и в этом состояло существо нашей полемики с Валерием Семеновичем, состоит не в том, что мы схему накладываем на данный нам материал, а в том, что мы сами в эту схему влезаем, что материалом являемся мы сами. Но в очень сложной связке, когда, с одной стороны, мы действуем, а с другой – рефлексивно следим за тем, как мы это делаем, и в соответствии с формами организации нашей рефлексии описываем это. А это определяется тем, в какую из рамочных структур мы вошли.

Данилова. И еще: из-за вашего примера, когда ученик обращается к учителю, а учитель говорит: «Подумай, вспомни», у меня эта схема разделилась на два типа отношений между учеником и учителем. Один – когда коммуникация разворачивается по принципу: «Подумай, вспомни»; и второй – когда она захватила проблемы, которые могут быть организованы рефлексией.

Вера Леонидовна, это невероятно сложные вещи, и я временами сам проваливаюсь. Нормативное представление получалось тогда, когда всего этого не было, и таблички этой не было. Ведь мы сейчас обсуждаем уже метод исследования этого. Мы ввели позицию абсолютного наблюдателя и сейчас начинаем в позиции абсолютного наблюдателя все это имитировать и проигрывать. Ведь подлинный учитель делает одну вещь: он поглядел – и сказал. Ему никакой рефлексии не нужно, он вообще не знает, что это такое. Это же мы теперь на ощупь, медленно имитируем работу учителя, все время задавая себе вопрос: как же он смог это сделать? И за счет этой растянутости мы можем все это рефлексировать. Причем, у нас идет не только ретроспективная рефлексия, но и проспективная – мы строим и все время думаем: а как это делается? И это фиксируем дополнительно.

Поэтому, у нас на самом деле идет не выдача нормативного представления, а вторичная фиксация нормативного представления – либо по содержанию, либо по форме. Я подхожу к кардинальному вопросу: что мы делаем, когда мы начинаем все это исследовать? Нам ведь надо все это описать и дать нормативное описание, а не представление. Нормативное представление развертывалось до этого, без рефлексии. А тут начинается вторичное проигрывание, когда мы входим в одну позицию, в другую; мы при этом либо проигрываем, либо имитируем соответствующие действия, мы их рефлекслируем, чтобы зафиксировать и описать, и это все – процедуры психологического или деятельностного исследования.

Данилова. А предыдущая схема накладывает какие-либо ограничения на то, что мы можем делать, войдя в эту «морковку» и имитируя ее? Не является ли предыдущая схема, где было изложено нормативное представление, запретом на такую имитацию, когда учитель говорит: «Подумай сам»?

Нет, не является. Здесь есть единственный запрет, и это крайне важно. Если я говорю, что я теперь обсуждаю структуру исследования, то там действуют все законы исследования, в частности принцип адекватности/неадекватности наших нормативных описаний. А это означает, что мы должны, проигрывая и имитируя, приближаться к тому, что делает учитель или ученик. И это есть требование, хотя неизвестно, можем ли мы этому требованию удовлетворить.

Но, смотрите, что происходит в таком деятельностном анализе: сам имитирующий исследователь и есть измерительный прибор. Весь вопрос в том, насколько он сумел уподобиться прибору и проделывать ту же самую работу. А это упирается в вопрос относительно тождества его средств средствам ученика, тождества его средств средствам учителя или в вопрос о наличии специальных средств уподобления, т.е. проигрывания, или мыслительной имитации, которую мы сейчас и обсуждаем – будь то в теории игр, в частности организационно-деятельностных, или в теории мышления, имитирующего мышления и т.д. Весь вопрос в следующем: либо он идентичен, либо он себя приводит к такому состоянию согласно своим средствам. И это есть важнейшая проблема деятельностного и психологического исследования.

Данилова. У меня есть еще одно соображение, хотя, может быть, оно уведет в сторону. Вроде мы не можем имитировать каждую из этих позиций по отдельности, т.е. нужно как-то в ориентации ухватить еще и связность этих позиций.

Вера Леонидовна, ведь позиция учителя по отношению к позиции ученика является рефлектирующей, поэтому, переформулирую для себя ваш вопрос, я отвечаю на него так: здесь эта связанность определяется порядком рассмотрения. Начинать мы должны обязательно с позиции ученика или подчиненного, т.е. с нижней позиции. Поэтому табличка моя в этом плане неправильная: сначала должны были быть разрывы, потом средства. Я ее так нарисовал просто для того, чтобы получить пространственное соответствие самой схеме. Но должны мы начинать с работы ученика, а потом переходить к рефлексивной надстройке учителя.

Но что делает учитель? Учитель ведь должен проимитировать ошибки и разрывы ученика. Поэтому я бы сказал так: можно эту табличку разрывов каждый раз рисовать как двойную; скажем, внизу – разрыв как он трактуется из позиции ученика, наверху – разрыв как он трактуется из позиции учителя. Между ними фиксируется отношение рефлексивного наложения. И нужно еще фиксировать тождество и различия. Кстати, в теории задач это основной момент. Потому что когда дается задание, то вопрос в том, как понимает это задание принимающий, как – дающий, и обязательно должно фиксироваться одно над другим в этой вашей исследовательской имитирующей процедуре. Поэтому вроде бы здесь все определяется порядком движения.

Поскольку время истекает, я сейчас изложу основную идею, и на этом мы закончим.

Дальше начинается, собственно говоря, то, про что вы меня все время спрашиваете. Фактически, теперь, задав эти два фокуса или две центрации, я работаю «в паре». И структура знания – в данном случае получаемого нормативным методом – задается этой парой. А это значит, что учитель должен знать, чем обусловлен разрыв, чего не знает, не понял, не может ученик. И в соответствии с этим учитель в тексте, который он дает, вводит то или иное нормативное представление. Теперь возникает мысль Валерия Семеновича: тогда ведь получается, что разрывов столько, сколько людей, а способов преодоления столько, сколько учителей или начальников лабораторий. А я в противоположность этому говорю: их, к сожалению, очень мало, хватит пальцев одной руки.

Почему? Потому, что как формы фиксации разрывов, так и способы задания обеспечивающих их преодоление средств определяются нашими представлениями о деятельности. Когда я говорю «нашими», то имею в виду – теми, которыми располагает человечество. И дальше тогда оказывается, что все эти средства можно представить довольно компактно и, снова повторяю, к сожалению, очень бедно в категориальном перечислении.

Начинаем смотреть, что может происходить у ученика (я, фактически, ввожу принцип типологизации разрывов и средств). Первое – это разрыв процессуальности. Вот он какую-то часть выполнил и не знает, что делать дальше. Поэтому первый набор средств – это средства процессуальные. Как они строятся? Они строятся за счет разрезания процесса мыследеятельности на части и фиксации промежуточного исходного материала и продукта. Поэтому процессуальные представления мыследеятельности развиваются удивительно единообразно, независимо от того, с какой мыследеятельностью мы имеем дело. Это фиксация того, с чего начинаем и чем кончаем весь процесс решения задачи. И далее – на какие части делится процедура или процесс.

Лазарев. Здесь начинаются различия.

Ради бога. Мне важно, что принцип один и тот же: опять выделяем какой-то промежуточный продукт, и опять одновременно появляется соответствующий исходный материал в перефункционализации. И так мы можем продолжать эту процедуру деления вплоть до соответствующей операциональной атомистики. Иначе говоря, мы можем нарисовать одну ленточку – грубое членение, скажем, на три фазы с промежуточными продуктами. Потом каждую фазу разбить на подфазы, пока мы не дойдем до мельчайших единичных операций. Это первая процедура.

Теперь, вторая процедура – когда мы начинаем надстраивать над этим процессуальным членением дополнительную цель и переводим процессуальное в структуры. Здесь я по первому разу определяю, что такое по отношению к такому членению цель. Цель в нормативном представлении –

это особый способ оформления процесса как автономной и целостной единицы действия. Если мы можем приписать цель какой-то части процесса, то эта часть сама становится процессом. И тогда уже мы процесс делим не на части, а на процессы.

Лазарев. А что значит «приписать»? Ведь мы можем чему угодно приписать.

Если можем, то мы это и делаем.

Лазарев. А что ограничивает наши возможности?

Оказывается, что отнюдь не всему мы можем приписать цель. Ее же нужно создать и оформить в структуру, соответствующую стандартной структуре цели. Но мне важно вот что. Я ввожу здесь функциональное место цели: цель вообще появляется в человеческой деятельности только в этих структурах нормативной организации, когда учитель или руководитель разбивает процесс на части в порядке преодоления разрывов и – что специфично – оформляет части процесса как самостоятельные процессы.

Лазарев. А в индивидуальном действии такого, значит, не возникает?

А в индивидуальном действии такого возникнуть не может, поскольку здесь у нас переход «из интер- в интра-». Когда руководитель или учитель дал этот метод разбивки и он для ученика или подчиненного выступает как нормативный способ представления процессов действия, то ученик и принимает процесс как таковой, т.е. как целоснащенный.

Лазарев. Значит, то что в обыденной жизни – это не цели?

А мы в обыденной жизни именно так все и делаем, и никак иначе. Дело в том, что индивид может выступать в этих двух позициях. И если начинается планирование или программирование, то это означает, что он сначала попадает в позицию учителя – дает себе нормативное представление, разбивку, формулирует цели, – а потом начинает все это реализовывать.

Мне что важно? Что цель возникает как дополнительное оформление этой разбивки на составляющие и представление составляющих как самостоятельных и относительно автономных процессов.

Лазарев. Непонятно, откуда процесс появляется. Он вроде существует и до того, как цель поставлена.

Смотрите, что я говорю в игровом взаимодействии: никаких процессов вообще нет, и деятельность вообще не процессуальна, тем более – мыследеятельность. Процессы есть особый способ организации нормативных представлений. И специфика процессуальности заключена в этом

способе разбивки. Процесс – это то, что мы можем разбить на части и затем состыковать – либо как линейный порядок, либо по времени. Еще раз повторяю: никаких объективных процессов в мыследеятельности нет, процесс есть форма организации, самая примитивная, нормативных представлений, заключающаяся в том, что в мыследеятельности мы все, от начала до конца, можем разбивать на части, а частям придавать статус самостоятельных процессов. Если мы делаем такую разбивку, значит, мы представляем процесс, если мы делаем не просто такую разбивку, а еще и оснащенную целями, продуктами, исходным материалом, преобразованием, это уже не процессуальное представление.

Лазарев. Получается интересный момент: поскольку, когда мы разбиваем процесс, во внутренности этих блоков мы не влезаем, то мы их кладем как естественные изменения входов и выходов.

Тут есть тонкость. В отличие от процессов есть совершенно другой тип нормативных представлений, который задается как преобразование, скажем, O_1 в O_2 . Процессы есть членение по типу черного ящика, процессуальность есть состыковка частей внешним образом. Когда мы подпроцессы рассматриваем как черные ящики и стыкуем их как «болванки», то это – процесс.

Лазарев. Правильно. Значит, вы не знаете, что там идет. Поэтому рассматриваете как естественное.

Не знаю. Мне важно, что это есть способ состыковки частей друг с другом. А если я влезая внутрь и наполняю исходным материалом, и начинаю говорить о преобразовании одного в другое, то это уже не процессуальное представление. Это уже принципиально другое. В этом случае мы можем говорить либо о преобразовании, т.е. о том, что мы производим с материалом, когда берем искусственную модальность, либо о превращении, когда задаем естественную модальность. Это будет совершенно другой тип нормативных представлений деятельности.

Мильман. Можно справку на понимание? Какие существуют формы нормативных представлений, кроме процессуальной?

Процессуальная, структурно-акторная – два типа я назвал. Один связан с преобразованием материала – мы вставляем туда материал, движущийся как бы в этом процессе, преобразуемый, превращающийся. Другой – когда мы оснащаем это деятельностно: вводим цели, средства; тогда мы выделяем процедуры как таковые и т.д. Таким образом, здесь есть пакет разных, более или менее богатых акторно-деятельностных представлений.

На другой ленточке может быть включена оппозиционная схематизация.

Лазарев. Вы про разрывы?

У меня же фактически все связано с тем или иным типом разрыва. Каждое задание нормативного представления есть способ преодоления того или иного разрыва. Например, если ученик не может правильно определить цели и состыковать процессы или операции относительно объекта, когда он спрашивает: «Какой здесь объект? Какими средствами я пользуюсь?» – каждый раз появляется соответствующее представление акта деятельности, отвечающее на те или иные вопросы; по сути дела, акторные схемы в теории деятельности – это объединение ответов на целый ряд вопросов такого рода. А может быть совсем другая ситуация, когда мы спрашиваем: «Кем и как исполняется этот процесс?» – и тогда нам надо произвести распределение по людям, и мы строим соответствующие позиционные схемы, рассматривая процесс как коллективный.

И, наконец, последнее, что я здесь хочу зафиксировать: мы можем между одними и другими представлениями устанавливать определенные отношения, в частности по схеме «процесс – механизм». Тогда мы можем, например, обсуждать вопрос о том, каким образом может тот или иной процесс – а это означает, что мы это особым образом нормативно представили – обеспечиваться за счет соорганизации актов деятельности, исполняемых разными участниками, или функционерами. И тогда между этими ленточками устанавливается отношение по типу «механизм, обеспечивающий выполнение того или иного процесса».

На этом я бы остановился, хотя смысл дела состоит в том, чтобы дальше обсуждать эти способы представления нормативного и проигрывать их относительно всех функций – нормативного предписания, нормативной модели, нормы, норматива. Но важно, что наборов этих сегодня очень мало, все они определяются возможными теоретическими представлениями...

Мильман. Я представляю себе это так, а вы скажите, насколько это верно. Ученик выходит в рефлексивную позицию, связывается с учителем, затем учитель в свою очередь тоже выходит в рефлексивную позицию...

Нет, Вадим, ученик связывается не в рефлексивной позиции, а в исходной, непосредственной позиции.

Мильман. А в рефлексивную зачем он выходит?

Я эту линию вообще не обсуждал. Там ведь начинается рефлексивная возгонка ученика, когда ему начинают передавать не просто возможность строить деятельность, а разные рефлексивно-мыслительные способности. Учитель ему сообщил что-то и спрашивает: «А что я тебе сообщил?» или «Про что я тебе рассказывал?». И он теперь вынужден проделывать самый сложный анализ по схеме «форма – содержание» того, что ему сообщили. Учитель может быть более противным и спросить: «Про что я тебе рассказывал и как я тебе рассказывал?». И тогда начинаются выходы

в эти рефлексивные позиции, и здесь впервые начинает выстраиваться плоскость содержания в противоположность плоскости форм.

И это уже связано с осуществлением собственно мыслительных функций. Это я буду обсуждать в докладе на совещании по взаимопониманию, рефлексии, мышлению. Здесь очень много сложных и интересных вопросов, но у меня нет возможности их здесь сейчас обсуждать.

– Значит, когда есть программа, ученик действует как автомат, а когда нет – остановился, спросил?

Да. Поскольку мы же лишили его рефлексивной функции, а это и значит, что мы обrekli его на автоматизированную деятельность.

Лазарев. Вопрос учителю он задавал из рефлексивной позиции?

Поймите мою позицию. Я полагаю, что когда ученик у нас задает вопрос: «Что здесь делать?», – то у него нет никакой рефлексивной позиции. Случай, когда у него есть такая рефлексия, я не обсуждаю, он принадлежит к более сложным образованиям, нежели нормативные представления. Это все за пределами сегодняшнего обсуждения. Мне важно было ввести эту простейшую схему и обсуждать на ней наши проблемы – что нам делать, когда мы это все исследуем.

Это не рефлексивный выход, это заимствование. Мы заимствуем, но приходим со своей рефлексией. Я это обсуждал в статье «Смысл и значение» (Щедровицкий 1974 а). И, кстати, здесь существуют еще трудности самоопределения, и в этом масса тайн, которые надо обсуждать при более детальном анализе, я сейчас их не касаюсь. Вот я исследователь, у меня рефлексивная позиция, теперь я говорю себе: «Я заимствую его позицию». Что с моей рефлексией? Она никуда не исчезла и идет параллельно. И в этом особенность моей работы как исследователя.

Данилова. Я вроде про другое спрашивала. Когда мы заходим в «морковку» и начинаем имитировать позицию, то, естественно, остается своя рефлексия, но какую-то рефлексию мы вроде бы приписываем той позиции, которую мы имитируем.

Нет, ничего не приписываем, мы исполняем это действие или строим это действие.

Мильман. По поводу выхода ученика к учителю. Они все-таки на разных уровнях находятся. Для того чтобы связаться с учителем, либо ученик должен выйти в рефлексивную позицию, либо учитель должен, так сказать, «обратно рефлексировать» до уровня ученика, и тогда ученик может выходить на учителя, не рефлексировав.

Нет. Хотя это – величайшая тайна мыследеятельности. Коммуникация нарушает все законы, потому что коммуникация есть то, что пронизывает разные рефлексивные слои и уровни. Поэтому здесь возникает

удивительная, очень сложная для анализа двойственность: учитель рефлексивирует деятельность ученика и вроде бы находится на полочку выше, но если мы берем теперь коммуникативный срез, то они находятся в одной ситуации коммуникации, и учитель должен говорить на таком языке, чтобы ученику было понятно. Это, фактически, то же самое, что мы зафиксировали для технических знаний на вашем докладе, Вера Леонидовна. Эта удивительная способность коммуникации как бы сплющивать разные уровни иерархии деятельности, в том числе разные уровни рефлексивной организации, должна исследоваться как особенность коммуникации и коммуникативных структур, это то, с чем мы все сталкиваемся.

Коммуникация и процессы понимания: методологические проблемы организации, развития и познания *

Мы начинаем наше рабочее совещание по теме «Коммуникация и взаимопонимание в коллективной мыследеятельности: логические, лингвистические, психологические аспекты».

Это совещание является шестым из числа тех, которые мы проводим по программе «Анализ техники решения сложных проблем в условиях неполной информации и коллективного действия», и вторым по теме «Коммуникация и взаимопонимание».

Наши цели в этой узкой области остаются прежними – теми, которые мы ставили полтора года назад: во-первых, определить пути, средства и методы онтологического представления коммуникации и процессов понимания и, во-вторых, наметить возможные научные и технические предметы изучения коммуникации и процессов понимания. Вот эти два момента – с одной стороны, онтологии и онтологические схемы, с другой стороны, предметы и предметная организация мышления и деятельности – будут для нас решающими в ходе всей дальнейшей работы. Наверное, это единственное требование, которому должны удовлетворить все, кто принимает участие в этом совещании: различать онтологические построения и предметное мышление и предметную деятельность.

Само это наше совещание будет по структуре двойным, и вы потом можете сравнить тот регламент, который я сейчас намечаю, с тем, что написано здесь в программе. Мы, с одной стороны, будем вести дискуссию и обсуждение по теме «Коммуникация и взаимопонимание», с другой – проведем в среду организационно-деятельностную игру, для чего разделимся на профессионально-предметные группы. Таких групп в программе намечено семь. Это *логики, философы, лингвисты, психологи, педагоги, системодействительностники* и есть группа просто *дилетантов*, или интересующихся.

Сначала все эти группы проведут внутригрупповое обсуждение – с тем чтобы как-то наметить и представить себе свою профессионально-предметную позицию; на это уйдет примерно 45 минут; потом эти позиции будут здесь представлены именно как разные профессионально-предметные. Потом мы проведем общее обсуждение этих точек зрения и представлений, попытаемся выработать понимание чужих точек зрения и свети это все к какому-то единому представлению; это образует как бы нижний слой нашей работы по теме. А затем, на следующий день, в четверг

* Доклад на совещании «Коммуникация в процессах решения задач» (НИИ общей и педагогической психологии АПН, 5 апреля 1982 г.). Арх. № 0026.

вечером, мы проведем междисциплинарный и предметный анализ этих попыток коммуникации и взаимопонимания, постараемся выяснить – быстро, по ходу дела, – что может сказать каждый представитель специальности, имея дело с простыми примерами коммуникации и взаимонепонимания. Ну а дальше будем намечать программу разработок по теме «Коммуникация и понимание». Вот так будет организована наша работа: с одной стороны, банально и просто, а с другой – сложно.

Здесь я перехожу непосредственно к теме своего доклада: «Коммуникация и процессы понимания: методологические проблемы организации и познания». Задача очень сложная, потому что последние 30 лет попытки сделать коммуникацию и понимание предметом строгого и методологически оснащенного системного анализа, попытки, предпринятые с самых разных сторон, каждый раз заканчивались неудачей, и, несмотря на то, что издается довольно много литературы специально по вопросу коммуникации, до сих пор мы не имели ни одного примера предметизированного и онтологически организованного анализа коммуникации и процессов понимания.

Если кто-то из присутствующих воспримет мое утверждение как преувеличение, я с удовольствием выслушаю любые контрпримеры, возражения. Думаю, мы не будем жалеть на это время.

Итак, для начала я утверждаю, что все попытки представить коммуникацию и процессы понимания в строгих, конструктивно развертываемых онтологических схемах, раз, и в виде предмета научного, технического и просто распределенного исследования, два, окончились полной неудачей.

На прошлом совещании по этой теме я вкратце рассматривал классический, с моей точки зрения, пример такого положения дел. Это сборник, переведенный на русский язык под редакцией Мирского и Соломина – «Коммуникация в науке». Если мы начинаем внимательно анализировать собранные там примеры анализа коммуникативных процессов, то мы убеждаемся прежде всего в одном: несмотря на непрерывную апелляцию к коммуникации, ни в одной из этих работ коммуникация как таковая не становится предметом изучения. Ну, скажем, работы Гриффитса, Маминса и др. являются в этом плане классическими и выражающими общий подход и общую точку зрения. Там коммуникация каждый раз является показателем границ, с одной стороны, тех научных сообществ или социокультурных коллективов, которые они называют малыми или сплоченными, а с другой – более широких образований, которые, по терминологии Прайса, получили название «невидимого колледжа».

Так вот, каждый раз, несмотря на наличие этого, сейчас уже достаточно высокого интереса к проблемам коммуникации, до сих пор не удается выделить саму коммуникацию и связанные с ней процессы понимания в виде предмета изучения. Причем, я сейчас не делаю разницы между

строго научными, объективированными исследованиями и, скажем, тем, что в последние 20–30 лет получило название «понимающего исследования» и широко распространилось как в области психологии, социальной психологии, так и в области социологии. Для меня диалектический анализ точно так же представляет собой методическую процедуру исследования понимания, и по отношению к нему я точно так же ставлю вопрос о том, каков же там очерченный и определенным образом выделенный предмет, и по-прежнему утверждаю, что такого там нет.

Если, скажем, какой-то крайний представитель герменевтической точки зрения будет мне говорить, что там этого и не должно быть, я приму это как позиционное кредо, подтверждающее вроде бы мою позицию – только с тем отличием, что здесь утверждается не просто отсутствие таких предметных представлений, но, кроме того, и принципиальная невозможность их построить.

Продолжая очерчивать ситуацию, сложившуюся в этой области на сегодня, я хочу теперь подчеркнуть отличие нашей позиции, нашего подхода к проблемам коммуникации, процессам понимания, взаимопонимания от других направлений, в частности социологических или близких к ним – социально-психологических.

Нами, в нашем интересе к этой теме, двигали не только, даже и не столько, теоретические и методологические моменты, сколько *необходимость практической организации коммуникации и взаимопонимания*. В этом я вижу особенности нашего подхода и нашей позиции сравнительно с другими, достаточно хорошо сейчас известными.

Может быть, наиболее резко и жестко эта проблема практической организации коммуникации и взаимопонимания возникает у нас в практике организационно-деятельностных игр (ОДИ). Поэтому я мог бы сейчас сказать, что наш интерес к коммуникации и процессам понимания детерминирован, в частности, необходимостью развертывания практики ОДИ. Организационно-деятельностная игра – это метод организации коллективного мышления и деятельности, направленных на решение сложных проблем и задач. Я говорю «организация коллективного мышления и деятельности», но точно так же я мог бы сказать «организация *коммуникаций* в коллективе», поскольку решение проблем и задач, осуществляемое в организационно-деятельностных играх, происходит прежде всего в форме коммуникации и предполагает очень четкие процедуры понимания позиций, точек зрения, средств других участников коллективной работы, даже в тех случаях, и особенно в тех случаях, когда эти другие участники являются носителями других парадигм. Таким образом, в практике своей работы, в частности в ОДИ, мы сталкиваемся с тем (на мой взгляд, теперь уже всеобщим) обстоятельством, что мы сегодня, как правило, либо просто не понимаем друг друга, либо понимаем очень плохо.

В подавляющем большинстве случаев так называемая научная коммуникация, или коммуникация на совещаниях и конференциях, представ-

ляет собой такой характерный бедлам, в котором, когда люди дискутируют, то они спорят, как правило, с ветряными мельницами, а когда они делают вид, что они обсуждают, то каждый из них произносит свой монолог, не считаясь с тем, что говорилось другими. Каждый из нас представляет собой такую оуклившуюся монаду, по сути дела, уже коллапсировавшую, мертвую, и только делающую вид, будто бы она живет. Вот так, в этой достаточно резкой форме, мне представляется сегодня практика так называемых научных дискуссий, обсуждений, которые мы наблюдаем на конференциях.

Она демонстрирует нам результаты дальнейшего развития научной точки зрения, развивающейся в течение 300 лет на пути дифференциации предметов, уточнения их, организации строгих, идеальных объектов, и мы, собственно говоря, получили то, что было оплачено исходной идеологией научного подхода.

Теперь каждый имеет свой маленький предметик, достаточно часто хорошо построенный, и может уже вообще не интересоваться тем, что происходит в мире. И поэтому то, что в нашем мире происходит, является результатом вот этой хуторской политики и обособления и автономизации каждого исследователя.

Наумов С.В. ...

Я думаю, Сергей Валентинович, политическая борьба происходит не на совещаниях. А на совещании, к сожалению, никто не выдвигает своей позиции «в лоб». Поэтому я бы ответил вам очень резко: все научные конференции в 99 случаях из 100 выдают лишь фиктивно-демонстрационный продукт. Это есть ритуал, который мы воспроизводим, и содержания он, как правило, не имеет, ибо хотя мы сидим вместе, но на самом деле каждый сидит сам по себе.

Так вот (я возвращаюсь к основной линии моего рассуждения), поскольку мы набрались окаянства и решились сформировать некоторые коллективные формы мышления и деятельности и сформировать соответствующие, на коллективах развертывающиеся мегамашины мышления и деятельности, то естественно, что мы прежде всего столкнулись с проблемой организации коммуникации и взаимопонимания. Не может быть никакой мегамашины, никакой коллективной мыследеятельности, если участники общей работы просто не понимают друг друга. А следовательно, перед организаторами и руководителями ОДИ встала в качестве важнейшей сугубо техническая, с одной стороны, и организационно практическая, с другой стороны, задача – уметь организовывать эту коммуникацию и взаимопонимание.

Отсюда, как вы понимаете, уже шли требования к научному, квази-или псевдонаучному исследованию самой коммуникации и взаимопонимания. Все представления, которые мы сегодня можем заимствовать из других работ и направлений исследования для нас являются, во-первых,

слишком абстрактными, а во-вторых, слишком крупноблочными. Иначе говоря, все эти представления о коммуникации и процессах взаимопонимания не могут обеспечить наших организационно-практических целей и установок. И обратно: чтобы мы могли решить свои организационно-практические задачи, мы должны выработать куда более детализированные представления о коммуникации и взаимопонимании, раз, и найти средства организационного воздействия на эти процессы коммуникации и взаимопонимания, два.

И поэтому с середины 60-х годов, уже в силу практики развития Московского методологического кружка (ММК), его семинарской практики, или практики интеллектуальных игр, мы должны были обратиться к процессам коммуникации, и по мере того как мы углубляли свои собственные представления и практику своей работы, коммуникация все больше и больше выходила на передний план. Так повелось еще с 50-х годов, и так продолжалось, наверное, до середины 70-х.

Постепенно мы начали понимать, что такого рода стратегия является, по-видимому, принципиально ложной и что значительно более эффективной должна быть вроде бы принципиально иная стратегия. Я ее сейчас сформулирую предельно резко и, может быть, даже утрированно: *стратегия анализа коммуникаций как того, в чем мышление может существовать реально.*

Это очень резкий тезис, поскольку если вы возьмете наши самые ранние работы первой половины 50-х годов и второй половины 60-х, то, в общем-то, мы всегда понимали, что при анализе речевых форм, в том числе и мышления, уйти от коммуникации нельзя. Поэтому родился тезис «языкового мышления» и «речевого мышления», делались утверждения, что вообще-то никакого мышления, кроме речевого, не существует. Я специально обращаюсь к этому тезису, потому что дальше буду ревизовать его и вносить в него очень существенные поправки, без которых (как мы сейчас это уже вроде бы понимаем) вообще нельзя исследовать мышление и коммуникацию.

Но все равно, несмотря на такие тесные сближения, несмотря на утверждение, что мышление есть всегда речевое, языковое, принципиально знаковое мышление, все то, что я сказал о коммуникации, остается в силе, поскольку не надо смешивать друг с другом коммуникацию как таковую и речевую или языковую формы. Это разные вещи. Коммуникация есть вроде бы особого рода предмет, который мы создаем, и утверждение, что мышление всегда осуществляется в речевой, языковой или знаковой форме, отнюдь еще не означало, что анализ коммуникации и анализ мышления тождественны.

А вот теперь я говорю нечто принципиально иное: с тех пор как в середине 70-х годов мы начали менять свою стратегическую установку и, вместо того чтобы прорываться сквозь коммуникацию и идти к мышлению, стали все больше и больше внимания обращать на саму

коммуникацию, – вот после этого мы пришли к пониманию того, что вне коммуникации вообще, по-видимому, не существует никакого мышления и – я бы дальше продолжил эту мысль – вообще никакой деятельности. И вот это – уже очень важный и принципиальный поворот. По сути дела, прямыми следствиями из этого тезиса являются следующие утверждения.

Абстракция деятельности как таковой является слишком сильным переупрощением реального положения дел. Нет и не может существовать никаких единиц деятельности, не содержащих внутри себя коммуникаций и не выражающихся в них.

И дальше. Нет и не может быть, по-видимому, никаких единиц мышления, не содержащих внутри себя коммуникаций и не выражающихся в этих коммуникационных процессах.

Иными словами, коммуникация в этой новой ориентации стала самым главным внутри самого мышления, поскольку оно коллективно, и внутри деятельности, поскольку она точно так же коллективна. И это уже означало такой резкий и принципиальный поворот всех исходных онтологических схем, который, по сути дела, принципиально менял как объект, так и предмет исследований.

Вот такой поворот произошел у нас сейчас, и поэтому обсуждение темы коммуникации и понимания друг друга не является одной из частных факультативных тем, как бы лежащих на периферии по отношению к тематике мышления и деятельности – наоборот, оказывается, что тема коммуникации и понимания образует сердцевину и суть, самое главное в том, что мы до сих пор рассматривали как мышление и деятельность.

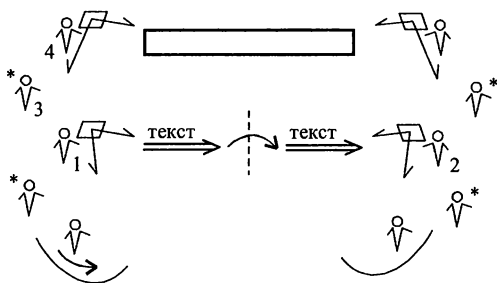


Рис. 1

И когда я обращаюсь к этой онтологической картине (рис. 1), вы можете видеть, что вот этот процесс коммуникации (а две двойные стрелки означают у меня текст, передаваемый в процессе коммуникации) и образует стержень и сердцевину того, что мы называем сегодня мыследеятельностью.

И все то, что относится к сфере чистого мышления, и то, что относится к сфере действия (мы дальше будем все это обсуждать), образу-

ет, по сути дела, периферию по отношению к процессу коммуникации. Поэтому сегодня, на этом этапе развития наших представлений, я бы взял девизом библейский тезис: «В начале было слово». Все остальное прикладывается потом. Я специально оговариваю, что так обстоит дело на этом этапе развития наших представлений. И если раньше мы выбирали тезис «в начале было дело», то сейчас, для данного этапа развития наших представлений, правильным мне представляется тезис «в начале было слово».

Но хотя вроде бы наши ориентации за последние шесть или семь лет и сместились, изменилась общая структура ценностей, существо дела в онтологическом изображении коммуникации (а для нас коммуникация всегда в структуре мыследеятельности и мышления) практически не изменилось. И точно так же нас до сих пор преследуют неудачи в построении предмета исследований. У нас его нет.

Но тут я опять разделяю эти два пункта – онтологическую картину и предметную структуру. И нынешнюю ситуацию я бы определял так. Я полагаю, что нам в 1980 г. удалось построить очень мощную схему мыследеятельности с коммуникацией внутри, и поэтому я могу сказать так: онтологическую картину мы сейчас имеем. А вот предмета мы еще не имеем. Поэтому главная цель и задача на нынешнем этапе, с моей позиции, заключается в том, чтобы так проработать эту онтологическую картину, чтобы наметить пути, средства и методы ее предметизированного развертывания, определить пути построения предмета. Вот в этом я вижу сейчас нашу основную цель, таким образом я хочу воспринимать это совещание. Если бы мы продвинулись на этом пути, я бы считал, что достигнут очень важный результат.

Теперь я должен вернуться назад и постараться ответить на вопрос: а в чем же заключены глубинные причины неудач в построении онтологической картины коммуникации и понимания и, соответственно, причины неудач в построении предмета изучения? По сути дела, я возвращаюсь здесь к тому тезису, который я формулировал на заседании четвертого круглого стола совещания по Выготскому. Я не буду повторять аргументацию, которую я проводил тогда, сформулирую самое главное. На мой взгляд, коммуникация, сама по себе и как образующая центр структуры мыследеятельности, является по отношению ко всем развитым до сих пор научным предметам междисциплинарным, комплексным объектом.

Набор предметов, так или иначе относящихся к коммуникации, достаточно ясен. Это логика, лингвистика, семиотика, социология знания, то, что принято называть психологией мышления, в какой-то мере педагогика, эстетика – перечень этот можно продолжить, я не стремлюсь здесь к полноте. Каждый из названных здесь предметов имеет свой особый идеальный объект. Скажем, логика – то, что называется правильным, формализованным мышлением; лингвистика – язык и организация его в текстах речи; семиотика – знаки любого рода, как в их синтагматическом, так и в парадигматическом функционировании; педагогика – коммуникация в

процессах обучения и воспитания. Каждая из этих дисциплин имеет свою идеальную действительность.

И вот теперь, когда мы начинаем обсуждать вопрос о том, что же такое коммуникация и как, собственно, нам ее схематически предъявить, то единственное, от чего мы можем идти, это от всей той совокупности предметов, которая уже существует и в которых так или иначе схвачены или представлены различные аспекты, или различные проекции, коммуникации, мышления и мыследеятельности. И поэтому, когда мы становимся на точку зрения того или иного из этих предметов, то коммуникация и мыследеятельность всегда исчезают. Нельзя увидеть коммуникацию и мыследеятельность в целом сквозь призму любого из сложившихся и существующих ныне научных предметов – так можно увидеть только определенный аспект коммуникации и мыследеятельности. Поэтому, говоря я, выход на коммуникацию и мыследеятельность как на целостный объект может происходить только за счет того, что за последние десять лет получило название междисциплинарной и, как сказал бы я, надпредметной, или распределмечивающей, работы.

Надо взять всю совокупность этих предметов, провести их критику, вычленив то, что фиксируется в действительности каждого из этих предметов, как проекцию и потом, в ходе специальной методологической работы, собрать все это в одно целое.

Вот в этом пункте самый важный момент: мы сталкиваемся с традиционно-эмпирической, или вульгарно-материалистической, точкой зрения. По сути дела, то, что противостоит здесь подлинной конструктивной работе, это, на наш взгляд, позитивистский предрассудок, будто можно путем наблюдения того, что происходит в окружающем нас мире, сбора каких-то феноменальных аспектов и их определенной систематизации построить представление о коммуникации и понимании и сформировать соответствующий предмет. Это и есть то, что мешает нам продуктивно и конструктивно работать.

Но история очень жестока в этом плане, и чудес не происходит. Я бы сказал, что мы в этом плане очень напоминаем людей на островах в Тихом океане, которые создали себе новую религию – религию «добра»: на огороженных колючей проволокой, давно заброшенных аэродромах компании «Транс-Америкэн» построили макеты самолетов по образцу и подобию тех самолетов, которые когда-то доставляли продовольствие и товары, и ждут уже 20 лет, что к ним прилетит аналогичный самолет и привезет им много-много разного добра.

В этом смысле мы полностью уподобились этой ситуации. Мы много говорим о коммуникации, о том, что она объективно существует, и ждем, когда же у нас наконец появится соответствующее представление; собираем факты, накапливаем их, стремимся получить побольше таких тонких фактов и думаем, что из этого что-то сложится. Но чудеса не происходят. Боюсь, что оно не произойдет никогда, и поэтому для меня остается толь-

ко один путь – это путь методически строгой, систематической, хотя и очень медленной и трудоемкой, схематизации существующих предметов и построения соответствующих онтологий.

И поэтому – хотя мне опять скажут, что это слишком абстрактно, слишком заметодологизировано, может быть, бессодержательно, формально, представляет собой джентльменский набор методологии, а не живой анализ коммуникации и взаимопонимания – я не вижу, тем не менее, другого пути, кроме этого скучного методологизирования, и думаю, что ни на каком другом пути результатов вообще никогда не будет. Можно еще 1000 лет ждать чуда, и оно не произойдет.

Может быть, потом история будет переписана иначе, и если методологи сделают свою работу, сформируют соответствующие онтологические картины, то они будут взяты и использованы, а потом о предваряющей методологической работе все забудут и будут говорить, что, мол, это очевидно и что мы сами это получили. Но если методологи не проделают своей черной и кропотливой работы формирования онтологической картины, то, на мой взгляд, не будет такого предметного представления, и поэтому я хочу двигаться по этому пути.

Еще раз возвращаюсь назад, систематизируя и периодизируя этапы работы и снова формулируя цели и задачи, как они мне видятся. Выдвинутая в ММК в начале 1950-х годов идея, что все научные предметы всегда представляют собой лишь некоторые проекции реальных объектов, или аспекты того, что мы называем объектами, была – как принцип и стратегия – исключительно значимой и, на мой взгляд, очень плодотворной. Именно этот тезис определяет дальнейшую стратегию работы и выход на онтологию. И поэтому вроде бы как раз из этого принципа о проекциях, или аспектах, и вытекают наши представления об основных этапах работы.

Прежде всего мы должны собрать определенную совокупность предметных представлений. Неважно, будет их три, четыре или пятнадцать (здесь тоже нужна определенная предваряющая организация). Нам нужна организационно-методологическая схема, т.е. задание пустого места для объекта, представляемого в той или иной онтологической картине, и должна начинаться особая работа, которая в терминологии ММК получила название конфигурирования, особая работа по систематизации содержания всех этих предметов в сопоставлении друг с другом и с установкой на синтез, но в условиях, когда синтез не может быть принципиально. Вот это образует то новое, что мы сегодня имеем.

Если, скажем, во времена Иммануила Канта, и даже Гегеля, считалось, что установка на синтез знаний является одной из важнейших в образовании научного знания, но предполагалось, что эта установка может быть реализована, синтез может быть осуществлен, то сегодня мы говорим, что вроде бы вся работа по поиску новых объектов является междисциплинарной (и в этом смысле это – общий принцип), сегодня мы считаем,

что такая установка должна быть, но только синтеза разнопредметных знаний не может быть в принципе, ибо это противоречит идее предметной организации. Единственное, что здесь может быть (это есть оправдание методологической работы, указание на необходимость самой методологии), это системоделятельная критика всех предметов, т.е. разворачивание их как систем деятельности. И отсюда – невероятно значимый для нас тезис: предмет есть не проекция объекта, предмет есть определенная система деятельности, или, точнее, определенная система мыследеятельности, или мышления и деятельности, замкнутых друг на друга.

Для того чтобы провести систематизацию предметов и выйти на представление объекта, нужно, в точном соответствии с тем, как К.Маркс характеризовал диалектический метод, прежде всего снять мыследеятельную обертку с содержания, т.е. реконструировать ту совокупность средств, процедур, способов и форм организации разнородных образований, которые и составляют каждый предмет, провести критику его с целью выявления значимого для отношения этих предметов друг к другу содержания и затем особым образом, вне предмета, систематизировать это содержание и постараться его собрать. Вот эта идея и задает первый этап работы.

Что это означает в переводе на ситуацию, которую мы сейчас имеем, и тему «Коммуникация и взаимопонимание»? Это означает, что мы должны взять ту же самую логику, лингвистику, социологию познания, психологию мышления, педагогику воспитания и обучения, или передачи знаний, провести соответствующую системную мыследеятельную критику всех этих предметов и вычленив то содержание, которое могло бы у них относиться к процессам коммуникации и взаимопонимания.

Вот для того, чтобы мы могли использовать результаты этой критики, нам нужны специфические схематизации (я еще вернусь к этому), в которых мы могли бы фиксировать результаты нашей критики. Это и есть то, что мы называем онтологической картиной. И первоначально онтологическая картина, и это очень мне сейчас важно, выступает как своего рода рисованный агрегат. Я повторяю это главное утверждение: онтологическая картина на первом этапе представляет собой *рисованный агрегат*.

Я вспоминаю здесь точную, меткую критику, когда то, что мы делаем, было в шутку названо «методологической живописью». Я с большим удовольствием принимаю этот тезис.

В ходе понимающей методологической работы, производящей схематизацию живого содержания разных предметов, именно живопись является главным и решающим моментом. Онтологическая картина в своих исходных формах является рисованным агрегатом. Она нелогична. Она герменевтична. Она существует и держится как стяжка за счет очень сложных интенциональных процедур работы нашего понимания.

И это задает нам первое направление работы. Итак, мы должны прежде всего понять, что же несут в себе логика, лингвистика, психология мышления, семиотика и другие дисциплины касательно коммуникации и по-

нимания, и зарисовать это понятие. И мы обязательно должны это понять, по крайней мере, на бинарных представлениях, а лучше – на охвате всего целого этих дисциплин.

По сути дела, та схема мыследеятельности, которую я здесь нарисовал, представляет собой такой рисованный агрегат. Ее части разнородны, не существует пока никаких конструктивных правил сборки этого представления, тем более оперативного преобразования одних схем в другие. Все это должно появиться потом, на следующем этапе. И вот тут я говорю: после того как онтологическая картина в форме рисованного агрегата создана, необходимо начать очень систематизированную проработку этой рисованной онтологической картины прежде всего на предмет ее конструктивизации. Вообще говоря, принципы и процедуры проработки такой онтологической картины весьма разнообразны. Некоторые из них я буду здесь рисовать.

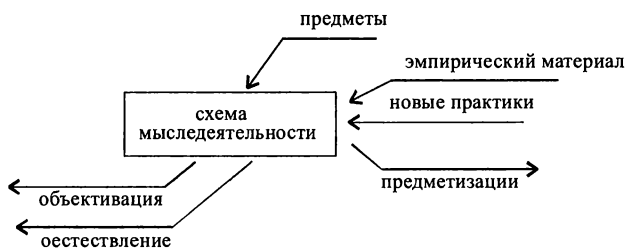


Рис. 2

В виде блока я обозначу саму эту схему коммуникаций и мыследеятельности, которую мы рисуем, и теперь начинается серия *интенциональных* проработок. Первое, что мы должны сделать, это снова, в процедуре уже исторической критики и объяснения, вынуть из всех существующих предметов соответствующие моменты содержания и положить их в схему. Я бы сказал, что это и есть задача нашего совещания. Не обязательно в эту схему – здесь возможны самые разные точки зрения. Чтобы войти сюда, отнюдь не надо платить отказом от собственной точки зрения, наоборот, надо свою точку зрения предельно рафинировать и задавать любые мыслимые схематизмы, которые позволяют собрать коммуникативные, «понимающие» содержания всех существующих предметов. Но нужно их все, в совокупности, пропустить, как через ситечко, через эту схему и положить сюда блоки содержания и логики, и лингвистики, и психологии мышления, и педагогики и т.д. Это первый момент.

– ...

Когда мы образуем эту схему, будь то в виде модели-конфигуратора или в виде пространственно организованной схемы, мы двигаемся от предметного содержания к схеме-модели или к схеме план-карты. Теперь она у нас задана – начинается обратная, ретроспективная проработка. Мы теперь должны доказать культуросообразность этой схемы, т.е. показать, что

она соответствует существующим предметам и может объяснить их и тем самым оправдать. Иначе говоря, показать, что лингвистика в подходе к коммуникации оправданна, но на своем месте. И даже логика в подходе ко всему этому кругу проблем тоже оправданна. И в той мере, в какой эта схема будет объяснять и оправдывать максимум из уже наработанного, она будет доказывать свою культуросообразность, свое право на существование.

Туда должны быть отнесены также и все те содержания, которые были выявлены эмпирически, в практике работы и не были охвачены прошлыми предметами. В этом преимущество всякой схемы такого типа – она позволяет втянуть в себя те явления, которые не втягивались в традиционный предмет.

Далее, эта схема должна быть объективированной, а следовательно, мы должны теперь оторваться от плана чистых процедур нашего конструирования и показать, как эти наши процедуры конструирования и сам схематизм как фиксирующий эти процедуры схватывают возможный объективный процесс, т.е. то, что происходит в самой природе коммуникации и мыследеятельности. Это – объективация.

Затем мы должны осуществлять процедуру оестествления и, может быть даже, если это удастся, либо натурализации, либо, соответственно, ИЕ-представления. Все зависит от того, какого рода мир и какого рода большую метафизику мы здесь задаем.

Эта схема должна быть вписана в так называемые объемлющие онтологии и соответствовать им. Если мы подходим с системомыследеятельностной точки зрения, то такой объемлющей онтологией для нас, естественно, будет схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры, и поэтому схема коммуникации, по меньшей мере, должна соответствовать схемам воспроизводства деятельности и трансляции культуры, а кроме того, мы должны провести категориальную проработку этой схемы.

Но поскольку мы принимаем системную точку зрения, естественно, что это должно прорабатываться в системных позициях, и при этом сама категория системы нами на современном этапе трактуется двояко. С одной стороны, как связка многих категорий – процессов, функциональных структур, морфологической организации, материала, процесса, механизма, а с другой – как единая категория, которая соединяет, стягивает все это. Кстати, именно вот в этом пункте, в разрыве между свободной и субстанциональной стяжкой разных категориальных представлений и определенной логической организацией их и разворачиваются сейчас многие наши трудности и парадоксы.

И, кроме того, вы должны произвести соответствующую работу по проектированию новых практик в этих схемах и по соответствующей предметизации; это как бы прожективная часть схемы, оправдание ее с точки зрения эффективности, и это прожектирование может быть проектным или программным, или еще каким-нибудь. Схемы, которые строятся, должны быть проверены на эвристичность. Они должны нам показать свои воз-

возможности на уровне новой предметизации. Вот это все образует второй слой, вторую часть предстоящей или требуемой от нас работы, это проработка первоначально рисованной схемы со всех этих точек зрения.

Я перечислил не все пункты, только основные, тут есть еще целый ряд достаточно значимых пунктов, но мне надо передать саму идею.

Итак, сначала идет критика существующих предметов и систематизация. Завершается эта работа заданием специальной рисованной схемой. Затем начинается культурная, ретроспективная, прожективная проработка самой этой схемы, превращение ее в собственно онтологическую картину. Я наметил основные линии такой проработки. Простой подсчет показывает, насколько эта работа противна, требует огромных вкладов. Поэтому каждый, представляя себе объем предстоящей работы, хочет убежать в лоно традиционной научно-исследовательской работы. Такой, как ее характеризовал, например, Л.А. Венгер: «Я в душе рыбак. Выхожу, удочку забрасываю и сижу, потом вижу, что дернуло, и тогда я тяну. Рыба или калоша – мне, в общем, неважно. И, с моей точки зрения, наука и есть рыболовство». Так вот, рыболовство – оно, конечно, интереснее, чем копать вот эту всю траншею, шаг за шагом, но, на мой взгляд, чудес не бывает. Просто удочку-то мы забрасываем в озеро, в котором рыб нет, и поэтому вытащить можно, в лучшем случае, калошу.

Следующий этап такой работы – это уже собственно предметизация и ответ на вопрос: какие предметы здесь возможны и должны быть организованы, для того чтобы мы могли взять и рассматривать коммуникацию и понимание? Я не буду останавливаться на этой третьей части подробно, сделаю лишь одно замечание.

Дело в том, что когда мы начинаем строить эти предметы, то прежде всего обращаем внимание на их неравнозначность с точки зрения абстрактности–конкретности и, соответственно, управления или реализации. В этом плане ведь неясно, должна ли быть психология коммуникации таким же абстрактным частным предметом, каким является, к примеру, логика коммуникации. Ведь вполне возможно, что вот эти отношения онтологизации частного предмета могут существовать здесь и в отношениях между разными предметами.

Я бы сослался только на один очень интересный пример такой исторической эволюции научных подразделений – на историю современной географии в ее отношениях к экономике, сельскому хозяйству, геологии. Одно из реальных направлений сегодняшней географии – это представление ее в качестве теории чистого пространства, вне объектов. И это понятно, потому что, по сути дела, все объекты географии уже расхвачаны и присвоены другими научными дисциплинами. Перед географией стоит очень большая сложность – каждый раз, когда она претендует на какой-то кусочек материала, появляется конкурент, который говорит «моё!» и показывает на длительную историю детальной проработки этих аспектов. И поэтому некоторые абстрактно мыслящие идеологи, теоретики географии,

пошли по пути построения некоторой квазиметодологической супрадисциплины. Они говорят: география описывает рамочку, в которую весь этот материал кладется, правила, по которым он кладется, т.е. как бы правила пространственной организации объекта. Но не надо здесь слово «пространство» понимать в традиционно-обыденном, физическом смысле. Пространство географии это не ящик, в который мы складываем камушки, отнюдь; это особая логическая конструкция, объем особого рода. И нам пора задуматься над тем, не является ли психология носителем подобной же пространственной структуры и не должна ли она подобным образом определяться, допустим, по отношению к семиотике как теории знаков, по отношению к логике как теории мышления и т.д.

Итак, заканчиваю этот кусок и резюмирую его. Чуда пока что не было — на мой взгляд, его никогда не будет. Если мы хотим представить коммуникацию и понимание как объект, а затем предметизировать это, то нет для нас другого пути, кроме систематического, методически строгого выполнения методологических правил конструирования. И вроде бы здесь путь достаточно ясно намечен уже с 60-х годов, получен целый ряд важных результатов.

Это прежде всего критика и схематизация существующих предметов, построение модели-конфигуратора; мы сейчас накопили достаточно много результатов, в частности по линии пространственной организации знаний. Вроде бы эти пространственные схемы и есть то, что задает нам понимание как таковое, вот здесь ключ к анализу процессов понимания. Есть жесткая процедура систематизации существующих предметов, затем соответствующей конструктивной проработки первоначальных рисованных схем, предполагающей целый ряд ретроспективных — относимых в культуру — отношений и прожективных отношений — на проектирование и программирование новых исследований и построение соответствующих предметов с учетом существующего ныне разнообразия их типов.

Вот в чем я вижу цели нашей работы, путь, который мне представляется сегодня единственно мыслимым, единственно возможным. Может быть, я ошибаюсь, и поэтому дискуссии по этому поводу нам полезны.

Теперь несколько слов о самой этой схеме мыследеятельности, которая предлагается мною в качестве основания для конфигурирования, в качестве исходной точки для такой конструктивной проработки.

Я уже говорил, что эта схема, полученная в 1980 г. в результате Игры-3 в Новой Утке, представляется мне невероятно мощной. Ничего более мощного мы не имели, несмотря на то, что схемы воспроизводства деятельности, процессов культуры тоже очень мощны. Мне кажется, что эта схема, содержащая в виде основного стержня процесс коммуникации, вроде бы разрешает стародавние проблемы чистого мышления и мыследеятельности, проблемы, занимающие философов 2,5 тысячи лет.

Я бы выделил сейчас верхнюю часть схемы (рис. 1). Смысл этой схемы: имеется сеть коммуникаций, есть два позиционера, 1 и 2 (это ком-

муниканты), один – производящий текст, другой – принимающий его, затем имеются рефлексивные позиции, их, как правило, бывает много, затем есть позиция 3 и позиция 4 – позиции человека, стоящего перед доской и рисующего фигурки, т.е. человека, осуществляющего чистое мышление. Эти фигурки, формулы, уравнения, чертежи разворачиваются по определенным правилам, по определенной логике. И то, что происходит на доске, образует действительность чистого мышления.

Поэтому сейчас, в качестве иллюстраций наших схем, я стал бы объяснять место и функции логики. Мы в течение 25 лет никак не могли ответить на вопрос, что же представляет собой логика. Это явно не наука, как ее назвал Гегель, и не просто чистая методика, как это мы пытались трактовать в свое время, и не техника точно так же. Теперь эта схема дает ответ на вопрос о месте и природе логики, если брать его с точки зрения деятельности, мыследеятельности, т.е. построения текстов коммуникаций, текстов речи, отображающее движение идеальных объектов в действительности чистого мышления. Поэтому сегодня я бы сформулировал ответ на этот вопрос так: предметом логического анализа действительно является бытие, но то, которое разворачивается на доске, это схемы, живущие по своим идеальным законам, сформулированным нами в правилах. Поэтому, действительно, логика никак не может быть учением о действительности. Логика никак не может иметь своего денотата, она имеет дело с идеальными объектами, и в этом смысле правы все направления идеальной логики. Логик всегда имеет дело с идеальными объектами, с текстами, описывающими жизнь идеальных объектов.

Я начинаю понимать все злключения логики. Я ввожу новый момент: эта схема никогда не может рассматриваться вне отношений к объемлющей ее системе деятельностных структур, т.е. все те, кто осуществляет здесь работу, с одной стороны, реализуют некоторые нормы, а с другой – сама работа находится в дополнительном процессе. <...>

Если идеальные объекты уже есть, то это превращается в математическое образование. Если же идеальных объектов нет, а есть только тексты, то за каждым предложением стоит соответствующее суждение как идеальный объект и в действительности чистого логического мышления проецируется на суждения как образующие соответствующее умозаключение.

Иначе говоря, с точки зрения логики, обратившегося к чистому мышлению, всегда существует проблема построения речи, точно соответствующей логике оперирования идеальными объектами. Поэтому здесь опять вроде бы прав Гегель: логика и гносеология совпадают. Поскольку речь сама по себе при логическом подходе нас не интересует. Отсюда удивительное следствие: что вроде бы логика всегда занималась только коммуникацией и ничем больше. И в этом сходится все. Логика представляла собой правила построения правильной речи. Но для того чтобы правиль-

ная речь была правильной, нужно, чтобы за ней виделась платоновская «реальность», подлинные идеальные объекты...

Логик, как и нормировщик, начинает склеивать тексты речи с соответствующими идеальными объектами, создает правила такого сведения, где текст речи точно соответствует развертыванию идеальных объектов. Поэтому ответить на вопрос о том, на что же теперь направлены логические правила и логика как особое нормативное представление – на речь-язык или на объекты – нет возможности, и все логики колеблются между этими двумя, по сути дела, проекционными трактовками. Проекционными – потому что им нужна единая нормировка, совокупность правил. Если мы начинаем рассматривать логику как чисто объективную, не учитывая технического задания, или же начинаем рассматривать только чисто техническое задание, но не учитываем при этом двухплановость мышления, то мы каждый раз приходим к скептическому утверждению такого рода: логика имеет в качестве своего предмета язык, правильно построенный, или логика имеет в качестве своего предмета идеальный объект.

Очень интересен еще вопрос о симметричности и асимметричности сети коммуникаций. Это проблема, на мой взгляд, первостепенной важности для нашей схемы (рис. 1), поскольку слева мы имеем процедуру выражений для идеальных объектов, текстов речи, а справа – процедуру реконструкции идеальных объектов через понимание текстов речи. И я утверждаю, что все системы языка были ориентированы на обеспечение и организацию понимания. Вообще, традиционная лингвистика и все системы языка никакого отношения не имеют к построению высказывания, они имеют отношение к пониманию смысла высказывания. Логика высказывания (текста) соответствует правилам оперирования с идеальными объектами, а язык обеспечивает процесс понимания текстов речи или конструкцию идеальных объектов, соответствующих текстам, а так как второе всегда сложнее, то отсюда невероятная сложность языковых построений.

Я остановлюсь на еще двух важных пунктах. Эта же схема за счет определенного соотношения позиционеров, выражающих движение идеальных объектов, и соответствующих рефлексивных позиций, с одной стороны, и за счет связки позиции понимающей и позиции рефлексивной, с другой стороны, разрешает традиционную проблему формы и содержания.

Суть подхода состоит в том, что процесс понимания никогда не дает нам содержания. Понимание должно фиксироваться в категории смысла. Между содержанием и смыслом существует столь же значимое различие, как между смыслом и значением. Понимание дает нам возможность перейти от текстов речи либо к идеальным объектам, либо к ситуации практической мыследеятельности, но при этом оно задает нам объекты, а не содержание. И поэтому, как ни странно, вульгарная концепция, с моей точки зрения, правомерна и точно схватывает суть дела. Другое дело, что вроде бы эта позиция предельно абстрактна и не объясняет того, что происхо-

дит, потому что никогда не существует у реального человека отдельной функции понимания вне дополняющей ее функции рефлексии.

Эта проблема соотношения между пониманием и рефлексией является решающей для нашей темы и других, параллельных тем. Смысл дела, на мой взгляд, состоит в том, что, когда мы поняли нечто, мы каждый раз задаем себе вопрос: что мы поняли? Этот вопрос и необходимость ответа на него выводят нас, с одной стороны, в рефлексивную позицию, а с другой – заставляют рефлексивного различать в текстах форму и содержание.

Содержание некоторого текста, как и сама раскладка текста на форму и содержание, появляется только в рефлексивной позиции, через вопрос «что я нашел?»; и тогда только начинается соответствующая реконструкция – либо чисто рефлексивная, либо мыслительная – того, что мы называем содержанием. Отсюда появляются дополнительные тексты из рефлексивных позиций – примерно так, как это описывали Жолковский, Мельчук и др. в своих моделях «смысл – текст». Тогда в точном соответствии с тем, что утверждал Мельчук, смыслом одного текста – но на самом деле содержанием (он все время склеивает эти два понятия) – является другой текст. Это в том случае, если мы производим рефлексивную, похожую на метапозицию Давида Гильберта (и отсюда, собственно, метапредставление). Либо же мы выходим на соответствующие схематизмы объектов и другие правила работы с ними.

Короче говоря, эта схема дает решение проблемы связи понимания и рефлексии, понимания и мышления, мышления и рефлексии. Мы получаем возможность описать сложные дискурсы с точки зрения этих переходов из понимающей позиции в рефлексивную, из рефлексивной в логическую, возвратов, склеек этих позиций друг с другом и т.д., т.е. получаем достаточно мощный аппарат для реконструкции смысла и содержания текстов.

Но мало того. Этот ход привел нас к следующей очень важной теме. Расширилось представление о понимании, потому что оказалось, что идеальные объекты тоже суть только знаки. Другое дело, что это знаки особого рода, это – «знаки-идеальные объекты». Но если мы рисуем чертежи или схемы, или графики и задаем определенные логические и математические правила работы с ними, то мы ни в коем случае, никогда не должны забывать, что эти чертежи суть знаковые формы. Другое дело, что, будучи идеальными объектами, эти знаковые формы всегда выступают в автонимной функции, как обозначающие и представляющие самих себя. Это знаки, живущие по особым знаковым законам. Но тогда переворачивается вся ситуация. Если до этого мы говорили, что понимание есть понимание речевого текста и только так оно и может трактоваться, то теперь мы вынуждены сказать, что действительность мышления тоже понимается, поскольку действительность мышления всегда идеальна и имеет знаковую природу. Мы делаем шаг навстречу лингвистике и говорим: оказывается, она поняла в чем смысл дела и зафиксировала его как некоторый всеобъемлющий факт.

Действительность нами понимается, поскольку это идеальная действительность. Она не познается, а *понимается*, поскольку она – знаковой природы. И в этом смысле сама установка на познание идеальной действительности является вульгарной и ведет в тупик, не дает нам ничего продуктивного. Тогда мы вновь возвращаемся к важнейшему тезису: в основе всего действительно лежит коммуникация, но коммуникация не как одноплоскостное, а как двухплоскостное движение, в котором понимаются не только знаки речи, но и знаки объективности.

Я вижу перед собой людей, парты, ручки, все помечено, все маркировано, все это идеальные объекты. Поэтому понимание и оказывается той основной и всеопределяющей функцией, из которой и на базе которой растет все человечество, а мышление, наоборот, оказывается частной функцией, маленьким убудком внутри того, что называется пониманием.

Вот так я представляю нашу нынешнюю ситуацию. Мы имеем вроде бы очень мощную схему, впервые, насколько мне известно, связавшую чистое мышление с практикой работы. Все то, что я нарисовал, и есть элементарная единица мыследеятельности. Ничто здесь не может быть выброшено. В основе этой структуры мыследеятельности лежит процесс коммуникации и понимания. На него завязано все: и чистое мышление, которое представляет собой одно запределивание коммуникации, и наша практическая мыследеятельность, представляющая собой запределивание коммуникативной ситуации. Оказывается, что и мышление есть лишь предел коммуникации, и практика есть лишь предел коммуникации. В основе всего лежит слово. Самое главное для человека – возможность обговаривать свою мысль в коллективной коммуникации, обговаривать свои действия, и пока он не обговорил, нет ни мысли, ни действия. Все замыкается через процедуру понимания знаков.

Когда мы задаем таким образом схему, то мы вроде бы кладем туда традиционное содержание, мы можем положить туда логику, лингвистику, но что еще важнее, мы обнаруживаем огромное количество пустых мест. На этой схеме должны быть прорисованы и обозначены пустые места, то, про что мы сегодня ничего не знаем, то, что не ухватывается ни психологическими исследованиями, наиболее приближенными к действительности, ни абстрактными лингвистическими, семиотическими и прочими исследованиями. В этом, может быть, второй, самый важный, результат этой схемы. Мы можем получить функциональную структуру из пустых мест и проблематизировать их.

И, наконец, неясно, каким образом все это предметизировать. Это должно стать предметом наших обсуждений – формы предметизации для исследования коммуникации и понимания. Я сформулировал бы вопрос предельно остро: каким образом нарисовать понимание, каким образом нарисовать коммуникацию? Ясно, что познавательная предметизация идет вслед за технической. Недостаток вроде бы в другом. По моему мнению, здесь надо составлять своего рода «ведомость дефектов»: каковы же те

организационно-практические, технические отношения к коммуникации и пониманию, которые мы для себя порождаем, что, собственно, мы хотим узнать, на какого рода вопросы мы хотим получить ответ?

Парадоксальность нашей нынешней ситуации состоит в том, что мы не имеем вопросов, на которые нужно отвечать. Мы не знаем, чего мы не знаем. Мы не знаем, что мы хотим узнать. И пока мы не проведем такой работы, не сформулируем эти вопросы, до тех пор мы вряд ли сможем двигаться вперед. Наука идет только вслед за техникой. И то, что у нас нет сейчас научных представлений коммуникации и понимания, объясняется тем, что мы не ставили перед собой технических целей и задач в отношении коммуникации и понимания. Но если сейчас, в результате всей нашей социокультурной практики, в частности практики оргдеятельностных игр, такие вопросы поставлены, то вроде бы мы должны получить на них ответы. В этом я вижу особенность нашей ситуации.

Я получил вопрос, на который сейчас отвечаю (в виде исключения, поскольку вопросы не предусмотрены). Этот вопрос имеет принципиальное значение: в чем разница между смыслом и содержанием?

Я могу лишь сказать, как я это понимаю. Отчасти это намечено в статье «Смысл и значение» [Щедровицкий 1974 а]. Я сейчас развиваю эти идеи. Я считаю, что вообще никаких смыслов нет. Это первый тезис. Нет в природе. А есть процессы понимания текстов. Причем, важно, что это *процессы*. Но процесс понимания какого-то текста производит следующую работу: если понимание ситуационно, то текст включается в практическую деятельность, начинается разбиение его на отдельные элементы. Это сложная работа. Процесс понимания соотносит полученный текст с ситуацией, включает ее, выделяя из обстановки, с которой сталкивается человек, знаки элементов. При этом параллельно артикулируется сам текст и происходит выход на объекты в ситуации. Теперь перейдем в рефлексивную позицию и начнем фиксировать процесс понимания как статическую структуру (представим себе, что из глаза выходит лучик света, который обегает все эти моменты; прикрепим к этому лучику кисточку с черной краской, и следы, которые он будет оставлять, образуют структуру). Эта структура, стягивающая все значимые элементы, и есть то, что мы называем смыслом из рефлексивной позиции. Поэтому выражение «понять смысл» есть, строго говоря, бессмысленное выражение. Нельзя понять смысл. Смысл – это то, что возникает после и в результате процесса понимания. А еще точнее, смысл – это та структурная форма, в которой мы из рефлексивной позиции фиксируем процесс понимания. Если вы задаете мне вопрос «что я понял?», то я теперь должен либо строить чертежи того, что я понял, увидел, познал, либо описывать соответствующим текстом. Когда начинается такого рода конструктивная работа, то создается содержание. Содержание возникает только тогда, когда оно особым образом представлено, или изображено. Я говорю, что я понял в этом тексте, я отвечаю вам и параллельно рисую. То, что я рисую, и есть, поскольку

оно нарисовано, содержание, отделенное мною от формы. И я говорю: я в *этом* тексте извлек *это* содержание, и я рисую нечто другое. Таким образом, категория формы и содержания дает нам структурную связку двух независимых полей, или плоскостей. Вроде бы имеются одни знаки и другие знаки, и мы их теперь стягиваем, говоря, что эти вторые изображают содержание первых. Пока такого отдельного изображения содержания нет, до тех пор, на мой взгляд, нет и содержания.

— ...

С моей точки зрения, значение существует всегда в связке между знаком и соответствующим объектом. Поскольку вы это нарисовали, постольку вы зафиксировали и выделили содержание. Содержание есть всюду, если вы применили рефлексивную точку зрения и произвели расщепление на форму и содержание.

Схемы мыследеятельности и работа с ними *

В пятницу я пытался обсуждать эту тему и потерпел крах. Теперь я понимаю, почему это произошло: тема очень сложная. Я хочу еще раз обсудить ее, учитывая все допущенные мною ошибки.

При этом, как я уже в пятницу говорил, необходимость детальной и тщательной проработки этой схемы диктуется прежде всего нашей практической ситуацией, ибо те схемы, которые были у нас раньше, по сути дела, вычерпаны по своему организационно-практическому содержанию. Это уже многими отчетливо ощущается – до такой степени, что Петр Щедровицкий по возвращении из Красноярска заявил при молчаливой поддержке Сергея Попова целый ряд вещей, которые мне лично очень нравятся, хотя и противны.

Они утверждают, что те игры, которые они проводят сейчас, не имеют ничего общего с ОДИ. Что ОДИ – это вообще не игры с учетом нынешних представлений. Что они делают теперь в играх такие грандиозные вещи, которые никому в предыдущие годы просто не снились – могут дополнять игру до полной системы мыследеятельности, до «полной ОДИ» и еще сверх того. Во всем, что они рассказывает, есть, к сожалению, только один недостаток: они это говорят, а объяснить, что они делают, не могут. А когда начинают объяснять, то переходят на язык Элочки-людоедки.

Но это, как мне кажется, действительно соответствует реальному положению дел; они действительно делают новые игры, очень интересные, и если бы смогли рассказать, что они делают, было бы очень здорово. Но рассказать они, конечно же, не могут из-за недостатка теоретических представлений.

Оказалось, что как только я начал копаться со схемой мыследеятельности и прилаживать ее к нынешней ситуации, смотреть, как ее можно употреблять, я открыл в ней много такого, чего раньше не видел и не догадывался, что такое может быть. В пятницу я пытался что-то из этого рассказать, что-то «проиграть», там тоже получилось много интересных вещей, но реально у меня ни рассказа, ни действия не получилось. Это поставило передо мной новые проблемы и заставило очень напряженно размышлять, благодаря чему я понял кое-что новенькое. С учетом всего этого я сейчас и буду рассказывать. При этом я на первых порах должен буду уйти от схемы мыследеятельности и начать обсуждать совсем другие вопросы, без понимания которых решить вставшую проблематику просто невозможно. У меня будет несколько частей, и я постараюсь их разделять.

* Первая часть доклада на внутреннем семинаре (11 марта 1986 г.). Арх. № 0393. Под другим названием и с более радикальными сокращениями опубликован в альманахе «Кентавр» [Щедровицкий 1993].

Итак, первая часть: *понимание и интерпретации схем знания в содержательно-генетической эпистемологии и содержательно-генетической теории мышления.*

Начну с анализа процессов понимания и интерпретации схем в традиционном мышлении, под которым я имею в виду как обыденное, так и научное мышление.

Способы работы со схемами в традиционном мышлении принципиально отличаются от способов работы со схемами знания в содержательно-генетической теории мышления. В традиционном мышлении схемы, как правило, изображают объект действия и мышления, и в них никогда не входят сами процессы понимания и интерпретации этих схем. Иначе говоря, эти процессы понимания и интерпретации несет сам размышляющий и действующий человек. Все связи и отношения, ими создаваемые, существуют вне знаковой формы схемы и, следовательно, привносятся понимающим, мыслящим и мыследействующим человеком. Поэтому эти процессы, как правило, относили к человеческой интуиции и говорили, что они не формализуемы. Допускалось, что процессы понимания и интерпретации подобных традиционных или бытовых схем могут описываться в технике, но считалось, что эта техника понимания и интерпретации всегда должна даваться отдельно от самих знаковых схем, изображающих объекты. И уж во всяком случае эти процессы никак не нормируются в самой схеме.

Само выражение «не нормируются в самой схеме» требует пояснения. Каждая схема сигнализирует о способах ее употребления, может быть, намекает на них, во всяком случае человеку, который проходил соответствующую систему обучения. Но сигнализация или намек, которые содержатся в знаковой форме схемы, – это отнюдь не нормировка. По этому тонкому поводу мне придется дальше много говорить.

Есть ли тут вопросы?

Алексеев Н.Г. У меня вопросы на понимание. Первый вопрос: не с этим ли связано такое довольно распространенное обыкновение многих теоретиков, когда они, скажем, говорят, что люди имеют знания, но нужно еще научить их применять эти знания?

Я думаю, что с этим связано. Хотя это, конечно, странная форма выражения.

Алексеев. Но она существует. И второй вопрос: предполагается ли, что любая схема знания, относимая к объекту...

Я пока не говорил про схему знания. Я говорил, что все схемы – как в обыденном, так и в научном мышлении – представляют собой изображения объектов и так трактуются. А способы работы с ними известны человеку и в саму схему не входят.

Алексеев. Я хочу продолжить. Мне интересен следующий шаг. Думаешь ли ты, что сами схемы нужно строить так, чтобы в них входила и эта работа?

Я так не думаю. И больше того, я вообще так далеко не шагаю своей мыслью.

Алексеев. Тогда у меня еще один вопрос. Будешь ли ты сейчас и впредь говорить о работе со схемами или со знаковыми формами, в которых заданы схемы?

Нет, со знаковыми формами схем. Ибо, обрати внимание, схемой, конечно же, называется знаковая форма вместе с употреблениями; вне употреблений – понимающих, интерпретирующих – это не схема. Поэтому здесь заложено внутреннее противоречие, которого обыденное мышление не фиксирует.

И вообще: когда мы о чем-то говорим как о знаке, то здесь фиксируются и материал знаковой формы, и – обязательно – определенные функции. Но когда мы это изображаем, в изображении это, как правило, не фиксируется. Из-за этого традиционные семиотика, теория знания, герменевтика не могут двигаться вперед – изображения у них объекта дефицитны тому, с чем они реально имеют дело. Внутреннее противоречие в исходном пункте подрезает все попытки двигаться в этих направлениях.

Алексеев. Это я понимаю. Но мне хочется для себя понять и представить одну простую вещь, и она требует ответа «да – нет». Ты в дальнейшем будешь специально вводить знания или нет?

Буду.

Пинский А.А. Георгий Петрович, для вас сейчас существенно различие между схемой и текстом?

В принципе, да.

Пинский. Ведь объект может задаваться и в схеме, и в тексте.

Я говорю про схемы, а не про объекты и способы задания объектов. И меня это не интересует.

Пинский. Я могу обернуть ваш текст.

А вот оборачивать ничего нельзя. Ибо оборачивание есть элементарная логическая ошибка.

Пинский. Не оборачивать – перенести.

И переносить ничего не надо.

Пинский. Могу ли я сказать, что все традиционные научные тексты фиксировали объект, а не способы употребления?

Только схемы, любые схемы. Хотя, наверное, структурные схемы я выделяю в первую очередь. Но думаю, что это относится ко всем схемам.

Харитоновна Г.Н. Вы специально разделяете эти два термина – «*понимание*» и «*интерпретация*»?

Вы точно фиксируете, что для меня это – два разных образования, и я предполагаю, что за каждым из них стоит своя реальность.

Харитоновна. А логику вы относите к традиционному мышлению?

Традиционную логику здесь надо исключить. Вообще, мой тезис нельзя понимать так, что в традиционном мышлении вообще не было никаких форм или конкретных схем, которые изображали бы процессы и процедуры. Были. И странное дело, что к ним это относится в полной мере, хотя они вроде бы изображают другое.

Вы сейчас ставите акцент не на том, что для меня важно и что составляет предмет мысли. Ведь она не в том, что схемы употребляются для изображения объекта. Мысль моя в другом: схемы, относимые к объектам, имели употребление, которые люди несли в других частях своего сознания. И организация этого употребления не включалась в эти схемы, в их знаковые формы.

Харитоновна. Я спросила о логике.

Галя, а какие вы знаете логические схемы, где способ употребления схемы был бы включен в саму схему?

Харитоновна. Схему силлогизма.

А где в схеме силлогизма заложен способ ее употребления?

Харитоновна. Она сама и есть способ ее употребления.

Есть очень простой способ различить это. Достаточно слышать то, что я говорю, и брать это, а не свои ассоциации. Вот если вы так будете работать, то никаких ошибок не будет. Если же вы будете работать по ассоциациям, то будет такое бесконечное множество ошибок, что их даже предусмотреть нельзя.

Мысль на ассоциациях не строится. Это только психологи могут думать, что мысль строится на ассоциациях. Это их психологические теории, и не надо нам заниматься захоронением мертвецов.

Теперь второй тезис.

Схемы знаний содержательно-генетической логики и содержательно-генетической теории мышления построены принципиально иным образом. И с точки зрения традиционных схем и способов их употребления они несуразны. Эта несуразность была предметом постоянных дискуссий последние 34 года. И вроде бы за эти 34 года я впервые дошел до ясного понимания, в чем тут дело. А дело здесь в следующем: схемы знаний со-

держательно-генетической логики и содержательно-генетической теории мышления вставляют процесс понимания и интерпретации внутрь самой схемы, кардинальным образом меняя способы работы с нею. Это обстоятельство до сих пор ускользало от нашего рефлексивного внимания, хотя в этом состояла сама суть этих схем. Во всяком случае, схемы знаний содержательно-генетической логики и содержательно-генетической теории мышления предполагают совершенно другую организацию процессов понимания и интерпретации этих традиционных схем.

Я напоминаю вам первую форму схемы знания (рис. 1), где «знаковая форма» располагается в верхней части схемы, а «объективное содержание» – в нижней ее части, и где есть два значка полустрелок, или связей, которые образуют целый цикл, или двустороннюю операцию. И уже в этой простейшей форме начинается вся «сви-стопляска» с процессами понимания и интерпретации, которая мешала понять смысл этой схемы; причем мы не могли его разъяснить, поскольку тоже не понимали, что происходит.

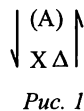


Рис. 1

Дальше, я буду обсуждать простое на первый взгляд обстоятельство. Я хочу обратить ваше внимание на то, что схема знания представляет собой гетерогенное, гетерохронное, гетерархированное образование: И в связи с этим понимание и интерпретация этой схемы невероятно усложнены по сравнению с традиционными формами интерпретации и понимания знаковых форм. Но это не значит, что я не могу употреблять эту знаковую форму иначе, чем указано в самой этой схеме. Чтобы отличать указанный на схеме способ от традиционного, я буду использовать квадратные скобки (рис. 2).

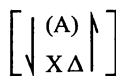


Рис. 2

Итак, это не значит, что вся эта знаковая форма знаний не может пониматься традиционно. Но она, кроме того, предполагает массу других, как бы вторичных, способов понимания и интерпретации. Отсюда вопрос: каковы же традиционные формы понимания и интерпретации знаковых форм? Этот вопрос я уже обсуждал в целом ряде работ 1950-х годов и особенно детально в серии статей об атрибутивных знаниях (1958-1960), но все они не схватывают главного – того, что я хочу рассказать сегодня.

Я буду рассуждать на примере того простейшего частного случая, который мы называем «формальной онтологизацией». Вот эта, изображенная на доске (рис. 2) знаковая форма «знаний» может как целое относиться к чему-то, что находится за плоскостью доски и что составляет реальный или идеальный объект этой схемы (рис. 3).

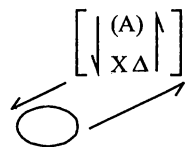


Рис. 3

Само это различие идеальной и реальной интерпретаций очень интересно. В прошедшие годы мы столкнулись с проблемой идеального объекта и его существования, к которой мне придется вернуться. Особенно много этим занимался В.Я.Дубровский, но решения и он не нашел.

Сейчас я понимаю, почему это все так происходило и иначе происходить не могло. Я понимаю, что все это происходило в силу того, что знания брались вне контекста мышледеятельности. Это обстоятельство было мною понято лет 15 назад, но только сейчас я могу обсудить это всерьез – и только в том случае, если вы все мне поможете и примете в этом участие.

Итак, эта знаковая форма, изображающая знания, или схема знания, одноплоскостная схема, может употребляться так же, как и всякая схема обыденного или научного мышления, а именно: мы осуществляем формальную онтологизацию и предполагаем, что за этой знаковой формой стоит соответствующий идеальный объект или реальный объект, идеальное знание или идеальное представление о знании. При этом мы можем работать в рамках принципа параллелизма или в рамках отрицания принципа параллелизма [*Щедровицкий и др.* 1960-61].

Работая в рамках принципа параллелизма и формальной онтологизации, мы предполагаем, что реальные знания, и тем более знания как идеальный объект, имеют точно такую же структуру, какую мы зафиксировали здесь, в знаковой форме знаний. Мы при этом работаем в точном соответствии с принципом логики Витгенштейна: мир имеет устройство нашего языка.

Если мы отказываемся от принципа параллелизма, то мы можем полагать, что за этой схемой стоит некий объект, идеальный или реальный, который имеет сложное устройство, т.е. отличается от того, что у нас представлено в знаковой форме, и наша знаковая форма есть упрощение того, что у нас есть в реальности. И тогда, соответственно, мы можем рисовать место этого объекта за этой знаковой формой в целом, там, где находится соответствующий реальный или обозначаемый объект.

Таким образом мы будем реализовать исходный методологический принцип не вульгарного, а диалектического материализма.

***Пинский.** Почему вы говорите о материализме, хотя объект все время атрибутируете как реальный или идеальный, а не как материальный?*

По историческому недоразумению. Но обратите внимание: здесь между диалектическим материализмом и реализмом разницы нет. На это в интересной форме обратил внимание в своих письмах ко мне Лакатос, который писал следующее: то, чем занимаются его ученики и что называется «реализмом», есть точный аналог диалектического материализма. А то, что существует у нас в стране, нужно называть натурализмом или вульгарным материализмом.

Обратите внимание, «идеальность» действительно нужна, поскольку она есть не что иное, как «материя» особого рода – знакового. Она нужна для того, чтобы я смог уйти от психологизма.

Если я начинаю работать в феноменологической или психологической традиции, то я могу сказать: у нас есть некое интенциональное отношение или интенция. Тогда вроде бы рисовать здесь место для реаль-

ного или идеального объекта не нужно, поскольку не знаковая форма указывает, что есть такой второй элемент, который с ней связан, а в нашем сознании существует нечто, что мы называем интендированием или реализацией функционального отношения.

И поэтому я делаю вообще незаконный ход. Но мне его важно сделать, поскольку как раз на нем строится содержательно-генетическая логика как логика особого типа. Я всю жизнь утверждаю, что если вы не будете вот здесь рисовать какое-то место и его материализовать в изображении, а следовательно, придавать ему тот или иной тип существования, то вы не сможете строить содержательно-генетическую логику и содержательно-генетическую теорию мышления. И у вас будет постоянная дефицитность, постоянное расхождение между тем, что вы рассматриваете как объект, и тем, что вы изображаете. Еще раз: идеальность есть не что иное, как особый вид материи, которой вы заполняете соответствующее функциональное место.

Я предпочитаю называть это не «материей», а «материалом». Соответственно это входит в схемы системного анализа, как мы их понимаем. Поэтому считайте, что мое выражение «методологический принцип материализма» относится не к материи, а к материалу.

Алексеев. У меня складывается впечатление, что ты нарисовал первую схему – знаковая форма и ее объективное содержание, – а потом развернулся интересный ход: мы взяли это как некоторое знание и поэтому сказали...

Не как знание, а как знаковую форму.

Алексеев. Как знаковую форму, но уже в больших скобках. И схема сама по себе вдруг начала работать как та, которую мы изобразили первой.

Не как первая, поскольку та является лишь элементом, и это символизируется скобками. Но этот момент я буду сейчас обсуждать, поскольку это и есть та странность, которую привносят схемы содержательно-генетической логики. И здесь возникает масса специфических парадоксов. Но в этом еще нужно разобраться. Если мы сейчас начнем их обсуждать, то мы потеряем время.

Странную вещь мы делаем, и делаем это постоянно, обыденно. Схемы содержательно-генетической логики дают нам возможность изображать делаемое. На этом моменте построено много странных вещей. Но только к этому нужно идти иначе. А именно: мы начали изображать то, что мы делаем в мышлении, то, чего, как правило, до нас никто никогда не делал. А следовательно, мы нарушили основной принцип. Даже не в том плане, в котором спрашивала Галя Харитонова, а более жестко.

У нас наша работа со знаковой формой стала включаться в самую знаковую форму. Отсюда и мой первый тезис: что в традиционном мышлении, как обыденном, так и научном, работа со знаковыми фор-

мами знаний никогда не включается в саму знаковую форму. А в содержательно-генетической эпистемологии и теории мышления – включается. И вот это порождает массу удивительных и странных вещей и некоторые новые возможности. Я бы даже сказал: возможности для саморазвития мышления.

Глазунова О.И. Георгий Петрович, можно ли сказать, что схема знания – это пример и что то, что вы сейчас говорите, относится вообще к схемам содержательно-генетической логики?

К схеме знания. А потом я постараюсь показать, что это в полной мере относится и к схеме мыследеятельности. Поэтому все, что я сейчас анализирую, я потом отнесу к схеме мыследеятельности, хотя и с определенными различиями.

Хромченко М.С. Если в первом тезисе вы говорили о схемах объекта, то сейчас мы говорим о схеме знания...

Все эти слова несут на себе груз традиций, который нам уже не годятся и который нужно преодолевать и вводить новое словоупотребление.

Итак, я вводил, во-первых, схемы вообще, с неопределенным артиклем, которые, как правило, обозначают объекты мысли, идеальные или реальные. Они не включают в себя изображения или символы той мыслительной работы, которую мы с этой знаковой формой продельваем. Во-вторых, я рассматривал схемы знаний содержательно-генетической логики, которые построены совершенно иначе. Они включают в себя моменты употребления знаковых форм.

На этих последних схемах изображение знаний как объекта содержит, во-первых, изображение знаковой формы, во-вторых, изображение объективного содержания и, в третьих, изображение процесса, который осуществляющегося между ними по их связыванию и символизируется соответствующими значками связей и отношений. Очень долго спорили, чего это знаки – связей или отношений. Я считаю, что это знаки связей и настаиваю на этом сейчас. А отношения здесь существует вторично. Я могу переводить связи в отношения и наоборот, меняя категориальное определение этой схемы.

Хромченко. Если бы вы работали в традиционном стиле, то вы бы «довесочком» рисовали объект...

Нет, я бы вообще ничего не рисовал, а работал бы в понятийном мышлении. А «довесок» слева – это умножение этой процедуры, это рекурсивная, применяемая повторно процедура. Все заложено в этой первой схеме: знаковая форма, связи, замещения, отнесения, объективное содержание. Потом я могу взять ее как целостную знаковую форму и применить к ней это все второй раз. Потом можно взять это все снова и применить третий раз. И происходит то, что традиционно называется рефлекс-

сивной возгонкой. Можно показать, что на этой процедуре строится ряд очень сложных процессов мышления и мыслительных структур.

Но все заключено вот в этом. В схему знания были включены и обозначены отдельно: а) знаковые формы знания, которые до этого обычно рисовали только в науке или в обыденном мышлении и б) процессы употребления знаковой формы, отнесение ее к объективному содержанию и к чему-то еще другому...

Глазунова. Георгий Петрович, а возможно, чтобы эту схему интерпретировали наоборот, как объективное содержание, и пристраивали какого-то другого порядка знаковую форму?

Может быть такая интерпретация, но я ее хочу обсуждать особо. Может и другая процедура какая-то быть объявлена содержанием. Все эти перефункционализации должны быть поняты со своими логическими и онтологическими аспектами. И должна быть построена соответствующая логика.

Но сначала нужно разобраться со схемой знаний; я только начал этот процесс и фиксирую один из моментов. А там есть много очень сложных вещей, потому что это маленькое, на первый взгляд, изменение кардинально меняет все планы понимания и интерпретации и порождает такое разнообразие форм, на которых мы работаем, которое не схватывается и приводит к массе парадоксов. При правильной же работе эти формы дают нам возможность строить научную эпистемологию и научную теорию мышления.

Хромченко. Георгий Петрович, я правильно понимаю, что особенность этих схем в том, что они допускают двойную интерпретацию – объектную и процессуальную?

Нет, неправильно. Потому что эти схемы допускают много разных интерпретаций, но в чем особенности этих интерпретаций, нужно еще обсуждать.

А я ввожу это сейчас материально-объектно-онтологически. Так чем отличаются эти схемы содержательно-генетической эпистемологии? Я вроде бы понял это сейчас благодаря критике Петра Щедровицкого и Сергея Попова. Дело в том, что здесь строится принципиально неоднородная схема. А такие схемы были вообще-то запрещены в науке. Логицизм и формализм проделывали гигантскую работу, чтобы в основаниях, например, математики такого никогда не встречалось. Поскольку только это обеспечивает непарадоксальное развитие математики.

А здесь я настаиваю вот на каком моменте. Я рисую знаковую форму, которая вроде бы изображает объекты – так утверждается во всех системах, построенных на принципе отражения. Я тут же, на этом же листочке, на этой же схеме рисую объективное содержание, которое имеет принципиально другое существование, и процессы или связи, которые создаются в мыслительной работе и существуют в ней – скажем, в понимании, ин-

терпретации и т.д. И все это я рисую вместе и беру это как одно целое, хотя эти части схемы имеют разное существование и разные логики. И вот в этом заключено все дело. А все остальное – лишь следствия.

Но, с другой стороны, за счет такой прорисовки я могу формализовать свою работу, свое мышление, свою мыследеятельность, сделать ее объектом и применять к ней другую мыследеятельность. Я фиксирую в ней не только объект, но и свою собственную работу и превращаю ее в объект своей мысли и мыследействования.

За счет этих явно недопустимых вещей, заложенных в схеме знания содержательно-генетической эпистемологии, я теперь получаю возможность строить теорию мышления. Причем, впервые получаю такую возможность. И теперь я должен показать, что, следовательно, эта схема имеет рефлексивный характер, свертывает в себе рефлексию. Причем, она эту рефлессию помещает в объект-мысль.

А дальше эта схема начинает выступать в двух функциях – объектно-онтологической и оргдеятельностной. И таким образом она впервые дает основания для развития методологического мышления, методологической работы – за счет самого вот этого трюка, осуществляемого при изображении.

Хромченко. Я не очень хорошо понимаю, что такое схема объекта. Ведь то, что схема неоднородна, не означает, что она не может быть схемой объекта.

Нет, не означает. Может быть неоднородный объект.

Но здесь дело не в неоднородности, неоднородных объектов много разных. Все объекты, по сути дела, неоднородны и неоднородно зарисовываются. Эта неоднородность порождена тем, что к существу вне нас прицепляются наши действия, наши функциональные отношения и изображаются как внешне данное. Поэтому и происходит то, что я со своим сознанием проделываю странную работу: я его выворачиваю наизнанку и выношу свое сознание как нечто вне меня положенное.

Хромченко. ... эта схема – не только схема объекта ...

Ты спрашиваешь, нужно ли здесь вводить запрет на объективацию? Может быть, эта неоднородность и способ построения уже сами по себе влекут за собой с необходимостью запрет на объективацию? Я говорю: нет, не влекут. И наоборот: она обязана теперь быть объективированной, в этом и состоит трюк, который мы проделываем. И этот трюк нас отличает от всех других. Если Анатолий Аркадьевич говорит мне про эту толстую, очень уважаемую мною книгу, что в ней ничего нет, пусто, то это он говорит только потому, что не продумывает этого трюка и из-за этого ничего не может понять. Хотя имеется масса работающих групп, но сделать они ничего не могут, потому что не проделывают именно этого. Не делают вот этой – обратите внимание – *ошибки*. Здесь должна быть допущена ошибка.

Я могу проводить параллель между этим нашим ходом и, скажем, возникновением дифференциально-интегрального исчисления, которое тоже стало возможным только за счет ошибки – с точки зрения старых форм. Если бы не было сделано этой ошибки и Карно не обосновал бы эту ошибку в своей метафизике исчисления бесконечно-малых, то не было бы дифференциально-интегрального исчисления.

В этой ошибке заложена возможность содержательно-генетического исследования. И тогда этот ошибочный ход должен быть нормирован как не только законный, но и необходимый для проникновения в сущность мышления, знаний и т.д.

Хромченко. Объективное содержание – это текст, или текст – это тоже знаковая форма?

Объективное содержание – это объективное содержание. А то, что вы будете туда ставить, это будет только материалом. Поэтому здесь требуется невероятная тонкость в употреблении слов.

Текст будет материалом знаковой формы, но не знаковой формой. А знаковая форма – это то, что находится в определенных функциональных отношениях с объективным содержанием.

Хромченко. А полустрелка – это что?

Это символ процессов, связей и отношений.

Хромченко. Это не знак и не сам по себе процесс?

Нет. Если я добавлю туда определенную работу, то бишь определенное понимание и определенную интерпретацию, то это будет знак.

– Где в этой схеме лежит объективное содержание?

Это очень тонкий вопрос, он будет специально дальше обсуждаться.

Пинский. Георгий Петрович, вы сказали, что эта схема допускает и обыденное понимание и истолкование...

Обыденное – это когда мы берем схему и говорим: «Понятно, что это такое, это схема знания. Она изображает реальные знания или идеальные знания». И вроде бы все ее элементы допускают обыденное истолкование. Ну не все элементы, а элементы в контексте целого, поскольку обыденное понимание и истолкование всегда работает с целостностью.

Пинский. А теперь я спрашиваю: а норма не обыденного, а содержательно-генетического употребления схемы какая здесь заложена?

Это пока неизвестно.

Пинский. Я ничего не понимаю, и либо, чтобы понять, я должен «вываливаться» в план правильной и уже сформированной интерпрета-

ции, либо, без вываливания в такой план, я могу понять неправильно. Возможно и норма интерпретации, которая в саму схему не «врисована».

Врисована. Только вас обучали не в тех университетах. Кстати, это ваши проблемы, и, может быть, аналитические философы чего-то там разясняют на этот счет. Но я хотел бы пока вот с этим разобраться и поэтому отвечаю: «Она врисована, только вы прочесть этого не можете». Мне понадобилось 34 года, чтобы это прочесть.

Пинский. Вы говорите, что вроде бы это врисовано, но не как норма.

Как норма врисовано. Это все равно, что сказать: числовой ряд и таблица умножения не врисованы как норма.

Хромченко. Георгий Петрович, я о гетерогенности и гетерохронности. Я могу сказать, что гетерогенность может быть отнесена к двум этим стрелкам?

Для меня – нет. И вопрос, который задавал В.Гальцев о том, «как существует объективное содержание», относится к числу таких вопросов. Я не случайно отказался отвечать на этот вопрос, потому что отвечать на него очень сложно. И как это все существует, стрелки ли или вместе с тем эти элементики существуют гетерохронно – пока не разберешь.

Хромченко. Для меня это очень сложная ситуация, поскольку вы задаете для меня идею определенную, которая представлялась мне и раньше в разные моменты как некоторая форма. Но я как-то чувствую, что не понимаю, в чем тут суть.

Это не страшно. Под конец, если вы еще и отрефлектируете все, то будет более или менее понятно, а раньше времени понимать суть не надо.

А теперь начинаются очень тонкие вещи. Хотя и не такие странные, как первые, и не такие значимые. Дело в том, что разные элементы этой схемы должны интерпретироваться по-разному.

Прежде всего я хочу обратить внимание на двойную интерпретацию этого элемента – знаковых форм. Вы можете представить себе, что у меня здесь на схеме дана знаковая форма идеального объекта, а можете – что я вообще всю эту схему знаний интерпретирую на более конкретных случаях и на более конкретном изображении. Но, таким образом, оказывается, что знаковая форма должна интерпретироваться дважды и иметь две плоскости своего содержания. Один раз она обозначает некоторую знаковую форму, именно «обозначает», а в другой раз я скажу, что в верхней части схемы автономно представлена знаковая форма. А в традиционно-логическом смысле это означает, что я могу здесь поставить знаковую форму некоего знания и тогда ее интерпретировать.

Например, когда я пишу какое-то уравнение, скажем, физическое или математическое, то я говорю, что вот это и есть знаковая форма, но при

этом эта знаковая форма автономно задает самое себя, или иначе – обозначает самое себя. Это обозначение связано с наличным существованием, поскольку я не обозначал и не символизировал, а просто записал эту знаковую форму; она, с одной стороны, есть объект, а с другой – автономно обозначает самое о себя. И это есть первое понимание и первая трактовка.

Если я имею дело с конкретными знаниями и толкую, понимаю их в духе содержательно-генетической логики, то я задаю этой знаковой форме автономное существование.

Например, я пишу здесь формулу третьего закона Ньютона и говорю, что это есть знание. В каких случаях запись третьего закона может интерпретироваться нами как знание? Только в том случае, если я теперь скажу, что вот это есть некоторая форма этого знания, которая автономно представляет самое себя.

Поливанова С.Б. Вроде бы наоборот: функция знания – представлять себя как...

Света, конечно, ты права. Это я говорю неправильно. Но говорю, что говорю. И мне это очень важно.

Если я имею запись закона и хочу его трактовать как некоторое обыденное, традиционное и ненаучное знание, то я говорю: есть запись и она выражает закон. Это обыденная трактовка. Для того чтобы я мог теперь перейти к содержательно-генетической эпистемологии, я должен эту знаковую форму интерпретировать совершенно иначе, а именно как элемент некоторого знания. И тогда эта знаковая форма есть элемент знания, а именно третьего закона Ньютона, где эта самая знаковая форма автономно представляет в этом знании прежде всего самое себя.

Если я действительно беру это как знание в содержательно-генетической эпистемологии, а не как знание в физике. Я утверждаю, что обыденная семантика – дерьмо, поскольку она не учитывает таких вот тонких вещей, а именно того, что если я начинаю осмысливать это системомыследеятельностно, то интерпретации должны быть принципиально другие и говорить придется совершенно другое. Придется сказать, что у этой знаковой формы есть не одна, обыденная, интерпретация. Есть интерпретация по треугольнику Огдена–Ричардсона. А теперь, если вы берете в содержательно-генетической эпистемологии, то вы обязаны сказать (я начинаю нормировать), что эта запись автономно представляет в структуре знания (закона Ньютона) самое себя.

Как родилось это понятие автономности в традиционной лингвистике и логике? Представьте себе, что работает лингвист. Он говорит: «Слово «стул» – существительное». В этом тексте слово «стул» обозначает самое себя. Вот это и есть автономное употребление.

Я несколько расширяю понятие автономности, которое формулировалось на таких узких случаях, когда мы в тексте мысли-коммуникации

(обратите внимание на эти слова) вынуждены повторить то, что у нас было в мыследействовании и там реально существовало. Появляется совершенно другое существование. Когда я говорю «я сижу на стуле», то это одна интерпретация. Это не значит, что я сижу на слове «стул». А когда я говорю «слово “стул” – существительное», то слово «стул» употребляется не в смысле обозначения объекта, а в смысле обозначения самого себя.

Хромченко. Что такое автонимность мы вроде бы поняли. Но зачем вам это все нужно, пока непонятно.

А потому что здесь такая интерпретация необходима и является нормативно стандартной.

Хромченко. У меня возникло подозрение, что эта автонимность нужна для того, чтобы выяснить, каким образом сама деятельность (мыследеятельность) в схему внесена.

Не совсем.

Хромченко. Тогда я не понимаю, зачем она вам нужна.

Сейчас объясню. Того, что мы говорим о знаковой форме, никак нельзя сказать про нижний элемент – «объективное содержание». Объективное содержание внутри схемы знания в автонимной функции не вставляется. Его никогда нет. Оно всегда интенционально представляется. А знаковая форма представляется интенционально, но, кроме того, может быть задана автонимно.

Хромченко. Я понял теперь, что такое принцип параллелизма и удвоение сущности. Это – утверждение правомерности автонимного существования знака.

Наоборот. Я для того и говорю об автонимности, чтобы отличить этот случай от того, что называют удвоением сущности. Хотя я здесь действительно удваиваю сущность. Я говорю: за этим значком стоят совершенно разные сущности. Один раз может стоять некоторая знаковая форма, которую я изобразил и которая существует в «потустороннем мире», потустороннем для данного знания – в том, что она не интендируется. Но когда мы работаем со знаковой формой, мы так обычно не поступаем. Мы задаем эту знаковую форму автонимно.

Спрашивается: исчезает ли в результате сама эта интенциональность? Я говорю: нет. Мы сохраняем эту двойственность формы и содержания, но за счет введения автонимного существования. Мы говорим: вот здесь слово «стул» есть знаковая форма, которая обозначает некоторую сущность, которая есть то же самое слово «стул».

Хромченко. Но есть значение слов, оно зависит от употребления, от контекста. А вы говорите, что есть еще значение, не зависящее от

употребления, задаваемое самой знаковой формой.

Да, если эта знаковая форма берется в автонимной функции.

Хромченко. Вроде бы это тогда семантический натурализм.

Не семантический натурализм, а правила работы со схемой знания. А на все эти семантические натурализмы... – чихал я на все это с высокой башни, поскольку они ни фига не понимают. Я даже могу объяснить, почему не понимают.

Мы уходим от парадоксов. У меня эта схема со всем набором элементов понимается и интерпретируется дважды – один раз в целом, другой раз поэлементно. И при этом первая и вторая интерпретации не должны противоречить друг другу. Вот эта знаковая форма есть знаковая форма и ничто иное. Но это такая знаковая форма, в которой верхняя часть существует в автонимной функции, т.е. как знаковая форма, обозначающая самое себя.

И у меня здесь две сущности – знаковая форма и объективное содержание. Но объективное содержание есть сама же эта знаковая форма, и при этом не исчезает семантическая функция и семантическое отношение, поскольку у меня здесь дано это слово, или знаковая форма, но оно само себя обозначает. Никуда убрать эту знаковую функцию вы не можете. И должны это четко понимать. Она (эта знаковая форма) обозначает, несмотря ни на что, что она здесь якобы задана как таковая. Она есть все равно только знаковая форма.

В слове «стул» в лингвистическом тексте мы имеем знаковую форму слова «стул». Но это совершенно разные вещи, когда я говорю слово «стул» и имею в виду вещь, на которой я сижу, и когда в другой раз я имею в виду слово как объект и как сущее. Кстати, и под словом имеется в виду класс слов этого рода, т.е. нечто идеальное.

Хромченко. Когда вы говорите, что знаковая форма имеет как бы два существования одного направления...

Нет. Если мы берем знаковую форму в таком контексте, то она остается знаковой формой, но с очень странной функцией. Она изображает и представляет самое себя, несмотря на то, что записывается как таковая. Она сохраняет эту функцию замещения и представления.

И если я говорю слово «стул», то здесь «стул» – это обозначение не данного слова «стул», это есть обозначение всех слов «стул», которые есть в мире, в словарях, в разных текстах и т.д.

«Знаковая форма изображает и представляет» – это первая интерпретация. А что она изображает и представляет? «Самое себя» – это вторая интерпретация.

Теперь с объективным содержанием. Вот здесь и начинаются самые сложности. С одной стороны, я должен сказать, что объективное содержа-

ние существует вне этой схемы знаний. Это значит, что оно существует совсем в другой семантике и в других знаковых формах.

Знаковая форма существует в автономной функции. А вот как существует объективное содержание? В автономной функции оно существовать не может.

Пинский. *А вы не хотите в эту схему дорисовать одну, две или несколько «морковочек»?*

Ни в коем случае. В этом и заключается вся суть дела. Поскольку, что будет говорить какой-нибудь английский аналитик? «Вы делаете незаконную вещь, когда рисуете здесь объективное содержание. Объективное содержание объективно не существует».

Пинский. *Почему? Существует. Только чья это действительность?*

Вот-вот. Только тогда она не объективна. А для меня все совершенно иначе. Для меня объективное содержание существует объективно, в знании. Знание объективно состоит из знаковой формы и содержания.

Обратите внимание, что все это разворачивалось в научных программах исследования мышления и деятельности.

Мне Садовский три дня назад сказал: «Но ведь такую программу научного исследования мышления выдали Маркс, Энгельс и Ленин». Я аж задохнулся. Какая программа? Когда она была у Маркса, Энгельса и Ленина?

Могли ли Маркс, Энгельс и Ленин выдвинуть программу научного исследования мышления и знаний ничего не рисуя? Я, отвечая на этот вопрос, говорю: тот, кто не рисует объект, не проводит соответствующей объективации, не может выдвигать программу научных исследований, потому что нельзя научно исследовать то, что объективно не существует. А аналитические философы ведь исследуют то, что для них объективно не существует. Ведь для них существует сознание, психика, коммуникация. А что, интересно, они исследуют?

– *Речевые акты.*

Отлично. Речевые акты существуют для них объективно?

– *Не натурально.*

Я понимаю, что не натурально, но где они тогда нарисованы? А если не нарисованы, то как они могут существовать объективно? Объективное существование есть результат объективирующей интерпретации знаковых форм особого рода. Очень важный для меня принцип. Я еще не раз буду к нему возвращаться.

– *Георгий Петрович, над доске вы нарисовали схему знаний. Через некоторое время вы говорите: «Мне нужно теперь посмотреть, как существует объективное содержание в знании». Вы здесь проделываете процедуру объективации?*

Конечно. Я же теперь должен проделать процедуру объективации. Поэтому я теперь держатель объективного содержания.

Я напоминаю вам, что я все время работаю на вот этом тезисе: схемы знаний в содержательно-генетической эпистемологии и содержательно-генетической теории мышления пристегивают к изображению процедуру мыслительной работы.

Следующее: если я имею знаковую форму в традиционном мышлении, обыденном или научном, то там знаковые формы как правило даны в контексте мышления или мысли-коммуникации (где именно – я бы здесь для себя тоже хотел получить ответ), и при этом они говорят об объективном существовании. Как же они приходят к этому? Они имеют дело со значками или знаковыми формами, а все время говорят про объективное существование. В чем же оправданность этого хода?

Аналитик или идеалист говорит очень твердо: не надо делать того, чего не надо делать. Он утверждает, что все эти шаги материалиста (неважно какого – вульгарного или диалектического) или реалиста суть ошибки и заблуждения. Я же говорю: нет. Если это ошибка и заблуждение, то не философии и не критического реализма, а науки. Это наука построена на объективации знаковых форм, это ее подход. Хотите критиковать? Критикуйте науку и скажите, что наука есть штука, ничем не отличающаяся от религии. Вот тут я спорить не буду, а скажу: ну ладно, если наука ничем не отличается от религии, а религия от науки, то объясните, как существуют та и другая. А существуют они за счет того, что проделывают процедуру объективации знаковых форм и выхода к объективному содержанию.

К объективному, поскольку, обратите внимание, никого не интересует субъективное. Границы между субъективным и объективным – это и есть основной вопрос философии. Определить их никогда не удастся. Г.А.Давыдова объясняла мне, что она поняла на играх, в чем смысл основного вопроса философии. Она поняла, что в играх невозможно понять, где объективное, а где субъективное. Границы исчезают, и каждый живет вот в этой стертости границ.

Но это – не только на играх. Мы в жизни реально живем при стертости границ, и не чувствуем мы этого только потому, что не попадаем в пограничные зоны. Мы верим в стародавние предрассудки, в то, чему нас учили, и верим, что все это существует объективно. А ведь философии предназначено исследовать возможности объективного существования чего бы то ни было. Но объективность – не в философии, а в природе человеческого мышления, которое все время осуществляет объективацию. Это не значит, что оно помещает в объективность знаковые формы. Оно потому и называет их знаками, что за ними стоит нечто другое, и объективируется другое – понимаемое.

Понимаемое не есть объективно существующее. Понимаемое есть субъективно понимаемое. Каким же образом тому, что мы понимаем и

творим за счет интерпретации, придается теперь объективное существование? Это объективное содержание есть результат определенной обработки знаковых форм, результат реализации определенных интенциональных (или «выносящих вовне») отношений, но они выносят не то, что мы имеем в идеальных знаках, они выносят нечто другое. Поэтому объективное содержание всегда принципиально отличается от знаковой формы. Но как отличить объективное содержание от вымысла, от призрака, от необъективного? Как оно вообще определяется?

– *А вы противопоставляете объективное субъективному? Вы эту пару берете?*

Когда речь идет о содержании и говорится об объективности, то – субъективному, а когда я говорю о содержании, то – форме.

– *Система знаний существует объективно?*

Да.

– *А объективное содержание – оно там существует?*

Не только там.

– *А почему объективному противопоставляется субъективное, а не интересубъективное?*

Потому что объективное и субъективное – это пара, которая исходно возникла, а «интерсубъективное» – это ухищрения всяких психологистов.

А вот как происходит эта процедура объективации? Теперь нужно задать способ существования этого объективного содержания. Я отвечаю: так же, как со знаковой формой; я теперь должен постулировать двойное существование объективного содержания. И добавить еще и третье, и много других.

Как же оно существует? Во-первых, в изображении знаний – там пишется объективное содержание вообще. Во-вторых, в каждом знании – там оно вносится соответствующими знаниями в объективный мир каждой науки. Это происходит вместе с привнесением всей действительности. (Здесь возникают большие проблемы с соотношением действительности и объективного содержания).

Если верно то, что я сказал раньше, т.е. что работа со знаковой формой, записанной наверху, изображается, по крайней мере частично, в этих полустрелках замещения, отнесения и выхода на объективное содержание через знаковую форму, то получается, что схема знаний является принципиально другой схемой, нежели обыденные схемы науки и простонародного мышления. Она выступает как схема, показывающая, как мы должны работать, и – в противоположность тому, что мы утверждали – как чисто нормативная, или оргдеятельностная, схема. И я только вторичным образом, и в каком-то смысле не совсем законно, поворачиваю все это дело и

начинаю рассматривать эту схему не как предписание к способу действия, а как предметную схему.

И отсюда я начинаю понимать всего Гегеля. Я говорю, что хотя Гегель не дошел до этих схем, но он вроде бы их предвидел. Поскольку тогда у меня, с одной стороны, объектные схемы совпадают с логическими или оргдеятельностными, а с другой – методология начинает склеиваться с логикой, т.е. предписание к тому, как надо работать, совпадает с нормой; и то, и другое я могу теперь трактовать эпистемологически, как знания.

Мы выходим к необходимости пространства в мыследеятельностной организации, потому что вроде бы как требуют эпистемологические схемы, необходимо различать плоскость объектов действия и плоскость норм действия в оргдеятельностных схемах. И тогда вывод: еще одна историческая ошибка состояла в том, что в содержательно-генетической эпистемологии эти схемы были положены как объектно-предметные схемы, тогда как, вообще-то, по идее, они должны были появляться из рефлексии собственного мышления и отражать организационные схемы – оргмыслительные, оргдеятельностные и т.д.

Это – схема организации собственного мышления. Она должна идти на ту доску, которая организует мышление. И здесь надо исходить из различия самих этих функций (оргдеятельностной и онтологической), а то обстоятельство, что эти функции в содержательно-генетической эпистемологии и теории мышления были склеены, породило бессмыслицу. Все тезисы Гегеля о единстве логики, методологии, теории познания возникают из этой ошибки.

Если бы мы все не делали эту ошибку и работали в пространственных схемах, то было бы совершенно ясно, что методология не совпадает с логикой, эпистемологией, теорией мышления – они существуют в разных планах. Но сам материал схем создает эту иллюзию, поскольку мы можем оргдеятельностные схемы класть как объектно-онтологические. Только потому у нас и может быть научая методология, научная программа построения теории мышления и теории деятельности, что мы совершаем переброс схем из оргдеятельностных плоскостей в объектно-онтологические.

Но при этом надо еще выяснить, как мы получаем эти схемы – за счет рефлексии этой деятельности и мышления или за счет исследования. Мы тем самым возвращаемся к вопросу об исследовании.

Мне придется обсуждать и выяснять, в чем прав и в чем ошибается Олег Анисимов в своих концепциях семиотики в рамках содержательно-генетической логики и теории деятельности. Очень интересно посмотреть с этой точки зрения на математический стиль работы, поскольку непонятно, что там делается – строятся оргдеятельностные схемы на базе рефлексии или строятся объектно-онтологические схемы на базе исследования? И в какой мере там соединяется то и другое? Это – принципиально новый

заход как в отношении современной машинной математики, так и в отношении классических, традиционных направлений. И хорошо было бы эту работу проделать.

У меня есть еще маленький заход по поводу жизненной важности принципа. Размышляя над всем этим, я вдруг понял смысл книжки Леви «Ценность принципа». Леви – это один из последних радикально-левых, который продолжает традицию критики современного общества. Осмысляя эту книгу, я пришел к одной очень странной вещи, которую пытался «проиграть» в пятницу. Я понял, что всякого рода принципы имеют самостоятельную ценность как идеальный объект. Человеческая жизнь отличается от натурального существования природных тел тем, что она опирается на принципы, которые выдвигаются самими людьми и образуют краевой камень жизни как таковой.

Более того, жизнь есть следование некоторому идеальному принципу, и все эти вещи – принцип отражения, принцип материализма, принцип мыследеятельности, принцип мышления – суть не что иное, как идеальные принципы, которыми мы подпираем свою жизнь, деятельность и мыследеятельность. Как идеальные принципы они никогда не схватывают чего-то реально существующего. Вообще, обсуждать вопрос об их реальном существовании бессмысленно. Принцип есть знаковая форма, создаваемая конструктивно для обеспечения натуральности мыследеятельности, у которой потом находится содержание, которое в свою очередь потом объективируется и выносится вовне за счет процедуры объективации. И принцип начинает существовать как таковой; его идеальный характер не мешает ему быть краевым камнем самой жизни, потому что ценность имеют только эти принципы, выдвигаемые теми или другими людьми. Мне это понадобится дальше при обсуждении как этой схемы знаний, так и схемы мыследеятельности.

Возвращаясь назад к ретроспекции, я могу сказать, что схема знаний в содержательно-генетической эпистемологии и логике была, по сути дела, принципом. И с критикой, которую давал Петр Щедровицкий, когда говорил о «сущности», я согласен. А вот насчет принципа – это надо обсуждать. Я ведь сейчас сказал все наоборот: сначала подобные схемы выдвигаются в виде принципа организации работ, потом они становятся некоторой сущностью и выражают некоторую сущность за счет процедуры перехода в содержание и объективации этого содержания. И так они получают существование и становятся сущими.

– Георгий Петрович, я думаю, что вы его правильно проинтерпретировали, поскольку он, на мой взгляд, все время не разделял схему как принцип и схему как сущность.

Должен быть принцип, который подразумевает организацию работы; работа и есть жизнь в этом смысле, поскольку осуществляет эту жизнь. Потом это становится жизненной сущностью, поскольку в ней заключен

принцип. И разделить их никак нельзя. Отношение – обратное, т.е., действительно, принцип организации будет принципом и будет иметь жизненную ценность только в том случае, если мы можем выделить его содержание и объективировать его.

– *Объективировать не в плане реализации?*

Нет. Сейчас имеется в виду мыслительная объективация, а мыслительная реализация – это совсем другое. Поэтому Петр, может быть, прав, когда он говорит о мыследеятельности реализации. Это надо обсуждать особо. А вот в мышлении того различия, о котором вы говорите, провести вроде бы нельзя.

Если я объективирую некоторое содержание, я начинаю его реализовывать в своей жизни, но не наоборот. Поскольку обратный ход является субъективистской ошибкой. А это – очень большая неприятность, с которой каждый человек в обществе должен бороться.

Вы всегда объективируете то, что оправдывает вашу жизнь, а это действие безнравственное. Если же вы оправдываете свою жизнь тем, что объективно есть или перестраиваете свою жизнь в соответствии с тем, что объективно есть, что вы признали объективным, то это действие нравственное.

Глазунова. Непонятно, что вы делали по отношению к этой схеме, исторически изложенной. Может быть, вы определили для себя способ осуществления и это объективировали – и тем самым оправдали использование этого принципа....

Но я ведь недаром сказал, что про мышление здесь одно, а про мыследействие – другое. Дело в том, что, вводя такую схему, мы построили новый тип мышления, который дает возможность строить содержательно-генетическую эпистемологию. Но тем самым мы не оправдали свой способ жизни, а ввели новый принцип. То есть схемы знания, схемы мыследеятельности несут на себе новые принципы подхода и способа жизни, которые как принципы должны реализоваться. Не потому, что мы их реализуем, они становятся принципами – мы их реализуем потому, что готовы сгореть из-за этого. Но это предполагает совсем иную ценность принципа как такового. Только принципиальная жизнь является осмысленной.

– *Меня интересует процедура индивидуальной конвенциональной объективации.*

А почему «конвенциональной»? Вроде бы принцип объективации содержания направлен против конвенциональности как таковой. Это есть явное непризнание принципа конвенционализма. В этой связи – об интересубъективности: интересубъективность, конечно, конвенциональна, а в противном случае – просто бессмысленна.

Здесь совсем другая вещь. Здесь надо выяснять проблему объективности. Материализм ведь чем хорош? Он решает этот вопрос очень просто – на базе теории отражения. Он говорит: почему знание объективно? Да потому, что наше сознание отражает все, что есть в мире, а что есть в мире – то и объективно.

Смысл жизни вроде бы в том, чтобы не идти против законов мира в силу полагаемого нами принципа. Но этот принцип должен объективироваться. А как – это гигантская проблема.

Вроде бы я закончил введение к разбору схемы мыследеятельности. И хотя я опустил большой кусок по интерпретации схемы знаний, но на первый раз этого хватит. Я хочу в следующий раз перейти к схеме мыследеятельности, поскольку дальше я постараюсь показать, что все эти отношения переносятся туда целиком, хотя позднее и усложняются. Может быть, потом, анализируя схему мыследеятельности, мы получим новое содержание для того, чтобы скорректировать эту схему знаний, поскольку отношение между полюсами мыследеятельности обладает той же природой, что и отношение между знаковой формой и содержанием схемы знаний. Но схема мыследеятельности дает массу очень сложных ограничений.

Еще одна вещь. Мы обязаны вроде бы разрабатывать несколько программ и планов анализа схемы мыследеятельности и ее теоретического развертывания, о чем я буду говорить в следующий раз, но, кроме того, мы должны класть эту схему в ее развертках на наши игры и прорабатывать игры с этой точки зрения – какие типы мыследеятельности и что из мыследеятельности они нам дают в качестве материала. Следует вернуться к теме исследования в играх и отработать эту часть. Но придется вернуться и к оргуправленческой работе. Поэтому я хотел бы провести работу «наизнанку».

Я сейчас читаю разные отчеты и заметки по играм с целью выявления всех негативных явлений. На эту тему надо провести какую-то игру и развернуть эту линию. Кроме того, наши психологи должны провести исследование всех психологических теорий мышления, мысли-коммуникации, мыследействия и подвергнуть их критике. Схема мыследеятельности дает основания еще и для такого разбора.

В частности, то, о чем я буду говорить в следующий раз, это принципиальное различие чистого мышления и мысли-коммуникации – чего не было в литературе вообще никогда и что мне сейчас представляется совершенно очевидной вещью, без которой вообще нельзя исследовать мышление.

А необходимо этим интересоваться, потому что подрастают психологи, и их необходимо пропускать через школу критики психологических теорий мышления.

Алексеев. Здесь подразумевается совершенно другая работа. Просто надо дать некоторые принципы организации критики, а не проводить эту критику самому.

Правильно. Вот этого я у тебя и прошу – организовать эту работу. Им всем это необходимо как школа. Без этой критики не будет включения в традиционную культуру, в исторический процесс.

«Герменевтика»: проблемы исследования понимания *

Когда В.П.Литвинов предложил мне выступить на этом семинаре, я принял его предложение с большим удовольствием и благодарностью, поскольку вот уже 25 лет я размышляю над проблемой понимания и наконец смогу обсудить эту тему в кругу заинтересованных людей. Мне даже казалось, что я что-то расскажу по теме «Исследование понимания», но длилось это ровно до того момента, когда я сел за стол и начал готовиться к сегодняшнему выступлению. К большому моему удивлению, вдруг выяснилось, что рассказать я могу очень немного.

Так я понял, что нужно изменить содержание доклада и обсуждать не то, что я знаю, а разнообразные трудности исследования понимания, с тем чтобы выйти к какой-то программе. В результате анализа у меня осталось несколько довольно куцых мыслей, которые я здесь и изложу. Они явно не охватывают тему «Понимание», но я думаю, что эта тема сама по себе настолько сложна, что даже подходы к ней с тех или иных сторон и отбрасывание ложных ходов тоже будут полезны.

Итак, сначала немножко истории. Я попытался прежде всего представить себе ситуации, которые ставили передо мной проблему понимания, заставляли размышлять на эту тему. Такой была ситуация 1959–1960 гг., когда я и Софья Густавовна Якобсон занимались исследованием процессов решения арифметических задач детьми разного возраста.

В то время я был убежден, что мышление – это определенная интеллектуальная функция человека, всеобъемлющая и охватывающая весь спектр интеллектуальной работы.

Мы пробовали описывать структуры знаний, которые возникают у детей при решении арифметических задач, с одной стороны, и последовательности процедур и операций, которые они при этом осуществляют в мыслительном плане – с другой. Мы анализировали поведение детей в ситуациях, когда учитель давал им текст задачи, смотрели, что дети делают, размышляя, и стремились построить модели этих операциональных «лент», или последовательностей. При этом мы обнаружили следующий факт, который вы наверняка хорошо знаете, но для меня он был неожиданным, поскольку расходился с исходной гипотезой, в рамках которой мы работали. Когда учитель или экспериментатор зачитывал условие задачи, то одни дети действительно приступали к работе и начинали осуществ-

* Доклад на проблемном семинаре «Герменевтика» при Пятигорском государственном педагогическом институте иностранных языков, руководимом В.П.Литвиновым (Пятигорск, 1986). Переиздание публикации [*Щедровицкий* 1992]. Данная публикация не содержит вступления и приложения (написанных В.П.Литвиновым) и несколько отличается от первой публикации в плане оформления.

лять какие-то действия (которые мы стремились выявить и записать), а другие ничего не делали, продолжали тарашиться и крутиться, и деятельность не наступала. Когда их спрашивали, в чем дело, они говорили: «Мы не поняли». Вот это – первый момент, который я фиксирую как очень важный, в том числе и для проблемы понимания. Мы прежде всего сталкиваемся с феноменальными проявлениями не понимания, а непонимания, и эти моменты можно очень четко разделить: тот, кто понял, приступает к работе, тот, кто не понял, сидит и глазеет по сторонам.

Но это пока что не вынуждало нас отказаться от самой гипотезы. Мне тогда казалось по наивности, что подобно тому как мышление должно представляться в виде последовательности операций, совершаемых ребенком, так и понимание можно представить в виде определенных процедур или операций. Но с мыслительной работой легче: там ребенок действительно что-то делает, совершает какие-то операции. Тот же, кто не понимал задачу, естественно, ничего не делал; но и тот, кто понимал, понимания тоже не фиксировал в виде действия, а говорил: «Я понял», – и начиналась работа. Все попытки представить работу понимания как рационально организованную приводили к неудаче. Следовательно, мы должны были зафиксировать, что понимание, по-видимому, несукцессивно, не разветвляется в последовательность процедур.

Кое-кто из тех, кто участвовал в наших дискуссиях, и раньше говорил об этом. Я очень хорошо запомнил одно выражение (конечно, вы поймете, что так могла говорить только женщина): понимание вообще «круглое», моментальное, мгновенное. Но я тогда относился к этому как к метафоре и только после того столкновения с детьми, понимающими или непонимающими задачу, понял, что в этом есть нечто большее, чем метафора.

Поскольку же основную базу модели, ее фундамент создавали представления о последовательностях операций, а понимание очень хотелось представить сопровождающим эти операции, то мы начали (это отражено в наших публикациях 1962–1965 годов по исследованию процессов решения задач) записывать последовательности мыслительных операций – $\Delta_1, \Delta_2 \dots \Delta_n$ – а сверху помещали в ряд буквы $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_n$ как обозначение этих «атомов» понимания, ибо убеждение, что понимание должно делиться на какие-то части, состоять из определенных атомов понимания, оставалось. Оно подкреплялось еще и тем, что иногда понимание происходило как бы залпом, одномоментно: вот ребенок уяснил решение задачи, сказал: «Я понял», – и выдает какой-то ответ, проделав сразу серию операций и не задерживаясь в ходе решения задачи.

Но таких было немного. Подавляющее большинство продвигалось к пониманию очень медленно: вот они что-то поняли, затем приступали к какой-то мыслительной операции, потом останавливались и начинали как бы понимать дальше. И если такого ребенка спрашивали: «А что ты делаешь?», – он говорил: «Я понимаю». Но это не потому, что экспериментаторы употребляли такое слово, а потому, что это слово вообще расхоже в

нашей речи, как-то входит в обыденную картину мира и в представления каждого ребенка дошкольного возраста. Этот момент был фиксирован очень четко: вот он что-то понял, вот что-то сделал, совершил какую-то операцию. Совершив ее, он начинал что-то понимать дальше, и поэтому получались такие перемежающиеся последовательности мыслительных операций $\Delta_1, \Delta_2 \dots \Delta_n$ и каких-то $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_n$, или атомов понимания. Это была чисто предположительная обработка, это было наше априорное знание; понимание вроде должно было для единства всей картины раскладываться на такие маленькие атомы, процедуры или операции.

С теми детьми, которые понимали последовательно, по мере продвижения в решении задачи, это получалось правдоподобно и как-то могло быть представлено. Но были и контрпримеры: дети, которые сразу понимали решение задачи до конца.

Литвинов В.П. Сколько у вас тогда было людей, которые мучились проблемой понимания, и все ли они были связаны с обучением решению задач?

Нас было двое – Софья Густавовна и я, и мы этим мучились, но не очень. Нас интересовала скорее реконструкция мыслительных процессов. И у нас все получалось довольно удачно. Про методистов, которые говорили, что ребенок решает или не решает задачи в зависимости от того, как он понял условия, мы по выработанной психологической привычке думали, что методисты опять все напутали. Это было такое естественное ограждение себя и своих априорных представлений от более широкого опыта.

Радченко В.И. Почему вы начали решать проблему понимания с решения математических задач?

Это очень глубокий вопрос. Я тогда начал работать в Институте дошкольного воспитания и имел техническое задание определить условия состыковки дошкольного воспитания и школы. А в школе, начиная от 1-го класса и дальше, большие трудности создают так называемые косвенные задачи. Прямая задача: «На дереве сидело 5 птичек, потом прилетели еще 6; сколько всего стало птичек?». Косвенная задача: «На дереве сидели птички, потом прилетело еще 6, и всего стало 11; сколько сидело сначала?». Прямую задачу решали как дошкольники, так и школьники-первоклассники, а косвенную – только дошкольники, а школьники решать ее уже не могли. В этом был какой-то странный момент, заставлявший нас задумываться. [Смех]. Мы тоже смеялись сначала. Потом перестали. Более того, мы начали проводить так называемые лонгитюдные исследования, наблюдая по дням, по декадам, как способность понимать и решать задачи у дошкольников исчезала по мере того, как они проходили курс обучения в школе. Мы анализировали эту ситуацию, и я могу сказать о тех гипотезах, которые у нас появились.

Давайте сравним арифметическое и алгебраическое решения задачи. Ребенку говорят: «На дереве сидели птички», – а он спрашивает: «Сколько птичек?». Экспериментатор отвечает: «Это надо будет узнать. Пока не знаю, сколько птичек». Если человек решает задачу алгебраическим способом, он сразу пишет «х» независимо от того, дали ему или не дали знание числа сидевших птичек. А дальше: «Прилетели птички». И в 1-м классе дети долбят правило: «Если птички прилетели, пирожки добавились и т.д., надо ставить плюс». Пишут «икс», потом ставят плюс: $x + 6 = 11$. Если запись сделана в алгебраическом выражении, надо преобразовать запись: $x = 11 - 6$.

Теперь представим себе, что косвенную задачу решают арифметическим способом. Ребенок должен удержать в своем понимании всю ситуацию, а записать он должен: $11 - 6 = ?$. И это противоречит всему тому, что дают ему преподаватели школы: «Если птички прилетели, ставь плюс», – а писать-то надо минус, потому что определяется решение не тем, прилетели или улетели птички, добавились или не добавились пирожки, а очень сложным анализом, что известно и что неизвестно. Фактически, правило должно было бы звучать так: «Если известны числовые значения целого и одной из частей, то надо из целого вычитать известную часть. Если известны значения частей, то надо их складывать, чтобы получить значение целого».

Анализ этой ситуации объясняет, почему дошкольники, которые не освоили школьной премудрости, решают не только прямые, но и косвенные задачи: их головы еще не забиты путающими их правилами.

Я старался, как мог, ответить на ваш вопрос, Владимир Иванович. Мы занимались этим, чтобы стыковать дошкольное и школьное образование; при этом должны были выделять способы решения, определять содержание обучения: что педагог дает детям в 1-м классе и что он должен давать.

Карасев О.В. *Правильно ли я понял, что в вашей ситуации возникли два вида проблем: 1) ваши – по выявлению понимания – и 2) связанные с этим проблемы, стоящие перед учеником – решить задачу?*

Может быть, вы и правы, но это ваше знание. Я этого и тогда не знал, и сейчас не знаю. Итак, передо мной стояла задача обслуживать знанием педагогическую работу ученика 1-го класса. Меня интересовали структуры мышления, в частности способы решения задач в оппозиции: *способ* решения по содержанию, который мы должны давать при обучении, и *процессы* решения, т.е. та живая активность, живая деятельность, в которой ученик демонстрирует свои знания, когда ее осуществляет. Но вдобавок к этому возникла еще проблема понимания, потому что оказалось, что ученик решает или не решает в зависимости от того, понял он условие или не понял. Часто он делает характерные ошибки, обусловленные тем, как он понял эти условия. Так выплыла проблема понимания.

Мы просмотрели все методические разработки, которые существовали в русской школе начиная с 90-х годов прошлого века, и нашли только одного исследователя, прибалтийского – Эрна, который употребил такое выражение: «Для того чтобы научиться решать косвенные задачи, ребенок должен научиться оперировать ситуацией, описанной ему в условии, и понять эту ситуацию». Вот так впервые в наш анализ вошло выражение про понимание, и чем больше мы смотрели на работу детей, тем больше убеждались, что Эрн схватил как раз существо дела. Итак, проблема понимания пришла как будто со стороны – вот что я могу сказать, и не знаю, отвечаю ли я на ваше замечание.

Литвинов. Значит, здесь не было никаких трудностей с языком или с чем-то таким, а только с пониманием ситуации, условий математической задачи?

На мой взгляд, да. И с математическим пониманием. Но я еще вернусь к этому – здесь, по-моему, масса проблем.

Бражников Ю. Почему был выбран именно этот предметный материал – не другой?

Поскольку в моем институте я должен был отвечать за математическую подготовку. Я вел исследование детей дошкольных учреждений точно в тех рамках, которые мне задавала администрация. У меня не спрашивали, на каком материале я хочу исследовать.

Карасев. Поскольку вы закончили первый кусочек вашего доклада, то, видимо, этим выделили и первую проблему в исследовании понимания?

Нет, пока я просто феноменально описал некоторые факты. Я теперь к этим фактам добавлю еще несколько и буду работать над их истолкованием.

Мы начали задавать себе вопрос, а что же понимается детьми. Вроде бы это очень похоже на ваш вопрос, Виктор Петрович: «Что же понимается?».

На начальном этапе нашего эксперимента дети брали предлагаемую им ситуацию, или задачу, и стремились ее дополнить в обыденном, практическом плане. Они спрашивали, какие были птички – большие или маленькие, летели они вместе или порознь. Эта конкретность характерна для мысли ребенка, так же как, например, и для ситуаций обучения эскимосов, описанных в учебнике языкознания... Там есть такой пример. Учитель дает условия задачи: «Охотник пошел охотиться на тюленя». Дети спрашивают: «Кто пошел?», – и пока им не ответят, кто из их селения пошел, они отказываются принимать задачу. И далее они контролируют практические условия выполнения. Например, учитель говорит: «Такой-то пошел охотиться на тюленя и убил за день пять тюленей». Учащиеся говорят: «Не может быть, он – лентяй и больше одного в день не убьет». –

«А потом он их повез...». И дети внимательно следят за тем, куда он их повез. Ведь надо попасть в реальную ситуацию действия. Домой он их не повезет, а повезет, скажем, сразу в торговый центр сдавать, потому что очень любит выпить, – объясняют дети учителю – и т.д.

А нам ведь нужно совершенно другое. Чтобы дети научились решать арифметические задачи, они должны, как пишут во всех методических руководствах, понимать математические условия и арифметический или алгебраический смысл задачи. Я прошу вас выразить «смысл задачи» запомнить, ибо я с этим потом буду специально бороться. На мой взгляд, в этом выражении заложена грубая ошибка, сбивающая исследователя с правильного пути.

Но тогда мы с Софьей Густавовной Якобсон приняли это методическое указание вполне естественно и расписали свою работу: значит, не предметную ситуацию дети должны понимать, восстанавливать, реконструировать – они должны ухватить математический смысл задачи, то, что связано с переворачиванием условий в косвенной задаче. Складывать ли надо данные числовые значения или вычитать одно из другого? Мы начали обсуждать специально, как передать детям это математическое понимание.

Софья Густавовна Якобсон, проработав методическую литературу, предложила ввести своего рода имитацию известных и неизвестных значений в виде бумажных кружков. Например, сидевшие на дереве и прилетевшие – это часть или целое (соответственно маленький или большой кружок)? И после того как ребенок определял, что сидевшие – это часть, а те, что прилетели – другая часть, он для получаемого целого выкладывал большой кружок. Нам надо было проимитировать способ решения, но не в знаках, как в алгебре, а как бы в вещных имитациях этих известных и неизвестных значений и так научить детей работать – математик сказал бы: с «множествами», а мы говорили: с «совокупностями», различаемыми как «целое» и «части».

И здесь мы столкнулись со следующим, очень интересным фактом. Основной деятельностью дошкольников является игра. И теперь, когда они выкладывали большой кружочек и два маленьких, в этой ситуации они вместо того, чтобы решать задачу, часто вдруг переключались на игру с этими кружочками. Ребенок, точно отвечая на вопросы: «Да, вот части!», выкладывал «части», затем клал «целое», а потом сразу, не останавливаясь, говорил: «Вот это будет стол, а эти маленькие – будут стулья, мы сюда детей будем сажать». И пошла совсем другая мысль. Поскольку эти явления все время повторялись, я могу сейчас сказать, что, на мой взгляд, именно здесь, в этом явлении, мы имеем дело с перескоком понимания, с тем, что в традиции С.Л.Рубинштейна психологи называют «перифункционализацией». Дети вдруг переключались на традиционную для них игровую ситуацию и начинали готовить место для того, чтобы посадить кукол. Остановить их было нелегко. Мы спрашивали: «Что у тебя здесь ле-

жит?», – и ребенок отвечал: «Теперь это будет стол, а это – стульчики вокруг, надо их правильно поставить». – «А зачем эти стульчики? Что ты вообще делал?»...

Сухих О.В. Нельзя ли понимать вас так, что происходит некоторое опосредование понимания в узлах фиксирования: мы говорим не про то, что здесь сделано, а про то, как это надо оценить, т.е. как опосредование понимания при перефункционализации в целях...

Сейчас так кажется, что мы действительно имели здесь феномен понимания в наглядной форме. Когда выстраиваются процедуры и принимается решение, как их выкладывать, это все – мыслительная часть. Но понимание вроде бы феноменально выступает как включение строго определенных онтологических картин мира, строго определенных систем интерпретации, накладываемых на объекты оперирования. Думаю, что работа понимания состоит в этом.

Литвинов. Здесь понимание каким-то образом связано с вниманием?

Нет, я бы не сказал, что это связано с вниманием. Это связано именно с переключением систем средств.

Карасев. Когда вы отказались от алгебраического смысла задачи и вместо него поставили арифметический смысл «часть – целое» и стали, таким образом, говорить об этом как о множествах?

Нет, дело не в этом. Работа была достаточно сложной, и мне по ходу дела приходилось изучать все, что написано о понимании в методике преподавания математики. Я с интересом выяснил: алгеброй мы называем то, что есть не что иное, как теоретическая арифметика. Мы в своем эксперименте жестко проводили замену категориальных средств: нам надо было задать категориальный аппарат теоретической арифметики, но мы использовали для этого не буквы-знаки для известных и неизвестных величин, а вещи-символы, т.е. кружочки. Случайно оказалось, что дети воспринимают их как изображение стола и стульчиков. Это был неожиданный результат эксперимента, не запланированный и не предполагаемый. Поэтому я говорю: я здесь перешел к категориальному плану и сделал то же самое, что делается в теоретической арифметике. Но там сразу идут как бы два плана, а мы отделили эту вторую часть, поскольку имели установку на работу в операциях, и нам надо было давать теперь эти операции – надо было формировать у детей понимание. Я до сих пор знаю только один способ такого формирования: задавать другие способы действия, значит, формировать другое понимание. И пока я ничего не знаю другого. Ответил ли я на вопрос?

Литвинов. Когда дети перефункционализировали кружочки, значки количеств-совокупностей, указанным образом – стали называть их стуль-

чиками, – они при этом продолжали решать задачу или начинали играть в куклы?

Они начинали играть в куклы, переключались в другой род деятельности и создавали другой план.

Литвинов. А где же здесь сам смысл проблемы понимания? Какие моменты в этом переключении, в этом факте можно посчитать заслуживающими внимания с точки зрения анализа понимания?

Я понял. С моей точки зрения, это есть функциональное назначение понимания. Понимание прежде всего дает нам представление о том, с чем мы имеем дело.

Литвинов. Иначе говоря, понимание не обязательно рассматривать как понимание чего-то, смысл чего был задан со стороны. Понимать можно совершенно независимо от того, с каким смыслом это было отправлено и было ли оно вообще отправлено с каким-то смыслом.

Я к этому вернусь, и мне понадобится несколько промежуточных этапов, где я попробую от того, что вы говорите, не оставить камня на камне.

Литвинов. Но ведь без этого допущения такая интерпретация – что это стульчик – вещь странная...

А вы берите пока это как феноменальный план. Мне надо набрать некоторый коллаж из феноменальных проявлений, а потом я буду задавать по поводу всего этого вопросы. Пока имеет место такое вот странное переключение. Отнеситесь к этому как к эмпирическому экспериментальному факту, а дальше уж исследуйте, что это такое.

Теперь я делаю поворот в мысли на 180° и начинаю все это критиковать.

Я, фактически, рассказал все или почти все, что нам удалось выяснить про понимание в этом исследовании конца 50-х годов. В следующий раз мне пришлось вернуться к теме понимания примерно года через три-четыре, когда на методологическом семинаре была поставлена тема «Понимание – что это такое?». Здесь требуется отступление. Те факты, о которых я вам сейчас рассказал, подтвердили то, что я и раньше подозревал, а именно: что понимание – это не мышление, а мышление – это не понимание и что надо эти интеллектуальные функции жестко различать, что понимание вообще играет решающую роль в мышлении, что они должны работать вместе.

На методологическом семинаре был поставлен такой метафизический вопрос: что есть предмет или объект понимания? Вся предыдущая работа была построена на предположении, что решение арифметических задач требует, чтобы ребенок понимал арифметический смысл задачи.

Значит, слушая текст условия задачи, он должен выявить там арифметический смысл. И вообще это все вливалось в огромную литературу по арифметике: процесс понимания трактуется там как понимание смысла, который несет текст. Это стало предметом нашего специального анализа, потому что мы хотели понять, что, собственно, понимается.

Первый заход у нас был в середине 60-х годов, но утвердиться в определенном мнении на этот счет мне удалось только где-то в 1972–1974 гг., и это отразилось в статье «Смысл и значение» [Щедровицкий 1974 а].

Первый тезис, негативный, который я хочу здесь утверждать: никаких смыслов, которые якобы понимаются, вообще нет и не существует. В тексте любого сообщения нет никакого «смысла», который можно было бы «понять». И в условиях арифметической задачи нет «смысла». Я теперь лучше понимаю работу Аристотеля «Об истолковании». Он, отвечая на вопрос, что такое высказывание, выделяет все элементы высказывания, но среди этих элементов нет никакого «смысла». Он задал то, с чем мы работаем: там есть «имя», которое обозначает; есть соответственно «глагол», который «сказывает» (характеризует, приписывает); есть связи определений, которые соотносят «имя» и «глагол» или, наоборот, разделяют и ставят преграду. Поэтому выражение «мы понимаем смысл некоторого текста» ошибочно; мало того, что оно ошибочно, оно еще является дезинформирующим, оно нас обманывает.

Я утверждаю, что есть процесс понимания и что он создает то, что мы называем «смыслом». Больше того, процесс понимания, представленный структурно, и есть то, что мы привыкли называть «смыслом». Говоря буквально, мы понимаем процесс понимания. Или более точно: осуществив процесс понимания, мы потом в рефлексии можем опросить, что мы поняли. И в этом рефлексивном заходе еще раз, но уже теперь структурно, мы фиксируем процесс понимания, и процесс понимания, остановившийся на определенной организованности, мы и называем «смыслом». Я не уверен, что мне удалось сказать это достаточно внятно.

Карасев. *Процесс понимания создает смысл – из чего?*

Из самого себя.

Карасев. *На пустом месте?*

Совершенно на пустом.

Карасев. *Но мы все же воспринимаем этот самый... смысл. Значит, это не пустое место?*

Подождите, подождите. Пока я утверждаю, что смысла как того, что понимается, нет.

Литвинов. *У понимания нет предмета, кроме самого понимания?*

Понимание создает то, что вы поняли. Продуктом понимания является понимание.

Радченко. Но ведь всякое понимание основывается на каком-то содержании?

Нет, говорю я. И в этом состоит моя смелая гипотеза. Давайте сначала рассмотрим такой мысленный эксперимент. Вот я утверждаю, что нет «смысла» как чего-то, что содержится в тексте и что из текста выявляется благодаря процессу понимания. Я утверждаю, что процесс понимания впервые создает смысл. Каким образом я должен отвечать на вопрос, как это происходит? Чтобы все это было понятно в целом, я делаю первое, очень важное для меня, дидактическое сообщение: понимается, как я уже сказал, не смысл; а теперь я добавлю: понимается не текст. Не текст есть предмет понимания, даже в специализированных ситуациях, когда мы даем человеку иностранный текст и просим перевести его на родной язык. Я утверждаю, что понимается деятельностьная ситуация, в которой находится понимающий человек. Именно ситуация есть предмет, или объект, понимания. И не вообще ситуация, а деятельностьная ситуация, т.е. такая, когда человек должен что-то сделать, построить определенный план действий, что-то получить.

Литвинов. Когда вы сидите дома в кресле и читаете «Дон Кихота», как тут быть с «пониманием» и «деятельностной ситуацией»?

Вот я для себя хотел бы понять, почему мне так не нравится сидеть дома в кресле и читать «Дон Кихота», почему меня с малых лет никто не мог никогда заставить это делать и почему я и сейчас этого терпеть не могу.

Литвинов. Хорошо, а «Мастера и Маргариту»?

А «Мастера и Маргариту» – всегда с удовольствием. Но обратите внимание: и в этом заключен ответ. Потому что для меня «Мастер и Маргарита» есть действующее произведение, которое объясняет мне, как надо жить и действовать. Я имею тот недостаток, что я очень деятельный, живу в деятельности. И кроме того, я никогда не делаю разницы между жизнью и книгой, т.е. для меня книги были учителями жизни. Я, по-моему, вам рассказывал, как одна женщина, дочь профессора психологии Московского университета, работавшая у меня в семинаре, как-то сказала: «Вы неисправимый человек, Георгий Петрович, вы до сих пор думаете, что книги надо читать, чтобы понять жизнь». И далее она мне разъяснила, что в наш век так думают только такие пожилые люди, как я. Но я действительно до сих пор воспринимаю книги не как чтиво, которым заполняют время в метро или в автобусе, а как то, что говорит о жизни и ее духовных основаниях. Поэтому я вам отвечаю: да я воспринимаю все это как определенные ситуации, в которых я имитирую свои возможные действия

как правильные или неправильные. И, наверное, это мой недостаток, но я не исправим.

Литвинов. Тогда возникает вопрос о материале. Чем отличается «Мастер и Маргарита» от «Дон Кихота»? Ведь вы же читаете и то, и другое, и одно вас учит жить, а другое – нет. Понимание-то вроде разное получается – значит, в одной книге что-то есть, а в другой этого нет. Что же это?

Конечно, разница есть. Это совершенно разные книги в стилевом отношении, в содержании, но я ведь и не спорю с этим, я говорю только, что предметом понимания является не смысл, даже больше того – не текст, а ситуация.

Карасев. Если я правильно понимаю вопрос Виктора Петровича, то он спрашивает об условиях понимания деятельностных ситуаций. А условиями могут являться тексты.

Так если бы он об этом спрашивал!.. Текст является составляющей, или элементом, деятельностной ситуации. Но я об этом хочу говорить дальше и поставить вопрос, что тогда есть текст. Вы очень точно уловили смысл того, что я говорил. Предметом понимания является ситуация – ситуация, в которой человеку нужно или предстоит действовать.

Радченко. А что тогда в тексте?

Ситуация, простите!

Радченко. Опять элемент деятельностной ситуации?

Текст – да.

Литвинов. Вы делаете его элементом деятельностной ситуации, но при этом вы делаете...

Я так живу. Я нахожусь в определенной ситуации. Для меня все это либо элементы моей деятельностной ситуации, и тогда я выделяю это, поскольку оно для меня значимо, либо оно не относится к моей деятельностной ситуации, и тогда я этого не замечаю. Вот меня здесь, в Пятигорске, спрашивали: «Ездили вы в Кисловодск?». Я говорю: «Нет, не ездил». – «Какой вы странный. В первый раз здесь – и сидите у себя в комнате, что-то делаете». Я говорю: «Да, у меня такие недостатки». Я работаю и другой жизни не знаю. Я не знаю, что делают в жизни, когда не работают. Если надо ехать в Кисловодск, чтобы осматривать его, то я устаю от одной мысли, что это надо делать.

Литвинов. Вопросы о книгах можно пока отложить, потому что трактовка текста обещана...

Вот теперь, поскольку я уже сказал самое главное, постараюсь отве-

тить на вопрос, что же такое текст. Если мы хотим текст рассматривать как значащий (это не значит «имеющий значение»; значащий и имеющий значение – разные образования), то мы должны стремиться получить из него, понять в нем нечто, изменяющее жизненную или деятельностьную ситуацию либо привносящее в эту ситуацию нечто новое, значимое для организации нашей деятельности на будущее. И вот это должно быть вытащено из текста.

Я стремлюсь отличать коммуникацию от общения. Когда я сидел на вашем семинаре, мне все время хотелось ввязаться в дискуссию, но я себя удерживал, чтобы не устроить маленькую свару, потому что коммуникация с моей точки зрения, это всегда значащие сообщения.

Скажем, я приехал в Вильнюс, иду по городу и собираюсь переходить улицу, поглядел по сторонам, вижу – машин нет, но тут мой спутник, старый житель Вильнюса, меня останавливает: «Мы не переходим улицу на красный свет». Он, таким образом, пользуется значащим сообщением для определения моего поведения в этом городе в тот момент, когда я хотел нарушить их правила поведения и культуру городской жизни. Я воспринимаю это сообщение и остаюсь стоять, жду, пока красный свет сменится на зеленый.

С моей точки зрения, тексты коммуникации всегда такие: они тогда несут в себе сообщение, информацию, когда меняют ситуацию с учетом плана моих предстоящих действий, дополняют ее чем-то, фиксируют значащие моменты (когда я неправильно понял ситуацию). Вот это есть текст сообщения, текст коммуникации. И «Мастера и Маргариту» я читаю таким образом. Этот текст в моей ситуации – значащий, меняющий мое поведение.

Слонимская И.М. Если я открываю учебник по физике, а там такие слова, что я ничего не понимаю – из этого же не следует, что они ничего не значат?!

Следует.

Слонимская. Вы хотите сказать, что эти слова – не носители общения?

Да. Для вас!

Слонимская. Пока я не включу их в ситуацию?

Мало того. Сегодня я перечитывал Аристотеля «Об истолковании» и заинтересовался предисловием, написанным Зурабом Микеладзе. Читаю – все слова, мне кажется, знаю, а текста не понимаю. Чего же я не понимаю? Вот такой я задаю себе вопрос. Почему я этого не понимаю? А потому, что Микеладзе, с моей точки зрения, сам не знает, зачем он написал этот текст, что он хотел сообщить читателю. Он нанизывает слова, составляет из них сложные, даже витиеватые выражения. Я все слова знаю, могу пересказать, если вы меня спросите, даже реконструировать ходы его мысли...

Слонимская. По-моему, вы понимаете, что он написал. Вы поняли прочитанный текст.

Нет, я не понимаю, что он написал.

Слонимская. Вы поняли, что это не соответствует вашим представлениям?

Единственное, что я понял, это что текст написан.

Слонимская. Но, чтобы так сказать, вы должны иметь определенный жизненный опыт...

Правильно. Смотрите, я говорю так: Зураб Микеладзе сам не знал, что он пишет, поскольку у него не было целевой и коммуникативной установки – он не собирался мне как читателю или кому-то другому что-то сообщить. Ему надо было заполнить место, поскольку он редактор и должен был написать этакое хорошее, правильное предисловие. Но в таком случае я не буду разбираться в этом тексте и стараться что-то понять, поскольку это совершенно бессмысленное занятие. Ибо там заведомо нет коммуникативного смысла, адресованного мне, читателю.

Николаев В.П. Выходит, что не может быть чисто объективного понимания. Понимание – субъективно. Для вас текст будет только в том случае текст, когда вы понимаете его как элемент вашей предстоящей деятельности, во всяком случае как связанный с ней. Значит, если мы берем учебники по физике либо предисловие Микеладзе и мы не понимаем этих текстов, для нас это просто набор значков. Однако же по учебнику учатся коллективы студентов, а кроме того, все читают, предположим, «Дон Кихота» и в основном выносят именно то, что хотел автор заложить, следовательно...

Слонимская. Если я не понимаю, это еще не значит, что текст не значим...

Обратите внимание, я сейчас высказываю свое субъективное мнение. Более того, я подчеркиваю: я не перевожу это свое мнение в оценку текста. Ситуация «здесь и теперь» меня заставила, и я вам ответил: я этого текста не понимаю. А затем я обращаю рефлекссию на себя и стараюсь ответить на вопрос, почему же я не понимаю. Ведь я же считаю себя специалистом в этой области и должен понимать. Я утверждаю, что в этом тексте нет обращения ко мне как к читателю. Что автор хотел мне передать? Я даже не могу сказать, что это за жанр литературный. Представьте себе, что вы берете какое-то произведение, ну, скажем, что-то про черную магию, видите там какие-то письма, слова, предложения. Все элементы вы понимаете, только не знаете, что с этим делать. И смысла это для вас никакого не несет.

Слонимская. Эта книга не несет смысла для меня или в этой книге

нет смысла вообще? Различаете ли вы объективный смысл, который есть в книге, и смысл мой, для меня?

Я понимаю вас. Я утверждаю – и это для меня значимо, – что представление, будто текст имеет какой-то объективный смысл, на мой взгляд, есть призрак, заблуждение. Тексты никакого смысла не несут, в текстах нет такого элемента, как смысл. И мне кажется (я даже объяснял это в статье «Смысл и значение», где я показал, как возникает такой призрак, как «смысл»), что мы его конструируем при прочтении текста, включенного в нашу ситуацию. Нет смысла как предмета, на который направлено понимание, есть процесс понимания ситуации и текста, несущего значащее сообщение.

Вот после того, как мы провели работу понимания (я еще скажу, как, с моей точки зрения, эта работа делается) и начинаем рефлексировать и спрашивать, что мы здесь поняли, мы рисуем смысл, который есть не что иное, как структура нашего процесса понимания. Когда процесс понимания представлен структурно, то мы говорим о нем: «Вот этот смысл, мы его почерпнули из текста». И ничего другого нет.

Но мне важно, что не текст мы понимаем, а ситуацию, требующую продолжения в действии, и мы должны решить вопрос, что нам делать. И если мы можем на основании ситуации решить, что нам делать, то мы говорим: мы поняли ситуацию. Если мы не можем понять ситуацию и решить, что нам делать, мы ищем некоторой поддержки, подсказки. Тексты выступают как такие подсказки, которые дают нам понимание нашей ситуации. Значит, по сути дела, смысл текста, в моей трактовке сейчас, есть не что иное, как функция текста внутри организации жизненной и деятельностной ситуации.

Литвинов. Вы текст рассматриваете в плане жизнедеятельности, а не в плане культуры?

Да, жизнедеятельностно.

Литвинов. Чьей жизни? Вашей? Или Мастера и Маргариты?

Моей.

Слонимская. Надо было спросить: вашей или Булгакова?

Текст-то – булгаковский. У меня нет сомнения в том, что, сколько бы я ни старался, я такого текста написать никогда не смогу. Но я проживаю этот текст. Я смеюсь и плачу так, как это определил Булгаков.

Майнова Н.И. Но, значит, Булгаков это заложил в текст?

Нет, не значит. Этот вопрос я буду обсуждать особо.

Бойко Л.Н. А те, кто текст понимает не так, как вы, они не включают текст в свою деятельность, им это не удастся?..

Я не знаю, что они делают.

Бойко. Но они понимают?

Нет, не понимают. И я хотел бы спросить у них, что они делают. Я рассказываю, как это происходит со мной и у той части людей, с которыми я общаюсь и работаю.

Бойко. А вот поведение и деятельность другого?

Это то же самое. Мы с вами встречаемся и попадаем в ситуацию. И если я понимаю линию вашего поведения и действия, чувствую вас как человека в этой ситуации, знаю, чего вы хотите, чем вы живете, я не сделаю ошибки. А если я не чувствую, чем вы живете, и не знаю, как вы себя будете вести, это означает, что я вас не понимаю. Тогда я буду пытаться задавать вам вопросы, что-то выяснять. Вы мне что-то открываете или, наоборот, маскируете, в зависимости от вашей цели, и заставляете меня ошибаться... Всякий другой человек есть автономный и самостоятельный элемент ситуации. Мне же важно – чтобы быть человеком – не наделать ошибок в общении с вами, в коммуникации с вами, в предпринимаемых по отношению к вам действиях. И все люди озабочены тем же.

Литвинов. Как вы понимаете, я прочитал «Смысл и значение» иначе, чем вы его задумали. Так что не упойте на то, что вы прочитали «Мастера и Маргариту» так, как задумал Булгаков. Так вот, я понял «Смысл и значение», на мой взгляд, очень хорошо. И я буду с этой позиции выступать против вашей сегодняшней трактовки. Но вы все время обещаете, что сегодня еще что-то существенное скажете.

Нет, самое главное я уже сказал. Если вы меня можете раскритиковать в пух и прах, да еще с точки зрения моей статья, это было бы прекрасно.

Литвинов. Значит то, что вы собираетесь сказать про «текст», не имеет такого фундаментального значения?

По сравнению с тем, что я уже сказал, – нет. Все остальное суть пояснения к тому, что я сказал, защита этого положения.

Николаев. А вот такой вопрос. Небольшой текст: «Не тронь – убьет!». Все его читают, и все его понимают. Что в нем заложено: объективность или субъективность?

Субъективность.

Николаев. Некоторых не убивает?! Даже если тронет, да?

Карасев. Не могли бы вы сказать еще, как вы понимаете «ситуацию»?

Это очень интересный и сложный вопрос. Только что проходила ОДИ-50 в Красноярске, где я имел случай проверить эти представления.

В игре складывалась ситуация, где никто ничего не понимал, никто не работал. Меня все спрашивали, когда я буду разворачивать ситуацию и переходить к работе. А я не видел и не понимал, что происходит. Я понимал, что происходит что-то и, может быть, даже что-то странное, а что происходит, понять не мог. Хожу по кругу, слушаю, что говорят люди – все говорят разное, из их рассказов ничего не могу собрать и сложить новую ситуацию. Чувствую только плечами, что вес ситуации становится все тяжелее и тяжелее.

Тексты людей мне нужны были для понимания того, что происходит. Первый момент, который я хочу фиксировать таким вопросом: вы согласны с тем, что бывают такие ситуации, которые непонятны?

Карасев. Да.

Конечно. Вот там, в игре, я это прожил и многое понял из того, о чем мы сейчас говорим. Там было 15 групп, стремящихся к разным целям, а люди еще и играют. А это означает, что одни говорят правду, а другие взяли стратегическую линию в игре на обман других. И все это сгущается, а общей работы нет. И понимания нет, почему люди так действуют, почему группы не работают. А мои ученики-методологи, вместо того чтобы выполнять то, что было заложено в оргпроект игры, ходят и смотрят на меня хитрыми глазами, и я понимаю, каждый думает: посмотрим, как ты из этой ситуации будешь выкручиваться. Надо было понять, что происходит. Но что значит «понять, что происходит»? Конечно, я не занимался там исследованием в полном смысле этого слова, но мне надо было знать: как двинуть это дело дальше? Я для себя выработал представления о понимании. Чтобы понимать ситуацию, надо иметь набор продолжений и знать, что должно быть дальше, как и в каком направлении преобразовывать эту ситуацию. Если такого видения нет, то ничего нельзя понять, поскольку то, с чем мы имеем дело, есть хаос, а то, что организует этот хаос, есть человеческая деятельность, пролонгированная вперед, или, как говорил Курт Левин, перспективная линия развития себя и вместе с тем ситуации.

Карасев. Ситуация индивидуальна, да? Скажем, сейчас у вас ситуация одна, а у Виктора Петровича – другая?

Вы, Олег Валерианович, все время указываете мне на различие субъективного и объективного. Я в принципе отказываюсь от такого различения, поскольку каждый участник ситуации есть частичка объективности. И в этом смысле очень характерно то, что говорят современные феноменологи, и то, что говорил Маркс. А говорят они, по сути, одно и то же: нет ничего более объективного, чем субъективное. И мы суть не что иное, как очень точные инструменты, работающие сразу по многим параметрам. И понимание есть функция этого инструмента. Если мы понимаем ситуацию, то мы знаем, что надо делать и как ее преобразовывать. И

обратное: для того чтобы знать, что делать, надо видеть перспективную линию развития, куда ее трансформировать и преобразовывать.

Литвинов. *Что-то вроде человеческого аналога для биологической адаптации, но только этот человеческий аналог оперирует культурой, окультурен.*

Но при этом он не адаптируется. Как подчеркивал Маркс, он преобразует ситуацию. Не он приспосабливается к ситуации – он приспособляет ситуацию к своему плану действия. Вот люди все время имеют, как писали Миллер, Галантер и Прибрам, планы поведения (и деятельности). И, когда они эти планы пролонгируют вперед, они могут ситуации рассматривать относительно этих планов своего действия. Иначе говоря, человек «адаптируется», трансформируя ситуации и приспособлявая их к своим планам действий.

Карасев. *Я прошу прощения, я, видимо, неточно сформулировал вопрос. Что же такое ситуация с вашей точки зрения?*

Я не ответил на этот вопрос? Тогда я расскажу вам, как однажды я услышал, что в Институте востоковедения в Москве проводят ситанализ. Я начал спрашивать тех, кого приглашают для участия в ситанализе: «Что такое ситуация?». Один сказал: «Задай вопрос полегче». Другой ответил: «Знаешь, у меня висит плановая работа, как-нибудь потом приходи, мы поговорим на эту тему». А третий, посмеиваясь, сообщил: «Ситуация – это то, куда мы попадаем. Она возникает тогда, когда ни начальство не знает, что надо делать, ни мы, приглашенные им в кабинет, не понимаем, что происходит». Я решил, что он дал самое точное и строгое определение ситуации. Ситуация, это когда мы попадаем в то, чего не понимаем.

Карасев. *Но ведь она же понимается по вашей трактовке.*

Тогда она больше уже не ситуация, тогда она – обстоятельства, обстановка моих действий, а не ситуация, в которую я попал. Мы не создаем ситуаций, мы в них попадаем.

Литвинов. *Вы, фактически, реконструировали эмпирию, или квази-эмпирию, область возможных денотатов теоретических обсуждений, которые касались смысла, значения, понимания, а также коммуникации и т.д., верно? Теперь мы взяли ситуацию как общий принцип, через анализ которого можно заместить все остальные объекты обсуждения, так что их теперь можно объявить фикцией...*

Я готов к тому, что мне скажут: то, что вы говорите – ерунда! Готов потому, что стою перед темой понимания минимум 25 лет и не знаю, с какой стороны ее строго и точно описывать. Я заявил с самого начала, что я понял свою задачу так: выступать здесь как объект для критики. Критикуйте. Только давайте поделим следующие две вещи: что касается терми-

нов научных обсуждений, я их редуцировал раньше и независимо от этих рассуждений; будем исходить из практических надобностей.

Литвинов. Разделили. Я не буду говорить о теоретическом дискурсе, я возьму практический – историю понятий. У вас ведь всегда было уважение к словам русского языка. Вот люди говорили о «понимании» издавна...

Нет, по-видимому, у меня никогда не было уважения к тому, что вы называете сейчас «словами русского языка». Слова есть слова. Я знаю принцип Карнапа: все слова имеют смысл в том плане, что именно я могу его туда привнести. Но, практически, мало какие слова имеют денотаты.

Литвинов. Вы не взвешивали возможность назвать то, о чем вы говорите, другим словом? Не «пониманием»?

Взвешивал. Пробовал. Ничего не нашел. Тем более я понимаю тенденциозность этого сообщения и своего размышления. Я обсуждаю тему «Понимание» и пытаюсь найти объективные референты понимания. Пытаюсь. Похоже, что мне это не удастся.

Литвинов. Ну посмотрите, что было, на мой взгляд, особенно красиво и здорово – и, наверное, это на много лет – в статье «Смысл и значение». Это то, что генезис смысла и значения был представлен, нет, был выведен из понимания как основания и подан в очень убедительной форме. Но понимание, которое было положено в основу, оно-то оставалось там проблематичным. Поэтому мне кажется, что на вопрос о понимании как раз та статья не дает ответа.

У меня же есть продолжение этой статьи, вторая статья, которая называется «Смысл и понимание» [Щедровицкий 1976 б]¹. Она была опубликована в 1976 г. Вроде бы вы должны ее знать.

Литвинов. Так, хорошо – я ее не знаю.

Там я дал критику того, как понимается смысл. И сейчас, рассказывая вам об этом, я не противоречу тому, что было написано в статье «Смысл и значение», которая мне очень нравится и которую я вообще считаю серьезной и добротной сделанной работой.

Литвинов. Да. Она мне тоже нравится тем, что в ней в начале стоит что-то вроде вопросительного знака и в конце, т.е. на полюсе понимания и на полюсе существования смысла...

Отлично! Пока что я рассматриваю эту статью как самый значительный вклад в проблему смысла и значения, включая Фреге и его работы.

Литвинов. Я тоже рассматриваю эту статью как самый значительный...

¹ См. с. 285–292 настоящего издания.

Я нигде не противоречу идеям, изложенным в этой статье. Зачем же вы ее мне противопоставляете?

Литвинов. Вне всякого сомнения, не противоречите. Я просто говорю, что ее можно читать иначе, поскольку в ней есть эти два открытых места. Смотрите...

Я всегда так пишу...

Литвинов. Э-э, нет...

Я не имею никакой претензии на объективное представление понимания. Я не знаю, что это такое. Это для меня – область поиска.

Литвинов. И вы обрубали все сомнительные места, те, которые не являются необходимыми для работы. Вы берете понимание ситуации, и фактически оно для вас определяет все. И этим вы обходите...

Я в нем собираю все.

Литвинов. И вы не испытываете необходимости привлекать дополнительные понятия – «смысл», «значение» и т.д.?

Не испытываю. В этом месте. Хотя прекрасно понимаю, что, наверное, это сильно упрощено, неправильно, ошибочно и т.д. С удовольствием готов перестраиваться.

Литвинов. Вот смотрите. Я, конечно, не могу претендовать на то, что я каким-то серьезным образом пошатну вашу позицию. У меня нет такой силы аргументов...

А я сам буду шататься, с удовольствием. Только намекните.

Литвинов. К сожалению, нечем. Но я хочу показать возможность другого прочтения этих двух открытых мест в статье «Смысл и значение». Если на основе зафиксированного акта понимания некто из внешней позиции берет...

Простите! Можно я сделаю маленькую вставку и расскажу здесь, как я понимаю связь понимания и смысла?

Литвинов. Это было бы очень хорошо.

Поскольку я сделал такое рискованное заявление, что смысла в тексте нет, а смысл есть продукт процесса понимания, а точнее, псевдопродукт, в том плане, что если я проделываю процесс понимания в ситуации (и текст – это вид ситуации), то затем я делаю как бы мысленный эксперимент.

Скажу образно, чтобы была понятна моя мысль. Представьте себе, что понимание есть некий луч света, щупающий такой фонарик, который мы направляем по различным точкам ситуации – как хаоса, разворачивающегося вокруг нас. Теперь представьте себе, что к этому лучику света вы

еще прикрепили кисточку с чернилами. И вот этим лучиком я обхожу ситуации, а вместе с тем, по сути дела, определяю актуальную структуру предложения, к которому я должен отнести эти «смыслы», как обычно говорят, – я все это лучиком обхожу, а он оставляет за собой следы. Вот сначала я остановился на одном факторе ситуации, потом на другом, соотнес это с текстом, определил в тексте, где там значащие, фокальные, что ли моменты, и, проделав эту работу понимания, я получил следы, графические следы движения этого шупающего лучика понимания.

И теперь я гляжу на полученную структуру и говорю: вот она – структура смысла, или просто смысл, который я вычленил в результате процесса понимания. И этот смысл собирает особым образом, осмысленно, все факторы ситуации в результате моей как бы ощупывающей работы.

Пример понятный или не очень? Если вы проделали работу понимания, а потом спрашиваете: «В чем же смысл?», – я предложу вам структурно представить вашу работу, т.е. те факторы, которые вы выделили, и их связь друг с другом и с текстом. Вот это и есть структура смысла, которую вы создали своей работой понимания. И я теперь могу вернуться назад и сказать: текст нес на себе эту структуру смысла, поскольку этот текст потребовал от вас именно такой работы понимания. И больше того, я эту структуру потом погружу даже на стандартную работу по пониманию иностранного текста. Если я его не схватил, не понял текст сразу, я должен произвести такой разбор, выделив там фокальные слова с их значениями, который поможет мне понять смысл текста. Но это – образ, или метафора. Текст несет смысл в той мере, в какой я могу разобрать его как выполняющий определенную функцию в ситуации и помогающий мне понять, что же надо делать и чего делать не надо.

Литвинов. Я хотел бы в связи с этим поставить вопрос о дележе субъективности, или о социализации смысла. У вас «смысл» – это ваши «следы»...

Погодите. Нет такой проблемы у нас с вами, как «дележ субъективности», ибо субъективность от начала и до конца предельно объективна, поскольку все мы воспитывались одной и той же школой, живем в одной и той же общественной формации, знаем, как себя вести, принадлежим к традициям русского языка и соответствующей культуре и к определенному, кстати одному и тому же, слою внутри народа России. Поэтому у нас с вами все одинаковое в социокультурном смысле, за исключением наших личностных выкрутасов, а это не имеет отношения к феномену понимания и порождению им смыслов.

Литвинов. И это создает иллюзию смысла как объективно существующего?

Да. Но почему иллюзию? Мы одинаково работаем, и мы порождаем те же смыслы.

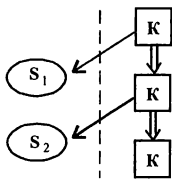
Литвинов. Я имел в виду другое. Иллюзию смысла как бы над нами, вне нас существующего.

Да. А не создаваемого нами в процессе понимания. Именно иллюзию.

Литвинов. Отличие вашей трактовки от расхожих психологических представлений я попробую «схватить» так. Для обычных психологических трактовок смысл существует вне человека, а мышление происходит в человеке как переработка и актуализация смысла. У вас наоборот: мышление существует вне человека, а...

И смыслы тоже – обратите внимание! – существуют в ситуации, их несет текст, входящий в строго определенную ситуацию.

Литвинов. Здесь я хочу изобразить схему (рис. 1), с которой вы работали у нас на лекциях. Схема, широко используемая в ММК, представляет двойную действительность: социальные ситуации конкретной жизни, т.е. «ситуации» в том смысле, в котором они здесь обсуждаются, в левой части схемы, а в правой – действительность культуры с образцами мышления, языка, т.е. парадигматическая система...



И которая в левом ряду реализуется обязательно, унифицируя нас, поскольку все эти нормы отпечатаны на нас, в нашем поведении. Как только я начну выбираться из этих рамок, так моментально товарищи по работе и члены семьи меня поправят или пригласят для консультации психиатра.

Литвинов. Естественно. Так вот. Теперь вопрос о месте, о локализации феномена понимания. Понимание, очевидно, происходит в ситуации, и это – понимание ситуации. Никаких общих норм понимания ситуации не существует. Или они существуют?

Нет, они, конечно же, есть. Другое дело, что вроде бы герменевтика должна их зафиксировать точно так же, как логика. А пока герменевтики нет.

Литвинов. Как логика фиксирует нормы мышления, а грамматика – норму языка?

Да, так. Герменевтика фиксирует нормы понимания. Она должна это делать, и вроде бы по этой причине мы обсуждаем здесь указанную проблему... Вот, между прочим, американцам, прожившим у нас в Москве, кажется, что мы достаточно свободны, поскольку ходим в гости и принимаем, когда хотим, беззаботны относительно времени и т.д., но это значит только, что у нас нет регламентаций, которые каждый средний американец обязан выполнять, так как они фиксированы в их культуре, в их слове, или «страте», в их жизни. Но на самом деле мы достаточно регламентированы нормами общения и поведения.

Литвинов. Это понятно. Но я теперь могу вернуться к вопросу об отношении между этими нормами и способами, закрепленными в культуре и определяющими формы нашего конкретного проживания в ситуациях, и буду ставить вопрос о языке, мышлении и понимании. Обратите внимание, языковеды, обслуживающие культуру, фиксируют и закладывают в правую часть схемы язык, например нормативный словарь, куда записывают нормативные значения слов. Но значение по вашей трактовке в статье «Смысл и значение» – и я пока не могу понимать иначе – конструируется как технический продукт, снимаемый с выявленного, выделенного, или нет – постулированного ранее смысла. Так?

Нет.

Литвинов. Снятого с актов понимания.

Нет, нет-нет. Этот продукт снимается с образцов поведения.

Литвинов. Речевого поведения?

Речевого поведения, этикетных образцов и т.д. Когда я в своей лекции говорю, скажем, отвечая Карасеву: «Знаете, видел я ваши идеи в белых тапочках!», – то я же сознательно иду на нарушение речевого этикета и всех норм, регламентирующих разрешенные и не разрешенные мне выражения. Фактически, я оскорбил не только Карасева, но и присутствующих. Но чем?

Литвинов. Вы нарушили нормы речевого поведения.

А чем же? Голос был плохой? Слова русского языка были плохие?.. Хотя признаюсь, я хотел их задеть, они правильно поняли, что это был вызов. Это своего рода герменевтические правила (их огромное количество и без герменевтики): как можно и как нельзя себя вести и говорить. Вот про что я говорю. А то, что вы хотите мне приписать, это что-то более глубокое, серьезное.

Литвинов. Я хочу приписать вам фактическое авторство идеи о том, что кто-то из служб культуры, организуя или наблюдая акты понимания (я не знаю, как сейчас различить организацию и наблюдение), постулирует смысл как то, что понимается или возникает в результате понимания...

Никто этого никогда не делал. И даже школа не смогла сделать ни со мной, ни с моими сверстниками...

Литвинов. ...что, далее, некто другой, тоже работающий на культуру, на основе выявленного таким образом смысла расписывает это по элементам языка с их функциями и полагает в культуру. После этого «смысл» может уйти как ненужный.

Это ваше совершенно произвольное допущение. Я не знаю, на чем оно основывается. Почему вы думаете, что те, кто определяет норму поведения, расписывают смысл? Я начинаю прикладывать то, что вы говорите – если я правильно понял – к себе. Кто же мне предписывал нормы поведения? Ну – родители, когда меня учили вести себя и действовать согласно – не смыслу, обратите внимание!..

Литвинов. А нормам поведения.

Да. И вбивали в меня это, как многие другие родители, всеми возможными способами.

Литвинов. Я как раз говорил, что вы не правы, считая, что языковед занимается нормами поведения и оформляет значение как норму поведения.

Языковед занимается нормами речевого поведения...

Литвинов. Нет, речи.

Он утверждает правильные формы речи и запрещает неправильные с точки зрения культуры речи.

Литвинов. Вы всю речь подводите под категорию поведения. Это у вас объемлющая категория. И ее вы потом начинаете истолковывать в этическом смысле, как нормы этикета, и говорите теперь, что языковед причастен к этому. Для меня этот ход... ну... неприемлем.

Согласен, неприемлем. Языковед строит систему языка и норм речевого общения. Так?

Литвинов. Речи, если вы не против.

Пожалуйста, речи. Какая мне разница? Каждый строит свою систему норм, но все строят. А родители вбивают это в нас, они уже знают, что надо и должно, и стремятся к тому, чтобы я был точно обструган и вытесан, и без лишних миллиметров справа и слева.

Литвинов. А мы можем спрашивать, какой... Ага, если я начну спрашивать, какой в этом смысл, я опять попадаю в то же самое пространство, потому что вы здесь не обнаруживаете смысла.

Правильно, никакого смысла я не обнаруживаю. И больше того, мои детские обиды на моих родителей, которых я очень любил и уважал, были всегда обусловлены тем, что их требования к соблюдению этикета и норм были бессмысленны. И я даже предполагал, что не только я это понимаю, но и они это понимают. Но теперь я целиком на их стороне. И когда мне сейчас мой сын объясняет, что мои требования к нему бессмысленны с точки зрения условий его жизни, я даже готов понять, что у него другая ситуация, куда более сложная, чем я могу себе представить. Но я обязан требовать от него выполнения этих правил и регламентов.

Меня абсолютно не интересует, осмысленны они или неосмысленны относительно его жизни. Я ему объясняю: «Ты меня извини, никто тебя никогда не будет спрашивать, какие у тебя условия жизни, но все будут требовать от тебя соблюдения правил (норм) поведения. А поскольку ты их не соблюдаешь, ты будешь попадать в разряд людей плохого сорта, и это будет опять-таки отрицательно сказываться на твоей жизни, ее условиях». Какой смысл? Для него мои требования абсолютно бессмысленны, поскольку нормативны, а для меня осмысленны, значимы.

Литвинов. *Сделав попытку проверить, прощупать этот подход на зацитоспособность, я убедился, что он действительно защищает и что, видимо, я сейчас не могу его никак подковырнуть...*

Наверное, можно.

Литвинов. *Желательно!*

Но не таким образом.

Литвинов. *Я просто не готов. Поэтому я хочу зафиксировать, наметить тот путь, по которому я считаю интересным пойти в начале работы по герменевтике. Я стал бы работать как раз через смыслы – смыслы, относящиеся к культуре и полагаемые в культуру. Это был бы более традиционный ход, чем у Георгия Петровича, и к тому же он связан со многими проблемами. Здесь придется решать вопрос о формах существования...*

Вы понимаете мой тезис? Я, фактически, утверждаю: вам нужны эти «смыслы» – назовите их «значениями» и помещайте в культуру, только каждый раз покажите, в чем это выражается и в какой форме существует.

Литвинов. *А также каким образом осуществляется...*

А мой тезис: смысл создается ситуативно, посредством работы понимания, значение же существует как предуготованное службами. Вот. И теперь очень интересный вопрос: какую роль играют значения при формировании смысла?

Литвинов. *А вы знаете?*

Но этот вопрос надо обсуждать отдельно.

Литвинов. *Я бы ситуативный характер смысла оставил как тезис, но стал бы для смысла проводить такое же различие, какое вы проводите для языка и мышления: речь – язык, мысль – мышление; аналогично для смысла, т.е. в герменевтике, я стал бы различать синтагматику и парадигматику.*

Пожалуйста, но тогда покажите, что есть парадигматика и что есть синтагматика в герменевтике. Постройте механизмы одного и другого. Это

было бы невероятно интересно. Только почему-то никто ничего подобного пока не сделал.

Литвинов. Я могу сказать, почему. Потому что формы существования этих образований вообще не могли обсуждаться до статьи Щедровицкого «Смысл и значение». Потому что смысл и значение принимались как идущие от Бога или как испаряющаяся из мозга некая «духовная субстанция». Как может существовать смысл, в виде чего, в каких формах проявляется феноменально – это показывается как раз в вашем подходе. После того как уже сделаны первые шаги в этом направлении, появляется возможность обсуждать даже существование «архетипов» Юнга и других образований такого рода; возможность обсуждения смысла в форме осуществления и существования (это ведь проблема ситуативности и парадигматики?) становится теперь реальной..

Я с удовольствием это приму, хотя буду называть их «значениями», или «действующими значениями», «социальными значениями», или «нормами». Но я не вижу, как это меняет нашу ситуацию. Ведь все равно значения и парадигматику мы знаем, а не понимаем. Понять парадигматику нельзя. Значения надо знать. Когда мы их заучили и знаем, нам дают аттестат зрелости и выпускают в мир: дальше делайте свои ошибки и набивайте себе шишки.

Литвинов. Пока мы не отделили в понятии язык от мышления. Ваше рассуждение таким же образом относилось бы к мысли и к языку: дескать, мы язык знаем, а где же там «мышление», ведь все равно, кроме языка, ничего феноменального нет. Ведь дело в том, что понимание до сих пор категориально никак не отделено от мышления, и если нам удастся осуществить это категориальное разведение, тогда вопрос о формах существования может ставиться как научный вопрос. Сейчас же мы, действительно, можем только сказать: это, т.е. парадигматику, мы «знаем»...

И другого мы не знаем.

Литвинов. ...потому что, кроме знания, мы пока ни о чем культурном говорить не можем, т.е. у нас нет языка для работы с таким предметом, как герменевтика. Вся западноевропейская герменевтика работает таким образом и конструктивного языка не имеет.

Правильно. Я могу привести кучу примеров в подтверждение этого. И даже в подтверждение того, что такие знания вообще не нужны. Вот еще пример, который я люблю рассказывать. Вы знаете, что отец моего приятеля Никиты Алексеева, писатель, был в 1934 г. арестован. Раз мальчик в присутствии матери употребил матерное выражение по какому-то поводу. Мать ему сказала: «Никита, ты не можешь выражаться так». – «Почему? Во дворе все кругом так говорят – мальчишки и взрослые». А

она ему отвечает: «Твой отец умер. Он был дворянин и писатель. Ему было бы очень грустно, если бы ты так говорил». Эта женщина не проделывала культурной нормативной работы, но она нашла тот единственный способ повлиять на мальчишку, чтобы отучить его от сквернословия. Суть, между прочим, в смысле дела или ситуации, а не в подборе тех или иных значений. Это было смысловое действие.

Литвинов. Конечно. Но ситуация та же самая, что и с «мышлением».

Да. Я с вами не спорю. Но меня-то воспитывали совсем в другой идеологии, мне отец многое разъяснял. Но знал я другое, и значения у меня были другие.

Литвинов. Но я и говорю о том, что мыслят люди тоже достаточно часто в зависимости от условий семейного воспитания. Культура нас достигает такими странными путями, через семью или круг приятелей, а не течет по каким-то там специально своим каналам. Может быть, так же и с пониманием...

Но масса ситуаций разворачивается в логике действий, а не в логике знаний.

Литвинов. Мы в жизни просто никогда не видим этого выхода на парадигматику.

Реально нет, поскольку ее там нет.

Литвинов. Поэтому указание на ее отсутствие в ситуациях не кажется достаточным в качестве аргумента.

А вы хотите сказать, что все-таки она есть, парадигматика, да?

Литвинов. Я не хочу сказать: «А все-таки она есть». Вообще я не хотел бы сейчас обсуждать вопросы существования, я хотел бы обсуждать проблемы и пути разработки содержательной герменевтики, познания понимания. Кстати, возможно ли вообще исследовать понимание?

Понимание нельзя исследовать научно.

Литвинов. Поэтому вы назвали ваш доклад «Проблемы исследования понимания»?

Нельзя исследовать понимание. Но можно исследовать мыследеятельность и понимание в ее контексте.

Литвинов. Вот! А это, кстати, дает нам возможность еще одного подхода к проблеме понимания. Мы можем рисовать функциональные схемы человеческого взаимодействия...

«Пока не можете», – говорю я. И это – второй, заключительный кусочек моего сообщения.

К сожалению, сегодня понимание существует как одна из, минимум, шести разных интеллектуальных функций, развертывающихся в системе мыследеятельности.

Два года назад я был в Новосибирске на конференции по рефлексии и слушал, как А.Огурцов со ссылкой на меня рассказывал, что рефлексия существует в двух формах: в форме собственно рефлексии – это изучает логика, а также в форме собственно понимания, что изучается герменевтикой. А сейчас я смотрел книжку Г.И.Богина «Типология понимания», и он, тоже со ссылкой на меня, утверждает, что понимание есть вид рефлексии. Эти два примера невероятно интересны. Мы сегодня не можем отделить рефлексия от понимания и понимание от рефлексии. Интуиция мне говорит (и это пока единственный мой аргумент), что рефлексия – это не понимание, а понимание – это не рефлексия. Но как провести демаркационную линию, как разделить понимание и рефлексия, я не знаю.

Дальше. Мышление – это не понимание, а понимание – это не мышление. Я убежден, что понимание невероятно значимо для исследования мышления, но понимание при этом не может и не должно сводиться к мышлению. Вместе с тем я знаю, что сам очень часто начинаю понимать лишь в результате мыслительной работы. Скажем, кто-то делает доклад. Для того чтобы отнестись к докладу, я должен поставить перед собой задачу включать в ходе доклада быстро-быстро те или иные гипотезы решения этой задачи. И дальше я двигаюсь стремительно, с некоторым опережением докладчика, и все время смотрю: он движется так или нет? Если он отклоняется, то почему он это делает? Это что – ошибка или ход его мысли, не предвиденный мной? И я таким образом подкладываю мыслительные модели и благодаря этому понимаю другого, как бы проделывая ту работу, которую он перед собой поставил. В терминах В.Лефевра это можно назвать «заимствованием позиции». Наверное, так оно и происходит. Для меня эта форма понимания – основная.

Литвинов. Но вы при этом отображаете один тезис на другой, отображаете представления...

Нет.

Я ведь говорю о проработке. А представление есть, в частности, продукт такой проработки. Вот я начинаю мыслительную работу благодаря пониманию. Мне это важно, и, опираясь на этот случай, я говорю: четкой линии, разделяющей мышление и понимание, нет. И понимание очень часто происходит в формах мыслительной работы. Вы как такое понимание будете исследовать – как понимание? как мышление?

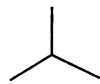
Я выделяю ряд таких разделительных линий между интеллектуальными функциями и говорю: необходимо исследовать пограничные линии между пониманием и всеми другими интеллектуальными функциями, т.е.

между пониманием и мышлением (их состыковку), пониманием и мышлением (их состыковку), пониманием и рефлексией (их состыковку). И еще обязательно надо учитывать основную лингвистическую проблему, которая для меня здесь реализуется: для меня понимание и выражение – обратные по отношению друг к другу, симметричные процессы. Тот, кто говорит, порождает содержание текста; тот, кто понимает, должен реконструировать содержание и особым образом его изобразить.

В нашей совместной с С.Г.Якобсон статье о понимании и мышлении [Щедровицкий, Якобсон 1973], я пытался этот пограничный узел развязать. Мысль была такая: если я получаю текст и могу выбрать из наличной ситуации понимания некоторый денотат, то я понимаю этот текст, а если нет такого денотата, который соответствовал бы этому тексту, я ничего не могу выбрать, и тогда я начинаю конструктивную работу и строю этот денотат. И здесь понимание переходит очень естественно в мышление. Оно должно воспользоваться помощью мышления для решения дополнительной задачи по построению онтологического изображения и конструктивной работы. Если эту способность развивать, можно вообще начать понимать на базе такой вот конструктивно-мыслительной работы.

Но это не означает, что я работаю правильно. Все же необходимо прочертить демаркационную линию между пониманием и мышлением. Если направить наши усилия на проведение разграничительных линий между разными интеллектуальными функциями, то мы можем, по крайней мере, обозначить область существования понимания как такового.

Литвинов. Для меня это не проблема – и вот почему. Я ведь начну всю работу с определенной трактовки содержания и содержательности. Я трактую содержание как отображение друг на друга, по крайней мере, трех разнородных образований, относящихся к разным мирам – аналогично тому, как вы работаете с оргдеятельностной и онтологической досками на ОД-играх. Трактую одно как относящееся к другому...



Я понял. Но откуда у вас берется содержание?

Литвинов. Речевое действие, любое сигнальное действие третьего плана опредмечивает отношения между двумя первыми планами в результате того, что оно таким образом организовано. Так появляется содержание...

А какие первые два?

Литвинов. Нижний назовем планом «денотатов», или планом «опыта»...

А я не понимаю. Этого же нет. В деятельности людей ничего этого нет. Откуда вы все это берете? Я возвращаюсь к проблеме смысла – нашему основному расхождению. На мой взгляд, когда вы начинаете обсуж-

дать тему понимания, вы безосновательно закладываете массу предпосылок, которых в мышлении и деятельности нет. Вы предполагаете, что смысл есть, что содержание есть, что денотаты уже есть. Откуда они берутся?

Литвинов. Нет-нет-нет. Я же сейчас не предъявляю вам результаты. Я показываю, каким образом некоторые ваши проблемы – для меня не проблемы.

Вы постулируете существование такого количества сущностей, какого я представить себе не могу. У вас мир человеческого сознания заполнен огромным числом несвойственных ему сущностей. А я исхожу из того, что сознание есть *tabula rasa*...

Литвинов. Смотрите, из чего у меня выведена эта схема, из каких предпосылок: из наличия предметов деятельности и ситуации и из того, что мы сотрясаем воздух и называем это «речью». Никаких других предпосылок. Только из определенной системы трактовки понимания через три плана и т.д. И тогда мышление оказывается просто любой атакой на содержание. Мне нужна какая-то онтология содержания, я ее полагаю как трехплановую, при которой третий план должен принадлежать культуре.

Я понял то, что вы говорите. Но как истину принять это не могу, потому что я так работать не могу. Когда я веду игру, где всегда что-то происходит, где сто человек что-то одновременно делают, и все это сталкивается и клубится, я, сидя в своей комнате, должен понимать, что происходит, представить себе это кипящее болото как ситуацию. Неужто вы думаете, что я прихожу в группы и начинаю смотреть, что они там делают? Я ведь ничего этого не знаю. Я могу спросить, скажем, методолога или игротехника: «Что у вас было в группе?», – и он в меру своей игротехнической испорченности мне ответит: «Так... ничего... болтают» или: «Обсуждали тему...». Что я получил для определения ситуации, для определения денотата и его действия? Я ведь все время утверждаю одну вещь: человек живет в темноте. У вас, наоборот, человек живет в ярко освещенных комнатах, и все, что там есть, он знает. Он знает, где столы, где стулья, где часы, где что лежит. Так не бывает.

Литвинов. Это вы мне приписываете.

А тогда откуда берутся денотаты? Какие денотаты? Марево одно сплошное.

Литвинов. То, что рисуют ваши игроки на предметной (или онтологической) доске...

Нет, подождите. Прежде чем они начнут рисовать, они должны проделать огромную работу по объективации.

Литвинов. Ну бог с ней. Они у вас что-то рисуют или не рисуют?

Но я-то на это не обращаю внимания. На основе того, что они рисуют, я не могу принимать решений, как мне действовать в игре. Потому что, если я буду ориентироваться на то, что они рисуют, меня сомнут в первый же день.

Литвинов. Я же не предлагаю вам принимать нарисованное ими за истину. Я говорю: они что-то рисуют на одной доске, что-то рисуют на другой, и вы при этом управляете игрой. Отобразите одну плоскость на другую – и вы получите вот эту трехслойку.

Нет, я при этом не управляю игрой, потому что знаю, что рисуют они призраки, фантомы своего сознания и ничего больше. А игрой надо управлять реально, надо чувствовать, что происходит, и все время держать руку на пульсе событий. В какой-то момент я это упускаю, и игра идет самотеком – так, как она идет. И есть масса примеров, которые подтверждают то, что я говорю. Значит, разница между нами вроде вот в чем. Для меня есть только марево, в котором ничего не видно, и человек посредством каких-то своих судорожных действий, вывертывая себя наизнанку, старается понять, что происходит. А у вас все происходит при ярком освещении, при свете юпитеров...

Литвинов. Когда я возвращаюсь к вашей статье «Смысл и значение», я тоже удивляюсь, как много там предпосылок. Там, например, рефлексия, понимание предполагаются как вещи, которые не требуют обсуждения. Но я понимаю, что у вас такой подход, принимаю к сведению. И в моем подходе возникают такие образования. Я не предлагаю принять их как предпосылки, как изначальные сущности.

Подождите минутку. Я твердо знаю, что это – моя логика, логика построения моих рассуждений и моих публикаций. Ничего больше. Я же не говорю: то, что у меня представлено в статьях, это реальность.

Литвинов. И я тоже такого не говорю.

А откуда вы берете денотат? Смотрите, что вы делаете. Вы не логику своего рассуждения представляете, а выходите в объективность и говорите: вот есть денотаты, вот есть еще что-то. Я говорю: откуда они все у вас взялись?

Литвинов. Как вы вообще различаете логику своего рассуждения и то, что существует в действительности? Как вы вообще положили то и другое, как...? Как вам удастся определять, говорю ли я о том, что объективно существует, или, как вы, полагаю то, что я полагаю?

«Как я» – ссылка неправильная. Потому что я, когда полагаю что-то, говорю: вот я рисую. Как мальчик в детском саду рисует другие миры. Мало ли ему что там в голову пришло!

Литвинов. А я предлагаю рисовать иначе. Я вот так рисую. И при моем подходе половина ваших проблем исчезает. Потому что...

Понятно. Значит, это не реальность, а ваши рисунки.

Литвинов. Это очевидно. Я же показываю на рисунки.

Ничего подобного. У меня же ведь рисунки понарошку, а у вас рисунки – как бы в действительности, в реальности. Вы рисуете то, что реально, а я рисую понарошку.

Карасев. И сейчас тоже понарошку!

Что?

Карасев. Здесь игра идет, Виктор Петрович!

Да, и сейчас я с вами играю. Понарошку.

Литвинов. Я тоже понарошку, потому что мыслят вообще понарошку, если на то пошло. Мышление вообще есть игра, жизненной функции оно все равно не несет.

Значит, нет никаких денотатов?

Литвинов. Никаких, кроме тех, что я положу.

Нет, простите. Тех, которые вы положите, в реальности тоже нет. Вот как мнимые они у вас будут, а в реальности ничего нет.

Литвинов. Я говорю: я нарисую то-то и то-то, и получится вот такой план работы...

Не план работы. Получится такой-то рисунок.

Литвинов. А я еще задам способ действия с ним и нормы прочтения. Как вы говорили на лекции: вот это можно читать процессуально, а можно читать структурно. Вы задаете два способа прочтения, организуя таким образом понимание рисунка. Я нарисую что-то, потом задам способы прочтения и т.д., и т.п.. Но, Георгий Петрович, меня занесло немного, когда я сказал, что в моем подходе не будет ваших проблем. Мне важно было сказать только то, что я вот сейчас говорю. Дело в том, что я не могу развернуть здесь мой подход, мне надо для этого столько же времени, сколько вам. Но вообще-то как метафизик я тоже не работаю. Утверждать, что вот это на самом деле вот так и вот так...

Тогда все это нужно проблематизировать. Есть ли денотаты, есть ли смыслы...

Литвинов. Так я же вам говорю: я хочу пойти по другому пути, при котором я попробую работать со смыслом, который я полагаю как существующий. Попробую работать и смотреть, что там полу-

чается. В модели, в изображении, в теории, в допущении, в фантазии, в сказке, наконец.

Давайте посмотрим. Но мы тогда не можем говорить, что это существует. Мы полагаем, что это можно положить как конструктор. Давайте посмотрим, что же тогда получается.

Литвинов. Но это – тема отдельного обсуждения.

Но вроде бы мы нащупали очень важный момент. Я, во всяком случае, буду думать над этим.

Литвинов. Смотрите, когда вы в ваших рассуждениях вынесли за скобки «смысл», считая его ненужным в трактовке понимания, в этот момент...

Тут я с вами не могу согласиться. Мы начали работу, исходя из идеи, что смысл нужен, и в результате экспериментальных и последовавших за ними теоретических исследований мы выяснили, что никаких смыслов нет.

Литвинов. А как можно вообще экспериментально выяснить несуществование чего-то?

Да очень просто...

Литвинов. Вы не нашли его там, где искали? Это же не доказательство.

Мы его нигде не нашли. Там, где другие советовали нам искать, мы тоже не нашли.

Литвинов. Другие известно где советовали искать – в области идеального.

И в идеальном нет смыслов.

Литвинов. Естественно. Там вообще нечего искать. Там ничего нет.

Если нет, так про что вы говорите?

Литвинов. Так вот вопрос теперь: где и как вы искали? Вы где-то, как-то искали – и не нашли. Что искали остальные, давайте оставим за скобками, остальные верили в Бога.

Отлично. Покажите мне хотя бы один случай, где искали и нашли.

Литвинов. Нет такого случая.

На каком же основании вы говорите, что смысл есть?

Литвинов. Смотрите, вы поискали где-то и уверенно говорите, что нет, а я говорю: я этого не знаю.

Пожалуйста, я готов слушать. Покажите мне, где существуют эти смыслы. Вы понимаете ход моих рассуждений? На этом я стою очень твердо, и пока вы меня не собьете, так и буду утверждать.

Литвинов. Я уже сказал вам, что отказался от попытки опровергнуть ваш подход, я просто сказал, по какому пути, на мой взгляд, можно пойти...

Можно, но только приведите аргументы в доказательство того, что где-то смыслы есть.

Литвинов. Я же не говорю, что надо пойти и найти смыслы. Пойдите и найдите что-нибудь на этом пути. И это другое может оказаться тем, что другие люди называют «смыслом», не понимая, с чем они имеют дело.

Пожалуйста, пусть объяснят, что они называют смыслом и как они с ним обходятся. Я последую за ними, но пока я сопротивляюсь.

Карасев. Но, пожалуйста, Георгий Петрович! Вот вы говорите «понимается деятельностная ситуация»...

Да!

Карасев. ...и это есть смысл. Теперь мы должны это назвать «смыслом».

Ничего подобного. Теперь мы должны осуществить работу понимания, и следы, которые прочертит на ситуации, на ее разнообразном материале работа понимания – это и есть то, что из рефлексивной позиции называется смыслом.

Карасев. Как вы реконструируете эту ситуацию? Понимается она?

Да.

Карасев. Так вот как ее реконструировать?

Я же каждый раз в разных ситуациях прописываю, как ведется эта работа по строительству структуры понимаемого смысла. Вы можете это сделать на любом материале – на материале уроков по литературе в школе, на материале понимания некоторого текста при преподавании иностранных языков. Поскольку методика очень простая. Вы можете ее воспроизводить в каждой ситуации. Если вы мне аналогичным образом покажете, что где-то в тексте есть смысл, я подниму обе руки в знак того, что ошибался.

Литвинов. В тексте смысл в вашем понимании не будет обнаружен никогда.

Если я понимаю, а Виктор Петрович после моего понимания задает

мне вопрос: «И что же ты понял?», я ему изображаю, что я понял, какие моменты я схватил, соотнес. И вот это есть смысл, структура смысла. Да?

Литвинов. Да, это называют «смыслом». Но вы говорите Олегу Валериановичу: «Покажите мне смысл в тексте!». Почему именно в тексте? Почему не между текстами, например?

Пожалуйста: между текстами, но покажите.

Литвинов. ... или еще где-нибудь, в каком-нибудь тройном отношении?

Где угодно! Но покажите, чтобы я мог поглядеть!

Литвинов. Сейчас что ли? Из кармана достать?

Хоть сейчас, хоть завтра, хоть послезавтра, хоть через месяц... Я приеду специально для этого в Пятигорск.

Литвинов. Когда вы в следующий раз приедете в Пятигорск, я покажу вам еще один шаг, который я, может быть, к тому времени сделаю. Смысл показать я вам не обещаю, поскольку что бы я вам ни показал, вы скажете: «Нет, это не смысл».

Правильно. В вопросе, куда идти, я говорю: метафизику сначала нужно построить. И пока вы этой онтологической работы не проделали, вы ничего исследовать научно не можете.

Литвинов. И я поэтому говорю: я должен рисовать онтологию содержания. У вас ведь бессодержательное понятие содержания, поэтому для вас сам мой вопрос непонятен. Вы обходитесь бессодержательным понятием содержания...

Функциональным.

Литвинов. Чисто функциональным, которое не наполняется никаким содержанием...

Нет, наполняется. Любим.

Литвинов. А я беру вашу картинку и вижу на ней содержание, потому что для меня движение вашего игрока между двумя досками устанавливает квазиестественную связь между той и другой доской. Он своим физическим, материальным движением осуществляет связь, которую я считаю реальной, потому что он там действительно ходит. А вы не смотрите на то, что он ходит. Вы показываете на одну стенку и говорите: «Содержание!». А я говорю: «Содержание, потому что он ходит».

Это я понял. Но я не понимаю, чего он ходит. Между стенками он, может быть, и ходит, а вот как он между формой и содержанием ходит, пока не понимаю.

Литвинов. Я вижу это там, потому что он ходит определенным образом и нечто говорит другому; хождением он связывает две доски, и одна может становиться для...

Метафору понял. Больше понять ничего не могу. «Ходит», «связывает»...

Литвинов. Но это лишь один из моментов. Я говорю просто, что я со своим подходом даже то, что вы показываете, вижу иначе, чем вы. И соответственно то, что я покажу, вы увидите иначе, чем я.

Прекрасно.

Радченко. А кто мерил пути между содержанием и формой? Может, содержания нет.

У меня есть содержание. Все понятия содержательно-генетической логики построены на этом понятии.

Давайте подводить итоги. Я считал, что есть мышление, которое объемлет все процессы и все захватывает, и что мышление надо представлять как знание, с одной стороны, и как цепочки-последовательности процедур и операций – с другой. И вдруг мы столкнулись с тем, что есть еще совершенно другое явление – понимание, которое происходит в каких-то случаях одномоментно, не сукцессивно – ребенок выслушал текст или условие задачи и либо понял, либо не понял. Что он там понял, мы пока не знаем, но у него в одних случаях есть ощущение, что он понял, в других – что нет. И это происходит как бы залпом...

В нашем эксперименте появилось «понимание» как особое интеллектуальное явление, отличное от «мышления». Я указывал на этот факт в четырех или пяти ситуациях, которые мы фиксировали. Главная проблема исследования понимания – это то, что у нас нет онтологической картины. Мы вообще не знаем, что это такое. Чтобы получить онтологическую картину, надо либо усмотреть сущность понимания, либо идти последовательными шагами, разделяя мышление и понимание и т.д.

Карасев. А нельзя ли нам выйти на проблему понимания, исследуя случаи непонимания?

Может быть. Мне это очень нравится.

Сухих. Георгий Петрович представил процедуры, в которых можно вести поиск. Мне это очень нравится. У меня возник такой образ: когда я попадаю в ситуацию анализа понимания – а я был в такой ситуации во время полемики Георгия Петровича и Виктора Петровича, – я вижу, как человек будто выбрасывает какую-то карточку, и карточка имеет какое-то значение; понимание будет обслуживать не картинки на этой карточке, оно будет обслуживать некоторые интенциональные отно-

шения между мной, тем, кто выбросил карточку, и тем, для кого он выбросил карточку. Эта трактовка мне кажется правдоподобной: с карточкой я могу делать, что угодно. Вопросу «Что он этим самым сказал?» можно противопоставить вопрос «Что он этим самым сделал?» (выбросив карточку). Заход в докладе – продуктивный.

Литвинов. Я готовился к семинару, не зная точно, что я должен делать. Я собирался в любом случае что-то противопоставить докладу. Это имело принципиальное значение. Было важно, чтобы участники семинара не относились ни к одному докладу как к программному и задаваемому подходу; авторитет не должен никого ни к чему обязывать, и даже такой полемист, как Щедровицкий, должен был встретить противодействие. Неожиданной трудностью оказалась очень радикальная трактовка «понимания» и условий понимания «понимания». Если бы я слушал с другой установкой, может быть, я увидел бы какие-то возможности работы, как увидел О.В. Сухих. Но у меня была другая забота. Доклад очень радикальный, но он лежит на линии того, что делал Георгий Петрович до сих пор и продолжает делать, хотя в нем не использованы, как я ожидал, схема мыследеятельности и пр. Все было подчинено остроте главного тезиса доклада – понимается не смысл как таковой, а ситуация. Я считал себя в этом поединке в большей мере щедровитянином, чем в итоге оказался. И в моих построениях по концепции понимания, смысла, значения и т.д., хотя они серьезно обязаны работам Щедровицкого, оказалось много больше моего, чем я думал. Излагать же я их не приготовился. Я абсолютно убежден, что главный тезис доклада имеет смысл именно в его радикальной форме. Работа над онтологией, схемами и представлениями понимания или системы, включающей понимание, видимо, должна делаться с учетом того, что сегодня обсуждалось.

Карасев. Георгий Петрович обсуждал вопрос, захватывая не только текст, но понимание событий и пр. Надо бы еще выяснить, какова функция текста, учитывая интерпретацию его в вашем, Виктор Петрович, курсе по феноменологии...

Ну, действительно, не понимаем, Олег Валерианович, что такое текст по назначению, и никто этого не знает.

Литвинов. Традиционно герменевтический подход полагал текст как исходную единицу при теоретизировании. Я в своей работе заменил «текст» на «сигнал», потому что сигнал в конце концов не несет в себе смысла изначально, а мне нужно было получить смысл как производное. Я не могу положить смысл как изначальное, а сигнал – пожалуйста: происходит какая-то реакция. Это можно брать феноменально.

Но понятие сигнала еще надо строить.

Литвинов. Понятие – да.

А что такое сигнал, никто не знает.

Литвинов. Я интерпретирую какое-то событие как сигнал (в каких-то условиях). «Сигнал», во всяком случае, обязывает намного меньше, чем «текст».

Одинаково. И об этом, вроде бы спрашивает Олег Валерианович. Ему непонятно не что такое текст – это он хорошо знает, как и все остальные, – а что такое текст в этой новой ситуации. Кроме того, непонятно, что такое сигнал в этой новой ситуации. Если я рассматриваю это как трансформирующее ситуацию действие, меняющее тип действия, то в равной мере непонятно и что такое сигнал, и что такое текст.

Карасев. Я понимаю, почему Виктор Петрович выбрал слово «сигнал»: оно менее отягощено всякими коннотациями, чем «текст».

Литвинов. Сигнал мы легко реализуем в машинах.

Как и текст.

Литвинов. А вот насчет текста я не знаю.

А я не вижу здесь разницы.

Литвинов. Прекрасно, значит мы получили еще одну проблему. И так, у нас было традиционное полагание текста как основной категории герменевтики. Я заменил его на сигнал, из которого я развертываю остальное. Георгий Петрович положил в этой функции ситуацию. Но это радикально...

Карасев. А я бы, так же как Георгий Петрович, сказал: ситуацию-то надо строить. И вводить непонятно каким образом.

Литвинов. И он, кстати, сегодня отказался ее строить, хотя и показывал ситуации в разных видах работы; т.е. он знает, что такое анализ ситуации, и рисовал ситуации, соответственно. Но как рисовать ситуацию в этом случае, в качестве общей, которую можно положить в онтологию понимания, вот этого он не хотел говорить. Ибо не знал?

Эта ситуация – принципиально неопределенная. И поэтому нужен текст, чтобы ее определить. Это – ситуация доопределения. Она потому и есть ситуация понимания, что она неопределена. И понимание состоит в том, чтобы достичь необходимой для действия определенности. Поэтому она, кроме того, еще и динамичная.

Литвинов. По-моему, именно сейчас была сказана самая главная – для меня – вещь на сегодняшнем семинаре. Ситуация, требующая доопределения текстом (сигналом), это значит: в понимании связываются сигнал и ситуация.

Я ваш текст понял. Понял и интерпретировал.

Карасев. А он вас по-другому понял.

Литвинов. Но я стал интерпретировать вас, потому что вы мне стали приписывать то, чего я не говорил.

Я думал, что вы так говорили, потому что я так понимал. В этом и состоит моя работа понимания. Потому что я ведь понимаю не просто то, что вы сказали, а задаю себе вопрос, почему вы так говорите. Потому что у вас есть такие основания, которые вы то ли осознаете, то ли не осознаете. Это вроде бы моя функция как руководителя методологического семинара. Я должен вытащить те основания, в которых вы убеждены. Я обязан это сделать, поскольку это моя функция. А тот, кому я их приписал, должен сказать, так это или не так...

Схема мыследеятельности – системно-структурное строение, смысл и содержание *

С момента выдвижения в 1954–1957 гг. специальной программы построения *теории мышления*, представленного как деятельность (см. [Щедровицкий, Алексеев 1957], а также [Щедровицкий 1957, 1958-60; Щедровицкий, Алексеев, Костеловский 1960-61; Щедровицкий 1962 а, 1964 б, 1966 д, 1976 а; Shchedrovitsky 1967-68; Щедровицкий, Розин 1967; Швырев, 1960]), и дополнения ее в 1959, 1962, 1963, 1967 гг. программой построения *теории деятельности* (см. [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1965; Щедровицкий 1966 а, 1966 с, 1967 а; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967], а также [Щедровицкий 1969, 1970, 1971 д, 1974 с; Сазонов 1980; Разработка... 1975]) основной целью и задачей методологических разработок в этих областях стало создание схем, изображающих целостные и полные *теоретические единицы мышления, знания и деятельности*. Это смещение сознательно фиксируемых целей и задач легко понять, если припомнить, что научное исследование (и этим оно в первую очередь отличается от всех других видов анализа) требует в качестве своего неперемennого условия и предпосылки выделения из общего «смыслового облака» понимающей и мыслительной работы ¹ *идеальных объектов мысли* и фиксации их в материале знаковых схем (ср. [Щедровицкий 1972; Щедровицкий, Дубровский 1973; Пробл. иссл. структуры... 1967: 35-41]).

Из множества разнообразных схем, построенных после 1954 г. и широко используемых в современной методологии, наиболее важными, можно сказать базовыми, в настоящее время являются четыре: 1) *схема многоплоскостной организации знаний*; 2) *схема воспроизводства деятельности*; 3) *схема трехслойного строения мыследеятельности* (обозначается символом МД); 4) *схема организационно-технического отношения* и соответствующей ему организации МД, включающей в себя *шаг искусственно-естественного* развития систем МД. Но если по поводу первых двух схем был опубликован ряд статей, еще в период их разработки [Щедровицкий 1957, 1958-60, 1962, 1964 б; 1966 а, 1966 с, 1967 а; Щедровицкий, Алексеев 1957; Щедровицкий, Алексеев, Костеловский 1960-61; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1965; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967], то две последние, напротив, несмотря на широкое использование их в различных прикладных работах (см., в частности, [Щедровицкий 1983, Щедровицкий, Котельников 1983; Головняк 1986]), в качестве базовых схем современной методологии нигде еще специально не рассматривались. В этой работе мы попытаемся восполнить этот пробел и рассмотреть в теорети-

* Фрагмент статьи [Щедровицкий 1987].

¹ Р.Акофф называет это смысловое облако «проблемным месивом» (см. [Акофф 1985, 1982]).

ческом плане схему МД, предпосылки ее возникновения, системно-структурное строение, а также ее смысл и содержание.

Схемы мыследеятельности: предпосылки и условия возникновения

Чтобы выяснить, почему и как появилась схема МД, нужно прежде всего отметить, что с момента появления программы построения научной теории деятельности возник совершенно очевидный разрыв между схемами мышления и знаний, с одной стороны, и схемами деятельности – с другой. С этого момента научная теория мышления и знаний и научная теория деятельности начали развиваться в совершенно разных направлениях, каждая – на базе своих особых схем и, по сути дела, не взаимодействуя друг с другом. Это создавало особенно сложную ситуацию, потому что в первой программе построения научной теории мышления 1954–1957 гг. [Щедровицкий, Алексеев 1957] объявлялось – и на этом ставился акцент, – что мышление будет рассматриваться не по содержанию движущихся в нем знаний, а именно как деятельность. В те годы считалось, что именно такой подход обеспечивает *процессуально-структурное рассмотрение мышления*, ортогональное к его частному объектно-предметному содержанию, позволяющее исследовать и описать, с одной стороны, *процедуры и операции мышления*, а с другой – типологически обобщенную и формальную *структуру знаний*. А через пять лет выяснилось, что анализ деятельности ведет совсем в другом направлении и сам может рассматриваться как ортогональный к анализу мышления и знаний.

И хотя закономерность и необходимость такого раздвоения были зафиксированы и прекрасно объяснены в работах Э.Г.Юдина [Юдин Э. 1976, 1978], где он разделил и противопоставил друг другу различные теоретические функции понятия деятельности (в частности, *категориально-объяснительную* и *предметную функции*), и такая возможность фиксировалась с самого начала обращения к анализу понятия деятельности [Щедровицкий 1966 а, 1967 а, 1969, 1970], тем не менее многие участвующие в этих разработках исследователи рассматривали этот разрыв ² между представлениями мышления и представлениями деятельности и отсутствие конфигурирующих и соорганизующих их схем как весьма существенный недостаток концепции.

Поэтому начиная по крайней мере с 1962 г. шли непрерывные попытки решить эту проблему и найти схемы, конфигурирующие представления о мышлении и знаниях с представлениями о деятельности.

Эти усилия стимулировались и подкреплялись, с одной стороны, удачным конфигурированием представлений о речи, языке и мышлении, осуществленном в предшествующие годы [Щедровицкий, Розин 1967; Гени-

² По поводу процессов и механизмов соорганизации и конфигурирования знаний и схем см. [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий, Розин 1967; Щедровицкий 1984; Shchedrovitsky 1972].

саретский 1970], а с другой стороны – непрерывным развитием формально-методологических представлений о конфигурировании как особом логико-методологическом приеме и успешным применением его в различных областях науки и технологии.

Весьма существенный вклад в анализ этой проблемы был сделан в начале 60-х годов О.И.Генисаретским, когда он, работая с многоплоскостными схемами знаний, показал огромную теоретическую и практическую значимость различения и разделения понятий смысла и значения не в традиционном огденовском смысле, а в ориентации на теоретико-деятельностное разделение и противопоставление синтагматических и парадигматических систем (см. [*Генисаретский* 1966], а также [*Щедровицкий* 1967 а]). По сути дела, таким образом за счет использования схемы деятельности О.И.Генисаретский показал на уровне работы со смыслами и значениями, как можно сохранить связь мышления с речью (ср. [*Щедровицкий, Розин* 1967]) и одновременно разделить представления о мышлении и языке, работая в сфере исторического развития языкового мышления (ср. [*Щедровицкий* 1967 а; *Щедровицкий, Розин* 1967; *Разработка...* 1975]).

Во второй половине 60-х годов много сил в анализ этой проблемы вложили В.М.Розин и А.С.Москаева, но они пытались решить ее на уровне общих схем мышления и деятельности, а на этом уровне она, по-видимому, принципиально не имеет решения: нужно еще так трансформировать сами представления о мышлении, чтобы они удовлетворяли принципиальному разделению на синтагматическую и парадигматическую системы [*Щедровицкий* 1966 с, 1971 d; *Пробл. иссл. структуры...* 1967].

В начале 70-х годов, когда вновь вернулись к обсуждению представлений о мысли-коммуникации и о взаимоотношениях между процессами коммуникации и трансляции, в ряде работ [*Щедровицкий* 1974 а, 1974 d; *Schedrovitsky* 1971] мне удалось ввести и детально проанализировать схему-конфигуратор, объединяющую представления о мысли-коммуникации и представления о процессах воспроизводства деятельности, но *чистое мышление* на схемах и идеальных объектах оставалось при этом в стороне и никак не входило в общую схему-конфигуратор.

Сейчас, ретроспективно рассматривая развитие этих исследований, остается лишь удивляться, насколько близко было конструктивное решение проблемы и насколько тривиальным и даже само собой разумеющимся кажется оно теперь, когда решение уже найдено. И тем не менее никто из участвовавших в работе не мог сделать последних решительных шагов и зафиксировать последние штрихи, необходимые для завершения работы.

Ситуация резко изменилась в самом конце 70-х годов, когда мы стали практиковать организационно-деятельностные игры (обозначается символом ОДИ) [*Щедровицкий* 1983; *Щедровицкий, Котельников* 1983; *Зинченко А.* 1983]. Новым и решающим моментом здесь оказалась необходимость обсуждать наряду с процессами и функциональными структурами МД также и их материальное распределение по отдельным участникам

коллективной работы и обусловленную этим проблему соотношения между общим и различным в групповой и индивидуальной работе. Необходимость противопоставлять отдельного участника игры группе в целом по каждому интеллектуальному процессу – по мысли-коммуникации, по пониманию, по рефлексии, по мышлению и, наконец, помыследействованию – как раз и оказалась тем важнейшим моментом, который в 1979–1980 гг. в ходе ОДИ-1, ОДИ-2 и ОДИ-3 сдвинул дело с мертвой точки. Особенно резко это выявилось в августе 1980 г. в ходе ОДИ-3: в процессе дискуссии в одной из игровых групп сложилась такая ситуация, когда один из участников общей работы в группе – М.Г.Меерович – должен был во что бы то ни стало показать, что у него как молодого, или «нового», архитектора, несмотря на то что он участвует в общей коммуникации и должен участвовать в общем действии, совершенно другое содержание мышления, нежели у остальных членов группы, которых он называл «старыми» архитекторами. И, чтобы зафиксировать и сделать этот момент наглядным, М.Г.Меерович зарисовал на схеме, которая изображала расстановку позиций во время дискуссии и затем была названа организационно-деятельностной, рядом с каждым знаком позиции еще особую доску (или отдельный лист бумаги), на которой строились индивидуальные схемы содержания мышления, и наотрез отказался переносить какие-либо схемы со своей индивидуальной доски на общую доску группы и обратно – с общей доски на свою индивидуальную доску. В силу этого индивидуальное мышление, осуществляемое на индивидуальных досках (или листках бумаги), отделилось от общегруппового процесса мысли-коммуникации и получило свое собственное схематическое (и потому материализованное) обозначение и выражение.

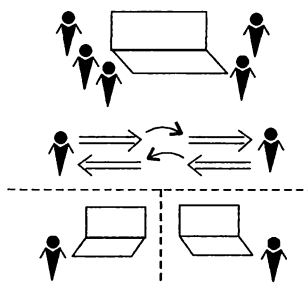


Рис. 1

Впоследствии на базе этой схемы началось рефлексивное обсуждение вопроса о соотношении индивидуальных и общегрупповых моментов в коллективной работе: спрашивали, что именно из того, что должен развертывать в своей и общей с другими работе М.Г.Меерович, может быть индивидуальным и специфическим, а что, напротив, обязательно должно быть точно таким же, как и у остальных членов группы. Таким образом, были последовательно проанализированы мысль-коммуникация, понима-

ние текстов, интерпретации текстов в плоскостях «мыслительных досок» и интерпретации текстов в плане индивидуального и коллективно-группового действия во время выступления группы на общем заседании (см. [Щедровицкий, Котельников 1983]) и, наконец, разные формы рефлексии у разных членов группы.

Появление схемы МД можно отсчитывать от этой точки, так как в общих дискуссиях по этому вопросу было зафиксировано в коммуникативной и проблематизирующей формах все, что входит сейчас в схему МД, но сама схема еще не была нарисована. И только через месяц, в сентябре 1980 г., во время отчета игрового коллектива о происходившем на игре и в ходе общей рефлексивной дискуссии, вся ситуация была еще раз воспроизведена, мыслительно проимитирована, обговорена во вторичной коммуникации и зафиксирована в принципиальной схеме (рис. 2); именно в этом рефлексивном обсуждении полная и целостная схема МД впервые появилась в том виде, в каком она обычно употребляется сейчас.

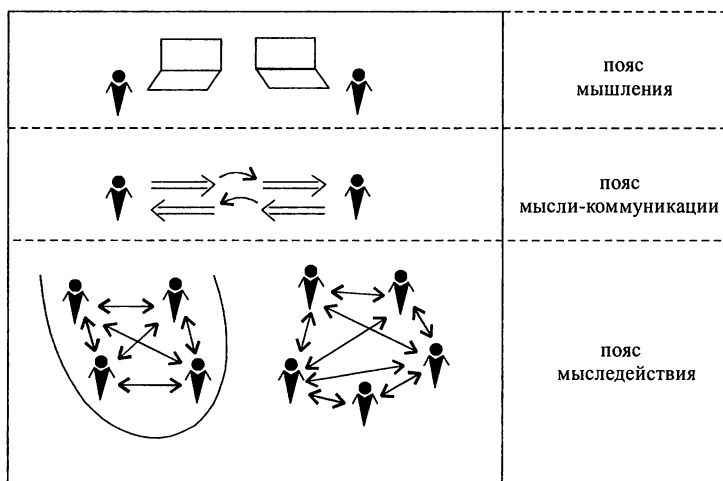


Рис. 2

Интересно и, наверное, важно отметить, что по общей структуре и набору элементов эта схема во многом подобна тем схемам, которые использовались нами при обсуждении взаимоотношений организатора групповой работы с другими членами группы еще в 1964–1965 гг. (см. [Пробл. иссл. систем... 1965: 61–68]). Но эти последние, как легко выяснить, сличая схемы и сопровождающие их тексты, соответствовали совсем иным проблемным ситуациям и не несли того мыследеятельного смысла и тех интерпретаций, которые несла на себе схема, полученная в 1980 г. после ОДИ-3 (см. [Щедровицкий, Котельников 1983]).

Последнее замечание подчеркивает важную роль и значение «смыслового облака» общей работы, в котором рождается схема и которое она

должна снять и выразить в себе, чтобы стать средством разрешения проблемной ситуации и продолжения безразрывного полифонического процесса МД. Сначала разные части и фрагменты общего «смыслового облака», сложившиеся в ситуации коллективной коммуникации, удерживаются отдельными ее членами за счет разных пониманий самой ситуации и рождающейся в ней схемы, и все они еще должны быть выявлены в ходе продолжающейся рефлексии случившегося и рефлексивной коммуникации по поводу ситуации и уложены (или, как часто говорят, упакованы) в саму схему за счет разных, специально вводимых в нее графем (или «фигур», по терминологии Л.Ельмслева). Затем все эти графемы, или фигуры, с закрепленными на них «кусочками» ситуативного смысла должны быть отнесены в парадигматическую систему деятельности и впервые оформиться и закрепиться в ней либо в виде соответствующих значений языка (включая и язык схем), либо в виде содержания знаний и понятий, удерживающих и фиксирующих *парадигматику мышления* [Щедровицкий 1974 а].

Этим заканчивается то, что принято сейчас называть *схематизацией смысла* мыследеятельной ситуации и *идеализацией ее содержания*. А если затем схеме с ее содержанием приписывается статус самостоятельного существования, то мы говорим о появлении *идеального объекта*, который может стать *объектом исследования* и соответственно этому – фокусом и ядром научного предмета (ср. [Щедровицкий 1966 б, 1981, Shchedrovitsky 1982, 1985; Разработка... 1975: 90-96]) и предметом собственно научных исследований.

Системно-структурное строение, смысл и содержание схемы мыследеятельности

Основная принципиальная схема МД содержит три относительно автономных пояса, расположенных по горизонталям один над другим: 1) пояс социально организованного и культурно закрепляемого *коллективно-группового мыследействия* (обозначается символом мД), 2) пояс полифонической и полипарадигматической *мысли-коммуникации*, выражающейся и закрепляющейся прежде всего в словесных текстах (обозначается символом М-К), и 3) пояс *чистого мышления*, развертывающегося в невербальных схемах, формулах, графиках, таблицах, картах, диаграммах и т.п. (обозначается символом М).

Центральным в этой трехпоясной системе является пояс М-К, так как именно он соединяет в одно целое правую и левую части схемы, а два других пояса могут рассматриваться как лежащие по разные стороны от оси М-К. Это принципиальный момент в плане определения места и функций М в системе МД и его отношений к поясу мД: каждый из названных поясов имеет свою специфическую *действительность*, которая может становиться тем местом, куда проецируется содержание других поясов, и, таким образом, основанием для автономизации и обособления каждого из них в *редуцированную систему МД*.

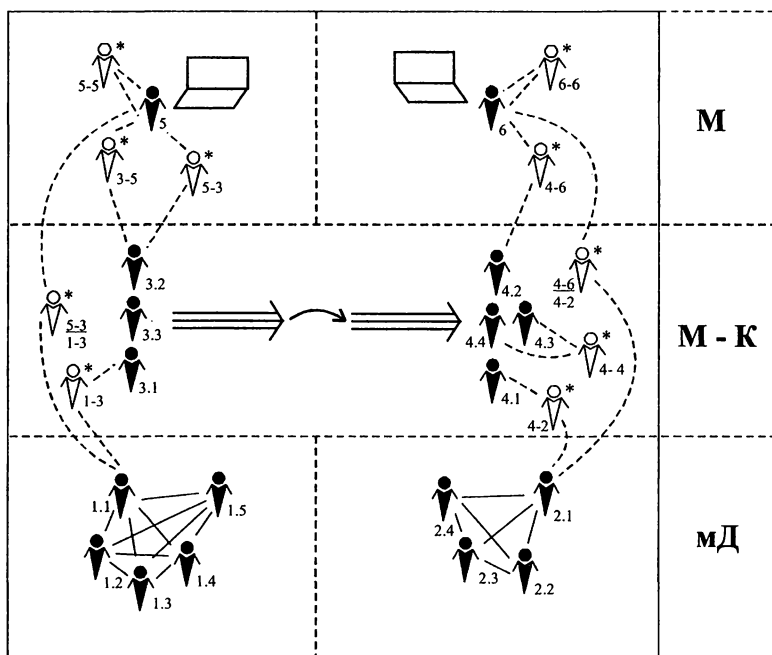


Рис. 3

При таком рассмотрении действительность М оказывается вторым пределом, ограничивающим систему МД и лежащим как бы напротив действительности МД, разворачивающейся непосредственно на реально-практическом материале человеческой жизнедеятельности. И это обстоятельство точно соответствует тому, что мы можем фиксировать феноменально: плоскость доски или бумаги, на которой мы зарисовываем схемы, формулы, графики, таблицы и т.п., выражающие идеальное содержание М, противостоит, если рассматривать ее относительно оси М-К, реальному содержанию и миру МД.

Чтобы упростить схему, а вместе с тем и идеальный объект, на примере которого рассматриваются содержание и системное строение схемы МД, мы можем ввести вертикальную ось симметрии и таким образом выделить простейший случай монологического акта М-К (см. схему 3); тогда, чтобы зафиксировать и рассматривать более сложные случаи полилогической организации М-К, придется вводить более сложные схемы, точнее отражающие особенности строения М-К в различных случаях. Точно так же для упрощения процедур идеализации и словесных пояснений на рис. 3 фиксируется не двусторонний диалог, а только односторонняя передача текста сообщения и за счет этого поляризуются функции участников диалога: один выступает как *мыслящий* в процессе коммуникации, а

второй – только как *понимающий* (ср. [Щедровицкий 1974 а; Щедровицкий, Якобсон 1973; Shchedrovitsky 1972]).

Для каждого пояса МД на схеме вводится свой набор позиционеров как носителей и держателей соответствующих частных процессов, составляющих полифонию МД. В нижнем поясе это будут *мыследействующие* позиционеры: в левой части схемы – позиционеры 1.1, 1.2, 1.3 и т.д., а в правой – позиционеры 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Само разделение и определение ситуаций мД производится здесь относительно процесса М-К, а еще точнее – относительно акта передачи текста сообщения из одной ситуации в другую. В принципе ситуации мД могут как объединяться в одну ситуацию, и тогда акт М-К теряет свое самостоятельное значение и упаковывается в саму ситуацию мД в качестве частного ее элемента или связки, или же, напротив, резко и жестко разделяться, и тогда процесс М-К становится единственным процессом, связывающим и организующим все целое мД; в последнем случае на М-К накладываются дополнительные требования большей ее выразительности и информативности.

Формы и способы детерминации и соответственно организации процессов мД в различных ситуациях являются крайне сложными и разнообразными; здесь будет и *культурная нормировка*, характерная для всех воспроизводящихся систем [Левфевр, Щедровицкий, Юдин 1965; Щедровицкий 1966 а, 1966 с, 1967 а; Левфевр, Щедровицкий, Юдин 1967], и *социальная организация* [Генисаретский 1970], и *целевая детерминация*, характерная для всех актов мыследействия [Щедровицкий 1974 с; Сазонов 1980; Разработка... 1975], и *техническая или логическая детерминация* средствами, методами, техниками и правилами мД [Щедровицкий 1964 а, Shchedrovitsky 1966; Пробл. иссл. структуры... 1967; Акофф 1985, 1982], и *детерминация так называемыми объективными законами*, характерная для всех предметных Е- и ЕИ-систем [Левфевр, Щедровицкий, Юдин 1965; Щедровицкий 1966 а, 1967 а; Левфевр, Щедровицкий, Юдин 1967; Генисаретский 1970], и т.д. Но это означает, что все системы мД будут *гетерогенными, гетерохронными и гетерархированными* ИЕ-полисистемами и будут требовать соответствующего многостороннего и многопланового *системного описания, проектирования и программирования*.

В среднем поясе соответственно нам придется ввести *коммуницирующих позиционеров*: слева на схеме – выражающих мысль в вербальных текстах, а справа (по условиям упрощения и идеализации) – понимающих тексты и создающих благодаря этому пониманию *смысл ситуации и смысл принятого текста* [Щедровицкий 1974 а; Shchedrovitsky 1972].

В зависимости от того, какие пояса мД замыкаются на текст М-К, в левой части схемы можно выделить три абстрактные позиции: 3.1 – в том случае, когда в тексте М-К выражаются какие-то аспекты и моменты ситуации мД, фиксированные в рефлексии этой ситуации; 3.2 – в том случае, когда в тексте М-К выражаются какие-то аспекты и моменты М, и 3.3 – в том случае, когда в тексте М-К соотносятся и связываются аспекты и мо-

менты как мД, так и М. Аналогично для правой части схемы можно выделить четыре позиции понимающих: 4.1 – для того случая, когда текст М-К понимается за счет рефлексивного выхода в действительность мД; 4.2 – для того случая, когда текст понимается за счет выхода в действительность М; 4.3 – для того случая, когда при понимании текста М-К происходит сопоставление и разделение компонентов действительности М и действительности мД, и, наконец, 4.4 – для того случая, когда текст М-К понимается и осмысливается в собственно коммуникативной действительности.

Специально надо отметить, что пояс М-К практически не подчиняется различению правильного и неправильного. Он живет по принципам *полилога* (т.е. многих логик), *противоречий*, *конфликтов* и *проблематизаций*. Это всегда *поле борьбы и взаимоотрицаний*, которые только и придают М-К ее особый смысл и оправдывают ее существование в качестве особого пояса мД.

В верхнем поясе мД находятся *мыслящие позиционеры*. В условно-символической манере предложенной схемы позиционер 5 строит свое М на базе опыта собственного мД и опыта фиксации его в текстах М-К, а позиционер 6 строит свое М прежде всего на основе понимания чужих текстов (подкрепляемого опытом собственного мД и собственной М-К).

В отличие от всех других поясов мД пояс М имеет свои *строгие правила образования и преобразования единиц выражения* и законы, причем достаточно монизированные; это все то, что Аристотель называл словом «логос», – все собственно логические правила образования и преобразования знаковых форм рассуждений, все математические оперативные системы, все формальные и формализованные фрагменты научных теорий, все научно-предметные «законы» и «закономерности», все схемы идеальных объектов, детерминирующих процесс М, все онтологические схемы и картины, все категории, алгоритмы и другие формы операционализации процессов М.

В зависимости от *способов понимающей интерпретации* все схемы, формулы, графики, таблицы и т.п. могут прочитываться и использоваться в процессах М либо как знаковые формы, изображающие идеальные объекты и идеализированные процедуры М, либо как сами идеальные объекты, мыследеятельностные или природные, в которые «упирается» наша мысль. Как правило, в этих случаях предполагается, что между знаковой формой и содержанием, идеальным или реальным, существует *прямое соответствие, или «параллелизм»* [Щедровицкий, Алексеев, Костеловский 1960-61; Щедровицкий 1966 d, Shchedrovitsky 1967, 1968]. Отказ от этого принципа порождает совершенно новые структуры *содержательного и методологически организованного М*, разворачивающегося в схемах *многоплоскостной организации и по принципу «многих знаний»* [Щедровицкий 1964 а, 1966 b, Shchedrovitsky 1966].

Как уже отмечалось, у каждого пояса мД есть своя специфическая действительность и между этими тремя типами действительности в прин-

ципе неверно устанавливать отношения тождества: как правило, они *отображаются друг на друга* в процессах понимания, интерпретации и рефлексии, и это может делаться каждый раз только за счет *переоформления одного в другое*. А содержание каждой из этих форм будет появляться в результате *вторичной рефлексивной фиксации* уже совершенного отображения. Но в некоторых случаях организованности содержания просто переносятся, буквально «перекладываются» из одной действительности в другую, не претерпевая при этом никаких изменений, даже изменений функционального смысла и функциональных трактовок в рефлексивном метазнании.

Поэтому всякая собственно мыслительная форма по идее должна снимать и свертывать в себе длинный и сложно организованный процесс последовательных и звездообразно стыкующихся мыслительных, рефлексивных и метамыслительных фиксаций, а понимание этой мыслительной формы предполагает обратный процесс развертывания (по сути дела, декодирования) всей этой сложной последовательности мыслительных, рефлексивных и метамыслительных преобразований.

В силу этого содержание и смыслы, выявляемые в каждой мыслительной форме за счет понимания, интерпретаций и рефлексивного анализа, определяются не только последовательными цепочками и структурами ядерной МД, которые удастся раскрыть и развернуть за каждой формой собственно мыслительного знания, но и цепочками и структурами вторичных мыследеятельных процессов, рефлексивно охватывающих исходную ядерную структуру МД. И это опять-таки определяется процессами понимания и интерпретации, которые должны раскрыть и реконструировать (или декодировать) весь процесс мД, М, рефлексии и мета-М, фиксируемый в знаковой форме знания. Поэтому в большинстве случаев понимание чужой мысли вызывает обычно большие затруднения, буквально мучения стремящегося понять сознания и создает многочисленные расхождения в субъективных ее истолкованиях. Именно в таком контексте возникали античные теории математического доказательства и демонстрации в процессах рассуждения и все методологические теории интерпретации, или истолкования [Аристотель 1978, т. 2: 91-346].

И по этой же причине при структурной трактовке процессов интерпретации нам приходится прибегать к различным модельным описаниям анализируемой МД; в одних случаях мы помещаем базовую структуру МД в онтологическую плоскость и тогда рассматриваем составляющие ее пояса М, М-К и мД как *реальные*, в других случаях мы рассматриваем базовую структуру МД как объективное содержание той или иной вторичной структуры – мышления, рефлексии или понимания – и тогда называем М, М-К или мД *действительными*.

Три названных выше пояса МД – мД, М-К и М, – развертывающихся согласно исходному допущению по горизонтали, связываются и одновременно объединяются в одно системное целое, с одной стороны, за счет

уже указанных процессов понимания, а с другой – за счет процессов рефлексии. Процессы рефлексии охватывают и пронизывают все процессы мД, М-К и М; они могут быть представлены на схеме мД вертикальными движениями и переходами и зафиксированы в виде вертикальных связей (ср. [Разработка... 1975: 131-143], а также [Щедровицкий 1974 с; Пробл. рефлексии... 1983; Рефлексия в... 1984]). Носители рефлексии изображаются на схеме мД зачерненными символами позиционеров, а комбинации цифр при каждом таком символе, скажем 1-3, 3-5, 6-4 и т.д., обозначают функциональное место и характер соответствующего акта рефлексии: первая цифра символизирует *рефлектируемый процесс в мД*, а вторая – тот процесс, в котором находят *форму и место для фиксации и выражения рефлексии*. Среди прочих могут быть и рефлексивные позиции типа 1-1, 3-3 и т.д., символизирующие, что форму выражения и место фиксации рефлексии ищут в том же процессе мД, который был предметом рефлексии.

Каждый из названных поясов мД, включая понимание и рефлексия, может обособляться от других и выступать в качестве относительно *автономной и самостоятельной системы*. М может формализоваться, а затем объективироваться и за счет этого целиком отрываться от рефлексии М-К и мД, элиминировать их и становиться особой *мыслительной деятельностью* по развертыванию чистых форм М, своего рода *производством знаково-знаниевых форм*, содержательных, но не имеющих смысловой связи с ситуациями М-К и практического мД (ср. [Щедровицкий 1957, 1958-60, 1962, 1964 b, Shchedrovitsky 1967, 1968; Щедровицкий, Алексеев, Костеловский 1960]).

Точно так же М-К может элиминировать свои рефлексивные связи и отношения с мД и М и разворачиваться имманентно только в границах действительности М-К, превращаясь в бездеятельную и безмысленную речь, в чистую игру словами, не организующую и не обеспечивающую ни М, ни мД.

И аналогично этому может сложиться и существовать изолированное мД, оторванное от М-К и чистого М и ставшее в силу этого косным, механическим воспроизводством, лишенным всякой духовности и всех механизмов осмысленного изменения и развития. В каждом из этих случаев мы будем иметь лишь редуцированную и потому вырожденную форму мД. И сколь бы рафинированной и правильной она ни была с точки зрения существующих норм М, М-К или мД, все равно она будет оставаться бездуховной и бессмысленной с точки зрения исторических интересов мД в целом.

Можно предположить, что аналогично могут выделяться внутри мД и обособляться процессы понимания и процессы рефлексии. Первое чаще всего происходит в структурах учебной деятельности, где понимание иногда целиком вытесняет мышление или полностью сливается с ним и оформляется в виде особой и автономной *деятельности понимания* (ср. [Генисаретский 1970]).

Выделение и самостоятельное оформление рефлексии представляет собой уже патологический случай, когда последовательно появляются сначала рефлексия рефлексии, потом рефлексия третьего порядка, четвертого и т.д. В методологии это называется *рефлексивной возгонкой*, а в психологии и патопсихологии – *персеверацией*.

История показывает нам много примеров подобного вырождения МД и вместе с тем демонстрирует целый ряд специальных средств и методов, выработанных для того, чтобы удержать *смысловую целостность* МД в условиях, когда образующие ее пояса и процессы мД, М-К и М, а также понимания и рефлексии отделялись друг от друга и распадались на самостоятельные формы МД, терявшие свою осмысленность, а вместе с тем и духовность.

В частности, то, что мы называем «*научным предметом*» [Щедровицкий 1981, 1984; Разработка... 1975: 90-96]) – а он как структура и организованность МД был создан в первой половине XVII в. и наиболее ярко описан в работах Ф.Бэкона и Г.Галилея, – является не чем иным, как формой и средством соединения умозрительного философского и методологического М с реальным техническим мД, направленным на вещи окружающего нас техноприродного мира (ср. [Разработка... 1975: 90-96]). При этом из традиционного мД были взяты *опытные факты*, из философского и теологического М – *онтологические схемы и картины*, из М-К – *проблемы, задачи, знания и понятия*, к этому добавлены новые и специфические образования – *модели и эксперимент*, обеспечившие связь традиционных форм М и М-К с техническим мД, и все это с помощью новых схем рефлексивного взаимоотображения было перестроено и соорганизовано в новые «*знаково-знаниевые машины*» МД, получившие у Галилея название «*новых наук*». Этим было положено начало новой, *предметной форме организации* МД, объединившей в рамках одной организационной единицы конструктивное и оперативное М идеализированными процессами и идеальными объектами с материально ориентированным пониманием и техническим мД. Вместе с тем было положено начало *профессиям* (в современном смысле этого слова), *инженерному делу* как соединению науки с искусством и таким непредметным связкам научных предметов, технического мД и философии, какими являются «*научные дисциплины*» [Щедровицкий 1984; Мирский 1980; Пробл. иссл. структуры... 1967].

В настоящее время эти формы предметной и дисциплинарной организации М, М-К и мД и рефлексии вновь вошли в противоречие с господствующими формами технической и управленческой практики, которые нуждаются в *полипредметном и полидисциплинарном, комплексном мыслительном обеспечении*. И это поставило на очередь дня задачу создания новых, более сложных и более гибких форм соорганизации М, М-К и мД, форм, которые могли бы обеспечить быстрое *распредмечивание* существующих структур МД, удерживание их смысла и содержания в непредметных (или надпредметных) знаковых формах и новое *опредмечи-*

вание их в структурах и организованностях М, М-К и мД, соответствующих комплексам МД [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий 1981, 1983, Shchedrovitsky 1982, 1985; Щедровицкий, Котельников 1983; Мирский, 1980; Зинченко А. 1983; Комплексный... 1979].

Разработка СМД-методологии является попыткой ответить на этот запрос. Одной из созданных на ее базе форм соорганизации М, М-К и мД в целостные единицы коллективной МД являются *организационно-деятельностные игры* (ОДИ) [Щедровицкий, Котельников 1983], другой – *организационно-технические системы* (сокращенно *ОТ-системы*) [Щедровицкий 1983], третьей – развивающиеся во многом независимо от СМД-методологии всевозможные *классификационные и типологические формы* организации знаний и схем объектов. Правильно понять назначение и функции этих форм, а также их внутреннюю природу без развернутой и детально проанализированной схемы МД просто невозможно, и этим отчасти определяется смысл и направленность данной статьи.

<...>

Заключение

По нашему мнению, схема МД несет в себе совокупность принципов, определяющих правильный подход в исследовании всех явлений, связанных с мышлением и деятельностью.

Прежде всего она утверждает органическую, неразрывную связь всякого действия и всякой деятельности с подготавливающими их мыслительными и коммуникативно-смысловыми процессами. С этой точки зрения сами выражения «деятельность» и «действие», если оставить в стороне определение их через схемы воспроизводства, выступают как выражения чрезвычайно сильных идеализаций, чрезмерных редуций и упрощений, которым в реальности могут соответствовать только крайне редкие искусственно созданные и экзотические случаи. В реальном мире общественной жизни деятельность и действие могут и должны существовать только вместе с мышлением и коммуникацией. Отсюда и само выражение «мыследеятельность», которое больше соответствует реальности и поэтому должно заменить и вытеснить выражение «деятельность» как при исследованиях, так и в практической организации.

Вместе с тем то, что по традиции было принято называть «мышлением», разделяется на две принципиально разные составляющие – «мысль-коммуникацию» и «чистое мышление», каждая из которых живет в своем особом процессе и имеет свои особые механизмы (ср. [Разработка... 1975: 169-174]). Эти составляющие существуют реально, как правило, вместе и в сложных переплетениях с другими составляющими мыследеятельности – процессами понимания, рефлексии и мыследействия и в структуре целостной мыследеятельности. Поэтому любой из этих процессов должен рассматриваться прежде всего по своим функциям в мыследеятельности и относительно всех других процессов. Анализ чистых и автономных

процессов мысли-коммуникации, понимания, рефлексии, мышления и мыследействования, как это делалось обычно до сих пор, не может привести к успеху. Эффективным здесь может быть только специфический системный анализ целого (ср. [Разработка... 1975: 72-119]), при котором все названные выше процессы рассматриваются как частичные и образующие подсистемы внутри полисистемы мыследеятельности.

Наконец, схема мыследеятельности должна рассматриваться не как схема-модель какой-либо реальной системы, а как схема идеальной сущности, предназначенная служить теоретическим основанием для выведения из нее различных других схем: с одной стороны, моделирующих различные конкретные системы мыследеятельности, а с другой – удовлетворяющих названным выше принципам.

Поэтому основной задачей теоретической работы на базе предложенной схемы МД становится построение системной типологии различных производных систем МД, получаемых из базовой схемы путем *системной фокусировки* и *системной редукции* ее, а соответствующей задачей методологии системного анализа – выявление и описание процессов и процедур подобной работы.

Литература

- Абаев В.И.* Об историзме в описательном языкознании // О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1961.
- Акофф Р.* Искусство решения проблем. М., 1982.
- Акофф Р.* Планирование будущего корпорации. М., 1985.
- Апресян Ю.Д.* Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной лингвистики // Проблемы структурной лингвистики. М., 1963.
- Аристотель.* Метафизика. М., 1937 а.
- Аристотель.* О душе. М., 1937 в.
- Аристотель.* Физика. М., 1937 с.
- Аристотель.* Соч. Т. 2. М., 1978.
- Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
- Асмус В.Ф.* Логика. М., 1947.
- Ахманов А.С.* Логическое учение Аристотеля. М., 1960.
- Бирюков Б.* Название // Философская энциклопедия. Т. 3. 1964.
- Борджану К.* О научном характере понятия прогресса // Проблемы философии. М., 1960.
- Брунер Дж.* О познавательном развитии (I и II) // Исследование развития познавательной деятельности. М., 1971.
- Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940.
- Виндельбанд В.* Принципы логики // Логика. Энциклопедия философских наук. Вып. I. М., 1913.
- Войшвилло Е.К.* К вопросу о предмете логики // Вопросы логики. М., 1955.
- Выготский Л.С.* Мышление и речь. Психологические исследования. М.-Л., 1934.
- Гальперин И.И.* Синтез систем автоматизации. М.-Л., 1960.
- Гальперин П.Я.* Опыт изучения формирования умственных действий // Доклады на совещании по вопросам психологии. М., 1954.
- Гальперин П.Я.* Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука в СССР. Т. I. М., 1959.
- Гальперин П.Я.* Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследование мышления в советской психологии. М., 1966.
- Гегель Г.В.Ф.* Энциклопедия философских наук. Ч. 1. Логика // Сочинения. Т. 1. М., 1934.
- Гегель Г.В.Ф.* Наука логики. // Сочинения. Т. 5-6. М., 1937.
- Гелернтер Г.А., Рочестер Н.* Интеллектуальное поведение машин, решающих задачи // Психология мышления. М., 1965.
- Генисаретский О.И.* Специфические черты объектов системного исследования // Проблемы исследования систем и структур. М., 1965.
- Генисаретский О. И.* Проблема смысла в содержательно-генетической логике // Методология и логика науки. М., 1966.

- Генисаретский О.И.* Опыт моделирования представляющей и рефлектирующей способностей сознания // Всесоюзный симпозиум по кибернетике. Тбилиси, 1968.
- Генисаретский О. И.* Опыт методологического конструирования общественных систем // Моделирование социальных процессов. М., 1970.
- Генисаретский О. И.* О социологических моделях эстетики тождества и эстетики различия // Научно-технический прогресс и искусство. М., 1971.
- Гердер И.Г.* Трактат о происхождении языка // Гердер И.Г. Избранные сочинения. М.-Л., 1959.
- Головняк В.В.* Комплексирование оптимизационных, имитационных и логико-лингвистических моделей в автоматизированных системах управления летательным аппаратом // Вопросы кибернетики. Вып. 121. М., 1986.
- Горнунг Б.В.* Единство синхронии и диахронии как следствие специфики языковой структуры // О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1961.
- Грушин Б.А.* Очерки логики исторического исследования. М., 1961.
- Гуковский М.А.* Механика Леонардо да Винчи. М.-Л., 1947.
- Гуцин Ю.Ф., Дубровский В.Я., Щедровицкий Л.П.* К понятию «системное проектирование» // Большие информационно-управляющие системы. М., 1969.
- Давыдов В.В.* К определению умственного действия // Тезисы докладов на I съезде Общества психологов. Вып. 3. М., 1959.
- Джеммер М.* Понятие массы в классической и современной физике. М., 1967.
- Доблаев Л.П.* Проблема понимания в советской психологии. М., 1967.
- Дубровский В.Я.* О природе и основаниях эффективности эвристических методов // IV Всесоюзный симпозиум по кибернетике. (материалы симпозиума). Тбилиси, 1968.
- Дункер К.* Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления. М., 1965.
- Дынин Б.С.* К вопросу о характере проблем методологии // Философия, методология, наука. М., 1972.
- Жолковский А.К.* Предисловие // Машинный перевод и прикладная лингвистика. № 8. 1964.
- Жолковский А.К., Мельчук И.А.* К построению действующей модели языка «Смысл – текст» // Машинный перевод и прикладная лингвистика. № 11. 1969.
- Жолковский А.К. и др.* О принципиальном использовании смысла при машинном переводе // Труды Института точной механики и вычислительной техники. Машинный перевод – 1961. Вып. 2. М., 1961.
- Звегинцев В.А.* Семасиология. М., 1957.
- Зиновьев А.А.* Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса). Канд. диссертация. М., 1954.

- Зиновьев А.А.* О логической природе восхождения от абстрактного к конкретному // *Философская энциклопедия*. Т. 1. М., 1960.
- Зинченко А. П.* Игровая форма межпрофессионального обсуждения градостроительных проблем // *Строительство и архитектура*. № 8. 1983.
- Зинченко В.П., Мунипов В.М., Гордон В.М.* Исследование визуального мышления // *Вопросы психологии*, 1973, № 2.
- Зинченко П.И.* Проблема произвольного запоминания // *Научные записки Харьковского государственного педагогического института иностранных языков*. Т. 1. 1939.
- Знание* // *Философская энциклопедия*. Т. 2. 1962
- Ильенков Э.В.* Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К.Маркса. М., 1960.
- Искусство решения проблем*. М., 1982.
- Кант И.* Критика чистого разума. Спб., 1907.
- Кант И.* Логика. СПб., 1915.
- Карнап Р.* Значение и необходимость. М., 1959.
- Климовская Г.И.* Опыт псевдогенетического поиска языковых универсалий // *Языковые универсалии и лингвистическая типология*. М., 1969.
- Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы*. Ч. I., Ч. II. Свердловск, 1979.
- Кон И.С.* О понятии исторического прогресса // *Проблемы развития в природе и обществе*. М.- Л., 1958.
- Кон И.С.* Прогресс общественный // *Филос. энцикл.* Т. 4. М., 1967.
- Кондорсэ Ж.А.* Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936.
- Кун Т.* Структура научных революций. М., 1975.
- Лакатос И.* Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы. М., 1967.
- Лапин Н.И., Пригожин А.И.* «Социальные инновации» — новое направление в организационной психологии на Западе // *Психологический журнал*. Т. 3. № 5. 1982.
- Лахути Д., Финн В.* Значение // *Философская энциклопедия*. Т. 2. 1962 а.
- Лахути Д., Финн В.* Имя // *Философская энциклопедия*. Т. 2. 1962 б.
- Лахути Д., Финн В.* Название // *Философская энциклопедия*. Т. 3. 1964.
- Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 1930.
- Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937.
- Лейбниц Г.* Новые опыты о человеческом разуме. М.-Л., 1936.
- Лекторский В.А. и др.* История предмета философии // *Философская энциклопедия*. Т. 5. М., 1970.
- Лефевр В.А.* О способах представления объектов как систем // *Тез. докл.-симп. «Логика научного исследования» и семинара логиков*. Киев, 1962.
- Лефевр В.А.* О самоорганизующихся и саморефлективных системах и их исследовании // *Проблемы исследования систем и структур*. М., 1965 а.
- Лефевр В.А.* Исходные идеи логики рефлексивных игр // *Проблемы исследования систем и структур*. М., 1965 б.

- Лефевр В.А.* Конфликтующие структуры. М., 1967.
- Лефевр В.А.* О способах представления объектов как систем // *Философские проблемы современного естествознания*. Вып. 14. Киев, 1969.
- Лефевр В.А., Щедровицкий Г.П., Юдин Э.Г.* «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах // *Проблемы исследования систем и структур*. Материалы к конференции. М., 1965.
- Лефевр В.А., Щедровицкий Г.П., Юдин Э.Г.* «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах // *Семиотика и восточные языки*. М., 1967 (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Локк Дж.* Избранные философские произведения. Т. 1. М., 1960.
- Лосев А.Ф.* Платон // *Философская энциклопедия*. Т. 4. М., 1967.
- Луканин Р.К., Касымжанов А.Х.* Об исходных моментах проблемы взаимоотношения диалектики и формальной логики // *Актуальные проблемы диалектической логики*. Алма-Ата, 1971.
- Лукаевич Я.* Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М., 1959.
- Маковельский А.О.* История логики. М., 1967.
- Мамардашвили М.К.* Процесс анализа и синтеза // *Вопросы философии*. № 2. 1958.
- Мамардашвили М.К.* Формы и содержание мышления (к критике гегелевского учения о формах познания). М., 1968.
- Маркс К.* Капитал. Т. 1. М., 1955 а.
- Маркс К.* Тезисы о Фейербахе // *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М., 1955 б.
- Маркс К.* Капитал. Соч. Т. 1-3.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология // *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М., 1955 а.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Святое семейство, или критика критической критики // *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 2. М., 1955 б.
- Марр Н.Я.* Лингвистически намечаемые эпохи развития человечества и их увязка с историей материальной культуры // *Избранные работы*. Т. 3. М.- Л., 1934.
- Марр Н.Я.* Сдвиги в технике языка и мышления // *Избранные работы*. Т. 2. М.- Л., 1936.
- Марр Н.Я.* Язык и мышление // *Избранные работы*. Т. 3. М.-Л., 1934.
- Мах Э.* Механика. Историко-критический очерк ее развития. Спб., 1909.
- Мельников Г.П.* Азбука математической логики. М., 1967 а.
- Мельников Г.П.* Системная лингвистика и ее отношение к структурной // *Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов*. М., 1967 б.
- Мельников Г.П.* Язык как система и языковые универсалии // *Языковые универсалии и лингвистическая типология*. М., 1969.
- Мельчук И.А.* Опыт теории лингвистических моделей «смысл – текст». М., 1974.

- Методология и логика наук. Ученые зап. Том. ун-та. № 41. Томск, 1962.
- Милль Дж. Ст.* Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1974.
- Мирский Э. М.* Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М., 1980.
- Москаева А. С.* Алгоритмы и «алгоритмический подход» к анализу процессов обучения // Вопросы психологии. № 3. 1965.
- Москаева А. С., Розин В. М.* К анализу строения систем знания типа «Начал» Евклида. Сообщения I-II // Новые исследования в педагогических науках. Вып. 8 и 9. М., 1966.
- Ньюэлл А. и др.* Процессы творческого мышления // Психология мышления. М., 1965.
- Ньюэлл А., Саймон Г. А.* Имитация мышления человека с помощью электронно-вычислительной машины // Психология мышления. М., 1965.
- О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1961.
- Овчинников Н. Ф.* Понятия массы и энергии в их историческом развитии и философском значении. М., 1957.
- Пантина Н. С.* Исследование строения детской деятельности (на материале действий с дидактическими игрушками) // Психология и педагогика игры дошкольника. М., 1966.
- Папуш М. П.* Проблема единства семиотики и схема «семиозиса» Ч. Морриса // Проблемы семантики. М., 1974.
- Педагогика и логика (на правах рукописи). М. 1968. (Издана в 1993 г.)
- Пиаже Ж.* Психология интеллекта // Избранные психологические произведения. М., 1969.
- Пономарев Я. А.* Психология творческого мышления. М., 1960.
- Пристли Дж.* Избранные сочинения. М., 1934.
- Проблемы исследования систем и структур. М., 1965.
- Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967.
- Проблемы рефлексии в научном познании. Куйбышев, 1983.
- Проблемы семантики. М., 1974.
- Психология детей дошкольного возраста. М., 1964.
- Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектирование (теория и методология). М., 1975.
- Рефлексия // Философская энциклопедия. Т. 4. М., 1967.
- Рефлексия // Философский словарь. М., 1961.
- Рефлексия в науке и обучении. Тез. докл. и сообщ. к науч.-метод. конф. 12—14 нояб. 1984 г. Новосибирск, 1984.
- Реформатский А. А.* Принципы синхронного описания // О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1961.
- Риккерт Г.* Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 1903.
- Рождественский Ю. В.* От редактора // Семиотика и восточные языки. М., 1967.

- Розин В.М.* Анализ знаковых средств в геометрии // Вопросы психологии. № 6. 1964.
- Розин В.М.* Семиотический анализ знаковых средств математики // Семиотика и восточные языки. М., 1967 а.
- Розин В.М.* Структура современной науки // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967 в.
- Рубинштейн С.Л.* О мышлении и путях его исследования. М., 1958.
- Садовский В.Н.* Проблемы общей теории систем как метатеории // Системные исследования. Ежегодник –1973. М., 1973.
- Садовский В.Н.* Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974.
- Сазонов Б. В.* Деятельностный подход к инновациям // Социальные факторы нововведений в организационных системах. М., 1980.
- Саймон Г.* Науки об искусственном. М., 1972.
- Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1962.
- Славская К.А.* Мысль в действии. М., 1968.
- Смирницкий А.Я.* Объективность существования языка. М., 1954.
- Смысл // Философская энциклопедия. Т. 5. 1970.
- Сова Л.З.* Аналитическая лингвистика. М., 1970.
- Солнцев В.М.* Язык как системно-структурное образование. М., 1971.
- Солнцев В.М.* К вопросу о семантике, или языковом значении (вместо предисловия) // Проблемы семантики. М., 1974.
- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М., 1933.
- Стяжзин Н.И.* Формирование математической логики. М., 1967.
- Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. М., 1965.
- Теплов Б.М.* Ум полководца // Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
- Томсон Дж.* Предвидимое будущее. М., 1958.
- Труды по знаковым системам. Тарту, 1964–73.
- Тюрго А.Р.* Последовательные успехи человеческого разума // Тюрго А.Р. Избранные философские произведения. М., 1937 а.
- Тюрго А.Р.* Рассуждение о всеобщей истории // Тюрго А.Р. Избранные философские произведения. М., 1937 в.
- Уемов А.И.* Системы и системные параметры // Проблемы формального анализа систем. М., 1968.
- Уемов А.И.* Методы построения и развития общей теории систем // Системные исследования. Ежегодник – 1973. М., 1973.
- Уорф Б.Л.* Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960 а.
- Уорф Б.Л.* Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960 в.
- Уорф Б.Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960 с.
- Философские записки. Т. VI. Л., 1953.
- Фихте И.Г.* Факты сознания. Спб., 1914.

- Хомский Н.* Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
- Хомский Н.* Логические основы лингвистической теории // Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965.
- Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
- Черч А.* Введение в математическую логику. М., 1960.
- Швырев В.С.* К вопросу о путях логического исследования мышления // Докл. АПН РСФСР. № 2. 1960.
- Шор Р.* Краткий очерк лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца XIX (послесловие) // В. Томсен. История языковедения до конца XIX века. М., 1938.
- Щедровицкий Г.П.* «Языковое мышление» и методы его исследования // Вопросы языкознания. № 1. 1957 (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* О некоторых моментах в развитии понятий // Вопросы философии. № 6. 1958 (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* О строении атрибутивного знания. Сообщения I-VI // Докл. АПН РСФСР. № 1, 4, 1958; № 1,2,4, 1959; № 6, 1960 (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Опыт анализа сложного рассуждения, содержащего решение математической задачи (на правах рукописи). 1960 (а также [Щедровицкий 1997]).
- Щедровицкий Г.П.* О различии исходных понятий «формальной» и «содержательной» логик // Методология и логика наук. Ученые зап. Том. ун-та. № 41. Томск, 1962 (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Методологические замечания к проблеме происхождения языка // Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. № 2. 1963 (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Проблемы методологии системного исследования. М., 1964 а (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* О принципах исследования объективной структуры мыслительной деятельности на основе понятий содержательно-генетической логики // Вопросы психологии. № 2. 1964 б (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Методологические замечания к проблеме типологической классификации языков // Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965 а.
- Щедровицкий Г.П.* Исследование мышления детей на материале решений простых арифметических задач // Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников. М., 1965 б.
- Щедровицкий Г.П.* О принципах классификации наиболее абстрактных направлений методологии системно-структурных исследований // Проблемы исследования систем и структур. М., 1965 с.
- Щедровицкий Г.П.* Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности // Обучение и развитие. Материалы к симпозиуму. М., 1966 а (а также [Щедровицкий 1995]).

- Щедровицкий Г.П.* Заметки о мышлении по схемам двойного знания // Материалы к симпозиуму по логике науки. Киев, 1966 в (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* «Естественное» и «искусственное» в развитии речи // Материалы Всесоюз. конф. по общ. языкознанию. 8–16 сент. 1966. Ч. 1. Самарканд, 1966 с.
- Щедровицкий Г.П.* К анализу исходных принципов и понятий формальной логики // Философские исследования. Труды Болгар. акад. наук. 1966 d.
- Щедровицкий Г.П.* О методе семиотического исследования знаковых систем // Семиотика и восточные языки. М., 1967 а.
- Щедровицкий Г.П.* О специфических характеристиках логико-методологического исследования науки // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967 в.
- Щедровицкий Г.П.* Система педагогических исследований (методологический анализ) // Педагогика и логика. М., 1968 а.
- Щедровицкий Г.П.* К анализу структуры, оснований и метода эвристики // IV Всесоюз. симпозиум по кибернетике. Материалы симпозиума. Тбилиси, 1968 в.
- Щедровицкий Г.П.* Модели новых фактов для логики // Вопросы философии. № 4. 1968 с.
- Щедровицкий Г.П.* Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий // Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969.
- Щедровицкий Г.П.* О системе педагогических исследований (методологический анализ) // Оптимизация процессов обучения в высшей и средней школе. Душанбе, 1970 а.
- Щедровицкий Г.П.* Некоторые характеристики современного состояния «информационной службы», теории информации и обусловленных этим проблем и задач. Отчет. Арх. № 2691. 1970 в.
- Щедровицкий Г.П.* Значения как конструктивные компоненты знака // Вопросы семантики. Тез. докл. М., 1971 а.
- Щедровицкий Г.П.* Человек и деятельность в инженерно-психологических исследованиях // Проблемы инженерной психологии. Вып. 1. М. 1971 в.
- Щедровицкий Г.П.* Понимание как компонента исследования знака // Вопросы семантики. Тез. докл. М., 1971 с.
- Щедровицкий Г.П.* О типах знаний, получаемых при описании сложного объекта, объединяющего «парадигматику» и «синтагматику» // Актуальные проблемы лексикологии. Докл. лингвист. конф. Ч. 1. Томск. 1971 d.
- Щедровицкий Г.П.* «Логическое» и «лингвистическое» в знаках (к характеристике материала терминологической работы) // Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики. Ч. I. М., 1971 е.
- Щедровицкий Г.П.* К проблеме существования терминов в тексте и в парадигматических системах // Семиотические проблемы языков науки,

- терминологии и информатики. Ч. 2. М., 1971 f.
- Щедровицкий Г.П.* Значения и знания // Актуальные проблемы лексикологии. Тез. докл. Ч. 2. Новосибирск, 1971 г.
- Щедровицкий Г.П.* Проблема соотношения логических и психологических исследований мышления в истории советской психологии // Материалы IV Всесоюз. съезда Общества психологов. Тбилиси, 1971 h.
- Щедровицкий Г.П.* Методологические замечания к проблеме существования термина // Актуальные проблемы лексикологии. Новосибирск, 1971 i.
- Щедровицкий Г.П.* Цели и продукты терминологической работы (методологические заметки о процессах становления терминологической деятельности) // Актуальные проблемы лексикологии. Новосибирск, 1972.
- Щедровицкий Г.П.* Системно-структурный подход в анализе и описании эволюции мышления // Мышление и общение. Материалы Всесоюз. симпозиума. Алма-Ата, 1973 a (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Структура знака: смыслы и значения // Проблемы лексикологии. Минск, 1973 b.
- Щедровицкий Г.П.* Смысл и значение // Проблемы семантики. М., 1974 a (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Два понятия системы // Труды XIII Межд. конгресса по истории науки и техники. Т. 1a. М., 1974 b (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Коммуникация, деятельность, рефлексия // Исследование рече-мыслительной деятельности. Алма-Ата, 1974 c.
- Щедровицкий Г.П.* Логико-психологический анализ процедур и способов решения простых арифметических задач // Психолого-педагогические проблемы обучения и развития. Душанбе, 1974 d.
- Щедровицкий Г.П.* Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии. Обнинск, 1974 e (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Проблема исторического развития мышления // Генетические и социальные проблемы интеллектуальной деятельности. Алма-Ата, 1975 a (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности. Приложения: I. Исходные представления и категориальные средства теории деятельности; II. Общая идея метода восхождения от абстрактного к конкретному; III. Категории «процесс — механизм» в контексте исследования развития; IV. Генетическое восхождение // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании. Теория и методология. М. 1975 b (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Проблемы построения системной теории сложного «популярного» объекта // Системные исследования. Ежегодник — 1975. М., 1976 a.

- Щедровицкий Г.П.* Смысл и понимание // Вопросы психологии и методики обучения. Вып. 4. Горький, 1976 б.
- Щедровицкий Г.П.* Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок // Системные исследования. М., 1981 (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной мыследеятельности // Методы исследования, диагностики и развития международных трудовых коллективов. М., 1983.
- Щедровицкий Г.П.* Синтез знаний: проблемы и методы // На пути к теории научного знания. М., 1984 (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Схема мыследеятельности – системно-структурное строение, смысл и содержание // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник – 1986. М., 1987 (а также [*Щедровицкий* 1995]).
- Щедровицкий Г.П.* Понимание и интерпретации схемы знания // Кентавр. №1. 1993.
- Щедровицкий Г.П.* Сладкая диктатура мысли // Вопросы методологии. № 1-2. 1994.
- Щедровицкий Г.П.* Избранные труды. М., 1995.
- Щедровицкий Г.П.* Проблемы организации исследований: от теоретико-мыслительной к оргдеятельностной методологии анализа // Вопросы методологии, № 3-4. 1996 а.
- Щедровицкий Г.П.* Заметки об эпистемологических структурах онтологизации, объективации, реализации // Вопросы методологии, № 3-4. 1996.
- Щедровицкий Г.П.* Философия – Наука – Методология. М., 1997.
- Щедровицкий Г.П.* Механизмы работы семинаров Московского методологического кружка // Вопросы методологии, № 1-2, 1998 (а также: *Щедровицкий Г.П.* О работе семинаров ММК // ММК: развитие идей и подходов / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 8 (1). М., 2004).
- Щедровицкий Г.П.* Процессы и структуры в мышлении / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 6. М., 2003.
- Щедровицкий Г.П.* Проблемы профессионализации и специализации методологии // ММК: развитие идей и подходов / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 8 (1). М., 2004.
- Щедровицкий Г.П.* Организационно-деятельностная игра / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 9 (1), 9 (2). М., 2004–2005.
- Щедровицкий Г.П., Алексеев Н.Г.* О возможных путях исследования мышления как деятельности // Докл. АПН РСФСР. №3. 1957.
- Щедровицкий Г.П., Алексеев Н.Г., Костеловский В.А.* Принцип «параллелизма формы и содержания мышления» и его значение для традиционных логических и психологических исследований. Сообщ. I-IV // Докл. АПН РСФСР. № 2, 4, 1960; № 4, 5, 1961 (а также [*Щедровицкий* 1995]).

- Щедровицкий Г.П., Дубровский В.Я.* Научное исследование в системе «методологической работы» // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967.
- Щедровицкий Г.П., Дубровский В.Я.* Проблема объекта в системном проектировании // Системные исследования. Новосибирск, 1971
- Щедровицкий Г.П., Дубровский В.Я.* Проблема объекта в системном проектировании // Методология исследования проектной деятельности: Всесоюз. науч. конф. «Автоматизация проектирования как комплексная проблема совершенствования проектного дела в стране». 22–24 мая 1973 г. Сб. 2. М., 1973.
- Щедровицкий Г.П., Котельников С.И.* Организационно-деятельностная игра как новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности // Нововведения в организациях. М., 1983 (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П., Розин В.М.* Концепция лингвистической относительности Б.Л. Уорфа и проблемы исследования «языкового мышления» // Семиотика и восточные языки. М., 1967.
- Щедровицкий Г.П., Садовский В.Н.* К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании. Сообщения I–III // Новые исследования в педагогических науках, Вып. 2, 4, 5. М., 1964–1965 (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П., Юдин Э.Г.* Педагогика и социология. Сообщение I // Новые исследования в педагогических науках. Выпуск VII, 1966 (а также [Щедровицкий 1995]).
- Щедровицкий Г.П., Якобсон С.Г.* К анализу процессов решения простых арифметических задач. Сообщения I–V // Докл. АПН РСФСР. № 2-6. 1962.
- Щедровицкий Г.П., Якобсон С.Г.* К эмпирическому анализу явлений, связанных с «пониманием текста» // Материалы третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970
- Щедровицкий Г.П., Якобсон С.Г.* Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание» // Мышление и общение. Материалы Всесоюз. симпозиума. Алма-Ата, 1973 (а также [Щедровицкий 1995]).
- Энгельс Ф.* К. Маркс «К критике политической экономии» // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. М., 1959.
- Эшби У.Р.* Введение в кибернетику. М., 1959.
- Юдин Э.Г.* Деятельность как объяснительный принцип и как предмет научного изучения // Вопросы философии. № 5. 1976.
- Юдин Э.Г.* Системный подход и принцип деятельности. М., 1978.
- Юркевич П.* Разум по учению Платона и опыт по учению Канта. М., 1865.
- Юшкевич А.П.* История математики в средние века. М., 1961.
- Язык как знаковая система особого рода. Материалы к конференции. М., 1967.
- Arnheim R.* Visual Thinking. NY., 1969.
- Bochenski I.M.* Formale Logik. Freiburg-München, 1956.

- Baldinger K.* Die Semasiologie. Versuch eines Überblicks. Berlin, 1957.
- Bochenski I.M.* Formale Logik. Freiburg-München, 1956.
- Boole G.* An investigation of the laws of thought. L., 1854.
- Boole G.* Logic and reasoning // Collected logical works. Vol. 2. Chicago-London, 1940.
- Boston Studies in the philosophy of science. Vol. VIII. Symposium: History of science and its rational reconstruction. Dordrecht, 1971.
- Brosses Ch.* Traité de la formation mécanique des langues et des principes physiques de l'étymologie. 2 vols. P., 1765 (русск. перевод: Бросс III. Рассуждение о механическом составе языков и физических началах этимологии. Ч. 1-2. Спб. 1821-1822).
- Bury J.B.* The idea of progress. L., 1924.
- Carnap R.* Induktive Logik und Wahrscheinlichkeit. Wien, 1958.
- Carnap R.* Testability and meaning // Philosophy of Science. 1936. Vol. 3. № 4; 1937. Vol. 4. № 1.
- Chomsky N.* Studies on semantics in generative grammar. Paris, 1972.
- Church A.* Rudolf Carnap. Introduction to semantics // The philosophical review. Vol. III. 1943. N 3.
- Criticism and the growth of knowledge. Cambridge, 1970.
- De Board R.* The psychoanalysis of organizations. J. Tavistock. 1977. Рус. пер.: ВЦП, М. – 07879.
- De Board R.* The psychoanalysis of organizations. J. Tavistock. 1977. Рус. пер.: ВЦП, М. – 07879.
- Exploring individual and organizational boundaries. A Tavistock open systems approach/ Rd. W. G. Lawrence. Chichester, 1979.
- Filmore Ch., Langendoen T.* (eds). Studies in linguistic semantics. NY., 1971.
- Frege G.* Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildeten Formelsprachen des reinen Denkens. Halle. 1879.
- Frege G.* Der Gedanke. Eine logische Untersuchung // Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus. Bd. I. 1918.
- Frege G.* Logik // Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß. Hamburg, 1971.
- Frege G.* Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik // Neue Folge, Bd. 100. 1892.
- Guiraud P.* La sémantique. Paris, 1964.
- Gulley N.* Plato's theory of knowledge. L., 1962.
- Herder J.G.* Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Berlin, 1772.
- Historical and philosophical perspectives of science // Minnesota studies in the philosophy of science. Vol. V. Minneapolis, 1971.
- Husserl E.* Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Bd. 1. Haag, 1950 a.
- Husserl E.* Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie // Gesammelte Werke. Bd. 3. Buch 1. Haag, 1950 b.

- Jacobson R.* Linguistics glosses to Goldstein's "Wortbegriff" // Journal of individual psychology. Vol. 15. 1959. N 1.
- Kemeny J.G.* A new approach to semantics // Journal of Symbolic Logic. Vol. 21. N 1-2. 1956.
- Kiefer F.* (hrsg). Semantik und generative Grammatik, Bd. I, II. Frankfurt am Mein, 1972.
- Kronasser G.* Handbuch der Semasiologie. Heidelberg, 1951.
- Kuhn T.* The Structure of scientific revolutions. Chicago, London, 1962.
- Lakatos I.* Infinite regress and the foundations of mathematics // Aristotelian society for systematic study of philosophy. Vol. 36. L., 1962.
- Lakatos I.* Criticism and the methodology of scientific research programs // Proceedings of the Aristotelian Society. Vol. 69. 1968.
- Lakatos J.* Falsification and the methodology of scientific research programs / Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970.
- Lewis C.J.* The modes of meaning // Philosophical and Phenomenological Research. 1944. № 4.
- Lewis C.J.* Analysis of knowledge and valuation. La Salle, Ill., 1947.
- Maxwell J. C.* // «Philosophical Magazine», 1860, vol. XIX, XX.
- Logique et perception. Études d'épistemologie génétique, VI. Paris, 1958.
- Monboddo J.B.* On the origin and progress of language. Vol. I-VI. 1773-1792.
- Morris Ch.W.* Foundations of the theory of signs // International Encyclopedia of Unified Science. Chicago, 1938. Vol. 1. N 2.
- Nagel E.* The structure of science. NY., 1961.
- Ogden C.K., Richards J.A.* The meaning of meaning. NY, 1927.
- Popper K.* The Logic of scientific discovery. L., 1959.
- Priestley J.* The course of lectures about the theory of language and universal grammar. 1762.
- Quine W.V.* Notes on the theory of reference // From a logical point of view. Cambridge, 1963.
- Raynal G.T.* Histoire philosophique et politique... // Oeuvres. V. 1-4. Genève, 1784.
- Rousseau J.J.* Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Amsterdam, 1755 (русск. перевод: Руссо Ж.Ж. О причинах неравенства. Спб., 1907).
- Russell B.* On denoting // Mind, 1905. Vol. 14. N 56.
- Shchedrovitsky G.P.* Methodological problems of system research // General Systems. Vol. XI. 1966. (Перевод работы [Щедровицкий 1964 а]).
- Shchedrovitsky G.P.* Concerning the analysis of initial principles and conceptions of formal logic // Systematics. Vol.5. 1967; General Systems. Vol. XIII. 1968 а. (Перевод работы [Щедровицкий 1966 d]).
- Shchedrovitsky G.P.* Methodologische Bemerkungen zum Problem einer typologischen Klassifikation der Sprachen // Linguistics. N 42. 1968 b. (Перевод работы [Щедровицкий 1965 а]).

- Shchedrovitsky G.P.* Configuration as a method of construction of complex knowledge // *Systematics*. Vol. 8. N 4. 1971.
- Shchedrovitsky G.P.* Die Struktur des Zeichens: Sinn und Bedeutung // *Ideen des exakten Wissens. Wissenschaft und Technik in der Sowjetunion*. N 12. 1972.
- Shchedrovitsky G.P.* Methodological organization of system-structural research and development: principles and general scheme // *General Systems*. Vol. XXVII, 1982; *Systems Research, II. Methodological Problems*. Pergamon Press, 1985.
- Schiller F.C.S., Russell B., Joachim H.H.* Meaning of meaning (Symposium) // *Mind*. 1920. № 116.
- Scholz H.* Geschichte der Logik. Berlin, 1931.
- Schopenhauer A.* Die Welt als Wille und Vorstellung. Lpz., 1819 (русск. пер.: Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1901).
- Smith A.* Consideration concerning the first formation of language and the different genius of original and compound languages. L., 1759.
- Spengler O.* Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens. München, 1931.
- Stern G.* Meaning and Change of Meaning. Göteborg, 1930.
- Ullmann S.* The Principles of Semantics. Glasgow, 1951.
- Vico G.* Vom Wesen und Weg der Geistigen Bildung. Bonn, 1947.
- Weißgerber L.* Sprachwissenschaft und Philosophie zum Bedeutungsproblem // *Blätter für deutsche Philosophie*, Bd. 4, 1930.
- Wertheimer M.* Productive thinking. NY., 1945.
- Zinovev A.A.* K problému abstraktniho a konkrétniho poznatku // *Filosofický časopis*. 1958. № 2.

В рамках проекта “Наследие ММК”

изданы:

Г.П.Щедровицкий. Избранные труды. М., 1995.

Г.П.Щедровицкий. Философия - Наука - Методология. М., 1997.

Г.П.Щедровицкий. Онтология и онтологическая работа // Вопросы методологии (Из архива Г.П.Щедровицкого), 1996, № 3-4.

Г.П.Щедровицкий. Программирование научных исследований и разработок / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 1. М., 1999.

Г.П.Щедровицкий. Психология и методология / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 2 (1). М., 2004.

Г.П.Щедровицкий. Начала системно-структурного исследования взаимоотношений в малых группах / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 3. М., 1999.

Г.П.Щедровицкий. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология. Курс лекций / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 4. ОРУ (1), М., 2000 (2-е изд. – 2003).

Г.П. Щедровицкий. Методология и философия организационно-управленческой деятельности: основные понятия и принципы. Курс лекций / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 5. ОРУ (2). М., 2003.

Г.П.Щедровицкий. Процессы и структуры в мышлении / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 6. М., 2003.

Г.П.Щедровицкий. Проблемы логики научного исследования и анализ структуры науки / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 7. М., 2004.

Г.П.Щедровицкий. ММК: развитие идей и подходов / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 8 (1). М., 2004.

Г.П.Щедровицкий. Организационно-деятельностная игра / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 9 (1). М., 2004.

Г.П.Щедровицкий. Организационно-деятельностная игра / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т. 9 (2). М., 2005.

Г.П.Щедровицкий. Я всегда был идеалистом... М., 2001.

Научное издание

Г.П.Щедровицкий

Мышление – Понимание – Рефлексия

М., 2005

Издательство «Наследие ММК»

Оригинал-макет: ГЛАВартель

Формат 60x90 1/16. Гарнитура Times New Roman

Тираж 1800 экз.

Электронный вывод и печать в ППП «Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6

Заказ № 33

